

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

•

ОБЩЕСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

СЕРИЯ
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ



А К В И Л О Н

**IDEAS AND PEOPLE
INTELLECTUAL CULTURE OF
EUROPE IN THE MODERN TIME**

Editor
Lorina P. REPINA



А К В И Л О Н

Moscow 2014

ИДЕИ И ЛЮДИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Под редакцией
Л. П. РЕПИНОЙ



А К В И Л О Н

Москва 2014

ББК 63.3 (0)
И 94

*Исследование проведено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект № 10–01–00403а*

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект № 13–01–16043д*

И 94 ИДЕИ И ЛЮДИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ
В НОВОЕ ВРЕМЯ / Под ред. Л. П. Репиной — М.: Аквилон, —
2014. — 848 с. — (Образы истории).

В книге рассмотрены исторические изменения в условиях, формах и содержании деятельности по распространению идей и инноваций, динамика межличностных связей в интеллектуальных сообществах Нового времени и способы их консолидации. Выявлены социальные контексты и культурные ориентиры деятельности интеллектуалов. Проанализированы механизмы функционирования интеллектуальных сообществ разных типов и в разных сегментах интеллектуальной среды: с одной стороны, интеллектуальных сообществ XVI–XVII вв., а с другой – университетских корпораций и научных школ XIX – начала XX века. Показано, какое воздействие на формирование сообществ раннего Нового времени оказывали конфессиональный и гендерный факторы; каковы были принципы организации и производства естественнонаучного знания в Европе XVII–XVIII вв.; каким образом формировались научные сообщества и как выстраивались новые формы коммуникации в России XVIII–XIX вв.; как культурное наследие Нового времени трансформировалось перед лицом вызовов XX века.

Научное издание

© Л. П. Репина, общая редакция, составление, 2014
© Коллектив авторов, 2014
© Институт всеобщей истории РАН, 2014
© Издательство «Аквилон», 2014

ISBN 978—906578—01—3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	
I. Интеллектуальная культура как предмет исследования.....	7
II. Научные коммуникации как фактор развития науки.....	20
Часть 1	
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ XVI–XVIII ВЕКОВ	
1.1. Культура естественноисторического знания в раннее Новое время..	28
1.2. Книги и чтение в религиозной культуре английских католиков XVI–XVII вв.....	97
1.3. Салонная культура XVII века и женское творчество.....	151
Часть 2	
ИДЕИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЕВРОПЕ	
2.1. Идеи цивилизации и варварства в Европе XVIII–XIX веков в контексте связанной истории.....	212
2.2. Шотландские интеллектуалы и история Унии.....	274
2.3. Вильгельм и Александр Гумбольдт: научное познание и идея классического университета.....	337
Часть 3	
ИДЕИ И ЛЮДИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ XVIII–XIX вв.	
3.1. Российская интеллектуальная традиция XVIII – начала XIX века....	382
3.2. Феномен русской интеллигенции XIX века: модель мира и парадоксы самоидентификации.....	435
3.3. Опыт интеллектуального трансфера: иностранная книга об Англии в России (1860–1917).....	471
Часть 4	
НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ	
4.1. Становление науки всеобщей истории в России: В.И. Герье и его учителя.....	534
4.2. Феномен школы В.И. Герье: коммуникативные практики в пространстве научного знания.....	572
4.3. Российские антиковеды в коммуникативном пространстве Н.И. Кареева.....	645
Часть 5	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ЭПОХУ РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН	
5.1. Научное сообщество и практика поминовения: Сергей Федорович Ольденбург.....	712
5.2. Интеллектуал Нового времени перед вызовами XX века: Джоаккино Вольпе.....	749
5.3. Три возраста Арнольда Джозефа Тойнби.....	773
SUMMARY.....	843
ОБ АВТОРАХ.....	847

CONTENTS

INTRODUCTION

I. Intellectual culture as a field of research.....	7
II. Academic communications as a factor in the development of a discipline.....	20

Part 1

CULTURAL PRACTICES OF INTELLECTUAL COMMUNITIES IN THE 16–18TH CENTURIES

1.1. Culture and natural history in the Early Modern period.....	28
1.2. Books and reading in the religious culture of the English Catholics in the 16–18 th centuries.....	97
1.3. The 17 th century salon culture and women’s creativity.....	151

Part 2

IDEAS AND INTELLECTUAL TRADITIONS IN MODERN EUROPE

2.1. Ideas of civilization and barbarity in the 18–19 th century Europe.....	212
2.2. Scottish intellectuals and the history of the Union.....	274
2.3. Wilhelm and Alexander Humboldt: scientific knowledge and the idea of classical university.....	337

Part 3

IDEAS AND PEOPLE IN THE CULTURAL SPACE OF RUSSIA IN THE 18–19TH CENTURIES

3.1. Russian intellectual tradition of the 18 th – early 19 th cc.....	382
3.2. The phenomenon of the 19 th century Russian intelligentsia: the world model and the paradoxes of self-identification.....	435
3.3. An experience of intellectual transfer: a foreign book on England in Russia, 1860–1917.....	471

Part 4

ACADEMIC COMMUNICATIONS IN RUSSIAN HISTORICAL CONTEXT

4.1. The emergence of the discipline of world history in Russia: V.I. Guerrier and his mentors.....	534
4.2. The school of V.I. Guerrier: practices of communication in an academic field of knowledge.....	572
4.3. Russian classicists in the communications of N.I. Kareyev.....	645

Part 5

INTELLECTUALS AT THE TIMES OF RADICAL CHANGES

5.1. Academic community and the practice of commemoration: Sergey Fedorovich Oldenburg.....	712
5.2. A modern intellectual facing the challenges of the 20 th century: Gioacchino Volpe.....	749
5.3. The three ages of Arnold J. Toynbee.....	773
SUMMARY.....	843
ABOUT AUTHORS.....	847

ВВЕДЕНИЕ

I

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение в активный научный оборот понятия «интеллектуальная культура» было связано с той трансформацией, которую пережили история идей и интеллектуальная история в последней трети XX века¹.

В этом междисциплинарном контексте успешно развивавшиеся проекты изучения «социальной истории интеллектуалов», «академических корпораций» и т.п. претерпели существенную эволюцию сначала к изучению «культуры интеллектуалов и интеллектуализма в обществе», а в конечном счете – к *истории интеллектуальной культуры*².

Сторонники новой исследовательской программы провозгласили своей целью «изучение истории идей в связи с их материальным и нематериальным окружением, с теми матрицами, в которых идеи, мысли, споры, языки и нарративы формировались, распространялись и обсуждались», исходя из того, что «все идеи в высшей степени подвижны, изменчивы и контекстуальны, что идеи вовсе не трансцендентальны, а являются творением личности, места, времени, действия, гендера, этничности, опыта, обстоятельства, перспективы, дисциплины, мотиваций, предрасположенности и идентичности...»³. В результате был обозначен широкий круг тем, нашедших место в исследовательском поле истории интеллектуальной культуры. Диапазон современных направлений изучения интеллектуальной культуры включает анализ социальных, философских, научных, политических, экономических, эстетических и других идей, а также идеологических систем и дискурсов в их историче-

¹ Именно осмысление этих процессов стимулировало разработку сетевой программы исследований по истории интеллектуальной культуры в рамках Российского Общества интеллектуальной истории и реализацию в 2000-е годы серии научных проектов в Центре интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.

² Так, первый проект по истории интеллектуальной культуры, который разрабатывался в Университете Калгари (Канада) во второй половине 1990-х годов, первоначально ограничивал свою задачу исследованием проблем высшего образования, и лишь со временем определился в новой проблематике.

³ Stortz P. J., Panayotidis E. L. Editors' Introduction // *History of Intellectual Culture*. 2001. No. 1 (<http://www.ucalgary.ca/hic>).

ских контекстах; историю интеллектуальной деятельности и поддерживающих ее институтов, формальных и неформальных интеллектуальных сообществ и научных школ и другие аспекты.

Интеллектуальная культура – понятие весьма сложное по своему внутреннему содержанию. При наличии определенного общего фонда, интеллектуальная культура каждой эпохи многослойна: это и так называемая элитарная, и профессиональная культура, и идеи, разлитые в обществе (на разных его уровнях). Интеллектуальная культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, которые включают элитарные и «народные» типы дискурса, манеру думать, читать, писать и говорить.

Характерные черты интеллектуальной культуры определяются материальными и социальными условиями и «внешними» интеллектуальными влияниями. Интеллектуальная культура – это не абстрактные идеи, а совокупный ментальный и вербальный фонд того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации. Важно еще раз подчеркнуть: интеллектуальная культура – это не только тексты, она имеет коммуникативную природу, и одним из самых, на наш взгляд, перспективных направлений является анализ процесса обмена элементов интеллектуальной культуры, ее «социального обращения»⁴.

Привлекая знания и достижения литературной критики, историки пытаются понять правила построения и прочтения исторических текстов. Внимание уделяют изучению самого процесса интеллектуальной деятельности, описывают то, чем занимались интеллектуалы в тот или иной исторический период, как взаимодействовали с остальным обществом. Подробно исследуются и результаты мыслительной деятельности ученых (их сочинения, включая научные труды, и все другие продуцированные ими в процессе интеллектуальной деятельности тексты анализируются как исторические источники с учетом видовой и жанровой специфики), и рефлексия над этими результатами, и способы репрезентации нового знания, и история интеллектуальной жизни отдельных групп (интеллектуальных сообществ), коммуникативных практик, а также история идей в локальных социальных контекстах и конкретных познавательных ситуациях. В исторических реконструкциях интеллектуальной культуры скрещиваются перспективы «истории вообще», истории ментальностей и исторической антропологии, исто-

⁴ Термин «социальная циркуляция (обращение)» в применении к содержанию понятия «историческая культура» ввел Д. Вульф. См.: *Wolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500–1730*. Oxford, 2003. P. 9–10. См. также: *Wolf D. Reading History in Early Modern England*. Cambridge, 2000.

рической когнитивистики, социальной истории и социологии науки, «автономных» дисциплинарных историй, исторической биографики.

Таким образом, изучение истории интеллектуальной культуры включает как анализ текстов, разнообразного мыслительного инструментария, навыков мышления, способов концептуализации окружающего мира природы и социума (т.е. субъективности «интеллектуалов» разных уровней), так и исследование всех форм, средств, институтов (формальных и неформальных) интеллектуального общения в их целостном социально-культурном контексте, в их все усложняющихся взаимоотношениях с «внешним» миром культуры.

Речь идет об определенной общекультурной «почве» или «общекультурном фонде»⁵: базовых идеях, представлениях, ценностях, стереотипах, символах, мифах, различных элементах «ментальной программы» в режиме длительной временной протяженности, с учетом процесса и эффекта кросс-культурных и кросс-темпоральных взаимодействий, наиболее ярко проявляющихся как раз в интертекстуальной реальности интеллектуального пространства в форме продолжающейся (непрерывно или с существенными временными разрывами) серии коммуникаций между автором и последующими поколениями читателей и интерпретаторов. (В этом смысле можно говорить и о той консолидирующей роли, которую играет интеллектуальная история для конституирования неформального «воображаемого сообщества» интеллектуалов).

Интеллектуальная культура формируется и развивается в определенных координатах пространства и времени. В каждую историческую эпоху с изменением условий существования по-своему раскрываются природа и возможности человека⁶, отношения людей с окружающим миром, социальные взаимодействия, ценностные ориентации, познавательные приоритеты, доминирующие идеи, ведущие тенденции в развитии культуры. Системный анализ интеллектуальной культуры эпохи невозможен без исследования более широкого контекста интеллектуальной деятельности⁷. Разумеется, деление всемирной истории на эпохи и пе-

⁵ Ср. с концепцией «общего религиозного фонда»: Карсавин Л.П. Культура средних веков. Пг., 1918; и др. См. также: Ястребицкая А.Л. Историк культуры Лев Платонович Карсавин: у истоков исторической антропологии в России // Диалог со временем: историки в меняющемся мире / Под ред. Л.П. Репиной. М., 1996. С. 35–68.

⁶ Критику конструкта «человек такой-то эпохи» см.: Кошелева О.Е. Понятие «человек эпохи Просвещения» как историографический конструкт // Историк в меняющемся пространстве российской культуры / Гл. ред. Н.Н. Алеврас. Челябинск, 2006. С. 88–95. Акцент на «возможностях» снимает излишнюю жесткость этого конструкта.

⁷ Christie N.J. From Intellectual to Cultural History: The Comparative Catalyst // Intellectual History: New Perspectives / Ed. by D.R. Woolf. Lewiston; Lampeter, 1989; Brett A. What is Intellectual History Now? // What is History Now? / Ed. by D. Cannadine.

риоды тесно связано с историей событийной. Однако понятие «историческая эпоха» неизбежно подразумевает определенное качественное своеобразие. Утверждение этого понятия связывается с формированием исторического сознания, с дифференциацией прошлого, настоящего и будущего «как качественно различных и в то же время обладающих свойством преемственности периодов»: «Огромное значение для укоренения этих темпоральных представлений имели три “открытия”, совершенные в эпоху Возрождения: открытие собственного прошлого в виде наследия античности, открытие Нового Света и населяющих его народов и открытие научного знания»⁸. Новое время историки начинают с эпохи Ренессанса. Ренессанс (Возрождение) XIV–XVI вв. рассматривается как эпоха интеллектуального и художественного расцвета (иногда – как возрождение свободной интеллектуальной культуры в Европе).

Как писал В. Муратов: «Вера в безграничные владения человеческой мысли, в ее верховные права составляет существеннейшую черту в духовном образе Кватроченто. Проявляя ее, Возрождение провело тем самым резкую пограничную линию, отделяющую его от средневековья. Оно так дорожило ею, что охотно пожертвовало ради нее глубиной былого мистического опыта, красотой прежних чувств, не знавших над собой воли разума»⁹. Выстраивая Проторенессанс, собственно Возрождение и Постренессанс в единый культурный процесс, охватывающий четыре столетия и включающий конец Средневековья и начало Нового времени, Б.Г. Кузнецов подчеркивал: «Возрождение, уже по своему названию, – эпоха перемен, эпоха концентрированного преобразования культуры, эпоха, ставшая субстратом, конденсированным выражением и символом самой сущности истории – необратимого бега времени». И далее: «Эпоха Возрождения отличалась высоким уровнем самопознания. Она знала о своем значении, о своей связи с прошлым, о своей неповторимости и о своем воздействии на будущее... “Возрождение” означало и осознанное возвращение к духу античной культуры и столь же осознанное начало нового, уходящего от античных и средневековых традиций периода, и специфическую индивидуальность такого начала, его единственность в мировой истории»¹⁰. Эта уникальность исторической эпохи оказывается прочно зафиксирована в специфике ее интеллектуальной культуры: «ум человека Возрождения, сопрягая в своем сознании

Chippenham; Eastbourne, 2002. P. 113–131. Ср.: *Dosse F.* La marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. P., 2003; etc.

⁸ Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. М., 1997. С. 197.

⁹ Муратов В. Образы Италии. Т. 1. М., 1917. С. 157.

¹⁰ Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения (Наука XIV–XVI вв. в свете современной науки). М., 1979. С. 17–19.

субъекта средневекового мышления и сознания с субъектом мышления и сознания античного, сумел повернуть историческую судьбу, оказался свободным по отношению к обоим этим культурам»¹¹.

В XVII в. Европа пережила революционные процессы: социальную трансформацию и научную революцию – переход к рациональному объяснению мира и человека. «Долгому XVIII веку»¹², Веку Просвещения отводится решающая роль в повороте западной культуры к рационализму и свободомыслию. Именно с идейным течением, основанным на убеждении во всеилии Разума и задавшим ключевые характеристики интеллектуальной культуры Просвещения, связывается образ всей эпохи, ее особый стиль. Понятие «стиля эпохи», играющее важную роль в истории искусства, вполне адекватно «работает» в более широком пространстве интеллектуальной истории – в виде понятия «стиль мышления исторической эпохи». В истории теоретического мышления выделяются четыре основных, последовательно сменявших друг друга периода, соответствующих главным этапам развития европейского общества: античный, средневековый, «классический» (стиль мышления Нового времени) и современный¹³. Как образно выразился А.А. Ивин, «стиль мышления исторической эпохи – это как бы ветер, господствующий в эту эпоху и непреодолимо гнущий все в одну сторону»¹⁴. И все же, хотя нет сомнений в существовании общего стиля, культурного фонда, языка эпохи, невозможно отождествлять, например, все идеи Века Возрождения с идеями гуманистов, или Века Просвещения с собственно просветительскими идеями – в это время существовали различные, не только гуманистические или просветительские идеи. Тем более важно понять реальное взаимодействие элементов интеллектуальной культуры (субкультур) в сложном по своему социальному и образовательному составу обществе, выявить те модели, по которым в данном социуме осуществлялись кросс-культурная интеллектуальная коммуникация и восприятие новых идей.

Современная интеллектуальная история описывает различные процессы *движения* идей не только в фигуральном, но и в буквальном смысле. Важное направление изучения интеллектуальной культуры – анализ видов, типов и способов интеллектуальной коммуникации, конкретных

¹¹ Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура... С. 54.

¹² О его границах см., напр.: *Israel J. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670–1752*. Oxford, 2006.

¹³ «Как и всякая история, история мышления слагается из ряда качественно различных этапов. Каждому из них присущ свой стиль, или способ, теоретизирования, переход от этапа к этапу представляет собой революцию в способе теоретического освоения действительности» (Ивин А.А. Интеллектуальный консенсус исторической эпохи // *Познание в социальном контексте*. М., 1994. С. 134).

¹⁴ Там же. С. 138.

механизмов распространения идей (как в социокультурном пространстве, так и во времени), процессов обращения идей в виде знаний, мнений, различного рода информации в многослойном пространстве культуры. Интеллектуальная коммуникация с помощью корпуса циркулирующих внутри нее текстов, имеющих форму переписки, книг и статей, публичных выступлений или частных разговоров, не только передает информацию, но и поддерживает некое интеллектуальное сообщество, формируя общепринятый для него язык, тип поведения, систему ценностей, организуя сетевую структуру. Известны такие исторические воплощения интеллектуальной коммуникации, как «реальные» научные школы и кружки ученых, а также виртуальные междисциплинарные сообщества, например, кружки гуманистов в эпоху Возрождения, или *Invisible College* («невидимый колледж») – неформальная группа ученых, образовавшая позже Лондонское Королевское общество (термин введен Робертом Бойлем) и знаменитая *La République des Lettres*¹⁵ эпохи Просвещения, или же современные сетевые Интернет-сообщества. В настоящее время понятием «невидимый колледж» часто обозначаются неформальные интернациональные трансдисциплинарные научные сообщества.

Нельзя понять интеллектуальную культуру любой исторической эпохи во всей ее полноте без раскрытия многих последствий транс-темпоральной коммуникации (в том числе опосредованной – через перевод или комментариев) – актуализации и рецепции «старых» текстов в новых социокультурных условиях, усвоение идей, опирающихся на опыт прошлого, и их отражение (переосмысление в новом контексте) в идеях и представлениях настоящего. Центральная задача современной интеллектуальной истории состоит в том, чтобы понять, «как возникают и распространяются *новые* интеллектуальные формы <...>, как концепции, которые доминировали или преобладали в одном поколении, теряют свою власть над умами людей и уступают место другим»¹⁶.

Концепции интеллектуалов обычно рассматриваются в трех разных контекстах: как на них повлияли идеи предшественников; какое влияние они сами оказали на взгляды окружающих; какова роль их идейного наследия для потомков (в разных масштабах – от национального до общечеловеческого). Еще один важный контекст – как именно их представления отражают развитие культуры своей эпохи, как они смогли понять и выразить основной смысл и направление ее развития.

¹⁵ См.: Трофимова В.С. «Республика Учености»: идея, идеал и виртуальное сообщество европейских интеллектуалов XV–XVIII вв. // Диалог со временем. Вып. 20. 2007. С. 90–99.

¹⁶ Lovejoy A.O. *The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea*. Cambridge (Mass.), 1936. P. 20.

В каждую эпоху в разных сферах интеллектуальной жизни (таких как философия, наука, религия, политика, литература, искусство и в других областях культуры) действуют «более или менее бессознательные ментальные привычки», «способы мышления, которые кажутся настолько естественными и неизменными, что не подвергаются критическому рассмотрению»¹⁷. Вследствие их влияния складывается некий привычный ход рассуждений и определенный набор идей, который присутствует не только в учениях или оригинальных суждениях глубоких мыслителей или выдающихся писателей, но становится частью мыслительного инвентаря многих людей, доминирует в интеллектуальной жизни целого поколения, ряда поколений или даже исторической эпохи. Как подчеркивал М.А. Барг, «ключевые элементы ментальной программы» «с помощью доступных данной эпохе средств распространения информации внедряются в массовое сознание и превращаются в повседневные представления»¹⁸. Для историка особый интерес представляет изучение ключевых концептов, логических приемов, методологических принципов, характерных для данной эпохи, составляющих ее «интеллектуальный климат», живую ткань ее уникальной интеллектуальной культуры. Вопрос о преемственности и инновациях в этой сфере затрагивает самую сердцевину проблематики истории интеллектуальной культуры – изучение интеллектуальных традиций и «школ мысли».

Традиции в широком смысле слова определяются как социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводимое в течение длительного времени¹⁹. Оставляя в стороне давно обсуждаемую оппозицию «традиции и новации» в организации общественной жизни, обратимся к комплексу проблем, связанных с феноменом исторической преемственности в идейно-духовной сфере, в интеллектуальной культуре.

Традиция, согласно Г. Зиммелю, это явление, «посредством которого содержание мышления, деятельности, созидания, а также чувствования становится самостоятельным по отношению к своему первоначальному носителю и может передаваться им дальше как материальный предмет. Это освобождение духовного продукта от его создателя... есть подлинное условие роста культуры»²⁰.

¹⁷ Lovejoy A. O. *The Great Chain of Being...* P. 7–11, 19.

¹⁸ Барг М. А. *Эпохи и идеи*. М., 1987. С. 15.

¹⁹ См., например: *Культурология. XX век: Словарь*. СПб., 1997. С. 408; Кауров В.М. *Традиции и исторический процесс*. М., 1994. Попытку развернутого теоретического осмысления самого понятия традиции см. в книге: *Захарченко М.В. Традиция в истории: опыт типологической интерпретации*. СПб., 2002.

²⁰ Зиммель Г. *Избранное*. Т. 1. *Философия культуры*. М., 1996. С. 535.

Интеллектуальная традиция выступает одновременно как необходимое условие интеллектуальной деятельности и как ее производное, а также как форма и способ сохранения интеллектуального наследия. Разумеется, рецепция и усвоение интеллектуальной традиции в новых исторических условиях сопровождается отбором тех или иных элементов наследия, развитием и переинтерпретациями самой традиции, динамикой ее «культурного дрейфа». Интеллектуальная традиция рассматривается, таким образом, не только как преемственность идей и способов мышления, непрерывность исторического наследования в интеллектуальной сфере, но и как процесс воссоздания, активного восприятия, селекции, переформатирования, творческого преобразования, преодоления или возрождения. Эту мысль в отношении научной традиции М. Полани сформулировал так: «В истории науки (да в истории любой человеческой деятельности) в конце концов тот, кто пишет эту историю, должен одобрять или пересматривать все предшествующие оценки полученных результатов; а вместе с тем он должен откликаться и на современные темы, о которых раньше не думали. Традиции передаются из прошлого, но они суть наши собственные истолкования прошлого, к которым мы пришли в контексте непосредственно наших проблем»²¹.

В понимании теоретических оснований и аналитических процедур исследования интеллектуальной традиции на рубеже XX и XXI вв. произошли существенные изменения, связанные с обновлением арсенала интеллектуальной истории и укреплением позиций сторонников контекстуального подхода²². В этом исследовательском поле изучение интеллектуальной традиции приобретает комплексный характер, отнюдь не ограничиваясь обзором основополагающих (преимущественно философских) идей, образующих ее транслируемое сквозь века (или даже тысячелетия) «ядро», как это обычно представляется в многочисленных учебных курсах, например, по истории западной интеллектуальной традиции от Античности до Нового времени²³.

²¹ Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 230.

²² Последний, в свою очередь, опирается на платформу «новой культурно-интеллектуальной истории», рассматривая культуру в духе Клиффорда Гирца – не как фактор или причину, обуславливающую события, процессы или институты, а как контекст, в котором они могут быть адекватно описаны. См.: Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. N.Y., 1973.

²³ Подобная модель воспроизводится в обязательных для католических университетов курсах по истории христианской, католической, францисканской, бенедиктинской и др. интеллектуальных традиций (начиная с Отцов церкви и до сегодняшнего дня): Examining the Catholic intellectual tradition / Eds. A. Cernera, O. Morgan. Fairfield, 2000; Osborne K. B. *The Franciscan Intellectual Tradition*. St. Bonaventure (N.Y.), 2003; etc.

В настоящее время изучение интеллектуальных традиций (в том числе научных) далеко выходит за рамки истории идей, теорий, концепций, систематически обращаясь к анализу конкретных средств и способов их формулирования в соответствующих текстах, и к судьбам их творцов, и к более широким социокультурным контекстам, в которых эти идеи функционировали, воспроизводились, интерпретировались и модифицировались. При этом неизменным остается интерес исследователей к предпосылкам, которые лежали в основе конкретных этапов развития интеллектуальной культуры и задавали импульс для изменений и инноваций. Именно в связи с таким радикальным сдвигом исследовательской перспективы особенно важно избежать ловушки «культурного редуционизма», или «автономного» объяснения культуры». Очень точно сформулировал эту задачу А. Мегилл: «История идей (включая интеллектуальную историю, в том случае, если она не упрощает интеллектуальный объект, с которым имеет дело) старается поместить идеи в тот или иной исторический контекст и интерпретировать их в свете этой контекстуализации, не сводя идеи к эпифеноменам чего-либо более значимого»²⁴.

Культура признается «автономной» только в том «статистическом смысле», что культура того или иного индивида не связана однозначно с его социальным положением. Однако культура «не автономна от общества, поскольку мы никогда не узнаем ничего, стоящего за термином “культура”, кроме как описывая вещи, которые происходят в социальном взаимодействии. Сказать, что культура автономна, что культура объясняет саму себя, и неточно, и избыточно: неточно, если культура определена как нечто исключительное социальное, поскольку такая культура никогда не существовала; избыточно, если она определена широко, поскольку в таком случае понятие культуры совпадает по объему с понятием социального, что делает культурные объяснения социологическими»²⁵.

Антиредукционистский пафос современной интеллектуальной истории не исключает, а, напротив, предполагает интерес исследователя как к общесоциальным условиям возникновения, бытования, сохранения и трансляции интеллектуальной традиции, так и к тем социальным институтам, которые эти функции в обществе выполняют. Речь идет об интеллектуалах и интеллектуальных сообществах, которые – независимо от их конкретной формы или типа – выступают в качестве создателей, хра-

О христианской духовной традиции см. также: *Захарченко М.В.* Христианство: духовная традиция в истории и культуре. СПб., 2001.

²⁴ Мегилл, Аллан. Глобализация и история идей / Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 16.

²⁵ Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 53–54.

нителей, интерпретаторов и трансляторов той или иной интеллектуальной традиции, формирование и функционирование которых составляли и, в определенной мере, продолжают до настоящего времени составлять главный предмет историко-социологического анализа и так называемой «истории интеллектуалов»²⁶. Если в 1980-е гг. «история интеллектуалов», по существу, вписывалась в «социальную историю элит» и опиралась на метод «социальной биографии», то «культурный поворот» в историографии конца XX в. создал мощный импульс для дрейфа от «истории интеллектуалов» к социокультурной истории интеллектуальных сообществ.

Существуют различные определения понятия «интеллектуальное сообщество», подчеркивающие, как правило, одну из сторон этого явления – коммуникативную, институциональную либо содержательно-деятельностную. Тем не менее, в некоторых определениях они частично соединяются. Если исходить из того, что данное понятие имеет не только нормативное, но и качественное содержание, то интеллектуальное сообщество – это «общность людей, использующих интеллект как ресурс для производства новых смыслов. Его члены в идеале ориентированы на креативность – способность создавать новые социально значимые формы – и открыты для взаимодействия с внешним миром»²⁷.

В связи с исследованием бытования, соперничества и взаимодействия интеллектуальных традиций в синхронном и диахронном контекстах (в долговременной исторической перспективе) формальные и неформальные интеллектуальные сообщества разных типов оказались в центре внимания социологии социальных сетей Рэндалла Коллинза, предпринявшего сравнительный анализ основных тенденций интеллектуального развития²⁸. Следует подчеркнуть принципиальное значение авторской установки, которая состоит в том, что «непосредственное социальное влияние на конструирование идей» оказывает именно сетевая структура отношений между интеллектуалами, реконструируемая на основе биографических данных²⁹. Не менее важным представляется то, что метод Коллинза учитывает не только прямые, но также опосре-

²⁶ См.: *Charle C. Naissance des "intellectuels" (1880–1900)*. Paris, 1990; *Idem. Les intellectuels en Europe au XIX siècle: Essai d'histoire comparée*. P., 1996; *Histoire comparée des intellectuels / Dir. par M.-C. Granjon, N. Racine et M. Trebitsch*. P., 1997; *Trebitsch M. Le Groupe de Recherche sur l'Histoire des Intellectuels // Intellectual News*. 1997. № 2. P. 55-59. См. также: *Шарль К. Интеллектуалы во Франции*. М., 2005. С. 13–18.

²⁷ *Семенов И. С. Интеллектуальные сообщества: диалектика консолидации // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе / Отв. ред. Л.П. Репина, Л.А. Фадеева*. М., 2007. С. 16.

²⁸ См.: *Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск, 2002.

²⁹ *Коллинз Р. Социология философий... С. 32.*

дованные контакты, «накапливающиеся на протяжении нескольких звеньев и вертикальных, и горизонтальных цепочек», поскольку «такие опосредованные связи показывают, каким образом более крупный процесс культурного творчества пронизывает структуру интеллектуального сообщества»³⁰. Таким образом, полноценная контекстуализация истории идей при игнорировании этой сетевой структуры межличностных отношений попросту невозможна.

Созданная Коллинзом сетевая схема, распространяющаяся «вертикально» (от одного поколения к другому) и «горизонтально» – среди современников, являющихся коллегами, союзниками или соперниками, описывает процессы общения между людьми, которые «транслируют прежний культурный капитал и превращают его в новую культуру»³¹. Р. Коллинз прослеживает цепочки учителей и учеников и рассматривает «способы, с помощью которых современники, молодые мыслители, входящие в интеллектуальное поле в одном и том же поколении, вырабатывают противостоящие друг другу позиции». В дополнение к изучению содержания идей и «внутренней» истории сети автор исследует «внешние» социальные условия, которые включают всю систему социальных институтов, обеспечивающих и регулирующих интеллектуальную деятельность, воспроизводство и конкуренцию интеллектуальных традиций, т.е. «ту материальную организацию, которая позволяет людям посвятить себя культурному производству: церкви, системы образования, аристократическое покровительство, государственную поддержку, коммерческие рынки издания книг и журналов или другого рода организации, дающие средства к существованию авторов и несущие материальные издержки культурного производства»³².

Важный ракурс анализа традиций мышления и интеллектуальной деятельности направлен на ключевой момент самоидентификации и *функцию взаимопризнания*, когда «...каждый признает в качестве ученых нескольких других людей, которыми он в свою очередь признается ученым, и из этих отношений слагаются связи, транслирующие (уже из вторых рук) это взаимопризнание по всему сообществу. Так каждый его член оказывается прямо или косвенно признанным всеми. Эта система простирается и в прошлое. Ее члены признают одних и тех же лиц в качестве своих учителей, на верности им основывают общую традицию и каждый развивает в ее пределах свою собственную линию...»³³.

³⁰ Там же. С. 34.

³¹ Там же.

³² Там же. С. 35.

³³ *Полани М.* Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 234–235.

Как правило, подчеркивается нормативная и репродуктивная функции, инертная связующая и принуждающая сила традиции, а также роль интеллектуальных сообществ и образовательных институтов в ее реализации. Рассуждая о специфике Платоновской Академии, Э. Кассирер писал: «Здесь не было корпорации ученых или клириков, которые имели бы официальные обязанности и были связаны необходимостью следовать определенной традиции. Академия была кругом друзей, которые свободно обсуждали свои философские проблемы... Но даже эти люди все еще были связаны тяжелыми цепями старой и почтенной традиции. Несмотря на все усилия, они не могли вырваться из этой традиции – они не могли противоречить великим авторитетам Аристотеля или Аверроэса»³⁴. Исследуя историю идей Ренессанса через одну из наиболее представительных фигур его интеллектуальной панорамы – Пико делла Мирандола, Кассирер утверждал: «Кажется, что во многом он провозглашает и являет собой новый тип мысли, но с другой стороны мы видим его все еще совершенно связанным и даже ограниченным многовековой традицией, воспринятой из самых разнообразных источников. Рамки этой традиции Пико никогда не пытался разорвать... Это оказалось бы в остром противоречии с идеей истины, пропитывающей и направляющей его философию». Для Пико истина «передается из рук в руки через века, но она не произведена на свет ни одним из этих веков или эпох, ибо она, как нечто вечное, вне времени и вне становления»³⁵. По-видимому, в такой интерпретации просто нет места изменениям.

Между тем, многовековая традиция, «воспринятая из разнообразных источников», будучи живой, содержит следы множества опосредований, интеллектуальных коммуникаций и взаимодействий, идейных споров и конфликтов, порождающих ростки нового в старых культурных напластованиях. Новое возникает и разворачивается в рамках сложившихся и конкурирующих традиций, креативный потенциал которых не стоит игнорировать. «Разум “изошренного” интеллектуала – наследника исторически сложной сети противостояний и изменений уровней абстракции – интериоризирует невидимое сообщество разнообразных точек зрения, объединенных взглядом на них с еще более охватывающей позиции»³⁶. Изучение интеллектуальных традиций неразрывно связывается с историей формальных и неформальных интеллектуальных сообществ самых разных масштабов и конфигураций.

³⁴ Кассирер Э. Место Фичино в интеллектуальной истории // Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 212.

³⁵ Кассирер Э. Джованни Пико делла Мирандола. К исследованию истории идей Ренессанса // Там же. С. 227.

³⁶ Коллинз Р. Социология философий... С. 1025.

Восприятие исторического наследия включает не только копирование/воспроизведение, но цепь «пересозданий», несущих в себе импульсы обновления. Немаловажную роль в этом процессе играет изменение условий интеллектуальной жизни (особенно в ситуациях радикальных социальных и культурных трансформаций) и создание новых институтов (например, таких как университеты). Исследуя интеллектуальные истоки Реформации в русле проблемы континуитета и дисконтинуитета между двумя эпохами в истории мысли, А. МакГрат поставил четыре ключевых вопроса: Существовали ли в Средние века «предтечи Реформации», или ее «предвестники»? Какова связь между Реформацией и Ренессансом: была ли Реформация просто одним из аспектов Ренессанса, или же она обладает спецификой в плане своего предмета, содержания, предположений, источников или методов? Какова связь между Реформацией и позднесредневековыми школами мысли? И «как получилось, что движение, изначально враждебное к средневековой схоластике, так скоро пришло к разработке своей собственной схоластики?»³⁷. Как представляется, эти вопросы, будучи сформулированы в более общем виде, задают некий формат для анализа культурных трансформаций. Разумеется, ответы на такого рода вопросы требуют весьма тонкого анализа массивного комплекса текстов (как канонических памятников традиции, так и «второстепенных», но составляющих часть общего дискурсивного поля) и документов, освещающих социально-политические, организационно-институциональные и материальные условия и конкретные жизненные ситуации интеллектуальной деятельности) и, сколь бы неоднозначны они ни были, способны продемонстрировать сложные перипетии трансляции знаний, идей и ценностей, способов сохранения духовного опыта предшествующих поколений и механизмов культурного обновления.

Авторы настоящей книги рассматривают исторические изменения в условиях, формах и содержании деятельности по распространению идей и инноваций, межличностные связи в интеллектуальных сообществах Нового времени. Показано, какое воздействие на формирование сообществ раннего Нового времени оказывали конфессиональный и гендерный факторы; каковы были принципы организации и производства естественнонаучного знания в Европе XVII–XVIII вв.; каким образом формировались научные сообщества и как выстраивались новые формы интеллектуальных практик и коммуникаций в России XVIII–XIX вв.; как культурное наследие Нового времени трансформировалось перед лицом вызовов и катастроф XX столетия.

³⁷ *McGrath, Alister E. Intellectual Origins of the European Reformation. Oxford, 1987 (2nd ed. – 1992). Introduction. P. 1.*

II

НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ

Проблема изучения научных коммуникаций как важнейшего механизма развития науки актуализировалась в связи с информационной революцией XX века. Именно профессиональные академические сообщества выступают субъектами получения, сохранения и трансляции исторического знания¹. Естественно, что в описываемый процесс оказалась вовлеченной и история исторической науки, историография, которая под влиянием «лингвистического поворота» отвела центральное место изучению дискурсивной практики историка; под влиянием «антропологического поворота» сформировала интерес к человеку науки, к его повседневному миру, приватным формам общения, к тем интеллектуальным сетям, которые складывались вокруг него. Начиная с рубежа XX–XXI вв., историографы, обратившись к поиску «реальности вне дискурса», в центр внимания поставили *коммуникативные процессы*, развернули историко-антропологические исследования.

К признанию особой роли *коммуникативных систем* – пришло в своем развитии и неклассическое социальное знание (социология науки, науковедение), представленное различными версиями интерпретативных, постструктуралистских и конструктивистских подходов². «Преодолению» образа науки как системы знания с её нормативностью и логико-методологической суверенностью способствовали: учение Р. Мертона об «этосе науки», о «незримом колледже» как особой форме организации свободных научных коммуникаций между учеными вне рамок институциональных структур, концепция «личностного (неявного) знания» М. Полани, учение Т. Куна о парадигмальном строе науки, в свете которого научное сообщество предстает рациональным субъектом научной деятельности, объединяющим ученых на основе близости их взглядов, субъективных представлений о целях и средствах научной деятельности; особую роль в формировании неклассического понимания феномена научного сообщества сыграли постструктуралистская концепция дискур-

¹ Зверева Г.И. Обращаясь к себе: самосознание профессиональной историографии XX века // Диалог со временем. 1999. Вып. 1. С. 256–257.

² См.: Бурганова Л.А. Научное сообщество: объективная versus субъективная реальность? // Социальное конструирование реальности: опыт социологических исследований / Под ред. Л.А. Бургановой, Г.П. Мягкова. Казань, 2010. С. 19–34.

са Ю. Хабермаса, теория капиталов и концепция габитусов П. Бурдьё, много сделавшего для обоснования субъективно-объективной природы научного сообщества как части социальной реальности.

Происходившие как в науке и в стране процессы открыли на рубеже 1980–1990-х гг. возможность актуализации и нового решения историографических проблем, которые в условиях господства в гуманитарных и социальных науках моноидеологии на протяжении большей части XX столетия оказались, по сути дела, «репрессированными». К числу таких должна быть отнесена и проблема научных школ вообще и возникших в России во второй половине XIX в. школ М.С. Куторги, В.О. Ключевского, В.И. Герье, Н.И. Кареева, И.М. Гревса, в частности. Теоретико-методологической основой реализации указанной возможности стал переход от сложившейся еще на рубеже 1920–30-х гг. модели исследования истории исторической науки, подходившей к феномену научных сообществ с позиций гипертрофированной классовой оценки, к модели, ориентирующей на изучение данной проблемы в системе координат антропологической парадигмы с её социокогнитивным подходом³.

Результатом этого следует признать коренные изменения в области изучения истории научных сообществ дореволюционной России. Известный историограф и науковед И.Л. Беленький, характеризуя в 1978 г. сложившуюся в советской историографии ситуацию, зафиксировал бессистемность и хаотичность научного аппарата структурирования историографического пространства дореволюционной России, выявил представление историографов о его дискретности: на поле науки действовали противостоящие друг другу течения и направления, отражавшие и выражавшие борьбу классов⁴. В описании этой «хаотичности» оказался высвеченным и такой принцип советской историографии как выделение в науке направлений и школ по классовому признаку, оценивание их прежде всего с точки зрения выполнения «зачисленными» в них учеными идеологической и политической функций⁵. В 2011 г., подчеркивая, что «в

³ См.: *Попова Т.Н.* Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007. С. 135–149.

⁴ *Беленький И.Л.* К проблеме наименования школ, направлений, течений в отечественной исторической науке XIX–XX вв. // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. Калинин, 1978. Ч. П. С. 64–65.

⁵ «Основания этих наименований..., – констатировал И.Л. Беленький, – разнородны: политическая, социальная, общемировоззренческая платформы, объединяющие группы историков; философские и историософские взгляды; метод исследования; суть концепции; предметная область исследований; профессионализм; связь с университетами и другими формальными коллективами; география науки; персонологичность (в имени школы закрепляется имя ее основателя); объективированное (уже в виде историографического исследования) понимание исторической роли того или иного сообщества историков» (Там же. С. 65).

итоге, сделано уже немало», историограф, исходя из наличия «целого ряда аналитических (в т.ч. монографических) описаний “школ”» за полтора столетия, предложил достаточно стройную схему классификации научных школ по основаниям: 1) подходы к изучению русской истории («запечатлены» в традиционных наименованиях: «скептическая», «государственная» / «юридическая»); 2) «органика бытия в пространстве русской науки и русской культуры» («московская» – славяноведение, антропология, «петербургская» – востоковедение, византиноведение и т.д.); 3) национальная топика науки («русская» – изучение всеобщей истории); 4) персонологический фактор («школа В.О. Ключевского», «школа П.Г. Виноградова», «школа В.И. Ламанского» и т.д.)⁶.

Для нас здесь важно фактическое признание именно за научными школами, а не за «направлениями» и «течениями» (что характерно было для «старой» модели историографического исследования с ее «репрессивным» отношением к школам), что отражено и в наблюдении о том, что «довольно широкое распространение в историографическом сознании последнего времени получило понятие “научно-педагогическая школа”»⁷. Предложенная И.Л. Беленьким читателю библиография научных школ (справедливо охарактеризованная составителем как список, «не претендующий... на полноту») свидетельствует, что успешно исследовались в последние годы названные при классификации школы, в том числе и связанные с персональным лидерством. Библиография фактически свидетельствует о реабилитации научных школ.

Сегодня в распоряжении читателей целая серия исследований, открывших и доказавших присутствие на поле российской исторической науки второй половины XIX – начала XX в. научных школ лидерского типа: «школа М.С. Куторги», «школа В.О. Ключевского», «школа В.И. Герье», «школа Н.И. Кареева», «школа П.Г. Виноградова», «школа С.Ф. Платонова», «школа А.С. Лаппо-Данилевского», «школа И.М. Гревса»... Факт вызывает особое удовлетворение потому, что еще совсем недавно большинство историографов не видели этих школ как предмета исследования и не ставили перед собой задачи науковедческого плана.

Что же произошло? Антропологизация историографии позволила связать «мир науки» и его творцов с «миром повседневности» в единое целое и представить более сложную картину развития науки.

При обращении к изучению творчества названных историков, их многогранной деятельности как создателей научных школ историографы

⁶ Беленький И.Л. Российское научно-историческое сообщество в конце XIX – начале XXI в.: публикации и исследования 1940-х – 2010-х гг. // Научное сообщество историков России: 20 лет перемен / Под. ред. Г. Бордюгова. М., 2011. С. 372.

⁷ Там же.

уже могли опираться на современные представления о научной школе в сфере гуманитарного знания как открытой системы, взятой в единстве коммуникативных характеристик, идейно-методологических ориентаций, тематики конкретно-исторических разработок, схолярных практик. Была акцентирована роль личностного знания, поставлены вопросы о развитии историографической компаративистики, получила разработку тема роли лидера и лидерства как социокультурного явления. В научном сообществе получила одобрение идея о том, что понятия «направление», «течение» фиксируют не иерархические уровни, а лишь ориентации самих школ в коммуникационной, политической, философской и тематической сферах. В схолярных исследованиях происходил стремительный подъем «антропологического градуса». Приоритеты все более отдавались культурологическому подходу с его практикой включения историографического знания в культурное пространство эпохи.

Однако конкретные историографические практики требовали дальнейшей рефлексии. На наших глазах происходит переход от антропологически ориентированного описания школ и их героев к построению неоклассической модели историописания на принципах взаимодополнительности социальной и культурной истории, макро- и микроанализа, объяснения и понимания⁸. Самостоятельное значение в рамках антропологической модели приобрел коммуникативный подход, предполагающий рассмотрение научных сообществ как имеющих сложную коммуникативную структуру и находящихся в коммуникативном поле науки и общества в целом⁹.

Почти одновременно ряд авторов актуализировали уже известное определение научной школы как открытой, неформальной, сплоченной социальной группы профессиональных ученых и обратили внимание на

⁸ См.: Корзун В.П., Мамонтова М.А., Коновалова Н.А. Выход за пределы личного измерения: модели и факторы динамики образа исторической науки // Вестник Омского университета. 2011. № 4. С. 339–341; Могильницкий Б.Г. «Антропологический поворот» в свете антитезы макро- и микроисторических подходов // Диалог со временем. 2009. Вып. 28; Репина Л.П. Историко-историографическое исследование в контексте современной интеллектуальной культуры // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры. Сб. статей / Под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, Ю.В. Красновой. Челябинск, 2011.

⁹ См.: Корзун В.П., Рыженко В.Г. Коммуникативное поле современной исторической науки // Диалог со временем. 2011. Вып. 37; Корзун В.П. Научное сообщество отечественных историков в коммуникативном пространстве XX века (конструирование нового проблемного поля) // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры...; Мягков Г.П. Схолярные исследования российских ученых: в поисках новой модели научности // Там же; Мамонтова М.А. Коммуникативное поле отечественной исторической науки на рубеже XIX-XX вв. // Диалог со временем. 2011. Вып. 36. С. 267–277 и др.

такой «школьный» критерий, как самоидентификация ученых и необходимость признания школы со стороны научного сообщества и общества в широком смысле этого слова¹⁰.

По мнению многих ученых, конечной целью научной школы является не новая информация, а знания и навыки, продуцируемые внутри школы. М. Полани обосновал существование двух типов знания: центрального, или явного, эксплицируемого, и периферического, неявного, скрытого, имплицитного. Он сравнивал знание с действием, требующим особого искусства: «наука создается искусством ученого»¹¹, и это искусство не может быть передано посредством эксплицируемого знания. Полани сужает ареал распространения этого искусства до сферы личных контактов, что «приводит обычно к тому, что то или иное мастерство существует в рамках определенной местной традиции»¹².

Эвристические возможности теории М. Полани о личном знании для понимания процесса формирования и развития научных сообществ оценены в новейшей литературе¹³. Проблемой, с которой сталкиваются исследователи схолярной проблематики, является идентификация того или иного ученого как представителя конкретной школы. В реальных практиках талантливые историки по разносторонней проблематике своих трудов, личным связям и т.д. могут быть причислены к разным научным сообществам. В новейшей литературе можно считать установленным, что научные школы являются открытыми, что им может быть присуще разнообразие внутришкольных ориентаций и даже парадигм, вполне возможна интерференция, взаимное пересечение границ научных школ, следствием чего оказывается пребывание тех или иных ученых в двух-трех школах сразу, а также мягкость миграции индивидов из одной школы в другую¹⁴. Описанное позволяет заключить, что предметом все

¹⁰ Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина, О.В. Богомазова это осмыслили на материале школы В.О. Ключевского, актуализировав проблему закрепления образа этой школы в культурном пространстве образованного русского читателя; К.В. Бамбизова, Б.С. Каганович, А.В. Свешников – на материале школы И.М. Гревса (петербургской школы медиевистов), уделив больше внимания внутришкольной идентификации, Т.Н. Иванова, Е.С. Кирсанова, Д.А. Цыганков исследовали эти аспекты на материале школы В.И. Герье.

¹¹ Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 82.

¹² Там же. С. 86–87.

¹³ См.: Ретина Л.П. Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе. М., 2007. С. 90–91.

¹⁴ Мясков Г.П. Историк в «своей» научной школе: проблема «внутришкольной» коммуникации // Историк на пути к открытому обществу. Материалы Всероссийской научной конференции. Омск, 2002. С. 115–118; Леонтьева О.Б. «Субъективная школа»

возрастающего внимания историографов в современной познавательной ситуации становятся межличностные коммуникации, анализ которых позволяет проявить «скрытое» лицо науки. Фактически, обнаруживается одно из новых направлений расширения интеллектуального пространства науки. Современные ученые обращают внимание на продуктивность исследования не только фактов позитивного взаимодействия субъектов (сотрудничество, наставничество и ученичество и т.д.), но и феномена конфликта и соперничества в научной среде. Обращение, казалось бы, к сугубо личностным взаимоотношениям позволяет увидеть скрытые механизмы функционирования и продуцирования научного знания.

Действительно: в межличностном общении проявляется саморефлексия ученых, сами межличностные коммуникации выступают как наиболее интимная часть рефлексивного пласта науки. Анализ коммуникативных практик создает возможность выйти за пределы традиционных предметных областей, сводящихся, как правило к изучению институций и концептуальных построений. Предметной областью становится то, что определяется как «сети общения». В этой связи представляет интерес изучение феномена исторической школы с точки зрения присущих ей особенностей коммуникации – синтеза формальных и неформальных процессов, устных и письменных элементов, непосредственных и опосредованных связей и т.д.

Иными словами, на сегодняшний день выработана *антропологическая модель школы*. Ее черты, элементы, на взгляд авторов, ярко демонстрирует одна из самых значительных научных школ в исторической науке России, сформировавшаяся во второй половине XIX века, школа В.И. Герье. Становление этой школы на переплетении научных коммуникаций западноевропейской науки и формирующейся в России науки всеобщей истории позволяет наглядно проследить совокупность видов профессионального общения в научном сообществе XIX века как механизма функционирования и развития науки. Специфики научных коммуникаций этого времени четко проявляет значимость непосредственного личного общения для стимулирования творческой активности ученых.

Интенсивное изучение школ в российском интеллектуальном пространстве уже стало своеобразной лабораторией. В рамках схолярной проблематики продолжает накапливаться материал, проливающий свет на особенности научных коммуникаций и циркуляции интеллектуальной культуры. На этом пути нас еще ждет немало открытий.

ЧАСТЬ 1

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ XVI–XVIII ВЕКОВ

1.1. КУЛЬТУРА ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

В европейской интеллектуальной культуре Ренессанса и Нового времени востребованной и авторитетной формой знания о природном мире была естественная история. Калькированное с латинского словосочетание *historia naturalis* вошло в европейские языки (*natural history*, *histoire naturelle*). Под естественной историей понимался как вид знания, дисциплина, в свое время ставшая академической, так и определенный тип ученого сочинения¹. Характерные черты таких сочинений не оставались неизменными. В то же время, в дискурсе «естественных историй» обнаруживаются устойчивые черты, позволяющие отличать этот способ рассуждения от других форм исследования мира и репрезентации знания. В центре нашего внимания будут исследования и описания природы XVI–XVIII вв. в европейской интеллектуальной культуре. Проследим, как возникала естественная история как область знания, и рассмотрим, какие модели дискурсивного представления мира природы казались ученым Нового времени необходимыми и правильными.

I. “*Historia naturalis*”

1.1. Предмет естественной истории

Естественная история как разновидность знания, позднее – дисциплина, и как тип ученого сочинения пережила свое второе рождение или даже была создана во времена Ренессанса. Хотя первые «естественные истории» были написаны задолго до эпохи Возрождения – еще в древнегреческой и римской культурах, в рамках естественной философии, они разительно отличались от изучаемых нами произведений.

Наиболее известен трактат Аристотеля². В его «Истории животных» содержались общие теоретические построения об иерархии живых существ, от простейших видов и до наиболее сложно устроенного человека, исследования строения и физиологии, описания систем питания и размножения различных видов животных, птиц, рыб, а также мужчин и женщин, краткие сведения о повадках и «нравах» животных.

¹ Для того чтобы облегчить различение этих значений, в первом случае это словосочетание употребляется без кавычек, во втором – в кавычках, отсылая к характерным названиям таких трудов – “*Historia naturalis*”.

² *Аристотель. История животных. М., 1996.*

Этот труд был частью обширного корпуса трактатов о природе, начиная с «Физики», включавшего работы «О небе», «О возникновении и уничтожении», «О юности и старости, о жизни и смерти» и др.; среди них были сочинения «О частях животных», «О движении животных», «О разделении животных», «О возникновении животных»³.

В продолжение «Истории животных» ученик Аристотеля Теофраст составил трактаты «История растений» и «О причинах растений», в которых было описано около пятисот видов флоры, давались сведения по их систематике и физиологии⁴. Вопросы, которые изучали эти авторы, были схожими: о назначении частей животных и растений, о принципах питания и воспроизводства, о возможности перехода одного вида в другой. В общих чертах, мир природы изображался как существующий по своим естественным законам и не подчиненный человеческому миру посредством пользы или символической значимости.

Другая версия большого повествования о мире была предложена в римской интеллектуальной культуре в многотомной «Естественной истории» Плиния Старшего. Это сочинение в 32-х книгах давало свод разнообразных знаний о космосе, животных и растениях, народах и искусствах. Несмотря на сходство названия, сочинение Плиния строилось иначе: предметом знания была не столько природа, сколько все известное человеку содержимое мироздания. Книги этой энциклопедии были посвящены астрономии и физике, земле, ее географии, народам, городам и гаваням, животным, человеку, растениям, лекарствам из растений и животных, а также камням и металлам, употреблению в искусствах красителей и камней, художникам, и драгоценным камням. За основу Плиний взял сочинения других писателей. В его «Естественной истории» соседствовали данные наблюдений, теории философов, свидетельства путешественников и анекдотические истории. Тем не менее, именно эта энциклопедия стала важным источником знаний о чужих землях, народах, космосе и природе для средневековых ученых.

Начиная с периода раннего Средневековья «естественные истории» надолго исчезли из интеллектуальной культуры. Христианские философы и ученые ставили перед собой иные задачи: познание природы мыслилось как часть познания Бога и Божественного замысла. Чтение созданной Творцом великой Книги Природы должно было открывать высшие смыслы, предполагало не только буквальные, но и моральные и аллегорические интерпретации.

³ Старостин Б.А. Аристотелевская «история животных» как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // *Аристотель. История животных...*

⁴ Теофраст. Исследование о растениях / Пер. и примеч. М.Е. Сергеев / Под ред. И.И. Толстого и Б.К. Шишкина. Рязань: Александрия, 2005.

Для естественной истории в системе христианского знания нашлось место на периферии: «языческая» наука в лучшем случае могла давать полезные сведения, которые, тем не менее, следовало истолковать заново и приспособить к собственной логике рассуждения. Так, фрагменты из сочинения Плиния Старшего были неплохо известны в Средневековье. Но использование принципиально важных сведений из его книг – как, например, доказательств шарообразности Земли, заимствованных Бедой в трактате «О природе вещей», – было, скорее, исключением, чем правилом. Сведения из античных естественноисторических трудов включались в отличные по смыслу и назначению книги – в христианские космологии, физиологи, бестиарии. Даже в том случае, когда предметы изучения были близкими, в способах описания и объяснения феноменов и «вещей» обнаруживался яркий контраст.

Различался способ связи между изучаемой вещью и получаемым значением: в христианской ученой традиции язык стал всеобъемлющим планом референции, сосредоточением всех смыслов. В «Этимологиях», раннесредневековом энциклопедическом по масштабу труде, Исидор Севильский, чтобы понять сущность вещи, шел к ее объяснению от смыслов, заложенных в ее имени. Даже не прибегая к этимологическому методу познания, исследователь природы должен был расшифровать язык вещей, их символов и аллегорий, отсылок к более высоким материям – спасению души и небесному воздаянию. На долгое время мир природы утратил самостоятельную ценность.

Ученые начали постепенно интересоваться естественной историей по мере освоения корпуса античных текстов. Так, в XIII в. Майкл Скот перевел «Историю животных» Аристотеля с арабского на латынь. Альберт Великий в трактате «О животных» представил комментированный пересказ этого труда с дополнениями (сведениями о некоторых неизвестных Аристотелю животных, таких как белый медведь или соболь, и о фантастических единорогах, пегасах и гарпиях, со ссылками на небольшую достоверность этих историй). «История животных» Аристотеля стала одной из первых напечатанных книг. В XV в. ее перевел на латынь Теодор Газа, подготовивший и первое греческое издание текста в 1497 г. В XVI в. «История животных» переиздавалась около сорока раз. Множество изданий и переводов выдержали и отдельные книги «Естественной истории» Плиния: в культуре Ренессанса они были очень популярным чтением.

Потребовалось время, чтобы естественная история появилась как особый раздел знания о мире и как форма его репрезентации. Естественная история не была включена Джорджо Валлой в перечень дисциплин в его труде «О сущностях, к которым надо стремиться и которых следует

избегать» (1500). В сорока девяти книгах этого сочинения Валла предложил трактовки всех дисциплин тривия и квадрия, физики, медицины, этики и т.п., но естественная история не имела в его представлении сопоставимого статуса⁵. Современникам Валлы естественная история виделась, прежде всего, как практика созерцания и описания природы, вспомогательная по отношению к натурфилософии (рассуждения о движении в природе, о размножении и росте), медицине (сведения о практическом использовании частей растений и животных для лечения больных) и ведению домашнего хозяйства (разведение скота и агрикультура).

Спустя всего сто лет в рассуждении «О пользе и успехе знаний» (1605) Фрэнсис Бэкон уже интерпретировал естественную историю как дисциплину. Она, как вид знания, рассматривалась наряду с гражданской и церковной историей и подразделялась на историю творений, чудес и искусств. Каким образом происходил процесс оформления естественной истории как дисциплины? Рассуждая о становлении естественной истории в интеллектуальной культуре Ренессанса, не будем забывать, что возможности представления знания о природе не исчерпывались этой формой сочинения, и практики естественной истории как дисциплины выходили далеко за пределы изучаемых текстов.

Общая рамка «естественных историй» в XVI–XVIII вв. объединяла множество разновидностей сочинений. Облик «естественных историй», структура повествования, характер вопросов и ответов на них варьировались, отражая постепенные, а иногда и резкие изменения в способах мышления интеллектуалов.

Как правило, в «естественных историях» содержалось подробное описание животных, птиц, рыб, или земель, соединялись разрозненные сведения из сферы зоологии, ботаники, метеорологии, геологии, истории и археологии. В центре внимания была природа с божественными творениями. Такие сочинения содержали детальное повествование о «поверхности мира» в ее разнообразии⁶.

Тем не менее, предмет этих ученых текстов редко полностью соответствует тому, как он формулируется в науках, начиная с XIX в. Предмет «естественных историй», на первый взгляд, ясен: животные и растения попадают под нынешнее представление о «естественном». Но как быть с сочинениями по «естественной истории души» или «страстей»? Почему темы о «древностях» или «искусствах» вплоть до XVIII в. были составной частью многих естественноисторических трудов?

⁵ *Ogilvie B. The Science of Describing. Natural History in Renaissance Europe.* Chicago, 2006.

⁶ *Allen D. E. Natural History and Visual Taste: Some Parallel Tendencies // The Natural Sciences and the Arts.* Uppsala, 1985. P. 32-33.

Области современного естествознания и «естественных историй» Ренессанса и Нового времени пересекаются, но не совпадают. Часто взгляд современного читателя таких произведений останавливает некая «неправильность» включенного и исключенного. Содержание отдельных трудов воспринимается как знаменитая «китайская энциклопедия» Борхеса, которую цитировал в «Словах и вещах» Мишель Фуко.

В данном случае внимание обращается на видимую противоречивость принципов отбора объектов. Присутствие и постепенное исчезновение «лишней» информации в таких текстах может рассматриваться как одна из «примет» дистанции, которая отделяет современную систему знаний (укорененную в XIX в.) от парадигм до эпохи Модернити. Для локализации дискурса «естественной истории» можно попытаться зафиксировать исчезновение этой черты в изучаемых текстах: оно будет свидетельствовать о складывании новой логики науки, которая в XIX в. станет основополагающей. Такое исчезновение «неправильного» в текстах происходило не одновременно, не необратимо; но в целом оно маркировало происходившие перемены.

Для того, чтобы лучше понять логику устройства «естественных историй», нужно обратиться к значениям ключевых слов – *historia*, *natura*, *naturalis*. Латинское *naturalis* отсылало к Природе (*natura*), но помимо этого оно имело и другую коннотацию. Речь также шла о «природе вещей» (*natura rerum*), т.е. скрытых и явных свойствах любых предметов. Сочинения по *естественной* истории обыгрывали такое пересечение смыслов. Они преимущественно, но не исключительно, повествовали о мире природных форм и явлений. Одновременно они были сфокусированы на сущностных качествах растений, животных, птиц, рыб и насекомых, а также всего, что относилось к земле (металлов и камней, находимых в ней древностей, населявших ее народов, географии, климата и т.п.). Структура знания о «естественном» с течением времени претерпевала большие изменения. В XVIII-XIX вв. значения, связанные с «природой вещей» постепенно исключались из области «естественного». Это понятие получало все более строгое определение в связи с оформлением и специализацией наук.

Ключевое слово *historia* также передавало различные смыслы⁷. В нем сочетались значения «расследования», «установления» (истины), восходившие к древнегреческим авторам, и «рассказа», отсылавшие к сочинениям римлян. В обоих случаях оно могло применяться к любому, а не только к собственно историческим, сюжетам. Так, у Аристотеля «ис-

⁷ *Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern Europe* / Ed. by Gianna Pomata and Nancy G. Siraisi. Camb. (Mass.), 2005.

тория» животных подразумевала «исследование» живых существ. Говоря об *истории*, Бэкон имел в виду «знание о предметах, место которых определено в пространстве и времени», и имевшее источником память. Значение истории как «рассказа» было также широко распространено. В культуре Ренессанса это понятие подразумевало не хронологически организованную подборку сведений, а нарратив, правдивое повествование о результатах изучения какого-либо предмета, в которое следовало включить объяснение его происхождения, качеств и причин.

Историческое знание ассоциировалось с исследованием единичного, уникального, в противоположность изучению общих, типических вещей, которым занималась философия или физика. Масштаб у «исторического» исследования мог сильно варьироваться. Авторы «естественных историй» могли собирать в своих книгах множество объектов и данных (например, виды рыб или змеей, сведения о климате и температурах воздуха), или прилагать этот инструментарий к описанию отдельной страны. Они могли обсуждать и частный случай (определенного «монстра», природную аномалию)⁸, тогда этот казус мыслился как фрагмент некоего большего нарратива, который создавали другие ученые, или который лишь предстояло написать.

Таким образом, словосочетание *historia naturalis* в XVI–XVIII вв. чаще подразумевало большое повествование, состоявшее из отдельных рассказов, содержащее как описание, так и исследование единичных «вещей» природного мира. В то же время, оно имело возможность, не нарушая общей логики, представлять дескрипцию и выяснение причин предметов, относившихся к природе лишь косвенно, или могло репрезентировать фрагмент предполагаемого большого нарратива. Такая неоднозначность оставляла зазор, позволявший предмету исследования в «естественных историях» варьироваться. Это объясняет многообразие форм таких сочинений. Дискурс «естественной истории» изменялся в соответствии как с общими эпистемологическими трансформациями, так и с изменениями объема понятий «естественное» и «история».

Естественная история начала утрачивать свои позиции во второй половине XVIII в. со становлением научных дисциплин. В XIX в. из нее были заимствованы сведения, обогатившие академическую науку. По мере специализации дисциплин, прежде единый (хотя и многосоставной) предмет естественноисторических сочинений оказался разделенным. Часть сюжетов стала рассматриваться как ненаучная, относящаяся исключительно к художественному, дидактическому или дилетантско-

⁸ *Belon P. L'histoire naturelle des estranges poissons marins, avec la vraie peinture et description du daulphin, et de plusieurs autres de son espèce. 1551.*

му знанию о природе. Научное знание требовало верифицируемости и систематики, того, что не могла дать эта принципиально эклектичная и персонализированная форма знания. «Естественная история» начала трактоваться как источник моральных наставлений для юношества и как способ популяризации знаний. В XX в. данное словосочетание утратило связь с определенным типом текста-исследования. В английском языке *natural history* описывает область любительских или научно-популярных рассказов о природе. Это книги и альбомы о животных и растениях, популярные фильмы, руководства для наблюдателей за зверями и птицами, справочники для путешественников по миру дикой природы. В XX в. многие ее элементы были удачно адаптированы к новым технологиям медийного схватывания, хранения и трансляции образов реальности, к возможностям фотографии и видеосъемки, телевизионного показа. Так, современные познавательные телепрограммы BBC и Discovery воспроизводят ряд положений естественноисторического знания вне профессии, отсылая зрителей к этой долгой традиции.

Таким образом, «естественная история» с течением времени была сочтена несостоятельной как *научное* знание, но она определила общие контуры *культуры* естественного знания.

1.2. *Историография*

Историография естественной истории Ренессанса и Нового времени обширна: упомянем лишь небольшую часть исследований, прямо или косвенно связанных с нашими сюжетами. Вследствие популярности естественноисторических исследований в гуманитарном знании, конструирование предмета изучения в трудах представителей разных дисциплин и научных течений производится по-разному. При всей, казалось бы, изученности сюжетов, связанных с историей естествознания, социальной и интеллектуальной культурой Научной революции, только сравнительно недавно в историографии стали исследоваться дискурсивные особенности знания о природе XVI–XVIII вв.

Существенно лучше изучены темы, касающиеся содержания воззрений ученых, теорий, сложившихся на основе «естественных историй» Ренессанса и Нового времени. Источники такого рода долго рассматривались в рамках истории естествознания. Для ученых-биологов, зоологов, исследователей истории климата, почв и т.п. «естественные истории» давали сведения об истории тех или иных донаучных и ранних научных представлений. Проводились анализ содержания концепций и их сравнение с современными теориями⁹. Неудивительно, что при такой постановке вопроса в этих работах могли обсуждаться во-

⁹ См., например: Канаев И.И. Избранные труды по истории науки / Под ред. К.В. Манойленко. СПб.: Алетей, 2000.

просы о правильности или ложности концепций Плота, Рэя или Бюффона о возрастах Земли, воздействии Великого Потопа на горные породы, происхождения жизни в зародыше, и т.п.

Хотя значение данных источников для истории науки не подлежит сомнению, в этой книге речь пойдет не о содержательных вопросах «естественных историй»: нас будет интересовать перспектива исследования таких текстов с позиций интеллектуальной и культурной истории, анализа нарратива и дискурса. Попытаемся рассмотреть естественноисторические сочинения, принципиально отказавшись от их включения в «непрерывную» историю биологии или зоологии, дисциплин, сформировавшихся существенно позже, в XIX веке. В этом смысле, оценка соответствия идей и теорий авторов «естественных историй» современным представлениям ученых не будет задачей данной работы. Сосредоточимся на культуре описания и упорядочивания «вещей» в текстах, которая, в свою очередь, опирается на культуру мышления и воображения природного мира, на распространенные в то или иное время представления о системе, порядке и языке.

Для настоящей работы были важны исследования, позволившие включить «естественные истории» в контексты социокультурной истории знания Ренессанса и Нового времени. Это книги и статьи об интеллектуальной культуре Научной революции в Европе, времени глубоких трансформаций принципов производства значений, языков описания и методов анализа, отработки различных социальных моделей науки¹⁰. Особое внимание уделялось исследованиям изменений в способах рассуждения и письма в сочинениях о природном мире: о сдвигах, появившихся в ответ на «вызовы» времени – в связи с изменениями картины мира в ученой культуре¹¹, освоением Нового Света¹², критическим осмыслением возможностей эмпирического познания¹³, опытами в области таксономии и систематики, с переживанием политических и социальных трансформаций английской и французской революций, с культурой Про-

¹⁰ *Дмитриев И.С.* Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи. СПб., Алетейя, 1999; Человек и природа: экологическая история / Ред. Д. Александров, Ф-Й. Брюгемайер и Ю. Лайус. Самара: Алетейя, 2008; *Shapin S.* A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-century England. Chicago: Un-ty of Chicago Press, 1994; *Idem.* The Scientific Revolution. Chicago: Un-ty of Chicago Press, 1996; *Porter R.* The Making of Geology: Earth Science in Britain, 1660–1815. Cambr.; N.Y., 1977 (repr. 1980).

¹¹ *Дмитриев И.С.* Увещание Галилея. СПб.: Нестор-История, 2006.

¹² *Gerbi A.* Nature in the New World. Transl. 1985. Un-ty of Pittsburgh Press, 2010.

¹³ *Shapin S.* The Scientific Revolution; *Daston L.* Baconian Facts, Academic Civility and the Prehistory of Objectivity // *Annals of Scholarship*. 1991. Vol. 8. P. 337–364; *Idem.* Marvelous Facts and Miraculous Evidence in Early Modern Europe // *Critical Inquiry*. 1991. Vol. 18. No. 1. P. 93–124.

свещения¹⁴. Значительный интерес представляют исследования о связи различных форм концептуализации («эмблематический взгляд на мир», «риторическая парадигма», «эмпиризм») с производимым знанием о «вещах», а также с формами его репрезентации¹⁵.

Большое внимание историков Ренессанса и Нового времени привлекает изучение социокультурных практик производства знания и его организации. Такая постановка проблемы позволяет увидеть естественноисторические сочинения как продукцию разных интеллектуальных и практических занятий – культуры любопытства, коллекционирования, экспонирования природных объектов¹⁶, путешествий, освоений новых земель и торговли, занятий медициной и агрикультурой¹⁷. Создание текстов по естественной истории в трактовках историков предстает как аристократическая практика ренессансной элиты и результат кабинетных штудий гуманистов¹⁸, практик патроната, покровительства со стороны князей и дворов¹⁹, или же существенно более широкая и демократическая деятельность аптекарей и медиков, джентри, прагматично настроенных бенефициариев Научной революции²⁰. Эти ученые занятия в более позднее время интерпретировались исследователями в связи со становлением научных обществ и распространением интеллектуальных «сетей» в Европе²¹, с развитием культуры экспериментального знания и опытами в таксономии и систематике, с антикварным движением²², с деятельностью просветителей²³.

¹⁴ Дмитриев И.С. «Союз ума и фурий»: ученые в эпоху Французской революции // Новое литературное обозрение. 2005. № 73.

¹⁵ Ashworth W.B. Natural history and the emblematic world view // Reappraisals of the scientific revolution / Eds. D.C. Lindberg, R.S. Westman. Cambridge, 1990; *Idem*. Emblematic natural history of the Renaissance // Cultures of Natural History / Ed. N. Jardine, J.A. Secord, E.C. Spary. Cambridge, 1996; *Daston L., Park K.* Wonders and the Order of Nature, 1150-1750. Zone books, 1998.

¹⁶ Origins of museums // Eds. O. Impey, A. MacGregor. 1985; *Findlen P.* Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. Berkeley, 1994.

¹⁷ Merchants and marvels / Eds. P.H. Smith and P. Findlen. N.Y., 2002; *Cultures of Natural History* / Eds. N. Jardine, J.A. Secord, E.C. Spary. Cambridge, 1996.

¹⁸ *Daston L., Park K.* Wonders and the Order of Nature...

¹⁹ Cultures of Natural History; *Turpin A.* The New World collections of Duke Cosimo I de' Medici and their role in the creation of a *Kunst- and Wunderkammer* in the Palazzo Vecchio // Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment / Ed. By R.J.W. Evans, A. Marr. 2006.

²⁰ Curiosity and Wonder from the Renaissance...

²¹ *Hunter M.* Science and Society in Restoration England. Cambridge, 1981; *Daston L., Park K.* Wonders and the Order of Nature...; *Cultures of Natural History*.

²² *Allen D.E.* The naturalist in Britain: A social history. 2nd ed. Princeton, 1994.

Отдельно упомянем о таком направлении исследований культуры научного знания как изучение истории иллюстраций в сочинениях о природе – как с точки зрения изменений в художественном языке и техниках, так и с позиции оценки когнитивного статуса визуальных репрезентаций в ботанических и зоологических сочинениях²⁴.

В этой книге мы остановимся более подробно на сочинениях ряда ученых-натуралистов: о трудах некоторых из них написаны многочисленные работы, обзор которых занял бы не одну главу специального труда. Это Конрад Геснер, Фрэнсис Бэкон, Роберт Бойль, Джон Рэй, Жорж Луи Леклер де Бюффон²⁵. Сочинения других, менее известных авторов, таких как Герард Боат, Роберт Плот, Эрик Понтопидан, изучены гораздо хуже. Среди этого массива исследований нам были важны те, в которых интерпретировались особенности интеллектуальной культуры этих авторов, специфические черты их письма, литературного стиля, способов рассуждения и организации нарратива²⁶.

«Естественная история» как вид ученого дискурса стала предметом специальных исследований сравнительно недавно. Рост интереса к этим сочинениям в 1980–2000-е гг. в большой мере обязан книге Мишеля Фуко «Слова и вещи»²⁷, в которой была осуществлена новаторская попытка представить многообразие интеллектуальных ходов и дискурсивных стратегий в ученой культуре XVI–XVIII вв. как целостные способы познания, объяснения мира и письма, как эпистемы, характерные для изучаемых эпох. В этой работе «естественные истории» были выбраны как один из типов текстов, на примере которого лучше видны специфические черты структурирования информации, репрезентации «вещей» природного мира, и их упорядочивания. Так, «странности» в способах рассуждения, кажущиеся нарушения логики, интерпре-

²³ *Outram D.* Georges Cuvier: Vocation, Science, and Authority in Post-Revolutionary France. Manchester, 1984.

²⁴ *Bogaert-Damin A.-M.* Livres de Fruits. Namur, 1992; *Desmond R.* Wonders of Creation. Natural History Draw. L., 1986; *Kusukawa S.* Leonhart Fuchs on the importance of pictures // Journal of the History of Ideas. 1997. Vol. 58. No. 3; *Idem.* The Sources of Gessner's pictures for the *Historia animalium* // *Annales of Science*, 67:3, 2010.

²⁵ *Gmelig-Nijboer C.A.* Conrad Gessner's 'Historia animalium': an inventory of renaissance zoology. Meppel, 1977.

²⁶ *Зенкин С.Н.* Неклассическая риторика Бюффона // *Зенкин С.Н.* Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 239-261; *Разумовская М.В.* Бюффон-писатель: французские естествоиспытатели XVIII в. и литература. СПб., 1997. Следует также заметить, что эти сюжеты гораздо подробнее изучены на примерах трудов натуралистов XIX века, и в первую очередь Ч. Дарвина: *Beer G.* Open Fields: Science in Cultural Encounter. Oxford, 1996; *Idem.* Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. 2009.

²⁷ *Фуко М.* Слова и вещи. М., 1994.

тировались как признаки иных эпистемологических систем. Например, на такое единство познавательных структур указывало установление буквального и символического тождества макро- и микрокосмоса, понимание сущности вещи через имя, через «симпатии и антипатии», «сходство», «соседство и пригнанность», максимальное сокращение дистанции между знаком и вещью в «естественных историях» ренессансных ученых; обособление слова от «сущности» объекта, выделение признаков, поиск различий и построение таксономических таблиц в сочинениях авторов XVII–XVIII вв.

Концепция Фуко вызвала волну ответных реакций со стороны историков Ренессанса и раннего Нового времени, публикаций, как в поддержку этих идей, так и с их подробной критикой²⁸. Особенность работы Фуко применительно к естественной истории заключалась в том, что его источниками были исключительно тексты, причем достаточно близкие между собой. В упрек ему ставилась узость круга выбранных источников и возможность опровергнуть ряд построений о «риторическом» знании на основе других сочинений того же времени. Тем не менее, немало исследователей пошли по пути не буквального чтения «Слов и вещей», но заимствования основной методологической установки – внимания к историко-культурной относительности эпистемологических оснований в трудах ученых этих эпох и анализа когнитивных структур, исходя из изучения письма, дискурса, подвижных значений ключевых слов, режимов истины и власти в текстах.

Вехой в исследованиях ренессансной ученой традиции стали также работы представителей «нового историзма» и их последователей, Стивена Гринблагта, Лорен Дэстон, и др.²⁹, в чьих трудах понятия и концепты эпохи были помещены в изменчивые многообразные социальные, психологические, экономические, культурные контексты.

После этих дискуссий в исследованиях интеллектуальной культуры Ренессанса и раннего Нового времени произошел сдвиг в способах работы: это, прежде всего, распространение установки, в соответствии с которой изучение и теоретических концепций, и социокультурных практик должно производиться в единстве с анализом дискурсивных форм их выражения и трансляции. Примером тому может служить монография Нила Кенни о дискурсе любопытства в культуре XVII века³⁰. В этой работе автор предложил рассматривать любопытство – одну из важных категорий для «естественной истории» – не как внетекстовую

²⁸ См.: Maclean I. Foucault's Renaissance episteme. 1998; Ashworth W.B. Emblematic natural history of the Renaissance...

²⁹ Daston L., Park K. Wonders and the Order of Nature...

³⁰ Kenny N. The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany. Oxf., 2004.

данность, но как группу слов из одной семьи с множеством противоречащих значений и способов их использования. Обращение к этой группе слов в источниках, по его мысли, служило для регулирования норм знания и поведения. Взгляд читателя, таким образом, привлекается к уровню языка, который служит обязательной основой для изучения привычных в историческом знании событий и процессов.

Близкий исследовательский прием обнаруживается в работе Аликс Купер о дискурсивном конструировании в естественноисторических трудах XVII века нового предмета познания – «местной / туземной» естественной истории³¹. В методологически значимой и эрудитской книге Брайана Огилви, непосредственно отсылающей читателя к «Словам и вещам», внимание сосредоточивается на изучении «описания» в работе ренессансных натуралистов³². По мнению автора, в современной историографии этих сочинений значительно переоценены оказались сами теоретические и философские элементы в «естественных историях», в то время как их более очевидное и специфическое интеллектуальное завоевание остается в тени. Речь идет о распознавании, именовании и фиксации в текстах разнообразия животного и растительного мира как о практике, перформативно учреждающей новый тип знания-описания.

В настоящей работе нам хотелось бы продолжить эту линию в исследовании «естественных историй» Ренессанса и Нового времени.

«Естественные истории» можно изучать как допустимый для ученой культуры способ описания мира, как *инструмент* познания, который был заново введен в обиход в XVI в., и, изменяясь, сохранял актуальность вплоть до XIX, «научного», века. В то же время, перед нами ученые сочинения, *тексты*, описывающие, «схватывающие» и представляющие при помощи слов (иногда – иллюстраций) объекты и феномены природного мира, схожие и различающиеся между собой. Нам, в первую очередь, интересуют единство и специфичность таких текстов с их выразительными и познавательными возможностями.

У «естественной истории» как чувствительного инструмента были определенные параметры (фильтры категорий, регламентировавших отбор важного и достойного изучения, отношения порядка между частями и правила их организации в целое) и своя «пропускная способность», менявшаяся со временем. В одном и том же историко-культурном контексте могли сосуществовать разные версии «естественных историй»,

³¹ Cooper A. *Inventing the Indigenous: Local Knowledge and Natural History in Early Modern Europe*. Cambridge, 2007.

³² Ogilvie B. *The Science of Describing...*

предлагавших несхожие пути узнавания и репрезентации природы. Было бы неверно рассматривать смену таких образцов сочинения как последовательную, как историю превращений одного и того же типа текста.

Думается, что востребованность «естественных историй» в интеллектуальной истории столь длительного периода была связана с их способностью упорядочивать разнообразные факты и приводить их в систему. «Естественные истории» были открыты для модификаций (их написание не регламентировал какой-либо институт) и для инноваций (логика коллекционирования позволяла включать в текст наблюдения на основе персонального опыта, эмпирических исследований, освоения земель Нового Света и т.п.). Таким образом, этот вид ученого текста был гибким инструментом, сочетаемым с другими типами текстов-исследований (например, с хорографией, с антикварными штудиями древностей). Возможно, с этим связана ее способность адаптироваться к разным эпистемологическим контекстам: неслучайно само понятие естественной истории не исчезло и в XIX веке.

Какого рода знание о мире представляли «естественные истории» XVI–XVIII вв.? Рассмотрим их как подвижное единство способов производства знания о широко понятой природе и планов его выражения, текстов сочинений с их вариациями. В этой работе будет говориться о внутренней структуре, логике устройства, и порядке дискурса естественноисторического знания.

Попытаемся ответить на три ключевых вопроса:

1) Каким был предмет знания в исследуемых текстах? На что преимущественно был направлен взгляд исследователя, писавшего «естественную историю»?

2) Как это знание было организовано, упорядочено или даже систематизировано? Как соотносились его части, что с чем могло сочетаться, как выстраивалась его последовательность?

3) Как это знание было представлено в вербальной форме? Каковы ключевые слова и понятия, поэтика текстов, особенности построения ученого сочинения?

Преимущественный объект внимания – сами тексты, их организация, последовательности слов, сочетания аргументов и риторики, форма, в которой выражено знание, история трансформации способов высказывания и письма о природном мире, случаи «переключки» между сочинениями или «игнорирования» такого условного общения.

Рассмотрение «естественных сочинений» под таким углом зрения приводит нас к мысли о материальности текста. Она заключается не только в том, что любое ученое сочинение имеет материальную форму, влияющую на содержание (вид книги, тип шрифта, оформление и иллю-

страции). Но повествование состоит из слов и их сцеплений, предложений, абзацев, из высказываний, историй и т.п. Рассматривая эту материю текста можно увидеть, как группируются близкие по устройству сочинения по естественной истории, как в них дрейфуют топосы и близкие способы репрезентации, переходят из одного тома в другой сходные методологические и когнитивные установки; как делаются более очевидными границы «естественных историй» с другими жанрами; как дискурсивное единство размывается или становится очень плотным. Наконец, это позволяет зафиксировать моменты, когда такие тексты включают в себя нечто принципиально новое и начинают меняться, возможно, до того, как исследователями зафиксирована смена научной парадигмы.

Определенную методологическую проблему представляет отбор источников для изучения. В этой работе мы исходили не из принципа полноты; но выбирали наиболее репрезентативные сочинения для более подробного разбора, case-studies. Мы отдаем себе отчет в условности выбора наших текстов по принципу «сходства и различия»: менее всего нам бы хотелось утверждать, что представленная здесь траектория изменений «естественных историй» непрерывна, преемственна, и являет собой «линию развития» этих текстов. Нам ближе позиция, в соответствии с которой работа современного исследователя – это археологическое обнаружение дискретных фрагментов, из которого любой анализ и любая интерпретация выстраивают конвенциональную связность и линейность – для удобства рассуждения.

II. «Изобретение» естественной истории в интеллектуальных сообществах натуралистов XVI века

2.1. Предыстория жанра

В интеллектуальной культуре «долгого XVI века» можно найти множество способов представления Природы; знание о природном мире могло выражаться в весьма разных нарративных и художественных формах. Интенсивность обращения к этой теме связана с постепенными переменами в интерпретациях природного мира и с видением разных способов *использования* природы, подталкивавших к производству разных видов знания. Соседство в середине XVI в. новых «естественных историй» с бестиариями, трактатами о животных для охотников, руководствах о травах для врачей, сборниками эмблем и т.п. указывает на прагматичность знания. Для разных целей служили разные типы сочинений, со своими способами связывать слова и значения, формулировать предмет, решать практическую задачу в расчете на ту или иную группу читателей. Было бы неверным говорить о превращении одного дискурса в другой, или о линейном «развитии» знания-письма о природе.

Нас, в частности, будет интересовать вопрос о том, в каких социальных и культурных контекстах произошло второе рождение естественной истории как дисциплины и типа сочинения. Это общий контекст натурфилософии и гуманистических штудий, причем не только высоких ученых и философских исследований природы вещей, но и популяризированного, укорененного в ренессансной культуре любопытства знания³³, предлагавшего «премудрость» в удобных для восприятия формах, - в книгах «зерцал» и «секретов Природы», в коллекциях редкостей.

Еще один, практический контекст, который оказался решающим для становления естественной истории – это быстро развивавшееся медицинское знание аптекарей, врачей, ботаников и университетских профессоров. Хотя речь идет о непосредственно связанных областях знания, тем не менее, они находили выражение в разных видах текстов со своими способами познания и языками описания мира природы.

На протяжении всего XVI века, в продолжение интеллектуальных трудов их предшественников, философы, занимавшиеся наукой о природе, математики, астрономы и физики уточняли (и, уточняя, радикально пересматривали) картину мироздания. Прежде всего, это касалось натурфилософии Вселенной – космологии и астрономии. Поиски скрытой гармонии Вселенной подтолкнули Коперника к математической «ревизии» сложной и громоздкой птолемеевой системы мира, что потребовало радикального отказа от прежде незыблемой истины. неподвижная Земля, пребывавшая (согласно принятой точке зрения) в центре мира, в работах Коперника, лишалась особых законов. Земля, как и другие планеты, вращалась вокруг своей оси, и все вместе они, прикрепленные к сферам, равномерно, с эпициклами и деферентами, обращались по круговым орбитам вокруг Солнца.

В исследованиях Коперника для нас важна сама решимость ученого искать ответы на вопросы о тайнах Творения не в трудах «древних», но опровергнуть их мнение, сколь авторитетным оно бы ни было, и положиться на собственное суждение и свою систему доказательств. Как будет видно в дальнейшем, похожий, хотя и несопоставимо менее вызывающий интеллектуальный ход лежал в основе и возникновения естественноисторической дисциплины.

Обратим также внимание на работу Коперника по составлению звездного каталога, его расчеты положений звезд и планет, вычисление размеров Солнца и Луны и расстояний до них. Теоретические положения Коперника и его практические вычисления были продолжены и существенно пересмотрены следующими поколениями астрономов, в

³³ *Daston L., Park K. Wonders and the Order of Nature...*

чьих трудах производство знания основывалось не столько на составление умозрительной математической модели, сколько на систематические наблюдения за звездами и планетами. Так, многолетние астрономические наблюдения позволили в конце XVI в. Браге без помощи телескопа составить каталог с описанием положений около тысячи звезд, причем выполнить эту работу с большой, в сопоставлении с предшественниками, точностью.

Переход от чтения «древних» до самостоятельной корректировки их трудов, распространения практик системного наблюдения за природными телами и составления всеобъемлющих каталогов и энциклопедий произошел не только в астрономии, но и в той области натурфилософских штудий, которая касалась земного царства Природы.

Исследования «работы природы», изучение физики, элементов, свойств, количеств, бесконечности, движения, изменений материальных вещей также достаточно долго были связаны с освоением наследия Аристотеля. Так, например, усилия первого профессора натурфилософии в университете Падуи Дзабареллы были направлены на восстановление истинного смысла аристотелевских текстов и отделение греческого текста от средневековых комментариев. Его изданный в 1590 г. посмертно труд *De rebus naturalibus* содержал тридцать трактатов по аристотелевской натурфилософии, включая трактат «О природе».

Свое значение для натурфилософского понимания «Природы» сохраняли и неоплатонические идеи о предустановленной иерархии мироздания, отражении сходных форм друг в друге, подобии макро- и микрокосмоса, возможности познания одного через другое. Они давали подтверждение общей установки исследователей природы: познавать Создателя через его творения, Бога «в вещах», сколь велики или малы они бы ни были. В мире природы внимание к малому было легитимировано самой идеей постепенного продвижения к большему: от царства камней к травам и деревьям, от них к насекомым и рыбам, к птицам, животным, и, наконец, в соответствии с порядком шести дней Творения, к человеку. Восхождение от изучения простых форм к более сложным этапам знания давало надежду на раскрытие великих тайн. В работах многих ренессансных исследователей Природы в виде прямых или неявных отсылок присутствовала тема поиска «мудрости древних», *sapientiae pristinae*. Изучение природного мира мыслилось как один из путей, который направлял к этой мудрости. Дискурс тайного знания в ученых текстах подразумевал переплетение естественнонаучного с мистическим, связь исследований природы с герметической традицией, с магией – не «суеверной» магией и не работами чернокнижников, а той, что позволяла творить удивительные чудеса с помо-

щью природных сил. Знание вещей и их свойств возвращало человеку некогда утраченную власть над творениями: эта идея, выраженная на протяжении более ста лет такими разными авторами, как Пико делла Мирандола, Парацельс или Френсис Бэкон, была сквозной для текстов ренессансных трактатов о растениях и животных.

На более простом и популярном уровне тема тайн и чудес природы в сочетании с обещаниями их пользы для достижения здоровья и долголетия, или их выгодного практического использования проходила в многочисленных «книгах секретов», которые публиковались в европейских странах на латыни и национальных языках. В таких книгах перед читателями далекие и экзотические вещи представляли наряду с повседневными, но увиденными в неожиданном ракурсе, - целебными травами, металлами и солями, камнями, водами, с животным миром. Показательны названия таких сборников, включавших и отрывки из средневековых текстов, травников и лапидариев, и фрагменты переводов «Естественной истории» Плиния, и выдержки из современных писателей: “A Summarie of the antiquities and wonders of the world abstracted out of the sixteen first books of the excellent historiographer Plinie...”, 1566. На дискурсивном уровне «Природа» мыслилась в одном ряду с «редкостями» и «древностями», была оплетена сетями тайн, загадок, символов и намеков на скрытые значения.

Этому весьма способствовало и то, что в ренессансной Европе к XVI веку сложилась развитая культура приобретения и экспонирования чудес – редких, непонятных природных объектов, а также чужеземных диких животных, древностей, рукотворных вещей из Нового света и с Востока. Такие вещи привозились, продавались и покупались, состязаясь в странности и уникальности; «натуралии» («рога единорогов», «монстры»), кости китов, чучела экзотических зверей и птиц, окаменелости, раковины и т.п.) вместе с культурными артефактами становились предметами коллекционирования, пополняли кабинеты любопытствующих, выставлялись на обозрение как экспонаты ранних музеев³⁴.

Филологические занятия гуманистов были столь же важны для становления естественной истории. Познание божественных творений достаточно долго производилось через изучение и самих вещей, и знаков, «вписанных» в вещи. Дискуссионный вопрос, по которому мнения исследователей расходятся, касается статуса знака в ренессансной интеллектуальной культуре. Знание о мире, глубоко христианское в своих основаниях, обращающееся к учению неоплатонизма и герметической традиции, предполагало, что мир сотворен Словом, и познается через

³⁴ Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment...

слова. Поэтому изучение древних языков, «имен вещей» в старых и новых языках рассматривалось как прямая дорога к постижению той самой «древней мудрости» и тайн. Вселенная представляла как полная намеков, отсылок одних вещей к другим, через сходство и подобие. Смыслы шифровались и дешифровались в вербальных и визуальных формах. Косвенным свидетельством тому может быть развитый культурный язык аллегорий, на котором изъяснялись писатели, поэты и художники, и с помощью которого создавались аллегорические картины на первых страницах ученых трудов о природе и о работе Природы в других областях знаний и искусств.

Пример текстов, введенных в широкий оборот и приобретших большую популярность в XVI в., в которых пересекались и насыщенный язык символов и аллегорий, и природные сюжеты, дают эмблемы. В этом жанре развлечение сочеталось с назиданием и повторением моральных истин. Эмблема состояла из картинки, девиза или морали, и поясняющего текста, часто стихотворного. Например, рисунок, на котором лиса занимала нору барсука, сопровождался заголовком: «то, к чему стремишься, получит твой враг»; далее в стихах коротко рассказывалась соответствующая история. Основоположителем этого жанра считается Андреа Альчиати, опубликовавший в 1531 г. книгу с подборкой из таких текстов с изображениями. Книге сопутствовал большой успех: она переиздавалась, дополнялась новыми рисунками; эмблемы Альчиати многократно воспроизводились в других сборниках. Не менее известной была «Книга эмблем» Иоахима Камерария. Несмотря на развлекательность эмблем, считалось, что они предлагали читателям свое знание о мире через раскрытие символических подтекстов известных вещей и извлечение моральных уроков.

Умение читать, различать этажи значений и вычитывать глубинные смыслы текста, отточенное традициями христианской экзегезы и университетского богословия, проецировалось на природу³⁵. «Прямое» познание книги Природы, производимое через наблюдение и описание, было весьма важным предприятием (о чем мы скажем далее более подробно). Первый, буквальный уровень интерпретации давал знание о малом, в котором содержались знаки и «семена» аллегорических и мистических смыслов. Тем не менее, перед ренессансным ученым простирался лес из символов, через которые можно было получить более глубокие познания о природе вещей, и они еще представляли эрудитское и практически ценное знание о царствах творений как часть большего знания.

³⁵ Eamon W. Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture. Princeton: PUP, 1994.

В то же время, у каждого этажа в этой иерархии значений была своя прагматика. Думается, что это обстоятельство явилось точкой расхождения в спорах современных исследователей. При всем сходстве, историки все же по-разному интерпретируют вопрос о том, *насколько* для ренессансных ученых, авторов «естественных историй», символы были соединены с «вещами», и *насколько именно* область филологии мыслилась как отличная от «естественного» знания по способу связи знака и «вещи». Так, всеобъемлющий характер такого соединения подчеркивается в работах У. Эшворта, вслед за М. Фуко³⁶. Подробно эти связи разбираются в исследовании Дж. Боно³⁷. Акцент на соединении знака и «вещи» вполне объясним: он связан с тем, что поколения историков трактовали увлечение ренессансных натуралистов символизмом природы с модернизаторских позиций. В полемике с этими авторами Б. Огилви в «Науке описания» по-иному расставлял акценты. Конечно, натуралисты Ренессанса интерпретировали мир природы как наполненный символическими подтекстами. Тем не менее, следует видеть и те отличия, которые они устанавливали между эмпирическим исследованием природы и ее символической интерпретацией³⁸. Одна задача – дешифровка высших смыслов, а другая – восстановление самого текста Книги Природы. При этом часто одни и те же авторы, как Конрад Геснер, занимались и одним и другим при исследовании и написании книг. Поэтому было бы неверно понижать в правах опыт и практику как методы познания натуралистов XVI века.

Все эти контексты важны для понимания того, чем стала естественная история XVI в., для прочтения ее посланий. Тем не менее, для объяснения ее возникновения и оформления в ученых сообществах нам понадобится обратиться к другому контексту – медицинскому знанию.

«Естественные истории» античных авторов имели в ренессансной культуре практическое значение. К ним обращались аптекари и врачи для составления лекарств. Поскольку большая часть лекарств имела растительное происхождение, то самыми востребованными были книги прославленного сочинения Плиния, повествовавшие о растениях и их полезных и вредоносных свойствах, а также «История растений» Теофраста и «О лекарственных веществах» (труд с описанием тысячи медицинских препаратов и шести сотен растений) Диоскорида. Греческие сочинения были переведены на латынь, из-за чего оригинальные рассуждения авторов нередко подверглись искажениям. Кроме того, эти тексты

³⁶ Ashworth W.B. Emblematic natural history of the Renaissance...

³⁷ Bono J. The Word of God and the Languages of Man...

³⁸ Ogilvie B. The Science of Describing... P. 16.

в Средние века были дополнены множеством комментариев, обросли массой неточностей – ошибками переписчиков, неправильными вставками, неточными пересказами. Насколько эти «естественные истории» заслуживали доверия? Не наносили ли они вред здоровью больных? Правильно ли в них были идентифицированы растения? – Эти вопросы вызвали в ученых кругах большие споры в последней трети XV в.

С этих споров, фактически, начинается новая история естественной истории. В содержательном и социальном оформлении естествоисторической дисциплины в конце XV – начале XVII в. были задействованы несколько поколений исследователей, представители разных стран и профессий. На протяжении указанного периода у натуралистов сменялись познавательные ориентиры, цели и методы работы. Вначале новая дисциплина складывалась благодаря работам отдельных ученых. Но очень скоро она стала коллективным произведением целой сети сообществ филологов, аптекарей, врачей, ботаников, университетских профессоров медицины и теологии, книгоиздателей, художников. Из итальянских университетов к XV в. небольшие группы натуралистов, занимавшихся естественной историей, распространили свою работу в города Северной Европы, куда возвращались студенты из Италии. В XVI в. эта дисциплина создавалась и обретала форму в трудах ученых, путешественников, коллекционеров по всей Европе, в их взаимной переписке, в обмене любопытными образцами, в критическом чтении, переводах и публикациях работ друг друга, в совместной постановке новых исследовательских вопросов.

Рассмотрим подробнее, что представляли собой интеллектуальные формы и социальные практики, на основе которых сформировался дискурс «естественных историй»; обратим особое внимание на работу ученых, создававших эту новую дисциплину.

2.2. Естественная история и полемика о древних

«Второе рождение» естественной истории связано с критическим чтением античных текстов о природе, с переводами, публикациями, критикой Аристотеля, Теофраста, Плиния, Диоскорида. В эти первые десятилетия (в последней трети XV века) заниматься естественной историей было возможно, ограничиваясь лишь теми методами, которые давала филология. При этом сама эта область знания мыслилась как сугубо прикладная для врачей.

Начало полемике об античных текстах положил гуманист Николо Леоничено, преподававший моральную философию и медицину в университете Феррары. В своих трудах он отстаивал идею замещения арабских медицинских текстов греческими, как более чистыми и правильными. В его представлении даже Плиний (особенно в переложении

средневековых авторов) допустил много ошибок в медицинской ботанике. Идея Леоничено состояла в критической проверке авторитета, который казался незыблемым. Неудивительно, что такая позиция была воспринята частью гуманистов как вызывающая. Одним из самых яростных защитников Плиния был флорентийский гуманист, профессор греческой и латинской литературы Анджело Полициано. Развернувшаяся в серии работ и памфлетов дискуссия стала известна как спор о Плинии³⁹.

В ее дальнейшем развитии сыграла роль публикация Эрмолао Барбаро “*Castigationes Plinianaе*” (1492), в котором он исправил около пяти тысяч ошибок в «Естественной истории» Плиния. Кроме того, Барбаро перевел (ок. 1481 г., издано в 1516 г.) Диоскорида, с дополнениями и собственными комментариями на основе непосредственных наблюдений растений. Публикации Барбаро сделали непреложным тот факт, что в тексте римского автора существовали ошибки. Но с чем они были связаны? Для защитников Плиния это обстоятельство было результатом неаккуратной работы многих средневековых переписчиков. Для Леоничено – позволяло заподозрить и недостаточную точность самого первоисточника. Возможно, что Диоскорид преувеличивал, сколько именно растений он изучил непосредственно, и что Плиний не слишком хорошо разбирался в ботанике. У этого сомнения был практический смысл: доверяя тексту, врач мог сделать непоправимую ошибку в лечении больного. Леоничено издал трактат “*De Plinii, et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus*” (О медицинских ошибках Плиния и многих других врачей, 1492 г.), где собрал случаи неточных названий и неправильного описания свойств растений в «Естественной истории» и в сочинениях других авторов.

Обе стороны сошлись в одном, что единственным способом выяснения правды было перепроверить Плиния: идентифицировать описанные им растения и их свойства. Эту работу выполняли уже ученики Леоничено, Эвриций Корд, Леонарт Фукс. Сам же Леоничено продолжил свою работу как гуманист, собирая рукописи и издания греческих авторов. Леоничено и Джодрджио Валла составили подборку манускриптов для первой греческой публикации Диоскорида – в 1499 г. (перезд. 1518). Современники получили новые критические версии этих текстов; за ними последовали новые издания и переводы. Все это указывало на большой интерес к античным «естественным историям» и на их недостаточность для решения практических задач.

Таким образом, основной вопрос к классическим естественноисторическим произведениям был связан с их использованием как руко-

³⁹ *Grendler P. F. The Universities of the Italian Renaissance. P. 344.*

водств для лечения больных. Тем не менее, этот интерес оставался сравнительно частным до тех пор, пока не была произведена реформа самой медицины. Сдвиг произошел тогда, когда медицинские факультеты университетов получили право контролировать работу аптекарей⁴⁰. В свою очередь, это потребовало введение в куррикулум нового курса по *materia medica*, который должен был научить студентов разбираться в аптекарских делах, знать медицинские растения и компоненты лекарств. Первый курс по медицинской ботанике был прочитан в Падуе в 1533 г., затем в Болонье и Монпелье; к середине века они стали обычной практикой европейских университетов. Чтение таких курсов требовало демонстрации растений, поэтому при университетах стали основываться медицинские сады, как это происходило в Падуе и Пизе в 1540-х гг.

2.3. Наблюдение и описание природы

Ренессансная естественная история менялась на протяжении века: ее цели, методы, языки, формы организации дисциплины. Тем не менее, исследователи рассматривают ее как «мост» между знанием о природе Средневековья и науками XVII века.

Поколение учеников Леоничено и итальянских гуманистов, конечно, продолжало издание и комментирование античных авторов. Так, в 1554 г. Пьетро Маттиоли, итальянский врач и ботаник, опубликовал комментарии к Диоскориду. Это сочинение было переведено на другие языки, что способствовало популяризации знаний по ботанике.

Но в 1530-1560 гг. были написаны и новые работы, в которых натуралисты отошли от воспроизведения древних и стали полагаться на свой собственный опыт. Можно сказать, что в это время начинает оформляться поле естественной истории как сфера практических исследований – сперва в медицинской ботанике, а затем и в других областях знания о природе. Продолжая труды гуманистов, их ученики стали изучать саму Книгу Природы, отложив на второй план штудии классических текстов: так постепенно в естественной истории произошел сдвиг от филологии к практике непосредственных наблюдений.

Так, например, Отто Брунфельс, человек с гуманистическими интересами, автор многочисленных богословских трудов, трактатов по арабскому языку и педагогике, в то же время занимался ботаникой. В этой сфере его методы сильно отличались от традиционной критики текста. Брунфельс наблюдал, составлял гербарий и описывал немецкую флору (то, о чем, конечно, не писали древние). При этом его в меньшей мере занимала польза растений для медицины, - тенденция, которая спустя несколько десятилетий стала преобладающей. Брунфельс опубликовал

⁴⁰ *Ogilvie B. The Science of Describing... P. 33.*

результаты своих занятий в трехтомной книге «Живые изображения трав» (*“Herbarum vivae icones ad naturae imitationem summa cum diligentia et artificio effigatae”*, Страсбург, 1530–1536). Растения были представлены без систематики, с народными названиями на немецком языке.

Труд Брунфельса был необычен тем, что в нем приведены изображения растений. Прежде тексты могли обходиться без иллюстраций или воспроизводили образы из других книг. Рисунки и гравюры для Брунфельса выполнил художник из мастерской Дюрера Ханс Вайдиц. Рисунки делались с натуры, и художник изображал именно те конкретные растения, которые видел – с поврежденными листьями, с корнями. Считается, что эта публикация установила новый стандарт для естественноисторических книг. Такой принцип репрезентации животных распространен в сочинениях по естественной истории лишь спустя сто лет.

Знания о природе в рамках естественной истории долгое время отличала неравномерность. Ботаника как имевшая непосредственное практическое значение гораздо быстрее стала выходить из «риторической» парадигмы и в свою очередь предложила важные инновации для знания о живой природе. В то же время, исследования, посвященные животному миру (причем иногда выполнявшиеся теми же авторами, которые эмпирически изучали растения и лекарственную ботанику), еще долго оставались непосредственно связанными с изучением «слов», и опирались на книжное знание. Вехой в складывании текстовой формы большого энциклопедического труда по естественной истории считается написание и публикация «Истории живых существ» (*“Historia animalium”*, 1551-1558) швейцарского врача и ученого Конрада Геснера.

Помимо ботанических сочинений *“Enchiridion historiae plantarum”* (1541) и *“Catalogus plantarum”* (1542), которые снискали Геснеру славу и у современников, и в XVIII в., он написал гуманистические труды: *“Bibliotheca universalis”* (1545), каталог на латинском языке, греческом и еврейском всех когда-либо живших авторов с названиями их произведений, *“Mithridates de differentis linguis”* (1555), перечень 130 известных языков с переводом Господней молитвы на 22 из них, и другие работы. Среди этих энциклопедических подборок и вышли книги истории о живых существах – по тому о животных живородящих, яйцекладущих, о птицах, рыбах и водных животных, змеях (в общей сложности более 4500 страниц и 1000 иллюстраций).

Хотя название сочинения Геснера и отсылало читателя к произведению Аристотеля, этот труд был оригинальным. Он стал моделью для гуманистической «естественной истории», и эта модель просуществовала около ста лет (последней в этом ряду считается публикация «Естественной историей четвероногих» Яна Йонстона в 1650-х гг.). Востре-

бованность этого типа текста связана с тем, что у «естественной истории» в версии Геснера (а позже Альдрованди и Йонстона) был системообразующий смысл. В ее тексте обнаруживается одна из форм нового универсализма, построения всеобъемлющей системы, в которой мир животных упорядочивался в соответствии с алфавитом и языком и описывался через подборку всех известных автору книжных свидетельств о том или ином существе. Такая форма текста позволяла решать иную, чем в случае с ботаникой, задачу: упорядочить разнообразие вещей в мире, выразить их красоту, внутреннюю стройность и согласованность, собрать воедино множество разрозненных сведений – знаний, накопленных в культуре за столетия, и найти среди них место для современных ученых изысканий.

К середине XVI в. можно говорить о складывании международного сообщества натуралистов, занимавшихся и ботаникой, и штудиями в области медицины, и натурфилософией, и исследованиями животного мира. К поколению 1530-1560-х гг. принадлежали не только итальянцы, но и выходцы из стран Северной Европы, большинство из которых училось в Италии. Их работа была связана с распознаванием флоры и фауны в своих странах и сопоставлении с классическими текстами. Большинство исследователей были врачами. Медицинские цели требовали непосредственного наблюдения за растением и точности его описания, как словесного, так и визуального. В то же время, все больше работ (гербариев, описаний растений) пересекали границы медицины и устанавливали иной предмет для изучения – «царство растений» или «царство животных» как таковое. В более позднее время ряду исследователей этой эпохи были даны почетные имена «отцов ботаники»: это Отто Брунфельс, Иероним Бок, Леонарт Фукс, Пиетро Андреа Маттиоли, Валерий Корд, Ремберт Доденс. В центре внимания этих авторов – точное описание растений, восстановление «букв» в тексте Книги Природы. Составление таких энциклопедических трудов было немислимо без эмпирических исследований – путешествий по своим странам и другим землям, наблюдений, – и без выработки точного языка для описания. Отдельным вопросом были принципы упорядочивания материалов в таких сочинениях.

Так, например, в знаменитом труде Леонарта Фукса, немецкого ботаника и врача, профессора медицины в университете Тюбингена, “*De historia stirpium commentarii insignes*” («Достопамятные комментарии к истории растений», Базель, 1542 г.) был выбран алфавитный принцип расположения статей в соответствии с греческими названиями растений. В этой книге было описано более 500 видов растений (400 принадлежали немецкой флоре, и многие из них были представлены в ученом тексте впервые); к ним прилагался словарь терминов. Вербаль-

ные описания сопровождалась иллюстрациями, которые должны были точно воспроизводить, как выглядели живые растения. Впервые Фукс опубликовал и имена, и даже портреты художников, сделавших рисунки для этой книги. В предисловии Фукс подчеркивал, что его работа предназначалась студентам медицины, поскольку врачи до сих пор прискорбно мало знали о растениях. Поэтому лекарственные свойства растений были описаны с особым вниманием, хотя их строение, рост и распространение тоже попадали в сферу внимания автора.

По сходству или родству растений располагал материал в своем гербарии Иероним Бок. Первое издание его «Книги растений» (*Kreutterbuch*) вышло в 1539 г. без иллюстраций (в издании 1546 г. его проиллюстрировал 550 гравюрами по дереву художник Давид Кандел). Отталкиваясь от сочинения Диосокрида, Бок предложил способ систематизации для 700 видов растений Германии.

Фламандский врач и ботаник Ремберт Доденс, впоследствии придворный врач императора Рудольфа II в Вене, профессор медицины в университете Лейдена также предпринял попытку систематизировать растения в «Книге растений» (“*Cruydeboeck*”, 1554; позднее – в латинской версии этого труда “*Stirpium historiae pemptades sex*”, 1583). Доденс взял за образец книгу Фукса (откуда заимствовал и ряд иллюстраций). Но вместо алфавитного принципа он ввел иной порядок изложения, подразделив царство растений на шесть групп. Основное внимание в этой книге также уделялось медицинским травам. Во второй половине XVI в. книга Доденса многократно переводилась на европейские языки: в 1557 г. его перевел на французский Клюзий (“*Histoire des Plantes*”), этот перевод в свою очередь был издан по-английски в 1578 г. (Генри Лит, “*A new herbal, or historie of plants*”). Считается, что это сочинение уступало по числу переводов лишь Библии.

В середине века в Европе сложилась система весьма прочных коммуникаций между натуралистами. Контуры этого сообщества могут быть прослежены в переписке Конрада Геснера. В его «Истории животных» был приведен длинный перечень тех, кто внес вклад в составление этой монументальной энциклопедии. Это врачи, аптекари, университетские преподаватели *materia medica*, - и не только люди, прямо связанные с медициной, но и теологи, преподаватели священных текстов и светской литературы, несколько адвокатов и издателей книг, людей связанных с городским управлением. Согласно Б. Огилви, *album amicorum*, дружеский альбом Геснера, в котором новые знакомые записывали свои имена и свои девизы, содержал 227 автографов, и большинство из этих людей были заинтересованы (в соответствии с пометками хозяина альбома) в естественной истории.

В Европе быстро развивалась культура интереса к ботанике, к наблюдениям за природой – как у ученых, так и у любителей. Большую роль в этом сыграло распространение новых книг. Они, в свою очередь, стимулировали практику путешествий со сбором гербариев и природных образцов, - и далекие поездки, и путешествия по своей стране.

В пятитомной «Истории растений» (“*Historia Plantarum*”, 1544) немецкий врач и ученый Валерий Корд не столько стремился систематизировать растения, сколько усовершенствовать методы их изучения, наблюдения, высушивания и описания. Несколько лет Корд провел в путешествиях по Европе, со сбором образцов для своего труда.

В Британии Дж. Лиланд и У. Кемден, составлявшие своеобразные реестры содержимого британских графств, не писали специально о природе, но их сочинения явились «подстрочником» для натуралистов и хорографов следующего века. Геснер ежегодно совершал путешествия в горы, не только чтобы собирать растения, но и ради самой красоты горной природы (в 1555 г. он даже издал книгу о своих экскурсиях “*Descriptio Montis Fracti sive Montis Pilati*”). Много путешествовал по австрийским Альпам и Карл Ключиз (Шарль де Леклюз), первым из ботаников поднявшийся на горы *Ötscher* и *Schneeberg* и описавший впоследствии альпийскую флору. Пьер Белон, автор естественной истории рыб, в 1546-1549 гг. путешествовал не только по Европе, Англии и Испании, но по странам Средиземноморья и Ближнего Востока.

Таким образом, натуралист середины XVI в., сохраняя интерес к гуманистическим исследованиям, уже не мог изучать естественную историю в библиотеке. Хотя по таким сочинениям как «История животных» Геснера он представляется исключительно книжником, это уже не соответствовало действительности. Непосредственное личное наблюдение сделалось неотъемлемой частью изучения Книги Природы. Именно в это время для естественной истории становится очень важно *описание* (по возможности точное) природных объектов. На дискурсивном уровне оно фактически являлось самой «естественной историей». Описание было и процессом, и результатом исследования.

За первыми попытками описания растений и живых существ последовала их каталогизация, самостоятельные исследования, основание коллекций, учреждение ботанических садов, и издание новых книг по естественной истории.

2.4. Составление каталогов и коллекций

К 1560-м естественная история оформилась как дисциплина, дистанцируясь от медицины. Филологический материал продолжал играть огромную роль в создании новых текстов, но несопоставимо большую по сравнению с предшествующим временем стал играть собственный опыт натуралистов и их исследования.

Поколение ученых, публиковавших труды в 1560-1590-е гг. продолжили большую описательную программу своих предшественников. Естественная история занималась установлением того, какие виды существовали на свете: их идентификацией, составлением перечней обычных и редких растений и животных, и сбором материалов – текстов, рисунков, экспонатов. Результаты таких трудов обобщались в книгах, каталогах, коллекциях.

Все эти работы были плодами международной переписки внутри новой «сети». Из-за повсеместного введения курсов по *materia medica* число врачей, обученных в сфере естественной истории, сильно увеличилось. Между учеными Южной и Северной Европы существовали прочные корреспондентские связи. Тем не менее, эти объединения еще были далеки от ранних научных сообществ XVII века с их ритуалами и практиками *производства* знания.

Формально естественную историю не преподавали в университетах, как натурфилософию, и поэтому она могла сильно меняться. В изучаемый период многие натуралисты отказались от того, чтобы представлять сферу своих занятий как продолжение медицинских штудий. Между интересами врачей и ученых обозначились расхождения: врачи получили точные рецепты; но исследователи стремились открывать новые виды и изучать их.

Как мы убедились, основой этой интеллектуальной сети стала ботаника. Конечно, исследователи изучали и рыб, и насекомых, и рептилий, и птиц, и животных. Но изучение естественной истории в первую очередь было сосредоточено на травах, кустарниках и деревьях. На каждый один трактат о камнях и металлах как у Агриколы “*De re metalli-са*” или о животных, как у Геснера и Альдрованди, приходилось по несколько «естественных историй» растений.

В последней трети XVI века естественная история сильнее, чем прежде, соединилась с коллекционированием. Сбор редкостей и составление коллекций, как мы сказали выше, - существенно более ранняя практика ренессансной культуры. Вельможи и богатые горожане приобретали диковины, обменивались ими, посылали их в дар. В этой культуре был важен сам факт обладания чудом, как знак символического статуса обладателя; и не столь важно знание о том, что оно собой представляло. Чем дальше, тем большее внимание стало уделяться содержанию коллекции, его упорядочиванию и объяснению.

Европейская культура любопытства при внешнем сходстве проявлений была весьма диверсифицированной. Итальянские ренессансные коллекции отличались от кабинетов диковин по другую сторону от

Альп⁴¹. Флорентийские коллекционеры ориентировались на давнюю традицию размещения артефактов в частных кабинетах для ученых занятий (скажем, при экспонировании коллекции предметов из Америки, собранной для Козимо Медичи в Палаццо Веккио). На севере сбор и экспонирование редкостей и чудес носили более публичный характер и коллекция превращалась в раннюю форму музея, - как происходило с собранием Альбрехта V, герцога Баварского в Мюнхене.

«Коллекционная» естественная история стала страстью вельмож и принцев. Это сказалось на статусе естественноисторических книг, которые сами становились объектом коллекционирования. Так, коллекция Рудольфа II в Праге включала в дополнение к чудесам широкое собрание натуралий и большую подборку книг по естественной истории. Естественная история в пространствах садов и коллекций интерпретировалась как «ковчег» или «микрокосм», содержащая представителей всех известных видов и отражавшая власть императоров и князей над этим миром. Увлечение патронами коллекциями сказалось и на судьбе натуралистов. Их приглашали для устройства садов (как Максимилиан II пригласил Ключизия для основания медицинского сада в Вене), для составления каталогов и объяснения диковин в обширных коллекциях.

Многие ученые-гуманисты, составители гербариев, основатели ботанических садов сами собирали коллекции необычных и экзотических видов, позволявшие им заниматься наблюдением и описанием редких природных форм. Ключизий помог организовать и ботанический сад в Лейдене, *Hortus Academicus*. Познания Ключизия, его репутация и международные связи помогли ему собрать обширную и редкую коллекцию растений. Несмотря на скромные размеры, его сад содержал более тысячи различных видов. У Геснера были коллекции растений и окаменелостей; Альдрованди собрал обширную коллекцию натуралий в Болонье. Широко известны современникам были коллекции Феликса Платтера в Базеле (минералы, растения, части растений и животных, насекомых, монеты, древности, рисунки), Олафа Ворма в Копенгагене.

Здесь можно зафиксировать определенное напряжение между обычным и редким в коллекциях и, соответственно, в «естественных историях», а также между объяснением и удовольствием от коллекционирования. Естественная история имела, помимо прагматической и познавательной, эстетическую сторону; увлечение тем или иным ее аспектом по-разному ориентировало натуралистов. Например, основание сада могло преследовать медицинские цели, или это мог быть сад с редкими видами растений. К ним могли добавляться растения с чисто декоратив-

⁴¹ Turpin A. The New World collections of Duke Cosimo I... P. 63-86.

ными функциями. То же самое происходило и с гербариями, и с коллекциями, и с книгами. Так, Клузий опубликовал две большие работы, истории редких растений Испании, Австрии и Венгрии (“*Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia*”, 1576, и “*Rariorum stirpium per Pannonias observatorum Historiae*” 1583), в которых редким растениям отдавался явный приоритет перед обыкновенными.

2.5. Систематизация видов в ренессансной естественной истории

В конце XVI в. количество новых растений, открытых местными ботаниками, путешественниками и исследователями Нового света, очень увеличилось. Описания стали столь многочисленными, что это потребовало выработки принципов систематизации нового знания.

В естественной истории наметился сдвиг от описания к таксономии и классификации, что с начала XVII в. стало характерным признаком сочинений этого научного жанра. Из них постепенно уходит филологический материал, знание о «знаках» отделяется от знания о «вещах». Это, впрочем, не помешало Улиссу Альдрованди и его помощникам после его смерти предпринять издание многих томов естественной истории, - «Орнитологии» (1599, 1600, 1603), «Семи книг о насекомых» (1602), «Четырех книги об ископаемых животных и окаменелостях» (1606), «Истории всех четвероногих парнокопытных» (1613), «Пяти книг о рыбах и одной о китах» (1613), «Трех книги о живородящих четвероногих и двух книги о яйцекладущих четвероногих» (1637), «Истории змей и драконов в двух книгах» (1640), «Истории монстров с отступлениями об истории всех животных» (1642), «Музея металлов» (1648), «Двух книги о дендрологии, то есть об истории деревьев» (1668). В них Альдрованди разделял всех животных на десять видов; и, в то же время, именно в этих работах гуманистическое соединение знаков и природных объектов достигло своего апогея.

В начале XVII в. постепенно стали слабеть связи естественной истории и коллекционирования. Своя литература появилась у любопытствующих, собирателей редкостей и чудес. Своя, приближенная к научной, литература – у исследователей мира природы.

В трудах ученых все больше внимания стало уделяться проблемам «точной» систематизации видов, которая опиралась бы на признаки изучаемых объектов. Так, например, оригинальную систематику предложил итальянский врач, ученый и философ Андреа Чезальпино (Цезальпин). В его сочинении «16 книг о растениях» (“*De plantis libri XVI*”, Флоренция, 1583), помимо уже привычного описания видов растений, была введена сложная система упорядочивания ботанического материала. Она была основана на морфологии растений, строении семян, цветков и плодов. Цезальпин распределил 840 видов по 15 категориям. Сами

принципы выделения групп растений не были одинаковыми, отчего система получилась весьма тяжелой. Два первые класса были основаны на свойствах стебля – кустарники и деревья. Они, в свою очередь, разделялись по положению зародыша в семени. Затем описывались травы, которые классифицировались по наличию или отсутствию семян. В семенах ученый усматривал «сердце» растений, и важным признаком считал положение их «души» в сердцевине. Форма плода, завязи, число семян, форма корня и т.п. давали Цезальпину 15 разделов, которые в свою очередь разбивались на 47 секций. Как справедливо отмечается в современных исследованиях, это, скорее, была классификация признаков растений, а не их самих. Тем не менее, эта попытка ярко характеризует само направление движения в естественноисторической мысли.

Существенно более близкая к научной форма описания растений была использована в работах Каспара Баугина, швейцарского анатома и ботаника. Отметим, что Баугин, подобно ряду предшественников, совмещал гуманистические занятия с естественноисторическими: некоторое время он был профессором греческого языка в Базельском университете, врачом, первым профессором медицины. Баугин предложил основы классификации растений, описал более их 4000 видов; одним из первых он ввел и систематически использовал в своих трудах способ краткого наименования растений из двух слов – двойную номенклатуру, предвосхитив гораздо более позднюю систему Карла Линнея.

Такие опыты в систематизации видов в скором времени стали более последовательными. Ботаника еще долго опережала другие области естественной истории – в языке описания, методах исследования, в построении таксономии. Тем не менее, все эти части представляли общую область интеллектуальных занятий.

В XVI в. изучение природного мира в рамках естественной истории проделало большой путь – от чтения и верификации текстов древних авторов, до подробнейшего исследования флоры и фауны европейских стран. Сложившаяся благодаря практическому интересу врачей и эрудитскому знанию книжников-гуманистов, естественная история к концу этого века выделилась в особую область знания. В течение столетия в европейской культуре оформились сообщества натуралистов, людей, не только интересовавшихся старинными книгами по естественной истории, но практиковавших ее как вид исследования, по сути, создавших ее как самостоятельную дисциплину.

У естественной истории как дисциплины в процессе становления не было жестких рамок. Она быстро изменялась с течением времени, включала в себя разные способы познания и репрезентации природного мира. Координаты в этом поле задавали практики гуманистического

книжного представления предмета изучения, эмпирического исследования, коллекционирования, а также соотнесения уже известных материалов с новыми данными, поступавшими из Нового Света.

Следующим шагом стала институционализация естественной истории в научных обществах и академиях. В начале XVII в. на основе корреспондентских сетей и содружеств натуралистов сложились сообщества ученых, такие как Академия Линчеи, непосредственно посвящавшие свое внимание исследованиям флоры и фауны. В то же время, при всем внутреннем многообразии, ренессансная естественная история, сосредоточенная на узнавании и тщательном описании видов растений и живых существ, сильно отличалась от того, что предложили ученые XVII века.

В XVII в. основной когнитивной проблемой естественной истории стала систематика, возможность построения классификации объектов. К уже известным практикам натуралистов добавились поиски процедур и методов познания природы, а также точного дескриптивного языка; к знанию, основанному на личном опыте, – такое знание, которое требовало изобретения и постановки эксперимента, как, например, в трудах Френсиса Бэкона и Роберта Бойля. С этого же времени формы естественноисторических сочинений диверсифицируются, и к ним добавляется и естественная история страны, и экспериментальная естественная история. В XVII в. из множества разных версий «естественных историй» начали выделяться те, что впоследствии стали своеобразными тупиковыми ветками (например, эстетизированное знание любопытствующих дилетантов); другие же, спустя время, стали рассматриваться как прямые предшественники современных наук о природе.

III. Виды естественнонаучных описаний

3.1. Гуманистическая естественная история

Как мы могли убедиться, в XVI в. естественные истории относились к кругу сочинений, в которых познание мира божественных творений производилось через изучение высших знаков в вещах. К ним могли относиться исследования по медицине (травники, анатомические трактаты), филологии, алхимии, географии и астрономии (трактаты, представлявшие новое знание о мире), а также книги о символах мира, в которых ученое знание сочеталось с элементами развлечения (сборники эмблем, пословиц, секретов).

В интеллектуальной культуре процесс расширения пределов мира и границ возможного предполагал пересмотра всего комплекса знаний и избавления от накопившихся в нем противоречий. Включение инноваций и переоценка традиционных представлений о мироздании давали возможность для более гармоничного обоснования устройства сотво-

ренного мира⁴². В этом контексте у естественной истории было свое место и назначение. Написание естественных историй подкреплялось рядом культурных практик: развитием книгопечатания и книжной иллюстрации, открытиями в науках, путешествиями в страны Старого и Нового Света, патронажем князей, устройством новых пространств для наблюдения «естественного» – садов, кабинетов редкостей, коллекций. На рубеже XVI–XVII вв. к этим практикам добавилась деятельность академий и научных обществ, систематические эксперименты, призванные исследовать «великую Книгу Природы», и разработка новых техник исследования.

Тексты многих естественных историй XVI–XVII вв. отличают общие принципы производства значений и организации нарратива. Образцом для последующих авторов, работавших в жанре гуманистической естественной истории, послужила фундаментальная «История живых существ» Конрада Геснера. Эта форма сочинения просуществовала около ста лет, до 1650-х гг.; условным завершением «эпохи» гуманистических естественных историй может считаться публикация «Естественной истории четвероногих» Яна Йонстона. Проследим характерные черты таких повествований на примере фундаментального труда Геснера.

Швейцарский естествоиспытатель, филолог и библиограф Конрад Геснер (1516–1565) оставил обширное наследие. Среди его энциклопедических трудов вышли пять томов «Истории живых существ» (*Historia animalium*, 1551–1558 г.) – по тому о животных живородящих, яйцекладущих, о птицах, рыбах и водных животных, змеях. На протяжении более ста лет этот труд неоднократно публиковался на латыни и в переводах, полностью и с сокращениями. У него не было прямых аналогов: Геснер предложил свой способ повествования о естественном мире, причем форма большого энциклопедического описания оказалась очень устойчивой; ее приняли другие ученые и читатели. Названия «естественная история» и «история живых существ» («*Historia naturalis*», «*Historia animalium*»), ставшие со времени выхода книг Геснера распространенной формой именованя такого рода текстов, напоминали о классических трудах Аристотеля и Плиния. Но ренессансная естественная история сильно отличалась от обоих «прототипов». Из них заимствовались сведения, рассказы, повторявшиеся из произведения в произведение. Но принципы производства значений и изложения материала изменились. Из книг Плиния была взята в самом общем виде модель организации сочинения. От труда греческого философа сохрани-

⁴² См.: Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучная структура научной революции // Новое литературное обозрение. 2003. № 64.

лись лишь предмет исследования – животный мир, и идея истории как описания, а изучение «причин» уступило место коллекционированию «слов» – эрудитскому перечню всех известных значений, связанных в культуре с тем или иным животным. В гуманистической естественной истории культурная семантика объекта изучения была не менее важна, чем эмпирические данные. В тексте изучалась «природа» существа и определялось его место в системе других творений.

Описание и познание в гуманистической естественной истории максимально сближались, поэтому о своем предмете ученый «знал» тем больше, чем больше «историй» он приводил. Нарратив строился по принципу полноты; его размеры не были ограничены, поскольку в идеале ему следовало объять всю природу, соединив в целое возможно больше сведений. Поэтому естественная история Геснера включала «всех» живых существ, известных человеку, причем задача исследователя состояла в том, чтобы сделать этот список максимально полным. Этот инструмент познания не был предназначен для исключения информации. Поэтому сочинение Геснера – огромный текст, который дополнялся автором в переизданиях.

Знание, которое предлагала эта естественная история, было опосредовано сочинениями предшественников, из которых и заимствовались основная часть информации. Естественная история представляла вторичное описание «вещей». Геснер прибегал к текстам античных и средневековых авторов не от недостатка материала (так, например, он ссылался на других ученых, делая самые очевидные высказывания – «Тело белки чуть больше и полнее, чем тело ласки, но не длиннее. Альберт Великий»). Животные для Геснера водились не в природе, а в других книгах, и лишь во вторую очередь их существование подкреплялось собственным исследовательским опытом.

Каждому герою повествования – животному, птице или рыбе – в тексте естественной истории отводилась отдельная глава. На ее первых страницах помещалась гравюра, сделанная по рисунку с натуры или, в случае фантастических животных, с других изображений. Схожие или родственные формы были сгруппированы вместе. Внутри глав материал не подразделялся на важный и неважный, основной и второстепенный. В этом знании не была выстроена иерархия: единственное отличие касалось количества деталей, которые можно было собрать для характеристики более и менее популярных существ.

Естественная история также не подразумевала отбора источников, из которых заимствовались информация. Среди них фигурировали широко распространенные в то время книги (сочинения Аристотеля, Плиния, Дискорида, Альберта Великого), малоизвестные сочинения, труды

не только ученых, писавших о природе, но и поэтов, разнообразных писателей, старых и новых (как, например энциклопедия пословиц Эразма). Геснер называл всех авторов, на которых он ссылался.

Таким образом, метод исследования Геснера состоял не в наблюдении или самостоятельном изучении предмета, а в обширном чтении произведений древних и современных писателей, в производстве выписок из книг. Все нужные сведения о природном мире содержались в библиотеке. Это утверждение не настолько странно, чтобы его нельзя было бы применить к современному знанию, однако в культуре модернизируется существует несопоставимо больше вопросов к природному миру, которые решаются при помощи наблюдения и эксперимента. В произведении Геснера есть место для нового знания, полученного на личном опыте (но не при помощи *постановки* опытов), однако того, что можно вычитать из книг, может быть вполне достаточно для характеристики животного. В понимании автора естественная история не предполагала задавания новых вопросов. От ученого требовалось вносить уточнения и дополнения в надежный и прочный корпус знания. Сам момент предъявления «вещи» в тексте отменял необходимость ее интерпретации.

Естественная история предполагала одинаковое отношение к обычным животным, редким или новым видам, вымышленным существам, не устанавливая для них особые правила, поскольку все они в равной степени имели текстовую природу. Фантастические драконы, сирены, морские змеи, рогатые зайцы, описывались наравне с привычными собаками, медведями и обезьянами. Напрашивающийся вопрос, верил ли Геснер в предания, которые приводил, неточен. Для автора естественной истории единороги, возможно, где-то обитали на самом деле, но главное, чтобы о них существовали упоминания в других книгах. Желательно, чтобы знание о «вещах» подтверждалось опытом, однако это требование не было обязательным. Способы производства знания о мифических и реальных животных не отличались друг от друга. Было невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность грифона, но это и не требовалось; поэтому эти гости из легенд и бесстиариев дожили в ученых трактатах до второй половины XVII века.

Гуманистическая естественная история устанавливала свои принципы систематики. Мир природы по этой логике подчинялся языку, управлялся им, мог быть расклассифицирован с его помощью. Геснер предложил алфавитный принцип упорядочивания живых существ в «естественной истории». Но использование алфавита не всегда облегчало задачу, а иногда и усложняло ее. Так, первым животным, которое подробно описывал Геснер, была обезьяна, «Арес». По смыслу, такой выбор был удобен, поскольку позволял автору представить множество

значений, которые связывались в античной и христианской традиции с этим животным. Но сложность представлял вопрос с описанием родственных или похожих, или не похожих, но чем-то напоминающих существ, чьи имена в языках начинались на другие буквы. Они добавлялись после основной статьи. Иначе говоря, алфавитный принцип нарушался, а черты родства видов постепенно утверждали свое право быть учтенными при построении системы.

Еще очевиднее относительность алфавитного принципа обнаружилась при переводе труда Геснера на новые европейские языки. Универсальность латинского языка перестала быть всеобъемлющей. Например, у Эдварда Топселла⁴³, напечатавшего на английском большие выдержки из труда Геснера, животные должны были перестроиться в другом порядке, в соответствии с грамматикой английского языка, и далее – в соответствии со сходством видов. «Antalope; Ape, Munkey, More kinds of Apes, Asses of divers kinds» (Антилопа, Обезьяна, Мартышка, Другие виды Обезьяны, Ослы разных видов). В главе об Обезьяне подглавы включали описание близких и далеких, но связанных, в представлении автора, видов, таких как Мартышка, Бородатая обезьяна, Кинокефал или Бабуин, Сатир, Норвежские Монстры, Сфинкс, Сагоин (разновидность лемура), Медвежья обезьяна (трехпалый ленивец), Лисо-обезьяна (опоссум) и др.

Наиболее заметная отличительная черта естественной истории XVI века – включение в текст филологических материалов о животных. Каждая статья разбивалась на части, названные буквами алфавита. В первой «А» говорилось об именах – о том, какие слова обозначают этого зверя в старых и новых языках. В части «В» – о разновидностях этого животного, известных людям (о лисах обычных рыжих, белых, что обитают в Испании, чернобурых, встречающихся в России...), о признаках (пушистый хвост). Затем «С» – о нраве, повадках, голосе, питании, о том, могло ли это животное пригодиться человеку, можно ли его есть, изготавливать из него лекарства. (Скажем, лисы осторожно переходят замерзшую реку по льду; они издают пронзительное тьякanye – и этим словом *gannire* некоторые римские поэты описывают «тьякяющих» на других людей; лисы вываливаются в глине и прикидываются дохлыми, чтобы заманить птиц). Часть «Н» содержала эмблематические описания зверя, рассказы о его симпатиях и антипатиях с другими существами и т.д. В «естественной истории» говорилось о приметах, легендах, девизах, в которых фигурировало животное, делались ссылки на литературные произведения античных и новых писателей, цитировались фрагмен-

⁴³ *Topsell E. The History of Four-Footed Beasts, Serpents and Insects. L., 1658.*

ты из Св. Писания (Матфей 8: «у лис есть норы, у птиц гнезда, а Христу негде преклонить голову»), где с этим зверем сравнивались праведники и грешники, раскрывалось аллегорическое значение животного в различных контекстах; затем следовало несколько страниц пословиц («лису выдает ее хвост»)… Таким образом, гуманистическая естественная история предполагала изучение природы через ответы на вопрос, о том, как культура в прошлом и настоящем отзывалась на существование того или иного божьего творения. Знание о знаках мыслилось как важнейшая часть знания о природе. Каждое животное описывалось как сущность, наделенная устойчивыми признаками. Например, белка – стремительна, обезьяна похожа на человека, но вызывает смех своим подражанием, медведь – свиреп. Часто эти качества были зафиксированы в древних и новых языках. Задача, таким образом, состояла в раскрытии сущностей животных в «историях».

«Атрибуты этих зверей [можно встретить] у многих авторов, латинских и греческих, фесалийский медведь вооруженный, низкий, деформированный, жестокий, опасный, свирепый, жадный; каледонский, эриманфский кровавый, тяжелый, нападающий по ночам; ливийский угрожающий; нумидийский бесстрашный, нападающий, жестокий и ужасный медведь <…> Прежде всего, касательно разных видов медведей, по наблюдениям, в общем есть два: более большой и менее. Меньший более способен лазать по деревьям, чем другой; и никогда они не дорастают до такого размера как те. Кроме того, есть медведи, называемые амфибиями, поскольку живут и на суше, и на море, охотящиеся и ловящие рыбу как выдра или бобер; эти – белого цвета. <…> Медведи водятся во многих местах, как, например, в Гельвеции в Альпах, где они так сильны и исполнены смелости, что могут разорвать в клочья и быка и лошадей, из-за чего местные жители изучают все возможности их поймать»⁴⁴.

Естественноисторический нарратив был гибкой и открытой формой, и его «пропускная способность» была высокой: он позволял включать в себя новые материалы, отвечая желанию найти место в традиции для современных знаний. Такое сочинение могло учитывать данные из опыта наблюдения за природой, например, из записок очевидцев о Новом Свете. Основанное на личном опыте знание также облекалось в форму историй. Эти истории не имели принципиально другой организации, которая вступила бы в противоречие с остальными материалами из книг. Описания недавно открытых животных, гвинейской свиньи, опоссума, райской птицы, включались Геснером в текст,

⁴⁴ Conradi Gesneri Historiae animalium libri. 5 v. Tiguri, 1551-1558. V. 1. P. 1066.

несмотря на то, что об этих существах ничего не рассказывал Плиний или евангелисты, что о них не было эмблем, пословиц и легенд.

Если на первый взгляд может показаться, что созданный Геснером инструментарий позволил охватить и измерить всю природу, то при сравнении материала его сочинения с информацией в аристотелевской «Истории животных» становится очевидным их контраст при явном сходстве ряда сюжетов. Аристотеля занимал вопрос об органах и жизненных функциях в теле животного, о крови, пищеварении, размножении. Он мог рассказывать отдельно о частях зверей, птиц и рыб, сопоставляя желудки, клювы, плавники и т.п. Его взгляд шел от анатомии, от рассеченного тела к телу целому и функционирующему. В гуманистической естественной истории не было ничего близкого этому способу видения. В ней почти не находилось места для абстракции, выделения самостоятельных признаков, по которым могло производиться сравнение. Такой прием появился в ученых текстах в XVII в. Хотя и здесь были исключения, например, в трудах Пьера Белона.

Язык описания в естественной истории не был предметом авторской рефлексии. В многоголосии этого произведения собственный голос ученого не был каким-либо способом выделен. Инновация Геснера касалась визуального языка репрезентации: по логике этого автора одних лишь слов не хватало для представления природных существ. И если раньше сам вербальный текст давал сведения, необходимые для полного и верного знания о предмете, то в гуманистическом исследовании слова утратили самодостаточность. При новых изданиях «Истории» Геснер дополнял их не эмблематическими стихами, а иллюстрациями. Черно-белые гравюры первой публикации впоследствии были раскрашены: живая природа обретала свой конвенциональный облик, приемлемый для книжного знания. Для представления природы была выбрана именно «реалистическая» иллюстрация. Идея изображения животных с натуры была новой для книг XVI века. До этого в средневековых bestiариях могли приводиться выполненные по определенным образцам стилизованные миниатюры, где воспроизводилась сцена из рассказа о характерном поведении животного с аллегорическим смыслом. Традиция более реалистических изображений зверей сложилась в трактатах по искусству охоты.

Первым из ренессансных ученых трудов, где текст сопровождался схематическими гравюрами, выполненными по рисункам растений и животных с натуры был «Сад Здоровья» («*Gart der Gesundheit*», изданный в Майнце в 1485 г.). Другие сочинения о живых существах обходились без иллюстраций. В ботанической иллюстрации произошел поворот, когда Отто Брунфельс издал труд «*Herbarium vivae icones*»

(Страсбург, 1530 г.), предназначенный для идентификации лекарственных растений. В этой книге рисунки выполнил художник из мастерской Дюрера Ханс Вайдиц. Для «зоологических» текстов новый стандарт задала «История живых существ» Геснера.

Иллюстрация в его сочинении представляла собой или «портрет» животного, или сцену из истории об этом звере. Такие изображения соответствовали потребности в наглядном объяснении того, с какой сущностью имел дело читатель. Иллюстрацию в ренессансной естественной истории характеризовало стремление к драматизации, внутреннему конфликту. Льву подобало быть грозным, сирене – таинственной, акуле – ужасной. Визуальный образ передавал не только сходство с «прототипом», реальным или фантастическим, но и показывал, что значило *быть* тем или иным существом.

С какой целью создавался такой текст? Конрада Геснера называют родоначальником зоологии, однако животные были не первостепенным предметом изучения естественной истории. Этот «прибор» был сфокусирован так, чтобы смотреть *на животных*, но и *сквозь них*, сквозь окружавшие их слова.

Один из «больших нарративов» XVI века рассказывал историю Адама, который до грехопадения знал все имена и сущности вещей, – историю утраты мудрости, легенду о Вавилонской башне, о потере универсального божественного языка и о смешении человеческих языков⁴⁵. Ученые-гуманисты искали способы открытия «природы вещей» при помощи восстановления первоязыка, расшифровки символов мира через приметы в окружающем мире. (В этом контексте объясним интерес Геснера к мировым языкам и богословию). Ученые, фиксируя в природе симпатии и антипатии, сходства, аналогии, аллегории, качества, находили подобия, через которые объясняли феномены, и пребывали в поисках знаков, которые могли привести их к «древней мудрости» (*sapientia pristina*)⁴⁶. Естественную историю можно рассматривать в ряду исследований в области астрологии и алхимии, в контексте интереса к иероглифам, поэтическим и визуальным метафорам, практикам расшифровки скрытых смыслов.

⁴⁵ О теориях языка в изучаемый период см.: *Bono J. The Word of God...*

⁴⁶ «Звезды, – говорит Кроллуис, – это родоначальницы всех трав, и каждая звезда на небе есть не что иное, как духовный прообраз именно той травы, которую она представляет, и как каждая былинка или растение – это земная звезда, глядящая в небо, точно так же каждая звезда есть небесное растение в духовном облики, отличающееся от земных растений лишь материей... небесные растения и травы обращены к земле и взирают прямо на порожденные ими травы, сообщая им какою-нибудь особенное свойство». Цит. по: *Фуко М. Слова и вещи. С. 57.*

Гуманистическая естественная история была приспособлена для исследования божественного текста Книги Природы. Она «не стояла в одиночестве на своей собственной полке, чтобы люди открывали ее и извлекали части и фрагменты информации. Скорее, она стояла тайно, скрытая другими томами. Человек мог открыть видимый Божественный текст о вещах, только прежде сняв эти тома»⁴⁷. Естественная история давала возможности для символической экзегезы. Ее задача заключалась не в том, чтобы аккуратно описать зоологические виды, заботясь о правильной таксономии. Мысль о том, что животных надо изучать самих по себе, ограничиваясь физиологией и поверхностью, была чуждой для ученых. Знание накапливалось в ходе раскрытия значений, кладезя смыслов природы. Частью знания о животном (шире – о природе) был символизм того или иного существа, мудрость древних и современных авторов, которые видели в животном подобия, отсылавшие к высшей истине, к культуре и к миру природы. Львы, вороны, киты представляли собой части божественного текста; «животные были живыми буквами в языке Творца»⁴⁸. Целью таких ученых занятий было понимание единства Творения в его разнообразии. В то же время, в сочинениях обнаруживался интерес к играм природы, к ее искусству, «шуткам», отклонениям от правил, подчеркивавшим общие законы⁴⁹.

Элементы иных способов производства знания и его организации появились в естественной истории уже в середине XVI века⁵⁰. Сам Геснер в ботанических трактатах опирался не только на сочинения предшественников, но «и на рассказы, и на свои собственные исследования и поездки». Французский натуралист Пьер Белон (1517–1564), путешествовавший в Грецию, Малую Азию, Египет, Аравию, Палестину, писал труды о рыбах и птицах, исходя из личного опыта, а не из гуманистической книжной традиции⁵¹.

⁴⁷ Там же. С. 175.

⁴⁸ Ashworth W.B. Natural history and the emblematic world view. P. 308.

⁴⁹ См. подробнее: Findlen P. Possessing Nature...

⁵⁰ В то же время Геснер-ботаник производил несколько иное знание, чем Геснер-зоолог. Ср.: «Изучая растения, Геснер делал тысячи набросков побегов, цветков и плодов. Благодаря постоянному упражнению руки и глаза, он достиг большой точности рисунка. Обнаруживая тонкие детали структуры органов, вглядываясь в оттенки красок, Геснер выявлял важные для диагностики видов признаки, тем самым развивая метод познания, совершенствуя не только качество научного рисунка, но и понятия органографии и систематики. Оригинальные рисунки Геснера менее условны, чем гравюры по дереву иллюстрировавшие его естественно-научные труды». – Сютин А.К. Особенности русской ботанической иллюстрации первой половины XVIII века (<http://herba.msu.ru/russian/journals/herba/icones/sytin2.html>).

⁵¹ Belon P. De rarioribus et admirandis herbis. Tiguri, 1555; *Idem*. Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraits retirez du naturel. 1555.

Белон первым из европейских ученых изучил многие неизвестные виды. В труде о морских животных он исследовал около 110 видов рыб, предложив их свою классификацию. Таким же образом, он составил описание всех известных ему птиц и систематизировал их, исходя, в том числе, из сопоставления анатомического строения разных видов. Среди работ Белона были и трактаты по ботанике; в частности, в своих путешествиях он стремился найти те виды растений, которые были упомянуты Дискоридом⁵². Тогда как Геснер помещал в текст о животных девизы, надписи на гербах, рецепты и другую информацию из мира «слов», Белон включал в свои сочинения материалы непосредственных наблюдений. Он также мыслил сходствами и подобиями, взаимосвязями между вещами, которые замыкались на человеке⁵³; но при этом его текст был более специализирован и приближен к современным ожиданиям от работы натуралиста. Естественная история Белона не кажется «странным» текстом; однако в его время ожидания читателей, по-видимому, были иными, так как его произведения в XVI в. не пользовались успехом.

Но в целом нарратив естественной истории изменялся медленно. Свое продолжение эта традиция описания мира получила в трудах итальянского ученого Улисса Альдрованди (1522–1605). Альдрованди преподавал в Болонье философию и естественные науки; основатель первого публичного ботанического сада, он собрал обширную коллекцию ботанических и зоологических видов. Подобно Геснеру, Альдрованди попытался собрать в одном сочинении всеобъемлющие сведения по естественной истории и представить их в сходной текстуальной форме. Первые три тома (опубл. 1599) посвящались орнитологии, в четвертом шла речь о насекомых (опубл. 1602). После смерти автора еще несколько томов были скомпилированы его учениками из материалов его рукописей – о рыбах, змеях и драконах, деревьях и т.п. Публикации дополнялись дорогостоящими иллюстрациями, которые Альдрованди заказывал известным художникам на протяжении тридцати лет. Хотя он был всего на пять лет моложе Геснера, свои работы он писал на пятьдесят лет позже. Альдрованди иногда называют вторым

⁵² *Belon. Voyage au Levant, les observations de Pierre Belon du Mans, de plusieurs singularités et choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges. 1553.*

⁵³ «...Описание Белона обнаруживает всего лишь ту позитивность, которая в его время делала его возможным. Оно не является ни более рациональным, ни более научным, чем наблюдение Альдрованди, когда он сравнивает низменные части человека с омерзительными частями мира, с Адом, с его мраком, с осужденными на муки грешниками, являющимися как бы экскрементами Вселенной; оно принадлежит к той же самой аналогизирующей космографии, что и классическое в эпоху Кролиуса сравнение апоплексии с бурей». – *Фуко М. Слова и вещи. С. 59–60.*

Геснером, который не знал, где остановиться. Это сравнение не вполне точно: он также ставил задачу исчерпывающего описания физического и символического мира животных. Но за полвека эти миры чрезвычайно расширились из-за потока новой информации. В естественной истории Альдрованди знание создавалось по тем же правилам, что и в работе его предшественника; в ней знаки продолжали рассматриваться как часть вещей. Однако то, что Геснер мог изложить в пяти томах, итальянский гуманист был способен представить в тринадцати.

Большой проект гуманистической естественной истории завершился на сочинении «Естественная история четвероногих» (1657) Яна Йонстона (англ. Джон Джонстон, 1603–1675), польского ученого и врача. Хотя этот текст писался в соответствии с моделью Геснера, способы производства значений в нем изменились. Система живых существ и, соответственно, текст книги уже не строились в соответствии с алфавитом. Йонстон располагал объекты своего описания в порядке, связанном с их местом в живой природе (начиная с «царя зверей» льва, и заканчивая монстрами), выстраивал классификацию – непарнокопытные, парнокопытные, животные «с пальцами» живородящие и яйцекладущие. В статье было добавлено много новой эмпирически подтвержденной информации о повадках, питании, местах обитания зверей.

Однако в сочинениях еще не появились принципиально новые истории. Из ученых трудов еще не вполне ушло подозрение, что где-то существовали виды, которые нарушали стройный распорядок привычных вещей. Что, например, все лошади обыкновенны, но в Португалии кобылы беременели от ветра (как написано у античных авторов), или что от ветра зачинали тигрицы, поскольку они как ветер быстры. «Касательно размножения, надо иметь в виду, что некоторые рожают без совокупления, как мыши в Египте, после разлива Нила. Те, что признают совокупление, совершают его, в основном, осенью, летом или весной: быки и медведи делают это с неистовой жестокостью, собаки нет. Большая часть приносит детенышей живыми; черепахи, крокодилы, ящерицы и т.п. откладывают яйца. Я узнал <...>, что кобылы в Португалии зачинают ком неоформленной плоти от ветра; от других [я узнал], что коровы, становясь тяжелы, вынашивают свой молодняк только с правой стороны утробы, даже если вынашивают двоих. Их время вынашивания детенышей удивительно разнится. Волчица вынашивает месяц или почти сорок дней; собака (сука) девять недель; свинья – четыре месяца; коза – пять; овца около шести; корова – десять; лошадь – одиннадцать. То же разнообразие, – вы должны понимать, – касается и числа их детенышей: считается, что мул не производит по-

томства; что волк – раз в жизни; а заяц плодится в изобилии»⁵⁴. Даже в середине XVII века в «естественной истории» воспроизводились – видимо, как дань традиции, – пассажи о симпатиях и антипатиях животных (лошадь дружна курами и канюками, и враждует с верблюдом, слоном, волком, медведем, свиньей, овцой, ослом и змеями), в которых суммировались как обыденные наблюдения, так и мнения «древних».

Тем не менее, у Йонстона разрыв с предшествующей традицией заключался в том, что автор сократил все главы, опустив большую часть филологического материала. Удалив часть предания, Йонстон сделал его сопоставимым по объему с описанием животного. Как заметил М. Фуко, было бы правильным сказать, что этот автор в своей работе обнаружил гораздо *меньше* знаний о мире, чем Геснер или Альдрованди, и в этом состояло его новаторство. «Последний по поводу каждого изученного животного давал развернутое, и на том же уровне, описание его анатомии и способов его ловли; его аллегорическое использование и его способ размножения; зону его распространения и дворцы его легенд; его питание и наилучший способ приготовления из него соуса. Джонстон же подразделяет свою главу о лошади на двенадцать рубрик: имя, анатомическое строение, обитание, возраст, размножение, голос, движения, симпатия и антипатия, использование, употребление в целебных целях и т.д... А ведь существенное различие кроется как раз в том, что отсутствует. Как мертвый и бесполезный груз, опущена вся семантика, связанная с животным»⁵⁵. Предмет естественной истории у Йонстона разделился на две разные сферы знания, которые с тех пор больше не сходились вместе.

В естественной истории в последний раз присутствовал все тот же ряд вымышленных героев — василисков, русалок и драконов. Но Йонстон обнаруживал стремление к их более точной систематике, такое же, какое он проявлял по отношению к реальным существам. О единороге по-прежнему следовало писать, поскольку он был постоянным персонажем множества текстов (то есть, потому, что на него столетиями откликалась книжная культура). Но натуралиста занимало сопоставление близких видов, обнаружение отличий между похожими существами. По мнению Йонстона, под именем единорога в традиции скрывалось много разных зверей: это были и разновидности самого единорога, и носороги, и дикие рогатые ослы. Йонстон пытался разобраться, как между собой соотносились описания животных у древних авторов. Так, читатель узнавал, что согласно Страбону у единорога было тело лоша-

⁵⁴ *Jonston J. Op. cit. Pref.*

⁵⁵ *Фуко М. Слова и вещи. С. 159.*

ди, что Плиний «добавлял» к этому телу голову оленя, слоновьи ноги, кабаньих хвост, а также один черный рог, что Исидор путал его с носорогом, и т.п. В этой естественной истории прослеживается желание ученого упорядочить имевшиеся в его распоряжения материалы. Поэтому в тексте приводились подсчеты размера единорога (в «локтях» – *sex/septem cubitos*) и его веса (*decem et septem libras*), выяснялись места обитания онагров (была ли это Африка, Скифия или Индия).

В труде Йонстона изменились и способы визуальной репрезентации животных. Многие рисунки были выполнены не просто с натуры, но с использованием необычных живых ракурсов зверей, которые отсылали читателя к контексту эмпирического знания. На листе располагались несколько родственных существ на фоне их «среды обитания». Иллюстрации постепенно обретали черты «научной» презентации материала, дававшей возможности обнаружения различий между сопоставимыми видами. Изображения животных сопровождалась подписями с названием вида и указанием на источник, откуда они были заимствованы. Из визуального ряда ушли параллели с иконографией бестиария или эмблемы; в иллюстрациях были представлены животные «какими они были», а не как о них рассказывали, т.е. вне *истории* о них.

Так, в случае с рассказом о единорогах, стремление к различению схожих пород животных вызвало к жизни причудливую систематизацию фантастических существ: на изображении размещались три вида единорогов: обычный (*monoceros seu unicornis*), гривистый (*monoceros seu unicornis jubatus*) и онагр (*onager*). Все в иллюстрации свидетельствовало о максимальной точности изображаемого: пропорции животных, анатомическое правдоподобие, переданное движение, фон, указывавший на место обитания того или иного вида. Таким образом, «естественная история» Йонстона представляла собой *исследование* природы, выполненное, тем не менее, на основании других книг.

3.2. Естественная история и экспериментальная наука

Упадок гуманистической естественной истории был связан с более глобальными трансформациями в европейской интеллектуальной культуре XVII в. – утратой прежнего самостоятельного статуса языка «отнесенного к орудиям или средству изящного стиля» (Р. Барт), перераспределением роли знака, который из неотъемлемой части самой вещи превратился в элемент ее репрезентации, складыванием новых критериев экспериментального знания.

Новая естественная история – знание джентльменов, врачей, ученых, путешественников и предпринимателей – имела определенные социальные и политические основания. Это знание стало производиться на регулярной институционализированной основе в рамках научных

сообществ и академий (таких как Академия Линчеи, Королевское научное общество и др.) – как мы расскажем ниже – национальных государств. Оно связывалось с постановкой новых вопросов к «вещам» и превращением опытов в систематическую практику.

В ученой культуре создавались не только места контроля и регулирования производства знания, но и новые пространства наблюдения и «испытания» природы (ботанические сады, гербарии, коллекции животных и редкостей), своеобразные «театры природы», которые позволяли видеть и анализировать животных и растения вне системы символов и текстуальных коннотаций. «История» меняла свое значение: она фокусировалась не на исследовании культурной семантики, но на непосредственном пристальном рассматривании предметов и на их описании в нейтральных словах, свободных от красот стиля и риторических фигур. Естественной истории следовало «максимально приблизить язык к наблюдению, а наблюдаемые вещи – к словам. Естественная история – это не что иное, как именование видимого. Отсюда ее кажущаяся простота и та манера, которая издали представляется наивной, настолько она проста и обусловлена очевидностью вещей»⁵⁶.

В естественноисторическом дискурсе XVII века можно выделить несколько близких, но все же разных направлений. При всей общности базовых научных принципов, экспериментальная естественная история отличалась от таксономической и антикварной версий.

Одним из основоположников эмпирической естественной истории – или, точнее такой естественной истории, которая ставила перед собой задачу разработать новые критерии *полезного* знания на основе экспериментирования, – можно считать Фрэнсиса Бэкона. Как отмечалось выше, Бэкон в сочинении «О пользе и успехе знаний» (1605) предлагал рассматривать естественную историю как одну из форм истории, наряду с церковной и гражданской, поскольку она соответствовала той же способности человеческого разума – умению помнить. По мысли Бэкона, естественной истории следовало изучать факты, а не причины (как это делала бы философия), и последовательно рассматривать все три ее области: собственно, творения (в их регулярности и обыденности), чудеса (отклонения от естественного хода вещей, сбои, игры природы) и человеческие искусства (которые строились на манипуляциях с вещами)⁵⁷.

Задачей новой естественной истории был систематический сбор фактов о природе, перепроверка уже известного и последовательное

⁵⁶ Фуко М. Слова и вещи. С. 162.

⁵⁷ Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М., 1971. С. 184.

описание этих данных вместе с их объяснениями. Хотя Бэкон не пытался предложить основания для классификации фактов, его современники-натуралисты все чаще предпринимали попытки классифицирования объектов. Центральным концептуальным принципом для знания о природе стал эксперимент: он позволял обосновать те истины о вещах, которые устанавливались прежде на основе здравого смысла и периодичной повторяемости. Природу следовало подвергнуть испытаниям с помощью специально сконструированных приборов; придумывание и постановка экспериментов становилась, таким образом, главной частью естественноисторического исследования, которая давала возможность совершить восхождение от единичного предмета к теоретическому умозаключению.

Бэкон не только сформулировал ряд программных установок для желающих изучать Природу, но и сам приступил к написанию естественноисторического труда. «*Sylva silvarum*», «Лес лесов», остался незаконченным; текст был скомпонован и опубликован после смерти его автора. «Лес лесов» отходил от привычных правил сочинений такого жанра; хотя Бэкон ввел в нем эпистемологические новации, его «естественная история» не стала модельной⁵⁸.

В этом труде рассказывалось не о животных или растениях, но об абстрагированных свойствах и поведении физических тел. Естественная история представляла собой сумму («десять центурий») экспериментов, которые следовало провести с вещами. Природу, начиная с простых веществ, нужно было исследовать эмпирически, чтобы найти знание, свободное от книжных домьслов. Для начала Бэкон предлагал собирать разнообразные сведения о природных объектах: о жидкостях, разделении тел при помощи жидкости, огне, воздухе, взаимных переходах тел, морозе, жаре, симпатиях и антипатиях растений или звуков, высоких и низких звуках, их отражении, эхе, эпидемиях, сладких запахах, о любопытных растениях и фруктах. Ученому следовало узнавать о насморке, зевании, о полезных вещах, связанных с излечением ран, улучшением слуха, вина, формы тела, увеличением дойности коров и др.

В естественной истории Бэкона сложно найти какую-либо систему, даже с учетом незавершенности этой работы. Предмет исследования, «природа», и вмещающий ее текст не были ничем ограничены или структурированы – ни языком (алфавитным принципом упорядочивания вещей), ни количеством видов, которые можно было подсчитать и описать, ни территорией (как это происходило позже в антикварной естественной истории). Исследователь не формулировал единых правил, в соответствии с которыми выделялись бы объекты. К ним при-

⁵⁸ Bacon. *Sylva silvarum: or A naturall historie*. L., 1627.

надлежали и типичные, и странные, редкие, аномальные явления и виды. Только сам ученый, с его постоянным неиссякаемым любопытством, а также практикуемый экспериментальный метод и общая идея «пользы» естественнонаучных штудий вносили единство и согласованность в представленный в тексте мир природы.

В сочинении Бэкона обнаруживается резкий контраст с гуманистическими трудами – не только из-за отсутствия предания, но также из-за изобилия новых вопросов к природе. Каждая вещь в мире представлялась как неизученная, требовавшая вопрошания. Естественная история, таким образом, становилась пространством для обращения с неизвестным. Для самого Бэкона она рассматривалась как инвестиция в будущее, план огромного коллективного труда ученых по «восстановлению» знания. Все ответы на поставленные вопросы должны были вести не просто к открытию истины: научное познание приближало новый Золотой век, время искупления первородного греха и господства – по аналогии с Адамом – над тварным миром.

У Бэкона как автора естественной истории было мало прямых последователей, в чьих работах воплощались бы близкие способы рассуждения. Самые известные из них – Роберт Бойль⁵⁹ и Роберт Плот. Естественная история и натуральная философия трактовались широко: под этими словами фигурировали несхожие интеллектуальные течения⁶⁰. В трудах натуралистов можно было найти строгий язык таксономии, как у ботаника Джона Рэя, поиски языка для описания опытов с оптическими приборами как в «Микрографии» Роберта Хука, поэтику природных чудес, как в книге священника Джошуа Чилдрея, смешение систематики с перечислением экспонатов в текстах-коллекциях, как в сочинении Джеймса Петтивера. Фрагменты уходящей гуманистической традиции сочетались с элементами эмпирического метода, нового «аналитического» знания, антикварианизма и магических практик.

Значительная часть естественноисторических сочинений XVII в. тяготела к таксономическому описанию видов. В таком сочинении разнообразие природных вещей должно было располагаться в правильном порядке, который устанавливался на основе выделения простых признаков у объектов и их сравнения между собой. Взгляд исследователя фиксировал протяженность физического тела и вычленил его атрибуты – форму элементов, их число, размеры и расположение⁶¹. Обнаруженные

⁵⁹ Boyle R. General heads for the Natural History of a Country. L., 1692.

⁶⁰ См.: Hunter M. Science and Society...; Parry G. The Trophies of Time: English Antiquarians of the Seventeenth Century. Oxford, 1995; Jardine L. Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution. L., 1999.

⁶¹ См.: Фуко М. Слова и вещи. Гл. V. 3. Структура.

различия позволяли выстроить последовательную схему – таксономию, в которой каждый следующий вид отстоял от предыдущего на один интервал. Таким образом, повествование в естественной истории делалось более последовательным, линейным. Часть информации в тексте могла переводиться на язык подсчетов и измерений. Взгляд исследователя в естественной истории, как правило, был ограничен рассмотрением поверхностей объектов, занят фиксацией признаков, установлением сходств и различий. Со временем он все больше сосредоточивался на поиске «причин»; однако в сочинениях XVII в. внешнее описание объектов и их классификация могли быть самодостаточными.

Важную роль в созидании «новой науки» играл язык визуальной очевидности. Мир, представавший перед глазами исследователя, был неисчерпаемым источником знания, и сама возможность созерцать феномен наделяла его статусом «любопытной вещи», заслуживавшей внимания. Глаз ученого, оснащенный оптическими приборами, проникал туда, куда прежде было невозможно добраться, от небесных тел до волосков на голове мухи (как в «Микрографии» Роберта Хука).

В иллюстрациях естественных историй произошли изменения. Визуальный язык тяготел к буквальности описания: предмет изображался максимально точно, часто в сопровождении шкалы измерения, инструментов для математических расчетов и т.п. Текст мог сопровождаться таблицами, позволявшими сопоставлять родственные виды растений и животных. В иных случаях иллюстрации представляли коллекцию диковин в миниатюре, со странными окаменелостями и костями, экзотическими животными, скелетами «монстров». В изображениях нарушился принцип целостности образа: голову или кости животного можно было изучать и рисовать отдельно от него самого. Взгляд исследователя проник внутрь, зафиксировав особенности строения скелета, характерные и необычные органы изучаемого существа. Интерес к инструментам и приборам позволил им оказаться на одной иллюстрации с изображаемым животным. В картину вписывался сам процесс изучения, извлечения знания. Растения и животные стали постепенно открывать читателю механику своих тел. Иллюстрация больше не отвечала на вопрос, *как быть* тем или иным существом, но рассказывала о его характерных признаках и о том, *как оно было устроено*.

Одна из самых известных таксономических моделей естественной истории была предложена Джоном Рэем (1627–1705) и его соавтором Фрэнсисом Уиллоби (1546–1596). Рэй и Уиллоби планировали написать новую всеобъемлющую естественную историю растений, рыб, насекомых, птиц и животных, и выстроить глобальную систему классификации природных видов. Рэй, высоко отзываясь об индуктивном методе Бэкона, говорил о необходимости создания новой эксперимен-

тальной науки. По его мнению, образцы естественной истории Геснера и Альдрованди сильно устарели; из прямых предшественников ученый называл Цезальпина, а из современников – Мальпиги, Грю и Юнга⁶².

Сочинения о растениях, насекомых и рыбах базировались на материалах наблюдений во время путешествий по Европе и Британии, итогах сбора и сопоставления образцов. Текст Рэя и Уиллоби соединял обширные эмпирические исследования с логическими построениями в области таксономии. В ранних работах (*Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium*, 1660, *Catalogus plantarum Angliae*, 1670) Рэй еще придерживался алфавитного принципа упорядочивания объектов, но позднее отказался от него и классифицировал цветущие растения на основе различий признаков – по числу семян. В труде о рептилиях и млекопитающих (1693) животные подразделялись на основе сопоставления зубов, копыт и пальцев лап. В медленно изменявшейся естественной истории животных Рэй распределил материал на параграфы, в которых описывались близкие подвиды зверей (например, белка обычная – белка серая виргинская – белка летяга – белка варварская; хотя принципы их разделения были нестрогими). Естественная история этих авторов была сфокусирована на классификации и методе. Сочинения сопровождалась методическими рекомендациями – *Methodus*, *Methodus plantarum nova* (1682), *Synopsis methodica Animalium Quadrupedum et Serpentinae Generis* (1693). В них единица описания была иной, чем в естественно-историческом повествовании: не отдельные растения и живые существа, но их абстрагированные части и органы со своими функциями. В самих же естественных историях, и в особенности, в самом фундаментальном труде «Истории растений», объектом анализа были «виды»; впоследствии Линней использовал их как готовые элементы для построения собственной многоуровневой классификации.

3.3. Антикварное описание и «Естественная история» страны

Для изучения культуры естественноисторических сочинений в XVII в. следует ввести дополнительный контекст. Особенно ясно его влияние прослеживается на английском материале. Естественная история приобрела новое значение в условиях складывания национального государства, империи. В работах XVI–XVII вв. приобретала популярность идея составления полного перечня земель и богатств государства в прошлом и настоящем. Природные богатства, исторические события, примечательные редкости, чудеса колоний рассматривались как потенциальные единицы большого нарратива. В этой связи новую актуаль-

⁶² Рэй использовал неопубликованные работы философа и натуралиста Иохима Юнга (ум. 1657), в которых тот предложил систему классификации и ряд терминов для описания растений.

ность приобрела «Естественная история» Плиния, чей автор мыслил «империей», смотрел из Рима, центра, на периферию государства, и составлял своеобразный реестр всего, что находилось в его пределах.

В 1546 г. Джон Лиланд, капеллан и библиотекарь Генриха VIII, путешествовавший по поручению короля по Англии, составил план исследований, которые следовало провести ученым любителям древностей. Надлежало изучить все упоминания классических и средневековых трудов о тех или иных местах в Британии, сверить их, добавляя данные вещественных свидетельств прошлого – руин, надгробий, монет и т.п. В результате Лиланд хотел составить карту и детальное описание топографии Англии, дополненное изложением истории по отдельным графствам. Так была сформулирована обширная программа деятельности для нескольких поколений антикваров, и хотя сам Лиланд не смог претворить в жизнь эту задачу, за ее выполнение взялись его последователи. Одна из самых известных книг – «Британия» Уильяма Кемдена (1586–1606) – результат почти тридцатилетнего исследования, путешествий, изучения историй, документов, памятников прошлого. Кемден рассказывал об областях Англии, их границах, о природных ресурсах, о римской, англо-саксонской и нормандской Британии, основываясь на письменных свидетельствах, находках древних орудий, монет, погребениях и т.п. В приложении приводился указатель прежних названий народов, городов и рек, согласованных с современной английской топонимикой. Сочинение Кемдена послужило образцом антикварного исследования и источником сведений для других авторов.

В текстах хорографий описания рукотворных и природных древностей, редкостей и богатств соседствовали друг с другом. Рассказы о замках, соборах, гербах, могильных плитах, обычаях и легендах включались в те же сочинения, что и истории о почвах, окаменелостях, водах, растениях, необычных погодных явлениях и монстрах (например, в «Бэконовской Британии» Джошуа Чилдрея, 1660 г., «Истории достопримечательностей Англии» Томаса Фуллера, 1662 г., «Естественной истории Уилтшира» Джона Обри, 1656-1691 гг., и др.).

Для антикваров XVII века предметы и методы исторического и естественного знания были связаны. По Бэкону обе сферы деятельности соотносились со способностью запоминать, а память имела дело с индивидуальным и единичным. Таким образом, история, изучение древностей и естественные науки имели общий фундамент, повествуя о частных вещах или событиях⁶³. Даже Джон Рэй был автором таких со-

⁶³ «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души, сосредоточивающей в себе знание. История соответствует памяти, поэзия – воображению, философия – рассуд-

чинений как «Коллекция английских пословиц» (1670) и «Коллекция устаревших английских слов» (1674).

В «Древностях Уорвикшира» Уильяма Дагдейла (1656) естественнонаучный материал был редок; в сочинении Чилдрей, описывавшего Британию по графствам, именно на нем было сфокусировано основное внимание. В работах Фуллера под «достопримечательностями» Англии понимались и исторические свидетельства, и древности, и плоды «механических искусств», и природные чудеса. В текстах Обри эти темы переплетались настолько, что он сам не мог точно выразить предмет своего интереса к прошлому, охватывающему историю и человеческого, и природного мира⁶⁴. К концу века две линии постепенно стали расходиться, на их основании складывались новые дисциплины.

Тем не менее, задача антиквара отличалась от задачи автора естественной истории. В XVII в. интерес к описанию натуралий все чаще стал встраиваться в контекст прагматического освоения и использования территории. Речь в первую очередь шла о землях Нового света, которые для европейцев были источником и новых знаний и, одновременно, возможных богатств. Но помимо далеких земель существовали

ку. <...> История, собственно говоря, имеет дело с *индивидуумами*, которые рассматриваются в определенных условиях места и времени. Ибо, хотя естественная история на первый взгляд занимается *видами*, это происходит лишь благодаря существующему во многих отношениях сходству между всеми предметами, входящими в один вид, так что если известен один, то известны и все. Если же где-нибудь встречаются предметы, являющиеся *единственными в своем роде*, например солнце и луна, или значительно отклоняющиеся от вида, например чудовища (монстры), то мы имеем такое же право рассказывать о них в естественной истории, с каким мы повествуем в гражданской истории о выдающихся личностях. Все это имеет отношение к памяти». *Бэкон Ф.* О достоинстве и приумножении наук. С. 156-157.

⁶⁴ В сочинении Обри прошлое и настоящее было представлено через причудливое соединение вещей, расположенных над и под землей. «Я назвал бы это описание частей Англии, которые я видел, *Наземной и Подземной Хорографией* (или придумайте этому более подходящее имя)». В его естественной истории» сочетались, казалось бы, несочетаемые сюжеты: «Часть 1. Описание земель; Воздух: ветры, туманы, штормы, метеоры, эхо, звуки; Медицинские источники; Реки; Почвы; Растительность; Минералы и Раковины; Камни; Камни, имеющие форму; Растения; Звери; Рыбы; Птицы; Рептилии и насекомые; Мужчины и женщины: долгожительство, удивительные рождения; Болезни и лекарства... <и т.д.> Часть 2. Достопримечательности: короли, святые, прелаты, государственные мужи, писатели, музыканты; Величие Хербертов, эрлов Пемброка; Ученые мужи, пенсии которым назначили эрлы Пемброка; Искусства, свободные и механические; Архитектура; Агрикультура; Шерсть; История торговли одеждой; Ярмарки и рынки; Соколы и соколиная охота: необычные полеты; Проклятия над семьями и местами; Случаи или замечательные происшествия. <и прочее>». *Aubrey J. The Natural History of Wiltshire. 1656–91. Publ. L., 1847. P. 6.* – На примере этого перечня видна упомянутая выше проблема «лишней» информации в естественной истории.

и завоеванные или подлежащие завоеванию близкие земли; кроме того взгляд ученых-джентльменов все чаще обращался к владениям их государств, которые имело смысл использовать с большей выгодой. Во второй половине XVII в. первым в ряду естественных историй европейских земель стал ныне забытый труд голландца Герарда Боата «Естественная история Ирландии», написанный в 1645 г. и изданный в 1652 г. Особенность и ирония этого труда в том, что для Боата это было описание неизвестной ему страны: этот автор никогда не был в Ирландии, знал о ней исключительно из книг и понаслышке. Тем не менее, это первый текст, в котором, в силу особенностей письма Боата и его целей, европейцам была в системном виде представлена естественная история страны Старого света.

Боат, врач из Лейдена, состоял на службе у английского короля, поддержал Кромвеля; в 1642 г. он вложил деньги в заем Долгого парламента «для скорейшего и успешного приведения в покорность Ирландского королевства» после ирландского восстания в надежде получить земли в Ирландии. Свою «естественную историю» Боат посвятил Оливеру Кромвелю и Чарльзу Флитвуду, верховному командующему армии в Ирландии, «по итогам» подавления ирландского восстания и массовых конфискаций земель у ирландской аристократии и их передачи англичанам. Ирландия, таким образом, описывалась Боатам как будущая перспективная английская колония. В прагматичном духе Боат постарался составить для англичан своего рода руководство по выгодному использованию ирландской земли. Поэтому основной сюжет этой «естественной истории» – рассказ о том, чего в принципе следовало ожидать от этого острова – каковы его города, в каком состоянии дороги, гавани, где встречаются опасные рифы и где расположены удобные бухты, какие над Ирландией дуют ветры, плодородны ли почвы, есть ли полезные минералы, хороши ли местные породы скота.

Боат не воплотил свой план нажить состояние в Ирландии: закончив это сочинение он впервые приехал в Дублин, где меньше чем через год умер от болезни. Но его текст был издан Сэмюэлем Хартлибом, написавшим к нему предисловие. Участие и интерес Хартлиба, легендарного вдохновителя ученых и просветителей, инициатора научных (точнее, научно-мистических) обществ, сделали эту книгу популярной.

Ключевые слова предисловия представляли читателю бэконинанскую связку «мудрости» – «знания» – «пользы» – «хозяйства» (*Wisdom – Learning – Use – Husbandry*). «Мне неизвестно ничего более полезного, – писал Хартлиб, – чем приобретение знания естественной истории каждого народа (*Nation*), достигшего прогресса и совершенства»⁶⁵. Естествен-

⁶⁵ *Hartlib S. The Epistle Dedicatory // Boat G. Irelands Natural History. L., 1657. P. 5.*

ная история, таким образом, увязывалась с народом и страной и, безотносительно ее экзотичности требовала – вполне в духе Бэкона – системного описания. Уже скоро, – продолжал Хартлиб, – Бог освободит человека от дьявольского проклятия и от неправильного использования Природы. «Кабинеты Природы открыты, и ее эффекты уже изучены более полно нами, чем в прежние века»⁶⁶.

Тем не менее, эти рассуждения были, судя по тексту «Естественной истории Ирландии», очень далеки от Боата. Свое сочинение он написал на основе свидетельств знакомых военных из армии Кромвеля и – что шло вразрез с идеями Бэкона и Хартлиба – по средневековому сочинению Гиральда Камбрейского, сделав аккуратный текст по чужим рассказам и книгам. Это сочинение не задумывалось как научное; в нем не было никаких философских рассуждений, ни концептуального аппарата; его цель была практической, а дискурс строился как аффирмативно поданный набор сведений, не оставляющий у читателя возможности для сомнения. Эта «естественная история» была бы похожей на сухую хорографию, если бы не сквозная идея пользы и выгоды. (Отметим, что в XVII в. «естественная история» стала по духу протестантским типом сочинения, в котором все указывало на особое расположение Свыше по отношению к той или иной стране или местности, равно как и на оправданность личного предпринимательства и успешности в этих благодатных краях. (Неслучайно, как нам кажется, в течение ста лет этот вид сочинения стал настолько популярен в Северной Европе и почти не распространился на католическом юге).

В своих описаниях земель Боат много заимствовал из Гиральда Камбрейского: Боат не мыслил как историк, для него не было никакой разницы между Ирландией в настоящее время и несколько столетий назад. Его интересовали подсчеты в милях расстояний между городами, рассказы о том, где и как хорошо проводить корабли и безопасно причаливать, где стоит добывать медь и серебро, каковы возможности земель и пастбищ. Ничего, что леса сократились по площади, осталось еще достаточно леса; не страшно, что местные лошади и овцы низкорослы, англичане могут использовать и таких⁶⁷.

«Естественная история» Боата стоит в ряду естественноисторических сочинений особняком. Она не стала образцом для следования; но, несмотря на это, явилась важным «авант-текстом» для последующих трудов. Она, не в последнюю очередь усилиями Хартлиба, создала прецедент в переформулировании самого предмета естественной истории.

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ *Boat G. Irelands Natural History.* P. 70; P. 63.

В 1666 г. в вестнике Королевского научного общества Роберт Бойль напечатал краткую «инструкцию» – вопросник, с которым надлежало подходить к естественной истории страны. Спустя несколько лет он расширил этот текст, адресовав его путешественникам и мореходам как руководство для любого описания «большой или малой страны». Здесь предполагалось исследовать практически все: местоположение страны, ее почвы, горы, воздух, воды, растения, животных, местных жителей, их облик и болезни и т.п. Уровень детализации вопросов был исключительно высок. «По каким признакам распознают место, где разрабатывать жилу? [имеются в виду залежи металлов – В.З.] Когда видят эти признаки, то они на поверхности земли или под землей? <...> Какие растения или деревья особенно изобильно растут в этих местах? Они в этих местах процветают или подвержены болезням? Бывают ли они более низкорослыми, или их листья более обесцвечены, или может быть в них есть какой-то необычный цвет?»⁶⁸.

Оригинальная и авторитетная модель естественноисторического землеописания, во многом отвечавшая этой программе Бойля, была предложена Робертом Плотом (1640–1696) в сочинениях «Естественная история Оксфордшира» (1677) и «Естественная история Стаффордшира» (1686)⁶⁹. Плот, профессор химии в Оксфорде, естествоиспытатель, первый хранитель знаменитого Ашмолеанского музея старины и диковин, был горячим приверженцем и последователем философской системы Бэкона. Однако в его работах сочетались разные традиции исследований мира вещей, включая антикварную, и его тексты сильно отличались и от гуманистической естественной истории, и от экспериментальной бэконовской, и от таксономии Рэя.

В обширной исследовательской литературе, посвященной ранним формам научного знания, работы Плота упоминаются вскользь и рассматриваются редко. Отчасти это объясняется тем, что его версия учебного текста о природе, оценивавшаяся современниками как новаторская и чрезвычайно популярная в течение четырех десятилетий, получила мало продолжений в XVIII в.

Труды Плота были задуманы как образец для научного описания земель Британии. В этом замысле Плот следовал за антикварами и, в то же время, за Бэконом, имевшим в виду всеобъемлющее исследование природы. Автор стремился представить читателям точный и полный отчет о «всеобщем Содержимом Мира», и начать с «содержимого»

⁶⁸ Boyle R. General heads for the Natural History. P. 22–23.

⁶⁹ Plot R. The Natural History of Oxfordshire. Oxford, 1677. *Idem*. The Natural History of Staffordshire. Oxford, 1686.

двух английских графств. Исследователью следовало составить карту каждого графства, каталогизировать известные виды и все отдельные природные явления, попытаться объяснить природу необычных феноменов и таким образом собрать огромный музей, куда бы поместилась вся Британия с ее полезными вещами и редкостями. По словам Плота, он предпринял свое исследование ради «продвижения не только того вида Знания, которым так пренебрегают в Англии, но и Торговли»⁷⁰. По примеру Плота другие ученые начали писать собственные произведения, стремясь к приращению знания: каждая новая книга повествовала о новой территории, о ее достопримечательностях⁷¹.

Отличительная черта естественноисторического повествования Плота состоит в том, что его основные логические построения имеют внутренние противоречия, которые, тем не менее, не выглядели странными ни для самого автора, ни для его современников.

Наиболее проблемным кажется понятие «естественного». Книги делились на главы «о небесах и воздухе», «о водах», «о землях», «о камнях», «о камнях, имеющих форму», «о растениях», «о животных», «о мужчинах и женщинах», «об искусствах», «о древностях»⁷². В сферу внимания попадали как привычные объекты изучения «Книги природы», так и рукотворные вещи, интересовавшие антикваров. По словам автора, его предмет требовал «наиболее естественного Метода» изложения, и поэтому в книге сперва надлежало говорить об *обычных* «Природных Вещах», затем – об «излишествах, недостатках» и «*ошибках Природы*» («монстрах»), наконец, об *изобретениях* человека (оптических приборах, фонтанах и т.п.) и о «*древностях*».

Главы, посвященные механическим искусствам, по мысли Плота, рассказывали о той же природе — но укрощенной, переустроенной или украшенной по воле человека. Плот оговаривал эту странность: предметы искусства «не отличаются от Природных Вещей ни по форме, ни

⁷⁰ Plot R. The Natural History of Oxfordshire. P. 1.

⁷¹ См.: Aubrey J. The Natural History of Wiltshire; *Idem*. The Natural History and Antiquities of the County of Surrey. 1673. Publ. L., 1718–1719; Leigh Ch. The Natural History of Lancashire, Cheshire, and the Peak, in Derbyshire. Oxford, 1700; Morton J. The Natural History of Northamptonshire. L., 1712.

⁷² Такая последовательность напоминала о порядке сотворения мира. Сходные ассоциации рождал и выбор слов для обозначения предмета исследования: «От Небесной Тверди (исключая все рассуждения о чистом Эфире, о котором нам известно так мало, что я ничего о нем не скажу) я естественным образом спущусь к нижнему Небу, то есть к тому тонкому телу, которое непосредственно охватывает Землю, насыщенному всеми видами испарений, оттого обычно именуемого Атмосферой». Plot R. The Natural History of Oxfordshire. P. 4.

по содержанию, но только по действенности»⁷³. Вслед за Бэконом он считал, что у человека не было иной власти над природой, кроме способности соединять и разъединять природные тела. Поэтому все манипуляции с ними подпадали под определение «естественного» и могли быть описаны в естественной истории. Ссылка на Бэкона в этом контексте была едва ли корректной: для родоначальника «экспериментальной философии» разделы, посвященные руинам и археологическим находкам, не должны были включаться в текст, однако они там были. Так, в сочинениях Плота соперничали два начала: преимущественное внимание к природному миру, рассмотренному вместе с трудами человека, или к союзу территории и прошлого.

Территория, земля, подчиненная государственному административному делению, играла важную роль для «укрощения» многообразия природного мира. Предмет изучения Плота был ограничен пределами графства; в этом заключалось еще одно противоречие: универсализм естественноисторического описания контрастировал с локальным взглядом ученого. В идеале предмет познания должен был быть «компактным» событием или вещью; при этом он рассматривался как фрагмент, осколок чего-то большего. За ним угадывались контуры целого – универсума в его разнообразии. Мир, который пытался вместить в свою книгу Плот, значительно превосходил территорию двух графств. Автор мог писать о «Небесной Тверди», но не целиком, а о фрагменте небес, увиденных из Оксфорда. Рассказ о солнечных затмениях или звездах, которые видны из этого уголка Англии, помещался в текст потому, что в Оксфордшире, по мнению Плота, были сконструированы наилучшие оптические приборы.

Предшествующая традиция землеописаний легитимировала эту локальность взгляда. Ей хорошо соответствовали и научные изыскания Бэкона. «Истинная индукция» могла осуществляться только в результате отдельных экспериментов, проведенных в конкретном месте в определенное время. Естественная история Плота строилась именно на таком «местном» взгляде и личностном знании. Сумма таких частей должна была дать большое кумулятивное описание всей Британии.

Плот рассматривал свою деятельность как научную, т.е. как основанную на проверенных данных, индукции и точных расчетах. Естественная история должна была опираться на продуманный метод – систематические наблюдения и эксперименты. В рассуждениях автора отчетливо звучало сознание новизны и широких перспектив предлагаемого способа исследования, «нового аналитического Метода Лорда

⁷³ Ibid. P. 1.

Бэкона». При этом стремление построить всеобъемлющий корпус подтвержденного опытами знания соединилось в книгах Плота подходом любопытствующего регистратора следов тайны в мироздании. С одной стороны, он пытался, следуя принципам научного знания, изучать свойства обычных, повседневных вещей, заявлял о намерении исследовать общее и типическое. С другой стороны, его привлекала мысль о составлении текстовой коллекции редкостей. Взгляд исследователя сосредоточивался на индивидуальном, на исключениях, а не на правилах, на секретах природы, которые легче всего обнаруживались в уникальных или редких явлениях и находках. В результате он писал далеко не обо всем «содержимом» английских графств. Говоря о растениях, птицах и животных Плот избегал рассказывать о привычных видах, отсылая читателя к работам Рэя и других натуралистов и отдавая предпочтение неописанным существам, или «монстрам». Парадоксальным образом книги Плота обнаружили невозможность построения аналитической естественной истории, опиравшейся на антикварную традицию.

Предметом специальной рефлексии Плота был язык описания. Здесь также проявилась двойственность авторского подхода. Ученому полагалось стремиться к правдивому и точному описанию своего предмета «простым, легким, безыскусным стилем, усердно избегающим всех украшений языка». В этом смысле, язык, направленный на предмет изучения должен был быть нейтральным, прозрачным посредником, сокращавшим дистанцию между предметом и текстом. Но в то же время Плота, заботившегося о занимательности чтения и развлечении читателя, отличала склонность к литературной изысканности. В результате в тексте авторские переживания, волнения, его заинтересованность, чувство необычного сосуществовали с объективно-отстраненной интонацией. Слова, указывавшие на эмоциональные состояния исследователя и на эстетическое совершенство вещи, сообщали читателю чувство восхищения от столкновения с диковинным⁷⁴.

Описания в книгах Плота сочетали стилистику занимательной истории и документального свидетельства. Объяснения, устраивавшие автора, лежали в сфере физических и химических причин. Однако, рассматривая странные случаи, он не мог отказать читателю в увлекательном объяснении, которое опровергалось им же самим. Наука должна была быть интересной для публики. Так, говоря о необыкновенных кругах правильной формы, неизвестно почему возникающих на деревен-

⁷⁴ Например: «Такие молнии, возникающие в зимние месяцы, всегда считались великой редкостью; но мне в Стаффорде довелось видеть не просто такой, но гораздо более необычный случай. Может быть, он повторится снова только спустя много веков». Ibid. P. 9.

ских полях, Плот с удовольствием перебирал возможные решения загадки: «Вызывает ли их Молния? Или это, и в самом деле, места Вельмовских Сборищ? Или там танцуют маленькие крошечные Духи, называемые Эльфами или Феями? <...> Впрочем, я, со своей стороны, слабо верю в эти вещи». После этого автор переходил к более правдоподобным естественным причинам, таким как химический состав почвы⁷⁵.

Способ представления фактов, предложенный Плотом, позволял связать познание с многообразием личного опыта человека. В отличие от всех других моделей естественноисторического описания, за исключением бэконовской, естественная история Плота была персонализированной, опиралась не столько на знание из книг и на научность классификации, сколько на частные познавательные практики, повседневное наблюдение и любопытство, наделенное добродетелями. В естественную историю проник прагматический интерес, размышления о выгоде государства, использующего природные богатства, и пользе ученых-джентльменов, которые приобретают не только мудрость, но и благосостояние.

Границы возможностей такой естественной истории также очевидны. Естественная история по-прежнему занималась единичным, индивидуальным. Эта единичность у Плота достигла триумфа: в идеале тотальное описание Британии должны были составить отдельные ученые, наблюдающие разрозненные виды и явления и сводящие эти материалы в целое. В книгах Плота было представлено неспециализированное знание. Фигура производившего его исследователя отсылала к образу позднеренессансного ученого, знавшего понемногу обо всем. Отсутствие системы, таксономии и специализации вместе со склонностью Плота к изящности в экспериментах (например, «ухаживание за нимфой Эхо») привели к тому, что его труды спустя несколько десятилетий стали рассматриваться как дилетантское знание, не поддающееся ни разделению на научные дисциплины, ни полному включению в них.

3.4. Естественная история в XVIII веке: построение системы

В XVIII веке, по замечанию М. Фуко, заговорило то, что до тех пор всегда молчало: все произрастающие, дышащие, двигающиеся существа получили свои голоса. Вместе с «диковинами» и «редкостями», привлекавшими внимание коллекционеров предыдущего столетия, право быть увиденными и изученными обрели обычные растения и животные, бывшие частью повседневной жизни.

В XVIII в. предмет естественной истории снова разделился: из корпуса знания о природе ушли «древности». Ее предмет стал в точном

⁷⁵ Plot R. The Natural History of Staffordshire. P. 14.

значении этого слова «естественным»: это растения, простые и сложные живые существа. В то же время, основной интерес авторов привлекали две разные версии естественных историй. Одна продолжала логику последовательного именования многообразных существ, описания «поверхности мира». Анатомия была вынесена за пределы такого текста; в то же время из него не полностью ушли истории с моральным подтекстом и дидактикой. Другая версия естественнонаучного сочинения ориентировалась на построение всеобъемлющей классификации видов растений и животных. Кульминацию и борьбу этих принципов можно увидеть в «Естественной истории» Жоржа Луи Леклера де Бюффона и «Системе природы» Карла Линнея – двух последних больших естественноисторических проектах.

Авторов сочинений занимала проблема точной систематики видов. Классическая естественная история XVIII в. (труды Мопертюи, Ш. Бонне, Робине, К. Линнея) была сконцентрирована на построении таксономии, таблицы видов, учитывавшей все возможные природные формы. В этой таблице должны были быть заполнены все «ячейки», то есть ученым следовало найти и расположить в правильном порядке виды, отличавшиеся друг от друга на один «шаг» – признак. Таким образом, основной когнитивной метафорой такой естественной истории была непрерывность в природе. В то же время, авторами естественноисторических сочинений все более последовательно ставился вопрос о языке описания: выбор в пользу научного аппарата или изящной словесности подразумевал и разный адресат, и те различные объяснительные возможности, который предлагала систематика в таком труде.

Остановимся более подробно на одной из последних «больших» естественных историй, не переживших (в отличие, например, от труда Линнея) трансформации этой области знания в научные дисциплины.

Слава многолетнего труда, выходившего на протяжении более тридцати лет, «Всеобщей и частной Естественной истории» Жоржа Луи Леклера де Бюффона была огромной⁷⁶. Согласно Руссо, честью было на коленях целовать ступени кабинета, в котором Бюффон создавал свое творение. Еще при жизни Бюффона Людовик XVI приказал воздвигнуть в честь него статую с высеченной на пьедестале латинской надписью: «Его гений равен величию природы». В XIX в. труд Бюффона был почти забыт; на фоне научных работ Чарльза Дарвина автора

⁷⁶ Buffon G.L.L. de. Histoire Naturelle générale et particulière // *Idem*. Oeuvres completes. Bruxelles, 1822. См. также: Gaillard Y. Buffon. P., 1977; Hanks L. Buffon avant l' «Histoire Naturelle». P., 1966; Un Autre Buffon / Pref. de J.-L. Binet, J. Roger. P., 1977; Разумовская М.В. Бюффон-писатель...; Зенкин С.Н. Неклассическая риторика Бюффона; Канаев И.И. Избранные труды по истории науки...

«Естественной истории» стали считать дилетантом. Выдержки из его произведений продолжали публиковаться как нравоучительное чтение для «назидания юношества». В «Естественной истории» Бюффона соединились черты, соответствовавшие «духу времени», присущие научному энциклопедическому знанию и высокой придворной моде. Сам Бюффон являл собою воплощение «титанического» труда, предпринятого во имя Знания и Славы.

Бюффон писал и публиковал свою «естественную историю» на протяжении более тридцати лет, с 1749 по 1788 гг.: в ней, помимо иных сюжетов, должны были быть представлены все известные науке виды живых существ. Замысел Бюффона, на первый взгляд кажущийся невыполнимым, более объясним в контексте интеллектуальной культуры его времени, когда и ученые, и философы стали рассматривать энциклопедию как актуальную форму для представления многообразия знаний. Для многих современников Бюффона привлекательно выглядели глобальные описания мира и всех вещей в универсуме. В качестве примера можно привести труд швейцарского ученого Шарля Бонне «Созерцание природы» (1764 г.)⁷⁷, где автор рассматривал не только лестницу живых и неживых творений Бога (сопровождая умозрительные рассуждения замечаниями, подкрепленными наблюдениями натуралиста, скажем, о гермафродитизме травяной вши, или об анатомическом строении животных), но и бесконечную систему миров, где каждая вселенная сопоставлялась с книгой на полке необъятной небесной библиотеки. В этом смысле желание Бюффона вполне отвечало духу времени. Кроме того, ученый (уже не всегда, но все еще) мог позволить себе писать об устройстве вещей во всем мире, не покидая кабинета, приводя в качестве аргументов и мнения предшественников, и свои впечатления, полученные зачастую без систематических наблюдений и экспериментов.

В 1749 г. вышли три первых тома «Всеобщей и частной естественной истории с описанием Кабинета короля», посвященные Людовику XV⁷⁸. За вводным томом, где говорилось о происхождении Земли, последовало 14 книг о млекопитающих, начиная с человека и заканчивая экзотическими животными, 9 о птицах, 5 о минералах, 7 книг с дополнениями. Всего при жизни Бюффона в королевской типографии было напечатано 36 томов. Эти книги, прекрасно изданные, иллюстрированные гравюрами, сразу переводились на европейские языки; выхода каждого нового тома читатели ожидали с нетерпением. После смер-

⁷⁷ Бонне Ш. Созерцание природы. Смоленск, 1804.

⁷⁸ Buffon G.L.L de. Histoire Naturelle. Т. 1, 3–6.

ти Бюффона его последователь Ласепед опубликовал еще 8 томов на основе записей, набросков и собранных ученым материалов – о яйцекладущих четвероногих, змеях, рыбах и китах.

Бюффона именовали «французским Плинием». Успех сочинения способствовал тому, что в 1753 г. Жорж Луи Леклер де Бюффон был избран членом Французской Академии. В работе ему помогал врач Луи Добантон. В свое время о них Кювье писал так: «Бюффон, крепкого сложения, импозантного вида, по природе властный, во всем жадный до безотложного наслаждения, казалось, хотел угадать истину, а не наблюдать ее. Его воображение все время становилось между ним и природой и красноречие его, казалось, изливалось вопреки разуму<...> Добантон, слабого темперамента, с кротким взглядом, со сдержанностью <...> вносил во все исследования самую скрупулезную осторожность; он верил только тому, что видел и трогал, и только это решался утверждать...»⁷⁹. В конце концов, фрагменты, написанные Добантоном – в основном касающиеся анатомии, изучения строения и внутренних органов животных, – практически не вошли в окончательный текст «Естественной истории». Более отвечающие современным представлениям о научном труде, они были противны высокому вкусу читателей. Однако, по мнению исследователей, Добантон внес неоценимый вклад в работу над сочинением, предостерегая Бюффона от чересчур опрометчивых суждений всякий раз, когда его уносило воображение.

Сочинение Бюффона начинается словами, призванными выразить удивление и восторг перед завораживающим многообразием Природы. Ее предмет, по замыслу ученого, отражался в «Естественной истории», и выразительные средства и способы репрезентации должны были соответствовать величю избранного предмета. «Естественная история, взятая во всем ее пространстве, есть история безграничная; она объемлет все предметы, что нам являет вселенная. Это чудесное множество четвероногих, птиц, рыб, насекомых, растений, минералов и т.п., представляет любопытству человеческого разума огромное зрелище, которое в целом столь велико, что, кажется, оно неисчерпаемо в своих деталях. <...> Когда мы бросим впервые взгляд на это собрание разных, новых и чужеземных вещей, первым проистекающим чувством будет изумление, смешанное с восхищением, и первым происходящим от него размышлением – смиренное обращение к самому себе»⁸⁰.

Удивление – важная составляющая такого исследования, однако само по себе оно не подсказывает ученому тот путь, по которому ему

⁷⁹ Цит. по: *Канаев И.И.* Избранные труды по истории науки... С. 24.

⁸⁰ *Buffon G.L.L de. Histoire Naturelle.* Т. 1. Р. 42.

предстоит пойти. Текст «Книги мира» должен быть структурирован, разбит на главы и объединен общей логикой повествования. Как следовало упорядочивать это многообразие?

Хорошо известный в науке следующего столетия способ, предложенный современником Бюффона Карлом Линнеем в его «Системе природы» состоял в том, чтобы, опираясь на труды предшественников, собственные наблюдения и опыт, выделить ряд признаков, на основании сходства и различия которых построить универсальную классификацию – в данном случае, классификацию животного мира, которой должен был соответствовать язык бинарной номенклатуры. Открыв, таким образом, присущий самим вещам порядок, можно было руководствоваться им и в дальнейшем, помещая каждый новый вид на свое место, открывая классы и отряды, находя подтверждение существованию универсалий в окружающем мире. Этот путь рационализации, предложенный его ученым соперником, казался Бюффону неприемлемым. Сама идея построения классификации как искусственно конструируемого порядка, проецирующегося на природу, «подчинения произвольным законам законов природы», представлялась ошибочной.

По Бюффону, человек испытывает непреодолимую потребность в упорядочивании разнообразных вещей, возможно не связанных между собой. Последовательность, объединение предметов в союзы, классификация – свойство ума, способности рассуждать. «Мы имеем врожденную склонность представлять себе во всех вещах некоторый род порядка и единообразия»; доверие ведет к тому, что исследователи «строят системы на неясных основаниях, которые никто никогда не проверял, и которые служат лишь тому, чтобы показать желание находить сходство между самыми различающимися предметами, регулярность там, где царит разнообразие...»⁸¹. Но если эта процедура неизбежно присутствует в человеческих умозаключениях, то важно отдавать себе отчет в том, насколько условно используемое обобщение.

Для Бюффона предметом эстетизации была сама множественность природных форм. «Чудное число произведений природы тогда составит самую малую часть нашего удивления; ее механика, искусство, богатство и даже ее беспорядки привлекут все наше восхищение. Человеческий разум, слишком малый для этой громады, подавленный множеством чудес, изнемогает. Кажется, что все, что может быть, уже есть; десница Творца распростерлась не ради того, чтобы даровать жизнь ограниченному числу видов, но сразу создала целый мир существ, относящихся и

⁸¹ Buffon. Op.cit. Т. I. P. 47.

не относящихся друг к другу, бесконечность гармоничных и противоречащих сочетаний, постоянство разрушений и обновлений»⁸².

Тем не менее, несмотря на утверждение об относительности систематики, ученому было необходимо предложить свой способ упорядочивания предметов. Бюффон избрал такой путь построения текста, при котором читателю была видна условность последовательности глав и, одновременно, она могла восприниматься как само собой разумеющаяся, естественная. Отсчет предлагалось вести от человека: все виды располагались по мере близости или удаленности от человека той культуры, к которой принадлежали и автор, и читатели. Первые статьи были посвящены домашним «обычным» животным. Описания лошади, осла и быка заняли целый том; в следующем говорилось об овце, козе, свинье, собаке и кошке. На этих примерах можно было раскрыть некоторые характерные признаки, свойственные живым существам. Но рассказ о животных постоянно выводил Бюффона на описание практик культуры, морализаторство, рассуждения этического и эстетического свойства. Хорошо известные животные давали наилучшую пищу для размышления, для извлечения нравственного урока и для философских заключений. Далее шел рассказ о диких зверях, обитающих рядом; постепенно повествование доходило до экзотических животных, обитателей Африки и Нового Света. Объем статей сокращался, но в них содержались рассуждения о чертах, повадках, образе жизни животных, на основе которых делались некоторые общие философские выводы.

В «Словах и вещах» Фуко писал о том, что в естественных историях действовали две системы, две совокупности, которые накладывались одна на другую, но не принадлежали друг другу. Одна – совокупность всех видов, живых существ и растений, представленная в виде таксономии. Другая была линией времени: последовательность событий, «переворотов» в естественном мире. Между ними заключалась вся система природы. И если в сочинении Бюффона представление совокупности видов было более привычным для естественноисторического дискурса, то выстраивание другой системы, последовательности времени, было новаторским. В XVIII в. время в естественноисторических текстах начало пониматься как важный фактор. Можно сказать, что в них свернутая, окутанная тайной идея «древности» развернулась в последовательность времен, стала осью, вдоль которой выстраивались всевозможные формы существ. Постепенно утвердилась мысль о том, что в прошлом сама Земля и ее климат претерпели большие изменения.

⁸² Ibid. P. 47.

Ученых стал занимать вопрос о том, как изменение природных условий могло повлиять на растения и живые существа.

Способ думать о времени в сочинениях этого периода представляет сочетание статики и динамики. Изменение во времени мыслилось как последовательная смена статических состояний природы. Одни авторы, подобно Турнефору или Линнею, были убеждены в неподвижности раз и навсегда сотворенной природы. Другие, как Бюффон, усматривали в истории Земли и Природы постоянное движение климатических условий, облика видов, изменение признаков существ. Взгляды некоторых натуралистов можно принять за эволюционистскую точку зрения, но ее в то время не существовало. Для того чтобы время начало рассматриваться как наполненное бурлением жизни, внутренними преобразованиями, переходами, превращениями организмов, потребовался поворот в картине мира. В самом способе мышления между предэволюционистскими представлениями и эволюционистскими видится разрыв. Первый, включавший трансформизм или идеи, близкие к дарвиновским, был основан на механистической парадигме. Ко второму может быть приложена метафора не механического движения тел, а химического превращения организмов. Для одних время отвечало на вопрос «когда?»: когда произошли перевороты в природе, когда изменилось пространство Земли, облик животных? Для других – и этот взгляд выходит за рамки естественных историй – время мыслилось как «принцип развития живых существ в их внутреннем строении»⁸³.

Новые представления об устройстве природы в прошлом давали материалы естественных дисциплин, в частности, палеонтологии. Свидетельства гибели доисторических животных интерпретировались ученым как подтверждение изменений, которые претерпела номенклатура видов. Натуралисты начали рассматривать историю Земли как историю катаклизмов, изменений, связанных с Солнцем, сменой климата, трансформациями земной коры, перемещениями морей и континентов. Идея времени стала связываться с «переворотами» («революциями») во внешнем пространстве обитания существ. Согласно естественным историям того периода, формы и распространение по планете растений и животных зависели от жара и холода, землетрясений, действия вулканов – от множества перемен климатических условий в прошлом. Такие катаклизмы далеко не ограничивались библейским Потопом: так, по мысли Ш. Бонне, возможно, Земля претерпела ряд «переворотов», неизвестных его современникам.

⁸³ Фуко М. Слова и вещи. Гл. 5.

Бюффон представил одну из самых детальных картин последовательного изменения состояний мира во времени в естественных историях. Природа мыслилась в процессе непрерывной смены состояний-стадий. «Природа, я должен признать это, находится в состоянии непрерывного течения. Человеку, в краткий миг своего бытия, достаточно обратить свой взор в прошлое и будущее природы, чтобы угадать, чем она некогда могла быть и чем она впоследствии могла бы стать»⁸⁴.

«Естественная история» Бюффона начиналась с раздела «История и теория Земли»; пятый том «Естественной истории» включал рассуждение «Об эпохах природы». В его работе проходила мысль об основополагающем значении времени для формирования нынешнего облика Земли – десятки тысяч лет изменений. В перспективу огромной длительности помещались все прошлые и существующие формы. Время рассматривалось как универсальное условие существования вещей, их динамика, и не циклическая, а направленная от возникновения к гибели. Это положение не противоречило христианскому представлению о времени, извлеченному из вечности Творцом. Но различие состояло в том, что Бюффон выводил Творца за рамки свой картины мира; изменения во времени мыслились им как всеобщий принцип, приложимый ко всем без исключения формам, включая и механику мироздания, и природу, и человека, и его общества.

Когда Бюффон писал об изменениях, он имел в виду смену естественных «контекстов» для природных видов. Эти хронологически организованные события, «революции» происходили не в самих существах. В работах других натуралистов также большая протяженность прошлого и общий ход изменений в природе мыслились как условие для построения таксономии. По распространенному представлению, у растений и живых существ во времени возникали все возможные сходства и различия признаков. Природа как бы перебирала разные варианты, отсеивая неудачные и оставляя допустимые. В «Созерцании природы» для описания этого процесса Шарль Бонне использовал слово «эволюция», однако оно имело иной смысл, чем во времена Чарльза Дарвина. В представлении Бонне все в мире, от минералов до растений, от животных до человека и ангелов, образовывало строго установленную иерархию, цепь бытия, лестницу видов, «коей первый предел есть насекомь (атом), а последний конец составляет высший из херувимов». Поскольку в природе нет скачков, и нет пустоты, то каждое существо соединено с последующим при помощи совпадающих и различающихся свойств. Все было организовано через «постепенности» и «разделения»:

⁸⁴ Цит. по: *Канаев И.И.* Избранные труды по истории науки... С. 98.

«сова из птиц то же, что из четвероногих кот. Выдра кажется соответствующей утке». Под эволюцией Бонне имел в виду последовательное смещение «лестницы существ» от первого до последнего элемента во времени. Цель этого беспрестанного движения – бесконечное совершенствование всех, кто занимал ступени этой лестницы. «Будет происходить непрерывное и более или медленное развитие всех видов в направлении дальнейшего совершенства, так что все ступени лестницы будут непрерывно изменяться в определенном и постоянном отношении... Перемещенный в сферу пребывания, более соответствующую превосходству его способностей, человек оставит обезьяне и слону то первое место, которое он сам занимал среди животных нашей планеты... И среди обезьян найдутся Ньютоны, и среди бобров – Вобаны. По отношению к более высокостоящим видам устрицы и полипы будут тем же, чем птицы и четвероногие для человека»⁸⁵.

Такое движение не предполагало превращения одного вида в другой: вся таблица оставалась прежней, но каждый вид делался сложнее, в вечном стремлении к божественному совершенству. Вопрос о причинах происхождения новых видов в прошлом и настоящем времени, таким образом, был одним из самых сложных для натуралистов. Ученые сходились в том, что изменение условий жизни приводило к появлению новых существ, но как именно возникал новый признак? Можно было допустить способность видов менять форму, приобретать новые черты, которые постепенно становились зримо-отличным признаком.

Согласно Бюффону в природе существовали неуничтожимые органические молекулы; из них могли возникать виды в соответствии со средой их обитания. Время давало шансы для комбинаций и появления более устойчивых форм. Гибель доисторических животных заставляла ученого ставить вопрос о целесообразности творений. Распространенной точкой зрения в науках была идея о том, что божественность замысла предполагала наличие цели, положенной всем созданиям. В природе не было ничего лишнего высшего смысла: как, к примеру, писал Линней, мудрость Бога видна уже в том, как Он заботливо оградил легкие и сердце ребрами.

В своих рассуждениях на этот счет Бюффон неоднократно повторял мысль о случайности появления форм в природе. Со временем, из более «удачных» существ образовались современные виды, остальные же вымерли подобно мамонтам. Некоторые из нынешних животных, по мнению Бюффона, подтверждали эту гипотезу: так, скажем, гибель

⁸⁵ Цит. по: Фуко М. Слова и вещи. Гл. 5.

ожидала ленивца, мало приспособленный вид, особенно если бы в его «естественную историю» вмешался человек.

О принципе трансформизма Бюффон писал противоречиво. В четвертой книге «Естественной истории», вынужденный приносить извинения церкви, он говорил о невозможности происхождения одного вида из другого. Но у него можно найти суждения о том, что природа умела изменять виды. «Осел и лошадь, возникли они из одной и той же ветви? Принадлежат они, как говорят систематики, к одному семейству? Или это не так и они всегда были разными животными?»⁸⁶. Согласно Бюффону, возражавшему против такой систематики, в природе существовал некий прототип, общий образ строения животных и растений – одна идея, которая изменялась и варьировалась бесконечно; причем простые и мелкие виды, как растения, были более подвержены изменчивости, чем крупные, а те, в свою очередь, были более устойчивы во времени.

В сочинении Бюффона «круги» существ, включая животных, птиц, рыб, расходятся от человека: естественная история антропоцентрична. В ней человек – вершина творения. Несмотря на его сходство с животными, его, обладающего разумом и душой, нельзя было причислить к млекопитающим. Одна из составляющих призвания человека заключалась в том, что он был в силах преобразовывать природу в соответствии со своим знанием о прекрасном. Бюффон полагал, что красивой природу делал человек: запущенная, без должной «регулярности», дикая природа сама по себе ждала прикосновения человеческой руки. Природе в сочинении Бюффона соответствовал свой вид и голос: ей предлагалось определенным образом выглядеть и говорить.

В «Естественной истории», прославленной своим литературным стилем, животные описывались в индивидуальных «портретах», в которых риторические красоты сочетались с научными данными. Статьи у Бюффона получились двойственными: в них ученый не был беспристрастен к объекту изучения; он одобрял, порицал, воспевал те или иные качества зверей и птиц. Перед читателем представляли художественные образы, отражавшие личные симпатии и антипатии исследователя: кроткий и мирный монарх-лебедь, который «гордится своим благородством», «любит и отстаивает свою свободу»; красивая, но порочная кошка, исполненная «двусмысленности» и врожденной злобной насмешливости» и т.п. Но животные у Бюффона были животными, а не аллегорически изображенными людьми. В «портретах» зверей ряд значений из человеческого мира переносился на мир природы. Однако эти значения в первую очередь были связаны с социальными отноше-

⁸⁶ Цит. по: *Канаев И.И.* Избранные труды по истории науки... С. 98.

ниями, с «социальным положением» животных, с их качествами аристократов, плебеев, верных слуг или добрых друзей. «Орангутан, которого я наблюдал, ходил прямо, на двух ногах... Весь его вид был довольно печален, походка отличалась степенностью, движения – размеренностью. Нрав его был кроток... Создавалось впечатление, что он был хорошо воспитан и даже образован... Он прогуливался под руку с теми, кто приходил его навещать, словно составляя им приятную компанию... Он садился за стол, расправлял салфетку, вытираю ею губы, пользовался при еде ложкой и ножом, сам наливал питье в стакан, чокался, если его приглашали, сам брал чашку и блюдце и приносил их на стол, наливал чай, клал туда сахар, ждал, пока чай остынет. И все это – без всякого принуждения...»⁸⁷.

«Характер», «душевные свойства» зависели, по мнению автора, от возраста животного, его пищи и места обитания; но главное – они были обусловлены влиянием человека. В животных отражались социальные качества людей, которые их приручили и приучили к определенному типу поведения. «Чувствительность собаки, ее послушание, мужество, вплоть до манер – все сформировалось по примеру свойств ее хозяина». Собака «воплощает в себе особенности дома, в котором она живет; как и другие слуги, она держится с пренебрежением во дворце вельможи, по-мужицки грубовата в деревне; привязчива по отношению к хозяину и услужлива по отношению к его друзьям, она не обращает никакого внимания на людей скромных, и нападает на тех, кто ей докучает, распознавая их по одежде, голосу, жестам...»⁸⁸.

Для Бюффона были важны ценности гражданского свойства: приверженность свободе, а не рабству (например, свойственная лебедю или несгибаемому свободолюбивому тигру). Кроме того высоко ценились качества животных, которые можно назвать аристократическими. Ум (в противовес неразвитости и тупости); огонь, живость в глазах, мужество («у белки глаза полны огня»)⁸⁹, «светскость, умение общаться с себе подобными и с людьми. Отсутствие таких качеств рассматривалось как большой «минус» животному. «Бобер... получил от природы дар, равный дару слова, способен на общение со своими сородичами; и столь счастливое, что бобры объединяются в сообщества, действуют вместе, выполняя большие и трудоемкие коллективные работы, и это социальное общение, так же как и плоды их интеллектуального понимания,

⁸⁷ Buffon G.L.L. Histoire Naturelle. XIV. P. 53–54. Далее цитаты из «Естественной истории» Бюффона приводятся в переводе М.В. Разумовской: *Разумовская М.В.* Бюффон-писатель... 1997.

⁸⁸ Ibid. XI: 2; V: 189.

⁸⁹ Ibid. VII: 253.

имеют право на наше восхищение». Унылая необщительная цапля воплощала, по мысли Бюффона, «само страдание, душевное беспокойство, убожество»⁹⁰. Одобрения заслуживали веселые жеребята, общительный попугай; осуждения – подверженный гневливости медведь, грубая свинья, фамильярный воробей, назойливый шакал. Можно было легко представить себе «хороших» животных Бюффона при дворе или в свете. «Плохие» животные Бюффона были «некультурны»: у пантеры «вид лютой, беспокойные глаза, жестокий взгляд»⁹¹.

Внешность животного тоже подлежала оценке. Как и у людей, здесь ценилась элегантность, легкость в поступи и движениях, хорошее сложение. Так, красивыми признавались лошадь, зебра, олень; некрасивыми – «бесформенный верблюд», осел, слон. Бюффон позволял себе давать неожиданные характеристики животным, с трудом увязывавшиеся с манерой письма ученого. Например, что тело у тигра «слишком длинное». Слишком – для чего? «Хорошим петухом считается тот, у кого в глазах огонь, в походке – величие, в движениях – свобода, все его пропорции должны обнаруживать силу». «Внешность льва не опровергает его высоких внутренних свойств... К гордости, мужеству, силе, лев присоединяет благородство, милосердие, великодушие»⁹².

Описания повадок и характеров животных в «Естественной истории» перебивались отступлениями, в которых автор пускался в рассуждения светского образованного человека о «чувствах», «дружбе» и «любви». Например: «Любовь! Врожденный инстинкт! Душа природы! Неисчерпаемый источник существования! <...> Любовь! Почему ты составляешь счастье всех живых существ и приносишь несчастье одному лишь человеку? Потому что в этой страсти хорошо лишь физическое, потому – что бы там ни говорили влюбленные люди, – мораль в любви не имеет никакого значения. Что такое, в самом деле, мораль в любви? Тщеславие; тщеславие от удовольствия завоевать, <...> тщеславие в желании сохранить ее исключительно для себя, несчастное состояние, всегда сопровождаемое ревностью, страстью ничтожной, столь низкой, что ее лучше бы было скрывать; тщеславие в способе наслаждаться любовью <...> тщеславие в самом способе потерять любовь; каждый желает порвать первым, ибо, если покинули тебя, как же это унижительно! И это унижение оборачивается отчаянием, когда выясняется, что долгое время ты был жертвой обмана!»⁹³.

⁹⁰ Ibid. XI: 3; XXII: 346.

⁹¹ Ibid. IX: 163.

⁹² Ibid. XVII: 65; IX: 129–130.

⁹³ Ibid. IV: 80–81.

Текст «Естественной истории» сопровождали иллюстрации, раскрашенные гравюры, которые выполнил знаменитый художник Жак де Сев. Все изображенные на них существа были более чем «культурны»: звери позировали на фоне «естественного» пейзажа (как правило, «типичного»: например, египетский мангуст рядом с пирамидами, лиса – возле курятника, болонка – на бюро со свечой), нередко для большего эффекта их помещали на своеобразные пьедесталы. Обезьяны походили на джентльменов. Птицы сидели, сложив крылья, не пытаясь летать; в редких случаях хищники, от которых ожидали жестокости, аккуратно доедали добычу («живые» птицы и звери появились, когда и движение и воздух стали частью их вербального описания, которую привнесли натуралисты XIX века). Главы, повествующие о человеческих уродствах, сопровождались соответствующими картинками, где «монстры» располагались в кабинетах на фоне затейливых драпировок и цветов. Слитность текста и изображения создавала нужный образ, эстетическое было неотъемлемой частью познавательного. В сочинении Бюффона были установлены определенные рамки и линзы для восприятия «естественной природы». Такой – интересной, приятной, поучительной, культурно-красивой – ее надлежало увидеть читателям.

Рассматривая в этой работе различные версии «естественных историй» мы хотели привлечь внимание к такому эффекту раннего научного знания, как его несводимость к одному результату – превращению в «правильную» академическую науку XIX века. Одни версии естественноисторических трудов внесли вклад в ботанику, зоологию, геологию и другие науки. Другие версии были впоследствии отвергнуты и «понижены в правах», стали рассматриваться как тупиковые ветви. Но такая оценка не учитывает ценности знания ученых джентльменов, просвещенных дилетантов, коллекционеров и предпринимателей, знания, не ставшего дисциплинарным или профессиональным, но формировавшим интеллектуальную культуру Нового времени. Многообразие моделей «естественной истории» дало возможность трансформировать опыты познания и переживания природного мира в различные культурные тексты и практики академического, любительского, философского, светского, моралистического, предпринимательского, литературного, художественного освоения и представления природы.

1.2. КНИГИ И ЧТЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ АНГЛИЙСКИХ КАТОЛИКОВ XVI–XVII вв.

Бурная эпоха Реформации и Католической Реформы сопровождалась волной публикаций религиозной литературы различных жанров – полемики, наставлений, богословских трактатов, церковных историй и т.п., не говоря уже о многочисленных молитвенниках и катехизисах. В период, когда конфессиональные и политические конфликты, охватившие Западную Европу, совпали по времени с одной из важнейших технологических революций в истории человечества – распространением книгопечатания – книги стали важным способом формирования этнополитических и/или конфессиональных сообществ. Полемическая литература была призвана очерчивать границы сообществ, так как она формулировала критерии для определения принадлежности к нему и формировала образ «чужого» – им, как правило, оказывались представители иных конфессий или даже члены других групп (например, монашеских орденов) внутри конфессии собственной. Наставительная литература, агиографические произведения, катехизисы были призваны определить приоритеты в религиозной жизни индивида и задать ее параметры. Эти функции литературы зачастую дублировались проповедью – ведь в подавляющем большинстве европейцы раннего Нового времени были неграмотны, и устное слово имело больше шансов «достучаться» до них, нежели письменное. Но и воздействие книги, в том числе печатной, не стоит преуменьшать, хотя бы потому, что практика чтения сильно отличалась от привычного нам способа. Для нас чтение – это занятие, которому предаются в уединении, а читаем мы, выйдя из детского возраста, про себя. Но в XVI–XVII вв. чаще читали вслух, для друзей, семьи, слуг и т.п. Поэтому аудитория книги, которую читали вслух, отнюдь не ограничивалась только грамотными людьми.

Для английского католического сообщества XVI–XVII вв. книги имели огромное значение, большее чем для их собратьев на континенте. Ведь с 1559 г. Англия вновь стала официально протестантской страной. Проповедь католичества в стране была поставлена вне закона, а священники-миссионеры, действовавшие там нелегально, могли охватить относительно небольшое число слушателей. Остальные должны были полагаться на книги, которые они читали сами или слушали¹.

¹ *Walsham A. "Domme Preachers"?: Post-Reformation Catholicism and the Culture of Print // Past and Present. Vol. 168. 2000.*

Книги играли также важную роль канала, по которому англичане приобщались к ценностям и приоритетам реформированного, пост-Тридентского католицизма. Но английское католическое сообщество не было пассивным объектом миссионерских усилий духовенства, и книги являлись тому свидетельством: ведь они создавались при активном содействии, а порой и при непосредственном участии патронов-мирян, и читались ими. Содержание книг усваивалось и транслировалось в сочинениях (печатных и рукописных), исходивших от мирян и отражавших не только сложное переплетение идеалов пост- и до-Тридентской реформы католичества, а также и приоритетов традиционной религиозной культуры. Наконец, книги играли важную роль в сохранении и трансформации религиозных практик английских католиков.

В данной главе анализируется основной канал распространения идей реформированного католичества, а именно публикации переводов религиозной литературы на английский язык в 1559–1640 гг., т.е. с момента вступления в силу религиозного законодательства Елизаветы I и до начала Гражданской войны. Анализ динамики публикаций, языков, с которых осуществлялись переводы, круг авторов текстов, их жанров, а также и групп людей, так или иначе с переводами связанных – переводчиков, издателей и патронов – позволяет представить роль книги в формировании и функционировании английского католического сообщества². Исследуется также и восприятие католиками-мирянами приоритетов пост-Тридентского католичества, отраженное в составленных ими текстах – как опубликованных, предназначавшихся для распространения в рамках сообщества, так и рукописных, чтение которых ограничивалось кругом членов семьи. Рассматривается также и роль практики чтения в религиозной культуре английских католиков.

Изучение функционирования книг потребовало изменения исследовательского фокуса, внимания к «элементарной единице» католического сообщества – окружению католического магната, которое в рассматриваемый период выступало в роли прихода. В данном разделе анализируются книги, создававшиеся членами семьи, родственниками или слугами виконтов Монтегю – католических магнатов юга Англии.

Переводы католической литературы в XVI – первой половине XVII в.

Переводы составляли значительную группу – треть (34%) всей англоязычной книжной продукции (315 изданий из 930). Естественно, значительная доля публикуемых переводов – 24%, или 74 издания – при-

² Все подсчеты выполнены автором по изданию: *Allison A.F. and Rogers D.M. The Contemporary Printed Literature of the English Counter-Reformation between 1558 and 1640. Vol. II: Works in English. Aldershot, 1994.*

шласть на долю переводов Св. Писания, Псалтири и молитвословов, предназначенных для мирян, которые порой оказывались надолго лишены доступа к католическим священникам, а, следовательно, и к таинствам. Своего рода заменой – хотя отнюдь не адекватной – католической литургии было регулярное чтение молитв, ее составляющих. Предполагалось, что такое чтение станет способом организации религиозной жизни мирян в отсутствие священника, причем грамотные миряне – зачастую хозяева поместья – собирали слуг и родственников для совместной молитвы. Остальные переводы распадаются на многочисленные жанры. Среди них были тексты, посвященные тому, как правильно молиться и медитировать, рассказывавшие о таинстве причастия и подготовке к нему, полемические сочинения и богословские трактаты, наставления в благочестивой жизни, жития святых и правила монашеских орденов, катехизисы, церковные истории, сочинения отцов церкви и др.

Публикация этих трудов распределялась весьма неравномерно по хронологическому периоду, охватывающему около 80 лет. Большая часть переводов (как и книжной продукции вообще) приходится на первую половину XVII в., а количество публикаций, появившихся в елизаветинский период, выглядит относительно скромным. В 1560-х гг. было издано 11 переводов (3,4%), в 1570-х – 15 (5%), в 1580-х – 10 (3%), в 1590-х – 21 (6,6%). Всего за 1559–1600-е гг. вышло 57 изданий переводов (18% от их общего числа). Количество переводов постепенно росло. В 1600-х гг. вышло 29 изданий (9,2%), а уже в следующем десятилетии этот показатель резко подскочил: в 1610-х гг. вышло в свет 61 издание (19,3%). В 1620-х гг. было издано 80 переводов (25,3%), а в 1630-х гг. и того больше – 88 (28%). Всего в 1600–1640 гг. вышло в свет 268 изданий переводов католической литературы (85% от общего числа).

Подобная неравномерность определялась группой факторов – политических, экономических и идеологических. К числу первых относится постепенное ослабление гонений на католиков к 1620-м гг. В правление Елизаветы католическое сообщество постоянно находилось под угрозой, так как правительство было склонно рассматривать его как своего рода «пятую колонну». Этому способствовало и Северное восстание 1569–70 гг., прошедшее под лозунгом восстановления «старой веры», и отлучение Елизаветы от церкви папой Пием V в 1570 г., и затяжная (1585–1604 гг.) война с католической Испанией. Возшедший в 1603 г. на английский престол Яков I заключил мир с Испанией и стремился поддерживать хорошие отношения с католическими соседями; он даже имел своего неофициального представителя в Риме. Несмотря на то, что антикатолические законы времен Елизаветы не были отменены, а Пороховой заговор 1605 года вызвал в стране

волну враждебности к католикам, в целом их положение при Стюартах улучшилось. Постоянно испытывавший нехватку денежных средств Яков I предпочитал не преследовать католиков (что вступило бы в противоречие с проповедовавшейся им терпимостью), а взимать с них денежные штрафы за отказ посещать приходские церкви. А после того, как в 1617 г. начались переговоры о браке принца Карла с испанской инфантой действие законов против католиков неофициально прекратили. Хотя испанский брак и не состоялся, в 1625 г. Карл I женился на французской принцессе-католичке Генриетте-Марии, поэтому политика его отца в отношении католиков продолжалась. Естественно, в условиях большей терпимости XVII века стало безопаснее доставлять книги с континента в Англию и хранить их³.

Изменилась и структура самой миссии. Она выдержала несколько реорганизаций и выросла численно. Около 40 лет (1559–1598) английская миссия не имела четкой структуры; работавшие в стране нелегально католические священники-семинаристы (выпускники английских семинарий в Дуэ, Риме, Вальядолиде и Севилье) составляли небольшие группы, неформально подчинявшиеся работавшим в данной местности иезуитам, число которых в Англии в XVI в. было невелико. В 1598 г. управление иезуитами и священниками-семинаристами было разделено. Иезуиты оказались в подчинении префекта Английской миссии ордена (позднее миссия была преобразована в провинцию), а священники-семинаристы были переданы под начало архипресвитера. Позднее, в 1623 г., был воссоздан католический епископат. Реорганизация миссии способствовала большей эффективности ее работы, в том числе и увеличению числа ввозимых книг. Кроме того, постепенно улучшалось и финансирование миссии⁴.

Большое влияние на рост книжной продукции имело и увеличение числа издательских центров. В XVI – начале XVII в. английские католики, как правило, издавали свои книги за пределами страны, на континенте, во Франции или Испанских Нидерландах. Именно там (за редкими исключениями) появились и все рассматриваемые переводы. Основным издательским центром эмигрантов-англичан во Франции был Руан. Он был тесно связан с английским книжным рынком еще с начала XVI в., когда английские печатники еще не в состоянии были полностью обеспечить спрос на книжную продукцию. Руан находился в Нормандии: оттуда было сравнительно легко доставить тираж в Англию. К тому же

³ Об истории английского католического сообщества см.: *Серегина А.Ю.* Политическая мысль английских католиков второй половины XVI – начала XVII в. СПб., 2006. С. 58-63.

⁴ Там же. С. 47-48.

Нормандия была одним из центров, где сосредотачивались владения Гизов и, соответственно, базой Католической Лиги. А в XVII в. провинция стала одним из центров Католической Реформы. В Руане англичане издавали свои книги в типографиях Жардэна Амильона и Жоржа Л'Уазле, печатников, работавших в городе в 1566–1614 и 1584–1599 гг. соответственно⁵. В XVII в. к ним прибавились также печатник и книготорговец Жан Кутюрье (работал в Руане с 1609 г.) и печатник Николя Куран (1621–1635; после этой даты предприятие возглавила его вдова)⁶.

В Париже было издано сравнительно мало английских книг. Здесь контрагентами англичан были печатники Жером Блажар и его вдова, братья Жан и Николя де ла Кост, а также печатник и книготорговец Себастьян Крамуази⁷.

Сообщество печатников и книготорговцев, работавших с английскими католическими переводами в Нидерландах, было более многочисленным. В его состав входили англичане или натурализованные иностранцы, которые с приходом к власти протестантов предпочли эмигрировать. К их числу относятся печатники Джон Фаулер, типография которого работала в Лувене (1565–1570), Антверпене (1570) и Дуэ (1578–1579) и Джон Лайонс, также трудившийся в Лувене (1580) и Дуэ (1580–1581). Другой печатник, Лоренс Келлэм, начал работу в Лувене (1598–1604), а затем тоже перебрался в Дуэ (1607–1614; после его смерти дело в 1614–1661 гг. продолжала вдова). Еще один англичанин, Джон Хейэм, открыл типографию в Дуэ, где работал с 1609 по 1622 г., а затем переехал в Сент-Омер. Там он выступал в роли книготорговца (1622–1639), а затем и печатника (1631). В Антверпене в 1576–1603 гг. действовал печатник Ричард Верстеган, а в Дуэ около 1624 г. жил книготорговец и печатник Генри Тайлор⁸.

Впрочем, эмигранты имели дело отнюдь не только с соотечественниками. Много книг для них издал антверпенский печатник Арно Коньонкс (работал в 1579–1608 гг.), а также Жан Богар, имевший типографии в Лувене (1564–1567) и Дуэ (1574–1626). Ему наследовал его сын, Мартин, а затем и вдова последнего, издававшие книги вплоть до 1635 г.⁹ В Дуэ действовал и Шарль Боскар (1596–1610), впоследствии перенесший свою типографию в Сент-Омер (1610–1619). Как и в пре-

⁵ См.: Dictionary of Printers and Booksellers in England, Scotland and Ireland, and of Foreign Printers of English Books, 1557–1640 / Ed. by H.G. Aldis, R. Bowes, ... and H.R. Plomer. L., 1910. P. 122, 182.

⁶ Ibid. P. 78–79.

⁷ Ibid. P. 80, 88.

⁸ Ibid. P. 107–108, 134, 163, 263, 275.

⁹ Ibid. P. 40, 74–75.

дыдущем случае, его дело продолжила вдова, издававшая книги до 1652 г.¹⁰ Другими издателями англичан-католиков были печатники из Дуэ Жерар Пинсон (работал в 1609–1634) и Марк Вийон (1609–1630; вдова издавала книги до 1659 г.)¹¹.

Перемещение печатников между Антверпеном, Лувеном, Дуэ и Сент-Омером отражала перипетии войны между католиками и протестантами, охватившими Нидерланды после 1568 г. Стабилизация ситуации в южных провинциях под властью инфанты Изабеллы (с 1598 г.) и заключение перемирия между Испанией и северными провинциями (1609 г.) способствовала расцвету деловой активности в Нидерландах, включая и книгоиздательство.

Однако одним из самых важных факторов, повлиявшим на выпуск английской книжной продукции, стало создание типографии в английской коллегии ордена иезуитов в Сент-Омере. Основанная в 1593 г. Робертом Парсонсом коллегия предназначалась для обучения мальчиков из католических семей. В 1608 г. там начала работу типография, быстро превратившаяся в главный издательский центр английской католической миссии. Его возникновение позволило увеличить как количество издаваемых книг, так и их тиражи, а близость к Ла-Маншу – Сент-Омер соединялся каналом с Гравлином – облегчало транспортировку книг в Англию.

Самой многочисленной группой переводов являлись переводы с латыни. 74 из них, как уже говорилось, приходится на переводы Св. Писания и молитвословы, и не учитываются в данном исследовании. Но и помимо них католики-эмигранты издали 102 перевода с латыни (32,3% от общего числа). Эти переводы, в свою очередь, распадаются на более мелкие группы в соответствии с жанрами. Самая большая группа – 21 издание – относится к жанру религиозных наставлений, следующая за ней – 19 изданий – переводы полемических сочинений. 16 изданий приходится на жития святых, 8 – на руководства, посвященные молитве и медитации, 7 – на богословские трактаты, по 6 – на монашеские правила и сочинения отцов церкви. 5 изданий посвящены переводам сочинений о Страстях Христовых. По 4 издания приходится на богословские труды и сочинения отцов церкви, по 3 – на катехизисы и церковные истории, по 2 – на труды, посвященные почитанию Девы Марии, публикацию документов (например, папские бреве) и на мариитири. Один текст посвящен щете всего мирского и, наконец, еще один представляет собой военную историю – описание осады Бреды.

¹⁰ Ibid. P. 43.

¹¹ Ibid. P. 215, 304–305.

Эти цифры, кажется, свидетельствуют о некоем разномыслии и несогласованности в отборе текстов для перевода. Тем не менее, в них можно усмотреть некие общие принципы и подходы. Совершенно очевидно, что большая часть текстов, за исключением, пожалуй, монашеских правил, предназначались для мирян, а также для монахинь. Подразумевалось, что будучи женщинами, монахини не получили столь же хорошей филологической подготовки, как монахи-мужчины, и их латынь оставляла желать лучшего. Поэтому для их удобства предназначались переводы монашеских правил и, отчасти, наставительные сочинения и руководства, посвященные молитве. Ведь Тридентский собор предписывал монахиням отказаться от подвижничества в миру и затвориться в стенах обители, проводя время в молитве.

Что же касается мирян, то большое количество наставительной и агиографической литературы вряд ли может удивить. Примечательно, однако, что мирянам предназначалось и сравнительно большое число полемических произведений, причем изданных как в XVI, так и в XVII в. Объяснение заключается в практике английских церковных судов. Они обладали правом вызвать любого совершеннолетнего католика, мужчину или женщину, и потребовать от них участия в диспуте с протестантским священником. Поэтому представление о догматических различиях между конфессиями, а также об основах полемического богословия было немаловажным и для мирян¹². Это обстоятельство во многом определило особенности книжной продукции, адресованной английским католикам, и не только печатной, но, как будет показано ниже, и рукописной.

Важно также отметить и отношение переводчиков к средневековому наследию католической церкви. Большая часть переведенных текстов принадлежала их современникам, авторам XVI – начала XVII в., или же отцам церкви, творившим в первые века христианства (здесь наибольшей популярностью пользовался Св. Августин). Собственно средневековых сочинений среди них очень мало, что отражает как аудиторию переводов – а ею были миряне, а не ученые богословы, в переводах с латыни и не нуждавшиеся, – так и явный скептицизм по отношению к средневековому благочестию, в котором поколение католических реформаторов усматривало опасную близость к язычеству. Не случайно среди переводов нет ни одного издания средневековых сборников житий святых. Все жития, отобранные для переводов, были либо «одобренные» и отредактированы в XVI в. – например, культ Св. Франциска был значительно переосмыслен, и англичанам представили уже новую вер-

¹² См.: *Questier M.C. Conversion, Politics and Religion in England, 1580–1625.* Cambridge, 1996. P. 154–156.

сию, – либо представляли собой жития новых святых, канонизированных в начале XVII в., в том числе основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы, миссионеров в Мексике и далекой Японии. Чаще всего переиздавалась коллекция житий «современных» святых *«Цветок святости»* (1609, 1610, 1611, 1615).

Собственно средневековых текстов было немного. Это – трактат Альберта Великого о слиянии души с Богом (1617) и самый популярный в раннее Новое время в Европе религиозный труд – *«Подражание Христу»* Фомы Кемпийского¹³. Написанное в XV в., это сочинение было призвано наставлять христианина в его трудном пути к Богу. Оно предназначалось всем христианам и, прежде всего, мирянам и почти сразу обрело большую популярность. Реформация не изменила ситуации – *«Подражание Христу»* читали католики и протестанты, а издания исчислялись сотнями. Уже в XVI в. существовало несколько английских переводов этого труда. Самый первый был сделан в 1502 г., а впервые напечатан был перевод монаха-бригеттинца Роберта Уитфорда¹⁴ (1531). Этот перевод эмигранты-католики переиздали в 1575 и 1585 гг., а в XVII в. появился новый перевод иезуита Энтони Хоскинса, издававшийся в 1613, 1615, 1616, 1620, 1624, 1633 и 1636 гг.

Но подавляющее большинство текстов было написано в XVI веке. Они представляли собой плоды нового, пост-Тридентского благочестия, которые и адаптировались для английской аудитории. Им предназначались переводы катехизисов Петра Канизия¹⁵, сочинений кардинала Роберто Беллармино¹⁶, полемистов Леонарда Лессия и Мартина Бекана. Все эти авторы были иезуитами, как и переводчики их трудов. Однако большая часть этих произведений имела всего одно издание. В отличие от них, некоторые произведения наставительного жанра, или же руководства, посвященные молитве и медитации, переиздавались многократно. Спрос на них определялся аудиторией, и не случайно именно светские лица порой становились их переводчиками. Так, труд немецкого монаха-картузианца Иоанна Герехта из Ландсберга¹⁷ о любви человеческой души к Богу был переведен на английский Филиппом

¹³ Фома Кемпийский (Томас Хэмеркен) (ок. 1380–1471), монах монастыря Св. Агнессы в Зволле, мистик и религиозный писатель.

¹⁴ Роберт Уитфорд – монах бригеттинской обители Сион близ Лондона, автор популярных наставительных сочинений и переводчик.

¹⁵ Петр Канизий, Питер Канис (1521–1597) – иезуит, уроженец Нидерландов (Гельдерн), богослов, автор катехизисов, святой католической церкви.

¹⁶ Роберто Беллармино (1542–1621) – иезуит, католический богослов, кардинал, святой католической церкви.

¹⁷ Иоанн Герехт из Ландсберга (1489–1539) – немецкий монах-картузианец (Кёльн), автор богословских сочинений.

Ховардом, графом Эренделом¹⁸, когда тот находился в Тауэре, и издан в Лондоне в 1593 г. Перевод был переиздан в английской столице сразу после смерти графа в 1595 г., а затем еще раз на континенте, в Сент-Омере, в Английской коллегии (1637).

Следующую по численности группу составляют переводы с французского языка. Их было 54 (17 % от общего числа). Переводы с французского языка стали относительно новым явлением – всего 4 из них появились до 1600г., что явилось отражением как смены политической ориентации многих эмигрантов с испанской на французскую, так и оживления религиозной жизни католической Франции после завершения эпохи религиозных войн. Вполне очевидно, что с новых языков, включая французский, переводили современные переводчикам тексты, труды, написанные в XVI – начале XVII в. Как и в случае с переводами с латыни, самую большую группу – 22 издания – представляют собой наставления в религиозной жизни. К этой же группе примыкают несколько изданий, посвященных почитанию Девы Марии (3), таинству причастия (2), благой смерти христианина (1), руководства по молитве и медитации (2). За этой группой следуют полемические сочинения (17 изданий). 5 изданий посвящено житиям святых, а еще два представляли собой богословский труд и публикацию эдикта Карла IX против протестантов.

Самыми популярными переводами с французского оказались сочинения Св. Франциска Сальского¹⁹ (1613, 1614, 1617, 1622, 1630, 1632, 1637), иезуита Николя Коссэна (1626, 1631, 1632, 1634, 1638), а также произведения итальянки Изабеллы Кристины Беллинзаги²⁰ (1612, 1625, 1628, 1631), с которыми английские авторы познакомилась во французском переводе.

Переводы с итальянского менее многочисленны – их 33 (10,4% от общего числа изданий). Как и переводы с французского, они представляли собой сочинения авторов XVI–XVII вв. и довольно пестры в отношении жанровой принадлежности. По 7 текстов относятся к жанрам наставлений и катехизисов (причем последние принадлежат перу иезуита Роберто Беллармино: 1604–1605, 1611, 1614, 1617, 1624, 1633 гг.).

¹⁸ Филипп Ховард, граф Эрендел (1557–1595) – английский аристократ-католик, почитается католической церковью как мученик за веру. См.: The Ven. Philip Howard, earl of Arundel, 1557–1595: English martyrs / Ed. by J.H. Pollen and W. MacMahon. Catholic Record Society (далее – CRS). Vol. 21. L., 1919.

¹⁹ Св. Франсуа де Саль, Франциск Сальский (1567–1622), епископ Женевский, богослов, проповедник, основатель ордена визитатинок.

²⁰ Изабелла Кристина Беллинзага (1551–1624) – визионерка из Милана, принадлежавшая к знатной семье. Ее труды, отредактированные ее духовным наставником, иезуитом Акилле Гальярди (1538–1607), были популярны во Франции – их, в частности, пропагандировал кардинал де Берюль.

К первой группе примыкают также сочинения, посвященные благой смерти (5), Страстям Христовым (3), почитанию Девы Марии (2), таинству причастия (2). 4 издания представляют собой жития святых, причем одно из них – Св. Екатерины Сиенской – средневековое, принадлежащее перу Раймонда Капуанского²¹, а остальные были посвящены «современным» святым – например, итальянскому иезуиту Алоизию (Луиджи) Гонзага²². Помимо Беллармино, популярностью пользовались и сочинения другого итальянского иезуита, Луки Пинелли²³ (издания 1598, 1618, 1623, 1624 гг.).

Переводы с испанского представляют собой более гомогенную группу. Она состоит из 50 изданий (15,8% от общего числа), причем больше половины из них – 30 – относятся к жанру религиозных наставлений. К ним примыкает еще 10 руководств, посвященных молитвам и медитациям, 2 издания о таинстве причастия и 1 текст о Страстях Христовых. Кроме них, с испанского были переведены 4 жития святых и 2 мученики, а также всего одно полемическое произведение. Все без исключения испанские оригиналы принадлежали перу авторов XVI века и составляли своего рода «классику» благочестивой литературы этого периода. Среди наиболее популярных у переводчиков испанских авторов – францисканец Диего де Эстелла²⁴ (1577, 1554, 1622), иезуиты Гаспаро Лоарте²⁵ (1579, 1596, 1613), Луис де ла Пуэнте²⁶ (1586, 1610, 1612, 1619, 1625), Франсиско Ариас²⁷ (1602, 1620, 1621, 1630, 1638), Алонсо Родригес²⁸ (1630, 1631, 1632) и доминиканец Луис де Гранада²⁹ (1584, 1633, 1634).

Кроме этих основных языков, вышло два перевода с португальского и один – с голландского (все три – жития святых).

Как явствует из анализа текстов, отобранных для перевода, они представляли собой «последние достижения» пост-Тридентского бла-

²¹ Раймондо Капуанский, Раймондо делла Винья (1330–1399) – богослов, генерал ордена доминиканцев, духовный наставник Св. Екатерины Сиенской.

²² Алоизий (Луиджи) Гонзага (1568–1591) – итальянский иезуит, святой католической церкви.

²³ Лука Пинелли (1542–1607), итальянский иезуит, богослов.

²⁴ Диего де Эстелла (1524–1578) – монах-францисканец, испанский богослов и мистик.

²⁵ Гаспаро Лоарте (1498–1578) – испанский иезуит, богослов.

²⁶ Луис де ла Пуэнте (1554–1624) – испанский иезуит, богослов и аскет.

²⁷ Франсиско Ариас (1533–1605) – испанский иезуит, богослов и аскет, в Севилье почитался как святой.

²⁸ Альфонсо (Алонсо) Родригес (1526–1616) – испанский иезуит, автор богословских сочинений.

²⁹ Луис де Гранада (1505–1588) – испанский доминиканец, богослов и церковный историк.

гочестия, каким его себе представляли руководители миссии. А поскольку среди них было немало иезуитов, неудивительно, что и среди авторов переводимых текстов иезуиты тоже доминировали. Впрочем, сами иезуиты старались сделать доступными для английского читателя то, что они считали лучшим, даже если эти сочинения принадлежали перу представителей других орденов. Один из самых ярких примеров тому – издание английского перевода трактата «О презрении к миру» францисканца Диего де Эстеллы, вышедшее в свет благодаря стараниям иезуита Роберта Парсонса (Руан, 1584).

Кто определял «литературную» политику миссии? Для ответа на этот вопрос, необходимо проанализировать состав группы переводчиков, работавших в Англии и за ее пределами в XVI – первой половине XVII в. Часть из них осталась анонимной – из 106 переводчиков десять скрываются за инициалами, и установить их личность оказалось невозможным. Что касается остальных, то, как и следовало ожидать, большая их часть – клирики, священники-семинаристы и иезуиты. Представителей других орденов среди переводчиков немного. В их числе было три францисканца – Артур (в монашестве Фрэнсис) Белл, Ричард Мейсон и Люк Уоддинг. Артур Белл (1591–1643), уроженец Вустершира, учился в коллегии Св. Альбана в Вальядолиде, а затем вступил в орден Св. Франциска. Белл был блестящим лингвистом, а приобретенное за годы жизни в Испании знание языка способствовало тому, что он впоследствии оказался в состоянии переводить с него на английский духовную литературу (2 издания 1624 г.)³⁰. Ричард Мейсон (1600–1678) был ученым богословом и позднее стал главой английской провинции своего ордена. Большая часть его литературного наследия предназначалась студентам или богословам и написана на латыни, однако его перу принадлежит и перевод Правила Св. Франциска (1635), адресованный английским монахиням-клариссинкам. Ирландец Люк Уоддинг (1588–1659) большую часть жизни провел в Испании, где основал ирландскую францисканскую коллегию Св. Исидора Мадридского. Он – автор довольно большого числа трудов, но перевод среди них всего один (житие Св. Клары, 1635).

Кроме них, среди переводчиков присутствует всего один кармелит (Томас Дути); один монах-бригеттинец (Роберт Уитфорд) и один доминиканец (Уильям Перин), причем два последних автора создавали свои переводы с латыни в католической Англии (1531 и 1557 гг. соответственно), а их труды были впоследствии переизданы.

³⁰ Здесь и далее биографические сведения, за исключением специально оговоренных случаев, приводятся по Oxford Dictionary of National Biography. Oxford, 2004.

Безусловное доминирование иезуитов и священников-семинаристов, объясняется, на наш взгляд, весьма просто. Они переводили предназначенную мирянам литературу, поскольку это была важная часть их миссионерской деятельности. Представители других орденов хотя и присутствовали в Англии, но были весьма малочисленны, так что основная пастырская работа доставалась именно иезуитам и выпускникам руководимых ими семинарий.

Не случайно самыми плодовитыми переводчиками были священники Энтони Батт (издания 1622, 1631, 1633 [две книги] и 1638 гг.) Джон Уилсон (издания 1617, 1620, 1621, 1623, 1626, 1634 и 1635 гг.), Майлс Пинкни (издания 1630, 1632 [2 книги], 1635, 1636 гг.) и Джон Якли (издания 1613, 1614, 1622 и 1637 гг.), а также их собратья по миссии – иезуиты. Среди членов Общества Иисуса стоит выделить Томаса Эверарда (1560–1633)³¹. Он издал 9 переводов (1606 [2 издания], 1617 [2 издания], 1618, 1623, 1624, 1638 [2 издания]) «классики» иезуитской духовной литературы – сочинений Луки Пинелли, Св. Франсиско де Борхи, Франсиско Ариаса, Луиса де ла Пуэнте, Фульвио Андросци и Игнасио Бальзамо. Все переводы были опубликованы в типографии иезуитской коллегии в Сент-Омере.

Эверард был младшим современником и последователем других переводчиков-иезуитов, издававших свои труды в Сент-Омере. Среди них – Ричард Гиббонс (1547/1553–1632), переводивший труды испанских и итальянских богословов и мистиков – Луки Пинелли, Луиса де ла Пуэнте, Луиса де Гранады, Винченцо Бруно и Роберто Беллармино (издания 1599, 1604, 1610, 1614 и 1633 гг.) и подавший им всем пример Генри Гарнет (1555–1606)³², в течение 20 лет (1586–1606) совмещавший заботы главы иезуитов-миссионеров в Англии с работой над памфлетами и переводами сочинений Франсиско Ариаса, Винченцо Бруно, Петра Канизия, Джакопо Ледисмы, и Луки Пинелли (издания 1597 [2 книги], 1598 [2 книги], 1602, 1620 и 1622 гг.).

В отличие от них, иезуит Уильям Райт (1563–1639) переводил, в основном, полемические сочинения, созданные в 1606–1623 гг. в ходе охватившей половину Европы дискуссии о присяге католиков на верность Якову I, а точнее, о содержащейся в ней фразе, объявлявшей учение о том, что папа имеет право смещать светских государей с престола. В полемике участвовали не только английские богословы, но также и французы, испанцы, голландцы³³. Райт стремился познакомить

³¹ Allison A.F. An early 17th century translator: Thomas Everard // *Biographical Studies*. Vol. 2. 1953–1954. P. 188–215.

³² *Saraman P.* Henry Garnet, 1555–1606, and the Gunpowder Plot. L., 1964.

³³ *Серегина А.Ю.* Политическая мысль английских католиков. С. 54–58; 65–69.

своих собратьев-католиков с доводами ученых иезуитов, отстаивавших официальную позицию, принятую Римом. Его перу принадлежат переводы трактатов Мартина Бекана и Леонарда Лессия.

Помимо клириков, значительную группу переводчиков (17 человек) составляли светские лица. Поскольку они, в отличие от миссионеров, не были связаны политикой руководства в отношении того, что именно следовало переводить, их выбор в большей степени отражает вкус аудитории, ее пристрастия и предпочтения в религиозных практиках, а круг авторов определялся не орденой принадлежностью, но личным чувством. Так, Энтони Браун, первый виконт Монтегю³⁴ издал в 1560 г. трактат кардинала Джона Фишера об умственной молитве. В 1610 (переиздан в 1635 г.) появился перевод Жития Св. Франциска, принадлежавший перу его внука, Энтони Марии Брауна, второго виконта Монтегю. В выборе текста отчетливо отразилось свойственное всей семье почитание святого (подробнее об обоих изданиях см. ниже). А пребывавший в заключении в Тауэре в конце 1570-х гг. Джордж Коттон перевел – вполне уместно – трактат Диего де Эстеллы о презрении к миру. Оказавшийся в Тауэре чуть позже, в 1580 – начале 1590-х гг., граф Эрэндел перевел уже упоминавшийся трактат о пути человеческой души к Богу.

Впрочем, было бы неверным считать, что выбор мирян так уж сильно отличался от того, что им предлагали их священники-миссионеры. Некоторые из переводчиков-мирян вообще были тесно связаны с руководством миссии. Они сами были эмигрантами и работали в тесном контакте с лидерами английской миссии на континенте. В первую очередь это относится к печатникам и книгоиздателям. Джон Фаулер (1537–1579), перебравшийся на континент в 1560-е гг., с первой волной эмигрантов, издавал многочисленные полемические и настави-

³⁴ О семье Монтегю см.: *Questier M.C. Catholicism and Community in Early Modern England: Politics, Aristocratic Patronage and Religion*, с.1550–1640. Cambridge, 2006; *Серезина А.Ю.* Политическая и конфессиональная идентификация католической знати в Англии второй половины XVI – начала XVII в. // Социальная идентичность средневекового человека / Под ред. А.А. Сванидзе и П.Ю. Уварова. М., 2007. С. 213–225; *она же.* Католическая знать в протестантской Англии: виконты Монтегю (втор. пол. XVI – начало XVII в.) // Искусство власти. Сборник в честь профессора Н.А. Хачатурян / Под ред. О.В. Дмитриевой. СПб., 2007. С. 328–351; *она же.* Верность королеве и долг католика: крещение Мэри Браун (1594 г.) // Средние века. 2007. Вып.68 (2). С. 5–32; *она же.* Католическое гостеприимство: визит королевы Елизаветы I в Каудрей (1591) // Мир Клио. Сборник статей в честь Л.П. Репиной. Т. 1. М., 2007. С. 357–373; *она же.* Католик или политик? (с приложением транскрипции и перевода парламентской речи виконта Монтегю (1604)) // Диалог со временем. 2008. Вып. 25 (2). С. 342–372; *она же.* Виконты Монтегю: семейная история в контексте конфессионального конфликта // Средние века. 2010. Вып. 71 (1–2). С. 223–241.

тельные произведения и сам перевел некоторые из них (издания 1566, 1568, 1576 гг.). А печатник и книготорговец Джон Хейэм (ок. 1568 – ок. 1634)³⁵ специализировался в основном на молитвословах и наставительной литературе, причем и сам ее переводил. Он подготовил к изданию и перевел несколько сборников религиозных наставлений, включавших в себя сочинения Луиса де ла Пуэнте, Карло Борromeо, Луиса де Гранады (издания 1604, 1611, 1614, 1618 и 1624 гг.). Еще одним переводчиком с испанского был Ричард Хопкинс (ок. 1546–1596), учившийся в свое время в Оксфорде (колледж Модлин), а затем завершивший свое образование в Испании. Ему принадлежат несколько переводов сочинений Луиса де Гранады (издания 1582 и 1586 гг.).

Остававшиеся в Англии миряне не отставали от эмигрантов. Так, поэт и переводчик сэра Томас Хокинс (1570–1640?) издал несколько переводов сочинений французского иезуита Николя Коссэна (в 1626, 1631, 1634 и 1638 гг.), а один из самых плодовитых переводчиков XVII века, «блудный» сын англиканского архиепископа и обращенный католик, сэра Тоби Мэтью (1577–1655) переводил испанских мистиков и духовных писателей – Франсиско Ариаса, Хуана де Авилу, Алонсо Родригеса (издания 1619, 1620 [3 книги], 1621, 1630 и 1631 гг. [3 книги]). Его же перу принадлежит и первый перевод на английский язык «Исповеди» Бл. Августина (Сент-Омер, 1620; дважды переиздано в Париже в 1638г.).

Таким образом, можно констатировать, что образованная элита католического сообщества в своих приоритетах была близка религиозной программе лидеров английской католической миссии. Светские и духовные лидеры сообщества выступали сообща, стараясь преобразовать религиозные практики своих единоверцев в соответствии с духом реформированного католицизма, очищенного, как им казалось, от суеверий.

Особую группу составляют женщины-переводчики. Их было совсем немного – всего 6, и пять из них принадлежали монашеским орденам. Доминирование переводчиков-мужчин, безусловно, объясняется особенностями женского образования, ограничивавшего их лингвистические познания; кроме того, для женщины выступить в роли автора или переводчика все еще считалось пусть уже и не неслыханной, но все же дерзостью. Переводы монахинь предназначались для «внутреннего пользования» их монашеской общины, хотя порой оказывались такими популярными, что выдерживали не одно издание и выходили далеко за пределы монастырских стен. Так, сборник сочинений уже упоминавшейся итальянской визионерки Изабеллы Кристины Беллинзаги был переведен

³⁵ Allison A.F. John Heigham of S. Omer (c. 1568 – c.1632) // *Recusant History*. Vol. 4. 1957–1958. P. 226–242.

в 1612 г. настоятельницей бенедиктинской обители в Брюсселе леди Мэри Перси (1570–1642). Этот перевод обрел большую популярность и выдержал 4 переиздания (1625, 1628 и 1632 г. [дважды]). Известны еще три переводчицы-бенедиктинки: Пуденциана Дикон (1581–1645), Алексия Грей и Кэтрин Гринбери, и одна монахиня-клариссинка, аббатиса монастыря в Эйре Элизабет Эвелинг (1597–1668)³⁶.

Единственной переводчицей-мирянкой была Элизабет Кэри (1585–1639), виконтесса Фолкленд³⁷, издавшая в 1630 г. перевод кардинала дю Перрона о властях светских и духовных. Созвучная позиции английских католиков в споре о праве папы смещать государей, эта речь имела политическое значение, а переводить ее (да еще и посвящать королеве Генриетте-Марии) было рискованным занятием. Большая часть тиража книги была арестована и уничтожена по приказу короля. Виконтессе, впрочем, дерзости было не занимать: она была первой женщиной, чья пьеса – трагедия *«Мириам»* – была опубликована (1612) в Англии. Она же вопреки мнению родственников обратилась в католичество, едва не разрушив при этом собственную семью и лишившись средств к существованию. Ее перу принадлежала также *«История правления, жизни и смерти короля Эдуарда II»*, известная при жизни автора только в рукописи (издана в 1680г.).

Но если переводчиков-женщин и было немного, то вот с патронами, которым эти переводы посвящали, дело обстоит совсем наоборот. Из 45 посвящений³⁸ 13 адресованы мужчинам, и 32 – женщинам. Среди патронов-мужчин фигурирует всего одно духовное лицо – Томас Голдуэлл (ум. 1585), епископ Сент-Азафа в Уэльсе и один из лидеров английской католической эмиграции. Оксфордский ученый, он в конце 1530-х гг. покинул Англию и странствовал по Европе в качестве капеллана кардинала Реджинальда Пола. При Марии Тюдор он вернулся в Англию и стал епископом (1555–1559), а после того как Елизавета в 1559 г. восстановила в стране протестантскую церковь, он вновь бежал на континент. Голдуэлл был единственным английским епископом, присутствовавшим на Тридентском соборе (1562 г.), а позднее стал генеральным викарием архиепископа Миланского Карло Борromeо – «образцового» прелата Католической Реформы. Голдуэллу, впрочем,

³⁶ Registers of the English Poor Clare Nuns at Gravelines... 1608–1837. Miscellanea IX // CRS. Vol. 14. L., 1914. P. 25–173.

³⁷ The Lady Falkland: Her Life by One of Her Daughters / Ed. by B. Weller and M.W. Ferguson. Berkeley, 1994. См. также *Серегина А.Ю.* Смиренная мятежница: обращение в католичество Элизабет Кэри // Адам & Ева. 2003. Вып. 5. С. 121–144.

³⁸ Есть еще 4 «коллективных» посвящения – всем иезуитам, а также английским монахиням – клариссинкам, бригеттинкам и бенедиктинкам.

посвящен только один, ранний (1570 г.) текст. Позднее подавляющее большинство посвящений адресовалось мирянам.

Среди адресатов неизбежно оказывались монархи, члены правительства, не имевшие отношения к католическому сообществу – например король Яков I или Джордж Кэри, лорд Хансдон (1547–1603), но зато прекрасно подходившие на роль «фиктивных» патронов. Этот прием широко использовался полемистами, когда необходимо было подчеркнуть полную лояльность католиков правительству и несправедливость испытываемых гонений.

Другую группу составляли титулованные дворяне, придворные, сами, как правило, официально остававшиеся протестантами, но имевшие большой круг католической родни. Они являлись потенциальными (в случае обращения в «истинную веру») или даже реальными покровителями английских католиков: придворный Карла I Джеймс Стюарт, граф Морей (1591–1638), супруга которого Энн Гордон, принадлежала к католической семье графа Хантли, лидера шотландских католиков; Эдвард Сэквилл, граф Дорсет (1570–1652), сын католички Маргарет Ховард (сестры мученика за веру Филиппа, графа Эрендела)³⁹; а также Джон Тэлбот, граф Шрусбери (1601–1654), внук ревностного католика-рекузанта, сэра Джона Тэлбота из Графтона (1535?–1607?) и супруг представительницы другого католического клана, Мэри Фортескью, правнучки католического мученика, сэра Эдриана Фортескью (казнен в 1539 г.).

Наконец, остальные адресаты посвящений были собственно католиками. Одни явно приходились друзьями и родственниками переводчикам – например, Ричард Банистер из Лондона и эсквайры Генри Мэнфилд и Уильям Стэнфорд, другие же были аристократами-католиками, настоящими лидерами гонимого сообщества. В числе последних – родственник графа Дорсета Генри Невилл, лорд Абергавенни (ок. 1580–1641) и представители одного из самых влиятельных католических семейств страны – Энтони-Мария Браун, второй виконт Монтегю (1574–1629), и его сын и наследник Фрэнсис Браун, третий виконт (1610–1682). Ряд переводов был посвящен потомку заговорщиков, придворному и католику-интеллектуалу XVII века, сэру Кенельму Дигби (1603–1665)⁴⁰.

Неудивительно, что среди женщин-патронесс нашлись представительницы этих семейств и их родственницы. Это – дочь второго виконта

³⁹ *Smith D.L.* Catholic, Anglican or Puritan? Edward Sackville, fourth earl of Dorset, and the ambiguities of religion in early Stuart England // *Transactions of the Royal Historical Society*. 6th Series. Vol. 2. 1992. P. 105–124; *idem*. The fourth earl of Dorset and the personal rule of Charles I // *Journal of British Studies*. Vol. 30. 1991.

⁴⁰ *Foster M.* Sir Kenelm Digby as man of religion and thinker // *Downside Review*. Vol. 106. 1988.

Монтегю Мэри Браун, леди Питер (1603–1685), его сестра Джейн Браун, леди Инглфилд (1580–1650), и жена двоюродного брата, сэра Томаса Эренделла из Уордура (1560–1639), Энн (урожденная Филипсон), а также дочь лорда Абергавенни Сесили Невилл. Помимо этих аристократок в числе адресатов посвящений оказались и другие дамы-католички (не считая самой королевы Генриетты-Марии): Мэри Ропер, леди Ловел (1564–1628)⁴¹, основательница и патронесса конвента английских кармелиток в Антверпене, ее сестра Элизабет, леди Вокс из Хэрроудена (ок. 1564 – после 1625) и невестка последней Энн Вокс (1562–1637). Обе они были известными покровительницами иезуитов, немало за то пострадавшими после Порохового заговора. Другие патронессы – леди Элизабет Херберт, дочь известного католика, сэра Эдварда Херберта из Поуис-Касла, Элизабет Дарси, виконтесса Сэведж (1581–1651), Энн Корваллис, графиня Аргайл (ум. 1635), Алтея Ховард, леди Фейрфакс из Эмли (ум. 1677) и Энн Пакингтон, леди Одли из Бирчёрч.

Дороти Деверо, леди Ширли (во втором браке Стаффорд; 1600–1636) была обращенной католичкой, дочерью ревностного протестанта и фаворита Елизаветы, графа Эссекса. Кэтрин Мэннерс, герцогиня Бекингэм (1603–1649), была одной из самых влиятельных дам при дворе Карла I⁴². Вернувшись к католичеству своей юности после гибели первого мужа⁴³, она покровительствовала единоверцам и способствовала не одному обращению в «римскую веру» (в том числе своей невестки Сьюзен Вильберс, леди Денби, и Элизабет Кэри, виконтессы Фолкленд). Еще одна английская дама – Джейн Дормер, герцогиня Фериа (1538–1612), долгие годы являвшаяся неформальным лидером английских эмигрантов в Испании и их покровительницей при испанском дворе⁴⁴.

Целая группа текстов была посвящена монахиням. Впрочем, простых сестер среди адресатов не было. Все посвящения адресованы главам женских монашеских общин – аббатисам клариссинок из Гравелина Маргарет (1582/5–1654) и Элизабет Рэдклифф, а также Элизабет Тилдсли (1586–1654), приорессе дочерней обители в Сент-Омере Мэри

⁴¹ *Hardman A.* English Carmelites in Penal Times. London, 1936.

⁴² *Hibbard C.M.* The role of a queen consort: the household and court of Henrietta Maria, 1625–42 // *Princes, patronage and the nobility: the court and the beginning of the modern age*, с. 1450–1650 / Ed. by R.G. Asch and A.M. Birke. L., 1991. P. 393–414.

⁴³ В 1635 г. Кэтрин Мэннерс вышла замуж за Рэнделла Макдоннела, графа Антрима в Ирландии (1609–1683), однако ей было позволено пользоваться герцогским титулом.

⁴⁴ См.: *Серегина А.Ю.* Религиозная полемика и модели женского поведения в Англии XVI–XVII веков // *Адам & Ева*. 2008. Вып. 15. С. 53–99, особ. 62–65; *она же.* Женщины-католички в Англии XVI–XVII вв.: публичная роль в частной сфере? // *Адам & Ева*. 2012. Вып. 20. С. 83–115.

Гуч⁴⁵, настоятельнице обители Св. Моники (того же ордена) в Лувене Дороти Клемент; аббатисе бригеттинского монастыря Сион, перенесенного в Дормант (Фландрия) Кэтрин Палмер и ее сестре по ордену, настоятельнице обители в Лиссабоне Барбаре Уайзмен (ум. 1649); аббатисам английских бенедиктинок в Брюсселе Джоан Беркли (1555–1616) и Мэри Перси (1570–1642), а также настоятельницам английских аббатств в Камбрэ и Генте леди Фрэнсис Гауэн (ум. 1629) и Люси Натчбулл (1584–1629) соответственно⁴⁶.

Наконец, несколько изданий было посвящено дамам, пытавшимся воссоздать активную модель иезуитского служения в женском варианте. Антония Луиса де Карвахаль-и-Мендоса (1566–1614) хотя и давала монашеские обеты, не следовала правилам женских орденов. Отправившись в качестве миссионера в Лондон, она основала там небольшую женскую общину, члены которой помогали католическим священникам и фактически выполняли всю пастырскую работу, за исключением отправления таинств⁴⁷. Мэри Уорд (1585–1645), монахиня-клариссинка, основала Институт Блаженной Девы Марии, занимавшийся образованием девочек и подготовкой их к активному служению в миру. Институт задумывался как женская параллель ордена иезуитов и именно поэтому впоследствии был запрещен, однако его основательница сыграла большую роль в распространении Католической Реформы, как в Англии, так и за ее пределами⁴⁸.

подавляющее большинство текстов, посвященное патронам, имеет характер религиозных наставлений, что отражало как их принадлежность к мирянам, либо женским монашеским общинам, так и функцию самих книг – они должны были стать пособиями или заместить порой недоступную проповедь, помочь их обладателям и читателям в той работе, которую, как подразумевалось, они на себя брали – организации религиозной жизни английских католиков, будь то монахини на континенте или члены католических семей, домочадцы, слуги и арендаторы на родине.

⁴⁵ См. Registers of the English Poor Clare Nuns at Gravelines...

⁴⁶ Neville A. English Benedictine nuns in Flanders, 1598–1687 / Ed. by M.J. Rumsey // CRS. Vol. 6. L., 1909. P. 1–72.

⁴⁷ Redworth G. The She-Apostle: the Extraordinary Life and Death of Luisa de Carvajal. L., 2008. О деятельности Луисы де Карвахаль в Англии см. также: Серегина А.Ю. Защитник веры и уличный проповедник: Луиса де Карвахаль в Лондоне начала XVII века // Одиссей. М., 2013 (в печати).

⁴⁸ Chambers M.C. The Life of Mary Ward. 2 vs. L., 1882–1885; Littlehales M.M. Mary Ward: Pilgrim and mystic, 1585–1545. L., 1994. См. также: Серегина А.Ю. «Смирение и покорность»: модели женского поведения в английском католическом сообществе XVI – начала XVII в. // Адам & Ева. 2006. Вып.12. С. 118–144.

Именно этим обстоятельством и объясняется большое количество дам-патронесс. В условиях гонений именно женщины – жены и матери – использовали свой юридически неполноправный статус, чтобы, нарушая закон, обустривать религиозную жизнь своих единоверцев. Именно они, укрывая в домах священников или приглашая их, обеспечивали своей семье и местным католикам доступ к таинствам их веры. Они же наставляли детей и взрослых в вере, организовывали религиозные братства, оказывали финансовую и иную поддержку миссионерам и монастырям. Книжные посвящения отражают тот факт, что важная роль женщин в жизни английского сообщества признавалась и высоко оценивалась лидерами английской миссии.

Анализ публикаций переводов католических книг на английский язык в конце XVI – начале XVII в. четко указывает на особый характер английского католического сообщества, который ему стремились придать – и довольно успешно – его лидеры из числа духовенства и светской элиты. Отбор книг для перевода демонстрирует, что перед нами – один из ранних примеров усвоения идей пост-Тридентского реформированного католицизма английским духовенством и католической аристократией и попытки распространения этих идей среди единоверцев.

Необходимо отметить, что из всего богатого наследия католической духовной литературы XVI века отбирались те тексты, возникновение которых было связано с монашескими орденами – преимущественно иезуитов, но также и францисканцев, доминиканцев и кармелитов. Этот отбор лишь отчасти объясняется орденской принадлежностью переводчиков. Еще одним важным фактором было то, что в Англии после Реформации исчезла привычная структура католических приходов и епархий – влиятельная, но и неповоротливая – а проповедь «истинной веры» и распространение идей реформированного католицизма было возложено на плечи миссионеров. Структура миссии была более гибкой, легче приспосабливалась к местным условиям, поэтому часто оказывалась более эффективной. В XVII в. проповеднические миссии монахов начнут действовать и в официально католических странах именно в силу их действенности⁴⁹. Парадоксальным образом

⁴⁹ О миссиях в католической Европе см.: *Châtellier L. La religion des pauvres: les missions rurales en Europe et la formation du catholicisme moderne, XVI^e – XIX^e siècle.* P., 1993; *Gentilcore D. 'Adapt Yourselves to the People's Capabilities': Missionary Strategies, Methods and Impact in the Kingdom of Naples, 1600–1800 // Journal of Ecclesiastical History.* Vol. 45. 1994. P. 269–296; *Johnson T. Blood, Tears and Xavier Water: Jesuit Missionaries and Popular Religion in the Eighteenth-Century Upper Palatinate // Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400–1800 / Ed. by B. Scribner*

протестантская Англия оказалась одним из полигонов, на которых «обкатывалась» такая модель миссионерской церкви.

Как уже отмечалось, книга играла большую роль в жизни английских католиков, зачастую заменяя им священника и/или проповедника. Эту роль признавали и лидеры английской миссии – свидетельством тому является многочисленная книжная продукция. Однако в условиях преследований и относительно небольшого числа католических миссионеров, работавших в Англии, распространение даже «книжной» проповеди – не говоря уже о физическом распространении книг – возлагалось, по большей части, на мирян. Поэтому роль мирян (в том числе женщин) в английском католическом сообществе была велика, а светская элита во многих отношениях контролировала деятельность миссии, поскольку без ее поддержки она оказалась бы попросту невозможной.

Эффективность «миссионерской церкви» явствует из сравнительно раннего распространения книжной продукции, отражавшей приоритеты Тридентской реформы. Однако анализ усвоения этих приоритетов требует обращения к другим сочинениям – к печатным и рукописным текстам, созданным католиками-мирянами из окружения Монтегю.

Книги, медитации и благочестивые практики

В 1560 г. первый виконт Монтегю издал свой перевод латинского «Трактата о молитве», принадлежавшего перу католического богослова и реформатора, кардинала Джона Фишера⁵⁰. Трактат был написан между 1521 и 1527 гг. Не вполне понятно, почему он не был опубликован сразу; возможно, в конце 1520-х гг. Фишер был слишком занят богословскими и правовыми аспектами развода Генриха VIII и Екатерины Арагонской, будучи советником королевы. Выбор языка предполагает, что трактат предназначался для европейской аудитории⁵¹. Поскольку в 1535 г. кардинал Фишер был казнен за измену, поплатившись за отказ признать разрыв с Римом, публиковать его сочинения в царствование протестантки Елизаветы было опасно. Издание 1560 г. вышло без указания имени автора и переводчика. Его издателем был Джон Кавуд – печатник королевы Марии I и известный католик. В 1577 г. трактат был переиздан Генри Биннеманом для Генри Кавуда – сына Джона, лондонского книготорговца-католика⁵².

and T. Johnson. L., 1996. P. 183–202; *Soerleg P.M.* Wondrous in His Saints: Counter-Reformation Propaganda in Bavaria. Berkeley, 1993.

⁵⁰ A Godlie Treatise Declaring the Benefites, Fruites, and Great Commodities of Prayer, and also the True Use therof. L., 1560.

⁵¹ *Dowling M.* Fisher of Men: the Life of John Fisher, 1469–1535. N.Y., 1999. P. 120–122.

⁵² *Plomer H. R.* Dictionary of Printers, 1557–1640. L., 1910. P. 59–60, 65, 109–112.

В своем трактате Фишер приводит четыре довода, подтверждающие необходимость молитвы: 1) молитва показывает, что христианин полагается на Бога и Его благодать; 2) молитва является средством достижения главной цели христианина – небесного блаженства; 3) Христос предписал верующим непрерывно молиться; 4) в ответ на молитвы христианин обретает благодать, которая помогает ему избежать греха. Затем Фишер переходит к плодам молитвы: обретение заслуг, обретение того, о чем молились, и главное – божественной благодати.

Говоря о молитве, Фишер подчеркивал, что самое важное в ней – стремление души к Богу. Поэтому для него внутренняя, духовная молитва является более важной, нежели литургическая молитва, разделенная со всем сообществом верующих, хотя оба вида молитвы не противопоставляются друг другу⁵³.

Примечательно, что виконт Монтегю имел в своем распоряжении рукопись трактата Фишера; она, вероятно, была приобретена его отцом. Более того, виконт предпочел не издавать текст в оригинальном виде, но подготовить английский перевод, сделав его тем самым доступным для широкой аудитории благочестивых читателей. Этот факт, во-первых, указывает на приоритеты религиозной жизни самого виконта – внутренняя молитва должна была играть важную роль в его благочестивых практиках, а во-вторых, демонстрирует, что виконт считал себя как минимум отчасти ответственным за наставления мирян-католиков в вере. Кроме того, издание 1560 года позволяет составить представление о богословских познаниях виконта Монтегю.

Послание к читателю, написанное виконтом, показывает, какое глубокое влияние на него оказал Фишер, и, шире, эразмианская традиция богословия. Оно отчетливо проявляется в том, как виконт понимал роль благодати для спасения души. Он писал: «Если человек всего лишь попросит Его милости, прощения, благодати, благоволения и помощи, Он не только дарует все это, но и подвинет наши сердца обратиться к нему; и если мы бесцеремонно и своевольно не откажемся следовать его святому вдохновению, ибо по милости своей Он использует все средства, чтобы привлечь человека к себе, если тот пытается и сам приложить усилия. Если же тот человек не следует [призыву], то обратит неизмеримую благодать Господню, отвергнутую таким образом, в преумножение собственных грехов»⁵⁴.

⁵³ Ibid. P. 125–126.

⁵⁴ A Godlie Treatise, The Translator to the Reader, Sig.A4: 'yf man do but faithfully crane his mercy, pardon, grace, favour, and assistaunce, he both lovingly graunt the same, yea he doth preoccupate and prepare our hartes to call on him, yf we forwardly and wyfully put not away and refuse to folowe his holy inspiration, so as, of his only

Эти выводы напрямую связаны с эразмианской интерпретацией свободной воли и благодати, которую разделял Фишер. Последний упоминает стадии процесса оправдания христианина: наделение его первоначальной благодатью, дарованной Богом, чтобы помочь грешнику покаяться; принятие (или отвержение) спасительной благодати свободной волей (эти две стадии упомянуты в предисловии Монтегю); принятие спасительной благодати через таинства крещения и покаяния; и, наконец, пребывание в состоянии благодати через содействие свободной воли и благодати в молитве и добрых делах⁵⁵. Монтегю также упоминает последнюю стадию оправдания, когда говорит, что цель молитвы – «вооружить [человека] силой и стойкостью благодати Господней»⁵⁶.

Невозможно точно определить, когда именно виконт Монтегю работал над переводом трактата Фишера. Вероятно, перевод был подготовлен в последние годы правления Марии Тюдор. Таким образом, благочестивые практики виконта Монтегю явно были продуктом религиозной культуры середины XVI века. Однако не стоит противопоставлять их религиозной культуре пост-Тридентского периода, ведь она была наследницей ранней Католической реформы, и во многих своих аспектах – подходах к созерцательной жизни и медитации, в частности, – воспроизводила ее. Пример трактата Фишера весьма показателен в данном отношении: следующее поколение английских католиков сочло трактат Фишера важным текстом, и в 1640 г. в Париже был издан новый перевод трактата на английский язык (бенедиктинца Роберта Андертона)⁵⁷.

Тексты, составленные католиками из семьи Монтегю, проливают свет и на другие аспекты католической религиозности – в частности, на почитание святых. Так, традиция почитания Св. Франциска в семье Монтегю, существовавшая, как минимум, с начала XVI века, имела и интеллектуальное измерение: в начале XVII в. второй виконт Монтегю перевел с латыни и издал для просвещения своих единоверцев Житие Св. Франциска. Первое издание перевода было выполнено в типографии Лоренса Келлема в Дуэ в 1610 г.⁵⁸ В нем по неизвестным причинам

mercie, he leaveth no meane to drowe man unto hym, yf he lyste to applie his own endeavour: which yf he folowe not, than doth man turne the unmeasurable goodnesse of God, so reiected and refused, to the multiplying of his owne synnes’.

⁵⁵ *Rex R. The Theology of John Fisher.* Cambridge, 1991. P. 127–128.

⁵⁶ *A Godlie Treatise.* Sig.A5: ‘to arme them selfe with strength and constancie of the grace of God’.

⁵⁷ *A treatise of prayer, and of the fruits and manner of prayer.* By the most Reuerend Father in God Iohn Fisher Bishop of Rochestre, Preist and most eminent Cardinall of the most holy Catholike Church, of the title of S. Vitalis. Translated into English by R.A.B. Paris, 1640.

⁵⁸ *The Life of the Most Holy Father S. Francis.* Dovay, 1610.

было опущено предисловие переводчика. Оно появилось во втором издании перевода, выпущенном там же в 1635 г. Мартином Богардом⁵⁹.

Перевод отчетливо демонстрирует изменения, произошедшие со вполне традиционным культом под влиянием Католической реформы. Показателен уже выбор текста для перевода: существует несколько житий Св. Франциска, но виконт Монтегю предпочел переводить не самое первое житие, составленное Фомой Челанским, к которому восходят все рассказы о посмертных чудесах святого, но *Legenda Major* Св. Бонавентуры, которая выстроена в соответствии с идеей восхождения души святого к Богу.

В предисловии к изданию виконт Монтегю проявляет свое представление о святости Франциска. Для него она является идеальным примером подражания Христу на том пути, по которому должны следовать и все остальные верующие. По мнению виконта, святость Франциска выражалась в его совершенном подчинении, крайнем смирении, обращении жизни к Богу и благочестивом почитании Богородицы⁶⁰. Св. Франциск «полностью подчинил в себе беспорядочные привязанности к тварному миру и определил окончательной целью всей своей любви и привязанности единственный объект – Бога, творца всего сущего. Таким способом он в пределах своего бедного и глупого тела достиг благородного триумфа над самыми опасными и распространенными врагами: миром, плотью и дьяволом. Он заслужил и обрел в этой жизни, чудесным божественным изволением почет и награду в виде точного подобия победоносных царских ран, которые всемогущий Искупитель наш и Спаситель Иисус получил во время страшного Крестного мучения, чтобы спасти и избавить нас от вечного рабства и гибели»⁶¹.

Таким образом, почитание Св. Франциска, по сути, оказывается формой почитания ран Христовых, т.е., христологическим культом. Св. Франциск при этом оказывается идеальным примером подражания Христа и одновременно покровителем, помогающим христианам сле-

⁵⁹ The Life of the Most Holy Father S. Francis. Doway, 1635.

⁶⁰ The Life of the Most Holy Father S. Francis. Doway, 1635. The Epistle Dedicatory (unpaginated).

⁶¹ Ibid.: ‘who utterly subduing in himself all disordinate affection to creatures; and setting the whole scope and finall end of his love and affection, upon the only obiect theorf, God, the Creator & maker of all things, and having by that meanes, in his poore and silly body, atcheived a most noble, & triumphant victorie, over our most dangerous and common enemies: the world, the flesh, and the divell, hath merited and obtayned to be marveilously by God, in this very life, honoured and adorned with the exact and lively resemblance of those victorious triumphant and most royall wounds, wherby our almighty redeemer, and most B. Saviour Iesus, hath mercifully vouchsafed in his most bitter passion, to ransome and redeeme us, from endlesse thraldome and perdition’.

довать этим путем. Виконт обращает к своим соотечественникам следующие слова: «Под его [Св. Франциска – А.С.] благословенным покровительством мы можем в своей жизни настолько уподобиться его святой жизни, что воспламененные искрами его ревностной добродетели, которая горела в нем, что в конце концов через него станем соучастниками бесценной награды, которой он бесконечно наслаждается в благословенной Троице в царстве небесном»⁶².

Таким образом, Св. Франциск почитается здесь не просто как заступник и помощник в земной жизни, но как путь к Христу. В данном случае речь идет о пост-Триденском истолковании жизни популярного святого, воспринятого мирянами и транслируемого ими в своей среде.

Рукописи мирян-католиков

Печатные тексты уже достаточно давно пользуются вниманием историков и других специалистов, им посвящены подробные каталоги⁶³. Рукописные же тексты, составленные английскими католиками, до сих пор остаются малоизученными⁶⁴. Отчасти причиной тому – относительное невнимание к «непротестантской» составляющей английской истории, считавшейся маргинальной вплоть до последних двух десятилетий. Кроме того, культуры рукописных текстов, циркулировавших в Европе после изобретения книгопечатания, лишь в последнее время удостоились внимания исследователей. Между тем в XVI и как минимум в начале XVII века рукописные тексты имели немаловажное значение, хотя бы потому, что рынок рукописных книг и памфлетов регулировался гораздо менее жестко, чем рынок печатной продукции (или не регулировался вообще). Это обстоятельство имело большое значение для тех групп, которые в силу религиозных и/или политических взглядов находились в оппозиции правительству.

Рукописные книги примечательны и тем, что среди авторов сочинений на религиозные сюжеты – много мирян, ведь рукописные книги не должны были получать одобрения церковных властей, для того, что-

⁶² Ibid.: ‘wee may, under his blessed Patronage, so farre imitate in this life, his holy conversation, that being set on fire with the sperkles of tha zeale of vertue, wherewith he was wholly inflamed , we may finally be by him brought to be partakers of those inestimable rewards which he in present fruituon of the most Blessed Trinity inioeth in the kingdom of heaven everlastingly’.

⁶³ См. примеч. 2.

⁶⁴ О циркуляции рукописных текстов в среде английских католиков и функциях подобных трудов см., например: *Kilroy G. Edmund Campion: Memory and Transcription. Aldershot, 2005; The Uses of Script and Print, 1300–1700 / Ed. by J. Crick and A. Walsham. Cambridge, 2004; Syon Abbey and Its Books: Reading, Writing and Religion, c. 1400–1700 / Ed. by E.A. Jones, and A. Walsham. Wodbridge, 2010.*

бы появиться в свет. Сочинителям требовалось лишь оплатить изготовление копий переписчиками. Применительно к английским условиям XVI–XVII вв. рукописи, составлявшиеся мирянами, отражают также и степень усвоения последними приоритетов пост-Тридентского католицизма, принесенных в страну священниками-миссионерами. При этом степень изученности (или, скорее, *не-изученности*) английских католических рукописей таково, что выявление и анализ каждого текста уже само по себе является важным.

Катехизисы для мирян

Восприятие мирянами приоритетов реформированного католицизма во многом определялось тем религиозным образованием, какое они получали. В Англии система элементарного религиозного образования католиков видоизменилась, адаптировав принципы пост-Тридентского католицизма и его подходы к наставлениям мирян к практике «подпольного существования». Поэтому и роль мирян в ней была значительно выше: именно родители и школьные учителя-католики выполняли те функции, которые в континентальных католических странах возлагались на приходское духовенство, членов монашеских орденов и/или религиозные братства.

Руководство английской католической миссии осознавало важную роль мирян в образовательной сфере, косвенным свидетельством чего являются англоязычные катехизисы, изданные миссионерами в качестве руководств для мирян, наставлявших своих детей или домочадцев. Старшему поколению католиков были доступны катехизисы, изданные в правление Марии I Тюдор⁶⁵. Кроме того, уже в 1575 г. для их пользования был издан «*Катехизис*» священника-миссионера Лоренса Вокса⁶⁶; позднее были переведены катехизисы Петра Канизия, и другого иезуита, испанца Диего де Ледесмы⁶⁷. Примечательно, что английский перевод Римского катехизиса появился значительно позже, в конце XVII века. Вероятно, с этим текстом предпочитали работать не миряне, а священники-миссионеры, в переводах с латыни не нуждавшиеся.

Тиражи католических катехизисов контрабандой ввозились с континента (из Франции и Испанских Нидерландов). Однако потребность

⁶⁵ Duffy E. *The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400–1580*. New Haven, 1992. P. 533–535.

⁶⁶ Vaux L. *A Catechisme, or a Christian doctrine, necessarie for chyl dren and the ignorant people*. 1575.

⁶⁷ Canisius P. *Certaine necessarie principles of religion* [London], 1579, transl. by I.I.; P. *Canisius, A Summe of Christian Doctrine* [London], 1592, *Ledisma J.* *The Christian Doctrine in manner of a dialogue* [London], 1597. transl. by Henry Garnet, S.J. См. Allison A.F. and Rogers D.M. *The Contemporary Printed Literature*. Vol. II. P. 68–69, 91.

в подобных текстах восполнялась не только печатных изданиях, подготовка и распространение которых финансировалось и контролировалось руководством миссии, но благодаря рукописным копиям, изготавливавшимся писцами в Лондоне и других английских городах.

Рукописные катехизисы заказывались, а порой и составлялись мирянами. Одним из таких катехизисов стало *«Наставление моей дочери Мэри Браун касательно основных положений учения католической церкви»*, составленное в 1597 г. Энтони-Марией Брауном, вторым виконтом Монтегю (1574–1629), и получившее одобрение главы английских секулярных священников Джорджа Блэуэлла в 1598 г.

Мэри Браун, к которой были обращены *«Наставления»* виконта, – его старшая дочь и второй ребенок⁶⁸. Обстоятельства ее появления на свет и крещения озаменовались судебным разбирательством. Потеряв первенца – младенца-сына, виконт уверился, что причиной несчастья стало данное им разрешение крестить сына в приходской протестантской церкви. Дав себе клятву, что подобного больше не произойдет, виконт сам крестил свою новорожденную дочь в мае 1594 года, чем навлек на себя королевский гнев. Его арестовали и подвергли допросам⁶⁹. Позднее, в середине 1590-х гг., (но до составления катехизиса 1597 года), виконт отказался от практиковавшегося его семьей «церковного папизма» и стал рекузантом⁷⁰. Это спровоцировало новое разбирательство, в ходе которого правительство пыталось принудить его хотя бы формально признать закон страны и вернуться к «церковному папизму». Виконт не подчинился давлению; в это время он, опасаясь нового ареста и длительного тюремного заключения, и написал *«Наставления»* для дочери⁷¹. Опасения, впрочем, оказались беспочвенными, и виконт сам руководил воспитанием Мэри и остальных своих детей. Мэри впоследствии вступила в брак с Уильямом Сент-Джоном, наследником маркиза Винчестера, а после его смерти породнилась с еще одним католическим семейством, став женой Уильяма Эренделла, лорда Уордур.

Рукопись *«Наставления»* представляет собой небольшую книгу формата 8vo, в кожаном переплете. Написанная мелким, но четким курсивом, она явно представляет собой работу профессионального писца.

⁶⁸ Но первый из доживших до совершеннолетия.

⁶⁹ Подробно о крещении Мэри Браун см.: *Серегина А.Ю.* Верность королеве и долг католика: крещение Мэри Браун (1594 г.) // *Средние века.* 2007. Вып. 68 (2). С. 5–32.

⁷⁰ То есть отказывался выполнять требование закона о присутствии на воскресной литургии, за что подвергался регулярным штрафам.

⁷¹ *Instruction to my daughter Marie Browne, in the principall groundes and on the Eccesiastic pointes of the Catholique faith*. Downside Abbey, Gillow Library MS. P. 2–3.

Сейчас рукопись хранится в библиотеке бенедиктинского монастыря Св. Григория Великого (Аббатство Даунсайд) в Страттоне-он-Фосс близ Бата. Эта бенедиктинская община была изначально основана в Дуэ, а ее первый приор, Св. Джон Робертс, ранее был членом английской конгрегации, существовавшей в Вальядолиде, и пользовался покровительством виконта Монтегю (возможно, благодаря посредничеству его испанских родственников). Эта связь может объяснить, каким образом «Наставления» могли оказаться в аббатстве. Вероятно, кто-то из членов семьи Монтегю (например, одна из младших дочерей, ставших монахинями), вывезли ее на континент и/или завещали ее монахам.

«Наставление» принадлежит к жанру катехизисов, однако типичным его представителем это сочинение назвать трудно. Собственно катехизисом является только первая часть текста (50 из 150 страниц). Здесь виконт, следуя традиционной схеме, кратко излагает для дочери основы вероучения, следуя Символу веры. Сам его текст в собственном переводе с латыни приведен в приложении. Виконт советовал своей дочери «прочитать один из одобренных католических катехизисов, или же стремиться к тому, чтобы получить устное наставление людей ученых и наделенных властью в церкви Господней»⁷². Тем не менее, он и сам предоставил своей дочери наставления, видимо, считая себя в достаточной степени ученым. Он объяснял дочери, что она должна верить в Бога-Творца всего сущего⁷³, Иисуса Христа, обладавшего божественной и человеческой природами, говорил ей о таинстве Воплощения⁷⁴, об Адаме и Еве, первородном грехе и его последствиях для всего человечества⁷⁵, о ветхозаветных пророчествах о пришествии Христа⁷⁶, о земной жизни Спасителя⁷⁷, об установлении Им таинства мессы (с пресуществлением хлеба и вина в Тело и кровь Христовы)⁷⁸, о Страстях Христовых, схождения Христа в лимб и Его воскресении⁷⁹; о пребывании Христа на земле после воскресения⁸⁰, о Его вознесении⁸¹, сопровождая рассказ ссылками на соответствующие места Писания (на полях). Далее следо-

⁷² Instruction to my daughter. P. 7: 'to reade some approved Catholique Catechismes, and otherwise to endeavor to get instruction by worde of mouthe from those that are learned and of auctoritie in the Church of God'.

⁷³ Ibid. P. 7.

⁷⁴ Ibid. P. 8.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ Ibid. P. 9.

⁷⁷ Ibid. P. 10–11.

⁷⁸ Ibid. P. 11.

⁷⁹ Ibidem.

⁸⁰ Ibid. P. 12.

⁸¹ Ibid. P. 13.

вал рассказ о Св. Духе, и нисхождении Св. духа на апостолов⁸², о католической церкви, вне которой нет спасения⁸³. Потом виконт упоминал таинства крещения и покаяния (оставления грехов)⁸⁴ и закончил изложение содержания Символа веры рассуждениями о Страшном суде⁸⁵.

Следующий (более обширный) раздел был посвящен таинствам. Виконт перечислил все таинства католической церкви: крещение⁸⁶, конфирмация⁸⁷, причастие (ему посвящен самый большой раздел, в котором подробно рассмотрено учение о пресуществлении)⁸⁸, покаяние (с исповедью)⁸⁹, миропомазание⁹⁰, рукоположение⁹¹ и брак⁹². В адресованном женщине-мирянке «наставлении» о рукоположении, естественно, было сказано немного. Кроме того, виконт оговорил, что таинства конфирмации и брака не являются необходимыми для спасения души. Говоря о конфирмации, он подчеркивает: «Человек может прийти ко всем другим таинствам без него»⁹³. Для английских католиков такая оговорка была существенна: в обстановке преследований и отсутствия «нормальной» католической иерархии шансы юных мирян встретить католического епископа, не выезжая из страны, были равны нулю. Кроме того, виконт Монтегю подчеркивал, что и брак не является необходимым для спасения, а «девственность более совершенна»⁹⁴.

Следующие разделы посвящены объяснению 10 заповедей⁹⁵, пять принципов христианской жизни, заключающихся в соблюдении праздничных дней (т.е. в отказе от работы), регулярном присутствии на мессе, соблюдении постов, исповеди и причастии по крайней мере раз в год, на Пасху (а лучше – как можно чаще)⁹⁶, запрете вступать в брак в запрещенные дни и уплате десятины⁹⁷. Наконец, последняя часть данного раздела посвящена семи смертным грехам⁹⁸. Раздела, посвященного христи-

⁸² Ibidem.

⁸³ Ibid. P. 14–17.

⁸⁴ Ibid. P. 18–19.

⁸⁵ Ibid. P. 20.

⁸⁶ Ibid. P. 22–26.

⁸⁷ Ibid. P. 26–27.

⁸⁸ Ibid. P. 27–34.

⁸⁹ Ibid. P. 34–37.

⁹⁰ Ibid. P. 37.

⁹¹ Ibid. P. 38.

⁹² Ibid. P. 39–40.

⁹³ Ibid. P. 27: ‘one can receive all other sacraments without it’.

⁹⁴ Ibid. P. 40: ‘Virginity is more perfect’.

⁹⁵ Ibid. P. 43–45.

⁹⁶ Ibid. P. 33.

⁹⁷ Ibid. P. 46.

⁹⁸ Ibid. P. 47–49.

анским добродетелям, присутствующего во многих катехизисах, в «Наставлениях» нет. Остальной текст сочинения, т.е. две его трети, посвящен тому, что должна знать мирянка для «понимания [своей веры] против всех ересей нашего времени»⁹⁹. В этой части виконт кратко суммировал то, что, как правило, не входило в состав катехизисов, но относилось к курсу полемического богословия, изучавшегося будущими священниками в семинариях и университетах. Монтегю, правда, воздерживается от подробного рассмотрения вопроса о власти Римского престола над церковью, отговариваясь недостаточными знаниями¹⁰⁰. Однако дело тут отнюдь не в невежественности виконта. Обоснование власти Римского престола и духовной власти папы для англичанина в конце XVI в. было бы самоубийственным. Это противоречило законам страны (статуту 1559 г.) и неминуемо привело бы виконта в тюрьму (в лучшем случае), так как означало отрицание прерогативы королевы, а значит было посягательством на ее власть. По этой причине виконт на всем протяжении «Наставления» избегает говорить о папе и вообще упоминать главу Католической церкви; он предпочитает говорить о церкви в целом.

Начинается раздел с упоминаний о Страшном суде и телесном воскресении мертвых, а также о непорочной Деве Марии, единственной из людей вознесенной на небеса телесно¹⁰¹. Виконт Монтегю разделял представления многих католиков своего времени о непорочном зачатии Девы Марии, а построенная в его поместье Каудрей (Сассекс) капелла была посвящена именно Непорочному Зачатию. Однако в «Наставлении» о непорочном зачатии не говорится.

Далее виконт вновь говорит о таинстве мессы¹⁰². В данном месте упомянута месса довольно кратко, однако в первой части – в катехизисе – мессе посвящены большие разделы, и часть приведенного там материала носит отчетливо выраженный полемический характер. Так, в разделе о таинствах, Монтегю говорит о католическом учении о мессе и о пресуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, когда субстанции меняют свой характер, а формы (хлеб и вино) остаются прежними (трансубстанциация)¹⁰³. Там же виконт касается и другого вопроса, дискутировавшегося между католиками и протестантами. Он подчеркивает, что причащаясь под одним видом, католики-миряне тем не менее приобщаются и Телу, и Крови Христовой¹⁰⁴. Затем виконт

⁹⁹ Ibid. P. 50: 'understanding against all heresies of this tyme'.

¹⁰⁰ Ibidem.

¹⁰¹ Ibid. P. 51–52.

¹⁰² Ibid. P. 53.

¹⁰³ Ibid. P. 28–29.

¹⁰⁴ Ibid. P. 31.

Монтегю говорит о существовании чистилища¹⁰⁵ и об индульгенциях (приобретение которых представляет собой пожертвование на доброе дело, необходимое для спасения)¹⁰⁶.

Далее речь идет о почитании святых, их икон и мощей¹⁰⁷, причем Монтегю рассказывает дочери о различиях между почитанием и поклонением¹⁰⁸ (в чем обвиняли католиков протестанты). Еще один раздел посвящен добрым делам и необходимости их совершения ради спасения¹⁰⁹. Монтегю подчеркивает: «все люди имеют полную власть и свободную волю, чтобы либо принять благодать Господню, в изобилии даруемую всем, и с ее помощью через добрые дела обрести заслуги, либо же отказаться от нее, закоснев в грехах»¹¹⁰, подтверждая тем самым католическое учение о свободе воли и отвергая учение Кальвина о предрешении, распространенное в англиканской церкви того времени.

И наконец, завершает этот раздел рассуждение об истинности католической церкви, «святой и непорочной»¹¹¹. Монтегю подчеркивает достоинство католической традиции и указывает, что в делах веры «вся церковь (в Святом Духе) не может ошибаться»¹¹². А Англия некогда получила ту самую веру, что исповедуют в Риме. Ведь можно проследить апостольское преемство от Св. Петра до папы Элевтерия, который во II веке отправил в Британию миссионеров Фугация и Дамиана, и до папы Григория Великого, пославшего в Англию св. Августина, первого архиепископа Кентерберийского¹¹³. В «Наставлении» виконт указывает дочери и на важность созерцательного элемента в духовной жизни, рекомендуя ей прочесть английский перевод трактата «О презрении к миру» испанского францисканца Диего де Эстеллы. Говорит он и об идеале христианской жизни для нее – это благочестивые христианки первых веков, матери отцов церкви¹¹⁴.

¹⁰⁵ Ibid. P. 54–55.

¹⁰⁶ Ibid. P. 55.

¹⁰⁷ Ibid. P. 56–61.

¹⁰⁸ Ibid. P. 57–58.

¹⁰⁹ Ibid. P. 62.

¹¹⁰ Ibid. P. 63: ‘all men have full power and coise (freewill) either to take houlde of Gods grace sufficiently offered unto all, and by helpe thereof through good workes to worke meritte unto themselves or else obstinately to forsake it’.

¹¹¹ Ibid. P. 67–80; p. 78: ‘holie and immaculate’

¹¹² Ibid. P. 80: ‘all Church (in holy spirit) cannot erre’.

¹¹³ Ibid. P. 107.

¹¹⁴ Ibid. P. 127–129. Исследовавший текст «Наставления» Майкл Кестье считает, что указание на подобные идеалы свидетельствовало о желании отца видеть свою дочь монахиней (см. *Questier M.C. Catholicism and Community*. P.333). Однако это явное преувеличение. Образ первых христианок – например, Св. Моники, матери Св. Августина – был едва ли не общим местом в «благочестивых биографиях»

А начиналось это воспитание со способности отстоять основы веры от нападков «еретиков». Поэтому виконт и считал необходимым преподавать дочери краткий курс полемического богословия. Он, впрочем, этим не ограничился, но привел в «*Наставлениях*» и наиболее распространенные «уловки» протестантских проповедников, стремившихся обратить католиков в свою веру. Монтегю утверждал, что протестантские проповедники начнут указывать на сходство между их учением и учением католиков и преуменьшать различия, стараясь тем самым подтолкнуть ее к обращению¹¹⁵. Сам виконт с гордостью заявлял: «Я сам (Божьей милостью) пока был в состоянии защитить основные положения (от которых зависит вся моя вера – та же, что и у всей Католической церкви)»¹¹⁶.

Последний раздел четко указывает на обстоятельства и цели создания «*Наставлений*». Объяснение заключается в практике английских церковных судов. Они обладали правом вызвать любого совершеннолетнего католика, мужчину или женщину, и потребовать от них участия в диспуте с протестантским священником. Поэтому представление о догматических различиях между концессиями, а также об основах полемического богословия было немаловажным и для мирян¹¹⁷. Самому виконту Монтегю пришлось вступить в диспут с протестантскими проповедниками в середине 1590-х гг., о чем он сам говорит на страницах «*Наставлений*»¹¹⁸. Таким образом, данная часть текста опиралась на личный опыт автора.

Уже указывалось, что превращение виконта Монтегю в 1590-х гг. в бескомпромиссного католика-рекузанта сопровождалось давлением властей. Виконт опасался ареста и тюремного заключения и не был уверен, что его детей воспитают в католическом духе. Поэтому он, написав «*Наставления*», возложил ответственность за религиозное образование детей на старшую дочь¹¹⁹. При этом Мэри Браун указывали на пример некоей христианки, обратившей в истинную веру своих де-

английских католичек XVI – начала XVII в. и предназначался он для женщин-мирянок, жен и матерей, которым надлежало строить жизнь в доме в соответствии с требованиями веры и воспитывать детей в католическом духе. См.: *Серегина А.Ю.* «Смирение и покорность»: модели женского поведения в английском католическом сообществе XVI – начала XVII в. // Адам & Ева. 2006. Вып. 12. С. 118–144.

¹¹⁵ Instruction to my daughter. P. 81–96.

¹¹⁶ Ibid. P. 96–97: 'I am (by Gods grace) soe farre fourth able to defende certaine principall axioms (whereupon all the rest of my faith, being the same with the whole Catholque Church, dependeth)'.

¹¹⁷ См.: *Questier M.C.* Conversion, Politics and Religion in England. P. 154–156.

¹¹⁸ Instruction to my daughter. P. 95–96.

¹¹⁹ Ibid. P. 144.

тей¹²⁰. Однако на момент написания *«Наставлений»* Мэри было всего четыре года, а ее сестрам-погодкам Кэтрин, Энн и Люси, которых ей надлежало наставлять, и того меньше. Да и в примере, приведенном виконтом, речь шла все-таки не о сестре, а о матери, но семейные обстоятельства не позволяли ему полностью доверить религиозное образование дочерей жене. Виконтесса Монтегю – урожденная Джейн Сэквил – происходила из протестантской семьи. Существуют свидетельства о том, что она обратилась в католичество перед своей свадьбой, или вскоре после нее¹²¹. Однако ревностной католичкой виконтесса, по всей видимости, так и не стала. Имелось и еще одно немаловажное обстоятельство: в случае ареста и/или казни отца несовершеннолетние дети неминуемо оказывались под опекой короны. На практике это означало приобретение права опеки кем-либо из придворных. В лучшем случае опекунами девочек стал бы их дед по матери, лорд Бакхёрст – человек терпимый, но придерживавшийся протестантских взглядов. В худшем они, как и двоюродный брат самого виконта, юный граф Саутхэмптон, мог оказаться под опекой ревностного протестанта – например, лорда Бёрли и быть воспитанными в протестантском духе. На родственников, таким образом, рассчитывать не приходилось, и виконт, рассматривая худший сценарий, вынужден был обращать свои *«Наставления»* к четырехлетней девочке, в надежде, что она со временем сможет ими воспользоваться. Возможно также, что виконт руководствовался примером своего деда, который в свое время тоже составил наставления в вопросах веры для своих детей. Судя по комментариям внука, в наставлениях деда также присутствовал элемент полемики с «еретиками»¹²².

Анализ текста *«Наставлений»* позволяет сделать ряд заключений об особенностях религиозного образования католиков-мирян в Англии конца XVI в. Оно было крайне гибким и принимало формы, максимально адаптированные к нуждам данного католического сообщества. В условиях религиозных преследований и постоянного давления с целью заставить католиков отречься от своей веры простого наставления в основах вероучения оказывалось недостаточно. Необходимо было адаптировать полемическое богословие для нужд мирян. Руководство

¹²⁰ Ibid. P. 148.

¹²¹ Согласно сообщению некоего Нэммонда, адресованному лорду Бёрли (ноябрь 1591 г.), «дочь лорда Бакхерста полностью вверилась наставлениям сына Энтони Брауна [будущего виконта] в делах веры» ('the Lo: Buck: daughter whollie committed to the direc[i]on of Mr Anthonie Browns sonne for matters of conscience', British Library (далее – BL), Lansdowne MS F.99, 163), что, возможно свидетельствует о том, что Джейн Сэквил обратилась в католичество, но прямых подтверждений этому нет.

¹²² Instruction to my daughter. P. 130–131.

миссии отозвалось на это изданием переводов руководств по полемическому богословию, адаптированных для восприятия мирян. Как свидетельствует «*Наставление*» виконта Монтегю, эти книги были востребованы, усваивались и адаптировались для своих нужд.

Появление «*Наставления*» отражает важную роль мирян и в особенности женщин в религиозном образовании католиков и даже в практике обращений (что также требовало знакомства с полемическим богословием). Неполноправные в глазах закона женщины-католички оказывались защищенными самим этим неполноправием от преследований. Именно поэтому они не только занимались религиозным образованием детей, но стремились привести к обращению родственников, слуг и соседей¹²³. Поэтому обращенная к женщинам наставительная литература должна была учитывать эти особенности и включать изрядную долю полемического материала, необходимого для их «миссионерской деятельности».

Текст «*Наставления*» свидетельствует и об успехах Тридентской программы религиозного образования для мирян, адаптированной к английским условиям уже на ранних ее этапах, то есть в конце XVI в. Призывая дочь к частому причащению, концентрируя ее внимание на таинствах покаяния и причастия, указывая ей на необходимость строить духовную жизнь в соответствии с созерцательной моделью, предложенной мистиками XVI века, виконт демонстрирует усвоение принципов и приоритетов Тридентской реформы, а также готовность распространять их вместе, а порой и вместо клириков.

Миряне и полемическое богословие

Помимо катехизисов и печатных переводов, существовали и другие формы приобщения мирян-католиков к полемическому богословию, отражавшие потребность последних в освоении тонкостей профессиональных различий и навыков полемики.

Данный раздел представляет исследование уникальной рукописи начала XVII в., посвященной важным вопросам полемического богословия. Составители этой коллекции представили читателю сборник цитат из древних и современных им богословов, конструируя при этом виртуальное интеллектуальное сообщество, в котором теологи прошлого соединялись с англичанами XVI столетия. Здесь будет проанализирован сам текст, его структура и функции, способы формирования традиции, связывавшей древних апологетов христианства с английскими католиками XVI в., клириками и мирянами, а также и, создание исторического канона английского католического сообщества.

¹²³ Серегина А.Ю. «Смирение и покорность»... С. 137–138.

Рассматриваемый рукописный сборник был подготовлен в самом начале XVII в. Вплоть до 1968 г. он принадлежал семейству Браденелл из Норхемптоншира, потомкам известного католического рода, а потом был продан на аукционе Сотби¹²⁴ и теперь хранится в Бодлеянской библиотеке Оксфорда (MS Engl. Th. B. 1–2). Два огромных тома *in folio* (836 и 948 страниц соответственно) представляют собой своего рода «католическую энциклопедию», или пособие по полемическому богословию. Ее разделы, организованные в алфавитном порядке, посвящены богословским вопросам, вызывавшим ожесточенные споры (например, «евхаристия», «месса», «святые», «почитание мощей»). Материал каждого раздела выстроен по одной формуле: сначала следуют цитаты из Библии, затем – ссылки на постановления соборов, и в конце – цитаты из трудов Св. Отцов и авторитетных богословов, в том числе и авторов XVI – начала XVII в. Судя по времени публикаций данных трудов, а также упоминаемых в них событиях, работа над рукописью велась в 1604–1609 гг. Она была переписана по заказу кого-то из членов семьи Браденелл или их родственников, Трешэмов – том II содержит экслибрис сэра Томаса Трешэма¹²⁵, чья дочь Мэри была замужем за Томасом Браденеллом, – и так и не закончена: часть инициалов, украшающих начало каждого раздела, отсутствует, часть разделов (например, о спасении, II, f. 600–669) не завершена, а некоторые (искупление греха, II, f. 670–672) оставлены пустыми.

Автор скрывается за псевдонимом «Томас Джолет». Дж. Килрой – единственный исследователь рукописи – считает составителем энциклопедии сэра Томаса Трешэма, известного своими богословскими познаниями. Однако Трешэм умер в 1605 г., и его кончина упоминается на страницах рукописи¹²⁶, поэтому если он и был автором сборника, то, безусловно, не единственным. Килрой предполагает, что после смерти Трешэма его дочь Мэри или зять Томас Браденелл собрали вместе оставленные им материалы и завершили работу¹²⁷. Однако анализ дат и ссылок на печатные издания, упомянутые в рукописи, позволяет с уверенностью датировать ее 1609 – началом 1610 г.¹²⁸, а также предполо-

¹²⁴ O'Leary J.G. A Recusant Manuscript of Great Importance // Essex Recusant. Vol. 10.1968.

¹²⁵ О сэре Томасе Трешэме см. Серегина А.Ю. Томас Трешэм // Культура Возрождения. Энциклопедия / Под ред. Н.В. Ревякиной. М., 2011.

¹²⁶ Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 571; 2. F. 404.

¹²⁷ Killroy G. Edmund Campion. P. 13–14.

¹²⁸ В разделе об отцах церкви, упоминается книга английского богослова Теофила Хиггонса, посвященная обстоятельствам его обращения в католичество (Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 581.). Она была напечатана в 1609 г. (Higgons T. The Apology of Theophilus Higgons, Lately Minister, now Catholique, Rouen, 1609.)

жить, что возможным автором-составителем, продолжившим работу над сборником, был священник-миссионер Филип Вудворд¹²⁹.

Текст максимально приспособлен для практического использования. Каждый раздел включает в себя набор цитат из Писания, решений соборов и богословских сочинений. Все они обосновывают – или призваны обосновывать – католическое учение по соответствующему вопросу. Автор порой добавлял свои толкования тех мест, какие могли показаться сложными для мирян. За цитатами следовали краткие ссылки на мнения «еретиков» – протестантов.

Подобная организация текста указывает на цель его создания. Выше уже отмечалось, что английские церковные суды обладали правом вызвать любого совершеннолетнего католика, мужчину или женщину, и потребовать от них участия в диспуте с протестантским священником. Сэру Томасу Трешэму, как и виконту Монтегю, приходилось участвовать в подобных диспутах¹³⁰, поэтому он тоже пожелал оставить своей дочери пособие, руководствуясь которым она могла бы с честью выйти из такого испытания.

Чуть выше в том же разделе богослов-иезуит Роберт Парсонс упоминается как еще живущий автор. Роберт Парсонс скончался летом 1610 г. Таким образом, «католическая энциклопедия» Трешэма могла быть завершена в течение относительно небольшого периода 1609 – начала 1610 г.

¹²⁹ В разделе, посвященном заслугам (Bodleian Library, MS Engl. Th. 2. F. 185–206), среди современных богословов упоминается и книга «автора», датированная 1608 годом (Ibid. F. 202). В 1608 г. появился лишь один труд, подходящий под это описание: вышедший в Париже английский перевод «Диалогов» папы Григория Великого, к которому был присоединен «Краткий трактат о различных чудесах, из трудов Св. Августина» (The Dialogues of S. Gregorie the Pope and A Shorte Treatise of Sundry Miracles out of St Augustine. P., 1608). Это издание вполне может иметь отношение к нашей ссылке, поскольку способность святых творить чудеса в католической традиции объясняется действием и проявлением благодати, дарованной им Богом в ответ на их заслуги. Автором сочинения был памфлетист и переводчик Филипп Вудворд (1557–1610), уроженец Саффолка, из семьи дворян-католиков, учившийся в Кембридже. В 1580 г. он эмигрировал и продолжил образование в английских коллегиях в Реймсе и Риме. В 1587 г. он был рукоположен в священники и отправлен в качестве миссионера в Англию, где находился до начала 1590-х, а затем – в 1594–1604 и 1607–1610 гг. В мае 1610 г. Вудворда арестовали, а в июле выслали из Англии. 3 сентября 1610 г. он отправился в Рим, но по дороге заболел и умер в Лионе (Russell G.H. Philip Woodward: Elizabethan Pamphleteer and Translator // The Library. Vol. 5. 1950. P. 14–24; Anstruther G. The Seminary Priests. Vol. I: Elizabethan, 1558–1603. St Edmund's College, 1976. P. 386). Из приведенных биографических сведений явствует, что Вудворд был в Англии в 1607 – начале 1610 гг. и мог работать над собранным Трешэмом материалом по поручению Мэри Браденелл. А внезапный арест и вынужденный отъезд Вудворда из страны объясняет, почему сборник остался незаконченным.

¹³⁰ BL, Harleian MS 859. F. 456.

Корпус авторов, процитированных Трешэмом и Вудвордом, весьма обширен, что объясняется как разнообразием рассматриваемых богословских вопросов, так и приоритетами полемического богословия раннего Нового времени (о чем речь пойдет ниже). Поскольку речь идет о богословии, античных авторов–нехристиан в тексте совсем немного. Лишь в разделе о Боге упоминаются Платон, Плотин, Аристотель и Порфирий¹³¹. Кроме того, присутствуют цитаты из Иосифа Флавия¹³² и Филона Александрийского¹³³.

Однако большая часть цитат по очевидным причинам приходится на сочинения отцов церкви и древних учителей церкви, а также первых христианских апологетов, историков ранней церкви и святых пап первых веков. Самыми популярными авторами среди них были Св. Амвросий Медиоланский, Бл. Августин, Св. Иоанн Златоуст, Св. Киприан, Св. Иероним, Св. Кирилл Александрийский, Св. Григорий Назианзин, и Св. Григорий Великий. Их имена присутствуют практически в каждом разделе «энциклопедии»¹³⁴.

Помимо них читатель встречает здесь Свв. папу Льва I, Феодорита, Иоанна Дамаскина, Максима Ноланского, Василия Великого, Иренея Лионского, Св. Игнатия Антиохийского, Климента I Римского, Афанасия Великого, Кирилла Иерусалимского, Исидора Севильского, Проспера Аквитанского, Дионисия Ареопагита, Григория Нисского, Юстина мученика, Феодора, Винсента Леринского, Пакиана, Епифания, Руфина Аквилейского Илария, Оптата, Никифора Константинопольского, Поликарпа Эфесского, Ефрема Сирина, Паулина Аквилейского, Фульгенция, Иоанна Кассиана, Евхерия Лионского, Прокопия Газского, Дидима Александрийского, Прокла Константинопольского и Иоанна Климаха (Лествичника)¹³⁵.

Присутствуют и ссылки на христианских историков и писателей Созомена, Сократа Константинопольского, Евсевия Кесарийского, Тертуллиана, Кассиодора, Оригена, Лактанция, Феофила Александрийского, Юлия Фирмика, Сальвиана, Пруденция, Сульпиция Севера, а также свв. пап Виктора, Геласия, Дамазия, Иннокентия I, Урбана, Кая, Агата, Адриана, Фабиана, Мельхиада, Корнелия, Пелагия, Маркелина, Линна, Анаклета, Сотера, Луция, Пия, и Александра¹³⁶.

¹³¹ Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 642.

¹³² Ibid. F. 81.

¹³³ Ibid. F. 76.

¹³⁴ В качестве примера можно привести раздел о крещении (Ibid. I. F. 56-73).

¹³⁵ Самая длинная подборка цитат, включающая всех этих авторов – в разделе о евхаристии (Ibid. I. F. 313–464).

¹³⁶ Ibidem.

Нетрудно отметить, что составители уделяли большое внимание восточным отцам церкви. Такой акцент объясняется способом ведения полемики с протестантами: протестантские богословы считали католическую традицию средневекового богословия безнадежно испорченной и предпочитали ссылаться на а) ранних авторов, б) богословов, предпочтительно не связанных с Римом. Католические полемисты, в свою очередь, старались побить оппонентов на их же поле. Данную тенденцию и отражает «энциклопедия».

Корпус используемых составителями средневековых текстов, напротив, не отличается широтой охвата, и в данном случае важно выявить критерии отбора. В «энциклопедии» присутствуют средневековые историки. Как и следовало ожидать, английские среди них доминируют: тут и Беда Достопочтенный (который фигурирует в тексте и как богослов и экзегет), и Гильдас, и Гальдрид Монмутский, и Уильям Мальмсберийский. Однако это далеко не счерпывающий список английских историков; такой выбор можно объяснить тем, что именно эти авторы много говорят об обращении Британии и Англии в христианство¹³⁷. Появление других имен историков подтверждает впечатление, что они в данном случае интересны только в качестве составителей рассказов об обращении народов в христианство. Среди них – многократно упоминаемый Адам Бременский, а также Павел Диакон и популярные в XVI веке авторы многократно переиздававшихся всемирных историй – Марианн Скот (XI в.) и Вернер Ролевинк (XV в.; картузианский монах из Кёльна)¹³⁸.

Примечательно также присутствие цитат из трудов византийских богословов и историков – Леонтия из Неаполя Кипрского, патриарха Германа Константинопольского, Николая Кавасилы, Никифора Григоры и Иоанна Зонары. Все эти труды были давно известны на западе в латинских переводах и неоднократно издавались в XVI в., так что их можно было считать частью корпуса западной богословской мысли. Кроме того, внимание к византийским авторам подчеркивало желание составителей сборника подчеркнуть единство восточного и римского богословия по основным вопросам (о понимании таинства евхаристии и др.), не оставляя тем самым опоры для протестантской мысли.

Еще одну группу – впрочем, не слишком многочисленную – составляют канонисты. Среди них Грациан (он упоминается чаще всего), а также папа Иннокентий III, чье имя появляется в тексте всего пару раз, и испанский канонист XIV в. Алваро Пелайо (Алварус Пелагус)¹³⁹,

¹³⁷ Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 226–228.

¹³⁸ Подборка цитат из исторических сочинений присутствует, главным образом, в разделе, посвященном обращению в истинную веру (Ibid. I. F. 221–252).

¹³⁹ Bodleian Library, MS Engl. Th. 2. F. 929.

корпус сочинений которого был издан только в XVI в. и пользовался в это время большой популярностью.

Остальные авторы – богословы и/или библейские комментаторы. Среди них Алкуин, Рабан Мавр, Хаймо Гальберштадский и Ремигий Оксеррский¹⁴⁰, а также позднейшие богословы-схоласты. Набор имен последних вызывает наибольший интерес. Среди них предсказуемо появляются все величайшие богословы схоластики: Альберт Великий, Дунс Скот и, конечно же, Фома Аквинский. Произведения последнего и цитируются чаще, чем сочинения любого другого средневекового автора¹⁴¹. Помимо них, однако, большое внимание уделяется представителям ранней схоластики, в трудах которых присутствовало отчетливое влияние платонизма – Гуго Сен-Викторский и его ученик, Ричард Сен-Викторский, Бернард Клервосский и Бонаventura (два последних имени по частоте цитирования уступают только Фоме Аквинскому), а также Ансельм Кентерберийский и Ланфранк Кентерберийский¹⁴². Представителей поздней схоластики XIV–XV вв. составитель «энциклопедии» практически игнорирует за одним весьма важным исключением. Это – Жан Жерсон, умеренный номиналист, который также испытал воздействие платоновской традиции (в частности, Бернарда Клервосского и школы Ричарда Сен-Викторского)¹⁴³. Другие позднесредневековые тексты тоже принадлежат либо номиналистской (Дуранд)¹⁴⁴, либо неоплатонической традиции (Дионисий Картузианец, кардинал Виссарион)¹⁴⁵. Ряд авторов был крайне популярен в XVI в. по другим причинам. Яков Ворагинский был автором известного сборника житий святых, однако его критиковали многие католические ученые XVI века; но его проповеди оставались популярными и переиздавались на протяжении столетия. Библейские комментарии Николая Лирийского были одним из стандартных учебных текстов. Труды Николая Кузанского представляют собой вариант мистического богословия, также привлекавшего большое число читателей в XVI в.¹⁴⁶

¹⁴⁰ Ibid. I. F. 129, 412 passim.

¹⁴¹ Ibid. I. F. 395, 415–417, 407 passim.

¹⁴² Ibid. I. F. 563 passim.

¹⁴³ Ibid. I. F. 283 passim.

¹⁴⁴ Дуранд из Сен-Пурсена (1275–1334) – французский богослов-доминиканец. Bodleian Library, MS Engl.Th.2. F. 447 passim.

¹⁴⁵ Дионисий Картузианец (1402–1471) – фламандский богослов, полемист и мистик; Василий Виссарион (1403–1472) – кардинал, богослов-неоплатоник, переводчик «Метафизики» Аристотеля на латинский язык.

¹⁴⁶ Яков Ворагинский (ок. 1230–1294) – архиепископ Генуэзский, хронист, агиограф и богослов, автор многократно переиздававшихся проповедей; Николай Лирийский (1270–1349) – французский богослов-францисканец, комментатор Биб-

По всей видимости, в отборе авторов-схоластов отчетливо сказало влияние редактора, Филиппа Вудворда. Иезуиты XVI века, чья традиция доминировала в Английских коллегиях, где обучался Вудворд, была многим обязана влиянию парижской школы богословия конца XV – начала XVI в., которая в свою очередь, опиралась на Жерсона¹⁴⁷. Кроме того, среди богословов XVI в. присутствовало и стремление примирить аристотелианский рационализм (в томистском варианте) с неоплатонизмом¹⁴⁸ (*philosophia perennis*).

Отсутствие позднесредневековых богословов объясняется также и тем, что полемисты XVI – XVII вв. с подозрением относились к тонкостям мысли этого периода, опиравшимся на логические построения и силлогизмы в большей степени, нежели на внимательное чтение Писания. Ссылки на них могли быть уместными в философском сочинении, но не в сборнике по полемическому богословию, в фокусе которого лежали толкования библейских текстов.

Кроме того, сказывалась и ориентация на светскую аудиторию, а не студентов, изучающих курс философии и теологии в университете. Ссылки на стандартные учебные тексты, как средневековые, так и современные, в «энциклопедии» почти отсутствуют.

Из современных составителям писателей, следуя тому же принципу, были отобраны саамы известные авторы полемических произведений и катехизисов, а также гуманистов, обращавшихся к Писанию, то есть, прежде всего, Эразма Роттердамского¹⁴⁹, и представителей новой школы библейских экзегетов, использовавших последние достижения гуманистической филологии. В тексте присутствуют цитаты из трудов иезуитов Роберто Беллармино (его имя встречается чаще всего среди современников-«иностранных»)¹⁵⁰, Петра Канизия¹⁵¹, Франсиско Толле-

лии; Николай Кузанский (1401–1464) – кардинал, немецкий философ и богослов. Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 280, 409 passim.

¹⁴⁷ The Cambridge History of Later Medieval Philosophy / Ed. by N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg. Cambridge, 1982. Ch. 42.

¹⁴⁸ О *philosophia perennis* см.: Schmidt-Biggemann W. *Philosophia Perennis: Historical Outlines of Western Spirituality in Ancient, Medieval and Early Modern Thought*. Dordrecht, 2004.

¹⁴⁹ Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 356 passim.

¹⁵⁰ Роберто Беллармино (1542–1621) – итальянский иезуит, кардинал, богослов и полемист, а также автор сочинений по моральному богословию и религиозных наставлений, пользовавшихся популярностью даже у протестантов. Ibid. I. F. 427, 523, II. F. 80 passim.

¹⁵¹ Петр Канизий (1521–1597) – иезуит, миссионер в германских землях, автор богословских и полемических сочинений и знаменитого катехизиса. Ibid. I. F. 430 passim.

до¹⁵², а также кардиналов Каэтани¹⁵³ и Станислава Гозия¹⁵⁴, Бартоломе Медины¹⁵⁵, Жана де Ганьи¹⁵⁶, Иоганна Экка¹⁵⁷, Фридриха Стафилуса¹⁵⁸, Луиджи Липпоманно¹⁵⁹, Педро де Сото¹⁶⁰ и немецких историков Альберта Кранца¹⁶¹ и Иоганна Коклея¹⁶².

Английских имен в сборнике, естественно, гораздо больше. Составители включили в него ссылки практически на всех английских полемистов-католиков второй половины XVI века, присоединив к ним имена известных историков (Полидора Вергилия, Уильяма Кемдена), а также всех католических епископов времен Марии Тюдор, отказавшихся признать Реформацию Елизаветы I (Катберт Тансталл, Джеймс Турбервилл, Джон Уайт, Томас Уотсон, Томас Тёрлби, Гилберт Бурн, Николас Хит, Ричард Пейт, Катберт Скотт, Томас Голдуэлл, Эдмунд Боннер), кардиналов Реджинальда Пола и Уильяма Аллена¹⁶³ (последний фигурирует именно в этом качестве, а не как полемист).

«Энциклопедия» цитирует полемические трактаты Джона Фишера и Томаса Мора, Стивена Гарднера, а также более близких к составителям поколений авторов – Томаса Хескинаса, аббата Джона Фекенхэма,

¹⁵² Франсиско Толедо (1532–1596) – испанский иезуит, кардинал, богослов, комментатор библейских текстов.

¹⁵³ Томмазо де Вью, кардинал Каэтани (1469–1534) – итальянский богослов, полемист и автор популярного комментария к трудам Фому Аквинского. Ibid. II. F. 728–729 passim.

¹⁵⁴ Станислав Гозий (1504–1579) – кардинал, епископ Вармии (Польша), папский легат при дворе императора и польского короля, реформатор церкви и автор полемического сочинения *Confessio fidei christiana catholica*. Ibid. II. F. 702.

¹⁵⁵ Бартоломе де Медина (1527–1581) – испанский богослов-доминиканец, принадлежавший к Саламанкской школе.

¹⁵⁶ Жан де Ганьи (ум. 1549) – французский богослов, профессор Парижского университета, автор комментариев к Новому Завету.

¹⁵⁷ Иоганн Экк (1486–1546) – немецкий богослов. Профессор Фрайбургского университета, полемист и автор католического перевода Библии на немецкий язык. Ibid. II. F. 630.

¹⁵⁸ Фридрих Стафилус (1512–1564) – немецкий богослов, обращенный католик, полемист, профессор богословия в университете Ингольштадта. Ibid. II. F. 467 passim.

¹⁵⁹ Луиджи Липпоманно (1500–1559) – итальянский кардинал, автор комментариев к Библии и агиографических сочинений. Ibid. II. f. 583 passim.

¹⁶⁰ Педро де Сото (ум. 1563) – испанский доминиканец, исповедник императора Карла V, профессор богословия в Оксфорде в годы царствования Марии Тюдор. Ibid. II, 550 passim.

¹⁶¹ Альберт Кранц (1450–1517) – немецкий богослов и историк. Ibid. I. F. 785 passim.

¹⁶² Иоганн Коклей (1479–1552) – немецкий гуманист, полемист и историк, автор биографии Лютера. Ibid. I. F. 520 passim.

¹⁶³ Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 83.

Томаса Хардинга, Томаса Стэплтона, Николаса Сандера, Грегори Мартина, Мэтью Келлисона, Томаса Райта, Лоренса Вокса, Уильяма Рейнолдса, Теофила Хиггонса, Ричарда Брутона и иезуитов Эдмунда Кэмпiona, Роберта Саутуэлла и Роберта Парсонса¹⁶⁴. Последний цитируется чаще всего, а в самом тексте именуется «ученейшим»¹⁶⁵.

«Своим» авторам противопоставлены «чужие», т.е. протестанты. Это противопоставление выражено визуально: мнения еретиков приводятся в конце каждого раздела, краткими фразами, отчеркнутыми широкой черной линией, а заголовок «Еретики» дан черными же чернилами. В число «еретиков» входят те, кого сами английские протестанты, и прежде всего создатель английского протестантского мифа Джон Фокс, считали своими предшественниками. Это гуситы (Иероним Пражский), лолларды (сэр Джон Олдкасл и Уильям Торп) и европейские протестанты: Ульрих Цвингли, Джон Кальвин, Мартин Лютер, Генрих Буллингер, Теодор Беза, Филипп Меланхтон, Мартин Бucer, Петр Мартир Вермильи, Урбан Регий, Матвей Влах, Андреас Мускулус и Иоахим Вестфальский, а также авторы «Магдебургских центурий» и «Аугсбургского исповедания»¹⁶⁶. Но чаще всего упоминаются собственно английские полемисты разных направлений: умеренные пуритане-кальвинисты конца XVI – начала XVII в. Уильям Перкинс, Эндрю Уиллет, Генри Джейкоб, Энтони Уоттон, Эдмунд Банни, Генри Барроу, Томас Картрайт и их противники Уильям Ковелл, Ричард Филд, Оливер Ормерод, Мэтью Сатклиф, Томас Билсон, а также Ричард Хукер, Томас Мортон, Уильям Миддлтон, полемисты первого елизаветинского поколения Джон Джуэл, Мэтью Паркер, Ричард Барнс, и протестантские мученики первой половины – середины XVI в. Джон Фрит и Николас Ридли¹⁶⁷.

В особом разделе, посвященном «ереси», составители приводят список всех известных учений, осужденных католической церковью, от первых веков христианства до XVI в., тем самым встраивая в эту схему протестантов¹⁶⁸. Однако на протяжении большей части текста составители не пытаются указать связь между протестантами и древними еретиками. Напротив, они словно бы отказывают им в истории, стараясь подчеркнуть, что их учения – совсем недавнего происхождения.

¹⁶⁴ Ссылки на сочинения английских полемистов присутствуют почти во всех разделах «энциклопедии». Биографические сведения о полемистах и их сочинениях см.: *Сергина А.Ю.* Политическая мысль английских католиков. С. 65–85, 255–264.

¹⁶⁵ Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 81: 'a notable example of learning'.

¹⁶⁶ Наиболее подробный перечень «еретиков» см.: Bodleian Library, MS Engl. Th. 1. F. 455–463.

¹⁶⁷ Ibid. I. F. 463–464 passim.

¹⁶⁸ Ibid. I. F. 767–817.

В противоположность им английские католики оказываются органической частью сообщества исповедников, свидетельствовавших о своей вере на протяжении столетий. В каждом разделе их имена соединяются с именами отцов церкви и первых святых и мучеников, а присутствие большого количества греческих имен указывает на вселенский характер этой церкви. И применительно к более позднему периоду английские имена перемешиваются с именами богословов и писателей из многих европейских стран, подчеркивая всеохватность католического учения, в противоположность протестантской «схизме». Таким образом выстраивается католическая, наднациональная идентичность.

Однако собственно английская католическая традиция отнюдь не растворяется. Составители прослеживают этапы крещения жителей Британии, а затем Англии (на основе «Трактата о трех обращениях Англии» Роберта Парсонса)¹⁶⁹. Эта линия органически связывается с современными им английскими католиками, которые, как и их предки, свидетельствуют о вере своей кровью и страданиями (мученичеством), а также словом – составляя полемические произведения или отстаивая свою веру перед протестантами. В разделе о преследованиях (том II) составитель проследил историю гонений на христиан, начав с первых веков и завершив ее преследованиями католиков при Елизавете и в начале правления Якова I, тем самым уподобив последних первым мученикам¹⁷⁰. Список подвергшихся преследованиям католиков сделан таким образом, чтобы охватить все католическое сообщество. Он выстроен по сословиям: в нем присутствуют епископы¹⁷¹, священники¹⁷², монарх (Мария Стюарт), титулованные аристократы¹⁷³, рыцари¹⁷⁴ и эсквайры¹⁷⁵; последними идут женщины-дворянки¹⁷⁶.

В списке присутствуют почти все аристократы, пострадавшие за веру: умерший в Тауэре в 1595 г. граф Эрендел, изгнанник граф Уэстморленд, подвергавшиеся арестам графы Саутхэмптон и Десмонд, виконт Монтегю, лорд Вокс и др. За его пределами остался лишь казненный как изменник в 1572 г. граф Нортумберленд (лидер Северного

¹⁶⁹ Ibid. I. F. 250.

¹⁷⁰ Ibid. II. F. 375–426.

¹⁷¹ Ibid. II. F. 395–400.

¹⁷² Ibid. II. F. 401–402.

¹⁷³ Ibid. II. F. 403–404.

¹⁷⁴ Ibid. II. F. 404.

¹⁷⁵ Ibid. II. F. 405–408.

¹⁷⁶ Ibid. II. F. 413.

восстания 1569 года)¹⁷⁷. А в числе рыцарей и эсквайров немало общих родственников виконта Монтегю, лорда Вокса и сэра Томаса Трешэма: лорд Эренделл, Уильям Кейтсби, Александр Калперер, Уильям Роупер, Фрэнсис, Джордж и Генри Брауны, Фрэнсис Инглфилд, Томас Фицгерберт, Роберт Тайритт и др.

Таким образом, мы видим, что составители сборника прославляют не только клириков, но и мирян в качестве «столпов», духовных лидеров английского католического сообщества – мучеников за веру и богословов, преследуя при этом и частную цель – прославление сэра Томаса Трешэма и его родственников. В одном из заключительных разделов (of things contingent)¹⁷⁸ сведены речи, проповеди и отрывки текстов, нацеленных против протестантов. В раздел включены речи сэра Томаса Трешэма и лорда Вокса, арестованных в 1580 г. по подозрению в укрывательстве иезуита Кэмпiona и принужденных защищать свою веру и практику *recusancy* от протестантских проповедников¹⁷⁹, и другие сочинения Трешэма. За ними следуют речи первого и второго виконтов Монтегю, произнесенные в палате лордов¹⁸⁰, затем речь аббата Фекенхэма (в палате лордов в 1559 г.)¹⁸¹, а за ними – подборка из полемических сочинений Стивена Гарднера, епископа Винчестерского и другие документы¹⁸². Все эти тексты могли служить практическим примером того, как может быть построена апологетическая речь в защиту католической веры, на тот случай, если это понадобится потенциальным читателям «энциклопедии». Но они же выполняли и другую роль, фиксируя историю английских католиков, сохраняя для потомков имена мучеников и героев.

«Энциклопедия», составленная с прагматической целью – в качестве удобного пособия по полемическому богословию, выполняла отнюдь не только эту роль. По сути, она формировала исторический канон английского католического сообщества и его историческую память. При этом речь не идет о навязывании этого канона «сверху» руководителями английской католической миссии. Одним из составителей сборника был мирянин, образованный дворянин, и, хотя подготовленные им материалы были позднее обработаны клириком, в них отчетливо прочитываются

¹⁷⁷ Об английских аристократах-католиках XVIв. см. *Серегина А.Ю.* Аристократ в эпоху конфессионального конфликта: трансформация гендерных ролей // *Адам & Ева.* 2010. Вып. 18. С. 119-138.

¹⁷⁸ Bodleian Library, MS Engl. Th. 2. F. 821–898.

¹⁷⁹ Ibid. II. F. 822–839.

¹⁸⁰ Ibid. II. F. 840–843, 845–847.

¹⁸¹ Ibid. II. F. 851–853.

¹⁸² Ibid. II. F. 860–878.

приоритеты самого Трешэма – в частности, его интерес к истории, семейной и национальной. Таким образом, формирование исторической памяти английских католиков – это «совместный проект», свидетельствующий об определяющей роли диалога духовенства, воспитанного в пост-Тридентских идеалах, и светской элиты католического сообщества.

Религиозная культура английских католиков и практики чтения

В условиях преследований, особенно в 1580–90х гг. католические богослужения в большинстве случаев оказывались нерегулярными, и католикам-мирянам приходилось изобретать способы восполнения этого вакуума. Католические писатели предлагали прихожанам в отсутствие священников и при невозможности причаститься медитировать, читая молитвы из соответствующих разделов молитвенника (последование к причастию), представляя себе каждую часть литургии и размышляя о смысле жертвоприношения. Таким образом, верующие, лишённые физической возможности причаститься, должны были получать духовные блага причастия, обретая благодать вне таинства, а благодаря мистическому опыту¹⁸³.

Представители семьи и свиты Монтегю находились в лучшем положении, нежели многие их английские единоверцы, так как в их резиденциях мессу служили часто (если не регулярно). Однако ежедневно совершавшиеся ими молитвы были тесно связаны с книгами. Так, ежедневные молитвы леди Магдален Монтегю – а именно о ее благочестивых практиках мы знаем больше всего благодаря ее биографии, изданной в 1627 г.¹⁸⁴, – основывались на молитвенном цикле, предписанном часословом. Средневековые (и более поздние) часословы представляли собой цикл ежедневных молитв и чтений (из Евангелий и Псалтири), возникших в монашеской (бенедиктинской) среде к XII в., и позднее принятому мирянами как основа для их собственных благочестивых практик. В состав позднесредневекового часослова обычно входили календарь церковных праздников, отрывки из Евангелий, которые полагалось зачитывать во время службы, Часы Богородицы, псалмы восхождения (119–130), покаянные псалмы, литанию всем святым, Часы Святого Креста и заупокойная служба.

Часословы были самым популярным жанром благочестивой литературы XV–XVI вв., как до изобретения книгопечатания, так и позднее.

¹⁸³ Rhodes J.T. The Body of Christ in English Eucharistic Devotion, c. 1500–1620 // New Science out of Old Books: Studies in Manuscripts and Early Printed Books in Honour of A.I. Doyle / Ed. by R. Beadle and A.J. Piper. Aldershot, 1995. P. 388–419; McClain L. Lest We Be Damned. P. 136–137.

¹⁸⁴ Smith R. Life of Lady Montague. St. Omer, 1627.

Первые часословы предназначались для женщин, приносивших обет целомудрия (отшельниц), хотя и не вступавших в монашеский орден, но быстро обрели популярность у других мирянок, в том числе и замужних дам¹⁸⁵. В XVI в. популярность часословов не уменьшилась, хотя в пост-Триденский период они подверглись редактированию, главным образом за счет сокращения литаний святым и некоторых других популярных молитв, о которых еще пойдет речь. Основными принципами здесь были, во-первых, унификация – ведь до Триденского собора содержание часословов значительно варьировалось, определяясь вкусами составителей и заказчиков; а во-вторых, очищение часословов от «суеверий», т.е. любых намеков на благочестивые практики, которые могли показаться сомнительными с богословской точки зрения.

Леди Магдален в ежедневных молитвах, скорее всего, использовала часословы времен своей юности – издания 1555 или 1556 г. По своему составу они отличались от пост-Триденских версий, какие, по всей видимости, использовали родственники виконтессы, принадлежавшие к более молодому поколению. Так, ее племянница, графиня Эрендел, также молилась по часослову¹⁸⁶. Однако в биографии графини Эрендел ее молитвы теснее связаны с циклом ежедневного богослужения (а не часов, соблюдавшихся в монастырях). Кроме того, там отсутствует цикл молитв, упомянутый в биографии виконтессы Монтегю, а именно – «Пятнадцать О».

Этот молитвенный цикл был популярен в Европе в XIV–XVI вв. и, в частности, в Англии. Согласно легенде, Св. Бригитта имела видение, в котором Иисус сообщил ей, каким образом она может прославить нанесенные Ему (во время бичевания и на кресте) раны. Таким способом было ежедневно прочитывать 15 «Отче Наш», 15 «Богородиц» и 15 молитв, посвященных ранам Христовым.

Сами молитвы опираются на богословскую традицию медитации о Страстях Христовых и восходят к патристике, а также к более поздней традиции, в частности, сочинениям английского мистика XIV в. Ричарда Ролле, и в целом, аффективной традиции медитаций¹⁸⁷. Э. Даффи считает, что, вопреки легенде, цикл молитв родился в Англии в конце XIV в. среди последователей Ролле или монахинь-бригеттинок. Довольно рано появилось два английских перевода. В 1491 г. один из них был издан

¹⁸⁵ *Duffy E. Marking the Hours: English People and Their Prayers, 1240–1570.* New Haven; L., 2006. P. 3–23.

¹⁸⁶ *Life of Anne Dacres, Countess of Arundel.* L., 1877. P. 203–205.

¹⁸⁷ Богословская традиция, предполагавшая задействовать воображение верующего, который должен был мысленно представлять себе сцены из Писания и при посредстве этих образов приближаться к Божеству.

Какстоном, и после этого стал обязательной частью всех английских часословов, изданных до 1530х гг., и ряда более поздних изданий¹⁸⁸.

По своей сути «Пятнадцать О» – цикл молитв, связанный с медитациями о Страстях Христовых и культом Ран Христовых – не противоречил духу пост-Триденческой религиозной культуры. Однако католические реформаторы с подозрением относились к этому циклу. Он был изъят из английских часословов конца XVI в. Причиной тому были не молитвы как таковые, а связанные с ними верования. В XV – начале XVI в. распространено было представление о том, что если читать молитвы этого цикла каждый день, это избавит 15 родственников молящегося от мук чистилища и поможет 15 живущим родственникам обрести необходимую для покаяния благодать. Существовали и основывавшиеся на этом веровании индульгенции. Огромная популярность «Пятнадцати О» в позднее средневековье отчасти объясняется именно этим обстоятельством. Реформаторы не нашли никаких обоснований для данной легенды. Соответственно, из часословов изымались все упоминания о связанных с циклом индульгенциях, а порой, на всякий случай – и сами молитвы, чтобы не вводить в искушение верующих.

Таким образом, присутствие данного цикла в числе ежедневных молитв виконтессы Монтегю свидетельствовали о том, что ее благочестивые практики во многом определялись приоритетами до-Триденческой религиозной культуры.

Внук леди Монтегю, второй виконт, также выстраивал свои благочестивые практики в соответствии с монашескими циклами молитв и богослужений (в частности, Часы Богородицы). Однако, как он сам свидетельствовал в 1594 г., основой его молитв был Римский бревиарий¹⁸⁹ – цикл ежедневных богослужений, призванный унифицировать церковные службы и благочестивые практики в Католической Европе. Виконт мог пользоваться Римским бревиариум издания 1568 или 1588 года. Ежедневные молитвы графини Эрендел также выходили за рамки часослова и, как уже отмечалось, были тесно связаны с циклом ежедневных богослужений, что скорее предполагает ориентацию на бревиарий. Он, правда, не упомянут в ее биографии, но здесь мог сыграть свою роль гендерный фактор: поскольку бревиарий был связан с богослужением (и был издан на латыни), он предназначался для мужской аудитории – клириков и мирян. Часословы же относились к жанру, который, как считалось, был доступен для женщин.

Важной частью благочестивых практик семейства Монтегю были молитвы розария. Эта благочестивая практика распространилась в

¹⁸⁸ *Duffy E.* The Stripping of the Altars. P. 248.

¹⁸⁹ BL, Harleian MS.6889. F. 143.

Англии в XV – начале XVI в., однако претерпела существенные изменения в пост-реформационный период. До Реформации розарий, т.е. цикл из пятидесяти молитв, соотносящихся с эпизодами из жизни Христа и Девы Марии, был известен в Англии в двух редакциях: доминиканской и картузианской, и представлял собой распространенную форму приходской благочестивой практики. Распространение розария в католическом сообществе конца XVI в. и позднейших эпох напрямую связано с деятельностью священников-миссионеров и прежде всего иезуитов. Именно они стали создавать братства розария при каждой своей коллегии. Братства объединяли преподавателей и учеников, а также и горожан в совместном почитании Девы Марии. Они использовали унифицированный доминиканский вариант розария.

Братства розария, создававшиеся иезуитами в Англии, были приспособлены к местным условиям. Так, из специально написанного иезуитом Генри Гарнетом руководства «Общество розария» (1593 г.) явствует, что если в континентальных католических странах братство розария должно было иметь свою часовню или алтарь, то в Англии такой часовней становился просто дом католиков¹⁹⁰, а членом братств мог стать любой католик, богатый или бедный, – членского взноса не существовало, а членство было пожизненным. Из соображений безопасности списки членов братств уничтожались сразу по составлении (эта практика существовала до середины XVIII века)¹⁹¹.

Леди Монтегю прочитывала молитвы розария трижды в день¹⁹², как это и предписывалось членам братства розария; ее примеру вполне могли следовать дамы ее свиты и домочадцы. Известно, что братства розария существовали в домах ее родственниц (Дороти Лаусон, графиня Эрендел)¹⁹³.

Братства розария были призваны наставлять верующих, и через их посредство до английских католиков доносились нормы пост-Тридентского благочестия. Так, сочинение Гарнета предоставляет читателям доступное изложение учения о непорочном зачатии Девы Марии, а также признанное собором толкование Воплощения и Искупления и ее роли в нем. Кроме того, Дева Мария предстает здесь не только как милосердная мать-заступница (что типично для средневековья), но скорее как Победительница, торжествующая над ересью. Этот образ появился после того, как Пий V, призвав к крестовому походу против

¹⁹⁰ *Garnet H.* The Societie of the Rosary. L., 1593.

¹⁹¹ *Dillon A.* Praying by Number: The Confraternity of the Rosary and the English Catholic Community, c. 1580–1700 // *History*. Vol. 88. 2003. P. 451–471.

¹⁹² *Smith R.* Life of Lady Montague. P. 32.

¹⁹³ *Серегина А.Ю.* «Смирение и покорность» С. 130–132.

турок, обратился к заступничеству Богородицы. После победы над турками при Лепанто (1571) образ Марии-победительницы широко распространился по Европе. Розарий в его пост-тридентском виде непосредственно апеллировал к этой идее. Так, Генри Гарнет именовал его «древним средством... искоренения ереси»¹⁹⁴, неслучайно в иезуитских коллегиях в братства объединялись будущие миссионеры, призванные противостоять ей. Так, братства розария соединяли в себе общинный ритуал, наставление в вере и проповедь истинной веры против ереси¹⁹⁵.

Медитации и безмолвные молитвы, практиковавшиеся семейством Монтегю, видимо, не ограничивались медитациями, связанными с циклом розария, но следовали также и традиции *Devotio Moderna*, о чем свидетельствует анализирувавшийся выше перевод «Трактата о молитве» Джона Фишера, выполненный первым виконтом Монтегю в 1560 г.

Циклы молитв и медитаций, задававших ритм религиозной жизни семейства Монтегю, во многом определялись книгами, которые читали его представители. Биография виконтессы Монтегю упоминает чтение благочестивой литературы, однако не называет ни одной книги. Реконструировать весь круг чтения семейства Монтегю, конечно, не представляется возможным, но ряд источников все же указывают тексты, несомненно, оказавшие на его членов большое влияние. В упоминавшемся «Наставлении дочери» второй виконт Монтегю приводит список сочинений, посвященных созерцательной жизни христианина; эти труды он рекомендовал дочери в качестве некоего духовного компаса.

Список открывают труды Бл. Августина¹⁹⁶. Виконт не уточнил, о каких именно из них идет речь. К концу XVI в. в Европе появились сотни изданий сочинений Св. Августина, в том числе и несколько вариантов полного их собрания (эти издания, естественно, были латинскими). Кроме того, появилось довольно много переводов – в том числе и английских – отдельных сочинений и проповедей Св. Августина, а также составленных католическими и протестантскими богословами сборников наставлений, в которые входили проповеди и отдельные послания. Невозможно точно сказать, какие именно издания виконт рекомендовал своей дочери. Многих девушек из католических семей учили латыни, так что отец мог иметь в виду любое латинское издание¹⁹⁷. Однако в

¹⁹⁴ *Garnet H.* The Societie of the Rosary. P. 8. См. также: *Dillon A.* Praying by Number. P. 465–466.

¹⁹⁵ *McClain L.* Using What's at Hand: English Catholic Reinterpretations of the Rosary, 1559–1642 // *Journal of Religious History*. Vol. 27. 2005. P. 161–176.

¹⁹⁶ *Instruction to my daughter.* P. 74.

¹⁹⁷ *Серегина А.Ю.* Историописание в женских монастырях: «Хроника» конвента Св. Моники (XVII в.) // *Адам & Ева*. 2011. Вып. 19. С. 131–132.

рукописи его «Наставлений» дочери рекомендуется английский перевод другого сочинения (о котором пойдет речь ниже). Кроме того, на момент составления рукописи виконт ожидал ареста и не мог быть уверен в том, какое образование получит его дочь. Поэтому вполне можно предположить, что он ориентировал Мэри Браун на английские переводы наставлений Св. Августина. Но какие именно? К 1597 г. в свет вышло немало сборников, составленных и переведенных протестантами – Томасом Беконом (1558, 1560, 1577, 1585, 1586)¹⁹⁸, Уильямом Придом (1585)¹⁹⁹, Эдмундом Фриком (1574)²⁰⁰ и Томасом Роджерсом (1581, 1591, 1597, 1600)²⁰¹. Возможно, в библиотеке Монтегю были какие-то из этих изданий. Ведь наставительные сочинения, в особенности те, что предлагали руководство в молитвах и медитациях, а также призывали христианина к более насыщенной духовной жизни, с легкостью преодолевали конфессиональный барьер; их читали и католики, и протестанты.

Католические переводы Св. Августина на английский язык появились уже в XVII в., но существовал еще один перевод, который, вполне вероятно, нашел себе место среди книг Монтегю. Это перевод избранных проповедей Св. Августина, вышедший в Лондоне в 1557 г.²⁰² Автором перевода был Томас Пейнелл, который некогда посвятил первому виконту Монтегю историю заговора Катилины, а издателем книги – уже известный нам Джон Кавуд. То, что именно ему в 1560 г. виконт предложит издать свою рукопись, подразумевает наличие связи, вероятнее всего – клиента и патрона. Так что вполне можно предположить, что данное издание, к которому имели отношения два «клиента» Монтегю, нашло путь в библиотеку виконта. Внимание, уделявшееся Св. Августину в доме Монтегю, косвенно подтверждается и тем фактом, что в качестве образца для жизни благочестивой христианки исповедники виконтессы избрали мать святого, Св. Монику – именно ей уподоблена леди Монтегю в биографии, написанной Ричардом Смитом²⁰³.

Вторым текстом, рекомендованным виконтом дочери, был трактат «*О презрении к миру*» испанского францисканца Диего де Эстеллы. Последний был одним из самых влиятельных мистиков своего време-

¹⁹⁸ Certain Godlie meditations Made in the Forme of Prayer by St Augustine. L., 1558; 1560; Certain Godlie meditations Made in the Forme of Prayer by St Augustine... and also His Manuall. L., 1574, 1575, 1585, 1586.

¹⁹⁹ The Glasse of Vaine-glorie; The Complaint of a Sorrowfull Soule. L., 1585.

²⁰⁰ An Introduction to the Love of God. L., 1574.

²⁰¹ A Pretious Booke of heavenlie meditations. L., 1581, 1597, 1600; A Right Christian Treatise. L., 1581, 1591, 1597, 1600; A manuall. L., 1591, 1597.

²⁰² Certaine Sermons of St Augustines. L., 1557.

²⁰³ *Smith R.* Life of Lady Montague. Preface; см. также: Instructions to my daughter. P. 115–126.

ни, который оказал воздействие на многих богословов XVII века (в том числе Фенелона, Франсиска Сальского и Блеза Паскаля) и сам, в свою очередь, подвергался влиянию традиции «Нового благочестия»²⁰⁴. Трактат – руководство к созерцательной жизни – был впервые опубликован в Толедо в 1562 г. и переиздан в 1574 г. в Саламанке²⁰⁵. Он сразу же приобрел большую популярность и был быстро переведен на другие языки, в том числе французский и итальянский. Итальянская версия и послужила основой для английского перевода, выполненного в конце 1570-х гг. католиком-рекузантом Джорджем Коттоном. Рукопись перевода была вывезена из Англии и в 1584 г. издана в Руане при посредничестве иезуита Роберта Парсонса²⁰⁶.

Семейство Коттонов было связано с семейством Монтегю. Сестра сэра Джорджа, Мэри, вышла замуж за Эдварда Банистера, отец которого служил первому виконту Монтегю и его отцу. Сам сэр Джордж принадлежал к группе католиков, близких зятю первого виконта, графу Саутхэмптону. Состоял он также в родстве и с иезуитом Робертом Саутуэллом²⁰⁷ (вероятно, именно благодаря этому каналу его рукопись оказалась в распоряжении Парсонса). Благодаря этим связям семейство Монтегю, вероятно, одним из первых среди английских католиков получило в свое распоряжение перевод трактата.

Еще один текст, который явно присутствовал в библиотеке Монтегю и оказал влияние на религиозную жизнь семьи, был типичен для своего времени. Речь идет о «Подражании Христу» Фомы Кемпийского, по популярности уступавшем только Библии. Это сочинение стало основой наставительных сочинений для европейских христиан XV–XVII вв.; к 1600г. вышли сотни его изданий на множестве языков помимо оригинальной латыни. Уже в XVI в. существовало несколько английских переводов этого труда. Самый первый был сделан в 1502 г., а впервые напечатан был перевод монаха-бригеттинца Роберта Уитфорда²⁰⁸ (1531). Этот перевод эмигранты-католики переиздали в 1575 и 1585 гг., а в XVII в. появился новый перевод иезуита Энтони Хоскинса, издававшийся в 1613, 1615, 1616, 1620, 1624, 1633 и 1636гг.²⁰⁹ Особую

²⁰⁴ *de Bujando J. M. Diego de Estella. Roma, 1971; Sagües Azcona P. Fray Diego de Estella. Madrid, 1980.*

²⁰⁵ *Tratado de la vanidad del mundo dividido en tres libros. Toledo, 1562; второе издание – Salamanca, 1574.*

²⁰⁶ *The contempte of the world, and the vanitie thereof. Rouen, 1584.*

²⁰⁷ *Pilarz S.R. Robert Southwell and the Mission of Literature, 1561–1595: Writing Reconciliation. Aldershot, 2004. P. 42–43.*

²⁰⁸ Роберт Уитфорд – монах бригеттинской обители Сион близ Лондона, автор популярных наставительных сочинений и переводчик.

²⁰⁹ *Серегина А.Ю. Переводы католической литературы. С. 30.*

любовь к этому сочинению выказывал младший брат виконта Монтегю, Уильям Браун (1578–1637), ставший в начале XVII в. членом ордена иезуитов. По свидетельству его орденского начальства, он не расставался с книгой ни днем, ни ночью, и даже составил свое собственное наставительное сочинение, опираясь на труд Фомы Кемпийского²¹⁰.

Все упомянутые тексты вызывали интерес как католиков, так и протестантов. О переводах проповедей Св. Августина уже шла речь выше. «Подражание Христу» было классическим наставительным сочинением и для протестантов, причем весьма популярным²¹¹.

Популярностью пользовались и два других текста. Трактат Парсонса «Первая книга христианских упражнений» (1584), опиравшийся на труды Диего де Эстеллы и дополнявший его, был переделан для протестантской аудитории Эдмундом Банни и многократно переиздавался в обеих версиях²¹². Сочинение испанского мистика также привлекло внимание протестантов – в 1608 г. его протестантская версия вышла в свет в Лондоне стараниями уже упоминавшегося издателя переводов Св. Августина, Томаса Роджерса, к тому времени ставшего капелланом архиепископа Кентерберийского Банкрофта²¹³.

Можно приписать литературные пристрастия семейства Монтегю влиянию их протестантского окружения. Но те же самые сочинения являлись «классикой» католической наставительной литературы в пост-Тридентскую эпоху. Таким образом, приходится констатировать скорее общность целей и приоритетов реформаторов разных конфессий в том, что касалось организации духовной жизни христианина. Все сочинения предполагали внимание к внутреннему миру христианина, его/ее поискам Бога и удалению (хотя бы частичному, мысленному и эмоциональному) от мира.

Помимо наставительных сочинений, члены семейства и свиты Монтегю отдавали должное и полемической литературе. Так, в допросе

²¹⁰ Records of the English Province of the Society of Jesus. Vol. 2. L., 1875. P. 434, 436, 439–441. Рукопись его трактата сейчас находится в библиотеке колледжа Стоунхёрст (MS iv.55).

²¹¹ Sears McGee J. Conversion and the Imitation of Christ in Anglican and Puritan Writing // Journal of British Studies. Vol. 15. 1976. P. 21–39; Perry N. The Imitation of Christ in the English Reformation Writing // Literary Compass. Vol. 8. 2011. P. 195–205.

²¹² См.: Серегина А.Ю. Английская благочестивая литература рубежа XVI–XVII вв., религиозная полемика и обращения в «истинную веру» // Книга в культуре Возрождения / Под ред. Л.М. Брагиной. М., 2002. С. 118–128, особ. С. 119.

²¹³ A Methode unto Mortification: called heretofore, The contempt of the world, and the vanitie thereof. Written at the first in the Spanish [by D. de Estella], afterward translated into the Italian, English, and Latine tongues: now last of all... reformed and published by T. Rogers. L., 1608.

виконта (1594 г.) упоминается, что он читал сочинения итальянского богослова Роберто Беллармино²¹⁴. Его же он рекомендует и своей дочери в 1597 г. для прояснения сложных вопросов вероучения²¹⁵.

Практическое значение знакомства с полемической литературой не ограничивалось диспутами с проповедниками-протестантами. Второй виконт блеснул своими познаниями на заседании палаты лордов. В своей парламентской речи 1604 года он ссылаясь на имевшую большой резонанс полемику относительно обстоятельств крещения Англии. Средневековые английские хроники сообщали о том, что Англия была крещена несколько раз – Св. Иосифом Аримафейским в I в. н.э., миссионерами Фаганом и Дувианом, посланными папой Элевтером к королю бриттов Луцию во II в., и, наконец, Св. Августином, посланным папой Григорием I в конце VI века. В 1598–1604 гг. вопрос о том, кем и когда была крещена Англия, обсуждался в полемических сочинениях протестантов Фрэнсиса Хастингса²¹⁶, Мэтью Сатклифа²¹⁷ и их католических оппонентов Томаса Фицгерберта²¹⁸ и Роберта Парсонса²¹⁹. Протестантские богословы настаивали на том, что Англия впервые приняла христианское учение не из Рима, а с Востока, поэтому они предпочитали использовать легенду о Св. Иосифе Аримафейском. Католические авторы, напротив, подчеркивали связь английской церкви с Римом и говорили о мифической миссии Фагана и Дувиана, а также, естественно, о Св. Августине. Виконт Монтегю явно следовал их примеру²²⁰.

Гораздо меньше нам известно о практике чтения Библии в семье Монтегю. Она крайне редко упоминается в источниках. В биографии леди Монтегю лишь однажды говорится о том, что виконтесса – уже смертельно больная – находила утешение в чтении глав Евангелия, посвященных Страстям Христовым²²¹. Это упоминание увязывается с

²¹⁴ BL, Harleian MS.6889. F. 143.

²¹⁵ Instructions to my daughter. P. 46.

²¹⁶ *Hastings F.* A Watchword to all religious and trye hearted English-men. London, 1598; *Idem.* An Apologie or Defence of the Watch-word. L., 1600.

²¹⁷ *Sutcliffe M.* A Briefe Replie. L., 1600; *Idem.* A New Challenge. L., 1600.

²¹⁸ *Fitzherbert T.* A Defence of the Catholyke Cause. L., 1602.

²¹⁹ *Persons R.* A Temperate Ward-word, 1599; The Warn-word to Sir Francis Hastings' Wast-word. St. Omer.1602; A Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. St. Omer, 1603–1604.

²²⁰ Подробнее о полемике см.: *Серегина А.Ю.* Мифы о крещении Англии в религиозной полемике конца XVI века // Диалог со временем. 2004. Вып. 12. С. 144–155; *она же.* Мифы об обращении Англии в христианство и национальная/конфессиональная идентичность в XVI – начале XVII в. // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 389–411.

²²¹ *Smith R.* Life of Lady Montague. P. 40.

тем, какое важное место размышления о жертве Христа занимали в религиозной жизни католиков XVI в. в целом и Монтегю, в частности. Кроме того, образ христианина, читающего Библию, к концу XVI в. стало прочно ассоциироваться с протестантом, благодаря стараниям нескольких поколений полемистов. Поэтому рассуждая о благочестии своих героев, авторы-католики предпочитали оставлять их знание библейских текстов словно бы «за кадром». Однако можно предположить, что как минимум некоторые члены семейства Монтегю хорошо знали Библию. Так, уже упоминавшаяся речь виконта Монтегю, произнесенная им в Палате Лордов в 1604 г., насыщена цитатами из Писания – из Евангелий и посланий апостолов, а также и из пророческих книг Ветхого Завета²²². К 1604 г. уже существовал католический перевод Нового Завета на английский язык. Однако виконт предпочитал цитировать Библию на латыни, так что он при чтении Писания, по всей видимости, предпочитал Вульгату.

Приведенный материал свидетельствует о том, какую важную роль играли книги в религиозной жизни семейства Монтегю. Его члены выступали в роли читателей, переводчиков и сочинителей; их духовая жизнь – и прежде всего, цикл ежедневных молитв и медитаций – строилась по книжным образцам и подразумевала регулярное чтение как ее неотъемлемую часть. Таким образом, можно подтвердить сделанный А. Уолшем вывод о том, что религиозная культура английских католиков в пост-Тридентский период была «культурой книги» в той же степени, в какой этот термин применим к религиозной культуре их современников-протестантов²²³. Необходимо, однако, подчеркнуть, что воздействие «культуры книги» на духовную жизнь английских католиков было неоднозначным. С одной стороны, чтение руководств в медитации и внутренней молитве не могло не способствовать интериоризации религиозных переживаний, что многие исследователи выделяют как одну из основных характеристик религиозности конца XV века и раннего Нового времени²²⁴.

Но с другой стороны, чтение в этот период далеко не всегда подразумевало уединение. Книги – особенно наставления – читали вслух, для большой аудитории слуг и домочадцев, тем самым делая их содержание доступным для неграмотных. Таким образом, чтение станови-

²²² Bodleian Library, MS Engl. TH.b.2. F. 845-846; *Серегина А.Ю.* Католик или политик? С. 356–357, 359, 364–365, 367.

²²³ *Walsham A.* “Domme Preachers”? P. 122.

²²⁴ *Richmond C.* Religion and the Fifteenth-Century English Gentleman // *The Church, Patronage and Politics in the Fifteenth Century* / Ed. by B. Dobson. Gloucester; N.Y., 1984. P. 193–208.

лось практикой, связывавшей членов католического сообщества. Это понимал виконт Монтегю, издавший в 1560 г. трактат Фишера. Хотя молитва, о которой шла речь в тексте трактата, и была безмолвной и внутренней, но чтение этого текста должно было объединить верующих. Такую же функцию, как уже отмечалось, имели и братства розария; ведь их деятельность предполагала соединение благочестивых практик и наставлений в вере, как минимум часть которых вполне могла состоять в совместном чтении. Таким образом, «культура книги» предоставляла английским католикам XVI–XVII вв. возможность замещения исчезнувших практик коммунального христианства новыми, тем самым поддерживая их представления о единстве между собой и с единоверцами за пределами Англии.

1.3. САЛОННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА И ЖЕНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Прежде чем рассуждать о салонах, надо сказать о той даме, которая считается изобретательницей этого культурного явления. Речь идет о Катрин де Вивонн, маркизе де Рамбуйе (илл. 1). Единственная дочь французского посланника Жана де Вивонн де Пизани и итальянской аристократки Джулии Савелли родилась в 1588 г. в Риме. Мадам де Рамбуйе всю жизнь очень гордилась своим происхождением и считала себя по матери итальянской принцессой. Король даровал ей французское гражданство специальным письмом в 1594 г. Тогда Джулия Савелли с семилетней дочерью и переехала к мужу в Париж, обосновавшись в квартале Маре. Итальянское происхождение Катрин и детство, проведенное в Италии, где при дворах блистали образованные куртизанки, имеет немаловажное значение. Благодаря усилиям матери, которая имела огромное влияние на нее вплоть до своей смерти в 1606 г., она прекрасно разговаривала на родном итальянском, кроме того, знала испанский и даже намеревалась выучить латынь, чтобы иметь возможность читать в подлиннике Вергилия. Катрин очень интересовалась литературой, римской историей, современной философией, научными открытиями и изобретениями. В эпоху, когда женское стремление к знаниям то осуждалось, то осмеивалось, надо было обладать особым умением преподавать его так, чтобы оно вызывало восхищение. Кроме любознательности, маркиза прославилась своим тонким вкусом, неподражаемой способностью сочетать изящество, обходительность, чувство собственного достоинства, набожность и любовь к светским развлечениям.

В 1600 г. юная «синьорина Катерина» вышла замуж за Шарля д'Аженна, видама Манского, вскоре ставшего маркизом де Рамбуйе. Через некоторое время маркиза, охочая до светских развлечений, навсегда оставляет двор. Традиционно в этом поступке видят ее нетерпимость к нравам французского двора, имевшим мало общего с теми воспоминаниями, которые маркиза сохранила от римского общества. Напомню, Италия в этот период – еще эталон культуры и утонченности, которые в немалой степени связывают с той ролью, которые играли при итальянских дворах женщины. Однако современные исследователи при таком противопоставлении чаще имеют в виду не столько грубые развлечения Генриха IV, сколько ставшее предметом насмешек отсутствие утонченности и вкуса у Марии Медичи и скуку, вялость и инфантильность юного Людовика XIII. Маркиза на всю жизнь сохранила к новому королю

столь стойкое отвращение, что ее дочь Жюли боялась, как бы это не навлекло опалы. Кроме того, слабое здоровье маркизы, особенно после многочисленных беременностей, не позволяло ей участвовать в придворных церемониях. Даже принимая дома своих гостей, она часто полужела на парадной кровати, стоявшей в алькове, что вскоре стало образцом для подражания. На голове у нее было такое количество чепчиков, что про нее говорили, что она глохнет к празднику Св. Мартена (11 ноября) и вновь обретает слух на Пасху. Итак, в силу различных причин она была лишена возможности вести достойную публичную жизнь.

Поскольку она не уехала в имение, а осталась в городе, это обрекало ее на существование в кругу семьи, ибо само по себе городское пространство было в значительной степени буржуазным, т.е. фамильярным. В начале XVII в. даже в Париже за пределами королевских резиденций и парков практически не существовало пространства, где могла бы проводить время титулованная аристократка (илл. 2). Только в 1618 г. Мария Медичи займется созданием публичного променада (он получит название Кур-ла-Рен) вдоль Сены от сада Тюильри до площади Королевы Астрид. До 1634 г. в Париже был один постоянный театр комедиантов, располагавшийся в отель де Бургонь («Бургундском отеле»), затем конкуренцию ему составил «театр Марэ». Еще не пришло время кафе и даже регулярных званых обедов. Частная жизнь замыкалась в стенах особняка и не представляла никакого интереса.

Происхождение слова «фамильярный» не случайно – фамильярность это бесцеремонность, царящая в кругу семьи. «Частное», потребность в котором все более и более ощутима, еще долго будет ассоциироваться со смертью и лишенностью публичного существования вдали от двора как средоточия публичного пространства, а также и с этой бесцеремонностью. Она в определенной степени уравнивала аристократов и буржуа определенного уровня достатка, и потому для первых опять же имела оттенок ущербности. Такое двойственное отношение к частному породило феномен, который М.С. Неклюдова окрестила «частной публичностью» – это своего рода промежуточная форма между частным и публичным, в которой общество испытывало потребность, для того чтобы нужда в частной сфере приобрела приемлемые для существования в условиях публичности формы¹. Маркизе как раз и удалось создать такое промежуточное пространство, в равной степени отстраненное от этикетного и от семейного; оно позволяло отрешиться от привычной социальной роли, не опускаясь до быта. Салонная жизнь стала наиболее ярким выражением «частной публичности».

¹ Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: век Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008.

В 1618 г. мадам де Рамбуйе начала заниматься перестройкой отцовского дома. Отвергнув несколько проектов архитекторов, она сама придумала и начертила проект здания (илл. 3). Ее дом выстраивался именно как публичное место. Лестница в новом здании помещалась с края, что позволяло выстроить единую анфиладу комнат, в которых были сделаны альковы по испанской моде. В XVII веке альков не имел тех эротических коннотаций, которые сделали его известным в следующем столетии. Он тоже был публичным местом, до нововведения мадам де Рамбуйе короли и только короли могли принимать там посетителей, лежа на парадной кровати. В доме не было никаких коридоров и проходов для ожидания – все салоны сообщались друг с другом. Главный из них, вместо того, чтобы быть выкрашенным, согласно моде того времени, в красный и коричневый цвета, был задрапирован голубой тканью на золотом основании. На одной из стен красовался подарок Людовика XIII – роскошный фламандский гобелен. Высокие окна, пропускающие максимум света, усиливали ощущение прозрачности и освещенности. Салон получил прозвание «Голубой гостиной», ставшее знаменитым, также стали называть и те встречи, которые в нем проводились. «Голубая гостиная» и в целом отель Рамбуйе стали эталоном элегантности, интимности и комфорта и положили начало новой моде в оформлении жилья среди аристократии. Пример подала Мария Медичи, приказавшая своим архитекторам и декораторам, занимавшимся строительством Люксембургского дворца, взять за образец дом маркизы. В 1615 г. маркиз добился и права подключиться к водопроводу, по которому подавалась вода во дворец Тюильри, таким образом, чета Рамбуйе присоединилась к очень ограниченному кругу людей, пользовавшихся неслыханным преимуществом иметь у себя дома воду.

Теперь лишенная возможности бывать при дворе, но не желавшая остаться без светского общения маркиза стала принимать гостей у себя. Эти встречи прославили ее настолько, что именно ее стали считать родоначальницей салонной культуры. Хотя по большому счету, она лишь использовала уже известную форму частных ассамблей и приемов (само слово «салон» еще не имело современного значения и обозначало лишь большую залу, где принимали посетителей), которая была распространена в Италии и перенята французами на закате Ренессанса. Двор разведенной Маргариты Наваррской в Юссоне, приемы у Луизы Лабэ и других более или менее известных сегодня дам, представляли собой, по сути, ту же самую культурную форму. Но именно маркиза де Рамбуйе придала этой традиции тот самый статус «частной публичности», а соответственно – невиданный ранее блеск и значимость для культурной жизни, предопределив доминирующую роль, которую салоны будут играть

впоследствии. В итоге, сама она, далекая от жизни двора и от фигуры короля, добилась неслыханного влияния в придворном обществе, открыв для женщин новую возможность реализации своего влияния, не связанную ни с социальным статусом, ни с положением фаворитки, но лишь хозяйки салона и законодательницы литературной моды. Не случайно Людовик XIV будет активно бороться с салонами как с альтернативными центрами притяжения и сумеет на некоторое время подавить их.

Каковы же были основные принципы салонной жизни, которые служили выражением этой «частной публичности»? Во-первых, смешение мужского и женского общества, аристократии и людей искусства. Это не означает, что их принимали как равных, но на первое место выходит не социальный статус человека, а его способность быть приятным для общества, т.е. при всех различиях в обхождении, гостей маркиза принимала не вопреки или благодаря происхождению и карьерным заслугам, а только как приятных светских людей. В этом смысле круг общения маркизы не был вполне связан с публичными характеристиками той или иной персоны, но назвать ее выбор частным также нельзя. Этот круг общения, скажем, нельзя в полной мере соотносить с тем, что мы можем назвать дружеским кругом. Главным критерием выбора все же была не личная симпатия. И постепенно вообще установилось что-то вроде традиции пристраивать в салон молодых аристократов, чтобы они набрались там соответствующих манер и завязали нужные отношения. Но с другой стороны, маркиза могла себе позволить руководствоваться собственным вкусом, совершая выбор приглашенных, особенно завсегдатаев. Кстати, в Англии, где почти не было салонов, но распространилась несколько иная форма такого пространства – кружки (их могли держать и мужчины, и женщины), критерии, которые определяли круг входящих в них лиц, тоже были двойственными. Это и личный выбор, и, скажем, политические симпатии. В эпоху революции, например, очень распространились разного рода роялистские кружки.

Точная дата, начала этих собраний, неизвестна, но, по свидетельству современников, к 1613 г. приемы уже стали регулярными. Они оживлялись зимой, когда мужчины возвращались с военных кампаний. На встречах в «Голубой гостиной» были в чести традиционные придворные развлечения – приемы, балы, концерты, прогулки, обеды-маскарады, однако превалировали другие удовольствия, которые, с легкой руки маркизы, станут основой салонной культуры – игры, чтения, беседы, импровизированные театральные постановки. Благодаря присутствию на ее собраниях именитых поэтов, литература занимала главенствующее место среди развлечений. Они читали свои творения, спорили о достоинствах или недостатках того или иного произведения,

сочиняли, как и аристократы, и мужчины и женщины, порой в соавторстве, зачастую в присутствии всех, но также и в тайне. Впрочем, литературу стоит понимать широко как культуру книжности. В период, когда книжное знание еще не вполне разошлось с художественным произведением, в салонах обсуждали все, в том числе сочинения Декарта и трактат о летательных машинах. Это было новое пространство интеллектуальной культуры, где свое суждение высказывали профаны, и где авторы-профессионалы должны были соответствовать этим суждениям, ибо здесь формировались новые вкусы, от соответствия которым зависел теперь успех произведения. Не случайно Хабермас включает салоны в число тех пространств, где в следующем, XVIII веке появится новая сила – общественное мнение².

Такое влияние салонной культуры вызывало серьезное беспокойство у многих профессиональных писателей. Вкусы развлекающейся публики, неискушенной в правилах литературного ремесла могли вписаться в культуру барокко, но явно противоречили эстетике классицизма с ее этическим пафосом и строгим следовании законам жанров. Не случайно на тему пагубного влияния критиков-профанов (в том числе женщин) не раз едко высказывался один из главных теоретиков классицизма – Николя Буало-Депрео.

Посетители салонов соучаствовали в формировании новой литературы не только как публика, диктующая свои вкусы. Особое салонное пространство «частной публичности» позволяло аристократам писать, представлять свои произведения публике (избранной) и в то же время не вторгаться в поле литературы как публичной деятельности. Салонная культура даже породила особую литературу, которую называют *прециозной*, или *галантной*, сочетающую стихи и прозу и, что особенно важно – написанную для развлечения небольшого круга лиц³. Смещение жанров и отрицание границ между ними, игра формами – также одна из основных черт этой литературы.

Состязания в разных поэтических формах (рондо, мадригал, буриме, загадки и т.п.) превращались в своеобразные игры – интеллектуальные забавы, весьма любимые маркизой. Другими интеллектуальными играми были метаморфозы, когда в небольших аллегорических сочинениях дискутировали о галантной любви, сочинение писем на средневековый манер и тому подобные развлечения. Игру можно считать основ-

² Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge (Mass.): The MIT press, 1992.

³ Viala A. La litterature galante: histoire et problematique // Il Seicento francese oggi. Situazione e prospettive della ricerca. Atti des Convegno internazionale, Monopoli 27–29 maggio 1993. Bari; P., 1994. P. 108.

ной формой бытования галантной культуры, царившей в светском обществе с начала века. Игра словами в беседе и тексте, игра форм в произведениях, игра ума при их чтении и в салонных развлечениях. Неслучайно именно литературные забавы займут такое место в салонной жизни. И к тому времени, когда могущество мадам де Рамбуайе будет клониться к закату и в Париже возникнет сразу несколько известных салонов, они будут различаться не столько частными кампаниями – как раз посетители-то зачастую в значительной мере совпадали, если мы говорим о высшем круге, а не о буржуазных салонах. Одним из формальных критериев различия были литературные пристрастия хозяйки. Например, у мадемуазель де Монпансье, племянницы Людовика XIII, составляли портреты, у писательницы мадемуазель де Сюдери – карту страны Нежности, у мадам де Сабле – сочиняли афоризмы.

Но основой салонных встреч была беседа, которая, благодаря усилиям маркизы и ее последовательниц, превратилась в важнейшую форму существования светской культуры. Неслучайно исследователи называют время расцвета салонной культуры (XVII – начало XIX века) «эпохой разговора». Главным принципом светской салонной беседы была ее увлекательность. Это означало одновременно, что предметом беседы должны быть вещи по возможности наиболее интересные и занимательные, и что разговор должен быть лишен даже намека на скучную ученость. Основной темой бесед у маркизы де Рамбуайе была литература и книжные новинки. Но с оживлением обсуждались и более серьезные вопросы – о языке и употреблении слов, о философии Декарта, научных открытиях и изобретениях и т.п. Подобные беседы были любимы завсегдатаями «голубой гостиной», поскольку были интересными, увлекательными, «курьезными» и актуальными, но налет педантизма категорически изгонялся из этих разговоров, ибо превращал их в скучные, занудные и малопонятные ученые диспуты.

Салонная культура XVII в., как и порожденные ею тексты, была культурой диалога – диалога между собеседниками, между автором и читателями, между авторами разных текстов. Современные исследователи отмечают интертекстуальность как особую черту этой литературы, предполагающую процедуру соотнесения себя с другим – человеком или текстом⁴. Зачастую, эти произведения были построены как своеобразные шарады, сплошь состоящие из скрытых или явных цитат.

⁴ См., например: Denis D. *La Muse galante. Poétique de la conversation dans l'oeuvre de Madeleine de Scudéry*. P., 1997; Eadem. *Le Parnasse galant. Institution d'une catégorie littéraire au XVIIe siècle*. P., 2001; Viala A. *D'une politique des formes: la galanterie // XVIIe siècle*. 1994. No. 182. P. 143–151; Idem. *La littérature galante: histoire et problematique // Il Seicento francese oggi. Situazione e prospettive della ricerca. Atti del Convegno internazionale, Monopoli 27–29 maggio 1993. Bari; P., 1994. P. 101–113.*

Литература, которая в той или иной мере всегда присутствовала в салонной культуре, сама по себе занимала особое положение, будучи формой выражения знания доступной не только профессионалам (чем активно пользовались аристократы, поскольку они не могли иметь ничего общего с профессиональной деятельностью), но еще не вполне утратив свои коннотации со знанием вообще. Литература к XVII в. уже была довольно тесно связана с новым пониманием частного как чего-то интимного. Во многом это было обязано новому отношению к чтению как к форме досуга. Занятия литературой и чтением ассоциировались не с бытовым, но с наделенным духовными составляющими частным.

Кроме того, литература выполняла своеобразную роль посредника между публичным и частным, поскольку нарративизация и была публичным способом существования частного и одновременно частным существованием публичного. Неслучайно появление пространства «частной публичности», т.е. не вполне частного, с современной точки зрения, и не вполне публичного, с точки зрения людей XVII века, совпадает с бурным всплеском в развитии таких жанров как эпистолярный и мемуарный. Причем и тот, и другой не являлись вполне приватными и интимными в современном понимании, т.е. не предназначенными для посторонних глаз и повествующими о чем-то сугубо личном, что не должно стать достоянием общественности. Они были одними из множества различных способов публичного существования частного или частного существования публичного. Скажем, частная переписка не была, в силу различных причин, достоянием только автора и адресата и позволяла косвенным образом делать причастными к ней и посторонних лиц. Мемуары или даже дневники XVII века – это, чаще всего, тексты, которые служили не отображению личных переживаний и прочих элементов частного пространства, а фиксировали в назидание потомкам мельчайшие подробности публичной карьеры или же были способом оправдания неудач той же публичной деятельности. И все же они являлись элементом самоанализа и артикулировали частный опыт и частное видение событий. Такого рода средства совмещения частного и публичного могли не просто сделать одно возможным элементом другого, но создать некий симбиоз, в равной степени принадлежащий и отстраненный и даже противостоящий и тому, и другому пространству.

Нарративизация личного опыта – процесс одновременно и частный, и публичный – делала возможным существование этого пространства. Частный, поскольку проговаривание личного опыта, ощущений и переживаний (а основным предметом бесед в салонах XVII века все же были чувства, прежде всего любовь и дружеская привязанность), пусть даже в форме витиеватой любезности, есть свидетельство (хоть возможно и

нимое) соотнесения собственного я с чем-то иным, внешним по отношению к нему. Даже самая отъявленная лесть теряет свое значение, если стороны не будут предполагать существование такого соотнесения. И публичный, поскольку это проговаривание с необходимостью подразумевает существование другого лица, с которым автор вступает в диалог.

Отношения, моделируемые на основе принципа нарративизации, и обладают этой противоречивой «частной публичностью». С одной стороны, это отношения между носителями частных характеристик, пусть и подчиняемых определенному идеалу – характеров, мнений, чувствований, способностей. Что и позволяет до определенной степени игнорировать характеристики социальные и объединять герцогов и поэтов, мужчин и женщин в непринужденной беседе. Именно салоны сделали столь значимой идею приятности общения, вежества, как пишет М.С. Неклюдова, абсолютной социабельности⁵. Причем она подчеркивает, что здесь как раз можно увидеть, что не только аристократия порождает новые культурные смыслы. Если проследить историю трактатов о светском поведении, мы увидим, что он вырос из идеала «человека достойного», который изначально был сугубо буржуазным. Когда в 1630-х гг. появляется сочинение Николя Фаре «Достойный человек, или искусство нравиться при дворе»⁶, уже само название указывает на то, что речь идет отнюдь не об аристократе, а скорее о незнатном дворянине, который должен нравиться не только королю, но и этим самым аристократам. Он должен угождать покровителям, дамам – всем, кто может помочь ему сделать карьеру. Это как раз тот человек, который должен быть абсолютно толерантным и социабельным, с одной стороны, и наделенным массой достоинств, в том числе связанных с нормами общения – с другой. Исследователи полагают, что как раз салоны способствовали тому, что этот идеал «возвысился». Отказ от привычных социальных ролей, который имел место в салонной жизни, где люди знатные должны были смирять свою гордость, а литераторы – свою профессиональную заносчивость, в значительной мере способствовал распространению этого идеала. А уже впоследствии, благодаря влиянию салонов, он распространился и на придворные отношения, где оказался весьма кстати для того, чтобы усмирять претензии знати.

«Вежество», ценимое в этом обществе, которое означает одновременно и любезное обхождение, и способность рассуждать на самые различные темы, рассуждать оригинально, что подразумевает и ум, и опре-

⁵ Неклюдова М.С. Искусство частной жизни. С. 55.

⁶ Faret N. L'Honneste homme, ou l'Art de plaire à la court, par le sieur Faret. Paris: chez T. Du Bray, 1631.

деленный набор знаний, и умение их излагать, становится механизмом такого рода общения. С другой стороны, такое общение приводит к опубликованию, формализации этих индивидуальных черт, подчинению определенному эталону, законам красноречия и тем же правилам «вежества». Частность оказывается необходимой основой этих отношений, но допустимой лишь при соблюдении определенных условностей. Она также не должна преступать границ «вежества», как и публичность, чье вторжение допустимо до определенных пределов. «Вежество» же становится своеобразной «системой сдержек и противовесов», регулирующей соотношение этих двух пространств.

Неотъемлемой чертой «человека достойного» было чтение и соби́рание хорошей литературы⁷, как и умение вести беседу и рассуждать на всевозможные темы. Литература имела важное значение в светской культуре как не-дидактический (ученая литература была уделом педантов) источник знаний и как предмет для беседы, которая играла ключевую роль в салонах. И сама книга рассматривалась как беседа с читателем. Как отмечает Сюзанна Гелу, светские беседы XVII века имели своим источником диалоги, представленные в романах, а эти диалоги, в свою очередь, рождались из бесед, которые действительно имели место в избранных обществах⁸. Способом, дающим возможность говорить о любых предметах, даже не имея о них глубокого представления, было использование общих мест, топосов⁹. С другой стороны, галантной культуре было свойственно особое внимание к вопросам дискурса и формы: умение вести себя, красиво и оригинально излагать свои мысли были одними из наиболее ценимых в человеке качеств.

Эта сложная конфигурация пространства «частной публичности» проецируется и на пространство гендерных отношений. Гендерный вопрос оказывается столь же существенным для этой культуры, как и соотношение частного/публичного. Вообще появление салонной культуры в том виде, в каком она сложилась, было связано не только со всеми теми трансформациями, о которых сейчас шла речь, но и с изменением отношения к женщине и ее статуса в придворной культуре. Действительно, ставшее привычным соотношение частного/женского и публичного/мужского неизбежно приводит к выводу, что «частная

⁷ О статусе книги и чтения в теориях *honnêteté*: *Chatelain J.-M.* La bibliothèque de l'honnête homme. Livres, lecture et collections en France à l'âge classique. P., 2003.

⁸ *Guellouz S.* Le dialogue. P., 1992. P. 217.

⁹ С этим К.Строзетски связывает то особое положение, которое топосы занимали в культуре того времени: *Strosetzki Ch.* Rhétorique de la conversation. Sa dimension littéraire et linguistique dans la société française du XVII^e siècle. P.; Seattle; Tuebingen: Papers on French seventeenth century literature, 1987. P. 85.

публичность» должна служить пространством для существования своеобразного социального гермафродита или вернее андрогина. Современные исследователи часто говорят о своеобразной «феминизации» придворного общества. Что может служить более наглядным ее подтверждением, чем мужская мода времен Людовика XIV с лентами, кружевами, рюшами и штанами, напоминающими юбку! Эта мода отнюдь не случайна, она очень четко соответствует логике развития придворного французского общества и новому идеалу социальности. Умение подладиться к любому нраву, нацеленность на поддержание мира и добрых отношений, стремление понравиться – это традиционно женская черта, противостоявшая героическим маскулинным аристократическим ценностям. Именно благодаря этому идеал «человека достойного», порожденный салонной культурой, в конечном итоге стал одним из средств «приручения» аристократии, которую следовало лишить ее героического высокомерия. Законы любезности, формально уравнивавшие членов придворного общества и даже свидетельствовывавшие о таких чисто женских достоинствах как уступчивость и покорность, сдерживали аристократическую воинственность не хуже узкого, расшитого лентами камзола и широченных штанов в кружевах.

Однако мужчин-современников куда больше волновал процесс, на котором историки реже останавливают свое внимание – определенной маскулинизации женских идеалов. Женщины посягали на традиционную мужскую сферу знания, более того, претендовали на роль арбитра и критика! Ведь мадам де Рамбуайе и прочие хозяйки салонов не просто предавались невинным развлечениям – та форма общения, которую они создали, стала механизмом для формирования вкусов и мод, особенно в литературе. Литераторы стали зависеть в своем успехе от того, насколько успешными они будут в этой среде. Буало, один из теоретиков классицизма, был очень известен своими язвительными выпадами против женщин и их попыток вмешаться в сферу литературы, в которой они ничего не смыслят, ибо судят лишь о приятности, а не о следовании законам жанра¹⁰. Особенно его возмущали публичные претензии женщин, например, мадемуазель де Сюдери, которая писала романы, хоть и под именем брата, но в свете всем было известно, кто является автором, и даже жила на доходы от них. Можно вспомнить здесь и сатиру Мольера на «ученых женщин». Главный герой, Кризайль, выбравший из двух сестер «простушку», вовсе не против «умных женщин»:

¹⁰ В качестве примера можно привести его знаменитую X сатиру «Против женщин» и диалог «Герои из романов», в котором высмеивается творчество мадемуазель де Сюдери (равно как и она сама).

«Признаться, не люблю я женщин-докторов.
Но знанья, право дать я женщине готов».

Однако далее он поясняет:

«Лишь не видать бы в ней мне страсти испущенной
ученой делаться лишь с тем, чтоб быть ученой.
Пусть на вопрос она порой замнет ответ,
Сказав, что у нее подобных знаний нет;
Пусть сведенья свои скрывает перед светом:
Пусть ищет знания, но не трубя об этом,
Без громких слов, цитат, не думая о том,
Чтоб в каждом пустяке блеснуть своим умом»¹¹.

Здесь важно то, что идеал «человека достойного» был идеалом публичного поведения, сколь бы много феминных черт мы в нем ни находили. В конечном счете, он стал новым средством к достижению все тех же традиционных для мужчин целей – расширению и демонстрации своего влияния, упрочению положения. Оказывать любезность – это право сильного, поскольку человек, имеющий меньшее влияние, более низкое положение, согласно тем же законам, должен уступить и эту любезность принять. Для него «частная публичность» была альтернативной формой публичности. Формальное уравнивание, которое предписывалось законами любезности, в то же время служило выражением социального превосходства, которое, в свою очередь, оказывалось сугубо формальным перед лицом монарха, стоило лишь выйти за пределы этой «частной публичности». Соответственно, салонная культура одновременно и давала женщинам новые возможности самореализации в интеллектуальной сфере, и порождала новые проблемы.

Как известно женщины очень долгое время были «маргиналами» в интеллектуальной культуре. Лишь отдельные имена женщин-писательниц или ученых дошли до нашего времени. В основном женская образованность, хоть незначительное превышение ее минимального уровня, необходимого для ведения хозяйства, почиталась нелепой, вредной и даже греховной. Ситуация лишь немного изменяется в конце XVI–XVII в., во время известной *querelle de femmes* – дебатов о женской природе и способностях. Складывание придворного общества и новые гуманистические идеалы постепенно вызвали к жизни и новый идеал женщины – достаточно хорошо образованной, чтобы поддержать беседу и не уронить авторитет своего спутника, обладающей превосходными

¹¹ Мольер Ж.-Б. Ученые женщины // Мольер Ж.-Б. Собрание сочинений в 2-х тт. М., 1957. Т. 2. С. 538.

манерами, чтобы нравиться в обществе. Короче говоря, женщины, которая будет успешно вести активную светскую жизнь. И действительно, в этой светской жизни женщина вновь обретает определенный статус, зависящий, прежде всего, от ее собственных способностей. В этом смысле успех маркизы де Рамбуйе более чем показателен, выше подчеркивалось, что она славилась не только красотой, но также манерами, тонким вкусом и превосходным образованием. Появляются сочинения в защиту женщин и женского образования, сделавшие немало для изменения общественного мнения. Огромную роль, по признанию современных исследователей, сыграло и философское учение Декарта, согласно которому, мыслительная способность не связана с телесностью, поскольку именно особенностями строения женского организма чаще всего объясняли слабость мышления женщин¹².

Появляются трактаты в защиту женских способностей и даже прав. Например, во второй половине XVII в. французский последователь Декарта Франсуа Пуллен де ла Барр публикует целую серию сочинений в защиту женщин, среди которых – известный трактат «О равенстве двух полов» (1673). Он, в соответствии с картезианским методом, разоблачает сложившееся представление о женщинах как предрассудок, основанный на некритическом отношении к высказываниям авторитетов прошлого. Более того, де Ла Барр отмечает, что телесные различия между мужчиной и женщиной не столь велики, как гражданские, и исключение женщин из политической системы и из системы наук есть лишь культурный конструкт, сложившийся с течением столетий, поскольку это было выгодно мужчинам. Установления государства и церковных институтов, где превалировали и ценились сила, амбиции и другие черты, более свойственные мужчинам, оставили женщин не у дел, а они были слишком миролюбивы, чтобы отстаивать свои права, и таким образом постепенно добровольное семейное принуждение превратилось в принуждение насильственное и более широкого характера. Когда де ла Барр перечисляет достоинства мальчиков и девочек, заложенные в детстве, то

¹² См. об этом: *Feminist Interpretations of Rene Descartes* / Ed. by S. Bordo. Philadelphia, 1999. Третья часть этого сборника посвящена непосредственно влиянию философии Декарта на образованных женщин XVII–XVIII вв. См. также отдельные работы, посвященные женщинам-философам и женской философской мысли этого периода: *Findlen P. Ideas in the Mind: Gender and Knowledge in the Seventeenth Century* // *Hypatia*. 2002. V. 17. No. 1. P. 183–196; *Giglioli G. Between Exclusion and Seclusion; The Precarious and Elusive Place of Women in Early-Modern Thought* // *Configurations*. 2004. V. 11. P. 111–122; *O'Neill E. Early Modern Women Philosophers and the History of Philosophy* // *Hypatia*. 2005. V. 20. N. 3. P. 185–196. Впрочем, нельзя не отметить, что акцент Декарта на рационализме все же делал новую модель познания ориентированной на маскулинный образ.

это описание соответствует, среди прочего, тем идеалам светскости, о которых шла речь выше: «Девочки проявляют в них большую доброжелательность, большее умение, большой пыл. Пока страх или стыд не затронули еще их мыслей, они беседуют в более остроумной и приятной манере. В их разговорах больше живости, шутливости и больше свободы, они гораздо быстрее постигают то, чему их учат, когда их занимают наравне [с мальчиками]. Они более усердны и более терпеливы в работе, более послушны, более скромны и сдержанны. Одним словом, в них в гораздо большей степени заметны все те превосходные качества, которые позволяют судить, что юноши, в которых они обнаруживаются, более способны к великим делам, нежели их сверстники»¹³.

Тем не менее, еще в середине XVII в. женщины, пытающиеся стать «учеными», оставались объектом для насмешек, а зачастую вызывали и откровенную неприязнь. Светская дама опасалась прослыть прециозницей или ученой дамой, ибо это означало пятно на ее репутации¹⁴. В силу этого сейчас довольно сложно обозначить одним термином этих «новых» женщин, связанных с салонной культурой.

В последние десятилетия в историографии отчетливо прослеживается интерес к изучению салонной, галантной, прециозной, литературной культуры Франции XVII века, в том числе к анализу их гендерной составляющей и способов женской самореализации в обществе. При этом бросается в глаза неспособность исследователей подобрать точный термин для характеристики женщин, игравших столь большую роль во французской культуре того времени. Понятия, чаще всего используемые в таких случаях, отражают лишь какую-то одну черту или особенность, хотя очевидно, что все эти женщины имели нечто общее, некое особое мироощущение и видение себя – собственную идентичность. Причем это «нечто» все чаще связывается авторами не просто с литературной деятельностью (ибо далеко не все эти женщины были *femmes des lettres* – писательницы), а с некоторыми интеллектуальными ценностями. Эти проблемы очень наглядно отражены в заглавии статьи одной из исследовательниц, Даниэллы Аз-Дюбоск: «Интеллектуалки, умные и ученые женщины в XVII веке»¹⁵. Во введении к статье женщины, которые

¹³ de La Bapp P. О равенстве двух полов // Гендерные идеологии и социальные практики в Европе раннего Нового времени: сб. документов / Сост. А.Ю. Сергина, А.В. Стогова. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 149.

¹⁴ См. об этом: Стогова А.В. «Умные женщины» во Франции второй половины XVII в.: Мадлен де Скюдери и проблема идентичности // Адам и Ева: альманах гендерной истории. 2006. Вып. 12. С. 171-218.

¹⁵ Haase-Dubosc D. Intellectuelles, femmes d'esprit et femmes savantes au XVII^e siècle // CLIO. N°13. 2001. [<http://clio.revues.org/document133.html>]

должны стать предметом исследования, описываются так: они «объявляли себя (или объявлялись другими) умными женщинами («*femmes d'esprits*»), учеными женщинами («*femmes savantes*») или «*femmes doctes*») или наконец мудрыми («*sages*»), драгоценными («*précieuses*») и даже либертинками («*libertines*»)»¹⁶. Автор так и не находит подходящего термина, чтобы объединить все эти понятия и объясняет причины тройного именованья в заглавии тем, что понятие «интеллектуалы» и «интеллектуалки» еще не существовало в XVII веке, а термины, заимствованные из самой эпохи, представляются ей уничижительными. Действительно эти понятия зачастую имели негативный оттенок, особенно после появления сатиры Мольера на жеманниц и «ученых женщин»¹⁷.

Кроме того, можно добавить, что, как показывают последние дискуссии о существовании драгоценной культуры¹⁸ и ее отличии от культуры галантной¹⁹, все эти понятия акцентируют особые, специфические черты, и потому не могут служить выражением идентичности всех женщин, манифестировавших интеллектуальные ценности.

В действительности исследователями давно замечено, что великосветские дамы вообще предпочитали не именовать себя *femmes savantes*, *femmes doctes*, *précieuses* и т.п.²⁰. Причины этого до сих пор порой тра-

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Речь идет о комедиях «Смешные жеманницы» и «Ученые женщины».

¹⁸ Baker D. Precious women. N.Y., 1974; Denis D. "Ce que papler précieux veut dire": les enseignements d'une fiction linguistique // L'information grammaticale. 1998. N 78. P. 53–58; Duchêne R. Préciosité et galanterie // La «Guirlande» de Cecilia, studi in onore di Cecilia Rizza. Fasano, P., 1996. P. 531–538; Idem. Les Précioeuses ou comment l'esprit vint aux femmes. P., 2001; Lathurière R. «Au commencement étaient les Précieuses» // Au bonheur des mots. Mélanges Géralt Antoine. Nancy, 1984. P. 298–299; Idem. La langue des précieux // Travaux de Linguistique et de Littérature. 1987. V. XXV. N 1. P. 243–269; Maitre M. Les Précieuses: Naissance des femmes de letters et France au XVIIe siècle. P., 1999; Sellier P. La Névrose précieuse: une nouvelle Pléiade? // Présences féminines.. Littérature et société au XVIIe siècle français. L.; P.; Tübingen, 1987. P. 95–125; Stanton D. The Fiction of Préciosité and the Fear of Women // Yale French Studies. 1981. V. 62. P. 107–134; Timmermans L. Une hérésie féministe? Jansénisme et préciosité // Ordre et contestation au temps des classiques. P., 1992. V. 1. P. 159–172.

¹⁹ Denis D. La Muse galante. Poétique de la conversation dans l'oeuvre de Madeleine de Scudéry. P., 1997; Eadem. Réflexions sur le "style galant": une théorisation floue // Le style au XVIIe siècle. Littératures classiques. 1996. N 28. P. 147–158; Eadem. Le Parnasse galant. Institution d'une catégorie littéraire au XVIIe siècle. P., 2001; Viala A. D'une politique des formes: la galanterie // XVIIe siècle. 1994. N 182. P. 143–151; Idem. La littérature galante: histoire et problematique...

²⁰ P. Дюшен, утверждая, что он не смог найти в текстах ни одной женщины, которая именвала бы себя «прециозницей», поставил вопрос о самом существовании драгоценной культуры. См.: Duchêne R. Les Précieuses ou comment l'esprit vint aux femmes. P., 2001. Замечу, что и здесь видна проблема неуловимости точного

диционно видят в особенностях менталитета аристократов, для которых любая ученая, литературная и прочая «профессиональная» деятельность казалась позорной, и в особенности это касалось женщин, на которых идеал скромности накладывал дополнительные ограничения. Так немецкая исследовательница Рената Кролл в книге «Женщина-поэт», посвященной мадемуазель де Сюдери, уделяет большое внимание положению женщины в обществе, в особенности женщины, занятой литературной деятельностью. Она отмечает «нехватку самосознания женщин, имеющих литературные амбиции», что связывает с «исключением большого числа женщин из публично регистрируемых активностей»²¹, и подчеркивает, что социальная идентификация подавляет у аристократок осознание себя как писательниц (в широком значении этого слова – как женщин, занимающихся литературной деятельностью), поскольку женщинам высокого ранга «не позволено формулировать духовную деятельность как профессию или призвание и уж тем более легитимировать себя при помощи некоторого умения или достижения»²². В качестве традиционного подтверждения Кролл приводит тот факт, что женщины, занимавшиеся литературной деятельностью (мадемуазель де Монпансье, мадам де Лафайет, мадемуазель де Сюдери и другие) скрывали свое авторство, и все их произведения выходили либо анонимно, либо под именем другого (доверенного) лица.

Существуют и другие объяснения, основанные на фуколдианском понимании «имени автора» как публичного жеста, выражающего желание индивида быть признанным в качестве литератора²³. Как пишет Джоан де Жан, «порой очевидно, что женщины-писательницы эпохи Старого порядка желали провести различие между личной идентичностью и авторской идентичностью, что они желали, чтобы качество их работ оценивалось независимо от предвзятых идей, ассоциирующихся с их полом»²⁴.

определения. Первая глава книги Дюшена называется «Прециозницы, кокетки или смехотворные галантные дамы?».

²¹ *Kroll R. Femme poète. Madeleine de Scudéry und die «poésie précieuse».* Tübingen, 1996. P. 68.

²² *Ibid.* P. 70.

²³ *Фуко М.* Что такое автор? // *Фуко М.* Воля к истине: По ту сторону знания, власти, сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 351–356.

²⁴ *De Jean J. Tender Geographies. Women and the origins of the Novel in France.* N.Y., 1991. P. 3. Справедливости надо отметить, что это не единственное объяснение, встречающееся в ее монографии. Она полагает, что этот вопрос слишком сложен, чтобы его можно было просто разрешить. Однако, общие рассуждения касаются соотношения частного и публичного пространств, и того, как это затрагивало положение женщин-писательниц.

Однако эти доводы вызывают несколько возражений. Во-первых, это не было чисто женской особенностью. Мужчины-аристократы также предпочитали публиковать свои произведения анонимно, что, казалось бы, лишь подтверждает рассуждения Р. Кролля. Но есть и другое возражение: несмотря на то, что формально женщины утаивали свое авторство, тем не менее, в обществе отлично знали, кто именно является автором того или иного произведения. Таллеман де Рео рассказывает один анекдот, свидетельствующий о том, что даже люди, не принадлежавшие к парижскому бомонду, прекрасно знали подлинных авторов романов: «Один гасконец, не знаю где повстречав его (Жоржа де Скюдери, брата Мадлен, чьим именем она подписывала свои произведения – А.С.), веря, что мадемуазель де Скюдери приходится ему женой, стал фамильярно говорить ему: «Ха, так мадемуазель ваша жена, что она пишет после «Кира»²⁵?»²⁶. Авторство Мадлен де Скюдери было известно не только во Франции, но и за ее пределами! В 1688 г. немецкий философ и правовед Христиан Томазий писал в своем обозрении новой литературы, что лишь по скромности Мадлен де Скюдери ее романы приписывались брату²⁷.

В среде не очень обширного парижского великосветского круга, а тем более салонной культуры, скрыть (даже при желании) что-то было и вовсе очень сложно. Так мадам де Лафайет, не желавшая, чтобы кто-нибудь видел «Принцессу Клевскую» до того, как она будет закончена, тщательно скрывала ее ото всех. На что жаловалась ее ближайшая подруга мадам де Севинье, что говорит нам о ее прекрасной осведомленности. Что же говорить о тех салонных произведениях, которые писались не только на виду у всех, чаще всего в соавторстве, но и распространялись в рукописях! Как раз салоны, по словам Я. Маклина, «предоставили приемлемый выход для женского литературного творчества»²⁸.

И наконец, само желание женщин писать, столь очевидное в салонных кругах второй половины XVII века²⁹ и не сдерживаемое никакой аристократической гордостью, заставляет попытаться найти иные

²⁵ Имеется в виду ее роман «Артамен или Кир Великий» (1649–1653).

²⁶ *Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIe siècle.* P., 1834. V. 5. P. 277.

²⁷ *Thomasius C. Freimütige, lustige und ernsthafte, jedoch vernunftmässige Gedanken oder Monatsgespräche über allerhand, fümehmlich aber neue Bücher.* Halle, 1688. Bd. 1. S. 48.

²⁸ *Maclean I. Woman triumphant. Feminism in French Literature, 1610–1652.* Oxford, 1977. P. 150.

²⁹ Джоан де Жан в приложении к своей монографии поместила список французских женщин-писательниц эпохи Скюдери (1640–1715 гг.), который насчитывает более 120 имен (*de Jean. J. Tender Geographies.* P. 201–219). Сама она отмечает, что «ни в какое другое время женщины не играли более значительной роли во французской традиции». (*Ibid.* P. 5.)

причины, которые также могли оказывать влияние на нежелание женщин подписывать свои произведения и, возможно, иную форму идентичности, не столь очевидную на первый взгляд.

Чтобы подобраться к этой проблеме, обратим внимание на понятие *femme d'esprit*, упоминавшееся среди прочих и Даниэллой Аз-Дюбоск, и Ренатой Кролль. Это понятие, которое весьма условно можно перевести как «умная женщина», не имеет очевидного негативного значения, как например *femme savante*, и потому как бы выпадает из общего ряда заведомо непригодных для поиска женской идентичности определений.

Понятие ума, безусловно, является одной из наиболее активно разрабатываемых в XVII в. философских категорий³⁰. Поэтому сразу оговоримся, что в нашу задачу сейчас не входит вдаваться в детали системы Декарта, которому, несомненно, принадлежит неоспоримый приоритет в этой области. Также мы оставим в стороне подробности вопроса о женском образовании и широкую дискуссию о сущности и способностях женщин, известную как *querelle des femmes*, поскольку им посвящено много работ³¹. Нас будет интересовать простой вопрос: каких женщин именовали «умными» и какими чертами при этом надеялись? Т.е. каков образ «умной женщины», и может ли его изучение вывести нас на проблему женской идентичности.

Само слово *esprit* имеет массу оттенков смысла во французском языке, и нас будут интересовать лишь некоторые из них. Словари того времени выделяют множество значений слова. Словарь Французской академии (1696 г.) выделяет, среди прочих, такие: 1. нечто духовное в противовес телесному и материальному; 2. душа человека; 3. собственно разум – способности разумной души (великий ум, основательный ум, развивать свой ум, занимать чем-то свой ум); 4. легкость в понимании и восприятии чего-либо (живой ум); 5. воображение (блестящий ум, изобретательный ум); 6. рассудок, здравомыслие; 7. нрав человека; 8. склонность, способность к чему-либо. Также особо выделяются два

³⁰ Этому был посвящен конгресс в Техасе. См.: *L'esprit en France au XVIIIe siècle. Actes du 28^e congrès de la North American Society for Seventeenth-Century French Literature. The University of Texas at Austin 11–13 avril 1996*. P.; Seattle, Tübingen, 1997.

³¹ Любая общая работа о женщинах в XVII в. так или иначе затрагивает эти проблемы. Что касается непосредственно французских дискуссий о природе женщин, то можно назвать такие исследования: *Seidel M.A. Poulain de la Barre's The Woman as Good as the Man // Journal of the History of Ideas*. 1974. Vol. 35. N 3. P. 499–508; *Angenot M. Les Champions des femmes: Examen du discours sur la supériorité des femmes 1400–1800*. Montréal, 1977; *Maclean I. Woman triumphant...*; *Darmon P. Mythologie de la femme dans l'Ancien France*. P., 1983; *Kelly J. Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes, 1400–1789 // Eadem. Women, History and Theory*. Chicago, 1984; *Duchêne R. « L'esprit n'a point de sexe » // Idem. Etre femme au temps de Louis XIV*. P. 2004.

выражения: остроумец, остряк (*bel esprit*) – человек, стремящийся выделиться среди прочих любезностью и элегантностью своих речей и сочинений; вольнодумец (*fort esprit*) – тот, кто ставит себя выше общих заповедей и общественного мнения³².

В словаре Фюретьера, эти же значения определяются как: 1. рассудительность, функции души, различным образом воздействующие на органы; суждение, воображение и память. (У этого человека много ума и здравомыслия. Люди пылкие обладают живым воображением, но малым здравомыслием); 2. Склонность и умение каждого человека, прилежание в различных вещах, легкость справиться с чем-либо; 3. Проявление разума или умение в каком-либо сочинении или произведении³³.

Однако эти словари не выделяют такого выражения как *homme d'esprit* или тем более *femme d'esprit*. Но современные словари языка XVII века включают выражение *homme d'esprit* (но не *femme d'esprit*) в словарные статьи. Согласно словарю Гастона Кайру, это человек, который занимается вещами, требующими умственных способностей, иногда так говорят о талантливом человеке³⁴. Определение в словаре Ларусса более интересное. К описанию, что так говорят о людях умных, рассудительных и талантливых, авторы добавляют, что сегодня *homme d'esprit* – это, скорее, человек, проявляющий остроумие и живость, с элегантностью приспособляющий свое поведение к обстоятельствам³⁵.

Таким образом, по-видимому, это значение, казалось бы так соответствующее галантным салонным нравам, в XVII в. еще не сложилось. И если под *homme d'esprit* надо понимать лишь действительно умного, рассудительного и талантливого человека, то будет ли это верно и в отношении выражения *femme d'esprit*?

Собственно говоря, такое выражение употреблялось редко, обычно говорилось просто, что та или иная дама умна, «обладает умом» (*elle a d'esprit*). Жаклин Плантье в своей монографии, посвященной жанру литературного портрета, отмечает, что женщин чаще, нежели мужчин

³² Le dictionnaire de l'Académie Française dédié au Roi. P., 1694. V. 1. С интернет-ресурса Gallica bibliothèque numérique [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k503971.r=Le+dictionnaire+de+l'Académie+Française+.langEN].

³³ *Furetière A.* Dictionnaire universel: contenant generalement tous les mots françois. La Haye; Rotterdam: Arnout et Reinier Leers, 1690. Gallica bibliothèque numérique [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b.r=Furetière+Dictionnaire+universel+contenant+generalement+tous+les+mots+françois.langEN].

³⁴ *Cayrou G.* Dictionnaire du française classique. La langue du XVII^e siècle. Paris: Klincksieck, 2000. P. 327.

³⁵ Larousse dictionnaire du française classique. Le XVII^e siècle / J. Dubois, R. Lagane, A. Lerond. Paris: Larousse, 1992. P. 202.

описывали, подгоняя под одно из клише – ученая женщина, прециозница, «недотрога», галантная дама и почтенная женщина. Что касается ученой женщины, то «этот вид редок и скрывается», никогда женщина не станет хвалиться своими знаниями: «Ничего не цитировать, скрывать вещи, которые знаешь, интересоваться лентами или, по крайней мере, делать вид, что интересуешься, – вот необходимость для женщины; если же, забывая свой пол и светские приличия, ...она берется говорить на ученый манер, то сразу становится «ученой женщиной»³⁶.

Литературные портреты, по сути своей, жанр хвалебный, и чтобы получить более объективную картину, возьмем для анализа «Занимательные истории» не отличающегося снисходительностью Таллемана де Рео. Можно предположить, что если он станет приписывать женщине ум, то не из желания польстить, а выражая действительное свое суждение. И в таком случае мы будем иметь достаточно четкое представление о критериях для определения *femme d'esprit*.

Однако, после внимательного прочтения шести томов его сочинения, об «умных женщинах» можно вынести самое неблагоприятное суждение. И дело даже не в язвительности автора, а в чем-то ином. Вот какие отзывы встречаются у него чаще всего: «Она была весьма неглупа (*elle avoit beaucoup d'esprit*) и написала даже нечто вроде небольшого романа под названием «Приключения при Персидском Дворе»» (принцесса де Конти)³⁷; «поскольку это была первая среди ее пола персона, писавшая разумные письма, и к тому же весело беседовала и имела живой и приятный ум, она произвела шум при дворе» (мадам де Лож)³⁸; «она была так умна, как только можно; она говорила приятно и изящно. Дочь первой жены ее мужа, которую зовут мадемуазель Ле Жендр и дочь М. Корнуэлла от этой первой жены, которую и сейчас еще зовут Марго Корнуэл, обе также умны, и тем немного хитрым умом, который и нравится более всего» (мадам Корнуэл)³⁹; «она была мила, умна, и говорила приятно» (мадам де Шуази)⁴⁰; «она никогда не была очень красива, но зато обладала большой приятностью; и поскольку у нее был живой ум, она умела играть на лютне и восхитительно танцевала, особенно сарабанду, дамы, жившие по соседству (это был Марэ) часто брали ее с собой» (Нинон де Ланкло)⁴¹; «она была красива и очень умна,

³⁶ *Plantié J.* La mode du portrait littéraire en France (1641–1681). Paris, 1994. P. 392, 393.

³⁷ *Tallemant de Réaux G.* Les Historiettes. V. 1. P. 51; *Таллеман де Рео Ж.* Занимательные истории. М., 1974. С. 25.

³⁸ *Ibid.* V. 3. P. 23.

³⁹ *Ibid.* V. 4. P. 73.

⁴⁰ *Ibid.* V. 4. P. 247.

⁴¹ *Ibid.* V. 4. P. 310.

она даже похвалялась тем, что умеет хорошо писать, и я не знаю, при какой встрече возжелала показать свой стиль кардиналу. Он нашел, что ее письмо хорошо написано и сказал: «Должно быть, эта дама очень умна» (мадам д'Ангиттар)⁴².

Можно ожидать, что у мадемуазель де Скудери, чьи портреты известных дам в «Клелии» должны были быть довольно лестными, образ «умной женщины» окажется более благоприятным? Но надо признать, что и ее похвалы порой кажутся скорее насмешкой: «Что до ума, она обладала им настолько, что вызывала восхищение; ибо она разговаривала одновременно справедливо, галантно и естественно. Она точно понимала все, что говорится, и даже отвечала; и она писала записки столь нежные, столь полные ума и таким приятным, таким естественным стилем, в котором так чувствовалась дама ее положения, что их без конца хвалили» (Филониса – Жаклин д'Арпажон)⁴³; «что касается ума, Элизмонда без сомнения обладает им в большой степени, особенно умом того рода, что удваивает силу ее красоты. Она приятно говорит, спокойна, любезна и порой даже льстива, когда этого хочет...» (Элизмонда – мадам де Сент-Анж)⁴⁴.

Значит *femme d'esprit* – это та, которая умеет изящно выражаться, в особенности, если она умеет сносно излагать свои мысли на бумаге, а в лучшем случае и сочинить что-нибудь? Действительно, у Т. де Рео большинство «умных женщин» именно таковы. И надо отметить, что это как раз те достоинства, которые ценились в салонной культуре, требовавшей не остроты мысли, но изящества формы. Уметь петь, танцевать, играть на лютне, приятно разговаривать и изящно писать – вот что необходимо, чтобы прослыть умной женщиной. Приходится сделать вывод, что, несмотря на устойчивый образ изящного и галантного века, где блистали дамы, этими умениями обладали немногие. И исследователи подтверждают, что женское образование, даже среди аристократок, было на самом низком уровне, очень часто оно ограничивалось знаниями этикета, катехизиса и основных моральных норм⁴⁵. Клод Дюлонг отмечает, что в крупных городах не более 40% женщин могли самостоятельно подписываться своим именем⁴⁶. Мадемуазель де Монпансье, кузина Людовика XIV, та, кого Р. Кролль приводит как пример женщи-

⁴² Ibid. V. 5. P. 85-86.

⁴³ Scudéry M. de. Clélie, histoire romaine. P., 2002. V. 2. P. 245.

⁴⁴ Ibid. 2004. V. 4. P. 68

⁴⁵ См. например: Gibson W. Women in Seventeenth-Century France. L., 1989.

⁴⁶ Dulong C. La vie quotidienne des femmes au Grand Siècle. Paris: Hachette, 1974. P. 125–126.

ны, у которой социальная идентичность подавляет «литературную», едва владела грамотой. Как пишет Патрисия Шолакян, «она никогда не изучала чистописание или правила орфографии»⁴⁷. Что ж, не удивительно, что Таллеман де Рео уделяет такое внимание умению не просто писать, а хорошо излагать на бумаге свои мысли!

Однако встречаются в текстах Т. де Рео и особы, претендующие на большее. Более того, если внимательно взглянуть в текст, то станет очевидно стремление женщин овладеть большими знаниями и тем самым выделиться среди прочих дам, блиставших в салонном обществе.

«Многие приходили к ней с визитом, она была умна и знала все новости», «она написала роман, где есть многое о ее времени. Его издали после ее смерти, он неплохо написан, но она чересчур притворяется, чтобы казаться ученой. Это порок большинства женщин, которые пишут» (мадемуазель де Сенектер)⁴⁸; «эта женщина может похвастаться тем, что в любом возрасте совершала множество глупостей», «не удовлетворяясь тем, чтобы быть воспетой другими, она хотела воспеть себя сама и слыть в грядущих веках ученой особой. Для исполнения этого прекрасного замысла она приобрела у одного доктора теологии по имени Мокор, гомелии на послания Св. Павла, которые заботливо издала со своим портретом. Она была так этому рада, что отдала почти все экземпляры почти даром в магазин, которому это оказалось весьма выгодно, ибо новость, что придворная дама комментирует одного из самых малопонятных апостолов, заставила весь свет скупить эту книгу. Однажды Гомбо, удовольствия ради, спросил ее, как она понимает один пассаж из св. Павла, который он ей привел: «Ха, – ответила она, – там это есть?», «однажды, когда виконтесса д'Оши была у мадам Рамбуйе, Вуатюр..., чтобы посмеяться над этой женщиной, которая сделалась ученой, серьезно спросил ее: «Мадам, кого вы больше уважаете святого Августина или святого Фому?» Она хладнокровно ответила, что больше уважает святого Фому. Мадам Рамбуйе думала, что лопнет от смеха» (виконтесса д'Оши)⁴⁹.

Всех этих женщин де Рео описывает столь смешными и нелепыми (и потому, в сущности, отнюдь *не*-умными), что его слова вызывают в памяти образы Мольера, чьи «ученые женщины» кичатся своими псев-

⁴⁷ Cholakian P.-F. Women and the Politics of Self-Representation in Seventeenth-Century France. L., 2000. P. 66. Низкий уровень грамотности был, по мнению исследовательницы, одной из причин, по которой женщины-писательницы часто обращались за помощью к мужчинам-соавторам.

⁴⁸ Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V. 1. P. 129, 130–131.

⁴⁹ Ibid. V. 1. P. 204, 206, 211–212.

до-знаниями. Именно желание выставить их напоказ запечатлено на фронтисписе одного из изданий «Ученых женщин» (илл. 4). В мужских же портретах книги символизируют не просто склонность к чтению и сочинительству, но определенную репутацию в «Республике словесности». Для сравнения можно обратить внимание на портрет «ученого мужа» Христиана Томазия⁵⁰ (илл. 5), на котором те же изобразительные приемы передают совершенно иные, явно положительные ценности. Но именно коннотации с публичной деятельностью и публичной репутацией делали невозможным подобное изображение женщин. Еще один пример – гравюра Абрахама Босха «Безумные девственницы беседуют о светских удовольствиях» 1635 г. (илл. 6). Пристрастие этих дам к книгам и астролябиям не только признак безумия, но и сексуальной неудовлетворенности и в целом – незамужнего статуса, т.е. незанятости домашним хозяйством – безделья. Не случайно, в «Ученых женщинах» речь идет о противопоставлении учености одной из сестер желанию выйти замуж – у другой. И в финале вся женская ученость оказывается годна лишь на то, чтобы укрепить силы, созерцая чужое счастье. В любом случае и здесь символы учености выражают иронию автора, а отнюдь не похвалу. Они компрометируют женщину, в то время как те же самые символы прославляют мужчину.

Многие писали о том, что женщине полагалось скрывать свои знания и ум. Исследования, основанные на изучении трактатов об образовании и воспитании, также отмечают такие понятия как «позор» или даже «порок», лежащие в основе запрета демонстрации женских познаний⁵¹. Роже Дюшен, оценивая мнение мужчин о женском знании, писал: «Они способны учиться. Те, что принадлежат к определенному кругу, имеют право на приобретение некоторого знания. Они не имеют права на его демонстрацию»⁵². Исходя из этого, исследователи утверждают, что отношение к женскому знанию, к ученым женщинам и к умным женщинам было сугубо негативным. Тягу к знаниям они противопоставляют тому «положению, которое предполагало скромность и подчинение»⁵³. Однако, несмотря на такое отношение, в текстах де Рео

⁵⁰ Томазий очень высоко оценивал ум одной из известных дам эпохи – мадемуазель де Скудери, что вызывает недоумение, ибо литературная критика, возмечавшая ее главных оппонентов – Мольера и Буало, создала устойчивый образ ее сочинений как пошлости, нелепицы и безвкусицы. См. об этом: Стогова А.В. «Умные женщины» во Франции второй половины XVII в.

⁵¹ Об этом, в частности, пишет Вэнди Гибсон. См.: Gibson W. *Women in Seventeenth-Century France*. L., 1989. P. 19.

⁵² Duchêne R. *Etre femme au temps de Louis XIV*. Paris, 2004. P. 309.

⁵³ Ibid. P. 315.

и Мольера высмеивается явно существовавшая тенденция: женщины хотели если не быть умными, то хотя бы прослыть таковыми. Де Рео передает слова одной из описываемых им дам (про которую пишет: «...что до ума, она обладала одним из самых блестящих, и говорила что-нибудь с самым приятным видом»): «Иногда ей взбрело в голову сказать: «Ла Клош (это был ее фаворит), давайте не будем сегодня умными; это слишком обычно: весь свет умен» (мадам д'Арамбюр)⁵⁴. Дж. де Жан писала, что на смену *femme forte* периода Фронды пришли «амазонки интеллекта», «тогда как сильная женщина была выдвинута как идеал, благодаря своей способности управлять и своему военному гению, интеллектуальные качества определили статус *прециозницы* как модели»⁵⁵. Это означает, не только, что ум в понимании женщин был важной и необходимой составляющей некоторого идеала, но и то, что существовали дамы, чьему поведению они стремились подражать.

В текстах де Рео есть несколько женщин, чей ум действительно вызывает у него если не восхищение, то похвалу. Но, безусловно, для него самой замечательной женщиной была мадам де Рамбуйе – «женщина тонкого ума»⁵⁶. Он то и дело ссылается на ее мнение по какому-нибудь поводу, приводит ее оценки или просто остроумные высказывания: «Госпожа де Рамбуйе, которой рассказывали об этом случае, заметила...», «Госпожа де Рамбуйе говорила в шутку...», «Госпожа де Рамбуйе говорит, что...» и т.п.⁵⁷ История о ней самой начинается так: «Г-жа де Рамбуйе, как я уже говорил, – это дочь покойного маркиза Пизани и г-жи Савелли, вдовы одного из Орсина. Ее мать была женщиной смышленной; она нарочно говорила с дочерью по-итальянски, дабы та одинаково владела и этим языком, и французским... Она выдала свою дочь, не достигшую еще двенадцатилетнего возраста, за видама Манского, дав ей приданое десять тысяч экю. Г-жа де Рамбуйе говорит, что с самого начала она считала своего мужа, бывшего в ту пору вдвое старше ее, человеком взрослым, сложившимся, а себя ребенком, что это представление навсегда у нее осталось и заставляло ее относиться к мужу с еще большим почтением. Ежели не считать тяжб, не было на свете мужа более обходительного. Маркиза признавалась мне, что он всегда был в нее влюблен и не верил, что можно быть умнее ее (*qu'on*

⁵⁴ *Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V. 5. P. 39, 40.*

⁵⁵ *De Jean J. Tender Geographies. P. 48, 51.* Дж. де Жан использует термин *прециозница* как вполне «реальный», все дискуссии о проблеме прециозности развернулись уже после выхода в свет ее монографии.

⁵⁶ *Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V. 2. P. 224; Там же. С. 146.*

⁵⁷ *Таллеман де Рео Ж. Указ. соч. С. 20, 73, 155.*

rût avoit plus d'esprit qu'elle). По правде говоря, ему не так трудно было обращаться с нею обходительно, ибо все ее желания всегда были разумны»⁵⁸. Решительно все упоминаемые ее качества вызывают у автора восхищение: «на свете нет женщины более бескорыстной», «на свете нет существа более прямодушного», «не было друга более верного», «г-жа де Рамбуи еще и по сей день умеет радоваться решительно всему».⁵⁹ Но, что более важно для нас, ее знания, ум и желание его совершенствовать также не вызвали осуждения, но напротив, всячески восхвалялись – умение самой спроектировать дом и начертить его план («ибо она обладает врожденной способностью к черчению»⁶⁰, знание нескольких языков (кроме итальянского, она впоследствии изучила и испанский) и даже желание выучить латынь («Она всегда любила все прекрасное и собиралась изучать латынь, чтобы читать Вергилия, но болезнь помешала ей»)⁶¹. «Это была женщина, искусная в любом деле»⁶², и потому женщина, вызывающая у автора искреннее восхищение.

У мадемуазель де Сюдери в романах без сомнения гораздо больше таких персон. Причем, если та или иная дама была описана и Т. де Рео, он также высказывался о ней весьма одобрительно. И так же, как и в «Занимательных историях» это в основном были самые заметные в парижском обществе фигуры. У мадам де Мор, по словам м-ль де Сюдери, «в голове весь мировой ум, если можно так сказать; но я имею в виду тот просвещенный ум, который на все способен, тот тонкий ум, что так точно подмечает (различные) вещи, тот мудрый ум, который делает так, чтобы никогда не говорили того, что не хотят сказать, и не делали ничего, кроме того, что следует делать»⁶³.

О мадам дю Плесси-Генего мадемуазель пишет: «Что касается первого (ее ума – А.С.), есть одна вещь, которая, несомненно, свидетельствует о его величии, ибо она обладает разносторонней любознательностью ко всему, что считает хорошим или красивым, начиная с самых мелких вещей и кончая самыми значительными, будь то предметы, которые благопристойность позволяет знать дамам (sic!), будь то искусства, сочинения, строения, живопись, сады, частные секреты и масса других приятных диковинок, которые слишком долго вам перечислять. Но, что является самым превосходным, так это то, что она не желает знать ниче-

⁵⁸ Ibid. V. 2. P. 214; Там же. С. 141.

⁵⁹ Ibid. V. 2. P. 217, 218; Там же. С. 143.

⁶⁰ Ibid. V. 2. P. 216; Там же. С. 142.

⁶¹ Ibid. V. 2. P. 215; Там же.

⁶² Ibidem; Там же.

⁶³ *Scudéry M. de. Clèlie*. 2003. V. 3. P. 295. Таллеман де Рео пишет о ней: «Она также была очень умна». *Tallemant de Réaux G. Les Historiettes*. V. 2. P. 335.

го, что она не была бы способна понять. В остальном, она не делается ни ученой, ни *bel esprit*, она даже скрывает свое любопытство, и в ее комнате видны лишь сочинения, обычные для особ ее пола»⁶⁴.

Очень похожие похвалы в «Кире Великом» достаются прекрасной («вообразите, мадам, саму красоту») м-м де Рамбуйе (Клеомире): «...ум и душа этой удивительной особы намного превосходят ее красоту: первый, не из тех ограниченных умов без размаха, вторая не имеет равных в великодушии, верности, доброте, справедливости и чистоте. Ум Клеомиры не из числа тех умов, которые обладают лишь тем светом, что даровала им природа, ибо она старательно его развивает; и я думаю, что могу сказать, что не существует прекрасных знаний, которые она бы не приобрела. Она знает различные языки, и не игнорирует практически ничего из того, что заслуживает быть познанным; но она знает это, не подавая виду о своем знании, и люди говорят сами, дабы услышать и ее разговор, настолько она скромна; [представляется, что] она говорит обо всех вещах так восхитительно, как она это делает, лишь благодаря простому здравомыслию и одному лишь знанию света. Тем не менее, она знаток во всем: самые возвышенные науки не ускользают от ее понимания, самые сложные искусства прекрасны ей известны...»⁶⁵.

Мадам де Сабле (Партении) дана такая характеристика: «Ее ум сверкает так же ярко, как и ее глаза: и ее разговор, когда она этого пожелает, чарует не меньше, чем ее лицо. В остальном ее ум не из числа тех ограниченных умов, которые хорошо знают одну вещь и игнорируют тысячу: напротив, ее ум столь необычайно обширен, что если и нельзя сказать, что Партения знает все одинаково хорошо, можно, по меньшей мере, заверить, что она говорит весьма к месту и очень приятно. Ее ум даже обладает утонченностью, столь особенной и замечательной, что те, кого она допускает к своей беседе бывают ошеломлены тем более, что это одна из светских особ, которая говорит наиболее справедливо и твердо, хотя ее выражения просты и естественны. К тому же она меняет свой ум, как захочет: ибо она серьезна и даже учена, с теми, кто таков... она галантна и игрива, когда это требуется...»⁶⁶.

Саму себя Мадлен де Скюдери описывает столь же лестно: «Но мадам, это еще все не из-за чего я собиралась сказать, что Сапфо наилучнейшая особа: ибо чары ее ума намного превосходят чары ее красоты, на самом деле она имеет ум столь обширный, что можно сказать,

⁶⁴ Ibid. V. 3. P. 287–288.

⁶⁵ *Scudéry M. de. Artamene ou Cyrus le Grand. Pt. VII. Livre. 1.* С интернет-ресурса Artamene [Режим доступа www.artamene.org].

⁶⁶ Ibid. Pt. VI. Livre 1. По мнению Таллемана де Рео, «она обладает большим умом». *Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V. 2. P. 320.*

что то, чего она не понимает, не может быть понято никем: и она обладает такой расположенностью легко изучать все, что она хочет знать, что хотя почти никогда не говорили, что Сапфо что-нибудь изучает, она однако все знает... Но что восхитительно, эта принцесса знает столько вещей, не делаясь ученой, не обладая никакой гордостью и не презирая тех, кто этого не знает»⁶⁷.

Все эти описания говорят нам о том, что были и другие «умные женщины». В предисловии к «Большому словарю прециозниц» Сомеза выделяется четыре категории женщин, непосредственно связанные с интеллектуальными способностями: «Первые совершенно невежественны, не знают, что значат книги и стихи, и не способны связать и четырех слов. Вторые читают не больше первых, и, хотя они не берутся ни судить о стихах, ни писать их, они имеют столько же ума, сколько и способности суждения; и поскольку их голова не забита бесчисленными туманными знаниями, которые только обременяют ум, они разговаривают в беседе и отвечают на то, что им говорят, довольно живо и объясняются ясно и просто; женщин этого сорта более всего в свете, и мы имеем в виду их, когда говорим об уме женщины, то есть об уме ограниченном, который не развивается и не деградирует, и в котором все от природы и ничего от искусства. Третьи – те, имея немного более богатства и немного более красоты, нежели другие, тщатся выделиться среди прочих; и для этого эффекта, они читают все романы и все галантные сочинения, которые только есть. Для них все гости желанны, они принимают стихи и всех, кто их сочиняет, и они зачастую берутся о них судить, хоть и не пишут сами, воображая, что в совершенстве их знают, поскольку много читают. ... Четвертые – те, которые, постоянно развивая свой ум, что дала им природа, предаваясь всем видам наук, стали столь же учены, как величайшие авторы своего столетия, и научились разговаривать на множестве прекрасных языков, столь же хорошо, как и писать стихами и прозой»⁶⁸.

И хотя не вполне ясно, насколько мнение Сомеза касательно ученых женщин было искренней похвалой, примеры из текстов Т. де Рео и М. де Сюдери довольно убедительно показывают, что смешным казалось не само стремление женщин к знаниям (т.е. само по себе знание Аристотеля, Платона, латыни и т.п.), но некоторые характеристики женского ума и способы выражения того знания, которое женщины научились получать. Не случайно Декарт в одном из писем писал, что хотел

⁶⁷ Ibid. Pt. X. Livre 2.

⁶⁸ *Somaise B. Le grande dictionnaire des précieuses // Duchêne R. Les Précieuses ou comment l'esprit vint aux femmes. P., 2001. P. 434–435.*

бы, «чтобы даже женщины могли понять что-нибудь»⁶⁹ в его «Рассуждении о методе», специально написанном не по-латыни, а на французском. Так же и публикация в 1684 г. «Краткого изложения философии Эпикура» Гассенди в переводе с латыни на французский, сделанном Бернье, явно была рассчитана и на женщин и посвящена Нинон де Ланкло. Умная, образованная женщина (причем ум подразумевает, как мы видели, не только совокупность знаний) оказывается на деле весьма почитаемой и «востребованной» в обществе.

Очевидно, что существовала очень тонкая грань, отделявшая допустимые женские претензии от нарушающих благопристойность и вызывающих насмешку. Салонное пространство «частной публичности» давало возможность существования этого нового образа женщины, даже делало его востребованным. Салонное общество строится вокруг женщины – хозяйки салона, и успех этого общества зависит от ее ума, чутья и интересов. В то же время, трактаты о женском поведении постоянно подчеркивают скромность как основную добродетель женского поведения на публике. Развивать свой ум, но не гнаться за репутацией – такие советы дает дамам Жан дю Боск. В своем трактате о поведении «достойной дамы» он охотно советует дамам читать, ибо чтение «необходимо всем дамам, какой бы разновидностью ума они не обладали, поскольку оно придает еще больший блеск тем, кто обладает превосходным умом, и несколько уменьшает его недостатки у тех, кто не обладает им в такой мере. Одних он делает сносными, других восхитительными»⁷⁰.

Но одно дело – самосовершенствоваться, другое – гнаться за ученостью, которая очевидно соотносится с публичной жизнью, с реноме. Для развития остроты ума, по мнению дю Боска, женщинам достаточно и одной книги. И бесспорно, не стоит активно демонстрировать свои знания и интеллектуальные способности на публике. Говоря об искусстве беседы, дю Боск отмечает, что «дамы, обладающие некоторыми знаниями или некоторой начитанностью, доставляют большое удовольствие в беседе и получают не меньше в одиночестве, когда беседуют совсем одни»⁷¹. Но при этом указывает: «Итак, дабы прежде всего сказать, что мне кажется самым необходимым, я удовлетворюсь пожеланием дамам трех преимуществ, которые Сократ желал своим ученикам: сдержанность, молчаливость, скромность. В них содержатся столь пре-

⁶⁹ Descartes R. Lettre au P. Vatier du 22.02.1638. Université du Québec au Chicoutimi [http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/extraits/lettres/lettres.rtf].

⁷⁰ дю Боск Ж. Достойная дама // Гендерные идеологии и социальные практики в Европе раннего Нового времени...: сборник документов / Сост. А.Ю. Серегина, А.В. Стогова. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 164.

⁷¹ Там же. С. 166.

красные и столь необходимые для беседы качества, что чтобы судить об их важности стоит лишь представить противоположные им пороки, такие как болтовня, неосмотрительность и бесстыдство...»⁷².

Мадемуазель де Сюдери в «Знаменитых женщинах», первом своем⁷³ произведении, в той части, которая посвящена Сапфо, произносит устами своей героини настоящий панегирик женскому уму. Она несколько раз отмечает «ложный стыд», который мешает женщинам развивать свой ум: «Нужно, Эринна, нужно, чтобы я преодолела сегодня в вашей душе это недоверие к самой себе, этот ложный стыд, который мешает вам употребить свой ум для вещей, на которые он способен»⁷⁴. Однако призывая развивать ум и заняться литературной деятельностью, она оговаривается, что отнюдь не подразумевает что-то противоречащее женской скромности: «Вы, возможно, спросите меня, разве недостаточно почетно для красивой женщины, что все острые умы своего времени слагают стихи в ее честь, без того, чтобы она сама вмешивалась, создавая сама свой портрет?.. Восхищаются более воображением поэтов, чем вашей красотой, и таким образом копии идут за оригинал. Но если своей собственной рукой вы оставите несколько свидетельств того, кто вы есть, вы будете жить всегда с почетом в памяти людей; те [авторы] из вашего века, кто вас хвалил, будут почитаться истинными, а те, кто этого не делал – глупыми или скучными. Однако я не претендую на то, что вы станете делать свой портрет, что вы станете говорить о своей красоте, о своей добродетели и обо всех прочих редких качествах, которыми обладаете. Нет, я не хочу навязывать столь трудную для вашей скромности вещь. Поэзия имеет много других привилегий: вы лишь заставите говорить о себе, чтобы о вас узнали потомки: вам стоит лишь говорить об обходительности, и вас достаточно узнают»⁷⁵.

Таким образом, проблема «качественности» женского ума оказывается тесно связанной с идеалом женской скромности. Ум расценивается как одно из достоинств женщины лишь в том случае, когда стрем-

⁷² Там же. С. 165.

⁷³ Я не затрагиваю здесь вопросы ее соавторства со своим братом, не только из-за невозможности определить, кто именно был «главным» автором, но и по причине того, что понятия авторства и соавторства имели в XVII в. иное смысловое наполнение и разграничение. О понятии «автора» в XVII в. см.: *Шартье Р.* Автор в системе книгопечатания // *Шартье Р.* Письменная культура и общество. М., 2006. С. 44–77; *Pizzorusso A.* L'idée de l'auteur au XVIIe siècle // *Le statut de la littérature. Mélanges offerts à Paul Bénichou / Ed. De M. Fumaroli.* Genève; 1982. P. 55–69; *de Jean J.* Tender Geographies. *Viala A.* La Naissance de l'écrivain. P., 1985.

⁷⁴ [*Scudéry M. de.*] Femmes illustres ou les harangues héroïques de Monsieur de Scudéry. P. : Augustin Courbé, 1643. P. 423–424.

⁷⁵ *Ibid.* P. 437–439.

ление быть умной не вступало в противоречие с этим идеалом. И ум, и знания, как мы видели, весьма ценились, если, парадоксальным образом, были хорошо скрыты, дабы не нарушать идеала женской добродетели (но не настолько, чтобы о них вовсе никто не подозревал!). Мадемуазель де Скюдери неоднократно это подчеркивала, что видно из приведенных выше портретов из ее романов. Приведем еще один: «Чтобы перейти от чар ее красоты, к чарам ее ума, я скажу вам, что она бесконечно умна, что обычно она демонстрирует его гораздо в меньшей степени, нежели обладает на деле, хотя разговаривает всегда справедливо, и не говорит ничего, что было бы весьма уместно, и даже очень любезно. Но она не склонна демонстрировать всю красоту своего ума всем подряд, поскольку не стремится к повсеместным похвалам»⁷⁶.

Неслучайно современники подчеркивали и скромность самой мадемуазель де Скюдери («дева столь же прославленная своей скромностью, сколь и заслугами»⁷⁷), что было важно не столько как отражение ее действительной добродетели, сколько как упоминание добродетели необходимой: той основы, которая позволяет хвалить ее и за ум.

В этой связи подчеркивалась даже «полезность» интеллектуальной жизни для женщин (дабы отвратить их от пороков). Она была прописана и в поучениях дю Боска, и таким образом «официально» включалась в идеал порядочной женщины (правда эти знания были весьма ограничены). И как говорил герой «Ученых женщин» Мольера,

«В дела луны мешаться вам не надо.
Заботить должен вас хотя б немного дом,
Где все давным-давно идет вверх дном,
Не принято у нас (тому причин немало),
Чтоб девушка росла, учась, и много знала.
В привычках честности воспитывать детей,
Прислугой управлять и кухню своей
И с экономией сводить свои расходы, –
Такой наукой ей должно хватить на годы»⁷⁸.

Нередко отмечается стремление этих женщин подчеркнуть среди своих добродетелей те, которые традиционно включались в идеал женщины. Так многие из них демонстрировали свои хозяйственные способности (столь же ненавязчиво, как и умственные). Описывая мадам дю Плесси-Генего, мадемуазель де Скюдери отмечает: «Но чтобы

⁷⁶ *Eadem*. Clélie. 2004. V. 4. P. 141. Речь идет о Кризиле, героине, которую исследователи пока не смогли соотнести с какой-то конкретной дамой.

⁷⁷ *Huet P.-D.* Traité sur l'origine des romans. Paris, An VII (1798/1799). P. 128.

⁷⁸ *Мольер Ж.-Б.* Ученые женщины. С. 556.

закончить говорить о том, каковы удовольствия Амальтеи, она управляет хозяйством с большим порядком, сама заботится о воспитании своих детей и служит богам с восхитительной пунктуальностью»⁷⁹.

Однако показная скромность в связи с характеристикой ума проявляется не только в традиционном ее толковании – как добродетель, как противопоставление пороку и «позору», и не просто как «стратегия вписывания себя в литературное поле»⁸⁰. Вовсе не намереваясь отрицать легитимирующую роль дискурса скромности, отметим, что ум оказывается связан не только и даже не столько с образом почтенной, добродетельной дамы, ассоциации с которым должен вызывать этот дискурс. Станным образом он оказывается связан с прямо противоположным образом «женщины-Евы», становясь элементом идеала женственности, что для самих женщин было куда важнее. Интересно, что эта связь между необходимостью скрывать свои знания и идеалом феминности не прослеживается исследователями, хотя иногда сама проявляется в их текстах. Так Р. Дюшен, анализируя роман «Артамен или Кир Великий» пишет: «Портрету Сапфо, списанному с собственного образа как модели соединения культуры и скромности, она противопоставляет портрет Дамофилы, смехотворной ученой женщины, которая открыто хвастается тем, что знает, забывая, что ее *женственность* должна превалировать над ее аппетитом к знаниям (курсив мой – А.С.)».⁸¹ Однако более нигде в тексте эта смехотворность «ученых женщин» не связывается автором с недостатком женственности.

Т. де Рео вовсе не испытывает восхищение перед умной и скромной женщиной, если она при этом не является достаточно светской дамой. Так, он довольно холодно описывает м-м де Бриссак: «Мадам де Бриссак была очень милой, скромной особой, и казалось, что она всегда действует в открытую, тем не менее она знала латынь, которую выучила, наблюдая за обучением братьев: действительно, по примеру своего мужа она не читала ничего из того прекрасного, что написано на этом языке, но она увлекалась теологией и немного математикой. Говорят, что она хорошо понимает Евклида. Она помышляет практически лишь о том, чтобы мечтать и медитировать, и имеет так мало вкуса к придворной жизни, что не исправила ни... акцент, ни провинциальные словечки»⁸². Ученость женщин, ассоциируется с педантизмом, качеством вовсе не женским, и Кли-тандр из «Ученых женщин» предпочитает ему другой тип ума:

⁷⁹ Scudéry M. de. Clèlie. 2003. V. 3. P. 289.

⁸⁰ Maître M. Les précieuses. Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle. P., 1999. P. 395.

⁸¹ Duchêne R. Etre femme au temps de Louis XIV. P. 313.

⁸² Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V.3. P. 364.

«Мне светский ум ценней (скажу без лести)
Педантства темного всех вас, ученых, вместе»⁸³.

Заметим вскользь, что светский ум отнюдь не связан с умением вести хозяйство. В реплике Клитандра на самом деле видна похвала женщинам «умным» – не только хозяйственным, но и светским. Слово «светский» является здесь ключевым, ибо с одной стороны обозначает, что речь идет не просто о хорошей домохозяйке, а с другой стороны, подчеркивает «несветскость», а, следовательно, неженственность «ученых женщин». Не случайно, ученые дамы из этой комедии оказываются несостоятельны как женщины. И ученой Арманде Клитандр предпочитает «светскую» Генриетту. То же происходит и со «смехотворными жеманницами» Като и Мадлон – женихи уходят от них.

Светскость и умение нравиться, хоть и не входили в канонический набор женских добродетелей, однако, безусловно, были одними из важнейших женских черт, необходимых для успеха в обществе. И мадемуазель де Сюдери уделяет особое внимание связи между умом, знаниями и светскостью, умением нравиться. Описывая умных женщин, она постоянно отмечает «приятность» ума: «Наконец, Валерия, чья особа обладает тысячей чар, о которых я не стану вам говорить, поскольку вы все их знаете, обладает столь прекрасной душой, столь нежным сердцем, столь приятным и галантным умом...»⁸⁴; «Что до ума, то Клариса без сомнения очень умна, и даже обладает им в особой манере, на которую мало кто способен, ибо ее ум столь игривый, развлекательный, легкий для любых людей, особенно людей светских»⁸⁵.

Поэтому неслучайно и то, что и Сюдери, и де Рео часто упоминают о другой черте идеала феминности – красоте. В «Занимательных историях» можно встретить массу характеристик женщин, подобных следующим: «Это была жена одного прокурора из Кастра по имени Ликьер; она была красива, умна и имела очень влюбчивый характер» (Ла Ликьер)⁸⁶; «Она была неплохо сложена, и ей отнюдь не доставало ума» (мадам де Кастельморон)⁸⁷; «Она была умна, говорила весьма приятно, была красива как ангел и вовсе не кокетлива» (мадам де Лалан)⁸⁸; «Эта девица была более приятной, нежели красивой: она играла на лютне, приятно пела и имела столь приятный ум, что все ее люби-

⁸³ Мольер Ж.-Б. Ученые женщины. С. 593. Курсив мой – А.С.

⁸⁴ Scudéry M. de. Clélie. 2003. V. 3. P. 73.

⁸⁵ Ibid. 2004. V. 4. P. 143.

⁸⁶ Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V. 4. P. 193.

⁸⁷ Ibid. V. 4. P. 390

⁸⁸ Ibid. V. 5. P. 60.

ли...» (Анжелика д'Арамбюр)⁸⁹. Мадемуазель де Скюдери отмечает те же черты: «Но что делает ее еще более приятной, так это то, что она обладает умом в той же мере, как и красотой»⁹⁰; «итак, поскольку Це-зония была очень красива, очень умна, очень добра и даже очень богата, не удивительно, если бы у нее было много поклонников»⁹¹; «ее ум сверкает так же ярко, как и ее глаза: и ее разговор, когда она этого пожелает, чарует не меньше, чем ее лицо»⁹².

Ум оказывается одной из основных составляющих женской привлекательности: «Вы без сомнения спросите меня, Мадам, какими чарами особа, которой природа отказала во всех милостях обычных для ее пола, которую время лишило юности, и к которой не слишком благоволила судьба, могла сделаться столь известной, заставить так любить себя и так желать. И я вам отвечу, что это благодаря огромной доброте и необычайному и естественному уму, который соединился с большим знанием света и приятному нраву, случилось так, что ни о чем не заботясь, она развлекала всех тех, кто у нее бывал»⁹³; «но когда она говорит, она очаровывает вас; ибо помимо того, что все, что она говорит, преисполнено ума и делается в самой галантной манере, ее голос к тому же обладает звуками, исходящими из самого сердца и поражающими слух»⁹⁴. Шевалье де Мере в «Трактате об уме» (который он посвятил мадам де ***) писал: «Почему вы не можете согласиться с тем, что обладаете редкими качествами ума, вы, у кого ум столь складный и столь неординарный, что будь вы даже менее красивы, вы не перестали бы быть приятнейшей в мире особой»⁹⁵.

Б. Краевска полагает, что мадемуазель де Скюдери, будучи лишена основного способа женской социализации – красоты⁹⁶ (можно добавить, что она была лишена и других – богатства и происхождения), выдвигает на первый план ум как средство женского преуспевания в обществе⁹⁷. Несомненно, для нее настойчивое акцентирование интеллектуальных способностей женщины (особенно в ранних текстах) было способом

⁸⁹ Ibid. V. 5. P. 230-231.

⁹⁰ *Scudéry M. de. Clèlie*. 2001. V. 1. P. 107.

⁹¹ Ibid. 2002. V. 2. P. 407.

⁹² *Eadem. Artamene ou Cyrus le Grand*. Pt. VI. Livre. 1.

⁹³ *Eadem. Clèlie*. 2001. V. 1. P. 146.

⁹⁴ Ibid. 2003. V. 3. P. 301.

⁹⁵ *Méré A.G. Discours de l'esprit de la conversation, des agrumens, de la justesse, ou Critique de Voiture*. Amsterdam : Pierre Mortier, 1687. P. 1. Gallica bibliothèque numérique [<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109779n.r=Méré+Discours+de+l'esprit+de+la+conve+rsation.langEN>].

⁹⁶ Мадемуазель де Скюдери была очень некрасива, что было предметом всеобщих насмешек, в том числе со стороны тех, кто считался ее близкими друзьями.

⁹⁷ *Krajewska B. Du Coeur à l'esprit*. P. 97.

конструирования собственной идентичности. Однако Мадлен де Скюдери не стремится просто акцентировать ум, которым обладает, в противовес красоте, которой лишена. Ум и красота оказываются для нее не двумя разными способами женского влияния, как полагает Краевская, ум «встраивается» в идеал женственности и обаяния, позволяя таким образом вписать ее способ самореализации в гендерную идентичность. И тексты ее современников показывают, что ее тактика была верной.

Проявления ума в женщине действительно рассматривались как аспект ее женского обаяния. Кардинал де Рец, описывая в мемуарах герцогиню де Лонгвиль писал: «Герцогиня де Лонгвиль от природы была наделена умом основательным, но в еще большей мере изощренным и изящным... В манерах ее была нега, пленявшая более, нежели блистанье даже больших, чем она красавиц. Нега отличала даже ум ее, имевший в этом особую прелесть, потому, что герцогине были свойственны внезапные и удивительные озарения». Тут же рядом он описывает другую женщину, создавая совершенно иной образ: «Мадемуазель де Шеврез, наделенная красотой в большей мере, нежели очарованием, от природы была глупа до смешного»⁹⁸.

Ум оказывается не просто связан с идеалом феминности и не просто соотносится с определенной моделью поведения. Как показывают тексты, ум входит в число достоинств, которые позволяли женщине добиться успеха обществе, т.е. связан с теми неформальными способами власти, которыми могла воспользоваться светская женщина. Причем именно с теми из них, которые были наиболее «женскими» – красотой, обаянием, привлекательностью, женственностью (в «Жире великом» мадемуазель де Скюдери писала о Клеобулине (Кристине Шведской): «красота, мудрость и знания сделали ее знаменитой по всей Греции»⁹⁹). Не случайно одна из категорий женщин, которые мы видели в предисловии к «Словарю» Сомеза, описана так: «Третьи – те, кто, имея немного более богатства и немного более красоты, нежели другие, тщатся выделиться среди прочих; и для этого эффекта, они читают все романы и все галантные сочинения, которые только есть. Для них все гости желанны, они принимают стихи и всех, кто их сочиняет, и они зачастую берутся о них судить, хоть и не пишут сами, воображая, что в совершенстве их знают, поскольку много читают»¹⁰⁰.

В этой связи в «Знаменитых женщинах» мадемуазель де Скюдери, от лица Саффо, настойчиво проводит параллель между красотой (как

⁹⁸ Рец, кардинал де. Мемуары. М., 1997. С. 122.

⁹⁹ Scudéry M. de. Artamene ou Cyrus le Grand. Pt. I. Livre. 2.

¹⁰⁰ Somaize B. Le grande dictionnaire des précieuses. P. 435.

традиционной основой женского влияния) и умом: «Подумайте-ка еще раз, заклинаю вас, насколько непрочно и недолговечна репутация, которая основана на красоте. О том бесконечном числе прекрасных женщин, которые без сомнения жили в веках, предшествовавших нашему, мы едва можем сказать что-нибудь лишь о двух-трех; и в тех же самых веках мы видим славу многочисленных мужчин, прочно установленную сочинениями, которые они нам оставили»¹⁰¹.

«Не презирайте же всего, что я вам сказала: ибо если из ложного стыда вы не решитесь мне последовать, если вы составите всю вашу славу на своей красоте, вы при жизни станете оплакивать потерю этой красоты»¹⁰². Саффо сравнивает женский (покорять сердца) и мужской (покорять города) способы вести войну и заключает: «Замысел природы кажется столь ясным ..., что невозможно выступить против него: и так я соглашаюсь на то, что мы оставим брать города, давать сражения и руководить армиями тем, кто рожден для этого: но, что до вещей, которые нуждаются лишь в воображении, в живости ума, в памяти и суждении; я не могу выносить, что нас их лишают»¹⁰³.

Однако противопоставление красоты и ума оказывается мнимым. Как и в «Клелии», где нередко говорилось о знаниях, которые пристало иметь женщине, здесь она существенно ограничивает ту сферу знаний, которая достойна женщин: «Я не хочу, чтобы вы без пользы употребляли свой ум, дабы узнать, куда возвращаются ветры, после того как устроят кораблекрушения: и я не хочу также, чтобы вы потратили остаток своих дней, чтобы равнодушно философствовать обо всех вещах». Ш. Морле-Шантала и Р. Дюшен видят в этом традиционное (и бесплодное) стремление вообще ограничить круг женских знаний¹⁰⁴, между тем как все ее рассуждения связаны все с тем же опасением потери привлекательности, в данном случае красоты, как средства власти: «Я люблю ваш отдых, вашу славу и вашу красоту вместе взятые: я вовсе не желаю вам занятий такого сорта, от которых желтеют зубы, западают глаза, лицо становится болезненно-бледным, которые кладут на лицо морщины и делают дух мрачным и беспокойным»¹⁰⁵. Если же развить свой ум и при этом не потерять женственности, то можно добиться подлинного величия: «Мы ничего не украдем ни у народа, ни у самих себя, напротив мы обогатим-

¹⁰¹ [Scudéry M. de.] Femmes illustres. P. 439.

¹⁰² Ibid. P. 440–441.

¹⁰³ Ibid. P. 427.

¹⁰⁴ Morlet-Chantalat Ch. Parler du savoir, savoir du parler, Mlle de Scudéry et la vulgarisation galante // Femmes savantes, savoir des femmes / Ed. De C. Navitel. Paris, 1999. P. 177–195. Duchêne R. Etre femme au temps de Louis XIV. P. 315–317.

¹⁰⁵ [Scudéry M. de.] Femmes illustres. P. 435.

ся, не обеднив других, мы прославим нашу родину, сами став знаменитыми и не причинив никому вреда, завоюем много славы»¹⁰⁶.

Наставляя Эринну с тем, чтобы она развила свой ум и занялась поэзией, Сапфо имеет в виду даже не то, что это позволит приобрести уважение среди современников, она имеет в виду более значительную цель: прервать традицию женского молчания и забвения, сохранить память о себе и суметь воздействовать на умы потомков (и именно в этой связи ум оказывается предпочтительней недолговечной красоты). До сих пор эта привилегия принадлежала одним лишь мужчинам, «благодаря сочинениям, которые они нам оставляли»¹⁰⁷: «Победите этих врагов (время, старость и смерть – А.С.), всеми прекрасными вещами позвольте себе поддержать своим примером славу нашего пола, заставьте наших общих врагов признать, что для нас столь же легко побеждать силой нашего ума, как и красотой наших глаз»¹⁰⁸.

Этот воинственный дискурс, используемый мадемуазель де Скюдери, лишней раз подчеркивает, что обеспечение возможности влияния в обществе (как современном ей, так и будущем, благодаря сохранению своего имени в исторической памяти) является для нее основным «назначением» женского ума. С другой стороны, постоянное напоминание о красоте отсылает нас к женскому умению нравиться как к практически единственному «каналу» реализации женского влияния. Неслучайно противники женской «эмансипации» видели основную угрозу в неукротимой женской сексуальности. И если вновь вернуться к вопросу о дискурсе скромности: можем ли мы точно определить, что именно он легитимировал: стремление женщин к знаниям, к власти или саму женскую природу? Если взять эссе Мадлен де Скюдери о скромности, то мы увидим там следующее описание женской скромности: «Она еще более необходима особам моего пола, и женщина, лишенная скромности, не может быть приятной. У меня есть брат, добавила она, который много путешествовал, и от которого я узнала, что даже самые искусные куртизанки напускали на себя притворную скромность, чтобы больше нравиться; настолько это верно, что это хорошее качество необходимо»¹⁰⁹.

Еще одним из основных качеств, необходимых для того, чтобы блистать (т.е. иметь влияние) в светском обществе XVII века было умение вести беседу. Безусловно, для ее поддержания женщины должны были обладать достаточно развитым умом: «В самом деле, вообразите себе, что я оказалась среди десяти-двенадцати женщин, которые не го-

¹⁰⁶ Ibid. P. 432.

¹⁰⁷ Ibid. P. 440.

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ *Scudéry M. de. Entretiens de morale dédiés au Roy. Paris, 1692. V. 1. P. 17–18.*

ворили ни о чем другом, кроме своих мелких домашних забот, недостатков своих рабов, достоинствах или пороках своих детей... Судите после этого, не провела ли я время весьма печальным образом»¹¹⁰. Как пишет Патриция Шолакян, именно в салонах «женщины учились думать о предметах, не связанных с их семейными ролями и вопросами их традиционных социальных функций»¹¹¹.

М-ль де Скюдери является одним из «теоретиков» салонной беседы. Одна из ее «Бесед о морали» посвящена самому искусству вести беседу. И в этом искусстве интеллектуальные способности женщины кажутся полностью подчиненными умению быть приятной и самой премудрости вести и направлять беседу. Хотя в тексте беседы несколько раз упоминается о том, что беседы подобные приведенной выше, когда «нельзя услышать ничего умного», весьма удручающи, главный принцип беседы таков: «Так, если говорить разумно, можно заверить не солгав, что нет ничего, чего нельзя было бы сказать в разговоре, если позаботиться, чтобы был ум и здравый смысл; и поразмыслить хорошенько, где находишься, с кем говоришь и кто есть ты сам»¹¹². Главное в беседе – само искусство беседовать, и именно этому посвящен весь текст.

В данном случае, несколько меняется перспектива ее рассуждений, речь в основном идет о все той же необходимости уметь нравиться, но об уме говорить лишь мельком. Сочинения мадемуазель де Скюдери, «основанные на принципе необходимости приспосабливаться к другому, стали основой светской учтивости. *Homo socius* нашел в этих сочинениях не только обучение добродетельной способности жить в обществе, но также и непосредственное отражение принятых в ее кругу обычаев»¹¹³. И хотя, действительно, в этот период вырабатывается теория светского общения, которая будет в последующее время развиваться, и французы настолько преуспеют в этом, что галантность будет включена в список «мест памяти»¹¹⁴, однако это не означает, что «галантный ум» сотрет ценность интеллектуальной составляющей. Б. Кравери, изучив, как во французской культуре XVI–XVIII вв. вырабатывалось и понималось искусство вести беседу, отмечает, что «тяжеловесности памяти» в салонной беседе противопоставлялся «огонь воображения»¹¹⁵, однако «ум был важнейшим условием»¹¹⁶, чтобы преуспеть в этом искусстве.

¹¹⁰ Scudéry M. de. Conversations sur divers sujets. P.: Claude Barbin, 1680. V. 1. P. 4.

¹¹¹ Cholakian P.-F. Women and the Politics of Self-Representation... P. 36.

¹¹² Scudéry M. de. Conversations. P. 40.

¹¹³ Krajewska B. Op. cit. P. 119.

¹¹⁴ См.: Hepp N. La Galanterie // Les lieux de mémoire / Sous dir. de P. Nora. Paris, 1993. V. 3. P. 3677–3710.

¹¹⁵ Craveri B. L'âge de la conversation. P., 2002. P. 357.

¹¹⁶ Ibid. P. 356.

Дама, блистающая в салонах, это галантная дама, для этого ей не обязательно быть умной, однако умная женщина не могла считаться таковой, если не была достаточно светской. У мадемуазель де Скюдери четко прослеживается мысль, что ни мужчинам, ни женщинам не позволительно показывать весь свой ум, критике подвергаются и те люди, которые «хотят узнать нечто не для того, чтобы знать, а лишь затем, чтобы об этом рассказать»¹¹⁷. И именно в этой связи (и непосредственно в следующей фразе) говорится о том, что «это еще один большой недостаток – стремиться продемонстрировать весь свой ум»¹¹⁸. Неслучайно одной из функций светской беседы считалось «воспитание ума». Как писал Паскаль, «красноречие – это искусство говорить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием, и чтобы захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они захотели поглубже в нее вникнуть»¹¹⁹. Несмотря на четкую вписанность категории ума в идеал женственности светской дамы, он не оказывается полностью подчинен ему и не теряет своей самооценности. Для Скюдери остается важным не просто владение мастерством приятно и изящно говорить подходящие к случаю слова, но способность рассуждать: «Таким образом, я хочу, чтобы никогда не знали, что *следует* говорить, но при этом хорошо знали, то, *что говорят*. Ибо, если действовать таким образом, женщины никогда не будут ни некстати учеными, ни чрезмерно невежественными (курсив мой – А.С.)»¹²⁰.

Следует добавить, что салонные беседы вовсе не были пустой, но элегантной болтовней, как это зачастую представлялось историкам и литературным критикам XIX–XX вв. Литература была доминирующим предметом обсуждения и творчества. Тем не менее, свидетельства современников показывают, что беседы велись и на более серьезные вопросы, в частности о новейших философских идеях или научных открытиях. Известно, что философия Декарта очень активно обсуждалась в салонах. Эрика Харт считает салон мадемуазель де Скюдери одним из основных центров «женского картезианства» (ее «Субботы» посещали многие женщины-картезианки, в первую очередь племянница философа – Катерина Декарт), где осуществлялась также и критика его философии¹²¹. Сама мадемуазель де Скюдери настолько хорошо была с ней

¹¹⁷ *Scudéry M. de. Conversations.* P. 32.

¹¹⁸ *Ibidem.*

¹¹⁹ *Паскаль Б. Мысли.* Москва, 1994. С. 287.

¹²⁰ *Scudéry M. de. Conversations.* P. 41.

¹²¹ См. об этом подробнее: *Harth E. Cartesian Women: Versions and Subversions of Rational Discourse in the Old Regime.* Ithaca, 1992; *Eadem. Cartesian Women // Yale French Studies.* 1991. V. 80. P. 158.

знакома, что могла рассуждать и даже критиковать некоторые ее положения, в частности теорию механицизма, в особенности в том, что касалось животных¹²². Как она сама писала в письме к племяннице философа: «Я прошу у вас прощения, Мадемуазель, за эту вольность, не в моем обычае становиться *bel esprit*, но я хотела дать вам небольшой дружеский совет, который должен подчеркнуть искренность моих похвал, и который отнюдь не уменьшает моего восхищения вашей элегией, ни, тем более моя вера в мою собачку не отнимает ничего от бесконечного уважения, которое я питаю к вашему покойному дяде. Это не любовь, которую я питаю к животным, располагает меня в их пользу, но та, что они питают ко мне, убеждают меня в их пользу, ибо нельзя ничего любить по собственному выбору, не имея какого-нибудь разума»¹²³.

То же можно сказать и о философии Паскаля. Здесь приоритет имели салоны мадам дю Плесси-Генего и мадам де Сабле, связанные, как и сам философ, с янсенизмом. Как писал Паскаль в «Письмах к провинциалу»: «Их (сами письма – А.С.) ценят не одни только теологи; они доставляют удовольствие и людям светским и понятны даже женщинам»¹²⁴. Что касается науки, то известно, что широко обсуждалось в салонах открытие У. Гарвеем кровообращения. Пелиссон как-то напоминал мадемуазель де Скюдери о «машинах этого поляка или немца, о которых вам рассказывали в отеле Рамбуей»¹²⁵. Речь идет о – ни много ни мало – конструкциях летательных машин Ф. Х. Флайдера¹²⁶, опубликовавшего трактат «Искусство летать», или же о «летающем драконе», которого в Варшаве построил Тито Ливيو Бураттини¹²⁷.

Итак, какими интеллектуальными достоинствами все-таки должны были обладать умные женщины? Это, несомненно, грамотность и умение хорошо писать и говорить, знание иностранных языков – прежде всего итальянского и испанского. Как писал Бюсси-Рабютен о своей

¹²² См.: Harth E. Cartesian Women. P. 146–164.

¹²³ Scudéry M. de. Lettre à Mademoiselle Descartes. Sans date. С интернет-ресурса University of Minnesota [http://erc.lib.umn.edu/dynaweb/french/ScudLett].

¹²⁴ Паскаль Б. Ответ провинциала на два первых письма друга. 2 февраля 1656 г. // Паскаль Б. Письма к провинциалу. Киев, 1997. С. 72. Исследователи считают, что далее в этом письме речь идет непосредственно о м-ль де Скюдери.

¹²⁵ Acante à Sapho // Scudery M. de, Pelisson P., et leurs amis. Op. cit. P. 127.

¹²⁶ Флайдер Фридрих-Херманн (1596–1644) – один из последних Тюбингенских гуманистов. Известный поэт и драматург, профессор классической литературы в Тюбингенском университете. В 1627 г. опубликовал трактат «De arte volandi».

¹²⁷ Тито Ливيو Бураттини (1617–1681) – итальянский египтолог, изобретатель, архитектор, ученый, путешественник. Интересовался самыми разными областями науки и научными экспериментами. Спроектировал в 1648 г. в Варшаве летательную машину в виде восьмикрылого дракона.

дочери: «Мадемуазель де Бюсси запасается умом, которым намеревается вас попотчевать, и, веря, что знание иностранных языков не помешает завоевать ваше уважение, она уже месяц предается итальянскому»¹²⁸. Другие языки изучались реже, особенно древние. Стремление изучать латынь было редкостью, само это желание настолько отдавало ученостью, что его следовало тщательно скрывать. В «Сборнике портретов» мадемуазель де Монпансье в портрете Ирис (мадемуазель Со-мэз) сказано, что она знает итальянский и другой очень сложный язык. Ж. Плантье отмечает, что слово «латинский» даже не произносится, хотя портрет написан не самой мадемуазель а мужчиной¹²⁹. Тем не менее, женщины стремились изучать и латынь. Мадам де Лафайет, которую Менаж в юности обучил итальянскому, в зрелом возрасте просит обучить ее и этому языку. Не слишком усердные ее занятия побуждают его написать (по-латыни): «Еще и еще раз призываю не бросать занятия латинским языком, моя дражайшая Лаверна»¹³⁰.

Важна была любовь к литературе. Бюсси-Рабютен писал о своей дочери следующие слова: «С тех пор, как я удалился от двора, она всегда была подле меня, где я учил ее жизни и другим вещам. Однако она недостаточно упражнялась в чтении, как вы бы сказали, истории и разумных сочинений в прозе и стихах. Она совсем их не пишет (ибо я ни во что не ставлю буриме, которые она может иногда составить за компанию) и удовлетворяется тем, чтобы судить о них. Следует, правда, также сказать, что она не только отличает хорошие сочинения от плохих, но и из двух хороших она распознает лучшее»¹³¹. По мнению м-ль де Скюдери чтение романов развивает ум, но не просто чтение: «Женщины, обладающие умом, – писала она Юэ, – должны разумно искать для чтения оригиналы тех видов сочинений, пассажи из которых они находят в романах; и одна из моих подруг, никогда не узнала бы ни Ксенофонта, ни Геродота, если бы не прочла «Кира», и прочтя его, она приучилась любить историю и даже басню»¹³². Сам Юэ в «Трактате о происхождении романов» также отмечал, что «ничто так не полирует ум, не служит так его формированию и приспособлению к свету, как

¹²⁸ *Bussi Rabutin R. de. Lettre à Monsieur De C. à Chaseu du 08.05.1671. // Les lettres de messire Roger de Rabutin, comte de Bussi. Paris, 1720. Part 3. P. 330/*

¹²⁹ *Plantié J. La mode du portrait littéraire en France (1641–1681). P. 392.*

¹³⁰ *Ménage G. Lettre à madame de La Fayette du 01.10.1661 // La Fayette M.-M. de. Correspondence. P., 1942. V. 1. P. 162.*

¹³¹ *Bussi Rabutin R. de. Réponse du Comte De Bussy au Rpr.à Chaseu, ce 22 janvier 1673 // Les lettres de messire Roger de Rabutin, comte de Bussi. Part 4. P. 10.*

¹³² *Scudéry M. de. Lettre à Huet [1670]. С интернет-ресурса University of Minnesota [http://erc.lib.umn.edu/dynaweb/french/ScudLett].*

чтение хороших романов. Это немые наставники, которые наследуют учителям в коллежах, и которые учат говорить и жить гораздо более поучительным и убедительным способом; и можно сказать [о них] то, что Гораций говорил об «Илиаде» Гомера, что она учит морали сильнее и лучше, чем самые искусные философы»¹³³. Таким образом, важным было и изучение античных авторов, тех самых, которых так почитали «ученые женщины»¹³⁴. Мадам де Скюдери, жена ее брата Жоржа, писала в одном из писем: «Моя золовка, ученая и знающая своего брата еще лучше, чем своего Тита Ливия, дала мне верные советы...»¹³⁵.

Однако важной чертой умной женщины было не просто хорошее образование и стремление развивать свой ум. Очень важной, особенно с точки зрения мадемуазель де Скюдери, была способность рассуждать (чего мольтеровские ученые дамы и прециозницы были начисто лишены). В «Кире Великом» она пишет о графине де Мор: «Однако ее ум блистал еще сильнее, нежели глаза и можно сказать, что никто, кто бы то ни был, он не имел ума более проницательного, более просвещенного, более приятного, более солидного или более обширного. К тому же, хотя ее воображение и было столь живым и стремительным, что оно проникало до самого сердца и мыслей тех, кто с ней беседовал, и порой можно было назвать проницательностью манеру, с которой она понимала различные вещи, однако несомненно, что как бы живо оно ни было, оно не опережало ее суждения, которое действовало столь же правильно, делая так, что эта принцесса судила обо всем беспристрастно»¹³⁶. Кардинал де Рец, описывая герцогиню де Шеврез, так объясняет превосходство способности суждения над живостью ума: «Мне никогда не случалось встречать никого, в ком, как в ней, живость ума заменяла бы глубину суждения. Эта живость нередко даровала ей просветления мысли, такие блистательные, что они казались вспышками молнии, и такие мудрые, что от них не отреклись бы величайшие люди всех времен. Однако способность эта проявлялась лишь от случая к случаю»¹³⁷.

В «Знаменитых женщинах» м-ль де Скюдери писала, демонстрируя и свое знание схоластики, для которой традиционно выделение памяти, воображения и суждения как способностей ума: «Мужчины, которые,

¹³³ Huet P.D. Traité sur l'origine des romans. P. 127.

¹³⁴ В одном из автопортретов «ученая» мадам де Монбель упоминает Лукиана, Вергилия, Ювенала, Горация, Катулла, Марциал, Тибулла, Плавта и других. Recueil des portraits et éloges, en vers et en prose. Paris, 1659. P. 703–705

¹³⁵ Scudéry M.-F. de. Lettres de Madame de Scudéry. La bibliothèque électronique de Lisieux [http://www.bmlisieux.com/litterature/pointel/scudery.html]

¹³⁶ Scudéry M. de. Artamene ou Cyrus le Grand. Pt.IX. Livre 2.

¹³⁷ Рец, кардинал де. Мемуары. С. 122.

как вы знаете, почти все являются нашими рабами или же нашими врагами, ... не оспаривают, однако, у нас ни красоты воображения, ни живости ума, ни силы памяти, но что до способности суждений, некоторые из них имеют несправедливость утверждать, что имеют ее более, нежели мы. Я полагаю, однако, что сдержанность и скромность нашего пола делают достаточно очевидным, что нам вовсе не недостает ее: и к тому же, если правда, что мы обладаем первыми его (ума – А.С.) преимуществами в высшей степени, то невозможно, чтобы мы не обладали и другими. Ибо, если наше воображение показывает нам вещи такими, каковы они есть, если наш ум в совершенстве их знает; и если наша память служит нам как должно, то каким образом наше суждение может заблуждаться? Воображение, когда оно живо является столь верным зеркалом; ум, когда он просвещен и проникает так глубоко в [сущность] вещей; и память, когда она хорошая и натренированная, так сильно наставляет примером, что невозможно, чтобы суждение не сформировалось»¹³⁸. В этом тексте Сапфо призывала Эринну: «Проявите вашу способность суждений презрением глупостей и вульгарностей, которые говорят о вашем решении (заняться литературой – А.С.), покажите всей земле столь прекрасный образ вашего воображения, благородные усилия вашего ума и прекрасные свидетельства вашего суждения, что лишь вы сама будете иметь преимущество восстановить славу всех женщин»¹³⁹.

Так же хорошо, как уже отмечалось, мадемуазель де Скюдери была знакома и с философией Декарта. Современные исследования показывают, что именно картезианство, одним из оснований которого было признание, что разум (духовная субстанция) никак не связан с человеческой телесностью (а значит и с теми особенностями женского организма, которыми объясняли их слабость мышления), имело огромное влияние на женскую культуру. Женщины опирались на картезианский дуализм, обосновывая свою способность суждений, как это делала и мадемуазель де Скюдери. Эрика Харт, изучая этот аспект ее творчества, заключает, что «образованные женщины во Франции XVII века могли участвовать в конструировании рационалистического дискурса, но издалека. Когда научная объективность стала все больше идентифицироваться с экономическими интересами государства, женщины были исключены из этой практики. По другую сторону дверей Академии им оставалось привнести нечто отличающее их: примирение старого метафорического и аналогического языка с новой рациональностью»¹⁴⁰.

¹³⁸ [Scudéry M. de.] Femmes illustres. P. 427–428.

¹³⁹ Ibid. P. 440.

¹⁴⁰ Harth E. Cartesian Women // Yale French Studies. P. 163–163.

Саму Скюдери весьма ценили, причем люди очень ученые, именно за эту способность к рассуждениям. Иоганн-Кристоф Вагензайль, знаменитый своими трудами по иудаизму, ориенталистике, истории культуры (в частности этикета и различных церемониалов), теории музыки и истории немецкой литературы, будучи в Париже, беседовал с Мадлен де Скюдери, в то время самой известной в Германии французской писательницей, на предмет свойств немецкого языка и его «пригодности» для литературы. Вагензайль, не будучи до этого знаком с писательницей лично, плохо представляя ее социальное положение (он считал ее высокопоставленной придворной дамой) и реалии французской салонной жизни, судит о ней лишь по состоявшемуся между ними диалогу. Разговор этот оказался столь содержательным, что впоследствии он записал его. Скюдери проявила способность вести эрудированный диалог и рассуждать о проблемах языка и перевода, и у Вагензайля складывается о ней самое высокое мнение. Как пишут Ванда Клее и Сабина Колох: «Он описывает ее как интеллектуалку по меньшей мере его уровня, если не более высокого»¹⁴¹. Она всегда могла не просто адекватно ответить на любое его замечание, понять любой приводимый им пример (неважно на каком языке), всегда знакома с цитируемыми им книгами и упоминаемыми анекдотами, но и логично рассуждала о предмете беседы. Более того, она вела с ним диалог вовсе не по правилам светской беседы, как можно было бы ожидать. Следуя правилу «говорить соответствующе с разными людьми», «она следует тактике, рассматриваемой лингвистами как “мужская”, ибо она делает акцент на предмете диалога», не поддаваясь на попытки Вагензайля ввести в разговор иные, более «женские» вопросы. Авторы статьи заключают, что «дискуссия между Вагензайлем и Скюдери ведется на таком интеллектуальном уровне, которого можно привести лишь немного примеров из той эпохи»¹⁴².

Немецкий писатель и философ XVIII века А. Хойман вслед за философом Х. Томазием, именует ее «королевой женщин-философов»¹⁴³. Сам же Томазий «не рассматривал ее как моралистку, но поставил ее на один уровень с Декартом в том, что касается анализа страстей, и с Аристотелем и Сенекой, касательно этической философии»¹⁴⁴. Он, вразрез с

¹⁴¹ Klee W.G., Koloch S. Peut-on écrire en Allemand? Madeleine de Scudéry et Johann Christoph Wagenseil, un entretiensur la langue Allemand // Madeleine de Scudéry: Une femme de lettres au XVIIe siècle. Arras, 2002. P. 119.

¹⁴² Ibid. P. 120.

¹⁴³ Heumann A. Acta philosopharum, das ist, Nachricht von der Philosophie des Frauenzimmers. Halle, 1721. S. 205.

¹⁴⁴ Kapp V. La fortune de Madeleine de Scudéry en Allemagne // Madeleine de Scudéry: Une femme des lettres au XVIIe siècle. Artois, 2002. P. 226.

современными оценками, предпочитает ее другой писательнице – мадам де Лафайет. Даже Т. де Рео, который, в отличие от немецких эрудитов, не слишком высоко оценивал саму мадемуазель де Скюдери (он признавал и ее ум, и скромность, но писал, что «она многословна в своих рассуждениях и имеет тон голоса, как у педанта, что совсем неприятно»¹⁴⁵), писал о ее романах: «хотя в том, что касается приключений, они мало чего стоят, в ее романах прекрасная мораль, и страсти там очень трогательные; я даже не видел, чтобы было написано лучше, если не считать некоторой аффектации»¹⁴⁶. Г. Лейбниц неизменно отзывался о ней как об умнейшей женщине. Оценивая современное состояние философии, он писал Кларку: «Вновь появляются химеры, они привлекают тем, что содержат в себе нечто чудесное. В царстве философии происходит то же самое, что и в царстве поэзии: разумные романы, подобные французской “Клелии” или немецкой “Арамене”, наскучили, и с некоторых пор вернулись к волшебным сказкам»¹⁴⁷. В другом письме, к Жаку де Фор Феррье, он также дает ей высокую оценку, отмечая, что сочинения «этой восхитительной особы» «порой заставляли меня думать, не стоят ли такие романы большего, нежели история, в том чтобы преподавать роду человеческому важные уроки...»¹⁴⁸. Но более всего его похвалы в адрес мадемуазель де Скюдери подтверждает тот факт, что давая определение нежности в своих знаменитых «Новых опытах о человеческом разуме», он ссылается именно на ее рассуждения из «Клелии»¹⁴⁹.

«Беседы о морали» изучались девочками в Сен-Сире. И как мы видели, мадемуазель де Скюдери рассматривала свои романы как тот вид чтения, который может способствовать развитию ума и приобщению к литературе более серьезной. И возможно именно этой способности к серьезным и поучительным рассуждениям, она приобрела столь большую известность среди ученых, и она критиковалась куда меньше, чем литературные ее способности.

Акцент на способности рассуждать связан с тем, что основным способом демонстрации своих знаний для «умных женщин» во Фран-

¹⁴⁵ *Tallemant de Réaux G. Les Historiettes. V. 5. P. 267.*

¹⁴⁶ *Ibid. V. 5. P. 274.* Интересно, что издатель XIX века добавил комментарий к этому суждению, встраивающий в текст его собственные литературные ценности: «В тот момент, когда Таллеман писал, сочинения мадам де Лафайет еще не существовали; «Заида» и «Принцесса Клевская» появились лишь несколько лет спустя под именем Сегре». *Ibidem. Note I.*

¹⁴⁷ *Лейбниц Г.-В. Переписка с Кларком. Пятое письмо Лейбница, или ответ на четвертое возражение Кларка // Его же. Сочинения в 4-х тт. М., 1982. Т. 1. С. 114.*

¹⁴⁸ *Leibniz G.W. Brief an J. de Faure Ferriés vom 15/25.09.1694 // Leibniz G. W. Sämtliche schriften und briefe. Berlin, 1979. Reiche 1. Bd. 10. P. 567*

¹⁴⁹ *Лейбниц Г.-В. Новые опыты о человеческом разуме. Т. 4. С. 218.*

ции стала не наука, опирающаяся на иные свойства ума, картезианскую рациональность и научный нефеминный дискурс (хотя и здесь известно много блестящих исключений, в том числе и Анна ван Шурман, которую Юэ упоминает наравне с Мадлен де Скюдери), но этические и эстетические суждения, которые реализовывались, прежде всего, в литературе. Отсюда – недовольство Буало «захватом» женщинами области, связанной со вкусом и литературой; он и его сторонники, по словам Б. Краевски, были «встревожены интеллектуальными претензиями женщин и социальными последствиями женского влияния»¹⁵⁰.

Эта «феминизация» была связана, как мы видели, не просто с возросшим влиянием женщин, но с тем способом, которым они встраивали мужскую категорию ума в модели и идеалы женского поведения. Неизменно, во многом в пику противникам идеи женского «равноправия» (речь в это время шла, прежде всего, о биологическом, физиологическом равенстве), настаивавшим на том, что женские познания должны иметь практическую ценность (и потому науки им не нужны), подчеркивалась безотносительная к каким бы то ни было «практическим целям» ценность женского ума. Тем не менее, одновременно он настойчиво, порой агрессивно, связывался с дискурсом власти, причем власти чисто женской, основанной на природных женских качествах, на женской привлекательности. Необходимая легитимизации этой связи обеспечивалась формальным подчинением женского ума тому, что считалось женскими добродетелями (прежде всего скромности). Именно этим может быть объяснено странное сочетание стремления женщин писать и нежелание публично признавать свое авторство. Следовало быть умной, но так, чтобы никто не мог заподозрить при этом желание прослыть умной. И именно по этой причине любой «эпитет», будь то *femme des lettres*, *bel esprit*, *femme savante* или *précieuse* столь активно отторгались: признание любого из них означало нарушение принципа скромности. Не случайно Р. Дюшен не смог найти ни одной дамы, которая признала бы себя прециозницей. По этой причине невозможно четко определить идентичность тех женщин, для которых интеллектуальные ценности являлись одними из приоритетных. Она была задавлена не социальной идентичностью, а необходимостью легитимации идеала феминности при помощи акцентирования добродетели. Это не означает, что такая идентичность не существовала вовсе, но она не могла быть заявлена и должна была, в силу внутренних качеств оставаться невысказываемой.

Однако это сокрытие было не абсолютно и не означало «молчание», но лишь подразумевало иной, женский дискурс, иную стратегию демонстрации. Единство этих женщин формировалось «негласно».

¹⁵⁰ *Krajewska B. Du Coeur à l'esprit. P. 121.*

Сама нарочитая скромность должна была подчеркивать то, что вроде бы стремились скрыть, провоцируя ответные восхваления (принцип по сути своей очень женский – сродни кокетству). Так, мадам де Гриньян отмечает (даже в письмах к матери), что пишет не слишком удачные письма, на что мадам де Севинье (меняя роль наставницы на роль арбитра) тут же возражает: «Я получила ваше письмо от 2-го. Вы задеваете меня, говоря таким образом о своих милых письмах. Какое удовольствие вы находите в том, чтобы дурно отзываться о своем уме...?»¹⁵¹. Следует скрывать и публично отрицать свое авторство, свой ум, талант и т.п., но, тем не менее, о нем должны знать. «Хотите, чтобы люди поверили в ваши добродетели, – писал Паскаль. – Не хвалитесь ими»¹⁵². Это желание, возможно, выразилось и в активном участии женщин-писательниц во всякого рода коллективных сборниках, где можно было одновременно и проявить, и спрятать свое авторство. И фигурирование в «благожелательных» списках прециозниц или ученых женщин отнюдь не было позором, хотя причастность к такого рода дамам всячески отрицалась. Неслучайно автор одного из таких списков писал: «Если я забыл какую-нибудь [из особ] этого века, чьи достоинства не уступают достоинствам других, не будучи мне известными, то это не от намерения нанести вред их репутации, но потому, что молва об их именах еще не достигла моих ушей; и если эта книга будет достаточно успешной, чтобы сделать ее второе издание, я не премину искупить свое молчание и воздать им справедливость»¹⁵³.

Было ли связывание ума с идеалом феминности вынужденной мерой, единственной возможностью для реализации такого рода женской идентичности или наоборот культивированием нового образа феминности. Исследования Э. Харт говорят скорее о втором. Возможно, между этими двумя положениями не существует прямого противоречия. Так или иначе, как мы видели, идентичность «умных женщин» была непосредственно связана с их гендерной идентичностью, и умная великосветская женщина стала цениться как женщинами, так и мужчинами.

Своеобразное «уравновешивание» интеллектуальных претензий нарочитой скромностью и отсутствием публичных амбиций имело столь большое значение именно потому, что салоны были, прежде всего, частью светской аристократической парижской культуры. Умение казаться, создавать себе определенный образ, необходимый для поддержания репутации, было, по свидетельству Н. Элиаса, одной из важнейших ха-

¹⁵¹ *Sévigné M. de. Lettres de madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis. Paris, 1862. V. 2. P. 459.*

¹⁵² *Паскаль Б. Мысли. С. 296.*

¹⁵³ *La Forge J. de. Le cercle des femmes savantes. P., 1663. P. [XIII].*

рактик светской и придворной культуры того времени¹⁵⁴. С одной стороны, дамы-аристократки, хозяйки самых влиятельных салонов, должны были придерживаться этих правил игры, чтобы сохранить свое реноме. С другой стороны, парвеню, желавшие добиться успеха в этом сообществе, должны были быть еще более осмотрительны и осторожны. Таким образом, чтобы добиться влияния в интеллектуальной сфере светские женщины должны были как можно тщательнее скрывать свои претензии на влияние и свои способности это влияние оказывать.

Эта парадоксальная ситуация была в наибольшей степени связана именно с салонной культурой. Те женщины, которые имели интеллектуальные амбиции, но никак не были связаны с салонным обществом, и которых мало заботило мнение света, находились в более выгодном положении. Они могли открыто, профессионально реализовывать свои интеллектуальные способности, не прибегая при этом к всевозможным ухищрениям. Что, впрочем, надо признать, было большой редкостью.

Для примера можно привести мадам Дезульер, которая в 1689 г. стала первой женщиной, принятой в члены французской академии (академии Арля). В 1695 г. Лабрюйер на выборах Андре Дасье, высказался, что предпочел бы принять в Академию его жену Анну, известную как превосходный знаток древнегреческого языка и культуры¹⁵⁵. Анну Дасье считали образованнейшей женщиной столетия, она знала множество языков, публиковала под своим именем переводы и научные трактаты. Однако даже такая уважаемая специалистка была маргиналом в интеллектуальной культуре с институциональной точки зрения. На протяжении XVII века происходило постепенное формирование понимания академии как чисто мужской организации. Еще существовали академии, куда принимались женщины, и даже салоны не были, по мнению Алена Виала, так четко отделены от академий¹⁵⁶. Не было еще и четкого разделения между наукой и литературой как не-наукой. «Журнал ученых» (*Journal des savants*) был одновременно и литературным и научным журналом, так же как Республика Словесности (*République des lettres*) объединяла всех «пишущих людей». Однако многие академии, и прежде всего Французская академия, занимали в гендерном вопросе непримиримую позицию, которая, в конце концов, и стала определяющей. Значительную роль в этом, как полагают многие современные исследо-

¹⁵⁴ Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. С. 119–125.

¹⁵⁵ Об этом пишет Дж. де Жан. См.: *De Jean. J. Tender Geographies*. P. 69.

¹⁵⁶ В качестве одного из доказательств Виал приводит тот факт, что аббат д'Обиньяк называл салон мадемуазель де Скюдери в числе тех «обществ», которые именуются академиями. Виал А. Академии во французской литературной жизни XVII века // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. [Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/nlo/2002/54/vi.html>].

ватели, сыграла та же философия Декарта, в которой в качестве научных способов мышления выбираются те, что традиционно рассматриваются как маскулинные характеристики¹⁵⁷.

Итак, салонная беседа и была той основной сферой, где женщины, активно исключаемые в этот период из академической науки и литературы, могли проявить свой ум. В рамках еще не имевшего четких разграничений литературно-научного творчества в салонной культуре могли быть задействованы лишь те формы интеллектуальной деятельности, которые были наименее «профессиональны». Неслучайно в салонах получили большое распространение малые поэтические формы – элегии, рондо, сонеты, которые могли рассматриваться как аристократическая забава. По той же причине наибольшее влияние в салонах имели не сочинители трагедий и од, вроде Корнеля, Расина и того же Буало, хотя их творения активно обсуждались и им выносился свой вердикт. Настоящими законодателями салонной моды стали совсем другие поэты – В. Вуатюр, Ж. Шаплен, Ж. Менаж и другие.

Другие формы салонных сочинений были столь же маргинальны по отношению не только к высокой литературе, но и к интеллектуальной культуре в целом. Наиболее «солидными», с этой точки зрения, выглядят всевозможные афоризмы. Это увлечение захватило многие салоны, но наиболее активно составлением афоризмов занимались в салоне мадам де Сабле. С современной точки зрения, «солидность» этого литературно-философского жанра определяется скорее близостью к философии и известностью, которую приобрели впоследствии «Максимы» Ларошфуко, появлением которых мы обязаны активным участием герцога в этом салоне. Однако, как для самого Ларошфуко, так и для маркизы де Сабле, это был именно маргинальный жанр, выпадающий из академического, профессионального поля литературных и философских сочинений, и потому доступный для него, как для аристократа, а для нее как для аристократки и женщины.

Менее «интеллектуальными» и академичными были литературные портреты, составлением которых занимались в салоне мадемуазель де Монпансье. Здесь и философия, и психология, и литература облечены в еще более простую форму, и традиционные литературные дискурсы, а также формирующий рациональный научный дискурс, связанные с критериями интеллектуальной культуры, практически не задействуются. И в еще большей мере это относится к популярнейшей в салонах той эпохи игре в вопросы или максимы любви, где рассматривались философия и психология любовных отношений и суть любви как одной из

¹⁵⁷ См. упомянутые выше работы о влиянии философии Декарта.

страстей и одной из добродетелей, однако в формах, радикально отличных от традиционного философского дискурса.

Эта маргинальность была особенно остро ощутимой, в силу того, что академический, рациональный, научный и литературный дискурсы находились в процессе становления и потому были особенно «агрессивны». Но в то же время такое неустоявшееся, не формализованное до конца состояние академического дискурса придавало некоторую равноправность и формирующемуся салонному дискурсу.

Однако если салонная культура была подчеркнута маргинальна по отношению к традиционной интеллектуальной культуре, то каковы же были механизмы, способствовавшие столь успешному ее вписыванию в эту самую интеллектуальную культуру? В чем была заинтересованность интеллектуалов, многие из которых действительно высоко оценивали и салонную культуру, и интеллектуальные способности женщин-хозяек салонов? Вполне очевидно, что в первую очередь их привлекали надежды обрести признание у высокопоставленных особ и, как следствие, влиятельного покровителя и мецената. Но этим вовсе не исчерпывается заинтересованность интеллектуалов в участии в салонной жизни. Существовали факторы, которые делали ее привлекательной саму по себе, они примиряли последователей академической культуры с неакадемическими дискурсами салонных сочинений и делали женщин равноправными участниками диалога.

Для рассмотрения этих причин можно обратиться к одному весьма необычному тексту, созданному в салоне мадемуазель де Скюдери. Эта дама, как мы видели выше, считалась одной из умнейших женщин своего времени. Она переписывалась с очень многими эрудитами того времени – П.-Д. Юэ, Кристиной Шведской, Г.-В. Лейбницем, И.-К. Вагензайлем и другими. Ее салон («Субботы») посещали многие интеллектуалы того времени – члены Французской академии поэт и критик В. Конрар; поэт, критик, историк А. Годо; создатель «Академии» в Кастре, юрист и историограф П. Пелиссон-Фонтанье; критик и поэт Ж. Шаплен; а также историк и поэт Ж.-Ф. Саразен, специалист по истории французского языка, поэт Ж. Менаж и многие другие. Одним из результатов их общения стали своеобразные «Хроники “Субботы”», составленные Пелиссоном из многочисленных записок (шутливых и порой провоцирующе фривольных), которыми они обменивались, а также некоторых плодов их литературного творчества за 1653–1654 гг. Все эти послания, на первый взгляд, удивляют своей легкомысленностью и «неинтеллектуальностью», несвойственной академикам. И, тем не менее, они не только писали эти послания с явным удовольствием, но впоследствии сочли нужным собрать наиболее интересные из них, скопировать,

прокомментировать и переплести! Конрар старательно собирал и хранил эти письма среди своих бумаг. И даже язвительный Ж. Таллеман де Рео, не считавшийся завсегдаем «Суббот», отобрал и скопировал для себя те из посланий, которые показались ему наиболее достойными.

Знание в этих письмах максимально спрятано, скрыто в целой системе всевозможных намеков, которая составляет особое поле для необычной интеллектуальной деятельности – разгадывания скрытых цитат, смыслов, намеков, выявления связующей их логики. Все это идеально подходило к особенностям и возможностям проявления своих знаний для женщин, о которых говорилось выше.

Литературные забавы, а эти письма были, безусловно, не обычной перепиской, но своеобразной игрой и литературным произведением, были не просто развлечением и даже не простым увлечением, а особым способом мыслить и излагать свои мысли. Легкомысленность, игривость были свидетельством не только поиска «домашней» альтернативы высокому стилю, отдушины, противопоставляемой как академической, так и публичной придворной культуре. Она была отражением поисков людей, причастных к салонной культуре, и прежде всего женщин, альтернативных способов, позволяющих утвердить свое влияние в интеллектуальной сфере.

Во многом именно этими факторами объясняется популярность во второй половине XVII века галантной культуры, и в особенности литературы, которой, как показывают современные исследования, была свойственна особая установка на интертекстуальность. Референции к другим авторам и другим сочинениям (заметим, неявные, что очень хорошо сочеталось с женской стратегией «скрытого» ума) порой становились в галантной литературе более значимыми, чем авторское начало, что было проявлением своеобразного интеллектуального диалога с читателем (и безусловно, читательницей), основывавшегося на его вовлеченности в разгадывание того или иного текста.

Вторая половина XVII века весьма интересна в истории развития салонной культуры и ее влияния на включение женщин в интеллектуальное сообщество. С одной стороны, уже салон мадам де Рамбуйе, практически прекративший свое существование к этому времени, стал оказывать сильнейшее влияние на интеллектуальную сферу, в особенности на формирование литературных вкусов и предпочтений светского общества. Многочисленные последовательницы маркизы, среди которых доминировали известные аристократки, начиная с кузины Людовика XIV мадемуазель де Монпансье, значительно усилили эту тенденцию. В короткий промежуток времени между Фрондой (1648–1653) и началом личного правления Людовика XIV (1660) салоны сделались столь влия-

тельным фактором в развитии литературы (именно литература была в это время той основной сферой интеллектуальной культуры, в которой сказывался авторитет светских женщин, в отличие от последующего столетия, когда центр интересов сместился в область философии), что большая часть литераторов, в том числе и членов Французской академии, не могла позволить себе игнорировать формирующиеся там оценки. С другой стороны, в академическом сообществе авторитет женского суждения оставался нелегитимным. И потому влияние женских суждений, осуществляемое посредством салонной культуры, вызывало сильное неприятие и раздражение. С точки зрения многих «академиков», возрастающая роль женщин – т.е. непрофессионалов – означала деградацию интеллектуальной культуры в целом, и прежде всего литературы.

Это отношение усугублялось теми сложностями, которые накладывали ограничения на саму салонную культуру. В светском обществе имел еще огромное влияние образ почтенной дамы, основным достоинством которой должна быть скромность, т.е. утаивание своих достоинств, в том числе и относящихся к разуму. Кроме того, интеллектуальная деятельность традиционно относилась к разряду профессиональных, т.е. заведомо непригодных для аристократов. И традиционно, умение сохранить репутацию было особенно важно для женщин. Все это заставляло женщин искать такие возможности участия в интеллектуальной жизни, которые не вступали бы в конфликт с этим стереотипом.

Конец XVII века ознаменовался упадком салонной культуры и снижением ее влияния. Связано это было, прежде всего, со смещением центра любой значимой в обществе деятельности к королевским учреждениям, в данном случае ко двору и академиям. Людовик XIV тем самым обеспечивал свою монополию в вопросах интеллектуального влияния и авторитета. Однако этот спад в истории салонов не оказал, как ни странно, неблагоприятного воздействия. Женщины не потеряли своего влияния в обществе, напротив, вовлеченность в придворную жизнь способствовала еще большему повышению их социального статуса.

Если даже консервативный, по самой своей сути, жанр наставлений отражает определенные изменения, то можно сказать, что новый идеал, формируемый салонной культурой, постепенно изменяет отношение к женщинам как членам интеллектуального сообщества.

Постепенно стали изменяться модели поведения, приемлемые для светской женщины. Идеал «добропорядочной дамы», уже в последние годы правления Людовик XIV казавшийся весьма обременительным архаизмом, с его смертью потерял былое значение. Мнение света одобряло теперь куда более широкий спектр моделей женского поведения.

Соответственно изменилось и отношение к женским интеллектуальным претензиям и их проявлениям. Отпала необходимость тщательно маскировать их, дабы не испортить себе репутацию. Мадам де Ламбер, хозяйка известного салона первой трети XVIII века, возродившего былой блеск салонной культуры, еще придерживалась идеала «добропорядочной дамы», хотя в значительно измененном виде. Этот идеал уже не сдерживал ее интеллектуальных претензий. Неслучайно манера ее интеллектуального общения, ее интеллектуальные претензии получили название «ламбертинаж», по аналогии с либертинажем, т.е. вольнодумством. Эта тенденция развивалась стремительно, и уже в 1730–40-е гг. стало возможным появление такой хозяйки салона как мадам де Тансен. Аристократка, авантюристка с целым списком влиятельных любовников, она вмешивалась в политические интриги и участвовала в финансовых махинациях. Но неизменный налет скандала, который ей сопутствовал, не только не вредил ее репутации как хозяйки салона, но и привлекал к ней многих людей. Ее салон приобрел европейскую известность.

Репутация, понимаемая в прежнем духе, уже не играла такой роли в статусе хозяйки салона, напротив, этот статус создавал женщине определенную репутацию. Прежде всего, это репутация «ученой женщины». Само понятие потеряло былой ироничный смысл. Ученая женщина имела теперь большое влияние на формирование нового знания. Не случайно мадемуазель де Леспинасс, хозяйку салона, где собирались энциклопедисты, считают одним из негласных (все же еще негласных) авторов «Энциклопедии». Роль салона и его хозяйки также претерпела значительные изменения. В середине XVII века салон был в большей мере местом встреч и интеллектуальных развлечений, а влияние его хозяйки определялось ее протектированием тех или иных интеллектуалов в противовес прочим, но настоящим авторитетом в вопросах интеллектуальной культуры являлись академии, прежде всего королевские. Однако столетие спустя салон становится местом интеллектуальных, прежде всего философских диспутов, которыми по настоящему «дирижирует» хозяйка. Салон становится «преддверием» Французской академии – решение о том, кто займет освободившееся кресло, определяется не столько мнением самих академиков, сколько тем влиянием, которое имеют хозяйки салонов, хлопочущие за определенного кандидата.

Женщины больше не пытаются скрыть свою образованность. Напротив, как показывает исследование Э. Гудман, они стремятся репрезентировать себя как членов ученого, интеллектуального сообщества¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Goodman E. The Portraits of Madame de Pompadour: Celebrating the Femme Savante. Berkeley, 2000.

На женских портретах второй половины XVIII столетия в., появляются атрибуты учености – книги, папки с бумагами, глобусы, астролябии, подзорные трубы, ноты и т.п. (илл. 7) Да и групповой портрет с учеными мужами – теперь вовсе не позор для женщин. На одном из самых известных подобных полотен, где мы видим салон мадам де Жоффрен, Анисе Лемонье позднее, в 1812 г. запечатлел хозяйку и других дам в обществе Мариво, Руссо, Бушардона, Фонтенеля, Дидро, Тюрго, Монтескье, Бюффона, Кребийона, Гельвеция, Малерба, Кондильяка и еще массы известных особ, которых уже не было в живых¹⁵⁹ (илл. 8).

Женщины стремятся теперь всячески демонстрировать свои знания, свое стремление к знаниям, и свое влияние на знание и на развитие интеллектуальной сферы. Они приобрели огромную власть в вопросах формирования и развития интеллектуальной культуры. И именно вопросы власти играли здесь решающую роль. Об этом свидетельствует также тот факт, что маркиза де Помпадур, добившись статуса королевской фаворитки и неслыханного влияния, в том числе и на политику государства, считала очень важным сохранение и приумножение своей славы как хозяйки салона. Желание играть роль хозяйки салона стало, пожалуй, наиболее важным фактором в дальнейшем распространении этой моды. И связано это не с тем, что светские женщины не слишком ценили интеллектуальную культуру саму по себе, сколько с тем, что возможности для осуществления своего влияния были у них весьма ограничены.

Основным путем вхождения женщин в интеллектуальную культуру, сделавшим возможным столь разительное изменение в положении женщин (и в их осознании собственного положения) в интеллектуальной культуре, стали именно салоны. Став важным элементом культурной и интеллектуальной жизни, они обеспечили признание женского влияния на интеллектуальную культуру и авторитетности их суждения.

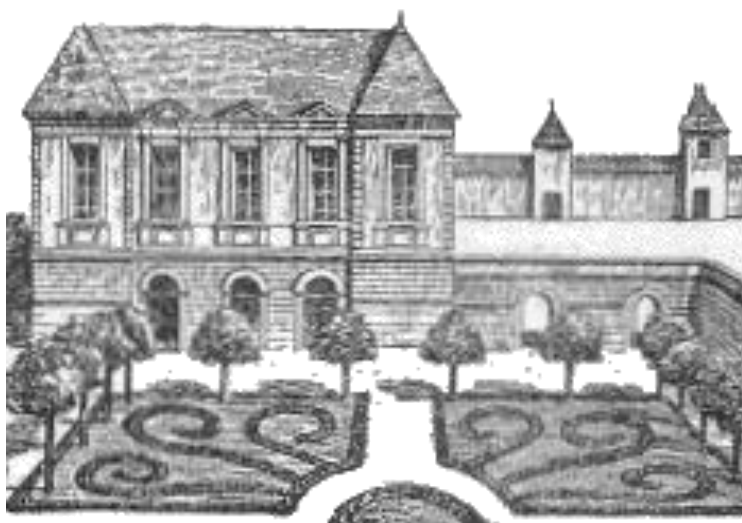
¹⁵⁹ Список всех персон, изображенных на полотне, доступен в интернете: Paris Révolutionnaire [<http://www.parisrevolutionnaire.com/spip.php?article195>].



Илл. 1.
Катрин де Вивонн маркиза де Рамбуйе.



Илл. 2.
Парижские препятствия. С гравюры XVI в.



Илл. 3.
Отель Рамбуйе около 1643 г.



Илл. 4.

Фронтиспис издания комедии Мольера «Ученые женщины».



Илл. 5.
Христиан Томазий.



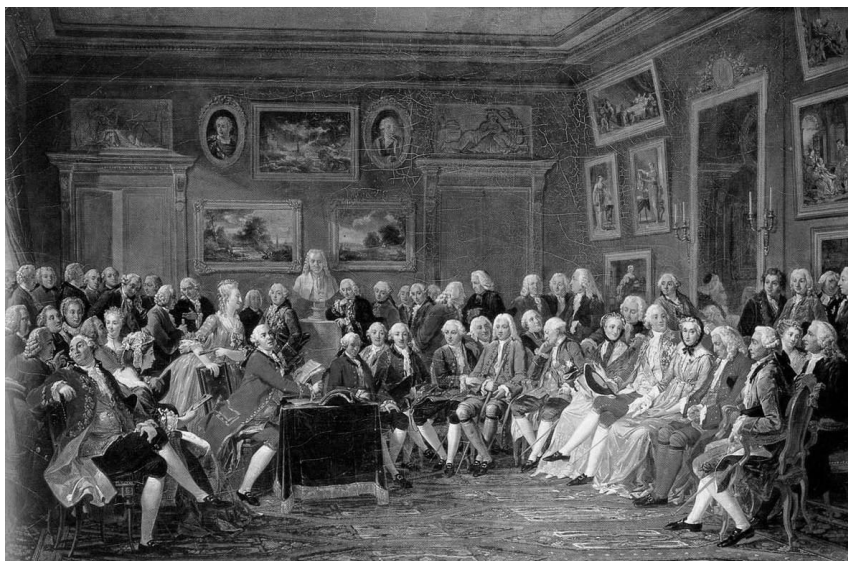
Илл. 6.

Абрахам Босс. 1635 г.

Безумные девственницы беседуют о светских удовольствиях



Илл. 7.
Жанна-Антуанетта маркиза де Помпадур.



Илл. 8.
Анисе Шарль Габриэль Лемонье. 1812 г.
Чтение трагедии Вольтера «Китайский сирота»
в салоне госпожи Жофрен в 1755 г.

ЧАСТЬ 2

ИДЕИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЕВРОПЕ

2.1. ИДЕИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА В ЕВРОПЕ XVIII–XIX ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ СВЯЗАННОЙ ИСТОРИИ

Предмет и метод: трансформации во времени

На рубеже XXI вв. казалось, что веками господствовавшая в общественном сознании тема «цивилизация – варварство» окончательно исчерпана. Залогом этого был авторитет К. Леви-Строса, положившего свою вековую жизнь на изучение разнообразия человеческих культур и вынесшего вердикт: *«варвар – это в первую очередь тот, кто верит в варварство»*¹. Речь шла о ксенофобской составляющей этого понятия, выражающего категорическое неприятие Иного. Бинарная оппозиция «варварство – цивилизация» была тем теоретическим «костяком», на котором держались худшие изобретения западной культуры Нового времени: концепция «ничьей земли», ставшая основанием колониализма, расизм и теория расовой (и классовой) гигиены, евгеника и концентрационные лагеря. Она выступала в качестве «самосбывающегося пророчества», успешно разрушая коммуникацию между людьми разных культур и «доказывая» тем самым «неспособность» варваров к коммуникации. После Второй мировой войны она представлялась примером «выдохшегося» идеологического дискурса, превратившегося в поле реификаций, эссенциализма и других околонучных домыслов.

Идея варварства стала рассматриваться преимущественно в постколониальном контексте. Голландский культуролог М. Болетси в диссертации «Варварство, иначе говоря» (2010) и книге «Варварство и его недостатки» (2013) анализирует функции и прагматику этого понятия как формы предпосылочного знания, критикуя эссенциалистское и бинаристское представление о цивилизации и «варварстве» и переходя к перформативному контексту, в котором эта бинарная оппозиция могла существовать и воспроизводиться. В центре исследования Болетси и современных перформативных подходов к проблеме «варварства» вообще – образы «варвара», создаваемые в разные эпохи и используемые для маркировки различных модусов Инаковости: варварство как литературный троп, временами поддерживающий цивилизационный дискурс, временами разрушающий его; критические рассуждения об исто-

¹ Lévi-Strauss C. Race and History // *Idem*. Structural Anthropology. Vol. 2. London, 1978. P. 330.

рических и современных риторических способах описания «варваров», «варварства» и цивилизации (в том числе позитивная реинтерпретация понятия «варвар» для критики цивилизации, функция «варварства» как дискурсивного вызова доминирующим способам осуществления политической власти, способа перехватывания политической инициативы); функции образа «варвара» в системе коммуникации, для маркировки неверной коммуникации или ее отсутствия (нежелательности), обозначения неизвестного, непонятого и неопределимого; его роль в средствах массовой информации и научных исследованиях; конструирование мира при помощи понятия «варварство», в частности проблемы «варварских» (т.е. созданных на основе этого понятия) методологий и способов теоретизирования, «варварских» концептов пространства и геополитик, «варварских» вариантов политической и юридической мысли: варварство и революция, варварство и фашизм, варварство и анархизм; попытки понять, как влияет дискурс «варварства» на современные дебаты о глобализации, постнационализме, мультикультурализме, постсуверенности и моделях коммуникации².

Стало очевидным, что актуализация связки «варварство – цивилизация» дорого обходится авторам. Она разрушает их самосознание, мешает положительному самоосмыслению, втягивает в алармистское мифотворчество, что ярко ощущают исследователи, втянутые в этот катастрофический процесс. Широко распространился «цивилизационный пессимизм», представление о неспособности вписать себя в цивилизационный дискурс, сохранив позитивную самоидентификацию. Это характерно прежде всего для создателей цивилизационных теорий. Так, галисиец Ф. Фернадес-Арместо в книге «Цивилизации» (2001) описывает себя и жителей «крайнего Запада Европы» как «отребье человеческой истории». «Наши земли, – продолжает он, – выгребная яма, куда история отправляет свои отбросы»³. А.А. Пелипенко в книге «Россия как цивилизация: устойчивое и изменчивое» характеризует российскую цивилизацию как «неправильную», «подобную компьютеру с криво установленными программами», который работает «так плохо и безобразно, что возникает вопрос: а стоило ли вообще...». Эта цивилизация превращает его «жизнь в неизбывное страдание»⁴. Обобщая эти

² *Boletsi M. Barbarism, Otherwise: In Literature, Art, and Theory. Leiden, 2010 (Ph.D dissertation); Boletsi M. Barbarism and Its Discontents. Stanford, 2013; не менее важна книга Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities // C. Birdsall, M. Boletsi, I. Sapir and P. Verstraete (eds.) Newcastle, 2009.*

³ *Фернадес-Арместо Ф. Цивилизации. М., 2009. С. 453.*

⁴ *Пелипенко А.А. Печальная диалектика российской цивилизации // Россия как цивилизация. Устойчивое и изменчивое. М., 2007. С. 48, 51.*

тенденции, американец Р. Осборн в книге «Цивилизация. Новая история западного мира» (2006) писал: «Самобичевание превратилось в навязчивое состояние... мы теперь приветствуем плохие новости заведомым согласием, видя в них подтверждение беспросветной картины зла, которое принесла в мир западная цивилизация»⁵.

В результате решительно размывается позитивный контекст понятия «цивилизация», который и позволял противопоставлять ее «варварству». Возникло и стало предметом научных конференций представление о «патологической цивилизации». Венгерский социолог А. Заколцаи, много работавший на Западе, пишет о том, что «патологический аспект цивилизации, к которой мы принадлежим, не может быть сведен к проблемам стран, оказавшихся под властью коммунизма – перевернутым оказался весь глобализированный мир, и, как ни странно, те доминирующие интеллектуальные дискурсы, которые должны заняться этой проблемой, скорее втянуты в эту патологию»⁶. Он указывает на «радикальную испорченность интеллектуального языка, который мы унаследовали». Эта патология касается не только марксизма – патологические свойства имеют также либерализм и национализм – все современные идеологии⁷, неспособные помочь проанализировать ситуацию кризиса, которую Восток пережил в 1980-е гг., и которая в начале XXI в. неумолимо распространяется на Запад⁸. Заколцаи проводит исторический анализ истоков таких патологий и возводит возникновение их патогенеза к временам упадка Возрождения, к идеям Н. Макиавелли и Т. Гоббса. Он описывает эту ситуацию, развивая идеи Н. Элиаса, М. Фуко, Г. Бейтсона, опирающихся на достижения исторической науки, социологии, психологии, общей теории систем и создавших в результате понятийный аппарат для анализа проблем современной цивилизации⁹.

Однако после событий 11 сентября 2001 г. полузабытый дискурс «варварство – цивилизация» в его открыто ксенофобском эссенциалистском изводе стал возрождаться в политической и культурологической риторике. Ему оказались в разной степени подвержены не только жур-

⁵ Осборн Р. Цивилизация. Новая история Западного мира. М., 2008. С. 26.

⁶ Szakolczai A. The Social Pathologies of Contemporary Civilization: Meaning-Giving Experiences and Pathological Expectations Concerning Health and Suffering // Social Pathologies of Contemporary Civilization / Eds. K. Keohane and A. Pedersen. Aarhus, 2013. P. 1984.

⁷ Op. cit. P. 1987.

⁸ Op. cit. P. 1998.

⁹ Op. cit. P. 1983-1988, 2001. О сходных проблемах см.: Arnason J. Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions. Leiden: Brill, 2003; Axial Civilizations and World History / J. Arnason, S.N. Eisenstadt, B. Wittrock (eds.) Leiden, 2005; Rethinking Civilizational Analysis / A. Said and E. Tiryakian (eds). L., 2004.

налисты или схоласты типа доморощенных российских «цивилиографов», «стихийные структуралисты, загоняющие в бинарные схемы самый непригодный для этого материал»¹⁰, но и образованные философы и историки в России и за границей, такие как Н.В. Мотрошилова или Б. Вассерштайн¹¹. Возникла проблема: как относиться к нему в данных условиях? Это становится предметом специальных исследований¹².

Ясно, что понятия «цивилизация» и «варварство», возникнувшие на заре Нового времени, до сих пор тесно связаны с ключевыми ценностями и идеалами современной культуры, обладают решающим влиянием на ее функции, такие как ориентирование в мире и его познание, на перцептивную и коммуникативную системы общества. Они помогают конструировать социально значимый образ мира, маркировать персонажей и события таким образом, что они становятся (или не становятся) историческими фактами и входят (или не входят) в состав исторической памяти. Их переосмысление связано с масштабными трансформациями картины человеческого мира. Они помогают маркировать субъектов взаимодействия таким образом, что те становятся предпочтительными адресатами сообщений, авторитетами или, наоборот, объектами приказов и манипуляций, а то и вообще объявляются недостойными общения.

Каковы коммуникативные, социальные и политические последствия возникновения и трансформаций бинарной связки «цивилизация – варварство»? С какими историческими процессами (социальными, социально-психологическими, психогенетическими) связано возникновение подобного дискурса и к каким историческим явлениям приводит его появление? Почему вообще такие абстрактные маркировки (напоминающие распространенные формы деления на «древних» и «современных», «грубых» и «утонченных» или на «благородное сословие» и «подлый

¹⁰ Эткинд А., Уффельманн Д., Кукулин И. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М., 2012. С. 12.

¹¹ Яковенко И.Г. Цивилизация и варварство в истории России. Статьи 1–4 // Общественные науки и современность. 1995. № 4 – 1996. № 4; *Он же*. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999; Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов. М., 2010; Wasserstein B. *Barbarism and Civilization: A History of Europe in our Time*. Oxford, 2007.

¹² Терин Д.Ф. «Цивилизация» против «варварства»: к историографии идеи европейской уникальности // Социологический журнал 2003. № 1; Wöhlert R. *Civilization and Barbarism: The Images of Arabs and Muslims & the National Self-Concepts in German and U.S. Print Media around 9/11*. Dissertation eingereicht zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. phil.) Bielefeld, 2007.

народ», которые всегда имели лишь временное политическое, но никак не универсальное культурное значение) вообще способны приобретать подобный устойчивый, неимоверный культурный и политический вес?

Наиболее остро эти проблемы ставит *связанная история* (или «связанные истории» – часть современной глобальной или мировой истории), исследующая не столько прошлое отдельных групп и стран, сколько отношения социальных групп и стран, являющихся элементами более крупных систем. Речь идет, прежде всего, о группах, представляющих различные культуры (торговцев и аборигенов, колонизаторов и колонизируемых), о мультикультурных социальных и политических системах (империях). Основы связанной истории заложил американский антрополог Э. Вульф, показавший, что можно и необходимо изучать историю цивилизации (англо-французских колонизаторов Америки и «варваров» – «индейского» и «чернокожего» населения) как единое целое. Вульфа интересовали, прежде всего, причины, по которым эти последние («люди без истории») утратили свои собственные имена и славу создателей современного мира. Он искал причины в природе мультикультурных обществ как *системы*, а не в «сущности» ее отдельных *элементов*. Впоследствии из этих идей в постколониальных исследованиях выросла теория *субалтерна* – подчиненного элемента системы, созданного противопоставлением «цивилизации» и «варварства» и лишенного как «варвар» права слова, нагло выброшенного из процесса коммуникации и исторической памяти¹³. В центре внимания Вульфа – образы «плюральных обществ», порожденных цепью сложных связей и взаимодействий. Такие взаимодействия для него – основной предмет анализа, они самоценны, этот образ *поглощает* представления об обществе, культуре, цивилизации. Последнее понятие присутствует в его словаре в специфической форме: «цивилизации как зоны взаимодействий»¹⁴.

Правда, неомарксизм Вульфа, сделавший его классиком миросистемного подхода, и недооценка им роли культуры (как идеологической «надстройки») сместили внимание историков на экономические отношения, что отрицательно сказалось на дальнейшем развитии связанной истории. Вопрос о *природе связи* в связанной истории был на время упущен¹⁵. Ее коммуникативный аспект долгое время изучали преимущественно *вне* исторической науки – психологи школы Пало-Альто и

¹³ Подробнее см.: *Стивак Г.Ч.* Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: СПб., 2001.

¹⁴ *Wolf E.* Europe and the People without History. Berkeley, 1982. P. 3, 77, 82–83, 379–380, 391, 401–402, 425.

¹⁵ См. сайт по истории Британской империи: <http://www.connectedhistories.org>.

социологи – Н. Луман и его последователи, которые были убеждены, что формальный анализ элементов связи разрушает сам предмет изучения, так как интеракция не равна сумме элементов¹⁶. В центре их внимания была не связанная история как таковая, а ее предпосылки – *обратная связь и двойная связка* как способы здоровой и патологической связи внутри человеческих групп и сообществ, а также между ними.

И у психологов, и у социологов речь шла о претензиях на создание новой парадигмы знания в рамках системного подхода и представлений об обществе *как коммуникации*¹⁷. Некоторые психологи, являвшиеся одновременно крупными этнографами и кибернетиками, как Г. Бейтсон, претендовали и на право анализа международных отношений и интеллектуальной истории (истории дипломатии, идеологических и межкультурных конфликтов, в том числе по поводу трактовки понятий, гонки вооружений, предпосылок мировых войн)¹⁸. Проблемные межкультурные связи рассматривались психологами школы Пало-Альто как функция системы, форма патогенной семьи, а коммуникации между странами и культурами – по аналогии с внутрисемейными коммуникациями. Претензия на создание новой парадигмы опиралась на выделение гуманитарного аспекта знания и особой системной логики, т.е. на противопоставление *коммуникативных* отношений *физическим* (ньютоновским) и *круговой* логики системы – *линейной* (причинно-следственной, детерминистской). Имелось ввиду преодоление как детерминистского, так и телеологического подходов к причинности. В основе представлений о мире лежал принцип Бира: невозможно улучшить функционирование системы, улучшая ее отдельные элементы¹⁹.

Важную роль играл анализ прагматики коммуникаций, выделение содержательного и командного, когнитивного и нормативного аспектов сообщения (коммуникации и метакоммуникации), а также свойственного им «цифрового» и «аналогового», *рационального и эмоционального* способов передачи информации²⁰. Для Н. Лумана такую же роль при анализе коммуникации играла теория латентности структуры и связанных с ней знаний и представлений, которую он обосновывал на материале эпо-

¹⁶ Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций. Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. М., 2000. С. 124.

¹⁷ Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007.

¹⁸ Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций... С. 22, 52, 64, 79, 93–94, 103–105 и др.

¹⁹ Там же. С. 22, 47; Варга А.Я., Будинайте Г.Л. Теоретические основы системной семейной терапии // Системная семейная терапия: классика и современность / Под ред. А.В. Черникова. М., 2005. С. 21–22.

²⁰ Там же. С. 27.

хи Просвещения²¹. Все это сближало исследователей коммуникаций с «психогенетическим» подходом к проблеме «цивилизации» и «варварства», предложенным еще в 1930-е гг. Н. Элиасом, для которого рациональное и эмоциональное, осознанное и бессознательное были тесно связаны, и который разделял их представление о меньшей осознанности абстрактных понятий (таких как «варварство» и «цивилизация»), изучал, как и психологи Пало-Альто, сопутствующие «процессу цивилизации» манипуляции с «Я»-концепцией²². Но Элиас лишь пытался дать причинно-следственную фрейдистскую интерпретацию социологических данных. Г. Бейтсон и его последователи уделяют гораздо большее внимание изучению трудностей и патологий коммуникаций, связанных системными проблемами: неразличением, переплетением и противоречиями рациональных и эмоциональных форм коммуникации. Они анализируют причины неадекватного и агрессивного поведения людей и обществ в группах. На определенном уровне взаимонепонимания в группе, как они указывают, создается шизофренический язык, при помощи которого можно отрицать все аспекты сообщения, возникает тревога, делающая поведение все более автоматическим (управляемым инстинктами) и агрессивным²³. Психологи изучают подобное поведение в системах, основанных на разных стратегиях раскола, или, как его называл Г. Бейтсон, *схизмогенеза* – симметричной (равной) или комплиментарной (иерархической), в различных группах: целостных системах и плохо связанных сообществах, представляющих собой множество или суммированность отдельных индивидов²⁴. Подробно изучается проблема различия «ролевых толкований» тех или иных понятий²⁵. Однако до сих пор эти исследования лишь эпизодически используются историками (прежде всего постколониальными критиками).

Современные связанные истории, созданные профессиональными историками, имеют своим предметом взаимодействие обществ и культур, прежде всего в процессе торговли или колонизации (отношения местных жителей и поселенцев)²⁶. Определенную роль в них играют

²¹ Луман Н. Указ. соч. С. 441–454.

²² Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2 т. М.; СПб., 2001; Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Указ. соч. С. 29, 79.

²³ Там же. С. 69; Хамитова И.Ю. Повышение дифференциации «Я». Теория семейных систем Мюррея Боуэна // Системная семейная терапия. С. 78.

²⁴ Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Указ. соч. С. 123.

²⁵ Там же. С. 50.

²⁶ *Montgomerie D. Beyond the Search for Good Imperialism: The Challenge of Comparative Ethnohistory // New Zealand Journal of History. Vol. 31. №. 1. 1997; Lester A. Colonial Settlers and the Metropole: Racial Discourse in the Early Nineteenth Century Cape*

миросистемный подход И. Валлерстайна и теория зависимого развития²⁷. Но ведущее положение занимают работы С. Субрахманьяма, являющегося признанным лидером в области связанных историй раннего Нового времени – от Индии до Западной Европы. Он заявил себя противником различных форм теоретизации исторических исследований и соответствующих концепций – от национального государства до миросистемы. Историк акцентирует внимание на проницаемости границ раннемоде́рного мира, на существовании межкультурного сетевого взаимодействия, циркулирующего скорее идей, чем вещей. Субрахманьям осуществил переход от экономической к культурологической тематике и все сильнее затрагивает темы конструирования Инаковости²⁸.

Связанная история развивается и в Австралии – на стыке миросистемного и постколониального подходов. Она понимается там, прежде, всего как транснациональная история; теоретические проблемы системности применительно к связанной истории, как правило, не ставятся²⁹. Поэтому проблематика связанной истории и прагматики коммуникаций остаются разорванными, а связанная интеллектуальная история замкнута в пределах рождения и трансфера рациональных понятий и смыслов, а значит – неспособна изучать функционирование идей во всем его сложности и богатстве. На это указывают М. Вернер и Б. Циммерманн, разработавшие проект перекрестной истории³⁰.

Ответить на вопросы о «варварстве» и «цивилизации» за прошедшие три века пытались многие авторы, подходившие к этой теме с разных методологических позиций. Их деятельность связана с тремя основными этапами развития цивилизационной теории. В рамках

Colony, Australia and New Zealand // *Landscape Research*. Vol. 27. № 1. 2002; *Elbourne E.* The Sin of the Settler: The 1835-36 Select Committee on Aborigines and Debates over Virtue and Conquest in the Early Nineteenth Century British White Settler Empire // *Journal of Colonialism and Colonial History*. Vol. 4. № 3. 2003; *Weber D.J.* Bourbons and Barbaros: Center and Periphery in the Reshaping of Spanish Indian Policy // *Centers and Peripheries in the Americas, 1500–1820* / Ch. Daniels and M.V. Kennedy (eds.). N.Y., 2002.

²⁷ Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. М., 2006.

²⁸ *Subrahmanyan S.* Connected Histories: Notes towards a Reconiguration of Early & Modern Eurasia // *Modern Asian Studies*. Vol. 31. № 3. 1997; *Idem.* Explorations in Connected Histories. From the Tagus to the Ganges. Delhi, 2004; *Idem.* Explorations in Connected Histories. Mughals and Franks. Delhi, 2004; *Idem.* Three Ways to be Alien: Travails and Encounters in Early Modern World. Waltham, 2011; *Idem.* Courtly Encounters: Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia. Cambridge, 2012; *Idem.* *Mondi intrecciati: La storia oltre l'eurocentrismo*, Rome, 2013.

²⁹ *Connected Worlds. History in Transnational Perspective* / A. Curthoys and M. Lake (eds.). Canberra, 2005.

³⁰ Вернер М., Циммерманн Б. После компаратива: *histoire croisee* и вызов рефлексивности // *Ab Imperio*. 2007. № 2.

линейно-стадиальной теории цивилизаций XVIII–XX вв. философы пытались выявить «объективное» содержание понятий «варварство» и «цивилизация» как универсальных сущностей, соотносимых с другими, еще более общими оппозициями, такими как «природа – культура» и «разум – предрассудки», определяющих культурное, политическое и социальное развитие человечества, предлагали свои интерпретации этих понятий и встраивали их в разные бинарные (оппозиционные) или эволюционные (преемственные) схемы. В рамках теории локальных цивилизаций середины XIX – XX века понятие «варварство» стало утрачивать свое значение, но все еще связывалось с предысторией цивилизации и природно-экологическими или культурными особенностями некоторых («неправильных») цивилизаций. С конца XIX века начинаются попытки радикальным образом релятивизировать стороны этой бинарной оппозиции, представить ее как способ осмысления реальности, связанный с определенным культурным и социальным контекстом, ограниченным историческим периодом. При этом универсальное и научное значение этих понятий стало подвергаться сомнению, а затем и деконструкции. Ведущую роль в создании этого направления, которое сейчас господствует, сыграли в XX веке Н. Элиас и его теория «процесса цивилизации». Растущую роль в нем играют психологические интерпретации эволюции понятий на границе рационального и эмоционального (воображаемого)³¹.

Изучение генезиса понятий «цивилизация» и «варварство»:

Н. Элиас и М. Фуко

Социолог Н. Элиас унаследовал скептическое отношение к идее цивилизации, свойственное немецкой культуре. Характеризуя цели своей работы «О процессе цивилизации», Элиас в 1936 г. одним из первых отметил, что с цивилизацией не все в порядке, цивилизация «заставляет нас мучиться», «с ней приходят какие-то коллизии». Теория цивилизации лишь идеологически оформляет это воздействие. Элиас сознательно оставил в стороне традиционную теорию цивилизаций с ее классическими свойствами: универсализмом, телеологизмом, объективизмом, рационализмом. Важнейшим для него был не чисто познавательный, а скорее социально-экзистенциальный вызов³². «Мне было важно не построить воздушный замок какой-то общей теории цивилизации, – писал

³¹ Об этих подходах к теории цивилизации см. также: *Замятин Д.Н.* Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Ст. 2. Цивилизация, проект Модерна, глобализация и геоспациализм // *Общественные науки и современность.* 2011. № 6.

³² *Элиас Н.* О процессе цивилизации... Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб., 2001. С. 54–55.

он, – чтобы затем подвергнуть эту теорию проверке... а, скорее, найти на ограниченном участке следы утраченного процесса трансформации человеческого поведения, затем заняться отысканием причин и только в конце этого пути определить, какое значение все это имеет для теории. Если мне удалось создать хоть сколько-то прочный фундамент для дальнейшей работы в этом направлении, то можно считать реализованными все те задачи, на решение которых была нацелена моя книга». Поэтому важнейшими аспектами его метода был анализ противоречий теории цивилизации: локальных предпосылок ее универсализма, субъективных предпосылок ее объективизма, зыбкости оснований ее телеологизма (как прогрессизма, так и циклизма), а также иррациональных, преимущественно эмоциональных оснований ее рационализма³³.

Элиас показал связь идей цивилизации и «варварства» с процессом кризиса феодального миропорядка и становления европейского абсолютизма. По его мнению, новые формы самодисциплинирования и самоидентификации придворного дворянства (его «цивилизация») и идентификации им других групп («варвары») появились в результате социального развития, подорвавшего благосостояние и авторитет дворянства и вынудившего его провести более четкие границы между собой и другими группами населения. Противопоставление «подлости» и «благородства» (*vilenie – courtoisie*), презрение к сельской жизни существовали давно³⁴, но не имели большого значения для познания. В эпоху становления научного знания и стремления к точности и универсальности определений положение изменилось. Сближение уровня благосостояния и статуса дворянства и буржуазии, неимоверное «давление снизу», которому подверглась разоряющаяся аристократия в потрясаемой финансовыми кризисами Франции XVI–XVII вв., привели к тому, что дворянству пришлось искать новые способы защиты своего статуса и самоидентификации. Особенно мешала этому продажа должностей, которые часто становились собственностью высших слоев буржуазии. Поэтому важным актом самоутверждения дворянства было разделение при Людовике XIII административных и придворных должностей – первые оставались во власти буржуа, вторые могли принадлежать только дворянам. «Весь административный аппарат был монополией буржуа... двор был окончательно монополизирован дворянами»³⁵. В условиях абсолютизма – монопольной власти короля –

³³ Там же. С. 54–55, 287.

³⁴ Старобинский Ж. Слово «цивилизация» // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М., 2002. С. 118.

³⁵ Элиас Н. О процессе цивилизации... Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М., СПб., 2001. С. 187–189, 262.

придворное общество стало полем борьбы за престиж, не доступным для буржуа. Игнорирование двора означало социальную смерть для дворянина – он оказывался неотличим от «третьего сословия»³⁶.

Средством для борьбы за внимание короля была рационализация поведения, позволявшая лучше выглядеть в его глазах. Это была *реакционная политика*, блокирующая наступление буржуазии. От ее эффективности зависело будущее дворянства. Она должна была отсечь буржуазию от короля. Поэтому общественная жизнь при дворе и сопровождавшие ее ритуалы приобрели невиданную ценность. Поведение дворян играло *роль таинства*, так как служило маркером отличия от буржуазии. «Чувствительность обострена именно потому, что нужно отличать себя от буржуа... Именно дистанция по отношению к буржуа, принадлежность к “благородным”, к высшему сословию страны придавала их жизни смысл»³⁷. Правила хорошего тона стали поэтому высшей тайной, которую хранили принадлежавшие к «хорошему обществу». «Книга о “savoir-vivre”, знаменитый “Карманный оракул” Грасиана, как объясняла одна принцесса двора, была столь темно написана именно потому, чтобы не каждому купившему ее за пару грошей были доступны эти знания»³⁸. Буржуа нужно было сбить с толку, поставить в неловкое положение, унижить. Для этого было создано понятие *социальность* (общительность, благожелательность, утонченность), позволявшее отличить «настоящего» человека, умеющего контролировать свое поведение и быть вежливым (идеалы *courtoisie* и *civilité*) и неотесанного мужлана. При помощи него сохранялся и приумножался «престиж, ценимый... [дворянами] чуть ли не так же, как спасение души»³⁹. Неумение вести себя при дворе заведомо лишало любого человека, сколь богатым он ни был, человеческого статуса, выбрасывало из мира культуры в «мир природы», делало «варваром». Он возвращался домой с клеймом дикаря и неистребимым чувством вины. Самосознание индивида стало зависеть от того, как человек выглядит в глазах короля и фаворитов, какую оценку получает.

Деление на «цивилизацию» и «варварство» на этом этапе обозначало, прежде всего, границу между дворянством и крупной буржуазией – заносчивой обладательницей административной власти. Образы неевропейского мира втягивались в круг этих представлений постольку, поскольку необходимо было маркировать недворян при помощи негативных сравнений. «Варвар» – это вульгарный человек вне придворного

³⁶ Там же. С. 190–191.

³⁷ Там же. С. 271, 300.

³⁸ Там же. С. 262.

³⁹ Там же. С. 271.

общества, от которого «воняет буржуа», по своей природе чуждый светской жизни, а значит социально неполноценный. В этом образе слились представления о «низком» и «гнусном» как особенностях поведения французских вилланов, «антильских дикарей» и людоедов, о природе как антитезе культуры, об объекте как противостоящем субъекту. Таким образом, «варвар» – это *культурная фикция*, при помощи которой конструировался и утверждался позитивный образ дворянина, граница, отличающая его от других людей⁴⁰.

Анализируя фиктивность этого понятия, Н. Элиас писал, что цивилизацию и «варварство» неправильно описывать как «статичные альтернативы»: «аппарат самопринуждения, сознание и аффекты у “цивилизованного” человека и у так называемых “дикарей” в целом ясно и отчетливо различаются; но в обоих случаях мы имеем дело с... моделированием примерно тех же самых природных функций... в любом человеческом обществе имеются регулирование аффектов, ограничения и некое предвидение действий». Они зависят от изменяющихся во времени «многосторонних взаимоотношений между людьми»⁴¹. Элиас характеризует «недовольство варварством» как эмоциональную, а не рациональную реакцию, «недовольство иной организацией аффективности и иными представлениями о недопустимом», иным «стандартом неприятного». «Никогда не было, – продолжает он, – абсолютно и бесповоротно “нецивилизованного” поведения в том смысле, какой зачастую вкладывается в слово “нецивилизованный”»⁴².

«Варвар» середины XVIII века в условиях жестокой конкуренции между придворными кланами мог оказаться завсегдаемым соседнего (но недостаточно модного) салона. В период возникновения понятия «цивилизация» в работах Виктора де Рикети, маркиза де Мирабо важными его вариантами были «нецивилизация» и «варварство наших цивилизаций», адресованные прежде всего французским вельможам⁴³. Это чувствительно сказывалось на их самооценке. Мифология придворного

⁴⁰ Там же. С. 300. Позднее Н. Луман пояснил, что таким образом социальная система «тотализирует саму себя», конструируя «негативный коррелят системы» как неопределенное «все остальное» и утверждая тем самым иерархию власти. В результате коммуникация становится асимметричной. В современных терминах можно сказать, что «варвар» позиционируется как субалтерн, отношение которого к системе «предположительно является для системы нерелевантным, на него можно не обращать внимания». Релевантным системе оказывается его антипод, «цивилизованный» господин, а его противостояние с «варваром»-субалтерном гарантирует доминирование центра. Луман Н. Указ. соч. С. 246–248, 258–259.

⁴¹ Там же. С. 280.

⁴² Элиас Н. Указ. соч. Т. 1. С. 117.

⁴³ Старобинский Ж. Указ. соч. С. 118.

общества делала фаворитов и стремящихся занять их место, как писал Ж. де Лабрюйер, «рабами» моды, деформировала их самосознание. Этот круг постепенно расширялся, охватывая все человечество. Связка «варварство – цивилизация» формировала динамически развивающуюся сеть взаимозависимостей и коммуникации, в которую включались самые разные люди, и которая по-разному проявляла себя в странах, где эта бинарная оппозиция родилась – в Англии и Франции, в соседних странах, подвергшихся длительным обвинениям в «варварстве» – Германии, России и Испании, в колониальных странах, среди колонистов и местных жителей, получивших образование и места в администрации. Она создавала саму ткань *связанной истории*, так как ставила все более широкие слои населения в разных странах в зависимость от норм и форм самоидентификации, созданных придворным обществом XVII века. и формировала комплекс неполноценности в группах, рассматриваемых (и рассматривавших сами себя!) как низшие и колонизируемые, что разрушительно влияло на их эмоциональный мир, делало зависимыми от носителей идеала «цивилизация»⁴⁴. Поэтому важнейшими темами при изучении «процесса цивилизации» оказываются психология и психопатология.

Разрыв с феодальной традицией при формировании придворного общества, отмечал Н. Элиас, приводил к тому, что процесс воспитания детей и перевоспитания взрослых шел «по большей части вслепую». Возникали отношения, «непредвиденным образом воздействующие на душевную организацию... и формирующие неведомые... функции»⁴⁵. В особенно тяжелом положении находились отвергнутые буржуа, долго и не без основания претендовавшие на высокое положение в государстве и лишенные его только из-за того, что не знали, куда модно нынче плевать – в тарелку, рядом с тарелкой, под стол, в угол, или в кулак. Шутки шутками, но от этого зависели их самоощущение, позитивная самоидентификация, устойчивость их «Я». Неприятие придворным обществом приводило к «постоянному давлению» и «внутреннему расколу личности», что находило высшее выражение, как писал Элиас, в «левантинизме» – претенциозных манерах, собственных людям, всеми силами стремящихся идентифицировать себя с «цивилизацией» и именно поэтому постоянно ощущающих себя отвергнутыми, «варварами»⁴⁶. «Мы имеем здесь дело с конфликтом в собственной душе человека – он сам признает себя низким, – указывал Элиас, намечая пути

⁴⁴ Элиас Н. Указ. соч. Т. 2. С. 258–260; Fanon F. Les damné de la Terre. P., 1991.

⁴⁵ Элиас Н. Указ. соч. Т. 2. С. 251.

⁴⁶ Там же. Т. 1. С. 105, 117; т. 2. С. 216, 273, 276, 293, 309–310.

изучения шизофрении на десятилетия вперед. – Он боится утраты любви или уважения тех, чью любовь и уважение он не хотел бы терять. Их установки стали его собственной установкой, и она автоматически начинает действовать против него самого. Именно этот автоматизм... делает его столь беззащитным»⁴⁷.

Крайними вариантами такого рода патологии было «искривление» аффективной природы личности, при котором, пишет Элиас, «энергия... влечений находит себе выход только обходным путем». Сначала – в «односторонних симпатиях и антипатиях, во всякого рода курьезных увлечениях», а затем – «в навязчивых действиях и прочих психических отклонениях»⁴⁸. Возникает *патология цивилизации*, на которую указывал еще Ф. Ницше, писавший, «что чрезмерное раздражение нервных и умственных сил является всеобщей опасностью... культурные классы европейских стран сплошь неврастеничны, и почти каждая... семья в них в лице одного из своих членов приблизилась к безумию»⁴⁹. Эту же мысль подтверждает и Элиас: «Требуемая обществом регуляция либо приобретается за счет личной неудовлетворенности... либо не приобретается вообще, поскольку справиться с влечениями не удастся, а баланс удовлетворенности оказывается невозможным, ибо социальные предписания и запреты представлены не другими людьми, но самим страдальцем, в душе которого одна инстанция запрещает и карает за то, чего желает другая»⁵⁰.

Причину остроты агрессии в борьбе придворных клик, а затем социальных групп и целых стран социолог видел в низведении взрослого человека к позиции беззащитного ребенка (добавим: субалтерна), «уступающего воле лиц, моделирующих его поведение. У взрослого человека такая беззащитность связана с тем, – писал Элиас, – что люди, чьего превосходства он опасается, соотносятся с его собственным "Сверх-Я", с его собственным аппаратом самопринуждения. Этот аппарат является результатом дрессировки (курсив везде мой – И.И.) индивида теми, от кого он зависим, и кто обладал известной властью над ним»⁵¹. Если раньше было возможно разрядить это напряжение в единке, то теперь оно превращалось в «непрестанную борьбу индивида с самим собой». В результате рождалось «чудовищное напряжение» (Элиас повторяет это словосочетание трижды), не отпускавшее челове-

⁴⁷ Элиас Н. Указ. соч. Т. 2. С. 293.

⁴⁸ Там же. Т. 2. С. 250–251.

⁴⁹ Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 370.

⁵⁰ Элиас Н. Указ. соч. Т. 2. С. 252.

⁵¹ Там же. Т. 2. С. 292–293.

ка, «оказавшегося под перекрестным огнем, который ведется со всех сторон» и тем самым деформировавшее его эмоциональный мир⁵².

Правда, этот процесс саморазрушения во имя привилегий, по мнению Элиаса, не безысходен. У абсолютизма есть две стороны: монополярная и конкурентная. Монополярная связана с фигурой короля и приводит к расколу общества на клики, «борющиеся друг с другом за шансы, получаемые по милости короля»⁵³. Но сам абсолютизм порожден ситуацией растущей конкуренции в обществе, прежде всего конкуренцией дворянства и буржуазии. Король имеет власть именно потому, что может и должен балансировать между ними: его власть – лишь функция социальной конкуренции⁵⁴. Поэтому как сам абсолютизм, так и «процесс цивилизации» имеют переходный характер. Элиас выделяет в нем «фазу колонизации и ассимиляции», когда низы вынуждены практиковать зависимую самоидентификацию, перенимать поведенческие образцы и оценки высшей группы, и «фазу отталкивания, дифференциации или эмансипации», когда низы приобретают независимое самосознание, а высшая группа принуждается к закрытости⁵⁵. В результате низы общества приобретают право на переосмысление ключевых ценностей, в частности связки «варварство – цивилизация», как это происходило во время Великой французской революции. Правда, говоря об этом, Элиас еще мало что знал о таких формах «эмансипации» от влияния Запада, как итальянский фашизм или немецкий нацизм, от которого ему пришлось бежать в Англию.

В целом, отношение Элиаса к значимости «процесса цивилизации» двойственное: с одной стороны, он порождает рационализм, а значит, играет ключевую культурную роль, а с другой – деформирует, по крайней мере, на время, психику носителей цивилизационного сознания.

Оптимизм Элиаса был связан с его эволюционизмом. Менее оптимистичную позицию занимал постструктуралист М. Фуко, который подчеркивал универсальное значение негативной маркировки «варвара» для общественной жизни современного общества, в частности для формирования контролирующих и исправительных органов, таких как казарма, тюрьма, психиатрическая лечебница, в которых он видел ядро современной цивилизации. Зачатки этой идеи можно найти у Элиаса. Тот писал, что фаворит как обладающий «утонченным вкусом» часто присваивает себе право не только судить о поведении низов, но и определять их человеческий и социальный статус. Характеристика поведения как нецивили-

⁵² Там же. С. 297, 309–310.

⁵³ Там же. С. 194, 214–216.

⁵⁴ Там же. С. 168–169.

⁵⁵ Там же. С. 308.

зованного связывается с *социальной неполноценностью*, необходимостью контроля и коррекции поведения (Элиас называет это «кондиционированием»), что низводит отверженного до статуса ребенка, преступника, умалишенного. Он выступает как «больной, “ненормальный”, “преступный” или просто как “невыносимый”... а потому исключается из... жизни»⁵⁶. Такое отношение наделяет не только фаворита, но и любого носителя «цивилизации» политической и культурной *гегемонией*, господством над «варваром», монопольной когнитивной и контролирующей властью. Идеал цивилизации был изначально связан с чувствами нарциссистского самолюбования, самоуверенности, тщеславия дворян. Не случайно, что он был использован в Новое время для создания системы тюрем, домов умалишенных, а позже – колонизационной политики и работорговли, мировых войн – всего того, что связывается с «темной стороной» цивилизации, модернизации и современности⁵⁷.

Фуко показал, что не только абсолютистское, но и современное демократическое общество в своем стремлении к рационализации, нормализации поведения, дисциплине и упорядочению вытесняло изнутри умалишенных и преступников, а извне – вырожденцев-«варваров», как утративших человеческую природу⁵⁸. «Власть определения ненормальности, контроля над ней и ее исправления» была высшим проявлением власти, сложившимся к XIX веку. Тогда, пишет Фуко, возникло прямое уподобление объектов воздействия: безумца, дикаря и правонарушителя. Врач Ж. Фурне в статье «Моральное лечение умопомешательства» (1854), сравнивал душевнобольных и «духовно бедные народы», предлагая насильственное и контролирующе-воспитывающее отношение к ним при помощи «устранения предрассудков, ложных традиций, заблуждений»⁵⁹. Парадоксальным образом, единственным способом добиться признания своей «нормальности» при этом было восприятие навязываемых форм идентичности, ценностей и норм, а значит и подтверждение «ненормальности» своего поведения. Это вело к *расколу сознания*, так как больного одновременно стремились убедить в том, что «на самом деле болен, и тем самым заставить его отказаться от всех проявлений отрицания своего безумия, согласиться с неопровержимостью его

⁵⁶ Там же. С. 211.

⁵⁷ Dussel E. *The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor, and the Philosophy of Liberation*. Atlantic Highlands, 1996; Maldonado-Torres M. *Against War: Views from the Underside of Modernity*. Durham, 2008; Mignolo W.D. *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Durham, 2011.

⁵⁸ Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в колледж де Франс в 1974-1975 учебном году. СПб., 2004. С. 73, 377.

⁵⁹ Там же. С. 257, 132–133.

реальной болезни», а с другой – он должен был признаться, что «внутри его безумия скрываются не болезнь, а заблуждение, злость, невнимательность или тщеславие»⁶⁰. Навязываемые врачами или носителями идеала цивилизации двойственное толкование своего поведения, невозможность оспаривать его и созданное таким образом чувство вины, как показали исследования Г. Бейтсона и его последователей, имеют мощнейший патогенный эффект. Зачастую они сводят на нет позитивные эффекты дисциплинирования и рационализации поведения, распространения достижений цивилизации, ведут к дезориентации и агрессии.

**Психологическая и коммуникативная интерпретация
зависимого цивилизационного сознания: Ж. де Готье и Г. Бейтсон**

В современной истории культуры элиасовское понятие «левантинизм» как обозначение ситуации между «цивилизацией» и «варварством» не прижилось. Его вытеснило близкое по значению понятие «боваризм». Еще в 1892 г. его ввел философ Ж. де Готье, который, анализируя образ героини Г. Флобера, описывал при его помощи ложное, болезненное, зависимое самосознание, связанное с психологической неустойчивостью, разочарованием в себе и окружающих. Часто его определяет, как и у Элиаса, влияние нравов и обычаев «света», которые обладают «суггестивной силой... замещая центр тяжести индивида, принуждают осознавать себя иным, чем он является на самом деле: индивид самым трагическим образом приносит в жертву этой ложной концепции свою собственную личность и самый сильный из инстинктов – инстинкт самосохранения». Жизнь такого персонажа определяет *фиктивная самоидентификация*, порожденная идеалом, на который он ориентируется и которому он подчиняется как субалтерн. Этот идеал выполняет роль *предпосылочного знания*, подменяющего опыт и отрицающего его. Результатами являются невозможность внутреннего диалога и *деформация памяти*, актуализирующей только то, что связано с идеалом, постоянные попытки преобразить реальность⁶¹.

В романе описаны разные типы боваризма, которые де Готье пытается классифицировать. Частным случаем является *идеологический боваризм*, зависимость от идей, продвигаемых элитарными группами как общезначимые. Он связан с неспособностью критически относиться к таким идеям, обсуждать их вне навязанного универсалистского контекста, в связи со своими собственными интересами, адаптировать их, трансформируя их смысловое содержание. В этом выражается зависимость от монополярной власти группы, их создавшей, что чревато ос-

⁶⁰ Там же. С. 206.

⁶¹ Gaultier J. de. Le Bovarysme. Paris, 1921. P. 75, 15, 26, 39.

лаблением индивида или нации, разоружением и превращением в добычу тех, кто «насаждает высшую цивилизацию при посредстве пулеметов Максима и Гочкиса»⁶². В результате нация создает себе фиктивное самосознание, отворачивается от собственной природы, приобретает искаженное представление о собственной истории. «Над сообществом нависает угроза. Оно может заплатить своим разрушением за недостаток рассудительности, который заставляет его принять за универсальную истину то, что было манерой поведения, полезной для определенной группы, отличной от него (сообщества — *И.И.*)»⁶³.

У Флобера эта ситуация привязана к эпохе *раскола общества и сознания*. Крестьянка (дед мадам Бовари был пастухом) получает элитарное образование в монастыре и воображает себя светской дамой. У нее возникают своего рода “туннельное зрение”, болезненное состояние, не позволяющее правильно воспринимать окружающее, сосредоточенность на идеале и *ненависть к реальному*, игнорирование равных и низших (в том числе родни и мужа), отчуждение от них и презрение к ним. Она наделяет воображаемыми достоинствами дворян, когда-то связанных с придворным обществом, и не замечает любви и преданности мужа. Разрыв между мечтой и реальностью растет, романы и успехи не приносят удовлетворения, так как они не сопоставимы с идеалом, контакты с реальностью становятся все более невыносимыми, поведение – откровенно неадекватным, что кончается саморазрушением и катастрофой для окружающих⁶⁴.

Надо отметить, что боваризм амбивалентен. Он проявляется одновременно в самоуничижении (перед знатью) и самовозвышении (по сравнению с окружающими простоллюдинами). Двойником и антиподом мадам Бовари в романе выступает Бовари-отец, солдафон, «от души презиравший общество»⁶⁵ и вполне довольный собой. Это также форма боваризма. Он может проявляться не только в стремлении быть модным, но и в нарочитом противостоянии моде, не только в упоении светской жизнью, но и в презрении к ней. Здесь важны разрыв коммуникации с миром, противостояние идеала и реальности, способность отдельных образов подменить образ человечества в целом⁶⁶.

⁶² Ibid. P. 66–67, 96, 112–113, 125–126.

⁶³ Ibid. P. 127.

⁶⁴ Ibid. P. 32, 34, 37. См. материалы на сайте: <http://www.bovarynet.com/autour-de-madame-bovary.ws>. При этом надо учитывать как достоинства, так и недостатки идей Готье как ницшеанца межвоенной эпохи, субстанционалиста, предполагавшего реальность «природы нации».

⁶⁵ *Flaubert G. Madame Bovary*. М., 1974. P. 64.

⁶⁶ Ibid. P. 103.

Боваризм способен создавать одновременно или последовательно основания для противоречащих друг другу самоидентификаций. Это ярко проявлялось, например, в отношении России к Европе. В «Географическом описании Российской империи...» 1776 года сказано: «Европейцам ту честь приписывать должно, что они природными дарованиями несравненно превосходят жителей всех прочих частей света... они вообще искренни, правдивы, чистосердечны, остроумны, храбры, великодушны, человеколюбивы, ласковы, учтивы, обходительны и честны, да и самым сложением тела хороши и складны; и одним словом сказать, как в душевных, так и в телесных их дарованиях не найдется той грубости, какая примечается у народов других частей земного шара»⁶⁷. Характерно сочетание потенциального «западничества» – крайняя степень приукрашивания образа европейца, гораздо большая, чем у мадам Бовари, восхищавшейся противоречивым идеалом – «непризнанными талантами с наружностью вертопрахов»⁶⁸, и связанное с ним частичное дистанцирование от идеала (Россия наполовину азиатская держава), но также и потенциальная возможность описывать себя подобным же образом в отличие от чисто азиатских стран (рождающееся «славянофильство»).

Но является ли боваризм лишь патологическим состоянием сознания (или «болезнью цивилизации», как писал П. Бювик⁶⁹)? Готье так не думает. Для него боваризм (как для Элиаса процесс цивилизации) имеет двоякое значение. Готье выделяет в конце книги *фундаментальный боваризм*, разогревающий творческие силы, «чьей сущностью являются становление, разнообразие и изменение... Каждая вещь в мире, отдельная и особенная, обязана своим происхождением этому акту страсти». Он соотносит его с фигурой Высшего существа, Творца, и боваризм превращается, в конце концов, в метафору творчества, желания стать Иным⁷⁰. Уже первые критики, такие как Ж. Палант, выделили в боваризме эту творческую сторону: обман неотделим от восхищения, которое вызывают навязанные им иллюзии, симулякры и миражи, он порождает несчастье, но также и радость. Поэтому иллюзии о себе, предваряющие появление иллюзий о других и о мире, могут иметь раз-

⁶⁷ Географическое методическое описание Российской империи. С надлежащим введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще. Для наставления обучающегося при Императорском Московском университете юношества. Из лучших новейших и достоверных писателей собранное трудами университетского питомца Харитона Чеботарева. М., 1776. С. 89–90.

⁶⁸ Flaubert G. Madame Bovary. P. 103; Артемьева Т. «Особливая часть света»: формирование государственной идентичности России в XVIII веке // Там, внутри...

⁶⁹ Gaultier J. de Le bovarysme: Suivi d'une étude Le principe bovaryque. Suivi d'une étude de Per Buvik, «Le principe bovaryque». Paris, 2006. P. 183.

⁷⁰ Gaultier J. de. Le Bovarysme. Paris, 1921. P. 276–277, 294, 297.

ный смысл: следуя им, можно стать иностранцем в своей собственной стране или тем странным туристом, который продает собственные земли, чтобы посмотреть на чужие, а можно превратить их в механизм самопреодоления и самопреобразования⁷¹. В том же духе высказывался Ролан Барт, называя боваристами всех культурных людей, которыми движут Фраза, Страсть и Ньюанс⁷².

Первые шаги к научному объяснению явлений левантинизма и боваризма сделал американский антрополог Г. Бейтсон. Будучи единомышленником Н. Винера и вдохновляясь работами Р. Дж. Коллингвуда, он перевел разговор о дефектах мышления в контекст системного подхода и теории коммуникации, обратившись к материалу психологии и психиатрии⁷³. Зависимое сознание предстало как функция системы, которую Бейтсон назвал «шизофреногенной семьей», особого рода патологических взаимоотношений власти (господства), порождающих дефект коммуникации, при котором индивиду («жертве», занимающей подчиненное положение в системе и жизненно зависимой от нее) недобросовестно, а возможно, и злонамеренно предлагаются неразрешимые задачи, серия взаимоисключающих приказов, которую антрополог назвал «двойным посланием» или «двойной связкой» (*double bind*)⁷⁴. Ключевая особенность этого типа общения в том, что приказ не подлежит обсуждению, жертва не вправе «взывать к логике и справедливости и даже указывать на само существование ситуации *double bind*, поскольку такое указание было бы равносильно обвинению противоположной (господствующей! – *И.И.*) стороны в нечестности и означало бы вступление в прямую конфронтацию, несовместимую с драгоценной иллюзией “любви”, “братства” или “соборности”», составляющей эмоциональную основу этой системы⁷⁵.

Когнитивная зависимость и дезориентация вырастают из *эмоциональной зависимости* от «шизофреногенной семьи», на жизненной значимости, целостности и нерушимости которой построена самоидентификация человека. Эта семья может быть реальной, а может быть и

⁷¹ *Palante G.* Bovarysme. Une moderne Philosophie de l'Illusion // Revue du Mercure de France. 1903 (http://selene.star.pagesperso-orange.fr/page_bovarysme_1903.htm).

⁷² *Barthes R.* La Préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (1978–1979 et 1979–1980). Paris, 2003. P. 150.

⁷³ Г. Бейтсон был одним из представителей школы Ф. Боаса, мужем и соавтором М. Мид, его считают своим учителем инициаторы миланской школы семейной терапии (М.С. Палаццони, Г. Чеччин), анти-психиатрического движения (Р.Д. Лэнинг), что связывает его теорию с идеями М. Фуко.

⁷⁴ Именно об этом писал М. Фуко. См. *Фуко М.* Ненормальные. С. 206.

⁷⁵ *Федотов Д.Я., Пануш М.П.* Переводы Бейтсона // *Бейтсон Г.* Экология разума. Избр. статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000. С. 13–15.

виртуальной (в том числе отторгающей от биологической семьи, как у мадам Бовари). В частности, пишет Бейтсон, такая ситуация возникает в психиатрической лечебнице, когда персонал, провозглашая первенство интересов пациента и демонстрируя свою «благожелательность», на самом деле заботится о собственном благополучии и комфорте, но скрывает это и даже запрещает обсуждать такие темы⁷⁶. Подобным же образом действуют и другие эмоциональные связи, являющиеся основой самоидентификации, такие как отношения короля и придворных, власти и гражданина, школьника и учителя, священника и прихожанина, артиста и его поклонника, стран центра и периферии цивилизации, или же колонизатора и коренных жителей колоний, зависимых от западных культуры и техники.

Это очень напоминает ситуации, описанные Элиасом и Фуко при характеристике зарождения и функционирования цивилизационного сознания. Элиас указывал на «чувство подчиненности людей, совершающих индивидуальный подъем... идентифицирующих себя с высшим слоем... считающих для себя обязательными запреты, предписания, нормы и формы поведения высшего слоя», но неспособных «столь же легко им следовать, столь же непринужденно их исполнять». Поэтому они попадают под «определение того, что в высшем слое считается постыдным». Это создает «конфликт с нормами высшего общества внутри себя, со “Сверх-Я”, с собственной неспособностью исполнять предъявляемые себе требования. Именно это непрестанное напряжение придает особый характер аффектам и поведению таких людей»⁷⁷.

Подобная ситуация описывает положение как маргиналов придворного общества, так и колониальной интеллигенции, в которой воспитывали «самопринуждение и выработку... аппарата “Сверх-Я” по образцу западного человека. Иначе говоря, это требовало и некоторой цивилизованности покоренных народов... Именно поэтому у немалого числа покоренных народов проявились... индивидуальный подъем, ассимиляция поднимающихся слоев, перенимание ими регулирования аффектов и запретов высшего слоя, частичная их идентификация с этим слоем, выработка аппарата “Сверх-Я” по схемам последнего, формирование более или менее удачного сплава имевшихся ранее привычек и механизмов самопринуждения с пришедшими с Запада ритуалами цивилизации... Полную аналогию происходящему сегодня в колониальных странах мы находим в подъеме западноевропейской буржуазии на при-

⁷⁶ Бейтсон Г. К теории шизофрении // Бейтсон Г. Экология разума... С. 251–252. Эти обстоятельства подробно исследовались на историческом материале в кн.: Фуко М. Рождение клиники. М., 1998.

⁷⁷ Элиас Н. Указ. соч. Т. 2. С. 310.

дворной фазе развития общества... Внутренне они [бюргеры] соглашались с превосходством придворно-аристократических манер и пытались моделировать и контролировать собственное поведение по этому образцу... Дворяне и сами буржуа из придворных кругов в то же время часто насмехались над бюргерами, желавшими быть “изысканными” и неумело подражавшими придворным»⁷⁸.

Эта стратегия двойственного отношения к низшим – поощрение их самосовершенствования и одновременное скрытое издевательство над ними – нашла отражение в характеристиках ранних цивилизационных представлений о «маске» человека «лжецивилизации», его деланной «вежливости» (*civilité*), чуждой подлинной благожелательности и добродетели. «Вежливость есть особенный жаргон, установленный людьми, чтобы скрывать дурные чувства, испытываемые ими друг к другу (Сент-Эврмон). Вежливость – это не что иное как постоянный обмен искусно составленными лживыми словами, чтобы обманывать друг друга (Флешье)... Вместо откровенного варварства, – пишет Ж. Старобинский, характеризуя ситуацию XVII–XVIII вв., – современные цивилизации осуществляют насилие скрытно»⁷⁹.

Крайним примером подобного рода насилия является колониальная политика цивилизаторства, как она проявилась в 1830–1840-х гг. на острове Тасмания, где проповедник Дж.А. Робинсон, которого в Англии именовали «благодетелем провинции Виктория», создал резервацию для аборигенов, названную им Пункт Цивилизация (*Point Civilization*). В его проповедях сочеталось провозглашение тасманийцев братьями и неприятие их обычаев, которые трактовались как полное отсутствие культуры и должны быть заменены на оседлую жизнь, христианство и цивилизованное поведение. Это породило среди аборигенов стресс и острейшую аномию, которые имели фатальные последствия. Тасманийцы вымерли полностью в течение нескольких лет. По свидетельству врача, они умирали не только от инфекционных болезней, но и «от огорчения», т.е. психологических и психосоматических причин. Этот пример оказался наиболее ярким выражением политики «окончательного решения» вопроса аборигенов, более эффективным, чем прямое насилие и даже концентрационные лагеря XX века⁸⁰.

Бейтсон лишь указал на психологический характер подобного насилия и ключевое свойство такого рода общения – отрицание «я», лич-

⁷⁸ Там же. С. 310–311.

⁷⁹ Старобинский Ж. Слово «цивилизация». С. 117–122.

⁸⁰ Ryan L. *Tasmanian Aborigines. A History since 1803*. Sydney, 2012. P. 151–239; *Racism: A History. Part Two. Fatal Impacts* // BBC Four. Broadcast on Thursday 27th September 2007.

ности подчиненного объекта коммуникации, а также на болезненность и патологичность такого рода отношения при близком общении с манипулятором, если кто-либо «глубоко заинтересован в этом человеке», на «ощущение обманутости» и «постоянное травмирование», которые оно порождает. В результате «коммуникация с другим может повредить моей идентичности вплоть до распада организации моего опыта», а «потеря идентичности» оказывается свойственна всем участникам коммуникации⁸¹. Насилие вплетено в ткань жизни цивилизованного общества, является одним из его атрибутов. «Шизофреническая семья, – пишет Бейтсон ниже, – весьма устойчивая организация, динамика и внутренняя работа которой таковы, что каждый ее член постоянно подвергается переживанию отрицания своего “Я”»⁸².

Важным свойством такого рода коммуникации является растущая асимметрия, при которой жертва постепенно превращается из субъекта коммуникации в объект *манипулирования*. Ей приходится реально поступаться своими интересами, скрывая известные ей противоречия коммуникации от господствующих субъектов коммуникации и поддерживая тем самым иллюзию гармонии системы (представления о прогрессе и светлом будущем). Запрет из внешнего становится внутренним, самоподдерживающимся. Одновременно жертва снижает свой статус относительно широкого или более узкого круга знакомых. Это ситуация мадам Бовари к концу романа: о ее финансовых проблемах среди близких не знал никто до самого ужасного финала. Но в результате страдает не только жертва: петля взаимонепонимания захлестывает обе стороны. «Ни одна из сторон не в состоянии получить или отправить неискаженное метакоммуникативное сообщение»⁸³. Ложь и дезориентация в конце концов пронизывают все.

В сущности, Бейтсон противопоставил механизму, обеспечивающему нормальное функционирование любой социальной системы, т.е. *обратной связи*, диалогу, – механизму разрушения коммуникации в ее центральном звене. «Двойная связка», в отличие от отрицательной обратной связи, не позволяет контролировать коммуникацию как необходимую функцию общественной жизни, смену контекстов сообщений и вообще рассуждать о контекстах (метакоммуникации), что ведет к принципиальному неразличению модусов словоупотребления: метафоры и научной идеи, реальности и игры, серьезности и иронии, диалога и ма-

⁸¹ Бейтсон Г. Групповая динамика шизофрении // Там же. С. 266; Бейтсон Г. Минимальные требования для теории шизофрении // Там же. С. 275.

⁸² Бейтсон Г. Групповая динамика шизофрении. С. 267.

⁸³ Там же. С. 261–262.

нипулирования⁸⁴. Выход из этой ситуации возможен в разные стороны: возможно творческое сопротивление путем регулируемого снижения уровня манипуляции (психотерапия) или игры, выводящей за пределы отношений господства (Бейтсон приводит пример дзен-буддистского коана, при котором у учителя выбивают палку, являющуюся инструментом манипуляции⁸⁵), развитие *двомыслия как внутреннего диалога*. Но гораздо более обычным является двомыслие как шизофрения, дезориентация и крах коммуникации.

Все это имеет непосредственное отношение к проблеме кризиса цивилизации. «Цивилизация работает на идеях самых разных степеней общности, – пишет Бейтсон. – Эти идеи присутствуют (одни эксплицитно, другие имплицитно) в действиях и взаимодействиях людей. Одни из них сознательны и ясно определены, другие туманны, а многие бессознательны. Некоторые из этих идей разделяются повсеместно, другие дифференцируются по различным подсистемам общества... идеи цивилизации взаимосвязаны, частично посредством некоторого вида психо-логики, и частично благодаря консенсусу относительно квазиреальных эффектов действий. Для этой сложной сети детерминирования идей (и действий) характерно то, что определенные звенья в сети часто слабы, однако каждая данная идея (или действие) подвергается множественному детерминированию многими переплетенными характерными чертами». Часть идей, ранее попавших в детерминирующую сеть и вошедших в ее ядро, воспроизводятся автоматически, убираются «из зоны критического исследования». Это лишает цивилизацию как систему гибкости. Некоторые наиболее общие и абстрактные идеи «становятся относительно негибкими», но все еще воспроизводятся как часть «ядра или узловой точки» цивилизации. При этом они могут быть «просто неверны или становятся патогенными в сочетании с современной технологией»⁸⁶. Это ставит проблему экологии идей.

Неумение рассматривать идеи в контексте метакоммуникации, идентифицировать их с определенными системами логики и деятельности, разбираться в структуре этой «переплетенной системы идей» ведет к созданию «эволюционных тупиков», формированию *«летальной... парадигмы вымирания из-за утраты гибкости»* (курсив мой – И.И.)⁸⁷.

⁸⁴ Ярким примером такого неразличения являются рассуждения некоторых теоретиков цивилизации о диалоге. См.: Ахиезер А.С. Об особенностях современного философствования // Ахиезер А.С. Труды. М., 2006. С. 425–446.

⁸⁵ Бейтсон Г. К теории шизофрении // Бейтсон Г. Экология разума. С. 232.

⁸⁶ Бейтсон Г. Экология и гибкость в городской цивилизации // Там же. С. 465–466, 468.

⁸⁷ Там же. С. 467.

У.Р. Эшби в 1945 г. показал, что жизнь и устойчивость системы зависят от наличия механизма отрицательной обратной связи, «предотвращения максимизации любой переменной». Ведь «непрерывное возрастание любой переменной неизбежно приведет к необратимым изменениям системы»⁸⁸. Результат стратегии, ориентированной на «двойные связки» и положительную обратную связь — *схизмогенез*, т.е. раскол сообщества. Этот механизм предполагает рост самоутверждения одной группы за счет культурной покорности другой (цивилизаторов и «варваров»). «Очень вероятно, что покорность будет способствовать дальнейшему самоутверждению, которое в свою очередь будет способствовать дальнейшей покорности. Этот схизмогенез, не будучи ограниченным, ведет к прогрессирующему одностороннему искажению личностей членов обеих групп, что приводит к взаимной враждебности и должно закончиться крушением системы»⁸⁹. Тем самым «двойное послание» не просто дезориентирует цивилизацию, превращая ее в «шизофреногенную семью», но и обрекает ее на гибель.

Для восстановления гибкости необходимо возобновление диалога по поводу ранее усвоенных идей, прежде всего наиболее общих, составляющих предпосылочное знание цивилизации, «от которого зависят другие идеи». Но это требует метакоммуникации по поводу экологии ключевых понятий, таких как «цивилизация», по поводу «границ его толерантности», меры его «запрограммированности». Современная цивилизация, которая «предпочитает запреты позитивным требованиям»⁹⁰, изобличает тем самым свою ригидность, шизофреногенность и дезориентирует саму себя. Идеалом цивилизации должен быть *акробат на проволоке*, у которого нет ни одной зафиксированной части тела⁹¹. Даже если цивилизация ведет себя в данной ситуации адекватно, свидетельствует ли это о здоровом характере ее мотиваций, или же она «встраивается в нормальную жизнь по невротическим или несообразным причинам?»⁹². В этой точке пересекаются теория цивилизации Г. Бейтсона и его теория «двойного послания».

Как у Н. Элиаса и Ж. де Готье, «двойное послание» для Бейтсона может оцениваться по-разному. С одной стороны, это ситуация, патогенная по своей природе, разрушающая жизнь не только человека, но и групповых животных. Ему удалось показать, что реакция индивида на

⁸⁸ Бейтсон Г. Бали: система ценностей в стабильном состоянии // Там же. С. 155.

⁸⁹ Бейтсон Г. Контакт культур и схизмогенез // Там же. С. 101.

⁹⁰ Бейтсон Г. Экология и гибкость в городской цивилизации. С. 468–469.

⁹¹ Бейтсон Г. Бали: система ценностей в стабильном состоянии. С. 155.

⁹² Там же. С. 470.

«положение неправоты согласно его собственным правилам осмысления важных отношений» вызывает «крайнюю степень боли и дезориентации» не только у человека, но и у дельфинов. Саморазрушение как ее следствие – универсальная эволюционная реакция животных, проявляющаяся, в частности, в цивилизационном сознании человека разумного. Но с другой стороны, Бейтсон показал, что «если удастся парировать или сопротивляться этой патологии, опыт такого рода, взятый в целом, может способствовать творчеству»⁹³. То есть определяющим моментом является не статус существа (как у Ж. де Готье), а его реакция.

Идея «двойного послания» все чаще рассматривается как междисциплинарная методология, соответствующая задачам информационной эры и используется в разных научных дисциплинах. Это соответствует словам самого Г. Бейтсона, который писал: «...я обнаружил, что моя работа с примитивными народами, шизофренией, биологической симметрией... идентифицировали широко разбросанное множество меток, или точек отсчета, которые могли определить новую научную территорию»⁹⁴. Возникла большая литература по поводу идеи «двойного послания», в том числе касающаяся вопросов исторического сознания. Еще в 1992 г. эту тему затронула Г.Ч. Спивак, которая охарактеризовала восприятие эпохи Просвещения бывшими колониальными народами как «восприятие снизу». Это восприятие неразрывно с представлениями о колонизации и «обязанностях раба», а значит – несет в себе «двойное послание», деформирующее постколониальную и мигрантскую культуры, противопоставляя в них публичную и частную сферу⁹⁵. Д. Чакрабарти тогда же анализировал при помощи представления о «двойном послании» европоцентризм индийской историографии. Индия выглядит как расколота страна – одновременно субъект и объект модернизации, разделенная на модернизирующую элиту и модернизируемое крестьянство. Но расколотый субъект при этом высказывается как целостный – от имени национального государства. В результате этого «двойного послания» центральным в такой дезориентирующей ситуации оказывается гиперреальный образ Европы, порожденный сказками, навеянными и империалистическим, и националистским дискурсами⁹⁶.

Наиболее известна книга С. Эйделл «Двойное сознание/двойное послание: теоретические вопросы в литературе чернокожих авторов в

⁹³ Бейтсон Г. «Двойное послание», 1969 // Там же. С. 300.

⁹⁴ Бейтсон Г. Введение: наука о разуме и порядке // Там же. С. 25.

⁹⁵ Цит. по: Spivak G.Ch. Rethinking Comparativism // New Literary History. Vol. 40. № 3. Summer 2009. P. 624.

⁹⁶ Chakrabarty D. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for «Indian» Pasts? // Representations. №. 37. Winter 1992. P. 18.

XX в.»⁹⁷. В ней критикуются попытки создателей негритюда (начиная с У.Э.Б. Дюбуа, который и ввел понятие «двойное сознание») воспринимать реальность, преодолевая расовое деление. В связи с идеями Бейтсона интерпретируются и углубляются представления Гегеля о «несчастном сознании», а также о диалектике господства и рабства, связанной с одновременной независимостью и зависимостью самосознания от господствующего Иного, о неоднозначной роли инаковости. Анализируются идеи Л. Сенгора о соотношении идей универсальной цивилизации и африканской («черной») цивилизации, о путях преодоления образа африканца как «недоразвитого ребенка» и его попытки выстроить образ африканской цивилизации на основе идей Л. Фробениуса как дополнительный к образу европейской цивилизации⁹⁸. Модель «двойного послания» широко используется постколониальными критиками в изучении расистского и колониального дискурсов, препятствий для развития межрасового диалога, ситуации перемещенных лиц, положения индейского населения США⁹⁹, для анализа межнациональных и межкультурных отношений, в частности Европы и Египта, Японии и Китая¹⁰⁰.

Неоднократно делались попытки соединить представления о боваризме и «двойном послании». Представить боваризм как проявление «двойного послания» попыталась румынский искусствовед М.С. Куйбус, которая изучает феномены воображаемого Иного, двойничества, раскола личности и доминирования фантазмов¹⁰¹. Боваризм приводит к неразличимости бытия и кажимости, своего рода ослеплению чувств. Правда, автор уделяет основное внимание творческому варианту боваризма, снимающего его шизогенные последствия, в частности игре актеров в театре как форме «двойного послания» личности и ее двойника. Ближе к нашим задачам подходит историк культуры Б. Карневали, ко-

⁹⁷ Adell S. *Double-Consciousness/Double-Bind: Theoretical Issues in Twentieth-Century Black Literature*. Urbana, 1994.

⁹⁸ Ibid. P. 16, 19, 22, 29–33, 56–89.

⁹⁹ Hesse B. *Im/Plausible Deniability: Racism's Conceptual Double Bind // Social Identities*. Vol. 10. № 1. 2004; Simpson J.L. *The Color-Blind Double Bind: Whiteness and the (Im)Possibility of Dialogue // Communication Theory*. № 18. 2008; Cattellino J.R. *The Double Bind of American Indian Need-Based Sovereignty // Cultural Anthropology* Vol. 25. № 2. 2010; Redfield P. *The Unbearable Lightness of Expats: Double Binds of Humanitarian Mobility // Cultural Anthropology*. № 5. 2012 (<http://www.culanth.org/?q=node/555>).

¹⁰⁰ Tageldin S.M. *Disarming words : Reading (post)colonial Egypt's Double Bond to Europe*. Thesis (Ph.D. in Comparative Literature). Berkeley, 2004; Cave-Bigley A. *History's Double Bind* (<http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/Detail/?ots777=4888caa0-b3db-1461-98b9-e20e7b9c13d4&lng=en&id=123864>).

¹⁰¹ Cuiabus M.S. *Le Bovarysme. Les jeux de la fiction bovaryque en littérature et théâtre. Le résumé de la thèse de doctorat*. 2010. (http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/teatru/CuibusMiriam_fr.pdf). P. 8–9, 17, 29–30.

торая анализирует в этих терминах родовые противоречия европейской демократии, в частности, параллельное признание равенства и прав человека, с одной стороны, и заслуг и талантов конкретного индивида, с другой. Апелляция «Декларации прав человека и гражданина» к общественному благу не снимает этого противоречия, так как меритократия («демократическая знать», по словам П. Бурдьё) воспроизводит скрытые механизмы дезориентации, свойственные «старому режиму», что взрывает демократический этос. Боваристское невнимание к ближнему считается несправедливостью и даже грехом не только потому, что оно отрицает право каждого человека на уважение его достоинства, но потому что оно принципиально недемократическим способом «исключает и клеймит своих жертв, причисляя их к самым низким эшелонам социальной иерархии»¹⁰².

Не менее интересным может быть применение идей Н. Элиаса, М. Фуко, Ж. де Готье и Г. Бейтсона к изучению функционирования понятийной связки «варварство – цивилизация» в связанной истории различных стран в Новое время.

**Цивилизаторский взгляд европейцев на мир и
порожденные им перцептивные и коммуникативные деформации
*Антитеза «цивилизация-варварство» во Франции***

Идеал цивилизации как форма «самосознания Запада»¹⁰³ формировался в Европе в тяжелых условиях Реформации и религиозных войн, перекроивших картину мира. Окончание войн потребовало новой интеграции Европы, но уже не на религиозной, а на секулярной основе. При этом авторитет религии оставался высоким, а религиозная мысль была отточена в вековых спорах и служила более или менее скрытым основанием для новых ценностей и идеалов. Представление об Иерусалиме как центре мира было утрачено. На роль нового центра претендовали «цивилизованные» страны, прежде всего Англия и Франция. Необходимо было создать общий язык, на котором могли бы общаться абсолютистские режимы и знать, а также обозначить круг общих ценностей. Это классическое время формирования новых самоидентификаций и новых ментальных карт, когда, по словам Я. Ассмана, происходит интенсификация чувства принадлежности «через “контрастное” или “антагонистическое” сплавивание». Первоначально это была дифференцирующая самоидентификация европейской аристократии, маркировавшая «экс-

¹⁰² Carnevali B. Snobbery. A Passion of Nobility // Navigatio Vitae. Saggi per i Settant'anni di Remo Bodei / Ed. by L. Ballerini, A. Borsari, M. Ciavolella. New York, 2010. (http://www.academia.edu/352287/_Snobbery_a_passion_for_Nobility). P. 16-21.

¹⁰³ Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. С. 59.

клюдивную культуру элиты», объединявшую не нации, а высшие социальные слои, выработавшие собственный ритуал поведения, ставший каноном культуры общения или «социальности»¹⁰⁴. Цивилизованность стала *элитистским* лозунгом. Не случайно в первых своих вариантах до середины XVIII в. представление о цивилизованности сосредоточено на нравах и поведении (у Вольтера) и касается образованной верхушки любых обществ (русских, арабов, китайцев). В это время возможно и необходимо было связывать идеал цивилизации с Китаем. Это доказывало его универсальность. И это делало идеал цивилизации зародышем коннективной структуры мирового масштаба, хотя бы на элитном уровне¹⁰⁵. Для возвышения культуры элиты использовались метафоры просвещения и суеверий, прогресса и застоя, просвещенной монархии и деспотии, центра и периферии, природы и культуры.

Антитезой идеалу «цивилизации» служил анти-идеал «варварства». С его помощью при формировании нации и колониальных империй репрессировались локальные этнические и племенные, фольклорные культуры, препятствовавшие единству нации, а также аборигенные культуры. В условиях «контрарной идентификации», предполагающей высокую интенсификацию самосознания, периферизация таких субкультур происходила очень эмоционально, через их негативную переоценку, связанную с понятием «варварство». Идеал цивилизации, как и многие другие формы самоидентификации, возник как «анти-идентичность» (*counter-identity*), движение сопротивления против локальных народных наречий и субкультур. Я. Ассман подчеркивает, что «анти-идентичности» создаются и поддерживаются не против внекультурного хаоса, а против доминирующей культуры, и типичны для меньшинств»¹⁰⁶.

Понятие «цивилизация» в его французских истоках, как показал Старобинский, нельзя отрывать от понятий «вежливость», «учтивость» и «утонченность», которым оно наследовало и с которыми оно боролось за право представлять идеал дворянства в его сопротивлении наступающей буржуазии. Борьба придворных кланов делала смену этих понятий очень быстрой. Они играли роль лозунга в битвах между соперниками. То или иное слово обычно критиковали с ханжеских позиций, за то, что оно не соответствует идеалу высокой христианской нравственности. Подчеркну, что понятие «цивилизация» рождалось именно в противостоянии с идеалами придворного общества, с представлениями о дворянской нор-

¹⁰⁴ Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 144, 160.

¹⁰⁵ Там же. С. 317; Hazard P. La pensée européenne au XVIII siècle. De Montesquieu à Lessing. Paris, 1963. P. 13–16.

¹⁰⁶ Ассман Я. Указ. соч. С. 166–167.

мативности, а не с понятием «варварство». Эта борьба шла с переменным успехом, порой противостоящие ему понятия побеждали. Так, ушло в прошлое близкое по смыслу понятие XVII века «civilité». «Наряду с “цивилизованностью”, сначала получившей высокую ценность, а затем обесцененной как сообщница двуличия, – пишет Ж. Старобинский, – [надо было] ввести иной, свободный от подозрений термин, который можно было бы подставить на место первоначального, утратившего свою ценность. Этому второму термину приписывается высшая степень подлинности. Именно так происходит со словом “учтивость” [politesse], которое сначала служило синонимом “вежливости”, но затем стало пользоваться предпочтением и лексикографов, и моралистов, до тех пор пока и само, в свою очередь, не попало под подозрение»¹⁰⁷.

Изначально важнейшей чертой всех этих понятий была неясность, размытость смыслов, разрушавших коммуникацию между общественными группами и позволявшая манипулировать ею. Судить об адекватности понятий идеалу мог только знаток, человек со вкусом, прежде всего светский человек. Вот соотношение понятий, как его трактовали современники: «Быть *учтивым* значит больше, чем быть *вежливым*. *Учтивый* человек обязательно *вежлив*; но человек всего лишь *вежливый* еще не *учтив*: *учтивость* предполагает вежливость, но прибавляет к ней и нечто большее... Человек из простонародья, даже крестьянин, может быть *вежлив*; но один лишь светский человек может быть *учтив*... Учтивые манеры не всегда говорят о справедливости, доброте, снисходительности и благодарности, но они хотя бы создают видимость этих свойств, и человек по внешности кажется таким, каким ему следует быть по сути»¹⁰⁸. Идеал цивилизации демонстрировал, каким надо *казаться*, чтобы соответствовать придворной моде. «Схема дисквалификации одна и та же, – отмечает Старобинский, скрыто полемизируя с Элиасом, – добродетель, которую должны быть насквозь проникнуты индивид, группа, все общество в целом, оказывается лишь жалкой, призрачной видимостью. Будучи не более чем поверхностной видимостью, учтивость и вежливость оставляют в глубине души свободное поле действий для противоположных им качеств – недоброжелательности, злокозненности, одним словом насилия, от которого в реальности-то никто не отрекся»¹⁰⁹.

Хотя понятие «варварство» все это время также играло определенную роль, но соотносилось не только с представлениями о далеких странах, но все в большей мере с образом «неправильной цивилизации» са-

¹⁰⁷ Старобинский Ж. Слово «цивилизация». С. 120.

¹⁰⁸ Там же. С. 121–122.

¹⁰⁹ Там же. С. 122.

мой Франции. Как всегда, фоном для него служили религиозные споры. Не случайно, что в 1750–1770-е гг. понятие «цивилизация» все больше связывалось не с придворной жизнью, а с нравственностью и религией, и лишь впоследствии – с общественной и хозяйственной жизнью. Важным смысловым аспектом этого понятия было противопоставление практике XVI–XVII вв., в которой смягчение нравов придворного общества, о котором писал Элиас, выродилось в формальность. «Вместо того чтобы устранять свойственное “первобытным” народам насилие, – поясняет Старобинский, – эти [европейские] цивилизации увековечивают жестокость, прикрывая ее обманчивой внешностью. Вместо откровенного варварства современные цивилизации осуществляют насилие скрытно». Поэтому понятие «цивилизация» изначально многозначно и может по-разному относиться с понятием «варварство». «По своей форме это новаторское понятие, но оно не рассматривается как несовместимое с традиционной духовной властью (религией), напротив, оно само из нее происходит; – пишет далее Старобинский, – оно обозначает процесс совершенствования общественных отношений, увеличения материальных ресурсов и в этом смысле выражает собой некоторую “ценность”, определяет то, что будут называть “идеалом”; оно сопрягается с императивом добродетели и разума. Но под пером того же автора оно получает и чисто описательную, нейтральную функцию: оно обозначает совокупность институций и техник, которыми обладают великие империи в высший момент своего развития и которые утрачиваются ими в период упадка. Допускается, что те или иные общества могут различаться по своей структуре без ущерба для общего понятия цивилизации. Наконец, этот термин применяется к современной действительности, включая все, что в ней есть неправильного и несправедливого. В этом своем последнем значении цивилизация оказывается мишенью критической рефлексии, тогда как в первом, упомянутом выше значении она носила идеальный характер, представляя собой нормативное понятие, позволяющее дискриминировать и строго судить не-цивилизированных, варваров, малоцивилизированных. Таким образом, критика разворачивается в двух направлениях: критика цивилизации и критика во имя цивилизации»¹¹⁰.

Надо отметить, что в этом смысловом пространстве было много места как для комплиментарных («западнических»), так и для симметричных и контр-комплиментарных («почвеннических») и националистических) подходов к цивилизации, развившихся впоследствии в культурах разных стран. Подчеркнем еще раз, что все эти противоречивые смыслы и интерпретации укоренены в изначально множественном

¹¹⁰ Там же. С. 118.

и противоречивом толковании этого понятия, предполагающего легкость переполюсовки (инверсии) смыслов.

В этом качестве понятие «цивилизация» представляло собой идеальный инструмент для «двойных посланий» разного рода. Это свойство подкреплялось непрерывным «смысловым дрейфом». Вплоть до XIX века цивилизация – во многом функция религии и работы церкви. В словаре 1694 г. читаем: «Евангельская проповедь цивилизовала даже самые дикие варварские народы». Во «Всеобщем словаре» 1771 г. указано: «Религия – без сомнения, первейшая и наиболее полезная сдерживающая сила человечества; это главная движущая сила цивилизации». Но параллельно возникают и новые научные – географические и эволюционные подходы. «Варварство» становится характеристикой географической периферии или этапом на пути к «цивилизации». Возникает множество записок путешественников, проецирующих этот анти-идеал на картины жизни далеких народов, а также исторические сочинения, описывающие при его помощи прошлое. Буланже впервые выделил в 1766 г. дикость, варварство, эпоху просвещенной монархии и цивилизации как стадии процесса борьбы общества против деспотизма и клерикализма¹¹¹. В 1776 г. подобным же образом в Англии Адам Фергюсон разделил историю человечества на три стадии: дикость, варварство и цивилизацию. Период варварства он связывал со становлением земледелия, городов и собственности, обострением социального неравенства и общественных противоречий, единственной сдерживающей силой которых являются деспотическая власть и религиозная вера, а период цивилизации – со становлением гражданского общества и преодолением противоречий на основе права¹¹². В результате функционально-морализаторская основа «двойных посланий» в цивилизационном дискурсе была расширена за счет когнитивной – географической и эволюционной их основы.

Но вплоть до Великой французской революции понятие «цивилизация» служило скорее объектом элитарной словесной игры. Наступление «третьего сословия» в конце XVIII века было равноценно девальвации этого понятия: ««деревенская грубость» реабилитируется, а надкуцыми приятностями, милыми сердцу Фонтенеля, начинают насмехаться. Дидро даже заявляет: «Поэзия требует чего-то огромного, варварского и дикого»»¹¹³. В период Французской революции «дворянское» поня-

¹¹¹ *Boulanger N.A.* Recherches sur l'origine du despotisme oriental. Amsterdam, 1761; *Boulanger N.A.* L'Antiquite dévoilée par ses usages ou examen critique des principales opinions, ceremonies et institutions religieuses et politiques des differens peuples de la terre. Amsterdam, 1766.

¹¹² *Фергюсон А.* Опыт истории гражданского общества. М., 2000. С. 158–164.

¹¹³ *Старобинский Ж.* Указ. соч. С. 120.

тие «цивилизация» на время отступает на задний план. «Слово “цивилизация” почти никогда не встречается в полемических текстах Мирабоссына, Дантона, Робеспьера, Марата, Демулена, Сен-Жюста, которые охотнее поминают *отечество* и *народ*, призывают к великим гражданским ценностям – свободе, равенству, добродетели – и восславляют решительные успехи революции с помощью метафоры света»¹¹⁴.

Лишь постепенно оно начинает переосмысливаться и ассоциироваться с новыми идеалами, вновь меняя свое смысловое содержание, но сохраняя манипулятивную силу. Оно соотносится с ценностями «человечности», «благодетельности», «гражданственности», превращается из инструмента реакции в инструмент революции, провозглашает революционную нормативность ценностей и идеалов «третьего сословия». При этом его самостоятельность, авторитет, нормативная сила и манипулятивные возможности растут: «благодаря этим ценностным ассоциациям и своей связи с идеей совершенствования и прогресса слово “цивилизация” начинает не просто обозначать сложный процесс очищения нравов, организации общества, повышения технической оснащенности, роста познаний, но и обретает священную ауру, позволяющую ему то усиливать собой традиционные религиозные ценности, то, наоборот, подменять их... Когда некоторый термин делается священным, противоположный ему демонизируется. Постольку, поскольку слово “цивилизация” обозначает уже не подлежащий оценке факт, а некую непреложную ценность, оно включается в арсенал словесных средств, служащих для хвалы или обвинения. Не приходится более оценивать недостатки или достоинства цивилизации. Она сама становится главным критерием всего: именем цивилизации начинают выносить приговор. Следует быть на ее стороне, защищать ее дело. Все, кто откликается на ее зов, достойны восхваления, а те, кто нет, – осуждения: все, что не есть цивилизация, что ей противится и угрожает, рассматривается как чудовищное, абсолютное зло»¹¹⁵. В этих условиях понятие «варварство» тоже приобретает особый смысл, универсализируется, превращается из формального противопоставления «цивилизации» в полную антитезу благу и справедливости. «Распаленный своим красноречием оратор может даже требовать высочайших жертв во имя цивилизации. А это значит, что служение цивилизации или защита ее в некоторых случаях могут стать оправданием насилия. Антицивилизованных людей, варваров должно обезвреживать, раз уж их нельзя перевоспитать или переубедить»¹¹⁶.

¹¹⁴ Там же. С. 128.

¹¹⁵ Там же.

¹¹⁶ Там же.

Понятие «варварство» распространяется на другие народы, прежде всего на ближайших соседей – немцев. Так, Э. де Мовийон в 1740 г. характеризовал немецкий язык, культуру и образ жизни населения как грубые, варварские и отсталые по природе. Эти определения побоваристски покорно встречали иностранцы. Король Фридрих II именовал немецкий язык полу-варварским потому, что он разделен на диалекты¹¹⁷. В этих условиях «варварство» местных жителей зарубежных стран становится во Франции оправданием территориальной экспансии и колониальных захватов, а распространение цивилизации, как у Кондорсе, походя критиковавшего в 1794 г. колониализм и прозелитизм католичества, – достойной целью просвещенных народов.

Возникает мифология цивилизации, конструирующая образы «варваров», которые «ждут того, чтобы мы их цивилизовали, и жаждут встретить в европейцах братьев, чтобы стать их друзьями и учениками... нации, поработанные духовными деспотами или тупыми завоевателями, которые вот уже сколько веков зовут освободителей». Гуманный автор согласен даже на то, чтобы эти варварские народы, «все более уменьшаясь численно по мере наступления цивилизованных наций, ... в конце концов незаметно исчезли». Важно лишь то, что «солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми»¹¹⁸. Таким образом, в рамках дискурса «варварство – цивилизация» гуманизм уже под пером Кондорсе превращается в свою противоположность.

На этой основе во Франции на рубеже XIX века формируется колониальная и империалистическая идеология противостояния немецкому «варварству» в Европе и «цивилизующей и воспитательной миссии, которая лежит на высшей расе» в колониях¹¹⁹. В Англии и послереволюционной Франции, где революционная концепция цивилизации не была принята, Э. Берк, Ж. Малле дю Пан, Ф.-Р. де Шатобриан, Ф.-Р. де Ламенне ассоциируют «варварство» по-прежнему, в рамках реакционной дворянской концепции цивилизации, с буржуазным, простонародным и критическим духом, проявившим свою разрушительность и дикость во время революции. Это понятие оправдывает раскол нации и представление о «классовой гигиене». «Варварство заключено в духе уравнительности, проповедуемой демагогами, или же в бунте “грубой черни”, – подытоживает эти идеи Старобинский. – Итак, “дикий” мир располагается уже не вовне, на каких-то дальних берегах или в глубоком прошлом; он кроется среди наших стен и готов вырваться из мрачных глубин общест-

¹¹⁷ Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. С. 67.

¹¹⁸ Цит. по: Старобинский Ж. Указ. соч. С. 129–130; Кондорсе М.Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С. 224–228.

¹¹⁹ Старобинский Ж. Указ. соч. С. 130, 132.

ва... *Внутренняя* угроза порой принимает социальный облик “опасных классов” – пролетариата, этих “апачей” и “могикан”, живущих в больших промышленных городах; порой она воспринимается как последствие освобождения инстинктов, вызванного интеллектуальными движениями раскрепощения и бунтарства»¹²⁰. Ценности цивилизации теперь прямо предложено защищать силами реакции, «всеми возможными средствами – ограждением, охраной порядка, воспитанием и пропагандой»¹²¹, и мерами, не исключавшими прямого насилия.

Круг замкнулся. Дальнейшее движение в Англии, Франции и Германии осуществляется в его пределах: у Г. Рюккерта «цивилизация» была идентифицирована с религиозной экспансией, а Ш. Бодлер объявил Францию, как и Бельгию, «странами сугубо варварскими»¹²². При этом внутренняя противоречивость понятия «цивилизация» и способов его использования, отмеченная Ж. Старобинским, не только сохраняется, но и приобретает теоретическое оформление.

От Г. Рюккерта до А. Дж. Тойнби образ цивилизации имеет устойчиво двойственный характер: представление о равенстве локальных цивилизаций неизменно сочетается в пределах одного исследования с образом развития от «варварства» к цивилизации (или даже от природы к культуре), что позволяет выстраивать иерархическую картину мира¹²³. И это представляется естественным: понятия «варварство» и «цивилизация», изначально предназначенные для дезориентации конкурента, манипулирования психикой индивида и общественным мнением, функционируют таким образом, что их смысл меняется не только с течением истории, но и в угоду сиюминутным условиям межгрупповой борьбы¹²⁴.

Поэтому можно констатировать, что в понятиях «цивилизация» и «варварство» на протяжении XVII–XIX вв. сохранился весь тот деформирующий индивидуальную психику и социальные коммуникации потенциал, о котором писали Н. Элиас, М. Фуко, Ж. де Готье, Г. Бейтсон и Н. Луман. Как конкретно это происходило, можно проследить на примерах стран, существовавших в условиях связанной истории со странами и регионами, претендовавшими на звание цивилизованных. Речь пойдет об Англии и Ирландии, Европе и Латинской Америке, Западе и Японии, России и Западной Европе.

¹²⁰ Там же. С. 133–134.

¹²¹ Там же. С. 135.

¹²² Там же. С. 140; *Rückert H. Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darschstellung*. 2 Bd. Leipzig, 1857.

¹²³ См. подробнее: *Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия*. М., 2007.

¹²⁴ Об этом см. также: *Трельч Э. Историзм и его проблемы*. М., 1994. С. 124.

Англия и Ирландия

В процессе завоевания англичанами Ирландия в XVII веке была осознана ими как не-Англия, «страна, население которой было, в весьма важных проявлениях, полной противоположностью его новых заморских властителей». Образ местных жителей сформировался в рамках контрарной самоидентификации как антитеза, подчеркивающая и оттеняющая позитивный образ цивилизованного англичанина. Последние стремились представить себя миру как цивилизованных – утонченных, организованных и укорененных (*controlled, refined and rooted*), а ирландцев стали изображать как горячих, грубых и скитающихся (*hot-headed, rude and nomadic*) или же как мятежных и эмоциональных детей. Ирландия рисовалась крайне негативно, причем виновата в ее бедах была сама таинственная природа острова, стимулировавшая насильственные предрасположенности человека. Этот демонизированный образ стал навязываться и местным жителям как не подлежащая сомнению истина. Мир протестантизма обозначался как мир цивилизации и света, в то время как образ пьяного ирландца-католика, забредшего в английский сэттльмент и убитого там – как образ жертвы собственного «варварства». Гэлов, сопротивлявшихся английскому завоеванию и террору, предлагалось спасти, избавив от дикости. Эта высокая цель требовала радикальных средств. Для того чтобы научить гэлов нормам гражданской жизни, можно было пожертвовать жизнями многих из них. Они должны были изменить прически и обрезать волосы (чтобы были видны их лица заговорщиков), укоротить одежду (чтобы не могли прятать оружие), и конечно, они должны были говорить на английском языке. Подобное самосознание было транслировано в Америку, а затем и в другие области империи и служило для укрепления имперского духа и противопоставления колонизаторов и колонизируемых¹²⁵.

Д. Киберд, описывая процесс «варваризации» и обратной «цивилизации» Ирландии в ее квазиколониальных отношениях с завоевателем – Англией, подчеркивает, что причиной подобного разделения была слишком очевидная *схожесть* англичан и ирландцев, которая затрудняла «научное» обоснование политического господства. Поэтому необходимо было разрушение коммуникации и недопущение синтеза культур. Англичанами двигал *страх гибридности*, которая могла затушевывать границы между их утонченностью, цивилизованностью – и дикостью ирландцев. Поэтому параметры этой фиктивной границы стали предметом разнообразных спекуляций и манипуляций, порождавших у местного населения и колонистов чувство вины. Старые, а затем и «но-

¹²⁵ Kiberd D. *Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation*. London, 2002. P. 9–10, 16.

вые» англичане для сохранения стандарта цивилизованности, боясь заражения «ирландским варварством», устраивали в своей среде чистки. Ирландия в английских текстах рассматривалась как «дистопия», отсутствующее место, характеризующееся весьма произвольно. Изображение ирландца на английской сцене сочетало образы тщеславного солдата и ничтожного слуги. Это «деревенщина и ублюдок» (эти слова Шекспир вложил в уста «старого англичанина» капитана МакМорриса из пьесы «Генрих V»), у которого нет нации. Такое отношение к Ирландии, по мнению Киберда, во многом диктовалось страхом перед возможным союзом Ирландии и Испании как католических стран¹²⁶.

В результате сложилась непростая психологическая и коммуникативная ситуация. Англичане проецировали на ирландцев и другие колониальные народы собственные недостатки. В попытках создать из Ирландии новую Англию на ее образ проецировались подсознательные эмоции, прежде всего страхи самих англичан. Возникла «тайная Англия, которую называли Ирландией», которая концентрировала эти страхи¹²⁷.

Откровенность манипуляций привела к их изобличению и мощному ответу. Довольно быстро произошла инверсия «ассимиляция и колонизация» переросли в «фазу отталкивания, дифференциации или эмансипации». Уже в XVIII в. началось создание в Ирландии и выходцами из нее «оксиденталистских» образов Англии и англичан. Дж. Свифт в своих сатирах насмеялся над ритуализованным поведением «цивилизованных» придворных, которое превращалось в своего рода религию и могло служить поводом к войне (Лилипутии против Блефуску), или характеризовал отношения придворных к королю как пример дикарского поведения йеху, само название которых означает «зло» и «безобразие», а также сардонически предлагал поджаривать ирландских детей для английских столов. Это вызвало в то время в Англии живое обсуждение среди читателей, воспринявших предложение всерьез.

В течение XVIII–XX вв. выходцы из Ирландии Дж. Свифт, Б. Шоу, О. Уайлд и Дж. Джойс создавали образ родной страны, последовательно *деанглизируя* образ Ирландии, возвращая ему исходное своеобразие. Уайлд писал, что тот, кто хочет изобрести Ирландию, должен сначала переизобрести Англию», *вывернуть ее наизнанку*. Романтик Э. Берк указывал, что колониальная политика цивилизаторства привела к негативным последствиям, в результате которых ограничения цивилизации были отброшены теми самыми людьми, которые претендовали на то, чтобы распространять цивилизацию¹²⁸.

¹²⁶ Ibid. С. 10–13.

¹²⁷ Ibid. С. 15.

¹²⁸ Ibid. P. 13, 16, 18, 32–35.

Однако идея о «варварстве» ирландцев не только не исчезла, но и получила в условиях кризиса Британской империи во второй половине XIX в. «научное» подкрепление со стороны позитивистской социологии Г.Т. Бокля, который статистически обосновал близость жизненного уклада колониальных стран: традиционных цивилизаций Востока – Египта и Индии, с одной стороны, и Ирландии, с другой. Как на Востоке, так и в Ирландии «цивилизация народа развивается неправильно», «прогресс оказывался весьма шатким», а человек по своей натуре раб и не может быть никем и никогда «выведен из [этого] состояния, свойственного ему по природе»¹²⁹. И все же противостояние Ирландии и Англии постепенно смягчалось, вместо антитезы «цивилизация – варварство» стали использоваться гендерные стереотипы. Англия в конце XIX в. рисовалась страной взрослой и мужественной, рациональной, а Ирландия – незрелой и женственной, эмоциональной. Распространялась мысль о том, что ирландцы так же неспособны к самоуправлению, как женщины и дети¹³⁰.

Это способствовало воспроизводству доминирования Англии, но одновременно порождало ответную агрессию ирландцев-католиков, выразившуюся в революционном движении 1916–1921 гг. и гражданской войне 1922–1923 гг., в превращении страны в доминион Великобритании, а затем и самостоятельное государство, а впоследствии и в партизанской войне в Ольстере. В результате представление об ирландской идентичности долгое время оставалось проблематичным. Для восстановления коммуникаций, оборванных колонизацией и цивилизаторской идеологией, понадобилась масштабная «клиотерапия». Большую роль в процессах самоидентификации играли сначала конструирование позитивной «природы» ирландцев не только на базе католичества, но и на базе древней кельтской «расы», кельтских корней ирландцев, а затем постколониальная деконструкция английских мифов об Ирландии¹³¹.

Европа и Латинская Америка

В странах с заимствованным, зависимым цивилизационным сознанием идеал цивилизации нередко оказывался противопоставлен реалиям страны. Не только в колониальных, но и в независимых странах, тяга к «цивилизации», ассоциировавшейся с европейским или североамерикан-

¹²⁹ Бокль Г.Т. История цивилизаций. История цивилизации в Англии. Т. 1. М., 2000. С. 52–53, 57, 72, 83.

¹³⁰ Kiberd D. Op. cit. P. 30.

¹³¹ Chapman M. The Celts: The Construction of a Myth. N.Y., 1992; O'Brien C. Ancestral Voices: Religion and Nationalism in Ireland. Chicago, 1994; Deane S. Strange Country: Modernity and Nationhood in Irish Writing since 1790. Oxford, 1997; Howe S. Ireland and Empire: Colonial Legacies in Irish History and Culture. Oxford, 2000; The End of Irish History? Critical Reflections on the Celtic Tiger / C. Coulter & S. Coleman (eds.). Manchester, 2003; McCarthy C. Edward Said and Irish Criticism // *Eire-Ireland*. № 42. 2007.

ским опытом, часто приводила к негативному самовосприятию и крайним формам самоотчуждения, деформировавшим развитие нации. Классический пример – деятельность во второй половине XIX в. великого писателя, а затем президента Аргентины, унитариста Д.Ф. Сармьенто. Борясь против федерализма, он не столько стремился объединить наличные силы рождающейся нации, сколько отвергал, порицал и преследовал значительную ее часть – население пампы (пастухов-гаучо, метисов и индейцев), представляя его обычаи и характер как негодные, «варварские». Эту «расу», составившую первоначальное, неудачное, гнилое ядро аргентинской нации, нужно, по его мнению, заменить другой.

Сармьенто рассматривал цивилизацию как идеал общественной жизни, воплощенный в Европе и США, обеспечение порядка и прогресса во всех областях, простор индивидуальной инициативе, господство разума над страстями, закона и права над грубой силой, соблюдение принципов свободы и демократии. Напротив, с реальностью Латинской Америки Сармьенто связывал все, что оценено как «варварство» – застой, деспотизм, доминирование силы над правом, природы над человеком, животных страстей над разумом, хаотичность всего строя жизни. «Варварами» представлялись писателю и испанцы, выходцы из наименее цивилизованной страны Европы. Смешение рас (метисация) рассматривалось как главная причина, препятствующая культурному и социальному развитию народов Америки. Каждый из этнических элементов Аргентины – это часть калейдоскопа *антицивилизации*. В пампе все дикое – и звери, и люди. Их порождает «почва» пампы – царящие там географические и расово-культурные условия. Этот способ существования ассоциировался у него с азиатскими просторами, а поведение пастухов-гаучо – с нравами древних кочевников. Ведь гаучо рожден не культурой, а природой, это обитатель пампы, которая угрожает самому существованию цивилизации, социальности человека. «Чтобы занять ее всю, – пишет он, – пришлось бы уничтожить человеческое сообщество (курсив мой – И.И.) и расселить семьи по необъятной территории»¹³². Пампа противостоит культуре, она рождает «варварство» самой своей бескрайностью. Поэтому против местного населения проводилась политика геноцида. «Не старайтесь сберечь кровь гаучо, – писал Сармьенто, уже будучи военным министром. – Это удобрение... Кровь – единственное, что есть в них человеческого». «Арауканы, – утверждал он в другом случае, – упрямые животные, неспособные к восприятию европейской цивилизации»¹³³.

¹³² Сармьенто Д.Ф. Варварство–цивилизация. Избр. соч. М., 1995. С. 27.

¹³³ Земсков В.Б. Доминго Фаустино Сармьенто: человек и писатель // Сармьенто Д.Ф. Указ. соч. С. 480.

Сармьенто – двойственная фигура, посылавшая стране взаимоисключающие сообщения. Как политик, он создавал репрессивные законы против гаучо, как просветитель прославился под именем «Доктор гаучо», а сам называл себя «цивилизованным гаучо»¹³⁴. В борьбе нации против враждебных ей сил он сознательно взял на себя одновременно роли карателя и учителя, носителя добра и зла. «Историческое зло неизбежно, но оно само по себе провиденциально, ибо готовит дорогу добру, прогрессу, победа которого также провиденциальна»¹³⁵. Аргентина для него – поле мировой войны между цивилизацией и «варварством». «Такая же борьба цивилизации и варварства, города и пустыни происходит сегодня в Африке; у орды и у монтонеры (федералистов. – И.И.) одни и те же герои, общий дух, общая стратегия стихийности. Бесчисленные массы блуждающих по пустыне всадников... словно тучи казаков, тут же бросаются враспынную, даже если бой идет на равных... непобедимые в боевых операциях, на исходе которых организованная армия гибнет, изнуренная и обескровленная мелкими стычками, неожиданными набегами, усталостью»¹³⁶. Более того, Аргентина – наиболее тяжелый фронт войны. «Только история побед мусульман над Грецией дает нам пример подобной варваризации, столь скорого разрушения»¹³⁷.

Задача Сармьенто – вернуть страну в лоно цивилизации, а значит и в лоно истории. Поэтому его мышление глубоко исторично. «Для Сармьенто вся реальность, – писал Э. Андерсон, – это история, вплоть до самых маленьких пустыяков, которые превращаются в символы цивилизации, оттесняющей варварство». Примером таких пустыяков выступает английский сад – заповедник европейской цивилизации в «варварском» Буэнос-Айресе¹³⁸. Но вместе с тем это жесткое, дихотомичное, боваристское мышление, не признающее и отторгающее низшего Иного. Последний вызывает яркую эмоциональную, истеричную реакцию. Врагом для Сармьенто выступает почвенническая идеология, *американизм*, «готовый создать из нас новую общность, непохожую на европейские народы. Наряду с уничтожением всех учреждений, перенятых у Европы, началось преследование фрака, моды, бакенбард, укороченных панталон с гетрами, особой формы ворота и жилета, причесок; согласно журналу мод, европейскую моду заменили красный жилет, короткая куртка, пончо как в высшей степени американская национальная одежда». Эта новая

¹³⁴ Там же. С. 468. О влиянии этих идей и их соотношении с различными испанскими вариантами см. диссертацию: *Losada M.J. Avatars of a Binary: Civilization or Barbarism from Sarmiento to Contemporary Spain. Berkeley, 2009.*

¹³⁵ *Земсков В.Б.* Указ. соч. С. 452.

¹³⁶ *Сармьенто Д.Ф.* Варварство–цивилизация. Там же. С. 53.

¹³⁷ Там же. С. 57.

¹³⁸ *Земсков В.Б.* Доминго Фаустино Сармьенто... С. 478–479.

варварская мода наступает, выявляя и уничтожая оппонентов. «Ничего подобного история не знала, за исключением списков инквизиции»¹³⁹.

Нарисовав эту страшную картину борьбы с европейской модой, Сармьенто ставит вопрос ребром: «Вы никогда не слышали слова *дикарь*? Оно витает над нами. Речь идет именно об этом: быть или не быть *дикарями*». И план переселения миллионов иммигрантов из Европы в его устах выглядит уже не планом ре-колонизации, сопровождаемой истреблением существующего населения, а естественным движением цивилизованных народов, заполняющих пустующее или опасное для судеб цивилизации пространство. «Неужели мы должны добровольно закрыть двери европейской иммиграции?» – вопрошает он¹⁴⁰. И отвечает: «Сто тысяч переселенцев ежегодно даст нам миллион трудолюбивых европейцев за десять лет, они расселятся по всей республике, научат нас трудиться, и их достояние пополнит достояние всей страны. Миллион цивилизованных людей сделает невозможной гражданскую войну, ибо в меньшинстве окажутся те, кто ее желает»¹⁴¹. Его соратник Х.Б. Альберди полагал, что подлинная нация Аргентины – не реальные люди, а фантазия, проект, «другой народ, не имеющий ничего общего с прежним», он предложил признать подлинной родиной аргентинцев не Латинскую Америку, а Европу, как творца всякой возможной цивилизации, а для этого пополнить население новыми колонистами. Это соответствовало задаче превратить страну полуварварскую в полудивицилизованную, а на место утопической демократии поставить прагматичную олигархию¹⁴².

Став президентом Аргентинской республики (1868–1874) Сармьенто совместно с Альберти реализовал цивилизаторский проект под лозунгом «Станем Соединенными Штатами!»¹⁴³. Если в 1869 г. иностранцы составляли 12,1% населения страны, то к 1895 – 25%, Аргентина опередила США по темпам иммиграции и роста населения. За 40 лет население страны выросло в 3,5 раз, прежде всего за счет итальянцев, испанцев, французов, из которых составил клан латифундистов. Посланник России в Аргентине А.С. Ионин отмечал в 1895 г. внешнюю победу идеи цивилизации¹⁴⁴. Однако идея избавиться «от порочного пятна собствен-

¹³⁹ Там же. С. 192, 176. Проблема одежды и ее отношения к цивилизации играла для Сармьенто особую роль и обсуждалась на с. 100–102.

¹⁴⁰ Там же. С. 13.

¹⁴¹ Там же. С. 214.

¹⁴² Цит. по: *Сей Л.* Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. М., 1984. С. 277–278, 282–285.

¹⁴³ Там же. С. 282, 268, 270, 275.

¹⁴⁴ *Казиков В.П.* Общественно-политический кризис 1890–1893 г. в Аргентине: истоки и последствия. М., 1998. С. 33; Аргентинская республика // Энциклопедический словарь бр. Гранат. М., б. г. Т. 3. Ст. 397, 403.

ного своеобразия» и практическое «отрицание самого себя в попытке дать бытие качественно новой личности» породили в стране дух самоотчуждения¹⁴⁵. Антигуманная практика цивилизаторства была шоком, на десятилетия вперед определившим развитие общественно-политической мысли. Она обозначила границу, за которой исповедание цивилизационных ценностей становится откровенно нецивилизированным. Л. Сеа писал, что «цивилизаторский проект оказывался копией, слепком с западного колонизаторского проекта, в котором идея цивилизации выступала одновременно целью и оправданием неокOLONIALИЗМА... от латиноамериканского цивилизаторского проекта, полностью игнорировавшего собственный опыт и пытающегося ассимилировать чужой, практически ему неведомый, только шаг до самоуничтожения...»¹⁴⁶.

В результате истребления индейцев и превращения страны в добычу латифундистов произошла инверсия: «осадочное общество» приезжих, имевших европейское самосознание, не выдержало испытания многочисленными кризисами, и к власти в 1940-е гг. пришел националист и популист Х.Д. Перон, стремившийся, прежде всего, удовлетворить потребность народа в позитивной самоидентификации и называвший себя «аргентинским рабочим номер один». Он проповедовал идею новой Аргентины, «третий путь» между капитализмом и коммунизмом, отчасти близкий фашизму. В конечном счете, и этот проект оказался побоваристски провальным¹⁴⁷. Но истоки кризиса – не только в самом национализме, а и в игнорировании специфики страны, потребности в адекватных формах самосознания и коммуникации, диалоге культур, без которого мультикультурное сообщество существовать не может.

Мексиканские мыслители А. Касо и Л. Сеа трактовали политику Сармьенто и ему подобных, вслед за Ж. де Готье, как боваризм, европоцентристскую *жизненную дезориентацию*. Касо, одним из первых в начале XX в. использовавший это понятие для характеристики культурной ситуации Мексики¹⁴⁸, считал наиболее ярким проявлением боваризма на национальном уровне (*bovarismo nacional*) влияние западных исторических схем, порождающих стремление отрешиться от реальной жизни и проблем страны и жить в другой реальности, имитируя ложные, чужие идеалы, видения, фикции. В политике это порождает дезориентацию и деперсонализацию, стремление «воспринимать себя не

¹⁴⁵ Сеа Л. *Философия американской истории*. С. 272.

¹⁴⁶ Там же. С. 265.

¹⁴⁷ *Задорожный М.* Политическая анатомия аргентинского кризиса.

(<http://www.polit.ru/article/2007/09/19/argentina/>).

¹⁴⁸ *Decante S.* Politiques du bovarisme en Amérique latine (1910–1960) // LHT Dossier (<http://www.fabula.org/lht/9/index.php?id=342>).

такими, какие мы есть в действительности». Он называл боваризм «вечной тенью на истории Мексики»¹⁴⁹. Касо описывал при помощи этого понятия деформации цивилизационного сознания: «Каждый человек в глубине своей – боварист, неосознанный ученик знаменитой французской героини. Каждый думает, что служит для целей, которые не есть те, которые от рождения он должен реализовать. Мы рождаемся с нашей собственной миссией, но общественная жизнь... школа, религия, политика... уведут нас от нашей оригинальной миссии, ставят перед нашими глазами мираж того, чем мы хотели бы быть...»¹⁵⁰.

Для Сеа боваризм – «пустота, присущая субъекту, бегущему от собственной реальности и пытающемуся реализовать себя вне ее». Он связывал идею боваризма с идеями цивилизаторства и самоколонизации: «Следствием позиции, занятой мадам Бовари, явилось ее поражение; мы потерпели поражение по той же причине. Нашей позицией было отрицание, игнорирование собственной реальности принятием чужой реальности, которая как таковая исключала наше самоосуществление. Отречение от основ своей реальности привело... к накоплению проблем, но не решений. Боваризм не разрешает проблем – он их только накапливает. Начало этому положила конкиста, которая, смешав народы, создала для них проблемы, не дав их решений. Еще не решив проблем, порожденных конкистой, мы уже ставили вопрос о либерализме, который не решал предыдущих проблем, а создавал новые, и так продолжалось далее, накапливались проблемы, а не их решения. Таковой видится история нашей Америки, – история, отличная от западноевропейской и выражающаяся в постоянной ассимиляции импортированных идей, боваристских идеалов... Такое объяснение помогает нам извлечь из этих поражений необходимый опыт, на основе которого мы построим мир, но не боваристский, а реальный»¹⁵¹. Правда, в отличие от Касо, Сеа видел проявления боваризма не только в европоцентризме, но и в национализме, отказывающемся признать европейское культурное наследие и диалог с Европой как части культурной реальности Латинской Америки. Он признавал *периферийность, маргинальность и зависимость* Латинской Америки как факт и связывал именно с ним «несоответствие между субъектом и объектом, между человеком и реальностью». Однако это не только реальность, но и следствия манипуляции, производимой утилитаристской интеллектуальной историей Д.Х. Робинсона и

¹⁴⁹ Сеа Л. Указ. соч. С. 22; *Alanis T.B.* Antonio Caso: una visión de la historia de México (<http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/TyV/33/222172.pdf>).

¹⁵⁰ Цит. по: Колесов М. С. *Философия и культура Латинской Америки*. Симферополь, 1991. (http://lit.lib.ru/k/kolesow_m_s/text_0030-1.shtml).

¹⁵¹ Сеа Л. *Философия американской истории*. С. 22–23.

К. Брайтона, которая неизменно вырождается в нормативную философию истории. Эту манипуляцию надо преодолеть. Вслед за К. Реалем де Асуа он считал непосредственной причиной когнитивных деформаций «двойное переживание (вспомним Бейтсона! – *И.И.*) своей маргинальности по отношению к Западу и своего приобщения к его благам». Предлагался универсалистский выход на путях культурного синтеза: «Наша история – часть единой и великой истории, истории человека»¹⁵².

Запад и Япония

Сходные процессы происходили в Японии, когда на заимствованные ранее формы китайского цивилизационного самосознания наложись формы западного (американского). Для Японии XVII–XVIII вв. характерно типично элитистское негативное отношение к крестьянам, которых философ Ямага Сокё вслед за китайскими неоконфуцианцами считал не поддающимися увещаниям и моральным изменениям. В XIX в. это отношение было перенесено на городских бедняков, их религиозные верования, социальные формы, обычаи, которые были признаны «варварскими». Преследование «варваров», насильственное изменение их одежды и поведения было провозглашено официальной линией в 1838 г. и вышло на первый план в эпоху Мейдзи (Д. Хауленд определяет ее как «публичное культивирование цивилизации посредством государственной политики»). Характерно, что изменением обычаев ведало Министерство юстиции. Большую роль в этой перестройке играли идеи «варварства» и цивилизации.

Традиционно мир японца делился на человеческий и мир демонов. Первому принадлежали острова, второму – окружающий их океан. Но к XVII–XIX вв. это деление изменилось: мир демонов был переименован в «варварский». В соответствии с китайским конфуцианским канонам цивилизованными считались лишь люди, которые едят, употребляя иероглифы, и едят, используя палочки. Японскую цивилизацию связывали с местными обычаями знати, в частности, с мужские прическами, которые стали нормативными с XVII в., а также с обычаем благопристойных женщин чернить зубы и брить брови. Поэтому крестьяне, не следовавшие этим обычаям, интерпретировались как «варвары». Зарубежные страны делились на цивилизованные, «где принят конфуцианский ритуал» и «варварские», такие как Россия. Айны считались «варварами» также потому, что не сеяли зерно, а занимались рыболовством, охотой и собирательством. Поэтому айнам запрещалось говорить по-японски, это рассматривалось японцами как «несмываемое оскорбление»¹⁵³.

¹⁵² Там же. С. 23–29.

¹⁵³ Howell D.L. Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan. L., 2005. P. 1, 135–139, 140, 157.

Воззрения на соотношение «варварства» и цивилизации, как и в других странах, динамично трансформировались. Если в XVII в. считалось, что на «варваров» и простых людей не действует моральное увещание, то в XVIII в. все составляющие части японского общества были включены в сферу цивилизации страны, провозглашенной отличной от цивилизации Китая и Кореи. Постепенно население как северных, так и южных островов стало рассматриваться как цивилизованное, причем в значительной степени это определялось экономическими интересами государства и знати. В 1855 г., когда угроза захвата Курильских островов и о. Хоккайдо русскими войсками стала очевидной, айнов стали заставлять принимать японские имена, говорить по-японски, носить японскую одежду. Цивилизаторская политика в отношении айнов самими японцами осознавалась как их «возвращение к нормальной жизни»¹⁵⁴, но фактически имела манипулятивный характер, порождала у айнов дезориентацию, мешала межкультурной коммуникации.

В результате реформ Мейдзи во второй половине XIX – начале XX в. понятие «цивилизация» было радикальным образом переосмыслено в западном смысле. Цивилизационный идеал теперь связывался не с китайцами, а с европейцами, позднее – с американцами. Воплощением идеала стало, в первую очередь, современное государство и его военная мощь. Целью было обеспечить экономический и военный паритет с империалистическими государствами Запада путем заимствования военных, промышленных и управленческих технологий. Ведь в эпоху колониализма только цивилизованные государства считались достойными того, чтобы самостоятельно управлять своей жизнью. Остальные требовали западного вмешательства и опеки, пока не будут достаточно цивилизованы¹⁵⁵. Поэтому империалистическая политика рассматривалась как единственная гарантия самостоятельности.

При этом образ варвара был транслирован с периферии в центр страны, из деревни в город, прежде всего на городские окраины. В круг примет «варварства» включались не только одежда, но и практики и верования, составлявшие ядро повседневной жизни рядовых японцев, такие как религия, личная гигиена, социальное взаимодействие. В сущности, это была политика цивилизаторства (самопринуждения, самоцивилизации), адаптированная к традиционным представлениям японцев о цивилизации как совокупности форм повседневной жизни. Последовали многочисленные запреты на «нецивилизованное» поведение, в частности на появление на улицах без одежды, нанесение татуировок, испражнение на улицах, совместное мытье в бане, ношение одежды противо-

¹⁵⁴ Ibid. P. 130–139, 145–146.

¹⁵⁵ Ibid. P. 155, 158.

положного пола (в театре кабуки), стрижку волос женщинами, а также на собачьи бои, заклинание змей, нелегализованные схватки борцов сумо. Тем самым государственная власть в рамках политики цивилизаторства приобретала тоталитарную силу. Она претендовала на влияние на самые интимные телесные отправления¹⁵⁶. Представление о цивилизации переставало быть способом этнической и социальной дифференциации, превращаясь в форму личностной идентификации. Однако интеграции общества не произошло: во внутренних отношениях это привело к тому, что у неприкасаемых больше не осталось никакого законного места в общественной жизни, и их статус, соответственно, еще более упал. Уравнение японцев и айнов породило «текучесть» представлений о личности и государстве, которую пытались интерпретировать положительно, как динамизм японской культуры, но которая на деле была проявлением неопределенности, культурной энтропии. Это время тотальной дезориентации, аномии, которую необходимо было радикальным образом преодолеть, обеспечив позитивный эмоциональный фон перестройке общественного самосознания¹⁵⁷.

Официальное западничество, основанное на боваристском образе США, породило ответную волну официального почвенничества. Комплиментарный схизмогенез сменился симметричным, аномия – агрессией. Отчасти в результате рецепции имперских представлений Запада о цивилизации, отчасти из-за стремления к утверждению ценности собственных (незападных) традиций оборотной стороной этой политики стали национализм и милитаризм Японии первой половины XX в. Японцы видели, что в рамках колониалистского дискурса белые считают «варварами» всех, кто не имеет сил сопротивляться им, и полагают цивилизованными народы, не обладающие высокой культурой, но имеющие сильную армию (например, русских, которые у японцев проходили как «варвары»). Поэтому вхождение в круг великих держав стало рассматриваться как необходимое условие цивилизации. Цивилизационный дискурс приобрел формы *мобилизационной идеологии*, сплывающей население ради борьбы за цивилизационное равенство с Западом. Непрестанное напряжение, порожденное двойственными посланиями европейцев, восхищавшихся художественными, техническими и военными успехами японцев (особенно после первой китайско-японской и русско-японской войн), но отвергавших их как представителей «желтой расы», порождало невиданный вал фрустрации и агрессии. Способом обеспечения равенства с цивилизованным миром стало создание мощной армии и завоевание колоний, а инструментом распространения ци-

¹⁵⁶ Ibid. P. 157–159, 163.

¹⁵⁷ Ibid. P. 168–169.

визилизации – воспитание солдат и развитие военной промышленности. Колониализм в рамках традиционных представлений о цивилизации рассматривался японскими властями как своего рода бытовая примета цивилизации, например, как обычай мыть руки перед едой¹⁵⁸.

Обоснованием этой политики стала идея единства Азии, выдвинутая Окакурой Тенсином, который считал, что Япония должна стать в главе азиатской цивилизации, объединив достижения Китая, с его коллективизмом, и Индии, с ее религиозным индивидуализмом¹⁵⁹. Кодера Кенкичи развил эту мысль, представив в 1916 г. борьбу белой и желтой рас как основную перспективу мирового развития, а бассейн Тихого океана – как пространство этого соперничества. Если в историческом прошлом центром развития цивилизации был Атлантический океан, то теперь – Тихий океан. Агрессия против Китая рассматривалась как форма защиты этой страны от посягательств русских и Запада, за которую Китай должен быть благодарен Японии¹⁶⁰. Утомленная «двойными посланиями» извне, Япония начала раздавать их сама. Это был прямой путь к империализму, попыткам доминировать на Дальнем Востоке и в Тихом океане и, в конечном счете, ко Второй мировой войне, которая в рамках идеологии паназианизма воспринималась как борьба «Великой восточно-азиатской сферы процветания» и ее одухотворенной культуры против «материалистической цивилизации» Запада¹⁶¹.

Европа и Россия

Образ России на Западе и коммуникативные дисфункции

В цивилизационном дискурсе Запада Нового времени доминировали идеи линейной исторической перспективы и иерархии центра и периферии, которые заставляли путешественников «вытеснять» представления о странах, не удовлетворявших их идеалу цивилизованности (для XVIII в. – придворной моде), из сферы современного, превращая живых людей в примеры «пережитков прошлого», что вызывало недоумение и сопротивление. Универсалистские претензии цивилизационных идей никак не совпадали с локалистской привязкой цивилизацион-

¹⁵⁸ Ibid. P. 168.

¹⁵⁹ *Okakura Tenshin*. The Ideals of the East // Complete Works of Meiji Literature. Vol. 38. Collections of Okakura Tenshin / Kamei Katsuchiro and Miyakawa Torao (eds.). Tokyo, 1968.

¹⁶⁰ *Saaler S.* The Construction of Regionalism in Modern Japan: Kodera Kenkichi and his «Treatise on Greater Asianism» (1916) // Modern Asian Studies. Vol. 41. Issue 06. November 2007.

¹⁶¹ *Guifang Shi.* The Evolution of Asianism during the Sino-Japanese War. Paper Presented at «Historical Dialogue and Reconciliation in East Asia». Conference Harvard-Yenching Institute. September 12-13, 2008 (http://hyi.hmdc.harvard.edu/files/uploads/SHI_Guifang_English_summary.pdf).

ного сознания. Это была символическая, метафорическая перспектива, согласно которой, чем дальше объект наблюдения располагается от нового центра мира (Парижа или Лондона), тем дальше помещается он во времени в прошлом. Переход европейскими путешественниками XVIII века границы цивилизации и «варварства» (обычно располагавшейся на западе Польши) означал разрыв с сакральным, современным, культурным и погружение в профанное, пережиточное, «варварское». Это была не только государственная, но и культурная граница – сущностно амбивалентное, сакрализованное место столкновения порядка и хаоса, настоящего и прошлого, природы и культуры, место резких контрастов, соединения несоединимого, невозможности целостности и синтеза¹⁶². Отстояние от идеала цивилизации проявляется здесь во всех элементах местного образа жизни, в обычаях той или иной эпохи (порой средневековых), в цвете одежды, расовых чертах и даже уровне местности¹⁶³. Ярким примером такой пограничности была Россия.

Местное население не рассматривалось как современное европейцу конца XVIII века. В нем видели чистый объект наблюдения, а в стране – своеобразный музей, в котором законсервировано и парадоксальным образом сохраняется то, что в Европе давно прошло. Российское дворянство оказывалось по отношению к Западу «в прошлом», за временной границей цивилизации, и поэтому, например, его озабоченность делами во Франции воспринималась с недоумением. Ведь эти «бояре» живут в прошлом! В этом историческом паноптикуме путешественники наблюдали ушедшие эпохи гуннов, татар и «древних московитов». В крайнем случае признавалось сосуществование в пограничной цивилизации России как бы двух времен. Посол Франции Л.Ф. де Сегюр писал о неразрывности «века варварства и века цивилизации, X и XVIII столетий»¹⁶⁴. Наиболее отдаленные от центра мира территории Сибири и Америки считались равно отсталыми. Это было нерасчленимое и внутренне неразличимое пространство изначальной древности¹⁶⁵. В Сибири американский ученый Дж. Ледьярд, сравнивая внешний облик, нравы, одежды и язык, обнаружил в 1788 г. родство между «сибирскими татарами» и американскими индейцами (в чем был определен этнографический смысл), но также предположил наличие расового сходства между татарами и африканцами (что имело только символический смысл)¹⁶⁶. Так утверждался образ равноудаленной от Европы *периферии мира*, самой

¹⁶² Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 54–97.

¹⁶³ Там же. С. 502.

¹⁶⁴ Там же. С. 60.

¹⁶⁵ Там же. С. 61–62, 92.

¹⁶⁶ Там же. С. 502, 505–506.

последней из «последовательных ступеней, посредством которых осуществляется переход от цивилизации к нецивилизированности»¹⁶⁷.

Л. Вульф связывал этот образ мира с «фантазиями о влиянии и господстве», характеризуя отношение к России на Западе как «ненавязчивое приглашение» к завоеванию, «культурный контекст для амбициозных проектов порабощения»¹⁶⁸. Это создавало напряжение между Россией и Европой, которое разрешалось по-разному – то в западнической, то в славянофильской формах (в иерархическом и симметричном схизмогенезе, если использовать слова Бейтсона). Они в равной мере отражали зависимость собственного образа от универсального идеала, каким была цивилизация. Разными были лишь способы *дотраивания геитальта*, маркировка образа и фона¹⁶⁹. В центре оказывался вопрос: кто сегодня будет «варваром»: русские или европейцы? В обоих случаях спор не выходил за рамки изначальных смыслов антитезы «варварство – цивилизация», перечисленных Старобинским¹⁷⁰. Чаще всего противостоящие позиции определялись трактовкой европейских по происхождению просветительских и романтических взглядов на мир, которые в России были утрированы и абсолютизированы в форме западничества и славянофильства. Они нашли развитие в революционных и черносотенных, большевистском и эмигрантских мировоззрениях. На наш взгляд, речь может идти о разных формах боваризма, которые сводились к различным стратегиям трансляции вовнутрь страны противоречивых по своей сути «двойных посланий» западной культуры, воплощенных в связке «варварство – цивилизация». Они по-разному перенаправляли эти «двойные послания» и сочетали коммуникативные и когнитивные дисфункции. Более или менее глубоко переосмысленная западная колониальная стратегия цивилизаторства оборачивалась в России проектами внутренней колонизации и борьбой вокруг них.

Эта тематика обычно изучается в рамках постколониальной критики. Однако понятия боваризма и «двойного послания» употребляются сейчас в России лишь в литературоведении и психологии, хотя представление о «двуликой... *подчиненной империи*... на вторых ролях», введенное М.В. Глостановой, дает основание для их актуализации. Она отмечает, что в России политические теории традиционно «интерпретируют разнообразные имперские истории незападного мира всегда с точки зре-

¹⁶⁷ Там же. С. 501.

¹⁶⁸ Там же. С. 524.

¹⁶⁹ Подробнее см. *Ионов И.Н.* Построение образа российской цивилизации в свете психологии мышления и социологии знания // *Общественные науки и современность.* 2003. № 6.

¹⁷⁰ *Старобинский Ж.* Слово «цивилизация». С. 118.

ния Западной Европы и США, как единственной универсальной точки отсчета». Историки упускают особенности «не вполне западных, не до конца модернизированных по западному образцу» империй, таких как Россия, которая «генерирует раздвоенную идентификацию – с одной стороны, всегда поверяет себя западной нормой, с другой стороны, имеет свои колониальные тактики в отношении подчиненных культур», поэтому «деколонизация собственного сознания остается насущной задачей российских интеллектуалов сегодня»¹⁷¹. В последние годы роль этой тематики возросла в связи с проблемой внутренней колонизации России, поднятой А.М. Эткиндо¹⁷². Подобная лексика применяется М.Н. Липовецким к характеристике либеральных реформ рубежа XX–XXI вв.¹⁷³ Бейтсоновское понятие «двойного послания» проходит этап адаптации при обсуждении проблем гуманитаристики¹⁷⁴. Ближе к его анализу подходит К.Р. Кобрин, который анализирует «шизофренический российский ориентализм»¹⁷⁵. Правда, он не затрагивает непосредственно методологии исследования корней этого явления.

Тематики «цивилизации» и «варварства» применительно к России так или иначе касаются авторы сборника «Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России». Д. Уффельманн, интерпретируя «Путешествие из Петербурга в Москву» Н.И. Радищева, обращает внимание на коммуникативные дисфункции, из-за которых стремление к установлению отношений с крестьянами неизменно срывалось у Радищева, славянофилов, Л.Н. Толстого, народников и авторов сборника «Вехи». Причина в том, что деколониальное восприятие русской деревни, «позитивный ориентализм», «произрастающий на почве исключительно добрых побуждений... основаны на установленной внутренним колониализмом культурной дистанции» между «варварством» и «цивилизацией», крестьянами и дворянами. Это неизменно деформирует коммуникацию, превращая любое обращение Радищева к крестьянам в «двойное послание» Бейтсона. Его поведение неизменно

¹⁷¹ Глостанова М.В. Жить никогда, писать ниоткуда. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. М., 2004. С. 6, 16, 40–46.

¹⁷² Эткинд А. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России – I // *Ab Imperio*. 2002. № 1; *Etkind A. Internal Colonization: Russia's Imperial Experience*. New York; Cambridge, 2011.

¹⁷³ Липовецкий М., Эткинд А. Возвращение тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман // *Новое литературное обозрение*. 2008. № 94.

¹⁷⁴ Майер Б.О. О паттерне “ouble bind” в современном обществе и образовании // *Вестник Новосибирского ГПУ*. 2012. Т. 7. Вып. 3. (<http://cyberleninka.ru/article/n/o-patterne-double-bind-v-sovremennom-obschestve-i-obrazovanii>).

¹⁷⁵ Кобрин К. От патерналистского проекта власти к шизофрени: «ориентализм» как российская проблема (на полях Эдварда Саида) // *Неприкосновенный запас*. № 3 (59). 2008. (<http://magazines.russ.nz/2008/3/kk5-pr.html>).

содержит метакоммуникативный элемент, уничтожающий смысл словесного послания. В результате, по мнению Уффельманна, он сам выступает как колонизатор. «Романтизация внутреннего объекта колонизации, то есть “народа”, нацеленная как раз на его деколонизацию, сохраняет эту дистанцию... парадоксальная внутренняя деколонизация... одновременно является и колонизацией»¹⁷⁶. Это тем более поражает, что Радищев – открытый и последовательный обличитель цивилизаторской миссии. Он критикует «благовидный предлог цивилизаторской миссии... как цинизм по отношению к ее жертвам»¹⁷⁷.

В рамках перформативного поворота Уффельманн обращает основное внимание на коммуникативные неудачи Радищева, связанные с перлокутивными актами убеждения или *подстрекательства к действию*, что очень близко методу Бейтсона (аспект «двойного предписания»). Примером такого непонимания является и отношение к студентам-народникам крестьян, «воспринявших деколонизационный посыл как очередную попытку колонизации»¹⁷⁸. У Радищева «гордые крестьяне не желают принимать подарков и чувствуют себя оскорбленными»¹⁷⁹. Это связано со стремлением автора каждый раз выступать от имени цивилизации, удерживая интеллектуальную дистанцию, одновременно выражая дружеские чувства и «нисходя» к слушателю (вспомним, что так же вел себя Дж.А. Робинсон с тасманийцами). Из-за этого в деятельности Радищева заметно «постоянное напоминание о социальном барьере, который становится еще и культурным», в его словах прорывается «сословная спесь»¹⁸⁰. Раз за разом он пытается в разговорах с крестьянами опереться на авторитет цивилизации (идеалы законности и гуманности), но эти предложения отвергаются не только из-за разницы понятий, но и потому, что «несут подспудный (метакоммуникативный – И.И.) агрессивный потенциал, представляют собой форму вмешательства, т.е. – говоря в терминах нашего подхода – имеют колонизационный характер. Проблематика деколонизационного дискурса, направленного против социальных последствий внутренней колонизации, заключается в двойной природе этой колонизации: экономическая эксплуатация сочетается в ней с риторикой цивилизационной миссии. Даже если деколонизационный дискурс обращается против колониальной эксплуатации, он не в состоянии уйти от риторической фигуры ос-

¹⁷⁶ Уффельманн Д. Подводные камни внутренней (де)колонизации России // Там, внутри... С. 75.

¹⁷⁷ Там же. С. 80–81.

¹⁷⁸ Там же. С. 77.

¹⁷⁹ Там же. С. 92.

¹⁸⁰ Там же. С. 90.

вободительной миссии. Любая критика эксплуатации... у Радищева... неизбежно приводит в действие парадокс, присущий всякой помощи в развитии: заносчивое всезнайство помогающего (гордыня точки отсчета)¹⁸¹, как ее называют деколониальные критики. – *И.И.*) препятствует самостоятельному развитию нуждающегося в помощи. Выступая с деколонизаторскими намерениями, помогающий в своем альтруизме сам вновь превращается в невольного колонизатора»¹⁸².

Оказывается, что «просветительская теория не подлежит переносу на уровень практики, констатация проблемы (цивилизации и «варварства») – *И.И.*) не ведет к нахождению решения... описания попыток рассказчика вступить в диалог с крестьянами составляют резкий стилистический контраст с “теоретическими” социальными декларациями, включенными в книгу»¹⁸³. Эта ключевая проблема обостряется еще и потому, что «текст передает даже не собственные мысли путешественника, а представляет его как реципиента чужих текстов, написанных явно не на российской почве... так сталкиваются и мешают друг друга деколонизация на уровне языка и перформативное воспроизведение гегемониального дискурса»¹⁸⁴.

Образы царской и советской России как пространства искаженных метакоммуникаций представлены во вводной статье А.М. Эткинды, Д. Уффельманна и И. Кукулина (правда, без ссылок на Г. Бейтсона, что странно, так как Эткинд был первым переводчиком и автором предисловия к русскому изданию «Экологии разума»). В частности, указано, что монархическая власть занимала двойную позицию по отношению к стране: «выражала себя как национальная и наднациональная сразу, как завоевавшая Россию извне и в то же время неотделимая от ее народа и ее культуры»¹⁸⁵. Такую же двойную позицию занимали революционеры: «стремление просветить крестьян интерпретировалось народниками как “цивилизаторская миссия”», хотя «крестьянский “народ” ...оставался для них высшей ценностью». Большевики сочетали «освобождение» крестьян и наделение их землей с насильственной коллективизацией. Подобным же образом «освобождались» малые народы, самостоятельность которых затем жестоко подавлялась, а также женщины, «эмансипация» которых превратилась в форму эксплуатации. Высшей формой

¹⁸¹ Глостанова М.В. Пограничное (со)знание/мышление/эстетизм на пути к трансмодерному миру // *Общественные науки и современность*. 2012. № 6. С. 156.

¹⁸² Уффельманн Д. Подводные камни... С. 86–87.

¹⁸³ Там же. С. 90–91.

¹⁸⁴ Там же. С. 91, 93.

¹⁸⁵ Эткинд А., Уффельманн Д., Кукулин И. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри. С. 27.

такого шизофреногенного отношения к населению был ГУЛАГ, который описан авторами как «экстремальная форма внутренней колонизации», но может быть осмыслен и терминах двойного послания: как приглашение к «трудовому перевоспитанию» в сочетании с геноцидом. Все это приводило к тотальной дезориентации населения, к ситуации «инсценированного, “разыгранного по ролям” общественного невроза»¹⁸⁶.

Когнитивные дисфункции славянофилов и почвенников

Конструирование прошлого России в условиях дефекта метакоммуникации происходило очень своеобразно. П.Я. Чаадаев и западники относились к упрекам России в «варварстве» с вниманием, стремясь к западному идеалу и, по сути дела, воспроизводя ориенталистский дискурс о России. Однако они регулярно срывались на признание России «молодой», т.е. перспективной культурой, отделяя ее от Востока как северную страну, «заброшенную на крайнюю грань всех цивилизаций мира» и предрекая ей «великое будущее» и «прекрасные судьбы»¹⁸⁷. Между тем славянофилы, не отбрасывая сам идеал цивилизации (понятие «образованность» можно рассматривать как перевод понятия *civilisation* или немецкого понятия *Bildung*, духовное просвещение), стремились доказать, что именно славяне являются его носителями, в то время как западные европейцы – по сути своей «варвары». Этот ответ сочетал признание включенности в круг западных идеалов, связанности историй России и Запада, с заявлением о непризнании авторитета Запада в определении «нормальности» и «ненормальности» культур, о способности России к альтернативной самоидентификации. Результатом этих «двойных посланий», родственных по структуре, но разных по содержанию, были когнитивные дисфункции и безудержное мифотворчество.

В рукописи А.С. Хомякова «Семирамида. Исследование истины исторических идей» (1830–1850-е гг.) объектом отторжения стала немецкая история славян, которая критиковалась на основе анализа топонимии. Но доминирующую роль играло предпосылочное знание, фактически подменившее конкретное исследование. Метафизической предпосылкой автора было представление о «семьях человеческих», каждая из которых обладает «общей физиономией... которых века не изгладили и не изгладят»¹⁸⁸. Хомяков опирался здесь на гердеровскую

¹⁸⁶ Там же. С. 30–32.

¹⁸⁷ Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1991. С. 147–148, 152.

¹⁸⁸ Хомяков А. С. Семирамида. (Исследование < истины > и < исторических > и < дей >) // Сочинения в 2-х тт. М., 1994. Т. 1. С. 59, 63, 372, 416. См. также: Kohn H. Die Slaven und der Westen: die Geschichte des Panslavismus. Wien; München, 1956. S. 61; Венелин Ю. И. Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. В 2-х тт. М., 1829–1841.

идею цивилизации как носителя «народного духа», воплощенного прежде всего в языке и искусстве. «Семья человеческая, развивавшаяся отдельно от всех других, чуждая их знаниям и страстям, ограничивала всю свою деятельность одною какою-нибудь целию, определенною характером местности, нуждою, первоначальной прихотью, верованием или внутренним строением ума... Каждый народ имел свою исключительную страсть». Эта метафизическая схема заменяла фактическое знание. Хомяков прямо заявлял, что «доводы этимологии составляют только вспомогательную и дополнительную часть доводов, основанных на характере племен и религий»¹⁸⁹. На коммуникативный сбой в контактах с европейцами он отвечает когнитивной дисфункцией.

Хомяков рисует славянство как носителей древнейшей образованности, народ торговцев, мореплавателей и строителей городов. Германцы же – подлинные «варвары», «дикие жители лесов, воинственные звероловы, склонные к аморфизму в религии». Им свойствен завоевательный порыв, родовая аристократическая гордость, стремление к угнетению и презрение к угнетенным, отсутствие семейного быта. Только в Средние века и Новое время германцы оказываются носителями высокой культуры, но этим они полностью обязаны поработенным ими славянам, которые явились потайным связующим звеном между двумя важнейшими центрами мировой культуры: великой культурой Индии и великой европейской культурой Германии¹⁹⁰.

Для того чтобы нарисовать образ славян как мирового культурного посредника, Хомяков должен был создать мифологические (лучше даже сказать – сказочные) представления о мировой истории, построенной вокруг трагедии и странствий доброго, умного, работающего, но не объединенного государственно славянства – племен вендов, которые, обладая высокими общественными и культурными ценностями («паннонцы-славяне» занимались изучением наук еще во времена Тацита), не обладали ценностями военными и политическими, а потому изгонялись или попадали в зависимость от более отсталых, «варварских» народов¹⁹¹.

Следы славян Хомяков видит везде, где были развиты городской быт, торговля и мореплавание. Мировая история последних двадцати пяти веков начинается у него в среднеазиатской Бактрии, где он обнаруживает древнейших славян («великих ванов», известных китайцам), которые «славилась на Востоке, хранили свою мирную жизнь и склон-

¹⁸⁹ Хомяков А. С. Указ. соч. С. 69–0, 172.

¹⁹⁰ Там же. С. 153, 64, 67.

¹⁹¹ Там же. С. 349–350. Они «более склонны к семейному, чем к государственному быту». С. 354. Эта идея также в значительной степени воспринята у Гердера: *Cadot M. La Russie dans la vie intellectuelle française. 1839–1856. Paris, 1967. P. 474–475.*

ность к торговле и оседлости и кроткий быт, под законами многочисленных мелких общин, связанных братским союзом», и откуда были изгнаны в гималайские ущелья «варварами»-кочевниками. Их история связана с союзной Индией, с которой славян роднит язык, с Афганистаном, Арменией, Малой Азией (прежде всего Троей). Там созданную ими цивилизацию разрушили «варвары»-греки, заимствовавшие у фракийских, иллирийских и малоазиатских славян начала веры, просвещения и создавшие на основе славянских сказок свои мифы. Во времена античности славянские поселения – уже «цепь непрерывная, охватывающая половину Европы», славяне проходят через тирольские и швейцарские Альпы (там следы славянства были уничтожены римлянами и германцами, «язык которых не содержит признаков полного умственного развития»), через Южную Францию, Поморье Средиземного моря и Атлантического океана, где «за шесть веков до Р.Х.» славяне были покорены «бездомными дикарями»-кельтами. И наконец, история эта только завершается в «великой земле славянской, будущей России»¹⁹².

Таким образом, «заемные» цивилизации эллинов и германцев уступают в культурной иерархии потаенной, но «коренной» цивилизации славян. В их жизни был скрытый подвиг: «Получив в Иране достояние древнего просвещения, они (славяне) в своей кроткой и труженнической жизни пахарей, купцов и горожан хранили старое наследство предков неизменнее других, одичавших племен». Этот подвиг остался втуне: «Мир славянский погиб, сокрушенный дикарями лесов германских и кельтских и образованною силою Эллады и Рима. Имя их обратилось в имя раба (*servus, sclavus*), следы их старых общин исчезли почти везде»¹⁹³. А вся историческая слава досталась их поработителям, которым они передали «зародыши образованности», цивилизации. Ведь изначально «кельт и германец, так же как среднеазиатский турок, только и жил в городах, которые взял, да не догадался сжечь»¹⁹⁴. В этой трагической истории «учителей своих победителей» нельзя не видеть мифологизированный образ истории православия и России как хранителя подлинного христианства, страны с консервативным, охранительным талантом.

Роль «отданного на заклятие агнца истории» уподобляет славянство Христу, подчеркивая его богоизбранность. Негативный образ Запада как мира «варварства» становится все более отчетливым у почвенников и евразийцев. Он маркирует Запад как объект проявления агрессивности, закономерно растущей в условиях симметричного схизмогенеза. Используются разные познавательные стратегии. С одной стороны, крити-

¹⁹² Там же. С. 57, 156, 214, 308, 341–344, 352, 372, 404, 430.

¹⁹³ Там же. С. 345, 352.

¹⁹⁴ Там же. С. 353, 345.

куется идея универсальной цивилизации, «цивилизационный соблазн» как признак агрессивности. «Как бы позволительно распространителям единой общечеловеческой цивилизации, – пишет Н.Я. Данилевский, – уничтожить все прочие народы, служащие более или менее тому препятствием». Европа видит в России возможную «жертву на алтарь... человечества»¹⁹⁵. Намекается, что романо-германские страны не имеют права на агрессию и цивилизаторство, как страны по сути своей «варварские». Употреблялось не столько понятие «варварство» (достижения западной цивилизации во второй половине XIX века трудно было не признать), сколько характеристики, связанные с дискурсом «варварства», такие как «насильственность». Данилевский отмечает «насильственность» психического строя германцев, но при этом соединяет ее с теми чертами, которые Запад считал признаками «цивилизованности». Это «чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес должен ему уступить, волею или неволею, как неравноправный ему». Культурные особенности стран Запада описываются при помощи образов древних или инокультурных «варваров» (захвативших Римскую империю и подорвавших среди ее населения «верность православию»), «средневекового варварства», «турецкого варварства» (турки рассматривались после Крымской войны как союзники Запада). Эти черты проявляются в нетерпимости европейцев в религиозных вопросах, в прозелитизме, мировой торговле и колониальной политике, внутренней политической борьбе, и особенно в революциях. Это признаки распада их цивилизации и грядущего торжества российской цивилизации. Отсюда идея превращения России в противовес Европе, Западу как целому, которая по-разному реализовывалась на протяжении последних полутора веков¹⁹⁶.

Боваризм и российские модернизации

Анализ боваристских проявлений в цивилизаторской политике России может стать важным направлением в изучении российских модернизаций. Немецкий историк Й. Баберовски указывает, что Россия после Петра I рассматривала себя как «прилежная ученица европейского Запада... проводница высшей цивилизаторской миссии»¹⁹⁷. Радикальные западнические настроения, зависимые формы цивилизационного сознания были причиной многих негативных тенденций в

¹⁹⁵ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 98–99, 64, 401.

¹⁹⁶ Там же. 179–189, 400–401.

¹⁹⁷ Баберовски Й. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье. 1828–1914 // Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, М.Б. Могильнер, А.М. Семенова. Казань, 2004. С. 341.

развитии России. Уже в XIX в. «постреформенные европеизированные бюрократы... все более энергично осуществляли проект, призванный модернизировать Россию по европейскому образцу»¹⁹⁸. Эти тенденции были общими для царской России и СССР. Царских чиновников и большевиков объединяли боваристская мечтательность и отвращение к реальности, стремление к крайним формам упорядоченности и дисциплины. «Элиты в Российской империи и в Советском Союзе мечтали о рационально спланированном и упорядоченном мире. Они верили в то, что институты могут изменять по своему усмотрению и контролировать общества, нации и экономические уклады. Эта вера в безграничность возможного являлась одновременно легитимирующим фактором и опорой коммунистической власти в Советском Союзе»¹⁹⁹.

Идеал был так ярко, что начисто затмевал все иные образы, принадлежавшие местной реальности. Это определялось, прежде всего, субъективным отношением наблюдателя, отказывавшегося их видеть. Ценности западной культуры представлялись самоочевидными, а *иное* для царских чиновников «оставалось непонятым, так как различия в способах человеческого понимания, вариативность возможностей придания смысла жизни отвергались *a priori*»²⁰⁰. Поэтому в осуществлении модернизационной политики, как правило, следовал *срыв*. Особенно это касалось мусульманской среды, которая «представала как воплощение чуждого начала... варварское и фанатичное отрицание европейской прогрессивной мысли». Цивилизаторские надежды на смягчение нравов в эпоху Великих реформ 1860-х гг. привели к неудачам, разрушению старых правовых норм, неприемлемости новых (суд велся на чужом языке) и невиданному росту вооруженного насилия. В нем имперские чиновники видели «культурную драму, столкновение двух цивилизаций, двух взаимоисключающих миров». В 1880–1890-е гг. это закончилось попытками вооруженной борьбы против «разбойничьих инстинктов» населения, его русификацией, насильственной ассимиляцией, интеграцией, колонизацией при делегитимизации образа *Другого*. Не способные признать функциональность иной культуры чиновники легко переходили от пропаганды христианского образа жизни к прямому насилию²⁰¹.

¹⁹⁸ Ауст М. Новая история российской империи в германской русистике // Новая имперская история постсоветского пространства. С. 603.

¹⁹⁹ Баберовски Й. Доверие через присутствие. Домодерные практики власти в поздней Российской империи // *Ab Imperio*. 2008. № 3. С. 74–75.

²⁰⁰ Цит. по: Никонова О.Ю. Как чувствует себя “приговоренный к смерти”, или Германское россиеведение на рубеже веков // Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 2003. С. 461.

²⁰¹ Баберовски Й. Цивилизаторская миссия... С. 308, 318, 320.

Вера царских чиновников в цивилизацию и модернизацию имела утрированные формы. Как писал Дж. Скотт, она граничила с «манией модернизации» (*high modernism*), которой он приписывал самые разрушительные последствия²⁰². Согласно Баберовски, «большевики были последователями культурной установки царской бюрократии, выдававшей за современное и цивилизованное то, что они считали христианским и европейским»²⁰³. Только с «учетом этого можно понять то рвение, с которым новые властители подходили к повсеместному внедрению новых дискурсов, практик, мод и стилей поведения, к воспитанию нового человека»²⁰⁴. В этом проявлялась логика дисциплинирования в рамках придворного общества и воспитания неврастеничного левантинизма, о которой писал Н. Элиас. В основе национальной политики Российской империи лежала вера в конечное торжество универсальных принципов, которые ассоциировались с христианской цивилизацией и прогрессом. «Вместо обмена культур в таких условиях могла существовать только принудительная замена, требовавшая от подвластных полного отказа от своей культуры... В самом крайнем – большевистском – варианте стремление к однозначности и однородности торжествовало в форме кровавого террора. “Типичная, присущая модерности практика, субстанция современной политики, современного интеллекта, современного образа жизни обнаруживает стремление к истиранию двусмысленности: стремление точно определить и подавлять или элиминировать все, что нельзя было определить или что противилось определению... *Нетерпимость является поэтому естественной склонностью современной практики* (курсив мой – И.И.). Конструирование порядка ставит пределы интеграции и допустимого. Оно требует отрицания прав и оснований всего того, что не может быть ассимилировано – после делегитимации иного”, – так судил о стремлении модерности к однозначности Зигмунт Бауман» (близкий по взглядам к М. Фуко). «Цивилизаторская миссия большевиков не родилась на пустом месте, – пишет далее Баберовски. – Они продолжали то, что было начато их предшественниками в кабинетах царской бюрократии в середине XIX в. С одним отличием: царским бюрократам в их стремлении привнести в Россию Европу и “цивилизовать” условия жизни не пришлось бы в голову ликвидировать варварство варварскими методами. Вместо этого они стремились избавиться “дикарей” от страданий вследствие их отсталости убеждением в духе Просвещения. Большевики же впали в иллюзию, что необходимо уничтожить врагов, дабы устранить двой-

²⁰² Scott J.C. Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, 1998. P. 88-90.

²⁰³ Цит. по: Никонова О.Ю. Указ. соч. С. 464.

²⁰⁴ Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М., 2010 С. 10.

ственность культуры и превратить ее в однозначность. Но при таком подходе конфликт культур выливался в непрерывное терроризирование жизненных укладов»²⁰⁵.

Подобное отношение провоцировало разрушительное вторжение в тонкий процесс инкорпорации периферийных культур (горской, крестьянской) в цивилизацию. Американский социолог Т. Холл, исследовав двадцать четыре типа зон инкорпораций в мире, показал, что оптимальен в данном случае процесс *контролируемой инкорпорации*, при котором у местного населения остается возможность сопротивления и «управления уровнем инкорпорации», вследствие чего возникает перспектива диалога как поиска баланса между центром и инкорпорируемой культурой, установления оптимальных форм и масштабов автономии. Сбои этого коммуникативного механизма инициируют процесс неконтролируемого роста внутреннего и внешнего насилия (оно рассматривается центром как «непровоцированная агрессия», изначально свойственная варварскому «племенному обществу») и ответные процессы этноцида, культурцида и геноцида со стороны центра²⁰⁶.

Основанием для подобных эксцессов и игнорирования их системного характера служила реификация понятий «цивилизация», «прогресс» и «современность». «Современность определяется опытом индивидуума и его специфическим воспоминанием о прошлом, – пишет Баберовски. – То, что не укладывается в рамки этого опыта, не может служить масштабом прогресса. Перенос разработанной на европейском примере модели (цивилизация – «варварство» или линейно-стадиальная теория цивилизаций. – *И.И.*) на территории бывшего Советского Союза нередко завершался простым признанием отсталости России и Советского Союза по сравнению с Европой. Таким образом историки расширяли свои представления о предполагаемых недостатках страны, но ничего не узнавали о ее достоинствах. То, что историки считали отсталым, часто проявляло себя в рамках повседневного опыта как современное, так как соответствовало возможностям исторического контекста»²⁰⁷. Главный вывод, который делает Баберовски – диалог и консенсус невозможны в предлагаемых условиях, когда «конкурирующие практики интерпретации мира» явно неравны²⁰⁸. Именно этот недостаток коммуникации (а не отсталость сама по себе) деформировал развитие России.

²⁰⁵ Баберовски Й. Враг есть везде. С. 12–13.

²⁰⁶ Hall T.D. *Frontiers, and Ethnogenesis, and World-Systems: Rethinking the Theories // A World-Systems Reader: New Perspectives on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples, and Ecology* / Ed. by T. Hall. Lanham, 2000. P. 245, 252–255, 259, 261.

²⁰⁷ Цит. по: Никонова О.Ю. Указ. соч. С. 457.

²⁰⁸ Баберовски Й. Враг есть везде. С. 351.

Речь идет о противоречиях развития цивилизации в условиях власти, не способной оценить ни эффективность коммуникативных стратегий в мультикультурном обществе, ни многообразие собственных ресурсов (прежде всего культурных), ни характер стоящих проблем; власти, односторонне ориентированной на абсолютизируемые инокультурные (или трансформированные, рассматриваемые как универсальные) идеалы. Боваризм, порожденный строгой ориентацией от «варварства» к «цивилизации», наполняя жизнь иллюзиями, уничтожает жизненные возможности, разрушает диалог, порождает врагов, отрывает самую возможность успеха. Поэтому типичной для России является ситуация мадам Бовари, как она описана сорбонским филологом М. Верне: «Чем больше приложенная энергия, тем тяжелее последствия и ужаснее крах»²⁰⁹.

* * *

Дискурс «варварство – цивилизация», сложившийся в Западной Европе в XVII–XIX вв., сыграл важную роль в связанной истории различных стран по всему миру. Он стал основой разделения человечества на господ, имеющих право голоса, и субалтернов, которым оставлено лишь право молчать и повиноваться. В условиях контрарной самоидентификации он оказался доминирующей формой ориентации в пространстве и времени, идеалах и ценностях, методах познания и политических стратегиях. При этом его роль была противоречивой. Он унаследовал из своей предыстории реакционную традицию блокирования восходящих социальных и политических сил, манипулирования соперниками и дезориентации их сознания. Механизмами для этого выступали зависимые формы самоидентификации, порождавшие чувство вины, напряжение и агрессию. Психологическая подоплека этого явления, известного как боваризм – «двойное послание» или, точнее, «стратегия конкурирующих предписаний», изученная Г. Бейтсоном и школой Пало-Альто, разрушающая самосознание, коммуникацию, когнитивные функции и дезориентирующая индивидов и целые культуры. Хотя «двойные послания» не определяют характер культуры как целого, трансформируются по форме и содержанию (Н. Элиас называл это переходом от ассимиляции к эмансипации, а Г. Бейтсон — различиями комплиментарного и симметричного схизмогенеза) и даже способны стимулировать творчество и диалог, в определенные периоды они оказывают очевидное негативное влияние на развитие стран и регионов. Они деформируют развитие самосознания, коммуникаций и самопознания

²⁰⁹ Vernet M. Étude du bovarysme dans Madame Bovary.

(<http://approchesdesgenres.hautetfort.com/media/01/02/921725004.pdf>).

целых народов (в Германии, Ирландии, Латинской Америке, Японии, России). Причем если на стадии комплиментарного схизмогенеза (у «западников») это чревато невротизацией и распадом диалога, что порождает гражданские войны, как это было в Аргентине, то на стадии симметричного схизмогенеза (эмансипации, дифференциации) возникает мощнейшая агрессия, направленная вовне, что чревато региональными и мировыми войнами, как это было с Германией и Японией.

Последствия бытования цивилизационного сознания и цивилизационного дискурса не стоит субстанционализировать, превращать в особенности отдельных культур и цивилизаций, как это часто делают и «западники», и националисты. Трудности коммуникации порождает поведение обеих сторон (что провоцирует отношение к оппоненту как «варвару»), но цивилизационный дискурс изначально заряжен на то, чтобы создавать такие трудности. Субстанционалистский подход упрощает реальность и мешает разобраться в сложной ситуации²¹⁰. Последнюю необходимо рассматривать в системном контексте, как предлагали Г. Бейтсон и Э. Вульф, анализируя формы коммуникации на основе системной («круговой») логики, ориентируясь на условия и последствия взаимодействия культур, а не на «сущность» той или иной культуры. Тогда мы будем видеть в слабости формообразования и стремлении к первотворчеству не противоречивые признаки «пограничных цивилизаций», как это делает Я.Г. Шемякин²¹¹, а феномен связанной истории: различные формы воздействия «двойных посланий» Западной Европы в культуре Латинской Америки: разрушительную и творческую. Раскол, инверсия, латентность знаний предстанут перед нами как свойства цивилизационного сознания вообще, а не как признаки «промежуточной» или «варварской» цивилизации²¹².

Конечно, роль цивилизационного дискурса не ограничивается деструкцией. Преодоление антитезы «варварство – цивилизация», с которым связана большая часть истории теории локальных цивилизаций и элиасовской традиции изучения «цивилизационного процесса», имеет несомненное познавательное значение и не отрицается в рамках современной глобальной истории. Даже инверсии бинарных оппозиций как шаг к их «смещению» (термин Ж. Деррида) и деконструкции служат предпосылками преодоления бинаризма мышления, разрушения усло-

²¹⁰ Глостанова М.В. Жить никогда, писать ниоткуда. С. 46, 70; Эткнд А. Бремя бритого человека. С. 270–274.

²¹¹ Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка: взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. М., 2001.

²¹² См. подробнее: Ионов И.Н. Глобальная история и изучение прошлого России // Общественные науки и современность. 2013. № 5.

вий «двойных посланий»), конкретных форм боваризма. Именно здесь мы находим истоки сравнительной истории и истории культурных трансферов, попытки осмыслить пути оптимизации диалога культур. Их методологическая функция — подрыв господства предпосылочного и выводного знания, перемещение центра тяжести исследования в фактологическую, индуктивную область и область системной логики, сближение с перекрестной историей.

Возрождение дискурса «варварство – цивилизация» обозначает болевые точки современного мира, где возможно формирование ксенофобии и патогенных форм коммуникации. Однако это не может изменить общую тенденцию. Нарциссистская, эксклюзивистская картина мира, созданная бинарной оппозицией «варварство – цивилизация» и ориентированная на монопольное господство одной культуры, сменяется инклюзивной картиной мира глобальной истории, ориентированной на конкуренцию и сотрудничество культур, для которой характерно представление о человечестве и его среде как системе.

Вместо «цивилизации» и «варвара», господина и субалтерна в историческом пространстве начинают доминировать активные субъекты, акторы глобального диалога, общение которых не подрывает, а развивает коммуникацию и знание.

2.2. ШОТЛАНДСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ИСТОРИЯ УНИИ

Среди многих парадоксов шотландской истории есть один, пожалуй, самый трудноразрешимый. Парламентская Уния 1707 года, в первой половине XVIII века воспринятая шотландцами как народная трагедия и предательство аристократии, уже к концу столетия становится национальной гордостью и начинает осознаваться как неперемненное условие органичного развития северо-британского общества. А сами шотландцы из злейших врагов британской короны, с которыми Лондон боролся на протяжении первых пятидесяти лет после Унии, уже к концу столетий становятся символом могущества Британской империи. Удивителен не только сам факт подобной трансформации, но и скорость, с которой произошли эти изменения. В чем причины удачи и каков механизм такого проекта по трансформации идентичности?

В середине XX века шотландский историк Вильям Фергюсон, обобщая сформировавшуюся историографическую традицию об англо-шотландской унии 1707 года, назвал ее «доброй штукой», необходимой и, более того, неизбежной¹. События начала XVIII века он рассматривал как подготовленные всем ходом исторического развития, но при этом подчеркивал, что «возможно, это был величайший политический проект XVIII века», ставший возможным благодаря деньгам и системе патронажа². Однако, указанное мнение В. Фергюсона по сей день вызывает споры, которые затрагивают и другие проблемы шотландской истории и обуславливают общее ее понимание. Фергюсон не ответил и, кажется, даже не поставил вопрос о том, как и почему взгляд на унию, как на «делку», утвердился в шотландской историографии. Дело в том, что Фергюсон не рассматривал историографический аспект унии, за исключением некоторых проуниатских работ, которые были признаны им субъективными и тенденциозными. Историк упустил, очевидно, из вида, что формирование такого подхода к изучению унии, который был бы основан на скрупулезном изучении источников, восходит только к XIX в. Сегодня очевидно и другое – существует непосредственная связь

¹ *Ferguson W. The Making of the Treaty of the Union of 1707 // Scottish Historical Review. 1964. № 43. P. 89–90.*

² В современной историографии эту точку зрения наиболее аргументированно выразил Крис Уотли в книге под многоговорящим названием «Проданы и куплены за английское золото. Объясняя Унию 1707 года». *Whatley C. Bought and Sold for English Gold? Explaining the Union of 1707. Edinburgh, 1994.*

между интерпретацией прошлого и контекстом, в котором она осуществляется и утверждается. Такая «история истории» Унии может быть обозначена как «социальная история историографии». Иными словами, когда историк обращается к рассмотрению таких фактов, событий и явлений, как Уния, процесс ее подготовки и подписания, или «феодалная тирания» в средневековой Шотландии, он изучает их в определенном историографическом контексте. «Текст» и «контекст» оказываются решающим образом взаимосвязанными и обусловленными.

Блестяще иллюстрируют этот тезис некоторые теории периодизации шотландской истории, возникшие в XIX в. Их критерием чаще всего является «прогресс цивилизации и отношения с Англией». Это дает возможность авторам разделять историю Шотландии на четыре периода: до 1603 г. – период средневековой феодальной тирании; 1603–1707 гг. – борьба цивилизации и свободы против варварства и тирании; 1707–1746 гг. – финальная стадия борьбы за Британскую цивилизацию; после 1746 г. – процветание и расширение Британской империи. «Цивилизация» и «свобода» в таких периодизациях напрямую ассоциируются с Англией, отношения с которой являлись главным предметом исторических изысканий шотландских историков-просветителей.

Необходимо учитывать, что, изучая историографический и культурный контекст истории Унии, мы подвергаем анализу тексты историков, которые представляют собой незначительную группу общества, и между ними и широкими слоями, являющимися «потребителями» этих текстов, порой существует значительная культурная дистанция. Однако важность изучения историографической традиции об унии объясняется, помимо прочего, еще и тем, что англо-шотландское парламентское объединение стало событием, радикальным образом повлиявшим на современную политическую ситуацию на Британских островах. Историки унии не только рассматривают, как и почему она стала возможна и была реализована, но также и то, каков был механизм влияния этого союза на британскую политическую систему с ее единым парламентом. Прошлое, таким образом, оказывается теснейшим образом связано с настоящим, и связь эта обусловлена историей Унии 1707 года. Историей, которая пишется историками. Еще одна причина постоянного обращения к истории унии заключается в том, что она оказала непосредственное влияние на формирование шотландской национальной идентичности. То, как писалась история унии, изменившая статус Шотландии, которая, как принято считать, потеряла политическую независимость, находится в полном соответствии с тем, как формировалась шотландская идентичность.

Европейская история знает целый ряд примеров, когда проблемы современности диктовали необходимость переосмысления и переоцен-

ки прошлого опыта. В XVIII–XIX вв. практически повсеместно в Европе развернулось широкомасштабное движение по изучению народного прошлого, фольклора и культуры, которые должны были сформировать и утвердить чувство национальной идентичности. Антиквариаты и историки отыскивали в прошлом истоки народного характера, языка, культуры – того, что составляло основу «народного духа». Однако Шотландия в этом смысле является скорее исключением из общего правила. Некоторые примеры подобной «этнографической» горячки встречаются и там, но в Шотландии она получила развитие гораздо в меньшей степени, чем на континенте и в Англии. Шотландские интеллектуалы, скорее, пытались отыскать корни шотландской национальной гордости в том, что их нация исторически являлась органической частью Британии.

Самым известным примером, бесспорно, является творчество Вальтера Скотта, которого принято называть родоначальником шотландской «романтической революции», но на этом пути он не был первым. Среди многих факторов, оказавших влияние на формирование взглядов Скотта, помимо детства, проведенного в шотландском Приграничье, важное место занимали взгляды его предшественников и, в первую очередь, традиции антиквариев. Одним из представителей этого направления был сэр Джон Кларк Пенкиуйк, антикварий и общественный деятель XVIII века, пытавшийся примирить шотландский миф о национальной свободе, которую отстаивали предки в битвах с англичанами, с тем местом, которое она заняла в составе Британской империи³.

Первая половина XVIII века шотландской истории – это период национализма и антикварианизма, точнее, национализма, выступающего в форме антикварианизма, когда, в преддверии Просвещения, были сделаны попытки объяснить настоящее Шотландии, только что принявшей Унию, категориями прошлого. Оппозиция Унии привела к всплеску патриотизма, принимавшего культурные формы, одной из которых стало антикварное движение. Этот «культурный национализм» компенсировал потерю независимости, а в более длительной перспективе закладывал основы новой шотландской идентичности. Исторические и литературные произведения того времени выполняли функцию консолидации общества на основе осознания величия прошлого шотландского народа, не забывая в достаточной мере о воссоздании *истинной* картины истории.

Традиция антиквариев была заложена англичанином У. Кемденом, опубликовавшим в 1586 г. свою известную «*Britannia*», источником ко-

³ См. *Апрыщенко В.Ю.* Сэр Джон Кларк Пенкиуйк и кризис шотландской идентичности в первой половине XVIII века // Диалог со временем. 2005. Вып. 15.

торой стали не только записки путешественников, но письменные материалы на латыни, валлийском и англосаксонском языках. «Британия» выдержала несколько изданий на протяжении ближайших двух столетий и пользовалась огромной популярностью, в том числе и на севере. В издании 1696 г. был сделан ряд вставок, автором которых стал первый шотландский антикварий Роберт Сиббалд, родившийся в Эдинбурге в 1641 г. В 1682 г. он был назначен придворным физиком и географом при дворе Карла II и пожалован рыцарским званием⁴. Искренне интересуясь историей, Сиббалд понимал ее не только как прошлое вещей и общества, слагающееся из источников, но и как историю природы, которую он называл естественной историей. Именно эти взгляды оказали непосредственное влияние на творчество его ученика Джона Кларка – одного из участников шотландского антикварного движения, с чьими идеями теперь связывается развитие рационального подхода к историописанию.

Джон Кларк Пенникуик родился в 1676 г. Его дед по отцу разбогател лишь в середине XVII в., получив баронию Пенникуик (в семи милях южнее Эдинбурга). В возрасте 16-ти лет Джон поступил в Университет Глазго, где в течение двух лет «без особого удовольствия» изучал логику и метафизику, после чего отправился в Лейденский университет, с которым к тому времени у шотландской студенческой молодежи установились прочные связи. Пребывание в Голландии, а затем путешествие по Европе, что было в традициях тогдашнего образования, оказало значительное влияние на формирование мировоззрения молодого человека. По возвращении в Шотландию в 1700 г. он становится членом самой влиятельной юридической организации – Факультета Адвокатов, посредством которого в Шотландию проникали континентальные правовые нормы и который был трибуной всех новейших общественных движений. Став адвокатом и будучи избранным в Парламент в 1702 г., он вошел в группу, объединившуюся вокруг Куинсбери, который приходился кузеном покойной жене Джона Кларка, умершей при родах. Первый брак, окончившийся столь печально, завещал Пенникуику серьезные политические связи⁵. Годом позже он стал одним из тех, кто принял участие в подготовке грядущих преобразований, изучая степень готовности общественного мнения для осуществления Унии⁶.

⁴ Ash M. The Strange Death of Scottish History. Edinburgh, 1980. P. 35.

⁵ Sir John Clerk of Penicuik. History of the Union of Scotland and England. Edinburgh, 1993. P. 2.

⁶ Среди шотландской элиты Уния рассматривалась в двух вариантах – федеративной и инкорпоративной. Большая часть парламентариев высказывалась за Унию-федерацию, позволявшую сохранить собственный Парламент и легислатуры, и получить при этом доступ на британский рынок.

В 1705 г., в период активизации торговли, в том числе и с Англией, он стал членом воссозданного Совета по торговле, а уже в следующем году – комиссионером группы, занимавшейся подготовкой унии. Особое внимание он уделял вопросу о возможных торговых и финансовых последствиях будущего соглашения. В 1707 г. он вошел в комитет по рассмотрению Эквивалента и вскоре возглавил его. Деятельность этой организации была связана с одним из щекотливых вопросов объединения – проблемой шотландского национального долга, которая будет отражена в статье XV договора-унии⁷, а сам Джон Кларк оставит пространное эссе, объясняющее цели, двигавшие им в ходе работы в Комитете⁸. В том же году он занял пост Барона Шотландского Казначейства и занимал его до конца своих дней, проявив в этой должности незаурядные таланты и рвение. Наконец, в 1717 г. он основал Комитет по Производству – наиболее влиятельную экономическую комиссию Шотландии.

В то время в Шотландии не было более осведомленного в экономических вопросах страны эксперта, способного не только собирать сведения об уровне развития торговли и производства, но и анализировать динамику развития экономики в период до и после Унии. Иными словами, Кларк не только был представителем того поколения, которое испытало на себе экономические и политические последствия Унии, но и входил в число лиц, непосредственным образом повлиявших на ее подготовку. В 1733 г. он написал: «В последние 30 лет я в той или иной степени интересовался развитием торговли и производства в этой стране»⁹. Для подобного утверждения действительно были основания.

Сегодня историки придерживаются разных подходов к определению уровня экономического состояния Шотландии и влияния на него Унии. Одни из них рисуют Шотландию XVII века процветающей страной, накануне наступления «темной ночи Унии». Соответственно этому подходу, Уния – потеря независимости, древней свободы, которые были проданы за английское золото. Эта точка зрения восходит к первым годам после унии, была распространена среди шотландских политиков той поры, а позже нашла выражение и в произведениях деятелей культуры, популяризовавших шотландскую историю¹⁰. В этих вари-

⁷ Более подробно об этом см. *Whatley Ch. A. Bought and Sold for English Gold? Explaining the Union of 1707*. East Lothian, 2001.

⁸ *An Essay upon the XV. Article of the Treaty of Union, wherein the Difficulties that arise upon the Equivalent, are fully cleared and explained*. Edinburgh, 1706. Copy in SRO, GD18/3129.

⁹ *Sir John Clerk's Observations on the present circumstances of Scotland, 1730 // Miscellany of the Scottish History*. Ed. By T.C. Smout. Edinburgh, 1965. P. 177.

¹⁰ *Whatley Ch. A. Burns and the Union of 1707 // Love and Liberty. Robert Burns: A Bicentenary Celebration / Ed. by K.G. Simson*. Edinburgh, 1997. P. 184–185.

антах истории XVII века именно на Унию возлагается вина за кризис шотландской экономики первой половины XVIII в. Другая точка зрения гласит, что, наоборот, XVII век был темным временем, накануне подъема, во время которого шотландская экономика, благодаря Унии, положившей начало модернизации, получила стимул к развитию¹¹. Несмотря на то, что существует целый ряд промежуточных позиций, это две крайние точки зрения наиболее симптоматичны.

Одно чрезвычайно важное событие оказало влияние не только на экономическое развитие Шотландии рубежа столетий, но и послужило своего рода индикатором лояльности по отношению к Англии. Это была Дарьенская авантюра, вызванная, по мнению ряда историков, деградирующим чувством собственной национальной значимости в период после свержения Стюартов и получившая известность под именем Шотландская Восточная Индийская Компания¹². Основа этого предприятия была заложена в 1695 г. созданием Компании шотландской торговли с Африкой и Индией. Ее возникновение связывалось с надеждами лондонских и эдинбургских купцов на разрушение монополии Английской Восточной торговой компании. Во главе Компании стоял Уильям Патерсон, известный как основатель Банка Шотландии и на протяжении как минимум десятилетия до того осуществлявший неоднократные попытки способствовать продвижению шотландцев на Американском континенте. Однако на территориях южнее тропиков все его предприятия оканчивались провалом, как и немногочисленные попытки его шотландских коллег. Успех английских начинаний давал надежду и многим шотландцам, которые, рассчитывая извлечь прибыль из торговли с колониями и считая себя «не хуже, чем Англия, Голландия и другие страны Европы», запросили патент на деятельность на Карибах. Уже в 1690-е гг. среди многих влиятельных шотландцев было распространено убеждение, что заморская торговля – это «золотая бочка», которой пользуются европейские державы и которая способна быстро привести Шотландию к процветанию. Дарьен вызвал немыслимый ажиотаж среди шотландцев, которые устремились «из всех уголков Королевства в Эдинбург, богатые и бедные, хромые и слепые». Но Компания была не просто амбициозным предприятием национальной экономики, это предприятие было призвано утвердить национальный дух, показать, что «варварский север» способен конкурировать не только с Англией и другими развитыми странами, но и нести собственную культуру. Именно поэтому на судна первой экспеди-

¹¹ *Stevenson D.* Twilight before night or darkness before dawn? Interpreting seventeenth-century Scotland // *Why Scottish History Matters?* / Ed. by R. Mitchison. Edinburgh, 1991.

¹² *Insh G.P.* The Company of Scotland. L., 1932.

ции, помимо тюков с льняным полотном, шерстью и другими продуктами, которыми собирались торговать в Америке, было загружено полторы тысячи экземпляров Библии и два ревностных шотландских священника.

Дарьенская авантюра и ее печальный итог свидетельствуют о нескольких тенденциях развития шотландской экономики конца XVII века. С одной стороны, это экономический рост второй половины века, который позволил сформировать немалый капитал для заморского предприятия. С другой стороны, большая часть экономики страны была связана с английскими производителями и купцами, а в категориях англо-шотландской дихотомии шотландцы выглядели как сторона, “догоняющая” своего южного соседа¹³.

Две военные экспедиции, посланные англичанами против Шотландии в 1698 и 1699 гг., положили конец Дарьену. Был потерян капитал в размере 153 тыс. ф. ст., что составляло четверть бюджета государства. Это привело к осознанию, что экономическая и геополитическая ситуация, создававшаяся на мировых рынках, делала очень проблематичным самостоятельное процветание Шотландии. Шотландские амбиции резко стали снижаться, вместе с тем росло убеждение, что для успешного участия Шотландии в торговле ей необходима английская помощь¹⁴. Двойственность ситуации заключалась в том, что Дарьен стал первым событием-катастрофой, вокруг которого формировалась шотландская идентичность. В связи с Дарьеном обвинения в сторону Англии в организации провала Компании, соседствовали с осознанием невозможности дальнейшего раздельного существования государств-соседей.

Лучше всего сложность ситуации понимал Джон Кларк. В 1730 г. он написал «Наблюдения по поводу нынешнего положения в Шотландии». Выполненные в распространенной в те времена форме «письма другу», они, вполне вероятно, и адресовались какому-то конкретному человеку, но в дальнейшем части из этого произведения были заимствованы в других работах Джона Кларка. В период между 1706 и 1733 гг., когда «Соображения» были опубликованы, их автор ничего не издал, объяснение чему содержится в одном из первых предложений сочинения: «Я прекрасно понимаю, как мало пользы приносят подобные тексты»¹⁵. Сами соображения состоят их четырех частей. В первой части он описывает экономическую ситуацию накануне Унии и пояс-

¹³ *Whatley C.A. Scottish Society 1707–1830. Beyond Jacobitism, toward industrialization. Manchester, New York, 2000. P. 31–32.*

¹⁴ Уровень внутренней торговли был чрезвычайно низким, в некоторых городах до трети населения и торговцев оказывались банкротами и вынуждены были покидать города *Ibid.* P. 38–39.

¹⁵ *Sir John Clerk's Observations... P. 178.*

няет, таким образом, причины, приведшие к ней. Во второй – рассуждает по поводу развития шотландской экономики после Унии, обращая внимание, что после короткого подъема в 1707–1710 гг., вновь наступает спад. Показывая себя знатоком различных отраслей экономики, он анализирует и развитие промышленности, и зернового производства и скотоводства, уделяя при этом внимание еще и политике правительства в области экономики¹⁶. Особый акцент Кларк делает на торговле табаком, которая, как покажет будущее, будет определяющим фактором в развитии экономики западных частей Шотландии в XVIII в.

Третья часть работы посвящена тем потерям, которые Шотландия понесла в связи с Унией, начиная от утраты Парламента и других государственных институтов, например, Тайного Совета, и заканчивая потерей национальной свободы. Но, рассуждая об этих лишениях, автор раз от раза приводит факты, свидетельствующие о том, что это были лишь формальные потери, а вся предшествующая шотландская история развивалась именно по пути сближения с Англией. И в заключительном разделе Пенникуик еще раз приводит выводы, сделанные в предыдущих частях, акцентируя внимание на экономических выгодах союза.

Искренняя вера позволила ему уже в 1744 г., оглядываясь назад, написать: «Я чрезвычайно рад, что судьба сделала меня инструментом великого процветания этого Острова»¹⁷. Шотландия, которая ранее была «бедной старой матроной в отрепьях», после Унии стала «такой богатой и процветающей», какими оба королевства никогда ранее не были. Кроме того, очевидно, что работа построена в виде своеобразного ответа тем скептикам, которые, аргументируя свою позицию патриотической риторикой и романтическими сантиментами, не желают видеть экономических благ Унии для Шотландии. Таким образом, Джон Кларк пытается рационально объяснить современное положение Шотландии и ее связи с южным соседом, апеллируя к прошлому величию в контексте преодоления кризиса – и экономического, и идентичности, – с которым народ столкнулся в период после Унии.

Аналогичный подход характерен и для другого сочинения Джона Кларка – «Истории Унии Шотландии и Англии», задуманной и написанной несколько лет спустя после 1707 г. Исполненная на латинском языке, она посвящена идее воссоздания Британского прошлого «от дней Юлия Цезаря до великого деяния наших дней». В другом аналогичном произведении («История Унии», 1709 г.) современника Джона Кларка и непо-

¹⁶ Ibid. P. 194–199.

¹⁷ Brown I.G. *Modern Rome and Ancient Caledonia: the Union and the Politics of Scottish Culture // The History of Scottish Literature. Vol. 2. 1660–1800 / Ed. by Andrew Hook. Aberdeen, 1987. P. 36.*

средственного свидетеля подписания Акта Унии Даниеля Дефо рассматривается идея единения двух соседних королевств, начиная с правления Эдуарда I. Используя категорию *De Imperio Britannico* автор употребляет понятие «империя», подчеркивая главенствующую роль именно объединенного союза, в котором множество явлено в единстве, причем, по мнению Пеникуика, Британия исторически обречена (термин *fata Britannica*) на это единство суверенных множественностей¹⁸. В этом проявляется и божественный промысел, и вера в прогресс, которые парадоксальным образом сочетались в деятельности Джона Кларка, что дает возможность отнести его к первым шотландским просветителям.

Хотя и в «Наблюдениях», и в «Истории Унии» сэр Пеникуик выступает с рациональных позиций, романтические сантименты были ему не чужды. Если экономические выгоды Унии, пусть и не всегда легко, но поддавались рациональному объяснению, то как было примирить другое, более осязаемое противоречие, связанное с утратой древней шотландской свободы. Этому он посвящал другую часть своей жизни.

В период между 1720 и 1750 гг. Пеникуик являлся признанным лидером и патроном шотландского искусства и наук, покровительствуя и поэту Алану Рамсею, и художнику Уильяму Айкману, и музыканту и антикварию Александру Гордону, и ученым Джеймсу Андерсону и Томасу Блэквулу, и братьям архитекторам Уильяму и Роберту Адамам, благодаря усилиям которых Эдинбург обрел свое новое имперское лицо. Обладая не столь значительными материальными возможностями, он лишь в малой степени повысил свой социальный статус, но завоевал при этом прозвище «Северного Аполлона искусств». Пеникуик в равной мере интересовался геологией, астрономией, химией и медициной, как и сельскохозяйственным производством и промышленным развитием, являясь при этом основателем и покровителем направления искусства, которое мы сегодня называем ландшафтный дизайн. Кроме того, был он и музыкантом, учеником Корелли, с которым встретился в Риме во время своего путешествия по Европе. Он получил известность среди современников как меценат и творческая личность. Как литератору, Кларку обычно уделяют не более нескольких строк в учебниках шотландской литературы, однако в том, что касается подхода к интерпретации шотландского прошлого, предложенного им в период между Славной революцией и эпохой Просвещения, его творчество является весьма оригинальным.

Будучи близко знаком с одним из классиков шотландской литературы Аланом Рамсеем, он, как много лет спустя Вальтер Скотт, являлся

¹⁸ *Sir John Clerk of Penicuik. History of the Union of Scotland and England.* Edinburgh, 1993. P. 8-9.

собирателем шотландских народных баллад. Кроме того, помимо «Истории Унии» и публицистических работ, он был автором нескольких трактатов, написанных на латыни, и обширной неопубликованной книги «Положение страны», где описал ландшафт и архитектуру Шотландии. Однако себя он считал в первую очередь антикварием. Кларк был первым историком после подписания Унии, попытавшимся объяснить противоречия истории государства, которого не существовало. Для него попытка примирить эти противоречия была не только вопросом формы и содержания его творчества, но и, в первую очередь, вопросом морали.

Антикварианизм Кларка находил выражение в археологической деятельности. Пеникуик считается пионером изучения римских древностей на территории Шотландии. Он рассматривал материальную культуру ушедших веков не просто как источник знаний о пребывании римлян на территории Британии. Для него это был образец культуры – на его основе он строил свою политическую философию, которую можно обозначить как «полезный утилитарный антикварианизм». Иными словами, археологические памятники для него – своеобразные моральные аргументы в пользу патриотических чувств. И в этом Кларк – парадоксальная фигура. Будучи сторонником Унии и изучая римские древности, он пытался представить рост и эволюцию древней Каледонии под влиянием Рима и использовать эти аргументы для описания современной ему действительности. Занятия древнеримской историей, таким образом, способствовали постановке им ряда вопросов шотландской истории. Римское прошлое Каледонии, перенесенное в XVIII век, по его мнению, решало проблему шотландской культуры и идентичности XVIII века. Кларк описывал преимущества меньшей нации, столкнувшейся с экономической, политической и интеллектуальной мощью Англии. И он желал совместить, казалось, несовместимые вещи – чтобы Шотландия стала частью более широкого мира, но в то же время сохранила свои исторические черты, свое суверенное прошлое. Одновременно он был римлянином и каледонцем, северо-британцем и шотландцем. Важным фактом Джон Кларк считал то, что Уния являлась именно продуктом взаимного договора, осознанного выбора шотландцев, согласия между двумя частями королевства¹⁹.

Изучая материальную культуру Римской Британии, Джон Кларк сталкивался с проблемой интерпретации археологических находок, и найденные древности говорили ему о величии каледонцев. Но это величественное прошлое вытекало как раз из метода интерпретации. Он хотел верить, например, что найденное им бронзовое оружие принадлежало разбитым каледонцами римлянам, а не местным племенам. По-

¹⁹ *Brown I.G. Modern Rome and Ancient Caledonia. . .* P. 35–36.

добные находки пробуждали интерес к имперской истории и истории завоевания Британии Римом, и это была своеобразная дань шотландской древности²⁰. В этом подход Кларка принципиально отличался от оценки подобных находок его английскими коллегами, например, Роджером Гэйлом, который считал, что оружие, найденное близ римских укреплений, могло быть обронено или утеряно местными воинами во время атаки римского лагеря. Александр Гордон, другой известный антикварий, определяя мечи, найденные у Бэннокберна, утверждал, что «стоит отбросить все сомнения по поводу [их] римского происхождения»²¹. Иными словами, патриотические настроения шотландских антиквариев не удовлетворялись констатацией побед над англичанами, необходимо было удревнять историю каледонских побед.

И Гордон, и Кларк, люди, получившие классическое образование, неоднозначно относились к римскому завоеванию. Им сложно было игнорировать тот факт, что, благодаря римлянам, на короткое время Шотландия стала частью обширного цивилизованного мира. К тому же эта проблема приобретала особое звучание в Шотландии их времени, поскольку они являлись современниками аналогичных процессов, но ценой этого прогресса являлась потеря независимости. И им ничего не оставалось делать, кроме как апеллировать к посмертной славе, к моральному единению с прошлым, оперируя при этом такими категориями, как «прародители», «предки», «Родина» – категориями, которые в Шотландии того времени неизменно ассоциировались с экспрессивными речами лорда Белхавена и других противников Унии, воспевавших прошлое «нашей Древней Матери Каледонии». Но если Белхавен своей целью видел политическое обострение и политическую борьбу, то сэръ Кларк ареной борьбы избрал культурное прошлое Каледонии.

Нигде это двойственное отношение к шотландскому прошлому и, в частности, к римскому завоеванию, не проявлялось столь резко, как в интерпретации истории Адрианова Вала. Еще в 1739 г. Пенкиук подготовил для Эдинбургского философского общества записку об Адриановом Вале, где обосновывал свой патриотический интерес к прошлому²². Для Кларка центр конфликта между римской цивилизацией и каледонцами сосредотачивался именно на Адриановом Валу²³. С одной

²⁰ *Sir John Clerk of Penicuik. History of the Union...* P. 36.

²¹ *Brown I.G. Modern Rome and Ancient Caledonia...* P. 36.

²² Некоторое время спустя великий шотландский математик Колин Макларен озвучил общее впечатление шотландских интеллектуалов о представленном документе, который был прочитан «с соответствующим признанием... и удовольствием от патриотизма». *Ibidem*.

²³ *Sir John Clerk of Penicuik. History of the Union...* P. 38–39.

стороны, это был центр римской культуры, но с другой – центр войны свободолюбивых племен его родной земли, которые штурмовали римские укрепления. Как можно было совместить эти две интерпретации римского вала человеку, который принимал участие в создании Унии? И Джон Кларк приходит к выводу: «вал был необходим, вал сделал из нас людей»²⁴. «Он сделал для нас больше, чем все наши военные экспедиции вместе взятые»²⁵. Кларк склонен был считать Адрианов вал не столько «римским», сколько «варварским», каледонским, тем самым акцентируя внимание на собственном выборе каледонцев в пользу цивилизации. Во всем этом сложно не заметить уважения к имперскому духу. Римское завоевание рассматривалось как несомненное благо, принесшее плоды цивилизации и обогатившее каледонскую культуру.

Как член антикварного клуба Римских Рыцарей Вильяма Стакля, Кларк взял прозвище Агрикола, в честь римского полководца, завоевавшего Каледонию в 84 г., а его друг и соратник Александр Гордон взял имя Калгасуса – вождя каледонцев. Конечно, Гордон, известный своими националистическими настроениями, не занимал, в отличие от Кларка, пост лорда-казначея, но выбор последнего показателен: Кларк был человеком проримских симпатий, а в терминах XVIII века северо-британцем. По его мнению, вместе Англия и Шотландия могли бы создать империю еще более великую, чем римская. Кларк был шотландцем-патриотом, готовым подчинить свою «шотландскость» интересам «британскости». Рассуждая о римлянах в Британии, он использовал терминологию современного ему ганноверского государства, и эти рассуждения приводили его к мысли о выгодности для Шотландии союза с Англией. Тем не менее, несмотря на теоретические рассуждения по поводу взаимных обязательств в рамках такого союза, Кларку, хорошо знакомому с экономическими реалиями своего времени, сложно было не признать превосходства Англии, и поэтому в англо-шотландских отношениях именно Англия играла роль Рима: как и много веков назад, империя обеспечивала себе безопасность границ, распространяя свою культуру. В этом смысле Кларк был типичным британским антикварием. Как и многих других коллег, древности занимали его лишь постольку, поскольку помогали понять реалии настоящего²⁶.

Трезво оценивая уровень современных англо-шотландских отношений и не питая иллюзий по поводу разницы в уровне развития двух

²⁴ Ash M. The Strange Death of Scottish History. P. 36.

²⁵ Brown I.G. Modern Rome and Ancient Caledonia... P. 37.

²⁶ Подробно об этом см. Паламарчук А.А. Федоров С.Е. Рубежи антикварного сознания: история и современность в раннеюгославской Англии // Цепь времен: проблемы исторического сознания / Под ред Л.П. Репиной. М., 2005. С. 151–197.

частей королевства, Кларк считал, что Англия может и должна помочь Шотландии реализовать культурный потенциал, хранившийся в недрах самобытной шотландской культуры и воплощенный в своеобразном шотландском характере. Иными словами, патриотизм антиквария заключался в желании спасти шотландское культурное величие, а суверенная нация им понималась как носитель культурных стереотипов, образцов поведения и характера, причем залогом выживания этих культурных норм должен был стать именно союз с Англией.

Свидетельством того, что англичане не собираются подавлять духа шотландской свободы, явилось назначение Кларка Бароном Казначейства. Одновременно удовлетворялись и личные амбиции, и притязания шотландца, желавшего в рамках Британии принимать участие в политической жизни. В этом Джон Кларк был чрезвычайно успешен, и его послужной список, и его членство во влиятельнейших политических и интеллектуальных клубах – лучшее тому подтверждение²⁷.

Хотя патриотизм Кларка, основанный на изучении римской археологии имел значительную эмоциональную и ностальгическую окраску, ничто не связывало его с якобитским движением. Думается, что причина этого в достаточной его осведомленности по поводу развития горных районов страны, которые составили основную опору шотландским якобитам. Более того, события весны 1745 года, когда якобитская армия была разбита при Каллодене, а «Красавчик Принц Чарльз» бежал во Францию, на чем и закончилась «якобитская сага», были восприняты Джоном Кларком как освобождение Шотландии от пут, сдерживающих ее развитие. Парадокс, но, будучи романтиком, он крайне критически относился к самой романтической странице шотландской истории. И в этом он был шотландцем нового поколения.

К моменту битвы при Каллодене Джону Кларку было 69 лет. И он уже написал и «Наблюдения по поводу дел в Шотландии», и «Историю Унии», и ряд трактатов, но большая часть его работ была известна лишь узкому кругу коллег или сослуживцев. Судьба отмерила ему еще десять лет, когда он становится свидетелем странного процесса, который, на первый взгляд, должен был показать иллюзорность мечтаний антиквария о возможности сохранения шотландской культуры в рамках Британии.

В самом деле, в 1746–47 гг. в результате целого ряда актов Горная Шотландия, олицетворявшая шотландскую культуру в целом, подвергается насильственной «британизации». Местному населению запрещается под угрозой отправки на галеры носить оружие, пользоваться традиционной одеждой и волынками, иными словами уничтожается

²⁷ *Sir John Clerk of Penicuik. History of the Union...* P. 4.

все, что составляло основу шотландской культуры. Этот процесс, получил название «хайлендерских чисток». Но параллельно ему шел процесс интеграции Хайленда в рыночную экономику Британии, и все большее число хайлендеров уходило на военную службу в колонии.

Кларк умер в 1755 г. В это время уже мало кто из шотландцев серьезно воспринимал унию как потерю независимости и свободы. Как написал Александр Веддербурн в «Эдинбургском обозрении» в 1756 г.: «Северная Британия может быть описана как молодое государство, ведомое и поддерживаемое сильной родственной страной!»²⁸. Не эта ли мысль являлась лейтмотивом «Истории» Джона Кларка?!

В 1757 г. Дэвид Юм сформулировал вопрос, вызывавший споры и сомнения у многих его современников. «Разве это не странно, – вопрошал он, – что в ту пору, когда мы лишились наших правителей, парламента и правительства, даже самого присутствия нашей знати во власти, когда мы озабочены нашим акцентом и произношением, демонстрирующими наш крайне испорченный диалект, так вот, разве не странно, что, несмотря на все это, мы действительно представляем собой народ, выдающийся по своему вкладу в европейскую литературу?». Концепт «выдающегося вклада» был тем, что на протяжении всего XVIII столетия отличало шотландских интеллектуалов, как тех, кого традиционно принято ассоциировать с Просвещением, так и тех, кто не имеет непосредственного к нему отношения. При этом особенностью шотландской просветительской традиции было то, что, помимо глубоких интеллектуальных корней, она питала себя и в юнионистской традиции.

Сегодня вряд ли кто оспорит тот факт, что на протяжении последних трех столетий юнионизм является доминирующей идеологией в Шотландии, находя свое выражение и в политических практиках, и в традиции историописания, и в интеллектуальной культуре в целом. Юнионистское направление постепенно завоевывало признание, определяя не только область англо-шотландских отношений, но и многие другие сферы жизни северо-британского общества, будучи значимым и для остальной Британии. Верно и то, что истоки этого интеллектуального течения находятся в гораздо более ранних исторических слоях, чем сама парламентская уния 1707 г. И все же именно парламентский союз, спровоцировавший многочисленные дискуссии, окончательно сформировал юнионистские историописательские практики.

Другой особенностью шотландского интеллектуального контекста, в котором происходило распространение просветительских идей, был

²⁸ Edinburgh Review. 1755–1756. Preface.

высокий уровень образованности, что ставило нацию в числе первых по уровню грамотности в Европе. Еще в 1560 г. Джон Нокс в «Первой книге порядка» призвал к формированию национальной системы образования в Шотландии, и хотя это не имело никаких институциональных последствий в XVI в., целый ряд парламентских актов XVII столетия вылился в становление основ шотландской образованности. Акт 1616 г., дополненный в 1633 г., не только привел к формированию нескольких десятков приходских школ в равнинной Шотландии, но сказался, хотя и не в такой степени, на образовательной ситуации в Хайленде²⁹. Пришедшая на смену епископальному правительству власть, в образовательном вопросе следовавшая политике своих предшественников, также приняла ряд действий (акты 1646 и 1661 гг.), но закон 1633 г. реализовывался наиболее последовательно. В результате уже к середине XVII века в каждом шотландском приходе появилась школа с постоянным учителем. И хотя по большей части это было крайне примитивное образование, включавшее лишь обучение чтению и письму, его бесплатный характер открывал возможности грамотности для многих молодых людей.

Хотя современные историки спорят и по вопросу о практической реализации образовательных актов, и по проблеме, связанной с вовлеченностью в этот процесс горных регионов Шотландии, несомненно одно – уровень грамотности в Шотландии был к концу XVIII в. выше, чем в других европейских странах. Английский наблюдатель с удивлением отмечал, что, несмотря на бедность, в основном жители Шотландии все обучены читать. По некоторым подсчетам уровень грамотности среди мужского населения Шотландии в 1720 г. равнялся 55%, а в 1750 г. достигал уже 75%, по сравнению с 53% в Англии³⁰, а в 1790 г. каждый ребенок в возрасте около восьми лет в Клейше, в Кинросшире мог читать и читал хорошо. На протяжении XIX в. эта тенденция была продолжена. Так в 1855 г. в Шотландии могли расписываться 89% мужчин и 77% женщин; в Англии эти цифры выглядели соответственно 70% и 59%. А если из этих подсчетов исключить гэллоговорящий север Шотландии, то процент будет еще выше. Интересно и то, что некоторые женщины в Шотландии в XIX в. могли написать свое имя на шотландском, английском и валлийском языках³¹. И только к 1880 г. англичане по уровню грамотности догнали северных соседей.

Все это означало, что в Шотландии сформировалась достаточно широкая аудитория не только для восприятия Библии, что лежало в

²⁹ The Register of the Privy Council of Scotland.... Vol. X. P. 671–672; The Acts of the Parliaments of Scotland... Vol. V. P. 21.

³⁰ Herman A. How the Scots Invented the Modern World. N.Y., 2001. P. 23.

³¹ Anderson R.D. Educational Opportunity in Victorian Scotland. Oxford, 1983.

основе идей Нокса, впервые призвавшего к распространению образованности, но и другой литературы. В то время как религиозная цензура в XVIII веке идет на спад, одновременно повышается и уровень образованности. В результате шотландские интеллектуалы писали свои произведения не только в расчете на своих коллег по клубам и обществам, но и для более широкой публики, а в ее распоряжении имелись библиотеки, которыми к 1750 г. обзавелся каждый город.

Обыденное представление о европейском Просвещении рисует его как аристократическую салонную культуру, воспевающую разум, разоблачающую автократию и феодальные порядки. Вольтер, посещающий Фридриха Великого, Дидро, издающий «Энциклопедию» и путешествующий ко двору Екатерины Великой, Жан-Жак Руссо, чьи воззрения стали идейной основой Французской революции – как правило, наиболее яркие имена и события века Просвещения ассоциируются с Францией. Вероятно, это не совсем справедливо, поскольку шотландское Просвещение хотя и было менее изящным, но представляло собой более оригинальный комплекс идей, и – что, возможно, еще более важно – оказало больше влияния на современников. Среди впечатляющего перечня наиболее известных произведений шотландских просветителей, две темы занимают особое место – это исторические представления и рассуждения о человеческой природе. При этом шотландцы были первыми, кто объединил эти проблемы, представив человека в качестве продукта исторического развития, в котором черты, присущие людям постоянно развивались и эволюционировали, вслед за динамикой самого общества. Полагая человека в качестве продукта окружающей среды, шотландцы тем самым объясняли и мир, и изменения, в нем происходившие.

Сам социокультурный контекст, в котором формировались идеи шотландского Просвещения, делал его особенным явлением. Эдинбург, являвшийся центром новой интеллектуальной культуры, отличался как от шотландского Глазго, более практичного и коммерчески ориентированного, так и от Лондона или Парижа, которые стали центрами просветительского движения, но более связанными с салонной аристократической культурой. В отличие от других европейских столиц, в большей или меньшей степени затронутых просветительским влиянием, культурная жизнь Эдинбурга не определялась салонами, властью имущими покровителями или государственными институтами. Гораздо больше она зависела от самодостаточного круга интеллектуалов, в процессе личного общения определявших просветительский дискурс и называвших себя «литераторы». К середине XVIII в. их объединения были достаточно демократическими кружками и представляли собой

общества, в которых положение и авторитет определялись, скорее, интеллектуальными способностями, чем социальным статусом, и где серьезные вопросы «свободно обсуждались джентльменами, близко знавшими друг друга и находившимися в приятельских отношениях».

Шотландский просветительский дискурс равенства был отражением эгалитаристской традиции, восходящей к клановому родству. Идея бондов и ковенантов, которые связывали людей разных социальных положений и постулировали их взаимные обязательства, демонстрировала себя не только в социальных и политических практиках, но была важной составляющей и интеллектуальной среды. В просветительской реальности Эдинбурга это находило выражение в том, что практически все образованные жители столицы знали друг друга, прохаживаясь вдоль главной улицы и ежедневно встречаясь в близлежащих тавернах. Соседями Дэвида Юма были Уильям Робертсон, Уильям Фергюсон, Алан Рамсей и другие литераторы; это была своего рода интеллектуальная колония, в основе которой лежали неформальные дружеские связи. Привычка Юма вести интеллектуальные беседы за обедом или ужином с Генри Хоумом, лордом Кеймсом, отражала общее для всех шотландских просветителей стремление к неформальному общению. Любовь к хорошей еде и выпивке, по мнению наблюдателя, была характерной чертой представителей шотландского интеллектуального класса, которым были не чужды земные радости. Как только колокол собора Сент-Джайлс отбивал половину двенадцатого, время известное в Эдинбурге как «меридиан», отмечал современник, массы горожан отправлялись в близлежащие пабы, чтобы выпить эля, хотя многие из них уже совершали туда же визиты несколькими часами ранее. Во время таких посещений велись деловые переговоры, подписывались юридические документы, заключались соглашения о предстоящих в университете лекциях. Многие интеллектуальные течения берут начало именно в этих дискуссиях в эдинбургских тавернах. Споры на политические или религиозные темы редко случались без кружки эля на столе, и после таких бесед каждый возвращался в свой офис. Лорд Кеймс, близкий друг Дэвида Юма, в 1752 г. назначенный судьей Шотландского Верховного гражданского суда, а с 1762 г. ставший лордом юстиции, послеобеденные судебные заседания часто проводил в приподнятом настроении.

Несмотря на то, что, шутя, шотландцы называли себя «двухбутылочными» или «трехбутылочными», в зависимости от того, сколько бутылок кларета выпивали за один раз, в большей степени их групповая идентичность была связана с интеллектуальными обществами и клубами, такими как «Вторничный клуб», «Покер-клуб», «Устричный клуб», но наибольшим влиянием пользовалось «Избранное общество»,

членом которого был Юм. Основанный в 1754 г., на протяжении десяти лет этот клуб являлся центральной площадкой, на которой республикански настроенные шотландские просветители обсуждали дискуссионные вопросы, позже представляемые ученой или студенческой университетской аудитории. Несмотря на то, что в обществе преобладали юристы, его членами являлись физики, архитекторы, военные офицеры, торговцы – представители практически всех профессий.

Особое место среди членов всех клубов занимали пресвитерианские священники, являвшиеся ядром интеллектуальной жизни Эдинбурга, которые не просто были свидетелями драматических событий в Шотландии в 1740-е годы, но принимали в них непосредственное участие, а теперь, двадцать лет спустя, активно обсуждали результаты того, что уже становилось историей. Большая роль священников, которые, в отличие от французских просветительских аббатов, выступали не только по вопросам, связанным с налогами и религией, но в целом отстаивали свободную и открытую культуру, основанную на морали и умеренных религиозных принципах, также составляет одну из особенностей шотландского Просвещения.

Для пресвитерианских священников Шотландии было очевидно, что умеренная христианская доктрина является основой современного мира³², развитие и цивилизованность которого должны были теперь связываться не только с приличными манерами и следованием моде в одежде и музыке. Теперь развитие цивилизации виделось как исторический процесс, в котором обретение обществом новых культурных рамок, включающих политику, мораль, образованность и понимание искусства, должно было корреспондировать с совершенствованием социальных отношений. Это делало людей свободными, расширяя сами возможности для того, чтобы социальная добродетель, объединяясь с просвещением, направляла общество по пути эволюции. Прогресс христианства, по мнению шотландских пресвитерианских священников, с одной стороны, отражал этот процесс общественной эволюции, а с другой, был его конечной целью. При этом залогом гармоничного сосуществования церкви и общества было изменение самой религии, и поэтому шотландским священникам уже начиная с 1750-х гг. жизненно важным представлялось поставить религию на путь обновления, что и породило феномен шотландского модернизма.

В десятилетие, последовавшее за Каллоденом, многие пресвитерианские священники, в новом интеллектуальном климате осознавая важность происходящих в англо-шотландских отношениях процессов,

³² *Herman A. Op. cit. P. 193.*

приходили к выводу о необходимости смягчения существующих в шотландском пресвитерианстве принципов. Этому способствовало и то, что, интегрируясь в британскую социальную систему, пресвитериане все чаще соприкасались с англиканами, в результате чего шотландское духовенство преодолевало свою интровертность, и то, что светская власть стала уделять больше внимания церкви, памятуя о том, что религиозный фактор был одним из важных элементов политических потрясений первой половины XVIII века. Решающим в возникновении модератизма стало появление плеяды служащих, и духовных, и светских, которые, с одной стороны, были прагматиками в своих политических воззрениях, а, с другой, были весьма сдержаны в религиозных взглядах. Модератизм не стал, однако, принципиальным отходом от законов кальвинистской церкви, в чем очень часто обвиняли его сторонников в XIX и XX вв., скорее, это был своеобразный компромисс, восходящий все к тому же стремлению инкорпорироваться не только в экономические структуры Британского королевства, но и создать основу для религиозного сотрудничества. Это была попытка заменить усердные проповеди с целью спасения и осуждение безнравственности более понятной и близкой смесью, включающей облегченный вариант проповеди и менее суровые требования соблюдения морального кодекса. Именно в этом процессе «модератизации» пресвитерианизма была решена простая арифметическая задача, обернувшаяся, однако, сложной моральной проблемой, в которой идея семи смертных грехов заменялась императивом десяти библейских заповедей.

Появление модератизма связано с работой Генеральной ассамблеи, высшего органа пресвитерианской церкви, которая традиционно собралась в мае 1751 г. в Эдинбурге. Разногласия, существовавшие уже на протяжении нескольких десятилетий по вопросу об отношении к закону о церковном патронаже 1712 г., согласно которому государство получало право вмешательства в церковные дела посредством назначения священников, вылились в настоящий скандал, поскольку часть консервативно настроенных пресвитериан никак не соглашалась признать легитимность этого акта. Другая половина участников собрания (среди них были эдинбургский адвокат и общественный деятель Гилберт Элиот Минто, Джордж Драммонт – некогда провост Эдинбурга, а возглавлял их Уильям Робертсон – в скором будущем ректор Эдинбургского университета) стремилась отстаивать более прагматичную позицию, гарантировавшую, что шотландская церковь станет частью британских легислатур. В итоге, на встрече в Линлизго накануне заседания Ассамблеи церкви была заложена основа того, что позже составит основу модератизма, умеренного крыла шотландского пресвитерианства.

Робертсону и его сторонникам – образованным юристам, членам избранного общества и городской интеллигенции, выразившим просвещенное общественное мнение, противостояли консервативно ориентированные евангелисты, имевшие сторонников среди сельских конгрегаций и исповедовавшие концепт семи грехов и идею адских мук. Другой оппозицией модераторам были скептики от религии – английские деисты и некоторые шотландцы. Хотя с доктринальной точки зрения Юма следует отнести скорее к деистам, противостоящим модераторам, религия для него была частью той традиции, которая должна была сохранить национальную идентичность. Кроме того, большинство друзей Юма принадлежали к умеренным пресвитерианам. Наконец, тот факт, что в 1756 г. партия модераторов смогла добиться смягчения цензуры со стороны Генеральной ассамблеи в адрес Юма, свидетельствует, что если не доктринально, то концептуально, Юма и модераторов объединяло общее отношение к важным вопросам, волновавшим общество.

В 1756 г. умер преподобный Дж. Андерсон, наиболее влиятельный защитник традиционного пресвитерианизма, и Хью Блэр стал настоятелем Сент-Джайлса, главной пресвитерианской церкви Шотландии, что открывало возможности для распространения модератизма. Пять лет спустя У. Робертсон занял пост ректора Эдинбургского университета, где Блэр получил кафедру риторики. А в 1768 г., Джон Уайтерспун, лидер евангелической партии, оппозиционной модераторам, получив приглашение занять место президента одного из колледжей Принстонского университета, отплыл в Америку, что, казалось, должно было сделать триумф модераторов неизбежным.

В 1750–60-х гг. модераторы никогда не имели в Генеральной ассамблее большинство, но среди них были ученые, писатели, управляющие компаниями, административные чиновники – словом лица, наиболее инкорпорированные в британский правящий класс. С другой стороны, одновременно они же были и выходцами из крупных шотландских родов и принадлежали к шотландской элите. И уже в конце 1760-х гг. из более 90% номинальных приверженцев протестантизма в Шотландии осталось около 30% искренне преданных ему прихожан. Однако именно модераторы на протяжении второй половины XVIII – начала XIX в. составляли лицо шотландского пресвитерианизма в глазах образованной Европы. Валлийский путешественник Томас Пеннант, посетивший Шотландию в 1769 г., характеризуя здешних клириков, писал, что они представляют собой наиболее образованных представителей своей профессии и являют резкий контраст с разъяренными, неграмотными и фанатичными священниками прежних времен³³.

³³ Allan D. Scotland in the Eighteenth Century. L., 2002. P. 64.

Но уже через столетие после своего появления, в середине XIX в., умеренный пресвитерианизм постепенно сходит с исторической сцены. Умеренное крыло пресвитерианства оказалось нежизнеспособным, очевидно, потому, что в период его возникновения начинается активный поиск собственного шотландского прошлого, и пресвитерианская церковь с ее строгими принципами, становится одним из символов, противостоящих в культурном плане англичанам. Умеренный пресвитерианизм выглядел здесь слишком большим компромиссом, и им следовало пожертвовать. Его критики, близкие к евангелизму, в XIX и XX вв. объявили его бедственным тупиком, обвинив в слишком мягкой позиции по отношению к правительству и в уклонении от обязанности служить оздоровлению нации. Быть может, самая большая заслуга умеренного пресвитерианизма была в том, что он действительно составил конкуренцию евангелизму, который был не в состоянии предложить адекватный ответ на вызов модернизации рубежа XVIII и XIX вв., с ее бурными темпами урбанизации и массовыми миграциями и, как следствие, с недостатком доступа к социальным, религиозным и образовательным институтам, традиционно обеспечиваемым национальной церковью. В то же время его возникновение и существование в течение целого столетия продемонстрировало те демократические тенденции, которые, будучи порождены просветительскими идеями, существовали в Шотландии на протяжении второй половины XVIII – первой половины XIX в., времени, когда на севере наиболее активно шла трансформация идентичности. С точки зрения интеллектуальных процессов в Европе это был один из первых случаев религиозной терпимости и модернизации самой церкви, которая под влиянием «отцов» умеренного пресвитерианизма, Уильяма Робертсона и Хью Блэра, вынуждена была отказаться от многих анахронизмов. Хотя умеренные пресвитерианцы и представляли относительно узкий слой, но это были адепты наиболее передовых европейских идей. Умеренный пресвитерианизм, несколько смягчив пресвитерианские принципы, адаптировал шотландский кальвинизм к требованиям времени и в перспективе способствовал взаимопроникновению английской и шотландской культур.

Пресвитерианская вера в «жизнь, прожитую полезно», была одной из духовных основ шотландского Просвещения, а в самой пресвитерианской церкви Шотландии развитие умеренного пресвитерианизма привело к появлению того, что сейчас известно под названием «социальное евангелие», где благополучие нуждающихся является столь же важным в миссии церкви, как и вечное спасение души через покаяние. Таким образом, в основе умеренного пресвитерианизма лежит идея связи религии и общества: 39 из 54-х председателей Генеральной ассамблеи пресвитерианской церкви между 1752 и 1805 гг. были умеренных взглядов, и в этом кроется причина мощного развития в Шотландии социального обязательства элиты и коллектив-

ного взаимодействия, стремящегося к сглаживанию социальных противоречий. Подобные модераторские представления сформировали особый шотландский, отличный от английского, взгляд на природу и сущность социального устройства и динамики общественного развития.

Вместе с тем, модератизм являлся типично просветительским течением – и с точки зрения отношения к прогрессу, и с позиций использования истории для объяснения формирования современной цивилизации. Идея прогресса определяла тот факт, что Д. Юм, как и многие другие его современники, такие как А. Фергюсон и Дж. Миллар, усматривал в английской Славной революции движение к прогрессу, выделяя три исторических этапа развития общества – «феодалная аристократия», «феодалная монархия» и «коммерческое правление», для последнего из которых была характерна «система свободы»³⁴. Такое понимание эволюции Шотландии приводило к мысли, в которой все шотландские интеллектуалы были едины: в результате союза 1707 года Шотландия стала процветать – «общественная свобода с внутренним миром и порядком развивается без потрясений: торговля, мануфактура, сельское хозяйство расцветают: культивируются искусства, науки и философия. Нация является самой процветающей в Европе...»³⁵.

Само возникновение модератизма, ставшего отличительной чертой шотландского Просвещения, было связано с вопросом об отношении к Англии, и к тем проблемам, которые союз породил. Давая интеллектуальный ответ на вызов, предлагаемый объединением, мыслители осознавали, что религия всегда была важной составляющей национальной идентичности, и поэтому ее трансформация будет, с одной стороны, отражать уровень англо-шотландской интеграции, а, с другой, способствовать сближению. В этом смысле модератизм, бесспорно, был частью юнионистской интеллектуальной традиции.

Другой важной стороной интеллектуальной жизни, связанной с эволюцией религиозных представлений, были исторические идеи, которые приобрели особое значение для объяснения изменений, происходивших в Шотландии в эпоху Просвещения. После того, как Шотландия вошла в состав Британского государства, шотландские интеллектуалы столкнулись с необходимостью объяснить историю англо-шотландских отношений, которая прошла долгий путь от кровавых столкновений периода англо-шотландских войн до объединения 1707 года. Юм, как и многие его современники, был носителем шотландской идентичности, изменявшейся в соответствии с политическими процессами на Британ-

³⁴ Spadafora D. The Idea of Progress in Eighteenth-Century Britain. New Haven-L., 1990. P. 303–304.

³⁵ Ibid. P. 308.

ских островах. Но одновременно именно ему предстояло объяснить текущий процесс трансформации идентичности и встать у истоков новой юнионистской традиции, имевшей корни и в историческом сознании, и в изменившемся социокультурном контексте.

Юму, в отличие от многих его современников, было хорошо известно, что союз 1707 г. в равной степени расширял возможности шотландцев в сфере экономики и в конкуренции на колониальных рынках, а также защищал все то, что было им так дорого – жизнь, свободу и собственность. Неожиданным открытием для Юма было лишь то, что шотландцы в своей повседневной жизни легко могут обходиться без привычных властных учреждений и, в первую очередь, без парламента. Вместе со своими коллегами по интеллектуальному цеху Юму предстояло познать все преимущества единого государства, которое стояло у истоков социальных и экономических перемен в Шотландии.

Юму не пришлось стать свидетелем того, как обсуждалась и принималась уния, однако на период его молодости пришлась пора якобитского движения, в результате подавления которого процесс объединения Англии и Шотландии стал необратим. Для многих шотландцев 1740-е годы стали временем, когда решалась судьба их родины. Однако в равной степени справедливо и другое. Период между заключением договора 1707 г. и подавление последнего якобитского восстания 1745–1746 гг. в равной степени был и экспериментом, и приключением. Приключением, потому, что уния 1707 г., лишившая Шотландию традиционных политических легислатур, мало что оставила ей с точки зрения политических институтов, и никто в теперь уже единой Британии не задавался вопросом о том, как Шотландия будет управляться. Эксперимент же заключался в том, что подобного опыта формирования дуалистической нации в истории еще не было. Шотландия стала первой европейской нацией, которая одновременно получила защиту в лице сильного государства и сохранила свободу развития и колониальных инициатив. И последующее столетие доказало обоснованность этого эксперимента – шотландцы не только приумножили свои экономические богатства, но и сохранили чувство национальной идентичности.

Британия XVIII века была, по словам Джонатана Свифта, подобна «кораблю с двойным днищем», и основа этого дуализма была заложена унией. И хотя к середине Века Просвещения непосредственные положительные результаты унии еще были слабо ощутимы, у шотландцев, особенно в среде образованной элиты, сформировался концепт «долгосрочных результатов» союза. С точки зрения долгосрочной перспективы, как ее рассматривал английский экономист Джон Кейнс, «мы все мертвы», однако шотландцы были далеко не столь пессимистичны в

оценках будущего. По мнению Юма, те экономические сложности, с которыми нация столкнулась в середине XVIII в., компенсируются радужной долгосрочной перспективой союза с Англией. Именно категории долгосрочной перспективы, такие как «со временем», «в целом» и «в равновесии» стали излюбленными для просветительски настроенных шотландских философов. В гораздо большей степени, чем многим мыслителям из других стран Европы им была понятна сложная природа современного государства, в основе которой переплетались представления о человеческой натуре и идеи общественного устройства.

Дэвид Юм принадлежал к тому второму поколению интеллектуалов, для которых англо-шотландское объединение представлялось неизбежным событием, лишней раз демонстрировавшим «разумность» истории. К 1740-м годам коммерциализация Шотландии стала очевидна, и Глазго и Эдинбург были не просто вигскими городами, хранившими верность новой династии, но и экономическими и культурными центрами Шотландии, для которых связи с Англией были жизненно важны. И если поколение интеллектуалов первых десятилетий XVIII в., вроде Уильяма Питмеддена, должно было в борьбе отстаивать идеалы унии, то Дэвид Юм и близкие ему шотландские интеллектуалы должны были объяснять ее закономерность. Когда Уильям Робертсон в своей «Истории Шотландии» в 1759 г. написал, что «уния объединила две нации, создав единый народ и устранив различия, существовавшие на протяжении многих поколений...», он, тем самым, выражал идеи целого поколения шотландских просветителей.

Соотношение «английского», «шотландского» и «британского» в просветительских концепциях является важным свидетельством англо-шотландской интеграции, поэтому для понимания юнионистской традиции особо важно не противопоставлять юнионизм и национализм, отношения между которыми были гораздо более сложными, чем это представляется на первый взгляд. Дискурс национальности и концепт провинциальности могли составлять часть юнионистской традиции, а мягкий национализм был чрезвычайно близок мягкому юнионизму в политической жизни шотландского общества. Это понимание юнионизма может, вероятно, объяснить как очень противоречивое отношение шотландцев к Англии, обострившееся в период дискуссий о заключении союза 1707 года и в первые полстолетия после принятия договора, так и современные дискуссии о шотландской нации.

Юм был одним из тех, кто сформировал историческое сознание шотландцев, в основе которого лежит смягченный юнионизм, включающий представление о том, что быть шотландцем означало одновременно быть британцем. В интеллектуальной жизни XVIII–XIX вв. унии

и шотландской национальности уделялось не очень много внимания. Шотландское Просвещение, озабоченное, главным образом, вопросами моральной философии, а также проблемами взаимоотношений государства и общества, не слишком концентрировалось на идее национальной идентичности, и это «молчание» является красноречивым свидетельством того, что юнионистская традиция была полностью усвоена шотландскими интеллектуалами. Молчание подобного рода является показателем жизненности «банального юнионизма» – британцы предпочитали сохранять амнезию по поводу прошлого частей, вошедших в состав единой Британии. Свидетельства этого юнионизма сохраняются в исторической и в политической культуре Британии и по сей день.

При этом юнионистские сантименты вовсе не отрицали критцизма в отношении к Англии, принимавшего часто не только дискурсивные, но и реифицируемые в повседневных практиках формы.

Юм, подобно многим его современникам, опровергал представление об англо-шотландском объединении как шаге на пути к «английской империи». Результатом такой критики порой становилась англофобия, и тогда лояльный юнионизм оборачивался столь же лояльным национализмом, причем в обоих случаях предметом лояльности была Британия. И в этом смысле Юм в равной степени выглядит и юнионистом, и националистом. Мыслитель, который поддерживал происходившую англоизацию Шотландии, критиковал непросвещенных «варваров, населявших берега Темзы»³⁶, за то, что они находятся в плену у опасной политической мифологии и не извлекают уроков из просветительской философии. В этом же ключе Юм пишет своему другу Гилберту Элиоту Минто в 1764 г.: «Некоторые ненавидят меня, потому что я не виг, другие – оттого, что не истинный христианин, и все – потому что я шотландец. Можно ли серьезно говорить, что я стану англичанином? Я или Вы – англичане? Будут они нас считать англичанами?»³⁷.

Но Юм, одновременно, был тем, кто сказал: «Лондон – столица моей страны», и иронизировал по поводу шотландского провинциального происхождения. Тоска по древнему прошлому была широко распространена и в литературных кругах, и в землевладельческих слоях, представители которых посылали своих детей учиться хорошим манерам и речам в университеты Англии, для того чтобы у тех была возможность сделать карьеру все в той же Англии. Конечно же, такие люди не могли со временем не стать британцами.

³⁶ The letters of David Hume / Ed. by J. Y. T. Greig. Oxford, 1932. P. 436.

³⁷ Smith J.A. Some Eighteenth-Century Ideas of Scotland // Scotland in the Age of Improvement. Edinburgh, 1996. P. 109.

Снова и снова возникал один вопрос: «Кто такие тогда шотландцы? В чем их отличие? Носит ли оно визуальный характер?» Тот же Юм, который много внимания уделял вопросу об особенностях шотландцев, писал, что не стоит извиняться за то, кем мы являемся, не стоит стремиться быть похожим на соседа, который хорошо говорит и пользуется при еде ножом³⁸, ставя тем самым проблему *шотландскости*, ее визуальных и сущностных отличий. Для определения шотландскости необходимо чувство места, истоков. Так же как чувство метрополии, космополитическое чувство, по мнению современника Юма Генри Маккензи, обманчиво, местное, природное ощущение – истинно.

Проблема языка, на котором писали и говорили образованные шотландцы, была одной из самых важных. Исходя из высокой степени англизации шотландской элиты, многие говорили даже о несамостоятельности шотландского Просвещения, используя при этом концепт английского «культурного империализма», под влияние которого будто бы попала Шотландия. Однако в реальности «быть британцем» вовсе не означало «не быть шотландцем», а англизация в некоторых случаях даже способствовала сохранению чувства *шотландскости*. Один из основоположников и лидеров раннего шотландского Просвещения лорд Кеймс еще и в 1780-е гг. продолжал говорить, используя шотландский язык, а поэты, такие как Алан Рамсей или Роберт Бернс, в равной степени использовали и шотландский, и английский языки в зависимости от ситуации и контекста. Шотландцы стали носителями английского языка и культуры, оставшись, одновременно, каледонцами и забывая, порой, о своих традиционных корнях, лишь в том случае, когда *британскость* становилась более выгодной. Сам Юм легко сознавался в превосходстве английской культуры, анализируя ее и будучи способен управлять ею так, чтобы она не противоречила культуре шотландской. Такая перспектива его не пугала, поскольку он сознавал ее выгодность для процветания Шотландии, а потому и в Англии, и в Шотландии шотландцы должны были чувствовать себя как дома. Такой подход способствовал распространению и европейской известности произведений шотландских просветителей, написанных на английском языке.

«Банальный юнионизм», основа которого была заложена Юмом и близкими ему шотландскими просветителями, наиболее полно способен описать историческую культуру Британии после парламентского объединения, породившего сложную проблему совмещения национализма и юнионизма. Используя термин «банальный национализм», чаще всего имеют в виду такой национализм, который настолько явен, что не нуж-

³⁸ Smout T.C. Problems of Nationalism Identity... P. 7.

дается в демонстрации, и такая форма национального сознания присуща стабильно существующим нациям-государствам, в которых идея нации не подвергается угрозе, а принадлежность к ней не оспаривается ни властями, ни гражданским обществом, а потому и не требует дополнительной артикуляции. «Банальный юнионизм» имеет столь же общественное, сколь и исследовательское значение, и при этом содержит в себе несколько уровней. Наиболее явный – это юнионизм, связанный с осознанием очевидных благ, которые Шотландия получила в составе Великобритании. Это представление было характерно для Юма, поскольку блага вхождения Шотландии в состав Британии были понятны уже в 1750-е годы. Но был и другой, более глубокий уровень амнезии, связанный с «банальным юнионизмом». Некоторые шотландцы предпочитали отбросить идею *шотландскости*, порой, даже мультинациональную сущность британского единства. Одним из них также был Юм, который считал себя англичанином и свою историю Великобритании превратил в «Историю Англии». Молчание, которое хранил Юм и многие его современники и потомки о прошлом Шотландии, является наиболее ярким свидетельством живучести юнионистской традиции.

Заложенная Юмом идея мягкой лояльности, сочетавшей национализм и юнионизм, стала фактором современной шотландской интеллектуальной культуры, в которой идея концентрической лояльности сказывается на уровне как историописания, так и массового сознания. По мнению шотландского королевского историографа Т. Смаута³⁹, Шотландия – древняя нация-государство, рожденная в боях за независимость XIV века, разбавленная униями 1603 и 1707 гг. и произведшая яacobитские волнения. В более широком британском контексте Том Нэйрн объясняет этот распад волной модернизации, в которой чужеродная буржуазная интеллигенция повсюду в Европе разрушала древние монархии и одновременно способствовала рождению националистических чувств⁴⁰. Однако шотландцы являются скорее субъектом, а не объектом этого процесса, поскольку северную Британию вряд ли можно считать объектом английского воздействия, но скорее – частью агрессивно развивающегося центра, а значит частью метрополии, а не периферии. Шотландский торговый класс, пользовавшийся благами империи, процветал на протяжении двух столетий, и только в первой половине XX века, когда империя начала клониться к закату, в среде шотландской буржуазии стали формироваться националистические чувства и сепаратистские настроения.

³⁹ Smout T. C. Problems of Nationalist Identity and Improvement in later 18th-century Scotland // Improvement and Enlightenment / Ed. T.M. Devine. Edinburgh, 1989. P. 1.

⁴⁰ Nairn T. The Break-up of Britain. L., 1977.

Думается, прав Энтони Смит, один из наиболее авторитетных современных теоретиков национализма, критикующий Тома Нэйрна с нескольких позиций. По его мнению, современные шотландцы считают себя британцами, как, например, каталонцы – испанцами, и это не просто является демонстрацией лояльности. Хотя Э. Смит напрямую не говорит этого, но очевидно, что современный этнический национализм является логическим «продолжением старого национализма», то есть акцентируется внимание на исторических корнях культуры и этноса. Смитовская идея «концентрированной лояльности» представляет собой своего рода «латентный национализм», по содержанию близкий тому, основу которого заложил Дэвид Юм, никогда не писавший о полной, завершённой интеграции Англии и Шотландии.

При этом ни Т. Нэйрн, ни Э. Смит не изучали ситуацию и язык XVIII – начала XIX в., а также то, что сами шотландцы думали о своей идентичности. Нигде в Европе национальная идентичность не была выражена столь полно, как в Шотландии, хотя никто из «элитарных» носителей этой идентичности – ни Дэвид Юм, ни Александр Карлайл, ни братья Адам, ни Босуэлл, ни Алан Рамсей, никогда не предпринимали политических действий для реализации этой идентичности, несмотря на то, что массовый дискурс был пропитан националистическими настроениями. И тем сложнее была задача интеллектуалов, которые должны были национализм превратить в юнионизм, притом, что есть масса свидетельств об отношении к англичанам и Англии, которые действительно могут быть истолкованы как националистические.

Большая часть шотландцев чувствовали себя одновременно и шотландцами, и британцами. Они очень редко соглашались с тем, что стали *объектом* объединения и управления, младшим партнером, ведомым более богатым и сильным южным соседом. Англия была просто королевством, одним из нескольких, в составе Британии. Шотландцы – другая ее часть, и, соответственно, они имеют право на такие же собственные институты, что и англичане, например, на собственную милицию, борьба за которую развернулась в 1760-е гг., и активное участие в этом движении принимал Фергюсон, написавший свои, пожалуй, самые националистические строки: «Черен будь тот день, когда Шотландия связала себя Унией с Англией»⁴¹. Босуэлл описал случай, свидетелем которого он стал в Ковент-Гардене в 1762 г., когда толпа с улюлюканьем гналась за двумя шотландскими офицерами, одетыми одетыми в хайлендерское платье и вопила: «Нет шотландцам! Нет шотландцам! Прочь отсюда!». Я ненавижу англичан; я желал изгнать из

⁴¹ Smout T.C. Problems of Nationalism Identity... P. 6.

моей души память об Унии, и чтобы мы могли им дать еще одно сражение у Бэннокберна»⁴². Но, обладая, как Юм и другие интеллектуалы, двойной идентичностью, Босуэлл однажды мог написать: «Я согласен с нашей любовью к Стюартам», а в другой раз – «В душе я люблю Великого Георга, нашего короля»; сначала – «Я шотландский лэрд и я шотландский юрист, и женат я на шотландке. И это не должно оспариваться», а потом – я «англичанин по образу мысли»⁴³.

Шотландцам того класса, выходцами из которого были Юм и Босуэлл, уния действительно предоставила значительные возможности, а для высшего класса – еще и участие в управлении, блестящие примеры чего являли такие политики, как Дандас и Аргайл. Служба на гражданских должностях, в армии, на флоте, в Англии и в колониях предоставляла возможности личной реализации. И шотландцы использовали их. Государство же в их построениях предстает не как реально существующее, а как модель, андерсоновское «воображаемое сообщество», в рамках которого процветает нация. Многие интеллектуалы верили, что прошлое их страны связано с варварством и разложением. Для Юма и Робертсона события до 1688 г. были временем «феодалного мрака и анархии». Политический национализм вряд ли мог появиться там, где элиты так смотрели на свое прошлое, и в этом заслуга просветительски настроенных шотландских интеллектуалов, которые создали идеологическую основу британскому единству, породив, одновременно, «нацию без ее истории». Лишь в постпросветительской Шотландии появится Вальтер Скотт, который вместе со своими сподвижниками «создаст» историю шотландской нации, романтизированную, полную патриотических символов, но укорененную в идеях просветителей.

Шотландское чувство национальной идентичности в XVIII в., хотя и было достаточно сильным, но, за исключением редких (как правило, спровоцированных) случаев, не являлось антианглийским. Это была концентрическая лояльность, не противостоящая британской идентичности, а пытающаяся найти в ней свое место. И даже радикальное движение 1790-х гг. было связано с попыткой демократизации общества путем расширения патриотического дискурса: подчеркивалось, что благодаря унии Шотландия приобщилась к достижениям английского демократического прошлого и стремится адаптировать британские свободы. Благодаря Юму и его сподвижникам, последовательно доказывавшим, что сущность человека заключается в том, чтобы, освобождаясь от мифов, в том числе и навязанных историей, видеть мир таким, каков он есть, шот-

⁴² *Smith J.A. Some Eighteenth-Century Ideas of Scotland. P. 113.*

⁴³ *Smout T.C. Problems of Nationalism Identity... P. 8.*

ландцы конструировали новую мифологию, отличную от той, которая была характерна для подавляющего большинства европейских государств-наций. В их исторических построениях Арбродская декларация не упоминается не только потому, что большинство из них были убежденными англофилами, но и оттого, что историю они рассматривали в современном им контексте, где уния Англии и Шотландии была проявлением рациональности мира *Modernity*. В процессе становления этого мира, верил Юм, Шотландии отведено особое место. Сказав однажды, что «свобода есть совершенство гражданского общества», он верил и в то, что «власть должна быть признаваема уже в силу своего существования». В этом парадоксе заключено и отношение к свободе Шотландии, которая может существовать лишь в границах британского могущества, задающего прогрессу и направление, и границы.

Знаковых фигур шотландского Просвещения не стало в течение двух десятилетий. Дэвид Юм умер первым, в августе 1776 г., шесть лет спустя в возрасте восьмидесяти шести лет скончался лорд Кеймс, затем, в 1790 г. – Адам Смит, через два года – Роберт Адам, а еще через год – его брат Уильям. Босуэлл умер в 1795 г., а Томас Рейд – в 1796 г. К этому времени шотландский юнионизм был уже никем не оспариваем, превратившись в господствующую идеологию не только интеллектуальной, политической и экономической элит, но став частью массового сознания. Даже когда в 1790-е гг. в Шотландии произошел всплеск радикального движения, националистическая риторика практически не использовалась. Шотландия после просветителей не нуждалась в том, чтобы ее убеждали в правильности выбранного в 1707 г. пути.

Поворотной точкой в формировании представлений об Унии стало творчество Вальтера Скотта. Он изменил природу истории – от дидактической (история как наставление, использующее примеры прошлого) к ориентированной на изучение исторической реальности, основанной «на исследовании оригинальных источников, таких как документы, артефакты, строения и ландшафты»⁴⁴. Именно благодаря ему, такие символы английской свободы, как Великая хартия вольностей, пуританская реформация и Славная революция были заимствованы шотландцами.

Веря в принципы прогресса, Скотт рассматривал Унию как точку, отделяющую дикое шотландское прошлое от блестящего будущего в составе Британии. Большое влияние на формирование его концепции оказала идея «Северной Британии», получившая распространение среди шотландской землевладельческой элиты, а также парадоксальная

⁴⁴ Ash M. The Strange Death of Scottish History. Edinburgh, 1980. P. 14.

вера в то, что их патриотизм наилучшим образом может быть выражен посредством инкорпорирования Шотландии в Британскую империю.

Характеризуя отношение Скотта к Унии, необходимо проследить процесс формирования его исторических взглядов. Решающее значение в становлении интереса писателя к прошлому его страны имело детство, проведенное в Пограничье. Предания, рассказанные родственниками, о стычках и сражениях с англичанами, о героизме шотландского народа, о битве при Каллодене, пограничные баллады, книги о Гражданской войне в Англии – все это составило неотъемлемую часть его понимания прошлого Шотландии. Скотт сам объясняет это в своей автобиографии: «Информация, связанная с местными особенностями, которую я вынес из старых песен и сказаний, и которая позже составляла развлечение одиноких сельских семей, оказала огромное влияние на формирование моего взгляда на прошлое. Моя бабушка, чье детство было свидетелем многочисленных пограничных традиций, поведала мне сказания об Уоте Хардене, Вилли Эйквуде, Джимми Телфере и других героях...»⁴⁵. Его непреходящий интерес к Пограничным балладам в итоге привел к появлению сборника «Поэзия Шотландского Пограничья», а позже и других работ, героями которых были якобиты и шотландские романтики.

Однако было бы неверно сводить представления Скотта о прошлом лишь к романтическим переживаниям истории родной страны. Значимое влияние оказали на писателя годы, проведенные в университете, где его учителями были: профессор права барон Дэвид Юм, профессор этики Дугалд Стюарт, профессор логики Джон Брюс и профессор всеобщей истории Александр Тайтлер. Решающим на представления Скотта об историческом процессе оказалось влияние Д. Юма и А. Тайтлера.

История человечества, учили просветители, представляет собой необратимый и неизбежный прогресс в области морали, формах производства, законе и типах власти, причем все эти элементы жизни общества взаимосвязаны. В первобытном обществе люди жили примитивными общинами, их преимущественно варварская природа соответствовала деспотическим, как считали просветители, формам правления. В процессе перехода от примитивного к аграрному обществу, человеческая природа становилась более совершенной, обогащалась политическая культура; феодальная тирания сменилась конституционной монархией, защищавшей гражданские свободы. При таком правлении «цивилизованные» люди расширяли производство, вступали в коммерческие отношения, что послужило основой современного порядка вещей⁴⁶. Однако, как

⁴⁵ *Scott W. Memoirs // Scott on Himself, A Selection of the Autobiographical Writings of Sir Walter Scott / Ed. by D. Hewitt. Edinburgh, 1981. P. 13.*

⁴⁶ *Culler A. D. The Victorian Mirror. New Haven, 1985. P. 22.*

считал Адам Смит, хотя прогресс и представляет собой общечеловеческую универсальную категорию, люди, тем не менее, живут и мыслят в соответствии со своим окружением. Д. Юм использует этот принцип при изучении эволюции права. По его мнению, закон – «это собрание тех обычаев и правил, которые люди, в соответствии с нормами их государства, используют для своего удобства»⁴⁷. Опираясь на универсальность прогресса, можно исследовать исторический процесс в разных частях мира. Скотт, например, сравнивает патриархально-феодалную организацию общества шотландских горцев с социальной структурой афганцев. Главная идея Скотта, усвоившего уроки Просвещения, состоит в том, что шотландская история может быть объяснена в соответствии с универсальными принципами прогресса, неизбежно несущими обществу гражданские свободы. Иными словами, можно сопоставить положение Шотландии, расширившей вследствие унии свои гражданские свободы, с другими странами, идущими по пути прогресса.

В рамках просветительской парадигмы рассматривается и период шотландской истории, предшествовавший унии. По Юму, шотландская история до 1707 г. была «чем-то вроде взаимодействия феодальной анархии и религиозных злоупотреблений»⁴⁸. В «Истории Англии» он пишет о ситуации в средневековой Шотландии: «правительство Шотландии постоянно осуществляло мероприятия, характерные для всех варварских наций»⁴⁹. Даже идя по пути прогресса, варварские народы использовали методы, характерные для их отсталой природы. Так, шотландская реформация была инициирована Дж. Ноксом, чьи политические взгляды, по словам Юма, были столь же бунтарскими, сколь его теологические идеи яростными и фанатичными⁵⁰. Две черты феодального общества были объектами яростной критики со стороны просветителей – постоянная вражда феодалов и аграрная экономика, неспособная к развитию. Уния же способствовала изживанию этих черт, приближая Шотландию к процветающему коммерческому обществу. Рождение Великобритании окончательно утвердило идею необходимости гражданской свободы и экономического развития посредством дефеодализации Шотландии.

Если история Шотландии (под истинной Шотландией понимался, главным образом, Лоуленд) была историей варварства и мрака, то с Хайлендом дело обстояло еще хуже: клановая система и гражданские свобо-

⁴⁷ Цит. по: *Garside P. Scott, the Romantic Past and the Nineteenth Century // Review of English Studies. 1972. № 23. P. 501.*

⁴⁸ *Fry M. The Whig Interpretation of Scottish History // The Manufacture of Scottish History. Edinburgh, 1992. P. 76.*

⁴⁹ *Hume D. The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688. Vol. 1. L., 1864. P. 548.*

⁵⁰ *Ibid.. P. 240.*

ды были несовместимы; о материальном процветании в таких условиях речь идти не могла. По общему признанию современников, лишь после подавления Великого восстания 1745 года и Акта почетной юрисдикции 1747 года Хайленд встал на путь цивилизации. Все это приводило шотландских просветителей, пожинавших плоды «улучшений» и ставших свидетелями трансформации британского общества, к мысли о том, что шотландское прошлое до 1707 года находилось в русле универсальных процессов и было «обречено» на прогресс.

Александр Тайтлер, читавший Скотту университетский курс всеобщей истории, хотя и выступал против «сведения всего к общим принципам», верил в прогресс человечества. В рамках философской истории любое историческое событие или явление он описывал независимо от того, где и когда оно произошло. История виделась ему в качестве «наставления примерами», и ее обязательными признаками считались риторика и красноречие. Но будучи убежденным сторонником «философской истории», Тайтлер, тем не менее, предпочитал факты абстрактным принципам. Признавая историю «школой политики», в рамках которой факты прошлого помогают людям быть полезными обществу, он гораздо более интересовался эмпирическими фактами, чем универсальными законами истории. Основой исторического знания для него было скрупулезное изучение источников⁵¹. Одним из первых он сформулировал мысль о том, что история учреждений и права может быть изучена только посредством имеющихся в руках исследователя материалов, но никак не путем философских обобщений. Несмотря на это, Тайтлер не отрицал необходимости теоретического изучения прогресса, в целях выявления его факторов и условий; примером тому может служить его подход к политической истории, которую он описывал в терминах «высших человеческих привычек».

Некоторые особенности «философской истории» восходят к шотландской правовой системе, в которой «принципы обращены к повседневным человеческим ситуациям»⁵². Многие юристы и теоретики права эпохи Просвещения интересовались историей, а историки использовали методы юристов в своих исследованиях. Изучая прецеденты, исторические или правовые, они вкушали «плоды человеческого опыта». Собственный опыт, личное отношение к Юму, преподававшему Скотту право, и та связь прошлых и настоящих правовых систем, которую постоянно проводил Юм в своих лекциях⁵³, убеждали Скотта в существовании универсальных законов прогресса.

⁵¹ *Ash M. The Strange Death of Scottish History. P. 23.*

⁵² *Ibid. 1980. P. 26.*

⁵³ *Scott W. Memoirs. P. 42–43.*

Писатель следовал в том же русле, что и Тайтлер и Юм, но не отказывал прошлому в его влиянии на настоящее и, в отличие от Юма, признавал значимость средневековой истории. Придерживаясь принципов «философской истории» в своем взгляде на исторический процесс, Скотт в то же время работал и с «антикварным» материалом, закладывая основу новых для его времени правил источниковедческого исследования. Он не делал из истории некое «показательное зрелище», не сводил ее лишь к моральным принципам и урокам, а пытался устанавливать общие исторические законы и связи, совмещая, тем самым, «эмпирический» и «философский» методы в истории.

Однако его подход к изучению истории собственной страны имел еще и социальную природу – помимо всего прочего он принадлежал к классу земельной аристократии, разделял торийские убеждения и верил в идею «Северной Британии» с материальным процветанием, которое была способна принести ей Уния 1707 года.

К середине XIX века стало очевидно, что так называемая «система полунезависимости» Шотландии, инициированная Унией, нуждается в реконструкции. Страх перед новыми потрясениями, испытываемый аристократами, вел их к еще большей консолидации посредством древнего механизма патронажа⁵⁴. В то же время, число шотландцев в войсках Британии или на имперской гражданской службе значительно возросло после 1745 года, когда на поле Каллодена окончательно были развеяны якобитские иллюзии. Беспокойство земельной аристократии было обусловлено тем, что по Акту 1747 года она потеряла свое право управления на местах, идущее еще от клановой системы. Залогом успешного инкорпорирования шотландских землевладельцев в британские политические структуры было сохранение автономии шотландской правовой и церковной системы. В XVIII в. эта «шотландскость» еще очень редко подвергалась притеснениям со стороны британских властей. Исключением является, пожалуй, лишь сокращение на две трети численности членов Судебной Сессии в 1785 г. При всем этом, вполне очевидно одно обстоятельство – существовавшая в сознании шотландской элиты разница между восприятием Шотландии как «Северной Британии» и как английской провинции.

Битва при Ватерлоо является своеобразным водоразделом в истории британской идентичности, поскольку она была направлена против католических держав, особенно Франции. Пока якобитизм представлял реальную политическую угрозу для Великобритании (до 1746 г.) связь между династией Стюартов и Францией использовалась для усиления

⁵⁴ Colley L. Britons: Forging the Nation 1707–1837. L., 2003. P. 123–132.

чувства «британскости». Якобиты способствовали сохранению чувства страха перед тем, что поддерживаемые французами Стюарты вернутся на престол, и Британия, подобно Франции, лишится гражданских свобод и будет подвергаться давлению крупных собственников. Протестантизм же давал британцам убежденность в том, что они «избранная нация», и что их страна – лидер протестантского мира⁵⁵. Чувство «британскости» использовалось как мост, связывающий протестантскую Англию, Шотландию и Уэльс. Жители всех трех частей королевства обладали двойной или «концентрической» идентичностью. Правда, Т. Смаут замечает, что идея «концентрической» идентичности была большей проблемой для «Южной Британии, где различие между «английскостью» и «британскостью» было более размыто⁵⁶.

«Концентрическая» идентичность шотландской землевладельческой знати была воплощена в идее «Северной Британии» и реализовывалась посредством экономических преобразований в Шотландии, а позже – убеждением в лидерстве в рамках Британской империи. Концепт «Северная Британия» получал идеологическое обоснование от просветителей, которые подвергли деструкции до-униатское шотландское прошлое: феодальная основа средневековой Шотландии была уничтожена посредством заключения унии с Англией, где гражданские свободы уже получили развитие. Основы этого развития по направлению к «англизированной модернизации», считает К. Кидд, были заложены еще на поле Каллодена, и тем самым предшествовали реализации просветительских идей⁵⁷. Правда, все же стоит отметить, что этот прогресс был принесен в Шотландию не сменой «шотландскости» на «английскость», но, скорее, участием шотландцев в функционировании англоцентристского Соединенного Королевства.

В. Скотт был представителем последнего поколения консервативно настроенной шотландской землевладельческой элиты, которое верило в идеал «Северной Британии». Первая часть его жизни прошла в эпоху веры в Прогресс и Разум, но и в эпоху, когда якобитизм был еще чрезвычайно жизнестоек, особенно, в народной памяти. С одной стороны, его жизнь до 1814 г., когда был написан «Уэверли», типичная история жизни шотландского тори. Он получил юридическое образование и, благодаря «дандасовскому деспотизму» с его системой патронажа, занимал целый ряд постов. Однако его карьера писателя была тесно связана с процессом социальной трансформации общества.

⁵⁵ Ibid. P. 30–36.

⁵⁶ Smout T. C. Problems of Nationalism, Identity and Improvement in Later Eighteenth-Century Scotland // Improvement and Enlightenment. Edinburgh, 1989.

⁵⁷ Kidd C. Subverting Scotland's Past. Cambridge, 1993. P. 205–215.

Ранние работы В. Скотта являют собой пример взаимодействия социальных и интеллектуальных условий его творчества. Например, искренняя вера в прогресс была неотделима от столь же искреннего убеждения в необходимости сохранения социального *status quo*. Торийская политика, представлявшая интересы и земельной аристократии, и ганноверской династии, рассматривалась как то, что было способно объединить британскую монархию.

Судьбы героев романа «Уэверли» зависят от их отношения к меняющемуся миру. Фергюс Макивор, вождь клана, со словами «Боже, храни короля Джеймса», встречает наказание, но осознает кару, как неизбежный результат развития истории. Никому из героев не удастся изменить ход истории. С другой стороны, судьбы тех, кто сумел приспособиться к реальной действительности ганноверского царствования, как бы игнорируются Скоттом. Некоторые авторы, объясняя, что двигало Скоттом при написании его романов, противопоставляют якобитские мечты автора и ганноверские реалии его времени. Сам писатель роковую судьбу якобитизма символизирует галантной смертью вождя Макивора. Финал «Уэверли» воспекает утверждение современной цивилизованной Британии, при этом идеализирует якобитское феодальное прошлое⁵⁸.

Подобное противопоставление якобитских и ганноверских устремлений Скотта способно пролить некоторый свет и на дальнейшее прочтение писателя шотландскими историками, в частности представителями «философической» историографии, которую Колин Кидд называет социологической вигской историографией. Основное отличие Скотта и вигских историков, призывавших подвергнуть шотландское прошлое забвению, состоит в том, что шотландский новеллист, наоборот воспевал его, стремясь приукрасить путем акцентирования внимания на его двойственности – романтической и реалистичной составляющих. По словам исследователя творчества Вальтера Скотта, Дж. Андерсона, «его чувства были якобитскими, в то время как по убеждениям он стремился быть ганноверцем»⁵⁹. Да и сам Скотт говорит о двойственности своих чувств, описать которую невозможно⁶⁰.

М. Питток считает, что Скотт больше всех потрудился на поприще приукрашивания и мифологизации якобитизма, который стал романтической иконой шотландского прошлого и был персонифицирован в образе Прекрасного Принца Чарльза⁶¹. Скотт называл Шотландию разде-

⁵⁸ *Smith J. A. Scott and Idea of Scotland // The University of Edinburgh Journal.* № 21. 1963–1964. P. 199–200.

⁵⁹ *Anderson J. Sir Walter Scott and History.* Edinburgh, 1983. P. 24

⁶⁰ *Sir W. Scott. The Minstrelsy of the Border Ballads,* Edinburgh, 1802. P. CXXXI.

⁶¹ *Pittock M. The Myth of Jacobite Clans.* P. 112.

ленной нацией, говоря в равной степени и о религиозных различиях, и о разнице между равнинной и горной частями страны, и об этнической дистанции, и приходя к выводу, что эти «исторические пропасти» в ретроспективе препятствовали объединению государства. Но поскольку он воспевал якобитское прошлое, ему сложно было критически относиться к Хайленду как к источнику якобитизма. Горную Шотландию он рассматривал, скорее, как искаженный вариант Лоуленда. Даже в его последних работах, в которых вера в прогресс выражена уже не столь отчетливо, этот взгляд на соотношение хайлендерской и лоулендерской истории сохраняется⁶². Для Скотта Хайленд был символом романтической Шотландии, и в этой картинке «миллой» горной Шотландии не было места для ужасающих реалий хайлендерских чисток.

Со временем, во многом благодаря В. Скотту, якобитизм превратился в символ шотландского прошлого и лег в основу национальных сантиментов, которые оказались облечены в историческую диалектику вполне рационального англо-британского юнионизма, как, впрочем, и в одежды эмоционального шотландского патриотизма. И британский юнионизм, и шотландский патриотизм эксплуатировали идеи, заложенные Скоттом. Однако по прошествии времени выхолащивание политической якобитской идеологии привело к тому, что движение перестали рассматривать как периферийный протест хайлендеров, ведомых принцем Чарльзом. Когда Георг IV посетил Шотландию в 1822 г., Скотт, организатор церемонии приема, выступил с инициативой представить всю Шотландию как единый хайлендерский клан, одетой в цвета тартана королевского клана Стюарт. «Мы – Клан, и наш Король – Вождь», – гласили лозунги⁶³. Таким образом, якобитизм интегрировался в ганноверскую Британию, и разделенные «шотландии» были инкорпорированы посредством одной исторической иконы.

Столь же много Скотт сделал для мифологизации истории Унии. В написанном в XVIII в. романе «Уэверли» события Унии описываются как «дурная штука». Такая же оценка событий англо-шотландского объединения характерна и для других произведений Скотта, что, очевидно, было вызвано ощутимым влиянием народного протеста первых лет после Унии. Однако сам романист рассматривал ее не иначе как «нейтрализованное шотландское прошлое». Независимая Шотландия была уже частью прошлого, и, осознавая это, писатель рассматривал современное положение своей родины как проявление универсальных принципов

⁶² *Sir W. Scott. History of Scotland // D. Lardner. Cabinet Cyclopaedia. Vol. 1. L., 1830. P. 49–58.*

⁶³ *Pittock M. Invention of Scotland. P. 89.*

прогресса. Его отношение к якобитизму не было неизменным: если в «Уэверли» якобитизм рассматривается как прекрасное трагическое прошлое «обреченной нации», то в более поздних произведениях якобитские войны показаны как некий бессмысленный акт варварского и одновременно нелепого бахвальства.

Практически во всех поздних произведениях Скотт обращается к одной проблеме – как уния отразилась на современном положении Шотландии. Он верил в этот союз, который принес процветание его стране и ему лично. Однако, подобно многим его современникам (таким, например, как Генри Кобурн), он не в силах был примириться с исчезновением патриархальных шотландских пейзажей, зеленых долин и пустошей, поросших вереском. Все это исчезало под нашествием индустриальной цивилизации. И, если судить по его последним произведениям, таким как «Рассказы деда» (1827 г.) и, особенно, «История Шотландии» (1830 г.), его вера в прогресс была не столь безусловной. Возможно, это было связано с осознанием того, что виги с их навязчивой идеей прогресса более соответствуют индустриальному облику Шотландии, нежели торийский консерватизм. «Северная Британия» для Скотта стала жертвой англоцентричного унитаризма – Шотландия становилась окраинной провинцией Англии. Особенно четко эта идея проводится в «Письмах Малаши Малагровер» (1826 г.).

Скотт считал, что уния не только принесла процветание, но и избавила его страну от тиранического феодального прошлого. Он верил в прогресс цивилизации, однако впечатляющие плоды экономического развития были поставлены под сомнение событиями 1820-х годов, которые совпали с его собственным банкротством в 1825 г.⁶⁴ Шотландия 1820-х годов испытала на себе неоднозначность проявлений «прогресса» и «улучшений». Хотя В. Скотт принадлежит, скорее, к вигской традиции историописания, его политические симпатии были на стороне тори. Его оценка унии столь же испытала на себе влияние вигских взглядов, сколь его консерватизм соответствовал идеям торийской землевладельческой элиты. Рост движения за парламентскую реформу, соответственно, внушал ему больше опасений, чем надежд.

«Письма Малаши Малагровер» могут быть поняты именно в этом контексте. Основная их идея – протест против стремления правительства лишить шотландские банки права выпускать собственные кредитные бумаги. Скотт выступал против этой «страсти к унификации», поскольку, по его мнению, банки в Шотландии достойно справлялись со

⁶⁴ *Harvie C. Scott and the Image of Scotland // Sir Walter Scott: The Long-Forgotten Melody / Ed. by A. Bold. L., 1983. P. 31–32.*

своими обязанностями⁶⁵. Слова «страсть к унификации» часто встречаются в «Письмах». Постоянно обращая внимание на разницу между «Северной Британией» и ее южной соседкой, он считал, что нет никаких оснований для унификации всех проявлений общественной жизни, и, в частности, банковской сферы⁶⁶.

И все же мотивы написания «Писем Малаши Малагровер» связаны не столько с банковской реформой, сколько с очевидным кризисом идентичности, с которым столкнулась Шотландия и лично Скотт. Социальная структура и менталитет в результате заданного унией импульса быстро менялись. Проявления этой трансформации были заметны и в административной, и в правовой, и в политической сферах, и «Письма» – своеобразная реакция на то, что произошло после Унии.

В заключение «Писем» Скотт обращает внимание на то, что «божьим проявлением природа создала нас, англичан, ирландцев и шотландцев, выражающих особенности своих земель», и поэтому стремление к унификации противно природе каждой из наций⁶⁷. Говоря это, он, видимо, с трудом проводит разницу между своим стремлением к отстаиванию шотландского духа и критикой в отношении англичан.

Ясно, что писатель все же не желал изолировать Шотландию от Англии. То, к чему он стремился, была и не полная независимость, и не инкорпорация Шотландии в «Южную Британию». Его идеал был в сосуществовании Англии и Шотландии как равных партнеров в деле процветания Британской империи. Однако эта идея «равного статуса» шотландской и британской идентичностей в русле «улучшений» и на основе рационализма была значительно поколеблена стремительно развивающимися событиями 1820-х гг. Как замечает Д. Дайчез, «страх Вальтера Скотта перед буржуазно-демократическим развитием» очевиден в «Письмах Малаши Малагровер»⁶⁸. Писатель тоскует по былой шотландской идентичности, что особенно проявляется в его «Искусстве Шотландского Пограничья» (1802 г.). Однако эта тоска сопровождается признанием очевидных результатов «улучшений» и тех плодов, которые принесла Шотландия эпоха Просвещения.

В. Скотта удовлетворяло осознание того, что якобитизм превращается в величественный национальный миф, поставленный на службу современной «британскости». Однако его попытки примирить прошлое с

⁶⁵ *Sir W. Scott. The Letters from Malachi Malagrowther // Miscellaneous Prose Works. Vol. 21. Edinburgh, 1853. P. 284–291.*

⁶⁶ *Ibid. P. 296.*

⁶⁷ *Ibid. P. 297.*

⁶⁸ *Daiches D. Scott and Scotland // Scott Bicentenary Essays / Ed. by A. Bell. Edinburgh, 1973. P. 42.*

настоящим порой сталкивались со сложностями. Исследования Х. Тревор-Роупера и П. Скотта показали, что к писателю одинаково применимы два определения: это и британский юнионист, веривший в принципы Просвещения и прогресса, и шотландский националист, отстаивающий права самоуправления Шотландии. Да и сам он, возможно, пытался быть и юнионистом, и националистом, стремился найти место своим националистическим взглядам в рамках унии, что и составило основу так называемой «концентрической идентичности».

Эти идеи наиболее полно отражены в «Рассказах деда» (1827 г.). Изначально они писались для внука – Джона Хью Локхарта, с тем чтобы открыть юноше «общий взгляд на шотландскую историю» путем обращения к самым интересным сюжетам, которые Скотт собирался изложить в легкой и доступной форме. Большая часть книги посвящена известным событиям шотландской истории: битва при Беннокберне, история Марии Шотландской, события восстаний 1715 и 1745 гг. В этом смысле книга представляет собой популярную версию шотландской истории. Стоит заметить, что однажды писатель уже пытался создать «истинную историю Шотландии», но эта попытка провалилась, так как со временем он понял, что придется проделать работу гораздо более сложную, чем предполагалось⁶⁹. Таким образом, «Рассказы» – это сжатая версия представлений Скотта о шотландской истории.

Писатель начинает произведение с главы «Как Шотландия и Англия стали независимыми королевствами», и в ней обращает внимание на этнические различия⁷⁰. С самого начала он помещает шотландскую историю в контекст неизбежной унии. Идея Шотландии как «обреченной нации» воплощается в описании средневековой шотландской политической системы, суть которой проявлялась в постоянных военных стычках. Так он поясняет различия между деспотизмом и «свободным правлением», которое существовало в Британии. Он еще и еще раз обращает внимание на то, что склонная к тирании шотландская знать, перманентно препятствовала становлению свободной политической системы. Феодалные лорды, обладая иммунитетом, не давали возможности королю и его судебным органам вершить истинное правосудие в королевстве. Они же постоянно погружали страну в пучину «смертельной вражды». Это беззаконие время от времени пытались исправить такие «благородные и честные мужи», как Роберт Брюс, чья позиция была, по мнению Скотта, скорее, исключением. Беззаконие в государстве прово-

⁶⁹ *Burton J. W. The Portrait of a Christian Gentleman, a Memoir of Patrick Fraser Tytler. L., 1859. P. 175–176.*

⁷⁰ *Sir W. Scott. The Tales of Grandfather: being the History of Scotland from the earliest period to the close of Rebellion 1745–46. L., 1925. P. 2–6.*

цировалось двумя разнородными периферийными элементами – Горной и Пограничной Шотландией⁷¹.

Очевидно, что писатель книге воплотил идею шотландского прошлого как времени беззакония, столь характерную для вигской историографии. Но он не разделяет мнение англоцентричных историков о том, что гражданские свободы в Англию были принесены завоевателями-норманнами⁷², и что гражданские свободы существовали на территории Британии еще с англо-саксонских времен⁷³.

Восшествие на английский престол Джеймса VI – сюжет, с помощью которого Скотт объясняет, что такое прогресс, и это «теоретическое» отступление представляет собой не просто случайную паузу в канве исторического повествования. В конце 33-й главы автор описывает унию корон как окончание независимой и раздельной истории Англии и Шотландии, а начиная следующую главу, объясняет, что значение объединения корон заключалось в том, что был положен конец вражде двух королевств и были заложены основы общественного прогресса⁷⁴. Среди этапов прогресса Скотт называет формирование монархического и республиканского правления, возникновение денег и зарождение торговли, складывание более устойчивых связей между людьми путем развития литературы и изобретения книгопечатания, что в итоге сделало возможным перевод Библии и привело к «счастливой» реформации. Не обходит он вниманием и те факторы, которые повлияли на уровень прогресса⁷⁵. Таким образом, его объяснение прогресса чаще всего заключается в противопоставлении «старого» и «нового».

На страницах, повествующих о событиях 1688-89 гг., автор всецело придерживается традиции вигской историографии⁷⁶. Революция 1688-89 гг. в Англии воспевается им, как величайшее событие, «определившее судьбу великого королевства без кровопролития, что, возможно, было единственным в истории случаем»⁷⁷.

Говоря о резне в Гленко и Дарьенской авантюре, писатель использует многочисленные эмоциональные эпитеты, что разительно отличает эту часть произведения. Раскрывая трагедию Дарьена, Скотт даже не пытается скрыть свое отношение к Англии и королю Вильгельму III, пренебрегшему шотландскими интересами. Правда, стоит отметить и его

⁷¹ Ibid. P. 116–120.

⁷² Ibid. P. 20–22.

⁷³ *Sir W. Scott. History of Scotland // Cabinet Cyclopaedia. V. 1. P. 49–58.*

⁷⁴ *Sir W. Scott. The Tales of Grandfather... P. 365, 377.*

⁷⁵ Ibid. P. 377.

⁷⁶ *Anderson J. Sir Walter Scott and History. Edinburgh, 1983. P. 24–25.*

⁷⁷ *Sir W. Scott. The Tales of Grandfather... P. 664.*

неоднозначное отношение к Шотландской торговой компании. Анализируя события в плане стремления Шотландии к процветанию, он обращает внимание на то, что Дарьенская авантюра была задумана шотландской администрацией, чтобы отвлечь внимание шотландцев от недавней трагедии в Гленко⁷⁸. Скотт также рассматривает Дарьен как своеобразную форму англо-шотландского противостояния, воплощенного в варварской войне⁷⁹. Он подразумевал, что как производственный сектор общества развивается от сельского хозяйства к коммерции, так и человеческие обычаи эволюционируют от варварства к цивилизации. Иными словами, вслед за прогрессом общечеловеческой истории, англо-шотландские отношения тоже трансформировались от кровавой войны – через коммерческое противостояние – к миру. Трагедия Дарьена, как в итоге оценивал ее Скотт, была лишь рубежом на пути к унии, установившей мир и счастье на Британских островах.

Отношение Скотта к унии в «Истории» сходно с тем, что мы встречаем на страницах «Малаша Малагровер». Искренне веря в унию, он, однако, утверждает, что она должна не диктоваться Англией, а быть, скорее, результатом взаимного согласия⁸⁰. Участие Шотландии в английской торговле, способное излечить шотландскую гордость после удара, нанесенного Дарьеном, считалось предпосылкой счастливого и справедливого объединения. С той же позиции, Акт о безопасности (1703), который утверждал раздельное наследование шотландского и английского престолов, характеризовался как «брошенная более сильной Англии перчатка»⁸¹. Здесь, в отличие от «Уэверли», Скотт больше не обвиняет Шотландию в незрелости. Ухудшение англо-шотландских отношений в результате Акта 1703 года ускорило принятие унии, подтолкнув мудрых людей обоих королевств к решительным действиям. В ходе переговоров об унии основные условия диктовались английскими комиссионерами, и Скотт не скрывает негодования в отношении шотландских переговорщиков, которые сдали свои позиции в обмен на уступки по вопросу об Эквиваленте⁸².

Но поскольку условия этой «сделки» не были известны широким массам населения, социальный конфликт становится непосредственным результатом принятия унии. Писатель даже воссоздает развитие этого конфликта: все слои и категории общества объявляют свой протест комиссионерам. По его мнению, антиуниатский протест еще не скоро уй-

⁷⁸ Ibid. P. 725–728.

⁷⁹ Ibid. P. 729–730.

⁸⁰ Ibid. P. 738, 741–742.

⁸¹ Ibid. P. 743–745.

⁸² Ibid. P. 751.

дет в прошлое, точно так же, как и положительные последствия унии еще не стали реальностью⁸³. Осознавая значимость внешнего давления, финансового и административного, он очень скептически отзывался о тех шотландских парламентариях, кто способствовал принятию унии. Он не забыл ни фатальной неспособности комиссионеров противостоять договору, ни провала их попыток изменить откровенно антишотландские статьи унии⁸⁴. Однако, с другой стороны, сам он прекрасно понимал, что в обществе подобные настроения исходили от многочисленных якобитов, желавших настроить народ против унии, создавая ее одиозный образ и всячески дискредитируя ее сторонников.

Для писателя вера в окончательное утверждение унии пришла лишь с подавлением якобитского восстания 1745–1746 гг., отменой наследственной юрисдикции и устранением обычая военной службы лэрдам⁸⁵. Наконец, по его мнению, лишь после восшествия на престол Георга III в Шотландии начался процесс индустриализации, и «забилося общее англо-шотландское сердце»⁸⁶. Скотт мог бы предсказать и королевский визит 1822 года, и самого короля Георга, одетого в цвета королевского клана Стюарт, и инкорпорирование шотландского прошлого в британское настоящее. Однако к концу жизни отношение писателя к унии становится менее определенным.

Таким образом, если в «Малаша Малагровер» Скотт высказывает некоторые сомнения относительно быстрой трансформации Шотландии в рамках унии, то в «Рассказах деда» его скепсис выражается в смеси рациональности и эмоций. Он искренне верил в унию, но был патриотом и пытался примирить это противоречие, поместив шотландский национальный миф в контекст британского юнионизма. Уния для него – историческая икона, сохранившая «королевство одновременно и гордым, и независимым». Он никогда не призывал противостоять британскому государству, ведь его успехи и как романиста, и как юриста сформировались в эпоху реализации унии. Для Скотта и его единомышленников – членов правящего класса Шотландии, лояльность по отношению к родной стране выражалась скорее в развитии и усовершенствовании идеи «Северной Британии», нежели в стремлении повернуть часы истории обратно в сторону независимой Шотландии. Писатель считал себя патриотом, действующим на благо Шотландии, и этим ставил свой патриотизм в идеологические рамки «концентрической идентичности». В последних произведениях его сомнения выражаются лишь в свое-

⁸³ Ibid. P. 772-777, 802, 960-963, 1192.

⁸⁴ Ibid. P. 770.

⁸⁵ Ibid. P. 1175–1179, 1186.

⁸⁶ Ibid. P. 771, 1188–1192.

образной исторической диалектике и использовании одновременно таких обозначений для унии, как «крепчайшая дружба и связь» и «недостойная сделка»⁸⁷. Он попытался объяснить шотландское прошлое и отношения своей страны с Англией в категориях «смешанных чувств». Еще и четверть века спустя такие «смешанные чувства» являлись исторической реальностью.

Жанр история-рассказ, основы которого в Шотландии были заложены В. Скоттом, был унаследован историками XIX века, которые, в отличие от предшественников, проводили свои исследования, опираясь на исторические документы. Одновременно, XIX столетие было отмечено оживленной критикой шотландского феодализма, унаследованной от XVIII века, а также кампанией по аграрным улучшениям.

Шотландское историописание в первой половине XIX века определялось не только традицией, заложенной В. Скоттом, антифеодальными и националистическими доводами: среди новых факторов была Французская революция, вызвавшая обеспокоенность жестокостью, сопровождавшей институциональные и организационно-правовые сдвиги; теоретические исследования конца XVIII в. о расовых различиях в рамках полиэтничных наций; а также та динамика, с которой происходила инкорпорация Шотландии в Британское королевство и изживался «комплекс недоразвитости», позволивший сформироваться тому, что Грэм Мортон в 1993 г. назвал «юнионистским национализмом»⁸⁸.

В течение всего XIX века английские и, вслед за ними, шотландские историки демонстрировали в своих сочинениях стойкий страх перед любыми революционными потрясениями, аргументируя необходимость и благотворность поступательного развития, пример которого демонстрировала английская история. В предисловии к «Истории Европы во времена Французской революции», выдержавшей восемь изданий и вышедшей многотысячными тиражами, Арчибальд Алисон, шотландский юрист и историк, воспевал старинный прагматизм английской либертарианской традиции, выступая при этом против любых реформ, в том числе парламентской реформы 1832 года. Со времен норманнского завоевания идеал английской свободы связывался с ностальгией по англосаксонской форме конституции, в результате чего «борьба за свободу в Англии приобрела определенную четкую направленность, и вместо того чтобы тратить время на стремления к неосуществимым мечтам, остано-

⁸⁷ Ibid. P. 744, 770.

⁸⁸ Morton G. Unionist-Nationalism: the historical Construction of Scottish National Identity, Edinburgh, 1830–1860. PhD thesis. Edinburgh University. 1993.

вилась на сильном и неугасающем желании реставрации прежних порядков». Алисон сетовал лишь, что шотландцы не обладали такой же сдержанностью. Если английская реформация была построена на «почитаемых формах конституции», то в шотландской – недавно пробудившийся дух свободы, «растратил себя сам... на фантастические и невыполнимые мечты, не несущие Шотландии какого-либо преимущества, после которых нация лишь опять вернулась к первоначальному рабству». Хуже того, согласно Алисону, Шотландия 1640-х гг. реально пробудила перспективу ужасов Французской революции: «мягкий и гуманный ход гражданской войны в Англии составил наиболее поразительный контраст с жестокостью роялистов... в Шотландии. Ужасы Вандейского восстания стали ощутимо реальны во время резни Монтроуза...»⁸⁹.

Вместе с тем, в статье, опубликованной в «Блэквуде» в 1834 г., он критикует тех проанглийских вигов, которые вообще не видят в шотландском прошлом ничего, кроме «человеческого абсурда, феодальной тирании и варварской жестокости», а современное процветание Шотландии связывают лишь с унией. Он обращает внимание современников на такие значимые шотландские достижения, как Закон о бедных, 1579 года, Акт об образовании (1696 г.), Акт, касающийся неправомерного заключения (1701 г.). С целью проследить историю законодательной мудрости шотландцев, Алисон изучил документы, касающиеся войн за независимость и реформации, и указал на то, что «удачная конституция национального парламента, давшая полное и справедливое представительство всем слоям населения, полностью исключила все эгоистичное и пристрастное из законодательства, что всегда преследуют избранные члены общества»⁹⁰. В целом, он отмечал патерналистскую традицию в парламентской деятельности, которая способна облегчить интеграцию шотландской и английской систем.

Эволюция английского права способствовала выработке стойкой идиосинкразии по поводу революций, которая сохранилась на долгое время, будучи заимствованной и в Шотландии. Еще в 1894 г. в своей инаугурационной речи в университете Глазго, известной как «Урок истории в шотландском университете», Ричард Лодж отмечал, что «ни одна реформа или процесс не могут быть полезными или долговечными, если следовать не поступательному развитию, а революции... И секрет успеха нашей конституции в ее стабильном развитии без революционных изменений. Не будет преувеличением сказать, что боль-

⁸⁹ Alison A. History of Europe during the French Revolution. Edinburgh; L., 1833–1842. V. I. P. 20, 33, 38.

⁹⁰ Alison A. The Old Scotch Parliament // Blackwood's Edinburgh Magazine. 1834. November, № XXXVI. P. 661, 663–665, 672.

шинство фундаментальных институтов Англии существовали еще при Эдуарде I. Годы процветания адаптировали эти институты для разнообразных нужд в соответствии с меняющимся соотношением социальных и политических сил, и англичане никогда не намереваются что-либо разрушить или заново создать в короткий период»⁹¹.

Наряду с революциями, предметом активного изучения с конца XVIII в. в Шотландии стали расы. Ранние энтузиасты, такие как Джон Пинкертон, считали расовые характеристики решающими в процессе формирования шотландской нации, а позже эти теории легли в основу построений, увязывающих этничность и институциональную историю⁹². Характерно, что тевтонская раса чаще ассоциировалась со свободой, законом и прогрессом, ао кельтская – с отсталостью и угнетением. Джордж Чалмерс в «Каледонии» и Космо Иннес в «Зарисовках по поводу ранней шотландской истории и социального прогресса» отдавали главную роль в эволюции шотландских институтов тевтонским иноземцам⁹³. Тевтонское прошлое подрывало шотландскую самобытность, проповедуя стойкую, в том числе и естественноисторическую, связь между лоуландерами и англичанами. Уильям Бернс в «Шотландской войне за независимость», следуя теории тевтонства, писал, что шотландцы и англичане были «ветвями великого общего саксонского дерева, разделенными на время неудачной войной», однако, подчеркивая разницу между шотландцами и англичанами, продолжает: «если бы те, кто воевал, не принадлежали к шотландской нации, но были бы частью саксонской общности... тогда история нашей страны не имела бы смысла»⁹⁴.

Однако уже становится очевидным, что в процессе формирования нации реальность этнического происхождения менее значима, чем осознание этого происхождения и той идеи, которая нацию объединяла. Выделяя среди таких идей монотеизм семитов, славу французов, коммерцию и гражданские свободы англичан, Бернс подчеркивает, что у шотландцев такой идеей была идея независимости и религиозной свободы⁹⁵. В построениях Бернса идея нации в Шотландии – это исторически укорененный концепт, стержнем которого всегда являлась независимость, сохраняемая даже тогда, когда большая часть нации завоевана.

⁹¹ Lodge R. The Study of History in a Scottish University. Glasgow, 1894. P. 7–8, 14.

⁹² Pinkerton J. A Dissertation on the origin and Progress of the Scythians and Goths (1787) // *Idem*. An Enquiry into the history of Scotland. Edinburgh, 1814; Clarke D. Scottish archeology in the second half of the ninetieth century // The Scottish Antiquarian Tradition. Edinburgh, 1981. P. 130–131.

⁹³ Chalmers G. Caledonia. V. I. P. VIII–IX, 495–613; Innes Cosmo Sketches of Early Scottish History and Social Progress. Edinburgh, 1861. P. 9.

⁹⁴ Burns W. The Scottish War of Independence. Glasgow, 1874.

⁹⁵ *Ibid.* P. 16–17, 25–26.

Для Уильяма Форбса Скене, «безрезультатная борьба» исторических кельтских шотландских племен с тевтонами повлекла за собой постепенное отступление коренных жителей в горы и на территории западных островов⁹⁶. У. Скене вторит Даниэль Вильсон, говоря, что «существенные отличия между германской и кельтской группой остаются достаточно заметными спустя века их мирного сосуществования и взаимного обмена правилами и привилегиями. Шотландский гэлл, тем не менее, никак не может быть назван чистым кельтом, ведь они отличаются языком, моральными устоями, интеллектуальным уровнем»⁹⁷. Социальная отсталость, которая характеризует кельтскую расу, не является непреодолимой, что, по мнению историков, подтверждается успехом мероприятий, проводимых на севере Аргайлом. Более того, социальная динамика и преодоление наиболее одиозных пережитков дикости, позволит вернуть самые ценные элементы кельтской культуры. Здесь принципиально важно, что для историков XIX века истинная шотландская культура была сохранена гэллами севера, значит, должен был наступить момент, когда эту культуру следовало «возвратить» остальной нации. Историческая шотландская культура, объявленная истинной культурой, в соответствии с ролью, которую играет Шотландия в Британии, должна быть транслирована на всю Британию. Это было теоретическим концептом, который позволял объяснить «тартаноманию», охватившую Британию – массовое увлечение всем шотландским, начиная от одежды и заканчивая литературой, культурой, историей.

Характеризуя шотландское развитие в XVII в., после унии корон, Г. Броуди констатировал, что большая часть страны «немного удалась от варварства» и до определенного времени сопротивлялась улучшениям. Поместья в северных районах больше «напоминают мелкие княжества», где «большинство людей трудится под давлением», что попирает их исконные права⁹⁸. Нормы баронской и королевской неприкосновенности, которые существовали там, по мнению историка, резко контрастировали с локальными корнями английской свободы, которую современные Броуди германские историки обнаруживали в германской марке и свободной сельской общине⁹⁹. Г. Броуди не был первым или единственным историком, который соотносил шотландскую историю и историю других европейских, главным образом, германских народов –

⁹⁶ Skene W.F. Celtic Scotland. Edinburgh, 1880. P. 17.

⁹⁷ Wilson D. Prehistoric Annals of Scotland. L., 1863. P. 13.

⁹⁸ Brodie G. A History of the British Empire from the Accession of Charles I to the Restoration. Edinburgh, 1882. V. I. P. 382–383, 405.

⁹⁹ Barrow J.W. The village community and the uses of history // Historical Perspectives: Studies in English Thought and Society in Honor of J.H. Plumb. L., 1974.

в XIX в. такие сравнения стали уже историческим клише. Интересно то, что особый акцент он делает на ущемлении прав низших социальных слоев, что, в глазах шотландцев, нарушает традиционные эгалитаристские принципы, завет, ковенант, согласно которому в шотландском обществе исторически укоренен договор взаимной ответственности.

Вся историография XIX века свидетельствует о том, что история англо-шотландских отношений, а точнее, история ассимиляции Англией Шотландии, неизбежно вела к объединению, хотя при этом мало кто отваживается отрицать, что сама уния стала актом политической спекуляции, но таким действием, которое было направлено не против, а в защиту нации, не понимающей своих преимуществ. Вопрос о том, почему три четверти шотландцев первоначально не приняли объединение, был решен возведением вины на коррумпированную шотландскую элиту в лице парламента и правительства, которые никогда не представляли мнения народа¹⁰⁰.

Одним из первых шотландских историков, использовавших приемы исторической критики, был Патрик Фрейзер Тайтлер – сын Александра Тайтлера, учителя В. Скотта. Хотя его «История Шотландии» не касается напрямую англо-шотландской унии 1707 г., вполне очевидно отношение автора к прошлому своей страны, сформировавшееся под влиянием отца и деда. Дед, Уильям Тайтлер – убежденный сторонник Мэри Стюарт и галантный защитник несчастной королевы от клеветников-вигов, работая на своих «Письмах из шкатулки», задумывался над вопросом о подлинности исторических свидетельств и о том, в каких условиях возможна фальсификация истории, и свой интерес передал сыну Александру, который при написании «Элементов общей истории» находился под значительным влиянием «философской истории» Просвещения¹⁰¹. В своих исследованиях он, объявляя целью стремление к исторической правде, создавал историю, комбинируя исторические факты и догадки. Интересуясь историей правовой и политической мысли, он писал в стиле сжатых рассказов, повествующих о каких-либо политико-правовых казусах. «История Британии» Александра Тайтлера заканчивается революцией 1689 года, когда «была закреплена и принята конституция... являющаяся свидетельством продолжения древней германской демократии»¹⁰². Оставаясь верным стремлению проследить эволюцию явлений, он намечает такие вехи развития конституции, как нормандское завоевание, Великая хартия вольностей, революция 1688–1689 гг. При-

¹⁰⁰ Chambers R. History of Scotland. L., 1832. V. II. P. 159.

¹⁰¹ Tytler A. Elements of General History, Ancient and Modern. Edinburgh, 1801. V. II. P. 159.

¹⁰² Ibid. Ch. 15.

мечательно, что для Александра Тайтлера, с одной стороны, история английской конституции является выражением всей английской истории, а, с другой, он не рассматривает историю Шотландии после 1603 г. как историю отдельной страны. Эволюция права, таким образом, для него является критерием общественного прогресса.

В Шотландии же, по мнению А. Тайтлера, в силу борьбы феодальных баронов конституция не получила развития. «Ни в одной стране мира, – пишет он, – феодальная аристократия не достигла большей высоты, чем в Шотландии. Высшие бароны были не ограничены в своих полномочиях и зачастую конкурировали с властью суверена, что становилось причиной многочисленных беспорядков в королевстве... Политика шотландских монархов способствовала этому, что, в свою очередь, было источником страданий и кровопролитий; но политика эта была необходима, поскольку следовало защищать амбиции и незаконную тиранию знати, нацеленную на низвержение трона и жестокое притеснение всего зависимого населения»¹⁰³. Соответственно, справедливым королем для А. Тайтлера был тот, кто умел сдерживать деструктивные амбиции аристократии. Джеймсы (Яковы) I, II и IV были отнесены историком в категорию успешных правителей, тогда как Роберт III и Джеймс III – наоборот, не удостоились высокой оценки из-за слабости их королевской власти. Шотландский же парламент, по мнению А. Тайтлера, не сыграл заметной роли в истории, поскольку короли легко могли им управлять посредством лояльных им прелатов¹⁰⁴.

Для Патрика Тайтлера, как и для его отца, средневековая Шотландия была кровавым периодом, когда страна находилась во власти тиранической аристократии, мешавшей продвижению по пути цивилизованных европейских стран, что было особенно заметно в сравнении с Англией. Кроважность и воинственность шотландской аристократии, таким образом, должна была свидетельствовать о тупиковости шотландской истории, где не сложилось традиции общественного диалога и обогащались лишь немногие. Характеризуя «дикое государство феодальной свободы», П. Тайтлер пишет, что «знать была столь же надменной и воинственной, сколь и невежественной, неосведомленной и неграмотной; тогда, когда она не была занята военными походами, она находила себя в грабеже и опустошении, которые перерастали в личную вражду; она относилась с презрением к любому занятию, которое не преумножало ее богатства или было способно улучшить ее нравы... Мы должны рассматривать феодальную систему, невзирая на все благород-

¹⁰³ Ibid. Ch. 32, 33.

¹⁰⁴ Ibid. Ch. 33.

ные и романтические ассоциации, которыми она себя окружила, как главное препятствие на пути прогресса, свободы и благоустройства»¹⁰⁵.

Первый том «Истории Британии» П. Тайтлера вышел в 1828 г., второй – в 1829 г. В предисловии ко второму тому автор объясняет свой метод: «При составлении существующей работы я пытался тщательно исследовать наиболее подлинные источники информации и передать моим читателям истинную картину времени без предубеждения и пристрастия... Если мои выводы и расходятся с мнением знаменитых авторов, то я полностью привожу их источник в Приложениях и Иллюстрациях, которые напечатаны в конце каждой книги»¹⁰⁶.

Тайтлер также считает, что гражданские и юридические учреждения были привнесены в шотландское общественное устройство саксами. «Очевидно, что кельтские жители страны были не склонны обосновываться и жить в городах, – пишет он. Пока Шотландия управлялась кельтскими правителями, социальные привычки народа и развитие промышленности были несовместимы»¹⁰⁷. Для Тайтлера прогресс в развитии гражданских свобод, коммерческое процветание и развитие нравов неотделимы друг от друга. Он считает, что накопление богатств у ремесленников привело к тому, что они получили возможность выкупить свою свободу и стать гражданами страны, закрепив свои права в городских грамотах. Таким образом, рождение коммерческого класса было параллельно накоплению гражданских свобод. Хотя историк и не уделяет специального внимания истории унии 1707 г., но многочисленные примеры, такие, например, как сравнение мрачных похорон лорда Сеттона в Эдинбурге и пышного великолепия юга, должны привести читателя к мысли, что именно союз стал источником и коммерческого процветания, и гражданских свобод, и улучшения нравов.

Реакция на первые тома «Истории» была довольно сдержанной, а порой – враждебной. Даже В. Скотт упрекал своего товарища за его резкое обращение с лордом Хайлисом, который считался основоположником шотландской историографии. Виг Патрик Фрейзер раскритиковал оценку Тайтлером значения пресвитерианства и поставил под сомнение полномочия автора как надежного и представительного историка, заявив, что «епископальный историк в пресвитерианской стране имеет мало шансов на читательские симпатии»¹⁰⁸. По мнению еще одного критика «Истории», Дж. Стайла, «не было ни одного достойного шотландца, находящегося в позиции превосходства, чье имя не опороч-

¹⁰⁵ Tytler P.F. History of Scotland. Edinburgh, 1828–1843. V. II. P. 246.

¹⁰⁶ Ibid. P. V–VI.

¹⁰⁷ Ibid. P. 250–251.

¹⁰⁸ Ash M. The Strange Death of Scottish History. P. 118–120.

чил бы Тайтлер, лишь одним упоминанием». Томас Маккри был не согласен с той частью работы, где речь шла о Джоне Ноксе.

Как бы то ни было, значение работы Тайтлера трудно переоценить. Одним из первых он задумался над приемами исторической критики, пытаясь восстановить историческую правду путем анализа письменных источников, в чем пошел дальше Скотта, соединявшего воображение с историческими фактами. С другой стороны, в его «Истории» необходимость унии предстает не просто как некое эмоциональное желание, а как подтвержденный историческими источниками факт.

П. Тайтлер писал свою «Историю Шотландии» почти двадцать лет. К 1843 г., когда был окончен последний том, в Шотландии произошло множество перемен: умер Вальтер Скотт, вдохновивший историка на работу, тори отошли от власти, была проведена парламентская реформа, раскололась шотландская церковь. Формирующиеся политические и интеллектуальные элиты коммерческого общества инициировали фундаментальные преобразования, которые ускорили процесс интеграции Шотландии в Британское государство. Не все принимали изменения, происходившие в Шотландии, однозначно – в прошлое уходила целая эпоха, и наступление нового коммерческого общества приводило к необратимым последствиям. Многим опять, как и столетие назад, стало казаться, что они теряют Шотландию.

Одним из тех, кого пугали изменения, происходившие в Шотландии, был Генри Кобурн – общественный деятель, историк, литератор, близко знавший В. Скотта. Он родился в 1779 г. и, достигнув необходимого возраста, был принят на Факультет адвокатов, куда мог поступить любой молодой человек старше двадцати одного года, успешно сдавший экзамены и заплативший незначительный взнос. Вносимые суммы шли, как правило, на поддержание факультетской библиотеки, которая продолжала существовать до 1925 г. в качестве главной библиотеки Шотландии, доступ в которую был открыт для всех. Но, в отличие от многих, поступление Кобурна на факультет не было наследственной традицией, быть может, поэтому его обучение было крайне успешным. Несмотря на то, что его отец был ревностным тори, Генри еще в молодости примкнул к вигам и сделал блестящую политическую карьеру: когда в конце 20-х гг. граф Грей стал премьер министром, Кобурн занял пост Генерального стряпчего.

Будучи образованным и прагматичным человеком, он, тем не менее, испытывал очень смешанные чувства по отношению к происходящим в Шотландии переменам: с одной стороны, Кобурн с уважением воспринимал и беспокойное и романтическое шотландское прошлое, с другой отчетливо осознавал необходимость рациональной современно-

сти. Это была дилемма не только для него, но и для многих его современников, в том числе и В. Скотта – как примирить свободолюбивое шотландское прошлое, древнее наследие и служение ганноверской династии с ее коммерческим настоящим. В ответе на этот вопрос практичный Вальтер Скотт походил на практичного Генри Кобурна.

Одним из важных мероприятий кабинета вигов стала начатая в 1806 г. реформа Судебной сессии, в разработке которой Кобурн принимал активное участие. Более всего его тревожила угроза, которую несли инициированные, в том числе и им самим, изменения в шотландской правовой системе. Дело в том, что до конца XVIII века многие принципы частного права активно функционировали на севере Британии, попав туда с континента, где обучались многие шотландские юристы. Таким образом, существовала тесная связь между законами континентальной Европы и Шотландии. Хотя значительная часть отраслей правовой системы, таких как земельное право, содержавшее нормы феодального законодательства, институт наследования, основанный на обычае, семейное право, имели внутреннее происхождение. Однако уже с начала XIX в. между шотландской и континентальной правовой системами стало появляться все больше различий, которые формировались в силу целого ряда факторов. Во-первых, законодательство континентальной Европы было кодифицировано, в результате чего возможности «творческой деятельности» судей, которые ранее решали из какого правового источника им исходить в данном конкретном случае, были значительно урезаны, и отныне судьи действовали в жестких рамках кодифицированного закона. В Шотландии такой кодификации не было проведено, и шотландские судьи имели большую возможность для использования прецедента, что сближало шотландское право с английским. Во-вторых, хотя независимость шотландской правовой системы была гарантирована статьями унии 1707 года, интересы коммерсантов заставляли их апеллировать не к Судебной сессии, а к палате лордов. В результате, особенно в сфере коммерческих отношений, правила и принципы английского обычного права в значительной степени транслировались на Шотландию, хотя многие из них с трудом уживались на шотландской кальвинистской почве. Третье, возможно, наиболее важное. Британский парламент обладал юрисдикцией, распространяющейся и на Англию, и на Шотландию, и на Уэльс. И те новые принципы, которые появлялись в связи с требованиями времени – коммерциализацией и урбанизацией, расширением торговых связей, в том числе и с Империей, были общими¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Thomson J.M. Scots Law, National Identity and The European Union // Scottish Affairs №10. 1995. P. 2–26.

Кобурн отчетливо понимал, что все изменения не просто необходимы, но они неизбежны. Свое отношение к переменам он метафорически выразил в сравнении социальных институтов и старого дома: «опасно касаться старого дома, но опасно и оставлять его среди нового окружения»¹¹⁰. Иронически относясь к тем, кто видел в феодализме некий шарм, он сам, тем не менее, был защитником старых домов, которые уничтожались в Старом Эдинбурге, освобождая место для Нового города, и об этом не раз говорил в публичных выступлениях и в обращениях в лорду-провосту Эдинбурга¹¹¹. Строительство Нового города в определенном смысле стало для него символом строительства новой Шотландии. И отношение к этому Кобурна, который считал, что хотя новый город мог бы принести деньги и быть построенным по передовым образцам градостроительства, он, тем не менее, создавался старой Шотландией, городским советом Эдинбурга, который этим строительством праздновал триумф над самим собой, тоже показательно¹¹².

Архитектура, как метафора происходящего в Шотландии, – характерный для Кобурна метод описания действительности. Он выступает как защитник старой архитектуры, говорит о необходимости сохранить наследие прошлого и удивляется безразличию жителей Эдинбурга, на глазах которых при строительстве Нового города это наследие разрушается. В сельской местности его возмущают те новые земельные собственники, которые уничтожают памятники, находящиеся на их земле. Его «Инспекционные поездки»¹¹³ – дневниковые записи, которые он вел с 1837 по 1854 г., объезжая в качестве судьи шотландские графства, скорее напоминают отчет комиссии по сохранению культурного наследия, причем, чаще, отчет далеко не радужный. «Местная знать и джен-три не отвечают за сохранность прошлого, находящегося на их землях. Мелкие провинциальные города находятся под угрозой, производство наступает на них, и деревушки превращаются в заводы»¹¹⁴. Но более крупные города тоже находятся под угрозой, на них наступает железнодорожное строительство. Железные дороги сделали слишком доступными для обывателя некогда заповедные места: «Сельская жизнь стала жертвой железнодорожного сумасшествия», – пишет Кобурн¹¹⁵.

¹¹⁰ *Miller K. Cockburn's Millennium. L., 1975. P. 103.*

¹¹¹ *Cockburn H. A letter to the Lord provost on the Best Ways of Spoiling the beauty of Edinburgh. Edinburgh, 1998.*

¹¹² *Miller K. Cockburn's Millennium. L., 1975. P. 131.*

¹¹³ *Lord Cockburn. Circuit Journeys. Hawick, 1983.*

¹¹⁴ *Bell A. Reason and Dreams: Cockburn's practical and nostalgic views of civic well-being // Lord Cockburn. A Bicentenary Commemoration. 1779–1979 / Ed. by Alan Bell. Edinburgh, 1979. P. 45.*

¹¹⁵ *Ibid. P. 45.*

Его «Мемориал», как и «Дневник» Вальтера Скотта, полон драматических переживаний в связи с переменами, происходящими в Британии. Скотт начал вести записи в 1825 г., а закончил за несколько месяцев до своей смерти, в год первой избирательной реформы. В этот же период вел дневник и Кобурн. Но если для него 1832 год стал годом славы, то для Скотта – Армагеддоном¹¹⁶. Эти два шотландца написали два совершенно разных дневника о последних днях уходящей эпохи, но оба шотландца понимали неотвратимость происходящих перемен. В 1831 г. Кобурн писал: «Время не сделало из меня тори. Но отвращение к монархии никогда не было ни частью вигских взглядов, ни моих собственных»¹¹⁷. А 19 сентября 1844 г. лорд Кобурн записал: «Что касается меня, то мой разум в дне сегодняшнем, но мои мечты в старом мире. Я чувствую, как прошлое уходит от нас все дальше и дальше»¹¹⁸.

Экономический прогресс Шотландии совпал с крупномасштабной эмиграцией – и внутренней, в результате которой произошло массовое переселение сельских жителей в города, и внешней, возможность которой была предоставлена шотландцам империей. В результате выходцы с севера занимали множество постов в британской армии, на флоте, в колониях, что позволяло им гордиться своей нацией и считать ее главным архитектором британского будущего. Британская империя была империей шотландской, так же, как и британская идентичность не мешала идентичности шотландской. Этот процесс превращения Шотландии из провинции в ядро империи неизбежно должен был найти отражение в историописании. Феодалное прошлое не соответствовало тому предназначению, которое готовило Шотландии ее успешное коммерческое настоящее. Стояла задача поиска нового прошлого, ради которого необходимо было избавиться от старого. В результате возникло то, что М. Эш назовет «смертью шотландской историографии». Иными словами, по мнению историка, активная инкорпорация Шотландии в британские структуры, требуя пересмотра исторического прошлого, препятствовала формированию национальной исторической школы, что, в свою очередь, способствовало конструированию особой совмещенной концентрической идентичности.

Однако необходимость создания новой идентичности не только требовала избавиться от прошлого, но и ставила задачу создать его новый вариант. Эта цель была достигнута либеральными историками, для которых ценности британского конституционного устройства были непререкаемы, но которые, однако же, использовали методы работы

¹¹⁶ *Miller K. Cockburn's Millennium. L., 1975. P. 144.*

¹¹⁷ *Ibid. P. 116.*

¹¹⁸ *Lord Cockburn. Circuit Journeys. Hawick, 1983. P. 154–155.*

с историческими документами, предложенные тори П. Тайтлером. Одним из примеров такой работы является творчество Дж. Х. Бартона.

Джон Хилл Бартон родился 22 августа 1809 г. в Абердине. О его отце известно лишь то, что он был лейтенантом в армии его величества и оставил службу вскоре после рождения сына, мать же происходила из семьи Джона Патона, лэрда Грэндхолма. Получив образование в Эдинбургском университете, Дж. Х. Бартон имел незначительную адвокатскую практику в Эдинбурге, печатался в шотландских изданиях, главным образом, юридических, и даже был редактором «Скотсмана».

Еще в молодости он стал членом Баннатайн-клуба, в который входили В. Скотт, Г. Кобурн, П. Тайтлер и многие другие, кто стремился сблечь остатки шотландского прошлого, и, несмотря на политические разногласия, взгляды либерала Бартона на шотландское прошлое и на отношения с Англией чрезвычайно близки идеям, высказывавшимся тори Скоттом и Тайтлером. В частности, Бартон считал важной вехой эволюции Шотландии кромвелевское завоевание, которое способствовало вымыванию элементов феодальной тирании на севере посредством установления свободной торговли. Историк, вслед за Скоттом, считавшим, что Кромвель «распространил правосудие с беспристрастностью, которой шотландский народ был совершенно чужд»¹¹⁹, отмечал «большую заботу [Кромвеля] об их [шотландцев] благополучии, как граждан, и просто об их личных правах и обязанностях», даже, несмотря на то, что завоеватели не проявляли «никакого уважения к национальности шотландцев или к их древнему королевству»¹²⁰. Устранению «тиранического кошмара феодализма», по мысли Бартона, способствовал и закон об отмене наследственной юрисдикции (1747 г.), поскольку был устранен порядок, в соответствии с которым «мелкие королевства-суверенитеты, принадлежавшие лордам, своими неограниченными полномочиями и под видом правосудия пытались осуществлять акты феодальной мести», не говоря уже о горных районах, где вожди «практиковали деспотизм столь же безответственный, как и тирания любого турецкого паши или французского сеньора времен старой монархии»¹²¹.

Бартон выделяет в англо-шотландском противостоянии три этапа: английские притязания на шотландский суверенитет XIV–XVI вв. и вплоть до унии корон; XVII век – борьба Шотландии за участие в английской торговле; конец XVII века – Дарьенская схема, в результате которой все иллюзии потерпели крах, причиной которого, по мнению

¹¹⁹ *Scott W. Tales of a Grandfather // Miscellaneous Prose Works. Edinburgh, 1834–1836. P. XXVI, 121–122.*

¹²⁰ *Burton J.H. History of Scotland. Edinburgh; L., 1876. V. VII. P. 46.*

¹²¹ *Burton J.H. History of Scotland. Edinburgh, 1873. V. 8. P. 502–503, 516–520.*

шотландцев, стала английская политика. В результате, объединение неотвратно надвигалось, считает историк. В изображении Бартона, союз 1707 года был неизбежен в первую очередь потому, что наиболее рационально мыслящие шотландцы понимали всю выгоду от него. Иными словами, общая концепция места шотландской истории в мировом процессе, предложенная Бартоном, схожа с теми, что предлагали Скотт и Тайтлер. Однако есть и два немаловажных отличия.

Первое касается дискутируемой проблемы взятки как решающего фактора в принятии унии. По мнению Бартона, к моменту заключения союза выяснилось, что корона задолжала парламентариям немалую сумму в качестве жалования и что деньги, выданные англичанами, были лишь временной ссудой. Правда, историк тут же оговаривается, что, конечно же, союз нельзя назвать заключенным в духе незаинтересованной и чисто государственной деятельности, исключавшей любое вмешательство субъективных интересов, но интересов обоюдных – с английской стороны в той же степени, что и с шотландской. Так, спустя столетие после унии, была сделана первая успешная попытка нейтрализации идеи подкупа, как основного фактора заключения договора. С тех пор и вплоть до последних лет, когда на основании изучения широкой источниковой базы, Крис Уотли не доказал обоснованность концепта «взятки», историки говорили об этом чаще с иронией.¹²² В целом же Бартон подчеркивает, что союз 1707 г. стал «счастливым кульминационным моментом большого романа нашей истории»¹²³.

Второе, что отличает взгляды Бартона от идей Скотта, заключается в трактовке оппозиции союзу в 1706 г. Скотт описал ее как единодушную общественную вспышку, Бартон же видел в ней нечто хрупкое, отчасти сектанское и эфемерное по природе. Отмечая, что сама по себе оппозиция была новинкой в Шотландии и могла угрожать общественному спокойствию, Бартон, тем не менее, замечает, что «эта оппозиция состояла, главным образом, из молодежи общества, в то время как более влиятельные его слои были более сдержанны, что определялось политикой правительства и позицией лорда Гамильтона»¹²⁴. Осознание различий между оценками Скотта и Бартона важно для понимания как историографических трактовок унии 1707 года в середине XIX века, так и эволюционирующего дискурса нации.

Бартон уже не дает двойственных оценок унии. Используя документальный материал, он показывает, что объединение было способом

¹²² *Whatley C. Bought and Sold for English Gold? Explaining the Union of 1707. Edinburgh, 1994; Whatley C. The Scots and the Union. Edinburgh, 2007.*

¹²³ *Burton J.H. The History of Scotland. Edinb., 1873. V. 8. P. 2.*

¹²⁴ *Ibid. P. 176–177.*

избежать горестной перспективы войны между Англией и Шотландией. Кроме того, договор союза не был просто внешним подражанием английским нормам, но являлся продуманным структурным решением. Его тезис о том, что уния не нанесла ущерба национальной гордости и ничего не имеет общего с национальной катастрофой, в первой половине XIX в. разделялся уже большинством шотландцев, в то же время мало учитывал ситуацию начала XVIII в. Важно другое – интеллектуальный дискурс теперь совпал с массовым восприятием союза. Когда в 1853 г. была создана Национальная ассоциация по защите шотландских прав, то требование полной национальной независимости в его программе не звучало; наоборот, Англия обвинялась в том, что она нарушает пункты договора 1707 г.

В том же 1853 г. в журнале «Блэквуд» была опубликована статья анонимного автора, посвященная, с одной стороны, месту, занимаемому Шотландией в рамках Британского содружества, а, с другой, оценке этого места Бартоном¹²⁵. Автор отмечает беспристрастность историка, несмотря на его предубеждение против Хайленда, и характеризует столетие, последовавшее за унией корон, как «век неравенства», сделавший неизбежным объединение 1707 года. Согласно автору, уния парламентов была «осуществлена на основаниях прекрасного равенства», и, значит, ее нельзя расценивать как потерю национальной независимости¹²⁶.

Таким образом, идеи Бартона, с одной стороны, отражали общий интеллектуальный климат и соответствовали распространенным в то время массовым оценкам унии, а, с другой, адаптировали концепции, выдвигавшиеся на рубеже XVIII–XIX вв. к условиям окончательно интегрировавшейся Шотландии. Теперь уже не было оснований подвергать союз сомнению, что мог еще позволить себе Вальтер Скотт. Более того, уже не на эмоциональном и литературном, а на академическом уровне доказывалось, что объединение было и неизбежным, и необходимым для сохранения шотландской нации, реальное существование которой признавалось и политиками, и историками. Заслуга Бартона состоит в том, что он завершил формирование академической шотландской истории, определявшей направления конструирования шотландской национальной идентичности. Если Скотт, романтизируя шотландское прошлое, спас его от просветителей, не признававших в нем проявлений общечеловеческого прогресса, то Бартон, в свою очередь, идеологически нейтрализовал до-униатский период, лишив политиче-

¹²⁵ *Anon. Scotland since the Union // Blackwood's Edinburgh Magazine. 1853. November, № 74. P. 263–283.*

¹²⁶ *Ibid. P. 264–267.*

скую независимость ее националистического дискурса. Но этим же самым шотландская история обретала право на существование.

Уже к 1860-м гг. шотландская историография мало интересовалась историей шотландских государственных институтов и шотландской государственной независимости. Дискурсивная природа шотландского национализма заключалась в том, что независимость, которую он проповедовал, была нереифицируемым понятием, т.е. она не нуждалась в практическом воплощении. В то же время шотландский исторический дискурс стал рассматриваться исключительно в соответствии с ее британским настоящим. Более того, историческое прошлое Шотландии было трансформировано из средства политической дискуссии в объект туриндустрии, развитию которого содействовал рост среднего класса, имеющего возможность наслаждаться свободным временем, читая исторические романы и путешествуя по историческим местам. Количество публикуемой в то время исторической литературы¹²⁷ иллюстрирует этот феномен «нейтрализации» прошлого, в рамках которого модернизированные патриотические сантименты находили новое воплощение в символах, лозунгах и идеях. Это был уникальный для Европы «коллективный суицид» элиты¹²⁸, отказавшейся от своего шотландского прошлого в пользу нового его прочтения, в котором Шотландия превратилась в Северную Британию. Средний класс, новые слои, воспитанные в националистической идеологии, были убеждены, что усовершенствования общества можно добиться только коллективными усилиями. Они происходили из «регионов социальных перемен», из маленьких городов или сельской местности, где еще преобладала старая жизнь, а развитие городов и индустрии было крайне медленным. Но именно эти слои «заказывали» шотландскую историю. «Шотландка из символа гражданской угрозы стала символом имперского триумфа... Шотландка была индикатором преданности и средством превращения якобитской клановой лояльности в настоящую преданность якобитов Великобритании и ее роли в мире», – пишет М. Питток¹²⁹.

Книга полковника Дэвида Стюарта «Описание горцев Шотландии» (1822) была масштабной апологией шотландского военного искусства и его роли в европейской армейской культуре, Подвиг северобританских солдат на протяжении второй половины XVIII и начала XIX в., включая наполеоновские войны, стал своеобразной реабилитацией шотландского патриотизма как существенного (но деполитизиро-

¹²⁷ *Morgan N., Trainor R. The Dominant Class // People and Society in Scotland. 3 vols. V. 2. 1830–1914. Ed. by W.H. Fraser, J. Morris. Edinburgh, 1990. P. 124–125.*

¹²⁸ *Naim T. The Break-Up of Britain. L., 1981. P. 119.*

¹²⁹ *Pittock M. Celtic Identity and the British Image. Manchester, 1999. P. 113–114.*

ванного) аспекта шотландского культурного наследия. Хайлендерская националистическая риторика незаметно при этом исчезла, в то время как горский шарм был сохранен. Как показывает Эндрю Хук, «шотландская романтика не представляла угрозы или вызова рационализму, умеренности или морали просвещенного современного общества; она могла демонстрировать... иной более разноцветный и, в чем-то, более опасный мир волнений и высоких страстей, но располагался он на безопасно отдаленном расстоянии – и в пространстве, и во времени»¹³⁰.

Аналогичную позицию занимали и английские историки, деятельность которых хотя и не является предметом этого исследования, но все же показательна с точки зрения формирования нового образа Шотландии. По мнению лорда Маколей, издавшего свою «Историю Англии» в период между 1848 и 1855 гг., «Шотландия, героически доказывавшая свою независимость со времен Роберта Брюса, и являвшаяся независимым королевством, ныне присоединилась к южной части острова, путем, который, скорее, возвеличивал, нежели ранил ее национальное достоинство»¹³¹. Не скрывая своего презрения к горной части Шотландии, «где множество крошечных дворов, в каждом из которых мелкие князьки, окруженные телохранителями, оруженосцами, музыкантами и наследственными бардами, управляли своими первобытными государствами, творили суд и расправу, вели войны и заключали договоры»¹³², он, тем не менее, говорит о той эволюции, которую проделало шотландское общество к середине XIX в. «Современный англичанин, – пишет он, – может за один переместиться из своего клуба на Сент-Джеймской улице в охотничий домик среди Грампианских гор, где его ждут ничуть не меньшие удобства»¹³³. Критерием такой оценки для него являются «закон и полиция, торговля и промышленность, которые куда больше научили чувствовать дикие красоты природы»¹³⁴. Маколей, таким образом, выступает сторонником «приручения дикости», которую надлежало окрасить в оттенки цивилизации.

Если этот процесс и восстановил кельтскую Шотландию, то только с тем, чтобы патриотическая доблесть могла быть представлена как романтика: эмоциональная кельтская фантазия, которая уравнивалась практичным тевтонским разумом. И то, и другое было мифом, но между

¹³⁰ Hook A. Scotland and America revisited. // Scotland, Europe and the American Revolution. Edinburgh, 1976. P. 88.

¹³¹ Macaulay T.B. The History of England I. L., 1907. P. 17.

¹³² Маколей Т.Б. Горная Шотландия в XVII столетии // Маколей Т.Б. Англия и Европа. Избранные эссе. СПб., 2001. С. 127–128.

¹³³ Там же. С. 126.

¹³⁴ Там же.

ними создавалась модель страны с эмоциональным и непрактичным кельтским сердцем и практичной, деловой германской головой – образ Шотландии и «шотландскости», поддерживаемый многими северобританцами и адаптированный теоретиками культуры. Это был образ, который подчеркивал многосторонность, отчасти, жертвенность и противоречивость национальных устремлений к политической автономии, которые «германская» голова освободила в пользу юнионизма. С тех пор «шотландскость» стала только идеей, находя выражение то в сентиментальности, то в китче, барачных балладах, степенных священниках и порой излишне невыдержанных шотландских прихожанах, превратившись в воспоминания детства, которые служили переработкой взрослых реальностей. Шотландская идентичность обрела в полном смысле дискурсивную природу, в то время как универсальная «британскость» предполагала каждодневные реификационные практики.

Когда во время визита Джорджа (Георга) IV в Эдинбург в 1822 г. Скотт заметил, что лучшее, что мы можем показать королю, это «войска и люди», тем самым он реанимировал теорию патриотической доблести, но теперь уже более в британском аспекте, нежели в шотландском. Во-вторых, эта сентенция была исполнена в неловко антикварной манере – под «войсками» он подразумевал шотландскую армию исчезнувшей якобитской эры. Это был гимн патриотической доблести, облаченный в безопасную устарелую форму, чтобы подобострастно продемонстрировать британскую лояльность, при этом вызывая любопытство Британии. Спрос на шотландки в начале XIX в. быстро увеличивался, и поэтому Скотт повторяет: «Мы – клан, и наш Король – вождь». Эйфория возрождающегося якобитизма, который возвращается теперь уже в британском империалистическом облике, охватила шотландскую столицу. Монс Мег, огромная пушка, символ былого англо-шотландского военного противостояния, была возвращена в Эдинбург, поскольку теперь уже «якобитский король сидел в Лондоне, и горе Каллодена могло быть разделено всеми». Как замечает Калдер, «королевская лесть заполнила пространство, которое могло быть занято буржуазным национализмом в Шотландии и Англии». Коммерческий спрос начала XIX в. на клетчатую материю, которая являлась одеждой и символом якобитского движения (вспомним, что Чарльз намеренно одевал свои войска в тартаны горских кланов), свидетельствует о том, что клетка гражданской угрозы становится клеткой имперского триумфа и индикатором лояльности горцев. В историческом сознании память о якобитах-бунтовщиках трансформируется в память о якобитах-защитниках.

Это была санация якобитизма, в рамках которой он становился символом, сопровождаемым множеством знаков, атрибутов, воскре-

шающих в памяти лишь романтические эпизоды якобитского прошлого. Такими атрибутами становились старинные палаши, вереск, мифы и горские песни. Все это вытесняло религиозный, международный, династический аспекты якобитизма, оставляя лишь образ его как провинциального движения горских романтиков.

Трансформируется даже семантика внешности якобита, культурный архетип которого эволюционирует в процессе интеграции в британские имперские структуры. Гиперболизация образа якобита, выразившаяся в наделении его символами маскулинности, к которым в XIX в. относились галантность, страстность, налет дикости, становится, вместе с тем, частью процесса трансформации шотландской идентичности. И точно так же, как еще столетие назад гиперболизация выражалась в использовании символов людоедства и зверской жестокости, теперь все это элегантно преобразовано в символы примитивной лояльности и мужественности. На изображениях шотландских горцев викторианской эпохи они предстают в образе романтиков-великанов, непринужденно поедающих овсянку. Таким образом, кулинарная эволюция – от людоедства к овсянке, отражает общую динамику процесса трансформации символов якобитизма – от угрозы к защите. Да и портретные изображения «знамени» якобитского Великого восстания, Чарльза Эдуарда, выполненные в XIX в., тоже далеки от использования образов кровожадного агрессора. Невинный, отчасти ребяческий, а отчасти ангелоподобный лик «молодого претендента, отраженный и в самом прозвище – «милый принц Чарли», тоже является частью процесса санации якобитизма. Его молодость, акцентирование того, что он «принц», но не «король», априори делали наивными и слишком романтическими претензии якобитского движения на политическое лидерство. Все эти образы, перекочевав из массового исторического сознания в профессиональное историописание, определяли и динамику развития либеральной историографии, которая на протяжении практически трех столетий рассматривала Шотландию как «отсталую», но не как «другую» нацию¹³⁵. В этих историографических концепциях «сорок пятый» становится просто диким приключением, наподобие того, что соблазнил юного Эдуарда в «Уэверли» В. Скотта.

Якобитизм, таким образом, был спутником историографических конструкций, в которых подчеркивалась незрелость шотландской нации, искусственный характер модернизации шотландского общества, привнесенной на север лишь благодаря цивилизаторской миссии Анг-

¹³⁵ Kidd C. Antiquity and national Identity // English Historical Review. 1994. № 1197–1214. P. 12.

лии. Именно Вальтер Скотт, «применив сентиментальный блеск якобитизма к либеральной конституционной системе правления, превратил шотландское прошлое в идеологически нейтральное театральное представление»¹³⁶. Санация якобитизма, включая в себя и переход горцев на военную службу, и коммерциализацию атрибутов «горскости», и, наконец, романтизацию якобитизма, в целом растянулась на столетие – уже в середине XIX века горцы не только не представляли угрозы для Британии, но были романтическим символом ее могущества.

Горская культура, по словам М. Питтока, превращается в XIX в. в китч, тем самым, отражая эволюцию государства и его интересов. Характерной чертой этого китча стала его поразительная динамика, использование исторических образов и адаптация их к потребностям модернизирующегося общества. Но для Шотландии, которая, как и любой другой модернизирующийся социум, сохраняла элементы традиции, было чрезвычайно важным представление о значимости патриархальной аграрной культуры, лежащей в основе народной традиции и, в итоге, составившей значимую часть культуры национальной¹³⁷. Это и стало основой формирования национальной мифологии, которая развивалась благодаря возрастанию ценности символических, экономических, образовательных благ, производимых и потребляемых совместно¹³⁸.

Миф был тем, что связало якобитизм и британскую идентичность, частью которой была «шотландскость». 21 июня 1897 г. британская «Дейли Мейл» написала, что «консервативная гордость местным колоритом и традициями становится великим проектом». Современные же историки, вторя высказываниям столетней давности, утверждают, что в таком прочтении все человеческие институты могут быть представлены как разработанный проект. В то же время трансформация этих представлений на фоне модернизации делает этот процесс глубоко историчным, одновременно позволяя говорить о своеобразной шотландской национальной идентичности как некоем «капризе истории»¹³⁹.

Историописание, таким образом, являлось частью процесса формирования национальной идентичности. Шотландские историки исходили из традиционных для XIX века представлений о том, что нация существует, если есть сообщество людей, относящих себя к ней. Важно и то, что, не отрицая своего шотландского происхождения, они эмоционально и интеллектуально идентифицировали себя с Шотландией,

¹³⁶ Ibid. P. 7.

¹³⁷ Martin T. Republics, nations and tribes. L., 1995.

¹³⁸ Тамар Ю. Класс и нация. // Логос. 2006. № 2 (53). С. 44.

¹³⁹ Scottish Nationalism // Encyclopedia of Nationalism. 2 vols. Vol. II. Ed. by A.J. Motyl. San Diego, 2001. P. 464.

иначе говоря, нация одновременно была и объектом, и субъектом историописания. В этой связи, думается, все же можно говорить о формировании национальной школы историописания.

В таком случае, несколько категоричным выглядит распространенное мнение, высказанное М. Эш, о том, что В. Скотт своей романтизацией шотландского прошлого «уничтожил национальную историографию». Подобная точка зрения исходит из упрощенного понимания национальной историографии как всей совокупности работ, произведенных историками данной нации¹⁴⁰. Такое определение действительно всеобъемлюще, но именно поэтому неспособно ничего дать для понимания феномена национального историописания. Творцы шотландского прошлого не просто отождествляли себя с Шотландией, но, признавая дискурсивность своей нации и идеи «шотландскости», обращались к прошлому для того, чтобы найти там подтверждение современным реалиям.

Благодаря Скотту и его последователям, включая профессиональных историков, шотландцам удалось избежать понимания нации как «нации-государства», повсеместно распространенного в Европе. Вместо «национальных революций» Шотландия удовлетворялась «революцией в историописании», которая, с одной стороны, явилась результатом формирования идеи «шотландскости», а с другой – сама завершила процесс формирования шотландской национальной идентичности. В этой «шотландскости» основным принципом является идея ковенанта, как соглашения, завета, который, превратившись в XIX в. в историческую метафору, не утратил своего традиционного исторического содержания – равноправия и взаимной выгоды.

¹⁴⁰ *Kizwalter T. National Historiography and its Ideological Conditions. (19th – 20th c.) // The National Idea as a Research Problem. Warszawa, 2002. P. 43.*

2.3. ВИЛЬГЕЛЬМ И АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ И ИДЕЯ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Братья Вильгельм и Александр Гумбольдт внесли крупный вклад в развитие науки и оставили заметный след в истории Пруссии конца XVIII–XIX вв. Они до сих пор являются символами фундаментального универсального научного познания¹. Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) был основоположником теоретического языкознания, либеральным мыслителем, государственным деятелем, реформатором системы образования. Его младший брат Александр (1769–1859) известен как основоположник географии растительности, физик, метеоролог, минералог, зоолог, путешественник, разработчик метода изотерм, изобретатель рудничной лампы; он также находился у истоков появившихся позднее таких наук, как вулканология, геофизика, океанография, спелеология, лимнология, гидрология, психология, экология².

Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд фон Гумбольдт родился 22 июня 1767 г. в Потсдаме, а Александр 14 сентября 1769 г. в Берлине. Их предки по линии отца происходили из Померании и с начала Тридцатилетней войны служили Гогенцоллернам. Отец Александр Георг был прусским офицером и входил в круг приближенных Фридриха II и Фридриха Вильгельма II. Их мать, Мари Элизабет Коломб, была на 20 лет моложе мужа и происходила из семьи французских гугенотов, покинувших Францию после отмены Нантского эдикта (1685). Мари Элизабет принесла роду Гумбольдт не только богатство, например замок Тегель, но и утонченные европейские культурные традиции³.

Первоначальное образование В. и А. фон Гумбольдт получили дома. Мать много занималась воспитанием сыновей. Именно она сделала выбор в пользу таких наставников как Иоахим Кампе и Христиан Кунт, которые были отличными педагогами и понимали, что соответствует «духу времени», а что нет. Братья изучали историю, немецкий язык, математику, латинский, греческий и французский языки⁴. Тогда в

¹ Не случайно крупнейший немецкий фонд поддержки фундаментальных научных исследований носит имя Александра фон Гумбольдта.

² *Шадрин Н.* Александр фон Гумбольдт – первый эколог // Россия и Германия. 2011. № 2. С. 50.

³ *Berglar P.* Wilhelm von Humboldt. Hamburg, 1996. S. 16–17.

⁴ *Ibid.* S. 21.

Германии повсюду ссылались на Руссо, восхищались Лессингом и молодым Гете, который бывал в поместье Гумбольдтов в Тегеле в пору детства братьев. Кунт заботился о широком образовании своих питомцев и ввел их в просвещенное берлинское общество⁵.

Пристальное внимание к индивидуальному развитию, как считается, было более присуще Вильгельму. Позже в его работе «О пределах государственной деятельности» он фактически уравнивает понятие индивидуальной свободы с индивидуальным развитием⁶. Вильгельм в детстве проявлял большую ученость, но под определение индивидуального развития попадает и Александр. Хотя Кунт считал Александра тугодумом, брат Вильгельм замечал: «Вообще люди не знают его, думая, что я превосхожу его талантом и знаниями. Таланта у него гораздо больше, а знаний столько же, только в других областях»⁷. Об этом же писал в биографии Александра Гумбольдта А. Майер-Абих, отмечая, что естественные науки, которыми тот интересовался, его учителя ему не предлагали, и он постигал их с помощью самообразования⁸. А В. Сафонов довольно жестко заметил, что в семье детей обучали, «очень мало считаясь с наклонностями младшего»⁹.

В двадцатилетнем возрасте Вильгельм вместе с младшим братом Александром, поступил в университете Франкфурта на Одере. Через год он переехал в Геттинген, где слушал лекции крупных ученых того времени – философа Лихтенберга, историка Шлецера, филолога Хайне. Вильгельм обучался в Геттингенском университете четыре семестра; он не стремился к получению ученого звания, так как был довольно богатым человеком. В конце XVIII века, согласно «духу времени» преобладало воспитание, нацеленное на подготовку к государственной службе; поскольку развитого среднего сословия в Пруссии тогда не существовало, то именно в бюрократической среде нашла прибежище наиболее талантливая часть общества. Стремлением к государственной службе было проникнуто и образование братьев Гумбольдтов.

Как отмечалось, оба брата с 1789 г. обучались в Геттингенском университете. Вильгельм приехал туда раньше, тогда как Александр

⁵ Например, в доме врача Маркуса Герца, ученика Канта, обсуждали не только философские идеи, но и проявляли интерес к экспериментальным естественным наукам. *Brose-Müller J. Wilhelm und Alexander von Humboldt eines berühmten Geschwisterpaares // Reflexionen zu Alexander von Humboldt anlässlich der 150. Wiederkehr seines Todestages. Mannheim: Verl. Humboldt Gesellschaft. S. 44.*

⁶ *Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. Челябинск: Социум; М.: Три квадрата, 2003. С. 13.*

⁷ Цит. по: *Сафонов В.А. Александр Гумбольдт. М., 1959. С. 17.*

⁸ *Meyer-Abich A. Alexander von Humboldt. Hamburg, 2001.*

⁹ *Сафонов В.А. Указ.соч. С. 17.*

1788–1789 гг. провел в Берлине, где подружился с ботаником Карлом Людвигом Вильденау, который заинтересовал его проблемами географии растений, а также связи вегетации и климата¹⁰. В университете братья слушали лекции филолога Хайне, Александр посещал также лекции физика Лихтемберга, географа Франца и зоолога Blumenбаха. Все названные профессора уже заслужили к тому времени международное признание, а последний был тесно связан с Гете. Именно в Геттингене возникло так называемое «физическое общество», к которому принадлежал и Александр¹¹. Под влиянием И.Ф. Blumenбаха сформировались его представления о роли научных путешествий.

В доме филолога Хайне братья познакомились и подружился с Герогом Фостером, и он оказал на них большое влияние. Фостер считал себя гражданином мира, боготворил французскую революционную идею, сблизился с якобинцами. В 17 лет он уже плывал с Куком, а вернувшись, описал свое плавание. Вильгельм провел в доме Фостера в Майнце часть своих каникул. После помолвки с Каролиной Дахереден, происходившей также из богатой семьи, он отправился путешествовать за границу, сначала во Францию, затем в Швейцарию. В Париже В. Гумбольдт оказался спустя три недели после взятия Бастилии, но начавшаяся революция не вызвала в нем воодушевления. Александр путешествовал вместе с Фостером по Рейну. Это было его первое научное путешествие. Он проехал с Фостером через Голландию в Англию и вернулся в Германию через Париж. На Александра это путешествие произвело неизгладимое впечатление, и в дальнейшем он не устал повторять, как многим был обязан ему¹². Дальше пути братьев расходятся.

По возвращении в Германию Вильгельм стал судебским чиновником в Берлине, но через год оставил службу. В 1791 году В. фон Гумбольдт женился на Каролине и опубликовал анонимно свою первую статью «Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской конституцией (из письма к другу, август 1791 г.)»¹³. Вскоре он закончил еще одно свое в будущем очень известное сочинение «О пределах государственной деятельности»¹⁴. Полностью оно было опубликовано лишь после смерти автора.

¹⁰ Meyer-Abich A. Op. cit. S. 26–27.

¹¹ Ibid. S. 29. Слово «физический» понималось как «естественнонаучный».

¹² Сафонов В.А. Указ. соч. С. 29.

¹³ Гумбольдт В. фон. Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской конституцией // О свободе: антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1995. С. 184–189.

¹⁴ Это сочинение известно также в русских переводах под названием «Опыт определения границ государственной деятельности» // Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт: описание его жизни и характеристика. М., 1898.

В начале 1790-х гг. В. фон Гумбольдт жил в Тюрингии, в имении тещи, и в Йене, бывал регулярно в Эрфурте, Веймаре, Берлине. Благодаря жене он познакомился с Шиллером, а затем с Гете, которые вскоре стали его личными друзьями и воспитателями художественного вкуса. В 1795 г. в журнале Шиллера «Оры» он опубликовал статью «О различии полов и его влиянии на органическую природу», принесшую ему литературную известность. Александр в 1791 г. ненадолго заехал в Берлин. Оба брата посещали салон Генриетты Герц, где собиралось блестяще образованное общество.

Александр позже учился еще в торговой академии в Гамбурге, а затем в своем последнем университете в Горной академии во Фрейбурге, где слушал лекции знаменитого геолога Вернера. Закончив ее, он работал в Штебене, вблизи Байрета, инспектором рудников¹⁵. Недалеко были Йена и Веймар, и пути братьев там пересекаются. Шиллер и Гете, круг веймарской классики – круг общения братьев.

Профессор истории Йенского университета Ф. Шиллер призывал к сопереживанию прошлого историком, что повлияло на интерес Вильгельма к истории. Александра больше привлекала универсальность Гете, который, как и он, интересовался естествознанием. В 1793 г. брат Вильгельм в письме к университетскому другу Карлу Густаву фон Брикману очень точно охарактеризовал принципы познания Александра: «Это не мое дело хвалить и восхищаться, но я убежден, что, часто слыша, как он говорит о своих собственных идеях, невозможно сопротивляться этому восхищению, я верю, что его гений способен проникать глубоко, и что такое обучение в сочетании с изучением человека способно открыть абсолютно новые перспективы... Изучение естественной природы в сочетании с моральной природой человека способно, как мы это понимаем, привести в универсум истинную гармонию»¹⁶. Стремление познать гармонию физической природы и моральной сути человека нашло отражение в вышедшем в 1845 г., уже после смерти брата, главном произведении Александра «Космос».

Траектории карьеры братьев различны. Вильгельм сочетал стремление к карьере чиновника, что было тогда трендом карьерных притязаний, с интересом к науке, а Александр интересовался прежде всего наукой, хотя изучая в университете Франкфурта-на-Одере камералистику, он собирался посвятить себе государственной службе в сфере управления хозяйством. Однако не карьерные помыслы захватили его в штебенский период жизни. Александр задумал познать причину жизненных процессов, исследуя раздражимость мускульных и нервных волокон.

¹⁵ Meyer-Abich A. Alexander von Humboldt. S. 4–36.

¹⁶ Цит по: Meyer-Abich A. Alexander von Humboldt. S. 20.

После смерти матери в 1796 г. он получил наследство, распрощался с чиновной карьерой и стал путешественником-исследователем, для которого важна личная свобода и возможность распоряжаться своим временем¹⁷. В конце 1790-х гг. Александр много путешествовал: Йена, Дрезден, Прага, Вена, Зальцбург, Париж – города, где он в те годы проживал и продолжал изучать нервную и мускульную раздражимость растений. В Париже в 1798 г. братья вновь встретились. Вильгельм ввел Александра в круг парижских ученых¹⁸. Именно там Александр познакомился с французским ботаником Э. Бонпланом, с которым они совершили путешествие в Испанию, а затем в Америку. Отыскать связь между растениями и местом их обитания стало главной задачей Гумбольдта-младшего в эти годы. В 1804 г. во время своего американского путешествия Александр был принят президентом США в Вашингтоне и 3 недели провел в его имении Монтичелло, а затем участвовал в заседании философского общества в Филадельфии. В августе 1804 г. он отплыл из Филадельфии, направляясь в Бордо¹⁹.

В конце 1790-х гг. XVIII в. Вильгельм путешествовал по северу Германии, побывал в Вене, в Париже, в Испании. Именно там зародился его профессиональный интерес к лингвистике. Вернувшись на родину, Вильгельм поступает на государственную службу и проявляет рвение на этой стезе. С 1802 по 1808 г. – он посланник Пруссии при папском дворе в Риме. Этот пост во время унижения папского престола Наполеоном не был очень значимым, но за годы пребывания в Риме Вильгельм сумел обрести социальный опыт, постичь азы дипломатической деятельности и культурного просветительства²⁰. Находясь в Италии, посланник изучал античность, одна из статей, написанная им в то время, называется «Лаций и Эллада».

В 1804 г. Александр вернулся из американского путешествия, но не в Пруссию, а во Францию, где работал над трудом «Картины природы» и писал очерки, один из которых, «Идеи о географии растений», он в 1807 г. посвятил Гете.

Во время пребывания Вильгельма в Риме в Пруссии произошли резкие изменения: она была оккупирована Наполеоном, а прусское правительство обосновалось в Кенигсберге. Вильгельм тотчас отреагировал на тяжелое положение Пруссии. В 1808 г. он приехал в Кенигс-

¹⁷ Ibid. S. 50–51.

¹⁸ Ibid. S. 59.

¹⁹ Ibid. S. 104–106.

²⁰ См. об этом подробнее: *Corradini N. Wilhelm von Humboldt als Preussischer Ministerresident beim Vatikan (1802–1808) und seine unveröffentlichte Korrespondenz mit dem Kardinal Staatssekretär. Köln, 2002. 2 Bde.*

берг, чтобы принять участие в государственных реформах, которые начались в Пруссии. Он занял пост директора отделения культов и образования в министерстве внутренних дел и вел активную деятельность по реформированию школьного и университетского образования, а в 1810 г. основал Берлинский университет. Но в этом же году Гумбольдт был отправлен в отставку и направлен посланником в Вену. Он принял участие в деятельности Венского конгресса, где вместе с канцлером Гарденбергом представлял Пруссию. Ученый великолепно проявил на конгрессе свои дипломатические способности. Именно в нем мастер тонкой дипломатической интриги Талейран обрел достойного соперника. Однако представленный им вместе с Гарденбергом план объединения Германии потерпел фиаско, не увенчались успехом переговоры по поводу уступки Германии Эльзаса.

Александр в эти годы продолжал жить в Париже, работать в лаборатории и готовиться к путешествию в Азию. В 1811–1814 гг. братья встречались то в Вене, то в Лондоне, но не в Берлине. Александр, как и Гете, чувствовал себя европейцем и был довольно мало, в отличие от брата Вильгельма, воодушевлен патриотическими идеями.

После распада наполеоновской империи Вильгельм находился в гуще политических событий. Тогдашний канцлер Гарденберг относился к нему с большим опасением, такой соратник был для него источником постоянного беспокойства. В 1817 г. он направил Гумбольдта посланником в Лондон, откуда тот возвратился спустя год, чтобы занять пост министра по сословным делам. Позже, в 1817 г. Гумбольдт стал членом вновь учрежденного государственного совета Пруссии и вошел в состав комиссии по выработке проекта конституции. Он стремился к скорейшей разработке конституции, призванной утвердить права и свободы личности, возмущался Карлсбадскими решениями (1819 г.), вводившими ограничения свободной деятельности в университетах и ужесточавшими цензуру, и ушел в отставку в конце 1819 г. в знак протеста против их принятия. Еще накануне отставки, когда эти решения только готовились, он в письме к жене от 8 сентября 1819 г. уже сообщал о сложной ситуации в правительстве и о том, что ему, видимо, придется перейти в оппозицию²¹. Сразу после их принятия Гумбольдт в письме к Нибуру высказал сомнение в том, достигнет ли правительство на таком пути конечной цели, а в письме к Штейну сравнил способ поведения Союзного сейма при одобрении Карлсбадских решений с методами инквизиции²². Через

²¹ Wilhelm von Humboldt, sein Leben und Wirken dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit / hrsg. von R. Freese. Darmstadt, 1953. S. 677.

²² Ibid. S. 678.

11 лет король вернет В. Гумбольдта в Государственный совет, наградит орденом, но это будет уже время заката его политической карьеры.

С 1820 г. Вильгельм Гумбольдт целиком посвятил себя науке. Берлинская Академия наук еще 10 лет назад избрала его своим членом. Вскоре после выхода в отставку он сделал в Академии доклад о сравнительном изучении языков. Лингвистика стала главным предметом его исследовательской деятельности. Он свободно владел французским, английским, итальянским, испанским, греческим, латынью, баскским, провансальским, венгерским, чешским, литовским, многие годы изучал языки туземцев Южной и Северной Америки, затем коптский, древнеегипетский, китайский, японский, санскрит. Начиная с 1827 г. занимался языками народов Индонезии и Полинезии. Именно в эти годы созданы его главные работы по теоретическому языкознанию²³, а также труды по философии истории²⁴. Его произведение «О языке кави на острове Ява» увидело свет уже посмертно.

В центре научных интересов Вильгельма всегда была проблема человека, и свою задачу он видел в пробуждении всех основных сил человеческой природы, в заботе о том, чтобы «научное образование не раскалывалось сообразно внешним целям и условиям на отдельные ветви, а напротив – собиралось в одном фокусе для достижения высшей человеческой цели»²⁵. Он считал, что такие принципы, поощряющие воспитание человека как целостного существа, были открыты греками, а затем унаследованы европейской системой образования. По мнению Гумбольдта, задача немцев дальше развивать культурные достижения греков, а воодушевление греческим духом охраняло бы прогрессивное развитие немцев²⁶. Именно с целью укоренения на немец-

²³ См.: Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung // Abhandlungen der hist.-philol. Kl. der Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Aus den Jahren 1820–1821. Berlin, 1822; Über das Entstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung // Abhandlungen der hist.-philol. Kl. d. Akad. d. Wissenschaft zu Berlin. Aus den Jahren 1822–1823. Berlin, 1825; Vorrinerung. Über Schiller und den Gang seiner Geistentwicklung // Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt. Stuttgart, 1830; Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Berlin, 1836–1839. 3 Bde. См. также сборник: Humboldt W. v. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. ber die Sprache. Wiesbaden, 2003.

²⁴ Гумбольдт В. фон. Размышления и всемирной истории // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 279–286; Размышления о движущих причинах всемирной истории // Там же. С. 287–291; О задаче историка // Там же. С. 292–308.

²⁵ Цит по: Гаïм Р. Указ. соч. С. 229.

²⁶ Humboldt W. v. Über das Studium des Altertums und des Griechischen insbesondere... См.: Yavetz Z. Zeitgeist und deutsche Althistoriker in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts. // Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte. Tel Aviv, 1978. VII. S. 256–258.

кой почве греческого духа Гумбольдт много занимался переводами с греческого. Ему принадлежат переводы эсхиловского «Агамемнона» и од Пиндара. Тексты Пиндара признаются специалистами очень сложными, что является свидетельством неординарных лингвистических способностей немецкого ученого.

После отставки Гумбольдт большую часть времени проводил в своем имении в Тегеле, рядом с Берлином. Интерьеры дома соответствовали стилистике «бидермайера»²⁷, а интерес к науке, образованию, принципам формирования традиции, проснувшаяся в нем религиозность²⁸ позволяют утверждать, что о встроенности дискурсов культурно-исторической категории «бидермайер»²⁹ в его интеллектуальную биографию.

Александр в сентябре 1822 года сопровождал прусского короля Фридриха-Вильгельма III в его путешествии в Италию. Он посетил Неаполь и поднимался на Везувий. Весной 1827 года он покинул Париж и прибыл в Берлин, где в течение года с 3 ноября 1827 г. по 21 апреля 1827 г., в университете, основанном его братом, читал публичные лекции о Космосе. Он прочитал 61 лекцию. Зал во время этих лекций был переполнен: их посещали не только студенты, но образованные представители всех слоев населения. Параллельно он прочитал научно-популярный курс на эту тему в певческой академии Берлина. Эти первые лекции стали вводной главой первого тома его сочинения о Космосе³⁰, где рассматривалось развитие естественных наук с середины XVIII до середины XIX в. Это произведение стало наиболее полным отражением тогдашнего уровня естествознания. Работа Ч. Дарвина о происхождении видов вышла уже в год смерти А. фон Гумбольдта.

Находясь в Берлине, Александр готовил путешествие в Россию. Пользуясь поддержкой прусского короля, он вел переговоры с русским правительством. Прежде всего его интересовала азиатская часть России. 12 апреля 1829 г. он выехал в Петербург. Там Гумбольдт посетил Акаде-

²⁷ См. об этом подробнее: *Berglar P. Wilhelm von Humboldt. Hamburg, 1996; Hempel H. Wilhelm von Humboldt und die Berliner Gesellschaft. Berlin, 1968.*

²⁸ См. подробнее: *Bruford W.H. The German Tradition of Self-Cultivation. "Bildung" from Humboldt to Thomas Mann. Cambridge, 1975.*

²⁹ Содержанием эпохи «бидермайер» является прежде всего частная жизнь, актуализирующая историческую память поколений, традицию, культурные воспоминания, что находит легитимизацию в истории и является целью романтического историзма. Яркое воплощение «бидермайер» нашел в изобразительном искусстве, стиле мебели и одежды, отчасти в литературе и образе жизни, который ассоциируется как с приятным и уютным времяпрепровождением аристократии, так и с девизом «быстро и дешево», отражавшего ценности среднего слоя. См. об этом: *Ottomeyer H. Der Erfindung der Einfachheit // Biedermeier. Erfindung der Einfachheit / hrsg. v. H. Ottomeyer, K.A. Schröder, L. Winters. Ostfildern, 2006. S. 44–54.*

³⁰ *Meyer-Abich A. Op. cit. S. 126–127.*

мию наук, в Москве – Московский университет, осмотрел Кремль. Казань, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Омск. Миасс, Тобольск, Оренбург, Астрахань – вот неполный перечень городов, где побывал Гумбольдт. Он проехал почти всю Сибирь, посетил Алтай, Тянь-Шань и достиг китайской границы. Возвращался Александр через Петербург в декабре 1829 года. В путешествии его сопровождали немецкие ученые – минералог Г. Розе и зоолог Х. Г. Эренберг³¹.

В последние годы жизни В. Гумбольдта преследовала череда потрясений. В марте 1829 г. скончалась горячо любимая им жена Каролина, его надежный друг в радости и в горести. Теплота их отношений обнаруживается в письмах Вильгельма к жене, где он подробно рассказывает ей обо всех текущих делах, сообщает о своих каждодневных впечатлениях, о литературных произведениях³². От душевных переживаний у него началась болезнь Паркинсона, которая сопровождалась тяжелыми телесными страданиями, столь сильными, что в итоге он не мог писать, а зрение стало таким слабым, что он едва мог читать. В 1832 г. умер его друг Гете. Гумбольдт ожидал смерти. 3 апреля 1835 г. в Тегель попрощаться с ним приехали кронпринц (будущий король Фридрих Вильгельм IV) и его брат (будущий германский император Вильгельм I). Для них Гумбольдт был олицетворением великой духовной и политической эпохи в истории Германии и Пруссии³³. 8 апреля великий ученый скончался и спустя четыре дня был погребен рядом со своей женой Каролиной.

После смерти брата Александр сосредоточился на написании по материалам своих путешествий научных работ; среди них – написанная по-французски «Центральная Азия» и пять томов «Космоса», где он попытался дать физическое описание мира, – главное дело всей жизни Александра фон Гумбольдта. Также в 1841, 1842, 1843, 1847, 1848 гг. он выполнял, возложенные на него королем дипломатические миссии, посещая Париж и Лондон³⁴. В 1840 г. он стал членом Государственного совета Пруссии. В 1857 г. Александр пережил инсульт, после которого так и не сумел оправиться. Он умер 6 мая 1859 г. в возрасте девяноста лет и был погребен в парке фамильного имения Тегель.

Необходимо отметить, что братьев отличало огромное трудолюбие, исключительная способность к обобщениям и подлинная всеобщность интересов. Как взаимодействовали их научные интересы?

³¹ См.: Сафонов В.А. Указ. соч. С. 124–150.

³² Например, см. письма от 3 января 1810 г., 6 февраля 1810 г. или от 7 сентября 1819 г. // Wilhelm von Humboldt, sein Leben und Wirken dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit. S. 508–509, 676.

³³ Berglar P. Op. cit. S. 146.

³⁴ См. об этом: Päßler U. Ein „Diplomat aus den Wäldern des Orinoko“. Alexander von Humboldt als Mittler zwischen Preußen und Frankreich. Stuttgart, 2009.

Как было показано, Вильгельм сумел сделать политическую карьеру и проявил себя и на этом поприще как интеллектуал.

Политические идеи В. фон Гумбольдта

Политические идеи мыслителя тесно переплетены с его общеполитическими позициями и могут быть правильно поняты только в контексте смены философской парадигмы в конце XVIII века.

Со времен Канта и Гердера фундамент рационализма дал в Германии трещину. Антирационалистический дискурс обнаруживается в одной из первых работ В. Гумбольдта «Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской конституцией», где было сразу заявлено, что «не сможет удалиться ни одна государственная конституция, которая создает государство по заранее намеченному плану как бы с самого начала; может удалиться только такая конституция, которая возникла в результате борьбы более мощного случая с противостоящим ему разумом»³⁵. Гумбольдт не ограничивал это государственными конституциями, а распространял на любые практические мероприятия. Не утверждая, что принципы конституции 1791 г. спекулятивны, т.е. не предполагают осуществления, он, однако, подчеркивал, что «нельзя давать уроки анатомии на живом теле»³⁶. Автор не отрицал положительной роли разума в принципе, но расставлял акценты, которые делали разум не единственным фактором преобразований: «Хотя разум обладает способностью преобразовывать имеющийся материал, он не располагает силой создавать новый. Эта сила покоится лишь в сущности вещей; именно они действуют; подлинно мудрый разум лишь побуждает их к деятельности, стремится управлять ими. Государственные конституции нельзя навешивать на людей как пологи на деревья, там, где предварительно не поработали время и природа»³⁷. Гумбольдт вопрошал, является ли французская нация достаточно подготовленной, чтобы принять новую государственную конституцию? «Никогда никакая нация не может быть достаточно зрелой для государственной конституции, систематически разработанной только по принципам разума», – отвечал он. И добавлял: «венюк в состоянии сплести лишь память, соединяющая прошлое с настоящим»³⁸.

Так что должно, по мнению Гумбольдта, стать основой для удачного конституционного закона? Он искал ответ не в сфере истории го-

³⁵ Гумбольдт В. фон. Идеи конституционного государственного устройства. С. 184.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С. 186.

³⁸ Там же. С. 187.

сударства, а в сфере антропологии, утверждая, что ни в одной конституции нет высокой степени общего совершенства, но в каждой есть преимущество, которое должен объединить в себе идеал государства. На каких основах он конструировался? Гумбольдт предлагает нам следующий исторический экскурс. Так, сила обстоятельств заставляла нации подчиняться и развила в них чувство покорности, но как только опасность проходила, то в них просыпалось более высокое чувство – чувство их внутреннего достоинства, а это уже, по Гумбольдту, было чувством свободы. Но затем благодушные люди перевернули дело и назвали благосостояние нации целью, так возник принцип, что правительство должно обеспечивать счастье и моральное и физическое благосостояние нации. «Именно это – самый грубый и самый угнетающий деспотизм!». «Но эта беда, – рассуждал автор, – принесла исцеление». Сокровища знаний, просвещение «снова заставили людей вспомнить о своих правах, снова вызвали страсть к свободе», но в такой ситуации очень сложно управлять, и произошла революция³⁹. Гумбольдт революцию не оправдывал, но полагал, что в сложившейся ситуации средний путь найти непросто, тем более что французы обладают очень импульсивным характером. Он верно предрекал их первой конституции короткий век, но видел значение французских событий в оживлении деятельной добродетели в будущем⁴⁰.

Уже в этом небольшом сочинении мы видим апелляцию автора к чувству внутреннего достоинства человека, обнаруживаем вектор поиска краеугольного камня будущей политической концепции именно в утверждении ценностей индивидуума. С другой стороны, размышляя о французской конституции 1791 г., Гумбольдт осуждал ее ярко выраженный рационалистический заряд и обращал внимание на роль традиции, преемственности в ходе реформирования политического ландшафта. Этот тандем «свобода и традиция» будет в дальнейшем востребован им как в политической деятельности, так и в рамках проведения реформы образования. На наш взгляд, С. Кэлер, который интерпретировал эту работу в контексте эротических идеалов Гумбольдта, несколько преувеличивал его интерес к естественной сфере⁴¹.

Идея индивидуальной свободы стала структурообразующим принципом работы В. Гумбольдта «О пределах деятельности государства», эпиграфом которой стали слова Мирабо-старшего – «страстность в управлении государством, самая гибельная болезнь современных правительств». Можно спорить о жанре данного произведения: является ли

³⁹ Там же. С. 188–189.

⁴⁰ Там же. С. 189.

⁴¹ *Kaehler S. Wilhelm v. Humboldt und der Staat. Oldenbourg, 1927. S. 66–67.*

оно политическим трактатом, или скорее принадлежит к формату сочинений по политической философии, или прежде всего иллюстрирует ярко выраженный антропоцентризм системы мыслителя. На наш взгляд, однозначный ответ здесь неуместен, поскольку налицо многомерность и синтетический характер сочинения. Р. Гайм объяснял создание Гумбольдтом этой работы тем, что он «видел вблизи и возненавидел всю тяжесть назойливого прусского правления посредством указов, так же как и всю сложную машину прусской бюрократии. Он считал своим долгом предостеречь будущего регента архиепископа⁴² против зла слишком усердного правления и нарисовать перед ним картину государства, удовлетворяющегося самыми тесными пределами деятельности, Поэтому вся его система при первом же знакомстве представляется практически обоснованной, имеющей в виду практические результаты, ибо для изображения противоположной системы служили, очевидно, порядки прусского государства»⁴³. С другой стороны, этот же автор отмечал всецело и откровенно теоретический характер сочинения Гумбольдта⁴⁴. Интерес к государству с теоретической точки зрения отмечал и С. Кэлер, утверждая, что у Гумбольдта это всего лишь юридическая конструкция для ограничения государственного всевластия⁴⁵. Представляется, что ответить на вопрос о приоритетности теоретического или практического содержания данной работы, можно лишь после детального ее анализа. Полностью оно было опубликовано лишь после смерти автора, что не случайно: это сочинение даже среди друзей Гумбольдта в Йене и Берлине не встретило понимания. В дальнейшем, начиная с 1840-х гг., оно оценивалось как программное сочинение европейского либерализма, и Дж. Стюарт Милль даже использовал строки из него в качестве эпиграфа к своим сочинениям⁴⁶. Однако в конце XVIII в. молодой Гумбольдт так и не сумел найти издателя для публикации его целиком⁴⁷.

Структура сочинения свидетельствует, что автора прежде всего волнует определение цели государства и рассмотрение спектра политических проблем сквозь призму потребностей индивидуума. В первых главах рассматривается цель и деятельность государства в корреляции с целью отдельного человека, обсуждаются вопросы религии и нравственности, и только в последующих главах речь идет о конкретных за-

⁴² Речь идет о будущем регенте архиепископа Майнца.

⁴³ Гайм Р. Указ. соч. С. 39.

⁴⁴ Там же. С. 40.

⁴⁵ Kaehler S. Wilhelm v. Humboldt und der Staat. Göttingen, 1927. S. 141.

⁴⁶ Burrow J.W. Editor's Introduction // Humboldt W. v. The Limits of State Action. Cambridge, 1969. S. VII.

⁴⁷ Schulze H. Humboldt oder das Paradox der Freiheit // Wilhelm von Humboldt: Vortragszyklus zum 150. Todestag. Berlin; New York, 1986. S. 147.

дачах государства. Гумбольдт писал: «...определение тех предметов, на которые это управление (имеется в виду государственное управление – *H.P.*), однажды устроенное, должно направить свою деятельность, и которыми также эта деятельность должна быть ограничена. Это последнее, в сущности захватывающее частную жизнь отдельных граждан и определяющее меру их свободной не стесненной деятельности, составляет по-настоящему истинную, окончательную цель...»⁴⁸. Фокусом рассуждений Гумбольдта на эту тему являлась проблема счастья человека, ведь «стремиться к цели и достигать ее при развитии физической и нравственной силы есть основание счастья для здорового и сильного человека». Автор затронул также стремление индивида к идеалу и уточнял, что «образование приближает человека к идеалу», но только свобода – это «возможность неопределенно разнообразной деятельности», а «жажда свободы возникает поэтому слишком часто из сознания ее недостатка», и потому «расследование пределов деятельности государства должно, как легко можно предвидеть, привести к большей свободе человеческой энергии и к большему разнообразию в положении людей»⁴⁹. Размышляя о политических вопросах, Гумбольдт апеллировал к истории государственных устройств.

Признанным классиком в типологии форм государства считался и считается Аристотель, но он обратился к Платону. Немецкий мыслитель замечал, что «часто древние законодатели, – а древние философы всегда заботились также в существенном смысле и о человеке; так как нравственное достоинство казалось им в человеке высшим благом, то поэтому “Республика”, например, по чрезвычайно верному замечанию Руссо, есть сочинение не политическое, а, скорее, педагогическое»⁵⁰. Однако к античным государственным порядкам Гумбольдт относился со скепсисом, признавая, что «государственные учреждения у древних поддерживали и возвышали деятельную силу человека», но «ограничения свободы в древнейших государствах более подавляли и были опаснее, так как они касались именно того, что составляет своеобразную сущность человека, его внутреннюю жизнь»⁵¹. Гумбольдт полагал важным выстроить политическое устройство так, чтобы принималось во внимание внутреннее существо отдельной личности.

Целью человека, по мнению Гумбольдта, являлось «наиболее соразмерное развитие его сил в одно целое», а свобода для этого «есть первое и необходимейшее условие», развитие человеческих сил требу-

⁴⁸ Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. М., 2003. С. 5–6.

⁴⁹ Там же. С. 6–7.

⁵⁰ Там же. С. 9.

⁵¹ Там же. С. 10.

ет еще и «разнообразия положений»⁵². Высшим идеалом совместной жизни людей было бы, в представлении Гумбольдта, «такое общество, где каждый человек развивался бы только из самого себя и ради самого себя»⁵³. Именно на основе антропоцентристских идей мыслитель вывел знаменитую формулу организации государственной деятельности, в рамках которой государство ограничивает свою деятельность обеспечением безопасности граждан; «...и пусть мне будет позволено, – писал Гумбольдт, – противопоставить эту безопасность всем остальным возможным целям государственной деятельности, обозначенным общим именем положительного блага граждан»⁵⁴. А. Гулыга справедливо видит в этом произведении Гумбольдта развитие кантовских идей, полагая, что автор в согласии с великим немецким философом прославляет естественный ход общественного развития и критикует деспотическое государство с его вмешательством в повседневную жизнь людей⁵⁵.

Гумбольдт в теоретическом плане показал все вредные последствия современных ему государственных учреждений, отмечая насаждение правительством однообразия и навязывание нации чуждого способа действия, что вело, по его мнению, к ослаблению силы нации. Он показал, как правительство затрудняет внутреннее развитие индивидуума, подходит к личности с определенными стандартами, препятствует развитию индивидуальности в нравственной и в практической жизни. Государство требует большого бюрократического аппарата, что отвлекает много умных людей от творческой или производительной деятельности. Подводя итог своим рассуждениям, Гумбольдт писал: «Следуя этой системе, государство становится похожим на скученную массу безжизненных и живых орудий деятельности и наслаждений, а не на совокупность действующих и наслаждающихся сил»⁵⁶. Он подчеркивал некоторую отвлеченность своих мыслей, призывал читателя не сравнивать с действительностью встречающиеся в этом сочинении обобщения и выражал сомнение по поводу применения предложенной им теории⁵⁷. Таким образом, мы вновь должны констатировать принципиальную теоретичность политических воззрений автора и близость к кантовским философским построениям.

Гумбольдт сам это прекрасно понимал, поскольку «в действительности явление редко встречается во всей своей чистоте, но даже

⁵² Там же. С. 13.

⁵³ Там же. С. 16.

⁵⁴ Там же. С. 19.

⁵⁵ Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 2001. С. 174.

⁵⁶ Гумбольдт В. О пределах деятельности государства. С. 37.

⁵⁷ Там же. С. 38.

когда это и случается, то невозможно проследить быстроту этого хода»⁵⁸. Поэтому замысел данного сочинения, на наш взгляд, – показать негативные стороны влияния современного Гумбольдту государства на личность и предложить идеальную модель взаимодействия личности и государства, которое не должно, по его мнению, заботиться «о положительном благе граждан, оно не должно делать ни одного шага далее, чем необходимо для их безопасности друг от друга и от внешних врагов; ни для какой другой цели не должно оно стеснять их свободы»⁵⁹.

Гумбольдт на протяжении всей работы уточнял, какую именно безопасность и как государство должно обеспечивать. Он высказывался только за заботу государства о благе граждан и полагал, что главное средство преодоления раздоров между людьми – судебное решение⁶⁰. Разъясняя, каким образом обеспечивается безопасность от внешних врагов, Гумбольдт остановился на вопросе о влиянии войны на характер нации. Он писал: «Война представляется мне одним из явлений, в высшей степени благотельно действующих на развитие человечества... Война есть, конечно, ужасная крайность, при помощи которой деятельная нравственная сила закаляется против опасности...». Мыслитель полагал, что государство должно использовать дух, вызываемый войной, и распространять его на всех членов нации, и таким образом, по его мнению, доказывал порочность существования постоянных армий⁶¹. Но автор не был тривиальным прусским милитаристом и уточнял: «...военное мужество почтенно только в связи с мирными добродетелями; военная выправка только в связи с высшей любовью к свободе», а если этого нет, то выправка вырождается в рабство, а мужество в зверство и необузданность». Завершается глава об обеспечении безопасности от внешних врагов таким обобщением: «Государство никоим образом не должно способствовать войне; если же она необходима, то оно также не должно ей насильно препятствовать; оно должно предоставить полнейшую свободу влиянию войны на дух и характер всей нации; главным же образом государство обязано воздержаться от всяких положительных мероприятий, имеющих целью воспитать нацию для войны». Устойчивый мир, по мнению автора, возможен только тогда, когда он будет проистекать из внутренних сил существ и «люди сделаются более мирными, потому что станут более свободными»⁶².

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Там же. С. 40.

⁶⁰ Там же. С. 47.

⁶¹ Там же. С. 52.

⁶² Там же. С. 55.

Отчетливо видно, что и в этом вопросе центром оси координат является принцип свободы. Он же определяет оптимальную, по Гумбольдту, форму правления. Этот вопрос обсуждается не в специальной главе, а в связи с заботой о безопасности граждан. Гумбольдт полагал в качестве оптимальной формы правления монархию: «...избрание именно монархической формы представляется доказательством высшей свободы избирающих... Наиболее целесообразным в этом случае будет один единичный предводитель или один судья. Забота о том, что этот единичный предводитель или судья может сделаться властителем, недоступна свободному человеку»⁶³. Мы видим, как снова построения Гумбольдта упираются в осознание человеком его свободы, подтекст очевиден: это ответ на вопрос, как формируется такой индивидуум. Поэтому автор счел необходимым, предвзяв обсуждение конкретно-юридических вариантов заботы государства о безопасности, рассмотреть этико-педагогические аспекты формирования личности.

Общественное воспитание, религия, улучшение нравов оказались в фокусе внимания трактата, но рассматривались сквозь призму границ заботы государства о безопасности граждан. Что касается общественного воспитания, то Гумбольдт отмечал прежде всего его отрицательное влияние: «...все сводится главным образом к возможно более разностороннему развитию человека; общественное же воспитание, даже если бы оно желало избежать ошибок и просто ограничивалось назначением и содержанием преподавателей, всегда будет благоприятствовать определенной форме или шаблону. ...всякое ограничение становится вреднее, когда относится к духовным сторонам человека; между тем ничто не требует более сильной индивидуализации, как воздействие на личность при воспитании, имеющем целью всестороннее развитие каждого отдельного человека»⁶⁴. Доказывая этот тезис, Гумбольдт апеллировал к античности, видя именно в общественном воспитании причину частых изменений государственного строя. «Каждая форма государственного устройства весьма сильно влияла на народный характер, который – будучи определенно выработан – вырождался и вызывал новое переустройство»⁶⁵.

В отношениях религии и государства Гумбольдт занял позицию, характерную для европейского либерализма в целом, призывая к отделению церкви от государства. Он писал: «...все, что касается религии, лежит вне деятельности государства, и священнослужители, как и вообще

⁶³ Там же. С. 48.

⁶⁴ Там же. С. 58.

⁶⁵ Там же. С. 61–62.

все священнодействия, должны быть поставлены в зависимость от общества и не допускают никакого особенного наблюдения со стороны государства»⁶⁶. Гумбольдт находился в этом вопросе под влиянием Шлейермахера⁶⁷. Как представитель интеллектуалов, к которым прежде всего была обращена книга Шлейермахера, Гумбольдт рано отделился от религии под воздействием просвещенческой критики, утверждавшей принцип несовместимости религии с современным мышлением, и противился ее притязаниям на монопольное обладание истинной⁶⁸. Необходимо заметить, что этот вывод дался автору непросто. VII глава, которая посвящена религии, одна из самых больших в его сочинении. Это не случайно, так как в ней автор выяснял, насколько этические категории нуждаются в поддержке религией, насколько они независимы от нее. Он писал: «С одной стороны, следует признать, что религиозные идеи значительно содействуют нравственному совершенствованию, так, с другой стороны нельзя не сказать, что они вовсе неразрывно связаны с ним. Простая идея духовного совершенствования достаточно возвышенна, полна и возвышающа, чтобы не требовать другой оболочки или формы»⁶⁹ и уточнял: «Холодный, просто рассудительный человек, в котором познание вещей никогда не переходит в ощущение, в чувство ... не нуждается ни в каком религиозном начале для того, чтобы поступать добродетельно и быть добродетельным», а ниже добавлял: «Никто, конечно, не захочет безусловно отрицать влияние религии на нравственность», но полагает, что это влияние не настолько сильно, «чтобы нравственность и религия неразрывно связывались одна с другой»⁷⁰. В конце жизни отношение Гумбольдта к религии начнет меняться. Когда он стал перечитывать Библию, то был удивлен притягательности этого текста.

Возвращаясь в данном контексте к проблеме государства, Гумбольдт видел в нем в идеале машину, которая должна оставаться на ходу в силу внутренних пружин и не нуждаться во внешних влияниях.

Контроль за нравственностью также, по его мнению, находится за пределами государственного воздействия, и «государство должно вполне воздерживаться от всякого стремления прямо или косвенно влиять на нравы или характер нации ... всякое особенное наблюдение за воспитанием, религиозными учреждениями... лежит вне границ государственной деятельности»⁷¹. В рассуждениях Гумбольдта о воспитании, рели-

⁶⁶ Там же. С. 83.

⁶⁷ См.: Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. СПб., 1994.

⁶⁸ См.: Bruford W.H. Op. cit. S. 25–27.

⁶⁹ Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. С. 68.

⁷⁰ Там же. С. 70, 78.

⁷¹ Там же. С. 96.

гии, нравственности просматривается его безграничная вера в то, что именно отсутствие какого-либо принуждения граждан станет главным фактором всестороннего развития человека. Не случайно западногерманский исследователь Г. Эверс подчеркивал в государственных воззрениях молодого Гумбольдта нравственное понимание данного института⁷².

Подобные идеи вполне вписываются в концепцию неогуманизма, который не только прославляет интеллектуальный труд, но и считает человека, его внутреннее совершенствование центром своей теории⁷³.

Сводя функции государства к обеспечению безопасности, Гумбольдт пристальное внимание уделил понятию «безопасность». Если обратиться к трактату Монтескье «О духе законов», то можно обнаружить, что там через понятие безопасности определялась политическая свобода, которая также трактовалась автором с помощью категории «закон»⁷⁴. Гумбольдт оперировал теми же категориями: «...безопасность... состоит в уверенности в закономерной свободе. Но эта безопасность нарушается не всеми теми действиями, которые служат человеку помехой в проявлении его сил или в пользовании его имуществом, но только такими, которые делают это в противность праву»⁷⁵. Автор очертил правовое поле заботы государства о безопасности: оно должно решать спорные вопросы права, восстанавливать нарушенное и карать нарушителей. Во всех этих областях – полицейского, гражданского и уголовного законодательства – пределы его деятельности должны определяться все тем же основанием: человек не должен приноситься в жертву гражданину, и безопасность не должна быть достигаема средствами, ограничивающими свободу более, чем это положительно необходимо.

Выстраивая правовую систему одобряемой им модели государства, Гумбольдт входил в тонкости законодательства, но никогда не упускал из виду индивидуальность. Считая, что прекращение раздоров граждан между собой представляет истинный и существенный интерес для государства, но воля отдельных лиц – подчеркивал автор – никогда не должна служить ему помехой, будь это даже сами пострадавшие. Однако, как полагал Гумбольдт, было бы лучше, если бы вместо государственных постановлений, возникали доброжелательные соглашения граждан, имеющие цель достижение общей безопасности⁷⁶. Такие отношения, по

⁷² Evers G. Ideen zu Staat und Recht : Inaug. Diss. zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univ. zu Köln. Köln, 1964. S. 56.

⁷³ См. подробнее о неогуманизме в творчестве В. фон Гумбольдта: Spranger E. Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909; *Idem*. Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens. Berlin, 1911.

⁷⁴ См.: Монтескье III. О духе законов. М., 1958.

⁷⁵ Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. С. 101.

⁷⁶ Там же. С. 111.

его мнению, легче возникают в рамках общин, поэтому стремление государства должно быть направлено к тому, «чтобы при посредстве свободы облегчить людям образование общин, деятельность которых могла бы заменить государственную...»⁷⁷. Восхваление Гумбольдтом общины неудивительно: в либеральных теориях всегда акцент делался на развитие самодеятельности граждан в качестве противовеса централизму. В те годы пietet перед общиной во многом был связан с влиянием Руссо⁷⁸, который выступал против системы разделения властей, отстаивая тем самым первозданность принципа народного суверенитета и восхваляя общину. В случае с Гумбольдтом главным корректирующим его политическую теорию моментом является желание, чтобы государство как можно меньше травмировало личную свободу граждан.

В размышлениях Гумбольдта по поводу гражданских законов немало упущений, но мыслитель видел решение гражданских проблем в договорных отношениях, которые позволяли даже в случае несовершенства договора после истечения его срока возобновить утраченные элементы свободы⁷⁹. Поэтому он призывал к срочным договорам, максимально допустимым по продолжительности считал пожизненный контракт. Вмешательство государства в договорные отношения граждан возможно было, по его мнению, только в том случае, если из них вытекали отношения, ограничивающие свободу⁸⁰.

Много внимания автор уделил завещательному праву, признавал законность завещаний на основании естественного права. Необходимо заметить, что апелляция к теории естественного права в наследии Гумбольдта не частое явление. Но он разглядел в такой ситуации опасность для свободы: «Однако, во всяком случае в том объеме, который придается им (завещаниям – *Н.Р.*) большинством наших законодательств, по системе нашего общего права, где в данном случае тонкое хитроумие римских юристов соединяется с властолюбием феодализма, ...они стесняют свободу, которой необходимо требует развитие человека. И это потому, что они суть главное средство, ...при помощи, которых, ...люди подчиняются игу вещественных предметов»⁸¹. Гумбольдт был противником того, чтобы государство вмешивалось в порядок наследования, он писал: «Вообще разнообразная и изменчивая воля отдельного человека предпочтительна однообразной и неизменной воле государства»⁸². Углубляясь в тонкости анализа завещательной практики, философ критико-

⁷⁷ Там же. С. 112.

⁷⁸ См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1967.

⁷⁹ Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. С. 114–118.

⁸⁰ Там же. С. 128, 127.

⁸¹ Там же. С. 120.

⁸² Там же. С. 121.

вал римское право, его преклонение перед формальностями, отмечая недостатки судебных учреждений еще только развивающегося народа⁸³. Столь тщательное углубление в проблемы завещательного права не случайно, с одной стороны, это связано с отсутствием разработки данной области в Кодексе Фридриха Великого, с другой – именно оно создает ситуацию континуитета принципов индивидуализма.

Роль государства Гумбольдт видел в урегулировании споров между гражданами и осуществлении практики уголовно наказуемых деяний. Освещая первый аспект, он обратил внимание на качественно новые границы в деятельности государства. «Первое основное положение всякого судопроизводства должно бы по необходимости заключаться в том, чтобы никогда не добиваться истины по существу и абсолютно, но всегда лишь постольку, поскольку этого требует та сторона, которая вообще имеет право ее разыскивать», – полагал он и продолжал: «Судье для выяснения и открытия истины нужны признаки ее и доказательства. Поэтому новая точка зрения для законодательства вытекает из рассуждения, что право достигает действительно законности не иначе, как если оно в случае спора, может быть на суде доказано»⁸⁴. Однако Гумбольдт был противником многочисленных формальностей и критиковал за это римлян, но соглашался на введение новых ограничительных законов, доказывающих законность сделок и полагал, что по мере усовершенствования судебной организации их будет все меньше. Ведь главный вред от формальностей, по его мнению, это ограничение свободы. Но именно эта сфера, как считал Гумбольдт, требует четкого, разветвленного и утонченного правового регулирования.

Наказание за нарушение законов страны Гумбольдт обозначал как кару. В этой области он затруднился представить общее постановление, полагая, что здесь большую роль играют частные обстоятельства: «Наказание должно быть бедствием, устрашающим преступника», «мягкие наказания уже сами по себе представляют меньшее зло, но и потому, что они более достойно удерживают человека от преступления»⁸⁵. Приведенные высказывания выглядят как бинарная оппозиция. Мы обнаружили еще один нюанс представлений автора по поводу наказания: «...мера наказания должна соответствовать степени высказанного неуважения к чужому праву»⁸⁶. Подобную множественность можно расценить как проявление эклектизма, как использование автором в качестве основы общегуманистических и правовых принципов.

⁸³ Там же. С. 123.

⁸⁴ Там же. С. 131.

⁸⁵ Там же. С. 135.

⁸⁶ Там же. С. 154.

Гумбольдта это не смущало, для него важна не государственная кара сама по себе, а возможная роль государства в предотвращении преступлений. Именно этому посвящена большая часть XIII главы. «Всякое предупреждение преступлений должно... брать исходной точкой причины преступлений», которые автор сводил к недостаточно сдерживаемому разумом чувству между наклонностями действующего лица и количеством законных средств к их удовлетворению. Поэтому предупредить преступление государство может, либо изменив положения граждан, которые их толкали к преступлению, либо ограничивая такие наклонности, которые ведут к нарушению законов⁸⁷. Первый способ Гумбольдт считал допустимым, тогда как второй, связанный с воздействием государства на нравы, вызывал у мыслителя скепсис, поскольку был опасен для свободы. «Каждый гражданин должен иметь возможность действовать без помехи, пока он не нарушает закона. ...Если его лишают этой свободы, то право его нарушено и принесен вред выработке его способностей, развитию индивидуальности»⁸⁸.

Таким образом, к существованию практики предупреждения преступления Гумбольдт относился двойственно, государство, как он полагал, могло предупреждать только непосредственное преступление. Вполне логичным, вытекающим из сути трактата являлось утверждение презумпции невиновности личности⁸⁹. В этом сочинении автор рассмотрел также пределы деятельности государства в отношении лиц лишенных дееспособности и видел именно в государстве гарантию ненарушения прав таких граждан.

Как было показано, Гумбольдт рассмотрел предметы, на которые государство должно распространять свою деятельность. Конкретный правовой механизм этой деятельности занимал его мало, он стремился установить высшие принципы, уточнить насколько «законодательство имеет право расширять или ограничивать деятельность государства»⁹⁰.

Гумбольдт задавался также вопросом о средствах поддержания государственного устройства и, следовательно, законодательства – это полная общая теория права, точное определение цели или границ деятельности, теория средств, необходимых для существования государства (куда автор включал и финансы). Он таким образом попытался дать определение этому понятию. Макиавелли полагал, что закон, армия и бюрократический аппарат составляют суть государства⁹¹. Безусловно,

⁸⁷ Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. С. 144–145.

⁸⁸ Там же. С. 147–148.

⁸⁹ Там же. С. 155.

⁹⁰ Там же. С. 162.

⁹¹ См.: Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

их представления не совпадают: Макиавелли принадлежал эпохе гуманизма и разделял ее преклонение перед индивидуумом, Гумбольдт воспринял идеи неогуманизма, который отрицал необходимость постоянной армии, не приветствовал обширный бюрократический аппарат. Макиавелли стремился раскрыть механизм функционирования государства на фоне борьбы с церковным провиденциализмом. Представляется, что смысл их различий и в том, что Гумбольдт сам отмечал невозможность вгрызаться в мельчайшие подробности деятельности государства и признавался, что он «начертал лишь подразделения предмета, могущие быть изученными и далеко не достаточно развил целое»... так как его задача «доказать, что главнейшая цель государства должна заключаться в развитии сил отдельных граждан... и государство поэтому никогда не должно избирать ничего другого предметом своей деятельности, кроме того, чего граждане не в состоянии достигнуть сами по себе, именно – безопасности»⁹².

Не желая создавать условия для возрастания роли государства, Гумбольдт признал необходимым ограничить его финансовые возможности: видел вред в обладании государством имуществом, объясняя это усилением его власти. Также он был противником сбора косвенных налогов, поскольку это ведет к увеличению числа государственных учреждений, поэтому единственным источником финансирования государства, мыслитель считал прямые налоги и вообще уточнял, «что государство, деятельности которого предписываются столь узкие границы, вовсе не нуждается в больших доходах, и что в случае, когда оно не имеет собственного отдельного от граждан интереса, оно может быть сильнее уверено в помощи свободной, обладающей благосостоянием нации; этому же нас учит и опыт всех веков»⁹³.

Политические представления Гумбольдта вполне вписываются в ракурс раннелиберального мышления. Они являются своеобразным гимном индивидуальной свободе. Поскольку эти мысли были им высказаны в конце XVIII в., когда в Европе еще не сформировался постреволюционный синдром, заставивший либералов приспособлять свои идеи к практическим потребностям, то их умозрительность вполне объяснима, а теоретический характер гумбольдтовского трактата очевиден. Он и сам отмечал, что «есть идеи, которые мудрец никогда не пытался бы осуществить. Действительность никогда не может созреть настолько, чтобы воспринять высшие и прекраснейшие плоды человеческого духа; идеал всегда должен жить в душе творца как недосыгаемый образец»⁹⁴. Однако

⁹² Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. С. 164.

⁹³ Там же. С. 166.

⁹⁴ Там же. С. 171.

Гумбольдт проявил потенциал глубокого мыслителя и поставил проблему о применении изложенной теории к действительности, точнее меру соответствия теоретических заготовок реальным политическим изменениям. Вновь высшим мерилom он объявил индивидуальность, внутреннее «я» человека. В этих рассуждениях автор поднялся на уровень осмысления истории человеческого сообщества, показывая благодетельное действие этой внутренней силы и, по сути, утверждая идею общественного прогресса. Не случайно автор предисловия к кембриджскому изданию данного сочинения Гумбольдта Дж. Барроу отмечал, что искреннее внимание к индивидууму не позволяет по прошествии многих лет обрести либеральным идеям этого сочинения какую-либо карикатурность⁹⁵.

Но за данными, несколько опять-таки умозрительными рассуждениями просматривается другой Гумбольдт – четкий и прагматичный политик. Поэтому он вывел эту проблему на уровень взаимодействия рационализма и традиции в процессе реформаторской деятельности. Необходимо, как отмечал мыслитель, иметь «две вещи в виду: 1) чистую теорию, развитую до мельчайших подробностей; 2) современное положение вещей, которое надлежит переработать»⁹⁶. Но чтобы начать преобразования, нужно «поскольку возможно, начать реформу с образа мыслей людей»⁹⁷. Это очень сложно, и автор понимал, насколько сильно человек склонен к властолюбию. Поэтому, может так случится, что он будет равнодушен к свободе, но развитие культуры поможет его от этого избавить. Гумбольдт привел пример мудрого законодателя, который будет постепенно освобождать людей от стеснений свободы, содействовать тому, чтобы нация созрела для нее, и это последнее он считал самым важным, так как «ничто так не способствует достижению зрелости для свободы, как сама свобода». Полагая, что это вытекает из самой природы человека, а недостаток зрелости для свободы проистекает, по мнению Гумбольдта, «лишь от недостатка умственных и нравственных сил»⁹⁸.

Гумбольдт осознавал сохранение умозрительности в своих рассуждениях, потому ввел принцип необходимости, заявляя, что именно им определяется деятельность государства. Он трактовал его в контексте взаимодействия теории и практики. «В чистой теории, – писал он, – только особенности человека как естественной особи определяют границы этой необходимости, при осуществлении же ее прибавляется индивидуальность действительно существующего человека. Этот прин-

⁹⁵ Barrow J.W. Editor's Introduction // *Humboldt W. von. The Limits of State Action*. Cambridge, 1969. P. XIII.

⁹⁶ Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. С. 177.

⁹⁷ Там же. С. 175.

⁹⁸ Там же. С. 176.

цип необходимости должен был бы, как мне кажется, служить высшим руководством при каждом практическом труде, имеющем предметом человека, потому что он единственно только и приводит к верным и несомненным результатам»⁹⁹. Получается, что главное для личности понять, в чем заключается необходимость. На наш взгляд, высокий заряд теоретичности сохранен и в этих размышлениях, но в них Гумбольдт по сути уже сформулировал важный алгоритм преобразований, которому он сам попытался следовать и который претерпел развитие в ходе дальнейшей политической деятельности мыслителя.

Вопрос о конституции был центральным для либеральных политиков Пруссии и Германского союза¹⁰⁰ накануне и в период Реставрации. Конституционная проблема волновала Гумбольдта больше в контексте достижения единства, но сама идея конституции также продолжала его интересовать. Одна из его работ на эту тему – записка барону фон Штейну, тогдашнему государственному министру от 4 февраля 1819 г. «Об учреждении земельных сословных конституций в прусских государствах»¹⁰¹. В ней Гумбольдт рассуждал о целях сословно-земельных учреждений, об их формировании и деятельности и о том, как их следует вводить. Цели он разделил на объективные и субъективные. К первым относил улучшение управления, его устойчивость, упрощение и малые затраты на деятельность таких учреждений, благодаря информативности и развитию управления на местах. К субъективным целям он причислял обретение человеком гражданского смысла своей деятельности, что вело к повышению личной нравственности и заставляло соединять значение своей деятельности с благом сограждан. Гумбольдт вычленил еще и третий аспект целей – формирование общественного мнения. В записке он не рассматривал сословно-земельную конституцию как оппозицию короне. Проявление оппозиционности он усматривал во всеобщем распространении государственных органов. Политик замечал, что вследствие «падающего авторитета дворянства государственное чиновничество приобретает все больший вес, и поэтому каждый человек стремится попасть в его ряды»¹⁰². Видимо, и сам автор не являлся исключением: не-

⁹⁹ Там же. С. 181.

¹⁰⁰ С 1814 до 1830 гг. были приняты конституции в 15 германских государствах.

¹⁰¹ *Humboldt W. von. Über die Einrichtungen landständischer Verfassungen in den preussischen Staaten // Sämtliche Werke. Bd. 7. Schriften zu Politik und Verwaltung. S. 105–154.* На русский язык переведены фрагменты этой работы: *Гумбольдт В. фон. Об учреждении земельных сословных конституций в прусских государствах // О свободе: антология. С. 190–197.*

¹⁰² *Humboldt W. von. Über die Einrichtungen landständischer Verfassungen in den preussischen Staaten // Sämtliche Werke. Bd. 7. Schriften zu Politik und Verwaltung. S. 106–107.*

смотря на серьезные интриги со стороны канцлера Гарденберга, Гумбольдт продолжал находиться на государственной службе.

Пользу сословных собраний он видел в выработке ими твердых принципов деятельности, считая это своеобразной гарантией их существования. Гумбольдт подчеркивал необходимость ответственности этих собраний по отношению к земельным сословиям, но, главное, по отношению к королю, и считал, что в их лице король обретает помощников. Он не хотел, чтобы эти собрания создавали новые законы и учреждения, которые могли выродиться в пустые фантазии, и полагал, что они не должны стать элементом неожиданных новаций, поэтому такие собрания не формируются на основе участия всей народной массы (как это имело место во Франции). Граждан к управлению следует привлекать постепенно. Гумбольдт выказывал явный пиетет власти, государству, которое призвано политически просвещать граждан. Он не разделял мыслей Канта, утверждавшего, что «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия... Но более возможно, и даже почти неизбежно, что публика сама себя просветит, если только предоставить ей свободу... публичное пользование собственным разумом всегда должно быть свободным и только оно может дать просвещение людям»¹⁰³. Гумбольдт высказывался за слабо выраженные конституционные формы, но выступал за присутствие в этих конституциях таких прав, как личная безопасность, защита собственности, свобода совести и печати¹⁰⁴.

Участие народа в рассмотрении вопросов внутренней и внешней политики допускалось, но, как отмечал мыслитель, если это происходит без практической основы, то приносит мало пользы и вообще вредно. Гумбольдт полагал, что необходимо создать внутри различных провинций единство и прочную связь, не уничтожая их своеобразия, так как именно это создает сотрудничающую с правительством нравственную силу народа. Итак, сословные учреждения по Гумбольдту необходимо ввести, но не следует считать их противовесом правительству, а наоборот правительство – это орган, ограничивающий их влияние, что и ведет к равновесию властей. «Законодательная, контролирующая и некоторым образом также административная деятельность правительства должны разделяться между органами государства и органами народа, выбранными в различных политических подразделениях, чтобы те и другие, находясь всегда под верховным надзором правительства и имея точное разграничение прав, сходились во всех ступенях своего

¹⁰³ *Кант И.* Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Сочинения. М., 1966. Т. 6. С. 27–29.

¹⁰⁴ *Humboldt W. von.* Über die Einrichtungen... S. 107.

положения в общей работе»¹⁰⁵. Подобную модель отношений автор распространял на все политические организации народа, а не только на избираемые. Он полагал, что у сословий будет доминировать принцип сохранения, у правительства – стремление к улучшению. Гумбольдт продолжал верить в реформаторский потенциал государства и, следовательно, и в 1819 г. он продолжал стоять на позициях бюрократического либерализма. Если отношения сословных органов и государства не складывались, и происходило противоположное, то это было, по его мнению, или результатом больших злоупотреблений государства, или ненадлежащим формированием народных органов.

В вопросе об избирательном праве Гумбольдт не всегда придерживался принципов индивидуальной свободы. Он выступил против введения единого избирательного закона, мотивируя это слишком большими различиями и своеобразием отдельных провинций Пруссии¹⁰⁶, а также тем, что верхняя палата общепрусского сословного собрания должна состоять из представителей аристократии и не являться выборной, тогда как нижняя палата состояла бы из дворян, представителей прочих собственников и городов, т.е. тех корпораций, на основе которых формируются провинциальные чины¹⁰⁷. Именно провинциальные собрания обязаны направлять своих представителей в общепрусский сословный орган.

Выборам в провинциальные сословные учреждения Гумбольдт уделил несколько больше внимания: он подчеркивал, что в их рамках необходимо соблюдать традиции своих провинций, требовал личного знакомства избираемого и избирателей, а также выступал против многостепенных выборов, полагая, что они должны быть прямыми, но с соблюдением корпоративного принципа. Оптимальной Гумбольдт считал организацию выборов 1 раз в 7-8 лет, допускал повторное избрание прежних депутатов и вообще не видел необходимости в контроле выборов со стороны общественности¹⁰⁸. Традиционный способ формирования сословных учреждений явно ближе Гумбольдту, нежели революционные изменения представительства эпохи Французской революции.

Сословно-земельное устройство в Пруссии должно в представлении мыслителя развиваться в рамках столь любимого им тандема «традиция – новация». Он писал: «Есть старое и мудрое правило, что новые мероприятия и учреждения должны примыкать к существующим для того, чтобы укорениться в качестве родных и отечественных»¹⁰⁹. Новей-

¹⁰⁵ Ibidem.

¹⁰⁶ Ibid. S. 145–146.

¹⁰⁷ Ibid. S. 142.

¹⁰⁸ Ibid. S. 147–150.

¹⁰⁹ Ibid. S. 112.

шие конституции, по его мнению, не годятся для прусского варианта, сущность английской невозможно копировать, Американская вообще не имела перед собой ничего традиционного, а Французская разрушила все традиции, и этот образец не следует использовать. «В Германии продолжает сохраняться много старого, что не нуждается в упразднении и что не может быть упразднено без значительной утраты при этом глубокого нравственного смысла». Сфера деятельности сословных органов, которую Гумбольдт не относил к деятельности правительства, а ставил лишь под его верховный надзор, была ограничена обязанностью представлять правительству требуемые рекомендации и правом направлять предложения¹¹⁰. Заметно, что компетенция сословного представительства весьма ограничена, и Гумбольдта как либерального мыслителя можно было бы упрекнуть за это. Но с точки зрения его общефилософских представлений все выглядит безукоризненно, поскольку критерием идеальной прусской конституции он объявлял нравственное развитие личности. Поэтому политические идеи мыслителя находили продолжение в контуре его образовательной концепции и проявлялись в некоторых ракурсах лингвистических штудий ученого.

В конце 1819 г., как уже отмечалось, в знак протеста против принятия Карлсбадских решений¹¹¹ Гумбольдт ушел в отставку. Но, осуждая эти решения, он подверг критике не прусское государство, а исключительно политику Венского двора¹¹², и полагал, что Союзный сейм не имеет права предписывать, что делать каждому немецкому государству¹¹³. Гумбольдт требовал, чтобы эти решения были признаны результатом обстоятельств и рассматривались как чрезвычайные¹¹⁴. Будучи либералом, сторонником свободы, реформатором образования, он не мог одобрить решения, ужесточившие цензуру и вводившие контроль над университетами, но, даже критикуя, он не желал бросать тень на короля Пруссии и заявлял: «Огромная часть нации выражает Вашему величеству свою непоколебимую верность и чувствует себя счастливо и спокойно, благодаря Вашему королевскому величеству и законам, которые считает наивысшим проявлением Вашей мудрости»¹¹⁵.

¹¹⁰ Ibidem.

¹¹¹ Решения Союзного сейма, принятые на конференции в Карлсбаде в сентябре 1819 г., были направлены против национальных и либеральных сил, особенно против университетской молодежи.

¹¹² *Humboldt W. von. Über Karlsbader Beschlüsse, 1819 // Sämtliche Werke. Bd. 7. Schriften zu Politik und Verwaltung. S. 159–160.*

¹¹³ Ibid. S. 157.

¹¹⁴ Ibid. S. 160.

¹¹⁵ Ibid. S. 167.

Важным аспектом политических представлений Гумбольдта является его отношение к принципу свободы печати. Как уже отмечалось, в статье 18-й Союзного акта была обещана свобода печати: «Сверх того Сейм¹¹⁶ при первом собрании своем должен будет заняться постановлением общих однообразных узаконений о свободе книгопечатания и изысканием средств предохранить авторов и издателей от наносимого им вреда перепечатыванием книг без их согласия»¹¹⁷.

В начале 1816 г. Гумбольдт написал докладную записку канцлеру Пруссии «О свободе печати»¹¹⁸. Автор соглашался, что вместо цензуры возможна ответственность перед судом, что цензура раздражает, ведет к недоверию и противоречию. Вместе с тем, свободой прессы можно злоупотреблять, но установить факт злоупотребления довольно сложно¹¹⁹. В данной записке Гумбольдт попытался определить суть такого злоупотребления. В итоге он заявлял о необходимости сочетания большой свободы и «непоколебимой бдительности», поиска границы между благом всех и достоинством писательской корпорации¹²⁰.

Гумбольдт высказался против очень жесткого контроля, хотя признал целесообразным «подчинить писателей, издателей и типографии (так как все они принимают участие в процессе публикации) действительной цензуре»¹²¹. Он призывал к контролю за государством с помощью общества, но, понимая всю двойственность своих рассуждений, писал: «Невозможно, чтобы существовавшее до сих пор законодательство оптимально соответствовало бы новым целям, поэтому оно должно только приспособливаться»¹²². Об общественном мнении в этой связи Гумбольдт практически не упоминал, что выглядит странно, так как именно общественное мнение обычно является гарантом свободы печати¹²³. Необходимо также отметить, что обнаруженная непоследовательность в решении вопроса о свободе печати связана с кредо Гумбольдта, суть которого – взаимодействие традиции и новации. Обстоятельства прусской реальности эпохи Реставрации все больше акцентировали традиционное в его политических идеях, заслоняя ростки нового. Правда, новое в несколько иных ипостасях все же «прорастало».

¹¹⁶ Имеется в виду Союзный сейм – высший орган Германского союза.

¹¹⁷ Акт о конституции Германского союза, подписанный в Вене 8 июня 1815 г. // *Мартенс Ф.Ф.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1876. Т. 3. С. 446.

¹¹⁸ *Humboldt W. von.* Über Pressefreiheit // *Sämtliche Werke.* Bd. 7. S. 35–41.

¹¹⁹ *Ibid.* S. 35.

¹²⁰ *Ibid.* S. 38.

¹²¹ *Ibid.* S. 40.

¹²² *Ibid.* S. 37.

¹²³ См. об этом: *Ростиславлева Н.В.* Политическая пресса в немецком герцогстве Баден в 20–30-е годы XIX века // *Европейский альманах.* 2003. М., 2004. С. 96.

Идея немецкого классического университета и ее судьба

Стремление реализовать идею всестороннего развития каждого отдельного человека предопределило повышенный интерес немецкого мыслителя к вопросам образования. В годы Болонской реформы это стало из самых востребованных сегментов интеллектуального наследия и деятельности В. Гумбольдта. Подобный интерес вполне объясним с точки зрения филиации идей, но, по-видимому, также это свойство человеческой природы, создавая что-то новое, всегда оглядываться назад. Выдающимся институциональным творением XIX в. был немецкий университет, основателем которого являлся Вильгельм фон Гумбольдт.

Как уже отмечалось, в 1808 г. Вильгельм фон Гумбольдт вернулся на родину и поступил на службу по делам образования. В 1809 г. он стал директором секции культуры и образования в министерстве внутренних дел Пруссии и, находясь на этом посту, проделал всю необходимую работу для открытия Берлинского университета осенью 1810 г. Причем это была не только деятельность по определению контура будущего образовательного учреждения, но и урегулирование финансовых условий его открытия. В тайном государственном архиве Пруссии находится официальный проект Гумбольдта, направленный барону Альтенштейну, где он оценил общую стоимость учреждения университета в 15000 имперских талеров¹²⁴. Приблизительно в 1809–1810 гг. был написан его знаменитый меморандум «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине»¹²⁵. Время пребывания Гумбольдта в этой должности длилось всего 13 месяцев, но оно стало важнейшим периодом в истории немецкого образования. В последние несколько лет в России был опубликован ряд статей, в которых рефлексии подвергается именно этот аспект деятельности великого реформатора и ученого¹²⁶.

Время, когда вызревали и осуществлялись образовательные реформы, было периодом расцвета немецкого идеализма, и именно его ярчайшие представители стали лидерами в движении за реформу университета. У ее истоков стоял сам великий И. Кант, борющийся за возрождение философии и отвоевание ею позиций у теологии. Он утверждал, что у философии есть задача установления границ и характера знания во всех

¹²⁴ Geheimes Staatsarchiv VI HA FA von Humboldt. № 3. L. 1.

¹²⁵ *Humboldt W. v. Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin // Sämtliche Werke. Bd. 6. Schriften zu Kultus und Unterricht. S. 197–205.*

¹²⁶ См.: *Александров Д.* Места знания: институциональные перемены в российском производстве гуманитарных наук // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 273–284; *Андреев Ф.Ю.* Гумбольдтовская модель классического немецкого университета // Новая и новейшая история. 2003. № 3. С. 46–58; *Шнедельбах Г.* Университет Гумбольдта // Логос. 2002. № 5-6 (35). С. 11–25.

других дисциплинах, и только философия должна давать суждения о претензиях теологии, но не наоборот¹²⁷. Фихте видел основу возрождения могущества Германии в ее духовной мощи¹²⁸, а Шлейермахер, разочаровавшись во всех формах рационализма, призывал перенести внимание с внешней стороны жизни на внутреннюю, мечтал о возрождении органической целостности духовного бытия¹²⁹. В 1808 г. он написал брошюру «Размышление об университете в немецком смысле», где размышлял о школах, университетах, академиях их отношениях с государством и представил свое видение нового немецкого университета¹³⁰. Шлейермахер замечал: «Задача университета – пробудить идею науки в наиболее благородных людях, уже вооруженных разного рода знаниями, способствовать им в овладении той областью познания, которую каждый из них для себя избрал»¹³¹. Широкий взгляд, систематическое изложение материала, выражение целого, выявление внутренних связей в нем и, в итоге, признание философии фундаментом всех остальных занятий должны были стать, по Шлейермахеру, основополагающими принципами университетского образования. Немалое значение он отводил самостоятельности, становлению жизни посредством свободного выбора: «в университете по сравнению с выпустившей их школой студенты пользуются свободой, в первую очередь, в отношении умственных занятий. При этом они не подвергаются никакому принуждению; никто их никуда не подгоняет, но и ничто перед ними не закрыто»¹³². Вопрос о замещении должностей в университете Шлейермахер предлагал решать на основе консенсуса между государством и ученой корпорацией, желая избежать давления со стороны государства и обеспечить равновесие¹³³. Агитировал в пользу интеллектуальной свободы и университетских пре-

¹²⁷ Кант И. Спор факультетов // Соч. М., 1966. Т. 6. С. 324–327, 332–333.

¹²⁸ См.: Fichte J. G. Reden an die deutschen Nation. Hamburg, 1978; Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. М., 2008.

¹²⁹ Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям ее презиравшим. СПб., 1994. С. 58–61.

¹³⁰ Schleiermacher F. Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn // Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit der ihrer Neugründung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus / Hg. E. Anrich. Darmstadt, 1956 S. 221–308. Отрывки из этого сочинения были переведены на русский язык А.Ю. Андреевым и В.В. Смекалиной. См.: Шлейермахер Ф. Размышление об университете в немецком смысле // Университетская идея в Российской империи XVIII – начала XX века. Антология. М., 2011. С. 517–527.

¹³¹ Шлейермахер Ф. Размышление об университете... С. 520.

¹³² Там же. С. 522.

¹³³ Там же. С. 524.

образований и Гегель¹³⁴. Все это заставляет современных немецких исследователей говорить о мифе «гумбольдтовского университета»¹³⁵.

Философская основа образовательной концепции Гумбольдта была в главном проработана Фихте. В 1807 г. он предложил план реформы университетов: «в университетах не должно быть профессионального образования, а должно быть предложено образование посредством философии, которая обеспечивала понимание взаимоотношений в пределах всего научного знания. Философии следовало быть свободным вопрошанием и критикой по отношению ко всем остальным формам знания»¹³⁶. В свою очередь, созданный на основе данной модели университет должен служить для подготовки элиты нации. Фихте также предлагал предоставить возможность получения образования малоимущим слоям путем создания системы публичных школ, куда принимали бы представителей всех слоев, всех групп населения, а в университете нуждающиеся студенты могли бы получать подпитку за счет государства. Германия стала бы своеобразным воплощением государства Платона, выстраивая свои приоритеты вокруг системы образовательного лидерства. Высокий образовательный ранг дал бы его обладателю право претендовать на значимые должности в государстве, что привело бы к вытеснению старой наследственной аристократии и к формированию внесословного общества.

Гумбольдтовскую образовательную концепцию корректно рассматривать как продуктивный синтез программных сочинений Шеллинга, Фихте, Шлейермахера, Штеффена и др.¹³⁷ Первым ректором Берлинского университета стал Фихте, но воплощенная в нем модель образования была названа университетом Гумбольдта, так как его структура и задачи, которые перед ним стояли, в основной своей части, были сформулированы и реализованы В. Гумбольдтом. Фундаментальные принципы нового университета он изложил в меморандуме «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине»¹³⁸.

¹³⁴ См.: Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 830–840.

¹³⁵ Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815–1845/49. München, 1996. S. 504; Markschie C. Berliner Universitätsreformer aus zweihundert Jahren // Humboldts Zukunft. Das Projekt Reformuniversität. Berlin, 2007. S. 16.

¹³⁶ См.: Коллинз Р. Указ. соч. С. 840.

¹³⁷ См. об этом: Die Idee der deutschen Universität / [hrsg. von E. Anrich]. Darmstadt, 1956.

¹³⁸ Humboldt W. v. Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin // Sämtliche Werke. Bd. 6. S. 197–205. Перевод: Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине // Неприкосновенный запас. 2002. № 2 (22). [<http://magazines.russ.ru/nz/2002/>]

Краеугольным камнем гумбольдтовского университета стали принципы академической свободы и единства исследования и преподавания¹³⁹. Такой университет был свободен как от влияния церкви, так и от государственной опеки в сфере науки и преподавания, и организован как привилегированная корпорация на основе самоуправления. Следует иметь в виду, что средневековый университет также придерживался корпоративного порядка, но его научная и педагогическая неэффективность привели к закрытию многих учебных заведений такого типа и созданию высших школ под патронажем государства (особенно во Франции)¹⁴⁰. Гумбольдтовский университет трактовал академическую свободу как право профессоров выбирать предметы для изучения без ограничения со стороны стандартных программ. Но, признавая индивидуальное стремление к познанию и свободу науки, Гумбольдт сформулировал главную преференцию университетского образования, утверждая, что «умственная деятельность в человечестве развивается только как совместная деятельность»¹⁴¹. Поэтому необходимо наладить диалог между университетскими исследователями и преподавателями, с одной стороны, и студентами, с другой. Студент в рамках обучения должен не столько овладевать готовым знанием, сколько развивать самостоятельность мышления, заниматься поиском и усвоением истины, быть дополнительной инстанцией для проверки тезисов преподавателя-исследователя. Поэтому вскоре в реформированном университете возникла новая форма обучения – семинарские занятия, о которых Гумбольдт не упоминал, но они очень соответствовали духу его концепции. В историческое университетское образование их ввел Л. Ранке.

В. Гумбольдт четко указал, где пролегает граница между школой и университетом: «...особенность высших научных заведений состоит в том, что для них наука всегда представляет собой проблему, еще не нашедшую своего окончательного решения, и поэтому они постоянно занимаются исследованиями, в то время как школа имеет дело только с готовым и бесспорным знанием. Следовательно, отношения между учителем и учеником в высших научных заведениях становятся совершенно

22/gumb.html]. Перевод, выполненный А.Ю. Андреевым и В.В. Смекалиной: *Гумбольдт Ф. фон. О внутренней и внешней организации научных учреждений в Берлине // Университетская идея в Российской империи XVIII – начала XX в. М., 2011. С. 510–516. См. также: Дуда Г. Идеи В. фон Гумбольдта и высшее образование в конце XX в. // Современные стратегии культурологических исследований. М., 2000. С. 59–67.*

¹³⁹ См.: *Kopitz H. Forschung und Lehre : Die Idee der Universität bei Humboldt, Jaspers, Scheldung und Mittelstraß. Wien; Köln; Graz, 2002.*

¹⁴⁰ См.: *Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2009 С. 341–350.*

¹⁴¹ *Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации...*

иными, чем прежде»¹⁴². Понимая, что реализация предложенной им модели зависит от уровня школьного образования, он выступал за реформирование гимназий, потребовав введения обязательного выпускного экзамена¹⁴³. В отечественной литературе отмечались такие заслуги Гумбольдта в сфере школьного образования как разработка учебных планов, выбор учебников, введение государственного экзамена для кандидатов на преподавательские должности¹⁴⁴. Гумбольдтовская модель университета зиждется на единстве исследования и преподавания, поскольку лишь исследование позволяет научиться науке, а сам университет является исследовательским центром. Как написал в недавно изданной обширной биографии В. Гумбольдта Л. Галл: «Профессор не для студентов, а они вместе должны служить науке»¹⁴⁵. Профессора обязаны были регулярно проводить научные исследования и публиковать результаты, чтобы была возможность предоставить их критике на международном форуме ученых¹⁴⁶. Именно это станет главной особенностью «немецкого университета», и там отныне будут процветать академические дисциплины. Философия превращалась в своеобразного арбитра для остальных дисциплин, поскольку именно она способна была в методическом плане систематизировать научное познание в целом. Философский факультет в ходе реформ полностью сравнялся по статусу и оплате профессуры с другими университетскими факультетами: он мог присваивать высшие университетские степени, т.е. стал из подготовительного выпускающим.

Либеральные представления Гумбольдта ярко проявились в его понимании цели государства как обеспечения безопасности¹⁴⁷. Приспосабливая этот тезис для сферы образования, он так определял задачи государства – «четко и твердо сохранить отделение высшего заведения, т.е. в особенности университета, от школы во всех его формах», кроме того, оно должно всегда поддерживать автономную исследовательскую деятельность университета «в самом живом и сильном жизненном состоянии», но при этом «всегда осознавать, что не оно, на самом деле, добивается или может добиться этого, а что оно вернее всегда является помехой, как только оно вмешивается, что без него дело пошло бы гораздо лучше»¹⁴⁸. Финансовой поддержкой роль государства в университетском сообществе не исчерпывается: его прерогатива – назначение

¹⁴² Там же.

¹⁴³ Он сохранился до настоящего времени – это так называемый Abitur.

¹⁴⁴ *Гулутов Н.В., Шестаков П.М.* Мысли двух философов о школе (Гумбольдт и Кондорсе). М., 1905.

¹⁴⁵ *Gall L.* Wilhelm von Humboldt. Ein Preuße von Welt. Berlin, 2011. S. 147.

¹⁴⁶ См. об этом также: *Wehler H.-U.* Op. cit. Bd. 2. S. 504–519.

¹⁴⁷ *Гумбольдт В. фон.* О пределах государственной деятельности. С. 88.

¹⁴⁸ *Гумбольдт В. фон.* О внутренней и внешней организации...

университетских преподавателей. Это нарушает принципы самоуправления, но защищает свободу, поскольку сохраняет столь важное для индивидуума стремление к разнообразию. В своем первом трактате «О пределах государственной деятельности» Гумбольдт писал: «Даже самые свободные и независимые люди, поставленные в однообразное положение, не вполне развиваются»¹⁴⁹. Он опасался, что без вмешательства государства в формирование профессорского корпуса, свободе грозит опасность из недр самого университета, поскольку господствующие исследовательские школы «имеют тенденцию задушить развитие другого». Тем самым реформатор еще раз подчеркивал, что главное для него в новом университете – свобода научной деятельности, гарантом которой должно быть государство. Гумбольдт не отрицал, что научное познание эффективно и в академии и в ее институтах, которые остаются независимой корпорацией. Университет и академия – это части единого научного здания, но он полагал, что «ход науки, очевидно, быстрее и живее в университете, где большая масса лиц, а именно сильных, бодрых и молодых лиц постоянно продумывает ее»¹⁵⁰. Именно так Гумбольдт воспринял импульсы неогуманизма – интеллектуального движения рубежа XVIII–XIX вв., деклариовавшего чистую науку как занятие наиболее достойное человека¹⁵¹.

Размышляя по поводу университетской модели Гумбольдта, необходимо отметить сбалансированное взаимодействие традиции и новации. Еще в 1791 г., обсуждая Французскую конституцию, Гумбольдт указал в качестве причины ее недолговечности на разрыв с исторической традицией Франции. Считая элементы традиции важной составляющей успешности реформ, он постарался обеспечить ее вызовы в новой университетской модели, в которой традиционность проявляется как в рамках европейских образовательных практик, так и в политических особенностях прусского реформаторства. Так, Г. Шнедельбах утверждает, что «в саморепрезентациях университета Гумбольдта его концепция постоянно восхваляется как золотая середина между английской и французской университетской моделью». В Оксфорде и Кембридже «продолжал существовать средневековый университет, находившийся под управлением церкви, что сказывалось в монастырском образе жизни (college-system) и в отсутствии принципиального признания свободы науки»¹⁵². Исследования стали уделом гражданского общества. Во Франции после 1806 г.

¹⁴⁹ Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. С. 13.

¹⁵⁰ Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации...

¹⁵¹ См. подробнее о неогуманизме: Spranger E. Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee / E. Spranger. Berlin, 1909.

¹⁵² Шнедельбах Г. Указ соч. С. 3.

исследования были исключены из университетского учебного плана и достались в удел академии. Но «немецкий университет» использовал еще один ракурс традиции. Он востребовал институализировавшуюся еще в средневековых университетах конкурентную среду, которая стимулировала развитие и тем самым обеспечивала жизнеспособность системы. Публичный диспут, защита диссертации – все это делало человека полноправным профессионалом в академической среде. Также не следует забывать о конкуренции между университетами.

В осуществлении университетской реформы была востребована прусская политическая традиция. Основание Берлинского университета еще в 1807 г. было одобрено королем, поскольку это стало бы важным шагом в год унижения Пруссии. Именно Берлин должен был стать местом для университета, поскольку там уже были Академия наук и Академия искусств, одна из крупнейших библиотек, обсерватория, ботанический сад, полностью сформированный медицинский факультет¹⁵³.

Главная цель других прусских реформ начала XIX века – усовершенствовать государственный аппарат, чтобы он мог стать основой дальнейших перемен. С помощью таких реформ бюрократия отставала суверенитет Пруссии, сохраняя традиции¹⁵⁴. Поэтому основание Берлинского университета вполне вписывается в патриотический подъем эпохи прусского реформаторства. Присутствия государства в общественной сфере требовал Гегель¹⁵⁵. Но Гумбольдт был убежден, что в рамках реализации новой университетской модели государство также достигнет своих целей¹⁵⁶. Принципы образовательной концепции Гумбольдта «уединение» и «свобода» становились необходимыми государству для выполнения его политических целей, так как для государства важны не знание и речи, а прежде всего деятельность¹⁵⁷.

В 1827 г. начал читать в этом университете свой знаменитый курс публичных лекций его брат Александр. Он читал обо всем и от имени всех дисциплин, читал о Космосе. Затем он занимался популяризацией научного знания. За этот цикл лекций ему была подарена медаль с надписью «Озаряющий весь мир сверкающими лучами»¹⁵⁸.

Модель Гумбольдта стала основой немецкого высшего образования. Берлинский университет, который в 1949 г. был назван его име-

¹⁵³ Gall L. Op. cit. S. 158–159.

¹⁵⁴ См. об этом: Preußische Reformen / hrsg. B. Vogel. Königstein, 1980.

¹⁵⁵ Гегель Г.Ф.В. Философия права. М., 1990. С. 228.

¹⁵⁶ Humboldt W. von. Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin // Sämtliche Werke. Bd. 6. S. 200–201.

¹⁵⁷ Ibid. S. 198.

¹⁵⁸ Сафонов В.А. Указ. соч. С. 123.

нем¹⁵⁹, явился воплощением его идей¹⁶⁰. После 1810 г. другие немецкие университеты заимствовали эту модель, больше уже не происходило университетских кризисов, и начался весьма устойчивый рост набора студентов. «Система в целом входила в период контролируемого расширения, который продолжался и в 1900-х гг.», – утверждал Р. Коллинз¹⁶¹. Г. Шнедельбах справедливо замечает: «период между 1831–1933 гг. – это столетие неоспоримого мирового значения немецкоязычной науки, которая по своему существу является университетской наукой»¹⁶². Д. Александров, ссылаясь, правда, на Джозефа Бен-Давида, подчеркивает, что «немецкий университет и в самом деле был лучшей машиной по производству ученых в XIX веке, в то время как для нужд XX века гораздо более подходящей машиной оказался университет американский»¹⁶³. Гумбольдтовский университет оказал сильное воздействие на духовное развитие Европы XIX в., в том числе и на развитие университетского образования в России¹⁶⁴.

Образованный человек и его взаимоотношения с государством – важная тема для истории XIX и XX вв. К концу XIX в. Германия займет ведущее место в научном мире как по целому ряду достижений в ключевых областях, так и в особенности по размаху и уровню организации научных исследований. Роль гумбольдтовской концепции в этом неоспорима, поскольку она обосновывала привилегированное положение немецкого университета и университетского профессора, что стало своеобразным ориентиром для германских коллег за границей. Но такой оптимальный вариант организации науки и образования в тандеме с государством, где последнее выступало как единственный гарант поддержания и сохранения духовных ценностей, привел Германию к возникновению феномена мандаринизма¹⁶⁵ и в итоге к разрушению гуманитарной науки в годы национал-социализма.

¹⁵⁹ Во многих справочных изданиях поясняется, что Берлинский университет был назван в честь братьев Гумбольдтов, что, на наш взгляд, не умаляет заслуг Вильгельма фон Гумбольдта.

¹⁶⁰ А.Ю. Андреев отмечает, что идут споры о ведущей роли Берлинского университета в немецком университетском пространстве XIX века: является ли это результатом позднейшей мифологизации, или все-таки его приоритетное значение неоспоримо. Автор подчеркивает, что этот вопрос нуждается еще в дальнейшем исследовании, но сам явно склоняется к последней точке зрения. *Андреев А.Ю.* Гумбольдтовская модель классического немецкого университета. С. 58.

¹⁶¹ Коллинз Р.Д. Указ. соч. С. 844.

¹⁶² Шнедельбах Г. Указ. соч.

¹⁶³ Цит. по: Александров Д. Указ. соч.

¹⁶⁴ См.: Андреев А.Ю. Российские университеты. ...

¹⁶⁵ Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии 1890–1933. М., 2008.

Довольно критично относится к модели университета Гумбольдта Б. Хеннингсен. Принципы «уединение» и «свобода», обеспечивающие непрерывное самовозрождение и непринудительное взаимодействие внутри высших научных учреждений, являются, по его мнению, «основополагающими принципами ученого в его профессии, но они не дотягивают до уровня его ответственности как гражданина. Для реализации этой ответственности он должен был бы выйти из своего одиночества и преодолеть частное»¹⁶⁶. Сегодня условия научной работы определяют, в представлении Хеннингсена, открытость и публичность. «Тем самым одиночество ученого стало моральной категорией, как научный принцип оно было с самого начала ошибочным»¹⁶⁷. Такой смелый вывод ученый сделал, рассмотрев перспективу развития гумбольдтовского университета в XX в., более того он пишет о фатальности немецкого понятия образования именно в силу его политических последствий¹⁶⁸. Наука стала социальным предприятием, что уже, по его мнению, также опровергает гумбольдтовский принцип «уединения».

В Германии утверждение модели гумбольдтовского университета, вобравшей в себя идеалы неогуманизма, проходило на фоне развития индустриализации, которая в конце XIX в. обрела стремительный импульс. Х.У. Велер назвал это «большой странностью эпохи»¹⁶⁹. И реформаторы образования, и капитаны индустрии ориентировались на такие либеральные ценности как свобода и конкуренция. В сфере университетского образования государство эти ценности гарантировало, помогало сохранить интеллектуальную идентичность. В свою очередь, реформаторы образования практически не нарушали status quo в высших слоях социума, т.е. были всегда лояльными государству. Немецкий классический университет не превратил науку в общественное дело и довел ее до приспособления к политическим целям.

Однако политика в Германии не стала частью проблемы гуманизма и это, как писал Томас Манн, привело «к диктатуре политического террора, к бесконтрольной власти грубой силы над рабами, к тотальному государству»¹⁷⁰. Гумбольдт видел назначение государства в обеспечении безопасности, необходимой для свободного развития личности. Понимание государства как гаранта духовного процветания личности всегда было источником его пиетета перед этим институтом. В его понимании го-

¹⁶⁶ Хеннингсен Б. Одиночество и свобода. Университет Гумбольдта и политика // Гумбольдтовские чтения. Материалы международной научной конференции. 24-25 сентября 2009 г. М., 2010. С. 19.

¹⁶⁷ Там же. С. 23.

¹⁶⁸ Там же. С. 26.

¹⁶⁹ Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815–1845/49... S. 511.

¹⁷⁰ Манн Т. Культаура и политика // Манн Т. Собр. соч. Т. 10. М., 1961. С. 295.

сударство – это и юридическая конструкция для ограничения всевластия, которая наполнена и нравственным содержанием, что являлось по Гумбольдту уже гарантией культурного развития, но политическая практика в итоге нарушила чистоту замысла ученого¹⁷¹.

Какие образовательные практики являются оптимальными для XXI века, в режиме преемственности или разрывов складываются сейчас их отношения с концепцией Гумбольдта, и как она была интерпретирована уже в XXI веке?

Современная эпоха – это эра глобализации, которая подвергла стандартизации все виды социальной практики. В свою очередь коллективные идентичности организуются в соответствии с логикой глобализации и дифференцируются по своим собственным кодам. В области высшего образования европейские страны приступили к реализации Болонского процесса, старт которому был дан в 1988 г., а его основные принципы и задачи сформулированы в Болонской декларации (1988 г.) и уточнены в Сорбонской декларации (1998 г.). Этот процесс характеризуется переходом на двухуровневую систему образования (бакалавр/магистр), предполагает усвоение обучающимися в рамках модульной системы определенного набора умений и навыков, необходимых как для профессиональной деятельности, так и для обретения новых знаний в междисциплинарном пространстве, что важно для конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Один из ключевых аспектов этой системы – академическая мобильность, которая позволяет студентам накапливать коммуникативный опыт, формирует новую форму идентичности, которую Ю. Хабермас назвал «культурным гражданством». Но как востребуется в данном контексте модель университета Гумбольдта?

Потенциал университетской системы Гумбольдта в рамках Болонского процесса может найти воплощение в магистерских программах, где сохраняется принцип единства «преподавания и исследования». Однако сегодня в Германии научные исследования активно ведутся в рамках научных, политических, общественных и др. фондов, и вполне корректно говорить об отделении преподавания от исследования. Все это в значительной степени конфликтует с идеалами Гумбольдта и оказывает негативное воздействие на качество высшего образования.

Спор о связи науки и преподавания в университетском пространстве пока грозит превратиться в риторический. Сторонники Болонских преобразований вопреки модели Гумбольдта ратуют за профессионализацию персонала: преподаватели и исследователи будут работать в од-

¹⁷¹ См. подробнее: *Ростиславлева Н.В.* Университет Гумбольдта и развитие либеральных традиций в Германии XIX в. // Гумбольдтовские чтения. Материалы международной научной конференции 24-25 сентября 2009 г. М., 2010. С. 28–31.

ном университете, но в разных институтах, что должно привести к улучшению качества как обучения, так и научных изысканий и позволит за качественные услуги взимать достойную плату. Но коммерциализация образования (соображения «позитивного баланса») поставит под удар в первую очередь гуманитарное знание, разрушит гумбольдтовские принципы свободы в преподавании и исследовании, а также их единство и сделает довольно проблематичным духовное развитие личности.

На научном поприще

Что лежало в основе научной деятельности братьев, можно ли, не смотря на столь различные сферы деятельности воспринимать их как нечто единое? В 1817 г. Вильгельм фон Гумбольдт в письме к жене Каролине писал: «Это полное чуда явление в моральном плане, что мои отец и мать имели только двух детей, которые могли жить в мыслях и духовной созерцательности вещей, а потом однажды во всем величайшем различии и противоречиях существовать как люди в различных мировых телах»¹⁷². Действительно, это различие ближе к чуду, которое граничит с тревогой, как двое из одной семьи смогли стать столь различными, но часто воспринимаются как единое целое. Например, как уже отмечалось, моментом их единства, лежащим на поверхности, стало восприятие братьев Гумбольдт в 1949 г., когда в ГДР их именем был назван университет, создателем которого был Вильгельм.

С 1820 г. Вильгельм фон Гумбольдт целиком посвятил себя науке. Берлинская Академия наук еще 10 лет назад избрала его своим членом. Он проявлял большой интерес к осмыслению исторического процесса и вполне возможно, уйдя в отставку, собирался посвятить себя философии истории. В 1814 г. В. фон Гумбольдт опубликовал статью «Размышления о всемирной истории»¹⁷³, а в 1818 г. – работу «Размышления о движущих причинах всемирной истории»¹⁷⁴. Признавая идею прогресса исторического развития и рассматривая вслед за Кантом и Гердером человечество как часть природы, он считал самым важным в понимании всемирной истории наблюдение за продвижением, преобразованием, а подчас и гибелью духа человечества. Ученый писал: «Однако природа и дух не пребывают в борьбе друг с другом: напротив, дух использует природу и ее созидательную силу», и поэтому задача историка – «изобразить стремление идеи обрести бытие в действительности»¹⁷⁵.

¹⁷² Brose-Müller J. Op.cit. S. 49.

¹⁷³ Гумбольдт В. фон. Размышления о всемирной истории // Язык и философия культуры / сост., общ. ред. и вступ. ст. А.В. Гулыги и Г.В. Рамишвили. М., 1985. С. 279–286.

¹⁷⁴ Гумбольдт В. фон. Размышления о движущих причинах всемирной истории // Язык и философия культуры. С. 287–292.

¹⁷⁵ Гумбольдт В. фон. Размышления о всемирной истории. С. 282, 290.

Александр фон Гумбольдт также не рассматривал мир как нечто неизменное: он изучал природные явления в их взаимодействии и эволюции. В конце жизни эти научно-философские взгляды нашли отражение в произведении «Космос», которое появилось в середине XIX в. Именно единый мир был для Александра предметом науки. Ярко это проявилось в одном из очерков «Картин природы», который назывался «Идеи к физиономике растений». В нем его видение мира как целого прилагается к исследованию конкретных научных проблем: растения рассматриваются как составные части ботанических ландшафтов¹⁷⁶.

Вильгельму фон Гумбольдту было присуще своеобразное восприятие истории. 12 апреля 1821 г. состоялось его выступление в Академии с докладом «О задаче историка», где он попытался рассмотреть познание истории в контексте антропологических, эстетических и лингвистических идей. В докладе он размышлял об извечно волновавшем историческое знание вопросе – как сделать историческое познание истинным. «В исторических фактах мы обретаем основу истории, ее материал, но не саму историю... Истинность всего происходившего требует добавления той недоступной взору части каждого факта... ее и должен привнести историк»¹⁷⁷, – писал В. фон Гумбольдт. Он полагал, что историк может работать как художник, обращаясь к фантазии, но, подчиняя ее опытным данным и согласовывая с законами духа идеи. Цель истории по Гумбольдту – «создать подлинную картину человеческих судеб в ее истине, живой полноте, чистоте, ясности, воспринятой духом...», но историческое познание должно также корреспондироваться с господствующей направленностью идей, устранять случайное, чтобы «сделать очевидной внутреннюю истину форм, затемненную в реальном явлении»¹⁷⁸. Э. Трельч рассматривал творчество В. фон Гумбольдта в контексте связи между историей и теорией ценностей и утверждал, что именно благодаря этическому осмыслению прошлого его имя было вписано в палитру историографических исследований¹⁷⁹. Понимание людей, человечность историка помогают ему достичь истины. В письме к Гете Гумбольдт объяснял истоки своего понимания истории как искусства: «Но меня занимает эта идея давно, и нет ли действительно чего-то общего в изображении человеческого облика и человеческих действий... Я не могу забыть слова Шиллера, они все время мне вспоминались во время этой работы. Он говорил о том, что его истори-

¹⁷⁶ См.: *Терра Де Г.* Александр фон Гумбольдт и его время. М., 1961.

¹⁷⁷ Гумбольдт В. фон. О задаче историка // *Язык и философия культуры*. С. 293.

¹⁷⁸ Там же. С. 294–296.

¹⁷⁹ Трельч Э. Историзм и его проблемы: логическая проблема философии истории. М., 1994. С. 174.

ческие работы находят слишком поэтическими и закончил: историк должен вести себя как поэт; если он владеет материалом, то он должен воссоздать его совершенно заново. Тогда это мне показалось парадоксальным, и я его не понял. Стараниям постепенно постичь его мысль обязан этот трактат своим появлением на свет»¹⁸⁰.

Произведение Александра фон Гумбольдта «Картины природы» называют книгой географической лирики, но автор рисовал картины безлюдной природы, единственным зрителем которой был он сам. Создав шедевры географического видения природы, поэтом он все же не стал¹⁸¹.

Вильгельм Гумбольдт, изучая историю и разрабатывая принципы ее познания, подчинил в итоге историю философии языка. Он писал: «Но существуют и такие идеальные формы, которые, не воплощаясь в человеческую индивидуальность, воздействуют на нее лишь косвенно. К ним относятся языки. Ибо хотя в каждом языке отражается дух нации, каждый из них имеет и более раннюю, независимую основу, а его собственная сущность и внутренняя связь настолько могущественны и определяющи, что его самостоятельность оказывает большее воздействие, чем испытывает таковое, и каждый имеющий значение язык выступает как своеобразная форма создания и сообщения идей». А поскольку вся история, по В. фон Гумбольдту, «является лишь осуществлением идеи»¹⁸², то роль языка в познании истории существенна¹⁸³. Именно в контексте языка им была поставлена проблема индивидуального и всеобщего в истории. Так, полагая, что человеческий род – это феномен природы, он видел индивидуализацию в генетической связи языка и народа.

Таким образом, вполне корректно сопоставить идею Александра фон Гумбольдта о влиянии среды на живой мир и мысль Вильгельма о воздействии языка на формирование культуры.

Лингвистика стала главным предметом исследовательской деятельности В. фон Гумбольдта. Ученый свободно владел многими языками и создал в конце 1820-х гг. важнейшие труды по теоретическому языкознанию¹⁸⁴. Он часто использовал материалы, собранные Александром.

После своего американского путешествия Александр фон Гумбольдт привез решения и попытки решения таких задач, в которых почти стирались границы отдельных дисциплин, например, задачи о

¹⁸⁰ Wilhelm von Humboldt, sein Leben und Wirken dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit / hrsg. von R. Freese. Darmstadt, 1953. S. 584.

¹⁸¹ Сафонов В.А. Указ. соч. С. 107.

¹⁸² Гумбольдт В. фон. О задаче историка. С. 305.

¹⁸³ См.: Шнет Г.Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М., 2009.

¹⁸⁴ Humboldt W. von. Sämtliche Werke. Schriften zur Sprachphilosophie / hrsg. von W. Stahl. Berlin, 1999. Bd. 4. 272 S.; Bd. 5. 287 S.

взаимном влиянии океанов и материков в распределении осадков, ветров, течений, температур; задачи о большей холодности и влажности климата Нового света по сравнению со Старым светом. В современных работах об А. фон Гумбольдте отмечается его вклад в развитие трансдисциплинарности¹⁸⁵. В. фон Гумбольдт стал также одним из первых мыслителей, искавших ответ на волнующие его и мир вопросы на стыке наук: политико-правовые идеи он связывал с антропологией, познание истории – с лингвистикой, и это уже был своеобразный вариант синтетического знания, объясняющего развитие.

Отношения между братьями на протяжении их жизни были непростыми. Александр иронизировал над стремлением Вильгельма сделать карьеру государственного чиновника. Когда 1814 г. В. фон Гумбольдт получил железный крест первого класса, Александр высказался в том роде, что ему больше бы подошел Южный крест. В период патриотического подъема 1815 г., когда Вильгельм был участником Венского конгресса, он назвал убеждения Александра мелкими, а в письме к жене Каролине жестко его критиковал¹⁸⁶, отмечая, что тот не понимает людей искусства. И как это ни парадоксально звучит, но, по мнению Вильгельма, Александр не понимает даже природы, в которой он ежедневно делает открытия. После 1818–1819 гг. наступает время смягчения в братских отношениях. Оба вновь в Берлине. Вильгельм в 1819 г. покинул государственную службу и занялся наукой. Как отмечал Манфред Гайер, чем более В. фон Гумбольдт занимался влиянием языков на культуру, тем слабее становились проявления его немецкости¹⁸⁷. Александра фон Гумбольдта сейчас называют представителем нового космополитизма, который нашел себе место в XIX в. – в период форсированного национализма¹⁸⁸.

После смерти жены Вильгельма Александр поддержал брата, в одном из писем он назвал того бесценным другом, а не братом. Исследователи рассматривают это как гораздо более высокую ступень их единения, чем прежде¹⁸⁹. После смерти Вильгельма Александр издал трехтомное собрание сочинений брата, написал предисловие к его исследованию о языке кави.

¹⁸⁵ См.: *Ette O.* Alexander von Humboldt und Globalisierung. Das Mobile des Wissens. Frankfurt am Main; Leipzig, 2009. S. 17.

¹⁸⁶ *Ibid.* S. 55.

¹⁸⁷ *Geier M.* Die Brüder Humboldt, eine Biographie. Hamburg; 1. Aufl. Reinbek bei Hamburg, 2009. S. 283.

¹⁸⁸ См. об этом подробнее: *Netze W.* Wissenschaftsverständnis und Weltbewußtsein // *Ette O.* Weltbewußtsein Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen Moderne. Göttingen, 2002. S. 65–67.

¹⁸⁹ *Brose-Müller J.* *Op. cit.* S. 57.

В последние годы жизни в творчестве Александра фон Гумбольдта проявляется ярко выраженный синтез знаний и стремление к популяризации науки. Научное популяризаторство было присуще и Вильгельму, видевшему в просвещении путь к свободе.

Братья проявили себя в разных дисциплинах, но вполне корректен тезис о сопоставимости их принципов научного познания и результатов научной деятельности. Они смело перешагивали границы дисциплин и, по сути, стояли у истоков междисциплинарной парадигмы, утверждали приоритет целого над частью и идею развития. Вильгельм и Александр фон Гумбольдт – центральные фигуры в научном знании XIX века и момент связи научных принципов Просвещения с междисциплинарными подходами Новейшего времени. Их актуальность в XXI в. определяется стремлением к интернационализации науки и образования.

ЧАСТЬ 3

ИДЕИ И ЛЮДИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ XVIII–XIX ВЕКОВ

3.1. РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА

Период слома культурной традиции, который Россия прошла в XVIII – начале XIX в. стал наиболее значимым периодом интеллектуальной предьстории современности. Эпоха Просвещения внесла в русскую культуру новую логику. Каким образом эта новая логика повлияла на мыслящего россиянина, как выстраивались новые формы интеллектуальной коммуникации, какими путями укоренялись новые европеизированные практики? На наш взгляд, необходимо осмысление того *разрыва*, который произошел при подвижках определенной части россиян к рационально-рефлексивному сознанию, а также тех механизмов, которые позволили смягчить потрясения и адаптировать новую культурную традицию. Изучение такого феномена, как российская интеллектуальная традиция раннего Нового времени, требует рассмотрения социокультурных предпосылок его появления.

В отличие от западноевропейской, отечественная культура являлась «периферийной» уже по своему генезису, т.е. не была прямо связана с наследием античных цивилизаций. Россия развивалась как традиционное общество со своими механизмами саморегуляции. Это предопределило и специфику развития интеллектуальной сферы. Крепкая фольклорная культурная традиция – в ее лоне еще долго продолжала оставаться большая часть населения аграрной страны. Период «осени средневековья», перехода к культуре Нового времени растянулся для россиян со второй половины XVI до начала XVIII в. Особенности этого процесса были, по большому счету, порождением специфики российской *цивилизации* – пограничной и аграрной по характеру.

Цивилизационная специфика Руси проявлялась в том, что именно крестьянская «матрица» представлений, связанная с условиями хозяйствования, лежала в основе менталитета преобладающей части населения. С другой стороны, при в целом низком уровне *книжной* образованности рядового населения, присутствовала значительная доля так называемой *устной грамотности*: определенный контингент «в массе своей не зная грамоты, но часто присутствуя на богослужениях, слыша церковное чтение и пение, внимая проповеди, участвуя в таинствах, был “на слух” хорошо образован богословски»¹. *Устная* культурная традиция подпи-

¹ Кириченко О.В. Введение // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX вв. М.: Наука, 2002. С. 3.

тивала сферу религиозных практик и господствовала в профанной сфере². И развитие книжности, письменной традиции вовсе не отменяло устную. Книга – рукописная и печатная – все более распространявшаяся в России, продвигала складывание новой интеллектуальной традиции, замешанной, впрочем, на старой. Система образования, генетически восходившая к традициям Киевской Руси и имевшая значительные отличия как от западноевропейской, так и от византийской образовательной системы, продолжала существовать, школа по-прежнему несла на себе печать традиционного общества.

Более решительный поворот русского общества в сторону европейской системы образования принес перелом в образовательной политике правительства в конце XVII в., обусловленный начавшимся переломом в общественном сознании в сторону культуры нового времени. Если ранее выезд за границу запрещался, то теперь туда посылали учиться не только добровольцев, но и в принудительном порядке. Следующим шагом правительства стало создание светских школ для формирования технических, военных и научных кадров. Однако даже в конце XVII века в школах учился ничтожнейший процент населения.

Слом традиции в петровское время и последующее развитие создадо уникальную коллизию, привнеся науку и образование как абсолютно новые дискурсивные практики. Институционализация науки привела к формированию весьма специфичной культурно-образовательной среды вокруг новых учебно-научных центров. Процесс этот проходил весьма сложно, с огромным эмоциональным напряжением, порождая разнообразные переходные формы (когда старое рядилось в новое, сохраняя при этом свою суть; и наоборот, когда новые явления адаптировались к действительности под личиной привычного).

Обычно указывают на верхушечный характер петровской модернизации (которая привела к культурному расколу общества, к возникновению двух часто противостоящих друг другу культур, из которых одна начала довольно динамично развиваться, а другая была фактически законсервирована). Однако реформы, осуществленные в России XVIII в., в той или иной степени затрагивали все население страны, определяли его жизнь и меняли ее. Если мы говорим об успехе реформ, то речь может идти об изменении ценностных ориентиров общества. И здесь российский интеллигент выступал в первых рядах.

² См.: Белова О.В., Петрухин В.Я. Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. М., 2008.

Современный уровень исследований требует приближенного рассмотрения этих особенностей адаптации европейских идей, повлиявших на интеллектуальную традицию, на русской почве.

Наука и просвещение. академические практики

XVIII век принес в Россию становление и развитие науки и просветительское движение – два процесса, развивавшиеся почти параллельно. Смерть Петра замедлила темпы развития новых процессов, но не могла их остановить. Представители российской власти продолжали открыто признавать ценность интеллектуальной деятельности. Знание оставалось предметом государственного контроля, оно оценивалось высоко на словах (как знание полезное, поставленное на службу государству и «общественному благу»). В случае с импортом европеизированного знания и образовательных идей Россия получила не «слепок» с чужеродной культуры: восприятие её как образца служило медленному, но неуклонному развитию такой модели научных и образовательных учреждений, которая могла бы прижиться именно в российских условиях.

Университетская и академическая наука в XVIII в. ещё не были ограничены, более того, под самим термином «наука» понималось и высшее образование, и, порой, просвещение в целом. Но именно с созданием Академии наук с её учебными заведениями в 1725 г. в Петербурге началось знакомство с практиками, связанными с научной сферой и просветительством. Иностранные книги и учебники, карты, «камеры обскуры и прочие оптические машины», «рисовальные книги», «иллюминированные купферштрихи», математические инструменты – эти атрибуты науки, несшие на себе культурный код новой традиции, наполнили академические учреждения и университеты. В эти процессы трансфера науки были вовлечены представители разных сословий России и интеллектуальной элиты Запада (в лице академических учёных и первых профессоров).

Образовательные и научные миграции уже были распространённым в Европе явлением. Как известно, Петр I лично организовывал приглашение иностранных ученых и, не скупясь, осуществлял закупку коллекций и приборов. Для многих ученых, строивших свою индивидуальную карьеру, оказывались привлекательными открывающиеся в России перспективы: обширное поле деятельности, отсутствие конкурентов, достаточно щедрое вознаграждение³.

³ Имея в виду достаточно благоприятные условия для занятия наукой в России, великий математик Эйлер писал о себе и других членах Академии наук: «Тем, чем мы являемся, все мы обязаны благоприятным обстоятельствам, в которых мы там находились. Что касается меня лично, то при отсутствии столь превосходного случая я бы вынужден был заняться другой наукой, в которой, судя по всем признакам, мне предстояло бы стать лишь кропателем». Цит. по: История Академии наук СССР. Т. I. М.; Л., 1918. С. 71.

Проблема ученых чинов впервые возникла в 1720-е гг. именно с приездом в Академию наук первых членов – профессоров немецких университетов, привыкших у себя на родине к достаточно высокому статусу в обществе. Еще более актуальной эта проблема стала в середине XVIII в. в связи с выходом на смену немцам поколения отечественных ученых, одним из которых и был Ломоносов, и которым также приходилось бороться за достойное место в обществе, встраивание академического человека в государственную систему Российской империи, соединения государственной службы и членства в университетской корпорации, получение ученых степеней. Эта задача оставалась насущной в течение всей второй половины XVIII в., что демонстрировали создававшиеся тогда в России университетские проекты, и была решена только в ходе университетских реформ начала XIX в.

Немцы составляли значительную часть приезжих специалистов (немецкая образовательная модель и особенности взаимоотношений науки и государства, очевидно, стояли ближе к русским социальным реалиям, нежели, например, французские). Многие из приехавших иностранных профессоров (и немцев в том числе) внесли весьма значительный вклад в русскую культуру и науку, связывая со своей деятельностью в России долговременные планы⁴. Кажется, справедливо замечание о том, что «чувство национальной принадлежности в современном понимании тогда еще не существовало. Работали... и чувствовали себя обязанными той стране, где имелась соответствующая возможность для применения своих знаний»⁵. Иностранцы чувствовали себя носителями академической традиции. Разыгрывая, видимо, этот символический капитал, некоторые из них были весьма настойчивы, и, возможно, не совсем понимали реалии московской ситуации. Социальная же ситуация, складывающаяся с набором студентов, а затем и с выпускниками университета, была достаточно сложной.

Формирование российского интеллектуала шло в условиях ускоренной модернизации, не позволявшей естественным образом «вырастить» соответствующие кадры. Занятие наукой (даже не профессиональное) представляло собой совершенно новый для россиян тип деятельности, требующий овладения определенными практиками⁶. Это

⁴ Всего за XVIII–XIX вв. среди академиков Императорской Академии наук было более 100 выходцев из немецких государств // Академия наук СССР. 250 лет. 1724–1974. Кн. 1. 1724–1917. М., 1974.

⁵ *Грау, Конрад*. Немецкие ученые в России в первой половине XVIII в. // Русские и немцы в XVIII веке: встреча культур. М., 2000. С. 94.

⁶ Подробнее см.: *Кулакова И.П.* Г.Ф. Миллер – агент европейского культурного влияния в России // Г.Ф. Миллер и русская культура / Отв. ред. Д. Дальманн и Г. Смагина. СПб., 2007.

науки требовал, с одной стороны, самодостаточности человека с определенной внутренней свободой и авторским самосознанием (этими чертами обладали некоторые представители «просвещенной» дворянской элиты), а с другой – начитанности и академических навыков (таких как кропотливый поиск, рутинный каждодневный труд, точный эксперимент, научная эрудиция, верификация научных фактов, научное аргументирование и пр.). При овладении наукой на первом этапе становления университета возникали трудности, которые и придавали такую специфику различным ипостасям российского интеллектуала.

Приведем пример только из одной области. Одним из видов академических практик, необходимых в преподавании, было владение латынью. Для России это была не новость (еще в XVII в. латынь преподавалась в Славяно-греко-латинской академии). Университет «отбирал» у духовной школы самые ценные, владеющие латынью кадры⁷. «Поповские дети», пришедшие в Московский университет после духовных училищ и семинарий, и составили тот контингент, который в той или иной степени владел латынью (но не факт, что лексика духовных училищ совпадала с лексикой университетских лекций иностранных профессоров). Для дворянских же недорослей – студентов и гимназистов – латынь была мукой, так как не входила в круг дворянского светского образования.

Преподаватели, стремящиеся удержать в классах гимназистов первого призыва, искали выход, и одним из них был ученик Ломоносова Николай Поповский (по окончании курса при Академии Наук он был некоторое время конректором Академической Гимназии). На заседании Конференции профессоров 1758 г. «Поповский предложил, чтоб философия читалась по-русски для нескольких учеников, ездивших в Петербург, и для некоторых других, из коих одни вообще не желают учиться латыни, а другие уже слишком великовозрастны, чтоб быть в состоянии окончить латинский язык к 20 годам; кроме того, они уже сделали успехи в других предметах, которые должны будут оставить из-за латинского языка. Но, чтоб дать им все-таки понятие о философии, г. Яремский может им ее читать 4 часа в неделю по-русски»⁸. Эта запись в протоколе обычно трактовалась как «горячая борьба, которую Поповский вел в Московском Университете с иностранными профессорами» (или даже «борьба Ломоносова с засорением русского языка иностранщиной»). На деле несогласие Поповского и профессоров-иностранцев было обусловлено не столько ситуацией с чтением курса на русском, сколько отлыни-

⁷ Шульгин В.С. Церковь // Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 1. С. 387–388.

⁸ Протокол Конференции № 116. 19 сентября 1758 года // Документы. Т. 1. М., 1960. С. 135.

ванием от изучения латыни учениками гимназий. Вот аргументация профессоров-иностранцев⁹, с которой трудно не согласиться: «Остальные гг. профессора, хотя и считают тоже, что это было бы полезно для небольшого числа таких учеников, опасаются, как бы легкость слушания философических лекций на русском языке не привлекла всех других учеников и не отвратила бы их от занятий латинским языком, который есть главная цель учреждения университета и основание всех наук, и к которому большинство отнюдь не имеет склонности». Русскоязычные лекции несомненно позволяли расширить контингент слушателей – «чтобы каждый, российский язык разумеющий, мог удобно ею пользоваться»¹⁰. Однако, студент университета – это не «каждый», знание латыни было обязательным условием выведения образовательного уровня на уровень европейский. Приглашенные для чтения лекций профессора готовили свои курсы на латыни: знание студентами языка казалось, видимо, путем устранения преград перед молодой российской наукой.

Престиж латинского языка как учебного предмета в университетах был высок (публичные речи, диспуты, оды и стихи произносились в публичных собраниях на латыни)¹¹. В медицине и в юриспруденции обойтись без нее было невозможно. Более того, сам процесс изучения латыни в рамках российских учебных заведений был процессом «строительства» науки, расширения культурного пространства. Ломоносов блестяще владел латынью; большинство работ ученый писал по-латыни, на ней он также вел переписку с коллегами из других стран. (Но при этом он добивался переводов на русский язык многих учебных пособий)¹².

Со временем культурная ситуация в университете изменилась, и латынь стала для «разночинского интеллигента» своеобразным паролем (таким же как французский язык – для дворянства)¹³. Д.Н. Свербеев, в воспоминаниях, относящихся уже к началу XIX в., говорит о разнородном кружке любителей «древней словесности», собиравшемся вокруг

⁹ Присутствовали профессора Дильтей, Фромман, Шаден, Керштген.

¹⁰ Из речи Н.Н. Поповского по философии, прочтенной им в качестве первой лекции 1755 г., опубликованной затем Ломоносовым (Ежемесячные сочинения, август 1755. С. 167–176).

¹¹ В своей диссертации Ю.К. Воробьев подробно рассмотрел место латинского языка в общественно-речевой практике XVIII века: *Воробьев Ю.К.* Латинский язык и отражение греко-римской мифологии в русской культуре XVIII века. Автореф. дисс ... доктора культурол. наук. Москва, 2000.

¹² Переведенная им с латинского языка «Волфианская экспериментальная физика» 1746 г. была первым учебником физики для высших школ на русском языке.

¹³ Например, Надеждин специально уснащал свои статьи цитатами на античных языках, чтобы «изъять литературную критику из сферы дворянского дилетантизма». *Лотман Ю.М.* Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 131.

профессора Р.Ф. Тимковского – он «был нежен к тем немногим из своих студентов, которые охотно занимались его предметом». Кружок был невелик: «человек пять из старших гимназистов и семинаристов с основательным познанием латыни» («а между молодыми – я из первых», добавляет дворянин Свербеев¹⁴). Уже к 1820-м гг. владение латынью стало восприниматься как свидетельство «серьезного» образования.

Практика переводов с европейских языков была более доступна как раз учащимся из дворян. Традиция привлекать студентов к переводческой деятельности вела свое начало от журнала «Праздное время, в пользу употребленное». Это издание, выпускалось в конце 1750-х годов в С.-Петербурге добровольцами из числа воспитанников Шляхетского корпуса. Любопытно, что среди них был как раз М.М. Херасков. В. Каллаш писал о «Праздном времени»: «Эта первая попытка *частной* издательской инициативы вышла из литературного кружка кадет... Толчок, вероятно, был дан журналом Миллера, но молодые редакторы значительно отклонились от своего первоначального образца: журнал был литературным по преимуществу»¹⁵. В Московском же университете (усилиями прежде всего М. Хераскова) одновременно решались задачи и организации практики переводов, и издания популярной переводной литературы. Идея издания, в основе которого лежали бы студенческие переводы, была в 1762 г. подхвачена профессором Рейхелем, но закончилась неудачно: Рейхель не смог сладить с молодыми переводчиками, проявившими независимость во вкусах¹⁶.

Просвещение внесло в дворянский быт культуру интенсивного чтения, с расширяющимся репертуаром, чтения «про себя», связанного с уединением (хотя в дворянских семьях вплоть до конца XIX в. сохраняется практика чтения вслух). Княгиня Дашкова, всегда подчеркивавшая свою начитанность, писала: «...Книги сделались предметом моей страсти... с этой поры я стала чувствовать, что время, проведенное в уединении, не всегда тяготит нас»¹⁷. Важное наблюдение сделал К. Штеттке: «Переводный роман создавал культ уединенного чтения, в рамках которого отдельный читатель субъективно мог воспринимать содержание прочитанного. Книга карманного формата, читаемая на одинокой прогулке, стала модным атрибутом молодого дворянина...»¹⁸. Кажется, об

¹⁴ *Свербеев Д.Н.* Из воспоминаний // Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1917). М., 1989. С. 67.

¹⁵ *Каллаш В.* Очерки по истории русской журналистики // Русская мысль. 1903. Кн. 1. С. 100–101.

¹⁶ Документы. Т. 1. С. 225, 328–329.

¹⁷ *Дашкова Е.Р.* Записки. М., 1990. С. 8.

¹⁸ *Штеттке, Клаус.* Субъективность как фикция. Проблема авторского дискурса в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина // Логос. 2001. № 3.

этом процессе Н.М. Карамзин писал так: «Я ...принялся за чтение и почувствовал в душе своей сладостную тишину»¹⁹.

К концу XVIII в. чтение стало важной составляющей повседневности россиян и одним из главных путей распространения новых идей и навыков. Переводческая деятельность постепенно обеспечила введение в оборот основополагающих и новейших научных трудов. Первые книжные собрания российского дворянства были его походной ношей. А.Т. Болотов рассказывает о «протобиблиотеке» 1740-х гг. – книгах, хранившихся у отца в особом ящике: «...У нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний... Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для чтения... Я узнал, что у родителя моего был целый ящик с книгами; я добрался до оно-го, как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел и в них для себя годных, кроме двух... Не могу, однако, довольно изобразить, сколько сии немногие книги принесли мне пользы и удовольствия... Как однажды я...читал, то вздумалось родителю моему... спросить меня, что я делаю. «Читаю, батюшка, книгу» (далее – предположил, что рано, но, «узнав, что не в первый раз, похвалил»)»²⁰. Разумеется, чтение как практика довольно медленно распространялось даже в средних слоях дворянства. Тот же Болотов вспоминал о своей молодости, пришедшейся на середину XVIII в.: про него «пустили разговор», что он колдун (невеста отказала ему именно потому, что он читал много книг)²¹. Пример «читателя» из другого слоя: екатерининского вельможи И.Н. Римского-Корсакова при заказе книг для его библиотеки книгопродавец спросил, какая область знания его интересует. «Об этом я не забочусь, это ваше дело, важно, чтобы внизу стояли книги большие, а наверху поменьше, точно так, как у императрицы», – ответил «книголюб»²².

Накопление и использование книжных «богатств» шло в замкнутых самодостаточных пространствах усадеб, в рамках больших патриархальных помещичьих семей (образ жизни в которых все более отли-

Первой (светской) российской мини-книгой называют «Искусство быть забавным в беседах» 1788 года издания // Ваганов А. Эволюция покетбука // Русский журнал. 6.06.2008 (http://www.russ.ru/teksty/evolyuciya_poketbuka#2).

¹⁹ Переписка Карамзина с Лафатером // Записки Имп. Академии наук. Т. 73. № 1. Прил. СПб., 1893. С. 6.

²⁰ Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737–1796. Т. 1. Тула, 1988. С. 55–56.

²¹ Цит по: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре (Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX в. СПб., 1994. С. 76.

²² Романюк С.К. По землям московских сел и слобод. Ч. 1. М., 1999. С. 96.

чался от образа жизни пространства окружающего, основной массы населения, продолжающей жить в соответствии с патриархальным культурным укладом). Новую возможность для самообразования в рамках семейного чтения дали появившиеся в 1780-х гг. новиковские еженедельные «Прибавления» к газете «Московские ведомости». В их числе был первый в России (во многом непревзойденный и в дальнейшем) детский журнал энциклопедического характера «Детское чтение для сердца и разума». Родовые усадебные библиотеки, складывавшиеся в дворянских имениях в течение второй половины XVIII в., стали тем ресурсом, который использовался в образовании дворянских детей (причем как мальчиков, так и девочек) – ведь семья продолжала оставаться основным каналом трансляции социально значимого опыта.

Можно даже говорить о так называемой «читательской революции» XVIII века, знаменовавшейся переходом от интенсивного чтения к экстенсивному (когда «бросились читать»), но это было только подходом к «литературоцентричности» русского общества XIX века.

Практика *коллекционирования* – особый вид «просвещенной» деятельности. Целая пропасть разделяет Оружейную палату (возникшую как хранилище реликвий в XVI в.) и Кунсткамеру. Первый кабинет редкостей, она, как известно, был детищем царя Петра. Лейбниц составил для императора записку «о музее и относящихся сюда кабинетах и кунсткамерах». Давая советы Петру по организации Академии наук, он рекомендовал для начала озаботиться организацией библиотеки и кабинета редкостей – «чтоб они служили не только предметом общего любопытства, но и средствами для усовершенствования художеств и наук». Результаты усилий Петра и его команды были воплощены в проекте учреждения Академии наук с ее учреждениями²³.

Кунсткамера действительно стала предметом общего любопытства, но не скоро, лишь примерно с 1740-х гг. российское дворянство начинает проявлять стойкий интерес к созданию *собственных* «кабинетов редкостей». В первых рядах выступало столичное дворянство (и такие «маргиналы», как Демидовы). Частные коллекции были для российских вельмож того времени не только статусным развлечением, но и родом патриотической деятельности (ввезти раритеты в страну значит продвинуть ее по стезе Просвещения). Заводились натуральные и минералогические кабинеты, полные диковинок, чудесных автоматов и устройств (редко – частные кабинеты-лаборатории, которыми «угощали» гостей). Главенствовала функция коллекций и кабинетов – «изумлять», «увесе-

²³ Шербулин А.Н. Основание Академии наук // Новое литературное обозрение. 2002. № 54.

лять», развлекать. Но при этом коллекционирование – что важно для России – представляло значимый процесс формирования идентичности *западного* типа. Собирая вещи вокруг себя в соответствии со своим вкусом, хозяин коллекции делал попытку создать собственный «мир». Это – одна из важных форм организации познавательной деятельности, связанных с формированием знания нового типа – создание собственного «мира» с помощью собирания вещей в соответствии со своим вкусом.

Российская традиция дворянского коллекционирования проходит через весь XVIII век. Ее увенчивает знаковое событие – передача в 1831 г. С.П. Румянцевым в общественное пользование музейного собрания, которому этот выдающийся интеллигент посвятил всю жизнь. По его настоянию в Положение о музее был включен пункт о том, что музей, являясь учреждением публичным, будет открыт для желающих осматривать редкости раз в неделю по понедельникам²⁴. Этот гражданский поступок русского аристократа заложил основы музейной благотворительности, которая разовьется только во второй половине XIX в.

Выявление интеллектуальных практик нового типа, укореняющихся в российской повседневности, можно продолжить: помимо чтения это спектр письменных практик – дневники и мемуары, переписка, сочинительство; кроме того – собирание книг, создание библиотек и пр. Однако в массе своей жизнь рядового помещика второй половины XVIII в. характеризовалась противоборством старого и нового укладов, причем инновации касались преимущественно внешних сторон бытовой жизни, в то время как семейные отношения, занятия, менталитет провинциалов определяли, в основном, древнерусские традиции и реалии крепостной России. В целом можно сказать, что стремление к чтению и образованию, к новым методам хозяйствования, к интеллектуальному общению провинцией не были восприняты повсеместно²⁵. Правдив, значит, обобщенный портрет старшего поколения, который дает А.С. Пушкин в «Истории села Горюхина» в рассказе о ситуации перед 1812 г., когда он был ребенком: «Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем дому, кроме Азбуки... календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось». Главным центром, куда стекались инновации Просвещения, оставался Петербург.

²⁴ Бекасова А.В. «Храм общественных муз»: петербургский период в истории Румянцевского музея (1827–1861) // *Философский век. Альманах*. Вып. 6. Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. СПб., 1998.

²⁵ Шлужкина Н.А. Быт провинциального дворянства во второй половине XVIII столетия. Автореф. дисс... к.и.н. М., 2001.

Интеллектуалы при дворе

После основания Академии Наук приехавшие в Петербург иностранные ученые должны были адаптироваться к ситуации в этой новой имперской столице, где общество только начинало проникаться просветительскими идеями, а вся жизнь сосредоточилась вокруг двора (достаточно сказать, что стоило двору отбыть в Москву, Академия наук также пустела). После смерти Петра и недолгое время после этого, при Екатерине I Академия Наук попадает в кризисную ситуацию, испытывая постоянную нужду в деньгах, сотрясаемая борьбой интересов и амбиций различных группировок. Дело осложнялось интригами «партий» академической бюрократии, в которые вовлекались и ученые.

И, тем не менее, для этого периода придворная среда в России – это пространство «интеллектуального внимания» (Р. Коллинз), в котором находилось место и для средневековых по типологии развлечений, и для инноваций академической элиты. Именно придворная среда выступала в роли главного потребителя науки и культуры. Здесь, при дворе, вполне признавались медицина, артиллерийское, пробирное и горное дело; ценилось искусство химиков в устройстве фейерверков и т.п.

Но дело было не только в придворной среде: на избираемой учеными проблематике, на формах репрезентации науки сказывалась специфика времени. Наряду с «превеликою пользою» любознательность не только преподносилась, но и мыслилась как особого рода наслаждение (как говорили в XVIII в. – *увеселение*). Интерес к предметам «из ряда вон выходящим» стоял наряду с любовью к парадным портретам и аллегорической живописи. «В «монстрах» и «раритетах», «инсектах» и минералах Кунсткамеры познавательный и художественный моменты были сплавлены воедино. Европейская наука особым образом являлась через искусство: квинтэссенцией культуры барокко, стал, например, огромный Готторпский глобус – модель всего изученного человеком мира и артефакт своего времени; доставленный в С.-Петербург еще при Петре, он служил в основном представительским целям.

В Академию наук, попавшую в сферу двора, не могли не перекочевать распространенные при дворе модели поведения: патронат, участие в борьбе русской и немецкой партий, в соперничестве немецких придворных группировок, уловки придворных «льстецов». Обращение же к покровительству вельмож и поощрению монарха, участие в придворных действиях и интригах выступали как необходимая часть поведения членов Академии. Здесь реализовалась решающая роль личных контактов и «сетевой близости» с могущественными покровителями.

Влиятельные покровители были совершенно необходимы для тех, кто строил академическую карьеру. Того же Г.Ф. Миллера упрекали

впоследствии в составлении «родословных таблиц в угождение приватным знатым особам» для приобретения «при дворе приятелей»²⁶. Интерес к генеалогическому поиску, однако, был присущ Миллеру как историку («История и родословная наука так между собой связаны, что одна без другой быть не может»²⁷, и он систематически собирал данные по генеалогии не только придворных, но и русских князей, царей и императоров). Аналогичным образом М.В. Ломоносова укоряли в создании «льстивых» од. Но бесспорно «при русском дворе цениться могли лишь один вид литературы – панегирический»²⁸.

Следует обратить внимание на то, что «придворный» просветительский пафос Ломоносова был всегда направлен на пропаганду науки как *дела государственной важности*. Специфика форм этой пропаганды определялась спецификой времени. Восхищение возможностями науки у Ломоносова отражали установки европейского рационального сознания (они были заложены культурой античности, став платформой перехода к рационально-рефлексивному сознанию европейца). Отношение «просвещенного» аристократа (не только российского) к науке строилось в совсем иной логике. Она утверждалась в глазах представителей властных структур в качестве специфического занятия – искусства особого рода. Роскошь изящно оформленных коллекций минералов, гемм и диаломов, устройство и оформление дворцов: все это не было простой прихотью избранных, но отражало тенденции к *универсальному постижению мира* и одновременно – *способ репрезентации* науки того времени.

В отличие от передовых стран Европы не востребовавшая наука в *прикладном* смысле в России была следствием слабой её связи с жизненными нуждами: ещё не сложилось массовых производств, а значит – не было необходимости в технике, точных измерениях, стандартах (что было связано как раз с неразвитостью рационального сознания). Все это отражалось на отношении общества к науке, тем более теоретическим её основам. Поэтому так важно было разъяснять полезность науки и «новых технологий» в принципе, преподавая их на языке политической элиты, т.е. тех, от кого зависела судьба науки. Наука мыслилась как полезный инструмент абсолютной власти. Такая важная научная отрасль, как картографирование, например, связывалась напрямую с ведением войн и рассматривалась как секретная сфера государственных интересов. Задача, поставленная Петром, и позднее сохраняла свое значение: с помощью

²⁶ Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1870. Т. 1. С. 311–312, 351–352.

²⁷ Там же. С. 351–352.

²⁸ Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Третьяковский, Ломоносов, Сумароков // НЛЮ. 2000. № 5.

геодезических измерений и картографирования зафиксировать (и поставить под контроль власти) границы; представить обзор территории России, населяющих ее народов и природных богатств.

Другой важнейшей с точки зрения интересов государства была наука история. Известное обращение Миллера к варяжской проблеме в начале 1730-х гг., несомненно, было следствием его желания разрешить актуальную для государства проблему (именно политическое сближение России и Германии привело к актуализации проблемы происхождения российской правящей династии)²⁹.

В Европе на протяжении XVIII в. были очень популярны публичные демонстрации опытов и приборов. Этим занимались и люди, имевшие академический статус, нижние же слои публики обслуживали бродячие «демонстраторы» оптических устройств и механизмов – действовавшие подобно странствующим актерам и музыкантам³⁰. Для прямой пропаганды естественных наук при дворах применялся эксперимент с использованием специальных приборов, демонстрирующих феномен электрической силы, гальванизма, азростатические опыты³¹. Демонстрации шли перед небольшим кругом «посвященных» представителей знати, и в этом также проявлялась специфическая роль просвещённого аристократа в истории науки XVIII в.

Ломоносов воспринимался современниками прежде всего как придворный одический поэт, и именно эта деятельность принесла ему милость двора. «Лесть» в системе придворных отношений XVIII века была нормой литературной практики. Главной фигурой, разумеется, была фигура суверена. Ломоносов жил при восьми царствованиях, каждое из которых в соответствии с этикетом он прославлял в своих барочных одах, прибегая к сложной системе символов, образов и мифов, уподобляя «золотому веку», времени процветания и истины³².

С выделением государственной службы в качестве особой сферы профессиональной деятельности помимо понятных категорий службы придворной, военной и статской появились новые – службы *литературная и академическая*. Статусы и профессионального литератора, и

²⁹ Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? Генеалогическая реконструкция по немецким источникам. М., 2005. С. 43–84.

³⁰ Stafford B.M. Artful science: Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual Education. L., 1994.

³¹ Пестр Д. Социокультурная и антропологическая история науки: новые определения, новые объекты, новые практики // ВИЕТ. 1996, № 3–4. С. 41; Филонович С.Р. Эксперимент и его роль в становлении классической физики. Автореферат дисс... д. ф.-м. н. М., 1996. С. 26–31; Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе moderna. СПб., 2001. С. 99–102.

³² Проскурина В. Миф об Астрее и русский престол // НЛЮ. 2003. № 63.

ученого остро нуждались в адаптации. В России того времени «сколь бы образован ни был человек, он остается слугой системы, можно даже сказать – ее собственностью. Его образование и ум принадлежат государству, и высокопоставленный государственный чиновник может распоряжаться ими по своему усмотрению»³³. При этом оказывается необходимой фигура организатора и одновременно *интерпретатора* науки для придворной среды (типа, например, печально знаменитого директора академической Канцелярии И.-Д.Шумахера).

Именно в 1740-х гг. создается контекст, в котором интеллектуальная (научная) деятельность вошла в культурную практику общества – при дворе. При узости читательской аудитории в целом здесь можно было найти дворян-ценителей, которые помогали бы «конвертировать» творчество в социальный успех, дискредитировать недругов. Именно в этой сфере искал свое место Ломоносов, и это требовало особой стратегии, такта и умения не «уронить себя». Формами научной публикации при дворе для Ломоносова были «Слова» и «Рассуждения» о пользе того или иного предмета, послания вельможам, в которых формулировались научные задачи и рекомендации в сфере культурной политики.

Разносторонний талант Ломоносова позволял ему проявлять себя при дворе в самых разнообразных «прикладных» сферах, предоставляющих специфические способы репрезентации научного знания («одами, речью, химиею, физикою, историею делаю честь отечеству»³⁴). Химические составы, которые готовил Ломоносов, использовались в фейерверках (он сам и «режиссировал» огненные потехи с их богатой символикой, являвшиеся особой формой «политической рекламы»).

Развитие географии также имело для власти и прикладной, и символический смысл: картографирование, связанное поначалу лишь с ведением войн, начинает рассматриваться как политический инструмент абсолютной власти³⁵. Важнейшей из решаемых астрономией задач было проведение наблюдений и измерений владений для составления новых карт и, в первую очередь, Атласа Российской империи. В системе придворной культуры эта репрезентация власти воплощалась еще и в другой форме: в 1763 г. Тауберт и Ломоносов готовили для Академической канцелярии вопрос об изготовлении «географических обоев» – Екатерина II «всевысочайше повелеть соизволила в Летнем ее величества доме и од-

³³ Гутнер Г. Просвещение как социальный проект // Неприкосновенный запас. 2002. № 5 (25). С. 10.

³⁴ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. М.; Л., 1952. № 72. С. 548.

³⁵ См., напр.: Шоу Д. Географическая практика и ее значение в эпоху реформ Петра Великого // ВИЕТ. 1999. № 3. С. 13–17.

ном покое вместо обоев по белой тафте написать ландкартами Российской империи с прочими к тому пристойностями искусной работы»³⁶.

Астрономы развлекали самодержцев «обсервациями». Увлечение астрономией было проявлением этикетного поведения «просвещенного правителя», для которого она была важна как «философская» наука. Астрономия стала довольно модной наукой при дворе еще при Петре I³⁷. Император любил наблюдать в телескоп и поощрял склонность к наблюдению в других (цена просветительский смысл астрономии – возможность предсказывать солнечные затмения, изымая их таким образом из круга мистических явлений). Петр прямо предписывал адмиралу Ф. Головнину о затмении 1705 г.: «Изволь сие поразгласить в наших людях, что когда оное будет, дабы за чудо не поставили. Понеже когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо»³⁸. Для Анны Иоанновны демонстрации колец Сатурна проводил Ж.Н. Делиль, и она приказала, чтоб «как физические так и астрономические инструменты для продолжения таких обсерваций при дворе... оставлены были»³⁹. При Елизавете после Делиля дело продолжали С.Я. Румовский и М.В. Ломоносов.

Астрономия была личным увлечением помора, в его одах 1740-х годов – масса астрономических образов. Но, используя для пропаганды наук любимые восемнадцатым веком театральные формы, Ломоносов пытался решить гораздо более сложную задачу – «легитимировать» в придворных кругах идею «множественности миров» (хотя пропаганда гелиоцентризма и осуждалась церковью). В 1757 г. в рамках задуманных великой княгиней (будущей императрицей) Екатериной увеселений Ломоносов затеял аллегорическое действо – постановку драматической кантаты «Пророчествующая Урания». В основу композиции была положена книга Х. Гюйгенса «Космотеорос»: с помощью особой машины «являлась муза Урания, сидящая на множестве блистающих сфер и глобусов»⁴⁰.

³⁶ Тауберт И., Ломоносов М.В. Определение Канцелярии АН об изготовлении ландкарт для обоев в Летнем дворце и о проектах пьедестала для конной статуи Петра I. 1763 августа 11 // *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 9. М.; Л., 1955. С. 292.

³⁷ Ченакал В.Л. Очерки по истории русской астрономии. Наблюдательная астрономия в России XVII и начала XVIII в. М., Л., 1951.

³⁸ Кузаков В.К. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X–XVII вв. М., 1976. С. 89.

³⁹ Пекарский П. История императорской Академии наук. Т. 1. С. 130.

⁴⁰ Солоухина М.И. Творческое общение Великой Княгини и Императрицы Екатерины Алексеевны с М.В. Ломоносовым // Междунар. конференция Екатерина Великая: эпоха российской истории в память 200-летия со дня смерти Екатерины II (1729–1796) к 275-летию Академии наук. Санкт-Петербург, 26–29 августа 1996 г. СПб., 1996.

Успешность

Свобода профессионального выбора в интеллектуальной сфере было относительной. Рассмотрим, например, жизненные стратегии Василия Адодунова, который в ряду дворян-ученых выглядит как исключение.

Василий Евдокимович Адодунов (1709–1780), по происхождению из новгородских помещиков старинного (но небогатого) рода. Он начал учиться в Новгородской школе, еще в 1706 г. основанной переехавшими туда из Москвы братьями Лихудами. Эта школа при Архиерейском доме (как для духовных, так и для светских лиц) имела достаточно высокий уровень гуманитарной подготовки, став переводческим и книгопечатным центром, оплотом эллино-греческого учения (с 1721 г. там, однако, преподавался и латинский язык). Упор здесь делался на грамматике: из новгородской школы традиционно выходили «грамматисты», которые получали исключительное право «учить учиться хотящих»⁴¹. Недаром Адодунов впоследствии активно занимался кодификацией русской речи.

В 1723 г. Адодунов перешел в Славяно-греко-латинскую академию, и уже оттуда в Академию наук: в 17 лет он принят в гимназию при АН⁴², на следующий год он уже в списках обучающихся физике и математике, затем – студент Академического университета. В 1728 г. определен «к переводным делам» в Канцелярию АН⁴³, а с 1831 г. получил должность переводчика Академии наук. Как видим, Адодунов разносторонне одарен: помимо языков проявлял интерес к высшей математике, еще обучаясь под руководством Д. Бернулли; последний, как, впрочем, и Миллер, считал его лучшим учеником. Однако он так легко меняет занятия и дисциплины, что за этим видится желание приспособиться к ситуации.

Наследственного состояния у Адодунова, видимо, не было, и профессиональная карьера была необходима. Но почему-то, будучи дворянином, он все же предпочел карьеру академическую обычной военной карьере. В.М. Живов пишет: «В 1720-е годы сословное сознание еще не было столь устоявшимся, и Адодунов мог рассчитывать с пользой употребить свою образованность. Для его службы в Академии дворянство никаких заметных преимуществ не давало, его карьера здесь мало чем отличается от карьеры других академических переводчиков». В конце концов Василий Евдокимович переходит в Герольдмейстерскую контору и постепенно оставляет литературные занятия, и здесь его карьера начинает приобретать типичные черты дворянского продвижения по службе. Выгодная женитьба (взял за женою 1500 душ)

⁴¹ Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культуры. XVII–XVIII вв. М., 1990. С. 235, 244, 245.

⁴² Материалы для истории имп. Академии наук. СПб., 1886. Т. 1. С. 218.

⁴³ Там же. С. 593.

упрочивает его положение, он служит помощником губернатора в Оренбурге (почетная ссылка), куратором Московского университета, президентом Мануфактур-коллегии, сенатором». Ход жизни Адодунова никак не напоминает тот тип, который реализуют литераторы-дворяне конца XVIII века (Державин, Дмитриев), не перестававшие писать до конца своих дней. Стереотип продолжает действовать, ведь наличие в истории русской литературы первой половины XVIII в. дворянских имен – Кантемира и Собакина, Татищева и Адодунова – вовсе не означало всеословности литературного труда в то время.

Другие жизненные стратегии демонстрирует М.В. Ломоносов.

Химия стекла и мозаичное дело стали к 1754 г. главными научными занятиями Ломоносова. По его словам, он желал возродить старинное искусство мозаики, разгадать технологию производства т.н. итальянской смальты, но также продвинуть и развить ее. В раскрытии свойств стекла и новых областей его применения он, как известно, усматривал новые возможности⁴⁴, – мы бы сейчас назвали это интересом к новым технологиям. Сенатский указ от 14.12.1752 позволял «Профессору Ломоносову завести фабрику для делания разноцветных стекол бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей, с привилегией на 30 лет»⁴⁵. Весной 1753 г. он получил землю с приписанными к ней 200 душами.

«Полезьа» была одним из базовых понятий культурной парадигмы XVIII века⁴⁶, и сам Ломоносов обосновывал смысл начинаемого им дела так – «к пользе и славе Российской империи», поскольку производство изделий из цветного стекла можно «со временем так размножить, что и за море оные отпускать можно будет»⁴⁷. Выступая «в защиту стекла», он приводит примеры его полезности из разных сфер применения, начиная с линз телескопов и микроскопов и заканчивая прикладной сферой. Ломоносов поставил вопрос о постройке именно *своей* фабрики. Этот прикладной «коммерческий» проект, на наш взгляд, с одной стороны, воплощал желание Ломоносова всюду искать новизну, целесообразность и государственную пользу, а с другой – стремление к финансовой самостоятельности и творческой независимости. По сути, он «возвращался» в третье сословие, но уже в новом качестве – как профессор и независимый исследователь. Лишь к 1757 г. ученый, наконец, обретает условия для нормальной жизни и творчества – строит дом в Петербурге, где обу-

⁴⁴ «Письмо о пользе стекла», написанное в жанре европейской дидактической поэзии, являясь, по сути, энциклопедическим трудом, репрезентовало технические, естествоведческие и философские проблемы. *Абрамзон Т.Е.* «Письмо о пользе стекла» М.В. Ломоносова. Опыт комментария просветительской энциклопедии. М., 2010.

⁴⁵ Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 13. С. 751.

⁴⁶ Подробнее см.: *Абрамзон Т.Е.* Указ. соч. С. 31–35.

⁴⁷ Полное собрание законов Российской империи. Т. 13. С. 751.

страивает лабораторию и рабочий кабинет. Казус Ломоносова демонстрирует усложнение представлений о высшем содержании государственной службы, олицетворяя появление в России феномена «частного человека» из нового слоя российских интеллектуалов.

Несомненно, придворные связи влияли на направление деятельности Ломоносова. К. Писаренко замечает, что именно знакомство Ломоносова с И.И. Шуваловым прервало его работы в химической лаборатории и завершение фундаментального труда по строению вещества. Не без влияния фаворита императрицы Елизаветы Ломоносов был переориентирован на мозаичное искусство, сочинение русской истории, похвальные слова и оды, как, впрочем, и на организаторскую деятельность в области науки и просвещения⁴⁸. Однако биография Ломоносова как ничья другая выстраивалась за счет нестандартных решений самого индивида, его субъективного выбора – и все это в жестких рамках имперской сословной системы. Трудно переоценить роль Ломоносова в закладывании *прецедента* в различных сферах его деятельности.

Подробности жизни Ломоносова представляют драгоценный материал с точки зрения выявления пределов свободы человека в рамках своей эпохи. Кажется, в своих поисках творческой независимости в условиях дворянской империи ученый, происходящий из низов, добился максимума возможного. При этом, в его письмах прорывается горечь «стратегии терпения»: «Чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою моею пороною попрекают»⁴⁹.

Выбрать линию поведения при дворе зависимому «от случая» поэту было нелегко. Дворянин А.П. Сумароков именно как придворный поэт попал в положение «шута» вельмож (имея в виду эту позицию, свое нравный Ломоносов писал И.И. Шувалову – «не токмо у вельмож, но ниже у Господа Бога дураком быть не хочу»⁵⁰). Отношения покровительства в принципе строились мере как обмен услугами. Покровители нуждались в ставленниках и доверенных лицах; покровительствуемый же поэт воспевал патрона в стихах, подносил книги с посвящениями, свидетельствующими о почтении и преданности. Это было нормой времени, так поступали и англичанин А. Поуп, посвящая свою знаменитую философскую поэму «Опыт о человеке» лорду Болингброку, и Ломоносов, обращаясь к И.И. Шувалову в «Письме о пользе стекла».

⁴⁸ Писаренко К. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003. С. 351.

⁴⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. М.; Л., 1952. № 72. С. 539.

⁵⁰ Письмо Ломоносова к И. И. Шувалову от 31 мая 1753 года // Ломоносов М.В. Соч. М.; Л. 1948. Т. 8. С. 127.

Помимо И.И. Шувалова Ломоносову покровительствовали и другие просвещенные аристократы (А.К. Разумовский, М.И. Воронцов). Однако с Шуваловым сложились особенные отношения. В своих одах поэт использует в отношении камергера термин «предстатель», употреблявшийся по отношению к святым угодникам, – в значении посредника перед лицом «божественной» власти. Умение находить и обращаться на свою пользу «просвещенного» покровителя было необходимо для ученого и организатора российской науки XVIII века; специфической функцией вельможи-медиатора было осознать полезность идеи и донести ее до императрицы и сенаторов, сформулировать нужды науки или учебного заведения и добиться взаимопонимания сторон (успешность такого сотрудничества Шувалова и Ломоносова продемонстрировал проект основания Московского университета⁵¹).

Желание совместить научную и просветительскую деятельность с доходностью предприятия вовсе не являлось экзотикой. Здесь известен предпринимательский опыт Н.И. Новикова, с 1779 г. взявшего в аренду на 10 лет университетскую типографию (вместе с «Московскими ведомостями»). В пяти типографиях Новикова (в том числе и университетской) было издано более тысячи книг и журналов, что составило почти треть всей печатной продукции России в тот период (не приходится напоминать о просветительском значении этого «эксперимента»). Вообще власть того времени допускала некоторую общественную самостоятельность – типа дворянских городских обществ, Вольного экономического общества; поощрялось и образование торгово-промышленных компаний. Однако элементы просвещенного абсолютизма в культурной политике Екатерины II сочетались с чисто феодальной регламентацией жизни и деятельности людей. Так, согласно ст. 65 «Устава благочиния» (1782), «Управа благочиния в городе *законом не утвержденное* общество, товарищество, братство и иное подобное собрание... не признает за действительное, ... буде же таковое... собрание общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо бесполезно, то подлежит уничтожению и запрещению»⁵². Под эту формулировку, по мнению властей, подпала и Типографическая компания, и другие объединения новиковцев.

Исследование И.Л. Карповой показало: печатной продукцией в Москве и Петербурге торговали в книготорговых заведениях при Московском университете, Академии наук, Сухопутном шляхетном кадетском

⁵¹ Подробнее см.: Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели. М., 2006. Гл. 1. Университет – наука – общество. Раздел 1.

⁵² Устав благочиния или полицейский. 1782 г., апреля 8 // Российское законодательство X–XX веков. В 9-ти тт. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. С. 339 (курсив мой – И.К.).

корпусе, Императорском Воспитательном доме, Синодальной и Сенатской типографиях, у «казенных лавочников», в книжных лавках частных владельцев. Самыми значительными книготорговыми предприятиями были книжные лавки Московского университета и Академии наук. Установлено более 200 лиц, занимавшихся торговыми операциями на книжном рынке. Анализ рекламных объявлений книжной продукции показывает: если в 1750–60-е гг. главная роль принадлежала книготорговым заведениям при государственных учреждениях, то в 1770–80-е гг. основными участниками книжного рынка становятся частные предприниматели, а продажа книг в Москве переходит в частные руки.

Растет число потребителей интеллектуальной продукции, и этот интерес становится постоянным⁵³, но только в первой трети XIX века литература из изящного аристократического занятия превращается в «значительную отрасль промышленности». «Публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его превосходительство такой-то». Так в 1836 г. сформулировал свое блестящее социологическое наблюдение, отразившее изменения в социальном статусе литературы и литераторов в России, А.С. Пушкин⁵⁴. В 1830-е гг. оформляется особый статус литератора, складывается книжный рынок, расширяется круг людей, зарабатывающих на издательском деле в качестве авторов, редакторов, корректоров. Среди разночинных литераторов появляются авторы (переводчики и создатели низовой прозы), для которых продажа литературных произведений становится основным источником средств к жизни⁵⁵. Налаживаются новые типы связей внутри литературной среды и между писателями и публикой.

Просвещенный покровитель

Для просвещенного аристократа того времени были одинаково характерны как всеобъемлющий характер образованности, так и, как следствие первого, поверхностность знаний: слишком серьезно заниматься наукой было «не по чину»⁵⁶. Таковы были веяния времени.

⁵³ «Посещение книжных лавок было любимой моею прогулкою – большая часть их закрывала собою от Воскресенских ворот древнюю церковь Василия Блаженного» – вспоминал И.И. Дмитриев. *Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь*. С. 23.

⁵⁴ *Аникин А.В.* Пушкин, Россия. Современность. М., 1999. С. 23–24.

⁵⁵ Подробнее см.: *Кулакова И.П.* Громоотвод и барометр (Андрей Краевский и его Отечественные записки) // *Отечественные записки*. 2002. № 4.

⁵⁶ Даже в Англии, где наука в XVIII в. была не в пример более развита, считалось, что «чрезмерный интеллект не слишком идет джентльмену, поскольку отдаст экспертизой». Представление о свойствах английского «джентльмена» связывалось именно с его праздностью; стремлением избежать клейма профессиональности. *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987. С. 137–140.

Особенно велика была роль аристократа, близкого ко двору – просвещённого покровителя наук и художеств. Одним из ярких представителей этой небольшой группы был И.И. Шувалов (1727–1797), который уже с 1749 г. начал играть роль *культурного политика* при дворе императрицы Елизаветы Петровны. И.И.Шувалов был одним из тех людей, которые в силу неповторимой индивидуальности (и своего высокого статуса) способны были оказывать влияние на социальную практику. Шувалов сыграл выдающуюся роль в открытии Московского университета и организации его деятельности. Интересно, что он руководил Московским университетом, постоянно живя в Петербурге, при дворе, и впервые посетил свое детище лишь в конце 1770-х гг. Однако он периодически вызывал к себе и преподавателей, и студентов, часто выступая как дистанцировавшийся от сообщества независимый арбитр. К нему выезжало университетское руководство и отличившиеся/провинившиеся универсанты⁵⁷. Благодаря его покровительству дела Московского университета были подведомственны Сенату, но с самого момента основания получили особый правовой статус (по «случающимся нуждам» куратор получил право непосредственно обращаться к императрице). Протоколы университетской Конференции профессоров оформились, собственно, как доклады куратору. Как ни странно, именно плотная опека и «феодалная» полнота власти, близость «просвещённого фаворита» к императрице обеспечили выживание университета в специфических условиях российской действительности.

Тип личности Шувалова как организатора науки «образца середины XVIII века» существенно отличается от *организаторов* науки других типов – например, попечителя-бюрократа... Особый, новый тип представлял, например, А. Гумбольдт, который, будучи «универсальным учёным», руководил научными изысканиями и умело распределял большие исследовательские задачи среди своих учеников⁵⁸. Дворянин Шувалов, тем не менее, был достаточно просвещён, чтобы ощутить необходимость поддержки науки – *в интересах державы*, а не науки как таковой. Камергер был относительно либерален в отношении к корпоративным свободам, какие предполагала идея университета. Впрочем, идею *свободной* самоуправляемой корпорации не могли осознать в полной мере и сами члены созданной московской университетской корпорации (если не считать иностранцев, выросших внутри таких корпораций). Феодалный дух «просвещённого покровительства» особого, русского толка ещё долго витал над университетом: в официальных театрализованных торжест-

⁵⁷ Документы и материалы по истории Московского университета XVIII в. М., 1964. Т. 1. С. 231, 329.

⁵⁸ См.: Скурла Г. Александр Гумбольдт. М., 1985. С. 11 и др.

вах по случаю тезоименитств, в праздновании дня рождения и именин «просвещённого покровителя» – куратора, в присутствии в иконостасе университетской церкви иконы небесного патрона И. Шувалова.

Однако способность к самообразованию, постоянное чтение и интерес к академическому знанию позволили Ивану Ивановичу выйти за рамки стереотипа. Необычность этой личности отмечали и французы, среди которых он жил 14 лет. Во время пребывания в Париже он сумел заслужить уважение многих выдающихся интеллектуалов-европейцев.

Интерес к коллекционированию не только предметов роскоши, но и «редкостей» («антики», минералы и пр.) – черта Шувалова, лишь позднее ставшая типичной для русского аристократа. В своих приобретениях он все более стремился к полноте собраний, к всеохватности коллекций (после возвращения из-за границы дом его напоминал музей). Думается, он сыграл роль в закладывании основы знаменитых кабинетов и коллекций Московского университета. Владение коллекциями не было для него лишь статусным признаком: своими приобретениями, сведениями о новых книгах он охотно делился.

Особый интерес представляют отношения Шувалова с Ломоносовым, который был прямой противоположностью Шувалова по характеру). Но их сотрудничество было плодотворным, обеспечив успех проекта «Московский университет». В 1760 г. с горечью писал он в донесении в Сенат: «...Странно и удивительно, что от время установления здесь учений, Россия желанного плода не имеет... С крайним сожалением представить должен, что успехи не соответствуют Императорского величества воле; многие тому препятства, которых я отвратить не в состоянии, *если основание воспитания переменено не будет*»⁵⁹. Беда в том, что юноши «принуждены натурально предпочесть счастье в происхождении нужному учению». К решению проблемы были избраны два верных пути: повышение статуса образования и науки, с одной стороны, и улучшение положения человека интеллектуального труда – с другой.

Увлечения дилетантов

Ускоренная российская модернизация принесла столкновение и синтез инноваций и традиционных устоев; многие западные культурные механизмы при их «импорте» начинали работать в другом режиме, приспосабливаясь к местным условиям. И если в передовых европей-

⁵⁹ «В правительствующий Сенат Императорского московского университета от куратора И.И. Шувалова доношение» // ЧОИДР. 1858. Т. 8. С. 113. Фактически Шувалов представил в Сенат свой проект многоступенчатой замкнутой системы образования. Отношение широких кругов дворянства к образованию изменилось только с изданием в 1809 г. указа об экзаменах на чин, когда образование стало одним из важных факторов продвижения по служебной лестнице.

ских странах идеи Просвещения несли демократизм, подрывали веру в легитимность общественного устройства, то в России они выступали скорее как регулятор социокультурной практики дворянства, путь его приобщения к европейской культуре и знанию. Именно дворянство, сохраняющее в себе черты феодальной сословности, стало в первую очередь слоем, ориентированным на нормы и ценности Просвещения.

Пытаясь разгадать «тайну» российского Просвещения, большинство исследователей до сих пор в основном шло через «типическое» – в попытках обрисовать групповой портрет «просвещенного» дворянства, ставшего главным его субъектом. О.Е. Кошелева справедливо отмечает, что чаще всего получались обобщающие конструкты, подаваемые как «новый человек», «человек эпохи Просвещения». При этом выявляемые (и каждый раз выдаваемые за константу) черты менялись вместе с трансформацией исторических взглядов и концепций⁶⁰.

Целая пропасть отделяет первых дворян (пятьдесят комнатных стольников и спальников), отправленных Петром принудительно на учебу за рубеж – «учиться архитектуры и управления корабельного» в 1697 г.⁶¹, от утонченного дворянства, которое мы застаем в последней четверти XVIII в. в переустроенных на новый манер усадьбах.

Первые образовательные поездки дворян за рубеж в эпоху Петра продемонстрировали слабую адаптивную способность к новому виду деятельности. Рассматривая «образовательные типы» (имея в виду мужское образование), которые сложились уже во второй половине XVIII в., можно выделить такие пути получения образования: духовное (академия, семинарии); корпоративно-дворянское или военное (кадетские корпуса), промежуточный тип – общеобразовательный (гимназии академического и Московского университетов); домашнее (пансионы, учителя); заграничное. С 1730-х гг. берут начало закрытые дворянские учебные заведения, первым из которых стал Шляхетный Сухопутный корпус. Именно отсюда вышли активные приверженцы новой культурной парадигмы А. Сумароков, И. Елагин, А. Олсуфьев, А. Натров, И. и П. Мелиссино, И. Шишкин, С. Порошин, М. Херасков и др. Опосредованно знакомство дворянства с «новой культурой» осуществлялось по линии прямого «светского» общения (на ассамблеях, при дворе, в гостях, при общении с приезжими иностранцами и путешественниками-сооте-

⁶⁰ Кошелева О.Е. Понятие «Человек эпохи Просвещения» как историографический конструкт // Историк в меняющемся пространстве российской культуры / Под ред. Н.Н. Алеврас. Челябинск, 2006. С. 88–95. См. также: Ricarda Vulpius (München/Berlin). Концепция цивилизованности в XVIII веке...

⁶¹ Рачинский А. Первые русские гардемаринны за границей в XVIII столетии (По документам московского главного архива министерства иностранных дел) // Русский вестник. 1875. № 11. С. 83–110.

чественниками); также можно было получить образование за рубежом⁶². Для грамотного дворянства в массе его именно художественная литература играла роль основного средства коммуникации и формирования новых установок⁶³.

Однако, и начитанность, и полученное зарубежное образование не гарантировали ориентации дворянского сына на интеллектуальные ценности, на серьезные занятия. Пример – неуспех в воспитании детей княгини Е.Р. Дашковой. Сын ее князь Павел Дашков в 1779 г. закончил свое образование в Эдинбургском университете, ему была присвоена степень магистра искусств. Во время путешествия по Европе вместе с матерью он продолжал усиленно заниматься (учил итальянский, читал греческих и латинских классиков, каждое утро повторял предметы, которые проходил в Эдинбурге). Но при всех стараниях княгини он, кажется, вырос вполне заурядным военным и «страстным охотником до танцев» (хотя формально был членом разных ученых обществ).

Вначале, будучи сословием, связанным своими корнями с традиционной (в ее элитарной ипостаси) культурой, дворянство отвергало научную рациональность, свойственную механической или «физикалистской» ориентации науки Нового времени, и лишь охотно взирало на продукты этой парадигмы, иногда приобретая «диловины» (как назывались иноземные артефакты в XVII веке) и «курьезы» – в XVIII: обладание вещью, нагруженной смыслом «диловинного дара», роскоши, возможно, отражала специфику дворянских традиций прошлого. А вот в самом начале XIX в. дворянин – знаток редкостей и диловин Николай Шереметев возводит интерес к ним, страсть ко всему «редкому и уникальному» в принцип: в завещательном письме он пишет, что всегда желал «великолепного и удивительного», так как «сему желанию способствовали некоторое знание (его), вкус и пристрастие в произведении редкого»⁶⁴. Он украсил село своё Останкино и «представив оное зрителям в виде очаровательном, думал, что, совершив величайшее, достойное удивления и принятое с восхищением публикою дело...»⁶⁵.

Эстетическая составляющая того тренда, который, видимо, подразумевался дворянами под «просвещенностью», очень велика. Здесь

⁶² Любжин А.И. Рецепция римской литературы в России XVIII – начала XX века. Автореферат дисс... доктора филологических наук. М., 2012.

⁶³ Даже в худшем из романов есть уже некоторая логика и риторика: кто читает их, будет говорить более «когерентно», чем полный *ignoramus*, никогда в жизни не открывавший книгу. – *Marker, Gary*. Publishing, printing and the origins of intellectual life in Russia, 1700–1800. N.J.: Princeton Univ. Press, 1985. P. 234.

⁶⁴ Завещательное письмо графа Николая Петровича Шереметева. М., 1896. С. 6.

⁶⁵ Там же. С. 7.

следует вновь напомнить и об особом отношении просвещенных дворян к эффективному эксперименту, который рассматривался ими не как академическая практика (такое отношение характерно для профессионалов) – любитель действовал, скорее, в рамках перформативных, игровых развлекательных практик⁶⁶.

После указа 1762 г. «О вольности российского дворянства» последнее стало оседать в своих вотчинах, предаваясь хозяйственным заботам, отстраивая дома и украшая их в соответствии со вкусами эпохи. Особый сплав культуры, науки и искусства, который мы наблюдали в проявлениях придворной культуры, явился теперь в форме так называемого (с позиций рационализма XIX века) «дилетантизма». Можно говорить о культуре *устройства* усадебных комплексов, в которых начинают «самовыражаться» богатейшие из российских дворян. Устройство усадеб становится для некоторых из дворян не просто формой заполнения досуга, но делом жизни. Усадьба выступала как «сфера независимого частного человека, дорожащего своей свободой»⁶⁷. Затеи усадебные (как и приведенные выше придворные) носили демонстрационный характер, но творцом их, в конечном счете, был сам хозяин усадьбы (хотя и прибегавший к искусству профессионалов). При создании комплекса во всем – в выборе архитектурного проекта, планировки дома и сада, в подборе коллекций произведений искусства, приборов и естественноисторического материала, в принципе построения коллекций – воплощалось понимание «просвещенного» *взгляда на мир* – в том числе, на фундаментальную идею целостности «микромира усадьбы» как отражения самого мироздания. Создание этих усадеб, где росли и воспитывались затем следующие поколения, было одновременно и проявлением творческого начала и фактором влияния на их обитателей.

Произведения искусства, вещи, приборы, наполнявшие дома аристократии выступали не только в виде предметов роскоши, но и как культурные ценности, и как сущности символические (свидетельства европейской ориентации владельца). Во второй половине XVIII в. Россия уже пережила первый расцвет частного коллекционирования. Наряду с коллекциями императорской семьи появились значительные художественные собрания вельмож, государственных деятелей и дипломатов, а затем и менее крупных дворян.

Среди известнейших покупателей редкостей был князь Н.Б. Юсупов. Исследователи его наследия считают: то, что из массы произведе-

⁶⁶ Кулакова И.П. Игровые формы и университетское образование в России второй половины XVIII века // Диалог со временем. 2001. Вып. 6. С. 118–134.

⁶⁷ Марасинова Е.Н., Каждан Т.П. Культура русской усадьбы // Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1998. С. 268.

ний прикладного искусства, предлагаемых художественным рынком, Юсупов смог выбрать для украшения своих дворцов подлинные шедевры, что характеризует его как знатока⁶⁸. «Личность Юсупова-коллекционера формировалась под влиянием философских, эстетических идей и художественных вкусов своего времени. Занятие собирательством для него было родом творчества. Находясь рядом с художниками, создателями произведений, он становился не только их заказчиком и покровителем, но и интерпретатором их творений»⁶⁹.

В «пространстве повседневности» проходила реальная жизнь обитателей усадьбы «просвещенного дворянина» 1-й генерации П.Б. Шереметева, генерала, сенатора, камергера. Его самовыражение реализуется через *философскую концепцию* усадебного комплекса, разработанную с его личным участием. В усадьбе присутствует синтез сфер: природа – архитектура – искусство и науки. Здесь представлены все архитектурные стили, здания, выполненные в разных техниках и материалах (барочное здание дворца, Итальянский, Голландский домики, Грот, Американская оранжерея и пр.); присутствовали все виды искусств (галерея живописи, музыкальная комната, театр), растений и животных (оранжереи, птичники, зверинец). Созерцать разнообразие и совершенство мира (и показать все это другим) и есть «благородное увеселение» просвещенного дворянина. Именно в роли устроителя целого «мира» реализуется система истинных ценностей Просвещения: рационализм автономной личности и просвещенный ум как основа замысла (исходя из христианских ценностей, эта личность пытается постичь Божественный Промысел). Здесь присутствует и оптимизм (приписываемый Просвещению), основанный на уверенности в возможности постичь Божественный Промысел и объяснить им всё происходящее в мире. Естественнонаучные экспонаты соседствуют с иконами и с произведения искусства⁷⁰.

⁶⁸ На протяжении почти 60 лет (с начала 1770-х до конца 1820-х) князь собрал обширную библиотеку, богатейшие коллекции скульптуры, бронзы, фарфора, других произведений декоративно-прикладного искусства и коллекцию западноевропейской живописи – крупнейшее частное живописное собрание в России, насчитывавшее более 550 произведений». *Савинская Л.* Ученая прихоть: Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова // Наше Наследие. 2002. № 63-64. См. также: «Ученая прихоть»: Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова. Каталог выставки. В 2 т. М., 2001.

⁶⁹ *Савинская Л.* Ученая прихоть...

⁷⁰ При этом, в отличие от французского Просвещения, российское отличалось спокойным отношением к традиционной религии. В понимании российского дворянина естественная история была частью истории божественной. По определению, например, В.Н. Татищева «история натуралис или естественная» как бы продолжает библейский рассказ о начале мира. Она рассматривает действия природных стихий, чья сила наследует и продолжает божественный акт творения. *Татищев В.Н.* История Российская. Ч. I. М., 1995. С. 79.

Философствуя в кабинете

Новые явления, связанные с новыми практиками, реализовались в конкретных формах повседневности. На протяжении второй половины XIX в. распространяется мода на создание кабинетов – помещений «для ученых занятий», особого назначения приватное пространство непарадных покоев (преимущественно мужское), которая сохраняется на протяжении очень длительного времени. Кабинет главы средней дворянской семьи становится и *интеллектуальным, и хозяйственным* центром дома. В иерархии домашних пространств он начинает занимать особое место (по значению уступая лишь зале и гостиной)⁷¹.

Появление в доме кабинета всегда сопровождалось обращением его хозяина к какому-либо виду интеллектуальной деятельности (чтение, коллекционирование, составление архитектурных проектов, литературное сочинительство). Оформление и устройство кабинетов отражало тот особый сплав культуры, науки и искусства, который (с позиций рационализма XIX века) принято называть «дилетантизмом». Но еще одна линия развития этого «жанра» – кабинет как место творчества, специально приспособленное для уединения и «философствования». Представители просвещенной дворянской элиты тягу к таким вещам, как раздумья и литературное творчество, вплоть до начала XIX в. осмысливают в выражениях «праздность», «ипохондрия», «рассеянный образ жизни». То и дело дворяне признаются друг другу в «лени», «праздности»; результаты своего литературного труда обычно называют «безделками» («Мои безделки» Н.М. Карамзина, 1794, «И мои безделки» И.И. Дмитриева, 1795). Названия альманахов этого периода говорят об установке на такой способ самопрезентации: «Праздное время в пользу употребленное» (1759–1760), «Дело от безделья» (1792), «И отдых в пользу» (1804) и т.п. О себе пишущие люди часто употребляют уничижительный глагол в смысле «писать» – «марать» (бумагу). В письме 1811 года К.Н. Батюшков писал о себе: «...И в тридцать лет я буду тот же, что теперь: то есть лентяй, шалун, чудака, беспечный баловень, маратель стихов» (Цит. по: Перельмутер 1993: 35). Халат, как одежда для «безделья», «праздности», «ипохондрии» подходит как нельзя лучше; ношение халата, с одной стороны, действительно было удобно для утренних интеллектуальных «упражнений», а с другой, маркировало это особое состояние. Однако реальное ношение халата в быту – это одно, а массовые заказы *портретов в халатах* – нечто другое. Изучая поведение российских «просвещенных» дво-

⁷¹ Подробнее см.: Кулакова И.П. История интеллектуального быта и российская традиционная культура: Кабинет отца во впечатлениях детства (конец XVIII – начало XX в.) // Какоря: Из истории детства в России и других странах. Сб. статей и материалов. Москва; Тверь, 2008.

рян второй половины XVIII в., исследователи обнаруживают феномен «философского поведения». Литератору свойственны склонность к уединению, непрерывное чтение и писание, бытовая рассеянность из-за постоянной концентрации умственных сил, непрактичность, бесребреничество, а у философа эти черты приобретают гротескные и трагические черты («каторжанин письменного стола», как звали Ф.М. Гримма⁷².

Мебель, аксессуары, одежда, изображения, помещенные на портретах, следует рассматривать как культурный текст и анализировать его, извлекая «невербальную» информацию, расширяющую наши представления о культурных установках и ценностных ориентирах XVIII – начала XIX в. И все же более информативным источником по истории «идей» является российская ипостась «кабинетного портрета». На парадных портретах в качестве фона далеко не сразу начинают фигурировать книжные полки, фолианты, коллекции, физические приборы и глобусы⁷³. В отличие от парадного портрета XVIII в., который «являл» заказчика зрителю в обобщенно-статусном образе, «кабинетный» портрет несет большой информационный заряд, и главные коммуникативные средства здесь – костюм и жест. Очевидно, что портрет «в халате» как род «камерного» портрета для российской практики второй половины XVIII в. – особый вариант визуальной самопрезентации. Такой портрет рассчитан на восприятие современниками – кругом зрителей, способных «считывать» эту культурную информацию. Были конкретные портретные образцы, на которые ориентировалось «философствующее дворянство». И это отнюдь не иностранные профессора, а французские философы, произведения которых были на слуху в России. Вольтер, Дидро, Руссо: все они, порой небрежные до чудаковатости, изображались в халатах.

Заказывая свой портрет, русский дворянин подражал своим кумирам. По мере укоренения европеизированных культурных форм в истории дворянской культуры начинаются поиски удовольствия «через воображение». Создание усадебного комплекса, интерьеров, наконец – «образа себя» (запечатленного в портрете) – в определенном смысле это тот сплав знаний и утопии, который психологи называют мечтательной формой воображения (моменты создания новых образов, которых не было в сознании, не было в прошлом опыте). Это именно род творчества – создание воображаемого «мира», воплощенного в синтезе «природа – архитектура – искусства и науки», где воображение используется как структурообразующий фактор познания и способ создания нового⁷⁴.

⁷² *Артемуева Т.В.* История метафизики в России XVIII в. СПб., 1996. С. 61–64.

⁷³ *Кулакова И.П.* Кабинет как атрибут интеллектуального быта // Философский век. Альманах 22. Науки о человеке в современном мире. Ч. 2. СПб., 2002.

⁷⁴ *Фарман И.П.* Воображение в структуре познания. М., 1994.

Сочинитель

Надо понимать, насколько необычны были «кабинетные» занятия для людей традиционной культуры. Показательно отношение обитателей поместий к дворянам-маргиналам, занимающимся интеллектуальным трудом: последние, как правило, воспринимались как чудаки со «странной» склонностью к «выдумыванию». Вспоминается фигура Ф.И. Дмитриева-Мамонова. Этот человек, склонный к различным «наукам» (философии, астрономии, истории), в Предисловии к своему сочинению «Дворянин-философ. Аллегория» (1769), по сути натурфилософскому произведению, развивающему теорию множественности миров, объяснял: «Я великую охоту имею сочинять и писать, но не желаю слыть ни стихотворцем, ни писателем, ни переводчиком». Прославился он как раз не научными и литературными опытами, а своим «эксцентрическим поведением», и был признан «человеком вне здравого рассудка»⁷⁵.

Еще один оригинал – Н.Е. Струйский (1749–1796), малоизвестный дворянин-поэт, сочинитель и содержатель частной типографии⁷⁶, с начала 1770-х гг. удалившийся в свое имение Рузаевку Пензенской губернии. Современники считали его «графоманом» и «метроманом» за «маниакальную тягу» к сочинительству. Это формулировалось так: «Етот дворянин... находясь в возможности... наслаждаться жизнью благополучного человека, учредил типографию собственно свою». Современники о поэте вспоминали с опаской: «Все обращение его ... было дико, одевание странно». Струйский устроил себе кабинет – «в самом верху дома, называемый Парнасс» (там, помимо стола и множества редкостей, стояли статуи Аполлона и муз, и «в сие святилище никто не хаживал»)⁷⁷.

В 1812 г. вышел роман «Российский Жильблаз» выпускника Московского университета В.Т. Нарезного⁷⁸. Герой этого первого русского авантюрного романа, князь Гаврило Симонович заявляет: «...Мне

⁷⁵ Лепехин М.П. «Дворянин-философ» в кругу почитателей (Новонайденные материалы о литературно-художественном окружении Ф.И. Дмитриева-Мамонова) // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14; Артемьева Т.В. «Дворянин-философ» как социальный тип // Она же. История метафизики в России 18 века. СПб., 1996. Ч. 2. Гл. 4. С. 147–166.

⁷⁶ Помимо занятий сочинительством и изданием книг был «наклонен к юридическим упражнениам» – допрашивал и судил своих крестьян, выступая от их имени (за и против) // Тухменева Е.А. Рузаевка – усадьба поэта XVIII в. // Русская усадьба. В. 6 (22). М., 2000. С. 232.

⁷⁷ Долгорукий И.М. Записки. Пг., 1916. С. 278–279.

⁷⁸ Нарезный В.Т. Российский Жильблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова // Он же. Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1983. Нарезный, сын дворянина, не имевшего крепостных, учился в Московском университете и еще в 1798–99 гг. делал первые шаги в литературном творчестве, печатаясь в московских журналах; в 1804 г. вышла его трагедия «Дмитрий Самозванец», а к началу 1812 г. был написан «Российский Жильблаз». Манн Ю.В. У истоков русского романа // Там же. С. 8–11.

пришло на мысль досуги свои посвятить размышлению, а для большего собственного своего удовольствия, а может быть, и пользы общества, сделаться сочинителем. Надобно было только избрать род сочинений, коими бы мог прославить имя...»⁷⁹. Нарезный иронически описывает муки творчества и их последствия. Дворне кажется странным поведение хозяина: ведь они живут еще в традиционной системе культурных норм: «...Все слуги и служанки ...начали догадываться, подозревать, подглядывать, подслушивать и таким образом добиваться причины, отчего князь так переменился... Его сиятельство начал запирается и вести такую уединенную жизнь... «Живет в прежнем своем кабинете, делает странности почти до обеда...». Предположения окружающих были таковы: «великий грешник и теперь очищает душу постом и молитвами, либо «похож на колдуна и по ночам упражняется в чернокнижии», или – «бедный, рехнулся с ума». Приглашенные доктора сделали свои предположения, основанные на опыте с подобными «задумывающимися» господами: «Вы говорите, что больной часто задумывается? ...Не ворочает ли он иногда глазами в сторону, сам не трогаясь с места? ...Не случается ли, что он растворяет рот, будто что хочет сказать, вдруг останавливается, замолкает и кажет недовольный вид?»⁸⁰.

Но что и говорить о слугах, когда сами представители просвещенной дворянской элиты тягу к таким вещам, как раздумья и литературное творчество, вплоть до начала XIX в. описывали как «лень» и «праздность». Известными всему обществу домашними привычками И.А. Крылова были уединение и «поэтическая лень» (парадоксально при том, сколько Крылов успел написать). К.Н. Батюшков, обращаясь к Вяземскому «Питомец муз надежный», называет его «Товарищ в лени мой»). П.А.Вяземский обычно вышучивал свою лень и «неспособность» неотрывно и сосредоточенно трудиться над стихами и прозой. Подчас он вводил в заблуждение даже близких друзей, хотя на самом деле подходил к ремеслу писателя серьезно, «учась выбранному ремеслу осознанно и рационально». Но при этом намеренно стремился писать так, чтоб в написанном «работы след улыбки не пугал»⁸¹.

Очевидно то, что за словами о «лени» пишущих дворян уже стояла большая внутренняя работа. Раньше, чем у кого-либо другого, новые поведенческие стратегии просвещенного дворянства выразились в творчестве Михаила Никитича Муравьева. Еще в середине 1770-х годов, когда в России рождался писатель как культурно значимая категория, Му-

⁷⁹ Нарезный В.Т. Указ. соч. С. 366.

⁸⁰ Там же. С. 359–360.

⁸¹ Перельмутер В. «Звезда разрозненной плеяды!...» Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. М., 1993. С. 35.

равьев стоял у истоков формирующейся оригинальной русской литературы, предвосхищая открытия Г.Р. Державина и Н.М. Карамзина. Этот видный общественный деятель, писатель и поэт (чье творчество по большей части не публиковалось при его жизни), был ярким выразителем практически всех просветительских тенденций своей эпохи.

Отличительная способность Муравьева – в его саморефлексии (и это само по себе – черта человека Нового времени). В.Н. Топоров, изучивший творчество Муравьева, обращает внимание на описанное им развертывание самого процесса «сочинительства» («упражнение в сочинении», как говорит он сам). В уста своего героя Муравьев вкладывает советы «сочинителю»: «Вы так часто рассказываете то, что видели или читали. Возьмите перо и дайте ему ходить по бумаге с той же свободой, с которою говорите»⁸². Сутью размышлений М.Н. Муравьева была нравственно-этическая сторона человеческой жизни, утверждение гармонии, единения добра и красоты. Один из самых ранних (сентиментальных) образов «пространства творчества» дал именно он: «Горница... Маленькая библиотека моя расположена на трех полочках, прибитых над письменным моим столом. Горшки цветов, которые я сам поливаю, затемняют мои окна. Некоторое великолепие украшает мою хижину. Маленькие бюсты Жан-Жака Руссо и Соломона Гесснера, которые я выпросил у хозяина, означают убежище их попечителя и любителя природы»⁸³. Знаковые фигуры писателей эпохи Просвещения отсылают нас к ориентирам, которые имел в виду их российский последователь.

Образование женщин и дворянская семья как образовательное пространство

Относительно женщин XVIII века в литературе издавна установилось мнение: «не знали, чему и как учить людей, не предназначенных к службе, и потому учили очень немногих и очень мало»⁸⁴. Продолжают высказывать мысли о примитивности женского образования эпохи: «Начальное образование дворянской девочки заключалось в лучшем случае в усилиях бонны и гувернантки дать ребенку основные понятия о некоторых науках и искусствах, а главное – обучить французскому языку и «вымуштровать» в элегантных, салонных манерах»; «воспитание благородной девицы в течение почти всего XVIII века носило внешний характер и было подчинено задачам обучения «блистать, пленять и нравить»

⁸² Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. II. Русская литература второй половины XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев. Введение в творческое наследие. Кн. I. М., 2001. С. 595–596.

⁸³ Эмилиевы письма // Цит. по: Топоров В.Н. Указ. соч. С. 537.

⁸⁴ Щепкина Е. Из истории женской личности в России. Лекции и статьи. СПб., 1914. С. 97.

ся»⁸⁵. Как же шло формирование того слоя образованных и талантливых женщин, которых мы застаем на пороге XIX века? Ведь «женщина с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его»⁸⁶.

Как правило, прогресс в женском образовании XVIII века связывают с екатерининской образовательной политикой и со Смольным институтом, который начал действовать со второй половины 1760-х гг. «В начале 1760-х появился известный доклад И.И. Бецкого, положенный затем в основу системы воспитания. Следствием считается появление читающих и даже пишущих женщин»⁸⁷. Разумеется, важность этого начинания нельзя не признать. Но скромные успехи смолянок (которые последовали не ранее 1770-х гг.) не исчерпывают проблемы просвещенной женщины XVIII века. Складывающаяся система домашнего воспитания и образования имела едва ли меньшее значение.

Ускоренный темп преобразований начала XVIII в. заставил россиян, и дворянство в первую очередь, подчиниться новым культурным установкам, навязанным государством. Однако освоение новых культурных норм и практик шло в замкнутых самодостаточных пространствах усадеб, в рамках больших патриархальных помещичьих семей. Уклад повседневности в «культурных» домах диктовал совместное времяпрепровождение (игры, музицирование, театральные постановки, семейное чтение вслух пр.). В быту (по возможности) дети, девочки и мальчики много времени проводили вместе: отделялись от родителей и жили с воспитателями (гувернерами/гувернантками) на «своей половине», «внизу» или «в мезонине», «в антресолях». Обучение одним учителем и братьев, и сестер гипотетически может объясняться вечной экономией в среде небогатого российского дворянства⁸⁸. Таким образом, можно предположить: как только в процесс распространения Просвещения втягиваются российские юноши, неизбежно через семью это распространяется и на их сестер. Наблюдения над отношениями «брат-сестра», «отец-дочь», над внутрисемейным общением девочек с братьями также позволяют рассматривать семью как канал, через который в

⁸⁵ Улюра А.А. Российские женщины и европейская культура: материалы V конференции, посвящённой теории и истории женского движения / Сост. и отв. ред. Г.А. Тишкин. СПб., 2001. С. 59–60.

⁸⁶ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре... С. 46–75, 331–385.

⁸⁷ Каган М.С. История культуры Петербурга. Учеб. пособ. СПб., 2000. С. 58.

⁸⁸ «В семьях, где нанять хорошую гувернантку не было средств, а дать девушке образование все же считали необходимым (немало было и дворянок, получивших лишь самое начальное образование от какого-нибудь сельского дьячка и едва умеющих читать и писать), прибегали к помощи пансионнов» // Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1983. С. 481–482.

XVIII в. шло женское «просвещение»⁸⁹. Ясно, что накопление новых черт отношения женщин к образованию шло по поколениям. Мы рассмотрим ряд казусов, которые намечают складывающуюся тенденцию.

Определенный шаг в развитии женского образования наблюдается с самого начала XVIII века, благодаря новой петровской установке. Но еще в конце XVII в. процесс приобщения женщин к образованию уже шел через царских дочерей: не могли не сказаться новые веяния в образовании, литературе, одежде и пр., которые уже стали составной частью придворной культуры. Новые явления, связанные с женским образованием, можно отметить и не только в придворной среде. Так, в семействе дворян Татищевых (проживавшем во Пскове с 1698 по 1704 г.) три сына Иван, Никифор и Василий и вместе с ними сестра Прасковья получили, как считается, неплохое домашнее образование (в частности, хорошее знание польского и немецкого языков). Здесь очевидна роль отца, который выделялся своими познаниями в разных областях. Сын, Василий, ставший известным историком, опирался именно на этот багаж приобретенных в детстве знаний⁹⁰. Еще один пример того же времени – семья князя Д. Кантемира, где наряду с 4-мя мальчиками воспитывалась и обучалась их сестра. Княжна Мария много читала, знала математику, занималась музыкой, владела искусством письменного изложения. Немало повлиял на детей отец – ученый и философ, член Берлинской Академии наук, автор книг по истории, писавшихся на латыни. Семья молдавского господаря иммигрировала в Россию, с 1712 г. поселилась в Москве. В 1720–30-х гг. развивалась нежная дружба Антиоха (считающегося первым российским поэтом) и его старшей сестры Марии. В московский дом на Покровке, именно к сестре регулярно приходили послания и посылки с книгами и нотами из Лондона и Парижа, куда А. Кантемир был переведен дипломатом в 1738 г. Сохранились письма Марии к брату (писанные частью по-новогречески, частью по-итальянски, частью – по-русски), в которых она оперирует текстами из Священного Писания и народными пословицами, дает меткие характеристики⁹¹. Конечно, о таких девушках можно сказать – их были единицы. Но ведь и Антиох Кантемир, и Татищев – маргиналы среди россиян-мужчин первой трети века.

Е. Дашкова подавала себя как исключительный случай читающей женщины: «Я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини

⁸⁹ С ростом системы образовательных учреждений мальчиков и девочек («развели» в смысле образования в разные пространства, и стихийно сложившийся канал повышения уровня образования для женщины в России оказался отчасти нарушен.

⁹⁰ Кузьмин А.Г. Татищев (ЖЗЛ). М., 1981. С. 20.

⁹¹ Алексеева А. Антиох Дмитриевич Кантемир // Русские писатели в Москве. М., 1987. С. 20–25.

(Екатерина II – И.К.) в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением». Но в этом Дашкова ошибалась, хотя бы уже потому, что именно на начало 1760-х гг. приходится исследованный нами казус дочери В.Е. Адодурова Татьяны. Отец, с 1740 г. преподававший в Петербургской Академической гимназии и учивший русскому языку будущую императрицу Екатерину, в 1759 г. попал в опалу и был отправлен в почетную ссылку – товарищем губернатора в Оренбург, где с увлечением занялся воспитанием дочери 10/11-ти лет. В сохранившейся от начала 1760-х гг. его переписке с Г.Ф. Миллером вскользь упоминается, что дочь читает и самостоятельно, одна, без воспитателя (т.е. привычка к чтению уже есть). Среди книг, которые он просит прислать для Тани – сочинения Фенелона, Буало, Круазара, Вольтерова «История Петра Великого»; для нее он выписывает «Искусство размышлять», «Риторику» и пр. Отец считает, что девочке по силам изучать географию, историю европейскую и древнюю, европейскую политику, естествознание, логику, риторику, литературу. Из языков французский уже освоен (читать книги по географии, истории и генеалогии на французском «по привычке к этому языку гораздо способнее»); как, впрочем, и отчасти немецкий («немецкие книги читает она со мною»); итальянский – в планах. Книга «Латинский синтаксис» «надобна особливо..., потому что она начала здесь от скуки учиться латинскому языку»⁹².

Редкость? Да, но, заметим, что в начале 1760-х гг. такой уровень образования, какой предлагает дочери Адодуров, был редкостью и для мальчиков. Здесь важнее другое: отношение к женскому образованию. Этот отец вполне готов образовывать девочку наравне с мальчиками (указанные им книги использовались в программах университетских гимназий и кадетских корпусах). Заметим, что как раз в год переписки Адодурова с Миллером в 1761 г. на российской службе при Академии в С.-Петербурге состоял известный историк А.Л. Шлецер⁹³. Теоретически можно предположить, что проблема *серьезного* образования для девушек обсуждалась тогда в узком академическом кругу. Образовательные среды Германии и России того времени были в какой-то мере «сообщающимися сосудами». Впоследствии уже в Геттингене дочь самого Шлецера Доротея стала «чудо ребенком» и первым доктором философии Германии. Считается, что мысль о ее образовании и возможности защи-

⁹² Кулакова И.П. 1) Что читали некоторые папы своим дочкам (из истории домашнего образования в России 1760-х гг.) // Книга и мировая цивилизация. Материалы XI Международной конференции по проблемам книговедения. М., 2004; 2) Г.Ф. Миллер как агент европейского культурного влияния в России // Г.Ф. Миллер и русская культура. Отв. ред. Д. Дальманн и Г. Смагина. СПб., Ростов, 2007.

⁹³ А.Л. Шлецер (1735–1809) был на российской службе в СПб в 1761–1767 гг.; в Германии он стал профессором Геттингенского университета с 1768 г.

ты девушкой диссертации Шлецеру подал декан философского факультета Геттингена Иоган Михаэлис⁹⁴. Можно также предположить, что в этом сыграл некую роль и российский образовательный опыт, к которому имел отношение Г.Ф. Миллер – опыт Адодурова с его Таней. К 1770-м можно отнести рассказ из воспоминаний Г.С. Винского: он имел 15-летнюю ученицу – дворянку Левашеву из Уфы: «Скажу, не хвастаясь, что Наталья Сергеевна через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли, переводила без словаря; писала письма со всею исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно»⁹⁵.

В 1790-х гг. В.А. Жуковский все детство и отрочество провел в семье Юшковой (старшей сестры его по отцу), среди своих родственниц и ровесниц, с которыми поэт сохранил дружбу. В 1790-е гг. они совместно занимались учебой⁹⁶, но детей воспитывала и обстановка дома, который стал средоточием литературных сил уезда. Как известно, Анна Зонтаг по совету Жуковского (и пользуясь его указаниями) начала литературную деятельность, стала детской писательницей. Другая, Авдотья Елагина (в замужестве мать Ивана и Петра Киреевских), стала хозяйкой одного из известнейших литературных салонов. Жуковский писал о «чудном чутье поэзии» Елагиной («да и по-русски она пишет как никто») ⁹⁷. Примеры можно было бы продолжить.

Итак, уже с 1760–70-х гг. идет быстрый прогресс в распространении новых культурных практик, в том числе среди женщин. Некоторые исследователи считают, что «женщина как субъект, предрасположенный в социальном и биологическом отношениях к сравнительно легкой адаптации в травмирующих ситуациях, оказалась психологически более подготовленной, нежели мужчина, к разнообразным «экспериментам» XVIII века». Имел значение и больший, чем у мужчин, запас свободного времени для чтения и «просвещения на западный манер»⁹⁸. Но

⁹⁴ Иоган Михаэлис (1717–1791) – медик, математик, знаток восточных языков. Путешествуя по Англии, он ознакомился с английскими колледжами, а после возвращения в Пруссию подал королю Фридриху Второму проект Университета (колледжа) для женского пола в Геттингене (1747), причем с формулировкой «по требованию некоторых женщин». Этот проект женского колледжа Михаэлиса небыл принят. В течение 40 лет Михаэлис продолжал продвигать свои идеи, но уже на частном уровне.

⁹⁵ Винский Г.С. Записки: Мое время. СПб., [1914]. С. 139.

⁹⁶ Зонтаг А.П. Несколько слов о детстве В.А. Жуковского // В.А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 103; Бекетова Н.А. Зонтаг Анна Петровна // Материалы по истории русской детской литературы, 1750–1855. Т. I. М., 1927.

⁹⁷ Уткинский сборник: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / Под ред. А.Е. Грузинского. М., 1904. С. 125–126.

⁹⁸ Улюра А.А. Российские женщины и европейская культура... С. 58.

главное – это тот этап, когда образованность, чтение, переводы, соби- рание книг – в целом, творческие занятия рассматриваются в россий- ской дворянской среде как изящное и модное занятие «полезное и при- ятное», *одинаково доступное и мужчинам, и женщинам*. «Играющий» XVIII век оправдывал, как кажется, этот новый образ женщины. И всё это, в основном, дочери среднего по своему благосостоянию дворянст- ва, которое создает культурные очаги в своих поместьях.

Трудно оценить величину контингента тянувшихся к образованию, читающих, переводящих и пишущих девиц и женщин русской провин- ции. Материал для освещения их интеллектуального быта второй поло- вины XVIII – начала XIX в. надо собирать по крупицам. Вот портрет «Дама с циркулем» кисти М.Л. Колокольникова (дат. 1751–53 гг.) из Во- логодского музея. Считают, что здесь изображена Екатерина Михайлов- на Омельянова (урожденная Засецкая), жена артиллерии поручика⁹⁹. Ин- струменты в ее руках – рейсфедер (либо остро заточенный карандаш) и циркуль, которые намекают на род занятий, требующих знания точных наук: геометрии и математики. Введение в дворянский портрет (тем бо- лее женский) атрибутов точных наук – явление уникальное (лишь к кон- цу века начинает встречаться живописный образ читающей девушки и женщины – *портрет «с книгой»*). Объяснение находят в родстве дамы с известным в Вологде ученым, историком и краеведом А.А. Засецким – автором первого крупного труда по истории Вологодского края. Им со- ставлялись экономические примечания, готовились карты, чертежи, в подготовку которых могла быть вовлечена и Засецкая.

Новую возможность для самообразования в рамках семейного чтения дали появившиеся в 1780-х гг. новиковские еженедельные «Прибавления» к газете «Московские ведомости». В их числе был пер- вый в России (во многом непревзойденный и в дальнейшем) детский журнал энциклопедического характера «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789)¹⁰⁰. Но и сами родовые усадебные библиотеки, складывавшиеся в дворянских имениях в течение второй половины XVIII в., были тем ресурсом, который могли использовать (и использо- вали) для самообразования дворянские дети, в том числе и девочки. Женщине-дворянке в России XVIII века была доступна практика не только чтения, но и применения знаний, перевода и творчества как та- кового (они уже «пишут»). Преимущественно – стихи, но выражение

⁹⁹ Даен М.Е. Атрибуция портретов XVIII века, опыт идентификации персона- жей (Памятники из собрания Вологодского государственного музея-заповедника) // www.booksite.ru/fulltext/pos/luzh/ity/19.htm.

¹⁰⁰ См., напр.: Краснобаев Б.И. Начальный период деятельности Московского университета // История СССР. 1980. № 3. С. 138.

себя присутствовало и в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках и письмах)¹⁰¹. Были и другие пишущие женщины, ставшие публичными фигурами. Елизавета Васильевна Хераскова, Катерина Сергеевна Урусова и Варвара Александровна Трубецкая составляли женский кружок, объединенный интеллектуальными и литературными интересами¹⁰². Княжна Урусова в 1772 г. впервые опубликовала стихотворение под своим именем. Державин, которому ее прочили в невесты, высказался так: «Она пишет стихи, да и я мараю, то мы все забудем, что и шей сварить некому будет». Однако он с явным вниманием относился к ее творчеству (печатные и рукописные стихи находятся в его архиве). Урусова также постоянно общалась с Херасковым и его женой, одной из первых русских поэтесс, в доме которых собирались литераторы (И.Ф. Богданович, В.И. Майков, А.А. Ржевский, А.В. Храповицкий, М.В. Храповицкая-Сушкова и др.). В 1773 г. в петербургском журнале «Старина и новизна» появилось стихотворение М.М. Хераскова, адресованное Урусовой. Поощряя ее литературные занятия, маститый поэт давал свои рекомендации по выбору тем и жанров. Здесь же был помещен и стихотворный ответ Урусовой. Просвещенные читатели неплохо отреагировали на книгу Урусовой, вышедшую в 1777 г. (Н.И. Новиков писал: «...Сия поэма давно уже снискала похвалу и уважение от наилучших наших стихотворцев»). К концу XVIII – началу XIX в. в обществе уже устоялось представление о круге известных в обществе женщин-поэтесс. Многие из них упоминаются в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) Новикова.

Это демонстрирует и сочинение Александра Александровича Палицына¹⁰³ «Послание к Привету»¹⁰⁴ (1807). В своем имении Поповка Харьковской губернии, Палицын сгруппировал вокруг себя кружок, который называл «поповской академией». Во главе кружка стояли сам Палицын и его дочь, которую в письмах он обычно называет «чадцо» (жена лишь входила в кружок). Дочь, увлекавшаяся поэзией, занималась также живописью и архитектурой (архитектурными проектами был занят отец); исполняла у отца обязанности секретаря. В поэме, в

¹⁰¹ См.: *Савкина И.* Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М., 2007.

¹⁰² См.: *Кочеткова Н.Д.* Княжна Урусова и ее литературные собеседники // Н.А. Львов и его современники: литераторы, люди искусства. СПб., 2002.

¹⁰³ Выпускник Кадетского корпуса, литературный деятель, почетный член Харьковского университета. В 1767 г. вышел в отставку и поселился с женой и дочерью в деревне. Он и В.Н. Каразин заложили красугольные камни в развитие просвещения в Слободской Украине. см.: http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=103482.

¹⁰⁴ Послание к Привету, или Воспоминание о некоторых русских писателях моего времени // *Поэты 1790–1810-х годов.* Л., 1971.

«разговоре» с дочерью, слушая ее комментарии, Палицын дает краткий обзор русской литературы XVIII — начала XIX в. Между именами поэтов-мужчин с тем же пиететом называются «известные всем» 17 имен «пишущих» женщин (все упомянутые им – поэтессы и переводчицы, у троих из них вышли авторские издания отдельной книгой): «кои их в словесности трудами / Достойны стать в ряду с парнасскими писцами»¹⁰⁵. Писать для женщины (по мнению Палицына) – нормально.

Таковы конвенции относительно места женщины в обществе, характера и уровня ее образования, выработавшиеся на протяжении XVIII века. Здесь действуют установки, порожденные аурой Просвещения, широко понятым доступным видом занимательной деятельности. Конечно, очень важно, что такая установка подкреплялась и на верхних этажах власти. Екатерина и ее собственные литературные занятия, начавшиеся, кстати, лишь в 1769 г., имели, несомненно, исключительное значение для утверждения статуса литератора¹⁰⁶. Но главное – этот процесс подпитывала незаметная, но важная работа в дворянских семьях (без этого Смольный институт не мог бы изменить образовательную ситуацию). Значительное влияние на развитие у женщин сознания свободы *чувства* оказали пишущие женщины-француженки – идеи мадам де Сталь, Жорж-Санд.

Однако в дело вступает новый фактор, образовательная политика меняется: с начала правления Павла и надолго попечительницей благотворительных и женских образовательных учебных заведений становится императрица Мария Фёдоровна (1759–1828)¹⁰⁷. Взгляд на женское образование стал принципиально иным, чем в екатерининскую эпоху. Императрица жестко контролировала эту сферу: писала тексты уставов, инструкции по устройству отдельных учреждений, следила за подбором кадров. С ее деятельностью связано много положительных преобразований в этих сферах. Однако она резко изменила программу преподавания в женских институтах: с 1797 г. в России прекращается преподавание женщинам литературы, естественных наук и пр. Императрица Мария Федоровна признавала женщину «достойным и полезным членом государства» – но лишь в роли матери и хозяйки.

¹⁰⁵ Послание к Привете. См. также комментарий к изданию.

¹⁰⁶ Живов В. Первые русские литературные биографии. . .

¹⁰⁷ Мария Федоровна рано усвоила те взгляды на женское образование, которые выражены в «Philosophie des femmes» – стихотворении, занесенном в тетрадь будущей императрицы: «нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость – вот в чем должно состоять ее учение и философия». Воспитательное Общество благородных девиц (Смольный институт) // <http://jurfak.spb.ru/document/jubilee/Woman/Smolny.htm>.

Образование приобретало «женский характер», становясь специфическим, отличным от «настоящего» мужского. Вместо книги «О должностях человека и гражданина», которая читалась при Екатерине, получили хождение «Отечественные советы моей дочери», где утверждалось: «Бог и человеческое общество хотели, чтобы женщина зависела от мужчины, чтобы она ограничила круг своей деятельности домом, чтобы она признавала свою слабость, и преимущество мужа во всяком случае и снижала бы его любовь и приязнь скромностью и покорностью...»; женщина должна быть «совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка; должна разделять свое существование между детской и кухней, погребом, амбаром, двором и садом». Становится актуальным: тип женщины, знающей свое место (в семье) и выполняющей нравственный долг. Жены декабристов, образованные женщины, представительницы лучших семей явились и обрели высокий нравственный престиж в глазах мужского сообщества. Книжки, как и прежде, определяли умственный кругозор дворянской девушки. Но в 1820 г. даже такой либерал, как М.М. Сперанский, тщательно наблюдавший за образованием дочери, предостерегает ее от излишеств в учении. «Трудно, любезная моя Елисавета, определить, каким образом можно быть *автором в корсете*. Признаюсь, мне всегда смешно, когда я воображал себе m-me Stael сидящую за большим бюро и за кипой бумаг. Тут есть какое-то противоречие, которое изъяснить трудно, но нельзя его не чувствовать»¹⁰⁸. (А ведь Адодурову, Муравьеву, Фонвизину не было смешно!). Россиянкам предназначалась роль «хранительницы очага». Эта ситуация в конечном счете породила и жанр женского альбома, и феномен салона как «узаконенной» формы самодеятельности, социальной активности женщины, ее влияния в публичной сфере – ярким примером этого типа активности стала Зинаида Волконская.

Особую роль берут на себя женщины, связанные с академическим сообществом. Т.В. Костина описывает ситуацию в университетском сообществе Казани так: «Женская половина семей профессоров играла в университете свою роль, выполняла свои функции. Даже после смерти мужей, покинув университет, жены профессоров не прерывали связей с корпорацией. Образ жизни профессоров, определяемый университетом, не мог не отражаться на семейной жизни ... Легче всего воспринять такой образ жизни было девушкам из семей ученых, преподавателей, близких к университету людей»¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., 1988.

¹⁰⁹ Костина Т.В. Мир университетского профессора Казани. 1804–1863. Автореф. Дисс... к.и.н. Казань. 2007. С. 17–18.

Феномен образованной русской женщины, вольно или невольно претендующей на профессионализм, оказывается в зависимости еще и от процессов профессионализации интеллектуального труда в целом. Справедливости ради скажем, что в начале XIX в. и среди мужчин литературная карьера еще проблематична. Но отношение русского общества 1830–40-х гг. к пишущим женщинам уже совершенно иное: вообще все больше преобладает насмешливо-язвительное отношение к интеллектуалкам. Наиболее показателен казус поэтессы Каролины Павловой, дочери профессора математики Яниша, ведущей светскую и литературную жизнь¹¹⁰. О ней писали современники: «постоянно думала, что она пишет как русский поэт-мужчина» (то, что в поэте-мужчине воспринималось бы как норма, в женщине представлялось «навязчивостью, отсутствием такта, непомерным честолюбием»). Язвительная эта характеристика принадлежит Н.М. Языкову. В письме братьям (1832 г.) он пишет: «Вышепоименованная дева есть явление редкое, не только в Москве и России, но и под луною вообще. Она знает чрезвычайно много языков ... и все эти языки она беспрестанно высовывает, хвастаясь ими. Любит громогласить стихи свои, владеть разговором...»¹¹¹. Иван Аксаков (в ответ на сомнения в оправданности «не дельного» занятия поэзией) дает Павловой совет: дело ее жизни — «воспитание сына и звание матери», а на досуге можно предаваться и поэтическим опытам, которые он столь ценит». Сложное положение Павловой обуславливалось принадлежностью к мужскому творческому «союзу», ей постоянно приходилось выбирать, кем быть – «женщиной» или «поэтом»¹¹².

Случай Павловой – не единственный. Самый, пожалуй, известный – казус Авдотьи Панаевой, которая попыталась выйти за рамки роли хозяйки салона, «литературного театра» своей эпохи, но прославилась лишь как *собеседница* таких выдающихся деятелей культуры, как Белинский, Аксаков, Григорович, Кукольник, Фет, Боткин, Достоевский, Чернышевский, не говоря о близких ей Некрасове и Панаеве. Она была деятельной сотрудницей журнала «Отечественные Записки» и одаренной писательницей¹¹³. Вернемся, однако, к XVIII веку.

Поведенческий код женщины XVIII в. не установился еще жестко. С одержимостью неопитов устремились некоторые женщины к вершинам Просвещения, и возможность этого им дала патриархальная обста-

¹¹⁰ Роднянская И.Б. Павлова Каролина Карловна // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 493–497.

¹¹¹ Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934. С. 791–792.

¹¹² Роднянская И.Б. Указ. соч.

¹¹³ Трофимова Е.И. «Дочки-матери» семейства Тальниковых в повести А.Я. Панаевой // Мальчики и девочки: реалии социализации. Сб. ст. Уральский университет. 2004. (<http://library.gender-ehu.org/hms/home.php?publiclogin=1>).

новка русских усадеб. Семьи среднего и мелкого дворянства, из тех, что выходили на уровень «культурных очагов», были благоприятной средой, где шло успешное развитие девушек и складывание отношений в семьях на новой почве, некоей новой норме, конвенции, принятой дворянским обществом относительно пользы «просвещения».

Образованный разночинец

Как уже говорилось, наука как вид деятельности требовала начитанности и освоения определенных академических навыков (таких, как точный эксперимент, рутинная и иногда – как в медицине – довольно грязная практическая работа, кропотливый поиск и работа с документами, знакомство с множеством текстов и верификация научных фактов, критика источников, научное аргументированное изложение и пр.). На этот труд были способны за небольшим исключением, только образованные разночинцы, ориентированные на профессиональную специализацию и академические нормы. С другой стороны, требовалось признание незыблемости таких установок, как смелость и самостоятельность суждений, признание бессловных ценностей знания и научного авторитета. Что касается россиян, то социальный слой, удовлетворяющий *всем* этим требованиям, пока практически не сложился, иностранные же ученые, работавшие в России, использовали в своей карьере тот символический капитал, который обеспечивался их особым положением.

Разночинцы, «люди разного чина и звания», межсословная категория населения XVIII–XIX вв.; выходцы из духовенства, купечества, мещанства, крестьянства, мелкого чиновничества и обедневшего дворянства, получившие образование и оторвавшиеся от прежней социальной среды. Появление разночинского слоя было обусловлено новыми явлениями, породившими спрос на специалистов умственного труда, а также влиянием идей Просвещения. Но определяющее влияние на общественную жизнь этот слой начал оказывать примерно с 1830–40-х гг., став базой для формирования российской интеллигенции¹¹⁴.

Разночинцы – среда, во многом сформировавшая облик новой российской культуры. Вплоть до конца XVIII в. дворянство предпочитало домашнее или «военное» сословное образование. Образование нового типа получали солдатские дети и дети священников (отчасти – дети той самой разночинской среды, которая начинала воспроизводить себя: служителей и инспекторов университета и Академии Художеств, типографов и т.п.). Наконец, в Московский университет мог попасть сын крепостного с отпуской. К тому же сама дворянская

¹¹⁴ Образование в России и на позднем этапе не могло выполнять социально-дифференцирующую функции. Понятие *ученый* обрело статус термина в российском законодательстве только с 10 апреля 1862 года.

усадебна, владелец которой был уже «просвещен», создавала вокруг себя определенную культурную среду, становясь рассадником не только новых форм искусства, но и новых *социальных статусов*. Именно из среды крепостных крестьян (дворовых) происходили в XVIII в. т. н. люди свободных профессий («вольные художники») ¹¹⁵.

Встала серьезная проблема разночинца-интеллигента, действующего в условиях господства дворянской культуры ¹¹⁶. Даже те разночинцы, которые прошли в университете «процесс вторичной социализации» и поднимались по социальной лестнице благодаря полученному образованию, как правило, с трудом встраивались в жизнь за пределами «университетского пространства», оставаясь «чужими» в «чиновной» системе.

Еще в 1764 г. И.И. Бецкой писал о трудностях на пути формирования ученого сословия в России: «Из посланных еще при Государе Императоре Петре Великом дворяне с хорошими возвратились успехами в том, чему они обучаться назначены были, но по возвращении, имея путь и право к большим чинам и заслугам, не могли они в том упражняться. Другие, из простого народа к наукам взятые, также весьма скоро успевали в оных, но скорее еще в прежнее невежество и небытие возвратились, отчего и людей такого состояния, которое в других местах третьим степенем или средним называется, Россия до сего времени и произвести не могла» ¹¹⁷. Исключением были самородки вроде Ломоносова, которые сразу попадали на роли маргиналов.

Нестандартное поведение талантливых разночинцев, пытавшихся обрести свое место в Академии или в элитарных кругах, отражало попытки вырваться из замкнутого круга, очерченного низким происхождением и отсутствием социального статуса. Карьера на поприще учености выстраивалась сложно, реализуясь за счет субъективного выбора и нестандартных решений самого индивида. Одного нельзя было изменить сразу: манер, заложенных в процессе воспитания. Дворяне, получавшие европеизированное воспитание в семье, выгодно отличались этим от разночинцев, даже получивших университетское образование.

Для сына помора Михайлы Ломоносова овладение этикетом, который стал востребован в эпоху Просвещения, было проблематично. Нормы поведения семинаристов, усвоенные Ломоносовым еще в Заиконоспасском училище, были затем «обогащены» опытом разночинной

¹¹⁵ Одним из каналов создания группы лиц «свободных профессий» были незаконнорожденные сыновья помещиков.

¹¹⁶ Зыкова Г.В. Журнал Московского университета «Вестник Европы» (1805–1830 гг.): разночинцы в эпоху дворянской культуры. М., 1998; *Виртушфтер Э.К.* Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М., 2002.

¹¹⁷ Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества. Т. 1. СПб., 1789. С. 4.

академической среды и воинственными манерами, почерпнутыми у буршества и в процессе путешествий в Германии (когда Ломоносов чуть не «загребел» в солдаты). И именно академические свободы и бессловесные корпоративные традиции, с которыми он познакомился в европейских университетах, Михайло пытался отстоять уже в Петербургской Академии – с азартом неопита, не стесняясь в проявлении протеста. В.М. Живов, говоря о Ломоносове, так определил посылы его поведения в Академии наук в молодые лета: «получение... статуса требовало утверждения собственной исключительности, и это обязательство, тяжкое и унижительное, поддерживало ощущение социальной неполноценности, а вместе с ним и тот надрыв, который побуждает Ломоносова пить, скандалить и вступать в бесконечные конфликты со своими коллегами»¹¹⁸.

Если обратить внимание на быт и материальное положение учащихся Академического университета в 1740-х гг. (тех же разночинцев), то мы найдем бесконечные жалобы начальства на брань, пьянство, драки и другие неприятные инциденты¹¹⁹. Один из самых известных – казус питомца Академического университета (поповича по происхождению) И.С. Баркова, автора многочисленных стихотворений, прославившихся нецензурной лексикой¹²⁰). Судьбу Баркова уже в Москве в какой-то мере повторил Ф.Я. Яремский, также попович и воспитанник Академического университета. Магистр с 1753 г., любимый ученик Ломоносова, он не смог получить должности помощника ректора академической гимназии из-за противодействия Канцелярии. Работал переводчиком, а поступив в Московский университет, преподавал в здешней гимназии латынь, риторику и русскую грамматику. Не раз получал нарекания за поведение «самым непристойным образом» («не является давно в гимназию и не исправляется»). Неоднократные увещания не помогали, но как «человека весьма знающего» его прощали, понижая в должности (с 1760 г. этот магистр – уже корректор университетской типографии). В 1762 г. было решено понизить ему жалование («за частым пьянством и непопорочными поступками... неисправен является, отчего типографии делается вредительная остановка»), затем следы Яремского теряются¹²¹.

¹¹⁸ Живов В. Первые русские литературные биографии...

¹¹⁹ Материалы по истории С.-Петербургского университета... С. 118–120.

¹²⁰ Барков работал в академических учреждениях, много переводил, но был постоянно порицаем «за пьянство и неправильность». Он прославился своими остроумными и злыми сатирами, а также скандально известной непристойной поэзией, в которой умело пародировал риторические условности классической поэзии. В 1766 г. окончательно уволен из Академии. (Степанов В.П. Барков Иван Семенович // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988).

¹²¹ Документы. Т. 1. С. 387; 130, 142, 239–240.

Тип независимого и неуживчивого, но талантливоего разночинца представлял московский студент Антон Любинский. Человек способный, учившийся сначала в Киевской академии, затем успешно выдержавший экзамен в Академии наук (но не принятый по возрасту), он некоторое время был студентом в Москве, где осмелился давать частные уроки математики (его объявление 1757 г. о приискивании себе уроков исследователи называют *первым студенческим объявлением* такого рода в России). В 1758 г. Любинский ненадолго отправился в Казанскую гимназию преподавателем арифметики, в ордере 1759 года рекомендуется ему «яко известно беспокойному человеку, приказать, чтобы он смирно и тихо себя вел, и новости, как и здесь, в бытность свою в Университете, не выдумывал». Вскоре Любинский вернулся в Москву и преподавал математику. Покинул университет в 1762 г.: поссорившись с куратором Адодуровым (считается, что его обошли чином), он поехал в Петербург жаловаться Шувалову, его отлучка была рассмотрена как самовольный уход из университета¹²².

Университетский поэт и переводчик, сын экономического крестьянина Ермил Костров пытался писать оды (Екатерине II, Потемкину, Плутону), переводил «Илиаду», поэзию Оссиана, но так и не смог реализовать свои таланты в полной мере. В глазах современников он являл собой тип талантливого разночинца-простеца, известного неумеренными возлияниями и наивными откровениями в беседах с аристократами¹²³.

Поэт и один из первых, если не первый, русский романист, В.Т. Нарезный учился в университете с 1792 по 1801 г. и ещё студентом зарабатывал переводами «на вольную продажу». Выйдя из стен университета, пытался жить на литературный доход, но вынужден был довольствоваться карьерой мелкого чиновника; оказался без связей с высшими кругами и «потому остался вдали от «верхов» русской литературы»¹²⁴.

Приведенные примеры свидетельствуют, что провозглашенная «всословность» учебного заведения была чревата изломанными судьбами тех разночинцев, которые, оказавшись *вне его стен*, пытались *выйти за рамки сословного поведения*. Пристрастие к спиртному, характеризующее «неблагородное сословие» россиян в целом, присутствует в наших случаях в большой мере, но не всегда. Пьянство может являться следствием «неустроенности», которая как раз выглядит как константа.

¹²² Там же. С. 359, 319, 329.

¹²³ Шшикин А.Б. Костров Ермил Иванович // Словарь русских писателей... Т. 2.

¹²⁴ Соколов Ю. В.Т. Нарезный (Два очерка) // Беседы. Сборник общества истории литературы в Москве. Т. 1. М., 1915. С. 85; Ларионова Е.О. Нарезный // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999.

В Московском университете в течение второй половины XVIII в. складывался внутренний порядок, вызывающий ассоциацию с традиционным российским общинным бытом, который был призван «вписать» учащегося-разночинца в образовательную систему. Старшим студентам поручалось опекать младших и гимназистов. Отвечая за младших, они становились «камерными», «подкамерными», затем – «информаторами», и, наконец, учителями. Студенты-разночинцы преподавали в гимназических классах, помогали готовить уроки, водили учеников в столовую и церковь. Руководство считало такое устройство весьма полезным: студенты подавали младшим пример, а кроме того приобретали немалый педагогический опыт¹²⁵. Руководство старалось отбирать в штат лучших из студентов. «Университет... приудерживал их у себя, обнадеживая местами лучшими... потому что таковые служили образцами для студентов младших» – нечто вроде семейных отношений. Таким образом, сотрудники готовились в основном «из своих» – так Московский университет становился самовоспроизводящей структурой.

Но, тем не менее, для талантливых и активных людей (разночинцев определенного склада) зависимость и подчиненность положения, видимо, входили в противоречие с самим принципом академической свободы. Другой путь был – оставаться в рамках сословного поведения.

Однако те из разночинцев, которые достаточно удачно «встраиваются» в структуры дворянского общества, следуя сложившемуся стереотипу отношений, подвергаются критике уже не за «грубость» и неуживчивость, а наоборот, за «искательство», «этикетное раболепие» перед покровителями. С истинно аристократической спесью выпускник университета М.А. Дмитриев говорит о другом его выпускнике, известном архивисте А.Ф. Малиновском, сыне протопопа: «искусный в искательстве у вельмож», он «так подл»: «однажды, будучи уже сенатором, зная, в каком часу должен приехать в Москву Аракчеев..., он целое утро дождался его на крыльце»¹²⁶. Злые языки называли тогда ещё бакалавра Мерзлякова «подлым искателем» в отношении его соратника по университетскому литературному кружку А.И. Тургенева, дистанцию между которыми составляли «знатность и обстоятельства»¹²⁷. Намекая на купеческое происхождение историка Н.А. Полевого, Н.С. Голицын писал:

Обритый сын брадатого отца
В статьях своих, прескучных и предлинных,
Толкует всё без меры и конца,

¹²⁵ Шевырев С.П. История Императорского Московского университета. М., 1855. С. 275.

¹²⁶ Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 165.

¹²⁷ Цит. по: Зорин А.Л. У истоков русского германофильства. С. 10.

О балах и гостинных¹²⁸;
Так и Вольтер о рае пел,
Хотя войти в него надежды не имел¹²⁹.

Покровительственное отношение к литератору со стороны аристократии было характерно для русской культуры и сохранялось в целом в литературных кругах Москвы и Петербурга в начале XIX века. О внесловных достоинствах интеллектуала из разночинцев решались говорить немногие дворяне. М.Н. Муравьев еще в своей сентиментальной повести 1790 г. «Обитатель предместья» писал о юноше, который научился «отличать от самого себя посторонние достоинства... богатство... внешнее сияние»: «Окруженный равными, он должен был заслуживать дружбу каждого. Почтение, которое ему оказывали после, было его собственное затем, что состояние его не было никому известно. Одетый, как прочие..., он отличался от них одною приятностию нрава, повиновением, любовью труда и добродетели»¹³⁰. Это очевидная утопия, но не ее ли воплощал Муравьев в «ученой республике» Московского университета, реформированием которого он занимался до 1804 г.?

Позднее, где-то с 1830-х гг. развитие системы образования, а также развитие инфраструктур книгопечатания, книготорговли и журналистики, принесло более упорядоченную систему денежных выплат и более определенный статус людям интеллектуального труда, которые становятся в финансовых вопросах относительно независимыми и в большей мере социально мобильными.

Сообщества

В Западной Европе средневековая интеллектуальная среда, университетские преподаватели были организованы в корпорации и занимали в обществе те же позиции, что и любые другие официально признанные автономные профессиональные группы. Иное дело в России: здесь даже основные сословия получили законодательное оформление достаточно поздно. Но эпоха Просвещения принесла новые формы общения и социальных связей. Одним из первых типов малых сообществ в России были масонские организации.

Значение рационализма как господствующего метода познания для эпохи Просвещения обычно сильно преувеличивают. С рационализмом в XVIII в. сосуществуют и иные формы познания (связанные с теми или иными социальными или духовными движениями: масонством, пиетизмом, алхимией и пр.), формировавшие особую социальную

¹²⁸ Орфография г. Полевого (прим. Н.С. Голицына).

¹²⁹ Русская эпиграмма. М., 1990. С. 123.

¹³⁰ *Муравьев М.Н.* Обитатель предместья // Русская сентиментальная повесть. М., 1979. С. 88.

среду и стимулировавшие особые виды интеллектуальной активности. Для них характерна мистификация самого понятия познания и просвещения. Внерациональные формы познания требовали особого языка и специфических форм выражения. Язык абстрактных понятий мог быть как визуализированным, так и усложненно-вербальным, а мог и объединять средства эмоционально-эстетического отношения и рационально-логического дискурса¹³¹. Даже алхимическую (герметическую) традицию XVIII века можно рассматривать не только как оккультизм, но и как «умозрительное природоведение»¹³². Само возникновение института образования было связано с овладением *таинством знания* и разделением общества на тех, кто им владеет, кто посвящен, и на тех, кому они недоступны. Владение знанием ставило человека в особое положение, давало почёт и уважение. В XVIII в. интерес к «наукам» поддерживался именно в дворянской среде – там, где «знание», как правило, не имело ничего общего с утилитарными занятиями. И масонство XVIII века многим казалось *путем* Просвещения, стоящим весьма близко к науке, и сулило проникновение в тайны природы и мироздания.

Лекции И. Шварца, собиравшие кружок университетской публики, были основаны на комментариях трудов, прежде всего, немецкого мистика Я. Бёме и отражали в том числе и (в определенном смысле) особенности этапов развития экспериментальной науки того времени. Трудно представить себе, насколько тесно в умах людей переплетались вера и наука, мистика и христианство, ведь «в целом идея алхимиков об улучшении искаженной природы металла для превращения его в идеальное золото должна была быть близка масонской идее улучшения собственной природы до идеального состояния богочеловека, т.е. Иисуса Христа... Эти искания отражали стремление к знаниям, привычку мыслить, развитую преобразованиями Петра I в широких кругах русского дворянства»¹³³. Однако, помимо этого для людей круга Новикова и Шварца масонство означало поиск руководства к жизни, ключ к нравственному воспитанию, реальную просветительскую общественную деятельность и *форму объединения* на этом пути.

Взгляды Новикова и Шварца не совпадали, но они успешно сотрудничали в деле просвещения и образования, создав Педагогическую и Переводческую семинарии, «Дружеское учёное общество» и другие

¹³¹ *Артемяева Т.В.* Софиократические идеалы и эпистемологические утопии Михаила Хераскова // *Философский век*. Вып. 12. СПб., 2000. С. 13–47.

¹³² *Рабинович В.Л.* Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 293.

¹³³ *Лотарева Д.Д.* Масонство в системе русской культуры второй половины XVIII – первой четверти XIX в. // *Вестник Московского университета*. Серия 8. История. 1995. № 6. С. 42.

объединения. Открытие «Дружеского учёного общества» состоялось в ноябре 1782 г. Объявления, отпечатанные на русском и латинском языках, гласили, что целью общества ставится печатание книг, распространение знания древних языков, естествознания, истории. Организаторы семинарий ставили перед собой, помимо целей нравственного воспитания, и чисто практические задачи – подготовку квалифицированных и мыслящих преподавателей и переводчиков. Наряду с просветительской работой в московском кружке шла благотворительная деятельность, в том числе поддержка студентов – питомцев «Дружеского общества». Они получали содержание на счет Общества, становились его сотрудниками, некоторые из них были посланы учиться за границу. Петр Иванович Страхов вскоре по возвращении с такой стажировки занял профессорскую кафедру Московского университета, став одним из «столпов» корпорации¹³⁴. В основу отношений воспитанников был положен просветительский идеал дружбы как своеобразной школы общественных добродетелей. Выпускники новиковских семинарий и студенты университета (Л. Максимович, А. Лабзин, А. Антонский, П. Сохацкий, И. Тимковский и др.) с 1781 г. объединились в Собрание университетских питомцев, организатором которого был М.И. Антоновский (в 1779–83 гг. студент университета), написавший устав общества и ставший его президентом¹³⁵. Здесь они встречались, упражнялись в сочинениях и переводах, читали и обсуждали прочитанное, учились ораторскому искусству – всё под покровительством Дружеского учёного общества. И. Шварц как инспектор педагогической семинарии и преподаватель стал кумиром молодежи, внося в интеллектуальное общение струю близких личных отношений (ведь и московские масоны образовали именно *Дружеское* учёное общество). То, что впитали в себя участники новиковских организаций, заключало интеллектуальный и нравственный потенциал, который сохранялся в университете и после разгрома кружка. Люди, связанные с кружками, составили костяк корпуса руководителей и преподавателей университета. И. Тургенев, М. Херасков и другие друзья Новикова, продолжали действовать в университете и в Благородном пансионе, сумев (особенно в последнем) сохранить атмосферу нравственно-философских исканий.

Отметим механизм «трансляции» традиции: в 1784 г. Антоновский, переехав на службу в Петербург, стал одним из учредителей другого общества – Общества друзей словесных наук, куда вошли некоторые из прежних его соучеников-москвичей и молодые петербургские литераторы; общество считало себя частью московского Собрания университет-

¹³⁴ Боголюбов В. Н.И. Новиков и его время. М., 1916. С. 343.

¹³⁵ Словарь русских писателей XVIII века. Т. 1. С. 35.

ских питомцев. Не без новиковского влияния в 1789 г. уже в Московском университетском благородном пансионе возникло самостоятельное литературное Общество («отработка вкуса» и прилежание к наукам)¹³⁶.

Деятельность кружка Новикова пронизывал дух ассоциации, общенная просвещённых людей. Он считал книгопечатание «наивеличайшим из всех изобретений», а общественную самодеятельность – надёжным орудием к распространению просвещения¹³⁷. Можно рассматривать как точки притяжения (связи физического и интеллектуального пространства) – типографии и книжные лавки, дома Новикова и его окружения. В случае с кругом Новикова налицо новый тип поведения, поведения социально значимого, попытка реализовать которое сделана в сфере *неформальных общностей*. Близкое явление – «литературные вечера», которые собирались у профессора И. Шварца¹³⁸. Будучи отстранен от чтения лекций в стенах университета, он на дому начал читать философские лекции «нового рода» для всех желающих. («Как будто новый свет просиял тогда слушателям! Какое направление умам и сердцам дал сий благодетельный муж!») – писал современник¹³⁹.

Насколько велика была умственная работа, которая происходила у молодых членов новиковских организаций, какое значение имел этот опыт для складывания их нравственно-философских взглядов, подтверждают их судьбы. Возьмем лишь один пример – будущего поэта Семена Боброва, который в годы учебы в Московском университете сблизился с «новиковцами». Он входил в Собрание университетских питомцев, Дружеское общество, переводческие семинарии, печатался в масонских изданиях. Позднее, пропутешествовав как чиновник адмиралтейства по югу России, Бобров уже как поэт включился в литературную жизнь Петербурга, опубликовав ряд сочинений, в том числе поэму «Таврида». Как и Карамзин, Бобров впитал тягу к жанру масонского «литературного» путешествия («внешнее» путешествие искателя мудрости – лишь разновидность его внутреннего странствия). Бобров *соединял* в своем творчестве разные течения – идеи философии мироздания М.В. Ломоносова, И. Ньютона, И. Кеплера, Ж. Делиля, экономический и экологический подход к необъятным просторам осваиваемых Россией пространств, чисто научное мировоззрение – с масонской мистикой, «натурфилософией» кумира московских масонов Я. Бёме; возвышенный строй Державина – с

¹³⁶ Сушков Н.В. Указ. соч. С. 42.

¹³⁷ Илизаров С.С. Московская интеллигенция... С. 196–197.

¹³⁸ Письмо неизвестного лица о московском масонстве XVIII века // Русский архив. Кн. 1. 1784.

¹³⁹ Русский архив. Кн. 5. 1866.

«ночной» поэзией Э. Юнга и проч.¹⁴⁰ Так в атмосфере лекций Шварца, под влиянием Новикова, Хераскова и др., сформировалось мировоззрение представителя той линии, которая через творчество «любомудров» вела к философской лирике XIX в., к Тютчеву. Беседы в узком кругу, индивидуализация быта, привычка к внутренней (кабинетной) работе, самопознанию, вдумчивое отношение к книге – все это вносило масонство в жизнь молодых из числа университетских¹⁴¹. Но в одной из статей в журнале Новикова присутствует мысль, разделяемая им самим: «Человек создан для сообщества с подобными себе»; уединение, самозерцание в одиночестве противоестественны, ибо человек один «без особого чуда не может сохранить жизнь свою»¹⁴².

Самодеятельность как Новикова, так и Шварца, их старание внести в студенческую среду новые формы общения на базе полемики, сотрудничества в разработке насущных проблем, в популяризации знания, обсуждение в несанкционированных собраниях острых проблем современного общества, создание «околоуниверситетских» центров общения, наконец – *финансовая независимость* Типографической компании, а именно она позволяла заказывать переводы нужных книг и издавать их, посылать на свой счет на заграничную учебу – все это встретило неодобрение. Деятельность кружков была прервана.

Вообще власть допускала некоторую общественную самодеятельность (дворянские городские общества, Вольное экономическое общество); поощрялось и образование торгово-промышленных компаний. Однако элементы просвещенного абсолютизма в культурной политике Екатерины II сочетались с чисто феодальной регламентацией жизни и деятельности людей. Так, согласно ст. 65 «Устава благочиния» (1782), «Управа благочиния в городе *законом не утвержденное* общество, товарищество, братство и иное подобное собрание... не признает за действительное, ...буде же таковое... собрание общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо бесполезно, то подлежит уничтожению и запрещению»¹⁴³. Под эту формулировку подпала и Типографическая компа-

¹⁴⁰ Люсый А. Футурист из восемнадцатого века // Кулиса. 1998, июнь, № 11; Зайонц Л. О. Бобров // Русские писатели. 1800–1917. Т. 1. М., 1989.

¹⁴¹ Журналы Н.И. Новикова 1770-х – 1780-х гг., первоначально задуманные как масонские, благодаря многообразию представленных в статьях и публикациях мнений постепенно превращались в открытый дискуссионный клуб, общественно-политическую и философскую кафедру. *Валицкая А.П.* Русская эстетика XVIII века: Историко-проблемный очерк просветительской мысли. М., 1983. С. 123–143.

¹⁴² «Магазин свободнокаменщицкий». 1784. Т. 1. Ч. 2. С. 14.

¹⁴³ Устав благочиния или полицейский. 1782 г., апреля 8 // Российское законодательство X–XX веков. В 9-ти тт. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. С. 339 (курсив мой – И.К.).

ния, и другие объединения новиковцев. Кружки Новикова и Шварца были объявлены негодными, «вредными» для студенчества.

Однако, последствия запретительной политики в университете не замедлили сказаться: в результате вмешательства извне интеллектуальная жизнь части лучшего студенчества и учеников гимназий уже в начале XIX в. оказалась смещенной в сферу, не санкционированную властью. Здесь, как кажется, берет начало и *кружковая* форма творческого объединения, ставшая позднее неотъемлемой частью университетской жизни. И.П. Тургенев, член кружка Новикова, был отцом А. Тургенева, вдохновителя Дружеского литературного общества (1801)¹⁴⁴, первого университетского кружка, куда вошли преподаватели и воспитанники Московского университета и Благородного пансиона. Центром кружка (первого в череде других, появлявшихся в изобилии позднее) стал дом Тургеневых в Петроверигском переулке, формой – собрания, где беседа перемежалась с застольем. Основой таких неофициальных и даже «антиофициальных содружеств» (Ю.М. Лотман¹⁴⁵) становится чисто идейная общность, независимая от возрастной, профессиональной и сословной принадлежности и положения в обществе, сохраняющаяся в университете не только на протяжении всего XIX, но и XX века¹⁴⁶.

Предупреждая возобновление масонских кружков в студенческой среде, именно в 1789 г., после гонений на Новикова и Шварца, при Московском университете официально было создано одно из первых научных обществ, «Собрание любителей российской учёности». На его открытии присутствовал главнокомандующий Еропкин и знатные особы. Это общество как бы противопоставлялось «самостийным». Как известно, Новиков обвинялся позднее в устройстве «тайных сборищ», а переводческая семинария была закрыта по предписанию Екатерины II как одно из «скопищ известного нового раскола»¹⁴⁷. В Уставе «Собрания любителей российской учёности» так формулируются главные цели общества – споспешествовать распространению наук и их влиянию, «избегая, впрочем, всех поводов к суетным и бесполезным каким-либо мистическим или таинственным умствованиям»¹⁴⁸. Специально ого-

¹⁴⁴ Лотман Ю.М. А.Ф. Мерзляков как поэт. С. 232.

¹⁴⁵ Лотман Ю.М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3-х т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 430-431.

¹⁴⁶ Ср.: «Если в немецкой культуре ... наука была предметом публичного дискурса, то в России наука стала предметом как публичного, так и частного дискурса. Более того, русский ученый «настоящие» разговоры-споры помещает преимущественно в пределы «частного» пространства» // Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // ВИЕТ. 1994. № 4. С. 7.

¹⁴⁷ Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 261.

¹⁴⁸ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 49. Л. 2 – 2 об. (курсив мой – И.К.).

ворено, что общество должно существовать в рамках университета, под контролем его руководства: «Покои... должны быть казенные, в том самом училище, при котором оно подтверждено», т.е. в стенах университета. «В обыкновенных собраниях никто из посторонних, без особого на то позволения от председателя, присутствовать не должен»¹⁴⁹.

Вместо заключения

Мы попытались очертить круг проблем, связанных с формированием новой среды, представители которой так или иначе были причастны к интеллектуальной деятельности. Самое интересное в этом процессе – как сосуществовали и влияли друг на друга самые разные, порой плохо совместимые традиции, как они трансформировались и видоизменялись. После Петровских реформ в российских условиях продвигался процесс, который Н. Элиас назвал цивилизационным. В российском варианте много специфики. Мы пытались показать, какие специфические формы принимала интеллектуальная деятельность представителей новой для России культурной элиты – тонкого слоя литературно и эстетически ориентированной интеллектуальной субкультуры внутри культуры дворянской и образованного разночинца.

Но к рубежу XVIII–XIX вв. эти два типа уже не оторваны друг от друга, они оказываются в одной аудитории в университете, литературном обществе, в масонском собрании. На одной скамье, на почве совместной интеллектуальной деятельности впервые в истории России получили потенциальную возможность встретиться «как равные» нищие солдатские дети и отпрыски аристократов. В этих сообществах мы наблюдаем сеть личных связей – как вертикальных («учитель–ученик»), так и горизонтальных¹⁵⁰. В этих интеллектуальных сетях накапливался разнородный культурный капитал, вырабатывались приемы партнерского сотрудничества. И эти связи – уже не типичные для русского общества семейные, «общинные», соседские контакты, но связи на идейной основе. Отношения независимого партнерства – новый для России тип отношений, возникавших как между профессорами, учеными-профессионалами, так и между студентами; они же поддерживали коммуникации вокруг редакций журналов; эти же отношения отчасти характеризовали среду первых «ученых» обществ и масонских кружков и «проглядывали» в отношениях Шувалова и Ломоносова.

Однако с этим типом отношений соседствовал другой, более распространенный и традиционный для России. Фигуры покровителя и

¹⁴⁹ Там же. Л. 4 об.

¹⁵⁰ О типах связей см.: Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 32.

вельможного организатора смотрятся органично, воплощая роль медиатора между интеллектуальным сообществом и властью. Отношения родства, покровительства, тесных связей и «обмена услугами» покровителя и его «клиентов» – «патерналистский» по типу, пока воспроизводивший в каждом поколении тип отношений, характеризующийся «отеческой простотой». Эти отношения благородного патрона со студентами, обслуживающими его интересы разночинцами стягивали не менее прочные социальные сети и клиентелы, продвигая тем самым развитие интеллектуальной традиции. Но ни тот, ни другой тип отношений мы не найдем в чистом виде, и в этом – цивилизационная специфика России.

Просвещение – «европейский универсальный феномен, приспособившийся к различным временным и культурным обстоятельствам»¹⁵¹. Просвещение часто характеризуют как «культурно-идеологическое и философское движение общественной мысли, связанное с эпохой утверждения капиталистических отношений»¹⁵². Разумеется, ни на какие существенные проявления капитализма как такового в рассматриваемый период указать нельзя. Однако, вот парадокс: капитализма не было, а Просвещение как явление – было! Образованный разночинец накапливал культурный потенциал, подготавливая появление такого феномена, как «русская интеллигенция» (ему пока не хватало самостоятельности и той независимости, которую обеспечивали его европейскому собрату развитие сферы печати и наличие массового потребителя-читателя). С другой стороны, российское дворянство, оставаясь, по сути, феодальным сословием, втягивалось в новые культурные процессы и как бы исподволь накапливало свойства, характерные для «просвещенного» новоевропейского человека. В тиши кабинета поэт М.Н. Муравьев, сам того полностью не осознавая, положил начало своеобразному «перевороту» в русской литературной традиции. Он отошел от «высоких» традиций оды и, попробовав взглянуть «около себя», отразил в стихах и сочинениях именно «себя». Себя – как автономную личность, анализирующую окружающий мир. И неслучайно, видимо, именно М.Н. Муравьев встал во главе самой прогрессивной университетской реформы за всю историю существования университетов (включая и сегодняшний день).

¹⁵¹ *Рикуперати Дж.* Человек Просвещения // Мир Просвещения: Исторический словарь. Под ред. В. Ферроне и Д. Роша. Пер. с итал. Н.Ю. Плавинской под ред. С.Я. Карпа. М., 2003. С. 28.

¹⁵² Просвещение // Новейший философский словарь: 3-е изд. Мн., 2003.

3.2. ФЕНОМЕН РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ XIX ВЕКА

МОДЕЛЬ МИРА И ПАРАДОКСЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Проблема понимания прошлого и настоящего русской культуры тесно связана с проблемой понимания феномена русской интеллигенции. Употребление слова *феномен* не означает указания на уникальность русской интеллигенции, что неоднократно подчеркивалось как в самом интеллигентском дискурсе, так и во множестве исследовательских работ. Безусловно, русская интеллигенция обладала особенными чертами, поскольку можно говорить об особенностях русской культуры и русского общества, и в этом смысле она действительно уникальна, но интеллигенция как группа, социальный и культурный слой или как субкультура существовала и в других странах, о чем убедительно свидетельствуют отечественные и зарубежные исследования. В ходе дискуссии за в Институте востоковедения при обсуждении вопроса, считать ли понятие интеллигенции сугубо русским явлением, в одном из выступлений с иронией было замечено, что Россия – «прародина интеллигенции не в большей мере, чем родина слонов»¹.

С другой стороны, феномен интеллигенции заключается в том, что неоднократное обращение к изучению интеллигенции и даже выделение особого исследовательского направления «интеллигентоведения»² не

¹ *Главацкий М.Е.* История интеллигенции России как исследовательская проблема. Историографические этюды. Екатеринбург, 2003. С. 25.

² Многочисленные исследования истории российской интеллигенции нашли отражение в статьях, диссертациях, монографиях, материалах конференций, издании журнала «Интеллигенция и мир» и пр. Назовем лишь несколько исследований, наиболее ярко отражающих проблемное и методологическое поле исследований по истории интеллигенции в России: *Лейкина-Свирская В.Р.* Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М.: Мысль, 1971; *Она же.* Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. М., 1981; *Пирумова Н.М.* Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. М., 1986; *Ерман Л.К.* Интеллигенция в первой русской революции. М., 1966; *Березовая Л.Г.* Самосознание русской интеллигенции начала XX в. М., 1993; *Щетинина Г.И.* Идеиная жизнь русской интеллигенции. Конец XIX – начало XX в. М., 1995; *Элбакян Е.С.* Религия в сознании российской интеллигенции XIX – начала XX в.: философско-исторический анализ. М., 1996; *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: НЛЮ, 1996; Русская интеллигенция: история и судьба. М., 1999; *Итенберг Б.С.* Российская интеллигенция и Запад: Век XIX. М., 1999; *Могильнер М.* Мифология “подпольного человека”: радикальный микрокосм в России начала XX в. как предмет семиотического анализа. М., 1999; Россия/Russia. Вып. 2 (10): Русская интеллигенция и западный ин-

только не приблизило к пониманию сущности этого явления, но и закрепило полемический характер самой категории интеллигенции, определения которой часто приобретали взаимоисключающий характер. Признавая историческую основу этого понятия, необходимо признать и исторические особенности обозначаемого им социокультурного явления, которые невозможно отразить в одном всеобъемлющем определении³.

Интеллигенция многослойна, субкультура интеллигенции достаточно разнообразна, и множество различий, которые зависят от места жительства, социального положения, профессиональной принадлежности, политических убеждений и т.д., способны разрушить любой целостный образ интеллигенции. Возможно, этой многослойностью или фрагментированностью интеллигенции определяется отраженное в интеллигентском дискурсе стремление к целостности, внутренней непротиворечивости, закрепляющее границы этой группы, вплоть до пред-

теллектуализм: история и типология. М., 1999; Интеллигенция в истории: образованный человек в представлениях и социальной действительности. М.: ИВИ РАН, 2001; *Вихавайнен Т.* Внутренний враг: борьба с мешанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004; *Malia M.* What Is the Intelligentsia? // *The Russian Intelligentsia* / ed. Richard Pipes. N.Y.: Columbia U.P., 1961; *Brower D.R.* The Problem of the Russian Intelligentsia // *Slavic Review*. 1967. Vol. 26. N 4. P. 638–47; *Confino M.* On Intellectuals and Intellectual Traditions in Eighteenth- and Nineteenth-Century Russia // *Daedalus*. 1972. N 101. P. 117–49; *Pomper Ph.* The Russian Revolutionary Intelligentsia. N.Y.: Thomas Crowell, 1970; *Berlin I.* A Remarkable Decade: The Birth of the Russian Intelligentsia // *Idem.* Russian Thinkers. N.Y.: Viking, 1978. P. 114–35; *Billington J.* The Intelligentsia and the Religion of Humanity // *American Historical Review* 65, 4 (1960): 807–21; *Nahimy V.C.* The Russian Intelligentsia: From Torment to Conviction. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1983; *Burbank J.* Intelligentsia and Revolution: Russian Views of Bolshevism, 1917–1922. N.Y.: Oxford U.P., 1986; *Read C.* Culture and power in revolutionary Russia: The intelligentsia at the transition from tsarism to communism. Basingstoke (Hants.); L.: Macmillan, 1990; *Manchester L.* Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the Modern Self in Revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois U.P., 2008; *Knight N.* Was the Intelligentsia Part of the Nation? Visions of Society in Post-Emancipation Russia // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2006. Vol. 7. N 4. P. 733–758; *David-Fox M.* Opiate of the Intellectuals?: Pilgrims, Partisans, and Political Tourists // *Kritika*. 2011. Vol. 12, N 3. P. 721–738.

³ Необходимость конкретно-исторического подхода к определению интеллигенции утверждал В.Л. Соскин: «По-видимому, нет раз и навсегда данного представления об интеллигенции, каждой эпохе соответствует свое (принятое в обществе) понимание этого термина. Единственное, что остается общим, – признание неоднородности интеллигенции во все времена... Но, коль скоро это так, то не может быть единого определения интеллигенции. Отвлечясь от поиска “истинной” дефиниции, переключить свое внимание на конкретно-историческую характеристику интеллигенции (по периодам, группам, в личностном плане и т.д.) – так представляется нам задача момента». *Соскин В.Л.* К новой концепции истории советской интеллигенции // *Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии*. Иваново, 1995. С. 20.

ставления о замкнутой касте, религиозном ордене. К примеру, один из авторов «Вех» видел в интеллигенции «как бы самостоятельное государство, особый мирок со своими строжайшими и крепчайшими традициями, со своим этикетом, со своими нравами, обычаями, почти со своей собственной культурой»⁴.

История русской интеллигенции – история саморефлексии этой социальной группы, история ее репрезентации. Долгое время об истории интеллигенции говорили ее же языком, следуя созданным ею мифам. Несомненно, что «зависимость историка от моделей, созданных персонажами его исследований, должна четко осознаваться как одна из основных когнитивных проблем исторической дисциплины»⁵. Поэтому особую значимость приобретает исследование моделей, мифологем, культурных идентичностей, позволяющих приблизиться к пониманию природы интеллигенции в тот или иной период времени. Как считает В.Г. Рыженко, «несмотря на то, что продвижение российских интеллигентоведов по пути поисков собственной территории пока еще затруднено сохраняющимся действием прежних стереотипов исследовательской практики, выработанной в условиях официальных мононаучных приоритетов, намечился явный сдвиг в сторону других ценностей современной историографической культуры. Главным начинает становиться восприятие интеллигенции в качестве сложного объекта, для изучения которого необходимо перейти к использованию разных моделей, включая культурологическую в понимании не философско-этическом, а культурно-феноменологическом»⁶. В то же время видится перспективным исследование интеллигенции не только как объекта, но и как субъекта культуры и общества, подразумевающее диалог исследователя с прошлым.

Становление интеллектуальной истории, трансформация ее в историю культурно-интеллектуальную, “историю смыслов”, определяет интерес к основным концептам, составляющим своеобразную ментальную карту общества и отдельных социальных групп, формирующим стратегии поведения, отражающим характерные черты русской культуры и общественного развития. По мнению Р. Шартье, *представление* становится основополагающим понятием современной истории, а история социальных самоидентификаций превращается тем самым в историю

⁴ Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. Интеллигенция в России. Сб. ст. 1909–1910. М., 1991. С. 178.

⁵ Могильнер М. Мифология “подпольного человека”... С. 6.

⁶ Рыженко В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. Екатеринбург; Омск, 2003. С. 101–102.

взаимодействия символических сил⁷. Безусловно, основополагающими категориями мышления интеллигенции, как и любой другой социальной группы, являются категории пространства и времени, формирующие базовую сетку представлений, определяющие картину мира эпохи, общества, группы, личности. Поэтому исследование интеллигенции через изучение ее модели мира предполагает анализ пространственно-временных представлений и их влияние на формирование культурной идентичности интеллигенции. Для русской интеллигенции основными концептами являются *власть* и *народ*, на их основе позднее сформируется само понятие *интеллигенция*, поэтому принципиально важно раскрыть их смысловое поле, отражающее ментальность русской интеллигенции XIX века. Совершенно необязательно, на наш взгляд, исходить из того, что в сконструированной модели мира интеллигенции все элементы должны находиться в гармоничном единстве. Напротив, в ней смешиваются и взаимодействуют, могут вступать в противоречие элементы самых разных представлений, связанных с разными сосуществующими типами культуры, от архаической до современной. Стремление преодолеть противоречия, создать целостное представление о мире и рождает миф. В то же время на протяжении XIX в. социокультурным представлениям интеллигенции была свойственна определенная общность, своеобразное ядро модели мира. Выявление этого общего ядра представлений и разнородной периферии составляет одну из главных задач исследования.

Эволюция социокультурных представлений интеллигенции тесно связана с изменениями в русском обществе, выделением в нем слоя интеллектуалов, который ищет свое место в системе социальных отношений, стремясь выполнить связующую роль между субъектами русского общества, обществом и властью, обеспечить как социальный, так и культурный диалог. Функция осмысления действительности, присущая интеллигенции, делает ее субъектом и объектом процесса модернизации в России. Специфика модернизационных процессов в России XIX века определила во многом специфику русской интеллигенции как социальной группы, сформировавшейся как ответ на вызов времени, в том числе и на потребности государства в квалифицированных, профессионально подготовленных кадрах. При этом процесс интеллектуализации российского общества имел объективную основу, не находясь полностью под контролем государства, но, с другой стороны, вступая в противоречие с традиционной аграрной основой русского общества, что создавало у русской интеллигенции ощущение не востребова-

⁷ Шартье Р. Мир как представление // История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 77.

сти, невозможности реализации своего интеллектуального потенциала в рамках существовавших социальных отношений.

XIX век – время формирования культуры русской интеллигенции, время становления интеллигенции как особого социального слоя, в котором выделяется интеллектуальная элита как ядро интеллигенции. Интеллектуалы начала XIX века, усваивая культуру Просвещения в процессе европеизации русской культуры, создавали новые интерпретации Просвещения как мировоззрения русской интеллигенции, закладывали основу модели мира этого социокультурного слоя, основу социальной и культурной идентификации, которая формировалась, прежде всего, как самоидентификация. На протяжении XIX в. число образованных людей в России постоянно росло, создавая социальную основу интеллигенции и одновременно постоянно размывая ее границы как социальной группы, разрушая сложившиеся идентичности, создавая новые. Этот процесс можно представить как взаимодействие «центра» и «периферии» на уровне ментальности, приводящее к актуализации одних элементов и вытеснению других, постепенно меняющее всю систему представлений.

При построении модели мира интеллигенции возможно выделение следующих уровней: во-первых, представления о времени и пространстве. Пространство и время – определяющие параметры существования мира и основополагающие формы человеческого опыта – не только существуют объективно, но и субъективно переживаются и осознаются человеком, причем в разных обществах и разных культурах по-разному⁸. На этом уровне наиболее сильно проявляются черты, свойственные культуре и обществу в целом, а также элементы бессознательного. Хотя в объективной реальности и в субъективном восприятии человека пространство-время всегда связаны, образуя хронотоп как «выражение в нем неразрывности пространства и времени»⁹, для выявления специфики их восприятия целесообразно мысленно разъединить их и в начале рассмотреть восприятие пространства, а затем времени. Характерные черты темпоральных представлений воплощаются в историческом сознании, поэтому в исследовании используется понятие исторического сознания.

Второй уровень можно определить как уровень социальной идентификации. Социальная идентификация интеллигенции осуществляется в рамках оппозиций «интеллигенция – власть», «интеллигенция – народ». В XIX в. идет процесс формирования самосознания интеллигенции как социальной группы, причем во второй половине XIX в. развитие самосознания достигает стадии самоописания. На уровне идентификации

⁸ *Вейнберг И.П.* Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. М., 1986. С. 58.

⁹ *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234–235.

создается мотивация деятельности интеллигенции, затем в процессе деятельности возможно изменение смыслового содержания основных группобразующих понятий. Связь развития самосознания и трансформации социальной группы точно выразил И.Г. Яковенко: «Парадоксальная диалектика состоит в том, что самопознание оказывается моментом самоизменения. Полнее всего уходящая культура рефлексивует себя на пороге перехода в новое качество. А самый акт самопознания выступает как форма изживания, расставания с прошлым»¹⁰.

Усложнение или быстрый темп смены картины мира, вызванный процессами модернизации, вызывает у человека дискомфортное состояние, попытка преодоления которого может заключаться как в адаптации новых представлений, так и в стремлении упростить картину мира, вернуться к прежнему состоянию (своеобразный синдром возврата в прошлое как реакция на дискомфорт настоящего). Актуализация тех или иных элементов модели мира может быть связана также с мощным внешним культурным или социальным воздействием, но эффективность такого воздействия обеспечивается не только более сильным культурным ресурсом внешней стороны, но и неустойчивым сочетанием различных элементов в модели мира, либо отсутствием ярко выраженного доминирующего элемента, либо пограничным состоянием элементов, их неглубоким погружением в область культурно-бессознательного. По мнению Б. Лепти, «социальные нормы, ценности, соглашения составляют разделяемые людьми коллективные представления и оформляются организационно, институционально, юридически. Они появляются как некие унаследованные от прошлого рамки, содержащие в себе и моделирующие индивидуальные и коллективные практики, – и, похоже, вся их сила заключена в их длительности. Впрочем, невозможно вообразить неприменяемые социальные нормы, экономические соглашения, которые не испытывает на прочность какой-либо обмен. И в самый момент их актуализации они подвержены риску переоценки»¹¹.

В XVIII в. в России в результате интенсивного культурного творчества и взаимодействия с другими культурными мирами – прежде всего европейским – разрушается прежняя целостная символическая картина мира, происходит ее усложнение и фрагментация, о чем свидетельствует и трансформация исторических представлений. Европеизация русской культуры и общества, активно проводимая государственной властью, выразилась не только в усвоении европейских обычаев, изменении культурных форм («плана выражения»), но и в постепенном изменении со-

¹⁰ Яковенко И.Г. Противостояние как форма диалога // Рубежи. 1995. № 5. С. 94.

¹¹ Лепти Б. Общество как единое целое // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 163.

держания культуры, становлении европеизма. Культура европейского Просвещения стала фактором, во многом определившим культурное развитие России, являясь и строительным материалом для формирования национальной культуры, и тем самым «иноземным реактивом» (П.Н. Милоков), который проявил тип русской культуры.

Важнейшим достоянием, воспринятым русским обществом от столетия, названного в Европе веком Просвещения, стала просветительская парадигма. Чтение как одна из основных культурных практик русского общества (учитывая логоцентричность русской культуры в целом), формировало “сетку” представлений русского интеллектуала. Сочинения философов европейского Просвещения влияли на способ осмысления мира, создавали духовный мир русской интеллектуальной элиты, способствовали переводу многих иностранных понятий на язык русской культуры и, наоборот, изложению явлений русской жизни языком европейского Просвещения.

Формирование новых темпоральных представлений как части картины мира русского просвещенного общества связано не только с проблемой становления его новой культурной идентичности, но и с созданием идентичности национальной, основанной на соответствующем знании о прошлом. Смена образов прошлого, изменение их характера и содержания составляют необходимый элемент формирования новой национальной идентичности на рубеже XVIII–XIX вв. Причем нельзя говорить о существовании единого образа национального прошлого, нужно учитывать различия между официальным образом, транслируемым властью особенно активно со второй четверти XIX века, и образами прошлого, характерными для оппозиционно настроенной части русского просвещенного общества¹².

Образы прошлого в историческом сознании русского общества конца XVIII – начала XIX в. строились, прежде всего, как результат рецепции античности. Обращение к античному компоненту и включение его в историческое сознание определялось ситуацией двойного культурного диалога (античности – русской культуры, культуры европейского Просвещения – русской культуры), причем восприятие античности русской культурой можно считать результатом и прямого, и опосредованного европейской культурой диалога. Античное наследие становится важнейшим компонентом образа прошлого в целом, что связано с активным распространением элементов античной культуры в

¹² См.: *Сабурова Т.А.* «Места памяти» русского образованного общества в первой половине XIX века”// Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. С. 235–257.

России XVIII века, влиянием античной литературы, философии, историографии, искусства и даже художественных элементов быта.

Актуализация античного компонента в русской культуре приводила к историзации темпоральных представлений и в то же время стирала временные границы между культурами, превращая античность во вне-временной или современный элемент культуры. Согласно Е.А. Чиглинцеву, «само явление взаимодействия двух культур, став доминантой их существования, снимает любые пространственные и временные границы между ними»¹³. Эта современность классической древности в культурном бытии России конца XVIII – начала XIX в. достигалась взаимодействием двух принципиально различных установок. С одной стороны, шла интеллектуальная работа над созданием нового образа античного прошлого, новой интерпретации античной культуры, отвечающей запросам русского общества. С другой – важную роль играло представление о непреходящей ценности античного культурного наследия, в силу общности человеческой природы уничтожающей дистанцию между эпохами.

Важно заметить, что и Просвещение формировало представление об античном прошлом как прошлом своим, а не чужом. Система образования и круг чтения конца XVIII – начала XIX в. делали античное прошлое *своим* прошлым, греческую и римскую историю для русского человека *своей* историей. Только постепенно античная история, прочно усвоенная русским просвещенным обществом, формирующейся русской интеллигенцией, начинает восприниматься как история общечеловеческая, европейская, но не заменяющая собственное национальное прошлое. Более того, осмысление античности способствует становлению прошлого отечественного. «Осознание своего как “своего” требует предварительного знания чужого и осознания его как “чужого”»¹⁴. Это положение полностью применимо к процессу формирования образа прошлого и отражает изменение отношения к античности в русском обществе. На античном фундаменте происходило становление отечественной истории, создание текста национального прошлого. Эта “национализация” исторического сознания начинается в русском обществе в XIX в., отражая процессы европеизации русской культуры и формирования национального самосознания, переход к новому типу исторических представлений, характерных для общества Нового времени. Безусловно, огромное влияние на формирование исторических представлений рус-

¹³ Чиглинцев В.А. Рецепция как межкультурное взаимодействие. Античное наследие и современная культура // Межкультурный диалог в историческом контексте. Материалы научной конференции. М., 2003. С. 131.

¹⁴ Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX в. // Из истории русской культуры: (XVIII – начало XIX в.). М., 1996. Т. 4. С. 14.

ской интеллигенции оказал также романтизм, отразившийся в новом понимании сущности и движущих сил исторического процесса¹⁵.

Различные интерпретации прошлого не снижают, а, напротив, отражают высокую значимость прошлого для русского просвещенного общества, как и для традиционного общества в целом. Прошлое определяет настоящее, прошлое воплощается в будущем. Так, для Н.М. Карамзина основной является связь прошлого и настоящего («...чтобы знать настоящее, необходимо иметь сведения о прошедшем»¹⁶). Будущее не представляет для Карамзина особого интереса, предмета для размышлений, так как «всё зависит от провидения! Будущее не наше»¹⁷. Будущее можно только попытаться предсказать, оно считается уже существующим и предопределенным, причем предопределенным именно прошлым. Отношение к будущему как повторению прошлого можно увидеть и в середине XIX в., эти темпоральные представления оказываются очень устойчивыми. Баратынский напишет в 1840 г.: «На что вы, дни! Юдольный мир явленья / Свои не изменит! / Все ведомы, и только повторенья / Грядущее сулит»¹⁸. Воплощение и чтение текста прошлого и есть в данном случае история: «Что есть история? Память прошедшего, идея настоящего, предсказание будущего»¹⁹.

К середине XIX в. на историческое сознание русской интеллигенции серьезное влияние оказали европейские революции, немецкая классическая философия, достижения исторической науки (русской и зарубежной), формирующаяся система исторического образования. «В это же время история превращается в важный социокультурный фактор и ее знание становится обязательной характеристикой любого образованного человека»²⁰. Два основных образа национального прошлого, граница между которыми проходит на рубеже XVII–XVIII вв. (Россия до и после Петра Великого), характеризуют темпоральные представления русской интеллигенции, составляют расколотое ядро семиосферы. Прошлое, трактуемое как национальное самобытное и национальное европейское, по-прежнему определяет восприятие времени русской интеллигенцией. Показательно, что в темпоральных представлениях

¹⁵ См.: *Савельева И.М., Полетаев А.В.* История и интуиция: наследие романтиков. Серия WP6. Гуманитарные исследования ИГИТИ. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

¹⁶ *Карамзин Н.М.* Сочинения: В 2 т. / Сост. и коммент. Г.П. Макогоненко. Л., 1984. Т. 2. С. 189.

¹⁷ *Карамзин Н.М.* Избранные статьи и письма / Вступ. ст., коммент. А.С. Смирнова. М., 1982. С. 222.

¹⁸ *Баратынский Е.* Стихотворения. Новосибирск, 1979. С. 148.

¹⁹ *Вестник Европы.* 1802. № 8. С. 357.

²⁰ *Савельева И.М., Полетаев А.В.* История и время. В поисках утраченного. М., 1997. С. 605.

русской интеллигенции эти два образа национального прошлого фактически противопоставляются и взаимоисключаются, отражая стремление к цельному, единому прошлому. При этом на первый план в общественном сознании выходит категория *должного*, через которую осмысливается связь времен. Настоящее должно соответствовать прошлому (или прошлое должно соответствовать настоящему). Такая ярко выраженная аксиологическая окраска прошлого, его значение для настоящего вызвали особую остроту и непримиримость споров о прошлом в середине XIX в. Представители различных идейных течений искали и находили в историческом прошлом подтверждение своих теоретических построений, анализа настоящего и предвидения будущего.

Темпоральная ориентация на прошлое постепенно сменяется ориентацией на будущее. Культура, направленная в будущее, стремится быстрее придти к нему, подгоняет время. Это ощущение быстрого времени особенно ярко выражается в культуре начала XX века: «Время порывисто дует в лицо. / Годы несутся огромными птицами»²¹. Ускорение времени, разрыв между прошлым, настоящим и будущим, потеря “связи времен” создает ощущение “безвременья”, вызванное утратой ощущения настоящего. Эту новую темпоральную ситуацию тонко почувствовал и передал А. Блок: «Нет больше домашнего очага. Необычайно липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого века... и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет»²². Игнорирование настоящего времени привело к “остановке времени” в темпоральных представлениях интеллигенции конца XIX – начала XX в., к апокалиптическим настроениям. Пренебрежение настоящим, о котором предупреждал А.И. Герцен, приводит не только к его утрате, но и к ощущению утраты времени в целом, конца истории. По мнению Ю.М. Лотмана, характерная черта взрывных моментов в бинарных системах – «их переживание себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во всей истории человечества. Отменным объявляется не какой-либо конкретный пласт исторического развития, а само существование истории»²³. К началу XX века для темпоральных представлений характерна амбивалентность, ощущение быстроты времени соединяется с чувством его утраты, остановки: «Быть заключенным в темнице мгновенья, / Мчаться в потоке струящихся дней. / В прошлом разомкнуты древние звенья, / В будущем смутные

²¹ Волошин М. Когда время останавливается // Волошин М. Стихотворения. М., 1989. С. 37.

²² Блок А. Безвременье // Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 70.

²³ Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 142.

лики теней»²⁴. В этих строках М. Волошина отразилось и разрушение прежнего образа прошлого, отсутствие его целостности, и отсутствие образа настоящего, и неопределенность образа будущего.

Настоящее как ценность не смогло закрепиться в темпоральных представлениях в середине XIX века. От осознания, осмысления различия и связи времен, которое началось в XIX в., от чувства времени, ощущения его движения, русская интеллигенция пришла в начале XX века к осознанию “разрыва времен”, чувству безвременья, ощущению остановившегося времени. Незавершенность процесса формирования исторического сознания русской интеллигенции, исторической культуры русского общества, отсутствие устойчивых образов прошлого, так же как и связи прошлого, настоящего, будущего, – все это стало серьезным фактором радикализации общественного сознания и, следовательно, социальных потрясений в России. В свою очередь, социальные потрясения усиливали ощущение темпорального разрыва, формировали фактически новую темпоральность.

Пространственные представления отражаются в создании своеобразной культурной географии, разделении пространства на свое и чужое, внутреннее и внешнее, имеющее ярко выраженную аксиологическую окраску. Особый интерес представляет не только само разделение пространства, его маркировка, но и восприятие границы между различными частями пространства (или мирами), степень ее проницаемости, существование различных мифологем пути.

Необходимо отметить и характерную для различных субкультур ориентацию на определенную часть пространства. Ценностная ориентация вызывает и соответствующую направленность деятельности, реализацию культурной программы в общественных отношениях. По мнению Ю.М. Лотмана, «отношение к западному миру было одним из основных вопросов русской культуры на всем протяжении послепетровской эпохи. Можно сказать, что чужая цивилизация выступает для русской культуры как своеобразное зеркало и точка отсчета, и основной смысл интереса к “чужому” в России традиционно является методом самопознания»²⁵. Для интеллигенции как квинтэссенции русской культуры естественно постоянное обращение к Западу как зеркалу и точке отсчета, средству самоидентификации.

Пространственные представления выражались не только в разделении мира на Запад – Восток, но и в разделении на Европу и Азию. Внеш-

²⁴ Волошин М. Когда время останавливается... // Там же. С. 38.

²⁵ Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 748.

нее пространство для русской интеллигенции XIX века могло ограничиваться Европой как ценностным ориентиром, но необходимо учитывать существование множества смыслов этого понятия, не только географических, но и культурных, политических, социальных. Это разнообразие смыслов, подчас взаимоисключающих, их противостояние и взаимопроникновение, историческая динамика во многом отражают всю эволюцию пространственных представлений русской интеллигенции. Европоцентризм в представлениях формирующейся русской интеллигенции был обусловлен не только процессом европеизации России, но и утверждением просветительской модели мира, в которой европейское рассматривалось как норма, отношение европейского мира к неевропейскому осмыслялось в рамках оппозиции “цивилизация – варварство”.

Пограничность русской культуры – это воплощение не только своеобразного геополитического положения страны, но и осмысление себя как пограничной территории. Согласно Б.А. Успенскому, Россия – это Запад на Востоке и Восток на Западе: «Отсюда мы постоянно наблюдаем в России либо тяготение к западной культуре, либо, напротив, осознание своего особого пути, т.е. стремление отмежеваться, сохраниться. Так или иначе – в обоих случаях – Запад, западная культура, выступает как постоянный культурный ориентир: это то, с чем все время приходится считаться»²⁶. Просветительский образ Запада как земли, освещаемой светом Разума, который начал изменяться в России в начале XIX в., при сохранении просветительской парадигмы в сознании интеллигенции оказался чрезвычайно устойчивым. Критерий просвещения в сочетании с теорией прогресса определял положительную аксиологическую окраску европейского пространства. Земля Разума могла видоизменяться в Землю Прогресса, Цивилизации, Науки. Эта же парадигма могла вызывать негативное восприятие Запада, соединяясь с религиозным содержанием русской культуры, воспроизводя на новом уровне тезис противостояния и мессианской роли России²⁷.

Эволюция пространственных представлений интеллигенции во второй половине XIX в. происходила в направлении расширения картины мира, включения в нее новых культурных пространств. Сохраняя основную пространственную оппозицию Россия – Европа (Россия – Запад), интеллигенция дополняет ее пространством Востока, Азии, которое вы-

²⁶ Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Россия/Russia. Вып. 2 (10): Русская интеллигенция и западный интелектуализм: история и типология. М., 1999. С. 9.

²⁷ Ярким примером могут служить воззрения А.И. Герцена. Подробнее о русском западничестве см.: Шукин В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: РОССПЭН, 2007.

ступает своеобразным противовесом пространству европейскому, западному и начинает занимать все большее место в модели мира интеллигенции. Осмысление российского пространства к началу XX в. происходит через соотнесение России не только с Европой, но и с Азией. В то же время сохраняется европоцентризм русской интеллигенции, полученный в эпоху Просвещения, утвердившийся в модели мира этой социальной группы вместе с ее образованием и, следовательно, имеющий не случайный, устойчивый характер. Можно предположить, что европоцентризм в сознании интеллигенции переместился с идеологического уровня на уровень ментальный, опустился в “нижние” слои сознания, превратившись в почти бессознательную установку восприятия пространства²⁸.

Несмотря на подробное изучение стран Европы, Америки в географическом, политическом, экономическом и культурном отношении, постоянные публикации в ведущих отечественных журналах соответствующих обзоров, статистических исследований, эссе, путевых заметок, мифологизированный образ Запада продолжает сохраняться в общественном сознании. Причем знакомство с европейской общественной мыслью, для которой характерна критическая направленность, выявление недостатков в общественном развитии Европы усилили негативные тенденции в восприятии Запада. Естественная для западноевропейской культурной традиции интеллектуальная критика с целью изменения социальной реальности в России стала для части интеллигенции основой отрицания Европы, европейской культуры, изоляционистских настроений. И чем ужаснее выглядит Западная Европа, дряхлая и гнилая, тем радужнее представляется будущее России, претендующей на мессианскую роль в истории. В 1870–80-е гг. славянофильские идеи получают продолжение и новое воплощение, оживляясь концепцией славянского всеединства. Немаловажную роль в этом сыграет Ф.М. Достоевский и его «Дневник писателя». Н.Я. Данилевский принципиально отрицал европейское начало в России, демонстрируя тем самым очередную смысловую инверсию: «Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью – нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасы-

²⁸ Особенности европоцентризма русской интеллигенции отметил и С.М. Усманов: «Вообще в европоцентризме русской интеллигенции было нечто хлестаковское. С неменьшим аппетитом, чем гоголевский герой живописал суп, который “прямо на пароходе приехал из Парижа”, она поглощала все новейшие “веяния” из Европы – от очередных Миллей, Боклей и Спенсеров до самых последних средств от перхоти и парижских мод, тщательно перерисованных в популярных журналах. Когда “европеизм” доходил до такой степени, то все прочее подчас просто ускользало от внимания...». Усманов С.М. Безысходные мечтания. Русская интеллигенция между Востоком и Западом во второй половине XIX – начале XX в. Иваново, 1998. С. 177.

вала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа»²⁹.

По мнению Л.Н. Пажитнова, «на протяжении всего XIX в. “Запад” в России никак не мог конституироваться в нечто цельное, последовательное и внутри себя непротиворечивое. Ненависть к самодержавию, полицейщине, крепостничеству и его пережиткам, требование конституции, демократических свобод – все это действительно шло от стремления вывести Россию на цивилизованный, “западный” путь развития. И одновременно – упование на русскую общину как на зародыш будущего социализма, обоготворение народа»³⁰. Но цельность характерна скорее для мифологических представлений, а противоречивость и сложность образа Запада может свидетельствовать о процессе разрушения прежних мифологем и одновременно о сохранении мифологем национальных.

Категория власти является одной из системообразующих категорий в модели мира русской интеллигенции. Исследование этой категории включает изучение представлений о власти, соотношение между этими представлениями в модели мира социальной группы, а также влияние представлений о власти на механизм принятия решений и выработку определенного стиля поведения. При этом учитывается существование в культуре целого набора бинарных оппозиций, которые на самом общем уровне сводятся к оппозициям *должное – существующее, сакральное – мирское, свое – чужое, абстрактное – конкретное*³¹.

Значение категории власти связано с процессом самоидентификации интеллигенции, формированием самосознания этой социальной группы, которая, дистанцируясь от власти, определяет свое место и задачи в обществе. Категория власти выступает в качестве необходимого интеллигенции для самоопределения элемента “триады”, так как понятие “мы” складывается только при наличии в сознании понятия “они”. Так, образ власти и образ интеллигенции находятся в диалектическом единстве, без образа власти нет образа интеллигенции. Заметим, что другим элементом “триады” является “народ”, и самоидентификация интеллигенции происходит в рамках оппозиции *власть – народ*, в движении от одного полюса к другому, в освоении пространства между этими полюсами оппозиции.

²⁹ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 59.

³⁰ Пажитнов Л.Н. "Запад" и "Восток" в исканиях русской мысли второй половины XIX в. // Русская художественная культура второй половины XIX в. Диалог с эпохой. М., 1996. С. 147.

³¹ См.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т. 2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск, 1998. С. 160.

Значение отношения интеллигенции к власти и народу подчеркнул Б.А. Успенский: «Отношение к власти и к народу определяет, так сказать, координаты семантического пространства, положительные и отрицательные полюсы: интеллигенция противопоставляет себя власти, и она служит народу (которому она, тем самым, фактически также себя противопоставляет). При этом и понятие власти (в частности представление о монархе), и понятие народа с течением времени могут менять свое содержание, на разных исторических этапах они могут приобретать совершенно различный смысл – и это, естественно, отражается на поведении интеллигенции; тем не менее сама противопоставленность, сама структура отношений – сохраняется»³².

А.И. Герцен, долгое время влиявший на общественное мнение в России, со свойственной русской культуре дуальностью, резким разведением культурных полюсов, так определил взаимоотношения интеллигенции и власти: «В России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе...»³³. Русская литература, играя роль общественной трибуны, приобретая сакральный статус, еще больше укрепляла центр семиосферы интеллигенции, диктовала оппозиционность как неотъемлемое качество интеллигента. Это создавало своеобразный замкнутый круг в отношениях интеллигенции и власти, не давало возможности развиваться диалогу между ними. «Можно, думается, утверждать, что своевременное включение идеалистической и жертвенной интеллигенции в работу государственного аппарата могло бы изменить путь России», – писал Ф. Степун. И далее воспроизводил характерный момент интеллигентского дискурса, возлагая вину за несостоявшееся сотрудничество интеллигенции и власти на царское правительство, которое загнало интеллигенцию в подполье³⁴.

Представления о власти в модели мира интеллигенции обуславливают позитивный или негативный характер социального дистанцирования, монолог или диалог как способ взаимодействия с властью. В целом характер социального дистанцирования интеллигенции от власти рождает “веер” возможных стратегий поведения этой социальной группы, объясняя “оппозиционность” интеллигенции на уровне модели мира.

Необходимо отметить отсутствие в модели мира русской интеллигенции четкого, структурированного представления о государстве, что

³² Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Россия / Russia. Нов. сер. под ред. Н.Г. Охотина. Вып. 2 (10): Русская интеллигенция и западный интелектуализм: история и типология. М., 1999. С. 10.

³³ Герцен А.И. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. VII. М., 1956. С. 220.

³⁴ Степун Ф. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции // Соч. М., 2000. С. 621.

является закономерным следствием и существования расколотого образа власти в целом, и результатом соединения традиционных и утилитарных элементов в модели мира. Традиционное сознание не оперирует такими абстрактными категориями, как государство, но русская интеллигенция усваивает эту категорию из европейских философских и политических учений, создавая собственную интерпретацию понятия “государство”. Особенность этой интерпретации заключается в попытке перевода абстрактного понятия на язык конкретных образов, в наполнении этого понятия сильным эмоциональным содержанием. Таким образом, сугубо рациональное европейское понятие государства в модели мира русской интеллигенции становится скорее образом.

Мифологизированность образа государства как некоей высшей силы выражается в представлениях о мощи и особой роли государства в России. Исторически сложившаяся огромная роль государства в России и исторические представления об этой роли усиливают и укрепляют традиционное восприятие власти в общественном сознании. Из письма Каткова к Чичерину: «Правду говаривал покойный Грановский, что изучение русской истории портит самые лучшие умы. Действительно, привыкнув следить в русской истории за единственным в ней жизненным интересом, собиранием государства, невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру»³⁵.

Образ сильного государства имел основу в неразвитости индивидуального сознания русского общества, в преобладании в русской культуре понятия “мы” над понятием “я”, коллективного над индивидуальным в модели мира. Неразвитость индивидуального самосознания в начале XIX в., подтверждаемая мемуарными текстами, исторически сложившаяся тесная связь личности и государства, приводила к тому, что человек не мыслил себя обособленно, его индивидуальность, так или иначе, проявлялась в заданных государством и обществом рамках. Такая интракультурная индивидуальность личности, т.е. существующая внутри определенной субкультуры, как правило, проявлялась и в отношении к власти. Современные исследователи российской ментальности пришли к выводу о своеобразии “я-концепции”, заключающемся в исходном отношении “я” – общество, “я” – социум, а не “я” – “другой”. В западноевропейском сознании такая прямая связь общественных и личностных представлений отсутствует вследствие наличия опосредованных институциональных связей между личностью и обществом. К.А. Абульханова

³⁵ Русское общество 40–50-х гг. XIX в. Ч. 2. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1991. С. 194.

считает сложившуюся ситуацию результатом тоталитаризма, «растворявшего личность в идеологических абстракциях “народ”, “общество”»³⁶. Но подобную же “я-концепцию” можно увидеть и в русском обществе XIX века, где связь личности с обществом существовала через сословную организацию, институты государственной власти, и социальная, коллективная идентификация личности находилась на первом месте.

В первой половине XIX в. процесс формирования интеллигенции как социальной группы только разворачивается, и противопоставление власти и интеллигенции не приобретает еще характера жесткого противостояния, превалирует стремление к воздействию на власть с целью придания ей просвещенного характера или к обособлению от власти. Характерна позиция А.И. Тургенева, который в начале XIX в. надеется на лучшую будущность и участие в управлении страной, принесение пользы своему отечеству: «Есть ли [если] планы мои, – как все те, кои я по сю пору делал в голове моей, не взлетят на воздух, то через два года с половиною я – или один из первых законодателей России или, с посохом в руках, – опять тот же скромный путешественник – и опять с тобою на время, потом с твоим братом, с Почковским и т.д., и, наконец, опять к любезным гулякам в Венгрию пить за твое здоровье токайское, – а там, наконец, опять с Нестором зарююсь в гетингскую (sic) библиотеку»³⁷. Пройдя через государственную службу, достигнув достаточно высоких постов и признания своих заслуг, Александр Тургенев спустя годы напишет в письме к брату Сергею: «Я чувствую ежедневно более, что ни душе, ни уму, ни даже сердцу моему нет выгоды оставаться в России, что, жертвуя ими, – я не приношу никакой пользы так называемой службе или государству и теперь понимаю лучше Карамзина, который не хотел войти в систему управления, предвидя бесполезность свою по своему одиночеству в составе оной; что я, при теперешнем обо мне мнении правительства, и частной пользы принести не могу, а себе повредить могу навсегда»³⁸. Таким образом, нарастает стремление к дистанцированию интеллигенции от власти, но дистанцированию без противостояния.

Формой дистанцирования может выступать не только отставка, ограничение пространства жизнедеятельности усадьбой или семейным кругом, но и радикальная смена пространства, эмиграция. Показательно пересечение пространственных представлений и политических, потому

³⁶ Абульханова К.А. Российский менталитет: кросс-культурный и типологический подходы // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики. М., 1997. С. 24.

³⁷ А.И. Тургенев – К.Я. Булгакову. 3 июня 1805 г. // Письма А. Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 55.

³⁸ Тургенев А. Политическая проза. М., 1989. С. 166.

что часто именно отношение к власти определяло восприятие отечественного пространства как чужого, негативно окрашенного, хотя и не делало европейское пространство своим, несмотря на позитивное восприятие. Отношение к власти приводило к тому, что часть русской интеллигенции не была дома нигде, пространство, положительно или отрицательно воспринимаемое, не становилось “своим”, освоенным, что вызывало ощущение отщепенства и одиночества: «Я даже и в сновидениях будущего не умею пригрезить себя на Руси. Предчувствия ли это ранней смерти, или жизни бродяжной и кочующей, или отвращение от этой смертности, которой скована русская жизнь, но, право, как мне здесь ни скучно и ни пасмурно, но сердце не зовет домой; в гости домой, – да, но на житье – нет. <...> Неужели не взойдет при жизни моей та заря, которая одна может призвать меня на землю родную? Клянусь, солнце рабства не будет палить меня губительным своим лучом. Пускай рука Провидения зажжет другое солнце на русском небосклоне, и я первый приду поклониться ему и облобызывать землю, согретую свободой»³⁹.

Взаимное отчуждение интеллигенции и власти, неучастие интеллигенции в управленческой деятельности порождало оторванность ее от реальности, утопизм и догматизм представлений. Как правило, практическая деятельность интеллигенции в любой сфере общественной жизни неизбежно приводила к критическому осмыслению этой деятельности, пересмотру идейного багажа. Интеллигенция, ограниченная пространством идей, не имея возможности изменения реальности, начинала реальность конструировать. Это блестяще показал Р. Пайпс в своем исследовании о русской революции: «Теории и программы, вынашивавшиеся интеллигентами бессонными ночами... оценивались не сообразно реальной жизни, а по отношению к другим теориям и программам: критериями их ценности были логичность и согласованность. Реальность жизни воспринималась как искажение, как карикатура “истинной” реальности, которая, как считалось, скрывается за внешней оболочкой и ждет от революции своего высвобождения»⁴⁰.

Не случайно вопрос о государстве стал одним из самых сложных и горячо обсуждаемых в идеологии народничества и русского революционного движения в целом, отправной точкой создания проектов социалистического переустройства российского общества, отражая специфику понимания свободы личности и путей ее достижения.

На другом полюсе оппозиции, служащей основой для самоидентификации интеллигенции, расположено понятие “народ”. Противопостав-

³⁹ П.А. Вяземский – А.И. Тургеневу. 15 ноября 1819 г. // Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 353–354.

⁴⁰ *Paine P.* Русская революция. М., 1994. С. 147.

ление власти и народа отражает специфику мировосприятия самой интеллигенции, ее способа моделирования социальной реальности. Это моделирование может совпадать и не совпадать с существующими социальными отношениями. Условность этого моделирования подчеркивается использованием таких концептов, как *власть* и *народ*, которые сами по себе достаточно абстрактны, условны и исторически изменчивы.

Понятие народа требует конкретизации, уточнения смыслов, его наполняющих. Важно учитывать, что семантическая и аксиологическая нагрузка слова “народ” менялась в различном историческом контексте, составляя характерный элемент политического дискурса. С одной стороны, содержание понятия народ для русской интеллигенции сформировалось во многом под влиянием философии Просвещения. В традиции Руссо, получившей широкое распространение в русской культуре, народ понимался как целостный организм, интегрирующий отдельные части, как единая Личность. Это приводило к тому, что воля и интересы народа оказывались выше интересов отдельного человека, общее благо выше блага индивидуального. Основой морали и для Гельвеция, Гольбаха также было общественное, а не личное благо.

Понятие народа для представителей интеллектуальной элиты первой половины XIX века отличается расплывчатостью, под народом понимаются, как правило, крепостные крестьяне, что определяет тесную связь представлений о народе и крепостном праве. Использование понятия “народ” отражает особенности социальной структуры России, сохранение традиционного сословного строя, однородности крестьянского населения, составляющего основную часть населения Российской империи. “Народ” – скорее образ, нежели понятие в русском общественном сознании начала XIX века. Целостность образа народа связана с мифологическим восприятием, рациональное мышление приводит к сегментации образа, возможности критического его осмысления.

“Народ” для интеллектуалов первой половины XIX века – это, прежде всего, объект, а не субъект социальных отношений. Такое восприятие народа обуславливалось сохранением крепостного права, которое юридически закрепляло “объектное” положение народа – как объекта купли-продажи, объекта извлечения доходов, контроля, наказания, просвещения и т.д. Отсутствие личных и социальных прав крестьян не давало возможности стать им субъектом общественных отношений. Поэтому главная задача интеллигенции в первой половине XIX века видится в уничтожении рабства, которое является тормозом на пути модернизации страны, превращения России в европейское государство. Отношение к крепостному праву служит важным объединяющим началом, способствует консолидации интеллигенции. Важно и то, что критическое осмыс-

ление русской действительности приводит интеллигенцию к необходимости уничтожения крепостного права, пока «бородачи топором не разрубили этот узел», т.е. для предотвращения революционных потрясений в России. Власть эту проблему не решает, а народ лучше и не доводить до ее решения, с точки зрения представителей дворянской интеллигенции: «Правительство не дает ни привета, ни ответа; народ завсегда, пока не взбесится, дремлет»⁴¹. Следовательно, дворянская интеллигенция видится той силой, которая может начать освобождение крестьян. Но освобождение народа от крепостного права не мыслится без поддержки власти, дворянская интеллигенция определяет себя только как инициатора этого процесса, а реальной движущей силой его должна стать государственная власть. Отношение к народу определялось не только его крепостным состоянием, но и влиянием идей Просвещения, ведь в идеологии французского Просвещения народ также выступает объектом действий власти. Именно народу «должно больше всего уделять внимания правительство, именно о нем оно должно проявлять заботу...»⁴². Поэтому интеллигенция считает своим долгом подтолкнуть власть к действиям в отношении народа, показать их необходимость. Важно отметить, что и власть в России начала XIX века видит свой долг в заботе о народе, что создает поле диалога для власти и интеллигенции, несмотря на различие конкретных мнений о настоящем и будущем народа, о возможности отмены крепостного права.

Проблема народной свободы в сознании интеллигенции тесно связана с проблемой просвещения. Представление о народе и стратегия поведения интеллигенции по отношению к народу определяется в первой половине XIX века просветительской парадигмой. Тезис об элите, которая цивилизует народ, стал аксиомой для подавляющего большинства интеллигенции Франции в конце XVIII века. Как отмечает М. де Серто, «в идее культуртрегерства того времени сохранилось многое от средневековья: мессианизм и энтузиазм, свойственный крестоносцам»⁴³. Сходные явления мы видим в России XIX века. Для интеллигенции народ является объектом, массой, вследствие низкого уровня образования и просвещения. Просвещение и свобода не существуют друг без друга в рамках просветительского идеала интеллигенции. «Темнота» российского народа, т.е. отсутствие света просвещения, составляет не менее важную проблему, чем отсутствие свободы. Просвещение нужно дворянст-

⁴¹ П.А. Вяземский – А.И. Тургеневу. 6 февраля 1820 г., Варшава // Остафьевский архив... Т. 2. С. 15.

⁴² Гольбах П.А. Избранные произведения. С. 242–243.

⁴³ Каплан А.Б. Французская школа «Анналов» об истории культуры // Идеи в культурологии XX в. Сб. обзоров. М., 2000. С. 69.

ву, чтобы понять необходимость освобождения крестьян, и просвещение нужно народу, чтобы суметь воспользоваться свободой без разрушительных последствий. Исторический опыт давал интеллигенции веские основания бояться русского бунта, «бессмысленного и беспощадного».

Таким образом, представление о народе в сознании русской интеллигенции формируется под влиянием существования крепостного права и просветительских идей. Как следствие этого, появляется понятие истинной свободы, свободы гражданской, которая не достигается только уничтожением крепостного права, а вырабатывается в течение долгого времени. Народ, как и человека, нельзя сделать свободным, подарив ему эту свободу, это будет “свобода от”, но не “свобода для”, которая зависит от внутреннего состояния человека, народа. Для интеллигенции категория свободы является важным элементом дискурса, предметом осмысления, отражая формирование либеральных представлений в российском обществе. Важно, что русская интеллигенция в этот период понимает все трудности либерализации российского традиционного общества. Н. М. Карамзин, возмущенный пьянством и развратом своих крепостных, отдает их в рекруты, сомневаясь, что все зло происходит только от отсутствия свободы: «Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы; но знаю, что путь дальний, и дорога весьма не гладкая»⁴⁴. В конце 1820-х гг. А.В. Никитенко выразит в своем дневнике мысль о соотношении просвещения и свободы, утверждая, что невозможна свобода без просвещения, но и пагубно просвещение без свободы, т.е. процесс просвещения русского народа представляется параллельным процессу либерализации: «Самим ли гражданам предстоит сбросить с себя оковы или получить свободу из рук правительства? От первого избави боже! Но оно неизбежно, если правительство будет только просвещать народ, не ослабляя уз его, по мере пробуждения в нем самосознания. Надо, следовательно, чтобы меры просвещения шли об руку с новым гражданским уложением»⁴⁵. Постепенно к требованию образованности как основы достижения свободы добавляется в представлениях интеллигенции требование экономической самостоятельности, собственности, капитала. Либерализация политическая оказывается тесно связанной с развитием просвещения и экономики. На формирование подобных представлений оказывает влияние процесс либерализации в странах Западной Европы, предоставляя соответствующие исторические примеры. Прагматизм исторических представлений интеллигенции обуславливает значимость европейского исторического опыта для России. «Где образованность и капиталы в силе, там

⁴⁴ Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 278.

⁴⁵ Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 44.

можно дать полную свободу, ибо все придет в равновесие; там, где, как у нас, образованность в младенчестве, а в капиталах недостаток, там свободы быть не может, ибо владычество внешнее слишком опасно», – писал П.А. Вяземский А.И. Тургеневу⁴⁶.

Необходимо заметить, что ощущение оторванности от народа, существование культурной пропасти между интеллигенцией и народом не вызывает у интеллигенции в первой половине XIX в. тягостного чувства, дискомфорта, состояния. Европеизированная интеллигенция не видит необходимости слияния с народом, приобщения к исконно народному духу, преодоления разрыва. Это объясняется не только идеалами просвещения, которые определяют задачу подъема образовательного уровня народа, его изменения в культурном отношении, а не обучения у народа, но и традиционными сословными представлениями интеллигенции, сформировавшейся в этот период на базе дворянского сословия, сохраняя, прежде всего, свою сословную идентичность.

На 1830-е гг. приходится начало поворота интеллигенции к народу, который завершится во второй половине XIX века стремлением части интеллигенции к слиянию с народом. Показательно, что обращение интеллигенции к народу произошло под влиянием власти, но не только в смысле распространения теории официальной народности. После восстания декабристов и наказания восставших, придавшего им ореол жертвенности, нараставшее дистанцирование интеллигенции от власти принимает ярко выраженный негативный характер, переходя в отчуждение. Отчуждение от власти и создание образа народа как носителя высших духовных начал способствует стремлению интеллигенции сблизиться с народом, хотя при ближайшем рассмотрении представители интеллигенции часто не находят в народе ни особой нравственности, ни религиозности, ничего, кроме невежества и сохранения архаичных черт быта. Из дневника А.В. Никитенко: «Я входил в избы здешних крестьян: что за нечистота и бедность! <...> Лица взрослых безжизненны и тупы, хотя уверяют, будто они под этою маскою скрывают и ум и хитрость. Эти люди, по-видимому, терпят крайнюю нужду и угнетение... Глубочайшее невежество и суеверие гнездятся в этих душных логовищах. Религиозные понятия здесь самые первобытные. Крестьяне и крестьянки, отправляясь в церковь, говорят, что они “идут молиться богам и божкам”»⁴⁷.

Образ народа раздваивается, одна сторона воплощает особый народный дух, призванный спасти Россию, а другая сторона заключается в неграмотности и бедности народа. Этим обусловлены два типа отношения интеллигенции к народу – учиться у народа и учить народ. Часть

⁴⁶ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. IV. С. 219.

⁴⁷ Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. I. С. 210

интеллектуалов достаточно скептически отнеслась к идее опоры на народный дух и особые качества русского народа. Например, М.А. Дмитриев, описывая повседневную жизнь крестьянства, отмечает как основные черты дикость и безнравственность, суеверие и косность: «Такова эта здравая среда народа, в которой Аксаковы с братиею видят коренную силу России, которая должна послужить к нашему перерождению и к освежению элементов, испорченных влиянием гнилого запада! – По моему мнению, мало надежды на эту дикую силу!»⁴⁸.

Идея народа, которая в первой половине XIX века находилась на периферии семиосферы интеллигенции, во второй его половине перемещается в центр, оказывая серьезное влияние на остальные элементы семиосферы, “окрашивая” их соответствующим смыслом. Представление о народе активно транслируется, формируя умонастроение русского общества, становясь обязательным элементом интеллигентского дискурса: «Имя народа на всех устах; оно служит непрременнейшим неизбежным украшением каждой печатной статьи, каждого частного разговора. Какая трогательная забота о нуждах народа, о его благосостоянии материальном и нравственном!»⁴⁹. Не случайно служение народу рассматривается во второй половине XIX века как группообразующий признак интеллигенции, выступая критерием причисления к интеллигенции.

Народ по-прежнему остается объектом в представлениях интеллигенции, но из объекта освобождения и просвещения он превращается во второй половине XIX века и в объект пропаганды, помощи и, по-прежнему, объект просвещения. Отмена крепостного права не сделала народ для интеллигенции субъектом исторического процесса, он по-прежнему остается объектом, требующим приложения сил интеллигенции. По замечанию Ю.М. Лотмана, «и литература под пером Толстого и Достоевского, и политическая борьба, воплотившаяся в народных движениях, объявляют своим идеалом народ. Народное счастье – цель революционной практики, но при этом народ – это не тот, кто действует, а тот, ради кого действуют»⁵⁰.

Идеология народничества делала невозможным критическое осмысление образа народа, так как идеология подразумевает создание целостного образа, принимаемого в целом и безусловно. Сильнейшая идеологизированность сознания интеллигенции во второй половине XIX века связана с процессами секуляризации сознания, утратой прежней религиозности. Происходит трансформация веры, вера в Бога заменяется

⁴⁸ Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 493.

⁴⁹ N. Литературные мечтания и действительность. По поводу литературных мнений о народе // Вестник Европы. 1881. Т. VI. С. 300.

⁵⁰ Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 61.

верой в народ, в науку, в прогресс и т.д. Идеология принимает характер религиозного учения. Отсутствие критического осмысления сближает религию и идеологию, делая их сильнейшим двигателем человеческого поведения. Идеология имитирует религию, создавая соответствующую символику, атрибутику, эффективно воздействуя на традиционное общество, сохраняющее религиозное, по сути, ядро модели мира. Стремление к целостности мирозерцания, мировоззрения, утратившего эту целостность и непротиворечивость в результате разрушения религиозной основы культуры, заставляет воспроизводить целостную и непротиворечивую картину мира на уровне идеологии. Поэтому идеология в традиционных обществах, не утвердивших ценность модернизации, обновления, может принимать тоталитарный характер, воспроизводя устойчивые компоненты религиозного сознания, востребованные обществом. Народничество стало национальной религией тех, кто отрекся от Бога, чурался власти и не принадлежал к народу, считает Л.Г. Березова⁵¹. Как разновидность религиозного типа сознания, скрытого за секулярной оболочкой, трактует народничество и Е.Б. Рашковский. Причем религиозность, с его точки зрения, с которой можно согласиться, проявляется именно в мифологичных представлениях о народе⁵².

Вера в народ основывалась не на реальных качествах русского крестьянства, а на стремлении интеллигенции найти основу своей жизнедеятельности, процессе социальной и культурной самоидентификации. Воображаемый народ становился центром мировоззренческого моделирования действительности, средством восстановления разрушенной прежней целостной символической картины мира. Н.А. Морозов писал: «Не чувствуя за собой достаточно сил, они обратились за помощью к простому народу... и сделали из крестьянина себе бога»⁵³.

«Именно в понятии “народ” сконцентрировалось все, что искала народническая интеллигенция: потребность в нравственном очищении, в растворении личного в надличном, в служении ближнему, с одной стороны, и глубокая вера в торжество социальной справедливости, начал “общинного” социализма – с другой»⁵⁴. В представлениях интеллигенции о народе находит яркое выражение оппозиция Россия – Европа. Сто-

⁵¹ Березова Л.Г. Самосознание русской интеллигенции начала XX века. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1994. С. 51.

⁵² Рашковский Е.Б. Об одной из социально-психологических предпосылок институционализма в развивающихся странах (еще раз о проблеме «популизма» в странах третьего мира) // Общество, элита и бюрократия в развивающихся странах Востока. М., 1974. Кн. 1. С. 68–70.

⁵³ Морозов Н.А. Повести моей жизни. М., 1965. Т. 1. С. 74, 75.

⁵⁴ Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций (сравнительно-политический анализ). М.: Весь мир, 2000. С. 212.

ронники европейского пути развития России видят необходимость, прежде всего просвещения народа, подъема его культурного уровня, без которого немислимо включение России в европейскую цивилизацию. Сторонники российской самобытности видят в народе воплощение духа коллективности, особой нравственности, позволяющих избежать всех ужасов европейского капитализма. Объединенные идеей народного блага представители интеллигенции создают противоречивое представление о народе, одновременно включающее и высокие моральные качества, и бедственное положение народа. В литературе описание тягот крестьянской жизни сочетается с благообразными портретами крестьян, знающих высшую правду. «Нигде стремление к созданию собственной “реальности” так ярко и пагубно не проявилось как в концепции “народа”. Радикалы заявляли, что говорят от имени народа, иногда именуемого “народными массами”, и действуют в его интересах против своекорыстной правительственной элиты, пользующейся народным богатством. С точки зрения радикалов, создание свободного и справедливого общества требует разрушения существующего порядка. Но при тесном общении с людьми <...> сразу становится понятным, что лишь немногие согласны на разрушение их привычного мира до основания. <...> Поэтому для достижения своих идеалов – всеобъемлющих перемен – интеллигенция должна создать некую абстракцию, именуемую “народом”, который она может наделить своими собственными чаяниями»⁵⁵. Д. Биллингтон отмечает, что конструирование образа народа (имевшего мало общего с реальностью и скорее служившего для обоснования собственных идей) и затем обращение интеллигенции к народу как к источнику правды было обусловлено отрицанием нигилистической морали 1860-х годов и частичной утратой веры в историю в конце 1870-х годов⁵⁶.

В то же время стремление соединиться с народом не только характерно для части интеллигенции, но и активно транслируется как должное достижение целостности бытия на уровне мысли и чувства. Наиболее ясно была выражена позиция Н.К. Михайловского в определении интеллигенции в «Записках современника»: «Слепым историческим процессом мы оторваны от народа, мы – чужие ему, как и все так называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разум наш с ним»⁵⁷. Следующий практический вывод вытекал и из философских взглядов П.Л. Лаврова, его понимания сущности интелли-

⁵⁵ Паўнс Р. Русская революция. М., 1994. С. 148.

⁵⁶ Billington J.H. The Intelligentsia and the Religion of Humanity // The American Historical Review. 1960. Vol. 65. No. 4. P. 818.

⁵⁷ Михайловский Н.К. Записки современника // Отечественные записки. 1881. Т. 112. С. 201.

генции, ее социальной роли в контексте теории прогресса. Так как, интеллигенция имела возможность создавать богатства культуры ценою подневольного труда и бедности народа, следовательно, обязанность всякой критически мыслящей личности пользоваться культурными ценностями так, чтобы они приносили пользу народу, иначе она вычеркивает себя из числа сознательных деятелей прогресса. Лавров учил, что каждый человек, достигший определенного уровня нравственного развития, обязан послужить прогрессу в меру своих сил и знаний. Развитой человек должен сказать: «Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если я употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем»⁵⁸. На этих идеях долга народу и самопожертвования ради него воспитывалась русская интеллигенция второй половины XIX века. О том, какое впечатление производили на молодежь «Исторические письма» говорил биограф Лаврова Русанов: «Ах, надо было жить в 70-е годы, в эпоху движения в народ, чтобы видеть вокруг себя и чувствовать на самом себе удивительное влияние, произведенное “Историческими письмами”. Многие из нас, юноши в то время, а другие просто мальчишки, не расставались с небольшой, истрепанной, исчитанной, истертой в конец книжкой... И на нее падали слезы идейного энтузиазма, охватывающего нас безмерной жадной жить для благородных идей и умереть за них»⁵⁹. Представление о принесении себя в жертву ради народного блага становится основой для создания идеального образа интеллигента, идея народности выражается в индивидуальном герое. Ярким примером является образ Гриши Добросклонова, которому «судьба готовила / Путь славный, имя громкое / Народного заступника, / Чахотку и Сибирь...»⁶⁰.

В 1870-е гг. произошла, по словам Д.Н. Овсяннико-Куликовского, смена типа передового мыслящего человека. Поколение 1870-х годов, сравнительно с поколением 1860-х годов, отличалось заметной убылью рационализма, “рассудочности”, и проявлением своеобразной психологической религиозности в отношении себя, идей, дела⁶¹. Эту же эмоциональность интеллигенции, преобладание чувства в отношении к народу (что воспроизводит эмоциональность самого народа как сохранившейся базовой черте традиционного общества), отмечает впоследствии и Н.А. Бердяев. Эмоциональность интеллигенции второй половины XIX

⁵⁸ Лавров П.Л. *Философия и социология. Избранные произведения в двух томах.* М.: Мысль, 1965. Т. 2. С. 86.

⁵⁹ История современной России. СПб., 1912. Стб. 184.

⁶⁰ Некрасов Н.А. *Полное собр. соч.:* В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 116.

⁶¹ См.: Овсяннико-Куликовский Д.Н. *История русской интеллигенции // Собр. соч.* СПб., 1914. Т. 8. С. 213–214.

века можно объяснить не только стремлением приблизиться к народному духу, проникнуться народными чувствами, реализовав в этом идею слияния с народом. Объективно русская интеллигенция второй половины XIX века характеризовалась эмоциональностью как базовой чертой, вследствие ее значительного расширения за счет разночинцев, сохранивших традиционные элементы в сознании. «Пытаясь объяснить роль разночинцев в движении нигилистов 60-х годов XIX в., Конфино определяет их как бывших семинаристов, чья бедность, грубые манеры, присущий им “атеизм неофитов” и интеллектуальный догматизм (наследие религиозного образования) были узаконены и даже идеализированы в этосе интеллигенции»⁶². Определенное слияние интеллигенции с народом происходило именно из-за изменения социального состава этой группы. Кроме того, важным фактором, определившим эмоциональность расширяющей свой состав интеллигенции, был возраст. Пополнившая ряды интеллигенции молодежь характеризовалась повышенной эмоциональностью. Не случайно определение народничества как настроения, данное Н.Н. Златовратским⁶³. По мнению Н.А. Бердяева, изменение в типе интеллигенции произошло к концу XIX века: «В 90-е годы с возникновением марксизма очень повысились умственные интересы интеллигенции, молодежь начала европеизоваться, стала читать научные книги, исключительно эмоциональный народнический тип стал изменяться под влиянием интеллектуалистической струи...»⁶⁴.

Несмотря на постепенное разрушение мифа о народе в сознании интеллигенции, и даже во многом благодаря этому, сохраняется и получает дальнейшее развитие миф о русской интеллигенции как бескорыстном слуге народа и прогресса, выразительнице идеи всеобщего блага. И чем меньше видится роль народа в историческом процессе, тем большие обязанности выпадают на долю интеллигенции, что определяется бинарностью ее модели мира. Важным представляется то, что «определенная часть образованной российской молодежи усвоила этот миф и энное количество десятилетий вела себя так, как будто она и в самом деле “вели-

⁶² *Виртуафтер Э.К.* Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М.: Логос, 2002. С. 183.

⁶³ «Помните знаменитый разговор Н.К. Михайловского с Н.Н. Златовратским на квартире у последнего? Помните, как Златовратский сказал, что народничество – это настроение? Не будем разбирать, насколько был последователен Н.Н. сказавши это, но согласимся, что он сказал чистую правду. Как доктрина, как партия, как учение – “народничество” решительно не выдерживает критики, но в смысле настроения оно и хорошая и влиятельная сила». (Письма А.И. Эртеля. М., 1909. С. 242–243.)

⁶⁴ *Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Интеллигенция в России. Сб. ст. 1909–1910. М., 1991. С. 92.

кий ускоритель” русского исторического процесса. И с каждым годом ее роль в общественной и политической жизни страны не уменьшалась, а наоборот, возрастала». Расставаясь с одними идеями, интеллигенция воспроизводила их в другой форме. Отказываясь от идеи долга народу, интеллигенция приходила к идее нравственных обязательств перед народом, руководствуясь все той же идеей общественного блага. Ярким примером служит письмо А.И. Эртеля А.С. Пругавину в 1891 г.: «Нет, по-моему, решительно нужно расстаться с этими тремя китами народничества: с долгом, обязанностями и расплатою. Все это – метафизика, нимало не убедительная. Да в ней нет и надобности, так же как нет надобности в каком-либо формальном обосновании “народничества”. [...] В конце концов, наши отношения к народу вытекают не из юридической догмы, а из той нравственной, которая более 1000 лет тому назад установлена Христом, и из той рациональной, разумной, которая учит нас, что “в своем соку” легко задохнуться, что самодовлеющее потребление плодов цивилизации – искусство для искусства, наука для науки, прогресс для прогресса – ведет к гибели общества и к вырождению этой самой интеллигенции в нечто худосочное, бессильное и несчастное»⁶⁵.

Первая русская революция заставляет интеллигенцию внести существенные изменения в сложившееся представление о народе. «Революция 1905–6 гг. и последовавшие за ней события явились как бы все-народным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль»⁶⁶. В воспоминаниях С. Василенко приводится рассказ о соседе по имени, который решил посвятить себя народу, занимаясь просветительской деятельностью, но после крестьянских волнений резко изменил свое отношение к идее служения народу. «Я все время думал об электричестве...» – Что это значит? – «Окружить усадьбу проволокой и пропустить ток». – Это детская забава... – «Нет, я думаю серьезно... поставить на мельнице турбину и получить ток, способный убить человека». – «Позвольте, но ведь вы социал-демократ, народник и что там еще». – «Ах, оставьте, никакой я не народник. После того, что я видел – разгром некоторых имений – я выбросил все эти идеи»⁶⁷. А. Пешехонов описывает вечер в кругу местной интеллигенции в феврале 1905 года: «Преобладало мнение, что никакого погрома не будет, да и быть не может. И все-таки

⁶⁵ Письма А.И. Эртеля. М., 1909. С. 242–243.

⁶⁶ Вехи. Интеллигенция в России. Сб. ст. 1909–1910. М., 1991. С. 22.

⁶⁷ Василенко С. Мои воспоминания. ОР РГБ. Ф. 178. № 7741.1. Т. 1. Л. 121 об.

кончилось тем, что несколько человек начали заряжать только что приобретенные револьверы...»⁶⁸.

По мнению Э. Виртшафтер, отсутствие в русском обществе формальных структур, фрагментированная природа социальных групп и идентичностей, а также невозможность создавать стабильные связи в безопасной обстановке исторически прочных социальных институтов, все это определяло отчуждение интеллигенции от народа. «Социальная фрагментация, а не культурное западничество, являлись корнями этой изоляции и чувства отчуждения, которые она породила»⁶⁹. Но характер деятельности интеллектуальной элиты, так же как и интеллигенции в целом, определяется стремлением преодолеть это отчуждение. Способы преодоления отчуждения могут быть различными и достаточно оригинальными. Так, А.А. Левандовский считает посещения известными литераторами (Гиппиус, Мережковским, Короленко) традиционных ежегодных молений раскольников, совершавшихся на месте, где стоял град Китеж, одной из неудачных попыток преодоления отчужденности между интеллигенцией и народом⁷⁰.

Социальные изменения в России приводят к тому, что интеллигенция, преодолевая отчуждение от народа, вынуждена дистанцироваться от таких групп как буржуазия, проводить границу между собой и мещанством. Показательно, что критерием в данном случае служит понятие блага, блага личного и общественного. «Может ли из интеллигента образоваться буржуа? Никогда! Так в корне различны эти понятия. Поставьте интеллигента в какие угодно условия жизни, дайте ему все мирские богатства, и он всегда останется все тем же интеллигентом»⁷¹. Б.Н. Миронов отметил, что антибуржуазное сознание интеллигенции, связанное с идеологией народничества, тормозило социальную модернизацию страны (индивидуализацию личности, демократизацию семьи, формирование гражданского общества)⁷². Другим вариантом социального самоопределения интеллигенции является противопоставление ее мещанству. Иванов-Разумник определял интеллигенцию как антимещанскую группу, продолжая традиции русской общественной мысли, заложенные Лавровым и Михайловским. По мнению Б.И. Ко-

⁶⁸ Пешехонов А. Хроника внутренней жизни // Русское богатство. 1905. № 4. С. 98.

⁶⁹ Виртшафтер Э.К. Социальные структуры... С. 189.

⁷⁰ Левандовский А.А. «Мистерия» на Светлояр-озере в восприятии интеллигенции // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов. М., 1997. С. 202-212.

⁷¹ Интеллигент и буржуа. (Аналитический этюд). Соч. К. Л-а. М., 1894. С. 24.

⁷² Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). СПб., 2000. Т. 2. С. 289, 291, 320.

лоницкого, для русской марксистской интеллигенции рабочий класс стал воплощением народа, «соответственно, традиционная уже оппозиция “народ-интеллигенция”, преобразовывалась в противопоставление “рабочий класс-интеллигенция”»⁷³.

Таким образом, несмотря на различия в понимании взаимоотношений интеллигенции и народа, целях и способах взаимодействия, в сознании интеллигенции сохраняется представление об устойчивой связи между интеллигенцией и народом, взаимообусловленности исторического положения и роли в историческом развитии страны. Концепт народа оказывается чрезвычайно устойчивым элементом самосознания и дискурса интеллигенции. Он может наполняться разным содержанием, но сам по себе неизменно присутствует как основа самоидентификации интеллигенции. Его изучение подтверждает вывод Ю.М. Лотмана о сверхсвязности и амбивалентности интеллигентского дискурса. «Еще раз подчеркнем, что дело идет не о содержании интеллигентских писаний – оно как раз весьма разнообразно, но о структуре этого содержания. И вот здесь-то оказывается, что Пешехонов и Мережковский, Бердяев и Луначарский, Солженицын и Синявский – все они мыслят в одних и тех же категориях, находятся в плену одних и тех же стереотипов»⁷⁴.

На протяжении XIX – начала XX в. русская интеллигенция неизменно идентифицировала себя в рамках оппозиции *власть – народ*. Нараставшее отчуждение от власти приводило к стремлению соединиться с народом либо для того, чтобы его учить, либо чтобы учиться у него. Взаимодействие мифологических конструкций и социальной реальности определяло эволюцию представлений о народе в сознании интеллигенции, тесно связанную с эволюцией представлений о власти. Представление о народе не было единым и целостным, скорее противоречивым, амбивалентным, таким же, как русская интеллигенция XIX столетия.

Ключевым идентификационным признаком интеллигенции была интеллектуальная деятельность. Уже в начале XIX века интеллигенция выделяет себя, осознает особой группой, прежде всего, по признаку мыслительной деятельности, используя, хотя и редко, само слово "интеллигенция" в прямом европейском его смысле как кальку с немецкого философского словаря (сознание, деятельность рассудка, мыслительная сила), добавляя и определенные нравственные характеристики. Именно интеллектуальная деятельность служит своеобразным знаком «своего»

⁷³ Колоницкий Б.И. Идентификация российской интеллигенция и интеллигентофобия (конец 19 – начало 20 в.) // Интеллигенция в истории. . . С. 161.

⁷⁴ Лотман Ю.М. Интеллигенция и свобода // Россия / Russia. Новая серия под ред. Н.Г. Охотина. Вып. 2 (10): Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. М., 1999. С. 127.

для представителей интеллигенции начала XIX в. «...Ум мой меня здесь жмет и гнетет, как платье, которое не под стать другим»⁷⁵. Ум, пища для ума, горе от ума и т.д., эти слова наполняются особым смыслом. Для интеллигенции умственная деятельность связана с понятием полноценной жизни. Необходимым условием для нее является соответствующая интеллектуальная среда, наличие круга единомышленников, возможность коммуникации. В этом отношении представления об интеллектуальной деятельности тесно пересекаются с представлениями о «своем» пространстве: «Варшаву также я люблю: в ней родилась и погасла эпоха деятельности моего ума. Все интеллектуальные поры мои были растворены; я точно жил душою и умом. Теперь половина меня заглохла и отнялась. Я не умею жить посреди смерти: мне должно заимствовать жизнь. А здесь где ее взять тому, у кого нет в себе ключа живой воды? <...> Москва меня сушит: я не должен в ней жить! Я не властен в ней жить! Я не буду в ней жить! А кроме Москвы и юга, я на Руси не знаю доступного угла»⁷⁶. Необходимо заметить, что во время службы в Варшаве Вяземский в письмах Тургеневу жаловался на чуждую ему интеллектуальную и духовную атмосферу польского общества, непреодолимые культурные различия⁷⁷. Таким же своим пространством для А.И. Тургенева в 1835 г. выступает Париж: «Я здесь ожил мысленно; мало по малу сон души проходит, и деятельность ума возвращается: ни минуты с раннего утра за полночь нет незанятой; не успеваю означать летящего бытия в моем журнале. Работаю в архиве Библиотеки почти ежедневно; выписываю многое, справляюсь, нахожу сокровища для русской истории, но еще не нашел хороших писцов для копий. Проповеди, театры, камеры, салоны, кабинеты чтения – ничто не забыто»⁷⁸.

Для представителей интеллигенции большое значение имела свобода, независимость интеллектуальной деятельности. Это пространство свободы, которое защищается не только от власти, но и даже от близких друзей. Свобода мысли, мнения является одной из приоритетных

⁷⁵ Вяземский П.А. – Тургеневу А.И. 23.11.1818 // Остафьевский архив... Т. 1. С. 153.

⁷⁶ Вяземский П.А. – Тургеневу А.И. 13.08.1824 // Остафьевский архив... Т. 3. С. 73, 76.

⁷⁷ «Я зеваю при одной мысли о Варшаве, и мое впечатление временем не угасает. (...) Много знаю умных и добрых здесь людей; за глаза мысленно готовлюсь приблизиться к ним; подойду – все у меня онемает: мысль, чувства, язык. Мне все кажется, что деньги мои здесь не могут быть в ходу, и не вынимаю их из сундуков, а между тем ржавчина их ест. На их деньги смотрю, как на какую-то фальшивую монету, и тем кончается, что торгоу у нас нет и никогда не будет». (Вяземский П.А. – Тургеневу А.И. 15.11.1818 // Остафьевский архив... Т. 1. С. 147.)

⁷⁸ Тургенев А.И. – Вяземскому П.А. 10.06.1835 // Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 264.

ценностей интеллигенции. Именно в этой сфере ярче всего проявляется индивидуальность личности, возможность выхода за рамки привычных смыслов, что и делает интеллигенцию важным субъектом развития культуры. Поэтому вполне понятно возмущение Вяземского из-за правки его сочинений: «...но так, ни за что, ни про что увечить мой образ мыслей и извиняться – ни на что непохоже. Да сколько я вам раз, милостивые государи и безмилостивые деспоты, сказывал, что я не хочу писать ни как тот, ни как другой, ни как Карамзин, ни как Жуковский, ни как Тургенев, а хочу писать, как Вяземский. <...> Прошу за меня не мыслить!»⁷⁹. Соединение понятий «мысль» и «свобода» наблюдаем также у А.С. Пушкина. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин подчеркивает величие мысли, значение мыслительной деятельности для человека, необходимости свободы мысли, но не выходящей за рамки закона. «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль! Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом». Свобода, выражающаяся в свободе мысли, как неотъемлемое право человека, провозглашалась Байроном в «Паломничестве Чайльд-Гарольда», произведении, оказавшем огромное влияние на формирующуюся русскую интеллигенцию⁸⁰. Можно заметить определенную общность ценностных ориентаций, составляющих либеральный компонент модели мира интеллигенции. Свобода мысли соединяется со свободой духа в представлениях русской интеллигенции, подтверждая тем самым единство этих двух центральных категорий европейской и русской культуры. Такая свобода видится условием развития, совершенствования, духовного роста. А.И. Тургенев напишет в письме из Дрездена: «Когда подумаю о той атмосфере, в которой мы теперь живем и о той независимости духа, которая меня теперь наполняет, то радуюсь и еще более духом возвышаюсь»⁸¹.

Представления об интеллектуальной собственности и деятельности связаны не только с представлениями о свободе мысли, творческой независимости, но и с представлениями об экономической самостоятельности. В начале XIX в. в России интеллектуальный труд постепенно становится источником дохода, независимым от государственной службы и земельной собственности, что создает прочную основу для

⁷⁹ Вяземский П.А. – Тургеневу А.И. начало июня 1822 // Остафьевский архив... Т. 2. С. 258.

⁸⁰ «Так будем смело мыслить! Отстоим \ Последний форт средь общего паденья. \ Пускай хоть ты останешься моим, \ Святое право мысли и сужденья, ...» (Байрон Д. Поэмы. Новосибирск, 1988. С. 220.)

⁸¹ Письма А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 11.

становления интеллигенции как социальной группы, способствует либерализации общества. «Давно ли Карамзин продавал все сочинения свои тысяч за десять с небольшим; Батюшков все свои – за две тысячи рублей? А теперь Смирдин за второе издание их предлагает семь или восемь тысяч рублей. Стало, Русь начинает книжки читать, и грамота и у нас на что-нибудь да годится. Можно головою прокормить брюхо: слава те, Господи!»⁸².

К концу века можно говорить о постепенной «профессионализации» части интеллигенции, превращении ее в группу специалистов, живущих интеллектуальным трудом. Формирование профессиональной идентичности интеллигенции ярко отразилось в автобиографических текстах конца XIX – начала XX века⁸³. По мнению М. Малия, решающая роль в трансформации интеллигенции, превращении из дилетантов-идеологов в профессиональных писателей, критиков, профессоров и т.д., принадлежала университетам. Кроме того, именно в университетской среде происходило соединение представителей разных сословий и формирование новой идентичности. Проблема невостребованности интеллигенции была обусловлена не количественным «перепроизводством» интеллигенции, так как постоянно растущий бюрократический аппарат и сфера «свободных профессий» могли бы легко принять и востребовать новых специалистов с университетским образованием. Причину невостребованности Малия видит в том, что образование означало развитие таланта, амбиций, достоинства, творчества, одним словом, индивидуальности, в то время как государство могло принять только профессиональные навыки, но не индивидуальность⁸⁴.

Ценность мысли, и мысли критической, подчеркивается во второй половине XIX в. Возможно, это является попыткой противостоять некритическому, тотальному заимствованию в сфере идей, характерному для русской культуры. Это обратная сторона в развитии русской культуры и интеллигенции, обладающих особой восприимчивостью и переимчивостью культурных новаций, длительное время накапливающих инновационные культурные элементы на периферии своей семиосферы.

Ускоренный характер модернизации в России определял и ускоренный характер интеллектуального развития общества и формирования модели мира интеллигенции. Быстрота усвоения определенных

⁸² Вяземский П.А. – Тургенеу А.И. 6.02.1833 // Остафьевский архив... Т. 3. С. 221.

⁸³ *Rodigina N., Saburova T. Changing Identity Formations in Nineteenth-Century Russian Intellectuals' Autobiographies // Life Writing Matters in Europe / M. Huisman, A. Ribberink, M. Soeting & A. Hornung eds. Heidelberg: Winter Verlag, 2012. P. 119–132.*

⁸⁴ *Malia M. What Is the Intelligentsia?... P. 450–454.*

взглядов и представлений самой интеллигенцией воспринимается как причина их непрочности. «Еще одна нравственная болезнь нашего так называемого мыслящего поколения – это беглость мысли. Мы не идем по пути мысли твердым логическим шагом, а бежим сломя голову, и притом без всякой определенной цели, часто влекомые одним только желанием отличиться и обратить на себя внимание. На этом бегу мы схватываем кое-какие идеи, познания, кое-какие убеждения без основательности, без глубины, без опоры доблестного и трезвого труда. И вот мы, великие люди, гении в собственных глазах, произносим решительные приговоры о Западе и Севере, о Юге и Востоке, о науке и литературе и прочее и прочее»⁸⁵. Эту ситуацию мировоззренческой неустойчивости интеллигенции очень ярко обрисовал А. Солженицын в романе «Август Четырнадцатого»: «...с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским – как будто правильно, очень верно! Плеханова дали – опять-таки верно... Кропоткин – тоже к сердцу, верно. А распахнул “Вехи” – и задрожал: все напротив читанному прежде, но – верно! пронзительно верно!».

В XIX веке эту же черту сознания интеллигенции зафиксировал А.В. Никитенко, объясняя непрочность мировоззренческих позиций уровнем образования интеллигенции, считая ее количественный рост в связи с потребностями страны в квалифицированных кадрах не подкрепленным соответствующим уровнем развития науки и образования. «Едва какое-нибудь учение или идея сверкнут в европейской науке или жизни, мы, русские, с жадностью бросаемся на них и чуть не идола делаем себе из них. Но вот является новое учение, новая идея, и мы, не успев даже хорошенько заглянуть в лицо первым, бросаем их и сломя голову мчимся вслед за новыми, с тем чтобы поступить и с ними так, как поступлено с прочими. Вчерашнее у нас уже отсталое; только сегодняшнее достойно удивления и хвалы. Но пройдет несколько часов, сегодняшнее делается вчерашним и т.д. Не так ли поступают дети со своими игрушками?»⁸⁶. О крайней восприимчивости русской интеллигенции к новым идеям, теориям, понятиям, писал И. Берлин, объясняя это неразвитостью интеллектуальной среды в России первой половины XIX в., сочетанием интеллектуального голода (даже в крупнейших городах Российской империи) с искренностью чувств и страстной решимостью участвовать в решении социальных проблем, характерных для русской интеллигенции⁸⁷.

⁸⁵ Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 432.

⁸⁶ Никитенко А.В. Дневник. М., 1956. Т. 3. С. 156.

⁸⁷ Берлин И. Рождение русской интеллигенции // Берлин И. История свободы. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 19–21.

Во второй половине XIX в. в сознании интеллигенции сохраняется связь понятия мысли с понятием свободы. Свобода мысли представляется необходимым условием существования и сохранения свободы гражданской, а также условием существования самой интеллигенции и выполнения ею своей социальной функции. Представители интеллигенции, осознавая радикальность убеждений ее части, их религиозный и тотальный характер, выражали серьезные опасения о сохранении независимости мысли в эпоху революционных преобразований. «Ультралибералы и не подозревают, какие они сами деспоты и тираны: как эти желают, чтобы никто шагу не смел сделать без их ведома или противу их воли, так и они желают, чтобы никто не осмеливался думать иначе, чем они думают. А из всех тираний самая ужасная – тирания мысли. Почему такой-то господин считает себя вправе думать, что только тот способ служить делу человечества хорош, который он предлагает, и что все, мыслящие не так, как он, должны быть прокляты?»⁸⁸ Это отражает ситуацию, характерную для быстро модернизирующейся страны, в которой интеллигенция фактически претендует на роль церкви в духовной жизни традиционного общества. Не успевают выработаться новые соответствующие институты в духовной сфере, в общественном сознании может происходить замена одних категорий на другие, но восприятие их остается традиционным. Вера в бога сменяется верой в разум, затем в науку, но остается верой.

Изучать русскую интеллигенцию через ее представления о мире и о себе значит приближаться к пониманию сущности этого явления, чрезвычайно сложно определяемого и вызывающего бесконечные споры. Предлагаемая исследовательская стратегия изучения интеллигенции “изнутри” не может и не стремится дать окончательный ответ на вопрос о природе русской интеллигенции, что вряд ли вообще возможно, но открывает новые стороны этого феномена, а, следовательно, и феномена русской культуры, поскольку интеллигенция является одним из создателей и трансляторов русской культурной традиции.

Социокультурные представления русской интеллигенции XIX столетия оказываются чрезвычайно многообразными, сложными, часто противоречивыми. Но различия в отношении к власти и народу, в политических убеждениях и культурных пристрастиях, тем не менее, не заслоняют общие черты, свойственные ядру мировоззрения интеллигенции, ее модели мира, составляющие основу групповой идентификации и самоидентификации русской интеллигенции.

⁸⁸ Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 95.

Модель мира русской интеллигенции XIX века формировалась в процессе интенсивного усвоения западноевропейской культуры (прежде всего культуры Просвещения), соединяясь с элементами отечественной культуры, в том числе культуры народной. Осваивая и/или присваивая европейскую культуру, русские интеллектуалы создавали качественно новые ее интерпретации, осмысляя собственное место в российском обществе и в Европе. Модель мира русской интеллигенции отличалась амбивалентностью (в той же мере, что и сама эта группа), сочетая рациональность и мифологичность, модерность и традиционность. Рациональное содержание представлений могло скрываться под мифологической оболочкой, и, наоборот, мифы облекались в ярко выраженную рациональную, строго научную форму.

Русская интеллигенция, действуя в пространстве разных культурных языков, осуществляя культурную трансляцию и коммуникацию между русской и европейской культурой, элитарной и народной культурой, обществом и властью, постоянно осмысляет и собственную роль в этом процессе. *Lost in translation*, это выражение можно применить к русской интеллигенции XIX столетия, не случайно *идея поиска пути* станет для нее ключевой, причем пути не столько для себя, сколько для всей России.

Пытаясь транслировать европейскую культуру в культуру русского традиционного общества, выступить посредником между разными культурными мирами, социальными группами и институтами, интеллигенция создает свой культурный мир/миф, границы которого она постоянно укрепляет, стремясь преодолеть состояние невостребованности, что выражается в создании ее собственной мифологии. Мифы русской интеллигенции становятся мифами русской культуры в целом. Но особенность русской интеллигенции заключается и в том, что мифы, ею создаваемые, она же постоянно стремится разрушить, процесс мифологизации сталкивается с процессом интеллектуализации, напряженной интеллектуальной рефлексией, способствующей развитию самосознания интеллигенции и развитию русской культуры и общества.

3.3. ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА ИНОСТРАННАЯ КНИГА ОБ АНГЛИИ В РОССИИ (1860–1917)

Один из важнейших каналов интеллектуального трансфера – издание переводной научной и научно-популярной литературы. Переводчики и издатели переводов научных трудов зарубежных ученых в России в XIX – начале XX в. стали эффективными медиаторами этого процесса. Переводы на русский язык и опубликование в России трудов крупнейших европейских историков, экономистов, социологов, политологов, правоведов отвечали общественной потребности в изучении западного, и прежде всего английского, опыта. К английской тематике множество раз обращались и журналы, в которых появлялись публикации зарубежных журналистов и ученых, публиковались рецензии на изданные в России зарубежные книги, а также был последовательно реализован возникший в 1860-е гг. уникальный опыт краткого изложения содержания книг, еще не переведенных на русский язык¹.

Во второй половине XIX в. начинает укрепляться представление о недостаточности изолированного изучения истории отдельных стран и необходимости более широкого взгляда на мир. Редакция «Отечественных записок» высказалась по этому поводу совершенно определенно: «необходимо знать и понимать целое настолько, чтобы уметь отдельной части указать соответствующее ей место. Этой потребности стремятся удовлетворить труды по всемирной истории; они пишутся не для ученых специалистов, хотя и им приносят свою пользу; они предназначаются для массы образованных или образующихся людей»². «Всемирные истории» в России стали издавать в избытке – от скромной, на 200 с небольшим страниц, «Всеобщей истории для детей» Э. Лависса до многотомных. Все они впечатляют именами авторов и числом переизданий. Это труды Ф. Шлоссера, Г. Вебера, Э. Фримана, Ч. Файфа, О. Иегера, А. Торсое, В. Дюрюи, Ш. Сеньбоса, Э. Маршала, Ю. Пфлуг-Гартунга, Э. Лависса и А. Рамбо. В них обычно присутствуют разделы по английской истории.

¹ Так, когда профессор из Оксфорда А. Дайси издал книгу «Закон и общественное мнение в Англии» (1905), «Мир Божий» в том же году опубликовал ее изложение.

² Отечественные записки. 1860. № 11. С. 50–51.

История и страноведение Англии

Активный интерес российского читателя вызывали труды Франсуа Гизо³. По мнению Гизо, история Англии дает яркий образец того, как следует примирять все интересы; в одновременном проявлении и действии всех общественных элементов и состоит сущность свободы. Основным инструментом постепенного сближения и даже слияния классов он считал конституционную монархию, которая, будучи «великим мировым судьей», заставляет все элементы общества, несмотря на их враждебность, действовать совместно. Гизо принимали восторженно и в Европе, и в России. Основатель и издатель «Вестника Европы» М.М. Стасюлевич писал профессору Петербургского университета М.С. Куторге: «Сегодня был для меня день величайшего удовольствия и даже счастья: я слышал и видел Гизо. Каких хлопот стоило мне достать билет и каких пожертвований простоять час на морозе у дверей Института во главе “хвоста”, а потом просидеть два часа в ожидании начала заседания! Но за два часа все зало <...> уже было полно до самого краю»⁴.

В России стало известно имя одного из основателей позитивизма Генри Томаса Бокля. В 1861 г. «Современник» поместил краткое изложение его книги «История цивилизации в Англии». На следующий год – в год ухода Бокля из жизни – была издана сама книга в переводе А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокова (этот перевод впоследствии неоднократно переиздавался), следом книга была издана в новом переводе, выполненным К. Бестужевым-Рюминым и Н. Тибленом⁵. Появилось и популярное ее изложение, выдержавшее 16 переизданий; оно принадлежало известному публицисту О.К. Нотовичу⁶. В 1868 г. были переведены и изданы в России отрывки из посмертных рукописей Бокля, которые должны были войти по плану автора в третий том «Исто-

³ Гизо Ф. История английской революции [в 2 ч.] / Пер. с фр. СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К^о, 1859–1860; (Историки и публицисты новейшего времени в пер. на рус. яз. / Изд. под ред. А. Краевского и С. Дудышкина); Гизо Ф. История Английской революции. В 3 т. / Пер. с фр. СПб.: Тип. Головачева, 1868; Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Пер. с фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо / [Изд. и пер. В.Д. Вольфсона.]. СПб.: Тип. И. Гольдберга, 1892; Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Пер. с фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо. СПб.: Тип. И.М. Комелова, 1898; Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Пер. с фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо. СПб.: Тип. Альтшулера, 1905.

⁴ М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. [и с предисл.] М.К. Лемке. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1911. Т. I. С. 272.

⁵ Бокль Т.Г. История цивилизации в Англии / Пер. А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокова. СПб.: Лермонтов и К^о, 1862; Бокль Т.Г. История цивилизации в Англии / Пер. К. Бестужева-Рюмина, Н. Тиблена. СПб.: Тиблен и Пантелеев, 1864–1865.

⁶ Бокль Т.Г. История цивилизации в Англии: (2 т.) / В попул. излож. канд. юрид. наук О.К. Нотовича. СПб.: Рус. худож. тип. И. Гольдберга, 1876.; 16-е изд. СПб.: Кн. маг. «Новостей», 1899.

рии цивилизаций в Англии», – пять глав, посвященных событиям царствования Елизаветы⁷. На их выход немедленно откликнулся «Вестник Европы» статьей К.А. Арсеньева «Королева Елизавета и реформация», фактически явившейся кратким изложением книги⁸. История Англии в интерпретации Бокля представляла собой эталон реализации общих закономерностей развития, пригодный и для других стран.

Однако в России отношение к Боклю не было однозначным. Он иногда вызывал крайне негативную оценку в связи с общим отрицанием концепции позитивизма. А.Ц. Стадлин в «Русском Вестнике» «развенчивал» Бокля: «Великие исторические законы, якобы открытые Боклем, в сущности не что иное как истины давно признанные, но доведенные до крайности или принятые в одностороннем смысле автором Истории цивилизации, и в более или менее искаженном виде возведенные им в степень научных аксиом»⁹. Затем появились и другие публикации, «ниспровергающие» Бокля – того же А.Ц. Стадлина, Г.В. Чельцова¹⁰ и др. Им во множестве противостояли безусловно положительные отзывы, их лейтмотивом была мысль: «Бокль показал нам, как исторические вопросы могут быть поняты и решаемы без идеалистических предпосылок»¹¹. В серии «Жизнь замечательных людей» в 1895 г. вышла биография Бокля¹². Известный российский библиограф Н.А. Рубакин отмечал Бокля в числе наиболее читаемых авторов¹³. К его идеям обращались А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Л.Н. Толстой, Д.И. Писарев, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.А. Кропоткин.

О влиянии Бокля на развитие научной мысли свидетельствуют не только книжные и журнальные публикации¹⁴, но и зафиксированные в

⁷ Бокль Т.Г. Отрывки из царствования королевы Елизаветы. Пять глав из III тома «История цивилизации в Англии». СПб., 1868.

⁸ Арсеньев К. Английская литература. Королева Елизавета и реформация (Т. Бокль. Отрывки из царствования королевы Елизаветы. Пять глав из III тома «История цивилизации Англии»). СПб. 1868) // Вестник Европы. 1879. Кн. 5. С. 298–329.

⁹ Стадлин А. Историческая теория Бокля. Критический очерк // Русский Вестник. 1874. № 7. Т. 112. С. 259.

¹⁰ Стадлин А. Критический разбор основных положений «Истории цивилизации» Бокля. Тифлис: Типография Главного управления наместника, б.г.; Чельцов Г. Теория Бокля и христианское учение о промысле божьем. СПб., 1884.

¹¹ Котляревский Н. Очерки из истории общественного настроения шестидесятых годов // Вестник Европы. 1914. Кн. 4. С. 170.

¹² Соловьев Е.А. Г.Т. Бокль, его жизнь и научная деятельность: Биографический очерк. СПб.: Биограф. библиотека Ф. Павленкова, 1895.

¹³ Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1895. С. 116.

¹⁴ Арсеньев К. Английская литература. Королева Елизавета и реформация (Г. Бокль. Отрывки из царствования королевы Елизаветы. Пять глав из III тома «История цивилизации Англии»). СПб. 1868) // Вестник Европы. 1868. Кн. 2. С. 796–807.

автобиографических очерках беседы, подчас мимолетные, предметом которых был Бокль. У Н.И. Кареева, когда он еще был студентом Московского университета, состоялся разговор с профессором В.И. Герье. Кареев «еще не знал, что Герье очень отрицательно отнесся в печати к Боклю и, как нарочно, заявил о своем восторге перед ним, и был как бы облит холодной водой, когда и тут попал впросак»¹⁵. Труд Бокля давал пищу для размышлений даже гимназистам. Один из них, участник проведенного в 1902 г. письменного опроса, ответил в анкете: «любимейшая моя книга – это гениальное сочинение Бокля. В ней я нахожу ответы на те вопросы, которые занимают мой ум в данную минуту»¹⁶.

В России хорошо знали труды выдающегося английского историка, вига по убеждениям, Томаса Бабингтона Маколей. Первоначально публикации его работ и статьи о нем появились в российских журналах. Но несравненно большую роль в распространении исторических знаний сыграло издание его 16-томного полного собрания сочинений, которое издавалось дважды – в 1860–66 и 1865–71 гг.¹⁷ Первые 5 томов составляют исторические эссе 1828–35 гг., сквозной идеей которых является основанное на английском опыте утверждение о возможности и желательности отказа от революционных изменений: «Мы не знаем такой великой революции, которую нельзя было бы предупредить своевременным дружеским соглашением» и дальше: «во всех волнениях человеческого ума, направленных к великим переворотам, бывает кризис, во время которого умеренная уступка может все исправить, примирить и сохранить»¹⁸. 6–13 тома включают «Историю Англии от восшествия на престол Иакова II», которая охватывает, однако, лишь последнюю четверть XVII в. В связи с этим главное внимание в ней уделено «Славной революции» 1688 г. и царствованию Вильгельма III. Этот труд тепло встретили в России. «Русский вестник», не дожидаясь русского перевода, откликнулся на лондонское и лейпцигское издания рецензиями К. Арсеньева. Оценки им даны в превосходных степенях: Маколей «решился изобразить только одну эпоху, но изобразить ее так, чтобы она вся, со своими лицами, интересами, страстями восстала перед лицом читателей. Для достижения этой цели Маколей не жалел ни усилий, ни времени; он изучал с одинаковым вниманием важнейшие исторические акты и ничтожнейшие, по-видимому, произведения народной литературы, общие стремления страны и мелкие побуждения отдельных деятелей ее»; и как

¹⁵ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л.: Изд. ЛГУ, 1990. С. 132.

¹⁶ Левин К. Что читает учащаяся молодежь // Мир Божий. 1903. № 11. С. 197.

¹⁷ Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений / Пер. А. Буницкий, Г. Думшин; Авт. ст. Г. Вызинский. СПб.: Изд. Николая Тиблена, 1860–1866; *Он же*. Полн. собр. соч. В 16 т. СПб.: Издание Николая Тиблена, 1860–1866; Изд. 2-е. СПб., 1865–1868.

¹⁸ Маколей Т.Б. Галлам // Маколей Т.Б. Полн. собр. соч.. Т. I. С. 214–215.

общий вывод: «замечательный очерк главнейших эпох английской истории»¹⁹. Лишь потом в трудах Маколея стали находить слабое знание источников, ошибки и погрешности, возвеличение роли отдельных личностей и недооценку народных масс, интерес к нему постепенно угас.

В российское читательское пространство с 1860-х гг. активно вводились многочисленные работы в жанре «заметок иностранца», разумеется «иностранца» в Англии. Они затрагивали разные стороны текущей хозяйственной, политической, общественной и бытовой жизни. Некоторые из них вызывали широкий резонанс. В 1866 г. опубликовали «Письма об Англии»²⁰ Луи Блана; сборник составили корреспонденции 1861–1863 гг. (Блан тогда находился в эмиграции в Англии), освещавшие актуальные проблемы британского государства и общества, избирательной реформы, английской школы. Затронуты темы британской внешней политики, парламентских прений, международной выставки 1862 г. в Лондоне; рассказано о спорах по поводу английской конституции, о рабочем движении, отношениях церкви и государства. П.В. Щапов, издавший книгу на русском языке, попал за это под суд, тираж был арестован и запрещен к распространению. Цензура усмотрела в книге Блана мысли и взгляды, «противные христианскому учению и монархическому образу правления». Издателя защищал известный адвокат В.Д. Спасович, который выиграл дело, после чего книга в 1870 г. поступила в продажу.

Опубликовали написанные в 1844 г. «Очерки Англии» французского политического деятеля Леона Фоше, члена Законодательного собрания (в 1851 г. в течение полугода занимал пост главы кабинета министров)²¹. «Очерки» раскрывали некоторые стороны жизни страны: здесь и крупнейшие города (Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Бирмингем с их населением, бытом, промышленным производством), и социальные проблемы: «упадок низших классов» (рабочих – мужчин, женщин, детей), положение среднего класса (буржуазии), аристократии; затронуты чартизм, избирательное право и, конечно, «достоинство британского парламента». Фоше не обходит негативные стороны английской действительности, но при этом, по его словам, «англичанин уверен, что у него все хорошо, а в остальном мире все идет худо; порядок, который установлен в его отечестве, кажется ему единственным согласным с природою вещей; учреждения, общественное устройство и нравы иностранцев непременно оскорбляют его какой-нибудь своей стороной, и он смотрит

¹⁹ Арсеньев К. Последняя часть Истории Англии Маколея // Русский Вестник. 1861. № 6. С. 587; №. 9. С. 16.

²⁰ Блан Л. Письма об Англии. В 2-х томах / Пер. под ред. М.А. Антоновича. СПб.: Изд. П.В. Щапова, 1866–1870.

²¹ Фоше Л. Очерки Англии / Пер. Дементьева и Хлебникова. СПб.: Т-во «Общественная польза», 1862. 553 с.

на них с сожалением или даже презрением; он охотно верит, что кроме британского народа, который достиг, по его мнению, возраста зрелости, все прочие народы находятся в состоянии младенчества»²².

Французский философ, писатель, историк Ипполит Тэн, впоследствии получивший всеобщую известность трудами по истории Французской революции XVIII века, в 1861–62 гг., а затем и в 1871 г. путешествовал по Англии, и о своих наблюдениях рассказал в книгах «Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы»²³ и «Очерки современной Англии»²⁴. «Вестник Европы» откликнулся на последнюю из этих книг развернутой статьей Е.И. Утина. Выводы его хвалебны: «Заметки Тэна поражают нас своею меткостью, в них он затрагивает все выдающиеся стороны жизни, в них он является таким тонким наблюдателем, от внимания которого не ускользают самые мелкие, но типичные черты нравов английского народа»²⁵. Для Е.И. Утина важны не столько эмоциональные впечатления, сколько практическая польза знакомства с зарубежным опытом: «Чем чаще европейская литература обращает свои взоры к Англии, тем чаще ищет она поучений в этой классической стране свободных нравов, тем большую услугу оказывает современному обществу»²⁶.

Тэн был популярен, его книги читали даже в дороге, об этом есть свидетельство А.Ф. Кони, известнейшего юриста, на тот момент председателя Петербургского окружного суда, только что завершившего процесс В. Засулич. В одну из поездок по железной дороге он захватил том Тэна. Попутчик, им оказался не менее знаменитый И.С. Аксаков, «сказав, что не читал еще этой книги, спросил мое о ней мнение», а при расставании попросил ее почитать. Кони исполнил просьбу, Аксаков, тоже в пути, по дороге от Курска до Киева, «прочел с лишком 200 страниц»²⁷.

Книги подобного содержания продолжали публиковать вплоть до Первой мировой войны. Об Англии во временных границах 1832–1910 гг. рассказал француз Луи Казамиан в книге «Современная Англия»²⁸. По замыслу российских издателей книга должна была представить Англию как одну из главных стран европейской культуры. Казамиан про-

²² Там же. С. 3.

²³ Тэн И.А. Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы. В 2-х ч. СПб.: Т-во «Обществ. польза», 1871.

²⁴ Тэн И.А. Очерки современной Англии. СПб.: Тип. Дома призрения, 1872. Параллельно вышло издание: Тэн И.А. Очерки Англии. СПб.: Тип. М. Хана, 1872.

²⁵ Утин Е. Англия в книге Тэна // Вестник Европы. 1872. Кн. 10. С. 692.

²⁶ Утин Е. Англия в книге Тэна // Вестник Европы. 1872. Кн. 11. С. 257.

²⁷ Кони А.Ф. За границей и на родине // Кони А.Ф. Собрание сочинений. М.: Изд. Юридическая литература, 1969. Т. 7. С. 177–178, 181.

²⁸ Казамиан Л. Современная Англия / Пер. с франц. Б.Г. Столпнера. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1912.

слеживает то, что является, по его мнению, самым существенным для характеристики экономического, политического и социального строя Англии: развитие крупной промышленности и борьба с иностранной конкуренцией; социальные проблемы в связи с ролью и положением в обществе аристократии, буржуазии и пролетариата; усиление социалистических тенденций, реформы политической системы, эволюция партий, развитие тред-юнионистского движения; интеллектуальная жизнь.

С конца 1850-х гг. на российском книжном рынке появляются труды по истории Англии – обобщающие и по отдельным периодам. Сначала их было мало и выходили они с большими перерывами. В числе первых – «История Англии для детей» классика английской литературы Чарльза Диккенса²⁹. Занимательным, но неприкрашенным повествованием о прошлом страны, где было место и героическому, и низменному, автор стремился наставить детей на путь добра. В 1881 г. вышла написанная Джустином Мак-Карти «История нашего времени от вступления на престол королевы Виктории до Берлинского конгресса»³⁰. Издателей привлекла популярность книги в Англии, где она выходила двенадцать раз. События внутренней политической жизни, перемежаемые очерками об отношениях с Канадой и Ирландией, об «опиумной войне» в Китае и поражении в Афганистане, составляют содержание этого сочинения.

В 1890-е гг. появились выдержавшие множество переизданий на родине и в других странах труды выдающегося историка Джона Ричарда Грина – четырехтомная «История английского народа»³¹ и трехтомная «Краткая история английского народа»³². Грин сделал попытку раскрыть как единое целое развитие Англии, показав различные стороны политической истории и политических институтов, конституционных преобразований, социальной и религиозной жизни, экономического бытия, культуры и литературы. Особый интерес подхода Грина истории страны отмечали рецензенты российских журналов. В центре повествования – не столько короли и завоеватели, сколько люди из народа: «если некоторые лица английской военной и политической истории занимают в книге Грина меньше места, чем это бывает обыкновенно, то он сделал это по-

²⁹ Дикенс К. История Англии для детей: [в 2 ч.] / Пер. с англ. Анны Зонтаг. М.: Изд. бр. Салаевых, 1860–1861.

³⁰ Мак-Карти Дж. История нашего времени от вступления на престол королевы Виктории до Берлинского конгресса с 1837 по 1878 г.: Пер. с 12 англ. изд. Кронштадт: Тип. «Кронштадского вестника», 1881.

³¹ Грин Дж.Р. История английского народа / Пер. с англ. П. Николаева. Т. 1–4. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1891–1892.

³² Грин Дж.Р. Краткая история английского народа / Пер. с англ. В.Я. Богучарского [псевд.]; Под ред. Н.Н. Шамолина. Вып. 1–3. М.: Тип. А.Г. Кольчугина, 1897–1900. Вып. 1. 1897.; Вып. 2. 1898.; Вып. 3. 1900.

тому, что сохранял место для фигур, обыкновенно мало замечаемых историей»³³. «Исторический вестник» рецензией П.А. Конского отдает дань Грину: «Он “враг” военной истории, слегка лишь касаясь частных войн и дипломатических отношений. Его мало интересуют и похождения королей и вельмож, роскошь двора и фаворитов. Война в истории Англии действительно играла, сравнительно, такую малую роль, что точка зрения английского историка вполне оправдывается. Вследствие этого, и в маленьком его сочинении “Краткая история” он развернул картину истории народа, а не английских королей или завоевателей, выдвинул не лица военной или политической истории, а малозаметные, работавшие скромно, фигуры миссионера, философа, поэта, упорного купца и трудолюбивого книгопечатника». А.К. Дживелегов в «Мире Божьем» также отмечал эту особенность: «у него действительно фигурирует народ как активный деятель в истории, и сама история не превращается, как это нередко случается именно в кратких обзорах, в сухой каталог королей, бессвязное перечисление битв, украшенное живописными подробностями, договоров, анекдотов и прочих аксессуаров “трубно-барabanной” истории»³⁴.

Практиковалось объединение в одном томе книг разных авторов: работы англичанина Генри Гиббинса «Английский народ в XIX веке» и российского журналиста Давида Владимировича Соскиса (псевдоним «Д. Сатурин») «Последние моменты истории английского народа» вышли под одной обложкой и единым названием «История современной Англии»³⁵. Гиббинс в популярных очерках рассказывает о переменах в промышленности, внутренней политике, парламентских реформах и королеве Виктории, ирландской проблеме. Издатель полагал, что читатель найдет в книге «сравнительно много интересных и точных фактов, касающихся промышленного прогресса и расширения колониальных владений Англии за последние сто лет». В рецензии А.К. Дживелегова эти надежды были развеяны: «Читатель не найдет там даже слабого намека на научность. Это какая-то наскоро состряпанная, вдобавок еще тенденциозная, каша, где неподготовленный читатель потеряет голову <...> Какая-нибудь незначительная экспедиция против безоружных дикарей возводится на степень подвига, единственного в военной истории. Наоборот, там, где торжествуют принципы, создавшие Англии столь исключительное положение в культурном мире, Гиббинс видит сплошное недоразумение». В то же время, статьи Сатурина об англо-

³³ Мир Божий. 1897. № 11. С. 85.

³⁴ Дживелегов А. [Рецензия]: Грин Дж.Р. Краткая история английского народа // Мир Божий. 1901. № 2. С. 87.

³⁵ [Гиббинс Г., Сатурин Д.] История современной Англии. СПб.: Знание, 1901.

бурской войне, переменах в Австралии и голоде в Индии, по мнению Дживелегова, не лишены известного интереса³⁶.

Совершенно особое место в ряду переведенных книг занимает шеститомное издание «Общественная жизнь Англии»³⁷, написанное большой группой авторов во главе с Г.Д. Трайлем. Оно появилось в России в 1896–99 гг. Предметом исследования – развитие нации как социального организма. Как декларировал Трайль, «мы можем излагать по возможности настолько кратко, насколько это допустимо без ущерба для ясности изложения, события войн, завоеваний, договоров и союзов, борьбы конституционных учреждений и борьбы династий; но зато мы будем излагать во всех мелких подробностях те различные ступени нашей английской цивилизации, которые отмечены эпохами нравственного и интеллектуального прогресса или которые можно проследить косвенно в том росте богатства, который, увеличивая комфорт и расширяя досуг, так сильно способствует интеллектуальному развитию, а в некоторой степени и нравственному усовершенствованию народов»³⁸. Такой подход определил и структуру издания. Каждый из томов состоит из разделов, раскрывающих своеобразие социального развития в каждую из рассматриваемых эпох, начиная от норманнского завоевания до парламентских выборов 1885 г.

Появление каждого тома издания Трайля в России сопровождалось рецензиями и откликами в журналах. Сколь обширен по объему и разноплановости этот труд, столь и сокрушительна критика его в российской печати. Автор многостраничной рецензии в «Мире Божьем» совершенно не согласен с методологическими подходами Трайля и его соавторов: «Вопрос, как можно изложить историю культуры одной из передовых цивилизованных наций, сам по себе представляет тему для серьезнейшей работы философского и исторического характера. Трайль решил ее очень просто: разделить общий культурный поток, всю историческую многовековую сцену на несколько течений или полос и дать специалистам изложить свои мнения по поводу каждого из установленных отделов. Один будет изображать литературу, другой искусство, третий религию, четвертый нравы. Именно такие рубрики стоят в проекте Трайля. Уже одно перечисление их показывает, что читатели книги рискуют попасть в безвыходное положение на каждом шагу относительно общей картины об-

³⁶ Дживелегов А. [Рецензия]: Гиббинс Г., Сатурин Д. История современной Англии // Мир Божий. 1901. № 2. С. 89.

³⁷ Трайль Г.Д. *Общественная жизнь Англии: религия, законодательство, наука, искусство, промышленность, торговля, литература, нравы и обычаи в их историческом развитии от древнейшего периода до настоящего времени*. В 6 т. / Пер. с англ. П. Николаева. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1896–1899.

³⁸ Трайль Г.Д. Указ. соч. Т. I. М., 1896. С. 2.

щественного развития в ту или иную эпоху, и испытать невыносимую скуку от бесконечных повторений одних и тех же фактов и мыслей в разных рубриках разными специалистами». Для рецензента первого тома все это издание – предприятие «мало полезное не только в английской исторической литературе, но даже и у нас»³⁹. Не лучше оценка и второго тома: «предназначение сборника по-прежнему остается неопределенным – до такой степени разнохарактерны статьи, его составляющие. Одни – ничто иное, как конспекты, предполагающие у читателя обширные, общие и специальные сведения не только по истории, но и по искусству, военному делу. Другие, напротив, элементарны до умильности, заключаются в хронологическом своде главнейших фактов с наивными обобщениями и, по-видимому, совершенно случайной “философией”»⁴⁰. Правда, «Русское богатство» не столь категорично в своих оценках книги: «Слабость введения <...> не мешает остальным статьям быть вполне пригодными и полезными в смысле ознакомления фактического и в сжатом виде с историей развития различных сторон английской жизни <...> В этом последнем отношении книга, бесспорно, может служить весьма полезным пособием при изучении истории Англии, да на это только она, как книга чисто-описательного характера, и рассчитана»⁴¹.

Выходили работы по отдельным периодам и проблемам истории Англии. Огюстен Тьерри в основу исследования «История завоевания Англии норманнами»⁴² заложил представление о том, что вся история Англии (как и Франции) представляет собой борьбу двух противостоящих друг другу этносов, а разгром в 1066 г. норманнами англосаксов привел к интеграции этносов и формированию на этой основе новой нации; в ее рамках потомки победителей и побежденных образовали дворянство и третье сословие, что привело к классовым антагонизмам, постепенному возвышению последнего по мере того как ослабевала феодальная организация дворянства, т.е. потомков древних завоевателей. Профессор Новой истории в Оксфорде и член Британской Академии Чарльз Оман написал работу о восстании 1381 г. во главе с Уотом Тайлером⁴³. А.Н. Савин с едва скрытой иронией отметил поспешность издания книги в России («предисловие помечено 3 мая 1906, а в начале 1907 книга уже поступила на русский книжный рынок»), причина тому:

³⁹ Мир Божий. 1897. № 1. С. 72, 75.

⁴⁰ Мир Божий. 1897. № 9. С. 64-65.

⁴¹ Русское богатство. 1897. № 2. С. 56.

⁴² Тьерри О. История завоевания Англии норманнами, о его причинах и последствиях до нашего времени в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке / Пер. Е. Горнева. Т. 1. СПб.: Тип. Деп. уделов, 1858. 2-е изд. 1859–1860; 3-е изд. 1868.

⁴³ Оман Ч. Великое крестьянское восстание в Англии / Пер. с англ. М.: Тип. Кушнера, 1907.

«повстанческий сюжет (Оман в соседстве с Марксом и Бебелем), краткость, общедоступность». Оман хотел стать первоописателем восстания 1381 года, но не знал, что «интересный подбор материала» имеется в статьях М.М. Ковалевского, а «первая научная история восстания появилась в 1897 г. и принадлежит московскому профессору Д.М. Петрушевскому». Хотя Оман, продолжает Савин, в связи с возможностью пользоваться источниками, находился в очень выгодном положении сравнительно со своими русскими предшественниками, «сопоставление с исследованием проф. Петрушевского оказывается очень невыгодно для проф. Омана». Работа последнего «похожа на не критический свод разнокалиберного материала; отрывочные и редкие критические замечания об отдельных эпизодах борьбы мало помогают делу». И как итог: «приходится более жалеть о том, что книга проф. Петрушевского все еще не существует в английской обработке, нежели сочувствовать тому, что книга проф. Омана переведена на русский язык⁴⁴.

Заметное место заняли работы по истории революции XVII в. В их числе изданные под одним переплетом и с общим титульным листом книги Самюэля Равсона Гардинера и Осмунда Эйри⁴⁵. Гардинер излагает события с воцарения Якова I и доводит ее до протектората Кромвеля, Эйри в части, касающейся Англии, хронологически продолжает тему, рассматривая историю страны эпохи Стюартов. Цюрихский профессор истории Альфред Штерн в «Истории революции в Англии»⁴⁶, впервые изданной в Берлине в 1881 г., сжато излагает события 1625–60 гг. Известный немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн в работе «Общественное движение в Англии XVII века»⁴⁷ рассматривает социальную историю революции, теории и движения рассматриваемой эпохи в качестве провозвестников новейшего социализма.

Журнал «Образование» рецензией, подписанной Н. Козьминым, рекомендует читателям сочинения Гардинера и Эйри, «хотя русский перевод весьма оставляет желать лучшего»⁴⁸. Тот же журнал откликнулся рецензией и на издания книг Штерна и Бернштейна: «До самого послед-

⁴⁴ Савин А. [Рецензия]: Ч. Оман. Великое крестьянское восстание в Англии // Русская мысль. 1907. № 4. С. 72,73, 74.

⁴⁵ [Гардинер С.Р., Эйри О.] Первые Стюарты и пуританская революция. 1603–1660. Соч. С.Р. Гардинера. Реставрация Стюартов и Людовика XIV, от Версальского до Нимвегенского мира. Соч. О. Эйри / Пер. с англ. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1896.

⁴⁶ Штерн А. История революции в Англии / Пер. со 2-го нем. изд. Г.Ф. Львовича. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1900.

⁴⁷ Бернштейн Э. Общественное движение в Англии XVII века / Перевод с немецкого. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1899.

⁴⁸ Козьмин Н. [Рецензия]: С.Р. Гардинер. Пуритане и Стюарты. 1603–1660; О. Эйри. Реставрация Стюартов и Людовика XIV, от Версальского до Нимвегенского мира // Образование. 1896. № 12. С. 106.

него времени для ознакомления с историей английской революции русским читателям приходилось пользоваться главным образом историческими трудами Гизо и соответствующими томами истории Маколея. Недавно наша переводная литература об этом замечательном моменте английской истории обогатилась появлением одной из работ С.Р. Гардинера... Теперь перед нами еще два новых труда, на этот раз немецких авторов. Для читателя они как бы взаимно дополняют друг друга. У А. Штерна он найдет обстоятельное фактическое изложение истории революции, важнейших событий и течений. Э. Бернштейн, предполагая уже некоторое знакомство с этой фактической стороной эпохи, вводит в изучение социальных сил, боровшихся на тогдашней политической арене классов, поскольку они сформировались и обособились, умственных течений, если не оказавших особого влияния на ход событий, то весьма характерных для оценки положения отдельных групп народа»⁴⁹.

Как полагало «Русское богатство», книга Бернштейна «имеет немало себе равных в нашей новейшей переводной литературе», представляет собой «блестящий опыт» восстановления в истинном виде общественных течений эпохи английской революции»⁵⁰. «Исторический вестник» также отмечает значение книги Бернштейна, «удачно дополняющей сочинение Штерна»: труд Штерна «лишь слегка касается религиозных отношений в Англии того времени и не уделяет должного внимания истории индипендентства, а это повело к тому, что в его сочинении вовсе не выяснен состав политических партий того времени. Он не касается того существенного вопроса, как движение индипендентов постепенно приняло демократический характер, и как принципы индипендентства окрасили собою литературу и политику того времени»⁵¹.

Завершает ряд дореволюционных переводов трудов по этой теме книга Германа Вейнгартена «Народная реформация в Англии XVII века»⁵², в которой центр тяжести перенесен на религиозную составляющую революции в противовес политической или социальной. О труде Вейнгартена высказывались противоречивые суждения. «Русское богатство», заметив, что эта книга подкупает «удивительным мастерством в передаче религиозных настроений эпохи», все же высказало сомнение в целесообразности ее публикации: «Мы не говорим, что книга Вейнгар-

⁴⁹ Плотников М. Альфред Штерн. История революции в Англии; Бернштейн. Общественное движение в Англии XVII века // Образование. 1900. № 9. С. 93.

⁵⁰ Русское богатство. 1900. № 1. С. 106, 109.

⁵¹ П. К-ий. [Рецензия]: Альфред Штерн. История революции в Англии. Перевод со второго немецкого издания Г.Ф. Львовича // Исторический вестник. 1900. Т. LXXXII. Октябрь. С. 343.

⁵² Вейнгартен Г. Народная реформация в Англии XVII века / Пер. с нем. под ред. М.Н. Покровского и Н.Н. Шамониной. М.: И.А. Баландин, 1901.

тена плоха, что русскому читателю совсем излишне с нею познакомиться, но невольно возникает вопрос, почему же для русской публики богословско-исторический трактат нужнее и важнее, нежели такие превосходные научные по содержанию и литературные по изложению вещи, как хотя бы сочинение Гардинера»⁵³. А.К. Дживелегов в «Мире Божьем» в примирительном духе сопоставил значимость всех этих трудов: в книге Вейнгартена лучше всего исследована религиозная окраска Английской революции; книга Штерна является как нельзя более подходящей для лиц, ищущих подробного знакомства с английской революцией, но не удовлетворяющихся маленькой книжкой Гардинера; книга Бернштейна как бы дополняет исследование Штерна, главной задачей Бернштейна является выяснение миросозерцания левеллеров и квакеров, особенно идей Джеральда Уинстенли; и Штерн, и Бернштейн иллюстрируют значение революции сопоставлением с Французской революцией – у Штерна оно выходит поверхностно, у Бернштейна дело обстоит иначе⁵⁴.

На российском книжном рынке появились работы в жанре политической биографии, например, книги Фредерика Гаррисона («Оливер Кромвель»⁵⁵) и Джона Морлея («Новое жизнеописание Оливера Кромвеля»⁵⁶). Как отметил Дживелегов, «книга Гаррисона, написанная с полным пониманием дела, обнаруживающая трезвый взгляд на события и отличающаяся необыкновенной ясностью, окажется очень полезной русскому читателю, потому что в нашей литературе нет ничего более подходящего: книга Морлея <...> не получила большого распространения»⁵⁷. Получили известность работы Джеймса Брайса – влиятельного деятеля либеральной партии, занимавшего должности министра торговли, товарища министра иностранных дел и другие посты в правительствах Гладстона. Ему принадлежит ряд трудов, в том числе книги «Вильям Гладстон» и «Выдающиеся английские деятели XIX века»⁵⁸. Последняя представляет собой сокращенный вариант вышедшей в Англии работы «Исследование современных биографий», представлявшей собой 20

⁵³ Русское богатство. 1901. № 12. С. 70, 71.

⁵⁴ Мир Божий. 1900. № 5. С. 101–102.

⁵⁵ *Гаррисон Ф.* Оливер Кромвель / Пер. с англ. под ред. В.А. Гольцева. М.: Изд. магазина «Кн. дело», 1901.

⁵⁶ *Морлей Д.* Новое жизнеописание Оливера Кромвеля. Ист. монография. СПб.: изд. редакции «Нового журнала иностранной литературы». 1901.

⁵⁷ *Дживелегов А.* [Рецензия]: Гаррисон Ф. Оливер Кромвель. М., 1901 // Мир Божий. 1901. № 12. С. 112.

⁵⁸ *Брайс Дж.* Вильям Гладстон / Пер. с англ. А.Я. Гальперна под ред. и с прим. Л.Е. Оболенского. СПб.: Типо-лит. Вайсберга и П. Гершунина, 1902; Брайс Дж. Выдающиеся английские деятели XIX века: Лорд Биконсфилд. Гладстон. Парнелль. Грин. Фриман. Лорд Актон / Сост., пер. и авт. предисл. В.Ф. Дерюжинский. СПб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1904.

очерков о выдающихся английских деятелях XIX в. В.Ф. Дерюжинский отобрал и перевел шесть очерков: о политиках (Дизраэли, Гладстоне, Парнелле) и историках (Грине, Фримане, Актоне). Убедительность этим очеркам придает то, что всех персонажей своей книги (кроме Дизраэли) Брайс знал лично, а с Гладстоном, Грином и Актоном его связывали близкие дружеские отношения. Д. Обри в биографии Эдуарда VII ограничился описанием частной жизни короля в пределах семьи и двора⁵⁹.

Публикация автобиографии Джона Стюарта Милля⁶⁰ (1874, 1896) была с исключительной теплотой воспринята «Русским богатством» – «есть много глубоко интересного и поучительного в этом правдивом и скромном жизнеописании одного из благороднейших мыслителей XIX столетия»⁶¹. Дважды издали автобиографию Герберта Спенсера: в виде «сокращенного изложения» (1905) и более полную, в двух томах (1914), но с заменой в ряде случаев подлинного текста кратким пересказом⁶². «Русское богатство» высоко оценило значимость выхода книги: «Творец десяти томной “Синтетической философии”, мыслитель, опередивший Дарвина в создании эволюционного мировоззрения, главный представитель английской философии XIX века – такой человек, естественно, привлекает внимание всего образованного мира, и желание заглянуть в закулисную сторону жизни такого человека, желание узнать, как слагалось его мировоззрение, следует считать вполне законным. И знакомство с автобиографией Спенсера вполне оправдывает интерес к его личности: мы видим здесь не только великий ум, но и великий характер»⁶³.

Ниже пойдет речь о переведенных на русский язык работах по экономической истории Англии Генри Гиббинса. Но английскому историку-экономисту принадлежит и книга, знакомящая, «с жизнью некоторых выдающихся своих соотечественников, которые словом или делом содействовали осуществлению начал правды и справедливости, отзывались на нужды низших классов, на страдания несчастных и обездоленных»⁶⁴. Эта книга в 1896 г. была издана в России под назва-

⁵⁹ Обри Д. Король Эдуард VII Английский / Пер. с франц. перераб. под ред. и с доп. Е. Боратынской. М.: Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1910; Переиздано без изменений: Обри Д. Английский двор и король Эдуард VII / Пер. с франц. перераб. под ред. и с доп. Е. Боратынской. М.: Книгоизд-во «Современные проблемы», 1917.

⁶⁰ Милль Джон Стюарт. Автобиография: Пер. с англ. / Под ред. Г.Е. Благосветлова. СПб.: Тип. В. Тушнова, 1874; Милль Джон Стюарт. Автобиография. История моей жизни и убеждений / Под ред. Г.Е. Благосветлова. М.: Книжное дело, 1896.

⁶¹ Русское богатство. 1896. № 10. С. 109.

⁶² Спенсер Г. Размышления: Гл. из «Автобиографии» / Пер. с англ. Г.Г. Оршанского. Харьков: П.А. Брейтигам, 1905; Он же. Автобиография / Пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. проф. Л.Е. Владимирова. СПб.: Просвещение, 1914. Т. 1–2.

⁶³ Русское богатство. 1914. № 4. С. 390.

⁶⁴ Русское богатство. 1896. № 8. С. 60.

нием «Английские реформаторы»⁶⁵. В ней Гиббинс дает характеристики деятелей, выдвинувшихся в памятные моменты английской истории, – крестьянского восстания 1381 года («нищий поэт» Уильям Лэнгленд, «безумный поп» Джон Болл), отмеченный социально-экономическими и культурными сдвигами XVI век (Т. Мор), эпоха промышленной революции (Остлер, лорд Эшли, Карлейль, Рескин и др.). «Русское богатство» настоятельно рекомендовало прочесть эту книгу русскому читателю: «Нельзя все-таки отрицать того, что великие люди, опережающие свой век или просто ярко формулирующие те идеи, которые уже носят в воздухе, в значительной степени содействуют более быстрому проведению в жизнь тех великих социальных реформ, которые без их содействия осуществились бы гораздо позже»⁶⁶.

Государственный строй Англии

Интерес к государственному строю Англии подпитывали сугубо практические намерения использовать опыт этой страны. В либеральных кругах распространилось мнение, выраженное «Русской мыслью»: в эпоху горячих дебатов о направлении реформы государственного строя России «далеко не безразлично для роста и успехов политической свободы в России, как будем мы на практике разрешать основные проблемы конституционного права, которые давно были разрешены в Англии»⁶⁷. Объясняли и причины распространившегося англофильства. По словам известного юриста Ф.Ф. Кокошкина, Англия шла по пути политического развития «впереди других народов, постоянно поддерживая в своей государственной жизни наивысший для данной эпохи уровень политической и гражданской свободы, неразрывно связанной с твердым и устойчивым государственным правопорядком. Изумительные качества английского государственного механизма <...> не обнаружались ни в чем с такой наглядностью как <...> в тех огромных социальных и политических преобразованиях, которые на наших глазах совершаются в Соединенном Королевстве. Переворот, который в других странах и при других условиях почти неизбежно вызвал бы кровавые потрясения, идет здесь не только мирным, но строго легальным путем. Старые конституционные формы вмещают в себя бушующие волны новой жизни, расширяясь под их напором, но вместе с тем ни на волос не отклоняясь от завещанной веками традиции. Англия по-прежнему дает человечеству высшие образцы того, что англичане со свойственной им трезвостью и

⁶⁵ Гиббинс Г. Английские реформаторы / Пер. А.А. Санина. М.: Типо-лит. В.С. Траугот, 1896.

⁶⁶ Русское богатство. 1896. № 8. С. 63.

⁶⁷ Сторожев В. Старая книга об английской конституции // Русская мысль. 1905. № 12. С. 73.

скромностью политической фразеологии называют «хорошим управлением», и изучение ее государственного строя <...> является необходимой школой для теоретической и практической политической мысли»⁶⁸. Именно поэтому переводы работ о конституционном процессе и эволюции демократических начал в политическом устройстве Великобритании заметно преобладают. Их общая черта – выявление самобытности британской политической системы, которая сумела создать демократические институты, способные стать примером для других государств.

Поначалу библиотеки и частные книжные собрания мало что могли предложить заинтересованному читателю: на протяжении нескольких десятилетий с политическим строем Англии можно было познакомиться только по книге члена Совета двухсот Женевской республики Жана Луи де Лолма «Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями» (1806 г.)⁶⁹. Только в 1862 г. в России появилась еще одна работа на эту тему – труд немецкого юриста Эдуарда Фишеля «Государственный строй Англии»⁷⁰. Издатели объясняли свои мотивы желанием «содействовать выяснению самых важных и существенных интересов современного русского человека», поскольку «при том значении, какое получили у нас вопросы общественного быта, недостаток в нашей литературе сочинений по части государственного права составляет одно из весьма важных затруднений в стремлениях к правильному развитию и разъяснению этих вопросов». Сам же выбор труда мотивировался тем, что в нем «в сжатой, общедоступной форме, с строго научным беспристрастием, собрано из лучших источников огромное количество фактов, по которым каждый может составить весьма полное и верное понятие о государственном строе нации, возбуждающей своим благосостоянием справедливую зависть народов европейского материка»⁷¹. В оценке информативности книги издатели были правы. Книга обстоятельно и добросовестно разъясняет английскую политическую систему, пространно трактует об институте королевской власти, парламентской системе, устройстве государственной администрации, политическом статусе государственной церкви, сущ-

⁶⁸ Кокошкин Ф. Предисловие к русскому переводу // Лоуэлль А.Л. Государственный строй Англии. Т. 1. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. С. III–IV.

⁶⁹ Лолм Ж.Л. де. Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями. В 2-х т. / Пер. с фр. И. Татищева. М.: Университетская типография, 1806.

⁷⁰ Фишель Э. Государственный строй Англии / Пер. П.М. Цейдлера. СПб.: Изд. М.О. Вольфа, 1862; 2-е изд., 1864.

⁷¹ Фишель Э. Указ. соч., 1862. С. I–II.

ности местного самоуправления, правах англичан, наконец, взаимоотношениям метрополии с колониальными владениями.

Недостаток литературы побудил студентов Московского университета перевести и издать в 1880 г. под редакцией проф. М.М. Ковалевского исследование Эдварда Фримана и Вильяма Стебса «Опыты по истории английской конституции»⁷². Выбор не был случайным. Оба были авторами многочисленных трудов и сделали карьеру: Фриман в 1884 г. стал профессором Оксфордского университета, Стебс в 1888 г. – епископом Оксфордским. Хронологически этот труд охватывает время до правления Эдуарда I, т.е. до начала XIV в. Тем не менее, он оказал определенное влияние на складывание представлений об истоках английского парламентаризма. Ковалевский писал: «Лучшую часть труда профессора Стебса составляет изложение самой истории английского парламента <...> главный интерес предлагаемой им истории парламента лежит не в новизне материала, а в целостном освещении его одной мыслью – мыслью о том, что английская свобода есть продукт многотрудной, вековой и совокупной борьбы всех и каждого из классов английского общества против непрестанных и вполне естественных стремлений королей к единоличному правлению»⁷³. В отзывах критики, «очерк Стебса – ученый труд в полном смысле этого слова, вполне объективный, написанный вовсе не для того, чтобы доказать какую-нибудь предвзятую тему; очерк Фримана имеет скорее публицистический и полемический характер», что вытекает из тезиса Фримана: как в нашем древнейшем, так и в современном политическом устройстве король существует для народа⁷⁴.

Полоса реакции и цензурные ограничения, введенные после убийства Александра II (1881), затормозили распространение опыта буржуазной государственности. Только в 1885 г. опубликовали книгу немецкого историка государственного права Рудольфа Гнейста. В России это имя было известно специалистам по немецкоязычным изданиям, а рядовому читателю по публикации в «Русском вестнике» (1864). Гнейст, будучи длительное время членом прусского ландтага и общегерманского рейхстага, активно участвовал в законодательной работе, особенно в области судебной системы и уголовного права, пропагандировал введение в Пруссии английской системы безвозмездного исполнения обязанностей в органах самоуправления, что обеспечивало бы господство юнкерства и крупных землевладельцев. Его «История государственных учреждений

⁷² Фриман Э., Стебс В. Опыты по истории английской конституции / Пер. с англ. студентов Моск. ун-та под ред. М. Ковалевского. М.: Тип. Т. Малинского, 1880.

⁷³ Ковалевский М. Английская конституция и ее историк. М.: Изд. А.Л. Васильева, 1880. С. 55–56.

⁷⁴ Вестник Европы. 1880. № 6. С. 753.

Англии»⁷⁵ стала одной из наиболее читаемых работ. Причину этого раскрыл М. М. Ковалевский: «Одно время можно было думать, что не Англии, а Германии суждено будет подарить науку историей конституционной жизни английского народа. Многие увидели даже осуществление этой задачи в массивных трудах берлинского профессора Гнейста, стали говорить об этих трудах, как о каком-то откровении, видеть в английских учреждениях и их истории только то, что хотел видеть в них прусский ученый, интересоваться в них лишь тем, что интересовало его, говорить о самоуправлении и об административном суде, как об учреждениях почти исчерпывающих собой содержание английской свободы, скептически относиться к так называемым конституционным гарантиям, отрицать даже существование некоторых из них, как, например, права членов палаты общин отказывать в утверждении бюджета; одним словом, изучать не английскую конституцию, а то, что думает о ней проф. Гнейст. Пора увлечений, к счастью, уже прошла <...> Часто стали случаться случаи, в которых личные наблюдения Гнейста над английским парламентаризмом почти единогласно были признаваемы его личными заблуждениями»⁷⁶. Главный недостаток труда Гнейста усматривали в недооценке процесса демократизации английских учреждений после реформы 1832 года. Гнейст полагал, что организация местного самоуправления достигла вершины в XVIII в., а все последующие действия по его реформированию представляют собой движение к централизации по континентальному образцу, так что в этом отношении Англия и континентальные государства приближаются друг к другу.

Развенчание Гнейста произошло быстро и бесповоротно в связи с появлением ряда работ, концептуально более отвечающих умонастроениям российской демократической общественности. Классик либеральной политической мысли Джон Стюарт Милль в своих трудах, в том числе в одном из главных – «Представительное правление» – еще в 1863 г. переведенном на русский язык⁷⁷, предстает защитником парламентаризма, показывает всю важность проведенных в XIX в. преобразований избирательного права, направленных на расширение электората. Русская критика оценила книгу по достоинству. Журнал «Образование» в анонимной рецензии на издание 1897 г. рекомендует ее, как одно из «лучших популярных сочинений европейской литературы по вопросу о предста-

⁷⁵ Гнейст Р. История государственных учреждений Англии / Пер. с нем. под ред. проф. С.А. Венгерова. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1885.

⁷⁶ Ковалевский М. Английская конституция и ее историк. М.: Изд. Л.А. Васильева, 1880. С. 24–25.

⁷⁷ Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлении. СПб.: Яковлев, 1863; Милль Дж. Ст. Представительное правление / Пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. СПб.: Ф. Павленков, 1897.

вительном правлении»; достоинства книги «вполне искупают, как устарелость взглядов автора по двум-трем отдельным вопросам, так и некоторую неполноту книги (напр., Милль вовсе не останавливается на отношении парламента к королю). Поэтому нельзя не отнести самым сочувственным образом к выбору сочинения, сделанному издателем, и оказанная им русской читающей публике услуга отнюдь не умаляется тем, что эта книга уже была переведена на русский язык...»⁷⁸.

Популярность Милля в России была столь велика, что в середине 1860-х годов был издан трехтомник его политических, философских, исторических и экономических статей⁷⁹. Еще одна книга Милля «Подчиненность женщины» в России впервые вышла в 1869 г. сразу в двух издательствах⁸⁰. Событие это не осталось незамеченным. «Вестник Европы» откликнулся статьей, в которой высказал уверенность, «что сочинению Милля предстоит у нас большой успех: ему предназначено возвести в сознательную истину то, что в нашем обществе было на степени инстинкта или полусознания»⁸¹. К 1882 г. книга Милля вышла вторым и третьим изданиями⁸², а в 1896 г. ее издали и в новом переводе⁸³. И это событие привлекло внимание критики. «Мир Божий», процитировал слова Милля о том, что «принцип, на котором зиждутся отношения двух полов друг к другу, т.е. подчинение женщины мужчине, не только сам по себе ложен, но еще служит сильнейшим тормозом человеческому прогрессу». Разделяя убеждение Милля о необходимости утверждения противоположного принципа полнейшего равенства, «не допускающего прав и преимуществ, с одной стороны, и бесправия – с другой», журнал заключил: «даже сама аргументация Милля в пользу раскрепощения женщины сохранила свою силу и до наших дней»⁸⁴.

⁷⁸ Образование. 1898. № 1. С. 201.

⁷⁹ *Милль Дж. Ст.* Рассуждения и исследования политические, философские и исторические: в 3 ч. СПб.: Тип. А.С. Голицына, 1864–1865. Ч. 1: Статьи исторические, 1864; Ч. 2: Статьи политические и экономические, 1865.

⁸⁰ [*Милль Дж. Ст.*]. О подчинении женщины / Пер. с англ. под ред. и с предисловием Г.Е. Благосветлова. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1869; [*Милль Дж. Ст.*]. Подчиненность женщины / Пер. с англ. с предисловием Ник. Михайловского и с присоединением писем О. Конта к Дж. С. Миллю по женскому вопросу. СПб.: Изд. книготорг. С.В. Звонарева, 1869.

⁸¹ Вестник Европы. 1869. Кн. 10. С. 959.

⁸² *Милль Дж. Ст.* Подчиненность женщины / Пер. с англ. под ред. Марка Вовчка с предисл. М. Цебриковой. 2-е изд., испр. СПб.: С.В. Звонарев, 1870; *Милль Дж. Ст.* О подчинении женщины / Под ред. Г.Е. Благосветлова. 2-е изд. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1871; 3-е изд. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1882.

⁸³ *Милль Дж. Ст.* О подчинении женщины / Пер. с англ. М. Лялиной под ред. В.С. Лялина. Изд. Губинского, 1896.

⁸⁴ Мир Божий. 1896. № 7. Отд. 2. С. 9–10.

Эмиля Бутми русскоязычные читатели впервые узнали по вышедшей в 1897 г. и переизданной в 1904 г. книге «Развитие конституции и политического общества в Англии»; она охватывает XI–XVIII вв. и для читателя могла представлять только историко-познавательный интерес⁸⁵. «Русская мысль» положительно оценила ее: «книжка представляет собой прекрасно написанный общий очерк политического и социального развития Англии со времени норманнского завоевания <...> несомненно может служить прекрасным пособием при изучении общего хода развития английского государства и общества»⁸⁶. Но появившаяся затем возможность познакомиться с работами Бутми «Развитие государственного и общественного строя Англии» и «Опыт политической психологии английского народа в XIX веке»⁸⁷ не могла не разочаровать либерально настроенных читателей в связи со сравнением автором включения в политический процесс новых масс избирателей с нашествием «дикарей», «привыкнущих руководиться в своих мыслях инстинктами, которые трудно совместить с логикой до сих пор властвовавших классов»⁸⁸. Неудачной считали книгу и журнал «Образование»: «автор взялся за совершенно безнадежную с научной стороны задачу – объяснить политическую психологию английского народа в XIX в. как результат неизменных вековечных свойств “английской расы”»⁸⁹.

Заметный след оставил труд сторонника либерального подхода к изучению британского конституционализма профессора Оксфордского университета Альберта Венна Дэйси об основах государственного права Англии, много раз выходивший на родине, а в России выдержавший три издания⁹⁰. По оценке А. Савина, «эта знаменитая книга привлекает к себе остротой юридического анализа, оригинальностью мысли и литератур-

⁸⁵ Бутми Э. Развитие конституции и политического общества в Англии / Пер. с фр. М. Карова. М.: М.В. Клюкин, 1897.

⁸⁶ Русская мысль. 1905. № 2. С. 57.

⁸⁷ Бутми Э. Развитие государственного и общественного строя Англии / Пер. с нового франц. изд. под ред. М.Н. Покровского. М.: Тип. О-ва распростр. полезных книг, 1904; Бутми Э. Опыт политической психологии английского народа в XIX веке / С предисловием проф. Е. Тарле: Пер. с 2-го франц. изд. [СПб.]: Журн. «Северные записки», 1914.

⁸⁸ Бутми Э. Опыт политической психологии... 1914. С. 320.

⁸⁹ П. Б-ин. [Рецензия]: Э. Бутми. Опыт политической психологии английского народа в XIX // Образование. 1907. № 11. С. 141.

⁹⁰ Дэйси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции / Пер. с 3-го англ. изд. О.В. Полторацкой; Под ред. П.Г. Виноградова. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1891; Дэйси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции / Пер. доп. по 6-му англ. изд. О.В. Полторацкой; Под ред. П.Г. Виноградова. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1905; 2-е изд. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907.

ным талантом»⁹¹. Дайси считал существенными чертами английской конституции «верховенство парламента и господство права»⁹². Комментируя эту идею, автор предисловия П.Г. Виноградов писал: «Вольности английского народа, которыми он привык так гордиться, которым иностранцы привыкли завидовать, получают новое освещение в своей тесной связи с общим правовым порядком. Они являются не отдельными привилегиями, не случайными выдумками, не разрозненными выгодами, а естественными результатами жизни, которая до мелочей и до неудобств поставлена в зависимость от господства правового принципа»⁹³. Парламентские реформы XIX века Дайси трактовал как закономерные этапы поступательного развития политической системы страны. Важным в книге Дайси является исследование феномена «господства права», т.е. гарантий личной и общественной свободы, неприкосновенности и равенства всех перед судом и законом. Эти стержневые идеи соответствовали устремлениям либеральных кругов, добивавшихся политических реформ накануне и в годы российской революции. Рецензент в «Мире Божьем» охарактеризовал труд Дайси как талантливый, соединяющий глубину содержания с блеском и остроумием изложения, дающий «прочный базис для понимания духа английского государственного права»⁹⁴. Ему вторил А.С. Изгоев, рецензируя в «Русской мысли» 3-е издание: «по этой книге уже не одно поколение русских людей знакомилось с сущностью английской конституции»; ее отличает «изысканный, строго юридический и фактически обоснованный анализ», она вскрыла «пружины английского конституционного права: гибкость конституции, всемогущество парламента, а главное господство права»⁹⁵.

Тематически близка к труду Дайси работа американского ученого, президента Гарвардского университета Аббота Лоуренса Лоуэлла «Государственный строй Англии»⁹⁶. Она охватывает основы политического устройства, историю и организацию политических партий, местное самоуправление, народное образование, церковное управление, устройство колоний, организацию и деятельность судов. Эти проблемы рассматриваются не только в историко-правовом, но и в политическом аспекте, а

⁹¹ Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Том девятый. Ст. 324.

⁹² Дайси А.В. Основы государственного права Англии. 1891. С. I.

⁹³ Виноградов П.Г. Предисловие к русскому переводу // Дайси А.В. Основы государственного права Англии. 1891. С. VII.

⁹⁴ Мир Божий. 1905. № 5. С. 142.

⁹⁵ Изгоев А.С. [Рецензия]: А.В. Дайси. Основы государственного права Англии. 2-е изд. // Русская мысль. 1907. № 9. С. 175.

⁹⁶ Лоуэлли А.Л. Государственный строй Англии. Т. 1 / Пер. с англ. М. Языковой; Под ред. и с предисл. Ф. Кокошкина. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915.

именно, в плане влияния государственных институтов на общественно-политическую жизнь страны. Критика не преминула сопоставить книги Дайси и Лоуэлла. На взгляд приват-доцента Петербургского университета Б.Е. Шацкого эти труды «представляют тот минимум, знание которого обязательно для каждого русского интеллигента. Каждая из них сама по себе недостаточна для ознакомления с английским государственным строем, но, пополненные одна другой, они сторицей вознаградят потраченный читателем на их изучение труд ярким описанием “неба” и “земли” английской конституции. Книга Лоуэлла, правда, менее талантлива и блестяща, чем сочинение Дайси, но столь же полезна и необходима»⁹⁷.

Профессор юридического факультета Парижского университета Адемар Эсмен в России стал известен благодаря двухтомнику «Основные начала государственного права»⁹⁸. Книга быстро разошлась. Независимо от этого издания в 1898 г. первая часть этого труда, посвященная общим основаниям конституционного права, была выпущена под редакцией проф. В.Ф. Дерюжинского. Тираж был распродан, и создалась возможность для нового издания. В 1898 и 1909 г. вышли «Общие основания конституционного права»⁹⁹. В этом расширенном издании впервые представлен раздел о конституционном праве Австралии, сопоставлены английская и французская политические системы, парламентские формы правления в Англии и Франции в их историческом развитии, показаны организация пропорционального представительства, распространение всеобщего избирательного права, первые попытки наделения избирательным правом женщин, охарактеризована практика референдума.

Эсмен утверждал, что представительное государство, обеспечивая равенство всех перед законом, служит не какому-то одному классу или сословию, а всему обществу. При этом законодательную власть не следует концентрировать в однопалатном парламенте: верхняя палата позволит сочетать «дух прогресса» с традициями и консерватизмом. Эсмен считал условием устойчивости парламентского правления наличие двух больших партий – «одной консервативной, другой прогрессивистской, предназначенных поочередно сменять одна другую во власти». Он признавал принципы равенства как одинаковой правоспособности, неприкосновенности личности и собственности, свободу труда и промышлен-

⁹⁷ Шацкий Б. [Рецензия]: А.Л. Лоуэлл. Государственный строй Англии // Вестник Европы. 1915. Кн. 6. С. 408.

⁹⁸ Эсмен А. Основные начала государственного права / Пер. с франц. Н. Кончевской; Под ред. и с предисловием М.М. Ковалевского. Т. 1–2. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1898–1899.

⁹⁹ Эсмен А. Общие основания конституционного права: Пер. с 4-го франц. издания / Под ред. Н.О. Бер. Изд. второе. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1909.

ности, совести, собраний, печати и т.п. Но индивидуальные права, по Эсмену, имеют свои границы. Государство не обязано обеспечивать права на материальное обеспечение, труд, образование – любые права, возлагающие на государство обязанности. Должны быть ограничены и права граждан на участие в управлении государством. Поскольку большинство граждан не имеет достаточного образования и досуга, а потому не может оценивать законы, нельзя использовать инструменты прямой демократии наподобие референдумов. Должны быть изъятия и во всеобщем избирательном праве: не могут избирать женщины, необходимы цензы оседлости и возраста. Избиратели не могут отзывать депутатов и влиять на их деятельность. Эти принципы классического либерализма находили в то время живой отклик и многочисленных сторонников, а книги пользовались спросом. «Научный исторический журнал», в связи с кончиной ученого отметил, что основы конституционного права Эсмен проанализировал «с недостижимой прозрачностью, тонкостью и убедительностью», на его книгах «учились понимать начала свободы и права и многие русские юристы»¹⁰⁰. К этому можно добавить суждение М.М. Ковалевского: «с большой ясностью ума, простотой и искусством изложения Эсмен соединял широту взглядов, отсутствие предубежденности, уважительное отношение к чужим мнениям, страстное искание научной истины»¹⁰¹.

На волне общественного подъема накануне и в годы революции 1905–1907 гг. по России прокатился новый вал переводных трудов по британскому конституционализму. Среди них были и работы, получившие признание у себя на родине. Этьена Фландена, например, за книгу «Политические учреждения современной Европы»¹⁰² французское научное общество «Академия нравственных и политических наук» удостоила премии имени видного политического деятеля Франции О. Барро. Но в России большой резонанс получил труд Уолтера Беджгота «Государственный строй Англии»¹⁰³. Е.В. Тарле расценил как интересные мысли Беджгота о природе английского государственного устройства, взаимоотношениях короля и обеих палат, отметил приверженность автора парламентаризму, управлению страной при помощи кабинета, ответствен-

¹⁰⁰ Научный исторический журнал, издаваемый под ред. проф. Н.И. Кареева. 1913. № 1. Т. 1. Вып. 1. С. 170.

¹⁰¹ Ковалевский М. Эсмен // Вестник Европы. 1913. Кн. 11. С. 408.

¹⁰² Фланден Э. Политические учреждения современной Европы. Конституция. Правительственная власть. Парламент. Местное управление. Судебное устройство. Англия. Бельгия / Пер. Н.И. Лихаревой. СПб.: Изд. В.И. Яковенко, 1906.

¹⁰³ Беджгот В. Государственный строй Англии / Пер. Е. Прейс; Под ред. Н. Никольского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1905.

ного перед парламентом. Но его взгляды на демократический процесс Тарле подверг уничтожающей критике: «в размышлениях Беджгота о социальных последствиях демократизации народного представительства нет решительно ничего оригинального, решительно ничего любопытного для всех, кому доступно понимание классовой буржуазной трусости», «автор с недоверием относится к самому принципу слишком широкой демократизации представительных учреждений», «больше всего боится, как бы рабочий класс не обнаружил политического развития». Беджгот «стоит за союз между аристократией, в руках которой палата лордов, и плутократией, в руках которой палата общин, для совместной борьбы против рабочего класса». И как общий вывод: «старая, вышедшая около сорока лет тому назад работа Беджгота едва ли способна принести какую-либо пользу»¹⁰⁴. Но не все были столь категоричны. В. Сторожев в «Русской мысли», признавая, что Беджгот «выразительный и страстный противник всеобщего избирательного права и политической роли рабочего класса», находит объяснение этому в сорокалетней давности написания труда. В остальном «размышление Беджгота о практике английской конституции представляет высокую цену». Сторожева особенно привлекает возможность политических параллелей, вытекающих из рассуждений Беджгота о преимуществах не королевской формы кабинетного правления, свободной от вредного влияния придворной камарилы¹⁰⁵.

Проблема соотношения полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти в условиях российской политической действительности представлялась весьма актуальной. Особое внимание привлекал труд С. Лоу «Государственный строй Англии»¹⁰⁶. Как показывал автор книги, законодательные палаты в окончательном виде определяют целесообразность, соответствие требованиям времени и условиям государственной жизни принимаемых ими законов. Приход к власти правительства обусловлен не случайным выбором монарха, но продиктован общественным мнением, выраженном в результатах голосования на выборах в палату общин. Эволюция английского парламентаризма привела к ситуации, когда правительство в целом и министры в отдельности стали выразителями интересов большинства парламента, солидарным инст-

¹⁰⁴ Тарле Е. [Рецензия]: В. Беджгот. Государственный строй Англии // Мир Божий. 1905. № 10. С. 102–104.

¹⁰⁵ Сторожев В. Старая книга об английской конституции // Русская мысль. 1905. № 12. С. 73, 76, 81–82.

¹⁰⁶ Лоу С. Государственный строй Англии / Пер. с англ. В.И. Браудо под ред. проф. бар. Б.Э. Нольде; С предисл. проф. М.М. Ковалевского. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1908; Лоу С. Государственный строй Англии / Пер. под ред. проф. А.С. Яценко; С вступ. замечанием и статьей П.Г. Виноградова [Практика английских государственных учреждений]. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1910.

рументом реализации предначертаний законодательной власти и в силу этого не могли возобладать над нею. Англичане смотрят без опасения на возрастание влияния кабинета, усиление объема его законодательных инициатив, потому что ответственное перед Палатой общин правительство, ограниченное в своей деятельности законами, не может быть опасным для народных свобод. Выпускник Петербургского университета, молодой юрист Б. Элькин в «Русской мысли» заключил благожелательную рецензию о книге словами: «эта книга – одно из самых замечательных произведений политической мысли нашего времени; она будит мысль, направляя ее на обсуждение вновь и вновь выдвигаемых жизнью глубоких вопросов политики и права»¹⁰⁷. С одобрением отозвался о книге и А. Гольденберг в «Современном мире»: «суждения Лоу о взаимоотношениях между кабинетом, нижней палатой и электоратом высказываются, насколько нам известно, впервые в литературе государственного права в столь определенной и законченной форме, и в этом заключается, на наш взгляд, основное научное значение его книги»¹⁰⁸.

Если Дайси в «Основах государственного права Англии изложил общие начала английской конституции, то профессор Оксфордского университета Вильям Энсон в двух книгах, изданных в России в 1908 и 1914 гг. («Английский Парламент: его конституционные законы и обычаи»¹⁰⁹ и «Английская корона, ее конституционные законы и обычаи»¹¹⁰) дополнил Дайси детальным изложением работы конституционных учреждений. Обе книги – часть большого исследования Энона «Law and Custom of Constitution» В первой из них он детально описал структуру и процедуры парламента, избирательное право, статус и порядок формирования Палаты лордов, законодательный процесс, судебные функции парламента, взаимоотношения Короны и парламента. Вторая книга характеризует прерогативы Короны, деятельность Кабинета, департаментов и министров, территории, составляющие Великобританию и ее колонии, вооруженные силы и управление ими, судебную и церковную системы. На книги Энона откликнулся Ф.Ф. Фортунатов, особо отметивший вывод о том, что Палата общин между первой и третьей парламентскими реформами имела больше политических прав, чем она имела

¹⁰⁷ Элькин Б. Политический строй Англии в новом освещении (Сидней Лоу «Государственный строй Англии») // Русская мысль. 1910. № 2. С. 174.

¹⁰⁸ Гольденберг А. [Рецензия]: С. Лоу. Государственный строй Англии. Пер. с англ. В.И. Браудо под ред. проф. бар. Б.Э. Нольде // Современный мир. 1909. № 4. С. 130.

¹⁰⁹ Энон В. Английский Парламент: его конституционные законы и обычаи / Пер. с англ. Н.А. Захарова. СПб.: Изд. кн. магазина Н.К. Мартынова, 1908.

¹¹⁰ Энон В. Английская корона, ее конституционные законы и обычаи / Пер. с англ. с примеч. Н. Захарова. СПб.: Н.К. Мартынов, 1914.

до того времени или после. Причину этого Энсон усматривал в ограничении независимости отдельных депутатов в связи с реформой 1885 г., установившей избрание одного члена Палаты общин в каждом избирательном округе, а также в усилении роли партийных организаций в Палате общин, что Фортунатов полагал неоправданным¹¹¹.

Двухтомный труд об организации правительств в Европе и Америке бельгийского ученого Леона Дюприе, изданный в Париже в 1893 г., быстро завоевал одно из первых мест в европейской литературе по данному вопросу, но долгое время оставался неизвестным российскому читателю. Положение было исправлено в 1906 г., когда книгоиздательство «Дело» опубликовало отдельными выпусками значительную часть этого сочинения, в том числе раздел – «Государство и роль министров в Англии»¹¹². В целом высоко его оценивая этот труд, К.М. Тахтарев отметил, что он «как по своему научному, так и практическому значению приближается к работам Дайси, Беджгота, Эсмена и Брайса», но при этом был вынужден с сожалением констатировать, что книга не привлекла к себе «должного внимания со стороны русского читателя», и это при том, что «работа Дюприе дает отчетливое и ясное понятие о роли министров и степени их ответственности в различных странах, и потому в ней можно найти целый ряд указаний для решения большого для нас, русских, вопроса об ответственности министерства»¹¹³.

Накопление аналитического материала по проблемам государственного устройства в отдельных странах не могло не подвести к идее внести в исследование дух компаративистики. Это удалось сделать Вудро Вильсону, в 1902–1910 гг. – президенту Принстонского университета, а в 1912 г. избранному президентом США. В объемном труде «Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений»¹¹⁴ он, наряду с анализом государственных систем США и ряда европейских стран, обратился и к британской парламентской модели. Государственный строй Англии представлен в нем, начиная с властных структур англосаксов, затем эпохи нормандского завоевания и далее вплоть до 1890-х гг. Выявление пути к установлению основ современного политического устройства и главного из них – утверждению правового государства – вызывало особенное одобрение М.М. Ковалевского. По его мнению, зна-

¹¹¹ Научный исторический журнал. 1914. № 3. Т. 2. Вып. 1. С. 172.

¹¹² Дюприе Л. Государство и роль министров в Англии. СПб.: Книгоизд-во «Дело», 1906.

¹¹³ Тахтарев К. [Рецензия]: Л. Дюприе. Государство и роль министров в Англии // Образование. 1907. № 6. С. 118–119.

¹¹⁴ Вильсон В. Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений / Пер. с англ. под ред. А.С. Яценко. С предисл. М.М. Ковалевского. М.: В.М. Саблин, 1905.

чение этой книги «не в общих ее выводах, а в том сжатом и в то же время существенном очерке политической эволюции отдельных наций и природы их учреждений <...>, в особенности, об английском и американском государственном строе»¹¹⁵.

В связи с появлением Государственной Думы становится особенно актуальной тема законодательного процесса. В «Журнале министерства юстиции», начиная с 1897 г., на протяжении 20 лет, практически из номера в номер печатались «Письма из Англии» английского адвоката Сесилия Мида Аллена, представлявшие собой подробные отчеты о текущей законодательной деятельности британского парламента. Его корреспонденции были ценнейшим источником информации о ходе законодательного процесса в старейшем европейском парламенте для российских правоведов и общественных деятелей. В то же время в России практически отсутствовали специальные работы, посвященные законодательной технике. Чтобы исправить ситуацию, в двух номерах «Журнала Министерства юстиции» за 1906 г. было помещено изложение работы клерка британского парламента Куртнея Перегринна Илберта «Техника английского законодательства»¹¹⁶, в годы Первой мировой войны опубликовали его популярные работы «Парламент: (Его история, организация и практика)»¹¹⁷ и «Порядок производства дел в английской Палате общин»¹¹⁸.

Тема гражданских прав и свобод особенно актуально звучала накануне и в годы революции 1905–1907 гг. Еще в 1897 г., вышел труд Эдварда Поррита «Современная Англия: права и обязанности ее граждан»¹¹⁹. В книге были рассмотрены вопросы местного управления, призрения бедных, школьного начального обучения, судопроизводства, налоговой системы, избрания и деятельности парламента, структуры и функций министерств, организации военной службы, рабочего законодательства, англиканской церкви и неконформизма. Тему фундаментального права свободы слова поднял Генри Джефсон в книге «Платформа, ее возникновение и развитие: (история публичных митингов в Англии)». Прежде всего, почему «платформа»? Первоначально этот термин слу-

¹¹⁵ Ковалевский М. Предисловие к русскому переводу // Вильсон В. Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений. С. XL.

¹¹⁶ Илберт К. Техника английского законодательства: пер. с англ. барона А.Э. Нольде // Журнал Министерства юстиции. 1906. № 9. Ноябрь. С. 57–120; № 10. Декабрь. С. 1–47.

¹¹⁷ Илберт К.П. Парламент: (Его история, организация и практика) / Пер. с англ. В. Керженцева. Пг.: АО тип. дела в Петрограде, 1915.

¹¹⁸ Илберт К.П. Порядок производства дел в английской Палате общин / Пер. и примеч. чл. Гос. Думы А.И. Звегинцова (умер 2 нояб. 1915 г.). Пг.: Гос. тип., 1916.

¹¹⁹ Поррит Э. Современная Англия. Права и обязанности ее граждан / Пер. с англ. О.В. Полторацкой. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1897.

жил для обозначения места, с которого ораторы на митингах обращались к слушателям. С течением времени значение этого термина расширили и под ним стали понимать «вообще всякое словесное выражение общественного мнения вне стен парламента», другими словами, «платформа» – не что иное, как публичный митинг. Джефсон и рассматривает роль митингов (от возникновения до конца XIX в.) как способа выявления настроений широких слоев населения, важнейшего фактора их вовлечения в движения за политические права, формирования общественного мнения в пользу парламентских реформ XIX в. Но при всех достоинствах этого труда чтение его было затруднительно из-за чрезмерного объема: два тома в совокупности насчитывали более тысячи страниц. Задачу популярного и доступного изложения идей Джефсона решил В.Ф. Дерюжинский. Он на основе английского издания книги опубликовал в «Вестнике Европы» собственную статью «Публичные митинги в Англии»¹²⁰, а в 1901 г., отредактировал русский перевод самой книги¹²¹.

В условиях политического брожения российского общества разъяснение роли и значения митингов было более чем оправдано. Высоко оценил книгу Джефсона рецензент периодического издания «За книжкой», скрывший свое имя за инициалами «К.Л.». По его мнению, «своим превосходным исследованием истории общественных митингов в Англии Джефсон блестяще доказал, что народ не оставался бездеятельным зрителем. История английского законодательства, развитие английской свободы и упрочение тех общественных условий жизни, которые делают английского гражданина самым свободным гражданином в мире, ярко доказывают, кто был их истинным строителем. Не король и его сановники, не министры и даже не народные представители в парламенте являются творцами свободной жизни Англии. Народ и только он один создаст те условия жизни, которые ему необходимы. Конечно, не без борьбы получал народ то, чего добивался. И могучим средством этой борьбы являлись общественные публичные митинги»¹²². Журнал «Русское богатство» особенным достоинством книги признал «тот яркий колорит эпохи и национальности, которым проникнуто все изложение Джефсона». Это впечатление складывается от того, что все излагаемые события автор «передает подлинными извлечениями из архивных материалов, мемуаров, писем, политических речей того времени, резолюций

¹²⁰ Дерюжинский В. Публичные митинги в Англии. Очерки из политической истории Англии // Вестник Европы. 1893. Кн. 2. С. 582–618; Кн. 3. С. 142–176.

¹²¹ Джефсон Г. Платформа, ее возникновение и развитие: История публичных митингов в Англии. В 2-х тт. / Пер. с англ. Н.Н. Мордвиновой; под ред. проф. В.Ф. Дерюжинского. СПб.: Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1901.

¹²² [К.Л.] Народ и представительные собрания // За книжкой. Обзорение книг и книжного дела. 1907. № 9. С. 6–7.

публичных митингов и петиций, подававшихся королю и парламенту. Все это так характерно, картинно, живо, что невольно увлекает читателя и заставляет его переживать все перипетии борьбы английского общества за демократизацию политического строя»¹²³.

Довольно большой резонанс вызвало издание в 1907 г. монументального труда по истории чартистского движения его активного участника Роберта Гаммеджа¹²⁴. Причину публикации книги А.С. Изгоев усматривал в своеобразии момента: «в наше революционное время русское общество жадно набрасывается на все революционные и народные движения в жизни других стран, желая таким путем уяснить себе события, разыгрывающиеся на родине и предусмотреть возможный их исход... Вероятно, исходя из таких соображений, книгоиздательство “Дело” выпустило и “Историю чартизма” Гаммеджа»¹²⁵. «История чартистского движения», по словам автора, «представляет скорее историческую хронику, чем оценку событий, а также деятелей, принимавших в них участие»¹²⁶. Л. Герасимов (псевдоним Ф.Г. Сиротского, профессионально сотрудничавшего со многими журналами) в рецензии, опубликованной в «Современном мире», точно уловил эту характерную черту: «местами страстность тона автора, совершенно не волнующая читателя, резко подчеркивает, что данный факт, о котором так обильно распространяется Гаммедж, совершенно потерял уже интерес современности. Но нужно отдать справедливость автору, он старается быть – и это ему удается почти на протяжении всего труда – вполне объективным по отношению к событиям, очевидно не переставшим волновать его и при воспоминании много лет спустя, когда писалась “История чартизма”». Что касается причин непрерывных разногласий и расколов, сопровождавших чартистское движение, то автору «видна не сущность, не причины, не исходная точка разногласий, а их поверхностное выражение, обнаруживающееся в непрерывной борьбе вождей»¹²⁷. Другие рецензенты были еще более критичны. А.С. Изгоев в «Русской мысли» поместил разгромную рецензию: «в бестолковой груде имен, названий и скучных и однообразных описаний митингов совершенно исчез всякий социальный смысл серьезной, хотя и неудачной борьбы за партию, за всеобщее избирательное

¹²³ Русское богатство. 1901. № 4. С. 66.

¹²⁴ Гаммедж Р.Д. История чартизма / Пер. с англ. А.В. Погожевой. СПб.: Дело, 1907.

¹²⁵ Изгоев А.С. [Рецензия]: Гаммедж Р. История чартистского движения // Русская мысль. 1907. № 2. С. 41, 42.

¹²⁶ Гаммедж Р.Д. Указ. соч. С. VI.

¹²⁷ Герасимов Л. [Рецензия]: Гаммедж Р. История чартистского движения // Современный мир. 1907. № 2. С. 86–87.

право, которую вела в сороковых годах английская демократия»¹²⁸. Наконец, примирил точки зрения В. Сторожев, в своей рецензии резюмируя: «Итак, книга Гаммеджа, не будучи ученой работой в собственном смысле этого слова, все-таки представляет для русского читателя большой интерес, читается без особенного напряжения и ценна еще тем, что по-русски о чартизме ничего нет, и, стало быть, настоящим переводом восполняется очень существенный пробел»¹²⁹.

Местное управление в Англии

В России проблема местного управления имела особую актуальность. «Вопрос о реформе нашего отечественного местного строя, – отмечал «Журнал Министерства юстиции», – уже много лет стоит на очереди и ждет разрешения. В разрешении его заинтересованы широкие круги населения, принимающие более или менее активное участие в местной жизни. Представительным учреждениям в недалеком будущем предстоит заняться обсуждением правительственных законопроектов, касающихся отдельных сторон местной реформы»¹³⁰. В этих обстоятельствах понятен интерес к английскому, опыту, тем более что Англия уже прошла достаточно длинный путь реформирования местной власти. Установившаяся в результате в стране система местного управления отличалась самостоятельностью местных органов и высокой степенью децентрализации: функциями контроля над ними обладало только министерство местного управления.

Публикации работ об органах самоуправления в Англии начали появляться в России еще в конце XIX в. Книга профессора Брюссельского университета М. Вотье «Местное управление в Англии»¹³¹ в этом ряду была одной из первых, где рассматривалась история возникновения и развития административных единиц – графств с IX по конец XIX в. В ней нашли отражение юридический статус, функции и компетенция советов графств, приходских советов и собраний в таких областях, как правосудие, здравоохранение, народное образование, как они сложились после реформ XIX века. Рецензент в «Журнале Министерства юстиции», подписавшийся инициалами «В.Г.» (предположительно В.Г. Гессен) оценил книгу как одну из лучших. В заслугу автору он поставил изображение постепенной демократизации местного управления (в связи с передачей управленческих функций мировых судей выборным советам),

¹²⁸ Изгоев А.С. [Рецензия]... С. 41, 42.

¹²⁹ Сторожев В. [Рецензия]: Гаммедж Р. История чартистского движения // Образование. 1907. № 4. С. 98-99.

¹³⁰ Журнал Министерства юстиции. 1910. № 3. С. 291.

¹³¹ Вотье М. Местное управление в Англии / Пер. с фр. В.В. Водовозова. СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1896.

приведшей к «вымиранию аристократических институтов» в местном управлении, что Вотье считал одним из крупных политических событий XIX века. Рецензент одобрительно относится к тому, как Вотье раскрывает тему (ясно и просто, без утомительных подробностей, книгу с удовольствием прочитают не только специалисты, но все, кто интересуется политической жизнью). Но главное – рецензента привлекают вытекающие из описаний Вотье тенденции демократизации системы местного управления: «Недалеко то время, когда от института мировых судей останется одно только название, когда полная отмена ценза, замена системы назначений выборною системой поставят крест над традиционным характером почтенного учреждения, и Англия смело вступит на ту дорогу, по которой идет Америка в течение вот уже целого века»¹³².

Г. Линдеман, последователь Бернштейна, с 1903 г. депутат рейхстага, считался лучшим в Германии знатоком вопросов муниципального управления и самоуправления. Его книгу «Новейшие течения в английском городском самоуправлении»¹³³ (опубликована под псевдонимом «К. Гуго») российская печать рекомендовала всем избранным в городские управы изучить, даже сделать ее настольной. Для России оказался поучительным и актуальным раскрытый Линдеманом опыт деятельности муниципалитетов, которые сконцентрировали в своих руках всю городскую инфраструктуру (бани, прачечные, городской транспорт и ремонт дорог, водопровод, канализация, телефонная сеть, мастерские по ремонту домашней утвари и одежды), что сделало бытовые услуги общедоступными. Муниципалитеты за городской счет скупали у разорявшихся аристократических семейств обширные парки. Огромные средства тратились на приобретение свободных и незастроенных участков земли и снос трущоб, на их месте возводили муниципальные дома с более комфортными условиями жизни. Книга Линдемана дала повод Г. Шрейдеру выступить в «Русском богатстве» с развернутой статьей «Англо-русские муниципальные параллели». Он подчеркнул, что «повсюду городские управления выступили и все более энергично стремятся вперед по тому пути, который в конечном результате должен привести к “обмирщению”, обобществлению или национализации производства через посредство предварительной его муниципализации»¹³⁴.

¹³² [В. Г.] [Рецензия]: Морис Вотье. Местное управление в Англии. Пер. с фр. В.В. Водовозова. Изд. Л.Ф. Пантелеев. СПб., 1896 // Журнал Министерства юстиции. 1898. № 6. С. 301.

¹³³ Гуго К. Новейшие течения в английском городском самоуправлении / Пер. с нем. под ред. Д. Протопопова. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1898.

¹³⁴ Шрейдер Гр. Англо-русские муниципальные параллели // Русское богатство. 1898. № 8. С. 22.

В 1898 г., спустя всего три года после выхода в свет в США, издали книгу известного американского журналиста Альберта Шоу «Городские управления в Западной Европе»¹³⁵. Ее первая часть посвящена городскому самоуправлению в Англии, вторая – странам на континенте. Рассмотрев систему городского самоуправления в Англии, Шоу подробно описывает деятельность органов городского управления Глазго, Манчестера, Бирмингема, Лондона и характеризует все стороны городской инфраструктуры: состояние водоснабжения, канализации, газового производства, гаваней, молов и доков, трамваев, улиц и проезжих путей, надзор за съестными припасами, парки, кладбища, бани и прачечные, квартирный вопрос, больницы и ночлежные дома, библиотеки, музеи, художественные галереи и народное образование. Управление городским хозяйством стало делом ответственным, трудным, требующим не только личного таланта, но и обширных специальных знаний, немалой научной подготовки. Шоу писал в назидание своим соотечественникам, но, по мнению русского издателя книги, «широкая картина общественной самостоятельности европейских городов приобретает в глазах русских читателей особую привлекательность и послужит для наших городских управлений, действующих как бы ошупью, случайно, без всяких общих руководящих принципов, еще большим назиданием, чем для американцев»¹³⁶. «Русское богатство», сопоставив Гуго и Шоу, безусловное предпочтение отдало первому: «представляя собой по существу не что иное как сборник разнохарактерных очерков о европейском (английском и континентальном) городском хозяйстве, не связанных между собой ни единством руководящей идеи, ни общностью плана, труд А. Шоу всего менее может претендовать на титул “исследования” и в этом смысле стоит несравненно ниже... книги К. Гуго об английском городском самоуправлении»¹³⁷.

В оценке российской научной общественности лучшим обзором устройства и деятельности местного самоуправления в Англии была книга Иосифа Редлиха «Английское местное управление»¹³⁸. Карьерное положение и научные убеждения его примечательны: министр финансов Австро-Венгрии, депутат австрийского парламента в 1907–18 гг., профессор Венского университета. Хотя по утверждению автора статьи в

¹³⁵ Шоу А. Городские управления в Западной Европе / Пер. [и предисл.] А.В. Бяловеского. М.: Издание К.Т. Солдатенкова. 1898.

¹³⁶ Там же. С. VI.

¹³⁷ Русское богатство. 1899. № 4. С. 77.

¹³⁸ Редлих И. Английское местное управление. Изложение внутреннего управления Англии в его историческом развитии и современном состоянии / Пер. с нем. под ред. В.Б. Ельашевича с вступ. статьей П.Г. Виноградова. В 2 т. СПб.: Тип. Альтшулера, 1907–1908.

«Современном мире» К. Августовского, «Редлих, разумеется, не марксист, даже не социалист», он «в общем и целом руководствуется, не отдавая себе в этом отчета, основными положениями марксизма при объяснении тех или иных правовых институтов и норм, признает классовую борьбу движущей силой рассматриваемых им перемен в организации и внутреннем содержании местных учреждений»¹³⁹. По утверждению «Русского богатства», фактические данные, собранные Редлихом, «представляют тем больший интерес, что демократизация нашего местного самоуправления и управления является одной из самых настоятельных и очередных потребностей русской государственной жизни. <...> Книга Редлиха позволяет уяснить, насколько целесообразными и жизнеспособными оказались демократические нововведения Нового времени и как хорошо справляются новые учреждения со своими задачами»¹⁴⁰. П.Г. Виноградов в предисловии к русскому изданию книги Редлиха замечает: «Не лишне будет отметить еще два великих поучения из истории английского самоуправления. Мне кажется, она показывает, насколько плодотворна связь между организациями местных интересов и сил, с одной стороны, и парламентарным правительством, с другой. А затем, в условиях перехода от аристократической системы к демократической выясняет насколько желательна и возможна совместная работа различных классов общества даже после коренной перемены в правовом положении этих классов»¹⁴¹. Высоко оценил труд Редлиха и Ковалевский, который обратился к этой работе в чисто практическом плане, а именно, – показать отставание ряда полномочий, предусмотренных в России «Проектом городского положения», от прерогатив английских органов городского самоуправления. Подтверждение своих оценок он находит в труде Редлиха, на которого ссылается многократно, поскольку считает, что ни одна другая книга не может служить настольной при изучении английского самоуправления в такой степени, как книга Редлиха¹⁴².

Экономическая, социальная история и политика Англии

На рубеже XIX и XX столетий активно проявился интерес к экономической и социальной истории Англии. Обилие переводных работ подчас даже вызывало недоумение у литературных обозревателей.

¹³⁹ Августовский К. Иосиф Редлих. Английское местное управление. Изложение внутреннего управления Англии в его историческом развитии и современном состоянии // Современный мир. 1907. № 7–8. С. 155.

¹⁴⁰ Русское богатство. 1907. № 10. С. 185.

¹⁴¹ Виноградов П. Предисловие // Редлих Й. Английское местное управление. Изложение внутреннего управления Англии в его историческом развитии и современном состоянии. СПб.: Тип. Альшутлера, 1907. Т. I. 1907. С. XII.

¹⁴² Ковалевский М. К вопросу о реформе городского самоуправления // Вестник Европы. 1914. Кн. 8. С. 332, 333, 334, 335, 338.

Один из них, оставшийся анонимным, в журнале «Вестник Европы» сокрушался: «В последнее время появляется у нас такое множество переводных книг по экономической и культурной истории различных стран и особенно Англии, что поневоле приходится поставить себе вопрос: нет ли здесь избытка усердия со стороны переводчиков и издателей? Спрос на сочинения по экономическим вопросам и по истории культуры несомненно увеличился в нашем обществе»¹⁴³.

К числу книг «повышенного спроса», вызвавших живой интерес российской общественности, относится изданная в 1898 г. в серии научно-образовательной библиотеки работа профессора Оксфордского университета Арнольда Тойнби «Промышленный переворот в Англии»¹⁴⁴. Она представляла собой запись лекций, прочитанных автором в Оксфордском университете. Опираясь на обширные материалы, автор дает яркую и подробную картину коренных изменений в экономике и социальной структуре Англии под влиянием промышленной революции в XVIII в. В книге рассматриваются основные стадии беспримерного в истории переворота, который превратил Англию, некогда страну мелкого земледелия и мелких промыслов, в край аристократических земельных латифундий и великанов промышленности. Предисловие к русскому изданию написал проф. А.И. Чупров: «трудно найти в литературе другую книгу, в которой на немногих страницах был бы так ясно нарисован, не только в общих схемах, но и в полных жизни деталях, процесс исчезновения английских крестьян и деревенских кустарей, еще в начале XVIII века являвшихся главными фигурами среди тогдашнего общества»¹⁴⁵. Вызывало одобрение стремление Тойнби определить в промышленной революции движущую силу, которую он усматривал во взаимодействии эволюции идей (больше всего экономической теории А. Смита) и эволюции жизни (в первую очередь, изобретения Дж. Уаттом паровой машины и перехода к фабричной системе). Но описание механизмов и содержания промышленной революции не было для Тойнби самоцелью. История прошлого была для него лишь средством понять настоящее, чтобы усовершенствовать жизнь в будущем. Предпосылки к этому Тойнби видел в улучшении положения рабочих. Вместо старых тред-юнионов, основанных на полной зависимости рабочих, возникают новые союзы и примирительные бюро, в которых рабочих и предпринимателей объединяют общие интересы. Усилилось разумное

¹⁴³ Библиографический листок // Вестник Европы. 1897. № 12.

¹⁴⁴ Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии / Пер. с англ. М.: Кольчугины, 1898.

¹⁴⁵ Чупров А. Предисловие // Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в 18-ом столетии. Изд. 2-е. М.: Тип. А.Д. Плещеева, 1912. С. IX.

вмешательство государства в промышленную сферу: фабричные законы регулируют важнейшие стороны быта рабочих. Тойнби призывал к «социальному воспитанию капитала», пробуждению в предпринимателях желания улучшить участь рабочих на почве гражданских и духовных интересов. Завершая свое эссе, Чупров призывал быть благодарным Тойнби за то, что «работая для идеалов будущего, он дал нам превосходную картину минувшей промышленной истории своей страны, которая бросает яркий свет и на ее современное состояние»¹⁴⁶.

На книгу Тойнби отозвались журналы «Русское богатство», «Русская мысль», «Мир Божий», «Северный вестник». Выдающееся место отвела ей рецензия в «Русской мысли»¹⁴⁷. «Миру Божьему» представлялись ценными его взгляды на необходимость «социального воспитания капитала», улаживания столкновений интересов рабочих и предпринимателей «при помощи нравственных идей, приуроченных к гражданской ступени развития. Развитие демократии, продолжал журнал, возвышая положение низших классов, наделяя их высшей культурой, равноправием и образованностью, ставит их вместо прежних враждебных отношений к предпринимателям в отношения некоторого единения в общем деле». Журнал вместе с тем признавал, что оптимистические надежды Тойнби на примирительный исход противоречий «едва ли могут быть приняты в виду фактов экономической действительности как современной Англии, так и в особенности континента»¹⁴⁸. «Русское богатство», оценивая книгу как «интересную», нашло в ней существенные недостатки: процесс огораживаний в Англии «очерчен бледно, нет той яркости, какую мы встречаем у Маркса в главе “первоначальное накопление”». Мысль Тойнби о том, что демократия уравнивала права рабочих и предпринимателей и начинает устанавливаться единение между ними на основе независимости тех и других как граждан свободного государства, вызвала неприятие журнала: «такой взгляд на эволюцию общественных отношений способствовал тому, что прошедшее у Тойнби приняло розоватый колорит. Этот взгляд не позволил Тойнби разобраться в современных экономических отношениях»¹⁴⁹. В то же время «Северный вестник» позитивно оценивает критику автором «воззрений старинной английской теории по рабочему вопросу. <...> Тойнби присоединяется к рабочему движению, высказывается в пользу расширения хозяйственной деятельности государства и, как на источник средств для новых государственных предприятий,

¹⁴⁶ Там же. С. XVIII.

¹⁴⁷ Русская мысль. 1898. № 3. С. 101.

¹⁴⁸ Мир Божий. 1898. № 8. С. 90.

¹⁴⁹ Русское богатство 1899. № 2. С. 72.

указывает на реформу обложения. Но особенно широкие надежды Тойнби возлагает на деятельность образованных классов, которым должно принадлежать руководство духовной жизнью народа». Эти взгляды «интересны, как яркое проявление разрыва с традициями классической политической экономии, как признак новых веяний»¹⁵⁰. Второе издание книги Тойнби вышло в 1912 г.¹⁵¹.

В России были опубликованы и важнейшие работы известного английского экономиста, представителя социального либерализма Джона Аткинсона Гобсона. Так, в 1898 г. одновременно в Ярославле и Петербурге вышла его книга «Эволюция современного капитализма»¹⁵². «Северный вестник» анонсировал выход ее петербургского издания: на примере Англии «перед читателем постепенно разворачивается картина исчезновения прежних форм производства и развития современного капитализма, с его усовершенствованной техникой, с его господством неограниченной конкуренции и с его мировой организацией сбыта. <...> Нужно отдать Гобсону справедливость: он весьма искусно группирует отдельные факты в цельную картину, и эта искусная группировка материала в значительной степени искупает чувствуемый местами <...> недостаток критической проницательности»¹⁵³. Павел Беневоленский, подписавший рецензию в журнале «Образование», добавляет: «...книга Гобсона представляет счастливую противоположность “Экономической истории” Гиббинса, где хозяйственные системы, чередовавшиеся в английской истории, представлены совсем в разорванном виде. Поэтому, политико-экономический трактат Гобсона и для исторической науки дает несравненно больше, чем история Гиббинса»¹⁵⁴. Следом же в Москве и Петербурге была издана работа Гобсона, посвященная Джону Рёскину¹⁵⁵. В 1900 г. дважды в разных переводах и под разными заглавиями была опубликована еще одна его книга¹⁵⁶. Труд автора в оригинале

¹⁵⁰ Библиография // Северный вестник. 1898. № 5. С. 51.

¹⁵¹ Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в 18-ом столетии / Пер. с англ. с предисл. проф. А.И. Чупрова. [2-е изд.]. М.: Тип. А.Д. Плещеева, 1912.

¹⁵² Гобсон Дж. Эволюция современного капитализма: Исследование машинного производства / Пер. с англ. под ред. А. Смиршевского. Ярославль: Типо-лит. Э.Г. Фальк, 1898.; Гобсон Дж. Эволюция современного капитализма: С предисл. авт., напис. для этого изд.: Пер. с англ. СПб.: О.Н. Попова, 1898.

¹⁵³ Северный вестник. 1897. № 12. С. 88.

¹⁵⁴ Беневоленский П. Гобсон. Эволюция современного капитализма // Образование. 1899. № 2. С. 54.

¹⁵⁵ Гобсон Дж. Джон Рёскин как социальный реформатор / Пер. с англ. П. Николаева. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1899; Он же. Общественные идеалы Рёскина. Пер. с англ. Н. Кончевской и В. Либина; ред. Д. Протопопова. СПб.: «Знание», 1899.

¹⁵⁶ Гобсон Дж. Проблемы бедности и безработицы / Пер. с англ. Л. Гурвич под ред. Л. Зака и С. Франка. С прил. статьи П. Струве о безработице. СПб.: Изд.

представлял две работы – «Проблемы бедности» и «Проблемы безработицы»: будучи тесным образом связанными между собой, они вполне уместно были объединены издателем в одну книгу. Книга в значительной части посвящена разбору фактов из книги В. Бутса, но, не ограничиваясь этим, Гобсон пытается показать нравственную сторону бедности, определить причины и социальные последствия безработицы, возможность ее преодоления экономическими методами, путем фабричного законодательства, создания кооперативного производства и общественных мастерских, выявляет роль тред-юнионов в объединении рабочих. В специальной главе о положении женщин в промышленности Гобсон доказывает, что «безработица составляет одну из форм промышленного застоя», и «непосредственной причиной этой промышленной болезни служит недостаточное потребление»¹⁵⁷. Петербургское издание приветствовал «Исторический вестник»: «вся книга вообще крайне содержательна и читается с большим интересом»¹⁵⁸.

Главный труд Гобсона «Империализм» (1902), был издан в России в 1918 г. в сокращенном виде¹⁵⁹, а в 1927 г. в полном объеме¹⁶⁰. В первой части излагаются экономические основы империализма и приводятся статистические данные, а во второй – исследуется теория и практика империализма с точки зрения его «цивилизаторской миссии», влияния на «низшие», и его политическое и нравственное воздействие на поведение и характер народов Запада. Рассматривая империализм как определенным образом обусловленную политику территориальной экспансии, автор отмечает две особенности современного ему империализма: он представляет собой новое, неизвестное прежним историческим эпохам явление, и он есть политика, определяемая экономическими интересами господствующих классов и, в первую очередь, интересами капитала, ищущего применения. Оппонируя кембриджскому профессору Джону Роберту Сили, книга которого «Расширение Англии» в 1903 г. была из-

О.Н. Поповой, 1900; *Он же*. Задачи бедности: Исслед. пром. полож. бедных в Англии / Пер. с англ. М.В. Лучицкой; ред. И.В. Лучицкого. Киев: Ф.А. Иогансон, 1900.

¹⁵⁷ Гобсон Дж. Проблемы бедности и безработицы / Пер. с англ. Л. Гурвич под ред. Л. Зака и С. Франка. С приложением статьи П. Струве о безработице. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1900. С. XIV.

¹⁵⁸ Никитинский А. [Рецензия]: Дж. Гобсон. Автор «Эволюции современного капитализма», «Проблемы бедности и безработицы» // Исторический вестник. 1900. Т. LXXXI. Август. С. 717.

¹⁵⁹ Гобсон Дж. Империализм / Пер. с англ. и предисл. В. Рожицына. Харьков: Т-во потреб. о-в Юга России, 1918.

¹⁶⁰ Гобсон Дж. Империализм / Перев. с англ. с предисл. к русск. изд. В.Б. Беленко. Л.: «Прибой», [1927].

дана в России¹⁶¹, Гобсон доказывал, что колонии используются Англией прежде всего для вложения капитала и служат для извлечения материальных выгод высшими классами общества. Гобсон, в противовес Сили, который утверждал, что Британская империя сложилась естественным путем (из честолюбивой страсти «к человеколюбивым завоеваниям» и желания «прекратить колоссальные бедствия»), а не в результате целенаправленной экспансии, подчеркивал, что современный ему империализм отличается стремлением ряда конкурирующих держав к политической и экономической экспансии, борьбой за колониальные владения. Эта идея была воспринята Лениным, который в работе «Империализм как высшая стадия империализма» (1916), не отказываясь от предложенного Гобсоном понимания империализма как политики экспансионизма, рассматривал его в качестве стадии в развитии капитализма, для которой, помимо прочего, характерна борьба буржуазии за дележ мира и порабощение «мелких» наций. И хотя Ленин критикует теорию империализма Гобсона, родовая связь с его концепцией несомненна.

В 1897 г. в России прочитали известный труд профессора Гарвардского университета, представителя историко-экономического направления Уильяма Джеймса Эшли «Экономическая история Англии в связи с экономической теорией»¹⁶². К этому моменту книга вышла в Англии уже третьим изданием. В ней нашли отражение важнейшие события экономической жизни Англии XI–XVI вв., начиная от организации манора и сельской общины до огораживаний и перехода от пахотного хозяйства к пастбищному в аграрной сфере, развития производства от купеческих и ремесленных гильдий до домашней промышленности в городах. По мнению «Русского богатства», особый интерес книге «придает стремление автора не отрывать экономических явлений от их социальной почвы и, изображая английские отношения, постоянно сравнивать их с аналогичными отношениями западноевропейского материка»¹⁶³.

В 1895 и 1899 г. в России появились две книги по экономической истории Англии Генри Гиббинса: «Промышленная история Англии» и «Очерк истории английской торговли и колоний»¹⁶⁴. Первая в Англии

¹⁶¹ *Сили Дж.* Расширение Англии: Два курса лекций [проф. Дж.-Р. Сили в Кембридж. ун-те] / Пер. с послед. англ. изд. В.Я. Герда; Под ред. и с примеч. В.А. Герда СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1903.

¹⁶² *Эшли У.Дж.* Экономическая история Англии в связи с экономической теорией / Пер. Н. Муравьева под ред. Д.М. Петрушевского. М.: М.И. Водовозова, 1897.

¹⁶³ Русское богатство. 1898. № 5. С. 54.

¹⁶⁴ *Гиббинс Г.* Промышленная история Англии / Пер. с англ. с прим., предисл. А.В. Каменского. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1895; *Гиббинс Г.* Промышленная история Англии / Пер. с 4-го англ. изд. А.В. Каменского. 2-е изд., доп., с примеч. и прил.

была издана Обществом распространения университетского образования в народе, т.е. по содержанию и способу изложения относится к общедоступным изданиям. В России она также вышла в серии Культурно-исторической библиотеки, выдержав два издания. В небольшой по объему книге Гиббинс сообщил сведения из истории Англии от римской эпохи до последней трети XIX в. На примере Англии он стремился показать, что факты экономической жизни лежат в основе национальной истории и государственной политики. В развитие этой идеи представлена картина постепенного превращения земледельческой страны с преобладавшей домашней системой производства, какой оставалась Англия почти до половины XVIII в., в средоточие всемирной торговли и фабричного капитализма. Земледелие, бывшее прежде основой народного благосостояния, сделалось второстепенной отраслью, пришло в упадок, а продовольственный рынок почти полностью стал наполняться поставками из-за рубежа. Этот процесс превратил крестьянина либо в безземельного батрака, лишенного собственности и прав, либо, причем в большей части случаев – в фабричного рабочего. При общей положительной оценке эту работу упрекали в слабой связи с общеисторическим фоном, что делало необходимым обращение к трудам по политической истории страны¹⁶⁵. Вторая книга была написана, по словам автора, для пополнения пробелов в первой; в ней он касается тех вопросов, которые были им раньше или вовсе «опущены, или только вскользь упомянуты». В ней прослежена шаг за шагом история развития английской торговли на протяжении XVII–XIX вв. Меркантильная система торговли заменяется в XVII в. системой торговых монополий, за которой наступает в 1815 г. эра свободной торговли, когда английская торговля достигает колоссального прогресса в своем развитии. Много места автор уделит колониальным владениям Англии.

С изложением взглядов профессора политической экономии Оксфордского университета Торольда Роджерса российский читатель смог познакомиться благодаря появлению в 1896 г. в журнале «Русская мысль» статьи «Торольд Роджерс об экономической истории Англии», подписанной инициалами «И.Г.»¹⁶⁶. Позитивистская теория факторов была положена в основу его исследования «История сельского хозяйства и цен в Англии в 1259–1793 гг.». В Англии 8-томное исследование Род-

СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1898; *Гиббинс Г.* Очерк истории английской торговли и колоний / Пер. с англ. А.В. Каменского. СПб.: О.Н. Попова, 1899.

¹⁶⁵ *Тютрюмов А.* [Рецензия]: Г. Гиббинс. Промышленная история Англии // Журнал Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. 1895. Кн. 8. Октябрь. С. 23–24.

¹⁶⁶ [И.Г.] Торольд Роджерс об экономической истории Англии // Русская мысль. 1896. № 10. С. 140–158; № 12. С. 116–133.

жерса было опубликовано в 1866–1902 гг., в 1884 г. появилось краткое изложение его первых томов под названием «Шестьсот лет труда и заработной платы». Был собран огромный материал, раскрывающий изменения в положении крестьянства. В центре исследования Роджерса – движение цен на продукты питания и колебания заработной платы: путем сопоставления тех и других он стремился установить реальную заработную плату и материальный уровень жизни трудящихся. В 1899 г. в кратком виде под названием «История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в.»¹⁶⁷ знаменитый труд был опубликован в России. На его выход «Мир Божий» отозвался так: «Книга Роджерса пользуется слишком большой известностью, чтобы нуждаться в рекомендации; если она и не легко читается благодаря множеству отступлений и отсутствию стройного плана, то с другой стороны она дает такую массу фактических данных, что является необходимым пособием для всякого, желающего изучать экономическую историю Англии»¹⁶⁸. «Исторический вестник», откликнувшийся на издание труда рецензией, подписанной инициалом «К.» (так обычно подписывался в этом журнале историк П.А. Конский), подытожил: «Сочинение Роджерса займет такое же видное место у нас, как и другие, переведенные на русский язык, сочинения по истории Англии: Гнейста, Гиббина, Грина, Эшли»¹⁶⁹.

В 1899 и 1907 гг. в России вышли две книги «Развитие крупной промышленности в Англии» и «Социальная история Англии»¹⁷⁰ профессора Боннского университета Адольфа Гельда. В первой из них Гельд показал переход от мелкого ремесленного к крупному капиталистическому производству. Российских издателей книги особенно привлекло изображение Гельдом ремесленного строя во всех его качествах, тогда как другие исследователи представляли исчезнувший порядок «исключительно в своих отрицательных сторонах, а новый – в одних только положительных». По Гельду, основной причиной промышленной революции и создания крупного фабричного производства было расширение сбыта товаров и развитие денежного обращения, т.е. решающую роль сыграл торговый капитал. «Социальная история Англии» в первой своей части сконцентрирована на обзоре социального законодательства Англии с 1760 по 1832 г. по отношению к землевладельческому и земле-

¹⁶⁷ Роджерс Т. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в. / Пер. с англ. [и предисл.] В.Д. Каткова. СПб.: Тип. АО «Издатель», 1899.

¹⁶⁸ Мир Божий. 1899. № 10. С. 76–77.

¹⁶⁹ [К.] [Рецензия]: Т. Роджерс. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в. Пер. с англ. // Исторический вестник. 1900. Т. LXXIX. Январь. С. 377.

¹⁷⁰ Гельд А. Развитие крупной промышленности в Англии / Пер. с нем. Н.С. Т-ва. СПб.: Тип. А. Пороховщикова, 1899; Гельд А. Социальная история Англии / Пер. П. Шутякова. Вып. 1. СПб.: Тип. Монтвида, 1907.

дельческому классам, торговле, ремесленникам и рабочим, а во второй – дан обзор социально-политических учений этого периода, но эти учения, например, Г. Спенсера, Э. Бёрка, не показаны в их связи с общественной жизнью страны. Тем не менее, В.Перцев, автор рецензии в «Русской мысли», отмечает, что «перевод книги Гельда должен заинтересовать русских читателей обстоятельным и в общем беспристрастным <...> изложением социальных и политических учений Англии. Главный интерес книге придает то, что Гельд выдвигает на первый план английскую социально-политическую литературу в качестве возбудительницы всего социального развития нового времени. Он доказывает, что все эгалитарные, либеральные, а отчасти социалистические (понимание противоположности между собственностью и трудом) идеи прошлого века имели своим источником Англию конца XVIII и начала XIX века»¹⁷¹.

В 1904 г. издали труд Вильяма Кеннингема «Рост английской промышленности и торговли»¹⁷². Переводчик и автор предисловия Н.В. Теплов оценил его как «попытку дать общую картину хода промышленной жизни Англии на основании того, что уже добыто другими исследователями, хотя и с критической проверкой их выводов». Но «в смысле обилия фактического материала, заимствованного в большинстве случаев прямо из первоисточников, Кеннингем незаменим, и это делает его книгу очень ценным пособием даже для специалиста»¹⁷³. Информативность издания отметил и «Мир Божий»: «эта книга – одна из полезных справочных книг, которые любят иметь под рукой иногда даже и специалисты», она также «могла бы очень пригодиться студентам исторического отделения историко-филологического факультета»¹⁷⁴. М.Н. Покровский в своей рецензии отмечал: собранные автором факты «помимо воли автора дают вполне отчетливую картину постепенного органического процесса “жизни народа”, где королевские патенты и статуты играют роль ярлычков, очень удобных для целой распланировки». Иными словами, общество развивалось из условий, порожденных им самим, государство лишь регистрировало происходящие перемены¹⁷⁵.

¹⁷¹ Перцев В. [Рецензия]: Гельд А. Социальная история Англии // Русская мысль. 1907. № 7. С. 140–141.

¹⁷² Кеннингем В. Рост английской промышленности и торговли: Ранний период и средние века / Пер. с 3-го англ. изд. [и предисл.] Н.В. Теплова. М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1904.

¹⁷³ Предисловие переводчика // Там же. С. X.

¹⁷⁴ Мир Божий. 1904. № 5. С. 106, 108.

¹⁷⁵ Покровский М.Н. [Рецензия]: Кеннингем В. Рост английской промышленности и торговли: Ранний период и средние века. М., 1904 // Правда. Ежемесячный журнал искусства, литературы и общественной жизни. 1904. Июль. С. 258.

История деревенской общины и развитие аграрных отношений в европейских странах, в Англии вызывали интерес в России. Однако переводных трудов было немного, поскольку и в западной историографии они были достаточно редкими. В изданной в России в 1872 г. книге известного английского юриста и историка права Генри Мэна «Деревенские общины на Востоке и Западе проводилось сравнительное исследование исторического развития деревенской общины в европейских странах (в основном в Англии и Германии) и на Востоке (преимущественно в Индии), рассматривались западные и восточные представления о праве, законодательная система и обычаи Индии, влияние на них британского государства, процесс феодализации и его причины, экономические основы существования общины и др. В книге также содержалась статья Дж. Ст. Милля, в которой рассматривалось значение книги Мэна для философии истории и истории общественных учреждений»¹⁷⁶.

Сам Г. Мэн высоко отзывался об одном из немногих специалистов по аграрной истории Англии, немецком историке профессоре Боннского университета Эрвине Нассе, затем ставшем еще и председателем германского Общества социальной политики. Две его работы были переведены на русский язык в Ярославле. Одна из них, посвященная средневековому общинному землевладению и огораживаниям полей в Англии XVI в., впервые вышла в свет в 1869 г. в Бонне, в 1872 г. была переведена на английский язык, а через шесть лет силами студентов Демидовского юридического лицея под редакцией его ординарного профессора Д.И. Азаревича – на русский¹⁷⁷. Нассе не без удивления отмечал, что «англичане, так старательно занимающиеся всеми другими сторонами своей культурной истории, так мало обращают внимания на аграрный вопрос, не смотря даже на обладание богатым запасом материала для познания прежних аграрных и сельскохозяйственных отношений в стране! Если, поэтому на разработку подобного вопроса решится иностранец, увлекшийся его историческим значением, то недостатки его исследования и само собою понятные пропуски должны быть ему извинены, – именно в силу совершенной новизны вопроса, по которому до сих пор не имеется других работ»¹⁷⁸. Второе исследование Э. Нассе – «Земледелие и аграр-

¹⁷⁶ Мэн Г. Деревенские общины на Востоке и Западе / Шесть лекций Генри Сомера Мэна, с прил. статьи Джона Стюарта Милля; Пер. с англ. под ред. Н. С. Кутейникова. СПб.: Рус. книжная торговля, 1874. [8], 152 с.; Мэн Г. Деревенские общины на Востоке и Западе: Шесть лекций: С прил. статьи Дж. Ст. Милля / Пер. с англ. под ред. Н. С. Кутейникова. Изд. 2-е. Москва: URSS, 2010. 152, [3] с.

¹⁷⁷ Нассе Э. О средневековом общинном землевладении и огораживании полей в Англии XVI века / Пер. под ред. орд. проф. Демид. юрид. лицея Д. Азаревича; [Предисл.: А. Азаревич]. Ярославль: Тип. Г.В. Фальк, 1878. [2], II, 116 с.

¹⁷⁸ Там же. С. 1.

ные отношения в Англии», опубликованное впервые в Германии в 1884 г., тоже было издано в Ярославле¹⁷⁹. Новая книга, в отличие от предыдущей, целиком была посвящена современному положению в аграрном секторе Англии, в том числе аграрному законодательству и его реформе, что делало ее чрезвычайно актуальной для России.

Социальный вопрос остро заявил о себе в России; в связи с этим проблемы бедности и борьбы с ней в европейских странах привлекали самое пристальное внимание. Издатели не могли не заметить и не отреагировать на насущную общественную потребность быть в курсе того, что делается в других странах для облегчения участи беднейших слоев населения, как говорится, из первых уст. В 1891 г. в России опубликовали исследование создателя «Армии спасения» Вильяма Бутса «В трущобах Англии»¹⁸⁰. Переводчик Е.И. Сементковский подчеркивал, что книга Бутса заслуживает внимания «как по своей тенденции и прекрасному изложению, так и по своему содержанию», и убеждает, «какая громадная работа предстоит еще обществу даже в наиболее цивилизованных странах, чтобы оно имело право гордиться своими успехами. В этом отношении Бутс затрагивает вопрос, назревший и в русском обществе. И у нас обратная сторона европейской цивилизации постоянно привлекает к себе внимание. <...> Русский читатель с особенным интересом прочтет книгу Бутса... Он поймет, <...> что средства к спасению гибнущих масс заключаются в самой цивилизации, и что если у нее и есть своя обратная сторона, то у нее же есть и все необходимое для исцеления социальных недугов: наука, огромный запас опыта, чувство гуманности, которое не дает заснуть совести в виду окружающих нас страданий»¹⁸¹. На появление книги И.И. Янжул откликнулся очерком, лейтмотив которого – «Армия Спасения с ее службой для социального, морального и религиозного перерождения трущобного мира, с ее скромным, доходящим почти до полного бескорыстия, вознаграждением за свой тяжелый и подчас весьма неприятный труд, – является важным знаменем времени»¹⁸².

В 1899 г. была переведена книга Томаса Велбенка Фауля «Призрение бедных в Англии»¹⁸³. Фауль исходит из предположения, что

¹⁷⁹ *Нассе Э.* Земледелие и аграрные отношения в Англии / Пер. с нем. И. Юровского; Под ред. и с предисл. проф. Демидов. юрид. лица В. Левитского. Ярославль: Типо-лит. М.Х. Фальк, 1893. XII, 157 с.

¹⁸⁰ *Бутс В.* В трущобах Англии / Пер. с англ. под ред. и с предисл. Р.И. Сементковского. СПб.: Изд. Ф. Павленкова; Тип. И.Г. Салова, 1891.

¹⁸¹ *Сементковский Е.И.* Предисловие переводчика. С. III, XII.

¹⁸² *Янжул И.И.* В трущобах Англии // *Янжул И.И.* В поисках лучшего будущего. Социальные этюды. СПб.: Изд. Н.П. Карбасникова., 1893. С. 206.

¹⁸³ *Фауль Т.* Призрение бедных в Англии / Пер. с англ. А.М. Белова. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899.

«пауперизм может изменяться почти до бесконечности, но самая суть дела в той или другой форме должна оставаться всегда: среди нас всегда будут бедные». Отсюда для него очевидна обязанность государства заниматься общественным призрением бедных: тот, кто видит в государственном призрении бедных только временное явление или нечто, свойственное только Англии, обнаруживает непонимание значения этой задачи. Исходя из этого Фауль, не касаясь частной и общественной благотворительности, концентрирует внимание на государственном законодательстве о призрении бедных, начиная от елизаветинского закона 1601 г. о бедных и реализации государственной политики в этой области. Поскольку изложение доведено до середины 1870-х гг., книгу обоснованно сочли устаревшей, ценной своей исторической частью. Но и она давала основания для определенных выводов. Рецензент в «Мире Божьем» писал: «критика системы призрения бедных в рабочих домах Англии шестидесятых и семидесятых годов может быть направлена до известной степени и против порядков, существующих в наших домах трудолюбия. Рассматривая состав их, проф. В.И. Герье отмечает то же явление: крайне смешанный состав обитателей рабочих домов и притом, главным образом, такой, который совершенно не отвечает задачам трудовой помощи. Здесь и дряхлые старики, и калеки, нуждающиеся в богаделенном содержании, дети, место которых в профессиональных приютах и школах, больные и алкоголики, которым необходима, прежде всего, врачебная помощь. Из этого положения вытекает необходимость той же классификации призреваемых и учреждения для них особых заведений, о которых говорил и Фауль»¹⁸⁴.

Внимания издателей удостоился труд о призрении бедных в Англии Поля Феликса Ашрота, который издал его сначала во Франции (1886) и затем – в Англии (1888). Заметивший эту книгу российский Комитет попечительства о домах трудолюбия и работных домах внес ее в список сочинений иностранных авторов, появление которых в России признано желательным и обратился к автору с просьбой дополнить книгу очерком о развитии призрения бедных в Англии после 1885 г. Ашрот согласился, повторно посетил Англию и на основе собранного материала написал новый раздел. Редакция журнала Трудовая помощь опубликовала перевод в двух номерах журнала за 1898 г.¹⁸⁵ Были дополнены параграфы о принципе работы «рабочих домов», устройстве рабочего дома, призрении бедных детей, больных и бродяг. В книге вместе с журнальным дополнением к ней история призрения рассмот-

¹⁸⁴ Мир Божий. 1900. № 1. С. 97.

¹⁸⁵ Ашрот П.Ф. Развитие призрения бедных после 1885 г. // Трудовая помощь. 1898. № 7. Май. Отдел II. С. 1–25; № 8. Июнь. Отдел II. С. 103–115.

рена подробнейшим образом, но организации призрения в конце XIX в. уделена большая часть объема, что позволило детально охарактеризовать формы оказания помощи неимущим, больным, детям, нищим и бродягам. В 1901 г. книга под заглавием «Призрение бедных в Англии. Историческое развитие и теперешнее состояние его» вышла в русском переводе. Ашрот исходит из того, что «даже если бы удалось ввести страхование всех классов рабочих на случай болезни, несчастий, увечья и безработицы, все-таки нужно было бы заботиться о тех, которые вследствие природных недостатков и т.п., никогда не были работоспособны, или не были вполне работоспособны, а равно о многочисленном классе женщин и детей, впадающих в нужду вследствие смерти своего кормильца»: «Особенно важно организовать дело призрения бедных так, чтобы каждый ясно представлял себе преимущества собственной заботы о своем будущем пред обращением к общественной помощи по бедности. <...> Дело призрения бедных прежде всего должно быть организовано так, чтобы с оказанием помощи по бедности соединялись ограничения, действительно чувствительные для получающих эту помощь, и чувствительные не с этической только точки зрения, могущие иметь полное действие лишь в высших классах, но такие ограничения, чтобы и простой человек считал нужным в своем интересе избегать их, принимая для того меры заблаговременно»¹⁸⁶.

Рабочий класс, тред-юнионы и кооперативное движение в Англии

Российские издатели не обошли вниманием труды, посвященные положению английских рабочих. Работу Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»¹⁸⁷, написанную им в 1845 г., в возрасте 24-х лет, опубликовали в Петербурге в трех издательствах в разных переводах. В предисловии к ее первому изданию, автор писал: «Я имел случай изучать английский пролетариат, в течение 21 месяца узнать его стремления, радости и горе, посредством личного наблюдения и личных знакомств я узнал также – как и заполнить этот личный опыт сведениями из достоверных источников. В настоящей книжке я и изложил то, что я видел, слышал и читал. Я заранее знаю, что не только моя точка зрения, но и приведённые в настоящей книге факты будут оспариваться со всех сто-

¹⁸⁶ Ашрот П.Ф. Призрение бедных в Англии. Историческое развитие и теперешнее состояние его / Перевел М. Краснов. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. С. III–V.

¹⁸⁷ Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / Пер. с нем. СПб.: Молот, 1905; Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / Пер. с нем. Е.К. и И.Н. Леонтьевых. СПб.: Обществ. польза, 1905; Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии: перевод с немецкого Н. А.-ского и [В. К. Панченко]. СПб.: [Издательство Т-ва «Северных книгоиздателей»], [1906]. 333 с.

рон, в особенности, если моя книга попадёт в руки англичан. Я прекрасно знаю, что мне смогут указать на те или другие незначительные ошибки, что, при обширности предмета и его чрезвычайно важных предпосылках, было бы неизбежно даже и для англичанина, тем более, что и в Англии нет ещё ни одного сочинения, в котором, обсуждалось бы положение всех рабочих как в моей книге. Но я ни на минуту не задумываюсь сделать следующий вызов английской буржуазии: пусть она мне докажет хотя бы одну ошибку по поводу факта, имеющую какое-нибудь значение для всей моей точки зрения в целом, и докажет с такими же достоверными доказательствами, которые приводятся у меня»¹⁸⁸. В России работа Энгельса появилась спустя 60 лет после ее первого опубликования и была снабжена авторским предисловием к ее второму дополненному изданию 1892 г., где Энгельс отмечал: «Ни здесь, ни в английских изданиях, я не пытался приспособить книгу к современному положению вещей, то есть перечислять в отдельности все изменения, наступившие с 1844 года. Так я поступил по двум причинам. Во-первых, мне пришлось бы тогда вдвое увеличить размеры книги, а во-вторых, первый том «Капитала» Маркса дает исчерпывающее изображение положения английского рабочего класса, начиная приблизительно с 1865 года, то есть со времени, когда промышленное процветание Англии достигло своего апогея. В таком случае мне пришлось бы только повторить сказанное уже Марксом»¹⁸⁹. Что касается первого тома «Капитала» К. Маркса, то его первое издание появилось в Петербурге еще в 1872 г.¹⁹⁰, тиражом в три тысячи экземпляров. Произошло это легально – цензура надеялась, что из-за трудности изложения книгу никто не прочтет. Но вопреки мнению цензоров, читателей у «Капитала» оказалось много. Первое издание быстро разошлось, и на следующий год последовало второе. Хотя впоследствии «Капитал» был включен в список запрещенных книг, в России, как ни в одной другой стране, он находил все новых читателей.

На оригинальных источниках основана работа Ганса Ностица «Рабочий класс Англии в XIX столетии», в 1902 г. изданная на русском языке¹⁹¹. В анализе рабочего класса как особой социальной группы Ностиц не замыкается в традиционной схеме – возникновение, количественный и профессиональный состав, организации, экономическая и политическая борьба. Все эти проблемы присутствуют, но они поданы в контексте

¹⁸⁸ Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии [1906]. С. 3–4.

¹⁸⁹ Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. СПб.: Молот, 1905. С. 7.

¹⁹⁰ Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.1. Процесс производства капитала / [Пер. Г. Лопатина и Н. Даниельсона]. СПб.: Н.П. Поляков, 1872. XIII, 678 с.

¹⁹¹ Ностиц Г. Рабочий класс Англии в XIX столетии: Из общественной истории нашего времени / Пер. с нем. П. Николаева. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1902.

общественно-политических процессов. В связи с этим Ностиц подробно рассказывает о политической системе Великобритании и о парламентских реформах, оказавшихся благоприятными для рабочих: «во-первых, землевладельческое дворянство не только утратило свое полновластие в нижней палате, но и должно было уступить свое преобладание владельческим и вообще образованным классам; а во-вторых, рабочий класс, масса, начали стремиться к самостоятельной политической деятельности начинают достигать этой цели. <...> Более широкая постановка дела начального образования немало способствовала появлению и развитию общей потребности к высшему образованию. К этому присоединяется и все более распространяющееся убеждение в значении образования для жизни промышленной и практической. Оба эти мотива руководят как мелкой буржуазией, так и рабочими»¹⁹².

В 1904 г. перевели «Фабричную жизнь в Англии» Аллена Кларка¹⁹³. Автор, выходец из рабочей семьи и сам рабочий, сумевший получить образование и стать учителем, написал ее на основе личных впечатлений и официальных парламентских материалов. Показав общие черты развития английской промышленности, Кларк охарактеризовал развитие фабричной системы на примере крупнейших промышленных городов графства Ланкашир. Его выводы удручающи. Природа разрушена, вместо деревьев возвышаются одни высокие фабричные трубы, молодое поколение вырастает, не зная ни цветов, ни пения птиц, ни зелени лугов, ни красоты деревьев. Фабричная жизнь своей монотонностью превращает людей в машины, увеличивает болезни, сокращает жизнь человека. Поколение за поколением фабричное население вырождается и создает все худшее потомство. Законы об ограничении детского труда не достигают цели. Кларк отрицает саму возможность смягчить пороки фабричного производства увеличением заработной платы. Пример Англии должен стать предостережением для других стран, которые не должны торопиться с форсированием развития промышленного производства. Высоко оценивая критический потенциал труда Кларка, автор предисловия к русскому изданию акад. И.И. Янжул отметил, что Кларк «не везде прав в своем крайнем и последовательном пессимизме <...> Англия, создавшая современный Ланкашир с колоссальной промышленностью, не может – увы! – вернуться опять к земледельческой идиллии доброго старого времени!»¹⁹⁴. В развитии фабричного законодательства и самодеятельности рабочих союзов и

¹⁹² Там же. С. 82–83, 178.

¹⁹³ Кларк А. Фабричная жизнь в Англии / С англ. пер. А.Н. Коншин; с предисл. акад. И.И. Янжула. М.: Изд. «Посредник», 1904.

¹⁹⁴ Янжул И. Предисловие // Кларк А. Фабричная жизнь в Англии. С. 11–12.

обществ покоится надежда рабочего класса на лучшее будущее. На утопичность социальных рецептов Кларка указал и рецензент журнала «Мир Божий» экономист А.М. Рыкачев: «Книжке вредит не то, что автор ее предается несбыточным мечтам, а то, что он не умеет найти необходимых границ между правами мечтателя, обязанностями добросовестного исследователя и задачами учителя-реформатора»¹⁹⁵.

В один год с книгой А. Кларка появилась на русском языке работа известного английского журналиста Роберта Ширарда «Белые рабы Англии»¹⁹⁶, описывающая ужасающие условия труда и быта не вовлеченных в тред-юнионы рабочих наименее оплачиваемых производств и профессий. Ширард не претендовал на открытия – положение рабочих было описано много раз прежде. Но он считал своим нравственным долгом «кричать» до тех пор, пока ни один житель британских островов не будет прикрывать неведением свое равнодушие к безобразиям, «благодаря которым каждому из нас стыдно носить имя англичанина». Именно нравственный протест против социальной несправедливости побудил российского издателя выпустить книгу. Заложенный в ней императив к искоренению несправедливости позволяет ей «принести свою скромную долю пользы, в пределах своих сил более наглядному представлению о существующем зле и более энергичному стремлению к борьбе с ним»¹⁹⁷.

Наращение рабочего движения вызвало интерес к работам об организациях трудящихся, методах и целях их деятельности, в частности, к книге Поля Рузье «Профессиональные рабочие союзы в Англии»¹⁹⁸, которая была сразу же переведена на русский язык. В рецензии на книгу «Мир Божий» подчеркивал буржуазно-либеральный подход авторов к рассматриваемому предмету¹⁹⁹. Об этом говорил и автор предисловия П.Б. Струве: все, что выходит за пределы тред-юнионизма, а также его значение в общей картине социально-экономического быта и развития Англии рассматривается с буржуазно-либеральной точки зрения²⁰⁰. Не сочло универсальным опыт английского тред-юнионизма и «Русское богатство»: «уместно поставить вопрос: доказано ли в книге французских авторов, что во всех странах, где развивается крупное производство, имеются в наличности условия, благодаря которым английские рабочие

¹⁹⁵ Мир Божий. 1904. № 4. С. 128.

¹⁹⁶ Ширард Р. Белые рабы Англии / Пер. с англ. А.Н. Коншина; с 28 рис. худ. Г. Пиффарда. М., 1904.

¹⁹⁷ Русская мысль. 1905. № 1. С. 22.

¹⁹⁸ Рузье П. Профессиональные рабочие союзы в Англии / Пер. с франц. под ред. и с предисл. П. Струве. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1898.

¹⁹⁹ Мир Божий. 1898. № 12. С. 74.

²⁰⁰ Струве П. Предисловие к русскому переводу // Рузье П. Профессиональные рабочие союзы в Англии. С. I–II.

могли ввести в практику систему коллективного договора, предполагающую сильную организацию рабочего класса? Мы полагаем, что на этот вопрос можно ответить только отрицательно». И вообще, «статьи французских авторов не выдерживают никакого сравнения с исследованиями Веббов “История тред-юнионизма” и “Промышленная демократия”»²⁰¹. Эта критика, тем более, может быть отнесена и к небольшой по объему, популярной по характеру брошюре французского историка Франсуа Фаньо «Рабочее профессиональное движение в Англии». Однако, будучи издана в России в революционный 1906 год, она все же достигала своей цели – донести до рабочих дух, способы борьбы и достигнутые результаты английских тред-юнионов, поскольку в Англии профессиональное движение «является более давним, более жизнедеятельным и могучим, чем где бы то ни было»²⁰².

Из многочисленных трудов по истории и практике рабочего и тред-юнионистского движения выдающихся деятелей этого движения Сиднея и Беатрисы Вебб на русском языке были опубликованы лишь несколько. В 1893 г. в России вышла книга «8-ми часовой рабочий день» С. Вебба и Х. Кокса²⁰³, впоследствии дважды переизданная. Ее публикация дала повод «Русскому богатству» саркастически заметить: «Интересно бы знать, что сказали бы английские рабочие, если бы их заставили работать 14–16 и даже 18 часов, как это делается в некоторых наших промышленных заведениях». Журнал обратил внимание и на то, что «авторы рассчитывают только на законодательный путь: ни добровольные уступки фабрикантов, ни давления рабочих союзов не могут установить максимального рабочего дня вполне твердо»²⁰⁴. Затем была опубликована брошюра С. Вебба «Положение труда в Англии за последние 60 лет»²⁰⁵. В рецензии «Русского богатства» была отмечена мысль «о наличности в современном обществе прогресса, но прогресса “незначительного”, “частичного”», которая «проходит красной нитью через всю брошюру, составляя и вообще основную и излюблен-

²⁰¹ Русское богатство. 1898. № 11. С. 91, 92.

²⁰² Фаньо Ф. Рабочее профессиональное движение в Англии. Краткий исторический очерк / Пер. с франц. Вл. Эльцина под ред. И. Гольденберга. СПб.: Изд. Т-ва «Знание», 1906. С. 3.

²⁰³ Вебб С., Кокс Х. 8-ми часовой рабочий день / Пер. Д.Л. Муратова. СПб.: Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1893; 2-е изд. СПб.: Изд. и тип. Т-ва «Общественная польза, 1904; Вебб С., Кокс Х. 8-ми часовой рабочий день / Пер. с англ. Пг.: Книгоизд-во «Сотрудничество», Тип. Акц. о-ва «Кадима», 1918.

²⁰⁴ Русское богатство. 1893. № 8. С. 64.

²⁰⁵ Вебб С. Положение труда в Англии за последние 60 лет. СПб.: Изд. Н.И. Березина и М.Н. Семенова, 1899.

ную идею автора, проводимую им и во всех других произведениях»²⁰⁶. В.В. Леонович (псевдоним «В. Ангарский») тоже отмечает эту мысль, но указывает и на явные противоречия в рассуждениях автора: «Вот тут и разберитесь: то “большой прогресс”, то “частичный”. Чему же верить? И это не случайные противоречия автора <...> в общем итоге, несмотря на полное благодушие автора, выводы получаются безотрадные. Глядя на них, если и можно говорить о каком-нибудь прогрессе, то разве лишь о прогрессе <...> бедности. Для доказательства верности этого положения – достаточно данных, имеющихся в рассматриваемой брошюре»²⁰⁷. В том же 1899 г. под названием «История рабочего движения в Англии»²⁰⁸ издали «Историю тред-юнионизма» – первую совместную работу супругов Веббов, опубликованную в Англии в 1894 г. Издание не прошло мимо внимания крупных журналов – «Исторического вестника», «Образования», «Русской мысли» и «Мира Божьего»²⁰⁹. По общему мнению рецензентов, книга Веббов не нуждается в рекомендации, «она во многих отношениях “была откровением для подавляющего большинства английских читателей – даже для самих членов рабочих союзов”»²¹⁰. В то же время И. Степанов указывает, что русское название книги «не совсем соответствует ее содержанию. Супруги Вебб с полной определенностью заявляют, что они пишут не историю английского рабочего движения, а “историю рабочих союзов”; на это указывает и английское название книги»²¹¹. Журнал «Русская мысль» с похвалой отозвался о переводе, выполненном Лениным: «Владимир Ильин дал перевод образцовый», и высоко оценил содержание книги: «плод шестилетнего труда людей беспристрастных, посвятивших всю свою жизнь на изучение положения трудящихся, является незаменимым пособием, неоцененным материалом для суждения о самых серьезных, самых основных вопросах грядущего»²¹².

²⁰⁶ Русское богатство. 1899. № 2. С. 67.

²⁰⁷ *Ангарский В.* [Рецензия]: Сидней Вебб. Положение труда в Англии за последние 60 лет // Образование. 1899. № 12. С. 66.

²⁰⁸ *Вебб С. и Б.* История рабочего движения в Англии / Пер. с англ. Г.А. Паперна. СПб.: Ф. Павленков, 1899.

²⁰⁹ *Никитинский А.* Рецензия на книгу: С. и Б. Уэбб. История рабочего движения в Англии // Исторический вестник. 1900. Т. LXXX. Июнь. С. 1045; *Авилов В.* [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. Теория и практика английского тред-юнионизма. Т. 1 // Образование. 1900. № 1; *Степанов И.* [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. Теория и практика английского тред-юнионизма. Т. 2 // Образование. 1900. № 12; [М. П-е] [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. История рабочего движения в Англии // Мир Божий. 1900. № 7.

²¹⁰ *Степанов И.* [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. Теория и практика английского тред-юнионизма. Т. 2 // Образование. 1900. № 12. С. 69.

²¹¹ Там же. С. 68.

²¹² Русская мысль. 1899. № 12. С. 464.

Спустя год была издана «Теория и практика английского тред-юнионизма»²¹³. Так все классическое исследование Веббов, включая и опубликованную ранее его историческую часть²¹⁴ стало доступным русскому читателю. Для «Мира Божьего» это «солидное и прекрасное сочинение», главы, «касающиеся нормального уровня заработной платы, нормального рабочего дня, санитарных условий и безопасности производства и проч., дают полное и обстоятельное изложение тех условий труда, в которых находится рабочий класс в современной Англии, тех способов, которыми он их поддерживает, и тех улучшений, которых добивается»²¹⁵. Оценивая творчество Веббов, журнал заключил: «приходит время, когда без знакомства с ними многое может остаться непонятым в развитии английского общественного строя»²¹⁶.

Во второй половине XIX в. в европейских странах начало широко распространяться кооперативное движение. Оно не обошло стороной и Россию. Российские кооператоры совершали ознакомительные поездки в Англию. В стране активно, начиная с первых лет XX в., наряду с исследованиями российских ученых (В.Ф. Тотомианца, П.С. Климентова, М.И. Туган-Барановского, А.И. Чупрова, И.Х. Озерова, А.Н. Анцыферова, С.Н. Прокоповича, М.Л. Хейсина, А.А. Гейкинга и др.) издавали переводы работ зарубежных теоретиков и популяризаторов опыта английских кооператоров. Первым кооперативом в Англии был организованный в 1844 г. последователями Оуэна в г. Рочдейле потребительский кооператив, названный «Обществом справедливых пионеров». Опыт этого Общества обобщил Джордж Джекоб Холиок, опубликовавший в 1857 г. у себя на родине посвященную им книгу, которую он неоднократно дополнял и переиздавал. К семидесятилетию основания кооператива и спустя почти 60 лет после первого издания книги Холиока в Англии в 1914 г. она появилась в переводе на русский язык с 10-го английского издания под названием «История рочдэльских пионеров»²¹⁷. Этот сборник статей, на примере «рочдэльских пионеров», стремится показать эффективность кооперативной организации трудящихся, хотя и ограничивается только начальной стадией кооперативного движения в Англии. В 1915 г. в Москве и 1918 г. в Петрограде вышла его книга под

²¹³ Вебб С. и Б. Теория и практика английского тред-юнионизма / Пер. с англ. Владимира Ильина [В. Ульянова-Ленина]. Т. 1–2. СПб.: О.Н. Попова, 1900–1901.

²¹⁴ В 1904 г. она была опубликована снова, но уже с правильным названием – «История тред-юнионизма» (СПб.: Изд. Павленкова, 1904).

²¹⁵ Мир Божий. 1900. № 1. С. 90, 94.

²¹⁶ [М. П.-в.] [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. История рабочего движения в Англии // Мир Божий. 1900. № 7. С. 107.

²¹⁷ Холиок Дж.Дж. История рочдэльских пионеров / Пер. с 10 англ. изд. С. Цедербаума; Под ред. прив.-доц. В.Ф. Тотомианца. М.: Труд, 1914.

названием «Современное кооперативное движение», на этот раз с предисловием известного специалиста в этой области В.Ф. Тотомианца²¹⁸. В том же ряду появилась книга Беатрисы Вебб «Кооперативное движение в Англии», считавшаяся классическим исследованием истории британской кооперации в XIX веке²¹⁹. Как отмечала критика, «Богатство материала и умелая группировка фактов <...> одни эти качества, самые драгоценные во всяком исследовании общественно-экономического характера, делают ее сочинение необходимым пособием при изучении кооперативного движения». Но не все положения книги были восприняты. Автора рецензии в «Мире Божьем» писал: ««английский социализм», несмотря на свою ограниченность, очень склонен давать распространительное толкование частичным улучшениям в материальных современных условиях жизни рабочего класса. Эта склонность ведет к тому, что некоторое “поднятие социального уровня” рабочего класса легко квалифицируется как всеобщее уравнительное распределение богатств, как постепенное уничтожение социальных перегородок и социального гнета»²²⁰. «Русское богатство» привлек другой аспект работы: «Читатель Уэбб без труда выяснит себе, почему русское кооперативное движение обречено безрезультатно толкаться на пустом месте. <...> Оказывается, что кооперация по самому своему существу – явление глубоко демократическое, и на Западе оно достигало силы и развития только в тех случаях, когда оно было конструировано на истинно демократических началах»²²¹.

Английский либерализм и социализм

В 1905 г. в России с предисловием Г.Г. Асквита была издана книга, написанная молодым, но уже видным британским философом и государственным деятелем Гербертом Льюисом Самуэлем «Либерализм: Опыт

²¹⁸ Холлок Дж.Дж. Современное кооперативное движение / Пер. с англ. Ю. Вес[еловс]кого; Под ред. [и с предисл.] В. Тотомианца. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1915; Холлок Дж.Дж. Современное кооперативное движение / Пер. с англ. Ю. Веселовского. Под ред. (и с предисл.) проф. В. Тотомианца. Пг.: [«Мысль»], 1918.

²¹⁹ Уэбб Б. Кооперативное движение в Англии / Пер. с англ. Н. и С. Алексеевых. СПб.: Изд. И. Балашова, 1905; Вебб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Пер. с англ. С.И. Цедербаум. М.: Моск. союз потреб. о-в, 1917; 2-е изд. М.: Всерос. центр. союз потреб. об-в, 1918.

²²⁰ [Л.Б.] [Рецензия]: Б. Уэбб. Кооперативное движение в Англии // Мир Божий. 1905. № 8. С. 131.

²²¹ Русское богатство. 1905. № 6. С. 85. О развитии английского кооперативного движения российский читатель мог составить представление и по другим работам. См.: Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооперативов: Пер. с нем. М.: Всерос. центр. Союза потреб. о-в, 1918; Губер В.А. Первые шаги рочдальцев. Из путевых заметок и писем В. Губера, собранных и обработанных К. Мундингом / Пер. с нем. Б.Н. Воронова. М.: Изд. Всерос. Центр. союза потребительских обществ, 1919.

изложения принципов и программы современного либерализма в Англии»²²², ставшая своеобразным манифестом либеральной партии начала XX века. Она содержала изложение основных принципов обновленного английского либерализма, в том числе программу либеральной партии и аргументы в защиту ее политики, постулаты либерализма в применении к задачам британской внешней и проблемам внутренней политики, в том числе к вопросам борьбы с бедностью, образования, жилья, степени вмешательства государства, избирательного права, местного самоуправления и др. Самуэль входил в группу молодых британских либералов (Дж. Гобсон, Л. Хобхауз, Дж. Робертсон), пытавшихся придать либеральной идее и политике новый импульс, ведь стало очевидным, что в отсутствие контроля со стороны государства рыночная система хозяйствования привела к поляризации, социальная гармония и справедливость в обществе отнюдь не были достигнуты. Молодые реформаторы, пересматривая постулаты классического либерализма, указывали на то, что никакая частная собственность не может быть признана «чистой» и «абсолютной», ибо общество и разные его классы многими способами участвуют в ее создании и умножении. Поэтому есть основания определять, на какую часть собственности общество может претендовать. В нее стали включать доходы, которые не зависят от способностей, трудолюбия, предприимчивости, личного вклада предпринимателя, например, прибыль, полученную вследствие монопольного положения на рынке.

Новый подход к определению природы собственности позволил приверженцам социального либерализма сделать вывод о том, что государство вправе регулировать функционирование и развитие частной собственности с учетом интересов общества и особенно тех его слоев, которые имеют отношение к ее созданию. Государство обязано в связи с этим обеспечить перераспределение через налоговый механизм национального богатства в направлении ликвидации крайностей неравенства, обеспечения прожиточного минимума и социальной защиты всех граждан. Точно так же государство в целях реализации индивидуальных способностей каждого должно открыть доступ к образованию и социально значимым сферам деятельности всем тем, кто в силу своего происхождения и материального положения не в состоянии сделать это самостоятельно. Таким образом, обеспечение партнерства труда и капитала должно было стать результатом программы и деятельности либералов. Так политика социальных реформ стала основой и теории, и практики либералов. И именно социальную реформу Самуэль ставит в

²²² Самуэль Г. Либерализм: Опыт изложения принципов и программы современного либерализма в Англии / Пер. с англ., ред. М. Мамуровский. М.: И. Романов, 1905.

своей книге «Либерализм» на первое место среди требований партии. Книга была полезна российским либералам ввиду споров по поводу выработки политических программ оформлявшимися партиями.

Русские читатели смогли познакомиться с популярными в Англии идеями преобразования общества на социалистических началах. Первой на книжном рынке появилась книга молодого преподавателя, уже тогда обратившего на себя внимание лекциями в Парижском свободном колледже социальных наук, а впоследствии министра труда и социального обеспечения в министерстве А. Бриана Альбера Метена «Социализм в Англии: современные тенденции и пропаганда»²²³. В книге рассматривается не только идеология представителей социалистической мысли Р. Оуэна, У. Морриса, социал-демократов, фабианцев, но и сюжеты, связанные с анализом взглядов Т. Карлейля, Дж. Рескина, чартистов, тред-юнионистов и даже анархистов. Поэтому ее название не вполне соответствует содержанию. По справедливому замечанию «Русского богатства», «это не история социализма, а история разных умственных течений <...>. В ней вы найдете и собственно социализм, и анархизм, и этическую школу Рескина, враждебную современному индустриальному строю»²²⁴. Однако, как замечает «Мир Божий», «увлекшись обзором широкого развития социальных движений в Англии, автор не старается объединить эти разнообразные современные течения общей идеей и в изложении разнохарактерных социалистических учений не руководится никакой научной доктриной, вследствие чего весь труд страдает отсутствием систематичности и стройности изложения»²²⁵. Тот же журнал отметил особенность книги Метена, связанную с его «беспристрастием ко всем борющимся за власть партиям»²²⁶. «Исторический вестник», также откликнувшийся на издание книги А. Метена рецензией П.А. Конского, подписанной инициалом «К.», заметил: «громадные достоинства этой книги – полная объективность, что при изложении такого вопроса, как социализм, имеет большую ценность»²²⁷.

Уже в начале XX в. читатели в России получили возможность познакомиться с работами основателей социал-демократического движения в Великобритании – «Социалистический катехизис» Эрнеста Бель-

²²³ Метен А. Социализм в Англии: современные тенденции и пропаганда, Р. Овен и чартисты, Карлейль, Рёскин, Вильям Моррис, христианство и социализм, национализация земли, социал-демократы и фабианцы, трэд-унионы и независимая рабочая партия, анархия / Пер. с фр. СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898.

²²⁴ Русское богатство. 1898. № 11. С. 89.

²²⁵ Мир Божий. 1899. № 2. С. 71.

²²⁶ Там же. С. 70–71.

²²⁷ [К.] [Рецензия]: Социализм в Англии. СПб., 1898 // Исторический вестник. 1898. Т. LXXV. Февраль. С. 709.

форта Бакса и Гарри Квелча²²⁸, «Единый налог или социализм для блага народа» американского экономиста Генри Джорджа и создателя Социал-демократической федерации Генри Гайндмана²²⁹. Вышли сборники, подготовленные Робертом Чарлзом Энзором, «Современный социализм: Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий» и Сиднеем Веббом «Социализм в Англии»²³⁰. В первом из них содержались программные документы Фабианского общества, Социал-демократической федерации, Независимой рабочей партии, Комитета рабочего представительства. Второй представлял собой коллекцию статей английских социалистов. Он был ориентирован не на русского, а на немецкого читателя (он и был переведен с немецкого языка), и благодаря помещенному в нем предисловию С. Вебба, давал представление об отличии английского социалистического движения от немецкого. Вебб видел различия между ними в том, что английский социализм не носит классового характера: «Значительная часть английских социалистов принадлежат к средним классам <...> миллионы же рабочих не только подают голоса за консерваторов, но и очень консервативно настроены». Что же касается этого социализма средних классов, своего рода внеклассового социализма, то его своеобразный характер достаточно ярко выясняется из того, что в «каждом правительственном учреждении есть социалисты, принадлежащие к обществу фабианцев, но это не мешает им двигаться по служебной лестнице»²³¹. Авторы рецензий на сборник искренне полагали, что современный социализм в Англии уже не соответствует той картине, «которая вырисовывается из чтения сборника», поскольку «самой свежей из статей, помещенных в сборнике, – десять лет с лишним»²³². Ф.Г. Сиротский (псевдоним «Л. Герасимов») в «Современном мире» солидарно с анонимным коллегой из «Образования» назвал анахронизмом слова Вебба о консервативном настрое анг-

²²⁸ Бакс Б., Квелч Г. Социалистический катехизис / Пер. с англ. Е. Лазарева. 2-е изд. М.: Сотрудничество, 1907.

²²⁹ Джордж Г., Гайндман Х.В. Единый налог или социализм для блага народа / Пер. с англ. Бакша, под ред. В.В. Битнера. СПб.: «Вестн. знания» (В.В. Битнера), 1910.

²³⁰ Энзор Р.Ч. Современный социализм: Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий / Пер. с англ. А.И. Смирнова. М.: Т-во «Бр. А. и И. Гранат и К°», 1906; Социализм в Англии: Сборник статей английских социалистов [Вильяма Мориса, Сиднея Вебба, Х.В. Гайндман и др.]. Сост. С. Веббом / Пер. с нем. изд. [и предисл.] д-ра Г[анс] [Курелла]. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1907.

²³¹ Вебб С. Предисловие // Социализм в Англии: Сборник статей английских социалистов [Вильяма Мориса, Сиднея Вебба, Х.В. Гайндман и др.]. Сост. С. Веббом / Пер. с нем. изд. [и предисл.] д-ра Г[анс] [Курелла]. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1907. С. 7.

²³² [Л.Б.] [Рецензия]: Социализм в Англии // Образование. 1907. № 7. С. 139.

лийских рабочих²³³. Рецензент в «Образовании» не сомневался, что «резкий поворот в настроении рабочего класса в Англии, обнаружившийся в восьмидесятых годах прошлого столетия, и быстрые успехи социал-демократии все усиливались и постепенно сближали классовую тактику английского пролетариата с тактикой их континентальных товарищей. Своеобразие английского социализма по мере роста нового движения стало исчезать. <...> Между тем сборник в общем, главным образом, и настаивает на этом отходящем в прошлое своеобразии»²³⁴.

Народное образование и просветительские движения в Англии

К рубежу XIX–XX вв. в главных европейских странах вопрос об обязательности начального образования, а в некоторых – и среднего, был успешно решен. В то же время в России к нему еще следовало подступить: страна занимала одно из последних мест среди передовых стран как по (относительному) количеству, так и, в особенности, по качеству народных школ, по размерам затрат на их содержание, и следовательно, вообще по состоянию просвещения народа. В связи с этим отставанием работа по трансферу передового зарубежного опыта в области образования велась в России настойчиво специалистами по западным образовательным системам. Одним из лучших знатоков в этой области был П.Г. Мижуев, который написал не менее 45 специальных работ, посвященных разнообразнейшим аспектам развития всех типов образовательных учреждений в зарубежных странах; из них 23 – книги и объемные брошюры, вел хронику по вопросам просвещения за рубежом в педагогических журналах. Более десяти работ, опубликованных отдельными изданиями, Мижуев посвятил развитию образовательных учреждений в Англии. Особый интерес к этой теме объяснялся поучительностью английского опыта реформирования системы образования. К разным аспектам этого опыта обращались в своих журнальных публикациях и другие российские авторы, в их числе А.С. Окольский, З.С. Иванова (псевдоним «Н. Мирович»), А.П. Редкин, П.Ф. Каптерев, И.Х. Озеров, П.Н. Милюков.

Способствовать формированию общественного мнения о распространении образования на широкие слои общества по примеру британского опыта должны были работы не только отечественных авторов, но и переведенные на русский язык исследования зарубежных специалистов. В многоплановых трудах Э. Поррита (1897), Г. Ностица (1902) и других авторов тема народного образования в Англии нашла отражение, но пе-

²³³ *Сиротский Ф.Н.* [Л. Герасимов] [Рецензия]: Социализм в Англии // Современный мир. 1907. № 4. С. 88.

²³⁴ [Л.Б.] [Рецензия]: Социализм в Англии. С. 139. Сборник «Социализм в Англии», появился в России еще раз в 1918 г.: Социализм в Англии. Сб. ст. / Сост С. Вебб. Пер. с англ. Пг.: Книгоизд-во «Сотрудничество», 1918.

реводов специальных работ было все же мало. Длительное время единственным развернутым источником информации о средних учебных заведениях Англии и Шотландии в России была фундаментальная книга французских университетских профессоров Жака Клода Деможо и Анри Монтуччи, которые по заданию французского министерства народного просвещения изучили на месте организацию и деятельность средних и высших учебных заведений страны. Результатом их служебной командировки стал обстоятельный отчет «Средние учебные заведения в Англии и Шотландии», в 1870 г. переведенный на русский язык²³⁵.

Почти через тридцать лет, в 1899 г., в России появились работы Макса Леклерка «Воспитание средних классов и правящих классов в Англии» и «Профессии и общество в Англии». Изданные одна за другой в Париже, обе книги Леклерка в русском переводе были объединены в одну под названием «Воспитание и общество в Англии»²³⁶. Идея исследования была определена конкурсом, объявленным в 1889 г. парижской школой политических наук, который выиграл ее выпускник Леклерк. Он и отправился в Англию, чтобы выяснить, где обучаются и как формируются высшие и средние классы, где страна берет своих парламентских деятелей, дипломатов, чиновников, офицеров, техников-руководителей, торговых агентов, интеллектуальную элиту, какими средствами подготовки располагает этот цвет нации, эти «созидатели национального величия, которых мы встречаем во всех точках земного шара, всегда в достаточном количестве, всегда во всеоружии своих знаний, всегда на высоте своих столь разнообразных задач», «чем обязаны они семье и национальному духу, школе и педагогам», «что сделало для них государство и закон»²³⁷. Леклерк справился с возложенной на него задачей.

По Леклерку, ускорить процесс развития английского школьного образования оказалось возможным только после вмешательства государства: реорганизации начального обучения, включая привлечение к руководству им школьных советов (1870 г.); выделении школам субсидий, что сделало обучение фактически бесплатным (1891 г.); пересмотра содержания среднего образования с включением в учебный процесс естественных наук, математики, технического рисования, современных языков (1889 и 1891 гг.). Впервые в истории Англии образование стало делом государства с 1902 г., когда начальное и среднее образование пе-

²³⁵ Деможо И., Монтуччи Г. Средние учебные заведения в Англии и Шотландии: Отчет, представл. министру нар. образования. М.: Изд. П.Н. Юшенова и Г.И. Коппа, 1870.

²³⁶ Леклерк М. Воспитание и общество в Англии / [Предисл.: Э. Бутми]; Пер. М.А. Шишмаревой. СПб.: Тип. Т-ва «Народная польза», 1899.

²³⁷ Бутми Э. Предисловие // Там же. С. 3.

редали советам графств. Рецензент в «Историческом вестнике» заметил: в Англии «нас поражает количество блестящих самоучек, обязанных всеми своими успехами исключительно самим себе, а отнюдь не школе. В этом отношении англичане составляют прямую противоположность французам, которые ценят человека не по действительной его стоимости, а по его дипломам»²³⁸. «Исторический вестник» выделил фрагмент книги, посвященный чтению англичан: «Нет в мире страны, где народ – весь народ – читал бы так много газет, журналов и книг». «В Англии газета и книга – два самые могущественные орудия воспитания для всех слоев общества и для всех возрастов. Англичанин читает всю свою жизнь, и не только для развлечения: читая, он учится, даже выйдя из школы, ибо он с детства сросся с той мыслью, что для человека ученье никогда не кончается»²³⁹. Как заметил журнал «Русское богатство», «особенный интерес книга приобретает в данный момент ввиду предполагаемой реформы средней школы. Опыт англичан и новые тенденции в средней английской школе могли бы послужить в пользу при осуществлении периодической печатью желательных реформ средней школы»²⁴⁰.

В России стали появляться работы о просветительских и гуманитарных движениях в английском обществе (с их отдельными формами прежде можно было познакомиться только по журнальным или газетным статьям). Интерес к этим публикациям подогревался возможностью «примерить» зарубежный опыт к российской практике, увидеть пути гуманизации российского высшего образования. Когда в Одессе в «Библиотеке общественных знаний» была издана работа Джемса Русселя «Народные университеты в Англии и Америке»²⁴¹, «Мир Божий» откликнулся на нее рецензией. Книга Русселя невольно заставила рецензента провести параллели между распространенными в обществе императивами к получению образования в России и в странах Запада: «Знания не как средства для поддержания жизни, а как необходимое условие жизни – таков руководящий принцип нового великого культурного движения, которое последние четверть века охватило все культурные страны на Западе. Этот принцип пока еще совершенно чужд России, где до сих пор на образование смотрят с точки зрения чисто бюрократической. Образование, по распространенному взгляду у нас, нужно для получения диплома, открывающего заманчивую дорогу карьеры, которая заключается в возможности много получать и ничего не делать. Диплом, как

²³⁸ [Д.] [Рецензия]: М. Леклерк. Воспитание и общество в Англии. СПб., 1899 // Исторический вестник. 1900. Т. LXXIX. Январь. С. 380.

²³⁹ Леклерк М. Воспитание и общество в Англии. С. 269.

²⁴⁰ Русское богатство. 1899. № 6. С. 83.

²⁴¹ Руссель Дж. Народные университеты в Англии и Америке: (Extension of university teaching) / Пер. с англ. Л.С. Зака. Одесса: Южнорус. о-во печ. дела, 1897.

средство с удобством подниматься по бюрократической лестнице, – такова цель образования в России, и к этой цели государство приспособило у нас все, начиная с низшего и до высшего образования. Развитие личности, любовь к науке ради чистейших радостей, доставляемых ею, гражданская доблесть и вытекающее отсюда самоотверженное исполнение долга – эти высокие цели ставит на Западе народный университет»²⁴².

В 1901 г. на русском языке вышла брошюра С. Вебба и С. Вельса «Универсальные учреждения для рабочих в Лондоне»²⁴³ и был опубликован составленный Уиллом Ризоном сборник «Университетские и социальные поселения»,²⁴⁴. В книге Ризона была сделана попытка изложить путь, которым английские общественные деятели и мыслители пришли к осознанию необходимости личного служения в сфере филантропии. Импульсом к этому движению, по словам одного из инициаторов создания поселений А.С. Барнета, стал общий подъем духа гуманности, желание ближе познакомиться с положением народа, а также утрата веры в то, что обычные филантропические организации удовлетворительно решают задачу помощи обездоленным. Анонимный рецензент в «Русском богатстве», хотя и приветствует появление такой книги в России, отмечает, тем не менее, что сборник все же рассчитан скорее на английскую публику: «В самом деле, если на нас и распространяется “общий подъем духа гуманности”, то формы проявления его, фактические и желательные, не могут не быть несколько иными, благодаря совершенно иным условиям, которыми обставлена у нас всякая общественная деятельность. В Англии достаточно решить: вот в чем будет заключаться моя наиболее полезная деятельность – и начать делать так, как решил. У нас же, можно сказать, тысячи родов полезной деятельности давно намечены, давно выяснены, и существуют, быть может, кадры людей, готовых отдаться им, но эта потенциальная энергия встречает непреодолимые препятствия к своему разряжению. Достаточно вспомнить судьбу некоторых просветительных обществ, роль которых была неизмеримо менее реформаторской, в социальном смысле, чем роль английских поселений»²⁴⁵.

²⁴² [Рецензия]: Д. Руссель. Народные университеты в Англии и Америке // Мир Божий. 1897. № 7. С. 76.

²⁴³ Вебб С., Вельс С. Универсальные учреждения для рабочих в Лондоне: (Лондонские политехникумы) / Пер., снабдил прим. и доп. двумя ст. П.Г. Мижуев. СПб.: Ред. журн. «Техн. образование», 1901.

²⁴⁴ Ризон У. Университетские и социальные поселения: [Сборник статей Ольдена, Бернета, Скотти и др.] / Пер. с англ. Е.С. Петрушевской; Под ред. проф. Д.М. Петрушевского. СПб.: Типо-лит. Б.М. Вольфа, 1901.

²⁴⁵ Русское богатство. 1901. № 11. С. 26–27.

В книге С. Вебба и С. Вельса описаны политехникумы – просветительские клубы, создаваемые с целью удовлетворить всевозможные духовные запросы взрослых людей, не имевших возможности получить систематическое образование. На небольшую брошюру откликнулись и «Русское богатство», и «Образование». Особенно интересна рецензия известного специалиста в области педагогики П.Ф. Каптерева, опубликованная в журнале «Образование». Приведем ее значительный фрагмент:

«Россия занимает видное место в ряду европейских держав, как значительная военная и политическая сила. Но что лежит в основе этой силы? На что опирается могущество России? Рассчитывать на одну материальную силу, на многочисленность населения и обширность территории, нельзя. При народной бедности и народном невежестве громадное государство с необъятными владениями может легко пострадать в споре с просвещенным и богатым государством меньших размеров и меньшего населения. Дело в том, что решение международных споров очень много зависит от умственных сил страны, от количества талантов, от понимания национальных интересов массами, от общего культурного уровня народа. Малокультурное государство живет заимствованиями и подражанием более культурным, оно питается крохами, падающими со стола господ культуры, оно находится на выучке, в ученичестве у более просвещенных народов. Культурное государство на всех путях своей деятельности располагает множеством хорошо подготовленных, истинно просвещенных людей, оно в первые ряды государственно-общественных деятелей выдвигает крупные таланты, сильные умы и характеры. Малокультурное государство всюду терпит недочет в настоящих деятелях. Вот с этой точки зрения и интересна названная брошюра. Она показывает, как высоко ценят англичане образование, как всюду стараются дать возможность таланту выбраться на надлежащий путь, как священна для них свобода личности и общества. А вместе с тем объясняется, отчего англичане так богаты, сильны, отчего они смело и всюду протягивают свои руки и не боятся вступать в споры с со всеми народами за свои интересы. И другие народы волей-неволей должны уважать интересы англичан. <...> Если мы сопоставим деятельность лондонских политехникумов с тем, что делается у нас для рабочих классов, если мы сравним заботы о просвещении трудовых масс там, в Англии, и здесь, в России, если мы не упустим из вида, как высоко ценятся личный почин и полная свобода и самостоятельность общественных учреждений в туманном Альбионе и на святой Руси, то невольно становится грустно, приходится признать, что в культуре мы отстали от англичан очень далеко»²⁴⁶.

²⁴⁶ Каптерев П.Ф. [Рецензия]: Сидней Вебб и С. Вельс. Универсальные учреждения для рабочих в Лондоне: (Лондонские политехникумы) // Образование. 1901. № 5–6. С. 113–114, 116.

Общественную значимость переводов и издания научных и научно-популярных трудов зарубежных авторов в России подчеркивает участие в них в качестве авторов вступительных статей и редакторов переводов виднейших ученых, прогрессивной российской профессуры.

Один из первых российских англоведов профессор Г.В. Вызинский предпослал свою статью к собранию сочинений Т.Б. Маколея. В.Д. Спасович перевел и написал предисловие к книге известного английского юриста Дж.Ф. Стифена «Уголовное право Англии в кратком очертании». П.Г. Виноградов, автор многих трудов по истории Англии, Италии и Европы, в начале XX века избранный профессором Оксфордского университета, написал вступительную статью к книге И. Редлиха «Английское местное управление» и отредактировал перевод книги А.В. Дайси «Основы государственного права Англии». Профессор М.М. Ковалевский, выдающийся историк, социолог, правовед, своей статьей «К истории всеобщего избирательного права» предварил книгу О. Пифферуна «Европейские избирательные системы» и написал предисловие к трудам С. Лоу «Государственный строй Англии» и В. Вильсона «Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений», редактировал перевод книги А. Эмена «Основные начала государственного права». Труд А.В. Фонбланка «Правление Англии» перевел на русский язык профессор Ю.С. Гамбаров, введение написал профессор М.М. Ковалевский, а профессор А.С. Трачевский снабдил ее примечаниями и предисловием; он же отредактировал перевод «Истории девятнадцатого века» Э. Марешаля. Под редакцией профессора Киевского университета И.В. Лучицкого вышли переводы книг А. Торсе «История нашего столетия. 1815–1890» и Ч. Файфа «История Европы XIX века». Н.И. Кареев и С.Г. Лозинский редактировали перевод «Всемирной истории», написанной коллективом авторов под руководством Ю. Пфлуг-Гартунга. Под редакцией М.Н. Покровского вышла книга Э. Бутми «Развитие государственного и общественного строя Англии». Профессор Е.В. Тарле написал предисловие к книге Э. Бутми «Опыт политической психологии английского народа в XIX веке» и редактировал перевод «Истории нового времени» под редакцией Ю. Пфлуг-Гартунга. «Легальный марксист» П.Б. Струве составил предисловие к книге П. Рузье «Профессиональные рабочие союзы в Англии», а также приложил статью о безработице к российскому изданию книги Дж.А. Гобсона «Проблемы бедности и безработицы». Активно участвовали в подготовке книг к изданию виднейшие российские правоведы. Ф.Ф. Кокошкин составил предисловие к книге А.Л. Лоуэлла «Государственный строй Англии», а В.Ф. Дерюжинский отредактировал переводы книг П. Ашлея «Местное и центральное управление: Сравнительный обзор учреждений Англии, Франции, Пруссии и Соединенных Штатов» и Г. Джефсона «Платформа, ее возникно-

вание и развитие: (история публичных митингов в Англии)». Академик И.И. Янжул написал предисловие к книге А. Кларка «Фабричная жизнь в Англии». Профессор В.Ф. Тотомианц отредактировал перевод и написал предисловие к книге Дж. Холиока «Современное кооперативное движение». Профессор Д.М. Петрушевский отредактировал перевод книги У. Ризона «Университетские и социальные поселения».

Благодаря переводам, книги зарубежных авторов по различным эпохам английской истории и современному (для того времени) состоянию Англии вошли в российское интеллектуальное пространство и с заинтересованностью были встречены общественностью, о чем свидетельствуют обзоры и рецензии в общественно-политических журналах. Обилие трудов по англоведению подчас даже вызывало недоумение у литературных обозревателей. Один из них, оставшийся анонимным, в журнале «Вестник Европы» сокрушался: «В последнее время появляется у нас такое множество переводных книг по экономической и культурной истории различных стран и особенно Англии, что поневоле приходится поставить себе вопрос: нет ли здесь избытка усердия со стороны переводчиков и издателей?»²⁴⁷.

Журнал сомневался напрасно. Усилия российских ученых, редакторов, переводчиков и издателей были оправданы и необходимы. Академик Н.А. Котляревский в книге «Очерки из истории общественных настроений шестидесятых годов» отмечал: «Иностранная книга приходила молодому читателю на помощь прежде всего в его борьбе с традициями старины – т.е. с установившимся религиозным мировоззрением, с господствующим политическим порядком и с наличным социальным строем; она, затем, укрепляла в нем сознание силы индивидуального начала в жизни вообще и веру в сильную личность, призванную дать направление массовой жизни; она поддерживала в читателе его гуманный образ жизни и ту демократическую тенденцию, которая все резче и ярче проступала в его понятии о прогрессе»²⁴⁸.

Соглашаясь с обозначенной Котляревским общей тенденцией, следует, однако, отметить и то, что круг «потребителей» научной литературы территориально был в значительной мере ограничен столицами и провинциальными университетскими городами.

²⁴⁷ Вестник Европы. 1897. № 12. Библиографический листок.

²⁴⁸ Котляревский Н. Очерки из истории общественного настроения шестидесятых годов // Вестник Европы. 1914. Кн. 4. С. 177.

ЧАСТЬ 4

НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

4.1. СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В РОССИИ В.И. ГЕРЬЕ И ЕГО УЧИТЕЛЯ

Современные достижения scholarly исследований позволяют в новом свете и с новых позиций рассмотреть вопрос о формировании и развитии научных школ в исторической науке, само существование и границы которых нередко оказываются проблематичными. Так, в российской историографии неоднократно и с характерной регулярностью обсуждался вопрос о том, существовала ли научная школа В.И. Герье.

Профессор Московского университета **Владимир Иванович Герье** (1837–1919) известен как учёный, воспитавший целую плеяду выдающихся историков. Даже по формальному признаку – по количеству защищённых под его руководством магистерских диссертаций (Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, С.А. Котляревский, П.Н. Ардашев, Е.Н. Щепкин, И.И. Иванов) – В.И. Герье был в числе лидеров среди учёных того времени. Однако анализ тематики этих диссертаций удивляет своей разноплановостью, а знакомство с методологическими взглядами и научной проблематикой последующих исследований этих учёных показывает значимые различия в их научных концепциях. Таким образом, классических признаков научной школы, согласно ее традиционной модели, т.е. единства теоретико-методологических взглядов, общей научной проблематики и методики исследования, в «школе Герье», на первый взгляд, нет.

Логично будет начать обзор научных дискуссий вокруг «школы Герье» с неоднозначной оценки, пожалуй самого осведомлённого, но и самого субъективного в этом вопросе учёного, ученика Герье Н.И. Кареева. «Если школу понимать в смысле некоторого единого направления или какой-либо объединяющей всех учеников особенности, какой-то обособленной школы Герье не было, – пишет он. – Но была школа в другом смысле. Герье был широко образованным учёным, видевшим науку не в одной эрудиции, но в идейности. Можно не соглашаться с его философскими, общественными и политическими взглядами, но нельзя отрицать, что научные вопросы он ставил широко, идейно, с философским уклоном, чем он привлекал к себе желавших заниматься историей. Я бы даже сказал, что у него была особая методическая строгость, “школившая” лиц, у него занимавшихся»¹.

¹ Кареев Н.И. Памяти двух историков // *Анналы*. 1922. № 1. С. 156–157.

Это высказывание авторитетного Н.И. Кареева во многом предопределило сомнения последующих исследователей в существовании школы В.И. Герье. Ко времени написания этих строк Кареев был уже известным ученым, лидером собственной научной школы в Петербургском университете и ведущим представителем «русской исторической школы» («Ecole russe»). Смазанные временем воспоминания, изменение обстановки в исторической науке, падение научного авторитета Герье в последние годы его жизни и, одновременно, рост авторитета Кареева – все это повлияло на расплывчатую, неопределенную характеристику, данную им школе В.И. Герье. В то же время у других его современников сомнений в существовании школы Герье не возникало. Отнюдь не симпатизировавший профессору Герье А.А. Кизеветтер, давая характеристику преподавателям Московского университета писал: «Длинный ряд поколений прошел таким образом чрез его (Герье. – Т.И., Г.М.) школу»². В.П. Бузескул и В.А. Бутенко писали о существовании школы В.И. Герье в изучении новой истории³.

Однако в дальнейшем, уже в советской историографии В.И. Герье не относили к «русской исторической школе». В целом ряде работ вообще отрицалось наличие особой школы Герье, и даже если ее существование признавалось, то давались противоречивые оценки ее проблематики. Так, Б.Г. Могильницкий употреблял термин «школа Герье», говоря в своей монографии об исследованиях по истории западноевропейского средневековья⁴, и, учитывая «крайние» идеалистические позиции ученого, считал, что следует отказаться от термина «школа Герье». Вслед за ним В.П. Золотарев предлагал рассматривать как главу московских историков не В.И. Герье, а Н.И. Кареева⁵.

Б.Г. Сафронов в серии монографий, посвященных профессорам Московского университета, ввел определение Московской школы «всеобщих историков», одним из основоположников которой он считал Герье⁶. В то же время, подчеркивая, что «В.И. Герье прививал интерес к

² Кизеветтер А.А. Московский университет (Исторический очерк) // Московский университет. 1755–1930. Париж, 1930. С. 123–124.

³ Бутенко В.А. Наука новой истории в России (Историографический обзор) // *Анналы*. 1922. № 2. С. 130; Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Л., 1929. Ч. I. С. 153.

⁴ Могильницкий Б.Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиэвистики середины 70-х годов XIX – начала 90-х годов. Томск, 1969. С. 8.

⁵ Золотарев В.П. О русской школе новой истории стран Запада (к постановке вопроса о понятии исторической школы в историографии) // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической наука. Ч. I. Калинин, 1978. С. 125.

⁶ Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории в работах М.С. Корелина. М., 1984. С. 8.

проблемам новой истории, к философской стороне истории, выращивал у питомцев своих навык изучения источников, добросовестность и строгость в отношении к предмету исследования», Б.Г. Сафронов полагал, что именно «в подобном плане можно говорить о школе этого ученого»⁷.

В условиях устойчивого роста интереса к творчеству учеников Герье сам он в советской историографии оставался «фигурой второго плана», значимость его научного и педагогического вклада в силу невозможности полного умолчания принижалась. Причины заключались не только в идеалистической методологии, неприятии позитивизма и невнимании ученого к социально-экономической проблематике, но и в том, что немногие его ученики, дожившие до 1917 года, с трудом приспособиваясь к условиям Советской власти, не афишировали свою принадлежность к школе Герье, скомпрометировавшего себя в глазах большевиков активной деятельностью в партии октябристов.

В начале XXI века вопрос о значении Герье как создателя научной школы актуализировался. Было предложено видеть в ученом «исходного» лидера «русской исторической школы», талантливого педагога, крупного деятеля просвещения и организатора науки, способствовавшего реализации в Московском университете той «школообразующей» традиции, которая имела истоком реформы 1860–70-х гг. Основанием послужило то, что Герье был непосредственным университетским учителем или соратником ведущих представителей «русской исторической школы», его семинар имел выраженную методологическую и организационную структуру, а его деятельность дала блестящие результаты, определив путь в науке ряду выдающихся историков-«всеобщников»⁸.

А.В. Антощенко предложил рассматривать одновременное существование в Московском университете в 1880-е – начале 1890-х гг. школ В.И. Герье и П.Г. Виноградова. Он отмечает, что на формирование исторической школы Московского университета оказали воздействие и Герье, и Виноградов, и считает, что в становлении Виноградова как ученого определяющая роль «принадлежала его учителю – В.И. Герье»⁹. Однако одновременно он пишет: «По мере приобретения опыта исследовательской работы значение советов “руководителя” ... уменьшалось»¹⁰.

⁷ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976. С. 79.

⁸ См.: Мясков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. С. 201, 204.

⁹ Антощенко А.В. Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов (к вопросу о Московской исторической школе) // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье / под ред. Л.П. Репиной. М., 2008. С. 105–106.

¹⁰ Антощенко А.В. Диссертации П.Г. Виноградова // Мир историка / под ред. В.П. Корзун, А.В. Якуба. Омск, 2010. Вып. 6. С. 117–119.

Д.А. Гутнов выделяет в «исторической школе Московского университета» два «самобытных и в то же время тесно связанных друг с другом направления» – в изучении русской и западной истории, подразумевая под первым направлением школу В.О. Ключевского, под вторым – школу П.Г. Виноградова¹¹. В то же время он не отрицает принадлежность Герье к «исторической школе Московского университета»¹², что порождает вопрос о признании им существования школы Герье и о соотношении между этой школой и школой Виноградова.

Большое внимание изучению школы Герье уделяет в последние годы Д.А. Цыганков, вписывающий историка в традицию Московского университета, идущую от Т.Н. Грановского через Герье и далее не только к его ученикам, но и через них – к ученикам учеников. Он пишет: «Школа Герье представляется в виде своеобразной системы подготовки историков, предполагающей создание единой формы занятий – лекций, семинаров, личных отношений учитель–ученик. В результате возникала особая, не совсем устойчивая профессиональная общность, функцией которой было распространение специальной информации и пополнения рядов ее членов. Вся система была замкнута на личности главы школы, который на первоначальном этапе удерживал общность при помощи различных личных связей, а затем конструировал ее в виде Исторического общества при Московском университете»¹³. В этом определении представляются спорными тезис о замкнутости школы на личности Герье и преувеличение роли Исторического общества в конструировании этой школы. Ведь Историческое общество возникло в тот период, когда расцвет научно-педагогической деятельности Герье был уже в прошлом, и связи не замыкались на учителя, а порою шли мимо профессора между его учениками.

На роли личностных контактов в школе Герье сосредоточила внимание Е.С. Кирсанова. «Во многом благодаря таким неформальным контактам, – пишет она, – и возникло уникальное научное объединение, включавшее историков, принадлежавших к разным поколениям и придерживающихся порою разных политических и исторических взглядов, – школа Герье», но на дальнейшее развитие этой школы повлияли «отрицательные психологические особенности характера» Герье¹⁴.

¹¹ Гутнов Д.А. Об исторической школе Московского университета // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 1993. № 3. С. 41.

¹² Там же. С. 40.

¹³ Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский университет его эпохи: вторая половина XIX – начало XX в. М., 2008. С. 232.

¹⁴ Кирсанова Е.С. Консервативный либерал в русской историографии: жизнь и историческое мировоззрение В.И. Герье. Северск, 2003. С. 16; Она же. О влиянии

Интересную типологию научного лидерства предлагает Н.Н. Алеврас. Она относит школу Герье к традиционной «лидерской», т.н. «учительской школе», где «лидер... являлся не только научным вдохновителем и коммуникационным началом сообщества, но и должностным лицом (например, главой кафедры), для которого успешная подготовка специалиста высшей квалификации становилась частью его служебной деятельности или была важна для его научно-профессионального имиджа»¹⁵. Н.В. Гришина обращает внимание на важный факт: «В.И. Герье и П.Г. Виноградов не только стали лидерами собственных научных школ, но и продолжали оказывать идейное и методическое влияние на молодые поколения специалистов по русской истории»¹⁶.

Таким образом, в современной историографии уже не оспаривается существование особой школы Герье, и, одновременно, принадлежность самого В.И. Герье к «русской исторической школе», Московской исторической школе и т.д. Однако остается не до конца проясненным вопрос о том, каково было соотношение между школой Герье, «русской исторической школой» и «исторической школой Московского университета» (или Московской исторической школой).

Итак, сегодня сам В.И. Герье позиционируется в историографии как один из лидеров «исторической школы Московского университета» (Д.А. Гутнов), основоположник Московской школы «всеобщей истории» (Б.Г. Сафронов), «исходный лидер» русской исторической школы (Г.П. Мягков) и лидер собственной учительской школы (Н.Н. Алеврас). В работах Т.Н. Ивановой подчеркивается уникальный характер лидерской школы Герье, возникшей как научно-образовательное сообщество, основной целью которого была подготовка для российских университетов специалистов высшей квалификации по всеобщей истории.

Поэтому становится возможным уточнение конфигурации научной школы Герье, выявление ее места и роли в научном поле российской науки, ее судьбы, а главное – познание «механизмов» воспитания ученых высочайшей квалификации через анализ тех коммуникаций, которые были созданы членами научного сообщества как внутри него, так с иными интеллектуальными и профессиональными сообществами.

психологических особенностей характера основателя научной школы на ее развитие // Известия Томского политехнического ун-та. 2007. № 3. Т. 310. С. 171.

¹⁵ Алеврас Н.Н. Проблема лидерства в научном сообществе историков XIX – начала XX века // Историк в меняющемся пространстве российской культуры: сб. статей. Челябинск, 2006. С. 117, 121.

¹⁶ Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке и российской культуре. Челябинск, 2010. С. 83.

Понимание феномена школы Герье невозможно без обращения к истокам формирования его исторического мировоззрения, к его собственным оценкам тенденций развития исторической науки его времени, к особенностям развития науки всеобщей истории в России.

К *учителям В.И. Герье* следует причислить не только его непосредственных в Московском и зарубежных университетах наставников, которых мы охарактеризуем ниже, но и тех ученых XIX века, которые сформировали его мировоззрение своими произведениями.

Огромное влияние на будущую научно-педагогическую деятельность В.И. Герье оказали прослушанные им во время научной командировки курсы лекций¹⁷. В большинстве русских университетов чтение новой истории, как правило, затрагивало только события начала XVII века. Поэтому впервые полный курс новой истории Герье прослушал во время заграничной командировки 1863–64 гг. Многие профессора, читавшие Герье новую историю, были известны в научном мире скорее как антиковеды и медиевисты: историю XIX века в Берлине Герье изучал у медиевиста Ранке, историю французской революции в Гейдельбергском университете – у антиковеда Л. Гейссера, в Галльском университете новую историю читал «один из замечательных ученых, вышедших из школы Ранке», Э. Дюммлер¹⁸. Научная специализация профессоров не сказывалась на качестве читаемых лекций. Так, лекции по истории французской революции Я. Буркхардта, основоположника культурно-исторической школы, Герье оценивал очень высоко, чего нельзя сказать о курсах Й. Дройзена. В Берлинском университете Герье прослушал два курса лекций Дройзена – «курс энциклопедии» и новую историю. Несмотря на то, что немецкий ученый в своих работах много внимания уделял историко-философским проблемам, Герье был разочарован его курсом «Энциклопедия и методология истории», рассчитанным, по его мнению, лишь «на начинающих заниматься историей»¹⁹. Высоко оценивая много томное издание Дройзена «История прусской политики» как «задуманное с широкой точки зрения и основанное на достоверных документах»²⁰,

¹⁷ В 1863–1864 гг. он слушал лекции по истории Древнего Рима Т. Моммзена в Берлинском университете (по словам Герье, это «самый полезный из исторических курсов для приезжих из России»), Т. Гейссера в Гейдельбергском университете, по истории Древнего Востока и Греции – Г. Герцберга в Галльском университете. (Подробнее см.: Воспоминания В.И. Герье. С. 427–431.

¹⁸ *Кореева Н.С.* Заграничные командировки и их роль на пути к «нелегкому и ответственному профессорству»: В.И. Герье // История идей и воспитание историй. С. 89–91.

¹⁹ Извлечения из отчетов ... С. 248–249.

²⁰ *Герье В.И.* Современная историография: эпоха падения Пруссии // Ист. вестник. 1882. № 2. С. 459.

Герье в то же время осуждал политическую ангажированность его лекционного курса по новой истории. Курс был «интересен благодаря живому и оригинальному изложению», но базировался на пропрусской позиции и слишком частых «намёках на современные позиции»²¹.

В период знакомства Герье с Дройзеном уже выявились противоречия во взглядах последнего на цель исторического исследования с позицией Ранке по этому вопросу. В противовес идее принципиального объективизма Дройзен был убежден в том, что «сокровенная сила» науки истории исполнена «этического свойства»²². К этой мысли позднее придет и Герье. Несмотря на то, что Герье оценивал Дройзена не так восторженно как Ранке, в первой методологической работе русского историка «Очерк развития исторической науки» идеи лекционного курса «Энциклопедия и методология истории» проявились достаточно отчетливо.

Другого представителя младогерманской школы Генриха фон Трейчке Герье называл «звездой, молва о которой прошла уже по всей Германии»²³. Русский историк писал о художественном таланте Трейчке, который проявлялся «прежде всего в его умении соединить два различных способа исторического изложения – рассказ о событиях и отвлеченное обсуждение их смысла и значения»²⁴.

Среди немецких историков, у которых довелось учиться Герье, наибольшее воздействие на его творчество оказал ученик Л. Ранке Генрих фон Зибель. Его произведения «Политические партии Рейнской провинции» и «История французской революции и её времени» были известны далеко за пределами Германии. В 1861 г. он основал «Исторический журнал», в котором позже будет публиковаться Герье²⁵. Зибель никогда не скрывал скептического отношения к знаменитому выражению Ранке о том, что историк должен показать, «как было на самом деле», исключив ради объективности своё «Я». Знакомство Герье с немецким ученым произошло в 1864 г. в Боннском университете. К большому сожалению

²¹ Извлечения из отчетов ... С. 248-249.

²² *Krist K.* Иоганн Густав Дройзен (1808-1884) (из книги: Karl Christ. Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit. Darmstadt, 1972) / пер. с нем. Э.Д. Фролова. Публикация Центра антиковедения СПбГУ. URL: <http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/frolov/frol031.html#31> (10.10.2010).

²³ ЖМНП. 1864. Ч. 121. С. 276.

²⁴ *Герье В.И.* Национальная историография в Германии // Ист. вестник. 1880. Т. I. С. 569.

²⁵ См.: *Guerrier W.* Heberdicht der historishe literates Russiands fuidie yahre 1860-1865 // Historische Zeitschriht. 1865. Bd. XVI. S. 129-179; *Guerrier W.* Des Russishe Historiker S. Solowjef // Historische Zeitschriht. 1881. Bd. 45. По поводу публикаций в журнале между Герье и Зибелем завязалась переписка. См.: НИОР РГБ. Ф. 70. К. 44. Ед. xp. 28–29.

Герье, ему не пришлось прослушать знаменитый курс Зибеля по истории Французской революции и посетить семинар по этой проблеме. Зибель читал курс, предметом которого было учение о государстве. По воспоминаниям Герье, Зибель в своих лекциях говорил, что в 1789 г. образовалась только новая форма власти, но государственная власть не прерывалась; переход произошел насильственным путем, быстрее, чем обычно, но не на пустом месте²⁶. Взгляды Зибеля оказали определенное влияние на трактовку Французской революции в произведениях Герье.

Однако в освещении истории революции русский ученый больше опирался на исследования французских ученых, с трудами которых он познакомился, начав чтение своего первого курса по истории революции в 1868 году. Огромное влияние на становление русской историографии Французской революции, несравнимое ни с одним другим сочинением, имела книга Токвиля «Старый порядок и революция» (1856). Герье считал, что с появления книги Токвиля начался «новый период в историографии французской революции»²⁷.

В числе основных тенденций развития европейской науки, под воздействием которой начала формироваться к середине XIX века отечественная историография всеобщей истории, выделим следующие:

– В первой половине XIX в. происходит формирование системы научных, учебных, издательских учреждений, призванных способствовать накоплению исторических знаний и механизму их трансляции; формируется система подготовки кадров профессиональных историков. Во второй трети XIX века историческая наука в Западной Европе совершила качественный переход и в своих теоретико-методологических основах, и в методике исторического исследования, и в проблематике работ по всем разделам всемирной истории.

– Развитие западной исторической науки оказало определяющее воздействие на формирование науки всеобщей истории в России через распространение историко-философских теорий и методик исследования, через расширение университетского преподавания, в той или иной степени копировавшего европейские, прежде всего немецкие, университеты.

– Особую роль в воздействии западной науки на российскую играли заграничные командировки молодых ученых, оставленных при российских университетах для приготовления к профессорскому званию. У Грановского, Кудрявцева, Ешевского, Куторги, Соловьева, Герье были общие учителя – известные западные ученые. И хотя степень воздействия и персональный состав были различными, можно говорить о том, что

²⁶ Воспоминания В.И. Герье. С. 431.

²⁷ См.: Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб., 1860; Герье В.И. Французская революция 1789–95 гг. в освещении И. Тэна. СПб., 1911. С. 5, 7.

Гегель, Ранке, Нибур, Моммзен, Гизо, Токвиль, Тэн и др. оказали влияние на формирование науки всеобщей истории в России – как своими концепциями, так и личным примером в процессе преподавания и общения, в передаче «неявного искусства научного исследования»²⁸.

В целом, воздействие западной науки на тех русских ученых, которые стояли у истоков формирования науки всеобщей истории в России, в большинстве случаев можно объяснить непосредственными личными контактами командированных в заграничные университеты «профессорских кандидатов» с ведущими европейскими учеными того времени. Усвоение или критика той или иной концепции определялась восприятием учениками неких образцов, демонстрируемых учителями. Даже увлеченность Герье идеями Токвиля может быть частично объяснена воздействием Г. Зибеля, создавшего свою концепцию революции «по Токвилю».

Становление Герье как ученого, невозможно представить без учения Гегеля, теории О. Конта, критического метода Л. Ранке, исследований Т. Моммзена, Г. Зибеля, А. Токвиля, И. Тэна и др. А.А. Кизеветтер писал о Герье: «Верный основам идеалистической философии истории, воспринятым им в молодости, он с большим талантом приноравливал их в течение своей долгой профессиональной деятельности к результатам последующего движения европейской исторической науки»²⁹.

Однако надо учитывать и тот факт, что многие достижения западноевропейской науки были восприняты Герье через посредство его наставников в Московском университете – учителей, к памяти которых он с огромным пиететом относился всю свою жизнь.

В России европейские преобразования и события начала XIX века способствовали росту интереса к историческим знаниям. В.Г. Белинский писал: «Все думы, все вопросы и ответы на них, вся наша деятельность вырастают из исторической почвы и на исторической почве»³⁰. Именно история, по мнению русской общественности, должна была дать ответы на вопрос о путях развития России и ее месте во всемирной истории. Произведения писателей, публицистов, журналистов приобретали характер в большей или меньшей степени исторического повествования, а исторические труды несли на себе печать художественного творчества. По мнению Герье, это была эпоха, «когда историография отличалась у нас преимущественно литературным характером, когда она, в известном

²⁸ См. подробнее: *Иванова Т.Н.* Научное наследие В.И. Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е гг. XIX – начало XX века). С. 18-54.

²⁹ *Кизеветтер А.* Московский университет: (Исторический очерк) // Моск. ун-т. 1755-1930. Париж, 1930. С. 123.

³⁰ *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1953–1956. Т. 4. С. 518.

смысле, представляла собой отрасль беллетристики», а «размежевание между литературными и учеными журналами еще не состоялось»³¹.

Повышение статуса исторического знания требовало качественного изменения отечественной исторической науки. Помимо Санкт-Петербургской Академии наук, бывшей центром изучения истории в XVIII веке, новыми центрами научных исследований становятся университеты. В ряду российских университетов особое место занимал старейший среди них – Московский. Министерство народного просвещения рассматривало его как некий образец для других университетов и как своеобразную «экспериментальную площадку» для апробации нововведений. Поэтому не случайно, что именно в Московском университете началось систематическое преподавание дисциплин всеобщей истории, а позже он стал питомником для подготовки научно-педагогических кадров по всеобщей истории для других университетов.

В связи с новыми научными функциями университетов повысились требования к подготовке научно-педагогических кадров. В начале XIX века обычной практикой являлось приглашение для преподавания в российские университеты иностранных ученых, которые не всегда являлись первоклассными преподавателями³². Для преодоления дефицита научно-педагогических кадров при Дерптском университете с 1828 по 1838 гг. функционировал Профессорский институт, выпускников которого посылали за счет казны для завершения образования в западноевропейские университеты. В Профессорском институте «было образовано новое поколение отечественных ученых, приобщившихся к идеям классического университета и придавшее, наконец, российским университетам национальный характер через создание первых российских научных школ и возвышение научной деятельности в университете до ранга общественного явления»³³. После закрытия Дерптского университета, «для усовершенствования в исторических науках», ученых по рекомендации Министерства народного просвещения стали направлять в заграничные университеты. С 1860-х гг. происходит расширение практики зарубежных научных командировок, в ходе которых лучшие выпускники российских университетов не только знакомились с постановкой преподавания в европейских университетах, но и собирали материал для своих маги-

³¹ Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // Вестник Европы. 1887. № 9. С. 151.

³² См., например: Бузескул В.П. Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX века. Л., 1929. Ч. 1. С. 43–44.

³³ Андреев А.Ю. «Идея университета» в России (XVIII – начало XX в.) // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в. М., 2009. С. 20.

стерских и докторских диссертаций³⁴. Научные зарубежные стажировки способствовали появлению нового поколения молодых профессоров, которые ставили своей целью не столько служение государству, сколько служение науке и студенчеству.

Формирующуюся структуру исторической науки составляли исторические общества, археологические экспедиции, различные архивные учреждения, музеи, библиотеки, специальные исторические журналы. При университетах стали читаться публичные лекции по истории, привлекавшие внимание широкой общественности и способствовавшие распространению исторических знаний. Так, публичные лекции Т.Н. Грановского вызвали широкий общественный резонанс³⁵. Исторические сочинения публиковали журналы «Московский телеграф», «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник». С 1860-х гг. стали появляться журналы, специализировавшиеся только на публикации исторических исследований («Русский архив», «Русская старина», «Древняя и новая Россия» и т.д.).

Успехи российской исторической науки в первой половине XIX в., в первую очередь, были связаны с созданием фундаментальных исследований по истории России Н.М. Карамзина, Н.А. Полевого, М.П. Погодина, С.М. Соловьева. Научные исследования по зарубежной истории в России появляются в 1830-40-е гг., после открытия при университетах кафедр всеобщей истории. Специфика кафедры всеобщей истории заключалась в том, что ее цель была более широкой, чем просто изучение зарубежной истории. Герье замечал в 1863 г.: «При недостатке кафедр всеобщей литературы, истории искусства, истории христианской церкви в более обширном смысле, вследствие уничтожения кафедры философии в 1848 году в преподавании всеобщей истории сосредоточилось много посторонних интересов, которые нигде не находили себе удовлетворения». Эти «посторонние интересы» были связаны с тем, что во всеобщей истории искали «пособие при разрешении современных вопросов», поэтому первые курсы всеобщей истории имели общеобразовательный характер, а профессора кафедры стали активными участниками общественно-политических дискуссий³⁶.

³⁴ Подробнее см.: *Мяков Г.П.* Заграничные командировки как фактор формирования исторической науки в России / отв. ред. А.В. Антощенко // *Культура исторической памяти*. Петрозаводск, 2002. С. 115–121; *Трохимовский А.Ю.* Политика Министерства народного просвещения по подготовке молодых ученых за границей (1856–1881) // *Вестник Московского ун-та*. Сер. 8. История. 2007. № 1. С. 61–76.

³⁵ *Дмитриев С.С.* Грановский и русская общественность // *Грановский Т.Н.* Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 323–325.

³⁶ ЖМНП. 1863. Март. С. 244–245.

Формирование в русской науке понятия «всеобщая история» как понятия, не тождественного всемирной или зарубежной истории, происходило не только в условиях дифференциации исторического знания, но и в ходе острых дискуссий между славянофилами и западниками о месте России в развитии человечества. Славянофилы считали, что самобытный исторический путь России лежит не только отдельно от западной истории, но и полагали необходимым освобождение от того, по их мнению, ложного развития, по которому пошла русская история со времен Петра I под влиянием Запада. Не останавливаясь на том позитивном вкладе, который славянофилы внесли в изучение русской народной культуры и языка, отметим, что их деятельность способствовала росту интереса к отечественной истории. Как писал Герье, «в этом любовном отношении к народному творчеству в языке и в поэзии, к народной религии и праву, к народной *старине* вообще заключается главная культурная *заслуга* славянофильства»; однако это привело к «сентиментальной идеализации быта, понятий и привычек простонародной среды», к тому, что известная фаза в развитии народа возводилась «в коренное, вечное, нормальное и потому абсолютное выражение народного духа»³⁷. Герье считал, что славянофилы восстали «против влияния *Запада*, против *западной цивилизации*, т.е. против европейского влияния, против цивилизации вообще» и тем создали «принципиальный антагонизм между национальным и общечеловеческим», как «протест против человеческой культуры в ее высшей современной форме»³⁸. Ученый обвинял славянофилов «в непонимании и непризнании свойств человеческой цивилизации и значения исторического прогресса»³⁹ и считал культурные заимствования у других народов естественными и необходимыми: «Вследствие единства общечеловеческого прогресса и преемственности в истории культурных народов подражание и подчинение чужому влиянию является одним из главных элементов цивилизаций»⁴⁰.

В противовес славянофильству вокруг кружка Н.В. Станкевича сформировалось западническое направление, идеалом которого было «создание в России правового государства, синтезирующего национальные традиции с лучшими достижениями европейской культуры, которые должны были уменьшить роль бюрократического элемента в обществе и расширить свободу людей, развить общественную самодеятельность». Западничество «являлось в значительной степени реакцией прогрессивно

³⁷ Герье В.И. Идея народовластия и Французская революция 1789 года. М., 1904. С. 152–153, 157.

³⁸ Там же. С. 152.

³⁹ Там же. С. 160.

⁴⁰ Там же. С. 178.

мыслящей отечественной интеллигенции на притеснения николаевской эпохи, прежде всего гонения на науку и просвещение, а также на распространенный в литературе и обществе казенный патриотизм»⁴¹.

В университетской науке западническую идеологию проповедовал профессор кафедры всеобщей истории Московского университета **Тимофей Николаевич Грановский**. В полемике со славянофилами рождалась его концепция всеобщей истории. В этой дискуссии были поставлены важные вопросы о соотношении русской и зарубежной истории, что способствовало формированию взгляда на всеобщую историю как общую историю всего человечества.

Распространение идеи всеобщей истории в России «было напрямую связано с мучительными поисками ответа на вопрос об исторических судьбах человечества как целого, и России – как его части»⁴². Формирование понятия всеобщей истории относят к эллинистической традиции, к зарождению христианского космополитизма, к теории Дж. Вико и т.д., но тонкости перевода зачастую подменяют определения «всеобщей» и «всемирной» истории. Их принципиальную разницу лучше всего сформулировал Грановский, который подчеркивал, что всемирная история носит эмпирический характер, а всеобщая – идейный, что мысль о всеобщей истории могла созреть только «при высшем сознании личности всего человечества», когда возникает «идея о братстве всех народов»⁴³.

Роль Т.Н. Грановского в становлении отечественной историографии всеобщей истории трудно переоценить. Однако оценка этой роли несколько варьировалась в работах его современников, учеников и последующих исследователей⁴⁴. Ключевые моменты расхождений в оценке исследователей касаются соотношения ценности преподавательской деятельности Грановского и научной значимости его опубликованных работ, места и роли в становлении корпорации российских профессиональных историков, его отношения к гегельянству и позитивизму, а также причин возникновения своеобразного культа Грановского⁴⁵.

⁴¹ *Осинов И.Д.* Историология западничества: Т.Н. Грановский // *Фигуры истории, или «общие места» историографии*. СПб., 2005. С. 130–131.

⁴² *Репина Л.П.* Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклассике. М., 2009. С. 7.

⁴³ *Грановский Т.Н.* Лекции по истории средневековья. М., 1986. С. 300, 302.

⁴⁴ О Грановском писали его сподвижники П.Н. Кудрявцев и А.В. Станкевич, ученые следующего поколения П.Г. Виноградов, Н.И. Кареев, Б.Н. Чичерин, Р.Ю. Виппер, В.А. Мякотин, П.Н. Милюков, Н.А. Попов и др. Его творчество проанализировано в работах наших современников С.А. Асиновской, А.А. Левандовского, З.А. Каменского, А.А. Кара-Мурзы, Н.В. Минаева, Л.П. Репиной и др.

⁴⁵ *Репина Л.П.* Т.Н. Грановский и идея всеобщей истории: от классики к постмодерну // *Тимофей Николаевич Грановский: идея всеобщей истории* / Ред. Л.П. Репина.

В.И. Герье посвятил анализу деятельности Т.Н. Грановского две работы – в начале своей научной карьеры (1869) и в конце (1914), что символично обрамляет именем учителя все его научное наследие. В этих работах, по мнению Д.А. Цыганкова, Герье дал более разностороннюю оценку деятельности Грановского, чем другие современники: «Герье настаивал на том, что круг людей, взволнованных личностью Грановского, необычайно широк – это весь университет, несколько поколений студентов, к которым преподаватель отнес и себя; а главная актуализованная Грановским в России научная идея – идея всеобщей истории»⁴⁶.

Т.Н. Грановский был кумиром студенческой молодёжи в год поступления Герье в университет. «Его поэтическая личность, его яркий талант, его высокий нравственный строй делали его самым видным представителем этой блестящей эпохи университетской жизни», – вспоминал Б.Н. Чичерин⁴⁷. П.Г. Виноградов пишет о Грановском: «Не только его лекции, но и его поступки задавали тон, проверялись и обсуждались всем университетом. Но Грановскому нечего было бояться этой требовательности. Он был чист и честен и если вредил кому, так только себе. Студенты молились на него и порядочно мешали своему кумиру. Он был нарасхват, целые дни проводил в разговорах, совещаниях по всевозможным вопросам... Зато у него и образовалась со студенчеством связь не только умственная, но и нравственная»⁴⁸.

Молодой Герье находился под обаянием этой личности. Еще не слушая лекций Грановского, он уже восхищался им, подпитываемый восторженными отзывами студентов старших курсов. Когда 12 января 1855 г. Герье встретился с Грановским на квартире у Кудрявцева, он находился в состоянии крайнего волнения. «С доброй и счастливой улыбкой Грановский предостерегал меня от вредного для здоровья влияния слишком усиленных занятий», – вспоминал Герье. Эти слова учителя он

М., 2006. С. 5–28; *Мяжков Г.П.* Всеобщая история Т.Н. Грановского: научные и идейные горизонты // Там же. С. 29–42; *Свейников А.В.* Миф о Грановском. Попытка дискурсивного анализа // Там же. С. 69–82; *Кара-Мурза А.А.* Тимофей Николаевич Грановский – родоначальник отечественной корпорации профессиональных историков // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры. Челябинск, 2011. С. 221–232 и др.

⁴⁶ *Цыганков Д.А.* Традиции Т.Н. Грановского и формирование «московской школы историков»: складывание профессиональной научной среды в Московском университете как проблема трансфера культур // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»... С. 253–254.

⁴⁷ Русское общество 30–50-х годов XIX в. Ч. 2. Воспоминания *Б.Н. Чичерина*. М., 1991. С. 27.

⁴⁸ *Виноградов П.Г.* Россия на распутье: историко-публицистические статьи / Сост., предисл., коммент. А.В. Антощенко. М., 2008. С. 89.

расценивал как слова одобрения и поддержки. «Согретый тёплым радушием, с которым приветствовал меня Грановский, – пишет Герье, – я стал с тем большим интересом слушать введение по философии истории к его лекциям на втором курсе». Особенно запомнилась ему последняя лекция Грановского о Гердере. 4 октября 1855 г., в расцвете творческих сил Т.Н. Грановский умер. Его скоропостижная смерть потрясла молодого человека. Герье на всю жизнь запомнил осенний день, когда с другими студентами нес лавровый венок перед гробом Грановского. Отныне для него ежегодной традицией стало посещение 4 октября могилы учителя⁴⁹.

Некоторые исследователи подвергали сомнению степень влияния Грановского на формирование научного мировоззрения Герье. Несколько лекций и короткая встреча Герье с Грановским не дают оснований утверждать, что Тимофей Николаевич как учитель успел передать ему специальные знания, обучить методике исторического исследования. Однако по силе эмоционального воздействия влияние Грановского на Герье было более глубоким, чем влияние некоторых профессоров, обучавших его на протяжении нескольких лет. Суховатый, немногословный юноша «додумал» образ идеального Учителя, и этот идеал, несомненно, сыграл огромную роль в формировании просветительских стремлений Герье. Каждое слово Учителя, сохранённое в памяти или прочитанное, отныне стало для Герье непререкаемым авторитетом. Ссылки на недостаток долгое личное общение учителя и ученика, прерванное смертью Грановского, несостоятельны своим формализованным подходом. Иногда и многолетнее обучение и общение не способствует тому, чтобы формальный ученик стал истинным последователем своего столь же формального учителя. Поэтому нельзя согласиться с отрицанием того факта, что Герье был учеником Грановского⁵⁰. К сожалению, в историографии слабо разработаны критерии «научного ученичества». Конечно, «учительство» – не процесс сообщения знаний и «просвещения», но и не

⁴⁹ Воспоминания В.И. Герье / Публ. и вступ. статья А.Н. Шаханова // История и историки. М., 1990. С. 423–424.

⁵⁰ Лаптева Л.П. В.И. Герье и его оценка современных университетов Германии // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 47–48. Полагаем, нельзя принять утверждение о том, что «в профессиональном... отношении Грановский не был учителем Герье» (С. 48). Тенденциозные выводы о несостоятельности Грановского как ученого, сделанные его недругом В.В. Григорьевым ещё в XIX в. (*Григорьев В.В.* Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве // Русская беседа, М., 1856. Кн. III), на которые ссылается Л.П. Лаптева, были убедительно и неоднократно опровергнуты как современниками (напр., М.М. Стасюлевичем; об этом см.: *Машнов А.В.* Философско-исторические взгляды М.М. Стасюлевича // Страницы истории: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Р.Ш. Ганелин. СПб., 2008. С. 208, 210), так и историографами (Тимофей Николаевич Грановский: идея всеобщей истории...; *Кара-Мурза А.А.* Указ. соч. и др.).

просто «процесс профессиональной подготовки»⁵¹. Л.П. Лаптева, разумеется, не ошибается в том, что профессиональную подготовку для начала преподавания в высшей школе Герье получил во время командировки в немецкие университеты. Более того, в плане методики исторического исследования его можно считать учеником Ранке и других представителей школы немецкого ученого. Однако концептуально Герье – ученик Грановского, последовательно разрабатывавший идею всеобщей истории, сформированную учителем. Сам Герье с гордостью называл себя учеником Грановского и считал себя продолжателем его дела.

Как ученый Герье сформировался в атмосфере, буквально пронизанной «духом Грановского». В студенческие годы он тесно общался с П.Н. Кудрявцевым. Владимир Иванович был женат на воспитаннице сподвижника Тимофея Николаевича, автора его первого биографического очерка А.В. Станкевича, супруга которого была двоюродной сестрой Грановского. Герье внимательно изучил все доступные ему литографированные издания лекций Грановского. Имя Грановского стало своеобразным паролем для сторонников процветания университетской науки, но воспользоваться этим паролем порою пытались и случайные попутчики, и откровенные реакционеры.

Можно сказать, что в мироощущении Герье и его современников произошла коммеморация образа Грановского, когда «память в ее основном, опытном смысле превращается в нечто иное»: поклонение, желание подтверждения чувства своего единства с самим объектом поклонения и другими последователями⁵². Важно, что не только сам Герье считал себя учеником Грановского и продолжателем его традиций, но и таковым он предстал в глазах университетской общественности (во всяком случае, до своего ухода из университета)⁵³.

В 1868 г., посвящая памяти Грановского книгу о Лейбнице, Герье писал: «Я пользовался слишком короткое время преподаванием Грановского, чтобы иметь право причислить себя к его ученикам. Но такие люди, как Грановский, приобретают учеников не одним только преподаванием. Имя Грановского сделалось знаменем в трудную, но славную эпоху Московского университета». Владимир Иванович отмечает «высокие нравственные свойства» Грановского, его «честное отношение к науке, искреннее участие к её интересам» и тёплую, непоколебимую веру в силу истины и нравственных начал. Возглавив кафедру, которую некогда занимал Грановский, Герье посвящением своего тру-

⁵¹ Лаптева Л.П. Указ. соч. С. 47.

⁵² См.: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2008. С. 116.

⁵³ Тридцатилетие ученой деятельности проф. В.И. Герье // Ист. обозрение. 1892. Т. 4. С. 301; Кареев Н.И. Памяти двух историков // *Анналы*. 1922. № 1. С. 156.

да приносил клятву в верности идеалам своего Учителя⁵⁴. В конце жизни он писал: «Молодой Грановский принёс нашему университету цвет европейской науки в области Всеобщей истории. Он одухотворил её философией и возвёл её на степень воспитательного орудия русской молодёжи на попрание культурных и гуманных идеалов»⁵⁵.

Из концептуальных построений Грановского Герье твёрдо усвоил мысль, «что история есть творение разумного духа, имеющего свои законы и свои высокие цели». Вслед за учителем он утверждал: «Для русского всеобщая история есть история человеческой цивилизации, на которую он смотрит как на совершающийся процесс», и «великая работа России ... заключается в усвоении плодов цивилизации, в постоянном слиянии с передовыми народами в деле общечеловеческих интересов»⁵⁶.

Грановский понимал, что «историку приходится иметь дело с существами, которые должны руководствоваться нравственными законами»⁵⁷. Герье считает, что Грановский «блистательно исполнил» своё нравственное, просветительское призвание. Цитируя учителя, фактически он солидаризируется с ним: «Всеобщая история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей». Герье считает заслугой своего учителя укоренение в русском обществе убеждения, что «всеобщая история служит объединительным звеном между европейским Востоком и Западом»⁵⁸. Под воздействием Грановского Герье еще в студенческие годы твердо примкнул к лагерю западников, не приемля славянофильские постулаты некоторых своих университетских преподавателей.

Герье считал, что лучшая сторона деятельности Грановского отразилась не в письменном наследии, официальных бумагах и документах, а «на людях современного ему поколения, и вместе с этим поколением исчезла бы возможность верно, отчетливо схватить черты благородного образа, живо и сочувственно писать его нравственное влияние»⁵⁹. По мнению Герье, несмотря на то, что Грановский понимал важность печатного слова и даже планировал открытие нового исторического журнала, «живое слово было потребностью для него и более соответствовало его

⁵⁴ Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб., 2008. С. 5.

⁵⁵ Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский: в память столетнего юбилея его рождения. М., 1914. С. 73.

⁵⁶ Герье В.И. Грановский в биографическом очерке А. Станкевича // Вестник Европы. 1869. № 5. С. 428, 430.

⁵⁷ Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский... С. 65.

⁵⁸ Там же. С. 72-73.

⁵⁹ Герье В.И. Грановский в биографическом очерке А. Станкевича. С. 425.

натуре, чем журнальная деятельность»⁶⁰. Оценивая роль учителя в общественных баталиях 1840-х гг., Герье подчеркивал, что «быстрые успехи России в цивилизации» были связаны с такими «лучшими людьми», как Грановский, которые «обширностью образования и гуманностью не уступали никому из современников на Западе и могли быть названы истинными представителями европейской цивилизации»⁶¹. Важной заслугой Грановского была организация систематического преподавания в университете всеобщей истории.

Рассматривая эволюцию философско-исторических взглядов учителя, Герье отмечает, что отношение Грановского к Гегелю менялось. В своих первых лекционных курсах Грановский высказывал разочарование «Философией истории» Гегеля, что не побудило его «отказаться в принципе от философии истории и признать ложным путь, по которому пошел Гегель». Сопоставляя лекционные курсы Грановского 1839-1840 и 1843-1844 гг., Герье приходит к выводу, что философия тождества, которая у самого Гегеля сформировалась под влиянием Шеллинга, понималась Грановским, как единство законов духа и внешней природы, как единство субъективного духа с окружающим миром, и являлась основой философии истории русского ученого. Важной чертой его концепции Герье считал признание законов, по которым развивается субъективный дух, и которые необходимо «указать и в истории». Эти законы определяются идеей органического развития, вытекающей из аналогии между историей развития отдельного человека и человечества⁶². Действительно, в начале своей деятельности Грановский признавал гегелевскую идею «смены народов в истории». Однако в актовой речи 1852 года «О современном состоянии и значении всеобщей истории» видна явная эволюция его взглядов. Философия истории, по его мнению, «уклоняется от настоящего своего призвания, заключающегося в определении общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества». Здесь Грановский выступает критиком периодизации истории Гегеля. Содержание актовой речи, по мнению Герье, означает «решительное отречение от философии истории и не только от гегелевской, но и от всякой другой, основанной на логическом методе построения. Это – безусловное предпочтение ей другого метода истории – естественного»⁶³.

Герье привлекало в Грановском его осознание воспитательного, этического потенциала истории, которое восходило ещё к Гердеру. Именно Гердеру посвятил Грановский свою последнюю лекцию, слуша-

⁶⁰ Там же. С. 434.

⁶¹ Там же. С. 426.

⁶² Там же. С. 53–54.

⁶³ Там же. С. 60.

телем которой был Герье. «Грановский прекрасно знал и высоко ценил Гердера», – отмечает он и называет учителя «миссионером» этики истории⁶⁴. Герье одобряет то, что Грановский считал не только правом, но и обязанностью нравственно влиять на своих слушателей. «Вот эта-то потребность Грановского находить в истории материал для нравственных, просветительных уроков должна была, по-нашему мнению, наиболее содействовать охлаждению его интереса к абстрактной стороне, вносимой в историю философией»⁶⁵.

Герье называл Грановского «миссионером западной науки», и сам в последующем немало сделал для распространения новейших достижений западной историографии в России. Но он был бесконечно далек от мысли о том, что Грановский являлся лишь популяризатором идей западной науки. Он впитал и творчески переработал идеи немецких профессоров, считая «самым гениальным из новых немецких историков» Л. Ранке, которого ставил выше Минье и Тьерри⁶⁶. «Исторические упражнения над средневековыми источниками» стали для него школой источниковедческого анализа. Глубокое впечатление произвели на него идеи К. Риттера о взаимодействии между природой и человеком. Герье указывает, что «исследование этого вопроса сделалось одним из самых любимых его занятий», и отмечает, «как верно и глубоко понимал он отношения природы и человека»⁶⁷. Идеи исторической школы права были восприняты через лекции Савиньи, который «раскрыл Грановскому живую связь между историей народа и его юридическим бытом и таинственную роль того, что называется духом народа»⁶⁸.

Научный вклад Грановского – это не столько конкретные исследования (к числу которых в первую очередь относятся его диссертации), а его концепция всеобщей истории, которую он последовательно формулировал в лекциях разных лет. Творчество Грановского стало вдохновляющим посылом для последующих поколений ученых, а его личность в памяти учеников приобрела почти священное значение.

Можно говорить об определяющем значении Грановского для последующей преподавательской и научной деятельности Герье. Сама идея всеобщей истории становится основополагающей в исторической кон-

⁶⁴ Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский... С. 64.

⁶⁵ Там же. С. 72.

⁶⁶ Там же. С. 3.

⁶⁷ Герье В.И. Грановский в биографическом очерке А. Станкевича. С. 429. А.А. Левандовский считает, что Грановский «одним из первых русских историков провозгласил здесь идеи позитивизма» (Левандовский А.А. Грановский Тимофей Николаевич // Императорский Московский университет: 1755–1917: энциклопедический словарь / сост. А.Ю. Андреев, Д.А. Цыганков. М., 2010. С. 190.

⁶⁸ Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский... С. 5.

цепции Герье. На него, как и на учителя, большое воздействие оказала философия Гегеля с его идеей субъективного духа, признанием закономерности и органичности исторического процесса. В то же время нельзя отрицать и то, что Герье (особенно в работах 1870–80-х гг.) испытал определенное воздействие позитивизма, признавал влияние «естественных условий» на общество, использовал некоторые методы точных наук в своих работах. Для Герье, как и для его учителя, было характерно признание бесконечности прогресса, в который вносят свой вклад все основные народы. Молодой ученый исходил из принципа культурно-исторического универсализма, свойственного Грановскому, считал задачу открытия законов в истории важнейшей. И он же, исходя из завета учителя о том, что «над всеми открытыми наукой законами исторического развития царит один верховный, т.е. нравственный закон», целью прогресса считал нравственное совершенствование человечества. Этот нравственный закон для ученого заключается в распространении знаний, просвещении народа. Считая себя преемником Грановского, Герье всегда, как и Грановский, начинал свой курс с философско-исторического введения. В этих введениях большое внимание уделялось воспитательному, нравственному потенциалу истории. Герье активно участвовал в общественно-политической жизни России, в просвещении молодежи.

Грановский стал родоначальником той традиции, которая сделалась характерной особенностью исторического преподавания в Московском университете⁶⁹, а верность традициям Грановского – своеобразным признаком профессоров всеобщей истории в Московском университете. Однако формируя эту традицию, они понимали ее очень широко, а иногда и различно. Д.А. Цыганков выделяет общие черты этой традиции в понимании В.И. Герье, П.Г. Виноградова, Н.И. Кареева: «1) профессор в России больше, чем ученый; 2) всеобщая история для русского общества больше, чем наука; 3) университет в России больше, чем государственное учреждение»⁷⁰.

Грановским была задана определенная программа, осуществлению которой Герье посвятил свою жизнь. Однако на формирование Герье как ученого и специалиста по всеобщей истории более конкретное влияние оказал ученик и сподвижник Грановского *Петр Николаевич Кудрявцев* (1816–1858), который в 1847 г. стал коллегой Грановского по кафедре, читал курсы по древней, средневековой и новой истории, а после смерти учителя возглавил кафедру всеобщей истории Московского университета. Он внес практический вклад в становление преподавания всеобщей истории и, в частности, в формирование научного мировоззрения Герье.

⁶⁹ Кареев Н.И. Историческое мирозерцание Грановского. СПб., 1896. С. 61.

⁷⁰ Цыганков Д.А. Традиции Т.Н. Грановского... С. 255.

Вспоминая о своих университетских преподавателях – Грановском и Кудрявцеве, К.Н. Бестужев-Рюмин писал: «Эти два лица дополняют друг друга, их единодушные, взаимное уважение и верное понимание друг друга должны бы служить благотворным примером и новому поколению профессоров: “Грановский даровитее меня”, – вполне искренно говорил Кудрявцев. “Кудрявцев ученее меня”, – говорил Грановский»⁷¹. В.П. Бузескул, назвавший Грановского «Пушкиным в истории», считал, что «как ученый Кудрявцев выше Грановского»⁷². Герье, сравнивая своих учителей, писал: «В их индивидуальности было много несходного, и особенно в характере умственного труда и производительности». «Непосредственное творчество» Грановского обуславливалось, по его мнению, «личным настроением», поэтому «многие учено-литературные планы Грановского, уже созревшие в замысле, не могли осуществиться», и поэтому «он не успел написать задуманного». Герье приводит слова учителя, что лучшие мысли приходили Грановскому на кафедре, т.е. экспромтом. В иных условиях проходила ученая деятельность Кудрявцева: «Его мысль получала законченность и зрелость посредством литературной работы», с помощью которой «он лучше ориентировался в фактах и, вникая в них умом и чувством, извлекал заключающийся в них смысл»⁷³.

Научное наследие Кудрявцева обширно и включает в себя две магистерские диссертации и десятки других работ, в основном посвященных западноевропейскому Средневековью. Первая диссертация «Папство и Священная Римская империя в IX, X и начале XI века» в 1844 г. не была допущена к защите из-за якобы прокатолического взгляда на проблему. В 1849 г. Кудрявцевым была представлена к защите вторая магистерская диссертация «Судьбы Италии от падения Западной Римской Империи до восстановления её Карлом Великим», которую Герье называл главным его трудом.

Герье связывали с Кудрявцевым особые отношения. Именно с его лекций начались для него студенческие занятия. Герье слушал у Кудрявцева историю Древнего Востока, Древней Греции и, позже, несколько лекций по новой истории⁷⁴. Использование «твёрдых научных приёмов»,

⁷¹ *Бестужев-Рюмин К.Н.* Степан Васильевич Ешевский: биографический очерк // *Ешевский С.В.* Сочинения: В 3 ч. / изд. К. Солдатенков. М., 1870. Ч. 1. С. 22.

⁷² *Бузескул В.П.* Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX века. Л., 1929. Ч. 1. С. 57, 76. Иначе воспринимала Кудрявцева советская историография. Если Грановского традиционно помещали между революционными демократами и либералами, признавая его особое место в истории общественно-политической мысли России, то «академичный» Кудрявцев редко становился объектом изучения.

⁷³ *Герье В.И.* Кудрявцев в его учено-литературных трудах // *Вестник Европы*. 1887. № 10. С. 597.

⁷⁴ Там же. С. 80.

изящная речь профессора, его внимание к самостоятельной работе студентов – эти методы были подмечены Герье. Они оказали воздействие на его методику преподавания. Нельзя не отметить и значение непосредственных личных контактов учителя и ученика. Волею случая Герье несколько месяцев квартировал и столовался в просторной квартире семейства Кудрявцевых. Вспоминая это, по его словам, «счастливейшее время», когда на обеде все профессора, проживавшие в квартире (С.Д. Шестаков, П.М. Леонтьев и П.Н. Кудрявцев) собирались вместе Герье восклицает: «Легко себе представить, как мне хорошо жилось в этой обстановке»⁷⁵.

Памяти Кудрявцева Герье посвятил большую статью, которая первоначально задумывалась как рецензия на вышедшие в 1887 г. первые тома «Сочинений» Кудрявцева, но явно переросла этот замысел и по объему, и по широте охвата материала⁷⁶. Герье не только проанализировал научное наследие Кудрявцева, но дал ценные характеристики его личных качеств и преподавательской деятельности, что имеет особый интерес в связи с близким общением учителя и ученика.

Герье выделял преподавательский талант Кудрявцева: «Его лекции имели не только образовательное, но и воспитательное значение; они служили... не только введением в историю, но, можно сказать, откровением истории»⁷⁷. Характеристику лекционных курсов Кудрявцева по средневековью можно почерпнуть и из воспоминаний других учеников. Так, К.Н. Бестужев-Рюмин, сравнивая курс Грановского, «равный во всех частях», с курсом Кудрявцева, отмечал, что у последнего были «любимые лица и любимые эпохи, на которых он останавливался с большею подробностью и внося своё сочувствие: иногда при таком изложении слишком односторонне представлялись исторические лица, они как-то обращались в представителей идеи»⁷⁸. С.В. Ешевский эту пристрастность Кудрявцева расценивал как достоинство. «Петр Николаевич мог читать только специальные курсы, – замечал он, – он надолго не мог оторваться от предмета своих занятий, не мог довольствоваться одним общим очерком. ... Слишком близко знакомился он со всею полнотою жизни известной эпохи, и во всей полноте передавал её слушателям»⁷⁹.

По воспоминаниям студентов, в лекциях по раннему средневековью Кудрявцев большое внимание уделял деятелям христианской церкви, в

⁷⁵ Воспоминания В.И. Герье... С. 424–425

⁷⁶ Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // Вестник Европы. 1887. № 9. С. 146–198; № 10. С. 564–598.

⁷⁷ Там же. № 9. С. 146.

⁷⁸ Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. С. 24.

⁷⁹ Ешевский С.В. Петр Николаевич Кудрявцев как преподаватель // Русский Вестник: отклик. 1858. С. 8.

частности Августину Блаженному, изучением которого позже будет заниматься и Герье. Центральной фигурой его курса по истории реформации был Мартин Лютер. При этом профессор в 1848 г. старался актуализировать события далекого прошлого. Ешевский вспоминал: «В судьбах Германии времен реформации искал профессор разгадку бурь, разгравшихся на политическом горизонте Европы, причину, вызывавшую к жизни и самое стремление и его временную безуспешность»⁸⁰. Новую историю Кудрявцев начинал с эпохи гуманизма, но считал, что он распространялся лишь «в тех классах, которым дано было образование, до массы народа могли достигать лишь слабые его отголоски»⁸¹. Поэтому коренной переворот в общественном сознании масс мог произойти лишь в ходе Реформации, основные направления которой Кудрявцев соотносил с их лидерами – М. Лютером, Т. Мюнцером, Ж. Кальвиным и др.

Наряду с хорошо сохранившимся лекционным наследием, Кудрявцев оставил первые в России самостоятельные научные исследования по разным периодам истории Италии. Характеризуя особенности научного наследия и методы работы Кудрявцева, Герье писал, что у него «была как бы потребность распахать своим трудом как можно больше участков в самых различных направлениях на великом поле человеческой истории». У Кудрявцева художественный талант писателя совмещался с научной кропотливостью ученого. «Одаренный в известной степени» беллетристическим талантом, как видно из его повестей, с живым чутьем красоты по отношению к художественным произведениям, он мог, вместе с тем, совершенно с бенедиктинским терпением углубиться в изучение самых мелких фактов, самых скудных эпох и вопросов», – отмечал Герье⁸².

Важной для понимания философско-исторических взглядов Кудрявцева является его статья «О современных задачах истории», которая явилась ответом на знаменитую актовую речь Т.Н. Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории». Полемизируя с Грановским, Кудрявцев не соглашался с его тезисом о том, что современная история «должна отказаться от притязаний на художественную оконченность форм», чтобы приобрести более научный характер. Для Кудрявцева с его потребностью художественного творчества это казалось недопустимым⁸³. Можно с связи с этим вспомнить замечание Герье о Кудрявцеве: он «перенес в историю некоторые приемы и вкусы литера-

⁸⁰ Там же. С. 10. Этот лекционный курс 1848/49 гг. в 1991 году был издан по сохранившемуся автографу, что позволяет сверить впечатления слушателей.

⁸¹ *Кудрявцев П.Н.* Лекции. Сочинения. Избранное. М., 1991. С. 64.

⁸² Вестник Европы. 1887. № 10. С. 597.

⁸³ *Кудрявцев П.Н.* О современных задачах истории // Кудрявцев П.Н. Сочинения. Т. 3. М., 1887. С. 40–41.

тора», а его статьи «служат замечательным проявлением эпохи, когда историография отличалась у нас преимущественно литературным характером, когда она, в известном смысле, представляла собой отрасль беллетристики»⁸⁴. Кудрявцев считал, что история имеет практический характер, так как современная мысль «проникнута желанием поучиться у прошедшего» и должна «в событиях прошлой жизни искать разгадки многим явлениям современности»⁸⁵.

Наряду с источниками Кудрявцев широко привлекал новейшие исследования зарубежной историографии, подвергая их критическому анализу. «Разработка истории западной Европы по памятникам представляет у нас в России разные местные неудобства, – замечал он. – Из них первое и самое важное есть, без сомнения, недоступность частью самих источников, частью же тех произведений исторической литературы, которые могли бы служить ключом к ним и объяснением»⁸⁶. Но ученый подчеркивал «важность и даже необходимость самостоятельного изучения главных событий истории Запада и в нашем отечестве», которое даст «независимость наших собственных суждений в деле всеобщей истории». Он писал, что «для полноты исторического созерцания необходима сравнительная точка зрения, а она может быть приобретена лишь основательным знакомством, кроме истории отечественной, с прочими частями всеобщей истории человечества»⁸⁷.

Кудрявцев сумел продолжить дело Грановского в формировании системы преподавания всеобщей истории в Московском университете. Он внес много нового в преподавание, обращая большое внимание на самостоятельную работу студентов, привлекая в своих лекциях данные археологии, лингвистики и других вспомогательных дисциплин. Недаром Герье отмечал в Кудрявцеве «замечательную широту и гуманность взгляда, редкую способность переноситься в отдаленную эпоху и ценить великое в истории, даже когда оно проявляется в чуждых историку формах и требованиях», и особо приветствовал в его лице «русскую историческую науку, которая ... доказала свою способность высоко понимать своё назначение – служить посредницей между русским народом и великими явлениями в истории и культуре Запада»⁸⁸.

Грановский и Кудрявцев умерли в расцвете творческих сил, но успели заложить основу русской школы всеобщей истории. Их достойным

⁸⁴ Вестник Европы. 1887. № 9. С. 151.

⁸⁵ Кудрявцев П.Н. О современных задачах истории. С. 43.

⁸⁶ Кудрявцев П.Н. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления её Карлом Великим // Кудрявцев П.Н. Сочинения. Т. 3. С. 1.

⁸⁷ Там же. С. 1-2.

⁸⁸ Вестник Европы. 1887. № 10. С. 588.

учеником был **Степан Васильевич Ешевский** (1829–1865). Начав обучение в Казанском университете, в 1847 г. он перешел в Московский университет, где слушал лекции Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина. Его друг К.Н. Бюстужев-Рюмин вспоминал, что они любили ходить к Кудрявцеву: «Добродушный, снисходительный, задумчивый Кудрявцев не так пугал, как остроумный, блестящий Грановский, которого остроты, при всей их мягкости, страшили робких юношей». Именно Кудрявцева он называет «прямым, непосредственным учителем Ешевского»⁸⁹. Свое кандидатское сочинение Ешевский посвятил Григорию Турскому. После окончания университета он был оставлен на кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию и одновременно занялся журналистикой. Так, в «Московских ведомостях» (1851. № 40–41) он публикует обширную рецензию на диссертацию П.Н. Кудрявцева «Судьбы Италии...», в следующем году в «Отечественных записках» – историографический очерк «Обозрение истории литературы за 1851 год» и отклик на публичные лекции Т.Н. Грановского «Четыре исторические характеристики».

Интересы молодого Ешевского лежали в сфере всеобщей истории, но свою преподавательскую деятельность в Одесском Ришельевском лицее (предшественнике Новороссийского университета) он начал в 1851 г. преподаванием курса, посвященного допетровской Руси⁹⁰. 12 апреля 1855 г. в Московском университете Ешевский защитил магистерскую диссертацию «Аполлинарий Сидоний. Эпизод из литературной и политической истории Галлии V века». Это исследование Бузескул считал главным, лучшим трудом Ешевского. Официальными оппонентами на диспуте выступили Т.Н. Грановский и П.Н. Кудрявцев. После успешной защиты диссертации Ешевский начинает преподавание в Казанском университете (1855–1857), где ему опять пришлось обратиться к проблемам русской истории. Увлечшись последними достижениями этнографии, он стал инициатором открытия в Казани этнографического музея.

Сразу после смерти Грановского Ешевский был приглашен в Московский университет, но только в начале 1858 г., уже после смерти Кудрявцева, он начал преподавательскую деятельность на кафедре всеобщей истории, посвятив первую лекцию памяти Кудрявцева. В 1859 г. Ешевский был командирован за границу, где слушал лекции корифеев тогдашней исторической науки Л. Гейссера, Ф. Раумера, Л. Ранке, Р. Кёпке, Г. Зибеля, Й. Дройзена и др. Разносторонние интересы Ешевского, глубокое знакомство с современной ему историографией, приверженность

⁸⁹ Бюстужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. С. 26.

⁹⁰ Цыганков Д.А. Ешевский Степан Васильевич // Имп. Моск. ун-т. С. 239.

новейшим методам археологии и этнографии позволяли надеяться, что в его лице русская историография всеобщей истории приобрела многообещающего ученого. Его лекционные курсы в Московском университете были скорее спецкурсами, опубликованными позже как научные исследования⁹¹. В период разработки курса «Эпоха переселения народов и Каролинги» он особое внимание обратил на личность королевы Брунгильды, которой он намеревался посвятить докторскую диссертацию. Материалы для неё были собраны им позже в Париже, но, к сожалению, замыслы Ешевского не были реализованы. Бузескул, сетуя на то, что Ешевского часто «незаслуженно забывали», писал: «Труды Ешевского, рано сошедшего в могилу, всего 36 лет от роду, принадлежат к числу выдающихся в нашей исторической литературе того времени»⁹².

Герье был младше Ешевского всего на 8 лет и, казалось, им было предопределено стать коллегами и соратниками. В год защиты магистерской диссертации «Апполинарий Сидоний» Герье был студентом второго курса, жил на квартире Кудрявцева и вряд ли мог пропустить диспут Ешевского. Как студент выпускного курса, он не мог не присутствовать на вступительной лекции нового профессора в 1858 г. Но когда осенью 1858 года Герье оставили при кафедре всеобщей истории, его руководителем для подготовки к магистерскому экзамену был назначен не Ешевский, а Г.В. Вызинский, только что защитивший магистерскую диссертацию «Папство и Священная Римская империя в XIV и XV столетии». Герье в своих воспоминаниях сетует: «руководителем он был мне неважным»⁹³. На защите магистерской диссертации Герье (9 июня 1862 года) «Борьба за польский престол в 1733 году» официальными оппонентами выступили С.М. Соловьев и С.В. Ешевский.

Вскоре, осенью 1862 года, Герье уезжает в заграничную командировку. В том же году Ешевский тяжело заболел, что побудило университетское начальство в декабре 1863 года поспешить с заочным избранием Герье, находившегося тогда за рубежом, доцентом по кафедре всеобщей истории. Позже Герье вспоминал: «В качестве доцента истории я стал младшим коллегой проф[ессора] Ст[епана] В[асильевича] Ешевского, которого я вскоре и ближе узнал и лично оценил»⁹⁴. К сожалению, им не суждено было работать бок о бок на благо российского просвещения. 27 мая 1865 года Ешевский умер, а Герье лишь в конце июля того же года

⁹¹ *Ешевский С.В.* 1) Центр римского мира и его провинции // *Ешевский С.В.* Сочинения. М., 1870. Ч. 1; 2) Очерки язычества и христианства // Там же; 3) Эпоха переселения народов и Каролинги // Там же. Ч. 2.

⁹² *Бузескул В.П.* Указ. соч. С. 77.

⁹³ Воспоминания В.И. Герье. С. 426.

⁹⁴ Там же. С. 430.

вернулся из заграничной командировки и 2 октября прочел свою первую лекцию в Московском университете⁹⁵. Несмотря на то, что общение Ешевского и Герье было эпизодическим, последний с большим уважением относился к памяти старшего товарища, передавшего ему своеобразную эстафету традиций преподавания всеобщей истории в Московском университете. 23 октября 1915 года, находясь в глубоком душевном кризисе после смерти жены, Герье пишет о том, как перечитывал письма Ешевского: «Все это давно прошло, но живо в воспоминаниях»⁹⁶.

Ешевский не успел воспитать учеников, а его научное наследие не было достаточно востребовано: «историки конца XIX – начала XX в. (П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский, П.М. Бицилли, Л.П. Карсавин и др.) при обращении к социально-политическим и культурным проблемам эпохи перехода от античности к Средневековью практически не учитывали научное наследие С.В. Ешевского»⁹⁷. Однако сегодня его считают создателем оригинальной концепции истории Римской империи, которая опередила исследования западных историков по данной проблеме.

В середине XIX в. наука всеобщей истории развивалась не только в Московском университете. В Казанском университете В.И. Григоровичем закладывались традиции славяноведения⁹⁸, в Харьковском университете М.Н. Петров занялся изучением истории нового времени. К середине XIX в. можно говорить о формировании петербургской школы всеобщей истории, у истоков которой стоял *Михаил Сергеевич Куторга* (1809–1886). В.П. Бузескул в своем фундаментальном исследовании, посвященном становлению историографии всеобщей истории в России, противопоставляет Куторгу современным ему русским ученым, «которые более или менее стояли на уровне европейской науки, были её “миссионерами”, некоторые из них имели огромное влияние на слушателей, на современное им общество, но никто из них не был в строгом смысле слова самостоятельным ученым», каковым может быть назван Куторга⁹⁹.

⁹⁵ ГАРФ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 104.

⁹⁶ Там же. Л. 221-222 об.

⁹⁷ *Бикеева Н.Ю.* Степан Васильевич Ешевский и его взгляды на эпоху перехода от античности к Средневековью // Сообщество историков высшей школы России: научная практика и образовательная миссия. М., 2009. С. 258.

⁹⁸ *Латтева Л.П.* История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. С. 230.

⁹⁹ *Бузескул В.П.* Всеобщая истории и её представители в России в XIX и начале XX века. С. 99. Первый опыт монографического исследования жизни и деятельности Куторги, его вклада в развитие российского антиковедения принадлежит А.Д. Константиновой: *Константинова А.Д.* 1) М.С. Куторга как историк античности: автореф. дис. ...к.и.н. Казань, 1966; 2) Жизнь и научная деятельность Куторги // Вопросы историографии всеобщей истории. Вып. 2. Казань, 1967. См. также: *Скворцов А.М.* Научная школа в отечественном антиковедении: М.С. Куторга и его ученики: автореф. дис. ...к.и.н. М., 2012.

Начав в 1827 г. образование в Петербургском университете, Куторга затем в числе 20-ти способных студентов был отобран для обучения в Дерптском Профессорском институте, где в 1832 г. защитил диссертацию на степень магистра философии, после чего был послан в заграничную научную командировку. В 1833–35 гг. он работает в университетах Берлина, Мюнхена, Гейдельберга, Парижа. Большое влияние на формирование его научного мировоззрения оказали Б. Нибур, А. Бёк, Ф. Гизо. Командировку Куторга использовал и для самостоятельных занятий, собирая, по его словам, «драгоценные материалы» в виде старых печатных сочинений и рукописей в библиотеках Берлина, Вены и Мюнхена, «богатство которых далеко превзошло» его ожидания¹⁰⁰. В 1835 г., вернувшись в Россию, он приступает к преподаванию в Петербургском университете. По уровню эрудиции, знакомства с источниками и современной ему историографией, прекрасному знанию древнегреческого, латинского, готского языков Куторга выделялся среди своих коллег¹⁰¹.

Основные работы Куторги, переведенные на французский и немецкий языки, принесшие ему известность в зарубежной историографии, посвящены истории Древней Греции. Ученый обладал талантом комплексного анализа источников, что позволяло ему даже при освещении известных тем приходиться к оригинальным выводам. Так, он уточнил хронологию греко-персидских войн. Исследования сословного строя Аттики принесли ему признание в мировой науке. Одним из первых он обратил внимание на изучение финансовой и экономической истории Греции, изучал разные виды собственности в Афинах.

Особое значение имела преподавательская деятельность Куторги. На его лекциях в Петербургском университете аудитория всегда была переполнена, но это были не блестящие лекции-спектакли Грановского с рукоплесканиями: в благоговейной тишине «раздавался лишь внятный голос профессора, да слышался скрип перьев»¹⁰². Начав с чтения общих курсов по древней, средневековой и новой истории, впоследствии он перешел к чтению спецкурсов, ограничиваясь в преподавании «проблемными», кризисными, переходными эпохами. «Куторга настаивал на необходимости изучения истории по источникам, критически их оценивая,

¹⁰⁰ Куторга М.С. Политическое устройство германцев до шестого столетия: [Предисловие]. СПб., 1837. С. 2.

¹⁰¹ Константинова А.Д. Общественно-политические и историко-философские взгляды М.С. Куторги // Вопросы историографии всеобщей истории. Казань, 1968. Вып. 3. С. 115; Кудрявцева Т.В. М.С. Куторга и преподавание истории в Санкт-Петербургском Императорском университете // Сообщество историков высшей школы России: научная практика и образовательная миссия. М., 2009. С. 267.

¹⁰² Кудрявцева Т.В. Указ. соч. С. 267.

знакомил студентов со сборниками хроник и документов, учил привлекать современную научную литературу»¹⁰³, – отмечает Т.В. Кудрявцева.

Важным новшеством, введенным Куторгой в университетское преподавание, были организованные им в 1842 г. «практические исторические упражнения», т.е. семинары по образцу тех, что проводились в немецких университетах¹⁰⁴. Примерно с этого же времени с целью введения молодых людей в науку Куторга стал проводить у себя на дому по образцу «домашних семинаров» немецких профессоров «вечерние беседы». Методика проведения этих неформальных встреч заключалась в обсуждении какой-либо исследовательской проблемы из области античной истории, которую заранее пытался решить один из студентов. По заключению А.М. Скворцова, Куторга «был не только прекрасным лектором, глубочайшим знатоком античности, профессионалом своего дела, но и *Учителем*. Он настаивал не на воспроизводстве учениками уже готового знания, а на самостоятельном вдумчивом исследовании ими источника, что единственное и позволяет сформировать собственное видение проблемы»¹⁰⁵. Под руководством Куторги защитили магистерские диссертации М.М. Стасюлевич, В.В. Бауэр, В.М. Ведров.

Однако профессор, принесший в аудиторию «строгую науку», не хотел приспособливаться к модным течениям. Э.Д. Фролов пишет: «Студенты-шестидесятники были охвачены демократическим порывом, их интересовала не столько наука, сколько политика, и они начали устраивать Куторге, который не разделял их внеучебные увлечения, не шел на компромисс с ними, разного рода обструкции»¹⁰⁶. В 1869 г. при избрании Куторги на очередной срок Ученый совет Петербургского университета забаллотировал его. Незадолго до того, весной 1868 года, Ученый совет Московского университета также забаллотировал молодого доктора Герье, которого консервативные профессора расценивали как сторонника главы «либерального меньшинства» Б.Н. Чичерина. Герье, не получив кафедры, в 1869 г. уезжает в заграничную командировку.

Министерство народного просвещения предлагает Куторге вакантную должность штатного профессора в Московском университете. Но его преподавательская деятельность в Москве была не так плодотворна, как в Петербурге. Н.И. Кареев свидетельствует: «Почему-то в студенче-

¹⁰³ Там же. С. 267.

¹⁰⁴ *Скворцов А.М.* М.С. Куторга и В.М. Ведров: конфликт учителя и ученика // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 37 (175). История. Вып. 36. С. 162.

¹⁰⁵ *Скворцов А.М.* «Вечерние беседы» и их роль в становлении научной школы М.С. Куторги // Сообщество историков высшей школы России... С. 269.

¹⁰⁶ *Фролов Э.Д.* Вместо предисловия: к 120-летию виртуальной встречи поколений (две эпохи и два архетипа) // Мнемон. Вып. 5. СПб., 2006. С. 9.

ской среде распространилась молва, что Куторга был ставленником Леонтьева (а, следовательно, и Каткова), так что его заранее невзлюбили, но лекции его мне нравились»¹⁰⁷. Куторга вел в Московском университете семинары по Древней Греции. Однако он часто болел, пропускал занятия и, по словам Кареева, был «своего рода *figura comica*, да и в профессорской среде о нем ходили всевозможные анекдоты»¹⁰⁸. В 1870 г. Герье вернулся из заграничной командировки и был назначен сверхштатным профессором, а Куторга в том же году уехал в Грецию. Несколько лет Герье и Куторга были коллегами, но отношения их оставались прохладными. Кареев сообщает даже о том, что «Корш, Герье и ещё кто-то» состряпали об ошибочном переводе Куторгой в своей статье латинской фразы «злую заметку, которая, кажется, где-то даже была напечатана»¹⁰⁹.

В 1874 г. Куторга пошел на позитивный, по отношению к Герье, шаг, отказавшись баллотироваться на следующий пятилетний срок. Отставка Куторги позволила молодому ученому, наконец, стать ординарным (штатным) профессором по кафедре всеобщей истории. Влияние Куторги и на становление научной школы всеобщей истории в России и на совершенствование университетского преподавания несомненно. Совместная преподавательская деятельность Куторги и Герье многому могла научить молодого ученого. Так, напрашиваются аналогии между «вечерними беседами», которые Куторга проводил с избранными учениками в Петербургском университете и «вечерним семинарием» Герье, организованным им для своих учеников в начале 1870-х гг. Впрочем, скорее всего эти педагогические новации имели общий для Куторги и Герье источник: домашние семинары немецких профессоров.

В литературе иногда противопоставляют московской научной школе петербургскую, как опирающуюся на культ источника. Но для Герье, представителя московской школы, было характерно особое внимание к

¹⁰⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 119. В.А. Филимонов считает, что Куторга оказал определенное воздействие на взгляды Кареева на античность. См.: Филимонов В.А. М.С. Куторга и Н.И. Кареев. Коммуникативная специфика и трудности верификации // Диалог со временем. 2010. Вып. 36. С. 223–236.

¹⁰⁸ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 120.

¹⁰⁹ Там же. В библиографии Герье, имеющей вид отдельных карточек, сгруппированных по проблемам (её составила дочь Герье), в папке «Университет» имеется карточка с надписью «Цветы на псевдоклассической почве. Размышления г-на Куторги о науке и ее значении в государстве. От[тиск] из В[естника] Е[вропы]. С. 451–463. Хроника от 15 апр. 73 г. Экз. 4». Однако в данном номере «Вестника Европы» названной статьи Герье нет. Сохранилось письмо Герье к М.М. Стасюлевичу с просьбой опубликовать заметку «о невежестве» Куторги, «извращающего историю в пользу Каткова и Леонтьева». Возможно, статья была снята из готового номера цензурой, но также не исключено, что это произошло по просьбе Куторги, учителя Стасюлевича.

методике работы с источником, и вряд ли это можно отнести к влиянию Куторги. Но, возможно, признанием научного превосходства Куторги в изучении Древней Греции стало то, что Герье в своей дальнейшей преподавательской деятельности не читал курсов по этому разделу.

В силу, по словам Герье, «злого рока», тяготевшего над кафедрой всеобщей истории, преждевременные смерти Грановского, Кудрявцева, Ешевского привели к тому, что талантливые, многообещающие ученые не успели осуществить многое из задуманного, передать все свои знания и умения ученикам. К числу глубоко переживавших этот факт учеников принадлежит Герье. С одной стороны, ему посчастливилось лично общаться с выдающимися представителями русской историографии всеобщей истории, с другой – рядом с ним в год окончания университета, в важнейший момент формирования исследовательских навыков не оказалось наставника-специалиста по всеобщей истории, который передал бы ему свой практический опыт, покровительствовал бы ему в бюрократических хитросплетениях научной карьеры, каждодневным личным примером помог бы становлению молодого преподавателя.

Некоторые из этих функций, в отсутствие в университете профессора всеобщей истории, для Герье выполнил профессор отечественной истории *Сергей Михайлович Соловьев*. Автор многотомного исследования «История России с древнейших времен» со студенческих лет испытывал интерес к всеобщей истории, самостоятельно изучил книги Э. Гиббона, Дж. Вико, Ж.С. Сисмонди, Л. Ранке, Ф. Савиньи, О. Тьерри, Ф. Гизо и др.; вследствие «толчка, данного Крюковым и Грановским»¹¹⁰, воспринял основные идеи «Философии истории» Гегеля, «доктрину которого он хотел соединить с религиозным учением славянофилов»¹¹¹. Соловьев был одним из немногих в своем поколении ученых-«отечественников», который прошел обучение в зарубежных университетах. В Берлине и Гейдельберге Соловьев слушал лекции Ф. Шеллинга, Л. Ранке, К. Риттера, Ф. Шлоссера. В Праге молодой ученый встречался с П. Шафариком, В. Ганкой и Ф. Палацким. В Париже посещал лекции Ж. Мишле, Ф. Ленормана, Ж. Симона, Э. Кине, Ж. Ампера и др. по истории, философии, литературе. Такая подготовка сделала Соловьева не только широко образованным ученым, но и сторонником западной идеологии.

Исследователи творчества Соловьева обычно указывают на то, что теоретико-методологические взгляды историка складывались под влиянием Гегеля, хотя сам историк признавался: «из Гегелевских сочинений я

¹¹⁰ *Соловьев С.М.* Мои заметки для детей моих, а если можно, и других // Вестник Европы. 1907. № 5. С. 454.

¹¹¹ Императорский Московский университет... С. 677.

прочел только «Философию истории»¹¹². Но Н.Л. Рубинштейн показал, что в выписках Соловьева выделены именно те положения этого труда, которые в дальнейшем легли в основу его мировоззрения, и что сила влияния «Философии истории» Гегеля на Соловьева «наглядно сказалась в первоначальном варианте “Наблюдений над исторической жизнью народов”, написанном двадцать с лишним лет спустя и тем не менее составившем как бы непосредственный сколок с “Философии истории”»¹¹³. В своей исторической концепции Соловьев исходил из общности развития всего человечества. «Указывая на тождественные явления» в жизни Западной Европы и России, он писал о том, что «законы развития одни и те же и здесь и там»¹¹⁴, и «самый лучший способ для народа познать самого себя – это познать другие народы и сравнить себя с ними»¹¹⁵.

Хорошо знакомый с произведениями Спенсера и Бокля, Соловьев усвоил отдельные элементы позитивизма в виде признания особой роли природных условий, наличия определенных законов в истории. Однако, по его мнению, нельзя полностью отождествлять естественные и исторические законы, «организм природный с организмом общественным», «не надо забывать, что члены общественного организма суть существа разумно-свободные или соединения таких существ...»¹¹⁶.

Наряду с отечественной историей С.М. Соловьев, в связи с отсутствием преподавателей на кафедре всеобщей истории, несколько лет читал студентам всеобщую историю. В сохранившихся лекциях можно проследить влияние исторических концепций Гизо и Ранке. Свой курс новой истории Соловьев делил на два раздела (от Великих географических открытий до смерти Мазарини и история первой половины XVIII века)¹¹⁷. Данный курс отличается ясностью и обстоятельностью изложения фактического материала, стремлением провести параллели между европейской и русской историей. В фокусе внимания находятся политические события. В целом курс оставляет впечатление добротного изложения событий, без особого стремления к обобщениям. Весьма интересны раз-

¹¹² Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 268.

¹¹³ Рубинштейн Н.Л. Русская историография / под ред. А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошева, М.В. Мандрик. СПб., 2008. С. 359.

¹¹⁴ Соловьев С.М. Собрание сочинений. СПб., 1901. Стб. 1108–1109.

¹¹⁵ Соловьев С.М. Наблюдения над исторической жизнью народов // Вестник Европы. 1868. № 12. С. 676.

¹¹⁶ Цит. по: Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003. С. 22.

¹¹⁷ См.: Соловьев С.М. Курс новой истории. М., 2003. Ученик С.М. Соловьева Н.А. Попов также из-за дефицита кадров вынужден был в 1865 г. читать «комбинированный курс по русской и всеобщей истории». См.: Воробьева И.Г. Профессор-славист Нил Александрович Попов. С. 31–32.

дела «Умственное движение в Европе в первую половину XVII века» и «Умственное движение в Англии, Франции и Германии в первую половину XVIII века», в которых Соловьев дает характеристику научным открытиям того времени, а также достаточно подробно пересказывает произведения Ф. Бэкона, Декарта, Гоббса, Свифта, Локка, Болингброка, Вольтера, Монтескье и др.¹¹⁸ Касаясь причин Французской революции Соловьев считал, что не злоупотребления власти лежат в ее основе ибо «нет такого злоупотребления, нет такой неправильности, которые не могли быть отстранены сильным и разумным правительством». Он считает, что «двор Людовика XIV» смог бы справиться с революцией¹¹⁹.

Под руководством Соловьева Герье в 1858 г. написал конкурсную работу «История Пскова», рукопись которой сохранилась в архиве¹²⁰. О степени влияния Соловьева свидетельствует тот факт, что Герье всю жизнь хранил в своем архиве студенческие записки лекционного курса 1854 года, который читал ему учитель¹²¹. Соловьев оказал решающее воздействие на формирование не только теоретико-методологических взглядов Герье, но и на проблематику его магистерской и докторской диссертаций, которые стояли как бы на стыке зарубежной и русской истории, в духе пожелания учителя о том, чтобы «всеобщие историки» выбирали темы, соприкасающиеся с историей России. Соловьев был оппонентом Герье на защите магистерской диссертации.

Памяти учителя Герье посвятил две большие статьи, небольшую книгу и две заметки¹²². Особое значение имела опубликованная в редактируемом Зибелем журнале *Historische Zeitschrift* статья, впервые познакомившая зарубежную публику с очерком жизни и творчества русского ученого. С именем Соловьева для Герье были связаны лучшие годы его жизни: студенчество, начало и расцвет преподавательской деятельности. Период деканства и ректорства Соловьева – годы самой активной, новаторской деятельности Герье. Возможно, Герье испытывал чувство вины в связи с тем, что инициированное им письмо 35-ти профессоров против

¹¹⁸ Там же. С. 234–242; С. 363–426.

¹¹⁹ Там же. С. 387.

¹²⁰ НИОР РГБ. Ф.70. К. 89. Ед. хр. 3. 217 л.

¹²¹ Там же. К. 29. Ед. хр. 19.

¹²² [Герье В.И.] 1) Двадцатилетие истории России С.М. Соловьева // Древняя и новая Россия. 1877. Т. I. С. 107–113; 2) Сергей Михайлович Соловьев // Исторический вестник. 1880. № 1. С.74–111; 3) Сергей Михайлович Соловьев. СПб., 1880 40 с.; Guerrier W. Russische Historiker S. Solowjef // Historische Zeitschrift. 1881. Bd. 45; Заседание [Исторического] общества 4-го октября – в годовщину смерти Т.Н. Грановского и С.М. Соловьева. Вступительное слово Председателя В.И. Герье // Издание Исторического общества при Имп. Моск. ун-те: рефераты, читанные в 1895 году (Год I). М., 1896. С. 167.

Н.А. Любимова в конечном счете привело к отставке в 1877 г. Соловьёва с поста ректора¹²³. Память о нем он сохранил на всю жизнь, выделяя как своих учителей Грановского и Соловьёва. Герье писал о Соловьёве, что «по смерти Грановского и Кудрявцева он стал в университете главным преподавателем исходившего от них предания и был в нём центром для людей, особенно дороживших этим преданием»¹²⁴. Он высоко оценивал деятельность Соловьёва на посту декана историко-филологического факультета, а позднее – ректора университета, отмечая, что эти должности он исполнял не из честолюбия, а «только по чувству долга»¹²⁵.

Особое значение Герье придавал тому, что в работах Соловьёва присутствовали достижения современной зарубежной науки, и считал, что эти работы имели культурное, общественное признание. Как специалисту по всеобщей истории и западнику, Герье было приятно сознавать, что «ни его (Соловьёва. – Т.И., Г.М.) патриотизм, ни его преданность православной церкви не мешали ему считать себя европейцем и требовать от Русского общества, чтобы европейское ему не было чуждо»¹²⁶. Герье считал Соловьёва «чистым, благородным типом русского учёного». Он писал: «Судьба обществ и учреждений зависит не от одних исторических законов, но и от успеха в нравственном развитии, а это развитие совершается главным образом под влиянием характера и нравственной высоты передовых личностей»¹²⁷.

Символическое, почти мистическое значение для Герье приобрёл тот факт, что Соловьёв скончался 4 октября 1879 г. в день годовщины смерти Грановского. 4 октября 1895 г. Герье, выступая перед членами Исторического общества, сказал: «Грановский и Соловьёв были тесно соединены в жизни, смерть еще теснее соединила их, навсегда связав их память... Соединение их имен знаменует для нас тесную взаимную связь между двумя областями наших знаний, Русской и Всеобщей историей, и плодотворные результаты, которые имеет эта связь... Но Грановский и Соловьёв, кроме того, олицетворяют собой две стороны в жизни историка, две задачи в его призвании: Грановский – отзывчивость к общечеловеческим интересам и идеалам, образовательное значение истории, художественный элемент в истории; Соловьёв – специальный труд, направленный на один предмет, и обильный научными данными»¹²⁸.

¹²³ См.: История Московского университета. М., 1955. Т. 1. С. 270.

¹²⁴ Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьёв. СПб., 1880. С. 39.

¹²⁵ В 1876 г. Герье стал одним из инициаторов празднования юбилея Соловьёва, но власти не разрешили широких мероприятий. (НИОР РГБ. Ф. 70. К. 32. Ед. хр. 2. Л. 4–6).

¹²⁶ Там же. С. 38.

¹²⁷ Там же. С. 40.

¹²⁸ Заседание [Исторического] общества 4-го октября... С. 167.

К духовным учителям Герье можно отнести и **Бориса Николаевича Чичерина**. Формально Герье у него никогда не учился, но в их научном содружестве Чичерин всегда был старшим, и не только по возрасту. Чичерин к началу своей преподавательской деятельности уже был широко известен по его полемике с Герценом на страницах зарубежного «Колокола». Обвинив Герцена в призывах к насилию и революции, он выступил сторонником либерального понимания гражданственности, просвещения, уважения к праву и закону¹²⁹. Чичерин считал, что в условиях начатых в России реформ необходимо поддержать самодержавие, ибо «самодержавный государь может произвести перемены, немислимые при другом образе правления, [...] об этом свидетельствует история последних полутора лет»¹³⁰. Однако наиболее приемлемым инструментом реформирования общества он считал конституционную монархию, наподобие английской. Возглавив в 1861 г. кафедру государственного права в Московском университете, Чичерин стал одним из основателей т.н. «государственной школы» в русской науке. «Государство есть сам народ как единое целое, как живой организм, как нравственное лицо, как исторический деятель»¹³¹, – считал он, поэтому нельзя противопоставлять государство народу и обществу. Чичерин был одним из самых авторитетных ученых своего времени, даже после отставки из университета. Его политические и исторические взгляды оказали большое влияние на формирование мировоззрения Герье и их общение позднее переросло в настоящее научное содружество двух ученых и появление совместной монографии «Русский дилетантизм и общинное землевладение»¹³².

Определенное воздействие на складывание научного мировоззрения Герье оказали также К.Д. Кавелин, Н.А. Попов, Ф.И. Буслав, М.Н. Петров, П.М. Леонтьев и др.

Интеллектуальное окружение Герье в самом начале его карьеры позволило молодому ученому оказаться в эпицентре становления науки всеобщей истории в России. На примере становления Герье как ученого можно проследить значимость непосредственных контактов в научных коммуникациях первой половины XIX века. Место В.И. Герье в развитии историографии всеобщей истории в определенной степени было предопределено развитием исторической науки ко времени начала его

¹²⁹ Чичерин Б.Н. Письмо к издателю «Колокола» // Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. М., 2002. С. 21.

¹³⁰ Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 86.

¹³¹ Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. С. 35.

¹³² Подробнее см.: Иванова Т.Н. Б.Н. Чичерин и В.И. Герье: научное содружество двух историков // Ученые записки Казанского государственного университета. 2010. Т. 152. Кн. 3. Ч. 1. С. 158–162.

преподавательской карьеры. Те задачи, которые были поставлены перед Герье самой логикой развития исторической науки, последовательно осуществлялись в его научной и преподавательской деятельности.

Молодой Герье впитал в себя традиции нескольких научных школ, что демонстрирует анализ его методологических взглядов. Герье был гегельянцем, последовательным идеалистом, сторонником теории исторического прогресса и органического развития. Однако в 1870–80-е гг. он испытал воздействие позитивизма, что выразилось в стремлении возвести историю в ранг науки, обнаружить исторические закономерности, учитывать влияние на историю не только идей, но и «интересов», материальных условий и психологических законов. Критериями прогресса он считал права и свободы личности, совершенствование структуры общества и управления им (т.е. прогресс государственного устройства) и развитие просвещения и науки. Прогресс у Герье связан с идеями, а их проводниками он считал исторические личности, народ и государство.

Учёный подчеркивал особенности исторического познания, обращая внимание на «отражённость» и «преломление» исторических фактов в источниках и интерпретацию их исследователем. Поэтому стремление к объективной истине в исторической науке всегда будет сталкиваться с субъективизмом автора источника и личности учёного. Герье считал возможным снизить этот субъективный элемент требованием высокой нравственности самого историка, а также совершенствованием исторических методов. Важнейший из них – принцип историзма – он называл историческим методом. Герье в своих исследованиях успешно применял методы исторической критики, историко-генетический и статистический методы, метод аналогий и т.д.

В студенческие годы и в период первой зарубежной стажировки под воздействием Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, С.М. Соловьева, немецких учёных Л. Ранке, Т. Моммзена, Г. Зибеля и др. формируются в общих чертах его концепция всеобщей истории и методы исследования.

Изучая методику исследования Герье, можно обнаружить применение им методов Ранке по исторической критике источника (например, в книге «Виллингиз, архиепископ Майнцский»), статистического метода («Понятие о власти и народе в наказах 1789 года»), методов историографического и источниковедческого анализа («Франциск, апостол нищеты и любви») и т.д. Анализ материалов «лаборатории» учёного (прежде всего сохранившихся в его архиве выписок, черновики, таблиц, планов и т.д.) позволяют утверждать, что его исследования опирались на использование широкой источниковой базы, сравнительно-сопоставительный анализ, глубокое изучение современной ему историографии.

Концепцию всеобщей истории Герье можно реконструировать на основе анализа его произведений и лекционных курсов по разным пе-

риодам. Всеобщую историю Герье вслед за Грановским трактовал как органический процесс, эволюцию, представляющую «ряд преемственных моментов, развивающихся друг за другом и друг из друга». Предметом всеобщей истории он считал все человечество, объединенное «сознанием общей цели», основанной на духовной связи и «культурной преемственности поколений и народов». Он полагал, что «русская история органически связана с всеобщей историей и может быть правильно понята лишь на общем фоне истории всего человечества». Созданная Герье концепция всеобщей истории обобщала передовые для того времени взгляды выдающихся ученых по всем разделам всеобщей истории и была новым словом в отечественной исторической науке.

Анализируя совокупность научных работ и лекционных курсов Герье можно восстановить его взгляды на все периоды всеобщей истории, но подробные научные исследования у него имеются лишь по нескольким крупным темам. Мы выделяем три основных темы в его творчестве: *история идей и историография всеобщей истории, исторических биографии* выдающихся личностей и *история Французской революции конца XVIII века*. В рамках первой темы следует, прежде всего, выделить его историографические работы, а также труды, исследующие идеи выдающихся мыслителей XVIII века. Наибольшую известность в зарубежной историографии получила его монография о Мабли¹³³. Среди исторических биографий необходимо отметить его фундаментальное исследование «Лейбниц и его век» (1868). Большое значение для своего времени имела его книга «Борьба за польский престол в 1733 году» (1862), которая стала первым исследованием по истории Польши XVIII века в российской историографии.

Наиболее значим вклад Герье в исследование истории Французской революции, начало научному изучению которой в России было положено его трудами. Среди работ, посвященных этой проблеме, следует, прежде всего, отметить его статьи 70-80-х гг. XIX в., посвященные причинам революции и критическому обзору историографии по этой теме. Оригинальным и самостоятельным является его исследование, наказов депутатам в Генеральные штаты в 1789 г., а также монография о Мабли. Поздние монографии Герье начала XX века такой оригинальностью не обладали, представляя собой несколько переработанные ранние исследования учёного.

В.И. Герье продолжил дело своих учителей, став первым преподавателем Московского университета, придавшим преподаванию всеобщей

¹³³ *Guerrier V.I. L'abbé de Mably. Moraliste et politique. Etude sur la doctrine morale du jacobinisme puritain et sur le développement de l'esprit republicain au XVIII siècle.* Paris, 1886. 208 p.

истории логическую структурированность и систематичность. Он первый прочел студентам Московского университета курс об основных теориях исторической науки (1865), в том же году он вводит в учебный процесс семинарские занятия, основанные на самостоятельном изучении студентами источников, а позже организует вечерний (домашний) семинарий для своих учеников. В 1868 г. Герье первым в России начинает чтение лекций по некогда запретным темам, касавшимся европейских революций. В систематическом курсе Герье по истории Французской революции ярко проявляется тесная взаимосвязь его преподавательской и научной деятельности. Читаемые им в том или ином году лекционные курсы (по истории Древнего Рима, средним векам, новой истории) прямо влияли на проблематику его научных работ в соответствующие годы.

Важным почином Герье стало основание в 1872 г. в Москве Высших женских курсов, к преподаванию на которых он привлек ведущих учёных Московского университета, что придало им характер женского университета. В 1870–80 гг. Герье позиционировался современниками как либерал, борец за расширение общественное самоуправление, последовательный западник, просветитель, инициативный общественный деятель, крупный учёный, положивший начало научному исследованию новой истории в России, авторитет которого признавался не только в российской, но и зарубежной науке.

4.2. ФЕНОМЕН ШКОЛЫ В.И. ГЕРЬЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Роль В.И. Герье в становлении науки всеобщей истории в России определяется воздействием его педагогической деятельности и научного наследия на следующее поколение ученых. Важнейший вопрос – о формировании и особенностях развития научной школы Герье – предполагает анализ отношений профессора с учениками. Состав школы Герье может быть определен по критерию, предлагаемому Т. Эммонсом для изучения школы В.О. Ключевского¹, – это ученые, защитившие под руководством учителя магистерские диссертации. По данному показателю Герье является абсолютным лидером среди московских историков (восемь диссертаций против шести – у Ключевского). Однако, ввиду аморфности и размытости границ научной школы в гуманитарных науках, следует принимать во внимание и некую периферию – учеников, формально не защищавших диссертации у Герье, но признававших его влияние на становление их исторического мировоззрения.

Учитывая значимость фигур многих из его учеников и многообразие их наследия, не ставя здесь целью всестороннее освещение этого наследия, попытаемся определить некие константы, которые позволят выявить особенности школы Герье. Во-первых, сосредоточим внимание на периоде студенчества и магистерства учеников Герье, с более краткой характеристикой их последующей научной карьеры. Во-вторых, следует учесть внешние и внутренние условия формирования школы – общественно-политическую обстановку и особенности развития исторической науки, а также эволюцию научного мировоззрения Герье в период ученичества анализируемого фигуранта. В-третьих, постараемся, по возможности, восстановить методологические и общественно-политические взгляды ученика в период ученичества. В-четвертых, необходимо изучить личные взаимоотношения Герье с учениками, выявить особенности индивидуальной наставнической деятельности профессора по отношению к ним. В-пятых, попытаемся определить эволюцию отношений в конкретной паре «учитель – ученик» после защиты магистерской диссертации и их влияние на изменение коммуникаций внутри школы. Проведенный анализ позволит выявить общее и особенное во взаимоотношениях учи-

¹ Эммонс Т. В.О. Ключевский и его школа // Вопросы истории. 1990. № 10. С. 56.

теля и учеников, определить набор школообразующих практик и специфику научных коммуникаций, показать основные черты школы Герье.

Начало преподавательской деятельности Герье на кафедре всеобщей истории совпало с тяжёлым кадровым кризисом. В 1855 г. умирает Т.Н. Грановский, в 1858 г. – П.Н. Кудрявцев, в 1865 г. – С.В. Ешевский. В условиях острой нехватки квалифицированных преподавателей ряд предметов по кафедре всеобщей истории не читался либо читался преподавателями кафедры отечественной истории². Герье пришлось стать помимо воли специалистом широкого профиля. Так как читать ежегодно студентам всех курсов все предметы всеобщей истории было невозможно, сложилась практика, когда один и тот же предмет слушали одновременно студенты разных курсов³, что было нерационально с точки зрения изучения студентами университетского курса, так как для некоторых из них нарушалась хронологическая последовательность всеобщей истории. Это, к тому же, создавало чрезмерную загруженность преподавателя, а в случае его болезни или командировки приводило к полному срыву занятий. Герье понимал, что «успехи университетской науки... обуславливаются тем, чтобы кафедры были заняты лучшими научными силами в стране», тогда «университетская наука будет пользоваться тем уважением, которое необходимо для процветания; только в таком случае в самом университете установится научное предание»⁴. Поэтому, возглавив кафедру всеобщей истории, Герье прежде всего ставил задачу не столько создания своей научной школы, сколько подготовки научно-преподавательских кадров для кафедры.

В начале 1870-х годов, когда в университет поступала молодежь, воспитанная на реформах 1860-х, сам Герье в среде московской профессуры слыл либералом и новатором. Его борьба против Каткова и Леонтьева, планы организации высшего женского образования, новаторство в организации учебного процесса на историко-филологическом факультете (лекции по философии истории, семинары по образцу немецких университетов) создавали ему на фоне тогдашней профессуры авторитет настоящего, европейски образованного ученого. Хорошо знакомый со всеми течениями современной исторической науки, он, оставаясь гегельянцем, присматривался к работам ученых т.н. «первого позитивизма» и не отрицал их методы огульно. Во всяком случае, студенты 1870-х годов отмечают широту его взглядов и побуждение им учеников к самостоятельности в отстаивании своей точки зрения.

² Воробьева И.Г. Славяно-россика: Избранные статьи. Тверь, 2008. С. 152.

³ См.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 2–2 об.

⁴ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 5. Л. 18–18 об.

Первый опыт подготовки магистров для Герье оказался неудачным. Его первый магистрант **Н.Н. Высотский** сдал магистерский экзамен «весьма удовлетворительно»⁵, послеграничной командировки представил слабый отчет⁶, а диссертацию так и не написал⁷. Не став преподавателем, Высотский сделал карьеру чиновника, служил в Московском учебном округе. Он продолжал поддерживать отношения с Герье, при случае передавая ему новости из министерства, помогая с прохождением бумаг, особенно относительно работы Высших женских курсов⁸.

Далее выбор Герье пал на **Степана Федоровича Фортунатова** (1850–1918)⁹. Он родился в уникальной семье учителей, генеалогические корни которой прослеживаются с XVII в. Его отец Ф.Н. Фортунатов (1814–1872), выпускник Историко-филологического факультета Петербургского университета был рекомендован к поступлению в Дерптский Профессорский университет, но по семейным обстоятельствам вынужден был вернуться в Вологду. Этот талантливый человек известен не только своей педагогической деятельностью в Олонецком крае и своими трудами по истории образования и педагогики, но и тем, что воспитал одиннадцать достойных детей, четверо из которых сыграли важную роль в российской культуре конца XIX – начала XX в. В архиве Исторического музея хранится его статья о значении участия отцов в воспитании детей.

Братья Фортунатовы вместе с отцом переехали в 1863 г. в Москву и после окончания гимназии поступили в высшие учебные заведения. Старший сын Евгений после окончания Историко-филологического факультета Московского университета был оставлен на кафедре славянских языков, но в 1866 г. скоропостижно скончался. Филипп Федорович (1848–1914) в 1868 г. окончил тот же факультет Московского университета, был оставлен на кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков; ныне известен как основоположник т.н. «Фортунатовской лингвистической школы»¹⁰. По стопам братьев пошел и Степан¹¹.

⁵ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 138–139. В разных документах он упоминается как Н.Н. (или Н.Г.) Высоцкий (или Высотский). Далее мы используем написание Н.Н. Высотский. (См.: Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. М., 2010. С. 479).

⁶ Антощенко А.В. Диссертации П.Г. Виноградова // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В.П. Корзун, А.В. Якуба. Омск, 2010. Вып. 6. С. 91.

⁷ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 19.

⁸ Письма М.С. Корелина // Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье... С. 219.

⁹ См.: Иванова Т.Н., Агеева Н.Н. Научно-педагогическое наследие российского историка С.Ф. Фортунатова // Вестник Чувашского университета. 2013. № 2. С. 7–11.

¹⁰ См.: Фортунатов Филипп Федорович // Императорский Московский Университет: 1755–1917. С. 783.

¹¹ Отметим, что и другие братья стали знаменитыми людьми. Иван Федорович Фортунатов (1852–1916) – известный инженер-строитель, его именем названа улица

С.Ф. Фортунатов после окончания Историко-филологического факультета Московского университета в 1872 г. был оставлен Герье для приготовления к профессорскому званию. Магистерский экзамен был сдан им неплохо¹². В 1874 г. Герье добился присуждения стипендии имени Т.Н. Грановского Фортунатову, «занимающемуся ныне окончанием сочинения, изготавливаемого им для получения степени магистра по кафедре Всеобщей истории»¹³. Но Фортунатов по неуважительным причинам несколько раз переносил сроки выхлопотанной Герье для него заграничной стажировки и, в конце концов, был исключен министерством из списка кандидатов на поездку как не воспользовавшийся средствами¹⁴.

В крайне немногочисленных упоминаниях ученых о С.Ф. Фортунатове выражается сомнение в том, можно ли причислять его к школе Герье. С одной стороны, его ученая карьера не удалась. Н.И. Кареев пишет: «Две, написанные им, довольно тощенькие диссертации, были забракованы, да вообще он терпеть не мог процесс писания»¹⁵.

Однако без характеристики особенностей положения Фортунатова в научном сообществе московских историков неполной будет картина коммуникативных связей ученых того времени и особенностей формирования научной школы Герье. Фортунатов еще в студенческие годы «пользовался большою популярностью благодаря своим историческим знаниям, превосходному характеру и большим чудачествам»¹⁶. Благодаря своей эрудиции и умению с юмором воспринимать любую ситуацию он был постоянным участником неформальных собраний студентов и молодых ученых факультета, посещал журфиксы, организуемые по четвергам на дому семейством Герье¹⁷. Близким другом С.Ф. Фортунатова был его однокурсник А.А. Шахов (1850–1877), талантливый ученый-филолог, обладавший, по словам Кареева, «живым и острым умом научно-реалистического склада с особенно подчеркнутою склонностью к «вольнодумству», что делало его большим поклонником позитивизма»¹⁸.

в Москве. Алексей Федорович Фортунатов (1856–1925) был профессором Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

¹² Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 138–139.

¹³ ЦИАМ.Ф.418. Оп. 476. Ед. хр.1. Л. 9.

¹⁴ Там же. Ед. хр. 4. Л. 1. См. также: Антощенко А.В. Диссертации П.Г. Виноградова // Мир историка... С. 91. Однако в 1876 г. Фортунатов был в заграничной командировке и слушал во Фрейбургском университете лекции профессора Гольста по истории Соединенных Штатов.

¹⁵ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 129.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. С. 132.

¹⁸ Там же. С. 320.

Тема магистерской диссертации С.Ф. Фортунатова – «Представитель индипендентов Генри Вен». Свидетельств, участвовал ли Герье в выборе этой темы, не сохранилось. Фортунатов, в отличие от других учеников, длинных писем ему не писал¹⁹. В 1875 г. Степан Федорович опубликовал книгу, которую намеревался представить как магистерскую диссертацию²⁰. В первой части книги дан подробный анализ крупнейших исследований о революции, особенно трудов Маколея, Гизо и Ранке. Новизна исследования – в анализе сочинений Вена. Характеризуя их, ученый, известный своими либеральными взглядами, дает понять, почему его привлекла эта фигура: «Постоянные ссылки на естественное право, на врожденное человеку понятие о справедливости резко отличают сочинения Вена от большинства английских политических трактатов XVIII века»²¹. Ближе всех, по его мнению, взгляды Г. Вена стоят к концепции Дж. Мильтона. Самой удачной частью монографии, на наш взгляд, является глава, посвященная сравнению мировоззрений Вена и Мильтона.

Книга Фортунатова стала первым и до сих пор остается единственным отечественным исследованием о Г. Вене. Однако, представленная в Совет Историко-филологического факультета как магистерская диссертация, она не была принята к защите. По каким причинам могло это произойти? Сравнивая её с диссертациями других учеников Герье, следует отметить, что Фортунатов не использовал в работе архивных источников. К тому же она была «тощенькой» – всего 180 страниц, а, например, диссертация Н.И. Кареева составляла 491 стр., другого ученика Герье М.С. Корелина – 1088 стр. (!). Но научная значимость диссертаций никогда не определялась только объемом. На наш взгляд, определенную роль в отклонении диссертации могли сыграть либеральные взгляды Фортунатова, явно выраженные в его книге об английском революционере. Косвенно об этом свидетельствует фраза из письма Ключевского к другу Фортунатова Шахову о том, что возникшими сложностями Степан обязан «известному декану, который, болтая на все четыре стороны, очевидно, доложил робкому Вольдемару о последствиях его намерения, слышанных от Савича»²², т.е. профессор Н.С. Тихонравов предупредил декана Н.А. Попова о каких-то последствиях в случае присуждения Фортунатову степени за данную книгу.

¹⁹ Сохранилось всего два небольших письма Фортунатова к Герье (НИОР РГБ. Ф. 70. К. 54. Ед. хр. 94). Возможно, что необходимости в переписке не было, так как Фортунатов никуда из Москвы надолго не уезжал.

²⁰ *Фортунатов С.Ф.* Представитель индипендентов Генри Вен. М., 1875.

²¹ Там же. С. 145.

²² *Ключевский В.О.* Письмо <Виноградову П.Г.> АРАН. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 5.

«Робкий» Герье не стал защищать своего магистранта. Впрочем, у него могли быть и другие соображения. Судя по скудной переписке учителя и ученика, близких отношений у них не сложилось, да и сама тема диссертации Фортунатова находилась далеко от научных интересов учителя. В 1875 г. у Герье на примете уже были другие претенденты на магистерское звание и на место на кафедре: Н.И. Кареев и П.Г. Виноградов. Дополнительная интрига вокруг защиты Степана заключалась и в том, что как раз в этот момент в совет представил свою блестящую диссертацию его старший брат, будущий академик Ф.Ф. Фортунатов. Возможно, на фоне его диссертации труд Степана проигрывал, но в других университетах защищались и более слабые магистерские диссертации. Видимо, еще одним фактором неудачи с защитой были высокие требования советов Московского университета к диссертациям.

В 1876 г. Фортунатов все же выезжает в заграничную командировку, но уже в январе 1877 года возвращается в Москву. Вместо того, чтобы углубить исследование о Генри Вене, он начинает новую книгу о политических учениях в Соединенных Штатах²³. Замысел книги обладал новизной, а тема в те времена подъема США после Гражданской войны была актуальной. В отличие от первой книги, опиравшейся в основном на работы предшественников, здесь в основе монографии лежал анализ источников – произведений А. Гамильтона, Дж. Мэдисона, Дж. Джея и Дж. Кальгуна (совр. – Кэлхун). Фортунатов работал над разными изданиями «Федералиста» в Парижской и Гейдельбергской библиотеках, консультировался во Фрейбурге у профессора Гольста. Либерализм «энтузиаста культа политической свободы» и «личных гражданских вольностей», как называл Фортунатова А.А. Кизеветтер, в этой книге выражен более явно, чем в первой. Но в ней не хватает развернутого сравнения доктрин федерализма, и, возможно, оно было в планах у автора – ведь в названии книги указано «Часть I», но вторая часть так и не появилась.

Несмотря на то, что в Киевском университете требования к диссертации были не столь строгими, как в Московском, Фортунатов не смог защититься и здесь. По свидетельству П.Г. Виноградова, «вторая диссертация Фортунатова натолкнулась в Киеве на не совсем лестный прием со стороны большинства факультета с Котляревским во главе»²⁴. После двух неудач попыток Фортунатов оставил попытки достичь ученой степени и сосредоточился на преподавательской и журналистской деятельности. В 1872 г. после открытия в Москве Высших женских курсов Герье

²³ Фортунатов С.Ф. История политических учений в Соединенных штатах. Ч. 1. М., 1879.

²⁴ Письма П.Г. Виноградова... С. 183.

пригласил преподавать туда С.Ф. Фортунатова. По воспоминаниям, его лекции по всеобщей истории пользовались огромной популярностью у курсисток²⁵. В 1888 г. занятия на курсах прекратились и Фортунатов начал преподавание в других учебных заведениях, в том числе вел занятия при обществе воспитательниц и учительниц. После 1905 г. он становится ведущим преподавателем дисциплин новой истории на вновь открытых Московских Высших Женских курсах: читает здесь историю Соединенных штатов Северной Америки, историю Англии XIX века, историю Германии XIX века, историю Французской революции и т.д.²⁶. Кареев писал о Фортунатове: «Из него вышел замечательный преподаватель исключительно в женских учебных заведениях»²⁷.

В связи с дискуссионностью вопроса о принадлежности Фортунатова к научной школе Герье важным представляется анализ его лекций по истории французской революции. Так, в изложении административного устройства Франции эпохи Старого порядка видно воздействие на автора работ не только А. Токвиля, но и ученика Герье П.Н. Ардашева А в т.н. «аграрной дискуссии» о положении крестьянства Фортунатов стоит скорее на стороне И.В. Лучицкого, а не ученика Герье Кареева²⁸.

После введения нового университетского устава 1884 г. С.Ф. Фортунатов получил свидетельство о праве чтения лекций на Историко-филологическом факультете в качестве приват-доцента. С 1886 г. в этом качестве он читает лекционные курсы по истории европейских государств XIX века и курс по истории Соединенных Штатов²⁹.

В современной историографии положительно оценивается вклад Фортунатова в разработку и составление первого систематического курса по истории США в Московском университете. Его лекции относятся некоторыми учеными к категории первых российских университетских

²⁵ Щепкина Е.Н. На курсах Герье (1872–1875) // РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 1368. Л. 8. Он читал здесь историю средних веков, новую историю, а позже историю США. Сохранилась одна из первых рукописных литографий: История средних веков: Лекции пр. С.Ф. Фортунатова. 1875/6 acad. г. [М., 1876]. 227 с.

²⁶ См.: *Фортунатов С.Ф.* 1) История Соединенных штатов Северной Америки: Лекции, чит. [анные] на В.Ж.К. в 1909–10 уч. г.: Записки слушательниц В.Ж.К. М., [1910]. 285 с.; 2) История Англии XIX века: Записки, слушат. по лекциям, чит. в 1911/12 уч. г. М., [1912]. 123 с.; 3) История Англии и Германии 19–20 века: Лекции, чит. на Моск. высш. жен. курсах в 1914–1915 г. Ч. 1–2; 4) История Франции со времени Великой революции. Лекции, чит. на В.Ж.К., 1913–1914. в 2 т. и др.

²⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 129.

²⁸ *Фортунатов С.Ф.* История французской революции. Записки слушательниц по лекциям С.Ф. Фортунатова, чит. на В.Ж.К. в 1910–1911 гг. С. 5–7.

²⁹ См.: Историко-филологический факультет Московского университета. Распределение лекций и чтений по семестрам. 1887–1889, 1894–1895, 1898, 1900 // НИОР РГБ. Ф. 113. К. 25. Ед. хр. 37. 34 л.

учебников по американской истории³⁰. С начала 1890-х гг. Фортунатов стал сотрудником газеты «Русские ведомости», постоянным ведущим рубрики, посвященной обзору новейшей литературы. Большинство его статей подписано инициалами «С.Ф.». Среди них – более десяти рецензий на книги Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова, П.Н. Ардашева³¹. Кроме того его заметки периодически появлялись в «Критическом обозрении» и «Юридическом вестнике». Фортунатовым прорецензировано множество книжных новинок по зарубежной истории Франции.

По своим политическим взглядам Фортунатов стоял на левом фланге российского либерализма. Их он активно пропагандировал в годы Первой русской революции на страницах «Русских ведомостей» и в ряде брошюр³², с жаром отстаивал идеи конституционализма и «личных гражданских вольностей»³³. После 1907 г. Фортунатов снижает свою публицистическую активность, целиком сосредоточившись на преподавании на Высших женских курсах. Его смерть в послереволюционной Москве в 1918 г. практически не привлекла общественного внимания.

Таким образом, несмотря на то, что С.Ф. Фортунатова нельзя назвать большим ученым, его многолетняя преподавательская деятельность на Высших женских курсах; его содержательные лекции; десятки небольших по объему, но актуальных рецензий на новейшие исторические книги позволяют утверждать, что этот российский историк занимал свое место в сообществе ученых, которых принято относить к научной школе Герье. Не будучи ее типичным представителем, он играл существенную роль в коммуникационном пространстве этой школы. Учителя и ученика сближает свойственная обоим связь преподавательской и научной деятельности, высокая требовательность к подготовке лекционного материала, стремление создавать лекции по новым, неизученным темам.

Первый ученик Герье, который не только успешно защитил магистерскую диссертацию, но и стал выдающимся ученым – **Николай Иванович Кареев** (1850–1931). Об этом ученом, принесшем славу русской

³⁰ Преподавание истории США в МГУ (<http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernHist/node/90>); *Кубышкин А.И., Цветков И.А.* Университетские учебники по истории США как индикатор состояния российской американистики // Россия и США на страницах учебников: опыт взаимных репрезентаций. Волгоград, 2009. С. 181.

³¹ С.Ф. [Фортунатов С.Ф.] // Русские ведомости. 1893. № 144; Фортунатов С.Ф. 1) Новая книга о XVIII веке // Русские ведомости, 1893. № 188; 2) Новая книга по истории конца XIX века // Русские ведомости. 1910. 19 марта. № 64. С. 4–5 и др.

³² См.: Фортунатов С.Ф. Права гражданина в Англии и Северо-Американских Соединенных штатах. М., 1906. 19 с.; Максимов А.Н., Фортунатов С.Ф. Одна или две палаты? М., 1906. 20 с.

³³ Кизеветтер А.А. Из воспоминаний восьмидесятника (Профессора Московского университета) // Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 3. С. 151.

исторической школе, написаны десятки исследований³⁴. Поэтому, не отталкиваясь на общеизвестных фактах его биографии, сосредоточимся на анализе отношений Герье и Кареева, истории которых также посвящен ряд исследований³⁵. Однако обращает на себя внимание то, что во всех исследованиях эта история дана глазами Кареева. Герье же остается пассивным участником, об истинных намерениях которого строятся гипотезы, опять же исходя из свидетельств его ученика. Причины этого, прежде всего, в характере источников: это мемуары, письма, статьи самого Кареева. Немаловажно и то, что проблема раскрывалась глазами исследователей творчества Кареева, а не Герье. Несомненная авторитетность и значимость научной деятельности Кареева, превзошедшего своего учителя, также способствовала некому смещению акцентов в анализе фактов. Для более взвешенной оценки взаимоотношений Герье и Кареева необходимо привлечь немногочисленные свидетельства самого Герье; провести анализ косвенных данных и сравнить концептуальные положения работ двух историков. Это позволит по-новому ответить на поставленный самим Кареевым вопрос: «Была ли у Герье школа?»³⁶.

На Историко-филологический факультет Кареева привела филология. Увлеченный лингвистикой, фольклором и мифологией, он перед поступлением читал статьи Ф.И. Буслаева и А.Л. Дювернуа и даже опубликовал небольшое исследование о древнегреческом языке³⁷. В 1869 г., когда Кареев стал первокурсником, Герье находился в заграничной командировке. Воспоминания Кареева о первом курсе связаны, прежде всего, с преподавателями-филологами. Историк М.С. Куторга, который вел древнюю историю, в этих воспоминаниях предстает фигурой довольно комичной³⁸. Несомненно, Куторга, первым в России приступивший к

³⁴ См.: *Золотарев В.П.* Историческая концепция Н.И. Кареева: содержание и эволюция. Л., 1988; *Сафронов Б.Г.* Н.И. Кареев о структуре исторического знания. М., 1995; *Мягков Г.П.* Научное сообщество в исторической науке... и др. Полный список исследований о Н.И. Карееве, включающий 520 наименований, приведен в издании: Николай Иванович Кареев. Библиографический указатель (1869–2007) / сост. В.А. Филимонов. Казань, 2008. С. 160–205.

³⁵ См.: *Золотарев В.П.* 1) В.И. Герье и Н.И. Кареев: к истории их взаимоотношений // Мир историка: Владимир Иванович Герье. М., 2007. С. 32–37; 2) В.И. Герье и Н.И. Кареев: к истории взаимоотношений // История и идеи и воспитание историй...: Владимир Иванович Герье / под ред. Л.П. Репиной. М., 2008. С. 152–173; *Филимонов В.А.* 1) Н.И. Кареев и В.И. Герье: штрихи к научной биографии ученика и учителя // Мир историка... С. 111–118; 2) Н. И. Кареев и В.И. Герье: опыт реконструкции межличностных коммуникаций // История идей и воспитание историй... С. 174–188 и др.

³⁶ *Кареев Н.И.* Памяти двух историков // *Анналы.* 1912. № 1. С. 160.

³⁷ *Кареев Н.И.* Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка. М., 1869. 32 с.

³⁸ См.: *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 119–121.

научному изучению античной истории, не мог не оказать воздействия на молодого студента, но ни в одном документе Кареев не причислял себя к ученикам Куторги, хотя и признавал его «первым русским ученым, посвятившим себя самостоятельной разработке всеобщей истории»³⁹. Можно согласиться с тем, что «Кареев на протяжении всего своего творчества испытывал влияние идей Куторги, его взглядов как на античную историю, так на историческую науку в целом»⁴⁰. Однако вряд ли переход Кареева со словесного отделения на историческое произошел под влиянием Куторги. Приводимые В.А. Филимоновым высказывания ясно говорят о влиянии Герье на эту переориентацию и весьма туманно – о существовании еще каких-то факторов⁴¹.

В 1870 г., когда Кареев был на II курсе, возвращается из командировки В.И. Герье. 33-летний ученый, написавший к тому времени два капитальных труда «Борьба за польский престол» и «Лейбниц и его век», он еще не приобрел авторитета в научном мире, но был известен в Московском университете как хороший преподаватель. «Я аккуратно посещал все лекции Герье, читал указывавшиеся им книги (например, разные сочинения Гизо) и принимал участие в его практических занятиях, пока под влиянием его преподавания не перешел со славяно-русского на историческое отделение» – пишет Кареев⁴². При этом молодой студент понимал сложности работы с Герье, славившимся своим непростым характером и строгостью. После «симпатичного» и «обаятельного» Буслаева, «благожелательного» и «вежливого» Дювернуа переход к «требовательному» и «нелюбимому в массе студентов-филологов» Герье⁴³ должен был иметь серьезные основания. «Окончательным выбором специальности я обязан В.И. Герье, – писал Кареев в 1922 г., – и это произошло не под влиянием его, как человека, как личности, а как ученого и учителя»⁴⁴.

³⁹ Кареев Н.И. Историческая наука // Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз Ф.А.; Ефрон И.А. 1899. Т. 55. С. 802.

⁴⁰ Филимонов В.А. М.С. Куторга и Н.И. Кареев: коммуникативная специфика и трудности верификации // Диалог со временем. 2010 Вып. 30. С. 235.

⁴¹ «Было бы *долго рассказывать* как это произошло, но не могу не упомянуть, что *одним* из внешних факторов этой перемены в ориентации моих научных интересов было преподавание профессора Владимира Ивановича Герье» (Кареев Н.И. Проект речи на пятидесятилетнем юбилее 14 июля 1923 г. // НИОР РГБ. Ф.119. К. 20. Ед. хр. 35. Л. 2). Далее: «Только в середине университетского курса, под влиянием *профессорских лекций и самостоятельного чтения*, я стал заниматься историей» (Кареев Н.И. Главные обобщения всемирной истории. СПб., 1903. С. III). Курсив в цитатах – В.А. Филимонова, который считает, что в них можно увидеть влияние Куторги на изменение специализации Кареева (см.: Филимонов В.А. Указ. соч. С. 229, 230).

⁴² Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 121.

⁴³ Там же. С.116, 118, 120.

⁴⁴ Кареев Н.И. Памяти двух историков // Анналы. 1922. № 1. С. 156.

Что же привлекло Кареева в преподавании Герье настолько сильно, что изменило всю его жизнь? Он увидел в Герье неординарного профессора, разрабатывающего недостаточно изученные проблемы (история Французской революции и др.), подходящего к ним с новаторских для своего времени позиций, обучающего своих учеников современной методике научного исследования. Кареев вспоминает: «Он прочитал при мне в три года очень систематический и содержательный курс западно-европейской истории от конца Римской империи до Французской революции и лучше чем кто-либо поставил у нас семинарские занятия»⁴⁵. На этих семинарах Кареев научился «понимать и ценить» «Старый порядок и революцию» Токвиля⁴⁶, здесь сделал свой первый доклад о книге А. Юнга «Путешествие по Франции», ставшей отправной точкой будущей темы его магистерской диссертации. «По-моему, пишет Кареев, – в студенческие мои годы Герье был полезным для студентов более других работавших профессоров, и [хотя] в чем-то я с ним не соглашался, его работы ценил и ценю. Он расположил меня к занятиям историей, научил, как следует работать»⁴⁷. В лице Герье Кареев увидел высокий уровень европейской научной традиции, перенятой Герье преимущественно от маститых профессоров немецких университетов. Герье передавал студентам через преподавание огромный пласт «неявного личностного знания». Он представлял собой пример преподавателя, совмещающего подготовку лекций и научно-исследовательскую работу. Его лекционные курсы были основаны на анализе источников и обширной литературы и с кафедры он излагал результаты своего исследовательского труда.

На семинарах же студенты, начиная с простейших рефератов по источникам, учились затем анализировать новейшие произведения историков и готовить свои первые исследовательские доклады. При этом обсуждения этих докладов – дискуссии на семинарах Герье, по словам Гершензона, «стоили экзамена», и они приобщали студентов к миру большой науки. Молодой Герье, для которого важно было привитие этих элементарных навыков научной работы, даже поощрял различие во взглядах, способствовавшие накалу дискуссий.

В вечернем семинаре Герье сложилось своеобразное интеллектуальное сообщество молодых студентов и магистрантов. «В этих занятиях принимали участие, кроме студентов старших курсов и оставленные при университете к профессуре», – вспоминал Кареев⁴⁸. Это Н.Н. Высотский,

⁴⁵ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 120.

⁴⁶ Там же. С. 160.

⁴⁷ Там же. С. 133.

⁴⁸ Кареев Н.И. Воспоминания о П.Г. Виноградове, присланные Е.Г. Соколовой // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2 об.

С.Ф. Фортунатов, П.Г. Виноградов и др. «Общее участие в семинарии у Герье создало у нас некоторые общие научные интересы», – свидетельствует Кареев⁴⁹. В.П. Золотарев отмечает, что, несмотря на трудный характер профессора, «студенты же замечали в Герье и другое – серьезнейшее отношение к своим профессорским обязанностям, широту его исторических взглядов, упорное стремление (и умение) развивать самостоятельность мышления учащихся, “вписывать” любую историческую проблему в современное состояние науки»⁵⁰.

Герье увлек Кареева историей, исследовательской работой, он не менее двух лет присматривался к талантливому, инициативному студенту и вполне сознательно приближал его к себе. В 1873 г., перед окончанием Кареевым университета, Герье предложил ему остаться для приготовления к профессорскому званию. Несколько удивленному студенту профессор, по свидетельству Кареева, сказал «что уже прежде наметил меня кандидатом на оставление при университете»⁵¹. В нашем распоряжении нет документов, которые могли точно раскрыть причины выбора Герье. К тому времени, когда он сделал свое предложение Карееву, под его руководством готовились два магистранта Н.Н. Высотский и С.Ф. Фортунатов, уже написал медальное сочинение студент III курса П.Г. Виноградов. Возможно, уже в 1873 г. Герье стал сомневаться в перспективе своих первых магистрантов написать диссертации. Однако, вероятнее всего, он не связывал свой выбор с далеко идущими расчетами. Профессору было интересно выявлять в среде студентов талантливых людей, способных к научной деятельности. При этом их методологические и политические взгляды были для него не столь важны. Кареев свидетельствует, что уже в первые годы знакомства с Герье выявилось противоречие их позиций. В политике профессор сочувствовал Германии в шедшей тогда франко-прусской войне, а студент – Франции. В философии, пишет Кареев, «он был последователем немецкого идеализма, а я был за англо-французский позитивизм». Не сошлись учитель и ученик и во взглядах на О. Конта⁵². И тем не менее, зная об этих разногласиях, Герье предложил Карееву остаться при университете.

Кареев указывает на терпимость Герье в отношении проблематики исследований его учеников. В студенческие годы Кареев тяготел к философским вопросам: «Когда я кончил курс, еще окончательно мною не было решено, готовиться ли к магистерству по всеобщей истории или по философии. – писал он позже. – Вопрос был решен в пользу истории под

⁴⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 129.

⁵⁰ Золотарев В.П. В.И. Герье и Н.И. Кареев ... С. 154.

⁵¹ См.: Филимонов В.А. Н.И. Кареев и В.И. Герье: опыт реконструкции. С. 176.

⁵² Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 132.

прямым влиянием Вл[адимира] Ив[ановича], который предложил мне остаться при университете по кафедре всеобщей истории, разрешил мне самому составить программу занятий с культурно-историческим уклоном»⁵³. В выборе вопросов для магистерского экзамена он был «уступчив» и «не очень настаивал» на предложенном им самим вопросе о либеральном католицизме в Германии. «Для экзаменов он предоставил мне самому выбрать темы, хотя некоторые предложил и сам», – свидетельствует Кареев. При этом вопросы соответствовали научным интересам магистранта. «Большая часть их была по духовной культуре, меня тогда интересовавшей сильнее нежели политическая, социальная и экономическая история»⁵⁴. В 1872–73 гг. у Кареева еще не было «особого акцента на социально-экономической проблематике»: в это время Герье, который пробудил в нем интерес к истории нового времени, выдвигал на первый план политические события и идеологические явления. Кандидатское сочинение Кареева «Очерк истории французских крестьян» также еще не несло в себе нового социально-экономического подхода, а было, по собственному признанию ученого, работой компилятивного характера.

Акцентируемое в литературе различие в методологических взглядах учителя и ученика поначалу не было большим. На наш взгляд, в воспоминаниях ученика произошла определенная контаминация образа Герье начала XX в. и его реальной позиции в 1870-е гг. В годы учебы Кареева Герье никак нельзя было назвать консерватором. Его критика позитивизма, изложенная в «Очерке исторической науки», не отвергала возможности использования некоторых методов естественных наук в истории, но предостерегала от схематизма, который присутствовал у Бокля. Сам Кареев позже писал о своем критическом изучении идей Конта, о том, что французский ученый «дал философский обзор всемирной истории с точки зрения своего учения о трех фазах мирозерцания», но не смог «возвыситься над отдельными фактами и открывать законы, ими управляющие»⁵⁵. Герье считал это учение «одним из звеньев в философии истории», но это звено – лишь «отвлеченный синтез..., свободный от фактов», так как у Конта теория довлеет над фактами. В целом Герье положительно оценивал теорию Конта, считая его заслугой «более органическое представление об обществе»⁵⁶. Таким образом, отношение к контовскому позитивизму у Герье было критиче-

⁵³ Кареев Н.И. В.И. Герье // Голос минувшего. 1922. № 2. С. 222.

⁵⁴ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 133–134.

⁵⁵ Кареев Н.И. Огюст Конт как основатель социологии // Введение в изучение социальных наук. СПб., 1903. С. 15.

⁵⁶ Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопросы философии и психологии. 1898. № 43. С. 468, 563.

ским, но не отрицательным. Более того, под влиянием только что изданных произведений И. Тэна, Герье начинает использовать в своих трудах некоторые методы позитивистской методологии. Но он предостерегал студентов от «следования моде» на позитивизм, от некритического увлечения схематизацией исторического процесса и с этой целью в лекциях акцентировал внимание на специфике исторического познания и его отличии от естественных наук. Поэтому очевидно, что Кареев в воспоминаниях о студенчестве несколько преувеличивал свои методологические и политические разногласия с учителем. Он не указывает на то, что учитель когда-либо навязывал ему свою точку зрения. Более того, сам Герье предложил ему доклад на вечернем семинаре о позитивизме Конта. Кареев вспоминает, что неудовольствие Герье вызвали не какие-либо высказывания, противоречившие его взглядам, а молчание, устранение Кареева от дискуссии на заседании вечернего семинара, когда обсуждался его доклад о социальной динамике Конта⁵⁷.

К тому же нужно учитывать особенности манеры поведения Герье, который был суховат в общении, «ненаходчив» и старался не выдавать своих истинных чувств. Его своеобразная мимика зачастую трактовалась неверно. «Протестантский пастор», «аббат», – эти студенческие прозвища Герье характеризуют манеру общения профессора со студентами. Они вспоминают его «саркастическую улыбку», привычку «недовольно пожевывать губами», «сердитое молчание». Но всегда ли выражение лица Герье передавало его истинные намерения? Кизеветтер, отношения с которым у Герье всегда были прохладными, вспоминал о том, как он сдавал экзамен: «Пока я читал, Герье сидел неподвижно, с самым кислым выражением лица и не спускал глаз с кончика своего сапога. Я кончил чтение, и он, не вымолвив ни слова, поставил мне в экзаменационном листе пять с плюсом. Тем все и кончилось. Вот это “кислое лицо” и навело трепет на студентов. И в сущности, совершенно напрасно»⁵⁸.

Поступки Герье более точно свидетельствуют о его расположении к Карееву. Последний честно отмечал, что своими действиями неоднократно давал повод к спорам с Герье: «Я вообще в те годы был большим спорщиком, от чего отделался только с летами, и в споре был довольно резок»⁵⁹. Кареев указывает, что, зная о «щепетильном самолюбии» профессора, «неоднократно навлекал на себя неудовольствие Герье», «не всегда был тактичен в сношениях с ним», в семинарии позволял себе закуривать сигару без разрешения, и в то же время не участвовал в прениях

⁵⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 132–133.

⁵⁸ Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. М., 1997. С. 66.

⁵⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 131.

на семинаре, молчал, чувствуя себя недостаточно «сильным в том или другом вопросе, а ему [Герье] это казалось равнодушием с моей стороны к занятиям»⁶⁰. Кареев сообщает о настоящем ультиматуме, предъявленном им Герье, в ответ на одно замечание профессора. Кареев оскорбился на то, что Герье выразил неудовольствие его молчанием на семинаре и после окончания заседания не захотел его выслушать. Обиженный Кареев готов был отказаться от звания магистранта. Только уговоры и извинения профессора успокоили самолюбивого молодого человека⁶¹. Герье не только прощал Карееву его выходки, но и всячески заботился о нем. Мы уже упоминали о проявленном им либерализме при выборе вопросов для магистерского экзамена. Профессор пытался обеспечить материальное благополучие Кареева, предложив ему читать на Высших женских курсах историю западной литературы в случае, если А.А. Шахов вовремя не вернется из заграничной командировки. Когда сорвалась заграничная командировка С.Ф. Фортунатова, Герье добился, чтобы на неизрасходованные средства за границу был послан Кареев. Тема магистерской диссертации обсуждалась в 1877 г., перед отъездом Кареева. Герье не настаивал, чтобы он ехал в Германию, хотя считал посещение немецких университетов очень полезным. Вероятно, тогда он предложил Карееву тему об Эразме Роттердамском⁶². Исходя из этого, В.П. Золотарев считает, что «не следует подчеркивать роль Герье как учителя Кареева» в выборе им «крестьянской» проблематики своих будущих исследований, так как она была далека от научных интересов Герье⁶³.

Мы считаем, что воздействие Герье на определение темы магистерской диссертации Кареева было решающим. Именно в 1870-е гг. зарождается интерес Герье к изучению Французской революции. С 1868 г. он читает ее историю в университете, на семинаре разбираются вопросы по истории предреволюционного времени. Кто знает, увлекся бы Кареев историей революции, если бы Герье не предложил ему тему о положении крестьян по книге А. Юнга, не научил «понимать и ценить “Старый порядок и революцию” Токвиля», не предложил в качестве кандидатского сочинения тему о французских крестьянах⁶⁴. В 1873 г. Герье написал первую в русской историографии научную статью о революции (опубликован в 1877 г.⁶⁵). Что касается возможности предложения темы об Эраз-

⁶⁰ Там же. С. 121.

⁶¹ Там же. С. 133.

⁶² Об этом Кареев упоминает в письме к Корелину (см.: ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. 147. об.).

⁶³ Золотарев В.П. В.И. Герье и Н.И. Кареев... С. 155–156.

⁶⁴ Кареев Н.И. Памяти двух историков. С. 160.

⁶⁵ Герье В.И. Республика или монархия установится во Франции // Сборник государственных знаний / под ред. В. П. Безобразова. СПб., 1877. Т. 3. С. 107–170.

ме Роттердамском, то это соответствовало методике работы Герье с магистрантами. Не останавливаясь на одной проблеме, он обычно предлагал ученикам сразу несколько тем. Так, с М.С. Корелиным Герье обсуждал сразу шесть возможных тем диссертации, но окончательный выбор оставил за магистрантом. На наш взгляд, учитывая внимание профессора к истории Великой французской революции, ему интереснее было руководить темой, посвященной этому сюжету. По эпохе Эразма Роттердамского у Герье не было опубликованных работ, и он вряд ли чувствовал себя крупным специалистом в этой проблеме.

В письмах Кареева, написанных во время научной стажировки в Париже, можно увидеть то заинтересованное обсуждение научных проблем, которое происходило между учителем и учеником. При этом Герье не только давал советы своему ученику, но и сам узнавал много нового. Так из письма Кареева от 11 ноября 1877 года можно выяснить, что тема диссертации о французских крестьянах уже оговаривалась с Герье до отъезда. В этом первом письме из Парижа Кареев оправдывается, что долго не писал, так как «хотел дожидаться времени, когда для меня самого более и лучше выяснится, насколько осуществимы мои прежние планы относительно диссертации»⁶⁶.

Кареев в письмах рассказывает об обнаруженных источниках, дает подробную характеристику наказов сословий депутатам Генеральных штатов в 1789 г.: «Из них многие были напечатаны еще в 1789-м, но так как *sahiers* третьего сословия были сводные из множества городских и сельских *sahiers*, а редакция их принадлежала главным образом буржуазии, то они слишком недостаточны для характеристики крестьянских требований, рисующих, с одной стороны, положение сельского населения накануне революции, с другой, указывающих на то, каких реформ оно особенно добивалось. Разные сборники и своды *sahiers*, делавшиеся не раз после 1789 г., еще более обобщали требования, заключающиеся в отдельных *sahiers*»⁶⁷.

Можно предположить, что эти соображения Кареева, подтолкнули Герье к научному исследованию наказов, результатом чего стала его монография «Понятия о власти и народе в наказах 1789 года» (1884), получившая высокую оценку научного сообщества. Часть выводов Герье в этой книге развивает мысли Кареева из его письма. Так можно наглядно увидеть процесс коллективного творчества учителя и учени-

⁶⁶ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр. 5. Л. 3. Опубликовано в кн.: *Цыганков Д.А.* Профессор В.И. Герье и его ученики. М., 2010. С. 110. В данной публикации отсутствует дата письма и листы рукописи. Поэтому мы считаем необходимым сохранить ссылки на архивные документы.

⁶⁷ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр. 5. Л. 3 об.

ка, который происходит в общении, а затем реализуется затем в индивидуальных исследованиях.

В письмах профессор инструктирует ученика, как правильно написать отчет для министерства. При этом, думая о будущем, просит Кареева включить в него «некоторые подробности, которые были бы поучительны» для тех, кто пойдет по его стопам. Но Карееву некогда, он спешит изучить материалы Национального архива в Париже⁶⁸. В архиве, а не в университетских аудиториях проводит он основное время. Ему не понравились лекции парижских профессоров: «характер лекций совершенно популярный». Это замечание можно рассматривать как комплимент лекциям Герье. Кареев решает не тратить свои силы, ибо «проводить на лекциях все свое утреннее время, когда отперты библиотеки и архивы» он не хочет⁶⁹. При этом он успевает участвовать в научной жизни Парижа. Кареев знакомится с Фюстель де Куланжем и сообщает ему адрес Герье. Французский историк занят в это время организацией «Общества изучения вопросов высшего образования». Кареев считает, что Герье будет интересно это знакомство, так как он сам в это время принимает участие в обсуждении в печати готовящейся университетской реформы⁷⁰. Кареев сообщает Герье о выходе в свет первого тома второй части книги И. Тэна «Происхождение современной Франции» и кратко пересказывает ее содержание⁷¹. Книга Карееву не понравилась, но он доволен, что «Тэн не напал на мой материал архивный, хотя и близко около него ходил». Честнолюбивому молодому ученому неприятно «видеть напечатанными вещи, которые я первый надеялся поведать миру»⁷². И наконец, в апреле 1878 года Кареев определяется с точной формулировкой темы диссертации и предлагает на одобрение Герье план работы.

Профессор доволен работой своего магистранта. Он ходатайствует в совете факультета о представлении его в стороне преподаватели. С одной стороны, это жест доверия к ученику, дававший надежды Карееву на получение штатной должности доцента в Московском университете. Но Герье думает не только о судьбе Кареева, но и о нуждах кафедры. Оставшись после неудачи с Н.Н. Высотским и С.Ф. Фортунатовым единст-

⁶⁸ Кареев В.И. Письмо к В.И. Герье от 6/18 февраля 1878 // НИОР РГБ. К. 46. Ед. хр. 15. Л. 9.

⁶⁹ Кареев Н.И. Письмо к В.И. Герье от 1/ 13 февраля 1878 // НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед.хр. 5. Л. 7.

⁷⁰ См: Герье В.И. 1) Свет и тени университетского быта // Вестник Европы. 1876. № 2; 2) Наука и государство // Вестник Европы. 1876. № 10–11 и др.

⁷¹ Кареев Н.И. Письмо к В.И. Герье от 13 марта 1878 // НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр.15. Л. 11 об.

⁷² Там же. Л. 11 об.

венным преподавателем, ведущим все дисциплины по всеобщей истории, он добивается в 1877 г., во время командировки Кареева, чтобы был принят сторонним преподавателем другой его ученик, П.Г. Виноградов. Но в 1878 г. Виноградов уезжает в заграничную командировку, и все занятия на кафедре опять ведет Герье. В этот момент он и предлагает Карееву чтение лекций по новой истории и дает ему выбор между курсом по истории XVIII века и по истории XIX века.

В июне 1878 года Кареев возвращается из Франции и менее чем через год представляет готовую диссертацию. Можно признать это уникальным достижением талантливого ученого. Всего за год заграничной командировки он собрал необходимые архивные материалы, разработал лекционный курс, а после возвращения написал текст диссертации. При этом он одновременно преподавал в гимназии и читал лекции в университете. Милуков писал о Карееве: «Помню наше удивление, когда (это было в 1878-1879 гг.) он объявил в Московском университете курс истории Европы XIX века. Слушателям московских профессоров это казалось, с непривычки, непростительной дерзостью: как можно *научно* излагать события столь близкие»⁷³. В.П. Золотарев приводит факт, как декан факультета Н.А. Попов посетил первую же лекцию Кареева «Возможно ли научное отношение к истории XIX века?» и остался доволен и содержанием лекции, и самим лектором: «Я было, – сказал Попов по окончании лекции, – отвел вам маленькую аудиторию, потому что у вас обязательных студентов только 7 человек, но теперь нужно будет переменить аудиторию, потому что к вам будут ходить и другие студенты»⁷⁴.

Герье попросил у Кареева разрешения присутствовать на лекции, посвященной социализму. Кареев пишет: «Мне передавали, что он был не доволен моим общим рассуждением о разделении социализма на утопический и научный»⁷⁵. Из этой фразы понятно, что сам Герье после лекции не высказал явного неудовольствия. Кто же передал эту информацию, расстроившую Кареева? Среди слушателей Кареева были уже «присмотренные» Герье в ученики М.С. Корелин и Р.Ю. Виппер. С Корелиным Кареев дружил, и их близкое общение продолжалось до самой смерти Михаила Сергеевича. Корелину была свойственна чрезвычайная мнительность, острый язык, внимание к мелочам. Неизвестно насколько точно им было передано мнение Герье о лекции Кареева.

В период завершения диссертации Н.И. Кареев сблизился с кружком М.М. Ковалевского – либерально настроенного профессора, отно-

⁷³ Цит. по: *Филлимонов В.А.* Н.И. Кареев и В.И. Герье: штрихи к научной биографии ученика и учителя. С.114.

⁷⁴ *Золотарев В.П.* В.И. Герье и Н.И. Кареев... С.157.

⁷⁵ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 141.

шения которого с Герье были прохладными. Кареева же сближало с Ковалевским многое: интерес к социально-экономической проблематике, близость политических позиций, общие парижские знакомые, в том числе народник П.Л. Лавров. Но была и еще одна причина, способствовавшая не столько охлаждению отношений между Герье и Кареевым, сколько появлению опасений со стороны последнего по поводу своего места в университете. Младший соученик Кареева Виноградов в конце 1878 года вернулся из заграничной командировки, и его диссертация была также близка к завершению. Кареева неприятно удивило назначение официальным оппонентом на его магистерском диспуте младшего товарища, который сам еще диссертации не защитил. Спустя годы он писал, что ему особенно запомнилось выступление Виноградова на его магистерском диспуте в качестве официального оппонента – «роль, которая, пожалуй, никогда раньше не выпадала на долю всего только двадцатипятилетнего юноши»⁷⁶. В письме Лаврову незадолго до диспута Кареев сетует: Герье «не особенно доволен моей диссертацией», обвиняет в «предвзятости мыслей, которые де повлияли и на метод». Кареев подозревает, что у Герье есть намерение затянуть дело, чтобы успел представить свою диссертацию Виноградов, и «посредством него оттеснить меня». В письме содержится и объяснение, как Виноградов был назначен оппонентом. Сначала назначили А.И. Чупрова, «потом Герье передумал на С.М. Соловьева, но тот уехал в Петербург читать лекции двум великим князьям... и тогда решили П.Г. Виноградова»⁷⁷. Кстати, это не было уникальным событием. Сам Герье в 1861 г., еще до защиты своей магистерской диссертации, был официальным оппонентом на докторском диспуте М.Н. Петрова.

К диспуту Кареев готовился тщательно. Уверенный в качестве своей работы, он хотел проявить себя во всем блеске. Диспуты были в то время ожидаемыми важными общефакультетскими мероприятиями, на них наряду с членами совета собиралась многочисленная публика (студенты, магистранты и другие заинтересованные люди). Н.Н. Алеврас и Н.В. Гришина сравнивают диспуты с символическим актом «вхождения» в ученую среду и научную школу: «Будучи мероприятиями, открытыми для публики, предполагающими, помимо обязательного оппонирования диссертации, свободную дискуссию, они превращались в интеллектуальные состязания, в рамках которых было важно одержать “неформальную” победу, т.е. заручиться поддержкой со стороны публики. Часто по итогам диспутов запоминались не аргументы оппонировавших сторон и

⁷⁶ Кареев Н.И. Воспоминания о П.Г. Виноградове, присланные Е.Г. Соколовой // Архив МГУ. Ф. 213. Оп.1. Ед.хр. 57. Л. 2 об.

⁷⁷ Цит. по: Золотарев В.П. В.И. Герье и Н.И. Кареев... С. 159.

постановление факультета о присвоении ученой степени, а общее впечатление, произведенное его участниками на аудиторию»⁷⁸. Популярный среди молодых ученых и студентов Кареев хотел полностью использовать возможности диспута, чтобы заявить о себе ученому миру. В письме к Герье он просит назначить диспут не после лекций, когда приближается время обеда, «что заставляет публику быть крайне нетерпеливой в ожидании финала, а иногда вынуждает торопиться и участников в диспуте; потом и для диспутанта слишком длинное утро»⁷⁹. Кареев предлагает провести диспут в воскресенье, чтобы участники никуда не спешили.

Диспут состоялся 21 марта 1879 года. Обращаясь к ходу диспута, отметим, что он показал наличие методологических и политических разногласий между Кареевым и Герье, однако учитель прямо о них никогда не говорил, в отличие от ученика⁸⁰. Кареев был оскорблен поведением Герье на диспуте, и, по его словам, между ними пробежала «большая черная кошка». Кареев даже не стал устраивать традиционного обеда после диспута. В отношениях между учителем и учеником произошел разрыв, продолжавшийся четыре года. Талантливый, многообещающий ученый не получил кафедры в Московском университете и был отправлен в только что открытый Варшавский университет.

Стоит проанализировать эти факты с позиции Герье. После неудачи с подготовкой в качестве преемников Высотского и Фортунатова, он делает ставку сразу на двух талантливых студентов – Кареева и Виноградова. Вплоть до отъезда Кареева в заграничную командировку факты не позволяют говорить о том, что к кому-то из них Герье благоволил больше. В его записных книжках две фамилии неизменно стоят рядом. Так, сохранились темы рефератов, подготовленные в университетском семинаре Герье: Кареев – «Время уничтожения крепостного права в Германии», Виноградов – «Иосиф II и его законодательство»⁸¹. Сохранились записи об оценках на экзаменах. В 1871 г. Виноградов получил «4», Кареев – «5». На экзамене в 1872 г.: Кареев – «5», Виноградов «5+»⁸².

Сначала отношения Н.И. Кареева и П.Г. Виноградова были дружескими. «Мы очень быстро сблизились, стали часто видеться вне стен

⁷⁸ Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. Диссертационная культура российских историков XIX – начала XX вв.: замысел и источники исследовательского проекта // Мир историка. Вып. 6. Омск, 2010. С. 16.

⁷⁹ Кареев Н.И. Письмо к В.И. Герье от 20 февраля [1878] // НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед.хр. 5. Л. 23. Д.А. Цыганков неверно датировал это письмо 1884 годом. См.: Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. С. 126.

⁸⁰ См.: Кареев Н.И. Прожитое и пережитое... С. 139–140.

⁸¹ НИОР РГБ. Ф.70. К. 19. Ед. хр. 1. Л. 5.

⁸² НИОР РГБ. Ф.70. К. 33. Ед. хр. 65. Л. 21, 28 об. В заметках о семинаре встречаем: «Зибеля чит[али] – Кучин[ский], Виноград[ов], Кареев» (К. 14. Ед. хр. 4. Л. 3).

университета, бывать друг у друга»⁸³, – пишет Кареев. Кареев был «вхож» в семью Виноградова и вспоминал: «Часто, помню, возвращаясь с вечернего семинария, происходившего у Герье на дому, мы заходили вдвоем в ресторан закусить и побеседовать»⁸⁴. Однако это было не простое общение двух молодых людей. «Наши разговоры чаще всего касались общих теоретических вопросов исторической науки, которыми я тогда особенно интересовался и по которым у него были свои определенные взгляды»⁸⁵, – пишет Кареев. Впоследствии они «без всякой видимой причины», по словам Кареева, отделились друг от друга. Он считает, что это произошло не по его вине, однако в письмах к Герье из Парижа в апреле 1878 г. признается, что немного виноват перед Виноградовым «в неисполнении обещания писать»⁸⁶. Охлаждению отношений между двумя учениками Герье способствовал тот факт, что после отъезда Кареева за границу Виноградов по инициативе Герье был принят сторонним преподавателем в Московский университет и стал вести лекции по истории средних веков.

Вероятно, до возвращения Кареева из командировки Герье еще не определился в выборе между двумя кандидатами. Он уже близко познакомился с Виноградовым, проработав с ним бок о бок 1877/78 учебный год, но не успел оценить Кареева как преподавателя. Определяющим стал 1878/79 учебный год, когда Виноградов уезжал за границу, а коллегой Герье по кафедре стал Кареев. Профессору не могли понравиться некоторые поступки Кареева: сближение с М. Ковалевским, его задиристый характер и даже то, что лекции Кареева пользовались такой огромной популярностью у студентов. К тому же и Герье, и Кареев в это время тяготели к новой истории, а Виноградов занимался средневековьем, что в плане специализации преподавателей кафедры было рациональнее.

Однако, даже определившись в своем выборе, Герье не снимал с себя ответственности за трудоустройство Кареева. Кареев расценил свое определение в Варшавский университет как ссылку и не скрывал неудовольствия, хотя в этом назначении, состоявшемся благодаря Герье, были и свои плюсы. Кареев сразу получил профессорство и вместе с ним решение своих материальных проблем. Резкие выпады Кареева против своего учителя во время диспута привели к тому, что, как передавали ему «услужливые люди», Герье был раздражен. Диссертация Кареева была первой, защищенной под его руководством, и единственной, защита которой привела к такому резкому охлаждению отношений учителя и уче-

⁸³ Архив МГУ. Ф. 213. Оп.1. Ед. хр. 57. Л. 2

⁸⁴ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 129.

⁸⁵ Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2 об.

⁸⁶ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр. 5. Л. 14 об.

ника. С течением времени и сам Кареев осознал, что «преувеличивал значение происходящего», и что все могло закончиться иначе, если бы он сам «резким образом не порвал своих отношений с Герье»⁸⁷.

Последующие события подтверждают, что Кареев эмоционально преувеличил степень негативного отношения к нему Герье. Когда через четыре года он написал учителю письмо с просьбой помочь с защитой докторской диссертации, Герье тут же откликнулся. Кареев благодарит его за «скорый ответ», «согласие взять на себя труд прочтения» книги, делает ему комплименты, как человеку, «компетентному именно в этой области, которому посвящена моя диссертация»⁸⁸. В момент получения этого письма (июль 1883 года) Герье находился в Германии, а Кареев – в Москве, но они договариваются о встрече в Варшаве, через которую проедет Герье по пути в Россию. В ходе переписки по поводу подготовки диспута, между Герье и Кареевым происходит и обмен мнениями по поводу их научных планов. Кареев просит переслать ему новую статью Герье о Мабли, сообщает о своих занятиях историей Польши, просит в связи с этим прислать книгу «Борьба за польский престол в 1733 году»⁸⁹.

24 марта 1884 года в Московском университете состоялась защита докторской диссертации Кареева «Основные вопросы философии истории». В начале 1885 года Кареев перебирается из ненавистной ему Варшавы в Санкт-Петербург: сначала преподавателем истории Александровского Лицея, затем приват-доцентом, а вскоре и экстраординарным профессором Петербургского университета.

В проблематике научного наследия Герье и Кареева есть много сходного. Это, в первую очередь, работы по истории Французской революции, истории Польши, по философии истории. Наиболее ярко воздействие взглядов Герье на работы Кареева можно проследить в трактовке последним основных проблем средневековья, которыми он специально, в отличие от учителя, не занимался. В выделенной Кареевым «сцене», где разворачивалась историческая жизнь человечества, прослеживается схема, присутствующая в лекциях Герье. От Средиземноморья и передней Азии – к созданию единого греко-римского мира и, затем, – к обособлению в средние века «особого исторического мира», «положившего начало и западноевропейской цивилизации»⁹⁰. Отвергая схемы и периодизации, основанными на каком-либо «основном законе истории», будь то схема Гегеля, Конта или Маркса, он в то же время не отрицал понятия

⁸⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С.140.

⁸⁸ Письма Н.И. Кареева [к В.И. Герье]... С. 122-123.

⁸⁹ Там же. С. 124–125.

⁹⁰ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. I. 4-е изд. СПб., 1908. С. 2, 3.

всеобщей истории, восходящей еще к Грановскому. Он полагал, что отдельные народы живут и развиваются не особняком, а находятся во взаимодействии: всемирная история – это «процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между различными странами и народами»⁹¹.

Главными основами средневековой истории Кареев, как и Герье, считал феодализм и католицизм, которые находятся между собой в определенной антиномии, выполняя, первый, – «центробежную» роль в политике и праве, второй – объединительную функцию, сплачивающую Западную Европу в единую цивилизацию. Кареев разделял идеи Герье о присутствующей внутри католической церкви дилемме идей теократии и аскетизма, воплощавшихся в развитии папства и монашества. Особое внимание Кареев уделял роли папства, создавшего «космополитическую духовную монархию». Католицизм, по мнению Кареева, «стягивал западные народы к одному общему центру и объединял их в одно целое»⁹².

Отношения между Герье и Кареевым приобретают в конце 1880-х новый характер: это общение коллег, и с годами учитель признает авторитет, новаторство и инициативность своего ученика. «Чсть Вам и слава, что Вы единственный человек в Петербургском университете, отстаивающий интересы всеобщей истории и нужно надеяться, что, наконец, произойдет перелом в этом единодушном стремлении к обскурантизму»⁹³, – пишет Герье Карееву в 1890 г. Письмо было написано в связи с важной инициативой Кареева, горячо поддержанной Герье. В 1890 г. министерство предложило новый учебный план для историко-филологических факультетов, в котором были отменены общие курсы по всеобщей истории для студентов всего факультета (до разделения их на специальности). Кареев составляет проект письма против введения этой программы министру народного просвещения И.Д. Делянову от имени профессоров всеобщей истории разных российских университетов. Кареев и Герье занялись сбором подписей профессоров. По этому поводу между ними завязалась переписка⁹⁴. В конце концов, письмо подписали П.Г. Виноградов и В.И. Герье из Московского, Ф.И. Успенский из Новороссийского, Ф.И. Фортинский и И.В. Лучицкий из Киевского и Н.И. Кареев из Петербургского университетов⁹⁵.

⁹¹ Кареев Н.И. По большой дороге истории // ОР ГБ. Ф. 119. К. 34. Д. 2. Л. 17.

⁹² Кареев Н.И. История Западной Европы. Т. 1. С. 11. Выделено Н.И. Кареевым.

⁹³ Герье В.И. Письмо Н.И. Карееву от 28 марта 1890 года // НИОР РГБ. Ф. 119. К. 15. Ед. хр. 197–203. Л. 2.

⁹⁴ См.: Письма Н.И. Кареева. С. 129.

⁹⁵ См.: НИОР РГБ. Ф. 119. К. 9. Ед. хр. 78.

В других письмах Кареев просит Герье поделиться опытом организации исторического преподавания в Московского университете⁹⁶, предлагает издать совместную хрестоматию к курсу истории XVI–XIX вв.⁹⁷, посылает устав созданного им Исторического общества при Петербургском университете и извещение об избрании Герье в число действительных членов общества, просит прислать статью для сборника этого общества⁹⁸, предлагает опубликовать в серии «История Европы» книгу Герье по средневековому мирозерцанию⁹⁹. Кареев хотел напечатать публичные лекции Герье, которые тот читал после закрытия Высших женских курсов в Москве. Герье благодарит, но считает, что лекции еще «не созрели для печати». В том же письме учитель пишет ученику: «Желаю Вам с полным успехом продолжать Вашу ученую и профессорскую деятельность в том же духе и с той же энергией: я буду всегда следить за ней с самым искренним участием и сочувствием»¹⁰⁰.

В 1892 г. Кареев принял активное участие в организации юбилея 30-летия ученой деятельности В.И. Герье, опубликовал в «Историческом обозрении» первую библиографию его работ¹⁰¹. Именно в это время наступил кризис в отношениях между Герье и Виноградовым. В данном конфликте, не предпринимая публичных действий, Кареев морально поддержал учителя¹⁰².

Когда Н.И. Кареев стал редактором исторического отдела энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, он привлек к сотрудничеству в нем не только В.И. Герье, но и его учеников М.С. Корелина, Е.Н. Щепкина, П.Н. Ардашева, Р.Ю. Виппера и др. Сам Кареев, помимо прочего, написал для словаря биографическую статью о Герье, ставшую первой в ряду аналогичных. В этой статье Кареев подчеркивал значение преподавательской деятельности Герье: «его курсы всегда отличались систематичностью, содержательностью и широтой взгляда. Он положил начало семинариям по всеобщей истории, значительно повлиявшим на успех исторической науки в Московском университете и на подготовку преподавателей для средних учебных заведений». Кареев отмечал, что «в своих курсах и в печатных трудах Герье является представителем историко-

⁹⁶ Письма Н.И. Кареева. С. 127.

⁹⁷ Там же. С. 128. Ответ Герье: НИОР РГБ. Ф. 119. К. 15. Ед. хр. 197–203. Л. 9.

⁹⁸ Письма Н.И. Кареева. С. 128, 132, 133, 136.

⁹⁹ Речь идет об издательском проекте «История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время», который редактировали Н.И. Кареев и И.В. Лучицкий.

¹⁰⁰ *Герье В.И.* Письмо Н.И. Карееву от 22 января 1892 // НИОР РГБ. Ф. 119. К. 15. Ед. хр. 197–203. Л. 8.

¹⁰¹ Историческое обозрение. 1892 № 4. С. 296–302.

¹⁰² *Корелин М.С.* Письма к Н.И. Карееву // НИОР РГБ. Ф. 119. К. 16. Ед. хр. 35–44. Л. 1–1 об, 7–7 об.

философского мировоззрения, чуждого какой-либо исключительности»¹⁰³. Позже Кареев писал: «Та оценка его научной мысли и литературной манеры, которая у меня прочно сложилась, и заставила меня обращаться к Герье, когда я, в качестве редактора исторического отдела в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона, находил, что ту или другую ответственную статью мог бы написать именно он, и не раз у я, кажется в этом отношении не ошибся»¹⁰⁴.

В эти годы между двумя учеными завязываются не только тесное деловое сотрудничество, но и теплые личные отношения. Кареев неизменно навещает Герье, приезжая в Москву, в письмах передает приветы его жене Авдотье Ивановне и другим членам семьи.

Первая русская революция обострила всегда существовавшие политические разногласия во взглядах Кареева и Герье. Первый стал активным деятелем партии кадетов, Герье – одним из идеологов партии октябристов. Но, несмотря на это, Кареев решил поддержать учителя в очень сложный для того момент, когда Герье из-за обструкции студентов вынужден был уйти из Московского университета. Среди участников студенческой акции, направленной против Герье, был и сын Кареева Константин. По инициативе Кареева, сын написал письмо престарелому профессору с извинениями: «Летом я совершенно случайно узнал от отца, сколько теплого чувства хранит он к Вам – своему учителю. Он не говорил о своем отношении к Вам, но я почувствовал из разговора, что в Вас он видит не только лицо, имеющее с ним те или иные деловые отношения, а человека, радости и горести которого он может принимать к сердцу»¹⁰⁵. В тоне письма чувствуется уважение, внушенное отцом, к благородству и мужеству Герье, который пошел против «большинства» при принятии заявления Московской Думы в 1904 г. Кареев признавал право учителя на отстаивание своих взглядов. Позже он писал: «При всем своем консерватизме Герье не может быть обвинен в искательстве [...] Самое назначение Герье в члены Государственного Совета было для него неожиданным: лично он его не добивался. В Москве его независимый нрав был хорошо известен и ставил ему в плюс даже теми, кому сам он не особенно нравился»¹⁰⁶.

В 1907 г. Кареев планировал издать юбилейный сборник статей в честь 70-летия Герье. В этом сборнике он хотел подробно рассказать о жизни Герье, оценить его научную деятельность, опубликовать воспо-

¹⁰³ Кареев Н.И. Герье, Владимир Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. 16. С. 574.

¹⁰⁴ *Анналы*. 1922. № 1. С. 163.

¹⁰⁵ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр.4. Л. 1.

¹⁰⁶ *Анналы*. 1922. № 1. С. 162.

минания о нем¹⁰⁷. Но эти планы не осуществились. В 1913 г. Герье тепло поздравляет Кареева с 40-летием его преподавательской деятельности: эти годы «протекли параллельно моим пятидесяти и потому мне весьма памятливы и близки»¹⁰⁸. Кареев в своем ответе отмечает роль учителя в своей судьбе: «Конечно, я не забыл того, что историком из филолога я сделался благодаря Вашему преподаванию». Знаменательна подпись под этим письмом: «Уважающий Вас Ваш старый ученик Н. Кареев»¹⁰⁹.

О признании Владимиром Ивановичем Кареева не просто учеником, а товарищем в сообществе российских историков, развивающем традиции Грановского и Соловьева, о том, что Герье как бы вписал ученика в единую генерацию поколений вместе со своими учителями свидетельствует такой факт. Во время одного из посещений Кареевым Москвы в начале XX века, Герье пригласил его на обед. «За столом мы сидели вдвоем, и я был несколько удивлен появлением бутылки шампанского у расчетливого Владимира Ивановича, притом вина не любившего, – вспоминал Кареев. – Когда бокалы были налиты, он мне напомнил, что это была годовщина (4 октября) смерти его обоих учителей Грановского и Соловьева, и просил выпить бокал стоя и молча, как это было принято на прежних поминальных трапезах в день кончины Грановского»¹¹⁰.

В последние предреволюционные годы между учеными продолжалось сотрудничество по поводу публикации статей в «Новом энциклопедическом словаре». Однако революционные события привели к разрыву привычных связей. О смерти своего учителя в 1919 г. Кареев узнал, когда находился в деревне Аносово.

Н.И. Кареев выполнил свой долг ученика перед учителем, посвятив оценке его жизни и деятельности несколько значительных трудов. Именно Карееву принадлежат два некролога¹¹¹. Он заложил основу историографического изучения научного наследия Герье, написал несколько статей, освещавших разные стороны его научных занятий. В письме к Н.П. Корелиной в 1923 г. он сообщает о своих планах написать книгу о Герье, если к этому не будет «внешних препятствий»¹¹². Эти планы не осуществились, но материалов, посвященных Кареевым Герье, так много, что можно считать вполне реалистичной предприня-

¹⁰⁷ Кареев Н.И. В.И. Герье // Голос минувшего. 1922. № 2. С. 220.

¹⁰⁸ Герье В.И. Письмо к Н.И. Карееву от 31 октября 1913 // НИОР РГБ. Ф. 70. К. 4. Ед. хр. 21. Л. 1–1 об.

¹⁰⁹ Письма Н.И. Кареева. С. 146.

¹¹⁰ *Анналы*. 1922. № 1. С. 157.

¹¹¹ Там же. С. 155–174. См. также: Кареев Н.И. Памяти ушедших: В.И. Герье // Голос минувшего. 1922. № 2. С. 220–223.

¹¹² Кареев Н.И. Письмо к Н.П. Корелиной от 1 сентября 1923 года // ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Т. 3. Л. 107 об.

тую В.А. Филимоновым попытку воссоздать основные контуры несостоявшейся книги. Вот так могло выглядеть это содержание: «1) биография Герье (частично она было воспроизведена в энциклопедической статье), 2) Герье как университетский преподаватель (об этом Карее поведал в так и не опубликованных при его жизни воспоминаниях «Прожитое и пережитое»), 3) Философия истории Герье (тема нашла свое отражение в увидевших свет только в 1996 г. «Основах русской социологии»), 4) Герье как историк (удалось реализовать только часть этого замысла в главе третьего тома «Историков французской революции», специально посвященной Герье)»¹¹³.

Подводя итоги обзору отношений Кареева и Герье, следует отметить, что факты неоспоримо свидетельствуют о том, что Кареев был первым представителем научной школы Герье. Он унаследовал от учителя широкий философский подход к истории. «Именно Герье, будучи философствующим историком, привил Карееву интерес к теоретико-методологическим проблемам исторической науки и понимание того, что без широкого и всестороннего взгляда на исторический процесс невозможна научная разработка его “частности”»¹¹⁴, – отмечает В.П. Золотарев. При этом различия в понимании соотношения идейных и материальных факторов в развитии исторического процесса, роли и месте социологии в гуманитарном знании, движущих силах исторического процесса у них присутствовали, но, в то же время, имелись и точки соприкосновения. И Герье, и Кареев считали себя продолжателями Грановского, что отразилось не только в их научном наследии, но и в многообразной просветительской деятельности. У них были общие европейские учителя, например, А. Токвиль, Ф. Гизо, Фюстель де Куланж. Кареев воспринял и методику работы Герье с учениками. Но его научная школа, в отличие от школы Герье, имела более четкие очертания, будучи объединена не только ученичеством, но и общей проблематикой.

Кареев унаследовал комплекс «невидимых», имплицитных знаний, полученных в научной школе Герье. «Лучшие черты педагогической манеры Герье были постигнуты Кареевым и постоянно им совершенствовались (тщательная текстуальная подготовка всех читаемых курсов, базирующихся на исторических источниках; полное знакомство с литературой на основных европейских языках; ознакомление студентов со своим опытом исследовательской работы и т.д.)»¹¹⁵.

В становлении Н.И. Кареева как ученого и педагога проявились, те механизмы формирования личностного знания, которые были запущены

¹¹³ Филимонов В.А. Н.И. Кареев и В.И. Герье... С. 188.

¹¹⁴ Золотарев В.П. В.И. Герье и Н.И. Кареев... С. 172.

¹¹⁵ Там же.

Герье. М. Полани писал о действии подобных механизмов: «Наблюдая учителя и стремясь превзойти его, ученик бессознательно осваивает нормы искусства, включая и те, которые неизвестны самому учителю»¹¹⁶. Принадлежность к научной школе Герье отнюдь не перечеркивает лидерство Кареева в «русской исторической школе», основание им собственной школы в Петербургском университете. Взаимодействие научных школ – процесс сложный и неоднозначный. Однако, на наш взгляд, именно ощущение себя лидером собственной научной школы, привело к тому, что в некрологе на учителя, Кареев высказал осторожные сомнения в существовании научной школы Герье, что отразилось в трактовке этого вопроса в последующей историографической традиции.

Один из самых известных в мировой историографии учеников В.И. Герье – **Павел Гаврилович Виноградов** (1854–1925). В своих воспоминаниях о нем В.П. Бузескул писал: «Это был во всех смыслах «большой человек» – высокого роста, внушительной внешности и мировой ученый»¹¹⁷. Он был одним из первых учеников, оставленных Владимиром Ивановичем при университете для приготовления к профессорскому званию, и единственным, с которым Герье тесно общался изо дня в день более 30 лет сначала как со студентом, затем как коллегой в Московском университете. Поэтому взаимоотношения учителя и ученика постоянно эволюционировали, пройдя в своем развитии несколько этапов.

Вопрос о влиянии Герье на Виноградова, об их взаимоотношениях в общих чертах изучен как в монографиях, так и в статьях, специально посвященных этой проблеме¹¹⁸. Особо следует выделить исследования А.В. Антощенко, в которых на основе анализа широкого комплекса архивных материалов, реконструируются взаимоотношения Виноградова и Герье¹¹⁹. Важным является и то, что один из основных

¹¹⁶ Полани М. Личностное знание. С. 87.

¹¹⁷ Бузескул В.П. Воспоминания о П.Г. Виноградове // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 1.

¹¹⁸ Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители... Ч. 1. С. 168–187; Петрушевский Д.М. П.Г. Виноградов как социальный историк. Л., 1930; Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке. С. 182–184; Моисеенкова Л.С. 1) Патриарх российской медиевистики: жизнь и научное творчество П.Г. Виноградова. Симферополь, 2000; 2) Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) // Портреты историков: Время и судьбы. В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 116–124; Малинов А.В. Павел Гаврилович Виноградов: социально-историческая и методологическая концепция. СПб., 2005 и др.

¹¹⁹ Антощенко А.В. 1) Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов (К вопросу о Московской исторической школе) // Мир историка: Владимир Иванович Герье. М., 2007. С. 5–10; 2) Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов (К вопросу о Московской исторической школе) // История идей и воспитания историей: Владимир Иванович Герье. М., 2008. С. 105–118; 3) Русский либерал-англофил Павел Гаврило-

источников изучения личных отношений – письма Виноградова к Герье опубликованы почти полностью и, при этом, в разных изданиях¹²⁰.

Письма ученика содержат ряд важных свидетельств не только о влиянии Герье на формирование научного мировоззрения Виноградова, но и о развитии науки всеобщей истории в последней трети XIX века. Правда, как отмечает А.В. Антощенко, характер писем наглядно иллюстрирует изменение отношения Виноградова к учителю: пространные и сердечные в 1870-е годы, они постепенно становятся короткими и сухо-вато-вежливыми в конце XIX в., деловыми и ностальгическими – после 1905 года. Поэтому нам представляется необходимым проследить поэтапно влияние Герье на Виноградова.

П.Г. Виноградов родился в 1854 г. в Костроме. Его отец, сын священника, стал директором одной из московских гимназий, а позже – начальником женских гимназий Ведомства императрицы Марии и сотрудничал с Н.И. Герье по вопросам женского образования. Виноградов поступил на историко-филологический факультет в 1871 г., в период расцвета научно-педагогической деятельности Герье, и сразу зарекомендовал себя как способный, талантливый, инициативный студент. Он стал посещать лекции и семинарские занятия по всеобщей истории у Герье. Вероятно, уже с этих первых университетских занятий Герье разглядел в первокурснике будущего ученого и стал заботливо опекать его, передавая ему не только знания и исследовательские навыки, но и маленькие «хитрости» будущей профессии, т.е. все то, что Полани называет «невным, имплицитным» знанием. Сам процесс передачи этого знания ученикам Герье слабо отражен в источниках, но, анализируя письма и обращения Виноградова к учителю, можно понять, что он ценил в методах обучения профессора. Проследим те методы в преподавательской деятельности Герье, которые сам Виноградов выделял как основные, не ограничиваясь в их характеристике только отзывами Павла Гавриловича.

В первую очередь это лекции Герье. 29 ноября 1898 года, на праздновании 40-летия научной и педагогической деятельности В.И. Герье Виноградов сказал: «Мои студенческие воспоминания о Вас относятся уже ко времени “четверть века назад”. Я слушал Вас в “Словесной вни-

вич Виноградов. Петрозаводск, 2010. С. 22–39; 4) Диссертации П.Г. Виноградова // Мир историка. Вып. 6. Омск, 2010. С. 85–121.

¹²⁰ Письма П.Г. Виноградова // *Цыганков Д.А.* Профессор В.И. Герье и его ученики. С. 147–214; Письма П.Г. Виноградова к В.И. Герье 1875–1903 гг. // *Средние века*. Т. 22. М., 1962. С. 267–282; Письма П.Г. Виноградова к В.И. Герье из Германии (1875–1876 гг.) / Публ. и комм. А.В. Антощенко // *История идей и воспитание истории*... С. 118–152. Отдавая дань высокому уровню всех этих публикаций, в дальнейшем мы ссылаемся на публикацию из книги Д.А. Цыганкова, как охватывающую все письма Виноградова к Герье (далее: Письма П.Г. Виноградова).

зу», когда в эту небольшую аудиторию собирался на Ваши лекции весь филологический факультет. Вы излагали предмет просто, дельно, безыскусственно, не стараясь привлечь внешними прикрасами и блесками, но в Вашем изложении было столько правды и смысла, богатое содержание так тесно облегчало руководящие идеи курсов, что аудитория у Вас не таяла, как это слишком часто бывает, а с возрастающим интересом следила за развитием исторической драмы»¹²¹.

Виноградов в своей педагогической практике тоже стремился к «смыслу», «богатому содержанию» и «руководящим идеям курса». Когда в письме к Герье из Берлина он пишет, что «от лекций немецких профессоров я ожидал большего по отношению к содержанию, не говоря уже о форме»¹²², можно понять, что сравнение делается с лекциями учителя. С иронией он пишет о лекциях «профессоров-фельетонистов», ставивших привлекательность формы выше содержания¹²³. Отмечавшаяся слушателями «полезность», «литературность», «последовательность» лекций Герье служила для них «прекрасным образцом». Виноградов ценил лекции Герье и, возможно, именно они сформировали у него убеждение в важности лекций как формы обучения, так как книги и учебники не могут заменить лекций, ибо не учитывают индивидуальных особенностей обучающихся, «условий и места». Он пишет: «В общем, русским профессорам не приходится стыдиться своих курсов ни перед кем: они вкладывали в них лучшее достояние своего знания и труда, делали для них даже больше, чем для специальных исследований или печатных изданий. Сколько можно у нас назвать талантливых профессоров, которые именно в этой-то форме проявляли свою ученость и умение!»¹²⁴.

Сказанное Виноградовым в полной мере относится к Герье. Однако не только лекции, но и семинары профессора способствовали пробуждению интереса к науке у Виноградова. «Уже на 1-м курсе я стал посещать и Ваши семинарии и с увлечением втянулся в работу над источниками и литературой» – обращался Виноградов к Герье¹²⁵. К моменту, когда Виноградов приступил к занятиям в семинаре, Герье уже обладал более чем пятилетним стажем его ведения и отработал определенные методические приемы. Первой формой семинарских занятий была усвоенная Герье в немецких университетах форма разбора и комментирования письменных источников. Это позволяло студентам освоить на практике элементарные

¹²¹ Виноградов П.Г. Речь на обеде по случаю 40-летней годовщины ученой деятельности В.И. Герье // НИОР РГБ. Ф. 70. К. 68. Ед. хр. 9. Л. 1–2.

¹²² Письма П.Г. Виноградова. С. 151.

¹²³ Там же. С. 160.

¹²⁴ Виноградов П.Г. Учебное дело в наших университетах // Виноградов П.Г. Россия на распутье. М., 2008. С. 137.

¹²⁵ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 68. Ед. хр. 9. Л. 2.

приемы исторической критики. В конце 1860-х – начале 1870-х гг. такими источниками были «Германия» Тацита, «Салическая правда». На основе изучения этих источников студенты писали рефераты. Возможно, сочинение Виноградова «Землевладение в эпоху Меровингов» выросло из такого реферата. Следующей формой являлся критический разбор новейшей исторической литературы¹²⁶. На старших курсах студенты готовили доклады по исследовательским темам с их защитой и коллективным обсуждением. Одним из таких докладов Виноградова был доклад на тему «Иосиф II и его законодательство»¹²⁷. А.В. Антощенко считает, что Герье «создал систему из нескольких отделений семинариев, нацеленную на формирование преемства исследовательской работы студентов от курса к курсу» и «в конечном итоге семинарий, на котором решались преимущественно исследовательские задачи, был вытеснен из университета и стал “домашним” подобием немецкого *privatissima*, но без оплаты»¹²⁸. Виноградов был активным участником этих семинаров, где близко познакомился с Н.И. Кареевым и С.Ф. Фортунатовым.

По письмам Виноградова к Герье, написанным во время его первой научной командировки в Германию, можно судить о том, какая форма семинара представлялась магистранту в эти годы лучшей. Он восхищается, что на семинаре Моммзена «увидел самый процесс его ученой работы», когда в руках профессора небольшая неизданная надпись «превратилась в целый родник исторических сведений». Для настоящего ученого «не существует слишком специальных и мелких вопросов», делает вывод Виноградов. «Всякий осколок прошедшего есть, если так выразиться, исторический микрокосм, в котором отражаются и соединяются великие всемирно-исторические силы»¹²⁹, – считает молодой ученый, но для этого надо знать определенные методы, которые будут действовать, по типу фразы «Сезам, откройся!». Дискуссии, диспуты, беседы были обычным делом на семинарах Герье. Вспоминая их, Виноградов обращался к учителю: «Как руководитель этих занятий, Вы сумели достигнуть двух трудно соединимых вещей: постановкой тем, ведением прений Вы придавали серьезное научное направление всему делу и в то же время представляли широкий простор собственной инициативе участников и свободе мнения»¹³⁰. Виноградов, возможно, вспоминая Герье и считая, что руководитель семинара должен обладать определенной твердостью

¹²⁶ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 14. Ед. хр. 4. Л. 3.

¹²⁷ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 19. Ед. хр. 1. Л. 5.

¹²⁸ Антощенко А.В. *Das Seminar: немецкие корни и русская корона* (о применении немецкого опыта «семинариев» московскими профессорами во второй половине XIX в.) // «Быть русским по духу... С 275–276.

¹²⁹ Письма П.Г. Виноградова. С. 152.

¹³⁰ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 68. Ед. хр. 9. Л. 1.

и жесткостью, видел, что немецкий профессор Бруннер «слишком добр и любезен» и не обладает необходимым для ведения диспута тактом, и это позволило Виноградову и «еще одному неглупому» господину «произвольно распоряжаться семинарием», что приводило к «отступлениям, занимавшим много времени»¹³¹. Обобщая в ходе заграничной командировки опыт изучения семинаров в Московском университете и университетах Германии, Виноградов приходит к выводу, что «главное дело при семинарской работе не в достижении каких-нибудь великих результатов – это дело ученого, а не ученика, а в приобретении известной сноровки в пользовании источниками, в усвоении метода»¹³². Именно такой методической строгостью и славился семинар Герье.

Еще одной претензией Виноградова к Бруннеру стало то, что «он слишком поверхностно знакомится с работами студентов»¹³³. Сравнение здесь опять с методами Герье: профессор внимательно вникал в текст представляемых сочинений. «При нем нельзя было надеяться отделаться каким-либо рефератом, плохо обдуманном и наскоро набросанным на бумагу», – вспоминал А.И. Соболевский¹³⁴. На семинарах формировались навыки исторической критики источников, подготовки реферативных обзоров, умения отстаивать полученные выводы в ходе дискуссий. Готовившиеся на старших курсах доклады для студентов зачастую были первым опытом создания небольших научно-исследовательских работ, которые подробно разбирались и анализировались учителем.

Помимо участия в семинаре Герье Виноградов приобщился к азам исследовательской работы, готовя сочинение «по конкурсу на получение медали». Данная форма работы была известна Герье со студенческих лет. Он трижды участвовал в подобных конкурсах и дважды получал золотые медали. Решение о присуждении медали происходило коллегиально и часто приводило к спорам между профессорами. Присуждение медали освобождало студента от написания кандидатского сочинения и открывало дорогу к оставлению при университете, поэтому профессора были заинтересованы в присуждении медали своему кандидату. Осведомленный об этих закулисных интригах, Герье постарался «подыграть» Виноградову. А.В. Антощенко считает, что тема «Землевладение в эпоху Меровингов» была предложена профессором на конкурс с учетом интересов ученика¹³⁵. Над этой темой Виноградов

¹³¹ Письма П.Г. Виноградова. С. 153, 161.

¹³² Там же. С. 166.

¹³³ Там же. С. 161.

¹³⁴ Соболевский А.И. В.И. Герье. Некролог // Известия Российской Академии наук. 1919. № 12–15. С. 570.

¹³⁵ Антощенко А.В. Диссертации П.Г. Виноградова // Мир историка. С. 89.

начинает работать в 1874 г. на третьем курсе. Сама постановка темы о землевладении в период генезиса феодализма для самого Герье не представляла чего-то необычного. Вопрос о землевладении франков по «Салической правде» ставился им на семинарских занятиях еще в конце 1860-х гг. Он обозначал феодализм как «особое раздробление власти, причем эта власть как бы прирастает к земле, сливается с землевладением»¹³⁶. Поэтому и в лекциях по истории средних веков Герье уделял внимание истокам возникновения феодального землевладения, которые он видел в древнегерманском обществе¹³⁷. Замеченный профессором интерес Виноградова к этой проблеме и привел к формулированию темы конкурсного сочинения. Конкурсное сочинение необходимо было представить к 1 ноября 1874 г., и Виноградов работал над ним во время летних каникул. Судя по его письму к учителю, Герье предложил ему использовать в работе сравнительно-исторический подход и не ограничиваться анализом землевладения у франков, а сравнить с землевладением у англосаксов, готов и лангобардов. Этот план, к сожалению, не был реализован в силу масштабности и нехватки времени. Виноградов пишет: «Я вполне понимаю, какие важные результаты может дать такое сравнение для понимания состояния землевладения у самих франков, насколько важно расширить кругозор, но делать нечего: приходится отказать от многого, чтобы привести в исполнение что-нибудь»¹³⁸.

Тема медального сочинения, а главное – сравнительный метод, предложенный Герье, определила сферу научных интересов ученого на долгие годы. Нереализованное сравнение характера землевладения у франков и лангобардов получило свое освещение в его магистерской диссертации, у англосаксов – в докторской. Но полностью, как указывает Л.С. Моисеенкова, «задуманное еще в студенческие годы сравнение форм становления феодализма в различных регионах Западной Европы в самой общей форме Виноградову удастся осуществить за три года до смерти в написанной для «Кембриджской средневековой истории» обобщающей главе «Феодализм»¹³⁹.

Виноградов получил золотую медаль за свое сочинение первым из учеников Герье. И этот прием затем Герье будет использовать в подготовке других своих учеников (М.С. Корелина, П.Н. Ардашева и др.).

После окончания Виноградовым университетского курса Герье ходатайствует перед факультетом об оставлении при университете отлич-

¹³⁶ [Герье В.И.] Современная историография. Германия. 1. Феодальный период // Исторический вестник. 1881. Май. С. 152.

¹³⁷ См.: НИОР РГБ. Ф. 70. К. 6. Ед. хр. 3. Л. 67.

¹³⁸ Письма П.Г. Виноградова. С. 149.

¹³⁹ Моисеенкова Л.С. Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925). С. 117.

ного студента, проявившего «любовь и способность к историческим наукам». Необходимо отметить роль Герье и в «организации» решения совета. Об этом говорил сам Виноградов, обращаясь к учителю: «И мне, и многим другим моим товарищам пришлось оценить Вас, как профессора, еще и с другой стороны: если Ваши ученики нуждались не только в получении, но и в поддержке, то они могли рассчитывать на Вас, “как на каменную гору”. Вы никогда не щадили себя, отстаивая других. За все это многочисленные ученики Ваши будут Вам всегда глубоко благодарны»¹⁴⁰. Таким образом, элементы наставнической деятельности Герье по отношению к Виноградову можно представить в его студенческие годы как систему: лекции – университетский семинар – домашний семинар – медальное сочинение – оставление профессорским кандидатом. Однако этим наставничество Герье не ограничивалось.

Герье заботился не только о моральном поощрении, он обеспечил для ученика получение выгодного заказа на перевод книги Гизо «История цивилизации во Франции»¹⁴¹. В 1874 г. Герье не мог добиться для Виноградова заграничной командировки за счет средств Министерства Народного Просвещения. Но он ходатайствовал о передаче ему факультетской стипендии, «имеющей освободиться» в ноябре 1875 г., после двухлетнего получения ее Н.И. Кареевым. И с 8 ноября 1875 г. Виноградов получает стипендию в 600 рублей¹⁴². Так благодаря усилиям Герье у выпускника появилась реальная возможность отправиться в заграничную поездку, чтобы усовершенствовать свои знания, полученные в Московском университете. Анализируя переписку 1875 года между Виноградовым и Герье, А.В. Антощенко реконструирует главные цели этой научной стажировки: «(1) Совершенствование методики исследовательской работы путем участия в семинариях ведущих немецких профессоров, (2) выработка программы магистерского экзамена и (3) подготовка к преподаванию в ходе посещения самого широкого круга лекционных курсов по всеобщей истории и самостоятельной учебной работы»¹⁴³.

На наш взгляд, к этим задачам следует добавить еще одну. По просьбе Герье, который в 1875 г. вплотную занялся изучением университетского вопроса в России в связи с намерениями властей пересмотреть устав 1863 года, Виноградов собирает сведения о работе экзаменационных комиссий в немецких университетах, о положении доцентов и про-

¹⁴⁰ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 68. Ед. хр. 9. Л. 2.

¹⁴¹ См.: Письма П.Г. Виноградова. С. 148–149. Перевод издан в 1877 г. См.: Гизо Ф. История цивилизации во Франции / пер. П.Г. Виноградова. М., 1877. Т. 1–2.

¹⁴² ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 207. Д. 13. Л. 1 об.

¹⁴³ Антощенко А.В. Русский либерал-англофил Павел Гаврилович Виноградов. Петрозаводск, 2010. С. 26–27.

фессоров¹⁴⁴; подготовленные им данные были использованы в статьях Герье¹⁴⁵ и повлияли на формирование собственной позиции молодого ученого, нашедшей отражение в его позднейших публикациях¹⁴⁶.

Занятия у Моммзена, Бруннера, Шеффера, Курциуса, Трейчке и других крупных ученых способствовали формированию научно-педагогических взглядов Виноградова. Его доклад о германском народном праве, подготовленный в семинарии у Бруннера был опубликован в престижном немецком журнале¹⁴⁷. В итоге, «главным приобретением» командировки явились обширные знания в области истории древнего мира и раннего средневековья, позволившие Виноградову по возвращении в Россию сразу же приступить к преподавательской деятельности.

Однако без усилий Герье начало преподавательской деятельности Виноградова могло бы задержаться. После возвращения ученика из Германии Герье устраивает его на Высшие Женские курсы, где и произошел дебют молодого преподавателя. Кареев вспоминает: «У меня были знакомые девицы, посещавшие эти лекции, и я помню, что они были довольны преподаванием Виноградова, а нужно заметить, что подбор профессоров там был наилучший»¹⁴⁸.

Виноградов начал с преподавания на женских курсах средневековой истории, но позже читал и новую историю, и историю Древнего Рима. Слушательницы вспоминали, что «лектор это был блестящий»: «Иногда профессор словно превращался в одного из ораторов древности, всегда кстати он умел сделать паузу и вдруг поражал притихнувших слушателей какою-нибудь потрясающей картиной»¹⁴⁹.

¹⁴⁴ Письма П.Г. Виноградова. С. 159–160, 168–173 и др.

¹⁴⁵ *Герье В.И.* 1) Свет и тени университетского быта // Вестник Европы. 1876. № 2. С. 646–709; 2) Наука и государство // Вестник Европы. 1876. № 10. С. 768–798; № 11. С. 344–384 и др.

¹⁴⁶ *Виноградов П.Г.* Учебное дело в наших университетах // Вестник Европы. 1901. Октябрь. С. 537–573 и др.

¹⁴⁷ *Winogradoff P.* Die Freilassung zu voller Unabhangigkeit in den deutschen Volksrechten // Forschungen zur Deutschen Geschichte. Bd. XVI. 1876. S. 599–608.

¹⁴⁸ Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2 об. Однако профессор Н.С. Тихомиров выступил против кандидатуры Виноградова, предлагая пригласить магистра А.С. Трачевского. Мнения членов совета разделились. Тогда Герье применяет тактику нажима на членов совета и ставит вопрос: «Считает ли [факультет] необходимым в будущем году преподавание средневековой истории студентам III курса, еще не слушавшим этого курса»? Члены совета единогласно соглашаются, и Герье тут же ставит вопрос: «Желает ли [факультет] пригласить кандидата Виноградова для чтения средневековой истории в будущем году»? Из 11 членов совета 7 проголосовали «за», 4 – «против», а Н.С. Тихонравов остался при «особом мнении» (ЦИ-АМ. Ф. 418, оп. 476, ед. хр. 1. Л. 21 об.).

¹⁴⁹ *Тимонова С.К.* Из воспоминаний курсистки // Владимир Иванович Герье и Московские Высшие Женские курсы: мемуары и документы. М., 1997. С. 138.

Сложнее обстояло дело с началом преподавания Виноградова в университете, где Герье не мог единолично принимать решения, и где шла постоянная конкуренция за штатные ставки не только между профессорами, но и между кандидатами самого Герье. Профессору пришлось преодолеть хитросплетения внутрифакультетских интриг, чтобы утвердить Виноградова сторонним преподавателем истории средних веков. В связи с тем, что преподавателей на кафедре всеобщей истории не хватало, а Кареев находился за границей, профессор ходатайствует перед советом о том, чтобы в будущем 1877/78 г. поручить кандидату Виноградову чтение средневековой истории с почасовой оплатой¹⁵⁰.

В 1878 г. после сдачи Виноградовым магистерского экзамена (часть вопросов для него Герье позволил сформулировать самому магистранту в связи с его научными предпочтениями¹⁵¹). Виноградов был командирован за границу на шесть месяцев для подготовки магистерской диссертации¹⁵². Тема «О происхождении феодализма в Италии» была оговорена с Герье еще до отъезда, что определило маршрут командировки по городам Италии. В подробных письмах к Герье Виноградов пишет о неразработанности поставленной проблемы в итальянской историографии: специальных исторических трудов по теме практически нет, а большинство источников не издано или «издано дурно». Это потребовало изучения палеографии для работы с рукописными грамотами¹⁵³. В связи с состоянием источников, обилием «сырого материала» Виноградов просит Герье разрешить ему сузить и конкретизировать тему, ибо «нечего помышлять о постановке вопроса во всей Италии», поэтому «можно ли будет ограничиться пока Лангобардскими провинциями, оставляя в стороне Романию, папскую область и Южную Италию?»¹⁵⁴.

По теме своей диссертации Виноградов изучил архивные источники, в том числе до того неизвестные, во Флоренции, Риме, Сиене, Ареццо, Монте Кассино, Беневенте и др.¹⁵⁵ В систематизации литературы (сторонников «германской» и «романской» теории), в ее анализе проявились привитые учителем навыки работы с историографическим материалом, в работе с архивными документами – источниковедческий талант Виноградова. Так, ему удалось обнаружить в архиве соборного капитула города Ареццо «неизвестный до сих пор отрывок строк в 15»,

¹⁵⁰ ЦИАМ. Ф. 418, оп. 476, ед. хр. 1. Л. 21 об.

¹⁵¹ См.: Письма П.Г. Виноградова. С. 158.

¹⁵² ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 46. Ед. хр. 455. Л. 5–5 об.

¹⁵³ Письма П.Г. Виноградова. С. 178–179.

¹⁵⁴ Там же. С. 180.

¹⁵⁵ Письма П.Г. Виноградова. С. 178–182; Виноградов П.Г. Исторические разыскания в итальянских архивах и библиотеках // ЖМНП. 1879. Ч. ССІ. Февраль (№ 2) Отд. 4. С. 151–159.

относящийся к тяжбе в 660 года между епископом Мавром и Сервандом. Беспokoясь, чтобы открытие «не вырвали у меня из рук» (так как Виноградов «на радостях рассказал кое-кому о своей находке»), он думает о написании статьи о неизвестном документе¹⁵⁶. Собранный им огромный архивный материал нуждался в дальнейшей систематизации, однако после возвращения из командировки Виноградов продолжил преподавательскую деятельность на Высших женских курсах и в университете, и поэтому работа над текстом диссертации затянулась.

Особенно напряженной оказалась ситуация в университете. В это время на историко-филологическом факультете уже читал новую историю в качестве стороннего преподавателя Н.И. Кареев. Можно предположить, что если бы не жесткие рамки штатного расписания, Герье для систематизации чтения курсов по кафедре всеобщей истории был готов оставить в университете обоих учеников. Беспрецедентное назначение официальным оппонентом на диспуте Кареева еще не защитившего диссертацию Виноградова можно рассматривать как вольное или невольное обострение конкуренции молодых ученых. Обвинения Кареевым Виноградова в том, что тот отделался на диспуте «бледными замечаниями», по мнению Антощенко, несправедливы: возможно, Кареев «не учел того, что его друг не хотел “навредить” ему своими замечаниями»¹⁵⁷. Выступая на диспуте Виноградов прямо заметил, что его возражения будут направлены только против отдельных пунктов диссертации, «которая в общем замечательна как по значительности положенного на нее труда и массе сообщаемых сведений, так и по искусной группировке богатого материала вокруг известных результатов»¹⁵⁸. Окончательное решение Герье в пользу Виноградова спровоцировало и вызывающее поведение Кареева на диспуте, после которого совместная работа на одной кафедре с ним представлялась профессору чреватой конфликтами.

В 1880 г. Виноградов вновь выступает официальным оппонентом, на этот раз на защите докторской диссертации М.М. Ковалевского «Общественный строй Англии в конце средних веков». Этот опыт несомненно помог Виноградову в подготовке собственной диссертации.

13 марта 1881 г. состоялся диспут по защите магистерской диссертации Виноградова «Происхождение феодальных отношений в лангобардской Италии». Официальными оппонентами выступили В.И. Герье и Н.А. Попов. Исследование Виноградова представляло собой значительное явление в российской историографии – это было первое монографическое исследование по истории средних веков, основанное на самостоя-

¹⁵⁶ Письма П.Г. Виноградова. С. 181. Задуманная статья не была написана.

¹⁵⁷ Антощенко А.В. Диссертации П.Г. Виноградова. С. 104, прим. 2.

¹⁵⁸ Критическое обозрение. 1878. № 9. С. 32.

тельной разработке большого массива архивных источников, в основном правового характера. В.П. Бузескул сравнивает этот «выдающийся труд» с диссертацией П.Н. Кудрявцева, посвященной той же стране и тому же периоду¹⁵⁹. «Но разница между ней и трудом Виноградова большая: это два этапа, два разных момента в развитии исторической науки» – пишет он¹⁶⁰. Если Кудрявцев сосредоточился на внешней истории Лангобардской Италии и «на культурной стороне», то в центре исследования Виноградова находились социально-экономические вопросы внутренней истории. Книга Виноградова представляла собой новую страницу и в изучении истории средневековой Италии и в исследовании общих проблем генезиса феодализма в Европе. Согласимся с Л.С. Моисеенковой: «первая книга Виноградова, подводящая итоги его ученической поры, не только заняла видное место в отечественной историографии, но и в определенной мере свидетельствовала о новом этапе в ее развитии»¹⁶¹.

В появлении книги, а значит и в переходе на новый этап развития науки всеобщей истории в России определяющую роль сыграл Герье. Подчеркиваемые в историографии различия в методологических позициях учителя и ученика были не столь большими, чтобы отрицать влияние Герье не только на выбор темы, ход работы, но и на концептуальные основы магистерской диссертации Виноградова, которые восходили к их общим немецким учителям. Как свидетельствуют ранние работы Виноградова, его взгляды на специфику истории как науки во многом схожи с взглядами его учителя. Он считал, что формулированию методологии исторического исследования должно предшествовать историографическое изучение проблемы. Как и Герье, Виноградов создавал историографические очерки; как и его учитель, высоко ценил труды А. Токвиля, Фюстель де Куланжа, Л. Ранке¹⁶². Виноградов, как и Герье, отмечал воспитательный потенциал истории, считал необходимым изучение идей и духовного развития человечества, был сторонником идеи всеобщей истории Грановского и теории исторического прогресса (в духе органической теории Спенсера)¹⁶³. Однако, несомненно, его позитивистская методология отличалась от гегельянства Герье. Оба ученых считали важным

¹⁵⁹ Кудрявцев П.Н. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим // Кудрявцев П.Н. Сочинения. М., 1889. Т. 3 (сама работа написана в 1850 г.).

¹⁶⁰ Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России. Т. 1. С. 172.

¹⁶¹ Моисеенкова Л.С. Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925). С. 117.

¹⁶² Виноградов П.Г. 1) Очерки западноевропейской историографии // ЖМНП. 1883. № 8–12; 2) Ранке и его школа // Русская мысль. 1888. Кн. IV. Отд. 2. С. 213–224; 3) Фюстель де Куланж // Русская мысль. 1890. Кн. I. Отд. 2. С. 83–89.

¹⁶³ Виноградов П.Г. 1) Т.Н. Грановский // Русская мысль. 1893. Кн. IV. Отд. 2. С. 44–46; 2) О прогрессе // Вопросы истории и психологии. 1898. Кн. 42. С. 254–313.

использование методов психологии, биологии, юриспруденции. Однако в своих конкретных исторических исследованиях Виноградов, по словам Д.М. Петрушевского, был «блестящим представителем эмпирической социологии». Е.А. Косминский даже считал, что Виноградов приближался «к историческому материализму, но лишь стихийно и никогда до конца»¹⁶⁴. Анализ лекционного курса Герье 1871–72 гг. демонстрирует сходство взглядов учителя и ученика на определение феодализма, наличия нескольких типов взаимодействия римского и германского элементов¹⁶⁵.

В ходе работы над магистерской диссертацией Виноградов, приняв методы научно-исследовательской работы Герье, превзошел уровень учителя по широте и глубине анализа архивного материала, новизне и аргументированности выводов. В работе над докторской диссертацией Виноградов выступает уже как оригинальный самостоятельный мыслитель. В обращении ученого к истории средневековой Англии можно усмотреть связь с проблемой генезиса феодализма, которая родилась еще в семинаре Герье, но, на наш взгляд, определенную роль здесь сыграло и оппонирование Виноградовым диссертации Ковалевского «Общественный строй Англии в конце средних веков». Роль Герье в подготовке докторской диссертации Виноградова заключалась в создании надежного тыла (отъезд молодого магистра в 1883 г. в Англию вызвал необходимость заменить его при чтении лекций), в советах по формулированию темы, в подготовке диспута, который состоялся 16 мая 1887 года и стал, по словам А.А. Кизеветтера, «подлинным праздником науки». Официальными оппонентами выступили В.И. Герье и М.М. Ковалевский.

Исследовательский талант Виноградова, его особый дар по поиску новых источников привели к тому, что им в английских архивах были сделаны настоящие открытия. Анализ обнаруженных им «Записных книжек» английского юриста XIII в. Г. Брактона, а также части «Сотенных свитков» 1279 года по графству Уорвик стал новым словом в английской историографии. Монография Виноградова «Исследования по социальной истории Англии в средние века» вызвала большой интерес в научных кругах Англии и стала началом ряда его исследований, посвященных английской истории¹⁶⁶. В возрасте 30 лет Виноградов приобрел, по словам Бузескула, «репутацию европейского ученого». Не характеризуя данный труд подробно, отметим, что приступая к работе над докторской диссертацией, Виноградов, как и в студенчестве, счи-

¹⁶⁴ *Петрушевский Д.М.* Указ. соч. С. 24; *Косминский Е.А.* Столетие преподавания истории средних веков в Московском университете // Историк-марксист. 1940. Кн. 7 (83). С. 103.

¹⁶⁵ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 6. Ед. хр. 3. Л. 2–3.

¹⁶⁶ См.: *Моисеев Л.С.* Павел Гаврилович Виноградов. С. 118–119.

тал необходимым посоветоваться с Герье о постановке темы. Так, анализируя письмо из Лондона от 23 сентября 1883 года, можно сделать вывод, что Виноградов обсуждал с Герье перед отъездом, как возможную тему диссертации «сравнительно-историческое развитие феодальных отношений в Западной Европе». Виноградов сетует на обширность обнаруженных в английских архивах материалов и беспокоится, что «при расширении задачи на Западную Европу вообще не хватит времени». Он пишет, что «землевладение – сравнительно-историческое исследование – очень меня привлекает по новизне приемов», но эта расширенная задача «потребуется слишком много» времени. Виноградов на распутье и просит Герье: «Посоветуйте: издали подробности не видно, но отчасти это преимущество»¹⁶⁷. С 1884 г. в письмах Виноградова все меньше подробностей об изучении поставленной проблемы. Ученый определился и уже не нуждался в советах Герье.

Не менее успешно складывалась преподавательская деятельность Виноградова в Московском университете. В 1880–90-е гг. Виноградов и Герье вместе работают над совершенствованием преподавания всеобщей истории, сформировав «габитус ученых-историков»¹⁶⁸. Анализируя отзывы студентов о лекциях Виноградова и Герье, Антощенко справедливо предостерегает от абсолютизации этих оценок, которые могут разительно меняться в зависимости от личности слушателей, времени их учебы в университете, личных предпочтений и т.д. Он указывает на общие черты преподавательской манеры учителя и ученика, заключавшиеся в системности лекций, широте научных интересов и «способности читать лекции практически по всем периодам всеобщей истории», что было важно для «взаимозаменяемости Герье и Виноградова» и позволило им «безболезненно для преподавания на факультете уезжать в заграничные командировки»¹⁶⁹. В одном из писем 1882 г. Виноградов иронично пишет Герье: «Вы наслаждаетесь видом Бадена и революционными мемуарами, а я несу на своих непривычных плечах бремя Всемирной истории»¹⁷⁰. В переписке 1880–90-х гг. отразились деловые отношения двух коллег, всемерно помогающих друг к другу и имеющих общие научные интересы. Так, Герье помогал ученику советами по организации семинариев¹⁷¹.

Постепенно популярность семинаров Виноградова растет. В 1890 г. помимо университетского семинара он стал проводить домашний семинарий по образцу Герье. В это же время по личным обстоятельствам зна-

¹⁶⁷ Письма П.Г. Виноградова. С. 196–197.

¹⁶⁸ Антощенко А.В. Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов. С. 106.

¹⁶⁹ Там же. С. 108–109.

¹⁷⁰ Письма П.Г. Виноградова. С. 189–190.

¹⁷¹ Там же. С. 192.

менитые вечерние семинары Герье практически сходят на нет. Семинар Виноградова стал своеобразным научным кружком. «Здесь встречались, вели научные споры, обсуждали новинки исторической литературы и уже известные ученые и начинающая молодежь. Квартира Виноградова была тогда центром оживленного общения московских историков»¹⁷². Здесь бывали и иногородние ученые Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий.

Все возрастающий авторитет П.Г. Виноградова в среде студенчества, появление в ней особой группы его сторонников – «павликиан» – пришлись на время, когда на кафедре всеобщей истории появился еще один ученик Герье – М.С. Корелин. Болезнь жены и сына привели к тому, что Герье вынужден был подолгу отсутствовать в университете, и даже когда он возобновлял занятия, то относился к ним уже не столь тщательно. Основные упреки – «старомодность» лекций, не меняющееся год от года их содержание свидетельствовали об определенном кризисе Герье-преподавателя, который можно объяснить личной трагедией, пережитой им в эти годы. В это время заменяет его в преподавании и выполняет разного рода поручения уже не Виноградов, а Корелин.

На наш взгляд, в это время лидерская школа Герье испытывает кризис. Рядом с ней в стенах Московского университета формируется школа П.Г. Виноградова, который в эти годы по уровню научного авторитета, активности педагогической и общественно-политической деятельности опережает учителя. Но при этом Виноградов никогда не претендовал в присутствии Герье на какое-то формальное лидерство и был корректен и уважителен к своему учителю. Будучи в Париже, он выполняет поручение Герье, встречаясь с его знакомым писателем Леруа-Болье, и в свою очередь просит Герье оказать в Москве протекцию его английскому знакомому. Когда у Герье тяжело заболела жена, Виноградов искренне беспокоится: «Не могу не выразить Вам своего глубокого сочувствия и сожалею, что ничем нельзя быть Вам полезным»¹⁷³.

В одном из писем к Корелину в 1892 г. Герье пишет о возможности своего ухода из университета по семейным обстоятельствам¹⁷⁴. Это был тот момент, который мог привести к естественной смене лидерства на кафедре всеобщей истории. Но Герье остался и предпринял попытку объединить всех своих учеников разных поколений в новом научном сообществе – Историческом обществе Московского университета.

Потребность в создании научного общества, объединяющего ученых, занимающихся всеобщей историей, осознавалась давно. В Московском университете действовало более десяти обществ, объединяющих

¹⁷² Моисеенкова Л.С. Павел Гаврилович Виноградов. С. 120.

¹⁷³ Письма П.Г. Виноградова. С. 201–202.

¹⁷⁴ ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 9 об – 10.

естествоиспытателей, юристов, математиков, психологов, медиков и т.д. Еще в 1804 г. было основано Общество истории и древностей российских, основной задачей которого было изучение национальной истории, издание полного свода сохранившихся древнерусских летописей. С 1893 г. во главе общества стоял Ключевский¹⁷⁵. В 1889 г. Кареев основал Историческое общество при Петербургском университете (его членом был и Герье). Это общество выпускало журнал «Историческое обозрение»¹⁷⁶.

Еще в 1890 г. идея основания нового исторического общества зародилась у Виноградова. Корелин в письме к Карееву спрашивает: «В каком положении находится Ваше историческое общество? У нас этим очень заинтересован Виноградов и просит меня достать у Вас подробные сведения»¹⁷⁷. Инициативу создания нового общества взял в свои руки Герье. В начале 1893 г. он написал проект устава Исторического общества и поднял вопрос о его создании на Совете факультета. 20 января дома у Герье устав обсуждался профессорами Виноградовым, Корелиным, Ключевским. 6 мая было подано прошение в Совет Московского университета об открытии общества¹⁷⁸. 27 сентября Устав был утвержден Министром народного просвещения И.Д. Деляновым¹⁷⁹. Однако началу работы помешали разногласия между сторонниками Виноградова и Герье. Вызывающее поведение П.Н. Миллокова, который добивался, чтобы председателем стал Виноградов, едва не привело к срыву деятельности общества. Но даже в самый напряженный момент, Виноградов сохранял тактичное и уважительное отношение к Герье, что дало возможность постепенного перехода конфликта в спокойное деловое сотрудничество, которое, увы, не отличалось прежним доверительным характером.

Виноградов, как и Герье, не замыкался в рамках научной деятельности и считал своим долгом способствовать просвещению широких кругов российского общества. Во второй половине 1890-х гг. Герье и Виноградов стали соратниками не только в университете, но и в Московской городской думе. В 1897 г. Виноградов начал свою работу в Комиссии о пользах и нуждах общественных, председателем которой был Герье¹⁸⁰. Затем Виноградов стал председателем училищной комиссии. В вопросах расширения и развития народного просвещения два профессора высту-

¹⁷⁵ Императорский Московский университет. С. 516.

¹⁷⁶ Николай Иванович Кареев. Библиографический указатель (1869–2007) / Сост. В.А. Фильмонов. Казань, 2008. С. 15.

¹⁷⁷ НИОР РГБ. Ф. 119. К. 16. Ед. хр. 35–44. Л. 9 об.

¹⁷⁸ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 69. Ед. хр. 8. Л. 1–2.

¹⁷⁹ Устав Исторического общества при Московском университете // Издания Исторического общества при Московском университете. Рефераты, читанные в 1895 году. М., 1896. С. 1–2.

¹⁸⁰ Антощенко А.В. Русский либерал-англофил... С. 77.

пали единым фронтом на заседаниях думы. Наиболее важным начинанием Виноградова на посту председателя училищной комиссии была разработка мер по обеспечению всеобщего начального обучения в Москве. Инициативы Виноградова пересекались с проектами Герье по преобразованию сиротских приютов в профессиональные школы, где учащиеся могли получить не только азы грамотности, но и рабочую профессию¹⁸¹.

В 1898 г. Виноградов стал одним из членов-учредителей Педагогического общества при Московском университете. Членом этого общества был и Герье. К работе на ниве просвещения Виноградов активно привлекал своих бывших кружковцев – «павликиан». Так С.П. Моравский стал одним из организаторов исторической группы комиссии по организации домашнего чтения при Учебном отделе Общества распространения технических знаний, а затем и руководителем, сменив на этом посту Виноградова¹⁸². Ученики Виноградова приняли участие в задуманном им издании «Книги для чтения по истории средних веков»¹⁸³.

В 1898 г. Виноградов принял активное участие в организации празднования 40-летия научной и педагогической деятельности Герье. 20 ноября 1898 г. он выступил на заседании факультета с предложением составить приветствие Герье от членов факультета. С Корелиным они обсуждали возможность издания юбилейного сборника, которая, к сожалению, не реализовалась¹⁸⁴. Виноградов выступил с прочувствованной речью на самом юбилее, в которой отметил влияние лекций, семинаров, нравственной позиции учителя на учеников. «Мы должны поблагодарить Вас за последний и главный урок, который Вы даете нам всю свою деятельностью: она имеет то возвышающее, воспитывающее влияние, которого мы ищем в биографиях замечательных людей»¹⁸⁵.

Герье и Виноградов сотрудничали в борьбе за университетскую автономию, в защите студентов от необоснованных репрессий. В 1894 г. Виноградов подписал письмо 42 профессоров, инициатором которого был Герье. В 1901 г. в университете начались студенческие беспорядки. Была создана Комиссия для выяснения причин волнений и мер по упорядочению университетской жизни под руководством Д.Н. Зернова. В ко-

¹⁸¹ Непосредственно организацией профессиональных школ в Москве занималась дочь Герье Елена Владимировна, которая сотрудничала в вопросах образования с Виноградовым и принимала участие в работе Училищной комиссии. См.: *Герье Е.В. Автобиография* // НИОР РГБ. Ф. 70. К. 88. Ед. хр. 2.

¹⁸² АРАН. Ф. 1830. Моравский Сергей Павлович. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 5.

¹⁸³ См.: *Книга для чтения по истории Средних веков* / Сост. кружком преподавателей под ред. проф. П.Г. Виноградова. Вып. 14. М., 1896-1899.

¹⁸⁴ См.: *Виноградов П.Г. Письма к Корелину М.С. от 20 ноября 1898 г.* // ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 1.

¹⁸⁵ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 68. Ед. хр. 9. Л. 2.

миссию был избран и Герье, Виноградов стал одним из ее активнейших членов, инициатором наиболее прогрессивных положений из подготовленного доклада¹⁸⁶. В обстановке усиливающихся студенческих волнений (которые отчасти спровоцировало молчание Герье, не выступившего против кляузы В.П. Мещерского, направленной против слушательниц Высших женских курсов), Виноградов постарался занять позицию между студентами и министерством. 28 октября он возглавил комиссию для руководства курсовыми собраниями, что вызвало неудовольствие министерства. 19 декабря Виноградов подал в отставку, рассчитывая, что его примеру последуют другие профессора. А.В. Антощенко считает, что это был скорее демонстративный жест, чем желание уйти из университета. Между тем профессора, поддерживавшее Виноградова, когда ему прочли назначение в товарищи министра, «поспешили спрятаться»¹⁸⁷.

21 декабря Виноградов уезжает с семьей за границу, еще не зная, что расстанется с университетом надолго. Проводить его на вокзале собралось 300–400 студентов, курсисток, приват-доцентов. «Замечательно, что из профессоров был только один В.И. Герье – старый учитель П.Г. Виноградова. Говорят, что, когда зашла речь о сочувственном адресе Виноградову, один из профессоров (кн. Трубецкой) заявил, что ведь это значит подать в отставку»¹⁸⁸, – пишет неизвестный корреспондент П.Б. Струве.

В 1903 г. Виноградов становится профессором по кафедре сравнительного правоведения Оксфордского университета, но мечтает о возвращении в Московский университет. Он пишет Герье: «Русские дела идут так, что пропадает всякая разумная надежда на то упорядочение положения в университете, которое сделало бы для меня возможным вернуться в Москву [...]. Вас же лично прошу на минуту вернуться памятью к прошлым годам и принять мою искреннюю признательность за руководство и помощь во многих случаях моей жизни»¹⁸⁹. Еще более пронзительно звучат признания Виноградова в письме к своему ученику С.П. Моравскому от 21 февраля 1904 года. Он пишет о «нравственной связи с московскими историками», о надежде когда-нибудь «получить возможность опять действовать среди вас и вместе с вами». Он заканчивает письмо словами: «Надеюсь, что история снимет это противоречие и откроет мне возможность работать на родине. Пока же мне остается работать для науки, в которой я вижу вторую родину»¹⁹⁰.

¹⁸⁶ См.: Антощенко А.В. Русский либерал-англофил... С. 100–115.

¹⁸⁷ Там же. С. 150–151.

¹⁸⁸ РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 2. Д. 147. Л. 63. Благодарим А.В. Антощенко за предоставленные выписки.

¹⁸⁹ Письма П.Г. Виноградова. С. 208.

¹⁹⁰ АРАН. Ф. 1830. Оп. 1. Д. 107. Л. 15 об – 16.

Осенью 1905 года Виноградов ненадолго возвращается в Москву. Он с позиций либерала-англофила отстаивал для России конституционный путь постепенного реформирования страны. Л.С. Моисеенкова считает его позицию кадетской¹⁹¹, но нам представляется более аргументированным мнение А.В. Антощенко о том, что с кадетской программой у Виноградова было много расхождений, а с октябристами его «сближало прежде всего стремление, опираясь на положение манифеста 17 октября, заняться созидательной работой по реформе общественного устройства»¹⁹². Таким образом, в отличие от других учеников Герье, Виноградов в этот знаковый период российской истории оказался ближе к позиции учителя, хотя и стремился к сочетанию элементов программ и кадетов, и октябристов, в отличие от однозначно октябристской позиции Герье.

В целом политические взгляды Виноградова в эти годы весьма близки по умеренности политическим взглядам Герье образца 1870-х гг., времени студенчества Виноградова (к началу XX в. политическая платформа Герье эволюционировала вправо). В своей лекции, прочитанной в Кембриджском университете в 1902 г., он назвал царствование Александра II самым славным периодом в истории России, когда «преисполненное идеалами справедливости и независимой мысли» образованное меньшинство российского общества сотрудничало с правительством. Сами реформы 1860-х годов Виноградов называл «мирной революцией», которая изменила все сферы жизни русского общества¹⁹³.

В 1904 г. Герье покинул университет. В 1906 г. Виппер предложил на должность профессора кафедры всеобщей истории Д.М. Петрушевского, ученика Виноградова. Однако совет факультета счел необходимым предложить вакантную должность Виноградову. Тот вежливо отказался и просил подождать, так как срок его избрания профессором в Оксфордском университете истекал в марте 1907 года. «Большинство совета», по свидетельству Д.Н. Егорова, «было глубоко обижено», и ординарным профессором был избран Петрушевский. Тем не менее, ректор А.А. Мануйлов оставил в силе предложение Виноградову вернуться «как скоро обстоятельства позволят».

С 1908 по 1911 г. Виноградов преподавал в Московском университете на должности сверхштатного профессора, на осенний семестр приезжая для этого из Оксфорда, где продолжал занимать кафедру. В 1911 г. в знак протеста против политики нового министра народного просвеще-

¹⁹¹ *Моисеенков Л.С.* Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925). С. 122.

¹⁹² *Антощенко А.В.* Русский либерал-англофил... С. 186–187.

¹⁹³ *Vinogradoff P.* The Reforming Work of the Tzar Alexander II // Lectures on the History of the Nineteenth Century, delivered at the Cambridge University Extension summer Meeting August 1902 /. Ed. by F.A. Kirkpatrick. Cambridge: University Press, 1902. P. 251.

ния Л.А. Кассо Виноградов уходит в отставку, навсегда покидает родной университет и возвращается в Англию. Его общение с учителем свелось к редким письмам с неизменным «поклоном Авдотье Ивановне и Елене Владимировне» и с подписью «Искренне преданный П. Виноградов»¹⁹⁴. Во время редких визитов в Россию Виноградов, по словам А.Н. Савина, был «преувеличенно пессимистичен». Савин записывает в своем дневнике в 1912 г., что Павел Гаврилович «России пророчит не особенно далекую революцию. Вообще в его речи заметен тон раздраженного эмигранта»¹⁹⁵. В последние годы жизни связи Виноградова с Московским университетом ослабевают, а после 1917 г. его общение с учеными в России практически прекращается.

Научное наследие П.Г. Виноградова востребовано и сейчас. Ряд выдающихся ученых Англии, США, Германии, Италии, Норвегии считали его своим учителем. Бузескул заканчивает очерк о нем следующими словами: «П.Г. Виноградовым по праву могла гордиться Россия, ибо, хотя последние 24 года своей жизни он работал за её пределами, но его труды способствовали поднятию престижа русских ученых и являлись достижением мировой науки, а следовательно и русской»¹⁹⁶.

Принадлежность Виноградова к научной школе Герье не вызывает сомнения, несмотря на некоторое расхождение с учителем в методологии и в проблематике исследований. Виноградов был учеником «раннего» Герье, адаптировавшего к своему гегельянству элементы позитивизма, испытывавшего интерес к проблемам генезиса феодализма, а через это и к его социально-экономической составляющей. От учителя Виноградов унаследовал методическую строгость в анализе источников, интерес к историографическим штудиям¹⁹⁷. Его педагогические взгляды, методика лекционных и семинарских занятий складывались под влиянием Герье, но Виноградов сумел создать на семинарах «дух поиска нового». По словам Б.Г. Сафронова, он не противопоставлял себя членам кружка, а был первым среди равных. По воспоминаниям А.А. Кизеветтера, «царил, однако, Виноградов, сгруппировавший около себя отборный кружок магистрантов и студентов на своих мастерски веденных исторических семинариях»¹⁹⁸. Усовершенствовав методику семинаров Герье, изменив

¹⁹⁴ Письма П.Г. Виноградова. С. 210-211.

¹⁹⁵ Далин В.М. А.Н. Савин: «Nihil admirari!» (Дневник историка) // Исторические этюды о французской революции. Памяти В.М. Далина (К 95-летию со дня рождения). М., 1998. С. 45.

¹⁹⁶ Бузескул В.П. Всеобщая история... С. 187.

¹⁹⁷ В 1883-1885 гг. Виноградов вел в «Журнале министерства народного просвещения» рубрику «Очерки западноевропейской историографии», опубликовав 11 статей, посвященных анализу новейшей исторической литературы.

¹⁹⁸ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера. С. 83.

проблематику в сторону более интересовавшей молодежь экономической стороны социальной жизни, Виноградов твердо держался правила, вынесенного из сравнения семинара Герье и Бруннера, что профессор не должен упускать руководство дискуссией на семинаре.

К рубежу 1880–1890-х гг. Виноградов создал собственную научную школу, в которой воплотились как черты школы Герье, так и новые исследовательские установки. Он отошел от «патриархального самовластия учителя на занятиях», сформировав «доверительные демократические отношения учителя и ученика», объединявшие членов его кружка. Эти две генетически связанные лидерские школы нельзя противопоставлять, учитывая многолетнее плодотворное сотрудничество двух профессоров в Московском университете. Относительно ряда студентов, можно говорить о «двойном учительстве», когда научное становление студента проходило под влиянием и Виноградова, и Герье (например, Д.Н. Егоров, С.П. Моравский, Р.Ю. Виппер и др.). В то же время, к ученикам Виноградова можно причислить не только тех, кто защитил под его руководством магистерские диссертации, но и других ученых, в том числе тех, которые специализировались по истории России и считались учениками Ключевского. Так, несомненным является воздействие Виноградова на П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, Ю.В. Готье, М.Н. Покровского.

Н.В. Гришина отмечает: «...ученики В.О. Ключевского перенимали педагогические приемы П.Г. Виноградова, чьи семинары в годы обучения в университете казались им демократичными формами учебных занятий, более значимыми для изучения методов научной работы. Именно поэтому семинары П.Г. Виноградова неофиты ценили больше, чем догматичные «специальные лекции» В.О. Ключевского»¹⁹⁹. Герье и Виноградов соединенными усилиями способствовали формированию исторической школы Московского университета, создали систему отбора и подготовки молодых историков. А.В. Антощенко пишет: «Основу этой системы составлял высокий идеал исторической науки, стремление к воплощению которого в исследовательской и педагогической практике профессоров было ее системообразующей связью»²⁰⁰.

В.И. Герье и П.Г. Виноградов принадлежали к разным поколениям не столько по возрасту, сколько по этапам развития исторической науки и в их взаимоотношениях ярко проявился не столько межличностный, сколько межпоколенный конфликт. В общении учителя и ученика можно выявить следующие этапы:

I этап (1870-е – начало 1880-х гг.) – время наставничества Герье и плодотворного ученичества Виноградова.

¹⁹⁹ Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке... С. 120.

²⁰⁰ Антощенко А.В. Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов. С. 117.

2 этап (вторая половина 1880-х – 1894 г.) – постепенное изменение соотношения статусов, научный и личностный рост Виноградова, предусматривавший смену ролей в данной диаде. Герье, взрастив Виноградова, должен был, если не отойти в сторону, то передать ему часть полномочий формального и неформального лидерства, обеспечив тем самым разумное сочетание традиций и новаций в университетском преподавании. Но в жизненной практике Герье не существовало подобного примера прижизненной смены лидеров. Его учителя и предшественники по кафедре всеобщей истории, внося свой вклад в совершенствование преподавания всеобщей истории, уходили в мир иной в расцвете сил, на взлете своей деятельности. Необходимое для прогресса сочетание традиций и новаций требует периодической смены лидерства. Конфликт, развернувшийся вокруг Исторического общества, способствовал окончательному повороту в настроениях Герье. Своего преемника он отныне видел не в Виноградове (который де-факто им уже являлся), а в М.С. Корелине.

3 этап (конец 90-х XIX в. – начало XX в.) – в отношениях Герье и Виноградова наступает разумное равновесие, выразившееся в восстановлении уже не теплых, но взаимно уважительных отношений. В это время Герье бессознательно препятствовал карьерному росту ученика и тем способствовал тому, что при возникновении дополнительных условий Виноградов был готов попробовать себя на ином поприще.

Ученик, переросший своего учителя, является гордостью последнего и показателем его педагогического таланта. Виноградов вышел из школы Герье и вместе с ним способствовал созданию Московской исторической школы; его научная деятельность вела к расцвету русской школы всеобщей истории и признанию ее достижений мировой историографией.

Михаила Сергеевича Корелина (1855–1899) В.П. Бузескул называл «ближайшим и любимым учеником» В.И. Герье, замечая, что он, по выражению Н.И. Кареева, *enfant cheri* (любимое дитя) учителя²⁰¹. Несмотря на появляющиеся в современной историографии сомнения в том, что именно Герье был «духовным наставником Корелина»²⁰², утверждения Бузескула и Кареева заслуживают доверия²⁰³. По степени личной близости

²⁰¹ Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России XIX и начала XX века. Л., 1931. Ч. II. С. 40.

²⁰² См.: Скворцова Т.Н. В.И. Герье и М.С. Корелин // Средневековый город: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 17. Саратов, 2006. С. 112.

²⁰³ Б.Г. Сафронов отмечал, что «вызрелание потребности заняться эпохой Возрождения сохранила нам переписка М.С. Корелина с В.И. Герье», которая относится ко времени после окончания им университета (см.: Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории в работах М.С. Корелина. М., 1984. С. 24).

сти, постоянству контактов, душевности в общении с учителем Корелин стоит особняком среди других учеников Герье, отношения с которыми имели зачастую неровный характер. Анализируя многолетнюю переписку Герье и Корелина, записи в дневниках последнего, можно сравнить их отношения с отношениями заботливого отца и благодарного сына. Однако это вовсе не означает, что Корелин был alter ego Герье. Его мировоззрение формировалось под влиянием многих факторов, в том числе под влиянием других выдающихся ученых, входивших в его окружение.

Корелин родился в крестьянской семье и в годы учебы был вынужден сам зарабатывать на жизнь, что сближает его судьбу с судьбой рано осиротевшего, небогатого в студенчестве Герье. Образование стало для Корелина «социальным лифтом», но это восхождения потребовало от него значительно больше усилий, чем от других учеников Герье.

В 14 лет в 1869 г. Корелин поступает в Первую Московскую мужскую гимназию, оказавшись самым старшим среди одноклассников. Через одного из них, младшего брата А.А. Соколова, в 1873 г. он знакомится с Кареевым. Последний позже вспоминал, что его сразу заинтересовал находчивый и остроумный юноша, которого он назвал «мыслящим реалистом»²⁰⁴. Корелин отличался повышенным интересом к демократической прессе, увлекался произведениями Д.И. Писарева, Н.К. Михайловского, П.Л. Лаврова. В 1876 г. он поступает на историко-филологический факультет Московского университета и одним из первых исторических курсов, которые он прослушал, были лекции по истории XIX века, которые читал только что вернувшийся из-за границы Кареев.

По свидетельству Герье, курс, на котором Корелин учился, был самым многочисленным и выдающимся по составу. С первых дней началась его дружба с Р.Ю. Виппером, некоторые лекции он слушал вместе с П.Н. Милюковым, поступившим годом позже, и Е.Н. Щепкиным, учившимся на три курса младше. Герье стал выделять его среди участников своего семинара только на третьем курсе. Корелин к тому времени был уже стипендиатом, имел по всем предметам отличные оценки²⁰⁵. Герье вспоминал, что в семинаре он был «самым усердным и деятельным». Судя по разнообразию тем докладов, подготовленных в семинаре Корелиным («Преступление и наказание по Салической правде», «Разбор сочинений Луипранда Креманского», «Разбор жизнеописания Генриха IV» и др.), его научные интересы еще не сложились. По разным курсам

²⁰⁴ Кареев Н.И. М.С. Корелин как историк гуманизма // *Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Критическое исследование*. Т. I. СПб., 1914. Изд. II. С. VIII.

²⁰⁵ Сводный список баллов студентов историко-филологического факультета за все четыре курса. За 1876–1877 гг. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 5. Л. 24.

он также подготовил рефераты «Разбор мемуаров маркиза де-Феррьера», «Мирабо», «Личность царя Ивана IV Васильевича Грозного по народным сказаниям», «Разбор мемуаров американского посла в Париже Морриса». Объединяет эти рефераты внимание к роли личности в истории, что противоречило наметившейся в это время позитивистской тенденции негативного отношения к «историческим героям», проявившейся в ряде высказываний А.А. Шахова, П.Б. Струве, П.Г. Виноградова²⁰⁶.

В 1880 г. Герье оставляет М.С. Корелина на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. Выбор профессора (а у него он был среди талантливых однокурсников Корелина) определялся не только научной одаренностью кандидата, но и личными симпатиями. «Меня всегда привлекала в этом юноше, вышедшем из некультурной среды и испытывавшем на себе на первых шагах жизни ее суровость, – его замечательная... прирожденная культурность, выражавшаяся в его эстетических вкусах, в его идеалистических взглядах, в его способности понимать гениальные произведения западных литератур и ценить культурные подвиги отдаленных эпох и чуждых народов, – выражавшаяся, наконец, в полном отсутствии тех свойств и страстей, которые позволяют видеть лишь изнанку вещей» – вспоминал Герье²⁰⁷.

1 июня 1880 г. Корелин заканчивает университет, а 11 июля женится²⁰⁸. Перед свадьбой он считал необходимым познакомить учителя со своей избранницей²⁰⁹. Семья Герье и Корелиных сдружилась, проводили вместе вечера, посещали театр. Рождение дочери потребовало от Корелина усилий по материальному обеспечению семьи. Герье ходатайствует о назначении ему стипендии Т.Н. Грановского, а позже стипендии Министерства народного просвещения²¹⁰. Еще в 1880 г. Герье предложил Корелину преподавать на Высших женских курсах, где тот со временем стал исполнять обязанности заместителя директора, помогая Герье в организации педагогического процесса и решении хозяйственных проблем. Кроме того, в 1881–88 гг. Корелин преподавал в гимназических классах Лазаревского института восточных языков и в 1882–85 гг. – в консерватории²¹¹. В разные годы он также работал в женской гимназии, на коллективных уроках, читал публичные лекции²¹².

²⁰⁶ Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории... С. 14.

²⁰⁷ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 33. Ед. хр. 3. Л. 42 об.

²⁰⁸ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 32. Ед. хр. 14. Л. 2.

²⁰⁹ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 32. Ед. хр. 16. Л. 2.

²¹⁰ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 49. Ед. хр. 465. Л. 1, 7–14.

²¹¹ Императорский Московский университет. С. 348.

²¹² Никс Н.Н. Московская профессура во второй половине XIX – начале XX века: социокультурный аспект. М., 2008. С. 99.

В 1882–83 гг. Корелин заменял Герье на время его отсутствия на посту директора Высших Женских курсов²¹³. В силу этого процесс сдачи магистерских экзаменов затянулся у Корелина до 1885 г. Все эти годы Герье помогал Корелину советами по разнообразным вопросам, что отразилось в переписке учителя и ученика²¹⁴. Но наибольшее внимание в письмах к учителю с конца 1882 г. Корелин уделяет обсуждению научных проблем в связи с подготовкой к магистерскому экзамену и определением темы диссертации. Корелин предлагает на обсуждение Герье следующие темы: «Развитие рационализма или индивидуализма в Греции», предполагая связать его с влиянием идей в истории; «изучить отношение христианства к античной культуре»; «Развитие аскетизма и его виды», «Судьбы греко-римской образованности в Византии», «Отношение гуманизма к Реформации в Германии и Реформации к революции в Англии». Корелин интересуется национальное движение в XIX в. и его отношение к революциям. Кроме того, в связи с подготовкой вопроса к магистерскому экзамену он заинтересовался «сравнительным изучением вече у европейцев». В этом перечне тем, самостоятельно сформулированных Корелиным, нет темы об Итальянском Возрождении. «Вы знаете мои интересы, а также силы и способности», – обращается Корелин к Герье с просьбой «наставить на путь истинный» в определении темы²¹⁵. Лишь в июле 1885 г. Корелин окончательно решает писать диссертацию о Лоренцо Валле. «Я более не опасаясь, что не достанет материала для диссертации и что работа будет носить чисто описательный характер, – пишет он Герье. – Генетическая связь Валлы с предшествовавшим поколением даст много материала для исследования, а описательная часть работы – выяснение мирозозерцания Валлы и его критических приемов – сама по себе интересна для других и поучительна для меня»²¹⁶. Корелин считает, что его задачей должно стать не только детальное изучение гуманизма, но и изучение его неоднородности, анализ его как исторического процесса, «начало и конец которого далеко неодинаковы».

После сдачи последнего магистерского экзамена осенью 1885 г. Корелин выезжает в заграничную командировку. Он побывал в Берлине, Вене, Мюнхене, Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Париже, Лондоне.

²¹³ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 32. Ед. хр. 4. Л. 6.

²¹⁴ Письма Герье к Корелину сохранились в ЦИАМе (Ф. 2202. Оп.1. Ед. хр. 20–25), письма Корелина к Герье в НИОР РГБ (К. 45. Ед. хр. 14–18). В отдельных случаях можно восстановить письменный диалог. Следует отметить, что по количеству и объему писем, написанных учителю, Корелин превзошел всех других учеников Герье. Обращает на себя внимание и особо доверительный тон писем, в которых обсуждаются не только научные и деловые вопросы, но и проблемы сугубо личного характера.

²¹⁵ Письма М.С. Корелина. С. 231.

²¹⁶ Там же. С. 249–250.

Он подробно пишет о своих занятиях Герье²¹⁷. По мере изучения литературы о Лоренцо Валла и Возрождении, Корелин «увидел полную невозможность ограничиться первой половиной XV века вследствие того, что в современном ему гуманизме было несколько течений, выяснить которые и привести к одному источнику я не мог; это был бы какой-то отрывок, совершенно непонятный без начала»²¹⁸. Он задумывает исследование о гуманистах, «что-то вроде фотографической группы с Валлой в центре», но для начала решает «предпослать» диссертации «историографическое введение». Герье, понимая, что расширение хронологических рамок диссертации затянет срок ее написания, ставит Корелину «ультиматум», предлагая ограничиться для магистерской диссертации только Валлой, или, на крайний случай, написать по задуманному Корелиным плану два тома, первый из которых может стать магистерской, а второй – докторской диссертацией. В августе 1887 г. Корелин возвращается в Москву. Но обработка собранного материала затянется на пять лет. Основная причина – огромная преподавательская нагрузка²¹⁹.

В 1888 г. Корелин становится приват-доцентом на историко-филологическом факультете Московского университета, где ведет курс истории древнего искусства, спецкурс по истории Древнего Востока, позже – по истории Римской империи, средним векам и новой истории, доводя ее изложение до Июльской монархии во Франции. В дневнике он записывает: «Лекциями доволен: слушают внимательно, народу много; по видимому, есть и посторонние. Рождественский формально перенес час [своей лекции], потому что его студенты пожелали меня слушать. Не знаю почему, сделал то же самое Грот»²²⁰. В 1889 г. он начинает чтение курса «Важнейшие моменты в истории средневекового папства» и «Падение античного мировоззрения» на публичных лекциях в Политехническом музее²²¹. Эта деятельность мешает работе над диссертацией.

²¹⁷ Корелин делится впечатлениями о лекциях берлинских профессоров, при этом наиболее критичен к Трейчке, лекции которого, в свое время, Герье понравились. Корелин огорчен тем, что профессор не разделяет его впечатлений о преподавательской деятельности Трейчке, но остается «при старом мнении» (Там же. С. 254–255). Об исследовательском таланте Ранке мнения учителя и ученика совпали. В целом Корелин не доволен лекциями немецких профессоров. «Университет поражает количеством научных сил, привлекает свободой преподавания, но опять не удовлетворяет вследствие элементарности курсов», – пишет он из Берлина 29 октября 1885 г. (С. 255).

²¹⁸ Там же. С. 268.

²¹⁹ ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1 об.

²²⁰ ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 7 об.

²²¹ См.: Корелин М.С. 1) Падение античного мирозерцания. Культурный кризис в Римской империи. СПб., 1901. 169 с. (переиздание см.: СПб., 2005. 192 с.); 2) Важнейшие моменты истории средневекового папства. СПб., 1906. 137 с.

Лишь 22 апреля 1892 года диссертация Корелина была представлена к защите. Официальными оппонентами назначены Н.И. Стороженко и В.И. Герье, что было очень символично. Николай Ильич, руководивший литературными занятиями Корелина на первых курсах, пробудил его интерес к Возрождению, а Владимир Иванович способствовал превращению этого интереса в солидное научное исследование.

В архиве Герье сохранился черновик отзыва о диссертации: «Труд М[ихаила] К[орелина] представляет собою 2 отдельных исследования: 1) Критический обзор литературы по вопросу о причинах и значении Рен[несанса] и специальной литературы по первому веку Гум[анизма] и во 2) Исследование по спец[иальным] источн[икам] и рукописям о т[ак] наз[ываемом] Раннем Ит[альянском] Гум[анизме], т.е. о первом веке Гум[анизма]. Первое исследование включает в себе 436 стр., второе – 652»²²². Именно эта аргументация фигурирует в решении Совета факультета о присуждении Корелину, минуя магистерскую, сразу докторской степени²²³. На заседании факультета 29 апреля 1890 г. был зачитан отзыв Герье и Стороженко, которые признали соискателя достаточным не только степени магистра, но на основании статьи 27, § II, пункта 5 университетского устава степени доктора всеобщей истории. Это предложение нашло противников. Виноградов и Брандт сочли, что Миллюков имел не меньше прав на степень доктора. При голосовании предложение Герье и Стороженко получило 10 голосов «за» и 2 «против»²²⁴.

Диссертация Корелина «Ранний итальянский гуманизм и его историография», защита которой состоялась 10 мая 1892 года, в воскресенье, в актовом зале при большом скоплении публики, являлась поистине фундаментальным исследованием. Автор был признан достойным степени доктора всеобщей истории²²⁵. Как записал Корелин в дневнике, «Возражения Герье, Стороженко и Веселовского носили отеческий характер и произвели, по-видимому, благоприятное впечатление»²²⁶. Вместе с тем критики достаточно единодушно указывали на недостатки структуры книги. Свое недоумение высказал и Герье, который писал Корелину: «Я даже не могу объяснить себе мотивов усвоенной Вами группировки литературного материала и общего плана сочинения»²²⁷. Анонимный рецензент из «Исторического вестника» дает еще более

²²² НИОР РГБ. Ф. 70. К. 33. Ед. хр. 3. Л. 34.

²²³ Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории... С. 47.

²²⁴ Макушин Н.В., Трибунский П.А. Дневниковые записи М.С. Корелина о П.Н. Миллюкове // Археографический ежегодник за 2005. М., 2007. С. 500.

²²⁵ Беркут В.Н. [Диспут М.С. Корелина] // Историческое обозрение. 1892. Т. 5. С. 191–198.

²²⁶ ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 25.

²²⁷ Там же. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 2 об.

жесткую оценку, выдвигая свою гипотезу: «Первоначальный исходный пункт – изучение итальянского гуманизма по документальным источникам; при подготовительных работах г. Корелину приходится знакомиться с обширной литературой предмета; он втягивается в это изучение, средство к цели замещает его как особая цель, и вот все то, что при другом способе обработки осталось бы грудой подготовительного материала, которая никогда не печатается, входит в состав изложения, изменяет постановку темы, а вместе с тем в несколько раз увеличивает объем самой книги»²²⁸. Но в структуре историографического обзора было и рациональное зерно. Корелин первым решил дать полную картину различных взглядов на Возрождение в разных гуманитарных науках; по широте проанализированного материала этот труд является уникальным в отечественной историографии.

Свои наставнические обязанности Герье исполнял по отношению к Корелину и после защиты им диссертации. Его усилиями в 1892 г. Корелин стал ординарным профессором (должности экстраординарного профессора для него Герье добился еще в 1890 г.). В 1893 г. по предложению Герье факультет представляет книгу Корелина на соискание премии митрополита Макария²²⁹, присуждавшейся Академией наук. Отзыв для комиссии готовил Кареев, который был раздосадован тем, что книга получила малую (1000 рублей), а не большую (1500 рублей) Макарьевскую премию. Можно сказать, что в это время складывается своеобразный «тройственный» союз Герье, Корелина и Кареева, которые сотрудничают в организации Исторического общества в Московском университете, в подготовке статей для энциклопедического словаря Брокгауза – Ефрона, вместе отстаивают интересы преподавания всеобщей истории в университетах. В последние годы Корелин продолжает изучение эпохи Возрождения, публикует статьи о Лоренцо Вала, Петрарке, гуманисте Поджо Брачиоллини. В его дневнике – мысли о будущих исследованиях: «История личности в ее отношении к общественным союзам», «Борьба государства с родовым союзом в Греции и Риме», «Всемирно-исторический процесс на древнем Востоке»²³⁰.

Как и все ученики Герье, Корелин помимо активной преподавательской и научной деятельности занимался общественно-просветительской работой. Он становится членом исторического отдела Общества распространения технических знаний, товарищем (заместителем) председателя Редакционной комиссии для выработки Устава Комитета грамотности, членом Московского психологического общества, членом-учредителем

²²⁸ См.: Исторический вестник. 1893. Кн. 7. С. 231.

²²⁹ См.: ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 37 – 37 об.

²³⁰ См.: там же. Л. 25 об. – 26.

Московского исторического общества, членом Петербургского исторического общества, членом-корреспондентом Московского археологического общества, одним из учредителей Педагогического общества при Московском университете. Корелин искренне считал своим долгом просветительскую деятельность, традиции которой через Герье восходят к Грановскому. Е.А. Косминский писал: «Выходец из крестьянской среды, Корелин видел “нравственный долг и общественное служение ученого” в широкой популяризации знаний и сам обладал исключительным талантом популяризатора»²³¹. Корелин воспринимался окружающими как честный, отзывчивый, интеллигентный человек, устойчивый к невзгодам оптимист, всего добившийся в жизни самостоятельно. Круг его общения был достаточно широк. Он постоянно бывал на журфиксах московской профессуры, поддерживал научные контакты с учеными из других университетов (Ф.И. Успенским, И.В. Лучицким), был знаком с писателями А.П. Чеховым и Маминым-Сибиряком. К числу его приятелей можно отнести П. Лаврова, Р. Аллпера, В. Гольцева и др.

Герье видит в Корелине ближайшего соратника и преемника. Их личные отношения становятся еще ближе. Корелин поддержал учителя в самый тяжелый момент жизни, когда в Москве умер его единственный сын, а жена в тяжелом состоянии находилась за границей. Герье всячески поощряет продолжение занятий Корелина биографией Валлы, над которой он активно работает в 1895 г.²³² Но в 1897 г. Корелина появляются первые признаки сердечного заболевания, и 3 января 1899 года на 44-м году жизни он скончался.

Смерть Корелина Герье воспринял как смерть родного человека. Он организовал мемориальные мероприятия, принял активное участие в судьбе вдовы и дочери Корелина. Выступая на похоронах Герье проводит нить преемственности между Т.Н. Грановским, П.Н. Кудрявцевым и своим учеником: «В годы юности мне пришлось два раза нести лавровый венок за моими профессорами истории, несвоевременно оторванными от своих учеников, а сегодня мне приходится стоять у преждевременной, столь неожиданно открывшейся могилы моего преемника...» (выделено нами – *Т.И., Г.П.*)²³³. Основной чертой, которая объединяет, по мнению Герье, профессоров кафедры всеобщей истории, является твердая вера в прогресс, идеалистические взгляды и «страсть ко всеобщему просвещению»²³⁴.

²³¹ Косминский Е.А. Столетие преподавания истории средних веков в Московском университете // Историк-марксист. 1940. Кн. 7 (83). С. 104.

²³² Письма М.С. Корелина. С. 314.

²³³ ОР РГБ. Ф. 70. К. 33. Ед. хр. 3. Л. 42 (об).

²³⁴ Там же.

В этой надгробной речи, давая характеристику личностным качествам Корелина, Герье как бы создает портрет *идеального* профессора и ученого. Итак, Корелин – выходец из низов, испытывавший суровость жизни, но обладавший «прирожденной культурностью». Ему был присущ жизненный оптимизм и идеализм, выражавшийся «в полном отсутствии тех свойств и страстей, которые позволяют видеть лишь изнанку вещей». Любовь к просвещению выразилась в участии Корелина в общественной деятельности по распространению грамотности и народных чтений. «Его отталкивало всякое отступление от научной точки зрения, популярности ли ради или по увлечению целями, посторонними науке». Для него было характерно «добросовестное отношение к читаемым им в университете курсам». «У него была еще и другая черта, иногда ему вредившая, но свидетельствующая о его призвании быть научным историком, – непреодолимая потребность высказывать правду. И вместе с тем он отличался редкою скромностью, которую могут оценить лишь люди, близко стоявшие к нему»²³⁵. Этот любовно выписанный Герье портрет Корелина свидетельствует не только о его личной утрате, но и утрате, по мнению Владимира Ивановича, того преемника, который продолжил бы традиции Грановского на кафедре всеобщей истории.

Герье организовал 19 января 1900 г. собрание Исторического общества Московского университета, посвященное годовщине со дня смерти М.С. Корелина, на котором выступили Н.С. Трубецкой, Л.М. Лопатин, И.И. Иванов, С.Г. Смирнов, Д.И. Тихомиров. В том же году Герье опубликовал биографический очерк о Корелине: «М.С. Корелин представляет собой одаренную личность, которая живо ощущает на себе влияние среды, но в то же время реагирует против нее, поднимается выше и перерастает ее»²³⁶. Это противоречие одаренности и суровости жизни создавали некий пессимизм, излишнюю резкость и правдивость суждений ученого, искренне верившего в прогресс. Его «возмущало то, что он называл апатией нашего общества, – писал Герье, – и ему было противно то, что он называл фальшью, – под этим он разумел не только противоречие между словом и делом, между идеалами и жизнью, но всякую позу и фразу»²³⁷. Герье и Кареев планировали издание собраний сочинений Корелина, но удалось опубликовать лишь самые значительные труды²³⁸.

²³⁵ Там же. Л. 42 об. – 43.

²³⁶ Герье В.И. М.С. Корелин // Вестник Европы. 1900. № 5. С. 309.

²³⁷ Там же. С. 313.

²³⁸ По инициативе Кареева в 1914 г. был переиздан в 4 томах отредактированный труд Корелина «Ранний итальянский гуманизм и его историография», в 1901–1910 гг. переизданы его публичные лекции и статьи о Возрождении: *Корелин М.С.* 1) Падение античного мирозерцания. СПб., 1901; 2) Важнейшие моменты истории средневекового папства. СПб., 1906; 3) Очерки Итальянского Возрождения. М., 1910.

Память о Корелине сближала Кареева и Герье. В 1913 г., поздравляя его с юбилеем, Герье пишет: «...Я не могу при этом не высказать сожаления, что до этого дня не дожил любезный нам обоим Михаил Сергеевич, которому следовало бы жить и жить. Увы, вместо него в Московском университете трио весьма разнородное, но на него непохожее»²³⁹.

Корелин был верным учеником Герье, который, на первый взгляд, был наиболее близок к учителю и в методологическом плане. Однако научные исследования последних десятилетий показали более сложную роль, которую играл Корелин в функционировании научной школы Герье. Основное противоречие, заставлявшее ученых настороженно относиться к выделению, как единого сообщества, научной школы Герье, был существующий разрыв в методологических взглядах между Герье и его учениками. Б.Г. Сафронов показал особую роль Корелина в научном сообществе: «М.С. Корелин – человек, всецело принадлежащий эпохе Гегеля и первого позитивизма. У него причудливо сочетаются элементы той и другой концепций. Такое сочетание у него выступает рельефнее, чем у Герье, который относился к позитивизму с большим недоверием. Корелин – это как бы связующее звено между гегелианцем Герье и его учениками – чистой воды позитивистами Виппером, Виноградовым, Кареевым»²⁴⁰. Следует отметить и тесную близость и регулярность общения Корелина с российскими естествоиспытателями, с которыми он дискутировал и не мог не испытывать их влияния. Сафронов считал, что «плебейский демократизм» Корелина в скрытой и видоизмененной форме присутствует в каждой его работе, составляя их специфику и своеобразие. Поэтому он считает, что нельзя полностью отождествлять его взгляды со взглядами Герье. По его мнению, «страстный интерес Корелина к духовной культуре и переоценка ее роли в процессе становления общества, культ индивидуализма, неприятие позитивизма в том виде, в каком он проявлял себя в демократической и либеральной исторической науке [...] вовсе не до такой степени противопоставляют его другим радикальным историкам школы Герье, как это может показаться с первого взгляда»²⁴¹. Соглашаясь с оценкой Корелина, как ученого, тяготеющего к позитивизму, необходимо все же еще раз подчеркнуть, что те небольшие элементы позитивистской методологии, которые отмечает в его работах Б.Г. Сафронов, можно отыскать и в работах Герье. Поэтому уточнению конфигурации школы Герье способствует не только переоценка взглядов Корелина, но и более внимательное изучение научного наследия его учителя.

²³⁹ НИОР РГБ. Ф. 119. К. 4. Ед. хр. 21. Л. 1. Герье имеет в виду Р.Ю. Виппера, А.Н. Савина и Д.М. Петрушевского.

²⁴⁰ Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории... С. 74–75.

²⁴¹ Там же. С. 9.

Помимо этой переходности в методологических взглядах, деятельность Корелина обладала коммуникационными характеристиками, позволявшими сплачивать членов научной школы Герье, примирять возникающие разногласия, а в отдельных моментах и оттягивать на себя некое напряжение. Он был связующим звеном между Герье и Кареевым, в том числе в годы, когда общение между ними практически прекратилось. Он, пытался смягчить напряжение в отношениях между Герье и Виноградовым, в том числе путем усиления позиции первого. Соученик Виппера, он поддерживал в нем интерес к научной карьере, побуждал его во время заграничной командировки к продолжению занятий. Именно эта «сердечная напряженность, с которой Корелин относился ко всем делам»²⁴², возможно, привела к его преждевременной смерти. Можно согласиться с Б.Г. Сафроновым и Г.П. Мягковым, что анализ жизни и деятельности Корелина позволяет однозначно говорить о существовании научной школы Герье, ярким представителем которой он был.

Таким образом, на основе анализа деятельности и научного наследия Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова и М.С. Корелина можно утверждать, что в начале 1870-х – середине 1880-х гг. сложилась лидерская научно-образовательная школа В.И. Герье. Первой, бросающейся в глаза, чертой этого сообщества являлось то, что побудительным мотивом профессора в его работе с учениками являлись не столько научно-исследовательские цели, направленность на решение какой-то конкретной научной проблемы, сколько подготовка научно-педагогических кадров для кафедры всеобщей истории Московского университета. Исходя из этого, Герье особо не стремился к вовлечению будущих коллег в проблематику истории Французской революции, которая в это время была ведущей в его научном творчестве, ведь для интересов кафедры важнее было разнообразие научных интересов и специализации ее сотрудников. Поэтому профессор предоставлял относительную свободу ученикам в выборе вопросов магистерского экзамена, в определении темы диссертации в зависимости от их наклонностей. Однако и Кареев, и Виноградов, несомненно, испытали большое воздействие Герье на формирование их исторического мировоззрения и педагогической деятельности. В отношении Корелина можно говорить о близости и методологических, и методических, и мировоззренческих позиций учителя и ученика. В работе со своими первыми учениками Герье как бы апробировал приемы успешной подготовки магистрантов, которые позднее применялись им по отношению к другим ученикам. К середине 1880-х гг. ядро научной школы сформировалось.

²⁴² Соловьев В. 3 января 1899 г. (некролог) // Корелин М.С. Очерк из истории философской мысли в эпоху Возрождения. М., 1899. С. III.

К числу учеников Герье можно отнести ряд ученых, которые защитили магистерские диссертации под его руководством, восприняли определенные методологические, философские, исторические взгляды учителя, получили от него «искусство» методики исторического исследования, но в силу разных причин не стали его близкими соратниками.

Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954) за свою долгую жизнь был свидетелем грандиозных общественных потрясений, испытал воздействие разных научных направлений, повлиявших на изменения в его мировоззрении. Однако на склоне лет он признавал, что «его как историка непосредственно сформировали В.И. Герье и жена»²⁴³. На пути к этому осознанию взаимоотношения учителя и ученика неоднократно подвергались испытаниям. Неоднозначность этих отношений привела к тому, что в литературе Герье называют лишь одним из учителей Виппера наряду с В.О. Ключевским и А.А. Шаховым, а Кареев считал Герье учителем Виппера скорее «де-юре», а не «де-факто»²⁴⁴.

Его отец Юрий Францевич Виппер (1824–1890) происходил из семьи немецких эмигрантов-ремесленников, но сумел первым среди родных получить высшее образование в Московском университете. В 1872 г. Герье пригласил его для преподавания на Высшие Женские курсы²⁴⁵. Сходство судеб двух педагогов способствовало тому, что общение Герье и Ю.Ф. Виппера продолжалось и после ухода последнего с курсов. Возможно, именно поэтому Герье стал опекал его сына в годы на историко-филологическом факультете. Р.Ю. Виппер посещал вечерний семинарий Герье, имел отличные оценки и стал стипендиатом Н.В. Гоголя²⁴⁶.

Сам Виппер вспоминал о большом влиянии, оказанном на него лекциями Шахова о французском Просвещении XVIII века, идеями Ключевского об экономических и социальных корнях исторического развития: «В Московском университете я более всего обязан А.А. Шахову, В.О. Ключевскому и Герье. Последний своими курсами «Эпоха реформации» и «Эпоха революции» положил в нас основу философско-исторической концепции судьбы человечества»²⁴⁷. Исследователи отмечают, что именно Герье привил Випперу «навыки источниковедческого и историографического анализа, заставил своего ученика впервые задуматься над ста-

²⁴³ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976. С. 16. Автор изучил вопрос о влиянии Герье на формирование мировоззрения Виппера, но недооценивает эволюцию научного мировоззрения самого Герье.

²⁴⁴ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера... С. 11, 41.

²⁴⁵ См.: Владимир Иванович Герье и Московские Высшие Женские курсы: мемуары и документы. М., 1997. С. 14.

²⁴⁶ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 5. Л. 32.

²⁴⁷ Цит. по: Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера. С. 76.

тусом истории, так как выбор исследователем места истории в ряду либо идеографических, либо номотетических наук в конечном итоге определял позицию ученого в отношении исторического факта, признания его подлинности или сомнения в его достоверности»²⁴⁸.

В студенческие годы Виппер дружил с Корелиным, общался с Кареевым и Виноградовым. В одном из писем «ученому сотоварищу» Корелину он пишет: «кроме науки (как вам достаточно известно) никого и ничего не люблю». В этом письме он не проявляет особой симпатии к Герье, сравнивая его с «Торквемадой в форменном фраке с курсом Римской истории в руке»²⁴⁹. Когда Виппер закончил университет (1880), Герье предложил оставить для приготовления к профессорскому званию не его, а Корелина. Возможно, что выбор определялся не только талантливостью Корелина, а неким проступком, о котором Виппер глухо упоминает в последующих письмах к Герье. Как известно, кандидатское сочинение Виппера загадочно исчезло, не сохранилось даже его название²⁵⁰.

После окончания университета Виппер преподает в разных учебных заведениях. Лишь в 1885 г. он приступил к подготовке магистерского экзамена по программе, составленной для него Герье. В 1885–87 гг. Виппер выехал на деньги отца за границу для подготовки к экзамену. К началу научной стажировки в Берлине относится первое письмо, адресованное им Герье. В нем (и в последующих письмах 1885 г.) обращает на себя внимание извиняющийся тон обращения к учителю. «Когда я уезжал за границу, мне было совестно показываться на глаза людям, знавшим, сколько времени у меня прошло даром, как долго я откладывал свою подготовку, а Вам в особенности»²⁵¹. Он пишет о стремлении «загладить приобретенную репутацию», о том, что чувствует «себя совсем не вправе затруднять» Герье, об «ошибках в прошлом», о том, что ему «досадно» и «совестно»²⁵². Такие повторяющиеся извинения могут свидетельствовать об особой скромности и даже закомплексованности Виппера, либо о том, что у Герье были основания из-за какого-то проступка не оставлять своего талантливого ученика на кафедре после окончания им университета.

²⁴⁸ Новиков М.В. Перфилова Т.Б. Теоретико-методологические взгляды Р.Ю. Виппера. http://vestnik.Yspu.org/releases/uchenuye_plaktikam/35-1 [20.11. 2010].

²⁴⁹ Виппер Р.Ю. Письмо к М.С. Корелину [1879] // ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1 об–2. В письме Виппер прямо не называет Герье, но в 1878/79 уч.г. именно он читал историю Древнего Рима, и ясно, кого Виппер называет «Торквемадой».

²⁵⁰ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение... С. 13. В одном из писем Виппер упоминает, что Герье предлагал ему тему для кандидатского сочинения «Скептицизм в истории Бейля», но он от нее отказался (Письма Р.Ю. Виппера. С. 322).

²⁵¹ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 38. Ед. хр. 117. Л. 7.

²⁵² См.: Письма Р.Ю. Виппера // Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. С. 319, 320, 322, 323.

В 1885–87 гг. именно Герье буквально пошагово руководит подготовкой Виппера к магистерскому экзамену. По каждому из вопросов программы Виппер советуется с Герье, просит рекомендовать ему литературу и план изучения проблемы. Герье убеждает его не ограничиваться только подготовкой к магистерскому экзамену и настойчиво советует определить тему диссертации. Летом 1886 года Виппер пишет Герье, что «темы еще вовсе не выбрал, даже не наметил». Он просит совета учителя относительно некоторых перечисляемых им тем, но не возражает, если Герье укажет другие темы «в той или иной области»²⁵³. Предложенные Виппером темы относятся к разным направлениям: история идейной и религиозной борьбы, историография, политическая и социальная история. В письмах они сформулированы так: 1. «Эпоха и личность Юлиана» или «Писатели-эллинисты последней эпохи язычества»; 2. «Брошюры эпохи французской революции»; 3. «История объединения Италии»; 4. «Скептицизм Бейля» или «Начало скептического направления»²⁵⁴. Особых пристрастий ни к одной из данных тем Виппер не высказывает и пишет, что готов рассмотреть темы, которые предложит Герье.

В заграничной командировке Виппер находился вместе с Корелиным (вероятно, то, что его друг был командирован за границу и побудило его за свой счет отправиться вместе с ним). Письма Корелина и Виппера, которые посылались их учителю практически одновременно, разительно отличаются друг от друга. Подробные письма Корелина содержат рассказ о посещаемых лекциях, научных занятиях, красочные заметки о политической и культурной жизни Германии, пространные рассуждения по различным проблемам исторической науки. Письма Виппера содержат в основном вопросы к Герье по той или иной проблеме магистерского экзамена. Лишь однажды по побуждению Корелина он дает пространное описание отношения баварцев к недавней смерти короля Людвига II²⁵⁵.

В 1887 г. после возвращения из-за границы Виппер за несколько месяцев сдал все четыре магистерских экзамена и продолжил работу в средних учебных заведениях. Б.Г. Сафронов обратил внимание на странный факт. Сдача магистерских экзаменов давала Випперу право уже в 1887 г. стать приват-доцентом университета, но его заявление об этом датировано только 20 февралем 1891 г., т.е. вхождение в науку задержа-

²⁵³ Письма Р. Ю. Виппера. С. 322.

²⁵⁴ Формулировки тем даны по письмам от 8 авг/27 июля 1886 и от 21/9 октября 1886. См.: Письма Р. Ю. Виппера. С. 322, 327. Позднее Виппер предложил тему о Бейле на конкурсе студенческих сочинений Новороссийского университета (см.: *Vipper P.Ю.* Отзыв о сочинениях, представленных на соискание медали «Пьер Бейль как представитель исторического скептицизма». Одесса, 1897).

²⁵⁵ Письма Р. Ю. Виппера. С. 324.

лось еще на четыре года²⁵⁶. Сафронов задается вопросом о том, когда была определена тема диссертации Виппера. Как явствует из писем к Герье во время командировки 1885–87 гг., тема тогда еще не была определена. Но в письме Виноградова к Герье от 1 февраля 1891 г. идет речь о книгах, необходимых Випперу «для окончания диссертации». В письме Виппера к Герье от 9 октября 1894 г. он благодарит учителя за то, что два года назад Герье постановкой темы ободрил его к «энергичной и настойчивой работе». Пытаясь объяснить эти факты, Сафронов сообщает об имевшихся слухах о том, что диссертация Виппера якобы погибла при пожаре. «Изменилась ли при этом и тема – неизвестно»²⁵⁷.

Возможно, формулирование темы «Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма» произошло под влиянием подготовки одного из вопросов магистерского экзамена. Виппер в 1886 г. просит Герье заменить ему вопрос о Реформации в Германии на вопрос о реформации во Франции, что должно было привести его к глубокому изучению кальвинизма²⁵⁸. В любом случае, самая интенсивная работа над диссертацией пришлось на 1892 год. Герье и Виноградов добиваются присуждения Випперу стипендии имени Грановского, что позволяет молодому ученому выехать в Женеву для сбора материалов. Уже в конце 1893 года начинается печатание книги и в марте 1894 года том объемом более 700 страниц вышел в свет. Предварительный отзыв на диссертацию писали Герье и Виноградов, в нем говорилось о том, что магистрант «по выдающимся достоинствам его сочинения признается достойным, помимо магистерской, степени доктора всеобщей истории»²⁵⁹.

14 мая 1894 года прошел диспут, по итогам которого Виппер получил сразу степень доктора. Это повторение прецедента Корелина, вызвало у последнего смешанные чувства. Он откровенно записывает в своем дневнике: «Герье решил и ...факультет присудил доктора Випперу. В глубине души я был против этого, но может быть по зависти, но действовал [из] солидарности и приличия»²⁶⁰. Корелин отмечает: «Герье раскаивается в докторстве Виппера; скорое согласие со стороны Виноградова – в значительной степени желание нанести удар мне»²⁶¹.

²⁵⁶ В марте 1891 г. Виппер прочел в Московском университете пробную лекцию по своему выбору («Государственные идеи Карла Штейна»), в апреле – по выбору факультета («Программа буржуазии Генеральных штатов XIV в.»). См.: Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение. С. 16.

²⁵⁷ Там же. С. 18.

²⁵⁸ Письма Р. Ю. Виппера. С. 327.

²⁵⁹ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение. С. 19.

²⁶⁰ ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Ч. II. Л. 34. Корелин, как член Совета, голосовал за присуждение докторства.

²⁶¹ Там же. Л. 36.

Причиной таких подозрений явился тот факт, что Виппер мечтал остаться на кафедре в Москве. В период его приват-доцентства он сблизился с Виноградовым и посещал его кружок. Таким образом, как в свое время между Виноградовым и Кареевым, так и сейчас между Корелиным и Виппером место в Московском университете стало причиной охлаждения отношений двух друзей.

Диссертация Виппера «Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма» стоит особняком в научном наследии ученого. Написанная на основе документов из европейских архивов, она представляет собой образец кропотливой текстологической, источниковедческой работы. Випперу удалось обнаружить несколько неизвестных ранее фактов по истории кальвинизма, изучить неисследованные рукописи, что было высоко оценено женевскими учеными. В России рецензии на книгу дружно обвиняли Виппера в обилии подробностей и мелочей, отсутствии обобщений, тяжелом слого и даже в «отсутствии литературного таланта и общей четкой характеристики Кальвина»²⁶². Б.Г. Сафронов считает, что в этих недостатках книги видна «очевидная незрелость автора как историка и литератора» и «значительная спешка, в атмосфере которой создавалась диссертация»²⁶³.

Несмотря на выразившиеся уже в первом сочинении различия в исторических взглядах учителя и ученика, Герье не только способствовал защите, но и становлению преподавательской деятельности Виппера. В 1894 г. в Московском университете вакансии не было. Виппер хотел остаться в Москве, но неопределенность и отсутствие средств побуждали его искать место в других городах. Решающую роль в его трудоустройстве сыграли Корелин и Герье. Корелин во время заграничной командировки близко познакомился с профессором Новороссийского университета известным византинистом Ф.И. Успенским²⁶⁴. Когда последнему предложили стать директором Археологического института в Константинополе, он стал уговаривать симпатичного ему Корелина возглавить кафедру в Новороссийском университете²⁶⁵. Корелин предложил вместо

²⁶² Русское богатство 1894. № 10. С. 33–36. См. также: Богословский вестник. 1901. Март. С. 593.

²⁶³ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение. С. 21. В современной науке труд Виппера расценивается как попытка развенчания мифа о теократической власти Кальвина в Женеве. «Неслучайно его исследование включается наряду с монографиями виднейших западных исследователей в библиографические списки авторитетных западных изданий» – пишет А.В. Савина. (Савина А.В. Р.Ю. Виппер о Ж. Кальвине // Диалог со временем. 2012. Вып. 40. С. 265).

²⁶⁴ ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 5.

²⁶⁵ Предложений М.С. Корелину от Успенского было два: в 1890 и в 1894 году. См.: ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 13.

себя Виппера. Герье написал рекомендательное письмо, и в августе 1894 года Виппер получил назначение в Новороссийский университет²⁶⁶.

Его «одесский период» жизни хорошо освещен в письмах к Герье. Они отличаются от его ранних писем к учителю, написанных из-за границы. В них уже нет извиняющегося тона и деловой лаконичности. Виппер делится с Герье подробностями университетской жизни, рассказывает о своем повседневном быте, обсуждает научные проблемы и просит совета учителя по всем этим вопросам. Начинаются «одесские письма» с благодарности: «Теперь... я не могу не выразить Вам еще раз своей горячей благодарности за то решающее содействие, которое Вы мне оказали оценкой моей книги. С таким же чувством я и всегда буду о нем вспоминать: ведь Вы помогли мне сразу выйти на свободную дорогу, тогда как иначе Бог весть сколько пришлось бы пройти затруднений, чтобы можно было отдаться одной чистой науке»²⁶⁷. Именно в это время Герье хлопочет о присуждении премии Соловьева книге Виппера. Ученик пишет ему: «... Не знаю, как и благодарить Вас за все заботы Ваши, связанные с появлением и судьбой моей книги. Как два года тому назад постановкой темы Вы меня ободрили к энергичной и настойчивой работе, так и представлением меня к докторству, а теперь предложением дать мне премию – Вы мне доставили возможность полнейшего удовлетворения за проделанный труд»²⁶⁸.

В преподавательской деятельности Виппера в Новороссийском университете воздействие Герье на ученика отразилось ярче, чем в научных исследованиях. Свою вступительную лекцию Виппер, как и Герье в свое время, посвящает теоретическим проблемам исторической науки. нового лекционного курса давал общую характеристику «идейных движений» в конкретной области исторической науки. Недаром в отзывах профессоров на лекцию Виппера подчеркивался ее «московский дух».

Как и Герье, Виппер очень требователен к себе в подготовке лекций. Все время в первые годы своего профессорства он посвящает обстоятельной работе над их составлением. В составлении лекций Виппер учитывал уровень подготовленности студентов: «Здесь приходится работать над общими, широко поставленными курсами: студент неразвит и лишен ресурсов, потому что изолирован от русской общественной жизни»²⁶⁹. Виппер считает в связи с этим необходимым «приучить» студентов к общим курсам, так как большинство профессоров читают вместо лекций «специальные отделы, нечто, скорее пригодное для практических

²⁶⁶ Там же. Л. 29 об.

²⁶⁷ Письма Р.Ю. Виппера. С. 329–330.

²⁶⁸ Там же. С. 332–333.

²⁶⁹ Там же. С. 339.

занятий», из-за чего студенты не постигают «ни методических приемов, ни общего смысла направления, в котором его ведут»²⁷⁰. Однако в письмах прорывается усталость от интенсивной работы и чувство неудовлетворенности восприятием материала студентами. «Это какая-то непрерывная фабрикация лекций, прочтешь одну, придешь домой и уже садись за новую. Сама подготовка, хотя и не дает отдышки, в сущности, очень радует; постоянно передумываешь материал в разных направлениях, подбираешь аналогии, ставишь явления в том или другом разрезе, наконец, просто прочитываешь массу нового. Но дальше удовлетворения никакого. Студенты слушают охотно – на общий курс, который я озаглавил “главные проблемы исторической науки”, ходят много и с других факультетов, но за очень немногими исключениями у нас на факультете народ неразвитой, без знания языков (латинский язык, между прочим, считается «иностраннным»), и кафедру обыкновенно оставляешь с тяжелым чувством, что твоя работа, твои выводы, сопоставления и т.д., все это прозвучало даром в стенах; никто даже не запишет»²⁷¹.

В Новороссийском университете Виппер уделяет большое внимание семинарским занятиям, в ходе которых можно было поближе познакомиться со студентами и привить им навыки научно-исследовательской работы. «Практические занятия я повел на московский манер, здесь они состояли раньше в чтении рефератов или комментировании лекторами источника, – пишет он Герье. – Беседа, дебаты как нечто необычное привлекают много посторонних»²⁷². До того, по его свидетельству, постоянного семинария в Новороссийском университете никогда не было. Основной принцип преподавания Виппера – внедрение московских приемов «планомерных, разработанных на основе общих мыслей курсов и практических занятий, в которых студент не только может рассеянно слушать, но и привлекается к самостоятельному делу»²⁷³.

В это время у Виппера пробуждается интерес к истории XVIII века (основной научной специальности Герье) и к истории общественной мысли. Он обсуждает с учителем последние два тома «Происхождения современной Франции» И. Тэна²⁷⁴, книги Г. Зиммеля²⁷⁵ и М. Вебера²⁷⁶. Виппер предлагает Герье подготовить для выступления на заседании Ис-

²⁷⁰ Там же.

²⁷¹ Виппер Р.Ю. Письмо к Герье В.И. от 19 октября 1895 // РГАЛИ. Ф. 2432. Оп. 1. Ед. хр. 433. Л. 4–5.

²⁷² Письма Р.Ю. Виппера. С. 334.

²⁷³ РГАЛИ. Ф. 2432. Оп. 1. Ед. хр. 433. Л. 2 об. – 3.

²⁷⁴ Письма Р.Ю. Виппера. С. 334.

²⁷⁵ Там же. С. 330.

²⁷⁶ Там же. С. 341.

торического общества Московского университета тему «Политические теории второй половины XVI в. во Франции»²⁷⁷. В 1895 г. Виппер объявляет темой конкурса студенческих сочинений на медаль «Дворянские наказы 1789 года», в чем очевидно сказалось влияние Герье²⁷⁸. Представленные работы он подробно анализирует²⁷⁹. В 1897 г. тема медального сочинения – «Пьер Бейль как представитель исторического скептицизма»²⁸⁰. К сожалению, тексты одесских лекций Виппера не были литографированы и не сохранились. Анализируя его взгляды по опубликованным в это время статьям и письмам, можно констатировать, что мировоззрение Виппера в этот период было крайне противоречивым.

В историографии обычно констатировалось различие теоретико-методологических позиций учителя и ученика. Однако при этом не учитывалась эволюция их взглядов. В годы студенчества Виппера Герье активно использовал методы позитивистской науки в своих конкретно-исторических работах. В то же время в 1890-е гг. Виппер еще был далек от эмпириокритицизма, его эклектичное в то время мировоззрение в целом было близким к позитивизму. Сближал взгляды учителя и ученика их общий интерес к историко-философской проблематике, к «идейной среде» истории, к роли личности. Однако в рамках этого интереса Виппер несколько по-иному оценивал существенные моменты развития человечества. Так, исходя из теории консенсуса, он считал идеи не господствующей силой в развитии человечества, а лишь одной из сил: «Старое направление истории стремилось подвести весь процесс движения человечества под какой-нибудь один господствующий принцип, например, развития религиозной идеи, или развития гуманности, или развития техники и т.п. Новая историческая наука хочет открыть основы жизни отдельных обществ в совокупности условий, в их взаимных сцеплениях»²⁸¹. Далее Виппер перечисляет эти основы: «условия образования классов, распределения богатств, развития политической организации в соответствии с изменениями морального уровня, расширения кругозора, смены религиозных представлений в обществе и т.д.»²⁸². В другой работе он уделял больше внимание материальным факторам, которые называл

²⁷⁷ Письма Р. Ю. Виппера. С. 342.

²⁷⁸ РГАЛИ. Ф. 2432. Оп. 1. Ед. хр. 423. Л. 6; НИОР РГБ. Ф. 70. К. 38. Ед. хр. 118. Л. 19.

²⁷⁹ Дворянские наказы во Франции в 1789 году (Отзывы о работах студентов) // Записки императорского Новороссийского университета. 1897. Т. 70. С. 11–18.

²⁸⁰ См.: *Bunper P.Ю.* Отзыв о сочинениях, представленных на соискание медали в мае 1897 года. Одесса, 1898.

²⁸¹ *Bunper P.Ю.* Школьное преподавание древней истории и новая историческая наука // Вестник воспитания. 1898. № 1. С. 35.

²⁸² Там же. С. 60.

«глубокими пружинами» исторического развития²⁸³. В своей книге «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе» Виппер подвергает сомнению теорию исторического прогресса, которую Герье считал центральной идеей нового времени. Виппер называет ее «первой религиозной энтузиастской формулой современного учения об эволюции»²⁸⁴. Б.Г. Сафронов считает, что «если не проблемная, то тематическая зависимость Виппера от Герье в 90-х годах очевидна», но в мировоззренческом плане в ранних работах Виппера отразились скорее взгляды другого его учителя А.А. Шахова²⁸⁵.

В преподавательской деятельности, в создании Виппером серии школьных учебников воздействие Герье можно проследить достаточно хорошо. Можно сказать, что взаимосвязь преподавательской и научной деятельности Виппера проявилась так же ярко, как у Герье. В своих учебниках Виппер выступает «всеобщим» историком. Как и Герье, он был против четкого разделения эпох и периодов, большое внимание уделял освещению мировоззрения, показывал взаимозависимость событий у разных народов. Он был талантливым популяризатором науки.

В этот период своей деятельности Виппер – типичный представитель школы Герье, в том смысле, что, не разделяя всех взглядов учителя, чувствовал к нему духовную близость. В письмах к нему, рассказывая о впечатлениях от прочитанных книг, давая оценки той или иной теории, Виппер обращается к учителю как к единомышленнику, разделяющему его взгляды или способному понять их.

Помимо научных и педагогических проблем Виппер делится с Герье личными переживаниями, связанными с общей обстановкой в Новороссийском университете. По письмам можно проследить быструю эволюцию его настроений: от оптимистичных ожиданий в начале преподавания до глубокой депрессии. Новороссийский университет слыл одним из самых реакционных в России, и общий уровень профессуры здесь был невысоким. Если в начале Виппер полон планов усовершенствования преподавания в Одессе, то к 1896 г. его занимает лишь одна мысль – перебраться в Москву. В этой связи он возлагал особые надежды на помощь учителя, возможно поэтому его последние письма из Одессы полны жалоб, которые не могли не подействовать на Герье²⁸⁶.

²⁸³ Виппер П.Ю. Общество, государство, культура XVI в. на Западе // Мир Божий. 1897. №8. С. 218.

²⁸⁴ Виппер П.Ю. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX веков. СПб., 1900. С.80–81.

²⁸⁵ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение. С. 121.

²⁸⁶ РГАЛИ. Ф. 2432. Оп. 1. Ед. хр. 433. Л. 1.

В 1897 г. умер профессор истории Востока, директор Лазаревского института Г.Н. Кананов, близкий друг Герье. По совету учителя, Виппер ходатайствует о переводе его на место Кананова, но этот план не удался, и он решается на рискованный шаг – подает в отставку и уезжает из Одессы. 17 ноября 1897 г. он вновь становится приват-доцентом Московского университета и вынужден, по материальным соображениям, возобновить преподавательскую деятельность в средних учебных заведениях. Но тут судьба неожиданно преподнесла ему «шанс». В 1899 г. умирает Корелин, и Виппер занимает его место в Московском университете.

Сразу после того, как Виппер стал профессором в Москве, тон его писем к Герье разительно меняется. Вместо пространных писем с бесконечными просьбами о советах и помощи в записках начала XX века чаще короткие вежливые отказы. Виппер под предлогом нехватки времени отказывается сделать доклад на заседании, посвященном памяти его друга М.С. Корелина, отказывается прийти в гости к Герье (взяты билеты в театр), не приходит на заседание исторического общества и т.п. Дело в том, что должностные статусы Герье и Виппера теперь поменялись. В силу возраста Герье становится сверхштатным, а Виппер – штатным (ординарным) профессором. Трения между ними происходят постоянно. Виппер активно противодействует защите диссертации учеником Герье Е.Н. Щепкиным, а когда Виноградов уезжает в Оксфорд предлагает Герье «поспешить» с поиском другого кандидата на его место, хотя Виноградов не исключал возможности своего возвращения²⁸⁷.

Б.Г. Сафронов замечает: «Неприязнь зашла между ними так далеко, что получила неприлично грубую форму»²⁸⁸. Виппер не только сам не пошел на юбилей Герье, но и создал такую «антигерьевскую» обстановку на кафедре, что А.Н. Савин и Д.М. Петрушевский отправились на это чествование как на «подвиг своего рода». Савин объясняет свои опасения тем, что «возможно Роберт Юрьевич косо посмотрит на наше хождение... Я иду не без трепета». Стоит отметить, что сам Савин, по его словам, теплых чувств к Герье не испытывает, но осуждает Виппера: «Боже мой, как люди, и хорошие люди усложняют себе жизнь, усложняют нелепо, бесцельно! И как трудно жить среди нескольких огней. Отчего у людей самого большого калибра такие острые углы»²⁸⁹.

Можно объяснить такое отношение Виппера к своему учителю усилившимся расхождением во взглядах. Однако никакие разногласия не могут оправдать демонстративный отказ Виппера пойти в 1909 г. на

²⁸⁷ Письма Р.Ю. Виппера. С. 349.

²⁸⁸ Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение. С. 140.

²⁸⁹ Далин В.М. А.Н. Савин: «Nihil admirari!» (Дневник историка)... С. 46.

юбилей престарелого профессора, полное прекращение отношений с учителем в последние, очень тяжелые для Герье годы жизни. Нет свидетельств о том, присутствовал ли Виппер на похоронах Герье, но никаких письменных соболезнований, а тем более некрологов об учителе от него не последовало. Более того, можно предположить, что именно противодействие Виппера привело к тому, что даже после смерти Герье не был удостоен традиционных для университетских профессоров почестей.

22 августа 1919 года после смерти Герье именно кафедра всеобщей истории выступила против предложения других профессоров образовать «Комиссию по установлению способов увековечения памяти покойного»²⁹⁰. Учитывая, что на кафедре всеобщей истории в это время работал единственный ученик Герье, гнева которого его младшие коллеги (Петрушевский и Савин) опасались, именно Виппера можно обвинить в неблагодарности по отношению к памяти учителя, который столько сделал для обретения им ученой степени. Лишь годы спустя, пережив эмиграцию, еще одно (третье!) возвращение в Московский университет в 1941 г., эвакуацию в Среднюю Азию, Виппер в интервью признал ведущую роль В.И. Герье в формировании его как историка²⁹¹.

Рассматривая весь комплекс научных работ Виппера, можно заметить, что его историческое мировоззрение проделало ощутимую эволюцию, и в его трудах XX века трудно увидеть сходство с историческими взглядами Герье. Но в его работах конца XIX в., в педагогической деятельности видно влияние учителя. А.А. Кизеветтер писал: «Из школы Герье вышел проф. Виппер, далеко отошедший от этого направления в сторону новых течений европейской исторической науки»²⁹². Несмотря на все различие взглядов учителя и ученика, трудно оспорить тот факт, что Р.Ю. Виппер как ученый сформирован научной школой Герье.

Фамилии других трех учеников Герье – *Е.Н. Щенкина, И.И. Иванова и С.А. Котляровского*, защитивших под его руководством магистерские диссертации, – не всегда упоминают при перечислении ученых, подготовленных профессором. Их можно назвать учениками «второго плана», творчество которых, с одной стороны, начиналось в духе традиций школы, но по разным причинам затем получило иное направление. Судьбы их были различны, но объединяет их то, что, выйдя из научной школы Герье, они не вошли в то более широкое научное сообщество, в

²⁹⁰ ЦИАМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 3. Л. 61.

²⁹¹ См.: Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение. С. 16.

²⁹² Кизеветтер А.А. Московский университет // Московский университет. 1955–1930 гг. Париж, 1930. С. 124.

котором продолжали творить связанные тесными коммуникациями друг с другом Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер.

Наиболее типичным представителем школы Герье все исследователи считают **Павла Николаевича Ардашева** (1865–1924). Общность методологии и методики исследования, проблематика трудов, институционально-коммуникационные характеристики и самоидентификация – всё свидетельствует об этом. Ардашев даже уже став знаменитым ученым, продолжал высоко оценивать научные взгляды Герье. Философский подход Герье, практикуемый им как в лекциях, так и в конкретно-исторических исследованиях, был воспринят Ардашевым как неотъемлемая составляющая полноценного фундаментального исторического образования. В своих лекциях в Дерптском и в Киевском университетах он настаивал на необходимости философского подхода как одного из неотъемлемых составляющих исторического синтеза в исследовании любого крупного процесса или явления. Получив признание в качестве известного ученого, Ардашев в дальнейшем пытался передать и своим ученикам то, что было заложено Герье – убеждение в необходимости знаний философии истории, критического анализа источников и широкого историографического анализа научных проблем. В деятельности Ардашева можно увидеть тенденции развития научной школы Герье как многоуровневого и многопоколенного научного сообщества. В научном творчестве учеников Ардашева Н.И. Никольского, В.Н. Евстафьева, Б.А. Зарусского, Д.К. Петрова, Н.П. Ружкевича, А.Г. Намарадзе выявляются некоторые черты, присущие научной школе Герье: тематика, связанная с эпохой старого порядка и революции во Франции, особое внимание к историографии и источниковой базе исследований, интерес к идейной стороне истории²⁹³. Однако Октябрьская революция прервала более четкое оформление обозначенных тенденций.

Подводя итоги, выделим основные черты школы Герье.

Школу В.И. Герье можно определить как школу всеобщей истории. Её парадигмальные истоки восходят к концепции Т.Н. Грановского. Как ученый Герье сформировался в атмосфере, буквально пронизанной «духом Грановского». Идея всеобщей истории можно считать общей парадигмой школы Герье. Культ родоначальника этой идеи Т.Н. Грановского сближал всех учеников Герье, несмотря на вариативное многообразие их методологических позиций. Признание истории наукой со своим мето-

²⁹³ Подробнее см.: *Зарубин А.Н.* Проблемы истории Старого порядка и революции конца XVIII века во Франции в творчестве П.Н. Ардашева: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань. 2012. С. 20–21.

дом, нацеленности общественознания на открытие законов (относилось в будущее и не всегда полагалось делом собственно истории), идеи исторического прогресса, органического развития – эти идеи прослеживаются в историософских произведениях большинства учеников Герье.

Формирование школы В.И. Герье связано со временем профессионализации и специализации русской исторической науки: в 70-е гг. XIX века. Острый недостаток квалифицированных кадров по всеобщей истории для расширяющейся сети российских университетов, особый интерес общества к проблемам зарубежной истории побудил молодого профессора Московского университета обратить внимание на подготовку ученых, способных не только стать специалистами по проблемной истории, но и учеными-педагогами широкой специализации. Как лидер формирующейся «учительской» школы В.И. Герье избирает курс на подготовку энциклопедически образованных, с широким философским подходом профессоров всеобщей истории, способных на высоком научном уровне исследовать и преподавать и античность, и средневековье, и современную историю.

В развитии школы Герье выделяются три этапа:

– *первый*: 1870-е – начало 1880-х гг., когда «школению» подверглось «старшее поколение» учеников (Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, С.Ф. Фортунатов);

– *второй*: 80-е – начало 90-х гг., время формирования «среднего поколения» (М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, И.И. Иванов);

– *третий*: 90-е гг. XIX – начало XX вв. – становление «позднего поколения» (П.Н. Ардашев, С.А. Котляревский, Е.Н. Щепкин).

Наиболее ярко основные черты школы отразились в творчестве Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова, М.С. Корелина, П.Н. Ардашева, составивших её «ядро». К нетипичным ученикам, «*приверженцам*», можно отнести Р.Ю. Виппера, И.И. Иванова, Е.Н. Щепкина, С.А. Котляревского. Кроме того, значительна «*периферия*» школы, которая в то же время достаточно аморфна вследствие свойственной историческим школам интерференции, возникновению феномена «двойного ученичества». К «периферии» школы можно отнести формально бывших магистрантами П.Г. Виноградова, В.О. Ключевского и др., но в то же время признававших себя и учениками Герье – Д.Н. Егорова, М.О. Гершензона, А.И. Соболевского, Н.И. Радцига, А.И. Яковлева, М.М. Хвостова, М.К. Любавского и др. К этой же «периферии» школы можно отнести писателей В.В. Розанова, В.Л. Брюсова, на мировоззрение которых Герье оказал существенное воздействие.

Формированию школы способствовали эффективные «школообразующие практики», применявшиеся ее основателем: глубокие по степени обобщения, богатые историографическим анализом лекции Герье,

его университетские семинары. Важную роль сыграл в развитии школы вечерний (домашний) семинарий для избранных учеников, обретший в известном смысле более совершенную организационную форму в созданном в 1890-е годы Историческом обществе.

Особое значение в формировании школы играли культивируемые её лидером индивидуальные методы наставничества. В.И. Герье создал определенный *алгоритм* подготовки ученых, «структура» которого включала: *фазу селекции* (отбора), *фазу протекции*, обеспеченную всесторонней (моральной и материальной) опекой избранных, *фазу установления тесного личного контакта* вплоть до «введения» ученика в семью профессора. Важнейшим являлось собственно научное руководство на всех этапах «роста» ученика от определения им научного интереса, осуществления первых исследований (медального, кандидатского), подготовки к магистерскому экзамену и выбора темы диссертации до магистерского диспута. С особым тактом В.И. Герье осуществлял действенный контроль за ходом заграничной командировки, сбором материала, написанием текста диссертации. Необычным было то, что и после защиты диссертации Герье продолжал опекать ученика, подыскивая ему место в одном из российских университетов, давая советы по подготовке первых лекций и семинаров, оказывая помощь и поддержку в подготовке докторской диссертации. Данная модель работы с учениками, конечно, не была догмой, варьируясь в зависимости от конкретных обстоятельств.

Важной чертой школы Герье, определившей ее научный стиль, стала работа с историческими источниками, овладение методикой исследования которых закладывалось в ставших знаменитыми семинарах. Ученики Герье писали диссертации на основе массива, как правило, открываемых ими в зарубежных архивохранилищах документов и демонстрировали высокий уровень владения приемами исторической критики, строгую доказательность выводов исследований.

Другая важная особенность школы Герье – особое внимание ее представителей к историографическим проблемам всеобщей истории, опора на метод системного историографического анализа. Воспитываемый учителем интерес учеников к творчеству предшественников и современных историков, к процессу развития историознания в зарубежных странах и в России был реализован последними в создании самых разнообразных трудов историографического характера.

Научная проблематика представителей школы Герье многообразна, но она восходит к разностороннему научному наследию самого ее лидера, изучавшего и генезис феодализма (продолжение – в трудах П.Г. Виноградова), и историю средневекового католицизма (М.С. Корелин, С.А. Котляревский), и причины и ход Французской революции

конца XVIII века (Н.И. Кареев, И.И. Иванов, П.Н. Ардашев), и историю международных отношений (Е.Н. Щепкин) и выдающихся деятелей на фоне эпохи (Р.Ю. Виппер).

Всем представителям школы Герье были присущи выраженные просветительские идеалы, тесная взаимосвязь их научной и преподавательской деятельности, общественно-просветительские инициативы по организации научных и педагогических обществ, совершенствованию женского и школьного образования.

Школа В.И. Герье была дискретным образованием, расцвет которого пришелся на 70–80-е гг. XIX в. Уже в 1880-е годы рядом с ней стали возникать «дочерние школы» – научные школы учеников Герье: в их деятельности ярко проявилась тенденция к продолжению традиций научной школы учителя. Период расцвета школы сменился не упадком, а перерастанием этой школы в некое научное сообщество, функционировавшее как «незримый колледж»: его представители были и лидерами собственных учительских школ, и одновременно входили в более сложные научные сообщества. В развитии школы особую роль приобретают внутришкольные коммуникации и феномен личного общения. Рассматривая школу Герье как реальную социальную группу, можно обнаружить, что личные взаимоотношения, внутришкольная конкуренция оказывали ощутимое воздействие на эволюцию этого научного сообщества, что привело к выделению внутри него направлений, лишь вариативно схожих с проблематикой и методологией лидера. Сложные, а порой и конфликтные взаимоотношения членов школы повлияли на то, что впоследствии школьная идентичность учеников Герье ослабевает, процесса коммеморации не происходит.

4.3. РОССИЙСКИЕ АНТИКОВЕДЫ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Н. И. КАРЕЕВА

Продуктивная реконструкция интеллектуальной биографии историка немислима без анализа социокультурной среды, в рамках которой формируется и развивается мировоззрение, протекает научная деятельность объекта исследования. При этом немаловажную роль играет выявление и фиксация коммуникативного пространства, составными элементами которого являются совокупность субъектов взаимоотношений, коммуникативные практики, ситуация (или ситуации), которую стремятся осмыслить и понять коммуниканты, мотивы и цели, а также результаты коммуникации. Коммуникативное пространство Николая Ивановича Кареева (1850–1931) представляется поистине необозримым как по субъектам (только анализ библиографии трудов ученого позволяет включить в состав виртуальной «кареевской энциклопедии» около четырехсот персоналий), так и по типам связей (личное знакомство, принадлежность к той или иной профессиональной, научной, общественной, политической или мировоззренческой корпорации, переписка, рецензирование, цитирование и т.д.).

Н.И. Кареев и российская наука о греко-римских древностях в 1864–1879 гг.: генезис коммуникативного пространства

Научные контакты Н.И. Кареева с российскими антиковедами носили разнообразный характер. Речь может идти как о частных и служебных отношениях со специалистами-классиками, так и о многочисленных откликах на новинки антиковедческой литературы: рецензиях, обзорах, цитировании. Имеющийся в нашем распоряжении материал источников дает возможность выявить генезис и эволюцию взаимоотношений ученого с представителями российской науки о классической древности, что, в свою очередь, позволит существенно расширить и представления о специфических коммуникативных характеристиках «русской исторической школы», общая оценка которых была дана в книге Г.П. Мягкова¹.

Николай Иванович Кареев родился в Москве 24 ноября (7 декабря) 1850 года в обедневшей дворянской семье. В 1865 г. он был определен в 1-ю Московскую губернскую гимназию, обнаружив при себе

¹ *Мягков Г.П.* Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000.

седовании «хорошие познания и смысленность»². Первая московская гимназия считалась одной из лучших в России, в свое время ее закончили историки М.П. Погодин и С.М. Соловьев, драматург А.Н. Островский, профессора-классики Г.А. Иванов, Н.П. Боголепов и А.Н. Шварц. В ней был собран педагогический коллектив, которому, «многие из тогдашних учебных заведений могли только позавидовать»³. Из этого коллектива выделим тех педагогов, которые повлияли или в той или иной мере могли повлиять на формирование взглядов Н.И. Кареева на греко-римскую историю и культуру. Речь идет о М.А. Малиновском, В.П. Басове, К.И. Жинзифове, Ф.Э. Будде и Е.В. Белявском.

В 1863–1871 гг. директором гимназии был *Михаил Афанасьевич Малиновский* (1821–1888), историк и латинист, при котором в учебном заведении господствовал «умеренный классицизм»⁴, преподаванию классических языков уделялось серьезное внимание, но без их засилья.

Как писал историк гимназии И.О. Гобза: М.А. Малиновский «был опытным и энергичным администратором, вникавшим постоянно во все стороны гимназической жизни <...> строгость его режима не выходила однако из границ справедливого отношения»⁵. Эту же мысль проводят С.М. Лукьянов (Малиновский был «не столько педагог, сколько начальник, хотя во многих отношениях, и не плохой...»⁶) и Н.В. Христофорова («опытный энергичный администратор, все время отдавший руководству гимназией, он заведовал лично не только учебно-воспитательной частью, но и хозяйственной, выполняя инструкции министерства по применению Устава 1864 года»⁷), что в той или иной мере объясняет отсутствие у Малиновского печатных трудов⁸. Д.Э. Левин приводит краткие сведения о нем: «должность <...> помощника попечителя учебного округа, <...> в это время занимал действительный статский советник Михаил Афа-

² *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое / Подг. текста, вст. ст. и комм. В.П. Золотарева. Л., 1990. С. 94. Как раз во время прохождения Кареевым гимназического курса параллельные классы 1-й гимназии были преобразованы в 5-ю гимназию, располагавшуюся до 1870 г. в этом же здании на Волхонке.

³ *Лукьянов С.М.* О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Пг., 1916. С. 78. Выдающийся русский философ Владимир Соловьев учился вместе с Кареевым – сначала в гимназии, а затем в университете.

⁴ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 97.

⁵ *Гобза И.О.* Столетие Московской 1-ой гимназии. 1804–1904 гг. Краткий исторический очерк. М., 1903. С. 160.

⁶ *Лукьянов С.М.* Указ соч. С. 78.

⁷ *Христофорова Н.В.* Российские гимназии XVIII–XX веков. М., 2002.

⁸ Нам удалось обнаружить только одну тоненькую брошюру: *Малиновский М.А.* Извлечение из краткого очерка о состоянии 1-й и 5-й Московских гимназий за 1867/8 учеб. год, читанного директором сих гимназий в общем их собрании, в день публичной раздачи наград учащимся в октябре 1868 года. [М., 1868].

насьевич Малиновский. Набор его орденов, полученных исключительно за педагогическую деятельность, производил впечатление: св. Станислав 1-й степени, св. Владимир 3-й степени, св. Анна 2-й степени... [Он] был первым в своем роду потомственным дворянином: родился в семье белгородского протоиерея (в 1821 г.) и получил образование в духовной семинарии родного города. Окончил кандидатом Харьковский университет (1844 г.). Проработал 14 лет старшим учителем истории 2-й Харьковской гимназии, затем исполнял обязанности директора училищ Орловской (с 1858 г.) и Харьковской (в 1861 г.) губерний. В 1861–1871 гг. служил в Московском учебном округе; последняя должность – директор 5-й Московской гимназии (1865–1871 гг.). 11 апреля 1871 г. назначен помощником попечителя Виленского учебного округа. 7 апреля 1879 г. переведен на ту же должность в Казань, где и скончался 14 апреля 1888 г.»⁹

Немного пишет о Малиновском и Кареев, вспоминая о материальных затруднениях во время обучения в гимназии (важна ремарка, уточняющая характер коммуникации): «Я тоже стал зарабатывать деньги уроками. Уже в четвертом классе *директор рекомендовал* меня в одну семью (Машковцевых) для подготовки мальчишка, бывшего моим ровесником, ко вступлению в тот же класс гимназии»; и далее: «Малиновский был типичный бюрократ, но доброжелательный к ученикам и заботливый о тех, которые нуждались. *Через него я получил немало хороших уроков* (курсив мой – В.Ф.) и по окончании курса в гимназии»¹⁰. Кареев «обучался по латыни с третьего класса, по-гречески с пятого (из семи)»¹¹. Примерно в это время, предваряя готовящуюся гимназическую реформу 1871 г. «совет [гимназии] принял предложение директора Малиновского о введении уже с начала 1864/5 учебного года преподавания латинского

⁹ Левин Д.Э. Белоруссия в воспоминаниях С.М. Дубнова: опыт комментария // Белорусский Сборник. Вып. 2. СПб., 2003. URL: http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/sbornik/02/08_levin.htm. Подробнее о М.А. Малиновском: [Кулжинский Г.И.] Михаил Афанасьевич Малиновский (некролог) // Благовест. 1888. № 8. С. 13; то же // Волыньские епархиальные ведомости. 1888. № 15; *Нагуевский Д.И.* Русские педагоги. 27. Малиновский Михаил Афанасьевич // Гимназия. 1889. № 5. С. 202–204. Стоит привести любопытную цитату из заметки, найденной нами в процессе поиска сведений о Малиновском: «Во время службы присутствовали М.А. Малиновский, который прочитал шестопсалмие, директор народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянов, директор гимназии Ф.М. Керенский...» (Устройство и освящение храма при Симбирской центральной чувашской школе // ЖМНП. 1885. Т. 239. С. 58).

¹⁰ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 96, 98. В этой связи важно свидетельство казанского профессора-антиковеда Д.И. Нагуевского о деятельности Малиновского в качестве помощника попечителя Виленского учебного округа: он «быстро стал завоевывать любовь не только русского, но также католического и еврейского населения края» (*Нагуевский Д.И.* Указ. соч. С. 203).

¹¹ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 97.

языка в III классе <...> Затем обучение греческому языку сделано было обязательным для учеников V класса с 1866/7 учебного года»¹².

Латынь будущему ученому преподавал **Василий Петрович Басов** (1842–1887), филолог-классик, автор книги для средних учебных заведений¹³, который «заявил себя отличным педагогом и опытным руководителем»¹⁴. Образование Басов получил во 2-й московской классической гимназии, затем в московском университете, где окончил курс в 1863 г. по историко-филологическому факультету, со степенью кандидата. В том же году, он поступил учителем древних языков в 1-ю московскую классическую гимназию, и затем занял в ней должность инспектора. В 1868–1870 г. он также преподавал латинский язык в Московском университете. В 1870 г. В.П. Басов был назначен директором смоленской классической гимназии, а в 1876 г. – 5-й московской¹⁵.

По словам С.М. Лукьянова, «к ученикам своим Басов предъявлял требования довольно серьезные, донимал их “единицами” и вообще держал класс строго; тем не менее, отношения с учениками у него были хорошие»¹⁶. На то же указывает Е.А. Белявский: «Это был знаток своего дела, преподававший латинскую грамматику, между прочим, для будущих педагогов-классиков в университете московском»; и далее: «директор 5-й московской гимназии В.П. Басов был по натуре очень добрый человек, но держался в это время такого принципа (последние только годы своей жизни он бросил этот принцип): учеников надо бить единицами в продолжение года, чтобы они лучше выдержали экзамен, а то что же будет? в продолжение года будем снисходительными, а потом выйдет плохо?»¹⁷. О том, что Басов был «убежденный латинист, переводчик с немецкого латинской грамматики» и что «с 3-го класса он сам нас учил по-латыни, переводил с нами Цезаря» упоминает и обучавшийся в 5-й гимназии в 1880-е гг. В.А. Маклаков¹⁸.

¹² Гобза И. Указ. соч. С. 142.

¹³ См.: Басов В.П. Начальные основания греческой этимологии. М., 1866.

¹⁴ Там же. С. 162.

¹⁵ В последней должности Басов оставался до дня смерти, погребен в Москве, на кладбище Донского монастыря: Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1869 года. М., 1869. С. 11; Басов Василий Петрович (1841–1887) // Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 7. СПб., 1892. С. 10; Гулевич С. Историческая записка о 50-летию 2-й московской гимназии. М., 1885. С. 268. Кроме того, см. некрологи В.П. Басова: 1) Исторический вестник. 1887. Кн. 12. С. 758; 2) Московские ведомости. 1887. № 244, 246; 3) Московский листок. 1887. № 249; 4) Новое время. 1887. № 4140.

¹⁶ Лукьянов С.М. Указ. соч. С. 70.

¹⁷ Белявский Е.А. Педагогические воспоминания. 1861–1902. М., 1905. С. 52, 70.

¹⁸ Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 34, 46.

О Басове Кареев пишет совсем мало: «Латинистом в старших классах был Вас[илий] Петр[ович] Басов переводчик грамматики Мадвига, строгости которого побаивались»¹⁹. Для уточнения характера коммуникации полезным представляется свидетельство о том, что Басов был заведомо домашних вечеров, проводившихся преподавателем русского языка и словесности Е.В. Белявским (о нем пойдет речь ниже), а из учащихся, бывших наиболее частыми посетителями, упоминается Кареев²⁰.

Преподаватель греческого языка – **Ксенофонт Иванович Жинзифов** (1839–1877), выпускник Московского университета, прославившийся как борец за освобождение Болгарии и как литератор и переводчик. Е.В. Белявский вспоминал, что ученики «страшно любили» Жинзифова²¹. Филолог-классик А.Н. Шварц говорил о своем гимназическом учителе: «Жинзифов не Бог знает сколько знал, но то, что знал, умел передать ученикам и, во всяком случае, элементарную этимологию вбивал в них самым добросовестным образом»²². По словам Кареева, «он знал язык очень хорошо, так как до Московского университета учился в какой-то школе в Константинополе, где и усвоил новогреческое произношение». «Мы любили нашего “Ксенофонтика”», «оба древние языка для первокурсника я знал недурно» и «в греческом языке упражнялся сам, давая по нему уроки»²³. По иронии судьбы пламенному борцу против политического (турецкого) и духовного (греческого) порабощения Болгарии пришлось преподавать древнегреческий язык в гимназии²⁴. Ответ на вопрос, как сочетались антигреческий дух публицистики Жинзифова²⁵

¹⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 100. Кареев имеет в виду следующее издание: Латинская грамматика д-ра Мадвига / Перев. с нем. и изд. В. Басов. М., 1865; (перезд. 1867, 1871, 1874). Как видим, два первых издания «Латинской грамматики» были предприняты во время прохождения Кареевым гимназического курса.

²⁰ Белявский Е.А. Педагогические воспоминания. С. 55.

²¹ Там же. С. 52.

²² Цит. по: Лукьянов С.М. Указ. соч. С. 68.

²³ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 100, 114. Написание его первой, еще гимназической публикации, было бы невозможно без знаний, которые дал Жинзифов.

²⁴ «...только литературным трудом писатель не мог прожить, поэтому он работал в Чертковской библиотеке, преподавал в московских учебных заведениях, в частных домах». Смольянинова М.Г. Райко Жинзифов в России // Македония – проблемы истории и культуры. М., 1999 // URL: http://www.kroraina.com/knigi/is_ran/is_ran_7.html.

²⁵ Приведем образчик суждения Жинзифова: «Фанариоты и греческие учителя в известный период времени уничтожили все остатки древнего болгарского достояния. Славянская азбука сделалась совершенно неизвестною большей части болгарского народа, как будто она никогда не существовала в мире, так что болгарские торговцы, по необходимости старавшиеся усвоить себе красоту и прелесть новозеллинского языка, вели свою переписку по-гречески; те же из них, которые не могли выучиться греческому языку, писали на болгарском языке, но греческими буквами» (Жинзифов Р. Публицистика. София, 1964. Т. II. С. 204).

и любовь к античной истории и культуре, которые он сумел привить своим ученикам, содержится в его письме редактору «Русского архива» и управляющему Чертковской библиотекой П.И. Бартеневу: «Не слепая ненависть, – писал он, – заставляет меня нападать на греческое образование, но горький опыт, который испытали на себе болгары, и не против греческой древней литературы восстаю я, но против той пагубной системы, принятой греками, особенно в последнее время, чтобы задавить все славянское на Балканском полуострове»²⁶.

Историком в гимназии Кареев «не сделался» и впоследствии он объяснял это тем, что преподаватель истории Ф.Э. Будде «больше вызывал... скуку, чем интерес к делу»²⁷. Эта нелестная оценка профессиональных качеств Будде дана Каревым шестьдесят лет спустя, в мемуарах, исходя из собственного опыта педагога и методиста. Этим, по-видимому, объясняется отличие от характеристики Будде, данной Лукьяновым: «Древние языки он знал очень хорошо и его даже приглашали преподавать их, но он остался верен истории. При всех недочетах, это был все-таки человек с научными стремлениями»²⁸. **Федор Эммануилович Будде** (1831–1904) преподавал историю сначала в Елизаветградской гимназии²⁹, затем в Москве, последовательно в 1-й, 5-й и 6-й гимназиях³⁰. В 1878–80 гг. занимал должность директора (и одновременно преподавателя греческого языка) в Троицкой гимназии³¹, откуда получил назначение в Одессу, где директорствовал во 2-ой мужской гимназии³².

Наибольшее влияние на формирование научного мировоззрения Кареева-гимназиста оказал учитель русского языка и словесности **Егор Васильевич Белявский** (1838–1903), автор учебников и пособий для учителей³³, а также «Педагогических воспоминаний», в которых, в числе своих наиболее талантливых учеников, он упоминал и Кареева: «Я должен сказать, что в 5-й московской гимназии с начала ее существования развилось в учениках стремление к философствованию, т.е. к решению

²⁶ Жинзифов Р. Публицистика. С. 42.

²⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 99.

²⁸ Лукьянов С.М. Указ. соч. С. 71.

²⁹ Хронологический свод памятных юбилейных дат Российской академии наук за 2009 г. URL: <http://www.ras.ru/members/chronology.aspx?ID=5532d2a8-9fcc-41d8-9a0b-1c6db9834b04&print=1>.

³⁰ См.: Памятная книжка Министерства народного просвещения на 1865 год. СПб., 1865. С. 206; ЖМНП. 1867. Т. 153. С. 73; 1874. Т. 172. С. 25

³¹ См.: Двадцатипятилетие Троицкой гимназии (1873–1898 гг.) / Сост. А.К. Зеленецкий. Троицк, 1900. С. 87.

³² ЖМНП. 1881. Т. 214. С. 11; 1881. Т. 215. С. 36; 1883. Т. 225. С. 34; 1885. Т. 241. С. 34.

³³ Белявский Е.В. Теория словесности. М., 1869. 7 изд. М., 1897; *Он же*. Метод ведения сочинений в старших классах гимназий с прилож. тем и сочинений. М., 1881.

общих вопросов жизни и нравственности. И замечательно, что почти все выдававшиеся впоследствии личности из числа учеников этой гимназии тогдашней ее эпохи были с сильным философским направлением. Не говоря уже о самом Влад. Соловьеве <...> не лишены философского направления: товарищ его Н.И. Кареев, написавший, между прочим, сочинения "Основные вопросы философии истории", "Философские этюды" и пр.»³⁴. Кареев продолжал поддерживать связь с учителем и после окончания гимназии, написал рецензию на его книгу³⁵. В предисловии к его воспоминаниям Белявский справедливо назван «гуманно и глубоко преданною своему делу личностью»³⁶. Именно по его совету Кареев решил поступать на историко-филологический факультет, первоначально планируя заняться филологией. Вспоминая об этом, он писал: «В то время я был в последнем классе... гимназии и, уже собираясь поступить на историко-филологический факультет, облюбовал для более специальных занятий не историю, к которой пришел позже, а филологию»³⁷.

Повествуя о гимназическом периоде биографии Кареева укажем еще на одну (опосредованную) коммуникацию. Известно, что автором рецензии на его брошюру «Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка» был *Рихард Августович Фохт* (1834–1911), уроженец Саксонии, в то время – профессор римской словесности Петербургского университета, а в 1875–1892 гг. – Нежинского историко-филологического института им. кн. Безбородко³⁸.

³⁴ Белявский Е.В. Педагогические воспоминания. С. 82.

³⁵ Кареев Н.И. Научный учебник грамматики [Рец. на кн.: Белявский Е.В. Этимология древнего славянского и русского языка, сближенная с этимологией языков греческого и латинского. М., 1878] // Филологические записки (ФЗ). 1876. Вып. IV. С. 1–20.

³⁶ Предисловие от издателя // Белявский Е.В. Педагогические воспоминания. С. 3. Ср.: «он неуклонно проводил в дело воспитания детей гуманность, индивидуализацию и уважение личности учащегося» ([Е.В. Белявский. Некролог] // Исторический вестник. 1903. Т. 95. С. 389).

³⁷ Кареев Н.И. Мои отношения к «Отечественным запискам» и к «Русскому богатству» (1868–1918) // НИОР РГБ. Ф. 119. П. 44. Л. 4.

³⁸ См.: Отзыв особой комиссии, рассматривавшей труд г. Р. Фохта, удостоенный премии имп. Петра Великого при первом ее присуждении в 1874 г. «Материалы для упражнений в переводе с русского языка на латинский» (СПб., 1873) // ЖМНП. 1874. № 7. Отд. 1. С. 157–172; Фохт Рихард Августович // Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине. 1875–1900. Преподаватели и воспитанники. Нежин, 1900. С. 67–68; Фохт Рихард Августович // Викладачі Ніжинської вищої школи. 1820–1920 / Сост. Л.В. Гранатович. Ніжин, 1998. С. 179–182; и др. Кроме названной, см. также другие работы: Р.А. Фохта: 1) Критические замечания к «Тускуланским беседам» Цицерона // ЖМНП. 1875. № 8. С. 86–88; 2) Логическая связь мыслей в первой книге «Тускуланских бесед» Цицерона // Там же. 1875. № 11. С. 41–66; 3) О связи мыслей во второй книге "Тускуланских бесед" Цицерона // Там же. 1879. № 12. С. 421–439.

После окончания гимназии в 1869 г. Кареев поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где в это время собралось целое созвездие выдающихся профессоров. Всеобщую историю преподавали *М.С. Куторга* и *В.И. Герье*, и именно они сыграли главную роль в формировании взглядов Кареева как на античную историю, так и на историческую науку в целом, влияние их идей он испытывал на протяжении всей своей творческой жизни³⁹.

На первом же курсе, вспоминал Кареев, студентов «угощали преимущественно латинским и греческим языком с приемами, сильно напоминавшими гимназические». Латынь преподавал, «переводя и комментируя книгу Цицерона “Об ораторе”»⁴⁰, *Гавриил Афанасьевич Иванов* (1828–1901), замечательный, по словам Кареева, тем, «что в жизнь свою не напечатал ни единой строки» и сделавшийся доктором *honoris causa* «по милости своего покровителя П.М. Леонтьева», обладавшего «большою силою в консервативном лагере профессуры»⁴¹. В другом месте Кареев отмечал, что «в Иванове было что-то подьяческое и молчалинское», он «был типичным чинушей, исполнителем начальственных видов»⁴². Эта оценка не во всем совпадает с мнением других студентов. Учившийся в 1884–88 гг. в университете А.А. Кизеветтер писал, что тот был «прекрасным профессором. Он переводил нам Цицерона. Его комментарии были глубоко поучительны, а его перевод обличал в нем тонкого, образцового стилиста... На вид это был замухрышка, облик мелкого чиновника отпечатлелся на всю жизнь, но это не мешало ему являться в своих лекциях элегантнейшим преподавателем своего предмета»⁴³. Столь разная характеристика деятельности одного и того же преподавателя объясняется не ускользнувшей от внимания современников переменной, произошедшей с Ивановым. Его ученик, видный филолог С.И. Со-

³⁹ Подробно вопрос о влиянии, оказанном на Кареева Куторгой и Герье, см.: *Филимонов В.А.* 1) Н.И. Кареев и В.И. Герье: опыт реконструкции межличностных коммуникаций // *История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье*. М., 2008. С. 174–188; 2) М.С. Куторга и Н.И. Кареев: коммуникативная специфика и трудности верификации // *Диалог со временем*. 2010. Вып. 30. С. 223–235.

⁴⁰ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 114.

⁴¹ *Кареев Н.И.* Анекдота (Кое-что из «неизданного» о профессорах А.Ф. Кони) // Анатолий Федорович Кони. 1844 – 1924. Юбилейный сборник. Л., 1924. С. 60. Отметим, что Кареев не совсем прав. Нам все же удалось обнаружить печатную работу Г.А. Иванова, правда, увидевшую свет уже после того, как Кареев окончил университетский курс. См.: *Иванов Г.А.* Взгляд Цицерона на современное ему изучение красноречия в Риме // *Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1878 г.* М., 1878.

⁴² *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 115.

⁴³ *Кизеветтер А.А.* На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881–1914. М., 1997. С. 65–66.

боле夫斯基, отмечавший, что «у Гавр. Аф. поучиться было чему», вспоминал: «проф. Г.А. Иванов, в позднюю эпоху своего профессорства (уже в 80-х годах, например) считавшийся очень добрым и снисходительным экзаменатором, был «зверем», по рассказам А.Н. [Шварца]; по-видимому, перемена в нем произошла после выхода из профессорства Леонтьева в 1872 г., который имел на него огромное влияние»⁴⁴.

Известный филолог-классик и педагог **Павел Михайлович Леонтьев** (1822–1874), читавший на III курсе Карееву лекции по латинскому языку и одновременно ведший греко-римский семинарий, был, по его словам, «существом злобным»⁴⁵, а В.О. Ключевский отмечал, что в это время среди реакционных профессоров наиболее активную роль играли «самые крупные подлецы»⁴⁶, в списке которых первым стоял Леонтьев. Студентам, которые не посещали его лекций, «он беспощадно ставил неудовлетворительные оценки»⁴⁷. Воспитанник Московского университета, прошедший хорошую филологическую подготовку в Берлинском университете под руководством А. Бека и К. Лахмана, Леонтьев получил известность как исследователь проблем древнегреческой религии, античной скульптуры и архитектуры, экономического и социального развития древнего Рима⁴⁸. Но, признавая его несомненный вклад в развитие отечественной науки об античности, надо сказать, что не всегда его деятельность была продиктована только научными или педагогическими интересами: к этому примешивались и политические соображения. По словам Кареева, «политическая его физиономия, как сподвижника Каткова, прямо от него отталкивала» и не могла «к себе привлечь»⁴⁹. Как справедливо заметил Э.Д. Фролов, Леонтьев «являл собою классический пример русского либерала, который под воздействием революционной обстановки на Западе и в России превратился в убежденного консерватора и реакционера. Отсюда чисто практический взгляд на классическое образова-

⁴⁴ *Соболевский С.А.* Александр Николаевич Шварц (Некролог) // ЖМНП. 1916. № 1. С. 18, 23. Прим. 5. Известна и высокая оценка педагогической деятельности Иванова, данная М.М. Покровским. См.: *Покровский М.М.* Г.А. Иванов // Речь и отчет Московского университета, читанные 12 января 1902 года. М., 1902.

⁴⁵ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 114.

⁴⁶ *Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 132.

⁴⁷ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 114.

⁴⁸ *Леонтьев П.М.* 1) О поклонении Зевсу в древней Греции. М., 1850; 2) О различии стилей в греческом ваянии // Пропилеи. Кн. I. М., 1851; 3) Эгинские мраморы мюнхенской глипготеки // Там же; 4) Археологические разыскания на месте древнего Танаиса и в его окрестностях // Там же. Кн. IV. М., 1854; 5) О судьбе земледельческих классов в древнем Риме. М., 1861 и др.

⁴⁹ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 115.

ние как средство борьбы с “язвою материализма”; отсюда также и долготелнее сотрудничество с М.Н. Катковым..., чей журнал (“Русский вестник”) и газета (“Московские ведомости”) стали с начала 60-х годов подлинными рупорами реакции⁵⁰. Очевидно, в памяти Кареева фигуры Иванова и Леонтьева слились в одну, что, впрочем, не помешало ему относительно «великого смиренника и чинопочитателя» Иванова признавать, что тот – «действительно, знаток латинского языка»⁵¹.

Греческий язык на I-II курсах читал лектор немецкого языка **Юлий Карлович Фелькель** (1812–1882), человек, бывший, по словам Кареева, «только случайным преподавателем и... при этом неважным учителем»⁵². Надо сказать, что доктор философии Берлинского университета Фелькель, был известен рядом публикаций, в том числе, в годы прохождения Кареевым университетского курса под его редакцией вышло 2-е издание «Избранных речей Цицерона», а незадолго до этого (1868) он опубликовал латинский перевод «Апологии Сократа» Платона⁵³. На III и IV курсах греческий язык преподавал «сухой и педантичный немец» Виберг, толковавший, как вспоминал Кареев «уже не помню какого греческого автора»⁵⁴. Между тем, **Иван Христианович Виберг** (1822–1874) окончил в свое время Дерптский университет; в начале 1872 г., будучи уже доктором философии Иенского университета (диссертация «De fato graecorum, quid maxime probabile sit, quaeritur»), «по испытании и защите диссертации под заглавием "De optativi graeci indole et natura" он был утвержден в степени магистра греческой словесности, а 23 сентября в звании доцента по кафедре греческого языка и словесности»⁵⁵.

И Иванов, и Фелькель «усиленно упражняли... в переводах с русского», но Кареев, по его словам, оба классических языка знал для первокурсника «недурно», поэтому «скоро перестал ходить на лекции обоих преподавателей, а занимался дома». Редко бывал он и на лекциях Леонтьева, из-за чего едва не получил неудовлетворительную оценку на экзамене, хотя к нему «особенно тщательно приготовился». О хорошем знании древних языков говорит тот факт, что Кареев представил Иванову изложенную своими словами по-латыни «Германию» Тацита,

⁵⁰ Фролов Э.Д. Очерки по античной историографии (до середины XIX в.). Л., 1967. С. 124–125.

⁵¹ Кареев Н.И. Анекдота. С. 60.

⁵² Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 115.

⁵³ См.: Фелькель Юлий Карлович (1812–1882) // Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 2. СПб., 1885. С. 49–50.

⁵⁴ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 115.

⁵⁵ И.Х. Виберг (Некролог) // Отчет и речь, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета, 12 января 1875 г. М., 1875. С. 58.

а «в греческом языке упражнялся сам, давая по нему уроки»⁵⁶, кроме того, на всех экзаменах по этим предметам он имел высший балл. Но, как бы то ни было, ни один из преподавателей-классиков не привлек к себе внимания будущего ученого, хотя такой шанс был.

Когда Кареев уже почти прослушал университетский курс, из-за границы приехал профессор греческого языка **Федор Евгеньевич Корш** (1843–1915) будущий академик, автор множества работ по классической словесности, типологическому и сравнительно-историческому языкознанию⁵⁷; один из его биографов писал, что каждая его лекция «заключала в себе богатое содержание, массу тонких, оригинальных, будящих мысль замечаний и создавала в аудитории то специфическое настроение, которое возникает при общении подлинного научного творца со своими учениками»⁵⁸. Вспоминая годы студенчества, Кареев отмечал что, «появись Корш на нашем горизонте раньше, он, я думаю, захватил бы меня»⁵⁹.

Определенное влияние на формирование у Кареева знаний по античной истории могли оказать профессора **Памфил Данилович Юркевич** (1827–1874) и **Александр Михайлович Иванцов-Платонов** (1835–1894). Первый из них читал лекции по логике, философской пропедевтике, психологии и истории древней философии и был в 1869–73 гг. деканом историко-филологического факультета⁶⁰. Иванцов-Платонов преподавал церковную историю. По мнению Кареева, он «был, действительно, историк», познакомивший своих слушателей «с разработкой истории христианства первых трех веков», отмечая при этом уважение и симпатию студентов к этому преподавателю «как к знающему свой предмет ученому и очень обходительному человеку»⁶¹. Эта оценка во многом совпадает с характеристикой Иванцова-Платонова одним из его биографов: «как профессор он был одним из лучших университетских препода-

⁵⁶ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 114. В 1923 г. при заполнении анкеты в Географическом институте, Кареев на вопрос «Какие знаете языки?» уверенно ответил: «Древние языки, а из новых – французский, немецкий, английский польский». ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8612 (О службе профессора Николая Кареева) Л. 342 об.

⁵⁷ См., напр: Корш Ф.Е. 1) Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса М., 1877; 2) Римская элегия и романтизм. М., 1899.

⁵⁸ Грушка А. Федор Евгеньевич Корш (Некролог) // ЖМНП. 1915. № IV. С. 96.

⁵⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 115.

⁶⁰ Несмотря на некоторое предубеждение к нему как к метафизику, Кареев высоко ценил проведенную Юркевичем параллель «между Платоном и Кантом». Там же. С. 122. Кареев имеет в виду работу: Юркевич П.Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Московские университетские известия. 1866. № 5.

⁶¹ Там же. С. 122. Именно во время прохождения Кареевым университетского курса Иванцов-Платонов усиленно работал над своей докторской диссертацией «Ереси и расколы трех первых веков христианства», защищенной в 1877 г.

вателей, сумевшим приковать внимание молодежи к предмету, не пользовавшемуся до того времени особым расположением учащихся»⁶².

Что касается однокурсников Кареева, то о них в «Прожитом и пережитом» упоминается бегло. Отметим факт знакомства с **Владимиром Дмитриевичем Исаенковым (1850–?)**: о котором он вспоминает в связи с регулярными посещениями итальянской оперы: «Это было на II и III курсах. В числе участников абонемента были и классики, между ними – большой латинист Вл. Дм. Исаенко, потом писавшийся Исаенковым, бывший учителем, окружным инспектором и помощником попечителя учебного округа. <...> Каждый раз, встречаясь с ним, я шутливо спрашивал: «Который раз вы прозубрили грамматику Мадвига?» – на что он, смеясь, отвечал какой-нибудь трехзначной цифрой»⁶³. Кроме того, удалось выяснить, что Исаенков редактировал переводы немецких пособий по латинской грамматике (Мейсснера, Везенера, Деттвейлера, Ротфукса, Зюпфле и др.), а также был инициатором создания и председателем «Кружка преподавателей древних языков» в Москве⁶⁴.

Из других коммуникаций этого периода следует упомянуть знакомство Кареева с учениками Герье в рамках проводимого учителем «вечернего семинария» – **П.Г. Виноградовым, М.С. Корелиным** (об этих взаимоотношениях и вкладе упомянутых ученых в развитие науки о греко-римском мире будет сказано далее) и **Р.Ю. Виппером**⁶⁵.

По окончании университета «со степенью кандидата историко-филологического факультета» Кареев был оставлен на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. Однако университет не предоставлял работы, и поэтому с 1 сентября 1873 г. он был «определен в службу учителем истории в Московскую III гимназию»⁶⁶, где успешно проработал (с перерывом на время заграничной командировки 1877–1878) до 1879 г. Работа в гимназии расширила коммуникативное пространство Кареева, в том числе и (напомним, что гимназия была классической) в части общения со специалистами-античниками.

⁶² Кедров С. Студенты-платоники в Академии // У Троицы в Академии. 1814–1914 гг. Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 228. Ср.: Корелин М.С. Отношение А.М. Иванцова-Платонова к исторической науке // Вопросы философии и психологии. 1895. Кн. 2 (27). С. 221–241.

⁶³ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 128.

⁶⁴ См.: Краткий отчет Кружка преподавателей древних языков / Сост. В.Д. Исаенков. М., 1901.

⁶⁵ См.: Фильмонов В.А. Н.И. Кареев и Р.Ю. Виппер в дискуссии о всемирно-исторической точке зрения: анализ коммуникативной ситуации // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе. М., 2007. С. 170–173.

⁶⁶ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8612 Л. 6 (формулярный список о службе).

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют произвести реконструкцию этих контактов, расширить представления о коммуникативных практиках историка. В «Прожитом и пережитом» упомянуты, по меньшей мере, три таких специалиста, двое прямо и один опосредовано. В первую очередь надо сказать о директоре гимназии **Вячеславе Ильиче Малиновском** (?–1886). По словам Кареева, это был «человек умный, достаточно образованный и благожелательный, несмотря на свой суровый вид и некоторый формализм» и далее указывает, что тот был «отличный латинист, сам преподававший в старших классах»⁶⁷. Других свидетельств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это мнение, почти нет. Воспользуемся сведениями из некролога, написанного учителем III гимназии П.И. Виноградовым, и воспоминаниями инспектора этой гимназии (а затем и окружного инспектора Московского учебного округа) Я.И. Вейнберга. «Это был человек, – пишет автор некролога, – для которого исполнение своего долга стояло выше всего в жизни; это был неутомимый труженик, беззаветно преданный своему служению, строгий к себе иногда более чем к другим. Ревностно преданный классической школе, классик не только по образованию, но и по убеждениям, он влагал всю душу в свое дело. Можно сказать, он жил в мире классической истории и литературы, и самое мирозерцание его, казалось, покоилось на образах, вынесенных из изучения древнего мира. В классической системе образования он видел залог величия России и вражду против этой системы считал за признак вражды к отечеству»⁶⁸. В воспоминаниях Вейнберга мы находим важное указание на то, что Малиновский в 1849 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета, был учеником Грановского и Кудрявцева и начал свою карьеру в качестве учителя истории. Оценивая деятельность Малиновского в качестве директора III гимназии, Вейнберг писал: «В лице Вячеслава Ильича отличное знание древних языков соединялось с огромною педагогическою опытностью, но, что еще важнее, изумительная энергия и сила воли соединялись с редкой добротой, с любовью к делу, с сердечным желанием, чтобы классическая система образования по возможности скорее и лучше привилась к 3-й гимназии и принесла желаемые плоды»⁶⁹. Зная о позиции Кареева в дискуссии о гимназической реформе, следовало бы, на первый взгляд, ожидать конфликта, однако его

⁶⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 135, 137.

⁶⁸ Виноградов П.А. В.И. Малиновский (Некролог) // Московские ведомости. 1886. № 100.

⁶⁹ Вейнберг Я.И. Воспоминания о 3-й Московской гимназии // Краткий исторический очерк пятидесятилетия III Московской гимназии (1839–1889) / Сост. П.А. Виноградов. М., 1889. С. 36 отд. паг.

не было и в помине. И объяснение этому мы тоже находим у Вейнберга: «Внимательно следя за усвоением учениками формальной части языкознания, грамматики, Вячеслав Ильич однако ж никогда не терял из виду, что грамматика далеко не составляет конечной цели языкоучения, а служит лишь средством к достижению главного результата – чтобы изучение древних языков оказывало могущественное свое влияние на мыслительные способности, на ум и сердце учащихся, чтобы *humaniora* действительно образовали *hominem* в истинном значении этого великого слова»⁷⁰. Такая позиция не могла не импонировать Карееву: «Конечно, – вспоминал он, – я делал ошибки, на которые раза два-три и указывал мне *очень тактично* (курсив наш – В.Ф.) директор Вяч. Ил. Малиновский»⁷¹. Мало того, не исключено, что эта позиция стала для Кареева образцовой и позволила окончательно выработать свою собственную.

В III-й гимназии Карееву пришлось воочию увидеть перемены в гимназическом преподавании, связанные с реформой 1871 г., «с призывом учителей из Австрии (чехов и галичан), с удлинением на год времени учения, письменными испытаниями зрелости, для которых темы по древним и по русскому языкам и по всем четырем отделам математики присылались попечителем учебного округа в запечатанных конвертах». В связи с этим Кареев упоминает еще о двух (кроме Малиновского) коллегах-античниках: «Самыми ревностными блюстителями министерских предписаний были выписанные из-за границы славянские братушки, плохо знавшие русский язык. В 3-й гимназии их было двое, из которых один был очень добродушен, а другой – настоящий человек в футляре»⁷². В перечне преподавателей гимназии среди филологов-классиков мы находим троих, подходящих под эти характеристики. Во-первых, это упомянутый в мемуарах «сердитый угрорус» **Юрий Юрьевич Ходобай** (?–ок. 1885), о котором Кареев пишет, что тот «был близок к Катковскому Лицею»⁷³. Ходобай окончил курс в Градецком университете на философском факультете в 1861 г. и преподавал древние языки в австрийских гимназиях. Службу в России он начал в 1869 г в Тульской гимназии и в том же году переведен в 3-ю гимназию. Ходобай был автором многократно переиздававшихся учебников по латинской грамматике⁷⁴. *Эмма-*

⁷⁰ Там же. С. 37.

⁷¹ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 135.

⁷² Там же. С. 137.

⁷³ Там же. Действительно, с 1873 по 1882 гг. Ходобай исполнял обязанности старшего тьютора гимназических классов в Лицее Цесаревича Николая (См.: Краткий исторический очерк пятидесятилетия III Московской гимназии... С. 148).

⁷⁴ Книга упражнений к латинской грамматике доктора Фердинанда Шульца / Сост. Ю. Ходобаем и П. Виноградовым. М., 1872 и др. изд.; Латинская грамматика

нул **Вячеславович Черный** (? – до 1889) получил образование на философском факультете Венского университета, преподавал древние языки в австрийских гимназиях, с 1863 г. приступил к преподаванию в III-й гимназии; был автором многочисленных учебных пособий для гимназий⁷⁵. Третий в списке преподавателей-«братушек» – **Яким Якимович Квичала** (?–?), в 1868 г. он закончил Пражский университет, был назначен учителем древних языков, сначала в Тверскую, а с 1875 г. в III Московскую гимназию и в Лазаревский институт восточных языков⁷⁶.

Из преподавателей-классиков, работавших в гимназии в бытность там Кареева, назовем еще **Евгения Александровича Шмидта** (?–?), выпускника Дерптского и доктора философии Йенского университета, преподававшего оба древних языка в 1873–75 гг., автора сочинений по древнегреческой мифологии и психологии. В 1867–86 гг. место штатного преподавателя древних языков (а до этого истории) занимал **Дмитрий Петрович Медведев**. Еще на одного коммуниканта указывает Кареев: «Место учителя истории и географии мне подвернулось совершенно случайно, но я с радостью его принял, попросив только начальство освободить меня от географии, уроки которой охотно взял себе уже имевшийся в гимназии преподаватель географии, передав мне свои уроки истории»⁷⁷. Сверяясь со списком преподавателей, легко определяем, это – **Михаил Степанович Мостовский** (?–1907), выпускник медицинского факультета Московского университета 1862 г., автор известного учебника по географии⁷⁸. В 1873 г., оставаясь преподавателем гимназии, он был определен чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе. Именно о нем (не называя фамилии) упоминает Кареев в мемуарах: «Неприятным и полицейски настроенным был только инспектор и еще один, наоборот, очень обходительный преподаватель, выжитый директором из гимназии за крайнюю неаккуратность в ее посе-

доктора Фердинанда Шульца, обработанная для русских гимназий Юрием Ходобаем. М., 1873 и др. изд.

⁷⁵ Краткий исторический очерк пятидесятилетия... С. 148. См., напр.: *Черный Э.В.* Греческая грамматика гимназического курса. М., 1879; Книга упражнений по греческой этимологии по руководству П. Везенера. С приспособлениями к употреблению в русских гимназиях и с прибавлением начальных правил греческого синтаксиса / Сост. Э. Черный. М., 1879 и др.

⁷⁶ Краткий исторический очерк пятидесятилетия... С. 149.

⁷⁷ *Кареев Н.И.* Несколько личных воспоминаний и общих мыслей о преподавании истории в средней школе и о подготовке учителей. Харьков, 1916. С. 3.

⁷⁸ *Мостовский М.С.* Приготовительный курс всеобщей географии. М., 1869 и др. изд.; *Он же.* Учебник географии России. М., 1864 и др. изд. Самой известной его публикацией следует признать: *Мостовский М.С.* Историческое описание Храма во имя Христа Спасителя в Москве. М., 1883 (многократно переизд.).

щении, много времени спустя [он] снискал славу в должности чиновника особых поручений при генерал-губернаторе. О нем говорили уже во время отправления этой должности, будто бы он, переодетый трактирным слугой («половым», по тогдашней терминологии), прислуживал иногда в отдельных кабинетах ресторанов. Хотелось бы думать, что последнее было сплетней, хотя сам я видел этого бывшего своего коллегу в полицейской роли. Приехал я как-то из Петербурга в Москву прочесть публичную лекцию, на которой он *ex officio* присутствовал в вицмундире рядом с другим подобным же господином. Оба они посидели с четверть часика, увидели, что лекция читается на очень отвлеченную тему, и оба сразу же исчезли со своих мест в первом ряду»⁷⁹. Упомянутый «полицейски настроенный» инспектор – **Ростислав Иванович Крылов**, «действительный студент Московского университета, историко-филологического факультета выпуска 1852 года», в 1870–1879 гг. исполнявший в гимназии также обязанности учителя латинского языка⁸⁰.

И об историках в гимназии. Согласно «Краткому историческому очерку гимназии» «учебные планы 1872 г. установили два курса истории: эпизодический и систематический, первый в 3 м и 4-м, второй в последних четырех классах. Систематический курс всеобщей истории должен был начинаться изложением средневековой истории, история же классических народов отнесена была к последнему классу. В 1877 г. систематический курс древней греческой и римской истории следовало излагать в V классе; затем в VI классе проходится средняя история до Филиппа Красивого и русская до Иоанна III; в VII оканчивается средняя история и проходится новая до Фридриха II, а русская до Екатерины II; в VIII оканчивается и повторяется весь курс истории»⁸¹. Судя по всему, Кареев был единственным преподавателем истории в гимназии, сменив **Александра Васильевича Зданевича**⁸² (?–1882). На время заграничной командировки Кареева (1877–78) его обязанности выполнял специально приглашенный выпускник 1873 г. юридического факультета Московского университета **Михаил Михайлович Соколов**, исполнявший потом должность инспектора 3-й московской женской гимназии⁸³. А после увольнения Кареева, его сменил выпускник 1879 года историко-филологического факультета Московского университета **Вячеслав Владимирович Смирнов**.

⁷⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 138.

⁸⁰ Краткий исторический очерк пятидесятилетия... С. 95.

⁸¹ Там же. С. 185.

⁸² Его биографию см.: Краткий исторический очерк пятидесятилетия... С. 188–190. В воспоминаниях Вейнберга он охарактеризован как «светлая, добрая, симпатичная личность» (там же. С. 19 отд. паг.).

⁸³ Соколов М.М. Пятидесятилетие женской гимназии Ю.П. Бесс. М., 1894.

Несмотря на разнообразие мировоззренческих установок, взглядов и подходов к преподаванию своих предметов, педагогический коллектив III Московской гимназии в целом характеризуется Кареевым положительно: «среди моих товарищей по преподаванию, как среди стариков, так и между молодыми, царил все-таки дух порядочности»⁸⁴.

Продолжая разговор о коммуникативных практиках молодого преподавателя, следует указать на такой рецептивный вид речевой коммуникации, как чтение. В нашем конкретном случае имеется в виду чтение и критика существовавших в то время гимназических учебников по истории. «Было реформировано, – писал Кареев о новшествах, связанных с толстовской гимназической реформой, – и преподавание истории, и явились новые учебники, найденные мною уже в ходу. Один из них, учебник Беллярминова для младших классов даже сделался притчей во языцех. Например, Французская революция в нем была передана в трех-четырёх строках: безбожные-де французы, развращенные ложными учениями, возмутились против своего благодушного короля и низложили его, после чего чуть не тотчас же явился Наполеон, с полным умолчанием о казни Людовика XVI»⁸⁵. Упомянутый **Иван Иванович Беллярминов** (1837–1917) получил образование в Саратовской духовной семинарии, в Главном педагогическом институте и на историко-филологическом факультете Петербургского университета (одновременно с ним в 1860 г. окончили курс известные впоследствии профессора – античник В.И. Модестов, византинист В.Г. Васильевский, славист В.В. Макушев⁸⁶). По окончании университета Беллярминов преподавал педагогику в Петербургском историко-филологическом и в Павловском институтах, историю и латинский язык в III и VI петербургских гимназиях. В 1869–1908 гг. состоял членом ученого комитета министерства народного просвещения, в функции которого входило одобрение (или неодобрение) и разрешение употребления в гимназии учебников и пособий⁸⁷.

⁸⁴ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 138.

⁸⁵ Там же. С. 137. Оценка Кареева восходит к рецензии Н.К. Михайловского, протестовавшего против «духа официальной благонамеренности», пронизывавшего этот учебник (кстати, регулярно печатавшийся вплоть до 1917 г. и выдержавший в итоге 46 переизданий): «Как ни мало поворотливо наше общество, в нем, думаем мы, должно зашевелиться чувство совершенно справедливого негодования за такую бесцеремонную, бесцельную, или, по крайней мере, не достигающую своей цели, подтасовку исторических фактов» (Михайловский Н.К. «Элементарный курс всеобщей и русской истории» г. Беллярминова [1872] // Сочинения Н.К. Михайловского. Т. II. Изд. 2-е. СПб., 1888. С. 206.

⁸⁶ Григорьев В.В. Императорский С.Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. CVI–CVII.

⁸⁷ См.: Булгаков Ф. Фабрикация учебников истории // Исторический вестник. 1882. № 5. С. 417–420. «Учебник истории, – поясняет В.М. Бухараев, – не может быть

«Я нашел нужным, – вспоминал Кареев, – переменить учебники... но когда в педагогическом совете предложил прекрасный учебник Шульгина, по справке оказалось, что он не был разрешен ученым комитетом и чуть ли не запрещен особым циркуляром. Пришлось взять Иловайского, в то время начавшего царить в школах. Тогда мне в голову и пришла впервые мысль о написании своего учебника, осуществленная только четверть века спустя. Прелестна в своем роде была и официальная объяснительная записка к программам истории, рекомендовавшая, например, не останавливаться на мрачных сторонах отечественной истории»⁸⁸.

Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920), выпускник (1854) Московского университета, доктор русской истории (1870) вряд ли нуждается в особом представлении⁸⁹. Его «Руководства...» к русской и всеобщей истории, написанные, как и учебники Беллярминова, в консервативно-охранительном духе, продержались до 1917 г. и каждое из их многочисленных переизданий (одно только «Руководство к русской истории. Средний курс» переиздавалось 44 раза!) сопровождалось резкой критикой, прежде всего, из либерального лагеря. В качестве примера стоит привести одно из относительно нейтральных мнений об учебнике

понят без учета того, что он является предметом идейно-политических забот государства. Бюрократические учреждения <...> формируют такой корпус пособий, который способствует легитимации наследуемой системой исторической традиции <...> утверждает официально выверенную культурно-национальную идентификацию обывателей» (Цит. по: *Могильницкий Б.Г.* Методология истории в системе университетского образования // Новая и новейшая история. 2003. № 6. С. 11–27.)

⁸⁸ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 137. Ср.: «Выбора учебников почти не было: Шульгин, который был в официальной опале, маленький Вебер, переполненный через край собственными именами и хронологией, да Иловайский, столько десятилетий почти безраздельно царивший в средней школе, вот и все, что было по части учебников. Сам я в гимназии учился по Веберу, внушившему мне прямое отвращение к предмету, и только в последнем классе по Иловайскому, с историей меня не примирившему <...> За время моего пребывания в университете к трем названным учебникам прибавились книги Рождественского и Беллярминова, но это дело не поправило». (*Кареев Н.И.* Несколько личных воспоминаний... С. 4). Мысль Кареева о написании собственных учебников была им реализована спустя тридцать лет. См.: *Кареев Н.И.* Учебная книга истории средних веков. СПб., 1900 (10-е изд. – СПб., 1916); *он же.* Учебная книга новой истории. СПб., 1900 (16-е изд. – СПб., 1917); *он же.* Учебная книга древней истории. СПб., 1901 (9-е изд. – СПб., 1914). Подробнее см.: *Скворцова Е.С.* Ученые России – народному образованию // Новая и новейшая история. 1997. № 6. С. 23–40; *Орловский А.Я.* Учебники истории в школах России: 1861–1917 гг. // Преподавание истории и обществознания в школе. 2001. № 10. С. 39–46; *Филимонов В.А.* Феномен «профессорского учебника» (на примере «Учебной книги древней истории» Н.И. Кареева) // Ставропольский альманах Общества интеллектуальной истории. 2003. Вып. 4. С. 63–70.

⁸⁹ Из последних работ о нем см., напр.: *Чежурич Л.В.* Без гнева и пристрастия: личность и судьба русского историка Д.И. Иловайского. Рязань, 2009.

Иловойского, принадлежащее коллеге Кареева, профессору Петербургского университета Г.В. Форстену: «Неумелый план, разбросанность материала, главное вперемежку с второстепенным, старые, отжившие свой век точки зрения делают совершенно непригодным для наших гимназий этот учебник, который точно задался целью извращать факты, а не объяснять их, не излагать их согласно с исторической правдой»⁹⁰.

Виталий Яковлевич Шульгин (1822–1878), учебник которого Кареев охарактеризовал как «прекрасный», выпускник (1843) философского факультета университета Св. Владимира в Киеве, исполняя должность экстраординарного профессора в своей alma mater (1849–1862), читал лекции по разным отделам древней, средней и новой истории. Его гимназические учебники, несмотря на официальную опалу, выдержали несколько переизданий: «Курс истории древнего мира» (1856, 6-е изд. в 1865), «Курс истории средних веков» (1858, 8-е изд. – 1881) «Курс истории новых времен (1862, 7-е изд. в 1898). «Учебники эти имели для своего времени большое значение: ничего подобного в русской педагогической литературе до тех пор не было. “Как можно менее голых чисел и безличных имен и как можно более живых людей” – в этом Шульгин видел основу исторического преподавания. В его учебниках преимущество дано культурной истории перед внешними событиями. В текст внесены места из разных исторических сочинений, как русских, так и иностранных; книги снабжены библиографическими указателями. Написаны книги языком резким, беспокойным, но колоритно, не без погони за эффектной фразой. Их можно считать родоначальниками современных лучших учебников истории»⁹¹.

Кареев поддерживал отношения с учениками, о чем свидетельствует В.А. Шуф в письме М.В. Вильсон: «У меня оказался один общий знакомый с Пыпиным, некто Кареев, профессор истории в Петербургском университете, мой бывший учитель по гимназии и хороший знакомый. Его статья “Об исторической философии “Войны и Мира” Толстого” была помещена в июльской книжке “Вестника Европы”. Кареев приезжал на прошлой неделе в Ялту и рассказывал мне много о Пыпине»⁹².

В период 1872–1879 гг. Кареев отметился рядом публикаций в журналах «Филологические записки» и «Знание», в том числе и рецензиями

⁹⁰ ЖМНП. 1901. № II. С. 47.

⁹¹ Конский П.А. Шульгин (Виталий Яковлевич) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (ЭСБЕ). Пт. 79, 1904. С. 5.

⁹² ИРЛИ. Ф. 402.2.616. URL: <http://v-shuf.narod.ru/pisma.htm>. Владимир Александрович Шуф (1865–1913), поэт надсоновского круга, репортер, путешественник, не окончивший курса гимназии по болезни и переехавший из-за этого в Ялту, известен, прежде всего, циклом стихов «Гексаметры» (1910). Подробнее см.: Владимир Александрович Шуф. Биографический очерк. URL: <http://v-shuf.narod.ru/bio.htm>.

на работы по греко-римской проблематике. Как известно, доминирующей коммуникативной целеустановкой рецензии как ответной реплики интерпретатора в диалоге с другим автором, является оценочная деятельность⁹³, поэтому написание отзывов о научных работах следует рассматривать не только как обсуждение, критический разбор, направленные на достижение его верной интерпретации, но и как особую разновидность коммуникации. По меньшей мере, четыре автора, на труды которых Кареев писал рецензии⁹⁴, входят в круг нашего научного интереса.

Автор книги «Нравственное и умственное развитие римского общества во II веке» *Владимир Александрович Кожевников* (1852–1917) – историк культуры, философ, публицист, который получил отличное домашнее воспитание, овладел основными европейскими и древними языками, учился в Московском университете в качестве вольнослушателя, но к выпускным экзаменам допущен не был. В 1875 г. он познакомился с философом Н.Ф. Федоровым и стал одним из близких к нему людей, посвятил ему монографию «Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам» (М., 1908, ч. I), а также способствовал опубликованию его «Философии общего дела». Кожевников был почти неизвестен широкой публике, и в этом проявлялась осознанно выбранная им жизненная стратегия, но хорошо знавшие и ценившие его интеллектуалы считали такое положение несправедливым и стремились, преодолевая тихое, но упорное сопротивление самого ученого, сделать его обширные знания достоянием всего общества⁹⁵. Сведений о личном знакомстве Кареева и Кожевникова нет, однако в «Основных вопросах философии истории» есть ссылка на «Нравственное и умственное развитие...»⁹⁶. Эту же книгу Кареев вклю-

⁹³ *Гришечкина Г.Ю.* Коммуникативный аспект научной рецензии // Образование. Коммуникация. Ценности. (Проблемы, дискуссии, перспективы). По материалам круглого стола «Коммуникативные практики в образовании» / Под ред. С.И. Дудника. СПб., 2004. С. 22. URL: http://www.anthropology.ru/ru/texts/grishechkina/educval_04.html

⁹⁴ См.: *Кареев Н.И.* 1) Новое провинциальное издание [Рец. на кн.: Кожевников В.А. Нравственное и умственное развитие римского общества во II веке. Козлов, 1874] // ФЗ. 1875. Вып. I. С. 3–5; 2) [Рец. на кн.:] Воеводский Л.Ф. Канибализм в греческих мифах. СПб., 1874 // ФЗ. 1874. Вып. III–IV. С. 15. (Развернутый анализ этой работы см.: *Кареев Н.И.* Новая наука (По поводу диссертации г. Воеводского «Канибализм в греческих мифах») // Знание. 1875. Кн. 4. С. 1–7); 3) [Рец. на кн.:] Шварц А.Н. Речь Гиперида за Евксениппа. М., 1875 // ФЗ. 1874. Вып. III–IV. С. 20; 4) Удивительные открытия в области филологии [Рец. на кн.: Великанов А.С. Зарницы Руси за скифским горизонтом разысканий о ее начале. Одесса, 1877] // ФЗ. 1877. Вып. I. С. 31–36.

⁹⁵ *Ключарева Н.* Владимир Кожевников – ученый, чья известность нужна России // Татьяна день. Интернет-издание домового храма Св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова. 2010. 28 октября. URL: <http://www.taday.ru/text/700386.html>

⁹⁶ *Кареев Н.И.* Основные вопросы философии истории. Т. II. М., 1883. С. 232–233.

чил в «Указания на литературу по истории Греции и Рима», приложенные ко 2-му изданию «Введения в курс древней истории»⁹⁷.

Леопольд Францевич Воеводский (1846–1901) внес значительный вклад в развитие отечественного антиковедения. В 1875 г. он занял кафедру греческой словесности в Новороссийском университете, «Его работы в области греческой культуры и мифологии стали одной из первых в отечественной историографии попыток комплексного подхода к изучению источников с использованием методов смежных дисциплин (этнографии, сравнительного языкознания и др.)»⁹⁸. В докторской диссертации Кареев, рассуждая о том, что сравнительная мифология «представляет именно изучение психологической стороны верований и возможна без всяких вторжений в область социологии», вносит уточнение: «если только не ставит вопроса о том, какой общественный быт отразился на том или ином мифе»⁹⁹, приводя в качестве примера такой постановки проблемы, работу Воеводского. В лекциях, которые Кареев читал на Бестужевских курсах, также есть отсылка к этой книге: «В греческой религии антропоморфизм нашёл отражение в поэзии, где божества являются идеалами человеческого совершенства; первоначально со стороны физической силы и мощи, затем со стороны красоты и духовного совершенства. Мы можем до некоторой степени проследить постепенное развитие воззрений у греков. Это дало повод профессору Воеводскому написать книгу под названием “Каннибализм в древней мифологии”»¹⁰⁰. Сведениями о личных контактах историков мы не располагаем, однако известно, что в августе 1884 г. Кареев ездил в Одессу на Археологический съезд¹⁰¹ и такую коммуникацию можно рассматривать как возможную.

Александр Николаевич Шварц (1848–1915), будущему министру народного просвещения (1908–1910), как и многим государственным деятелям рубежа XIX–XX вв. не уделено должного внимания в историографии: «многим из них современники не успели, а последующие поколения исследователей по разным причинам не смогли дать адекватную оценку, обобщить их научный опыт, организационный вклад в науку и просвещение»¹⁰². В советский период трезвому разбору научного вклада

⁹⁷ Кареев Н.И. Введение в курс истории древнего мира. 2-е изд. СПб., 1886. С. 110.

⁹⁸ Радзиховська О.О., Избаи Т.О., Березін С.Є. Традиції антикознавства та медієвістики в Новоросійському – Одеському університеті: кафедра історії стародавнього світу та середніх віків // Записки історичного факультету. Вип. 16, Одеса. 2005. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zif/2005-2008/pub/16/37.pdf.

⁹⁹ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 15.

¹⁰⁰ Лекции по древней истории... С. 384.

¹⁰¹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 174.

¹⁰² Черказьянова И.В. Александр Николаевич Шварц: окружение, восприятие, оценки // Харківський історіографічний збірник. Вип. 7. Харків, 2004. С. 84.

Шварца в развитие российской науки об античности помешало сформировавшееся к этому времени идеологическое клише восприятия его как реакционного деятеля, в пору своего министерства проведшего ряд реакционных мероприятий в области средней и высшей школы, отменившего университетскую автономию, запретившего прием женщин вольнослушательницами в высшие учебные заведения и строго стоявшего на страже соблюдения процентной нормы для евреев при приеме в учебные заведения. Именно такую оценку дает Шварцу Кареев в своих мемуарах, неоднократно называя его (вкуче с другими министрами – Боголеповым и Кассо) проводником реакции в жизнь высшей школы¹⁰³.

Что касается *Александра Семеновича Великанова* (1818–1886), выпускника Одесского Ришельевского Лицея, то упомянутая рецензия, в которой Кареев подверг автора резкой критике, оказалась единственным зафиксированным коммуникативным актом. При этом не исключено, что в анонимной статье в «Словаре Брокгауза и Ефрона» реплика «его историко-археологические работы не встретили сочувствия в научных сферах»¹⁰⁴ могла появиться в результате редакторской правки или внесена по указанию редактора исторического отдела – Кареева.

Таким образом, итогом разобранного нами пятнадцатилетия жизни и творчества Кареева может считаться формирование коммуникативного пространства. Как коммуникант он выступает в нескольких ипостасях: ученик, читатель, рецензируемый, коллега, учитель, рецензент. Получение в 1879 г. назначения в Варшавский университет и переход к профессорской деятельности открыл новый этап развития и существенного расширения коммуникативного пространства ученого.

Межличностные коммуникации Н.И. Кареева и российских антиковедов в 1879–1899 гг.: Варшава и Санкт-Петербург

В конце августа 1879 г. Кареев прибыл в Варшаву. Сухие строки официального документа фиксируют начало нового этапа его деятельности. «Предложение [Совету университета] Управляющего Варшавским Учебным округом... п. 11... От 8 августа 1879 года за 6653, коим сообщает, что Министр Народного Просвещения, от 31 июля с. г. за № 8369, изволил утвердить учителя III Московской гимназии, магистра всеобщей истории Кареева – экстраординарным профессором Варшавского Университета по кафедре всеобщей истории, с 1 августа сего 1879 года...»¹⁰⁵. В актовой речи о состоянии императорского Варшавского Университета за 1878–79 академический год, прочитанной 30 августа 1879 г. ректором

¹⁰³ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 232, 243, 276.

¹⁰⁴ Великанов А.С. // ЭСБЕ. Пт. 1, дополнительный, 1905. С. 380.

¹⁰⁵ См.: ВУИ. 1880. № 5. Офиц. отд. С. 9.

Н.М. Благовещенским, было отмечено: «К занятию одной из вакантных исторических кафедр приглашен университетом магистр истории Николай Иванович Кареев, который в недавнее время сделался известным своим обширным и весьма замечательным трудом, изданным под заглавием: “Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века”. Г-н Кареев очень долго и много трудился над своею книгою, в 570 страниц, между прочим, в Париже, куда был командирован Московским университетом, по окончании в нем курса наук по историко-филологическому факультету. В Париже наш ученый преимущественно воспользовался архивным материалом по занимавшим его вопросам, часто еще неизданными и впервые появившимися в его книге, в особых к ней приложениях. Мне приятно при этом заметить, что она успела уже обратить на себя внимание и в Западной Европе. Между прочим, 12 июля текущего года Фюстель де Куланж представил книгу г. Кареева в Парижскую Академию моральных и политических наук, заметив при этом, что она заключает в себе много интересного и нового для самих французов. <...> Ко всему этому нужно прибавить, что способность к изложению высших исторических курсов г-н Кареев также заявил в Московском университете, где он в последнее время излагал новую историю в качестве приват-доцента. В виду этих ученых заслуг г-н Кареев, несмотря на его, еще очень молодые годы, приглашен в Варшавский университет с званием экстраординарного профессора»¹⁰⁶.

Как видим, Кареев был встречен ученой корпорацией с надеждой на то, что его преподавательская деятельность позволит поднять авторитет университета, многие из профессоров которого были поляки, плохо знавшие русский язык. Русских студентов было немного, ибо «редко кто из русских не мечтает рано или поздно перебраться на родину, редко кто мирится с мыслью оставить детей своих в Варшаве и вообще в Царстве Польском; сыновья многих русских, кончая курс в гимназии, очень часто не поступают в Варшавский университет, а едут в Петербург или Москву»¹⁰⁷. Для молодого ученого представлялась заманчивой задача «явиться там [в Варшаве – *В.Ф.*], среди родственного славянского народа, не казенным обрусителем, но человеком, который бы явился представителем гуманной, либеральной, прогрессивной части русского общества»¹⁰⁸.

5 сентября 1879 года Кареев прочитал перед студентами и преподавателями свою вступительную лекцию «Формула прогресса в изучении истории». «Хотя заветной моей мечтой, – сказал он, – была кафед-

¹⁰⁶ Там же. 1879. № 5. С. 6–7.

¹⁰⁷ Z. [Кареев Н.И.] Варшавские письма // Русские ведомости. 1884. № 72. 13 марта.

¹⁰⁸ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 156.

ра в том университете, который дал мне высшее образование, – раз принявши профессию здесь, я перенес на этот новый для меня университет те чувства, которые не перестают доселе связывать меня с моей alma mater: не для иного какого дела я пришел сюда, как не для того же, которому я служил бы там, если бы мне довелось там остаться... не как наемник, а как человек, имеющий общие с вами интересы, стремления, цели». Молодой профессор превратил эту лекцию в настоящий панегирик научному знанию: «в том-то и заключается великое общественное значение истинной науки, что она сближает далекое, чужих делает родными и соединяет то, что, к сожалению, часто бывает, разъединено в других отношениях. Поэтому ни к одному другому виду человеческой деятельности, как к науке нельзя применить известное изречение: homo sum et nihil humani a me alienum esse puto. Наша наука справедливо может называться гуманной по преимуществу, и раз мы встречаемся на этой общечеловеческой почве, мы уже не чужие друг другу»¹⁰⁹.

Ректор Варшавского университета профессор римской словесности **Николай Михайлович Благовещенский** (1821–1892) был назначен на эту должность в 1872 г., исполнял ее до выхода в отставку в 1883 г. и именно по его личной инициативе Кареев был приглашен в Варшаву¹¹⁰. В «Прожитом и пережитом» Благовещенский предстает как человек «с изящными манерами, с изысканными выражениями, любивший помпу, но, в сущности, очень добрый и старавшийся поддержать равновесие между русскими и польскими элементами», за что местные ««обрусители» его очень не любили». Далее Кареев вспоминает, что в первое же свидание ректор предупредил его, что «нужно быть в аудитории поосторожнее, потому что в ней есть доносители». Благовещенский, у которого, как указывает Кареев, «когда-то учились Чернышевский, Добролюбов, Писарев»¹¹¹, был известен в науке своими исследованиями о творчестве римских поэтов Ювенала, Горация и Персия. Судя по всему, Кареев был знаком по крайней мере с теми из этих работ, которые увидели свет во время пребывания его в Варшаве. В «Указаниях на литературу по истории Греции и Рима», приложенных им ко 2-му изданию «Введения в курс древней истории» находим строчку: «Благовещенский (монографии о Горации и Ювенале)»¹¹². В рецензии на эту книгу В.И. Модестов указывал, что «автор служил профессором в Варшаве, в ректорство г. Благо-

¹⁰⁹ Кареев Н.И. Формула прогресса в изучении истории. Вступительная лекция, читанная экстраординарным профессором Императорского Варшавского университета Н.И. Кареевым 5-го сентября 1879 года // ВУИ. 1879. № 5. С. 2.

¹¹⁰ См.: Филимонов В.А. Н.И. Кареев и В.И. Герье... С. 178–179.

¹¹¹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 157, 158, 161.

¹¹² Кареев Н.И. Введение в курс истории древнего мира... СПб., 1886. С. 110.

вещенского, и, таким образом, ему стали известны сочинения г. Благовещенского о Горации и Ювенале (книга о Персии, однако, осталась неизвестной)¹¹³. По словам Д.Д. Языкова, для Благовещенского годы (1872–83), «когда он состоял коронным ректором Варшавского университета», ознаменованы «меньшим [чем в предыдущий период] числом трудов»¹¹⁴, поэтому выяснить их очень просто – это монография «Гораций и его время» (2-е изд. Варшава, 1878) и статья «Разбор исследования Д. Нагуевского “Римская сатира и Ювенал”»¹¹⁵. Из последней Кареев мог узнать о ранней работе Благовещенского «Ювенал» (СПб. 1860).

Вспоминая Благовещенского, Кареев отмечает такие его черты, как «некоторое чванство, любовь покушать, частое попадание впросак» и что о нем «ходило много забавных анекдотов»; он приводит эпизод, когда

¹¹³ *Модестов В.И.* [Рец. на кн.:] Кареев Н.И. Введение в курс истории древнего мира (Греция и Рим). 2-е изд. СПб., 1886 // *Новости*. 1886. № 77. 9 марта. Можно с уверенностью считать, что имя Благовещенского было известно Карееву еще в то время, когда он проходил курс в I Московской гимназии. В одной из статей, вспоминая об этом периоде, он писал: «Помню, что <...> произвела на меня прямо неприятное впечатление рецензия [Д.И. Писарева] в «Отечественных записках» за 1868 или 1869 год на книгу проф. Модестова «Римская письменность в период царей», рецензия, автор которой прямо издевался над исследователем, занимавшимся такими, с его точки зрения, ненужностями» (*Кареев Н.И.* Мои отношения к «Отечественным запискам» и «Русскому богатству» (1868–1918) // НИОР РГБ. Ф. 119. К. 44. Ед. хр. 15. Л. 5. Эта статья Кареева была опубликована нами (в соавт. с Г.П. Мягковым) в 2010 г. См.: Мир историка: историографический сборник. Вып. 6. Омск, 2010. С. 347–366). В рецензии Писарева фамилия Благовещенского упоминается неоднократно: «Его [Благовещенского – В.Ф.], который 25 лет украшал собою кафедры римских древностей сначала в Казанском университете, потом в Петербургском, участвовал в «ПроPILEях» гг. Каткова и Леонтьева, русская публика привыкла считать сколько бесполезным для русского просвещения, столько же и глубоким знатоком древнего мира» (*Писарев Д.И.*) *Русский Нибур* // *Отечественные записки*. 1869. № 1. С. 222).

¹¹⁴ *Языков Д.Д.* Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц. Вып. 12. Русские писатели и писательницы, умершие в 1892 году. СПб., 1912. С. 20.

¹¹⁵ См.: ЖМНП. 1881. Кн. 11. Работы Благовещенского могли быть использованы Кареевым при написании им «Учебной книги древней истории». Так, он указывает, что Гораций «писал изящные оды, остроумные сатиры, легкие стихотворные послания, советуя наслаждаться радостями жизни и сам наслаждаясь обеспеченным досугом, благодаря щедротам Мecenата. Он без всякой душевной борьбы примирился с новым порядком вещей, который возвратил государству внутренний мир и спокойствие, – и воспевал виновника этой перемены, Августа, хотя лично и держал себя от него довольно далеко» (*Кареев Н.И.* Учебная книга древней истории. СПб., 1901. С. 241). Здесь же Кареев охарактеризовал еще двух римских поэтов, творчество которых в свое время исследовал Благовещенский: «Уже с чувством едкой скорби говорил о порче нравов ... Персий Флакк, но самым великим сатириком императорского Рима был главный поэт серебряного века Юний Ювенал... Его стих, как он сам говорит, порожден негодованием: действительно, никто с такою силою не бичевал деспотизм и раболепие, продажность и распущенность той эпохи» (Там же. С. 241–242).

ректор отправился «на похороны одного профессора-поляка, но до отпевания в костеле пошел в ресторан позавтракать. Когда в окно он увидел погребальную процессию, то тотчас же к ней присоединился, заняв место непосредственно за катафалком. На кладбище он, однако, удивился полному отсутствию профессоров и студентов, на другой день в газетной хронике он прочитал описание похорон с упоминанием о том, что было много профессоров и студентов, что говорились такие-то речи, и в том же номере газеты была еще заметочка о похоронах известного мозольного оператора, похороны которого были почтены ректором университета»¹¹⁶. Именно рассеянностью ректора частично может быть объяснено поручение Карееву читать курс древней истории. В письме своему московскому приятелю, историку М.С. Корелину от 25 сентября 1880 г. он писал: «...Из Парижа (из научной командировки – *В.Ф.*) возвратился я 14 числа этого месяца с предположением читать общий курс новейшей истории с 1789 г. и специальный о фр[анцузской] истории в XVIII в. Вдруг узнаю, что на факультете в мое отсутствие мне положена греческая история. Вот что вышло: ректор представил в исполняющие должность доцента Любовича, занимающегося новой историей; попечитель не хотел его утверждать, чтобы взять кого-либо для древней истории. Ректору почему-то показалось, что я буду читать в нынешнем году греческую историю. Любович был утвержден, а один из членов факультета заявил в заседании, что я будто бы, действительно, намеревался читать греческую историю. Приехав, я заартачился и, само собою разумеется, настоял на своем, продолжаю курс прошлого года...»¹¹⁷. Но уже в следующем году Кареев все же приступил к чтению курса древней истории. В силу каких обстоятельств он переменял свое решение точно сказать нельзя, но существует ряд косвенных доказательств, это решение, на наш взгляд, объясняющих.

Известно, что после назначения (в 1879 г.) попечителем Варшавского учебного округа А.Л. Апухтина, отличавшегося, «какой-то стихийной ненавистью к полякам», между ним и ректором «тотчас начались контры, не без содействия со стороны некоторых профессоров». Кареев же был представлен попечителю Благовещенским, который при этом весьма отменно его аттестовал. При этом Апухтин заметил: «Мне, скажу вам, до вашей учености дела мало, а русского направления я от всех буду требовать»¹¹⁸. Понятно, что Кареев должен был поддержать Любовича, бывшего, как мы указывали, креатурой ректора. Еще один момент работает на нашу версию. Известно, что в первые два года своего варшавского профессорства Кареев читал курсы новой и новейшей истории. Тогда же

¹¹⁶ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 161.

¹¹⁷ ЦИАМ. Ф. 2202 (М.С. Корелин). Оп. 3. Д. 3. Ч. 2. Л. 21.

¹¹⁸ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 157–158.

были опубликованы программы этих курсов и первое из его философско-исторических «Введений...» – в курс истории новейшего времени. Анализ «Введения...» и предваряемых им лекций¹¹⁹, позволяет предположить, что либеральное направление мыслей молодого профессора¹²⁰, не могло не вызвать тревоги университетского руководства, и прежде всего сочувствующего ему ректора, особенно после 1 марта 1881 года¹²¹. Этим обстоятельством не следует пренебрегать, при объяснении решения Совета факультета на следующий год все же поручить Карееву прочитать менее уязвимые в этом отношении «общий курс по истории классических народов» на младших курсах и «специальный курс по истории учреждений древнего мира» на старших¹²². Однако в полной мере выполнить это поручение Совета не представилось возможным: согласно ведомости пропущенных лекций, в 1881–82 акад. году профессор Кареев из 38 лекций пропустил 22 «по нахождению в отпуску»¹²³ в Париже, где три месяца разыскивал «разные редкие книги для своей докторской диссертации»¹²⁴. Этим, видимо, и объясняется отсутствие литографированной записи лекций, поэтому о его предполагаемом содержании можно судить только из «Введения в курс истории древнего мира (Греция и Рим)»¹²⁵.

Коммуниканты продолжали поддерживать знакомство и после их отъезда из Варшавы (в 1883 и 1885 г.)¹²⁶. В списке членов основанного

¹¹⁹ См.: *Кареев Н.И.* Введение в курс истории новейшего времени // ВУИ. 1880. № 6. Неофиц. отд. С. 1–90; Лекции по всеобщей истории, читанные профессором Н.И. Кареевым. 1880/81 ак. год. Варшава, [1881]. Литогр.

¹²⁰ Лекции, посвященные истории Франции накануне революции, включали разбор трудов Вольтера, Монтескье, Руссо. Кареев убеждал слушателей: «конец XVIII столетия представляет эпоху, в которой все стремилось к осуществлению политической свободы». (Лекции по всеобщей истории... С. 439).

¹²¹ См.: *Кареев Н.И.* Первое марта 1881 г. и варшавские россияне // Былое. 1907. № 3. С. 279–282.

¹²² См.: Обзорение преподавания предметов в Варшавском университете на 1881/82 ак. год // ВУИ. 1881. № 6. С. 4.

¹²³ Ведомость пропущенных лекций в 1-м полугодии 1881/82 ак. года // ВУИ. 1884. № 8. С. 62. Не исключено, что получение разрешения на эту командировку было выдвинуто Кареевым в качестве условия в обмен на согласие читать древнюю историю. При этом и ректор «убивал двух зайцев» – закрывал «повисавший» курс и удалял от греха подальше фрондирующего профессора.

¹²⁴ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 154.

¹²⁵ *Кареев Н.И.* Введение в курс истории древнего мира (Греция и Рим) // ВУИ. 1882. № 1. С. 1–16; № 2. С. 17–100. Серия философско-исторических «Введений...» была продолжена: Кареев Н.И. 1) Введение в курс истории средних веков // ВУИ. 1883. № 2. С. 1–48, 2) Введение в курс истории нового времени // ВУИ. 1883. № 6. С. 1–72. 1884. № 1. С. 73–119; 3) Введение в курс истории древнего Востока // Русское богатство. 1887. № I. С. 3–21, № II. С. 59–83, № III. С. 3–38.

¹²⁶ «После отставки, – вспоминал Кареев, – он (Благовещенский – В.Ф.) проживал в Петербурге, где мы продолжали видаться, причем, скучая от безделья, он

Кареевым «Исторического общества при СПб. университете» на 1890 г. под п. 43 значится: «Благовещенский, Николай Михайлович, б. проф. римской словесности. Ивановская ул., № 14, кв. 14»¹²⁷. В «Протоколе XXVIII Общего собрания гг. членов Исторического общества... от 22 января 1892» отмечено: по случаю 40-летия научно-педагогической деятельности и 50-летия государственной службы Благовещенского решено его поздравление «поручить Н.И. Карееву»¹²⁸. 21 октября 1892 г. по инициативе Кареева было проведено заседание Общества, посвященное памяти бывшего варшавского ректора, скончавшегося 1 августа 1892¹²⁹.

В круг общения Кареева входили и другие варшавские антиковеды. Деканом историко-филологического факультета был профессор греческого языка и словесности *Антон Фаддеевич Мержинский* (1829–1907), «почтенный старик... доживший, кажется, до восьмидесяти с лишком лет»; его Кареев называет в числе немногих, у кого ему приходилось бывать. Мержинский был известен исследованиями по классической филологии и литовской мифологии (опубликованы в 1860–70-х гг. на польски), а также переводами на польский язык древнегреческих авторов¹³⁰. Из работ на русском языке Карееву могло быть известно «Исследование о Персее...»¹³¹. Его могли заинтересовать и некоторые отзывы Мержинского о студенческих сочинениях, публиковавшиеся в «Варшавских университетских известиях»¹³². Оба историка представляли университет на VI Археологическом съезде в Одессе в 1884 г. Об устойчивости коммуникации говорит указание Кареева на то, что впоследствии Мер-

бывал у меня гораздо чаще, чем я у него. Предметом наших бесед очень часто был Варшавский университет». (*Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 161).

¹²⁷ Историческое обозрение (ИО). СПб., 1890. Т. I. Отд. II. С. 59.

¹²⁸ Там же. 1892. Вып. IV. Отд. II. С. 13.

¹²⁹ *Модестов В.И.* Н.М. Благовещенский. Речь, произнесенная в заседании Исторического Общества при С.-Петербургском университете 21 октября 1892 г. // Там же. 1892. Т. V. Отд. II. С. 1–16. В частности, там было сказано: «Его труды по Горацию, Персию и Ювеналу составляют очень крупный вклад в сокровищницу русской науки, и признательность истории русской науки и русского просвещения за ним несомненно обеспечена» (С. 16).

¹³⁰ См., напр.: *Mierzyński A.* Danae i Perseusz na wzicie Cesarskiego Ermitażu w Petersburgu: rozprawa archeologiczna. Warszawa, 1875; *Ajas: tragedia Sofoklesa / Przetłóżył z greckiego Antoni Mierzyński.* Warszawa, 1882.

¹³¹ *Мержинский А.Ф.* Исследование о Персее у древних эпиков, логографов, лириков, трагиков и комиков. Варшава, 1872.

¹³² *Мержинский А.Ф.* 1) Отзыв о сочинении студ. Стемповского Ромуальда на тему «Историко-антикварное представление древнейшего периода (до Клифена включительно) Афинской государственной жизни, на основании отрывков Аристотелевых *Politeia* // ВУИ. 1879. № 5; 2) Отзыв о сочинении студ. Косминского Алексея на тему «Первый афинский союз» // Там же. 1884. № 9.

жинский его навещал, приезжая в Петербург¹³³. В списке членов Исторического общества Мержинский значится под № 193 («б. проф. варш. унив. Варшава. Смольная, собственный дом») ¹³⁴. Знакома читателя с новостями российской исторической науки, «Историческое обозрение» опубликовало отчет о работе IX Археологического съезда, состоявшегося в Вильно. Среди других материалов дана и информация о выступлении Мержинского: «С особенным интересом выслушаны были чрезвычайно содержательные рефераты проф. А.Ф. Мержинского...»¹³⁵.

Должность доцента (1878–1881), а после защиты магистерской диссертации¹³⁶ должность экстраординарного профессора по кафедре римской словесности в Варшавском университете занимал латыш *Карл Михайлович Тресс* (1849–1886)¹³⁷. Единственное упоминание о нем в «Прожитом и пережитом» малоинформативно¹³⁸, чего не скажешь еще

¹³³ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 164, 167.

¹³⁴ ИО. 1891. Т. II. Отд. II. С. 36. В заседании от 23 января 1891 г. «г. председатель (Кареев – В.Ф.) заявил, что проф. Мержинский благодарит за избрание его в члены Общества». Там же. С. 13.

¹³⁵ *Сторожев В.Н.* IX Археологический съезд в г. Вильно // ИО. 1894. Т. VII. Отд. II. С. 130.

¹³⁶ *Тресс К.М.* Употребление условных предложений в Теренциевых комедиях. Варшава, 1880.

¹³⁷ См.: *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 167.

¹³⁸ При всей лапидарности упоминания о Трессе в мемуарах, мы точно знаем, что Карееву была известна подоплека скандала, связанного с защитой докторской диссертации будущего казанского профессора-антиковеда Д.И. Нагуевского, в котором (скандале) известную роль сыграл Тресс. В письме к Корелину от 29 апреля 1881 г. Кареев сообщал подробности этой истории: «в мое отсутствие факультет ее [диссертацию Нагуевского] пропустил и назначен был день диспута (3 мая), но вдруг через два три дня после заседания главный рецензент диссертации доцент Тресс подал декану заявление, что по зрелом размышлении он нашел диссертацию никуда не годно, а ректор сделал декану формальный запрос, почему он, ректор, как главный представитель кафедры, по коей представлена диссертация, не был приглашен в факультет для обсуждения вопроса. Заметим, что прежде (осенью) в факультете было заявлено, что ректор отказывается читать отзыв о диссертации Нагуевского. Нагуевскому обо всем дали знать в Ригу, и тот подал жалобу на наш факультет помощнику попечителя Дерптского учебного округа, прося у него защиты; этот обратился к рижскому губернатору, а сей к Альбединскому [Варшавский генерал-губернатор]; кроме того Н[агуевский] прямо пожаловался Альбединскому и Апухтину. В факультете завязалась свалка: ректор обвиняет факультет, что его не пригласили; факультет объясняет, что сам же ректор отказался от участия в деле защитника Нагуевского (поляки), ругают Тресса за перемену мнения и говорят, что перерешать дела уже нельзя; противники тоже ругают Тресса, что не сразу нашел диссертацию дрянною, и утверждают, что дело еще не решено. Словом, история, которая окончилась сегодня только провалом Нагуевского» (ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Ч. 2. Л. 74–74 об.). См.: *Алмазова Н.С.* «Девятый вал» профессора Д.И. Нагуевского: история одной несостоявшейся защиты // Мир историка. Историкографический сборник. Омск, 2010. Вып. 6. С. 43–58.

об одном из филологов-классиков – *Федоре Никитиче Дьячане* (1831–1906). Об этом профессоре-протоиерее, бывшем прежде униатским священником, а затем перешедшем в православие, Кареев отзывается резко отрицательно: «Он не вполне хорошо владел русским языком и, как говорили мне специалисты, был плохой эллинист». Кроме того, Дьячан «был один из осведомителей Апухтина, прямо с заседаний Совета шедший в попечительскую квартиру»¹³⁹. Вряд ли могли привлечь внимание Кареева и труды Дьячана «Геродот и его музы» (Варшава, 1877), и «Основы и времена греческих неправильных глаголов с указанием корней и происходящих от них слов» (Варшава, 1881)¹⁴⁰.

Из студентов историко-филологического факультета, слушавших лекции Кареева, наибольшую известность впоследствии получил *Степан Осипович Цыбульский* (1858–1937). Кареев был знаком с опубликованными в «Университетских известиях»¹⁴¹ отзывами Ф.Н. Дьячана на его студенческую работу. Окончив в 1883 г Варшавский университет с серебряной медалью, Цыбульский преподавал древние языки в IV Варшавской, а затем в Царскосельской Николаевской и в III Петербургской гимназиях. В 1907–1918 гг. он был издателем и редактором научно-популярного антиковедческого журнала «Гермес»¹⁴², что принесло ему широкую известность. В дискуссии о гимназическом преподавании классических дисциплин, Цыбульский зарекомендовал себя убежденным сторонником «историко-культурного» метода изучения древних языков, когда введению в античную цивилизацию придается гораздо большее значение, нежели грамматической «тренировке ума». В этом его позиция перекликалась с кареевской. Цыбульский был инициатором первого (и единственного) всероссийского съезда преподавателей древних языков (1911). После революции он вернулся в Польшу, где какое-то время был

¹³⁹ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 167. Эта оценка подтверждается разысканной нами публикацией: Почитатель [Дьячан Ф.Н.]. Ко дню юбилея пятидесятилетней службы А.Л. Апухтина, попечителя Варшавского учебного округа. М., 1898.

¹⁴⁰ Напоминание о том, что Дьячан был «галичанин» и его плохом знании русского языка, дают дополнительное объяснение негативного отношения к нему Кареева. Известно, что при реформе гимназического образования (1871), желая «улучшить состав педагогов-классиков, правительство обратилось за помощью к славянам, и преимущественно к чехам. Они приехали в большом количестве, – у каждого из гимназистов того времени найдутся соответственные воспоминания, – и все они были одинаковы». См.: *Милюков П.Н.* Воспоминания. Нью-Йорк, 1955. Ч. I. С. 51.

¹⁴¹ См. ВУИ. 1881, № 4; 1882, № 1

¹⁴² В этом журнале удалось обнаружить одну небольшую публикацию Кареева, в которой, в частности, говорится: «По желанию редакции (курсив наш – В.Ф.) почтенного органа, в котором появляется моя заметка, я согласился ее написать исключительно в виде приветствия новому труду В.П. Бузескула». *Кареев Н.И.* [Рец. на кн.:] Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 1909 // *Гермес.* 1909. № 6. С. 242.

товарищем министра народного просвещения и продолжал печатать педагогические статьи¹⁴³. Непосредственной коммуникации (дискуссия, отзывы, цитирование, переписка) между Цыбульским и Кареевым зафиксировать не удалось¹⁴⁴, но в ближний круг общения каждого из них входили одни и те же персоны – петербургские антиковеды Ф.Ф. Зелинский, М.И. Ростовцев, А.Н. Щукарев, А.И. Малеин, П.П. Митрофанов и др.

Укажем также на неподтвержденную источниками, но потенциально возможную коммуникацию Кареева еще с некоторыми варшавскими антиковедами. 30 августа 1884 г. актовую речь (на ней обязаны были присутствовать все преподаватели университета), посвященную «аграрному вопросу древнего Рима» читал профессор римского права **Федор Максимилианович Дыдынский** (1836–1921)¹⁴⁵, кроме того из «Варшавских университетских известий» Карееву могли быть известны отзывы этого профессора о студенческих работах историко-юридического характера¹⁴⁶. Во время варшавского профессорства Кареева начал свою ученую деятельность **Сергей Иванович Вехов** (1857–1921), позднее ставший известным историком римской литературы, занимавшим кафедру римской словесности Варшавского, а потом Ростовского университета вплоть до 1918 г. В 1883 г. он прочитал вступительную лекцию «О римской литературе в век Августа»¹⁴⁷ – на ней мог присутствовать Кареев.

30 марта 1884 года Совет Московского университета утвердил решение историко-филологического факультета о присвоении Н.И. Карееву искомой им докторской степени. На годичном акте в Варшавском университете 30 августа 1884 года ректор Н.А. Лавровский, сменивший к тому времени Благовещенского, не без гордости отметил, что «экстраординарный профессор Н.И. Кареев утвержден в степени доктора всеоб-

¹⁴³ В связи с последующей эмиграцией многие коммуниканты Н.И. Кареева, по понятным причинам, оказались фигурами умолчания в «Прожитом и пережитом».

¹⁴⁴ В бытность Кареева редактором исторического отдела «Энциклопедического Словаря» Брокгауза и Ефрона в двух статьях «Трирема» и «Триера», написанных Н.П. Обнорским, есть ссылка на работу: *Цыбульский С.О.* Греческие и римские суда; объяснительный текст к IV таблице для наглядного преподавания и изучения греческих и римских древностей. СПб., 1901.

¹⁴⁵ См.: ВУИ. 1884. № 9.

¹⁴⁶ *Дыдынский Ф.М.* 1) Отзыв о сочинении студ. Павликовского Казимира на тему «Борьба патрициев с плебеями» // ВУИ. 1882. № 1; 2) Отзыв о сочинении студ. Веренского Василия на тему: «Значение борьбы патрициев с плебеями для гражданского римского права» // Там же. № 2. Карееву наверняка был известен главный труд Дыдынского: *Институции Гая* / Текст, пер. с введ и прим. Ф.Н. Дыдынского. Ч. I–II. Варшава, 1891–1892.

¹⁴⁷ См.: ВУИ. 1883. № 3. В «Словаре» Брокгауза и Ефрона в статье Ф.Ф. Зелинского «Цицерон» есть ссылка на раннюю (1881 г.) работу С.И. Вехова «Сочинение Цицерона о государстве».

щей истории Московского университета»¹⁴⁸. Успешная защита диссертации породила у Кареева надежду занять кафедру в одном из столичных университетов. Когда такая возможность представилась, он не преминул ею воспользоваться. В существующих биографиях ученого, авторами, которые опираются в основном на мемуары, только констатируется факт его перехода из Варшавского университета в Петербургский¹⁴⁹. Используя эпистолярный материал, остановимся на этом чуть подробнее, попутно восстанавливая хронологию событий.

Итак, в Московский университет путь Карееву был по-прежнему закрыт, ибо отсутствовала вакансия (место, на которое он мог бы претендовать, было занято П.Г. Виноградовым). Сгущались тучи и в Варшаве, где молодой профессор «лицом к лицу столкнулся с миром шовинистически настроенной царской бюрократии», в силу того, что его либерально-интеллигентское направление стало «оппозиционным по отношению к казенному обскурантизму». Вследствие этого жизнь Кареева в Варшаве «протекала в условиях непрекращающейся травли»¹⁵⁰. Главными гонителями Кареева выступили будущий «теоретик» черносотенного движения профессор русского и церковнославянского языков А.С. Будилевич и уже упоминавшийся попечитель Варшавского округа Апухтин¹⁵¹. Еще накануне защиты диссертации, в письме к декану историко-филологического факультета Московского университета Нилу Александровичу Попову от 18 сентября 1883 г., Кареев сообщал о «варшавской травле»: «Но вот какая беда со мною случилась. Была у нас свободная ординатура, на которую никаких кандидатов, кроме меня не было и я на нее рассчитывал, но человек предполагает и т.д., ординатуру в качестве исправляющего должность получил проф. русской словесности Смирнов (магистр Одесского университета)»¹⁵².

¹⁴⁸ ВУИ. 1884. № 9. С. 12. См. также: Материалы о защите докторской диссертации Кареева // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 52. Д. 22. Лл. 1–14.

¹⁴⁹ См., напр.: *Золотарев В.П.* Николай Иванович Кареев (1850–1931) // Новая и новейшая история. 1992. № 4. С. 137.

¹⁵⁰ *Раишковская М.Н., Раиковский Е.Б.* О мемуарах Н.И. Кареева «Прожитое и пережитое» как источнике по истории интеллектуальной жизни России конца XIX в. // Археографический ежегодник. 1968. М., 1970. С. 389, 390.

¹⁵¹ Будилевич Антон Семенович (1846–1908) – профессор Нежинского историко-филологического института и Варшавского университета (1883–1892), впоследствии – ректор Дерптского университета; Апухтин Александр Львович (1822–1903) – попечитель Варшавского учебного округа (1879–1897), действительный тайный советник и сенатор.

¹⁵² НИОР РГБ. Ф. 239. П. 10. Ед. хр. 16. Л. 12. Александр Иванович Смирнов (1842–1905) в 1880 г. стал профессором истории русской литературы в Варшавском университете после защиты в Одессе магистерской диссертации «О “Слове о Полку Игореве”».

8 сентября 1884 г. (уже после защиты) Кареев извещает М.С. Корелина о своем пессимистическом настроении: «Был я и на одесском съезде *архиолухов* (*non est lapsus linguae*): это был первый ученый съезд, который я посетил, и если все съезды таковы, то лучше сидеть дома, чем за тысячу верст ездить ради “торжества науки”» и далее: «...что касается до Варшавы, то за три дня, которые мы находимся здесь, мы уже успели вкусить прелестей привислинской жизни, и уже тянет в Москву... Но нужно покориться судьбе»¹⁵³.

Дальнейшая переписка с московским коллегой дает возможность выявить непростые коллизии, связанные с переездом Кареева в Петербург. В письме от 30 сентября 1884 г. он объясняет охвативший его пессимизм: «Вас удивило, Михаил Сергеевич, настроение моего настоящего письма [от 8 сентября], действительно три недели тому назад я ощущал нечто весьма скверное под влиянием впечатлений от археологического съезда и некоторых специально варшавских впечатлений, о которых не теперь. Но вы удивитесь, если я вам скажу, что чувствую не только бодрость, но и полет духа и даже “в патриотических размышлениях о русской науке”¹⁵⁴ нахожу силу, преодолевающую созерцание несовершенств да несовершенств нашей жизни. Конечно, говоря о русской науке, я размышляю на тему: “не имамамы здесь пребывающа града, но грядущего вкусить”...»¹⁵⁵, обещая впоследствии подробнее познакомить адресата со своими рассуждениями. Но «бодрость духа» омрачалась одиночеством: «Одно только печально, – пишет Кареев в том же письме, – приходится вести изолированную жизнь. Просто не с кем видаться, не у кого бывать, некого принимать у себя. Кое-кто из сносных людей есть, но все домоседы, нелюдимы, живя “каждо с родом своим”»¹⁵⁶. Тема отъезда прозвучала в письмах от 20 октября: «Провожаем одного из наших товарищей, покидающих здесь службу»¹⁵⁷, и от 29 октября 1884 г.: «Ришави уехал в Одессу приват-доцентом с жалованием 2 т. р., уехал, пробыв месяц

¹⁵³ ЦИАМ. Ф. 2202. П. 1. Ед. хр. 48. Л. 1. В письме речь идет о VI Археологическом съезде, проходившем в Одессе 15–28 августа 1884 г., в работе которого принимал участие Н.И. Кареев.

¹⁵⁴ Именно в эти дни Кареев готовит публичную лекцию «О духе русской науки», которую прочитает 9 декабря 1884 г. в Русском собрании в Варшаве.

¹⁵⁵ ЦИАМ. Ф. 2202. П. 1. Ед. хр. 50. Л. 1. Приведена цитата из Послания ап. Павла к Евреям: «ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14). Эту цитату Кареев использовал и в статье «Мечта и правда о русской науке» (Русская мысль. 1884. № 12. С. 121).

¹⁵⁶ Там же. Приведена цитата из Библии: «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом [отцом их], вошли каждый со [всем] домом своим» (Исх. 1:1).

¹⁵⁷ Там же. Ед. хр. 52. Л. 1.

в Питере, где и выхлопотал себе это место: без этого он должен был *pop sua sponte* [не по своей воле (лат.) – *В.Ф.*] покинуть здесь профессуру» и далее: «Хотелось бы бежать из Варшавы, но это – мечта и притом неправдоподобная, я ухватился бы за нее, как за якорь спасения»¹⁵⁸.

Тем временем в Петербургском университете открылась вакансия на кафедре всеобщей истории в связи со смертью 6 ноября 1884 г. профессора В.В. Бауера¹⁵⁹. Кареев узнал об этом из газет и сразу же выехал в Петербург. Письма Корелину от 21 и 22/25 ноября 1884 г. передают подробности, отсутствующие в «Прожитом и пережитом». Оказалось, что на место Бауера претендовали еще два профессора: А.С. Трачевский из Новороссийского университета (Одесса) и И.В. Лучицкий из университета Св. Владимира (Киев). «Со стороны членов факультета, – писал Кареев, – прием такой, которого я вовсе не ожидал встретить: в высшей степени радушный, сочувственный <...>. Со стороны властей имею условное обещание: условие – выбор в факультете и отзыв из Варшавы»¹⁶⁰. Именно в это время Кареев получил письмо от профессора А.Л. Блока, одного из немногих своих варшавских приятелей, о том, что Кареевым интересуется руководство Александровского Лицея на предмет, не принял ли бы он место покойного Бауера в Лицее¹⁶¹. «Не знаю, – продолжает он в том же письме, – чем все это кончится, но ужасно не хотелось бы, чтобы этот случай уйти из Варшавы пропал даром, тем более, что кроме Питера и, разумеется, Москвы, я никуда не пошел бы, ни в Одессу... ни в Киев»¹⁶². «Сегодня, – пишет он Корелину 22 ноября, – факультет совещается об этом деле. Завтра иду к министру: в случае неуспеха буду говорить о своем варшавском положении и о вечной экстраординатуре в перспективе, а на всякий случай поставлю свою кандидатуру в Лицее, если туда попаду, стану в университете читать лекции в качестве приват-доцента. В Варшаву возвращаться тяжело после того, как “счастье было

¹⁵⁸ Там же. Ед. хр. 53. Л. 1, 2. В обоих случаях речь идет о профессоре ботаники Людвиге Альбертовиче Ришави (1851–1915). Подробнее см.: *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 167–168.

¹⁵⁹ Бауер Василий Васильевич (1833–1884) – ученик М.С. Куторги, профессор (с 1866 г.) Петербургского университета, специалист по всеобщей истории в т. ч. и античной. См.: Бауер В.В. 1) Афинская игемония. (СПб., 1858); 2) Эпоха древней тирании в Греции. (СПб., 1863).

¹⁶⁰ ЦИАМ. Ф. 2202. П. 1. Ед. хр. 55. Л. 1.

¹⁶¹ Примерно в это же время в переговоры с Кареевым по поводу возможного преподавания вступил инспектор Александровского Лицея Н.М. Коркунов (впоследствии ординарный профессор государственного права в СПб. университете). После недолгих размышлений Кареев «дал свое согласие на выставление кандидатуры своей <...> в Лицее с обязанностью читать пять часов в неделю лекции по новой истории» (*Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 176).

¹⁶² ЦИАМ. Ф. 2202. П. 1. Ед. хр. 55. Л. 1 об.

так близко, так возможно”¹⁶³. Наконец, в декабре (письмо не датировано, стоит лишь позднейшая приписка синим карандашом – 1884 г.) он с радостью сообщает о решении дела: «Ура! Из Александровского Лицея получил сегодня телеграмму: "Избрание в Совете состоялось единогласно. Журнал Совета будет представлен на днях на утверждение и попечителя". Это только первое, чего я и не добивался: в перспективе еще решение об э[кстра]ординатуре или платной приват-доцентуре в университете. Слава Богу, могу уйти от варшавской травли»¹⁶⁴.

Примерно в это же время решается вопрос с университетом. Относительно дела Кареева, в связи с ситуацией, когда на одно место претендуют несколько человек (к уже упомянутым добавился еще магистрант, будущий профессор Г.В. Форстен), декан историко-филологического факультета В.И. Ламанский сообщал 10 января 1885 г. ректору И.Е. Андреевскому: «...имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить, что относительно проф. Кареева историко-филологический факультет долгом считает воздержаться от всякого отзыва. Еще 24 ноября в заседании факультета было предъявлено отложить до января 1885 г. общую совместную оценку заслуг и достоинств всех трех соискателей кафедры всеобщей истории, профессоров Трачевского, Лучицкого и Кареева. Все они еще в ноябре заявляли декану и прочим членам факультета и словесно и письменно о своем желании занять место покойного профессора В.В. Бауера. Имея в виду, что все эти кандидаты – доктора и профессора университетские, известные различными учено-литературными трудами, факультет считает делом справедливости произвести оценку всех трех кандидатов возможно верную и вполне добросовестную. Для такой оценки требуется во всяком случае известное время и спешить с отзывом о профессоре Карееве в настоящее время было бы неблагоприятно и несправедливо по отношению к прочим кандидатам; которые по мнению некоторых членов факультета имеют преимущества перед Кареевым. Что же касается до вопроса Министерства о том, “как предполагает Историко-филологический факультет... за смертью проф. Бауера устроить преподавание по кафедре Всеобщей истории и удовлетворить вообще требованию ст. 66 Устава 1884 г.”, то имею честь просить Ваше Превосходи-

¹⁶³ Там же. Ед. хр. 56. Л. 2. Через два года (15 ноября 1886 г.), когда, казалось бы, все волнения по поводу отъезда из Варшавы должны были остаться позади, Кареев писал Корелину: «Еще раз пришлось поблагодарить судьбу, которая дозволила мне обратиться отсюда благополучно» (Там же. П. 2. Ед. хр. 14. Л. 16 об.).

¹⁶⁴ Там же. Ед. хр. 57. Л. 1. Приказом по Собственной Его Императорского Величества Канцелярии по Учреждениям Императрицы Марии, 16 января 1885 г. за № 22 Кареев был переведен в Александровский лицей на должность преподавателя истории с 7 января 1885 г. (ЦГИА СПб. Ф. 14. Д. 8612. Л. 9).

тельство довести до сведения Министерства, что в заседании факультета 7 янв. было определено: иметь в виду магистранта Форстена, ученика проф. Бауера, автора прекрасного ученого труда, представленного факультету на соискание степени магистра и после диспута 13 января, имеющего отправиться за границу на два года – в предстоящем полугодии обязательных лекций по Новой истории не назначать: некоторым восполнением этого пробела могут быть приватные лекции проф. Трачевского и может быть преподавателя Гуревича, – в будущем же академическом году некоторые из членов факультета пожелают воспользоваться предоставляемыми им по новому уставу правом открывать курсы и не по своей специальности и изберут себе таким образом и чтения по некоторым отделам новой истории»¹⁶⁵.

По новому университетскому уставу 1884 г., предоставлявшему право введения приват-доцентуры, появилась возможность заявить собственный курс. Именно ею и воспользовался Н.И. Кареев. 12 мая 1885 г. он обратился в Совет факультета с прошением: «Чсть имею покорнейше просить Историко-филологический факультет ходатайствовать об утверждении меня в звании приват-доцента по кафедре всеобщей истории, буде факультет найдет прилагаемую при сем программу курса по новой истории на первый семестр 1885/6 академического года соответствующей потребностям исторического преподавания в Университете. При сем считаю нужным отметить, что кроме общего курса, со второго семестра 1885/6 академического года я желал бы вести со студентами факультета и практические занятия по новой истории»¹⁶⁶. 5 июня Совет утвердил эту программу и после небольшой проволочки (попечитель Петербургского округа запросил обе его диссертации) Кареев был «допущен к чтению в Императорском С.-Петербургском университете лекций по всеобщей истории в качестве приват-доцента с 1885 августа 23»¹⁶⁷.

Во втором полугодии 1886/87 акад. года, Карееву был поручен курс истории древнего Востока. Связано это было с тем, что проф. Ф.Ф. Соколов, читавший этот курс несколько лет кряду¹⁶⁸, отказался от него, мотивируя это тем, что он является узким специалистом по истории классических народов, и совет факультета обратился с соответствующей просьбой к Карееву. В письме к Корелину от 8 октября 1886 г. Кареев уточнял об-

¹⁶⁵ ЦГИА СПб. Ф. 14. Д. 8612. Л. 3–3 об.

¹⁶⁶ Там же. Л. 13.

¹⁶⁷ Там же. Л. 10.

¹⁶⁸ «Курс по истории древнего Востока, – вспоминал С.А. Жебелев, – впервые введенный по уставу 1884 г., за неимением специалиста, должен был читать Ф.Ф. Соколов и читал его, как мне он сам потом говорил “с краскою на ланитах”». См.: Жебелев С.А. Из университетских воспоминаний // *Анналы*, 1923, № 2. С. 179.

стоятельства передачи ему этого курса: «Университет сулит экстраординатуру, но ради нее я должен буду взять Восток (*conditio sine qua non*), который я и буду читать в январском семестре»¹⁶⁹. В письмах от 15 ноября и 5 декабря 1886 г. он упоминает о чтении «книжек по Востоку, по которому в январском семестре буду читать курсик по две лекции» и сетует на усталость: «сверх 12 лекций готовлю курс по Востоку для второго полугодия»¹⁷⁰. Хотя Кареев, как и Соколов, не мог считать себя специалистом в этой области, но у него был опыт изложения в манере, уже апробированной в Варшаве, когда общему курсу придавался «философский уклон». О том, что этот замысел удался, свидетельствует вышедшее в том же году «Введение в курс истории древнего Востока»¹⁷¹. Но восточный дискурс Кареева был эпизодом в преподавательской карьере ученого, остававшегося в университете, прежде всего историком-новистом. Со следующего учебного года этот предмет будет вести профессиональный египтолог О.Э. Лемм (1856–1918), а с 1896 г. – ученик Лемма Б.А. Тураев (1868–1920). Однако древневосточная проблематика найдет впоследствии свое отражение в «Лекциях, читанных... на Бестужевских курсах» и в «Монархиях древнего Востока».

Чтение вышеупомянутого курса позволило, хотя и не без проволочек обрести Карееву искомую им экстраординатуру¹⁷². Однако прогрессивные взгляды историка и его общественная позиция не остались «без внимания» начальства, которое старалось препятствовать его карьерному росту: через 6 лет после защиты докторской диссертации он все еще не был ординарным профессором. В докладной записке министру народного просвещения графу И.Д. Делянову от 3 апреля 1890 г. Кареев писал: «На историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета в настоящее время имеются две вакантные кафедры ординарного профессора. Считая себя удовлетворяющим всем условиям для занятия одной из них, я позволяю себе обратить внимание Вашего Сиятельства

¹⁶⁹ ЦИАМ. Ф. 2202. П. 2. Ед. хр. 14. Л. 12.

¹⁷⁰ Там же. Л. 15, 17.

¹⁷¹ См.: Кареев Н.И. Введение в курс истории древнего Востока. СПб., 1887.

¹⁷² 18 декабря 1886 г. ректор в официальном письме оповестил Кареева: «Имею честь уведомить, милостивый государь, что г. Министр народного просвещения от 12 сего декабря за № 18258 утвердил Вас экстраординарным профессором СПб. унив[ерситета] по кафедре всеобщей истории» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Д. 8612. Л. 24). Этому предшествовала немалая бумажная волокита, о которой Кареев рассказал в «Прожитом и пережитом» (с. 179) и в письмах Корелину от 15 ноября: «Моя экстраординатура висит пока воздухе, хотя дело официально двинуто <...> но бумаги застряли» (ЦИАМ. Ф. 2202. П. 2. Ед. хр. 14. Л. 15) и 20 декабря 1886 г.: «С экстраординатурой были каверзы: попечитель отказал на бумагу декана о моем утверждении, так что декан вошел с представлением непосредственно к министру, который утвердил, так как в факультете против меня уже никто не восставал (Там же. Л. 19).

на обстоятельства, которые дают мне право рассчитывать на повышение. На службе в министерстве народного просвещения я состою 17-й год (с 1873 г.), начал читать лекции в университете (Московском) 12 лет тому назад, состою в звании экстраординарного профессора (по Варшавскому и Петербургскому университетам) одиннадцатый год. В Варшаве два раза меня обходили представлением в ординарные профессора, так как вакансии отдавались магистрам, не имевшим на них формального права, когда я, наоборот, уже был доктором своей науки. Считаю себя вынужденным изложить все это Вашему Сиятельству в виду того, что и теперь я напрасно жду повышения, <...> что в недавнее время получали ординатуры лица, которые моложе меня по службе»¹⁷³.

В ответ на запрос министерства ректор университета уведомлял И.Д. Делянова 16 апреля 1890: «Из лиц, имеющих формальное право на замещение, проф. Кареев занимает, бесспорно, первое место по службе и вообще по своему нахождению в Петербургском университете. Но есть еще точка зрения справедливости, по которой, по моему мнению, ранее повышения проф. Кареева заслуживали бы поощрительного внимания высшего начальства проф. Соколов и Ернштедт (оба – “классики”, не имевшие докторской степени. – В.Ф.)»¹⁷⁴.хлопоты оказались не напрасными, хотя не обошлось без бюрократической волокиты. 20 октября 1890 г. в письме ректора Кареев получил уведомление о долгожданном решении вопроса: «Имею честь уведомить Вас, что г. Министр народного просвещения предложением от 14-го октября за № 16120 утвердил Вас ординарным профессором от 15-го октября»¹⁷⁵.

Переход в Петербургский университет, где творческий потенциал ученого раскрылся в полной мере, не ослабил интереса Кареева к античной проблематике, но о преподавании древней истории не могло быть и речи, ибо в отличие от Варшавского университета здесь было сосредоточено созвездие специалистов и по греческой (Ф.Ф. Соколов, В.К. Ернштедт, В.В. Латышев, П.В. Никитин, Ф.Ф. Зелинский), и по римской (И.В. Помяловский, К.Я. Люгебиль, И.А. Шебор, И.И. Холодняк) истории и словесности. Все они в той или иной мере входили в круг общения Кареева, однако политика правительства по свертыванию в университетских программах курсов новой и новейшей истории стран Запада¹⁷⁶ вы-

¹⁷³ ЦГИА СПб. Ф. 14. Д. 8612. Л. 66 – 66 об. (Машинопись).

¹⁷⁴ Там же. Л. 69.

¹⁷⁵ Там же. Л. 77.

¹⁷⁶ По новому университетскому уставу (1884) «все студенты должны были быть прежде всего классиками <...> Из 18 обязательных для студентов часов в неделю 14 приходилось на классические языки, древнюю историю, древнюю литературу, древнюю философию, древнее искусство, <...> а на все остальные предметы

нудила ученого спешно заняться их постановкой, что было нелегкой задачей и вызывало определенные трения с некоторыми из упомянутых выше коллег. В письме к В.И. Герье от 20 февраля 1890 г., сетуя на трудности постановки курса новой истории в Петербургском университете, он отмечал: «...тенденция положительна та, чтобы выгравить “Европу” и мытьем и катанием, а за это все: и греко-латины новейшей формации, и византийцы, и славянолюбцы, и российские самобытники...»¹⁷⁷.

Одним из таких «греко-латинов» был уже упоминавшийся **Федор Федорович Соколов** (1841–1909), читавший греческую историю, тот известный антиковед, «который образовал в С.-Петербургском университете целую школу эллинистов-эпиграфистов»¹⁷⁸. По воспоминаниям Кареева, это был «человек, большой учености и хороший руководитель будущих специалистов, но читавший нестерпимо скучный и совершенно безыдейный курс, где, кроме сырого фактического материала, ничего не было»¹⁷⁹. Понятно, что в глазах университетского начальства либерально настроенный Кареев выглядел в очень невыгодном свете по сравнению с тем же Соколовым. Неприятие этого «безыдейного курса» подогревалось еще и тем, что по иронии судьбы в расписании занятий много лет подряд лекции Кареева следовали как раз за лекциями Соколова, что только оттеняло противоположные подходы к преподаванию курса у каждого из этих неординарных, но очень разных профессоров.

Продолжая разговор о петербургских коммуникантах Кареева, отметим **Василия Григорьевича Васильевского** (1838–1899), который хотя и был по основной специальности историком-византинистом, «дебютировал в науке магистерской диссертацией по социальной истории Греции

по 4 часа <...> Число студентов историко-филологического факультета сразу сильно упало, потому что усиленный толстовский классицизм успевал набить оскомину еще в гимназии» (*Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 182).

¹⁷⁷ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр. 7. Лл. 15 об.–16 об.

¹⁷⁸ *Кареев Н.И.* Отчет о русской исторической науке за 50 лет (1876–1926) // Отечественная история. 1994. № 2. С. 147.

¹⁷⁹ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 249. Об отсутствии «руководящих идей и освещающих обобщений» в курсе Ф.Ф. Соколова, когда первокурсники вместо введения в античную историю получали спецкурс, насыщенный фактами, и могли ловить в нем только любопытные мелочи и «странности» в виде мельчайших перечней лиц и подсчетов цифр вспоминал С.Ф. Платонов как о «тяжком и вредном недоразумении». Все это вело к непониманию предмета и «отпугиванию» от него студентов, но еще более печальным было то, что студенты-первокурсники не оценили труд «первоклассной ученой величинь», каким был Соколов. *Платонов С.Ф.* Несколько воспоминаний о студенческих годах // Дела и дни. 1921. Кн. 2. С. 108. Для более обстоятельного знакомства с жизнью и деятельностью Ф.Ф. Соколова см.: *Фролов Э.Д.* Ф.Ф. Соколов и начало историко-филологического направления в русском антиковедении // ВДИ. 1977. № 1. С. 213–225.

в век эллинизма ("Политическая реформа и социальное движение в древней Греции в период ее упадка", СПб., 1869)»¹⁸⁰. Васильевский был учеником М.С. Куторги и, возможно, этим объясняется, что трудно притиравшийся к новой университетской среде Кареев был с ним «в более хороших отношениях»¹⁸¹. В письме Корелину от 21 ноября 1884 г. читаем: «мне очень хотелось бы попасть в здешнюю университетскую среду, благодаря тому доброжелательному ко мне отношению, которое я здесь встретил. Я был однако не у всех профессоров, а только у историков (Замысловского, Васильевского и Соколова)»¹⁸². Именно Васильевский рекомендовал Академии Наук Кареева в качестве официального рецензента книги Д.В. Цветаева «Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках», выдвинутой на премию митрополита Макария¹⁸³.

В историографических обзорах Кареева Васильевский по праву назван основателем русской школы византинистов, однако нашлось место и для оценки эллинистического дискурса петербургского профессора: «Начав под влиянием Куторги исследование Греции эпохи упадка, он (Васильевский – В.Ф.) посвятил себя исследованиям по Византии, которые открыли перед ним двери Академии»¹⁸⁴. Именно в «Политической реформе...» находит Кареев образцовую защиту афинской демократии и обширно цитирует эту книгу в лекциях на Бестужевских курсах¹⁸⁵. В XIII главе «Государства-города» дан более подробный разбор ученого труда Васильевского, отмечены его капитальность и новизна: «хотя Васильевский и выдвигал в своей книге на первый план “политическую реформу”, для которой, с его точки зрения, “социальное движение” было только

¹⁸⁰ Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. СПб., 1999. С. 205.

¹⁸¹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 189. Об этом же он писал Корелину 25 июня 1887 г.: «С самого начала <...> ко мне никто с явным недоброжелательством не относится, а некоторые относились просто хорошо (разумею Васильевского, Замысловского и Ор. Миллера) (ЦИАМ. Ф. 2202. П. 2. Ед. хр. 15. Л. 7 об.).

¹⁸² ЦИАМ. Ф. 2202. П. 1. Ед. хр. 55. Л. 2.

¹⁸³ ЦИАМ. Ф. 2202. П. 2. Ед. хр. 15. Л. 1. (Письмо Корелину от 11 января 1887 г.). Рецензия была опубликована: Кареев Н.И. Отзыв о сочинении г. Дм. Цветаева «Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках» (М., 1886) // Академический отчет о II присуждении премий Макария, митрополита Московского. СПб., 1888. С. 96–110.

¹⁸⁴ Кареев Н.И. Отчет о русской исторической науке... С. 149. Ср.: «Куторга выдвигал на первый план греческую историю и побуждал своих учеников и вообще лиц, искавших ученых степеней, писать диссертации на темы, взятые из греческой истории (Бауер, Васильевский, Люперольский, Ф.Ф. Соколов, Стасюлевич)» (Кареев Н.И. Историческая наука в России // ЭСБЕ. Пг. 55, 1899. С. 802–807. (§ 22 подраздела XII «Русская наука» в ст. «Россия»).

¹⁸⁵ Лекции по древней истории, читанные проф. Н.И. Кареевым на Высших женских курсах. Курс I. 1890–1891 г. [СПб., 1891]. С. 440–442.

помехой, тем не менее, и это последнее освещено у него весьма хорошо во всех его наиболее существенных подробностях. На русском языке эта книга остается главным сочинением для того, кто желал бы познакомиться с социальным вопросом в древней Греции»¹⁸⁶. Здесь надо добавить, что в бытность Васильевского главным редактором официозного «Журнала Министерства народного просвещения» (1890–1899) Кареев отметился в этом издании двумя заметками¹⁸⁷.

В это время Кареев становится организатором и участником двух проектов, позволивших ему значительно расширить собственное коммуникативное пространство. Первый из них – Историческое общество при Петербургском университете, о котором уже несколько раз упоминалось. В марте 1889 года небольшой кружок преподавателей историко-филологического факультете университета и некоторых других учебных заведений столицы выработал проект устава Исторического Общества. Он был представлен в Совет факультета при особой записке¹⁸⁸ за подписью десяти профессоров и преподавателей: В.Г. Васильевского, А.Н. Веселовского, Е.Е. Замысловского, Н.И. Кареева, В.И. Ламанского, И.П. Минаева, С.Ф. Платонова, Ф.Ф. Соколова, Г.В. Форстена и Е.Ф. Шмурло. Проект устава был утвержден министром народного просвещения И.Д. Деляновым 7 октября. В момент возникновения новое общество имело 29 членов-учредителей, каковыми по уставу считались все лица, подписавшиеся под его проектом. Из них около половины присутствовало в первом общем собрании 26 ноября, в котором были избраны Комитет Общества и председатель – В.Г. Васильевский, уже на следующем заседании сложивший с себя полномочия. Новым председателем стал Н.И. Кареев¹⁸⁹.

Целями Исторического Общества устав обозначал¹⁹⁰: «а) исследование научных вопросов из всех областей русской и всеобщей истории, б) разработку теоретических вопросов исторической науки и обсуждение вопросов, имеющих соприкосновение с преподаванием истории в учебных заведениях». Тогда же был решен вопрос об издании «Историческо-

¹⁸⁶ Кареев Н.И. Государство-город античного мира. С. 188. Ссылки на книгу Васильевского см. также: С. 187, 193, 194, 233, 244, 245, 329, 330.

¹⁸⁷ См.: Кареев Н.И. 1) Замечания на рецензию г. Пташицкого // ЖМНП. 1890. № IV. С. 466–469; 2) Примечания к «ответу» г. Чечулина // Там же. 1897. № III. С. 257–260.

¹⁸⁸ См.: ИО. Т. I. Отд. II. С. 3–4.

¹⁸⁹ О коммуникативных перипетиях, связанных с избранием председателя см.: Ростовцев Е.Н. Н.И. Кареев и А.С. Лаппо-Данилевский: из истории взаимоотношений в среде петербургских ученых на рубеже XIX–XX вв. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 4. С. 106–108.

¹⁹⁰ См.: Кареев Н.И. Краткий обзор деятельности Исторического Общества за двадцатипятилетие 1889–1914 гг. // ИО. 1915. Т. XX. С. 189.

го обозрения» – неперидического сборника Общества и назначении Кареева его главным редактором. Членами Общества были многие антиковеды, а также историки других специализаций, внесшие тот или иной вклад в разработку проблем греко-римской истории. Можно сказать, что в созданном Кареевым Обществе был сосредоточен весь цвет российской науки о греко-римском мире – Н.М. Благовещенский, Б.Л. Богаевский, В.П. Бузескул, В.Г. Васильевский, Р.Ю. Виппер, В.И. Герье, И.М. Гревс, Э.Д. Гримм, А.Н. Деревницкий, С.А. Жебелев, Ф.Ф. Зелинский, Н.И. Кареев, В.В. Латышев, Ф.Г. Мищенко, В.И. Модестов, А.И. Покровский, М.И. Ростовцев, Ф.Ф. Соколов, К.В. Хилинский, А.Н. Шукарев и др.

Для правильной оценки деятельности Кареева в рамках этого проекта приведем слова из приветственного адреса от Совета Исторического Общества, прочитанного И.М. Гревсом на чествовании 25-летия профессорской деятельности ученого: «Историческое Общество – ваше детище – служит наглядным примером того, как неуклонно вы преследовали задачу коллективной организации серьезного научного и общественного дела... Вам удалось не только вызвать его к существованию, но и соединить в его рамках очень разнообразные группы людей, близко стоящих к изучению истории... Вы не только несли <...> всегда трудные, но не всегда приятные обязанности председателя Общества, но были самым энергичным работником из числа его членов, как редактор «Исторического Обозрения», как самостоятельный докладчик и активный участник в разборе рефератов других, как инициатор многих отдельных предприятий Общества, как исполнитель массы невидного, но необходимого, чернового дела. Все работавшие с вами хорошо знают и теперь должны с удовольствием высказать вам, что они постоянно наблюдали, как вы освещали свой труд вашими гуманными и прогрессивными воззрениями, как вы всегда развивали в Обществе симпатичный дух товарищеского равенства и уважения к свободе мнений. Вы всегда стремились сблизить деятельность Исторического Общества с потребностями широких кругов образованных людей и учащегося юношества»¹⁹¹. Даже недоброжелатели Кареева вынуждены были отметить важность проводимой им работы: «За Кареевым та честь, что он энергично начал почтенное дело собрания “расеянной храмины” наших петербуржских историков, и это меня обезоруживает, как обезоруживает и то, что Кареева у нас достаточно гонят и травят вне его Общества: он пасынок своих сослуживцев»¹⁹².

¹⁹¹ Цит. по: *Конский П.А.* К 25-летию профессорской деятельности Н.И. Кареева // *Русская школа.* 1897. № 4. С. 273–274.

¹⁹² Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Миллюков). Омск, 2005. С. 217 (Письмо С.Ф. Платонова П.Н. Миллюкову от 10 мая 1890 г.).

Издаваемое Обществом «Историческое обозрение», которое, как уже было сказано, редактировал Кареев, кроме собственно научных статей, публиковало протоколы заседаний, сведения о сделанных докладах, информацию о дискуссиях и авторефераты сообщений. Часть из этих материалов касалась античной истории.

В заседании от 12 декабря 1890 г. был прочитан реферат «Новые явления в области разработки древнегреческой истории»¹⁹³, вызвавший бурную дискуссию¹⁹⁴. Его автор *Алексей Иванович Покровский* (1868–1928) – ученик Ф.Ф. Соколова¹⁹⁵. Будучи еще студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, он проявил интерес к истории древней Греции и в 1888 г. за квалификационную работу «Об оракуле Асклепия и Амфиарая» был удостоен золотой медали¹⁹⁶, а по окончании университета (1889) – оставлен для приготовления к профессорскому званию. В Историческое Общество он был принят на IV заседании 24 января 1890 года¹⁹⁷, а на XII заседании 7 ноября 1890 г. избран членом ревизионной комиссии¹⁹⁸ и значился в Списке членов Общества под № 114 как кандидат историко-филологического факультета¹⁹⁹. В 1894 г., после двух лет приват-доцентуры в alma mater, Покровский получил назначение в Нежинский историко-филологический институт, где написал магистерскую диссертацию «О красноречии у древних эллинов» (Нежин, 1903). Заняв в 1905 г. профессорскую кафедру в Университете Св. Владимира в Киеве, Покровский подготовил и защитил докторскую диссертацию «О хронологии афинской истории VI ст. до Р. Хр.» (Киев, 1915)²⁰⁰. В обсуждении реферата принял участие Кареев: «По

¹⁹³ *Покровский А.И.* Новые явления в области разработки древнегреческой истории // ИО. Т. I. С. 165–199.

¹⁹⁴ См.: ИО. Т. II. Отд. II. С. 11.

¹⁹⁵ Э.Д. Фролов считает, что «к школе Соколова Покровского можно отнести лишь с оговорками: он действительно прошел выучку у Соколова и унаследовал от него умение при необходимости скрупулезно вести анализ исторических деталей, но особого стремления к эпиграфическим занятиям не имел, зато довольно рано проявил вкус к общим проблемам, которых так чурался его учитель. В любом случае это был достаточно оригинальный ученый, пытавшийся сказать свое слово в науке». (*Фролов Э.Д.* Русская наука об античности. С. 278. Ср.: *Бузескул В.П.* Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX века. Ч. II. Л., 1931. С. 147–149).

¹⁹⁶ Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1888 год. СПб., 1889. С. 84.

¹⁹⁷ ИО. Т. I. Отд. II. С. 23.

¹⁹⁸ ИО. Т. II. Отд. II. С. 3–4.

¹⁹⁹ ИО. Т. I. Отд. II. С. 62.

²⁰⁰ В 1922 г. он вернулся в Нежин, где и умер в 1928 г. Из новейшей литературы об А.И. Покровском см.: Гордієнко Д.С. *Меморіалі виступів – наукове кредо професора Олексія Покровського* // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам'яткознавства. 2008. Вип. 6(9). С. 107–118.

поводу прений, возникших относительно различия филологии и истории, Н.И. Кареев высказал свои замечания о принципиальном отличии той и другой отраслей знания»²⁰¹. В Протоколах Общества отмечено: 22 апреля 1892 г. Покровский прочитал сообщение о III томе сочинения немецко-итальянского археолога Адольфа Гольма «Griechische Geschichte»²⁰².

В 1892 г. в «Историческом обозрении» была опубликована статья об «Афинской политике» Аристотеля²⁰³ **Павла Гавриловича Виноградова** (1854–1925)²⁰⁴. В воспоминаниях Кареева зафиксировано знакомство с Виноградовым-студентом: «В студенческой среде были у меня и одиночные, так сказать, знакомства. В числе их на первом плане ставлю Павл[а] Гавр[иловича] Виноградова, сделавшегося позднее профессором в Москве, потом в Оксфорде, а под конец и членом Академии наук»²⁰⁵. Подробностей мемуарист не приводит, отмечая совместную работу в семинариях Герье, шаферство Виноградова на собственной свадьбе в 1881 г., его выступление как оппонента на магистерском диспуте Кареева («Виноградов отделался на диспуте только несколькими бледными замечаниями»²⁰⁶). О трудах Виноградова Кареев писал словарные статьи, упоминал его в историографических обзорах²⁰⁷, дал отзыв о его магистерской диссертации²⁰⁸, принял участие в руководимом им проекте²⁰⁹. В Историческом

²⁰¹ ИО. Т. II. Отд. II. С. 11.

²⁰² ИО. 1893. Т. VI. Отд. II. С. 4.

²⁰³ Виноградов П.Г. Развитие демократии в трактате Аристотеля о государстве Афинском // ИО. 1892. Т. V. С. 156–174.

²⁰⁴ См.: Моисеенкова Л.С. Патриарх российской медиевистики: Жизнь и научное творчество П.Г. Виноградова. Симферополь, 2000; *Мягков Г.П.* Научное сообщество... *Антощенко А.В.* Русский либерал-англофил П.Г. Виноградов. Петрозаводск, 2010.

²⁰⁵ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 128.

²⁰⁶ Там же. С. 140. Написанные в 1926 г. (очевидно, на смерть ученого), воспоминания Кареева о Виноградове, несколько детализируют характер отношений двух ученых: Кареев Н.И. Из воспоминаний о П.Г. Виноградове [1926] // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1995. № 1. С. 78–80 и 3-я стр. обл.

²⁰⁷ *Кареев Н.И.* 1) Виноградов, Павел Гаврилович // ЭСБЕ. Пт. 11, 1892. С. 456–457; 2) [Исторические воззрения П.Г. Виноградова] // *Венгеров С.А.* Критико-биограф. словарь русских писателей и ученых. Т. VI. СПб., 1897–1904. С. 75–77; 3) Россия. Наука: Историческая наука // Энциклопед. словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. 55. С. 804; 4) Отчет о русской исторической науке... С. 149; 5) По поводу новой формулировки «материальной истории» (О ст. проф. Петрушевского о книге проф. Виноградова Villainage in England в ЖМНП. 1892. № 12) // ИО. Т. V. Отд. I. С. 272–280; 6) Экономический материализм в истории // Вестник Европы. 1894. № 7. С. 27–35.

²⁰⁸ *Кареев Н.И.* [Рец. на кн.:] Виноградов П.Г. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии // Юридический вестник. 1881. № 5. С. 158–160.

²⁰⁹ *Кареев Н.И.* 1) Влияние французской революции на другие страны // Книга для чтения по истории нового времени / Под ред. П.Г. Виноградова. Т. III. М., 1912. С. 569–588; 2) Внутренняя политика июльской монархии // Там же. Т. IV. М., 1913. С. 251–279.

Обществе Виноградову²¹⁰ было поручено редактирование Указателя книг по всеобщей истории²¹¹.

Виноградова, хоть и бывшего по преимуществу специалистом по истории западного (прежде всего, английского) средневековья, однако читавшего курсы и по другим разделам всеобщей истории и, говоря словами Э.Д. Фролова, «временами властно вторгавшегося и в собственно античную историю»²¹², сближала с Кареевым не только общая alma mater и принадлежность к «школе Герье», но и то, что оба они были «всеобщими историками», которые «не будучи собственно специалистами в древней истории, порой углублялись в нее в поисках аналогий, ради более адекватного постижения исторического процесса <...> Неординарными сопоставлениями и неожиданными суждениями они пробуждали мысль и широкой читающей публики и самих специалистов-антиковедов, разрывая привычный для них, становившийся рутинным, круг мыслей и понятий». Их «работы, в силу своего научно-популярного характера легко переводившие историческое изложение в плоскость социологического рассуждения, содействовали необходимому обобщению и как бы подводили итог уже свершенному аналитическому исследованию»²¹³.

Публикация в «Историческом обозрении», содержащая, по словам В.П. Бузескула, «интересные, меткие наблюдения по части сравнения воззрений Аристотеля в “Политике” и в “Афинской политике”»²¹⁴ как раз относится ко времени такого «властного вторжения» Виноградова в античную историю²¹⁵. Повышенный интерес историка к греко-римским

²¹⁰ Предложен в члены 24 января и избран 21 февраля 1890 г. См.: ИО. Т. I. Отд. II. С. 23, 32.

²¹¹ См.: ИО. 1892. Т. IV. Отд. II. С. 9. План издания Указателя Кареев обсуждал с рядом ученых (П.Г. Виноградов, В.И. Герье, И.В. Лучицкий, Н.Н. Любович) еще в 1890 г., во время VIII Археологического съезда в Москве. (См.: ИО. Т. I. Отд. II. С. 49).

²¹² Фролов Э.Д. Русская наука об античности. С. 380.

²¹³ Там же. С. 395. Ср.: «М.М. Ковалевский, В.И. Лучицкий, Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, да и М.С. Корелин, не говоря о В.И. Герье, не были просто медиэвистами, историками античности или страноведами. Они были *всеобщими историками*, охватившими активными исследованиями чуть ли не всю историю человеческого общества во времени и пространстве, преодолевая и национальные, и региональные (европейские) границы. Смысл их научной деятельности как “всеобщих историков” неоднократно подчеркивался ими самими и разъяснялся не только в научных дискуссиях, но и в острой идейно-политической борьбе» (Мяжков Г.П. Научное сообщество... С. 137)

²¹⁴ Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века (Материалы). Ч. II. Л., 1931. С. 177.

²¹⁵ В это время Виноградовым написано несколько статей на эту тему. Кроме указанной см.: Виноградов П.Г. 1) Трактат Аристотеля о государстве Афинском // Русская мысль. 1892. № 11, С. 189–220 (содержит характеристику литературы вопроса); 2) Первые главы Афинской Политии Аристотеля // Филологическое обозрение. 1892. Т. III. Кн. 2. С. 97–109 (анализ первых четырех глав трактата).

древностям мы связываем с работой именно в это время над текстом гимназических учебников по всеобщей истории²¹⁶ и потребностью учесть в них новооткрытые источники и новейшую литературу²¹⁷.

В шестой книжке «Исторического обозрения» увидела свет еще одна статья по античной проблематике²¹⁸. Ее автор – *Семён Владимирович Лурье* (1867–1927), известный в свое время журналист, публицист, литературный критик и редактор, ныне почти забытый. Он окончил Петербургский университет (в списке получивших в 1890 г. выпускные свидетельства по юридическому факультету мы нашли запись – *Лурья Симха*²¹⁹). В члены Исторического Общества Лурье был предложен 28 марта 1892 г.²²⁰, а принят, очевидно, на следующем заседании (в списке вступивших с 24 апреля 1891 г. по 22 апреля 1892 г. записан под № 237 и значится как кандидат юридического факультета, проживающий в Берлине²²¹. В Списке вступивших по 1 января 1893 г. местом проживания Лурье указана Москва (Земляной вал, д. Хишина)²²². В Список за 1904 г. были включены только проживавшие в Петербурге, поэтому москвич Лурье в него не вошел²²³, нет его и в Списке за 1915 г.²²⁴.

Опубликованная в десятой книжке «Исторического обозрения» статья «К вопросу о сословии МОΘΑΚΕΣ в Спарте»²²⁵ поддается лишь час-

²¹⁶ *Виноградов П.Г.* 1) Учебник древней истории. Вып. 1. М., 1892; 2) Учебник всеобщей истории. Ч. 1. Древний мир. М., 1893. (12-е изд. М., 1914).

²¹⁷ См. также: *Виноградов П.Г.* Новые работы по истории Греции [Рец. соч. 1) Abbot E. A History of Greece. Part I and II. London, 1890-92; Holm A. Griechische Geschichte. I–III Bände. Berlin. 1886–1891] // Русская мысль. 1893. № 3. С. 47–54.

²¹⁸ *Лурье С.В.* К истории эллино-иудейского просвещения в Александрии // ИО. 1893. Т. VI. Отд. I. С. 97–134. Ранее в сборнике Общества была опубликована еще одна его статья: *Лурье С.В.* Секта ессеев // ИО. Т. IV. С. 94–114.

²¹⁹ Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1890 год. СПб., 1891. С. 75.

²²⁰ См.: ИО. Т. IV. Отд. II. С. 26.

²²¹ См.: Там же. С. 30.

²²² См.: ИО. Т. VI. Отд. II. С. 12. По окончании университета Лурье работал в торговом доме О.Г. Хишина в Москве, стоял во главе текстильных заводов (Лурье Семен Владимирович // Российское зарубежье во Франции. 1919–2000. Биограф. словарь. Т. 2. М., 2009. URL: <http://dommuseum.ru/slovarx/person.php?id=8921>).

²²³ См.: ИО. 1905. Т. XIV. Отд. II. С. 45–50.

²²⁴ См.: ИО. Т. XX. С. 218–221. Впоследствии Лурье был сотрудником редакций журнала «Русская мысль» и газеты «Русские ведомости», близким другом философа Льва Шестова. В 1919 г. уехал во Францию, где продолжал печататься в эмигрантских изданиях «Звено», «Современные записки» и др. Трагически погиб – 11 декабря 1927 г. В.Н. Бунина записала в своем дневнике: «Семен Владимирович Лурье скончался от несчастного случая. Попал под поезд на Руанском вокзале». (Устами Буниных. Дневники / Под ред. М. Грин. Т. II Франкфурт-на-Майне, 1981. URL: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1810-2.shtml).

²²⁵ К вопросу о сословии МОΘΑΚΕΣ в Спарте // ИО. 1899. Т. X. С. 139–154.

тичной атрибуции по причине ее анонимности. Похоже, даже самому Карееву личность автора была неизвестна, иначе, чем объяснить редакторское примечание к оглавлению: «Редактор сборника покорнейше просит автора этой статьи сообщить ему свой адрес»²²⁶. В университетском отчете за 1899 г. указано, что автором статьи был *Д.Н. Соколов*²²⁷, однако каких-либо сведений о нем обнаружить пока не удалось²²⁸.

Десятый том «Исторического обозрения» увидел свет в 1898 г., следующего же пришлось ожидать целых три года. Через много лет Кареев дает «мягкое» объяснение характера кризиса, наступившего в работе Исторического Общества и разделившего его историю на два периода: «Некоторые затруднения для деятельности Общества возникли и из того, что председателем Общества все это время оставалось одно и то же лицо, исключенное из профессуры в 1899 г.»²²⁹.

Второй долгосрочный проект, в котором принял участие Кареев – работа в качестве редактора исторического отдела «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»²³⁰. Первоначально энциклопедия содержала в основном переводы на русский язык статей немецкой энциклопедии Брокгауза с небольшой адаптацией для русского читателя. Первые 8 полутомов (до буквы «В») вышли под общей редакцией проф. И.Е. Андреевского. Эти тома вызвали массу претензий к качеству перевода, общее руководство изданием также оставляло желать лучшего²³¹. Новый период в истории энциклопедии начался с приглашения в состав редакции многих выдающихся учёных того времени, в том числе и Кареева²³².

²²⁶ ИО. Т. X. Оглавление (страница без номера). Прим. 1.

²²⁷ Годичный акт. Отчет о состоянии и деятельности имп. С.-Петербургского университета за 1899 г. СПб., 1900. С. 70.

²²⁸ Предположительно, им может быть историк, географ, геолог, археолог, ботаник и краевед Дмитрий Николаевич Соколов (1867–1919), выпускник физико-математического факультета Московского университета, один из видных краеведов Оренбургской губернии начала XX в., председатель Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества. О том, что ему был вовсе не чужд интерес к истории, говорят его публикации в «Трудах Оренбургской Ученой Архивной Комиссии». Список см. URL: http://annals.xlegio.ru/sbo/contents/_o.htm.

²²⁹ Кареев Н.И. Краткий обзор деятельности... С. 191–192.

²³⁰ Энциклопедический словарь. Т. 1-41+2 доп. (Пг. 1-82+4 доп.). СПб: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1890-1907.

²³¹ Л.Е. Румянцева отметила, что «изменение характера “Энциклопедического словаря” произошло с переходом редакции к К.К. Арсеньеву и Ф.Ф. Петрушевскому, т.е. с 9-го полутома издания, после выпуска 8 полутомов, содержание которых было подвергнуто резкой критике в русской периодической печати...» (Румянцева Т.Н. Замысел издания «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона. URL: <http://libconfis.narod.ru/2003/s8/rumianceva.htm>)

²³² «В таком сложном деле, как издание Энциклопедического Словаря, – поясняя ли новые редакторы, – система специализации труда представляет, бесспорно, весьма

С этого момента энциклопедия начинает пополняться оригинальными статьями, и основное внимание уделяется вопросам, относящимся к истории, культуре и географии России. Активная работа редакции по привлечению крупнейших отечественных ученых привела к тому, что самостоятельные статьи получили преобладание над переводными, компилятивными, что не могло не сказаться на самом характере издания: из тривиальной энциклопедии оно превратилось в собрание новейших достижений и открытий во всех областях науки и техники.

Фамилия Кареева, как редактора исторического отдела, появляется на титуле 9-го полутома «Буны-Вальтер» (1891 г.)²³³, однако, похоже, что первоначально ему пришлось использовать материал, подготовленный старой редакцией: многие крупные статьи исторического содержания остались неподписанными, то есть представляли собой переводы с немецкого оригинала Brockhaus Conversations-Lexikon. Нами был проведен мониторинг всех томов «Словаря...» на предмет авторства статей по античной истории²³⁴. Результатом обследования стал список из 28 авторов. Работа в разной мере облегчалась тем, что каждый полутом «Словаря», начиная с 14-го (кроме 16, 18, 26 и 45-го), предваряется списком «наиболее значительных по объему оригинальных статей»; кроме того, все четные полутома, начиная с 10-го (за исключением 26-го), содержат «Список гг. сотрудников “Энциклопедического Словаря” и их инициалов». Таким образом, представилось возможным определить динамику присутствия того или иного автора, а также потенциальные каналы коммуникации. Уже в первых полутомах можно увидеть контуры редакторской стратегии по наполнению «Словаря» статьями антиковедческой проблематики, можно выделить три типа задания авторам – хронологический, тематический и форс-мажорный. Первый тип предполагает поручение

значительные удобства. Одновременно с разделением главной редакции между двумя лицами, признано было полезным пригласить, для ближайшего заведывания наиболее важными или обширными отделами, особых редакторов, имена которых уже известны нашим читателям». (От редакции // ЭСБЕ. Пт. 9, 1891. С. Д).

²³³ Кареев вспоминал: «Мне предлагалось даже разделить с профессором физики Ф.Ф. Петрушевским все главное редактирование, но от такой сложной, громоздкой и ответственной работы я отказался. Это место занял К.К. Арсеньев, с которым я уже был знаком по Литературному фонду, а теперь особенно сблизился». (Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 191).

²³⁴ Следует сказать, что не все статьи антиковедческой проблематики стали предметом нашего внимания, а только те из них, которые редактировались (или могли редактироваться) Кареевым, т.е. исторического содержания. Именно поэтому в составленный нами реестр не вошли статьи по античной литературе (отдел истории литературы редактировал С.А. Венгеров), философии (редактор – В.С. Соловьев, затем Э.Л. Радлов), искусству (редактор – А.И. Сомов), юриспруденции (специального редактора не было, но все статьи были написаны В.М. Нечаевым).

написания серии статей на определенную букву, второй – целевой заказ на статью по определенной теме, к третьему типу редактор прибегал, когда нужно было в короткий срок заполнить наметившуюся лакуну, а постоянный сотрудник в силу тех или иных обстоятельств не мог это сделать. В этом параграфе мы намерены рассмотреть период с 1891 по 1899 г. (с 9-го по 55-й полутом), с тем, чтобы в следующем выделить место для периода с 1900 по 1907 гг. (с 56-го по 4-й дополнительный полутом).

Уже первый «Список гг. сотрудников...», помещенный в 10-м полутоме, содержит фамилии авторов, которых смело можно назвать членами команды Кареева. **Федор Герасимович Мищенко** (1848–1906) к началу сотрудничества с редакцией «Словаря...», был, несмотря на свои 44 года, вполне состоявшимся ученым-антиковедом, доктором греческой словесности, профессором Казанского университета, успев до этого поработать в Киеве, а также пережить отлучение от преподавательской деятельности (1884–1889) за либеральные и украинофильские взгляды²³⁵. Обстоятельства и характер личных отношений Мищенко и Кареева (если они вообще имели место) выявить не удалось, но точно известно, что редактору «Словаря» были знакомы труды Мищенко и его переводы Геродота, Фукидида («Сочинение его [Фукидида] существует в русском переводе Мищенко и может быть названо образцовым»²³⁶), Полибия и Страбона. Мищенко был членом руководимого Кареевым Исторического общества при Петербургском университете (принят 12 сентября 1890 г. на X собрании членов общества), однако в качестве докладчика в протоколах заседаний общества он ни разу не фигурирует²³⁷. В «Отчете о русской науке...» Кареев указал, что «Мищенко из Киевского университета (затем Казанского) является автором большого числа эллинистических исследований и переводчиком греческих историков»²³⁸. Фамилию Мищенко мы находим во всех «Списках гг. сотрудников...» Словаря Брокгауза и Ефрона: первая же статья («Геродот») была опубликована в 16 полутоме. В разряд «наиболее значительных по объе-

²³⁵ Подробнее о нем см.: *Шофман А.С.* Федор Герасимович Мищенко. Казань, 1974; *Фролов Э.Д.* Русская наука об античности. С. 209–211.

²³⁶ Лекции по древней истории, читанные проф. Н.И. Кареевым на Высших Женских Курсах. Курс I. 1890–91. Б. м. [СПб?], б. г. [1891]. Написано от руки. Литогр. С. 500. См. также: *Кареев Н.И.* 1) Государство-город античного мира. СПб., 1903. С. 177, 245–247, 249, 328; 2) Монархии древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1904. С. 50, 51, 63, 121, 175, 199.

²³⁷ Судя по протоколам вся деятельность Мищенко в этом научном сообществе свелась к выплате членских взносов и обязательству доставлять в библиотеку Исторического общества «Ученые записки Казанского университета». См.: *ИО. Т. I. Отд. II. С. 47, 55; Т. II. Отд. II. С. 13.*

²³⁸ *Кареев Н.И.* Отчет о русской исторической науке... С. 148.

му оригинальных статей» (а всего мы насчитали 63 статьи по истории Греции и греческой литературе, подписанных Мищенко) попали «Дикастерии» (в 20 полутоме), «Писистрат» (в 46), «Рок, или судьба», «Скифы» и «Скифия» (в 59), «Театр у греков и римлян» (в 64), «Троя» (в 66).

О личном знакомстве с маститым антиковедом *Василием Ивановичем Модестовым* (1839–1907)²³⁹ говорит реплика Кареева в письме Корелину от 25 июня 1887 г.: «Через Модестова (известного классика, занимающегося в “Новостях”) я познакомился кое с кем из журнального мира»²⁴⁰. Модестов – автор трех больших рецензий на работы Кареева²⁴¹. Он первым охарактеризовал Кареева как историка-философа: «Мы прочли это введение с интересом и удовольствием. Представить в сжатом очерке содержание и смысл истории древнего мира, представить – в достаточно верном, ясном и цельном виде – может не всякий. Для этого требуется не только положительное и уверенное в себе знание, но и философский склад головы, которым обладают у нас далеко не все современные историки. Историков-исследователей и историков-рассказчиков у нас достаточно, но историками, умеющими проникать во внутренний смысл истории, приводить отдельные и разрозненные явления в систему, подводить их под общие точки зрения, мы не богаты. Положим, работа русского ученого и здесь, как и в большей части других случаев, до крайности облегчена трудами представителей западной учености, но, все-таки, для хорошего исполнения работы требуется мастер, а не первый встречный, именующий себя ученым или преподавателем науки»²⁴².

Через год, приветствуя выход очередной книги Кареева, Модестов отмечал: «Мы уже имели случай указывать, какую умелую рукою пишутся эти краткие очерки того, что составляет сущность больших исторических периодов, из которых слагается всемирная история. Такие очерки, в которых нет ничего лишнего, но есть все, что нужно иметь в голове приступающему к изучению истории, важны особенно для учащихся. Тут есть для них путеводная нить в понимании смысла великих исторических явлений; тут им указывается кратко и ясно то, чем один исторический период отличается от другого; тут представляются в сжа-

²³⁹ Из последних публикаций о нем см.: о нем см.: *Аксененко М.Б.* В.И. Модестов и “школьный вопрос”: материалы к биографии // *Вестник древней истории*. 2011. № 1. С. 153–159.

²⁴⁰ ЦИАМ. Ф. 2202. П. 2. Ед. хр. 15. Л. 9 об.

²⁴¹ См.: *Модестов В.И.* 1) [Рец. на кн.:] Кареев Н.И. Введение в курс истории древнего мира (Греция и Рим). 2-е изд. СПб., 1886 // *Новости и Биржевая газета*. 1886. № 77; 2) [Рец. на кн.:] Кареев Н.И. Введение в курс истории древнего Востока. СПб., 1887 // Там же. 1887. № 118; 3) В области философии (Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. 2-е изд. СПб., 1887) // Там же. 1887. № 239.

²⁴² *Новости и Биржевая газета*. 1886. № 77.

том виде результаты науки; тут сообщаются важнейшие труды, в которых, главным образом, выражается состояние исторической науки относительно того или другого периода жизни человечества»²⁴³. Карееву принадлежат два отклика на труды Модестова²⁴⁴. «Новый перевод, – писал он в одном из них, – является не только не лишним, но и необходимым, тем более, что сделан он вполне компетентным ученым. В.И. Модестов, известный своими трудами по истории римской литературы, начал свою ученую деятельность около четверти века тому назад с изучения Тацита. <...> Как имя переводчика, так и то, что переводчик, так сказать, специалист по Тациту, – верные ручательства достоинств перевода. Нельзя поэтому не пожелать изданию распространения в публике»²⁴⁵. Именно этот перевод Тацита неоднократно был использован Кареевым в одном из типологических курсов²⁴⁶. В списке членов-учредителей Исторического Общества при Петербургском университете Модестов значится как профессор Новороссийского университета²⁴⁷, куда в конце 1889 г. он был назначен на кафедру римской словесности. В Обществе, кроме упомянутого доклада о Благовещенском, Модестов дважды выступал с рефератами: 23 марта 1894 г. («Вопрос об источниках исторических сочинений Тацита») и 30 октября 1896 г. («О поэзии в римской истории») ²⁴⁸.

В «Списке гг. сотрудников Словаря» Модестов фигурирует с 12 по 80 шт., а публикации (всего – 27, по римской истории и литературе) вместились в промежуток с 17-го по 69-й полутома. Из статей по истории редакция включила в число «наиболее значительных» только «Децемвиры», «Диоклетиан» (обе в 20 шт) и «Моммзен» (в 38), однако публикации, лежащие на границе истории и литературы (мы не можем

²⁴³ Там же. 1887. № 118. Надо сказать, что такие отзывы вдвойне лестны для Кареева, ибо, как пишет И.А. Дружинина, ссылаясь на статью Э.А. Верта «Модестов как критик и ученый» (ЖМНП. 1876), «“Модестов без разбора и с величайшим ожесточением набрасывается” на авторов статей по классической филологии, принимает в отношении них слишком “надменный тон”. Его статьи замечательны тем, что “чуть ли не каждую книгу называет он “бездарной незрелой” ... чуть ли не всякое мнение “чепухой, вздором” ... чуть ли не всякого автора “жалким, потешным человеком”». (Дружинина И.А. Изучение античности в Казанском университете: XIX – 20-е годы XX века. Казань, 2006. С. 121. Прим. 2).

²⁴⁴ Кареев Н.И. 1) [Рец. на кн.:] Сочинения Корнелия Тацита. Рус. пер. с прим. и со ст. В.И. Модестова. СПб., 1886–1887 // Русские ведомости. 1887. № 312; 2) [Рец. на кн.:] О Франции. Статьи проф. В.И. Модестова. СПб., 1889 // Русские ведомости. 1889. № 47.

²⁴⁵ Русские ведомости. 1887. № 312.

²⁴⁶ Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1904. С.223, 230, 239–241, 256, 263, 266.

²⁴⁷ См.: ИО. Т. I. Отд. II. С. 58. В числе членов-учредителей значатся также упомянутые выше Соколов и Васильевский.

²⁴⁸ См.: ИО. Т. XX. С. 202.

точно сказать, кто их редактировал, Кареев или Венгеров?) также значительны: «Гораций» (в 17-м, первая его публикация в ЭСБЕ), «Лукреций» (в 35-м), «Овидий» (в 42-м), «Плиний Старший», «Плиний Младший» (обе в 46-м), «Проперций» (в 49-м).

Вряд ли нуждается в особом представлении ученик В.И. Герье **Михаил Сергеевич Корелин** (1855–1899), доктор всеобщей истории, профессор Московского университета²⁴⁹. Вспоминая об отношениях с ним, Кареев писал: «с Корелиным у меня завязалась тесная дружба, не прекращавшаяся до самой его преждевременной смерти»²⁵⁰. Дополнительный свет на параметры коммуникации способна пролить сохранившаяся переписка историков²⁵¹ и воспоминания Н.П. Корелиной²⁵². В «Словаре» Корелин выступил как автор, по меньшей мере, 45 статей (в «Списке сотрудников...» – с 10 по 52 полутом), в основном, по истории Ренессанса (первая публикация «Валла, Лоренцо» в 9-м полутоме). В 18-м полутоме была опубликована биография римского императора Грациана, а всего мы насчитали 10 статей Корелина по античной истории (все – о римских императорах). Особый интерес представляет биография Домициана, в которой Корелин отходит от традиции изображения его исключительно в негативных тонах и отмечает, что тот «заботился также о постройках, реставрировал уничтоженные пожаром здания и воздвигал новые храмы. К науке и литературе, если она не заключала в себе оппозиционного духа, ... относился благосклонно; ... сам сочинял стихи, покровительствовал Стацию и Марциалу, устраивал на Капитолии состязания между писателями, на манер Олимпийских игр, восстановил сгоревшую библиотеку и пополнял ее копиями с находившихся в Александрии рукописей»²⁵³.

Имя **Сергея Лаврентьевича Степанова** (1863–1914) менее известно современным читателям. Окончив в 1886 г. историко-филологический факультет Петербургского университета, он был оставлен для приготовления к профессорскому званию, в 1890 г. выдержал магистерский экзамен и был занят написанием диссертации по истории IV в. н.э. под руководством В.Г. Васильевского, но до защиты дело так и не дошло. В 1891–

²⁴⁹ Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории в работах М.С. Корелина. М., 1984; Мягков Г.П. Научное сообщество... С. 140–141.

²⁵⁰ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 136. См. также: Кареев Н.И. М.С. Корелин как историк гуманизма // Русская мысль. 1900. № 5. С. 100–112.

²⁵¹ См.: ЦИАМ. Ф. 2202. Оп. 2–3.

²⁵² См.: Корелина Н.П. Моя полувековая дружба с Николаем Ивановичем Кареевым [1931] // Ставропольский альманах РОИИ. 2008. Вып. 10. С. 427–433.

²⁵³ Корелин М.С. Домициан // ЭСБЕ. Пт. 20, 1893. С. 960. На эту особенность восприятия античности Корелиным обратил внимание Кареев: «Культурному элементу К[орелин] отводит много места и в своем университетском преподавании» (Кареев Н.И. Корелин (Михаил Сергеевич) // ЭСБЕ. Пт. 31, 1895. С. 226.)

1898 г. Степанов преподавал оба курса древней истории на Высших Женских курсах, став преемником Кареева (перешедшего на чтение лекций по средневековой и новой истории) по истории Греции²⁵⁴. В дальнейшем Степанов исполнял должность директора Белостокского коммерческого училища (1903–1905)²⁵⁵ и 5-й Петербургской мужской гимназии (1906–1914)²⁵⁶. Кареев хорошо знал Степанова, прежде всего, как деятельного члена Исторического общества (был учредителем, членом ревизионной комиссии, исполнял должность секретаря) особенно в первоначальный период его существования²⁵⁷. В «Списке гг. сотрудников “Энциклопедического Словаря”» фамилия Степанов фигурирует в 1892–1899 гг. (с 10 по 54 полутом, однако последняя статья «Иоанн VI Палеолог» напечатана в 26 полутоме, то есть в 1894 г.). Всего им были написаны 32 статьи для «Словаря...», из которых 13 – по греческой и римской истории, имеющих (за исключением большой статьи «Галлы» в 14 полутоме) характер небольших заметок.

Еще меньше биографических сведений удалось собрать о *Дмитрии Дмитриевиче Каринском* (1867–?), который активно сотрудничал с редакцией «Словаря...» на протяжении всего времени его существования (в «Списке гг. сотрудников...» – с 10 по 80 полутом, за исключением 18–28), опубликовал 73 статьи, из которых 32 по античной истории, в том числе отнесенные редакцией к числу «наиболее значительных»: «Колонат» (в 30 полутоме), «Самнитские войны» (56), «Солон» (60), «Союзническая война», «Спарта» (обе в 61), «Трибунат, народные трибуны» (66). Особо ценной представляется статья о Солоне, в которой автор, опираясь на новейшие исследования В.П. Бузескула, Э.Р. Штерна, М.М. Хвостова, в частности, отмечает, что в Афинах VI в до н.э. «кроме богатой знати и приниженной массы бедняков, существовал уже довольно многочисленный средний класс, созданный новыми экономическими факторами: торговлей и промышленностью. Этот класс, вместе с бедняками, был заин-

²⁵⁴ См.: С.-Петербургские Высшие Женские Курсы за 25 лет. 1878–1903. Очерки и материалы. СПб., 1903. Отд. 2. С. 16–22.

²⁵⁵ См.: Памятная книжка Гродненской губернии на 1904 год. Гродна, 1904. С. 142, 205, 206; То же, на 1906 год. Гродна, 1906. С. 89, 99, 106.

²⁵⁶ Отчет о состоянии и деятельности Петроградского университета за 1915 г. Пг., 1916. С. 266, 273.

²⁵⁷ В заседании от 24 января 1890 г. Степанов сделал сообщение на тему «Афинская высшая школа в IV в. по Р. Х.», которое вызвало оживленное обсуждение (См.: ИО. Т. I. Отд. II. С. 23–24. Текст реферата: Там же. С. 26–29). 22 января 1892 г. и 27 января 1893 г. он докладывал о вновь вышедших томах книги Фюстель де Куланжа «Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire», 25 октября 1892 г. о Ренане, как историке, а 5 мая 1894 г. об учебнике древней истории П.Г. Виноградова (См. ИО. Т. XX. Прил. А. С. 201–212).

тересован в реформах – и на него должен был опираться С[олон], равно как и на наиболее благомыслящую часть эвпатридов»²⁵⁸. Не совсем ясно, как Каринский оказался в команде авторов «Словаря...», личная коммуникация его с Кареевым не просматривается. По имеющимся разрозненным данным, его фамилия фигурирует в списках членов «Московской Комиссии по организации домашнего чтения»²⁵⁹, «Педагогического общества при Московском университете»²⁶⁰ и участников съезда деятелей по сельскохозяйственному образованию²⁶¹. Наиболее убедительной представляется версия о рекомендации со стороны кого-то из знакомых Карееву московских профессоров, скорее всего (здесь мы невольно вступаем в область предположений) П.Г. Виноградова, который был председателем «Комиссии...» и «Педагогического общества...», а также привлекал Каринского к работе в собственном проекте²⁶².

В полутамах 28–31 под псевдонимом *А.К.В.* опубликована серия из 22 небольших статей по антиковедческой проблематике (все на букву «К»). В «Словаре...» дана расшифровка псевдонима – А.К. Васильев²⁶³. Однако в предваряющем 82 полутом «Списке лиц, участвовавших в составлении «Энциклопедического словаря (с 1 по 82 полутом)» фамилия с такими инициалами (без указания на псевдоним) содержит приписку – «горн[ый] инж[енер]». Понятно, что произошла путаница, перекочевавшая затем в «Словарь псевдонимов», при этом точно определить, кто был автором статей, пока не представляется возможным.

²⁵⁸ Каринский Д.Д. Солон // ЭСБЕ. Пт. 60, 1900. С. 816–817.

²⁵⁹ Программы домашнего чтения на 1-й год систематического курса. Изд. 3-е испр. и доп. М., 1895. С. 189; Программы домашнего чтения на 4-й год систематического курса. Изд. 2-е испр. и доп. М., 1905. С. XII.

²⁶⁰ Отчет о деятельности Педагогического общества, состоящего при Императорском Московском университете за 1898/9 год. М., 1899. С. 14. Здесь дана расшифровка: «преподаватель истории Земледельческой школы».

²⁶¹ Русская школа. 1902. №5. С. 287.

²⁶² Каринский Д.Д. Никифор Фока // Книга для чтения по истории средних веков / Под ред. проф. П.Г. Виноградова. Вып. 2. М., 1897. С. 247–274. В дальнейшем, Каринский работал преподавателем истории в гимназических классах Московского Лазаревского института восточных языков (см.: Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1904–1905 уч. год. Ч. II. СПб., 1904. С. 45) и, по крайней мере, до 1917 г., директором Козельской мужской гимназии. См.: Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1914 год. Калуга, 1914. С. 88; то же, на 1915 год. Калуга, 1915. С. 92; то же, на 1916 год. Калуга, 1916. С. 122, 125, 126; то же, на 1917 год. Калуга, 1917. С. 122, 126, 128, 129. После революции его следы теряются.

²⁶³ Псевдоним *А.К.В.*, впервые приведен в 28 полутоме вышеупомянутого «Списка гг. сотрудников...» и фигурировал там по 50 полутом включительно. До этого (начиная с 10 полутама) фамилия сотрудника приводилась без псевдонима. Эту же расшифровку со ссылкой на ЭСБЕ см.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей. В 4 т. Т. 1. М., 1956. С. 45.

С 14-го полутома в число сотрудников «Словаря...» вошел **Фаддей Францевич Зелинский** (1859–1944)²⁶⁴. К этому времени (1892 г.) он уже два года как исполнял должность ординарного профессора историко-филологического факультета Петербургского университета. Его знакомство с Кареевым, очевидно, началось со времени переезда последнего в Петербург, однако характер коммуникации установить непросто. В мемуарах Кареева Зелинский не упоминается ни разу. Причина понятна – воспоминания планировались к публикации, поэтому из них элиминировалось все, что могло напомнить о связях с «буржуазной» профессурой, покинувшей Советскую Россию. Именно таким эмигрантом был Зелинский, уехавший в 1922 г. на историческую родину в Польшу. Из коммуникативных событий отметим, что Зелинский был деятельным членом Исторического общества²⁶⁵. В 1909 г., выступая на торжествах по случаю 50-тилетнего юбилея и 25-летия с начала преподавательской и литературной деятельности Зелинского, Кареев охарактеризовал его как «редкого ученого, соединяющего с глубокой ученостью в области классической филологии способность возбуждать в каждом живой интерес к классическому миру», благодаря умению подчеркнуть «преемственную связь современного духовного мира с идеями классической древности»²⁶⁶. В свою очередь, 9-го ноября 1913 г. на банкете по поводу исполнившегося 40-летия научной деятельности Кареева именно Зелинский прочел приветственный адрес от сотрудников «Энциклопедического Словаря»²⁶⁷. Подробности этого выступления вспоминала Т.С. Варшер: «Удивительно остроумную речь произнес проф. Ф.Ф. Зелинский, говоривший о том, как Калигула произвел лошадь в сенаторы». В голодную зиму 1920 г. Зелинский был организатором празднования 70-летия Кареева, где произнес здравицу в его честь: «Вы, Николай Иванович, все тот – и никакие обстоятельства не заставят вас не быть тем, что вы

²⁶⁴ Лукьянченко О.А. Вертикаль жизни Фаддея Зелинского // Ростовская электронная газета. №22 (52), 22.11.2000. URL: <http://www.relga.sfedu.ru/n52/cult52.htm>; Новиков М.В., Перфилова Т.Б. Профессиональное становление Ф.Ф. Зелинского и его судьба // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3. Т. I. С. 7–17.

²⁶⁵ Зелинский был предложен в члены Общества 15 декабря 1893 г. (См. ИО. Т. VII. С. 9). В Протоколах Общества зафиксированы названия и даты его выступлений: 1 дек. 1893 г. «По поводу пятидесятилетнего юбилея Моммзена», 25 янв. 1895 г. «Роль Цицерона в истории европейской культуры», 26 нояб. 1897 г. «Влияние развития нравственных понятий на религиозные представления древних греков», 10 марта 1904 г. «О Моммзене», 8 дек. 1904 г. «Соперник христианства – Гермес трижды великий», 1 нояб. 1906 г. «Цицерон и английский деизм». (См. ИО. Т. XX. С. 201–212).

²⁶⁶ Чествование Ф.Ф. Зелинского // Исторический вестник. 1909. № 3. С. 1252.

²⁶⁷ См.: Чествование Николая Ивановича Кареева // Исторический вестник. 1913. № 12. С. 1199–1200.

есть»²⁶⁸. В «Списке гг. сотрудников “Энциклопедического Словаря”...» Зелинский значится с 14 по 80 полутом (кроме 60–68), однако всего его фамилией или расшифровываемым псевдонимом подписаны 10 статей, из которых к историческим можно отнести три. Если публикация заметки «Всадник» в 13 полутоме объясняется цейтнотом первых томов, когда команда еще не была сформирована и Кареев поручал написание статей знакомым из близкого круга, то статья о Цицероне («Как по внутренним причинам (разносторонности его способностей и деятельности), так и по внешним (обилию источников), это – самая богатая из всех завещанных нам древним миром личностей»²⁶⁹) объемом более чем 2 печатных листа имеет характер самостоятельного исследования.

Что касается *Александра Николаевича Щукарева* (1861–1900), магистра всеобщей истории, приват-доцента Петербургского университета и Бестужевских курсов²⁷⁰, фамилия которого присутствует в «Списке гг. сотрудников» с 16 по 58 полутом, автора 109 статей по греческой и римской истории, то мотивы, побудившие Кареева включить его в команду авторов «Словаря», требуют отдельного пояснения. Дело в том, что мы имеем несколько свидетельств о натянутых, мягко говоря, отношениях коммуникантов. Так, в письмах к В.И. Герье от 13 и 20 февраля 1890 г. Щукарев упоминается *nomina sunt odiosa*: «мне, напр., наши классики доказывали, что магистру древней истории (занимающемуся притом хронологией афинских архонтов III в до Р. Х.) можно обойтись без всякого знания средней и новой истории»; и далее: «У нас тоже готовится золото (то, от которого происходит название золотарей) по части древней истории и я уже достаточно взвинчен, чтобы оставлять без внимания дурные запахи»²⁷¹. В марте 1891 г. во время конфликта Кареева с А.С. Трачевским²⁷² именно Щукареву приписывалась неблагоприятная роль распространителя клеветы. С.Ф. Платонов в письме к М.А. Дьяко-

²⁶⁸ *Варшер Т.С.* Последние годы Н.И. Кареева при большевиках... С. 2.

²⁶⁹ *Зелинский Ф.Ф.* Цицерон // ЭСБЕ. Пг. 75, 1903. С. 254–274.

²⁷⁰ *Жебелев С.А.* Памяти Александра Николаевича Щукарева // Записки Русского Археологического общества. Новая серия. 1900. Т. 12. С. 1–14; *Смирнов Я.И.* А.Н. Щукарев [Некролог] // Византийский временник. 1900. Т. 7. С. 817–818; *Ростовцев М.И.* Памяти Александра Николаевича Щукарева // Общество для доставления средств Высшим Женским курсам. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлиха. 1901. С. 17–21.

²⁷¹ НИОР РГБ. Ф. 70. К. 46. Ед. хр. 6. Лл. 13 об., 16–16 об. Речь идет о магистерской диссертации: *Щукарев А.Н.* Исследования в области каталога афинских архонтов III в. до Р. Х. СПб., 1889. О магистерском диспуте Щукарева см.: *ИО. Т. I. Отд. I. С. 309–310.*

²⁷² Подробнее см.: *Зезегова О.И.* Коммуникации в Санкт-Петербургском университете: Н.И. Кареев и А.С. Трачевский // Уроки истории – уроки историка. Сб. ст. к 80-летию Ю.Д.Марголиса (1930–1996). СПб., 2012. С. 315–322.

нову от 20 марта 1891 г. ничтоже сумняшеся утверждал, что «авторами клеветы оказались Сенигов и Щукарев»²⁷³. Ситуация разъясняется в мемуарах Кареева: когда выяснилось, что приват-доценты Сенигов и Щукарев только слышали и передавали клеветнические догадки Трачевского, то один из них (теперь нет сомнения, что это был Щукарев), оказавшийся в профессорской во время разбирательства, услышав свое имя, стоял, по словам Кареева, «ни жив, ни мертв», а далее – ремарка, в той или иной мере поясняющая коммуникативную ситуацию: «после он каялся, и я его простил»²⁷⁴. «Прощенный» Щукарев сторицей отплатил продуктивной работой в «Словаре...» – несколько статей, вошли в редакционный топ-лист: «Зевс» (в 23 полутоме), «Игры» (в 24), «Лаокоон» (в 33), «Микенские древности» (в 37), «Надписи греческие» (в 39), «Раскопки» (в 51). Последняя статья Щукарева в «Словаре» – «Самофракия» была опубликована в год его смерти в 56-м полутоме.

Фамилия *Александра Михайловича Ловягина* (1870–1925) постоянно присутствует в «Списке гг. сотрудников...», начиная с 24-го полутома. Выпускник Петербургского историко-филологического института, он к моменту начала сотрудничества с энциклопедией еще не успел получить широкой известности. Впоследствии Ловягин будет знаменит своими трудами как историк, переводчик²⁷⁵, географ, теоретик книгове-

²⁷³ Академик С.Ф. Платонов. Переписка с историками. Т. I. С. 33. Показательная реплика, оброненная Платоновым в письме к П.Н. Милюкову от 1 марта 1891 г., при обсуждении перспектив последнего на получение профессорства в Петербурге: «Здесь же в университете мудрено будет Вам устроить экстраординатуру раньше Форстена и даже идиота Щукарева» (Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков) / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2003. С. 251. Ср.: «Третьего дня был у нас диспут Щукарева, который вычислил и указал какие архонты следовали друг за другом в течение одного из тридцатилетий III в. до Р. Х. в Афинах. Это конечно вопрос очень важный и жизненный; жаль только, что автор, побывавший в Греции, забыл там, быть может на развалинах какого-нибудь древнегреческого алтаря, значительную часть своих незначительных мыслительных способностей...») (А.С. Лаппо-Данилевский – П.Н. Милюкову, СПб., 5 декабря 1890 г. // ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 4858, л. 13-14 об.). Такое отношение мы связываем с извечным противостоянием «русских» и «всеобщих» историков». Так, М.И. Ростовцев писал: «А.Н. Щукарев был типом добросовестного работника, всей душой отдавшегося своему делу, типом живого, отзывчивого на научные интересы своих слушателей профессора; русская действительность с ее непосильными требованиями от всех тех, кто работает, с ее далеко не материнским отношением к этим работникам, заставила А.Н. Щукарева нести на себе бремя непосильного труда, так рано сведшего его в могилу» (Цит. по: Скифский роман. Кн. 1. Архивное наследие М.И. Ростовцева. М., 1997. С. 58).

²⁷⁴ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 198.

²⁷⁵ Не можем не отметить его лучший дореволюционный перевод «Афинской политики»: Аристотель. История и обзор афинского государственного устройства / Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1895.

дения, инициатор и президент Русского Библиологического общества, а в год публикации первой статьи (1894) в «Словаре...» («Жребий» в 23 полутоме) – это скромный преподаватель географии и воспитания в петербургской гимназии Видемана и сверхштатный преподаватель гимназии при Историко-филологическом институте²⁷⁶. На заметку редактора «Словаря...» Ловягин (он не был членом Исторического общества) мог попасть по рекомендации Ф.Ф. Зелинского, который с 1887 г. преподавал в ПИФИ древние языки. Ловягин – автор 93 статей «Словаря», 44 из них написаны по античной тематике. Редакция выделила как наиболее значительные статью «Плутарх» (в 46 полутоме), а также созданные в соавторстве статьи «Календарь» (в 27 полутоме) и «Меры» (в 39), в которых Ловягин был автором античного подраздела.

Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952), один из величайших мировых авторитетов в области истории античности вряд ли нуждается в особом представлении. Однако на момент начала сотрудничества с редакцией «Словаря» (в «Списке гг. сотрудников...» с 24 по 80 полутом, за исключением 46–50) он, оставленный в Петербургском университете (выпуск 1892 г.) для приготовления к профессорскому званию, работал преподавателем в царскосельской Николаевской гимназии и готовил текст магистерской диссертации. Анализ взаимоотношений Кареева и Ростовцева затруднен из-за недостаточности источниковой базы. Так в «Прожитом и пережитом» о Ростовцеве написано всего один раз по незначительному поводу²⁷⁷. Причины те же, что и в случае с Зелинским – мемуарист опасается лишний раз упомянуть профессора-эмигранта, вполне сознательно занявшего враждебную позицию по отношению к большевистскому режиму. В той или иной мере, на характер взаимоотношений историков проливает свет свидетельство Т.С. Варшер, близкой к семье Кареева ученицы Ростовцева: «Ростовцева он (Кареев — *В. Ф.*) оценил сразу, постоянно расспрашивая его о лекциях и семинарии. "Знаете ли, – сказал он мне, – за разбор книги Гримма я дал бы Ростовцеву степень доктора. Этот разбор стоит докторской диссертации". (Ростовцеву тогда было всего лишь 31 год – и он готовил свою докторскую диссертацию)». ²⁷⁸ На своего талантливого ученика как потенциального

²⁷⁶ *Матвеева И.Г.* Александр Михайлович Ловягин (1870–1925): штрихи к биографии библиографа // Историко-библиографические исследования. СПб., 1995. Вып. 5. С. 29–41.

²⁷⁷ «Всегда кого-нибудь да и встретишь из своих коллег (Гревса, Гамбарова, Ковалевского, Лучичкого, Муромцева, Ростовцева, Тарле), а также учеников (Погодина, Бутенко). Так привлекал к себе всех нас Париж» (*Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 220).

²⁷⁸ *Варшер Т.С.* Последние годы Н.И. Кареева при большевиках... С. 2.

автора «Словаря» Карееву мог указать Зелинский – именно статьей о своем учителе Ростовцев дебютировал в 24 полутоме, а дополнение к ней во 2-м дополнительном полутоме станет его последней, 19-й публикацией в «Словаре». Отметившись статьей «Италия в древнее время» (в 26-м полутоме), он взял долгую паузу в работе, связанную с заграничными командировками. Возвратившись в 1898 г. в Россию Ростовцев начал преподавать в качестве приват-доцента в Петербургском университете и одновременно на Бестужевских курсах. После успешной защиты магистерской диссертации в 1899 г. Ростовцев возобновляет сотрудничество со «Словарем» теперь уже на постоянной основе. В 58 полутоме увидит свет его обстоятельный очерк истории римского сената, а начиная с 71-го полутома, статьи Ростовцева будут регулярно фигурировать в числе «наиболее значительных по объему оригинальных статей»: «Фиск», «Форум» (оба в 71-м), «Фрументарные законы» (в 72-м). Обретя в 1903 г. докторскую степень, он продолжает печататься в «Словаре». В этот период были опубликованы «Херсонес Таврический» (в 73-м), «Царь в Греции и Риме», «Цензоры в Риме» (обе в 74-м), «Эдилы» (в 79-м), «Эллинизм» (в 80-м) «Юлий Цезарь» (в 81-м). Эти статьи, хотя и носят популярный характер, но, по меткому замечанию Э.Д. Фролова, «и они полезны, особенно для начинающего историка»²⁷⁹.

С 28 по 34 полутом уложилось сотрудничество со «Словарем» **Роберта (Романа) Христиановича Лёпера** (1864–1918)²⁸⁰. Из 17 коротких заметок выделим статью «Ликург» (в 34 полутоме)²⁸¹. Выпускник историко-филологического факультета 1887 г., ученик Ф.Ф. Соколова, П.Н. Никитина и В.К. Эрнштедта, ко времени первой публикации в «Словаре» он успел совершить путешествие в Грецию (1890–1894). По возвращении

²⁷⁹ Фролов Э.Д. Русская наука об античности. С. 363.

²⁸⁰ Басаргина Е.Ю. Слово С.А. Жебелева, посвященное памяти Р.Х. Лёпера // Деятели русской науки XIX–XX вв. СПб., 1996. Вып. III. С. 95–104.

²⁸¹ Переключку с этой статьей мы нашли у Кареева: «Современные историки стоят на той точке зрения, что вся история Ликургова законодательства – позднейшая легенда и что Ликург есть имя не действительно когда-то жившего в Спарте лица, а местного божества («Ликург» значит святоносный), мало-помалу превращавшегося, как это бывало и с другими богами, в мифического царя. Любопытно и самое это превращение бога, именем которого освящены были внутренние порядки Спарты, в человека, давшего ей законы, ибо такое превращение могло совершиться только после того, как и в самой жизни законодательством стали заниматься люди» (Кареев Н.И. Государство-город античного мира. СПб., 1903. С. 80). «Вероятнее, однако, что Л[икург]. – забытое, очень древнее божество, которое первоначально почиталось как охранитель права и законности в государственной и общественной жизни. Когда в других греческих государствах появились знаменитые законодатели, то и в Спарте бог-охранитель законов окончательно был низведен в человека-законодателя» (Лёпер Р.Х. Ликург // ЭСБЕ. Пт. 34, 1896. С. 682).

в Россию Лёпер преподавал в 10-й Петербургской гимназии (1894–1897) и в частной гимназии Видемана (1897–1901)²⁸², а также работал над магистерской диссертацией об афинских демах, которую так и не смог довести до защиты. В 1901 г. он был приглашен на должность ученого секретаря Русского Археологического института в Константинополе, а в 1908–1914 гг. заведовал музеем древностей Херсонеса Таврического²⁸³.

С 28-го полутома в «Списке гг. сотрудников...» неизменно присутствует фамилия *Григория Филимоновича Церетели* (1870–1938)²⁸⁴, выпускника историко-филологического факультета Петербургского университета (1893), ученика В.К. Эрнштедта, оставленного для приготовления к профессорскому званию, ставшего впоследствии видным эллинистом и папирологом, членом-корреспондентом РАН. Обещавшее стать плодотворным сотрудничество этого автора (статьи «Катулл, Квинт Лутаций [консул]» и «Кедрен» в 28-м и «Палеография [греческая]» в 44-м полутомах), было прервано сначала долгосрочной заграничной командировкой, а затем переездом ученого в Дерптский университет.

Ученик Кареева *Петр Алексеевич Конский* (1870–?) вошел в список сотрудников «Словаря» начиная с 32 полутома (статья о реформаторе английской церкви Томасе Кранмере), всего им были опубликованы 128 статей (в основном по истории европейского средневековья), из них пять по греко-римской тематике, в том числе две большие статьи в 45-м полутоме – «Пелопоннесская война» и «Персидско-греческие войны». В обеих статьях, кроме обстоятельного очерка, ценными представляются отсылки к трудам отечественных авторов И.К. Бабста, В.М. Ведрова, В.А. Милютина, Н.Н. Розова, Ф.Г. Мищенко, Р.Х. Лёпера, Ф.Ф. Соколова, М.С. Куторги, А.П. Рославского-Петровского. Конский в мемуарах Кареева упоминается дважды: «В новом поколении студентов у меня были новые приятели, из которых добрые, дружеские отношения поддерживались мною и впоследствии до самого последнего времени <...> с П.А. Конским, сделавшимся педагогом, директорствовавшим последовательно в целом ряде средних школ <...> Во второй половине девяностых годов самыми близкими из своих учеников я

²⁸² *Басаргина Е.Ю.* Указ. соч. С. 96.

²⁸³ *Вдовиченко И.И.* Коллекции древностей Херсонеса Таврического. Расписная керамика из раскопок Р.Х. Лёпера // Лазаревские чтения-2006 [Электронный ресурс] URL: <http://www.msusevastopol.net/science/lasarev/2006/03-02-vdov.rar>.

²⁸⁴ В «Списке гг. сотрудников...», этот автор указан с инициалами Г.Е. Но это, на наш взгляд, досадная опечатка. Судя по тексту публикаций, их автором был именно Г.Ф. Церетели. В статье «Палеография» в списке литературы есть ссылка на: Церетели. Сокращения в греческих рукописях преимущественно по датированным рукописям СПб. и Москвы". СПб., 1896. Автором этой книги является как раз Г.Ф., а не Г.Е.

считал Мякотина, Конского и Васильевского»²⁸⁵. Конский отозвался несколькими рецензиями на труды Кареева²⁸⁶, а в 1897 г. опубликовал юбилейную статью о своем учителе²⁸⁷. Ученик Кареева был действительным членом Исторического общества: в 1900–1903 гг. вплоть до отъезда из Петербурга исполнял обязанности секретаря Комитета²⁸⁸.

Сведения о педагогической деятельности Конского фрагментарны: по окончании историко-филологического факультета Петербургского университета (1894 г.) он преподавал в Морском кадетском корпусе, Александровском Лицее²⁸⁹, в коммерческом училище В.Ф. Штюрмера²⁹⁰, Бендинском коммерческом училище²⁹¹, с 1905 г. состоял директором Самарского коммерческого училища (в 1908 г. был одним из инициаторов создания и членом Совета Самарского общества народных университетов²⁹²), в 1915 г. исполнял должность директора Коллегии Павла Галагана в Киеве²⁹³, а затем преподавал литературу в Петербургской гимназии К. Мая²⁹⁴. В автобиографии Конского (датирована 23 ноября 1918 г.) содержатся дополнительные сведения: «Петр Алексеевич Конский род[ился] 14 июля 1870 года, православный. Окончил в 1895 г. Петроградский университет по Историко-филологическому факультету». С 1895 г. начал преподавательскую деятельность в частной женской гим-

²⁸⁵ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 193, 194.

²⁸⁶ Николай Иванович Кареев. Библиографический указатель (1869–2007) / сост. В.А. Филимонов. Казань, 2008. С. 48, 52, 62, 66, 68, 73. Особо отметим: П. К-ий [Конский П.А.] [Рец. на кн.:] Кареев Н.И. Учебная книга древней истории. СПб., 1901 // Русская школа. 1902. № 9. С. 9–16.

²⁸⁷ Конский П.А. К 25-летию профессорской деятельности Н.И. Кареева // Русская школа. 1897. № 4. С. 267–275.

²⁸⁸ Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1904 год. СПб., 1905. С. 132.

²⁸⁹ Конский (Петр Алексеевич) // ЭСБЕ. Пт. 2, дополнительный, 1905. С. 943.

²⁹⁰ Гельбке Ф.Ф. Указ. соч. С. 160.

²⁹¹ ИО. 1905. Т. XIV. Отд. II. С. 47.

²⁹² Храмов Л.В. Рождение Самарского государственного университета // Университет. Информационное издание Самарского государственного университета. URL: http://www.universite.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=71.

В 1910 г. П.А.Конский прочёл для Общества лекцию «Начало книгопечатания в России и на Западе» (Курмаев М.В. Общество взаимного вспоможения книгопечатников Самары // Известия Самарского научного центра РАН. 2008. Т. 10. № 4. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2008/2008_4_1023_1027.pdf

²⁹³ Конский, Петр Алексеевич // Новый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 22. СПб., 1915. С. 508–509.

²⁹⁴ «В гимназии Мая у нас был преподаватель русской литературы по фамилии Конский, так он говорил, что счастлив тот человек, который к старости помнит много стихов» (Д.С. Лихачев – университетские встречи / Под ред. А.С. Запесоцкого. СПб., 2006. С. 79).

назии Виноградовой и Певческой Капелле. В 1896 г. 1 авг[уста] назначен штатным преподавател[ем] Реального Училища и Женской гимн[азии] имени П.Т. Ольденбургского. С 1897 г по 1904 г. был штатн[ым] преподават[елем] русского яз[ыка] в Морском Кадетск[ом] Корпусе и в Институте Св[ятой] Елены, где преподавал историю. В то же время состоял преподават[елем] истории и русской словесности в Александровском Лицее. С 1904 по 15 ноября 1918 был директор[ом] средней школы: до 1910 г. – директором по избранию Самарского Коммерческого училища, до 1915 – директ[ором] Коллегии Павла Галагана в Киеве, с 1915 г. до ноября 1918 г. – директором Петроградской XI гимназии. В 1916-17 учебных годах был руководит[елем] по русск[ому] яз[ыку] на курсах для подготовки учителей при округе. 16-го ноября 1918 г. избран Педаг[огическим] Сов[етом] единой трудовой школы, б[ывшей] Гимн[азии] Мая преподавателем русской словесности»²⁹⁵. О его дальнейшей судьбе почти ничего не известно²⁹⁶.

Выход из состава редакции Р.Х. Лепера и анонима, скрывшегося под псевдонимом *А.К.В.*, потребовал поиска новых участников разрабатываемого проекта²⁹⁷. **Николай Петрович Обнорский** (1873–1949), выпускник историко-филологического факультета 1895 г., оставленный для приготовления к профессорскому званию²⁹⁸, открыл свое более чем продуктивное сотрудничество с редакцией «Словаря» большой статьей «Лагиды» в 33-м полутоме (1896 г.). В редакционный лист наиболее значимых статей было включено 27 его публикаций: упомянутые «Лагиды», а

²⁹⁵ ЦГИА СПб. Ф. 144 (Гимназия К. Мая). Оп. 2. Ед. хр. 46. Л. 2. Автор благодарен Мурату Тимуровичу Валиеву за предоставленный материал.

²⁹⁶ Вышеприведенная ремарка из мемуаров Кареева («отношения поддерживались мною и впоследствии до самого последнего времени») указывает, что на момент написания «Прожитого и пережитого» Конский был жив и жил не за границей. Это подтверждает и опубликованная театральная рецензия (К-ий П. [П.А. Конский]. Дядюшкин сон (в Гос. академ театре драмы) // Рабочий и театр. 1925. № 2, 12 янв. С. 8), а также дата (22.07.1929 по штемпелю) последнего письма (открытки) Конского, посланной Карееву из Сестрорецка. Всего сохранный в архиве переписка включает четыре письма. См.: НИОР РГБ. Ф. 119. К. 16. Ед. хр. 31–34.

²⁹⁷ Изменение характера и объема издания (первоначально предполагалось ограничиться выпуском 16–18 томов) редакция поясняла в предисловии к 82 полутому: «Убеждение в том, что русская публика, не располагающая специальными словарями, нуждается не столько в беглом взгляде на все области знания, сколько в более исчерпывающем их обозрении, привело к тому, что переводы и компиляции по предметам сколько-нибудь выдающимся уступили место самостоятельным статьям, часто имеющим характер монографий. Отсюда значительное увеличение объема издания и более позднее его окончание...». (От редакции // ЭСБЕ. Пг. 82, 1904).

²⁹⁸ Протоколы заседаний Императорского С.-Петербургского университета. № 51. СПб., 1898. С. 29.

также «Латины», «Легион» (в 33-м полутоме), «Македония» (в 35-м), «Паллада Афина» (в 44-м), «Понтифекс» (в 48-м), «Принципат в Риме» и «Прометей» (обе в 49-м), «Рапсоды» (в 51-м), «Римская религия и мифология» (в 52-м), «Сапфо» и «Сатирическая драма» (обе в 56-м), «Семья» (разделы: III. «Семья и род у древних греков и римлян» и IV. «Семья и род у германцев») и «Сенека» (обе в 58-м), «Сицилия [история]» (в 59-м), «Софистика» (в 60-м), «Тарквинии» (в 64-м), «Граур», «Третейский суд [у греков и римлян]» и «Троянская война» (все в 66-м), «Тюрьма у древних греков и римлян» и «Убежища в древней Греции» (в 67-м), «Федон» и «Федр» [диалоги Платона] (обе в 69-м), «Хоровая поэзия у древних греков» и «Храм древний» (обе в 74-м). Всего же Обнорский написал для «Словаря» 618 статей и заметок. Его биография фрагментарно воспроизводится по ряду свидетельств. Так о его преподавательской деятельности в 10-й Санкт-Петербургской гимназии вспоминают ученики: «В младших классах историю Древнего Рима и Греции преподавал Н.П. Обнорский, один из составителей энциклопедического словаря “Брокгауз – Ефрон”. Добрейший человек и знаток истории, он знакомил нас, мальчишек четвертого класса, с античным миром. Мы великолепно знали Акрополь, Капитолий, планы древних Афин и Рима, храм Афины Паллады, Коринф, Сиракузы, ходили по римскому Форуму, купались в термах Каракаллы, сражались вместе с гладиаторами, участвовали в ристалищах, получали лавровые венки победителей. Обнорский читал нам “Илиаду” и “Одиссею”, приобщил к чудесным источникам классической поэзии. Человек он был мягкий: если ставил двойку какому-нибудь лентяю, то потом страдал больше, чем гимназист, который уже забыл о плохой отметке. Его гордостью была библиотека. Получив один шкаф с истрепанными книжками, он через несколько лет создал прекрасную библиотеку с замечательным набором книг, библиотека уже занимала две большие комнаты с десятками шкафов, тысячами книг по самым разнообразным вопросам. Деньги на это он получал частично от пожертвований, частью от благотворительных вечеров, но основное было пожертвование бывших воспитанников гимназии и их родителей. Работали в библиотеке гимназисты по его выбору из числа самых аккуратных и исполнительных»²⁹⁹. Переехав в 1916 г. в Пермь, Обнорский отдал много сил созданию университетского центра, работал директором фундаментальной библиотеки, преподавал латынь, греческий и английский языки, читал курсы античной и средневековой литературы и введения в литературу³⁰⁰.

²⁹⁹ Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. Л., 1991 // http://www.modernlib.ru/books/zasosov_d_a/iz_zhizni_peterburga_18901910h_godov/read/

³⁰⁰ Подробнее см.: Преображенская Е.О. Обнорский Николай Петрович // Ученые записки Пермского государственного университета. 1968 № 167. Вопросы

Иногда сотрудничество того или иного автора ограничивалось всего одной публикацией. Так, увидевшая свет в 33-м полутоме статья «Курия [община]» принадлежит перу приват-доцента Петербургского университета, доктора римской словесности **Михаила Никитича Крашенинникова** (1865–1932)³⁰¹, который входил в «Список гг. сотрудников...» с 34-го по 38-й полутом. Эта небольшая заметка перекликается с диссертациями ее автора «Римские муниципальные жрецы и жрицы» (1891) и «Августалы и сакральное магистерство» (1895)³⁰². Получение в 1896 г. экстраординатуры в Юрьевском университете обусловило его выход из числа авторов. Впоследствии (1918–1929) Крашенинников занял профессорскую должность по кафедре классической филологии и древней истории в Воронежском университете, образованном после эвакуации сюда русской части Юрьевского университета. 5 июня 1931 г. обвиненный в «немарксизме» Крашенинников был приговорен к 5-летней ссылке в Северный Казахстан и умер в Семипалатинском лагере 21 января 1932 г.³⁰³

В характерной авторской манере писал для «Словаря» **Иван Ильич Холодняк** (1857–1913), профессор римской словесности Историко-филологического института. Он был хорошо известен редактору исторического отдела по совместной работе в университете и на Высших Женских курсах. Хотя в «Списке гг. сотрудников» Холодняк числился с 64-го полутома, первая его публикация («Надписи латинские» – подраздел статьи «Надписи») найдена нами еще в 39-м полутоме. Кроме этого, профессор был автором еще двух статей: «Палеография латинская» (в 44-м, как подраздел статьи «Палеография») и «Телеграф в древности» (в 66-м).

Весьма колоритной и противоречивой фигурой был **Артур Генрихович Готлиб** (1866–1960)³⁰⁴, начавший работу в «Словаре» с 44-го

теории и методики преподавания иностранных языков. Вып. I. URL: <http://www.psu.ru/faculties/mfll/lingvodidactics/personalia3/05/>; *Селянинова Г.Д.* Общество исторических, философских и социальных наук при Пермском университете в 1917–1918 годы // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/2. С. 233–270.

³⁰¹ *Акиншин А.Н., Немировский А.И.* Михаил Никитич Крашенинников – историк литературы и педагог // Вестник ВГУ. Сер. Гуманитарные науки. Воронеж, 2003. № 1. URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/hyman/2003/01/akinshin.pdf>.

³⁰² Впоследствии Кареев ссылался на обе эти работы. См.: *Кареев Н.И.* Монархии древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1904. С. 343.

³⁰³ *Попов С.А.* Михаил Никитич Крашенинников (1865–1932): Материалы к биографии // Филологические записки. 2001. Вып. 16. С. 178.

³⁰⁴ Именно под такой фамилией он фигурирует в «Списке гг. сотрудников...». Перед поступлением в университет Арон Гиршевич Готалов принял лютеранство и переименовался в Артура Генриховича Готлиба, а с началом мировой войны, перешел в православие став Артемием Григорьевичем Готаловым-Готлибом (*Бирштейн А.И.* Суета сует? // Мигдаль Times. Еврейский журнал для всех. 2008. № 96–97 (июль). URL: <http://www.migdal.ru/times/96/17023/>.

полутома (статья «Памфилия»). Всего мы насчитали 84 публикации (в основном по средневековой и византийской истории), из которых 24 – по античной проблематике. В числе наиболее значимых редакций были выделены статьи «Поселения варваров на римской и византийской территории» (в 48 полутоме), «Провинция [у римлян]» (в 49-м) и «Тиберий» (в 65-м). Выпускник историко-филологического факультета Новороссийского университета, он, перебравшись в 1896 г. в Петербург, преподавал в гимназиях и в кадетском корпусе, а также и руководил курсами латинского языка, учрежденными им на правах частного учебного заведения³⁰⁵. Именно в это время он был привлечен Кареевым к работе над статьями «Словаря». Об истоках коммуникации остается только догадываться, ни один источник на нее прямо не указывает. Весьма вероятно, что на своего ученика мог указать хорошо знакомый Карееву университетский учитель Готлиба, выдающийся византист Ф.И. Успенский³⁰⁶, который и сам много писал для «Словаря» (статьи по истории Византии). С 1903 г. Готлиб состоял директором гимназий: Ялтинской (1903–1908), 2-й Кишиневской (1908–1910), Псковской (1910–1919)³⁰⁷. После гражданской войны он навсегда поселился в Одессе, где «был профессором Педагогического института, Института народного образования, Института профессионального образования и, наконец, университета»³⁰⁸, избежав репрессий 1920–30-х гг. и благополучно пережив немецкую оккупацию.

Нам осталось назвать авторов, которые писали в указанный период (по 1899 г.) словарные статьи по другим разделам всемирной и российской истории, но в силу разных причин, отметились единичной публикацией по греко-римской проблематике. Цейтнотом первых томов объясняется поручение Кареева написать статью «Вер Люций» (в 11-м полутоме) своему ученику **Венедикту Александровичу Мякотину** (1867–1937), который активно сотрудничал со «Словарем», публиковал статьи по европейской истории, преимущественно польской. Кареев его неоднократно упоминает в своих мемуарах³⁰⁹. Другой ученик

³⁰⁵ Готлиб, Артур Генрихович // Новый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 14. СПб., 1913. С. 583.

³⁰⁶ См.: *Готалов-Готлиб А.Г.* Ф.И. Успенский как профессор и научный руководитель // *Византийский временник*. 1947. Вып. 1. С. 114–126.

³⁰⁷ Хронология переездов Готлиба приводится по: *Боровой С.Я.* А.Г. Готалов-Готлиб // *Боровой С.Я.* Воспоминания. М., 1993. С. 347.

³⁰⁸ *Карышковский П.О.* Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб [Некролог] // *Византийский временник*. 1962. Вып. 21. С. 276.

³⁰⁹ См.: *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 179, 188. Из новейших исследований см.: *Иогансон Е.Н.* В.А. Мякотин: историк и политик. Дис. ... канд. ист. наук. М., 1994; *Зезегова О.И., Павлова Т.В.* Переписка Н.И. Кареева и В.А. Мякотина как

Кареева *Михаил Григорьевич Васильевский* (1875–1903)³¹⁰ также был деятельным сотрудником «Словаря», опубликовал в нем 21 статью по истории Западной Европы. В большой статье «Рабство» (в 51-м полутоме) ему принадлежат подразделы «Рабство в древней Греции» и «Рабство в Риме». Форс-мажорными обстоятельствами (кто-то из постоянных сотрудников – Обнорский, Ловягин, Щукарев или Лёпер не успел подготовить публикацию ко времени выхода очередной книжки «Словаря») объясняется поручение написать статью «Limes germanicus» (в 34-м полутоме) *Евгению Алексеевичу Звягинцеву* (1869–1945), недавнему выпускнику (1895) историко-филологического факультета, который впоследствии получил известность как краевед-методист, деятель народного образования.

Таким образом, редакторская работа Кареева породила своеобразное научное сообщество лидерского типа. Объединенное общим проектом и не связанное географическими и возрастными ограничениями, оно внесло существенный вклад в дело популяризации исторического знания в целом, и антиковедческого в частности.

В 1899 году Н.И.Кареев «по высочайшему повелению» был уволен из числа профессоров Санкт-Петербургского университета и Высших женских курсов за неблагонадежность. Это событие, изменившее размерный ход жизни историка, положило начало новому этапу его интеллектуальной биографии.

исторический источник // Национальный/социальный характер: археология идей и современное наследство. М., 2010 С. 292–293.

³¹⁰ Кареев Н.И. Памяти М.Г. Васильевского // Русские ведомости. 1903. № 268.

ЧАСТЬ 5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ЭПОХУ РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

5.1. НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО И ПРАКТИКА ПОМИНОВЕНИЯ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ОЛЬДЕНБУРГ

Научное сообщество, выстраивающее идентичность своих членов вокруг традиции, определяемой преимущественно именами, чутко к практикам хранения и передачи памяти об умерших членах сообщества. Расцвет практики поминовения приходится на конец XIX – первую треть XX века; полный цикл тогда выглядел так: некролог в периодическом издании (как правило, в специальном, с определенной аудиторией), по возможности, близко к дате смерти; вечер памяти – публичный (открытый для широкой публики) или в каком-либо из научных обществ, к которому имел отношение покойный; наконец, сборник воспоминаний об умершем. Это был единый процесс, последовательность действий не должна быть нарушена, каждое последующее действие как бы вбирало в себя предыдущие.

Так выглядит сложившийся обряд прощания с мертвыми. Исполнителем этого обряда, в принципе, может быть любой, и в течение жизни мало кому удастся избежать хотя бы раз выступить в роли провожающего. Однако на практике оказывается, что те или иные люди в большей степени задействованы в подобных ситуациях. В научном сообществе они опознаются через активную практику написания некрологов. Одна из самых активных фигур на этом поприще в российской науке конца XIX – начала XX века – Сергей Федорович Ольденбург. Можно подумать, что он принужден к написанию некрологов самим родом своей деятельности (Непременный секретарь Академии наук в течение 25 лет); но это не входит автоматически в функциональные обязанности секретаря. И то, что Ольденбургом в течение жизни создано более шести десятков подобных текстов свидетельствует не столько о том, что он отработывал свои служебные обязанности, сколько о том, что он признавал подобные обязанности важными для себя лично.

Некрологи были разными. У Ольденбурга встречаются и весьма «каноничные» случаи, когда поводов говорить о его личном отношении почти нет. Например, сборник «Венок Врангелю» – случай выполнения полной программы. Н. Врангель умер 15 июня 1915 года, спустя полгода, 15 декабря Общество защиты и сохранения в России Памятников Искусства и Старины провело собрание в память его, а по материалам собрания была выпущена книга. В этом проекте участвовал С.Ф. Оль-

денбург со статьей «Барон Врангель и истинный национализм». Небольшая цитата из нее дает представление о направлении и настроении подобных изданий: «Николаю Николаевичу и его друзьям мы в широкой мере обязаны той горделивою, но и сознательною любовью, которою теперь уж почти все русское общество любит Россию, ее прошлое и настоящее, а значит и будущее»¹.

Иногда сам формат мемориального сборника не предполагает личного отношения. Это может быть только сборник работ представителей тех научных дисциплин, для которых умерший сделал исключительно много. Таким, например, был изданный по решению Академии наук сборник памяти В. Томсена, к которому С.Ф. Ольденбург написал крошечное предисловие, разъясняющее актуальность ученого как «учителя науки» и после его смерти².

Но чаще тексты некрологов весьма плотно, хотя и на первый взгляд неочевидно, хранят следы присутствия личности автора.

Для Ольденбурга, не просто много думавшего о проблемах социального функционирования науки в современном ему мире, но и сделавшего собственный жизненный выбор в соответствии со своими представлениями об этом, важно акцентировать некоторые моменты бытования науки как социальной и интеллектуальной практики, которые кажутся значимыми ему, а должны, по его мнению, признаваться таковыми всеми. В частности, ему кажется принципиальным расширить номенклатуру истинно научной деятельности за счет текстов «малых жанров». Для С.Ф. Ольденбурга написание некрологов однозначно принадлежит к научной практике, и при описании трудов своих героев он включает некрологи в ряд научных работ. Сюда же включаются и рецензии, о чем он не раз упоминает все в тех же некрологах. Внутренняя близость этих двух научных практик определяется их социальной функцией внутри науки: они являются способом коммуникации, связывающей научное сообщество в единое целое. Только рецензии обеспечивают горизонтальную коммуникацию, определяющую и расширяю-

¹ Венюк Врангелю. Пг.: тип.Сириус, 1916. С. 96.

² «Такие обзоры трудов главных двигателей науки, выясняющие их подходы к научной работе, постановку ими научных проблем и методы их разрешения, имеют большое значение не только как дань уважения к этим научным деятелям, но и как показатели того, по каким путям и как движется наука. В наши дни исключительно сильного роста мировой науки, напоминающие нам во многом великий XVII век, проверка правильности путей и методов работы особенно важна. Громадное богатство новых материалов, расширение поля и горизонтов научных исследований побуждают нас относиться с особенным вниманием к методам работы. В.Томсен был великим мастером этих методов, и его труды – превосходная школа для ученых». (Памяти В. Томсена. К годовщине со дня смерти». Л.: Изд-во АН СССР. 1928).

щую горизонты знакомства с современными трудами и именами, т.е. пространственные параметры научного поля, а некрологи – вертикальную коммуникацию, связывающую воедино имена и проблемы и задающую глубину памяти.

Ольденбург знает, что не каждый человек, в силу личных качеств и убеждений, может обеспечивать коммуникативные связи внутри общества. Не каждый даже понимает значимость этого. И потому в поминании указание на эту сторону научной работы – скрупулезной, тщательной, затратной и не слишком заметной – становится отдельной темой. «Среди многочисленных крупных и мелких работ Керна мы находим еще две категории, которые характерны для него – это рецензии и некролого-биографические статьи. У Керна этих статей много и они всегда содержательны. Мы сказали, что подобного рода работы характерны для ученого, и действительно, мы никогда, или в очень малой мере находим их у ученых-эгоцентристов: для них важна и интересна прежде и главное всего собственная мысль, собственная работа, они редко принадлежат к организаторам, так как элемент личный слишком преобладает; этот тип одинаково существует и среди первостепенных ученых, и среди ученых совершенно посредственных, ибо это только свойство известного типа личностей, независимо от результатов их творчества. Керн в этом отношении умел соединять большое и интенсивное личное творчество с организацией работы других и чрезвычайно внимательным и критическим отношением к ней, глубоко проникнутый принципом *suum cuique*»³. Коммуникативная функция поминания, выстраивающая горизонтальные связи сообщества, безусловно, заслуживает особого внимания.

Содержание некрологов зависит от личности того, кто поминается, от того, что волнует в данный момент Ольденбурга, и отчасти от того, на какую аудиторию они рассчитаны (т.е. в чьем присутствии разговор ведется). Некрологи дореволюционного времени, когда связь времен еще не распалась, жизнь была жизнью, а смерть была смертью, задают норму поминания, которая складывается у Сергея Федоровича Ольденбурга в условиях традиции академической среды.

В это время круг теней, с которым связан Ольденбург, это почти всегда те, кто при жизни профессионально занимался Востоком. Круг этот интернационален – почти треть дореволюционных некрологов посвящены памяти иностранцев, иногда связанных с Российской Академией наук, иногда – нет. Некрологи иностранцам наиболее предсказуемы и наименее личностны. Один из самых распространенных моти-

³ *Ольденбург С.Ф.* Гендрик Керн. 6 апреля 1833 – 4 июля 1917. Некролог // Изв. Рос. АН. 1918. Т. XII, № 16. С. 1766. *suum cuique* – каждому свое (лат.).

вов некрологов, написанных Ольденбургом в это время, – сетования по поводу ненапечатанных трудов ушедших ученых – хотя и встречается в «иностранных» текстах, но носит характер почти служебного частного упоминания, поскольку однозначно предполагается, что публикация оставшегося в архиве – всего лишь вопрос времени.

В отечественных некрологах этот полутехнический вопрос превращается в большую проблему неопределенной, почти бесконечной длительности. Она возникает еще при жизни ученого, достается в наследство его ученикам (буде таковые имеются), и несмотря на усилия тех, кто разбирает архив, практически не имеет шансов на разрешение. Ольденбург не устает говорить о неопубликованном и выражать надежду, но видно, как с течением времени его оптимизм по поводу обнародования сокровенного все убывает⁴. В некрологах отечественным деятелям науки идет речь не только о неизданном, но и о несделанном. История несвершившегося часто начинается еще при жизни. Причины тому могут быть разные, но результат один. Так складывается печальный список похороненных научных трудов и замыслов. Ольденбург не только констатирует сам факт, но каждый раз указывает на обстоятельства. Что могло помешать осуществлению задуманного, а порой – начатого?

Бывает, что это определяется жизненной позицией, включающей в себя и отсутствие честолюбия и приоритет непосредственной деятельности⁵. Предположим, что это результат в большей или меньшей степени сознательного выбора. Но иногда выбора нет: человек предполагает, а Бог располагает. Роковой, например, оказывается национальная специфика российской науки, связанная с ее невысоким международным авторитетом (хотя формально речь идет, как правило, именно о востоковедении, Ольденбург ставит вопрос шире и предпочитает говорить о науке в целом). «Но возвращение в Россию [после десяти лет замкнутой работы в пекинской миссии – *С.Е.*] совершенно повернуло ход его научной рабо-

⁴ *Ольденбург С.Ф.* Памяти И.П.Минаева (1840–1890) // Живая старина. 1890. Вып. I. С. LV, LX, LX–LXI; Императорское Русское географическое общество. Отчет за 1890 год. СПб., 1891. С. 8,11; *Ольденбург С.Ф.* Памяти Ивана Павловича Минаева // ЗВОРАО.1897. Т. X. (1896). С. 71; [Ольденбург С.Ф. Памяти Василия Павловича Васильева] // Изв. Имп. АН. 1900. Т. XIII, № 2. С. VI; *Ольденбург С.Ф.* Василий Павлович Васильев как исследователь буддизма. (Род. 20-го февраля 1818 г., умер 27-го апреля 1900 г.) // ЖМНП. 1900. Ч. СССXXX, № 7. Отд. 4. С. 67, 68; *Ольденбург С.Ф.* А.О. Ивановский. (Некролог) // ЖМНП. 1903. Ч. СССXLVI, № 4. Отд. 4. С. 130-131; *Ольденбург С.* Памяти Василия Павловича Васильева // Речь. 1910. № 114. 28 апреля (11 мая). С. 2.

⁵ *Ольденбург С.Ф.* Памяти А.В. Григорьева (1848–1908) (Некролог) // ЖМНП. 1908. Ч. XIII, № 12. Отд. 4. С. 75; *Ольденбург С.Ф.* Памяти Николая Федоровича Петровского. 1837–1908 // ЗВОРАО. 1912. Т. XX (1910). С. 06; *Ольденбург С.Ф.* Карл Германович Залеман. Некролог // Изв. Имп. АН. VI. 1917. Т. XI. С. 282.

ты, и тут наступает в жизни Василия Павловича время, полное трагизма для ученого: он подготовил обширные работы, чувствует, что стоит на верном пути и может сразу двинуть вперед науку, которой себя посвятил, и вдруг видит, что нельзя даже надеяться на издание его трудов... Причина неудачи была очень простая: все работы Васильева были написаны по-русски⁶. Иногда научной работе мешает суeta жизни – ученые оказываются вынуждены ради заработка и статуса преподавать; причем происходит это в ситуации необходимости составления новых курсов, учебников и программ, чему обыкновенно сопутствует и нехватка кадров, приводящая к увеличению нагрузки – в результате ученые оказываются парализованы в исследовательской работе: «Слишком раннее начало преподаательства в высшем учебном заведении тяжело отозвалось на Ивановском и на его самостоятельной научной работе... Лекции отнимали много времени, иногда у него их было до 13 в неделю, приходилось просматривать много студенческих работ, давать советы и разъяснения вне лекций. Надо было думать и об учебниках»⁷. Ольденбург фиксирует проблему, понимая невозможность ее решения. Он сам благодарный ученик – добрым словом поминающий своих учителей; он все чаще и все обязательней упоминает в своих некрологах учителей тех, о ком он пишет. Он понимает, что так реализуется связь времен, необходимая в профессиональном и академическом сообществе. Но проблема несложившихся научных судеб и непоявившихся научных трудов в научной жизни России есть, и Ольденбург регулярно напоминает об этом.

В организации и функционировании молодой российской гуманитарной науки – много особенностей, связанных с определением ее места среди наук европейских стран. Это проблема не только языковая (для Европы), но и проблема авторитетности текста на русском языке, которая существует внутри самой России. Снова и снова вспоминает Ольденбург трагическую историю Васильева, когда только издание сборника на немецком языке оказалось способно обеспечить вхождение труда в научный оборот⁸.

Наука существует в обширном и беспокойном мире. С началом мировой войны в некрологах появляется новая тема – Ольденбург пытается определить место науки в современной жизни. Точнее, защитить ее право на автономное от злобы дня существование. Во вполне официальной речи памяти Великого князя Константина Константиновича,

⁶ [Ольденбург С.Ф. Памяти Василия Павловича Васильева] // Изв. Имп. АН. 1900. Т. XIII. №2. С. VII.

⁷ *Ольденбург С.Ф.* А.О. Ивановский. (Некролог)... С. 128, 129, 131.

⁸ *Ольденбург С.* Памяти Василия Павловича Васильева // Речь. 1910. 28 апреля (11 мая). № 114. С. 2.

долгие годы возглавлявшего Академию наук, вдруг прорывается что-то очень личное: «Между наукою и жизнью всегда будет известная грань, переступить которую без ущерба для себя не могут ни жизнь, ни наука. Жизнь, пытаясь войти в слишком большое общение с наукою, пытаясь без разбора пользоваться ею для своих практических целей, неминуемо падет жертвой доктринерства; ценнейшее в научном отношении открытие в области физики или химии может непосредственно не дать ничего для техники. И, наоборот, – наука, желая войти целиком в жизнь, чтобы стать к ней в непосредственные отношения, должна неизбежно потерять необходимые для ее существования независимость и объективность, ибо ей придется сделать попытку подчинить свои незыблемые законы постоянно изменяющимся условиям человеческой жизни. Этого забывать нельзя: популяризация знаний необходима, необходимо тесное общение знания и жизни, но надо всегда помнить, что будут и должны быть области знания, недоступные в данную минуту для жизни, – завтра они, быть может, уже обратятся в ее достояние, но тогда на их место явятся другие, которые, в свою очередь, станут доступными жизни только со временем»⁹.

И – почти тогда же: «Та лихорадочная быстрота, с которой живет современный человек, находит себе естественное отражение и в той области человеческой жизни, которое человечество из чувства самосохранения желает поставить, по возможности, в условия, наиболее независимые от повседневности. Ибо ясно, что чем менее чистая наука будет подвергаться временным и случайным влияниям тех или других событий, тем более она сможет служить человечеству. Конечно, странно казалось бы говорить такие слова именно в настоящее время, когда наука вошла, как один из могущественнейших деятелей, в мировую борьбу народов. Но мы настолько верим, что борьба окончится победою тех, кто поднял меч только на защиту права, попираемого силою, что мы убеждены в возможности для науки после войны долго еще, если не навсегда, идти путями, предначертываемыми науке ею самою, а не случайностями жизни»¹⁰.

Дореволюционное время – когда естественный порядок жизни и смерти не нарушен – время существования академического канона поминального текста, усвоение уже существующих правил и адаптация их. Постепенно уточняются представления о том, что требует традиция по-

⁹ *Ольденбург С.Ф. и Кони А.Ф.* Две речи, произнесенные 2 декабря 1915 г. в полугодовой день кончины августейшего президента Академии наук великого князя Константина Константиновича... СПб., 1915. С. 11.

¹⁰ *Ольденбург С.* Памяти Огюста Барта. 22 марта 1834 г. – 15 апреля 1916 г. // Русская мысль. 1916. Кн. VIII. Отд. XVI. С. 11.

минания и как это соотносится с внутренней потребностью высказывания об ушедшем. В своих некрологах Ольденбург пользуется широким кругом источников – помимо работ поминаемого, по возможности, привлекаются дневники, письма, автобиографии; свои и чужие воспоминания. Упомянутые в тексте имена очерчивают круг жизни и памяти, пронизанный определенными связями: вертикальными – учителя и ученики, предшественники и последователи; и горизонтальными – товарищи по науке, сподвижники, соавторы, оппоненты. Имена дают ориентиры того пространства влияния, в котором складывалась научная личность, а также обозначают объекты научного интереса. Эти имена, окликающие друг друга из разных некрологов, объединяют некрологи в общий текст и одновременно демонстрируют единство живых и мертвых. Все оказываются если и не непосредственно знакомы между собой, то как-то связаны друг с другом. Достаточно частое употребление названий, отдельных фраз и даже весьма пространственных цитат на иностранных языках (немецкий, английский, французский, латынь, санскрит) без перевода вполне характеризует круг людей, включенных в разговор.

Содержание некрологов строится в это время по общей схеме; на первый взгляд, это описание жизненного пути в контексте работы, при ближайшем рассмотрении оказывается, что и жизнь, и работа в значительной степени определяются личностью. Личность поминаемого интересует Ольденбурга в первую очередь. Если следовать его логике, в том, как складывается жизнь, внутренние установки не менее важны, чем внешние обстоятельства. То ли в силу близкого знакомства при жизни, то ли в силу признания особой важности момента здесь и сейчас, но эта личностная детерминированность более заметна в «отечественных» некрологах. Работа оказывается тем следом, по которому оставшиеся жить восстанавливают человеческое. «По счастью, всякий человек не только человек, но и работник; и поскольку он работник, работа его и после смерти не умирает, а остается живым делом – жизнью среди смерти»¹¹.

Ориентация на академическую среду приводит к тому, что центральным мотивом для Ольденбурга становятся необыденные отношения с наукой. Это становится обязательной темой¹².

Помимо официальной иерархии, которая легко обозначается через звания и ученые степени, существует сложно организованная нелинейная

¹¹ *Ольденбург С.Ф.* Памяти А.В. Григорьева (1848–1908) (Некролог) // ЖМНП. 1908. Ч. XIII, № 12. Отд. 4. С. 70.

¹² Там же. С. 71; *Ольденбург С.Ф.* В.Ф. Миллер. (Некролог) // Русская мысль. 1913. Кн. XII. Разд. XVI. С. 40; *Ольденбург С.* Памяти Петра Васильевича Никитина // Русская мысль. 1916. Кн. X. Отд. XV. С. 7; *Ольденбург С.* Памяти Калерии Ивановны Григорьевой // Изв. Имп. Рус. Географич. Общества. 1916. Т. LII. С. 649.

и неофициальная структура научного сообщества, место в которой подвижно и относительно, и определяется оно балансом научных заслуг, признаваемого (не обязательно реализованного) таланта и личных взаимоотношений. Ольденбург явно имеет свои представления о значимости каждого ушедшего в научном сообществе и очень взвешенно и точно подбирает определения, обозначая место умершего. Стремление к точному определению места продолжается и на уровне оценки трудов, которая не безусловно комплиментарна, и обязательно учитывает научный и временной контекст создания и функционирования работ. В связи с констатацией неизбежной переоценки научных трудов по мере приращения знаний (а этот динамический процесс все продолжается) встает вопрос о поколениях ученых – представления о такой временной градации начинают формироваться у Ольденбурга. В.П. Васильев – «один из последних представителей старого поколения востоковедов» («Это было поколение, открывшее целый, дотоле неведомый, мир»¹³. «Поколение ученых востоковедов, к которому принадлежал Василий Павлович Васильев, почти уже все сошло в могилу, но память о нем свежа и ярка – это были люди, которые создали востоковедение, которые открыли науке новую, громадную область. Их преемники идут уже другими путями и никогда не будут обладать шириною и разнообразием познаний своих предшественников, их работа идет больше вглубь, чем вширь – для каждого времени нужна своя работа и свои работники»¹⁴).

Заметно, что в молодой науке поколения сменялись стремительно, но непреложно, и зачастую направление работы и результаты ее определялись именно рамками поколения, задававшими границы возможного и невозможного, своевременного и преждевременного, имеющего перспективы и бессмысленного на данный момент. Но такая динамика заключала в себе опасность забывания заслуг отцов-основателей; Ольденбург, оказавшийся в функции жреца научного рода, этого «отрыва от корней» допустить не мог. Встает вопрос не только о том, чтобы эти поколения выделить, но и о том, как обозначить связь между ними. Старшее поколение обречено остаться в своем роде непревзойденным. Потому что наука была другой – это мифическое время науки и соответствующие такому времени титаны. У В.П. Васильева отмечаются «громадные познания, которыми он так поражал всех»; «удивительные сведения в языках и литературах крайнего востока»; «особая оригинальность»¹⁵. У Беглингга – «начитанность его в памятниках санскрит-

¹³ [Ольденбург С.Ф. Памяти Василия Павловича Васильева]. С. VI.

¹⁴ *Ольденбург С.Ф.* Василий Павлович Васильев как исследователь буддизма. С. 70.

¹⁵ [Ольденбург С.Ф. Памяти Василия Павловича Васильева]. С. 66.

ской литературы можно считать прямо поразительной»¹⁶. Про более молодого О. Барта: «Среди индианистов всех стран он занимал совершенно исключительное положение, ибо никто не мог сравниться с ним в обширности глубоких, самостоятельных знаний. При чрезвычайно быстром росте науки, необыкновенно быстро идет и дробление по специальностям, ибо самостоятельно владеть источниками в разных, более широких областях, становится невозможным для отдельного человека. Барт в этом отношении представлял исключение... не было почти области, в которой Барт не имел бы больших самостоятельных знаний, а иметь такие знания значило для него и делать обобщения»¹⁷.

Мир живых и мертвых оказывается весьма и весьма реальным миром, отношения с которым строятся очень динамично и требуют определенной поддержки, как всякая коммуникация.

То, что с революцией распадаются все связи, поначалу, вероятно, было не очевидно. Чтобы это понять, нужно было в этом пожить. И эта жизнь, прежде чем осмыслялась, ощущалась: мир становился трагическим. Он наполнялся смертью. На 1918 год приходится беспрецедентное количество текстов об умерших у Ольденбурга – их девять. И дело не только в том, что стало больше смертей – стало больше мыслей о смерти.

Однако возможно ли было говорить об этом по-прежнему? Опыты такого рода видны в некрологах 1918 года, посвященных иностранным ученым. Можно было попытаться сделать вид, что размеренное течение жизни-смерти, по крайней мере в научном сообществе, продолжается в прежнем режиме. Эти некрологи вполне традиционны и солидны. Сначала читаны на заседании Отделения исторических наук и филологии в Академии, затем – опубликованы в Известиях Российской Академии наук. В них есть все, что полагается согласно уже сформировавшемуся канону: цитаты и ссылки на иностранных языках без перевода, обилие использованных источников, прописанные вертикальные (учителя и ученики) и горизонтальные (соавторы, оппоненты, сторонники) связи, оценки научных заслуг, подтвержденные мнением авторитетных членов сообщества, характеристики научной позиции и методов, описание предмета исследований, фиксация места умершего в смене поколений и в строительстве отношений между Востоком и Западом. Широко используются труды поминаемых, литература о них и личные воспоминания автора о встречах, при этом сохраняется выверенная и корректная дистанция между автором и героем. Отделенность

¹⁶ *Ольденбург С.* Памяти Оттона Николаевич Бетлингга. (Некролог) // ЖМНП. 1904. Ч. LIII. № 5. Отд. 4. С. 42.

¹⁷ *Ольденбург С.* Памяти Огюста Барта... С. 11.

и отдаленность от жизни социальной декларируется: «Простая внешняя биография ученого, без сложных внешних переживаний: жизнь, вся ушедшая в науку, и потому столь богатая содержанием внутренним»¹⁸.

При этом в имплицитной части продолжает обсуждаться ряд как бы по-прежнему насущных вопросов об устройстве науки и научной деятельности. Это обсуждение исходит из внутреннего представления о «нормальной» научной жизни, предположительно общей и для Европы, и для России. Так, в некрологе Гендрику Керну говорится о работах, написанных на голландском и потому оказывающихся маргинальными для науки европейской: «Раньше чем перейти к рассмотрению работ покойного необходимо сделать одно замечание общего характера, к которому, вероятно, присоединятся все, кому приходилось задумываться над вопросами истории науки и подробно и тщательно разбирать значительное число работ ученых с целью выяснить для себя ход мысли и методы работы специалистов. Работа каждого ученого распадается на две определенных части, из которых одна становится немедленно или почти немедленно достоянием мировой, международной науки, другая же часть, вызванная особыми местными национальными условиями работы или местными потребностями остается в более тесной, местной среде и в ее изданиях, часто даже популярных, и не попадает в международный научный обиход. Такое положение дел, несомненно, ненормальное, и является следствием неудовлетворительной организации научных работ вообще, а в особенности по отношению к наукам гуманитарным. В этих работах местного, часто даже популярного характера высказаны мысли, сообщены факты, которые, став вовремя общим достоянием, принесли бы свой плод, двинули бы тот или другой вопрос. Особенно это дает себя чувствовать по отношению к трудам, написанным не на трех наиболее распространенных языках: французском, английском, немецком»¹⁹. Голландская языковая проблема оказывается зеркальна российской, и Ольденбург, как обычно (как прежде!) пользуется случаем, чтобы высказать свою точку зрения на этот вопрос.

Ольденбург считает, что научное сообщество, как и любое другое, должно быть максимально расширено за счет коммуникации между учеными разных стран и взаимной доступности трудов. Однако лучше других он сознает и то, что эта экстенсивная тенденция в современном мире сочетается с усложнением внутренней структуры науки, все больше осознающей себя как социальный институт и одновременно сопротивляющейся нивелировке личности, без которой научная работа невозможна. Научное сообщество укрепляется также многообразием

¹⁸ *Ольденбург С.Ф.* Гендрик Керн. 6 апреля 1833 – 4 июля 1917... С. 1762.

¹⁹ Там же. С. 1762–1763.

его членов, становясь, по мере оформления научной деятельности, все более сложно организованным целым; оно предполагает в себе различные типы ученых и их занятий, и научные заслуги далеко не всегда сводятся к многочисленным печатным трудам. «Создавать большие самостоятельные труды может только ученый, сосредоточивший свою научную деятельность на определенной, сравнительно все-таки узкой области, ибо процесс самостоятельной разработки первоисточников при всяких условиях медленный и берущий чрезвычайно много времени, и потому понятно, что для ученого, разрабатывающего самостоятельно первоисточники во многих и различных областях и привыкшего при этом делать для себя более или менее широкие обобщения, не остается почти времени на писание книг»²⁰.

Многообразие типов и путей является вопросом жизнеспособности и перспективы; Ольденбург, например, ценит в Эдуарде Шаванне не только его научные труды, но и трезвое «понимание необходимости тесного и постоянного сотрудничества различных научных дисциплин, вред для правильного развития науки от крайней индивидуализации отдельных ученых». И полностью солидаризируется с приписываемой тому позицией: «если отдельные мировые гении и могут и даже иногда должны идти своим одиноким путем, чтобы их исключительно драгоценное время не затрачивалось на то, что не нужно непосредственно для их великого творчества, для их гениальных обобщений, то даже для больших ученых такое обособление, такое одиночество только вредно, как для общего развития науки, так и для них самих. Необыкновенный рост науки в XIX столетии сделал совершенно необходимыми организацию и плановость в научной работе, и те дисциплины, которые еще недостаточно восприняли эту, казалось бы, самоочевидную истину, являются уже в настоящее время отсталыми»²¹.

Некрологи иностранным ученым почти герметичны, закрыты от «дыхания времени», но все же, возможно отчасти вопреки воле автора, сохранить полную стерильность не удастся, и если упоминание «наших лихорадочных дней» в некрологе Барта можно отнести к характеристике военного времени, то появившееся определение Шаванна как «павшего жертвой своей преданности науке», в ретроспективе позднейших некрологов выступает связанным с жертвенной типологией смертей, которую незаметно для себя начинает в первые послереволюционные годы разрабатывать Ольденбург.

²⁰ *Ольденбург С.Ф.* Огюст Барт. 28.III.1834 – 15.IV.1916. Некролог // Изв. Рос. АН. 1918. Т. XII. № 2. С. 62.

²¹ *Ольденбург С.Ф.* Эдуард Шаванн. Некролог // Изв. Рос. АН. 1918. Т. XII. № 16. С. 1778.

Попытка представить модель нормальной жизни и смерти и говорить о науке как естественной составляющей текущей жизни в Петрограде 1918 года имеет героические обертона: утопическая цель ее – заклясть время. Ольденбург отлично знал обреченность этой попытки. Ведь ряд послереволюционных некрологов открывался поминанием убитого в больнице революционными матросами Андрея Ивановича Шингарева – одного из лидеров кадетов (Ольденбург в 1917 г. был членом ЦК этой партии). Этот текст одновременно и вписывается в ряд предшествующих ему некрологов, и «выламывается» из этого ряда.

Нарративная часть создается по привычной схеме: жизнь как деятельность. Но необходимый для Ольденбурга переход от внешней жизни к внутренней вызывает смятение: если речь не идет о науке, в каких ситуациях проявляется эта внутренняя жизнь, через какие контексты может быть обозначена? Едва ли не впервые возникает некое ощущение растерянности – о чем и как писать? Обычный способ обозначения личностных ориентиров через ряд имен складывается, скорее, по ассоциации. Не очень внятным образом Ольденбург переходит к идее о связи педагогики и политики – не слишком убедительно и уместно: «Между политиком, в истинном и лучшем значении этого слова, и педагогом есть большая внутренняя связь и сходство: педагог ведет и воспитывает детей и юношество, политик ведет и воспитывает политические партии, народные массы»²². Этот надуманный аргумент позволяет хоть как-то закончить мысль, создать видимость оформленного надгробного слова. «Как в педагогике, так и в политике; здесь мы находим два основных течения, взаимно друг друга исключаящих и вечно между собой борющихся: одно умеет только твердить о правах и молчать об обязанностях, другое, не умалчивая о правах, громко говорит об обязанностях и ставит их в край угла жизни. К чему привело первое Россию мы видим все: малодушие, произвол, насилие – вот плоды этого направления; пусть же скорее вспомнят русские люди об их обязанностях, о которых Андрей Иванович помнил всю жизнь и которые сделали его человеком, сильным духом, сумевшим и жить для родины и умереть за родину»²³.

Этот смятенный некролог открывает новую главу в разговоре об ушедших и с ушедшими. С него начинается расширение круга «своих», достойных поминания; теперь это чувство общности распространяется не только на востоковедов, но и на тех, кого сам Ольденбург называет «культурными работниками». Некрологи, связанные друг с другом, каза-

²² Ольденбург С. Андрей Иванович Шингарев // Вестник Европы. 1918. № 1–4. С. 339.

²³ Там же. С. 339–340.

лось бы, единой функцией (чем до сих пор вполне можно было объяснить общность мотивов), с этого момента начинают представляться единым текстом, который Ольденбург пишет не просто параллельно своей жизни, а как бы поверх нее. В перспективе общего текста ольденбургских некрологов в этот момент герои (умершие, достойные поминания) обозначают новые границы сообщества, с которым автор идентифицирует себя, при этом естественно происходит актуализация иных, нежели прежде, пластов памяти, с чем связано и возникновение новой сквозной темы разговора живых и мертвых – темы России, оснований ее существования и возможностей этого существования в будущем.

Ольденбургу очень сложно найти верный тон разговора на новом уровне: «Как мучительно полна противоречий русская жизнь: величайшее злодейство и величайшее самопожертвование, свободолюбие до полной анархии и рядом грубейшее насилие бессмысленного деспотизма. И противоречия эти на каждом шагу. Не можешь отделаться от этой мысли, когда вспоминаешь жизнь и смерть Шингарева: жизнь, отданная с юных лет на служение народу, на работу для народа, и смерть – от убийц из того же народа! Когда он крикнул убийцам: “братцы, что вы делаете!” – это был мучительный крик души, страдавшей за тех, кто его убивал. Он знал, конечно, что их натравили, что в них разожгли ненависть против тех, кого каждый день на столбцах красной печати клеймили “врагами народа”; и все же он, несомненно, мучительно страдал, видя перед собою убийц из того народа, которому отдал жизнь: они принимали от него все – его мысли, его чувства, его работу без устали и передышки, и наконец – пришли и взяли его жизнь. С той легкостью, с тем зверским спокойствием, с которым они разрушают русскую жизнь, они разбили этот драгоценный сосуд человеческий. Им и в голову не пришел вопрос “зачем?”. Пришли и убили»²⁴.

Здесь трудно не поддаться эмоциям, и Ольденбург, человек обычно политичный и сбалансированный, позволяет себе открытое проявление неприятия происходящего. «И невольно повторяешь за ним его последние слова: “братцы, что вы сделали?” Поймут ли они когда-нибудь, что сделали? Поймут ли это их товарищи, поймут ли те, кто толкнул их на убийство? Боюсь, что не поймут в наши дни злобы и ненависти и тупой нетерпимости, когда даже слово родина огораживается и заменяется словами “социалистическая родина”. Ведь убили не социалиста!»²⁵. Эта эмоциональность не дает скрыть резкого противопоставления «мы» и «они» («мы» – культурные люди, «они» – темный народ): «А сколько еще жизней спас этот деревенский врач, который больной, в больнице поте-

²⁴ Там же. С. 335.

²⁵ Там же. С. 336.

рлял свою жизнь от темной руки народа. Поистине полна противоречий русская жизнь!»²⁶.

Надо отдать должное выдержке Ольденбурга, он все-таки не превращает текст в обличение, – это поминание. Как локальный факт – поминание Шингарева, как делящийся – начало поминания России, той, которой больше нет.

В этот страшный год С.Ольденбург дважды возвращается к памяти В.П. Васильева в связи со столетием ученого. Жизнь меняет память об умершем, что можно увидеть на примере некрологов Васильеву, написанных Ольденбургом в разные годы. Первые два появились в научных журналах непосредственно после смерти ученого, в 1900 г. Спустя десять лет Ольденбург помянул ученого в кадетской газете «Речь». В 1918 г. появились публикации в «Известиях Академии Наук» и в газете «Наш век» (псевдоним кадетской «Речи» после закрытия ее большевиками): «Казалось бы, в наши страшные дни странно писать о столетнем юбилее ученого, работавшего по преимуществу в области, мало кому известной. И юбилеи, конечно, кажутся не на очереди дня, и наука как будто удалена теперь из жизни. И тем не менее я решаюсь писать о юбилее ученого, потому что приведенные возражения, по-моему, глубоко неправильны и нежизненны. Чем больше выявляются отрицательные стороны нашего национального характера, чем более он страдает от сравнения с характером других народов, нас побеждающих в великом мировом состязании наших дней, где мы оказались так слабы, слабовольны и неустойчивы, тем необходимее нам помнить и о положительном, что у нас было, есть и, уверен в этом, будет еще в гораздо большей мере. Для нас поэтому необыкновенно дорога память о каждом крупном, сильном, настоящем человеке, вышедшем из среды несчастного теперь русского народа. – Пусть же, вспоминая своих выдающихся людей, мы укрепимся в создании той силы, которая в нас и которую разруха наших дней не сможет сломать. Не оставим веры в Россию, сильную трудом и творчеством»²⁷. Продолжая все ту же публицистическую тему пророка в Отечестве, Ольденбург акцентирует надежду на будущее – поскольку настоящее, он не устает это повторять, чудовищно.

В этой статье упоминается состоявшееся в тот же день заседание Академии наук, где Ольденбург произнес речь, опубликованную позже как очередное поминание Васильева. От публицистической бодрости, как кажется поначалу, не остается и следа: «Жуткое чувство испытывает тот, кому приходилось заниматься историей науки в России: смелые

²⁶ Там же. С. 336–337.

²⁷ *Ольденбург С. В.П. Васильев // Наш век. 1918. 5 марта (20 февраля). № 40 (64). С. 1, 2.*

начинания, глубокие мысли, редкие таланты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд, все это встречаешь с избытком; и тут же приходится отмечать, как все обрывается: длинные ряды “первых” томов, “первых” выпусков, которые никогда не имели преемников; широкие замыслы, застывшие как-то на полуслове, груды ненапечатанных, полужаконченных рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний. Всего два в сущности с небольшим века этой молодой русской науке, а как длинен ее мартиролог...». Но заканчивается это все неожиданно: «Позвольте мне из всего этого сделать вывод, который я приложу к тому, что мы все так мучительно теперь переживаем и что многих из нас заставляет отчаиваться в будущем нашей несчастной родины: пятьдесят лет, точно под спудом, точно в забвении, лежали мысли Васильева, но в то же время где-то в глубине сознания текли незримые ручьи этих мыслей, пока не пробилась, наконец, наружу, и не забила чистым и сильным ключом; то, что было тогда беглою мыслью, наброском, теперь возродилось со всей широтою и глубиною нового построения. Так, хочется верить, будет и с русскою жизнью: как мысли Васильева не погибли и возродились еще ярче, еще глубже, так будет и со всем хорошим и настоящим, что лежит теперь, увы, скрытое еще от нас, в сердце России»²⁸. Очень хочется, чтобы жизнь победила смерть. Заклинательная интенция последней речи явственно выступает наружу. Это последняя надежда в мире, где надежды почти не осталось. Движущей силой и, одновременно, мыслью, на которой держится повествование, в текстах о Васильеве 1918 года оказывается мысль о России.

Одновременно с расширением контекста, в котором теперь происходит поминание – от устройства научной жизни до жизни и судьбы всей России – разрастается и круг лиц, обозначающих это пространство. Даже в подчеркнуто академическом некрологе иранисту В.А. Жуковскому (со всеми необходимыми формульными признаками, как это было в некрологах иностранным ученым) появляются неожиданные имена – Ломоносов, Третьяковский, Фонвизин, Державин, Богданович, Мерзляков. Ломоносов появляется и в некрологе Васильеву. Таким образом, в круг «культурных работников» включаются не только недавно умершие, но и те, кто «за ними», кто определяет это культурное поле в целом – от Ломоносова до Пирогова. В некрологе Жуковскому трагизм современной ситуации, заданный больше интонацией первых строк и не удостоенный конкретных деталей, оказывается фоном повествования. «Несомненно, что причиной его безвременной кончины было то грубое, ничем не оп-

²⁸ *Ольденбург С.Ф.* Памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах по буддизму. 1818–1918 // Изв. Рос. АН. 1918. Т. XII. № 7. С. 531, 544.

равдываемое насилие, которому заслуженный ученый подвергся за отказ признать законность произвола. Его отказ был простой и скромный, он поступил, как поступал всегда: не тратя лишних слов, он ушел, вернулся к работе, и с радостью принялся за прерванные труды. Но сердце, непомерно напряженное, как то бывает у людей замкнутых и молчаливых, переживающих самое тяжелое и трудное внутри себя не выдержало, и работа его вновь прервалась – теперь уже навсегда»²⁹.

Образ Жуковского конструируется в постоянном сопоставлении с неким собирательным образом русского ученого, который, видимо, к этому времени для Ольденбурга достаточно ясен. Личностные особенности работы могут в значительной степени нивелироваться общими для всех русских ученых условиями. Собирательному образу русских ученых соответствует общий образ русской науки – как черной дыры. При всей своей внутренней организованности Жуковский не смог избежать обычной истории: «Не без горечи приходится здесь отметить, что “Материалы” постигла та же судьба, какая постигла и постигает столько важных научных начинаний и работ в России: в то время, как ученые на западе, благодаря более культурному общему уровню, имеют возможность всецело отдаваться научному труду, в России к ученым, хоть сколько-нибудь отзывчивым к нуждам общей культуры, предъявляется столько требований, что ученая работа их постоянно прерывается, не говоря уже о том, что и обеспечение науки и научных работников в России зависит и зависело от ряда случайностей и в значительной степени от произвола власть имущих, ибо сознание важности и необходимости науки как основы всякой культуры, ясно в России, увы, весьма еще немногим»³⁰. Внутренняя жизнь оказывается сильно связана, точнее даже, ограничена жизнью внешней. И не только жизнью. «Сперва жизнь, а потом и смерть не дали ему возможности кончить эту работу»³¹.

Тяга к обобщениям – в попытке создать некую универсальную объяснительную конструкцию происходящего – становится еще более явной в газетных некрологах, где на весьма ограниченной площади надо успеть сказать главное. Сказать, обращаясь к широкой публике, которую на данный момент не только вопросы науки, но и вопросы культуры не очень-то интересуют. Печатаая в «Нашем веке» некролог Ф.К. Волкову, Ольденбург замечает: «Ученые учреждения, научная печать сохранят память о его научной работе, отметят место, которое занимают в науке его труды, но широким кругам России надо знать, что в тягчайшую годи-

²⁹ *Ольденбург С.Ф.* Валентин Алексеевич Жуковский. 1858–1918. Попытка характеристики деятельности ученого // Изв. Рос. АН. 1918. Т. XII. № 18. С. 2039.

³⁰ Там же. С. 2043.

³¹ Там же. С. 2067.

ну народной разрухи они потеряли человека, который своим научным авторитетом, широтою своего научного кругозора имел именно теперь особенное значение для дела культурного, а значит, и государственного единения двух частей России, искусными руками врагов искусственно разделенных, Великороссии и Украины»³².

Заданный газетной публикацией формат заставляет концентрировать и, одновременно, упрощать мысль. В результате заметным оказывается мотив строительства жизни и появляется народ (народы) как отдельный (и несимпатичный) персонаж. Описывается идеальное пространство «единства российской культуры»: «Эти российские работы (речь идет об этнографических программах Российской Академии наук – С.Е.), одинаково нужны и Великороссии и Украине и многочисленным частям единой, великой, культурной России, которая есть и будет, на благо народам, ее составляющим, и на благо всему человечеству». У этого «народа» есть страшное лицо – «господствующая масса»: «С горечью прибавлю, что и он, как многие уже представители русской науки и культуры, пал, несомненно, жертвою той безумной, слепой политики презрения к умственному труду и его работникам, которая столь ярко отличает господствующую ныне массу; Ф.К. уезжал, истощенный голодовкой петроградского интеллигента, и ослабевший организм не справился с болезнью. За короткий промежуток времени мы благодаря той же причине потеряли Жуковского, Веселовского, Радлова, Лемма, чтобы назвать только несколько крупных имен, а сколько других культурных работников, их же имена, Ты, Господи, веши, пало от зачисления в “малоценные” категории. Со старой беспечностью и преступным легкомыслием расточает русский народ, беднейший в мире накопленными богатствами, свое скудное состояние; когда же он поймет, что человеческие жизни, жизни тех немногих культурных работников, которыми он еще обладает, составляют его драгоценнейшее состояние, ибо в них народ воплощает свою творческую силу!»³³. Хаосу социальной жизни, в которой существует народ, противопоставлен упорядоченный мир науки, в центре которого личность.

Вне зависимости от места публикации все чаще в 1918 г. возникает мотив трагической смерти: А.И. Шингарев, «сумевший и жить для родины и умереть за родину» принял смерть «чудовищно-бессмысленную»; причиной «безвременной кончины» В.А. Жуковского называется «грубое, ничем не оправданное насилие, которому заслуженный ученый подвергся за отказ признать законность произвола»; В.В. Радлов «умер, не-

³² *Ольденбург С.* Памяти Федора Кондратьевича Волкова // Наш век. 1918. 18 (5) июля. № 120 (144). С. 2.

³³ Там же.

сомненно, жертвою войны и страшных переживаний последнего года»; Ф.К. Волков, «как многие уже представители русской науки и культуры, пал, несомненно, жертвою той безумной, слепой политики презрения к умственному труду и его работникам, которая столь ярко отличает господствующую ныне массу».

Прежде неясная роль некрологов как части работы по «прошиванию» сообщества, собиранию его именно в этих точках поминания, становится очевидной. Все чаще встречаются сетования на отсутствие учеников у русских ученых – и попытка объяснить, оправдать это в каждом конкретном случае³⁴. Редкие удачи на этом пути отмечаются особо: «Осиротелыми он оставляет своих учеников, которые свято чтут память своего учителя: Ф.К. сумел сделать в университете то, что, в общем, так редко у нас, крайних индивидуалистов – он создал школу, пока еще небольшую, – преподавал он недолго – но вполне определенную и уже проявившую себя в научной работе»³⁵. Ольденбург ищет (и находит) в последнем некрологе Васильеву и местную форму связи поколений в русской науке: помимо связи «учитель-ученик» – духовное родство.

Рассуждения о специфике русской науки, прежде встречавшиеся лишь время от времени, теперь появляются все чаще, а мысли о России, ее настоящем и будущем, до этого практически не встречавшиеся вовсе, с 1918 г. присутствуют едва ли не в каждом некрологе. Ощущение полного расплзания социальной ткани в 1918 г. заставляет попытаться как-то вмешаться в этот процесс уничтожения жизни. Попытка осмыслить, описать существующую ситуацию и противостоять ей – вопрос гражданской ответственности, которую Ольденбург никогда не декларировал, но всегда исповедовал.

Ольденбург, казалось бы, не ищет способа смягчить свои впечатления от происходящего: «в наши дни злобы и ненависти и тупой нетерпимости, когда даже слово родина огораживается и заменяется словами “социалистическая родина”», «в наши страшные дни», в «тягчайшую годину народной разрухи» он обозначает «малодушие, произвол, насилие» как определяющие черты современной жизни, много говорит об «отрицательных сторонах нашего национального характера». Но за этим просвечивает реальная боль того, что «мы все так мучительно теперь переживаем и что многих из нас заставляет отчаиваться в будущем нашей несчастной родины», и он не оставляет надежды, что в конце концов русский народ «поймет, что человеческие жизни, жизни тех немногих культурных работников, которыми он еще

³⁴ *Ольденбург С.Ф.* Памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах по буддизму... С. 538.

³⁵ *Ольденбург С.* Памяти Федора Кондратьевича Волкова. С. 2.

обладает, составляют его драгоценнейшее состояние, ибо в них народ воплощает свою творческую силу!»).

Порой изменившиеся внешние обстоятельства заставляют заметить то, что в течение нормальной жизни остается подразумеваемым, естественным и неотрефлексированным. Например, в скором времени после революции меняется номенклатура печатной продукции – и это, казалось бы, чисто внешнее, почти техническое изменение ситуации, вдруг проявляет существенные черты рутинной практики. Срабатывает эффект острашения. Существовавшие академические издания практически перестают выходить. Зато появляются новые журналы, ориентированные на более широкую интеллигентную аудиторию. Смену «площадок», на которых выступает с некрологами Ольденбург в 1920–23 гг., вполне можно отнести по ведомству разрухи и типографского кризиса в стране. Но, даже сделав подобное допущение, нужно отметить, что в условиях этих самых разрухи и кризиса Ольденбург изыскивал любую возможность, чтобы отдать дань памяти ушедшим. То есть эта внутренняя потребность находила те или иные пути реализации. Причем некоторые «площадки» Ольденбург не просто использует, а принимает участие в их создании. Остаться (точнее, оставить) сообщество без средств коммуникации – для него немислимо, невозможно. Собственно все издания, с которыми он сотрудничает в эти годы, прямо или косвенно связаны с Академией.

«Русский исторический журнал», вышедший в 1917–1921 гг. (всего 8 книг), уже с 1918 г. издавался Академией наук. Журнал всеобщей истории «Анналы» – также издание РАН (за время существования в 1922–1924 гг. вышло 4 номера), его редакторы – академик Ф.И. Успенский и член-корреспондент АН Е.В. Тарле. Журнал «Мысль», просуществовавший недолгое время (3 номера в 1922 г.), издавало возрожденное Санкт-Петербургское философское общество. Редакторами журнала были член-корреспондент АН Э.А. Радлов и профессор Петербургского университета Н.О. Лосский. С иными изданиями С.Ф. Ольденбург связан еще более непосредственно. Так, в «журнале истории литературы и истории общественности» «Начала», вышедшем с 1921 г. и провозгласившем своей программой соединение научности с «необходимой особенно в настоящее время общедоступностью», он был одним из 4 членов редколлегии, и здесь в 1921–1922 гг. появились три его некролога.

Особая история – журнал «Наука и ее работники», 12 номеров которого вышли в 1920–1922 гг., где Ольденбург снова значится одним из четырех членов редколлегии. Издателем журнала была комиссия по улучшению быта ученых в Петрограде, и статья «От редакции» определяла новый печатный орган как «голос всей ученой корпорации», который знакомит «широкие массы с ходом научной работы в стране и дея-

тельностью ученых», т.е. функция журнала, как ее понимали ученые, должна была быть объединяющей. Журнал был призван собрать российскую научную интеллигенцию, для чего редакция просила снабжать ее «сообщениями о жизни и деятельности научных учреждений и отдельных работников науки, об умерших ученых, о выпущенных в свет, печатающихся и готовящихся научных изданиях»³⁶.

Такой процесс собирания не мог обойтись без момента поминовения. В № 3 журнала в отделе “Personalia” сообщалось о 178 деятелях науки и культуры, скончавшихся в течение 1918–21 гг.³⁷ Этому предпосылалось краткое предисловие: «В виду случайного характера информации об умерших за последние три года, печатаемый ныне список скончавшихся научных деятелей далеко не полон. Редакция тем не менее решает его опубликовать, считаясь с настоятельной необходимостью подвести итоги потерь среди тружеников науки, между которыми мы встречаем немало имен выдающихся ученых мирового значения. Редакция просит читателей сообщать ей, для помещения в следующих №№ журнала о всех случаях смерти людей науки, не упомянутых в списке, с указанием, по возможности подробно, – фамилии, имени, отчества, звания, должности, мест службы, специальности, года рождения, точной даты и причин смерти, а также краткого некролога и списка трудов, напечатанных и подготовленных к печати»³⁸. Таким образом, в этой инструкции по необходимости фиксируется структура научной идентичности и принадлежности к сообществу. Утопическому плану воплотиться было не суждено – продолжения списка, забегая вперед, не последовало.

Сама публикация, предполагавшаяся как начало большой работы, неоднородна и фрагментарна. Иногда позиция в списке – только фамилия с инициалами и годы рождения и смерти. Там, где подробности есть, их сообщают:

«Армашевский П., профессор. Минералогии Киевск. Унив. Расстрелян в Киеве в 1919 г.»;

«Артамонов, Николай Дмитриевич, работал по вопросам топографической съемки России. Скончался от полного истощения, последние месяцы имел единственным приютом временное помещение в Географическом Обществе, деятельным работником и членом Совета которого состоял несколько десятилетий. Ум. в 1918»;

«Безобразов, Павел Владимирович, историк, был ранее профессором. Известен рядом работ гл. образом по Византии. Работал в ряде ко-

³⁶ От редакции // Наука и ее работники. 1921. №1. С. 2.

³⁷ Скончавшиеся в течение последних трех лет (1918–1921) // Наука и ее работники. 1921. №3. С. 34–38.

³⁸ Там же. С. 34.

миссий. Скончался в крайней нужде от истощения. Жена его – дочь историка Соловьева и сестра философа, скончалась от той же причины. Ум. 1919 г.»;

«Вартанов, Вартан Иванович. Д-р мед., проф. Военно-Медицинской Академии, известн. физиолог. Убит бандитами в 1919 г., в Петрогр.»;

«Вильев, Михаил Анатольевич, молодой талантливый астроном, имевший уже около ста работ; исключительные способности, высоко оцененные специалистами, обещали дать в нем ученого первой величины. Он скончался, простудившись на окопных работах, в ужасной обстановке – больной отец, больная сестра и умалишенная мать. Его смерть одна из глубоких современных трагедий жизни и смерти русского ученого. Ум. 1919 г.».

Место публикации ориентирует на определенную аудиторию. Аудитория эта в послереволюционные годы – культурная публика, образованное общество, гораздо более широкое, чем академическая среда. Аудитория читателей некрологов Ольденбурга расширяется, как и среда тех, кому посвящены некрологи в эти годы. В результате всех изменений не только меняется формат, но и распадается канон. При этом сохраняется ощущение важности работы поминания – связывания времен и социальной ткани.

Сильно разрастается круг героев и упоминаемых имен – и, следовательно, утверждаемых ими ценностей. Мало того: внутренние связи пространства значимых имен выстраивается по-другому. Это не только учителя и ученики (хотя для персонажей, связанных с наукой, это почти обязательно). Фиксируются новые важные отношения, например, семейные. Так, в некрологе Шахматову появляется его тесть Градовский (он важная в общественном смысле фигура, известный профессор права и публицист, но определяется он именно через степень родства) и одна из дочерей, записавших воспоминания. С одной стороны, связь ученик-учитель представляется теперь подчеркнуто эмоционально – так говорят обычно о родных и очень близких людях. С другой стороны, демонстрируется многообразие возможностей научных связей – по работе и по долгу. Все это определяет проблему иного способа разговора о главном.

Отказ от наукоцентризма, расширение круга «своих» (и в смысле – о ком, и в смысле – для кого) ставит вопрос не столько смены языка, сколько поиска новой общей парадигмы и большой темы, одинаково значимой для всех героев, общего контекста, в котором они смогут естественно сосуществовать. Такой контекст теперь – не наука, а настоящее и будущее России. На фоне несчастья и убогости России надежду на будущее, да и на само существование дает жизнь отдельных людей, этой убогости не подчиняющихся. О них и призывает помнить Ольденбург. Мо-

тив ценности личности становится практически обязательным: «Русская жизнь, богатая начинаниями, мечтами и требованиями, но бедная людьми, требует от каждого сознательного русского человека чрезвычайно много и потому жизнь каждого из них так сложна»³⁹. Само проживание такой жизни – задача почти невозможная, но в своей обреченности необходимая, не раз вызывающая в памяти Ольденбурга образ рыцарского – бескорыстного и безнадежного – служения. Шахматов для него – «рыцарь духа и мысли». И только в таких людях для Ольденбурга и воплощается надежда на будущее. «И казалось, что если бы Россия, которая рождает таких сынов, поняла, осознала, как велика может быть сила этих русских людей, то она спасена и пути ее станут путями светлыми и благими. И верится, что будет так, и что грядущие поколения настоящих, сильных, рабочих русских людей в те светлые будущие дни новой России вспомнят с любовью и благодарностью о большом настоящем русском ученом и работнике Алексее Александровиче Шахматове»⁴⁰.

Такие люди существуют часто вопреки времени и тем условиям, которое оно предоставляет, точнее, они умеют противостоять хаосу в своей последовательной созидательной работе⁴¹. Эта их способность позволяет не подчеркивать, а даже приглушить тему анахронизма подобных людей. Людей с определенными качествами – ответственностью, чувством долга, добросовестностью, порой доходящей до перфекционизма. В связи с темой России продолжает звучать и тема смерти как жертвы, которая становится обязательной частью наиболее патетических высказываний.

О Лаппо-Данилевском: «Как ты, не взирая ни на что, мы будем продолжать твою – нашу работу, и я уверен, что тогда и те, кто теперь сомневается, поймут, наконец, какой великий искус выдерживали и выдерживают русская наука и русский ученый, поймут и начнут уважать и ценить их, и не будет тогда тех ненужных, бессмысленных жертв темноты и невежества, жертв лучшими жизнями страны, тех жертв, одной из которых явился ты. В великие светлые дни русского будущего память об Александре Сергеевича Лаппо-Данилевском будет светлой памятью об истинном русском ученом»⁴².

О Шахматове: «Далеко за пределами России чтится его ученое имя, которое громко говорит миру о том, чего может достичь Россия, когда она работает так, как работал всю жизнь до безвременной кончины своей

³⁹ *Ольденбург С.Ф.* Алексей Александрович Шахматов как человек и деятель // Изв. Отд. рус. языка и словесности РАН. 1920. Т. 25. С. 71.

⁴⁰ Там же. С. 74.

⁴¹ *Ольденбург С.* Работа Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского в Академии Наук // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 173, 177.

⁴² Там же. С. 180.

Шахматов. Он умер потому, что мы не сумели сберечь этой драгоценной жизни среди нашей разрухи; постараемся же по крайней мере работой нашей заслужить право сказать, что мы свято чтим его память»⁴³.

Об О.О. Розенберге: «Жестокая судьба, которая не раз уже наносила жесточайшие удары русской науке, не пощадила ее и на этот раз. В самом разгаре работы, которую молодой ученый вел геройски в тягчайших условиях холода, голода, непосильного физического труда, оборвалась эта драгоценная жизнь и, мало того, даже его рукописи и книги не были пощажены: с величайшими усилиями удалось спасти лишь разгромленные остатки этого драгоценнейшего научного достояния, и многое из того, что можно было бы окончить из начатых им работ, погибло теперь навсегда жертвою нашей дикости и темноты. Поистине, не умеем мы хранить драгоценнейшее из того, что сами же создаем, создаем часто только, чтобы сейчас же бессмысленно разрушить»⁴⁴.

Уровень смятения в этих построениях очевиден. Общей конструкции ценностей больше нет. Каждый раз приходится начинать заново. И существовать в пространстве между памятью о человеке и насущной жизнью, с которой, как правило, ушедший оказывается несовместим, во всяком случае – чужд ей. Мысли о жизни, смерти и России развиваются, продолжаясь, от некролога к некрологу: это бесконечный и последовательный, связный диалог, в котором Ольденбург пытается сформулировать что-то важное для себя.

О ком пишет Ольденбург, от чьего лица говорит, например, в такой момент? «Нужно ясное сознание того, что без организации наука, уже дошедшая до той степени развития, до какой она дошла, не может успешно развиваться, ибо сознание это налагает очень большие тяготы на ученого, особенно на того, кто чувствует себя призванным к организаторской деятельности; ведь это значит в большой мере отказ от личной работы в том виде, в каком это хочется делать каждому ученому; это значит постоянное откладывание обнародования своих работ и выдвигание на их место чужих работ, по определенному, строго продуманному плану. Здесь часто встречается непонимание, даже в самой научной среде, где, к сожалению, далеко еще не господствует представление о необходимости организации научной работы, где напротив того господствует утрированный индивидуализм и часто даже моды и случайности. Понимание личности ученого и необходимости оберегать ценный индивидуальный элемент научной работы, без которого она

⁴³ *Ольденбург С. Алексей Александрович Шахматов (1864–1920). Некролог // Наука и ее работники. 1921. №2. С.36.*

⁴⁴ *Ольденбург С. Памяти О.О. Розенберга. 1888–1920 // Мысль. 1922. Кн. I. С. 158.*

лишена истинного, действенного творчества, у нас пока очень узкое и идет резко против тех организаторских начинаний, которые потому так еще слабы, особенно у нас в науках гуманитарных»⁴⁵. Эта преамбула к последовавшему описанию конкретных мероприятий Академии, связанных с деятельностью Лаппо-Данилевского, имеет своей целью объяснить условия самого существования науки на современном этапе, невозможной вне социального (за этим просвечивает и тревога по поводу изменения этого самого социального).

Наука ощущается Ольденбургом как единый организм, функционирующий по определенным правилам. Одно из правил (для Ольденбурга чрезвычайно важное) – постоянная актуализация связей с прошлым, учет того, что уже наработано, например, через грамотное освоение наследия умерших⁴⁶. Уважение к работе других, понимание взаимосвязанности и преемственности работы ученых – ныне живущих и уже ушедших – зона особого внимания Ольденбурга и одна из болевых точек русской науки. Так, в некрологе А.С. Лаппо-Данилевскому помимо ясно выраженной мысли о некоторых печальных особенностях существования российской науки, важно не проговариваемое, но подразумеваемое сопоставление времен (то, что «и раньше» было плохо, предполагает, что необозначенное «сейчас» еще хуже, и скептицизм по поводу изменения ситуации принимает вполне выраженный смысл обличения происходящего).

Несколько лет некрологи Ольденбурга не появляются. Вряд ли дело было в том, что печальных поводов не было. Скорее, не было понимания того, что происходит с прошлым и как о нем можно и должно говорить. Становится понятно, что большевики – это всерьез и надолго. Наступает время, когда задаваемые извне рамки существования обладают такой принудительной силой, что личности трудно противостоять им – во всяком случае, в публично совершаемых жестах (несмотря на голод, смерть и разруху в эпоху гражданской войны сохранялась иллюзия значительности внутренней жизни).

Вторая половина 1920-х гг. – время очень сложное для Академии. То, что в борьбе за сохранение автономии Академии много лет казалось успехом, теперь оборачивалось поражением. Выбранный и реализованный Ольденбургом путь сотрудничества с советской властью изначально не был ни конформистским, ни пораженческим. Казалось, это был выбор тактики в тот момент, когда новые условия существования ставили под вопрос неколебимость внутренней свободы. Теперь, во второй половине 1920-х, власти работали над тем, чтобы включить на-

⁴⁵ *Ольденбург С.* Работа Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского... С. 165.

⁴⁶ Там же. С. 167–168.

учное сообщество в государственную структуру, для чего использовались разные методы – и организационные, и экономические, и идеологические. Последние сами по себе в ученом сообществе работали плохо. Тогда ученых стали не просто воспитывать, но и наказывать. Хотя для начала – просто устрашали, например, высылкой из страны. «Этой акцией оставшиеся “предупреждались”, что лишь принадлежность к сторонникам материализма позволит продолжать научные исследования. Такое сужение диапазона неизбежно накладывало ограничение на интеллектуальную жизнь, вмешиваясь в тонкие механизмы этикомировозрительской мотивации научного творчества»⁴⁷.

По поводу отчаянного положения в русской науке Ольденбург писал 12 февраля 1922 года. А.В. Луначарскому: «...мы под давлением экономической разрухи и голода создаем невозможное существование для научной работы в России. Нечего говорить о потрясающем числе погибших ученых из той горсти, которая и ранее с громадным напряжением старалась справиться с обширными задачами, перед ней лежавшими. Лаборатории во всех отраслях знания не могут работать, потому что нет топлива, газа, электричества, приборов, реактивов. <...> Но мало и этого: падение науки у нас теперь означает уничтожение той преемственности в работе, без которой наука жить не может. <...> Но мало даже и этого: ослабление возможности научной работы за последние годы, особенно почти полное прекращение печатания, непосильное бремя занятий, легшее на большинство ученых, физические силы которых, подточенные лишениями, долгое отсутствие прежнего общения с Западом, от которого сохранились лишь случайные сношения отдельных ученых, все это вместе привело к ослаблению производительности ученых, к ослаблению анализирующих и синтезирующих способностей. В этом со страхом и горечью убеждаешься, слушая доклады и читая статьи людей, которые всего еще несколько лет тому назад были в полном расцвете творчества, а теперь представляют лишь бледную слабую тень прошлого. Это явление необыкновенно грозное, ибо это верный признак погибания уже не только физического русских ученых, а значит и русской науки»⁴⁸.

30 августа – 1 сентября 1922 г. Ольденбург посылает письмо Горькому, призывая его вернуться в Россию и как-то повлиять на ситуацию. «Конечно, и наука и искусство вечны, и никакое непонимание их значе-

⁴⁷ Колчинский Э.И. Советизация науки в годы НЭПа (1922–1927): послереволюционный кризис и поиск форм сотрудничества // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки / Ред.-сост. Э.И. Колчинский. СПб., 2003. С. 455.

⁴⁸ «Молчать более нельзя...» (Из эпистолярного наследия академика С.Ф. Ольденбурга) / Публ. и прим. М.Ю. Сорокиной // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3. С. 112.

ния для человека не остановит никогда и нигде их развития. Но и наука, и искусство имеют своими носителями и служителями людей, а люди гибнут. Сперва прошла громадная волна смерти, частью и убийств, но больше смерти от болезни и истощения, потом волна эмиграции и бегства за границу, теперь волна высылков и ссылок. Тех, кто, не покладая рук, работают и будут работать несмотря ни на что после этих трех волн, остается все меньше и меньше, и силы их начинают сдавать. То, что я пишу, не жалоба, а только установление факта, с которым надо считаться. При современном отношении власти в России к людям науки и культуры вообще, русская культура поставлена, временно конечно, на край гибели»⁴⁹. Это письмо – жест отчаяния – Ольденбург отказывается видеть, что положение самого Горького, который именно из-за того, что пытался заступиться за российскую интеллигенцию, получил резкую отповедь в «Правде» 18 июля 1922 года, было весьма неустойчивым.

Но это было в 1922 г. Через несколько лет подобные выступления стали не только бессмысленны, но и невозможны. В комментариях к одной из публикаций уже постсоветского времени приводится выдержка из дневника человека, близко знавшего и наблюдавшего Ольденбурга в эти годы (инициал К. публикаторами не раскрывается) и дающего оценку личности и деятельности Сергея Федоровича: «Идеализм и скрытое себялюбие; способность к самопожертвованию и честолюбие; уважение к свободе мысли и нетерпимость к внутренне свободной личности; скромность в сочетании с требованием пиетета к себе; сердечная доброжелательность ко всему молодому, свежему, трудящемуся, верующему; оптимизм действительный, внутренний, и рядом – официальный, внешний, вопреки всему; легкая внушаемость и возбудимость; искренность и “себе на уме”; легкое подыгрывание к сильным мира; прямота врожденная и недостаток гражданского мужества, истекающий из физической трусости; и в основе всей личности – черта, ярко бросающаяся в глаза, покрывающая собою все остальное и становящаяся огромной силой не только сама в себе, но и в действии на других; это – вечная деятельность, вечное кипение, громадная, почти сверхчеловеческая энергия. Таков человек, спасший и до сих пор спасающий Академию и науку в России. Я представляю себе, какое впечатление может производить этот неунывающий, маленький, тщедушный комочек энергии на всех идейных и честных большевиков, с которыми он имеет теперь постоянно дело, и каким бесконечно отрадным явлением должен он им казаться на сером фоне прославленной российской интеллигенции и в частности – русских ученых. Есть, конечно, не менее достойные его и, может быть, во многом

⁴⁹ Там же. С. 113.

и более почтенные, как русские интеллигенты, так и русские ученые; но они сидят у себя и втихомолку трудятся – тоже не для себя, но для своей науки, для будущего своей, не менее горячо любимой родины; его же – вулканические извержения его энергии вынесли на поверхность клоко-чущего океана революции, и он, волнуясь вместе с его волнами, все же является тем плотным, тяжелым слоем масла, которое успокаивает волнение океана, хотя бы в той лишь его части, в которой оно разлито. Перед большевиками ему даже не надо особенно лукавить и много подыгрывать: его внутренняя потребность деятельности, заставляющая его кидаться во всякое дело, которое ему подворачивается, и принимать всякие просьбы и предложения об участии в чем-нибудь, с которыми к нему обращаются власти, создает к нему то, по-видимому, доверчивое и благожелательное отношение правителей, благодаря которому ему удается охранять Академию и вести ее насколько возможно вперед в ее естественных задачах и требованиях»⁵⁰.

Некий простор для маневра все же до середины 1920-х годов оставался. Подчинение научных учреждений было разноместным. С одной стороны, это расширяло финансирование, с другой, не давало власти возможности тотального контроля. Грандиозное празднование 200-летия Академии наук в 1925 г. изменило ситуацию. Академия сама инициировала выход из-под ведомственного контроля Наркомпроса и переход на уровень непосредственного подчинения Совнаркому, но в дополнение к желаемому статусу получила и новое имя «Академия Наук СССР». Была создана правительственная комиссия для подготовки к юбилею, а помпезная церемония должна была продемонстрировать всему миру (на уровне правительства было принято решение о приглашении ученых других стран) единство власти и науки в советской России. Дело не ограничилось торжественными мероприятиями. Не прошло и двух месяцев после празднования, как в конце октября 1925 года СНК назначил «комиссию по связи и наблюдению за работой Академии Наук». Началась работа по подготовке нового Устава Академии, который Политбюро утвердило в мае 1927 года. Академия стала одним из советских ведомств, а все основные вопросы, связанные с ее жизнью, решались ЦК партии. Одновременно началась разоблачительно-поучительная кампания в печати – первая статья под названием «Академический кочег» появилась в «Ленинградской правде» в том же мае 1927 года, серия материалов публикуется и в 1928 г. Опровержения, подготовленные Академией, не печатаются. К концу 1928 года изменение ситуации было

⁵⁰ Два эпизода из жизни литературных организаций / Публ. Н. Крамера // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 1. М.: «Прогресс»: «Феникс». 1990. С. 329–330.

официально зафиксировано Ольденбургом в годовом отчете о работе Академии: «Ольденбург жаловался, что на Академию обращено “весьма большое и очень часто... мало доброжелательное внимание”»⁵¹.

Для того чтобы существовать в этих рамках, нужно было как-то соответствовать им. Это вопрос не только действий во внешнем мире, но и внутренних изменений – «подстройки» под принимаемую окружающую действительность. Процесс этот в значительной степени не осознанный, но последовательный; он проявляется не в декларациях, а в оговорках, которые более вероятны в периферийной деятельности, когда человек по тем или иным причинам ослабляет контроль над собой. Таким полем деятельности и являются некрологи, вне воли автора фиксирующие изменения, с самим автором происходящие.

Некрологи, написанные после 1926 г., на фоне прежней практики производят тягостное впечатление, в них исчезает то скрытое, «подводное» течение мысли и чувства, которое вписывало их в жизненный текст сложного человека, которое свидетельствовало о связи между живыми и мертвыми, об ответственности и обязательности этой связи. Ольденбург по-прежнему ведет бесконечный разговор с самим собой о выборе пути в науке, тема это неизбывная, но акцент аргументации теперь смещается. Дело теперь вовсе не в понимании того, что современная наука представляет собой сложное интеллектуальное и социальное целое, требующее специальных усилий для своего успешного функционирования. Дело теперь не в организации сложной структуры научного взаимодействия и внутри самого сообщества, и вне его – с обществом и государством, в том числе и в качестве источника финансирования. Дело – в выстраивании отношений с властью. Об этом – в некрологах. «Он принял выбор, и мы вправе сказать, что трудно представить себе лучшего вице-президента Академии, чем В.А. Превосходный администратор, человек большой воли, крупнейший ученый, он сразу приобрел нужный авторитет в высших правительственных кругах»⁵². Все описание жизненного пути происходит в рамках противопоставления «старой» и «новой» жизни⁵³. Ужас первых послереволюционных лет, когда Ольденбург наблюдал и констатировал, как Россия уничтожает собственную культуру, как жертвами новой власти и новой жизни становятся ненужные ей ученые и литераторы, не то чтобы забыт – он просто затёрт.

Лгать перед мертвыми по-прежнему невозможно – это культурный запрет, который для Ольденбурга остается значимым. Он пытается

⁵¹ Колчинский Э.И. Советизация науки... С. 508.

⁵² Ольденбург С.Ф. Владимир Андреевич Стеклов // Научный работник. 1926. № 5–6. С. 128.

⁵³ Там же. С. 128.

найти возможность говорить об умерших «старой формации», не отменяя всю их прежнюю жизнь, но как-то соотнося фрагменты ее с жизнью новой, беря из прежней жизни то, что может пригодиться теперь. Ольденбург, например, может вписывать своего героя в революционное время: «Глубокое понимание происходившего позволило Кони встретить революцию так, как ее встретили лишь немногие из людей его возраста. Не все он в ней признавал хорошим, не со всем соглашался, но принял ее и работал на нее, в глубоком сознании, что его культурная работа теперь нужна еще больше, чем когда-либо»⁵⁴.

Когда-то действовавшие рефлексивные механизмы во второй половине 1920-х гг. отключились; связь между живыми и мертвыми, свидетельствующая собой непрерывность традиции, стала ненадежной – ей приходилось создавать алиби, подчеркивая ее несуществующую прочность; распавшиеся звенья цепи времен не столько скреплялись, сколько складывались рядом: если не проверять на прочность, на первый взгляд эта цепь казалась целой. Некрологи 1927–28 гг. особого интереса не представляют. Они формальны – не в том смысле, что Ольденбург вынужден был написать их в силу каких-то внешних обстоятельств, а в том, что не порождают собственной, индивидуальной, единственной возможной в каждом конкретном случае формы поминания, они написаны в соответствии с сохраняющейся памятью о том, как они должны быть написаны. Вряд ли можно говорить о том, что Ольденбург не понимал ни того, что происходит вокруг, ни того, что происходит внутри него. ««Жалкое положение высшей школы, жалкое положение науки,» – писал он жене 12 февраля 1927 г. из Москвы, где принимал участие в съезде научных работников»⁵⁵. Но приняв чужие правила игры, он вынужден был перестраивать себя под новую действительность, которую честно пытался принять. Для этого надо было отказаться от прошлого, и не только своего; надо было перекроить память – и не все, кто окружал его с юности, люди, которых ценил он, и которые ценили его, были согласны на этот отказ от прежней памяти и формирование памяти новой.

Достаточно долгое время казалось, что такой дорогой, лично заплаченной, ценой куплена относительная свобода Академии и, следовательно, как подразумевалось, сама возможность существования науки в России. Не исключено, что в какой-то момент могло даже создаться ощущение, что ученые переиграли большевиков, но во второй половине 1920-х гг. эта иллюзия была полностью разрушена.

⁵⁴ *Ольденбург С.* Несколько черт работы Кони // Памяти А.Ф. Кони. Сборник статей. Л., 1929. С. 28.

⁵⁵ Цит. по: *Каганович Б.С.* Сергей Федорович Ольденбург. Опыт биографии. СПб.: Феникс, 2006. С. 141.

Высказывания по поводу Академии со стороны людей власти, ответственных за науку в Советской России, становились все резче. «В июле 1928 г. А.В. Луначарский заявил, что необходимость ее [Академии наук] реформы и обновления личного состава осознает “огромное большинство академиков”, включая “корифеев научной мысли – академиков Ольденбурга, Марра, Щербатского, Курнакова, Ферсмана”. По мнению Н.П. Горбунова, “...Академия наук из Академии полуфеодальной – отживающего типа – должна превратиться в Академию советскую, которая от старой Академии преемственно должна взять все ее огромные научные богатства, но ни в коем случае ее старые традиции, приобретенные не без благосклонного участия царского правительства”. Горбунов недвусмысленно предупреждал академиков: неприятие этих реформ и “сохранение старого отживающего типа Академии означает постепенное самоумирание”»⁵⁶.

1928 год открывает полосу «Великого перелома»⁵⁷ в Академии. Вехи на этом пути: бесконечные проверки Академии комиссиями; выборы новых академиков, часть из которых навязаны властью; уговоры несогласных на такое вмешательство в научные дела (с угрозами в случае провала выборов «материалистов-диалектиков» просто разогнать Академию); забаллотирование самых одиозных фигур и перевыборы их (после долгих и унижительных переговоров в Москве). «Большевики весьма искусно использовали особенности академического сообщества, существовавшие в нем разногласия и конфликты, личные амбиции, трусость и зависть одних, карьеризм и беспринципность других. Выборы деморализовали академическое сообщество»⁵⁸.

Результат оказался все равно двойственным. «Академия наук не встраивалась без новых коренных переделок в здание административно-командной системы, которая и сама-то создавалась как орган ломки и вечной перестройки. Налицо была – и в “освеженной” Академии – ее идейная несовместимость с системой: независимость и неунифицированность взглядов, неприятие идеологического диктата»⁵⁹. Начинаются репрессии против отдельных членов и служащих Академии. Подключается печать, вновь проводятся ревизии и «чистки». Летом 1929 года назначена правительственная комиссия «для пересмотра аппарата». Научное сообщество – доносами, собраниями, публичными разбирательствами – раз-

⁵⁶ Колчинский Э.И. «Культурная революция» и становление советской науки (1928-1932) // Наука и кризисы... С. 587.

⁵⁷ См.: Перченко Ф.Ф. Академия Наук на «великом перелома» // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М.: Прогресс; Феникс; Atheneum, 1991. С. 163–235.

⁵⁸ Колчинский Э.И. «Культурная революция»... С. 592.

⁵⁹ Перченко Ф.Ф. Указ. соч. С. 191.

рушалось и развращалось. Осенью разгорается скандал с хранившимися в Академии архивными документами революционного времени, которые власть представляет теперь как политически компрометирующие Академию. Начинается фабрикация «дела Академии Наук» (арестовано в общей сложности около полутора сотен человек), связанного с подозрениями в заговоре против советской власти. «К началу декабря из 960 штатных сотрудников АН комиссия Фигатнера сняла 128, из 830 сверхштатных – 520. Когда 13 декабря Фигатнер [председатель правительственной комиссии, член Президиума ЦКК ВКП(б) и член ВЦИК СССР – С.Е.] докладывал Ленинградскому бюро СНР об этих промежуточных результатах (чистка продолжалась), главный итог он подвел в словах: “Сейчас Академии в старом виде нет, она сломлена”. Кипарисов [член комиссии, научный работник – С.Е.] сформулировал задачу на будущее: “поставить Академию наук под стеклянный колпак”, а в речах статистов появились апелляции к пролетарскому суду»⁶⁰.

Когда С.Ф. Ольденбург пытался подать в отставку – отставка принята не была: уже не в его компетенции было решение такого вопроса, и свобода жеста – уйти или остаться – была утеряна. 30 октября 1929 г. он был отставлен правительством. С этого момента Ольденбург ждал ареста и жег бумаги кадетского архива, сохранившиеся у него.

Разгром Академии, продолжавшийся еще пару лет после отставки Ольденбурга, был прежде всего моральный. «Цель всех этих процессов была одна – запугать научное сообщество и обеспечить безоговорочную покорность властям. <...> Были опробованы и внедрены в практику методы репрессирования самого сознания как на личностном, так и на массовом уровне. Научное сообщество приучалось без колебаний выражать единодушную поддержку властям»⁶¹. Узнав об отставке Ольденбурга, Д.И. Шаховской писал Вернадскому 15 ноября 1929 года: «Очень интересно это распоряжение: уволен! Обрел волю от ярма. <...> Но не надо ли посмотреть на катастрофу как на освобождение от каторги и возблагодарить судьбу? Со спокойной совестью может теперь уволенный заделывать свое собственное личное – т.е. самое всеобщее мировое дело. И надо пожелать ему от всей души сил, бодрости и веселия на этом пути»⁶².

Шаховской обладал удивительной способностью создавать идеальные модели любой ситуации. И иногда даже их реализовывать в своей жизненной практике. Но у Ольденбурга это не получалось. Хотя, казалось бы, деятельная жизнь восстановилась быстро. Меньше чем через две недели после отставки, с 10 ноября, он почти ежедневно ходит на работу

⁶⁰ Перченко Ф.Ф. Указ. соч. С. 208.

⁶¹ Колчинский Э.И. «Культурная революция»... С. 648.

⁶² АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1840.

в Азиатский музей, директором которого он значился давно, но академические заботы не давали прежде возможности принимать активное участие в его повседневной рабочей жизни. Не прошло и полугода, как в апреле 1930 г. принимается решение о создании Института востоковедения, директором которого избирается С.Ф. Ольденбург. Подводя итог последних лет жизни Сергея Федоровича, Б.С. Каганович вынужден констатировать: «Приходится, однако, признать, что в эти годы С.Ф. Ольденбург не создал крупных научных трудов. В 67 лет поздно было начинать новую жизнь. По-прежнему он хватается за различные организационные и общественные дела. [...] Но несмотря на интенсивную деятельность, душевное состояние С.Ф. Ольденбурга в последние четыре года его жизни можно определить как растерянность и постепенное угасание. По-видимому, он был так ошеломлен катастрофой 1929 года и последующими событиями, похоронившими все его надежды и иллюзии, что никогда уже до конца не пришел в себя»⁶³.

Впрочем, кажется, что все началось раньше, чем случилось то, что Б.С. Каганович называет «катастрофой». Отставка не могла многого изменить. Ольденбург не играл, а значит, не мог в одночасье «сбросить маску» и вернуться к себе – возвращаться было некуда. И в своем дневнике Вернадский констатирует – последовательно и печально. «Сергей... сейчас по своему обыкновению, резко выявившемуся в последний год (сильно духовно опустился) – очень подлаживается, без скверных мыслей. Просто понимание меняется: в той среде, где живет»⁶⁴ (19 марта 1932 г.). «В той среде» были другие правила жизни и смерти, соответственно. Формально Ольденбург после отставки из Непременных секретарей, казалось, должен был дистанцироваться от этой среды, но практически процессы диффузии были, похоже, уже необратимы. Это свидетельствуют несколько последних некрологов, которые написаны Сергеем Федоровичем в 1930–1932 гг.⁶⁵.

Некрологи последних лет, сильно напоминающие статьи в энциклопедии, сухие и отстраненные (имплицитная часть в них практически отсутствует), казалось бы, даже особого внимания не заслуживают. Но в них проявляется новая черта, характеризующая, скорее, новое общество (и научное сообщество). Мертвым теперь надо доказывать право на благодарную память. И одних научных заслуг здесь недостаточно. «Встраивание» научного сообщества в новую социальную систему

⁶³ Каганович Б.С. Указ. соч. С. 212, 213.

⁶⁴ Вернадский В.И. Дневники: 1926–1934. М.: Наука, 2001 С. 294.

⁶⁵ Ольденбург С.Ф. Памяти Ф.В.К. Мюллера // Изв. АН СССР. 1930. № 6. С. 377-382; Ольденбург С.Ф. Памяти Самуила Мартыновича Дудина // Сборник музея антропологии и этнографии. Т. IX. Л., 1930. С. 353-358.

произошло не только на явном уровне организации Академии, но и на уровне самого научного сообщества, во всяком случае, в зоне их сосуществования, ставшей конфликтной. В 1930–1932 гг. появляются всего три некролога Ольденбурга – это те случаи, когда молчать он не мог.

Два некролога посвящены В.В. Бартольду – ученому мирового уровня, с непростой судьбой у себя на родине в последние годы жизни. С одной стороны, Бартольд был одним из тех, кто занимал непримиримую позицию по поводу выборов коммунистов-академиков в 1928 г. Такие вещи не забывали. С другой, даже после его смерти продолжалась травля Бартольда как ученого-ретрограда сторонниками «нового востоковедения». Ольденбургу важно показать уровень этого ученого и, одновременно, защитить его от нападок. Тактика, которая выбирается для этого – маневрирование. Приходится все время соотносить Бартольда не столько с уровнем мировой науки и его вкладом в нее (Ольденбург делает это не от своего имени – в обоих некрологах он ссылается на некролог в «Таймс», где Бартольд был назван «Гиббоном Средней Азии»), сколько с его участием в научном строительстве советского времени.

Сохраняется набор необходимых мотивов для академического некролога: оценки авторитетных ученых, упоминание о молодости такой науки как востоковедение и специфичности работы в этой области, краткая характеристика научных добродетелей (педантичная систематичность, четкость и точность в работе, «плановость и цельность научной деятельности»), указание на наличие учеников и последователей. Однако уже при определении Бартольда как представителя определенного поколения ученых Ольденбург предпочитает укрыться за текстом самого Бартольда. Дальше – важный поворот и новая (точнее, для Ольденбурга после 1926 г. уже не новая, но для Бартольда – неуместная) перестановка акцентов. «Мы совершенно не поняли бы значения Бартольда, если бы остановились только на его личной работе, как ни велика ее ценность. Он был крупнейшим организатором и руководителем работ, и здесь его выдающиеся свойства, особенно широта понимания задач и умение ставить и разрешать вопросы и определять необходимый для исследования материал, получили особенно яркое выявление. Я могу здесь только вкратце перечислить главнейшие учреждения, где он действовал как организатор». «Большой, первоклассный ученый, прекрасный организатор, Бартольд был выдающимся и как человек»⁶⁶.

Тщательно выстроенная система оправдания включает и иной аргумент, которым заканчивается некролог – это общественная значимость работы Бартольда в масштабах не только академических учреж-

⁶⁶ *Ольденбург С.Ф.* В.В. Бартольд. (15/XI 1869 – 19/VIII 1930) // Научное слово. 1930. № 9. С. 90.

дений, но и всей страны. «В.В. Бартольдом сделано чрезвычайно много для ознакомления Запада с Востоком и для взаимного их понимания. В этой области нашему Союзу выпадает на долю особенно ответственная задача, поскольку наш Союз соединяет в себе народы западные и восточные. В этой огромной работе пример Василия Владимировича Бартольда будет для нас лучшим руководителем и учителем»⁶⁷. Не очень внятно, но очевидно актуально.

Спустя недолгое время Ольденбург читает еще один некролог Бартольду в Общем собрании Академии наук, а затем публикует его. В значительной мере повторив систему аргументации предыдущего некролога (и даже включив пространную цитату из него), Ольденбург усиливает некоторые намеченные мотивы. Например, что в умершем ученом сочетались «глубокий интерес к прошлому и живое участие в работе текущего дня»⁶⁸. В заслугу Бартольду ставится то, что в дореволюционное время «он глубоко страдал от того равнодушного, а иногда и враждебного отношения, которое к востоковедению проявляла власть, а зачастую и более широкие круги», и то, что «всей своей жизнью В.В. Бартольд доказал, что он был, конечно, не только кабинетный ученый, а и глубоко сознательный общественный работник». И поскольку «судьбы науки, неразрывно связанные с судьбою его родины, глубоко волновали его», то в свое время «он показал печальные перипетии старорежимного положения нашего востоковедения». Когда внешние условия жизни начали меняться (к лучшему, разумеется), то «громкая исследовательская работа не помешала Бартольду принять чрезвычайно большое участие в организационной и общественно-научной работе по русскому и затем вообще советскому востоковедению». При этом Ольденбург отчасти дезавуирует собственные высказывания цитатой Бартольда: «главным недостатком русской науки в этой области (ирановедение), как и в других, являются частые перерывы в работе, по условиям русской жизни, заставляющим отдельных ученых брать на себя слишком большое число обязанностей, и вследствие трудных условий печатания; с последним связана и недостаточная обеспеченность преемственности»⁶⁹.

Не замечая несообразностей (стоит только позволить открыть герою рот, как тот говорит о другом) Ольденбург заканчивает текст словами о «богатой содержанием» жизни «неутомимого работника и достойнейшего человека». Универсальная добродетель неустанной работы вновь позволяет внешне примирить старое и новое.

⁶⁷ Там же. С. 90.

⁶⁸ *Ольденбург С.Ф.* Василий Владимирович Бартольд. 15.XI.1869 – 19.VIII.1930 // Изв. АН СССР. 1931. № 1. С. 1.

⁶⁹ Там же. С. 4–6.

Изменения в некрологах, написанных Ольденбургом, происходят постепенно, они – не попытка угнаться за конъюнктурой, а свидетельства внутренней (и медленной) эволюции личности. Поэтому «сдвиги» слов и смыслов становятся заметны именно на больших временных отрезках. С одной стороны, выявляется новый словарь, не то что – неиспользуемый, а вовсе невозможный прежде; с другой – прежние слова начинают значить что-то другое и играть другую роль.

Например, слово «поколение» в ранних некрологах Ольденбурга было рабочим понятием, позволяющим как бы распределить ученых по этапам становления востоковедения, определяющим границы возможного, необходимого и желаемого в работе определенного периода. При таком подходе время прихода в науку и существования в ней становилось из формальной характеристики – содержательной. Тема естественной смены поколений в науке приобретает новый поворот – каждому из них уготована определенная роль.

Теперь поколение предстает некоей спасительной нишей, существование в которой оправдывает «несовременность» методов работы. «Принадлежит к тому поколению...» – значит, происходит из дореволюционной эпохи и потому требует снисхождения. О Владимирцове, который в 1931 г. умер в возрасте 47 лет, говорится словами, подобными тем, которыми Ольденбург характеризовал когда-то поколение востоковедов первой половины XIX века: «Он принадлежал к тому поколению востоковедов, которое в силу положения недостаточной исследованности их дисциплины, должны были ставить свою работу чрезвычайно широко, не замыкаясь в более специальном кругу: приходилось поднимать целину, впервые ставить вопросы, выяснять руководящие линии работы, устанавливая подходы к неисследованному до того материалу, надо было одновременно быть и языковедом, и литературоведом, и историком»⁷⁰. То есть, общего научного метода (читай: марксизма) не хватало в связи с внешними обстоятельствами научной жизни. Оказалось – существуют два поколения – старое (немарксистское) и новое (марксистское), они определяются не хронологией, а идеологией. Впрочем, герой порой двигался в правильном направлении: «Владимирцов тщательно указывает разницу в экономическом и социальном строе, наблюденную им по сравнению с его предшественниками, и этим дает ценные исторические указания»⁷¹.

Справедливости ради отметим: слова «марксистский» в тексте нет. Зато встречается много других слов, выдающих скрытое присутствие

⁷⁰ *Ольденбург С.Ф.* Борис Яковлевич Владимирцов. 20.VII.1884 – 1931.17.VIII. // Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук. 1932. № 8. С. 667.

⁷¹ Там же. С. 669.

самого передового мировоззрения: «падение родового строя», «специфическая пропагандистская литература буддийского духовенства», «церковная пропаганда» (речь идет о брошюрах «О происхождении водки и зле, которое она причиняет» и «О вреде табака»), «памятники периода феодализации Монголии», «классовый характер эпоса», «литература феодализма»... Этими словами Ольденбург, с одной стороны, объясняет на языке современности, чем же занимался ученый, с другой, показывает живым, как надо писать в своих работах. Но поскольку делает он это на примере умершего Владимирцова, то сам некролог превращается в нечто новое: получается не диалог с мертвыми, а поучение умершего.

Когда-то был сделан выбор. Сложный выбор, связанный не только с защитой науки как социального института при новой власти, но и с защитой ученого, которому требовалась социальная и духовная автономия в науке. Это оборачивалось защитой науки в себе – права заниматься свободным поиском. Степень компромисса на этом пути в пост-революционных условиях определялась лично. Оказалось, что такой выбор, к сожалению, позволяет и даже предполагает «игру на понижение». Маневрирование как стратегия дало свои плоды. «Активное занятие научной политикой и общение с властными структурами неизбежно было связано с морально-этическими издержками. В условиях неустойчивости защита науки оказывалась невозможной без компромиссов и сделок», – к такому выводу приходит Э.И. Колчинский⁷², анализируя социальную активность ученых разных стран, заинтересованных в сохранении и развитии науки в кризисных условиях.

Движение по пути компромиссов могут замечать не все окружающие, поскольку большинство движется в том же направлении сотрудничества и приспособления к социальной действительности, только с разной скоростью и степенью рефлексивности. В результате точка отсчета оказывается относительной. Стабильная система координат связана с памятью; и значит, с той областью, где обитают мертвые. У мертвых тоже есть будущее – оно определяется их местом (и изменением его) в пространстве коллективной памяти. Разговор об общем прошлом – это, как ни странно, всегда разговор о возможном будущем: они связаны между собой наличием (или отсутствием) общего пространства ценностей и смыслов существования. Поэтому показательно прерывание содержательного диалога между живыми и мертвыми во второй половине 1920-х годов: теперь общего будущего не было.

Представленный отдельными некрологами общий поминальный текст, созданный Ольденбургом, оказывается наделен чертами контину-

⁷² Колчинский Э.И. Заключение // Наука и кризисы... С. 665.

ального и экзистенциального характера. Подобная глубинная работа не проходит бесследно для того, кто ее выполняет. Человек, добровольно принявший на себя обязанность поминовения, облечен тройной ответственностью – перед прошлым, связь с которым через традицию он поддерживает, перед настоящим, которое традиция объединяет, и перед будущим, которому он надеется эту традицию передать. Поскольку в данном случае речь идет о научном сообществе, то некрологи оказываются способом разговора о его функционировании и о предмете, вокруг которого оно организуется. Социальные перемены могут заставить проблематизировать саму легитимность и способы существования науки в обществе. В какой-то момент, например, совокупность некрологов Ольденбурга превращается в перманентный некролог всей русской науке.

Функционирование науки в нормальном режиме обеспечивается двумя системами: внешней системой официальной иерархии (вершина ее – Академия наук) и внутренней системой научного сообщества. Организация внешней системы подвергается кодификации, хотя и зависит от времени и места, всегда может быть описана и существует, скорее, как некий социальный механизм. Сообщество же существует по неписаным законам, явственно ощущаемым каждым его членом. И это – законы органической жизни. Традиция, сплавляющая сообщество, меняется крайне медленно (она призвана не допустить разрывов, иначе организм умирает). Почитание умерших – базовая, цементирующая структура, связанная с организацией памяти и идентичности.

Пытаясь прибрать науку к рукам, советская власть разными способами работала с Академией – угрозами, угрозами, распределением привилегий, страхом; так можно было советизировать механизм и сделать его легко управляемым. Но существовала внутренняя структура, которая не была выражена материально, следовательно, через материальное воздействовать на нее было сложно. Для надежности власти нужно было этот непредсказуемый в своих реакциях организм убить и заменить другим – предсказуемым. Уничтожить идентичность ученого и создать идентичность научного работника (члена соответствующего профсоюза). На место невидимого сообщества поставить научную общественность. Это другая система ценностей и другая система координат.

Некрологи, написанные С.Ф. Ольденбургом, позволяют описать этот процесс, который не фиксировался и даже не проговаривался, они становятся свидетельством времени, но одновременно эти же тексты становятся свидетельством того, как разрушительно принятие новой системы ценностей действует на личность и научный потенциал человека, из самых благих побуждений пытавшегося адаптировать навязанную систему к традиции.

5.2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ НОВОГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ XX ВЕКА ДЖОАККИНО ВОЛЬПЕ

Герой той интеллектуальной биографии, которая является предметом настоящего исследования, итальянский историк, интеллектуал и общественный деятель Джоаккино Вольпе. Герой этот родился в глухом провинциальном уголке, но стал ключевой фигурой академического мира, ведущим ученым страны, имевшим отношение ко всем определяющим тенденциям развития интеллектуальной и общественной жизни Италии. Логичным представляется выделить здесь основную проблему – вопросы проявления локального и регионального в формировании общей интеллектуальной и культурной атмосферы Италии на закате Нового времени. Фигура Вольпе маркирует другое важное поле исследования: соотношение традиционных тем региональной и краеведческой истории и «большого нарратива», общих концепций в итальянской историографии тех лет, когда в науку пришло поколение Дж. Вольпе.

Именно за время жизни и научной работы Джоаккино Вольпе в этой сфере произошли некоторые неожиданные существенные изменения, причем, не в последнюю очередь, благодаря самому историку Вольпе, который никогда не был пассивным свидетелем перемен, но всегда их активным соучастником. С другой стороны, те ожидаемые и закономерные перемены, подготовленные взаимодействием научных кругов разных стран, которые, казалось, должны были вот-вот произойти в границах гуманитарного поля науки, в момент, когда начиналась научная карьера Вольпе, так и не наступили на протяжении долгой жизни ученого: логика развития историографических школ сместилась, сбилась как прицел. Благодаря этому сдвигу Джоаккино Вольпе до конца своих лет оставался неожиданным и современным, не становился символом архаичного старомодного метода работы, а воспринимался в качестве революционного реформатора историографических традиций, самым смелым и дерзким из интерпретаторов истории.

Вольность трактовок и мощные идеологические конструкции, создаваемые Вольпе, не только не повредили репутации ученого, но сделали его одним из немногих историков своего отечества, творчество которого считали необходимым изучать зарубежные читатели и коллеги, не имевшие непосредственного отношения к итальянистике или медиевистике. Надо также отметить, что жонглировавший идеологиче-

скими конструктами ученый, делал это отнюдь не потому, что стремился уклониться от кропотливых штудий, так называемой конкретики, частных случаев, или же не владел материалом исторических источников. Техника исследовательской практики, воспитанная одной из лучших школ в области источниковедения – Пизанским центром науки и образования, у этого ученого были вполне традиционными.

Имя историка Дж. Вольпе было известно в кругу итальянистов России, хотя наследие историка интересовало исключительно или же главным образом в связи с его специализированными исследованиями по истории средневековых институтов. Речь не шла о том, какая именно биография, какая личность стоит за рядом отсылок (обычно глухих) к списку статей по истории средневековой (преимущественно тосканской и южно-итальянской) коммуны. Сразу отметим, что имя Вольпе знакомо как медиевистам, так и историкам Нового Времени, еще с советского периода, притом, что ни одна работа (и даже ни одна биографическая статья о нем) не переводилась на русский язык, чему были свои причины, о которых будет сказано ниже.

При повышенном и глубоком интересе, который испытывает по отношению к биографиям современная история, кажется невероятным, что до сих пор историками не реализована трудная, но многообещающая задача – жизнеописание человека науки и общественного деятеля, который никогда не был забыт или недооценен современниками и ближайшими потомками, и чьи труды, чья память не подверглись *damnatio*, несмотря на продолжительность жизни и творчества в сложном идеологическом контексте эпохи.

Таков историк и деятель культуры Джоаккино Вольпе, проживший долгую – длиной в 95 лет (почти век!), интересную и счастливую жизнь, за которую успели несколько раз смениться моды, вкусовые предпочтения, политические режимы в Италии. Это человек, о котором известно очень многое – от записи при крещении и писем к жене (как на заре брака, так и в старости)¹ до энциклопедических статей, монографий, газетных публикаций. Научные работы Вольпе издавались и переиздавались в

¹ “Die 20 Februarii 1876. Ego infrascriptus baptizavi infantem natum ex coniugibus Iacobo Volpe et Bianca Mori cui impositum fuit nomen IOACHIM, Alfredus, Antonius. Patrinus fuit D. Antonius Canali. Vincentius Gualtieri – Parochus “. (Archivio Parrocchia Paganica – Liber Baptizatorum, Anno 1876. На сайте фонда Джоаккино Вольпе представлено издание писем Вольпе к жене, написанных через год после заключения брака и за 6 лет до смерти: <http://www.centrostudigvolpe.it/wp/?feed=rss2>. L’Aquila 7 marzo 2010 – Presentazione del libro “Ritratto di Donna” di Gioacchino Volpe. Due lettere d’amore che Gioacchino Volpe ha scritto alla moglie, la prima un anno dopo il matrimonio, la seconda sette anni prima che lo scrittore morisse.

ответ на запросы интеллектуального сообщества и специалистов разных поколений, его эссе читались широкой публикой.

И все же весьма сложно составить целостное представление об интеллектуальной биографии Вольпе и той среде, которая сформировала этого гуманитария, идеолога, историка. Точнее, при работе с материалами, в том числе материалами исследований творчества Вольпе, получается фрагментарная мозаика вместо полной картины или панорамы, которую можно было ожидать при таком изобилии свидетельств и свидетелей, при постоянных отсылках и упоминаниях о роли Вольпе в истории исторической мысли, как и в самой истории Италии.

Пожалуй, лучше всего этот казус изучения известного человека, биография которого наполнена связанными с этой известностью стереотипами восприятия, раскрыт в художественной литературе – в произведении В. Набокова «Дар», в котором лирический герой-поэт и писатель одновременно творит и преодолевает стереотипы своего героя – властителя дум русской интеллигенции Чернышевского, прослеживая его путь через ряд говорящих бытовых моментов – обстоятельства крещения, годы учебы, написание произведений.

Разумеется, создание такой полноценной и литературоцентричной биографии остается пока соблазнительной и никем не реализованной целью. Однако и в академических жестких рамках изложения научной биографии творчество Дж. Вольпе представляет сложную неоднозначно решаемую задачу. Вольпе требует рассмотрения в нескольких ипостасях проявления личности. Наследие Вольпе должно анализироваться в достаточно широком контексте развития течения либерального марксизма начала XX века в Италии – прежде всего, итальянской школы юридических и экономических исследований, возникшей на рубеже XIX–XX вв., некоторые представители которой затем успешно функционировали и в период распространения фашистской идеологии.

В данной работе особое внимание обращено на процесс интеллектуального становления гуманитария, рожденного в переломный для формирования итальянской идентичности и итальянской государственности момент Нового времени, прошедшего вместе со своей страной сложный и противоречивый путь развития от Нового времени к Новейшему. Ведь одна-единственная богатая и долгая, почти вековая жизнь Дж. Вольпе формально относится к тому, что мы, исследователи определяем как период истории Нового времени и начальный период Новейшей истории. Привлекает внимание сам этот казус любопытной двойственности описания фигуры историка, т.е. своеобразной игры конкретной биографии с клише, изобретенными для описания моментов истории, совпадающих с рядом лет, прожитых реальным человеком, гражданином и ученым – Джоаккино Вольпе.

Проект по сравнительному изучению интеллектуальных сообществ Нового времени, в частности среды историков, очень важен для итальянистики, а пример интеллектуальных сообществ Италии, формирующейся в единое культурное и академическое пространство из множества специфических локальных и региональных школ, особенно интересен своеобычностью и множеством переходных форм и оттенков. В российской академической среде интерес к интеллектуальной жизни Италии различных периодов был всегда высок, в этом процессе изучения итальянской интеллектуальной культуры можно выделить и зоны осторожных описательных способов работы с вопросами развития историографии и историографических школ, и попытки достаточно жестко и авторитарно интерпретировать «мир Другого», мир итальянского мыслителя и гуманитария. Хотелось бы найти какой-то средний путь интерпретации интеллектуальной биографии и значимых для этой биографии личностных связей, академических статусов и способов коммуникации между интеллектуалом и обществом.

В этом плане интересны самые мелкие подробности и обстоятельства ученичества Вольпе, его первых попыток написания исторических исследований в области медиевистики, хотя, разумеется, нет оснований замыкаться на перечислении названий всех работ, вышедших из под пера историка Вольпе, или посещенных им научных центров. С другой стороны, представляется необходимым и важным отказаться от использования единого клише «фашистский историк» применительно к Вольпе, хотя, безусловно, он стал ведущим историком и организатором науки именно в период господства фашизма.

Дело не в отрицании профашистской позиции Вольпе, и, конечно, не в том, что до середины 1920-х годов это был совершенно иной человек, «интеллектуал свободного Нового времени», который лишь затем покорился фашизму. Нет причин сомневаться в том, что фашистский режим активно поддерживали интеллектуалы, более того, доктрина итальянского фашизма получила кристаллизацию благодаря интеллектуальным усилиям и идеологическим построениям и манифестам, на которые сам дуче и его первые соратники были просто неспособны.

Началу карьеры Вольпе соответствует определение «либеральная мысль», «либерал», а новому этапу – «фашизм» и «фашистская идеология», при этом вторая парадигма – фашистская идеология, в сущности, так же легко выводится из рациональной мысли Нового времени, как и умеренное «народничество» либеральной мысли круга меридионалистов (озабоченных проблемой отсталости и нищеты юга Италии), которым сочувствовал Вольпе в молодые годы. Параллельно в процессе становления Вольпе как историка меняется само представление об интеллекту-

альном труде, целях и задачах исторического образования и исследования, методы описания истории, акценты построения исторического нарратива, выбор тем и предпочтений – общего и локального, казуального, проблемно-идеологического и описательного.

Продолжать сохранять мифы о вольнолюбивом и либеральном Новом времени и тоталитарном Новейшем времени – такая установка традиционна, но неадекватна. В любом случае невозможно ограничиваться простым чередованием клише – «либерал» или «фашист», без всяких попыток их анализировать. Проблема как раз в том и состоит, чтобы признать и исследовать то, как интеллектуальный опыт всего Нового времени, и в частности эпохи Рисорджименто, влился в интеллектуальные и идеологические процессы Новейшего времени.

Как уже было сказано выше, важнейшей темой, которая подлежит раскрытию на примере изучения биографии Вольпе, представляется такая, как «*провинциальное и общенациональное в истории Италии Нового времени*». География ранних лет Вольпе, перечень тех мест, где будущий историк родился, учился, жил с родительской семьей и начинал самостоятельную жизнь, объединяет одно – это *провинция*.

Паганика, родина Вольпе, приютившая опального интеллектуала и в старости, Аквила, где теперь находится центр исследований и фонд имени Джоаккино Вольпе, или же Римини и окрестности этого городка с отличной гимназией и консервативным, бесспорно провинциальным ритмом жизни, воспетым великим Феллини, провинциальные центры с историей и славой, такие как Пиза, где Вольпе провел студенческие годы, – все это полно прошедшей славы, это провинция разного ранга, но, бесспорно, провинция. Здесь происходит становление личности и интеллектуальное формирование будущего прославленного ученого. И только после этого провинциал начинает работу в крупных городах столичного ранга. Первое же профессорское назначение Вольпе – это Милан (Accademia scientifico-letteraria di Milano с 1906 г.), а затем Рим (Università di Roma 1924–1940), т.е. крупные центры образования общенационального и международного значения.

Понятие о провинции и провинциальном для русского читателя слишком отягчено теми коннотациями, которые слово «провинциал» имело в Российской империи и имеет до сих пор. В истории Италии с традицией полицентризма, множества цветущих городов и достаточно самостоятельных коммун округи, сложилось совершенно иное представление о ценности локального, нежели это возможно в государстве с ранней централизацией. И, как мы видим, после исторически важного этапа объединения Италии, отношение к провинциальности, статус и социум провинциальных местечек, не изменились радикально, по

крайней мере, некоторое время – время детства и юности Вольпе. Таким образом, становится понятным, что само определение: «провинциальный интеллектual», которое так и просится на язык, не подходит для описания интеллектуальной биографии Вольпе.

Пиза, будучи провинциальным городом, обладала блестящим научным и учебным центром. Учебное заведение *Scuola Normale* – проект Нового времени и наполеоновского влияния – было гораздо более прогрессивным, чем старинные университеты, носителем интернационального начала и стандарта академической жизни, а кроме того этот образовательный центр создавал уникальное пространство личностных связей выдающихся и подающих надежды ученых. Именно во время обучения в Пизе ищущий ум юного Вольпе находит не только интересные семинары и архивы, необходимые для профессионального становления (первые работы Вольпе были написаны на базе местных архивов по проблемам средневековой истории коммуны Пизы), но и интеллектуальную среду, избранный круг интеллектуалов, который будет оказывать на него влияние многие годы.

Сразу возникает вопрос, как же выстраиваются эти связи? В начале пути, в период ученичества молодого Вольпе приняла уже сложившаяся, хотя и прогрессивная по стандартам эпохи среда, которая могла бы поглотить новичка, растворив его искания в четких нормах, принятых в этой среде задолго до появления нового студента, если бы не независимый твердый характер Вольпе. Затем, с момента получения диплома, для Вольпе круг общения эгоцентричен, все более определяется не средой, а возможностью личного влияния в данной среде, по мере того, как растут возможности Вольпе транслировать и ретранслировать историческое знание.

Круг интеллектуального общения Вольпе – это именно круг, причем с условным центром в лице самого Вольпе, выбирающего интеллектуальные знакомства – сотоварищей и учеников, при сохранении признания учителей. В условиях достаточно консервативного и корпоративного, по своей природе, академического мира Италии, с чем не мог не считаться Вольпе, его линией поведения было сохранение узкого круга давних знакомств и обязательств, но не присяга на верность корпорации в целом. Пизанская Нормальная Школа, как учебное заведение, уже была в почете ко времени поступления туда Вольпе и еще усилила свои позиции позже, как раз в годы фашистского режима. (Собственно, скромное определение *normale* следует понимать именно в смысле полномочий заведения устанавливать и продвигать культурные нормы и стандарты).

Особую роль, дававшую питомцу Школы ощущение правомочности создания новых стандартов, играло само ученичество под опекой

влиятельного профессора. То был интеллектуальный аналог ремесленного и цехового обычая получения мастерства и изготовления первого шедевра под руководством особого маэстро. Притом, избрание учителя и руководителя в подготовке выпускной работы (*la tesi di laurea*) и личный контакт с маэстро Амадео Кривеллуччи (*Amedeo Crivellucci*), посредничество этого уважаемого профессора и одновременно первого лица издания *Studi storici*, сильно расширил круг общения молодого ученого, и публикации в *Studi storici* позволили студенту и вчерашнему ученику выйти на высший уровень профессиональной реализации рекордно быстро.

Среди прямых учеников того же маэстро были те, кто в скором будущем, как и Вольпе, вошли в интеллектуальную элиту Италии, стали национально и международно признанными мыслителями-гуманитариями, как например, Джованни Джентиле (*Giovanni Gentile*) с которым молодой Вольпе иначе, вероятно, не имел бы случая познакомиться, и Гаэтано Сальвимени, который по своим научным интересам очень близко шел параллельным курсом с Вольпе.

Тот факт, что наставником многообещающего студента становится Амадео Кривеллуччи, признанный авторитет для многих разных по своим убеждениям и стилю мышления интеллектуалов, включая Гаэтано Сальвемини и Джованни Джентиле, обязывал и Вольпе к определенной линии поведения в отношении других учеников общего учителя. Интеллектуальная биография Вольпе пересекалась впоследствии и с творчеством Сальвемини, и с идеями и деятельностью Джентиле, с первым – в связи с дискуссиями по проблемам Юга Италии и с развитием экономико-юридического подхода к истории, со вторым – в связи с созданием интеллектуальной доктрины итальянского фашизма.

Мэтр Кривеллуччи был автором многих исследований по истории Тосканы, и не удивительно, что его ученик Вольпе начал свой путь в исторической науке с работ, посвященных институтам коммун Тосканы (в том числе Пизы), благо эти архивы находились под рукой. Роль детального освоения именно тосканского исторического материала чувствуется на протяжении всей карьеры Вольпе как историка.

Забегая вперед, скажем, что этот «тосканский интерес» имел далекие идущие последствия. Да, именно Тоскана в позднее Средневековье стала лидером экономического развития, в тосканских городских центрах попопанство претендовало на совершенно независимую политическую роль и пришло к системе самоуправления в ряде городов в ходе напряженной борьбы с магнатами, что вызывало интерес историков и появление ярких фундированных работ, благодаря которым затем социально-экономические условия Тосканы воспринимались как особен-

ность всей Италии. В этом есть и «вина» историка Вольпе. Нарботки Вольпе, сделанные благодаря архивной практике ранних лет в тосканских хранилищах документов, затем неоднократно переделывались и переиздавались и в 1920-е годы, и в последние годы жизни, и даже после смерти автора, при том каждая волна изданий не только вписывалась в особый историографический контекст, но и меняла его, оказывала большое влияние на ситуацию².

В дальнейшем, Вольпе занимался как региональной и локальной историей, в том числе юга Италии³, так и историей проблемной, обобщающей и синтетической. Ему принадлежит значимая роль в деле развития проблемной истории средневековой итальянской коммуны⁴, а также в том, что касается истории Нового времени. При этом сдвиг в интересах и стилистической манере работы ученого вносила сама жизнь. Определяющим стало то, что Вольпе смог получить кафедру в раннем возрасте по меркам академического мира, особенно мира итальянского, но должен был сменить специализацию в сторону более позднего периода отечественной истории. Углубившись в эти сюжеты, Вольпе нашел, видимо, здесь меньше ориентиров и примеров для подражания, чем находил в области средневековья, но в компенсацию обрел и особую свободу творчества и высказывания, без оглядки на авторитеты.

Собственно научная национальная школа историографии складывалась в Италии именно на рубеже XIX–XX вв. Однако творчески перера-

² См. например: *Volpe G.* Volterra: storia di Vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15. Firenze: La Voce, 1923; *Idem.* Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Nuova ed. Firenze: Sansoni, 1970.

³ *Volpe G.* Toscana medievale: Massa Marittima, Volterra, Sarzana. Firenze: Sansoni, 1964.

⁴ *Questioni fondamentali sull'origini e primo svolgimento dei comuni italiani / Medioevo Italiano.* 2 ed. Firenze, 1961 (3-ed. Roma, 1992). О значении трудов Вольпе в контексте развития историографии см.: *Crea A.* Il medioevo di Gioacchino Volpe nella storiografia successiva agli anni venti // *Aevum* Anno 72, Fasc. 3 (Settembre-Dicembre 1998). P. 781-800. Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. [<http://www.jstor.org/stable/20860889>]. Многопланово представлена интеллектуальная биография Вольпе и даны разносторонние оценки его вклада в историографию XX в. в книге: *Cervelli I.* Gioacchino Volpe. Napoli: Guida, 1977. 617 p. Российским историкам интересны будут кратко приведенные в монографии указания на взаимоотношения Вольпе и нашего соотечественника – эмигранта, влиятельного в Италии историка Н. Оттокара, а также данная Оттокаром оценка творчества и направленности работ Вольпе. *Ibid.* P. 579-582. См. также: *Cervelli I.* Cultura e politica nella storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento. A proposito della nuova edizione di “Storici e maestri” di Gioacchino Volpe // *Belfagor.* XXIII. 1968. P. 473-483, 596-616; XXIV. 1969. P. 66-89; *Idem.* Storiografia e politica: dalla società allo stato. Note su Gioacchino Volpe // *La Cultura.* VII. 1969. P. 496-534; *Idem.* G. Volpe e la storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento // *La Cultura.* VIII. 1970. P. 40-80, 257-291, 375-424.

батывать этот багаж знаний Дж. Вольпе принялся в совершенно особом и быстро меняющемся историко-культурном контексте.

Родившись в традиционной провинциальной семье в глухом уголке Италии после победоносного объединения страны и встретив рубеж веков с традиционной суммой знаний и представлений, свойственных культурному стандарту Нового времени, Дж. Вольпе обрел широкие перспективы реализации, которые открывались в новом объединенном государстве: обучение новых специалистов в одном из крупнейших центров исторического знания, значимого в масштабах всей страны, возможности формировать образовательный горизонт через энциклопедические и образовательные издания, а также популярную прессу.

В плане научного осмысления феномена городской общины итальянских земель, Вольпе и его коллеги, проводившие исследования по медиэвистике с рубежа столетий имеют несомненные заслуги перед всей исторической наукой, хотя их работы можно считать узкоспециальными. Это были пионеры дисциплинарных исследований, которые раскрывали возможности исторического и социологического интерпретирования правовых источников.

Разумеется, история коммуны как история определенного города или края изучалась эрудитами, знатоками древностей и архивов на протяжении многих веков. Этот этап позволил осуществить публикации важных (как для изучения социальной истории, так и для истории права) источников, а также произвести их комментирование, которое, однако, еще не может быть названо собственно аналитической историей⁵. Аналитическая история, проблемный подход формировались в Италии лишь в 1880–1890-е гг., т.е. в те годы, когда как ученый формировался и сам Вольпе, и его будущие соперники и соратники. При этом краеведческий и историко-правовой дискурс по-прежнему преобладал, что очевидно на основе даже самого беглого анализа работ, цитируемых Вольпе в его ранних исследованиях. В тот момент ключевую роль в развитии национальной школы историографии играли вопросы истории средневекового периода, прежде всего вопрос об общине (коммуне) как основе общественного развития итальянских земель на протяжении их истории, а также тренд изучения не только юридических аспектов развития коммуны – традиционно сильного и фундированного направления исследований, но и экономического. В истории историографии эти тенденции получили название особой школы исследований, хотя собственно школы и учени-

⁵ Выделим из исследований раннего периода развития историографии общий труд по истории коммун южной Италии XII–XIX вв: *Faraglia N.F. Il comune nell'Italia meridionale 1180–1806. Napoli, 1883.*

чества тут не было, а была близость интересов и тем исследований, общее представление об актуальности научного поиска у круга ученых, виднейшими представителями которого впоследствии были сочтены, наряду с Дж. Вольпе, такие разные по идеологическим приоритетам и смелости мысли ученые, как Ромоло Каджезе и Гаэтано Сальвемини.

Невозможно переоценить влияние данной группы, и в этом смысле мы будем с оговоркой употреблять термин – школы историографии, как сообщества интеллектуалов, как определителя образа исторической науки того периода в целом, и как влиятельного института в том значении слова, которое используют творцы теории «зависимости от пройденного пути», или от траектории развития (*path dependence*), ибо деятельность этой интеллектуальной группы и ее наследие отражались очень продолжительное время (вплоть до 1970-х – начала 1980-х гг.) в характере исторических исследований (прежде всего по средневековью) в Италии, а также – как это ни парадоксально – и в России.

История интеллектуальной жизни может быть понята как история изменений функций и институций по производству символической продукции и самой структуры этой продукции, что соотносится с постепенным становлением интеллектуального и художественного поля, то есть как история автономизации собственно культурных отношений производства, обращения и потребления. Одной из важнейших тем в этом производстве, по крайней мере, с начала Нового времени и по сей день, является воспроизводство символических ценностей, связанных с тем или иным мифом национальной истории. Речь пойдет о такой символической продукции и структуре воспроизводства этого символического мифологизированного капитала, который принимал формы «научного дискурса», понятийного языка позитивизма, а также некоторых более или менее жестких разновидностей марксизма. Мы будем исходить из положения Пьера Бурдьё о том, что «в отличие от поля массового производства, которое подчиняется закону конкурентной борьбы за завоевание как можно более обширного рынка, поле ограниченного производства стремится *самостоятельно* создавать свои нормы производства и критерии оценки своей продукции, оно подчиняется закону конкурентной борьбы за чисто культурное признание со стороны коллег, являющихся одновременно клиентами и конкурентами»⁶. Именно так может быть описана

⁶ Лаконичная и информативная работа «Рынок символической продукции», опубликованная на русском языке еще в 1993 г. (по этой публикации и дана цитата), до сих пор остается наилучшим ориентиром исследовательских стратегий для каждого, изучающего историю научных школ: <http://bourdieu.name/content/rynok-simvolicheskoy-produkcii>. См. также «Homo academicus»: <http://bourdieu.name/content/bourdieu-pierre-homo-academicus>.

группа интеллектуалов, интересовавшихся экономическими и правовыми особенностями средневекового общества под особым углом зрения – в свете актуальных доктрин социальной справедливости.

Научной компетентностью и исторической эрудицией, при ярком интересе к злобе дня и социально-политической ситуации итальянской действительности XX века (например, к проблеме юга⁷), отличались все представители «историографической школы», к которой принадлежал Вольпе. Однако уже изначально у Вольпе был нестандартный подход к проблеме юга, который мог сочетаться не с левой идеологией, а, напротив, с монархическими взглядами ученого, резко отличавшие его в академической и интеллектуальной среде, близкой Вольпе во всем остальном. К столь нестандартной для интеллектуала тех лет позиции, кроме всего прочего, что определяет личный идеологический выбор (происхождение, семья, авторитеты прошлого), могла привести ученого логика того исторического материала, с которым он работал: ведь в средневековье Юг Италии, имевший города-коммуны, но объединенный под властью мудрого правителя, временами процветал больше, чем Тоскана, где происходила драматическая борьба между городами и внутри самих городских коммун. Вольпе, освоивший уже в своих ранних работах темы развития коммунальных институтов Тосканы и Юга, мог сделать из этих исторических примеров далеко идущие выводы⁸.

Нельзя сказать, что имя Вольпе затмило всю плеяду ученых, с которыми он находился прежде в творческом диалоге, и по научным историческим вопросам, и по общественным темам, но именно идейная эволюция и биография Вольпе дают наиболее яркое представление о том, насколько было неоднородным и неоднотипным интеллектуальное пространство первой половины прошлого столетия.

⁷ Меридионализм как направление общественно-политической мысли зародился в 1870-х гг. на почве решения так называемого «Южного вопроса», поисков способа ликвидации отсталости Юга. Впервые эту проблему развития страны поставили деятели либерального течения меридионизма (С. Соннино, Л. Франкетти, а затем Дж. Фортунато и Ф. Нитти). В начале XX века Г. Сальвемини и его последователи подняли «Южный вопрос» как крестьянский, считая, что для его решения необходимо ликвидировать феодальное землевладение. Сальвемини требовал всеобщего избирательного права и расширения представительства крестьян Юга в парламенте, с тем чтобы способствовать осуществлению реформы.

⁸ *Volpe*. 1927 [Sansoni. 1958]. *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*. Nuova ed. Firenze: Sansoni, 1970. (В эту позднейшую публикацию вошли наработки, сделанные еще в бытность Вольпе студентом в Пизе.); *Volterra: storia di Vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15*. Firenze: La Voce, 1923; *Lunigiana medievale: storia di vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15*. Firenze: La voce, 1923; *Idem*. Corsica. Milano: Istit. Edit. Scientifico, 1927.

Почему, при всем сходстве позиций и подходов к изучению истории итальянских земель, и прежде всего общин, в юридическом и экономическом аспектах, именно Вольпе, а не, например, Ромоло Каджезе, наиболее близкий Вольпе коллега⁹, стал лидером поколения историков? Почему научная школа экономических и юридических исследований, которую раскололи непримиримые идеологические противоречия участников, хотя и потеряла свою харизму, но в глазах нового поколения историков оставалась постоянным источником отсылок и упоминаний, сохраняла авторитет в итальянской историографии на всем протяжении XX столетия? Почему, с другой стороны, не утратив научного признания, сама группа интеллектуалов, эта неформальная школа, перестала существовать? Не потому ли, что после 1920-х гг. в Италии, как и в России, стало невозможным существование достаточно автономных интеллектуальных групп? Критерии значимости интеллектуального тренда обозначались уже не самими независимыми группами ученых и экспертным сообществом историков. Точнее сказать, критерии по-прежнему описывались учеными, и в тех же научных и популярных изданиях, просто совершалось это с определенной санкции власти.

Так можно в целом охарактеризовать и ситуацию, сложившуюся без малого сто лет назад в Италии. Ключевую роль (как с самого начала века, так и в 1920-е годы) в развитии национальной школы историографии играли вопросы истории средневекового периода и, прежде всего, вопрос об общине (коммуне), как основе общественного развития итальянских земель на протяжении их истории. Во многом именно для решения задачи более полного исторического описания средневековых итальянских коммун и был сформирован как интеллектуальное направление тренд экономико-юридических исследований, направление, которое, по мнению Б. Кроче (заявленном в его классической работе) явилось ответвлением материализма¹⁰.

Нет причин считать, что существовала реальная школа, но наметился некий дискурс, общие акценты исследования, декларируемый, но не исполняемый единообразно подход – лишь эти черты условного сходства позволили считать нескольких коллег-ученых членами особой интеллектуальной группы. В дальнейшем между одними коллегами, работавшими по сходным темам, сохранилось взаимодействие и взаимопонимание (например, Каджезе и Вольпе), а в других случаях проис-

⁹ См. рецензию Вольпе на основной труд Каджезе: *Volpe*. 1908, P. 263–278, 361–381; <http://ojs.uniroma1.it/index.php/lacritica>.

¹⁰ *Croce B. Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*. V. 1. Bari: Laterza, 1921.

ходил разрыв (тот же Вольпе и Сальвемини). И в том, и в другом казусе особую роль играли не собственно научные претензии, а возникающие идеологические и даже политические противоречия: Каджезе под влиянием Вольпе включился в деятельность по интеллектуальному оправданию и обоснованию фашистской идеологии, а Сальвемини остался на платформе левых взглядов (хотя еще в 1911 г., вышел из социалистической партии) и впоследствии проявил себя непримиримым и бескомпромиссным антифашистом¹¹.

Основные аспекты истории, интересовавшие Вольпе и его коллег – история средневековой коммуны, история институтов и права, вписанные в контекст экономического и политического развития. Эти темы и проблемы, сформулированные в первой четверти века усилиями историков экономико-юридического направления, затем смогли стать равным образом актуальными для фашистской историографии. Индикатором новизны проблематики может служить история вопроса о начальных этапах средневекового развития городской общины.

Несомненно, Вольпе был одним из первых историков, высказавших тезис о новационном характере средневековой коммуны. Тезис этот не был представлен голословно, ему сопутствовала тщательная работа над источниками, свидетельствующими о конкретных формах воплощения новых принципов объединения. В настоящий момент он звучит более чем привычно, но в свое время отрицание извечного юридического характера средневековой общины, продолжавшей именоваться в памятниках эпохи тем же термином, что и древнеримская община (*цивитас*), было достаточно смелым шагом. При этом ни сам исследователь, ни экономико-юридическая школа, к которой он принадлежал, ни в коей мере не грешили модернизацией исторических реалий и не пытались представить коммунальное движение как буржуазную революцию¹².

Понимание коммуны как особой силы, актора истории стало возможным и вошло в научный и околонучный дискурс благодаря трудам рубежа XIX–XX вв., созданным относительно либеральными интерпретаторами марксизма. Также можно отметить некоторые параллели между творчеством Каджезе, а особенно Вольпе, и темами, которые стали акту-

¹¹ «Непримиримый» Сальвемини подвергался аресту за критику фашистского режима, смог уехать в эмиграцию, где продолжал выступать с разоблачением и критикой фашизма, вернулся во Флоренцию после войны, где и возглавил университетскую кафедру, однако, судя по всему, не вычеркнул из списков рекомендованной литературы имена своих давних друзей-недрузгов, не инспирировал и не возглавил никакой охоты на ведьм.

¹² Ссылки даются на более доступное в России издание, хотя существует и более современное: *Volpe*. 1961. P. 85–118. (3 ed. – Roma, 1992).

альны в социологии и в новейшей истории. Между прочим, отметим, что историков экономико-юридического подхода интересовали не только казусы развития отдельных общин, но и массовые движения. Более того, логично задать вопрос (не делая поспешных и далеко идущих выводов о возможных интеллектуальных параллелях) о связях между подходами к изучению новых классов, появившихся на сцене итальянской истории в XIV–XV вв., и анализом новых социальных сил XX столетия. В работах историков начала века и межвоенной поры современная итальянистика не разочаровалась и продолжает тиражировать их, правда, достаточно избирательно, при этом и имя Вольпе, и круг экономических и юридических исследований, интересовавших ученого в молодые годы остаются в числе привилегированных и цитируемых.

Достаточно часто исследователи историографии фашистского периода указывают, что, согласно господствовавшей доктрине, формирование итальянской нации относили к отдаленному прошлому, например, к эпохе позднего средневековья¹³. К мысли проследить идею континуитета «народа» от Средневековья к Новому времени подталкивает и сам термин *popolo* (*populus*), применявшийся в период существования средневековых коммун к основной массе членов этих городских общин. Трактовки роли «народа» как актора истории, которые создавались в фашистской Италии, пронизывают и работы по Средневековью и раннему Новому времени, и эта тенденция весьма примечательна. Но еще интереснее, что идеи историков фашистского периода перекликаются с некоторыми клише советской историографии, разработанными применительно к истории Италии, с общими интерпретациями народных движений кризисных эпох, и с, казалось бы, совершенно сухими и академическими выкладками по частному вопросу о характере *conjuratio* в процессе развития средневековых общин.

Обычно мифы национальной истории не находят отклика у исследователей, этой идее непричастных, мифы одной идеологической системы не вписываются в другие идеологизированные картины мира. Но из этого правила есть, на первый взгляд странные, исключения. Тема средневековой коммуны, ключевая для итальянской исторической школы, — одновременно стала опорным понятием в дискурсе марксизма, который искал своих предтеч не только в Парижской коммуне, но и в истории развития самоуправлявшихся городов-коммун средневековья.

Да, далеко не все исследователи, идущие навстречу новым тенденциям, получают возможность широко заявить о своем опыте. Практический, но немаловажный вопрос — это свобода формирования и проявле-

¹³ Clark. 1999. P. 189. https://catalyst.library.jhu.edu/catalog/bib_2058480

ния научного мнения: равный или избирательный доступ к публикациям, возможности широких общественно-политических дискуссий и, наконец, вопрос о возможности существования достаточно независимых и неинституционализированных групп интеллектуалов.

Перед Первой мировой войной и в период между войнами Вольпе много выступает не только со статьями-исследованиями, но и с критикой работ коллег. Примечательна в этом ряду жесткая критика исследований медиевиста Габотто: его трактовка начального этапа формирования общины и коммуны представлялась Вольпе неверной, негативно оценивалась идея Габотто о приватном характере объединений, хотя именно такая трактовка считается в настоящее время более корректной среди медиевистов. Все множество аморфных средневековых объединений, Вольпе пытался привести к общему знаменателю, а именно к той самой коммуне, которая в исторической перспективе играла роль «народа» в его идеологической системе представлений об истории. Это, конечно, вольная трактовка Вольпе, однако имя Габотто почти забыто, по крайней мере за пределами узкого круга специалистов, а его критик остается классиком, известным широкому слою историков.

Во многом популярность и влияние идей Вольпе как исследователя подкреплялись тем, что историк стал и успешным педагогом. Как указывалось выше, еще в 1906 году, очень быстро даже по меркам современной Италии, Вольпе поднимается на профессорскую кафедру в Милане. Этот же пост в миланской *Accademia scientifico-letteraria*, что интересно, мечтал занять и Сальвемини, будущий идеолог интеллектуалов-антифашистов, увлеченный в то время сходными исследовательскими сюжетами. Сальвемини проиграл Вольпе по квалификации, а отнюдь не по идеологическим мотивам: его соученик Вольпе, по мнению авторитетной ученой комиссии, более соответствовал должности. При этом, как мы знаем, исследовательский профиль Вольпе меняется: его предмет теперь не медиевистика, а *storia moderna* – Новая история, достаточно широко понимаемая, – политическая история вплоть до последних знаковых событий.

По всей видимости, и публицистика Джоакино Вольпе, и те широкие и аналитические исследования, которые он начал практиковать как историк средних веков, позволили поверить в него как в серьезного интерпретатора сюжетов Новой истории. Другой важной позицией, которая позволяла популяризировать исследования Вольпе, стала затем для него кафедра в Риме, которую историк занимал с 1924 по 1940 г.¹⁴

¹⁴ В 1920-х, уже при новом режиме, труды Вольпе по медиевистике, написанные в начале века тиражировались снова – под нейтральным названием *Medio evo*.

(окончательно он оставил педагогическую деятельность только после Второй Мировой войны).

На протяжении карьеры менялись не только научные интересы, но и политические взгляды ученого, притом в очень широком диапазоне – от либеральных до монархических, национал-патриотических, наконец, фашистских. В самые начальные годы фашистского режима Вольпе занял активную политическую позицию, став депутатом парламента (1924 г.). Он также становится Генеральным секретарем Итальянской Академии. Вольпе проводил четкую идеологическую линию в своей работе историка, например, во влиятельной Энциклопедии, будучи бессменным директором отдела по подготовке разделов энциклопедии по истории Средневековья и Нового времени (работа шла в 1929–1934 гг., но этот многотомный труд используется до сих пор). Он активно участвовал в формировании фашистского дискурса, например, в создании в 1925 г. манифеста фашистских интеллектуалов (добавим: немногих интеллектуалов), поставивших свои подписи под документом *Manifesto degli intellettuali fascisti*. Это был период «войны манифестов», момент жесткой идеологической борьбы, в которой выковывались моральные и интеллектуальные стандарты, и более того, формировался определенный *habitus* для нескольких поколений.

Участие Вольпе в формировании фашистской идеологии было активным и в исторический момент подписания конкордата с Ватиканом (суть соглашения – реституция национализированных богатств католической церкви и признание ее господствующего положения и статуса государственной религии), и при вступлении Италии в войну в союзе с нацистской Германией. Все это время фашистский дискурс, не существовавший до прихода Муссолини к власти, развивался, в том числе благодаря историческим и публицистическим работам Вольпе.

Не странно ли, что прекрасно образованный, приученный к архивной работе питомец Высшей Нормальной Школы, автор трудов о средневековых общинах, становится пропагандистом и творцом весьма тенденциозного дискурса? Только на первый взгляд. Источниковые данные могут извлекаться историками технически безупречно, но не восприниматься как самодостаточный результат научной работы. Естественно и стремление к созданию широкого нарратива, рамочной конструкции, картины мира. С другой стороны, детализация, взятая как риторический прием, способствует убедительности восприятия, даже при тенденциозном описании. То, что называется фактами, такие же конструкты, как и макросхемы исторического описания. Построение микро-деталей описания происходит таким же образом, как и создание глобальных описательных и объяснительных моделей, а восприятие точно так же зависит от господствующих в сознании общих мест.

Одним из основных мифов XIX века стал «народный характер», мотив исторической роли нации, понимаемой как действующий организм. Эта антропоморфная метафора под расплывчатым определением «народ» действует и в работах фашистских историков, и в трудах историков советского времени, в том числе в исследованиях, обращенных к отдаленному прошлому, в котором идеи народности и национальные идеи еще не были изобретены, а, напротив, практиковалась жесткая статусная стратификация. Кроме того, и в тех и в других работах прослеживаются способы ре-актуализации истории отдаленного прошлого, в силу включения всего этого прошлого в систему тотального объяснения истории как поступательно развивающегося единого процесса. Объединить такие нестыкующиеся половинки истории, как средневековый полицентризм и разновекторно направленные народные и еретические движения, с частью истории объединения, централизации и упорядочивания социальных сил мог только дополнительный логический ход, особый вездесущий актер, обеспечивающий континуитет истории – народ, предтеча класса-гегемона или нации-гегемона. Как и концепт класса, концепт нации/расы при необходимости мимикрировал в расплывчатое наименование «народ».

Именно в этой перспективе следует рассматривать то, что политически и социально ангажированный Вольпе не был забыт с изменением идеологического климата, не остался в «своем» времени, но продолжал существовать в интеллектуальной традиции и даже экспортировался в иные культурные среды – почитался западными левыми историками 1960-х годов и советскими итальянистами, которыми рассматривался как представитель близкой ему в молодые годы либеральной школы экономико-юридических исследований. Но и в Италии Вольпе поныне причисляют к школе своеобразного либерального марксизма¹⁵. Это направление либеральных историко-экономических исследований, казалось бы, могло существовать не так уж долго, учитывая быстрые успехи фашизма в Италии. Тем, не менее, именно этот тренд, загадочным образом трансформируясь, остается влиятельным.

Можно четко отметить ту точку истории Италии, когда перестало считаться положительным явлением существование достаточно автономных интеллектуальных групп, и взаимосвязь интеллектуала и власти

¹⁵ На сайте *Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna* Дж. Вольпе назван «одним из представителей экономико-юридической школы, развившейся под влиянием марксизма» (uno de principali esponenti della cosiddetta scuola economico-giuridica, chesotto l'influenza del marxismo) [<http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=707>]. *Questioni fondamentali sull'origini e primo svolgimento dei comuni italiani / Medio evo Italiano*. 2 ed. Firenze, 1961 (3-ed. Roma, 1992).

стала осуществляться новым для XX века, но вполне традиционным для Нового времени способом, а сам образ науки стал создаваться с помощью более широкого и популистского дискурса, как, впрочем, уже было в истории науки, только не в XX столетии, а в эпоху Просвещения. Вольпе же принял самое активное участие в формировании нового научного, но идеологически и политически подчиненного дискурса, и – как кульминация – в создании к 1925 году своеобразного манифеста фашистских интеллектуалов.

Для либерального интеллектуала это неожиданный поворот, даже слом, но что можно найти нетрадиционного в таком бурном сотрудничестве с властью, даже с конкретным государем, для интеллектуала Нового времени или Ренессанса? Немаловажно отметить и оценить разработку Вольпе концепции Рисорджименто, то есть глобального описания-объяснения эпохи становления нации. В эту концепцию историк, сформировавшийся как медиевист, разумеется, внес «проблему корней» и исторических мотивов континуитета, которые современная академическая историография считает континуитетом ложным. Но, опять-таки, ничего странного и предосудительного в проповедовании этих идей не было и не могло быть для историка, который жил бы в эпоху Ренессанса или раннего Нового времени, а не писал бы о них в XX веке. Не берясь судить о том, насколько осознанно и цинично или же спонтанно производилась ре-актуализация этого дискурса интеллектуалами фашистской поры, в частности Вольпе, просто отметим, что он использовал или реабилитировал более широкий спектр идей, которые, так или иначе, содержались в культурном наследии Нового времени.

Эти идеи своеобразного медиевализма или «возрождения ренессансного духа народа» не изобретались, а выносились на поверхность того многослойного интеллектуального потока, которым изначально был снабжен любой образованный наследник культуры Нового времени. Почему собственно Вольпе должен был жестко ассоциировать себя с интеллектуальной средой и направлением экономико-юридической школы начала XX столетия, со своим интеллектуальным и общественно-публичным дебютом, а не с годами обучения, не с воспитавшей его Нормальной школой в Пизе, детищем Наполеоновского образовательного проекта? В чем собственно этот образовательный проект драматически расходился с курсом культурной политики Муссолини?

Думается, Вольпе обладал свойством (ре)актуализировать и приспособлять к новой конъюнктуре, к изменяющейся общественно-политической ситуации идеи из своего культурного багажа и делал это быстрее и успешнее, чем многие его современники, притом, что изначально этот культурный багаж был общим. Не стоит давать скоропали-

тельные оценки и уверять, что эта интеллектуальная стратегия была аморальна и беспринципна. Ограничимся лишь констатацией пластичности идеологических приоритетов Вольпе, его несомненной воли конструктивно использовать имеющиеся обстоятельства для развития своих идей. Вспомним, что интеллектуальную проблему соотношения политики и морали в практическом ключе решал еще компатриот Вольпе – Макиавелли, с творчеством которого, как и со всем богатством ренессансной мысли, Вольпе был знаком с юных лет. Вероятно именно глубокая укорененность интеллектуала Вольпе в традиции Нового времени, использование всего богатства этих традиций, позволили ему сохраниться как личности, одновременно интегрироваться в социум периода фашизма, и затем пережить его, оставшись в восприятии наследников своего интеллектуального вклада, именно человеком культуры Нового времени, представителем интеллектуальной среды прекрасной эпохи рубежа веков до Первой Мировой войны.

Своеобразной компенсацией или жертвой, принесенной ради сохранения наследия Вольпе как медиевиста, в конце концов стало крушение вполне интересной и своеобразной части его интеллектуального творчества, которая была посвящена Новому времени. Но на взлете карьеры ученого все обстояло наоборот, историк Вольпе, получивший признание как медиевист, на время прекратил исследования средневековья и взялся за создание концепции становления нации – Рисорджименто, в которую историк, сформировавшийся как медиевист, внес проблему «корней» и континуитета. Как уже упоминалось, современная историография повсеместно в Европе считает этот континуитет ложным, но в популистском дискурсе такая точка зрения продолжает существовать. С другой стороны, Вольпе проанализировал комплекс международных отношений как важный фактор дела Рисорджименто, что не было очевидным для многих его предшественников и современников. Однако если концепции Средневековья в интерпретации Вольпе прочно вошли в историю науки, то, к сожалению, комплекс его воззрений относительно Рисорджименто рисковал остаться вовсе не известным, тираж сочинения Вольпе уничтожался как приверженцами республики Сало, так и победившим антифашистским режимом. В первом случае причиной ненависти бывших соратников стало то, что историк, видя крушение фашистской системы, стал склоняться к высокой оценке роли монархии в истории, памятуя о своих юношеских монархических взглядах. Во втором случае концепция Рисорджименто в трактовке Вольпе искоренялась, поскольку сочинения по новой истории в исполнении интеллектуала фашистского времени казались более опасными и вредными, чем его же средневековые штудии.

В целом же по окончании господства фашистской идеологии работы Вольпе, историка, известного интеллектуальной поддержкой павшего фашистского режима, не были отвергнуты, отчасти – поскольку они обладали вполне самостоятельным и ценным контентом, отчасти потому, что сразу после падения фашистского режима Вольпе вернулся к теме своих молодых исканий – истории Средневековья, и эта тема получила признание и вызывала большой интерес в период послевоенного восстановления Италии.

Естественно, средневековые сюжеты в освещении Вольпе носили отпечаток прежних наработок, проделанных в либеральном ключе, и, кроме того, поддерживали своим патриотическим пафосом моральный дух итальянцев, учащейся молодежи, которая, в отличие от немецкой, не была ориентирована на идеалы покаяния и самоотрицания.

Возможно, эта черта помогла Вольпе, несмотря на его фашистское мировоззрение, закрепиться в учебной программе подготовки итальянцев не только в западных университетах, но и в программе подготовки советских медиевистов – естественно, ориентированной на узкий круг специалистов, но все же вполне официальной. Кроме того, за свою долгую жизнь Вольпе сумел увидеть циклическое повторение некоторых идейных тенденций и интересов – по счастливому совпадению, время работало на мэтра, а не против него. Пример такого почти незатухающего полностью, а время от времени даже ярко разгорающегося интереса – изыскания Вольпе на тему сект и еретических учений.

Его труд, сфокусированный на изучении еретических, по своему – диссидентских, движений, труд, исполненный с блеском и широким охватом материала, стал подлинным бестселлером интеллектуальной культуры, который переиздавался семь раз с 1920-х по 1990-е годы, но, особенно интенсивно в 1970-е годы¹⁶. Именно таким образом интерес к изучению роли молодежи в динамике социальных процессов, а также к истории ересей и еретических народных течений, проявленный Вольпе в его медиевистических штудиях, может интерпретироваться, если не как предсказание молодежных движений XX века, в том числе – событий 1968 года, то как путеводная звезда в дальнейшем изучении этих социальных феноменов.

В конечном итоге само имя Вольпе и успех его трудов, написанных уже в послевоенное время, закрепили память и авторитет той ин-

¹⁶ *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli 11. – 14.* Firenze: Vallecchi, stampa 1922 (2a ed. 1926 [ripubblicato più volte a Firenze da Sansoni – 1961, 1971, 1972, 1977 – nel 1997 a Roma dall'Editore Donzelli, con introduzione di Cinzio Violante.

теллектуальной группы, к которой он принадлежал на исходе Нового времени, в свои молодые годы. Желания историографов и биографов Вольпе ассоциировать его с «либеральной», а не фашистской интеллектуальной средой, и неоспоримый вклад этого интеллектуала в развитие исторической мысли в Италии, послужили на благо той, по сути никогда и не сложившейся в институциональном плане школы, представителем которой был маркирован Вольпе в историографических очерках.

Новейшее время в каком-то смысле сделало Вольпе человеком Нового времени, дабы дистанцировать его наследие от фашизма, не замечая того, насколько сам фашизм (как и коммунизм) являлись проекциями духа рационализма Нового времени. Новейшее время придумало образ Вольпе – либерального интеллектуала начала века и затушевало его эволюцию, оставив ученому лишь одну культурную и интеллектуальную среду – школу исследований истории экономики и социума через призму юридических источников, которую ученый обогатил своим вкладом в начале века и между мировыми войнами.

Интеллектуальная составляющая дискурса итальянского фашизма создавалась буквально с нуля уже после прихода Муссолини к власти. Среди политиков-практиков не нашлось таких, которые стали бы теоретиками и творцами идеологических манифестов, и к созданию нового дискурса подключились историки, не просто знакомые с модным в начале века вульгарным марксизмом, но сформировавшиеся под влиянием такого рода историзма. При фашистском режиме этот интеллектуальный субстрат эволюционировал, формально порвав с левой идеологией, но не исчез полностью. Глобальная идеологическая задача, взятая на себя Вольпе, парадоксальным образом не препятствовала привычному для этого историка кропотливому изучению исторических казусов, серьезной источниковедческой работе. Но можно сделать вывод, что и источниковедческая подготовка или направленность на изучение казуса несколько не предохраняют историка от соблазнов тенденциозного толкования истории, а, возможно, напротив, побуждают к поискам общего идеологического начала, оберегающего сознание от дробности и фрагментарности.

Историк Вольпе и рано ушедший его коллега и соратник Ромоло Каджезе, став видными представителями фашистской идеологии, заняли особое статусное положение, которое позволило им возвести собственные интерпретации истории в особый ранг читаемых и почитаемых, тиражируемых объяснений истории. При этом дискурс экономико-юридических исследований, к которому изначально тяготел Вольпе, и который Кроче представлял себе как ответвление материализма и позитивизма, наполнился элементами, для позитивизма отнюдь не свойственными. В то же время фрагменты левой идеологии, с которой ассо-

цировался экономико-юридический тренд исследований в истории, сохранились в научном творчестве бывших представителей «экономико-юридической школы» и в работах их учеников, что объясняет отчасти, почему в период тоталитаризма в фашистской историографии сохранялись мотивы исследования религиозных народных движений, ересей, коммунальной революции, переустройства средневекового общества, противостояния городских общин и феодальной системы, сеньориальных структур.

Именно такая предыстория объясняет, почему и как в русле развития идеологически чуждых друг другу школ исторической мысли (например, либерально-марксистской и фашистской, фашистской и советской) формировались сходные идеи восприятия «народа», которые, в сущности, являются общей идеей восприятия истории как истории народов с точки зрения эпохи позднего Нового времени. Проекция этого представления, стремление не только создать концепт, но материализовать его, сделать антропоморфным объектом – например, укоренить нацию в глубину веков, в средневековую историю и наделить яркими зримыми бытовыми чертами – это тоже отличительная черта своеобразного историзма Нового, а не Новейшего времени.

Так кто же историк Вольпе – новатор или традиционалист? Вопрос о кризисах в методологических подходах историков и является весьма показательным для раскрытия образа науки того или иного периода, а также и образов ученых. Переломные моменты убедительно показывают: побеждает в теоретических спорах не самый тонкий теоретик и даже не самый ловкий софист, но тот, кто на практике меняет парадигмы исследования истории. Если же такая смена парадигм исследования происходит в период, когда реальная история страны испытывает кризисные моменты, то эффект разрыва с прошлым науки многократно усиливается в глазах наблюдателей. Но та практика, что кажется новаторством, в основе своей может быть и весьма архаичной, за исключением нескольких внешних атрибутов.

Наследие историка Вольпе – долгое эхо культуры Нового времени, которое XX век то активно адаптирует, то пассивно, но верно сохраняет, – вплоть до нового удачного момента ре-актуализации. Рассматривать эту личность можно и нужно в связи с проблемами долгосрочного влияния и преемственности идей Нового времени. Интеллектуальная биография Вольпе вписана в контекст формирования образа исторической науки двадцатого столетия, причем этот пример наглядно показывает мощные силовые линии взаимодействия поля науки и поля политики.

Библиография

- *Artifoni E.* Crivellucci, Salvemini, Volpe e una rivista che non si fece. Nota in margine a una ricerca su Gaetano Salvemini storico del medioevo // *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*. XIII. 1979. P. 273–299.
- *Idem.* Salvemini e il medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento. Napoli, Liguori, 1990.
- *Idem.* Gioacchino Volpe e i movimenti religiosi medievali // *RM Rivista*, VIII, 2007. <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm>.
- *D'Alessandro V.* Salvemini medievista / Gaetano Salvemini fra politica e storia. Laterza, Bari-Roma, 1986. P. 139–197.
- *Caggese. R.* Classi e comuni rurali nel medio evo italiano, vol. 1–2. Firenze, 1907–1909.
- *Capitani O.* Da Volpe a Morghen: riflessioni eresiologiche a proposito del centenario della nascita di Eugenio Duprè Theseider // *Studi medievali*, s. III, 40 (1999). P. 305–321.
- *Capriglione F.* La metodologia storiografica di Romolo Caggese tra positivismo e storicismo. Foggia, Grafisud, 1981.
- *Croce B.* La storiografia in Italia dai cominciamenti del secolo decimo nono ai giorni nostri. XVII. La storiografia economico-giuridica come derivazione del materialismo storico // *La Critica*, XVIII (1920). P. 323, 326.
- *Idem.* Storia della storiografia italiana nel secolo decimo nono. Bari, Laterza, 1921. P. 257–258.
- *Larner J.* Italy in the age of Dante and Petrarch 1216–1380. 4 ed. L., 1991.
- *Marinelli F.* Gioacchino Volpe storico e politico // *Rassegna trimestrale di Abruzzistica*. 1. 1977. P. 77–82.
- *Moretti M.* Il giovane Salvemini fra storiografia e scienza sociale// “*Rivista Storica Italiana*”. CIV (1992). P. 203–245.
- *Moretti M.* Salvemini e Villari. Frammenti / Gaetano Salvemini metodologo delle scienze sociali. Rubbettino, 1996. P. 19–68.
- *Normanno G.* Il Medioevo di Romolo Caggese. Foggia // *Centrografico Francescano*. 2000.
- *Roberts D.D.* *Historicism and Fascism in Modern Italy*. Toronto: University of Toronto Press, 2007.
- *Rodolico N.* Gaetano Salvemini // *Archivio Storico Italiano*. CXV. 1957.
- *Silva P.* Gaetano Salvemini. L'Italia che scrive. I, 3. 1918.
- *Sestan E.* Salvemini storico e maestro // *Rivista storica italiana*. LXX (1958). P. 5–43.
- *Sestan E.* Lo storico Gaetano Salvemini. Bari, 1959.
- *Atti del Convegno su Gaetano Salvemini*, Gabinetto Scientifico Letterario di G. P. Vieuvsseux. Firenze. 8–10 novembre 1975 / a cura di E. Sestan. Milano, 1976.
- *Sestan E.* Salvemini storico del Medioevo, // "Atti del Convegno su Gaetano Salvemini". Gabinetto Scientifico Letterario di G. P. Vieuvsseux. Firenze. 8–10 novembre 1975 / a cura di E. Sestan. Milano. 1976. P. 47–67.
- *Ventura A.* Romolo Caggese tra storiografia e politica (1881–1981) // *Rassegna di Studi Dauni*. VII–VIII (1980–1981). P. 177–270; Estratto, Foggia, Editrice Apulia, 1981.
- *Violante C.* Appunti sulla formazione di Gioacchino Volpe // *Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici*. IX. 1985–1986. P. 301–317.

- *Violante C.* Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa medioevale. Introduzione a G. Volpe // Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà (secoli XII–XIII), nuova ed. Firenze, Sansoni. 1970 (Biblioteca storica Sansoni, n.s., 48). P. IX–LVIII.
- *Violante C.* Gioacchino Volpe: il periodo pisano (1895–1906) // Studi e ricerche in onore di Gioacchino Volpe nel centenario della nascita (1876–1976). L'Aquila-Roma, Deputazione di Storia Patria per gli Abruzzi. 1978. P. 153–184.
- *Vivarelli R.* Ernesto Sestan tra Salvemini e Volpe / Ernesto Sestan, a cura di Angelo Ara e Umberto Corsini. Trento, 1992. P. 69–93.
- *Gioacchino Volpe e la storiografia del Novecento* (Atti dei seminari, Milano, 11-12 febbraio e Roma, 3-4 marzo 2000) // «L'Acropoli», (2006), 7.
- *Volpe G.* Il Medioevo. Firenze: Vallecchi. 1927 [Sansoni. 1958].
- *Volpe G.* Medio Evo italiano. Firenze: Vallecchi. 1 ed. 1923. [Laterza. 2003].
- *Volpe G.* Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli 11. –14. Firenze: Vallecchi, 1922; 2a ed. 1926; Sansoni – 1961, 1971, 1972, 1977; Roma: Editore Donzelli, 1997.
- *Volpe G.* Corsica. Milano: Istit. Edit. Scientifico, 1927.
- *Volpe G.* Guerra, dopoguerra, fascismo. Venezia: La nuova Italia, 1928.
- *Volpe G.* L'impresa di Tripoli (1911–1912). Roma: Ed. Leonardo, 1946.
- *Volpe G.* L'Italia che fu: come un italiano la vide, sentì, amò. Milano: Le edizioni del Borghese, 1961.
- *Volpe G.* Romolo Caggese. Classi e Comuni rurali nel M. E. italiano. Saggio di storia economica e giuridica // La Critica. VI. 1908. P. 263–278, 361–381.
- *Volpe G.* L'Italia in cammino: l'ultimo cinquantennio. Milano: Treves, 1927.
- *Volpe G.* L'Italia nella Triplice alleanza (1882–1915). Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939–1940.
- *Volpe G.* L'Italia moderna. Firenze: Sansoni, 1949–1952.
- *Volpe G.* Lunigiana medievale: storia di vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15. Firenze: La voce, 1923.
- *Volpe G.* Ritorno al paese: Paganica : memorie minime. Roma: A. Urbinati, 1963.
- *Volpe G.* Scritti sul fascismo: 1919–1938; con prefazione di Piero Buscaroli. Roma: Volpe, 1976.
- *Volpe G.* Storia del movimento fascista. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939 e 1943.
- *Volpe G.* Storia della Corsica italiana. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939.
- *Volpe G.* Storici e maestri. Firenze: Vallecchi 1924 [Nuova ed. accresciuta Firenze: Sansoni, 1967].
- *Volpe G.* Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Nuova ed. Firenze: Sansoni, 1970.
- *Volpe G.* Toscana medioevale: Massa Marittima, Volterra, Sarzana. Firenze: Sansoni, 1964.
- *Volpe G.* Volterra: storia di Vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15. Firenze: La Voce, 1923.
- *Volpe G.* Questioni fondamentali sull'origini e primo svolgimento dei comuni italiani / Medio evo Italiano. 2 ed. Firenze, 1961 (3-ed. Roma, 1992).

5.3. ТРИ ВОЗРАСТА АРНОЛЬДА ДЖОЗЕФА ТОЙНБИ

Среди написанных в XX веке книг двенадцатитомное «Постижение истории» А. Тойнби, пожалуй, одна из самых нашумевших и знаменитых. Появление этого труда вызвало огромный поток откликов и интерпретаций, породив внушительную по своему объему «тойнбиану»; отголоски этих некогда многочисленных споров до сих пор можно услышать в зарубежной и отечественной периодике. Именно отголоски, потому что, если говорить о современном состоянии мировой тойнбианы, следует отметить ее крайне слабый интерес не только к Тойнби-мыслителю, но и к Тойнби-человеку. Но если первая ипостась Тойнби, некогда активно обсуждаемая, а сегодня неоправданно преданная забвению¹, нет-нет да и привлечет чье-нибудь внимание, то вторая до недавнего времени практически не интересовала отечественного исследователя². «Канва жизни» британского мыслителя, в значительной мере структурировавшая весь его личный и профессиональный опыт, зачастую рассматривается как перечень внешних детерминант, *внешних событий*, которыми не следует объяснять все многообразие тойнбианских идей. Конечно, любая абсолютизация, в том числе абсолютизация роли личной биографии в формировании особенностей тойнбианского взгляда на историю, недопустима. Однако в данном случае речь идет о другой крайности.

Что такое «внешние события»? Либо они доходят до человека и тогда они – внутренние, либо не доходят, и тогда их нет для человека, они его просто не касаются. Все, в чем человек присутствует, – событие внутреннее, накладывающее отпечаток на работу мысли и сознания, иногда даже мешающее их привычному ходу. Таких событий в жизни Тойнби было много, а если помножить на творческий множитель, – неизмеримо больше, чем у большинства людей. И самое важное из них – нескончаемое событие собственного становления. Ведь всякое творчество – это перемалывание, переламывание жизни. Жизнь – сырьем – на потребу творчеству не идет. Игнорировать это – значит, иметь существенные

¹ См. об этом: *Воробьева О.В.* Парадоксы восприятия А. Тойнби в современной российской историографии // Диалог со временем. № 4. М., 2001. С. 259–276.

² Исключением можно считать попытку Е.Б. Рашковского реконструировать элементы интеллектуальной биографии Тойнби, рассмотрев его становление как историка-теоретика. – *Рашковский Е.Б.* Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А.Дж. Тойнби. М., 1976. С. 65–92.

пробелы, зияющие дыры в понимании мировоззренческого облика мыслителя, а также допускать серьезные ошибки в интерпретации всего творчества Тойнби. Предпринятая здесь попытка воссоздать ключевые моменты личной и интеллектуальной биографии британского историка – всего лишь первый шаг к *другому* Тойнби, которого мы только-только начинаем узнавать.

Рождение историка

Арнольд Джозеф Тойнби родился 14 апреля 1889 года в Лондоне в буржуазно-интеллигентской семье, принадлежащей к среднему классу. Его дед Джозеф Тойнби был врачом-отолорингологом – лечил королеву Викторию, занимался научными изысканиями в области медицины и вращался среди интеллектуальной элиты тех лет. Среди его друзей и знакомых – Джон Стюарт Милль, Джон Раскин, Майкл Фарадей, Бенджамин Джоветт и Джузеппе Мадзини³. Не удивительно, что некоторые из детей Джозефа Тойнби выбрали для себя именно научное поприще: дочь Грейс и ее муж специализировались в области биохимии, сын Арнольд (тезка нашего героя) стал известным историком, да и младший сын Гарри (отец Арнольда Джозефа) под влиянием старшего брата мечтал об университетской карьере. И хотя мечтам сбыться не удалось, влияние брата даром не прошло, о чем будет сказано ниже. В 1887 г. Гарри Тойнби (1861–1941) женился на Саре Эдит Маршалл (1859–1939), и через два года в их семье появился первенец и единственный мальчик, которого в честь знаменитого дяди назвали Арнольдом. Впоследствии, по настоянию многочисленных родственников и дабы избежать путаницы, Арнольд Тойнби возьмет за правило подписывать свои работы с указанием третьего имени – Арнольд *Джозеф* Тойнби.

В раннем детстве маленький Арнольд испытал соприкосновение с тем, чем впоследствии будет заниматься всю жизнь, и это была *История*. Укладывая сына спать, мать рассказывала ему на ночь сюжеты из британской истории, закладывая тем самым основы его исторического сознания. В свое время, будучи молодой женщиной, мать Тойнби захотела получить университетское образование (и это в то время, когда женщины даже не мечтали об университетах). Только Кембридж давал тогда женщинам возможность слушать университетские курсы и сдавать экзамены без получения степени. Достаточно сказать, что на экзамене по современной истории она заняла первое место. После замужества обучение, как того требовали нормы среднего класса, пришлось забросить, но увлечение историей осталось. Поскольку в семье были проблемы с деньгами (Гарри Тойнби был самым младшим из восьме-

³ McNeill W.H. Arnold J. Toynbee: A Life. New York; Oxford, 1989. P. 3.

рых детей Джозефа Тойнби, и смерть отца заставила его постоянно думать о сохранении капитала в борьбе за право остаться в верхушке среднего класса), она решается на написание «Истории Шотландии» для детей. Главы своей книги она и пробовала на засыпающем сыне⁴. Истории из прошлого, рассказанные ею, вместе с другими книгами, безусловно, явились базисом интереса юного Тойнби к истории: «Я начал изучать латынь, когда мне исполнилось семь лет; но задолго до этого моя мать сделала из меня историка»⁵.

Мать Тойнби была умной, энергичной женщиной, сильной в англиканской вере и убежденной патриоткой. Ее патриотизм не был каким-то экстраординарным явлением – в условиях изменения центров притяжения в Европе и колониальной экспансии националистические идеи постоянно продуцировались в культурных продуктах XIX века (в Британии – Р.Л. Стивенсон, Г.Р. Хаггард, Дж.Р. Киплинг, во Франции – Ж.Г. Тард и т.д.). Не удивительно, что проникающее в сознание юного Тойнби материнское видение истории было наполнено национально-патриотическим содержанием. В ее рассказах войны и сражения явно превалировали над другими аспектами британской жизни, что нашло отражение в детских рисунках Тойнби, изображающих битвы между армиями зверей⁶. В результате, национализм оставался одной из характерных черт тойнбианского сознания вплоть до начала Первой мировой войны, события и последствия которой превратят его в ярого врага националистического видения истории и современности. Сказанное объясняет те аберрации в сознании Тойнби, которые можно обнаружить при внимательном прочтении его воспоминаний. Например, в автобиографической книге «Пережитое», описывая один из эпизодов своего путешествия по Греции в 1911/12 гг., он рассказывает случай, когда греки арестовали его по подозрению в шпионаже в пользу турок: «Меня провели по всем ступеням военной лестницы, пока мы не добрались до областного командования, и, чем выше было начальство, тем грубее я разговаривал. Однако все они смотрели на это весьма добродушно, а областной командир быстро во всем разобрался, и меня отпустили... В Афинах я поднял шум в британском посольстве. Они тактично мне посочувствовали, но благоразумно воздержались от каких бы то ни было действий. В конце концов, мне причинили лишь неприятность, но не причинили никакого вреда»⁷. Несколько другой взгляд на происшествие был изложен им в письме к матери, написанном сразу

⁴ Ibid. P. 7.

⁵ Три греческих образования // *Тойнби А. Дж. Пережитое*. М., 2003. С. 23.

⁶ *McNeill W.H.* Op. cit. P. 8.

⁷ *Тойнби А. Дж.* Указ. соч. С. 39.

после случившегося. Тойнби рассказывал, что он сразу же потребовал от греков доставить его в британское посольство, в котором выплеснул всю свою агрессию и злобу по отношению к «этим отсталым грекам». Далее он признавался, что понял теперь, почему иногда оживают расовые предрассудки, и надеялся как можно быстрее увидеть Австрию в Салониках, а Германию, марширующую в Анатолии и Багдаде⁸.

Есть дети с даром занятости, есть с жадной ее. Когда ребенок просит чем-нибудь его занять, из такого ребенка вряд ли выйдет творец, ибо собственной занятости ищет извне. Для Тойнби самым большим открытием и самой большой радостью в этот период его жизни были книги. Детских игр за редким исключением не существовало: мать и дядя Гарри прививали ему интерес к языку и чтению.

Упомянутый здесь дядя Гарри (1818–1909), в доме которого Гарри и Сара Тойнби проживали до тех пор, пока не смогли переехать в собственный дом, на самом деле приходился Арнольду двоюродным дедом – братом Джозефа Тойнби. По признанию внука, «дядя Гарри был первой личностью (если не считать моих родителей), которая оставила в моей памяти след на всю жизнь... Он был... частью той вселенной, в которой я пробудился к сознанию. Его можно считать одной из важнейших частей моего жизненного опыта...»⁹ Ударяясь в воспоминания о былом, отставной капитан Гарри Тойнби дарил немало радостных минут маленькому Арнольду, который к тому времени уже достаточно разбирался в истории, чтобы получать удовольствие, уносясь во времена полувековой давности: «...И весь этот широкий мир открывался мне не только в его рассказах, но и в редкостных антикварных вещичках, которые он вывез из своих плаваний», – вспоминал А. Дж. Тойнби¹⁰.

Влияние дяди Гарри на внука выражалось не только в расширении его исторического кругозора. Он, например, давал Арнольду по пенсу за заучивание страницы из Библии, в результате чего Тойнби в зрелые годы мог цитировать огромные куски из Ветхого и Нового Заветов. Дядя Гарри к тому же был религиозным фанатиком, непримиримым антипапистом и сторонником так называемой «низкой церкви»¹¹. Родители Тойнби проявляли больше терпимости в вопросах веры и шли срединным путем англиканства, стараясь предупредить сына от край-

⁸ McNeill W.H. Op. cit. P. 41–42, 43.

⁹ Дядя Гарри // Тойнби А. Дж. Мои встречи. М. 2003. С. 303.

¹⁰ Там же. С. 300, 303.

¹¹ В XVII–XX вв. в англиканской Церкви было три направления: Высокая Церковь, стремящаяся к компромиссу с католичеством; Низкая, акцентирующая протестантские корни англиканства; Широкая, призывающая к объединению всех протестантов, в т.ч. неангликан.

ностей. Трудно сказать, что именно заимствовал Тойнби из библейских текстов. Интересно отметить, что когда Тойнби был еще в младенчестве, капитан Гарри Тойнби опубликовал религиозный трактат, в котором он констатировал «величайшую неудачу человека сотворить себе кумира»¹². Его внук, спустя сорок пять лет после этого, эхом отзовется на эту интенцию с той лишь разницей, что осудит коллективное самопоклонение национализму как центральному злу человечества.

Среди лиц, относящихся к ближайшему окружению Тойнби и оказавших влияние на него в детстве, особо следует отметить уже упомянутого старшего брата отца – историка-экономиста Арнольда Тойнби (1852–1883), умершего в возрасте тридцати лет от менингита. Являясь по своим убеждениям радикалом-прогрессистом, он входил в группу единомышленников из Бейллиол-колледжа, ратовавших за преодоление барьера между средним классом и пролетариатом и являвшихся, таким образом, идейной предтечей фабианства. Воззрения Арнольда Тойнби-старшего нашли отражение в его экономических штудиях, прежде всего в труде «Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии». Мораль должна быть объединена с экономикой как практическая наука, – провозглашал он в своих лекциях по индустриальной революции в Англии, – ибо экономическая свобода, равно как и сама цивилизация, имеют значение только в том случае, если они способны сделать жизнь народа более чистой и возвышенной¹³. Отголосок этой идеи без труда можно найти у его племянника, оценивавшего социальный прогресс по критерию его содействия духовно-нравственным поискам человечества. Усилия Арнольда Тойнби-старшего по преодолению бедности привели группу его единомышленников к созданию в лондонском Ист-Энде Тойнби-холла – общества, в задачу которого входило распространение высшего образования среди бедноты. В результате этих усилий вплоть до Первой мировой войны его имя было одним из тех, к которым взывали в ходе дискуссий по «социальному вопросу». Не удивительно, что его ранняя смерть стала причиной почти что культа в его семье и круге его знакомых: «...Дядя Арнольд был в моих глазах возвышающимся на пьедестале полубогом, не имеющим возраста; ибо, начиная с раннего детства, я был пропитан этим семейным культом... Я считал бы мою жизнь очень хорошо прожитой, если бы к моменту моей смерти люди могли сказать, что я сделал для мира хотя бы половину того, что совершил для него к своим тридцати годам Арнольд Тойнби»¹⁴.

¹² *Toynbee H. The Basest Thing in the World. L., 1891. P. 27.*

¹³ См. русский перевод этой книги: *Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии. М., 1912.*

¹⁴ Тетушка Шарли // *Тойнби А. Мои встречи. С. 320, 321.*

Этот семейный культ в какой-то мере затронул и отца Арнольда Джозефа Тойнби – Гарри Тойнби. В 1883 году он устроился в качестве окружного секретаря в *Charity Society* – частную организацию аристократов и близкого к ним среднего класса, целью которой было научить бедных помогать самим себе. Капитал на этом поприще сделать он себе, конечно, не мог, что постепенно отдалило его от других, более преуспевающих представителей семейства Тойнби. Он работал в этом Обществе до тех пор, пока социалистические идеи не стали проникать в сознание пролетариата, поднимая его на борьбу за свои права. С этого времени они уже не казались благом, ради которого он жил и работал. Гарри Тойнби отказался от этой работы в 1907 г., попав в психиатрическую больницу. И хотя он выздоровел и вернулся к обычной жизни, нормальной она уже никогда не была¹⁵.

Впоследствии, когда Тойнби в зрелом возрасте идентифицирует себя как либерала школы Кэмпбелла-Баннермана¹⁶, думается, что произойдет это не без влияния дяди и отца. Генри Кэмпбелл-Баннерман – британский государственный деятель, премьер-министр 1905–1908 гг., лидер Либеральной партии с 1899 г. – был, в отличие от предшествующих лидеров либералов – сторонников неограниченной свободы рынка, приверженцем государственного вмешательства в экономику с целью проведения социальных реформ и уменьшения разрыва между бедными и богатыми. В годы обучения Тойнби в университете юношеский максимализм заводил его даже дальше этой программы. Так, в 1909 г. в письме к своему другу Дарбиширу он заявил, что только что стал фабианцем¹⁷. Но социализм всегда был для Тойнби не более чем маленькой прихотью – он никогда не предпринимал серьезных попыток помочь бедным, как это делали его дядя или отец.

Думается, что материальные затруднения, в которых постоянно находились родители Тойнби, не в меньшей мере наложили отпечаток на характер юного Арнольда, чем царившая в семье атмосфера интеллектуального любопытства и научного поиска. «Человеческая натура, даже когда имеет естественную склонность к какому-то ремеслу или искусству, обычно отвращается от желания действовать, если человек знает, что имеет возможность существовать комфортно, не прилагая к тому никаких усилий... Совесть и честолюбие способны выступать в качестве замещающего стимула, но для этого они должны достичь очень высокой степени, а такое бывает редко. Для большинства из нас

¹⁵ Об этом периоде жизни Гарри Тойнби см.: *Mowat Ch. L. The Charity Organization Society, 1869–1919: Its Ideals and Work. L., 1961. P. 105, 147, etc.*

¹⁶ Тетушка Шарли // *Тойнби А.* Указ. соч. С. 315.

¹⁷ *McNeill W.H. Op. cit. P. 30.*

непременным стимулирующим уколом должен стать укол необходимости»¹⁸, – написал Тойнби уже на склоне лет.

Таков был опыт Тойнби, приобретенный им в родительском доме. В десятилетнем возрасте его отдают в одну из школ, готовящих к поступлению в элитные учебные заведения. За ней последовали частная школа в Винчестере (1902–1907) и Бейллиол-колледж Оксфордского университета (1907–1911). В них Тойнби попадает в атмосферу интеллектуальной состязательности, в которой ценились не только аристократизм происхождения, но и аристократизм таланта. Обучение здесь шло как на учебных занятиях, так и во внеаудиторное время – в научных дискуссиях с преподавателями или в дискуссионном клубе, где студенты читали друг другу и обсуждали рефераты по истории.

Уже в школе стало ясно, что Тойнби по своему складу явный гуманитарий. Ему не нравились естественные науки, на которые в первые годы обучения приходилось тратить много времени. Он и в дальнейшем не будет проявлять к ним особого интереса, хотя со временем осознает важность естественнонаучного образования: «Если бы я занялся математическими исчислениями или хотя бы попробовал их изучать, это дало бы мне в будущем гораздо более глубокое понимание Вселенной... Мне предстояло жить в Западном мире в период его перехода из современной в постсовременную эпоху его истории, а математика, подобно оснастке парусного судна (как учил меня Освальд Шпенглер), служит продвижению вперед и адекватному проявлению современного западного гения... Таким образом, выбор, который я сделал, оказался ошибочным, и все же вполне естественно, что я сделал именно такой выбор»¹⁹.

Центральное место в обучении юного Тойнби занимали древнегреческий и латынь, причем последняя как в классическом, так и в средневековом вариантах. Студенты учились не только читать на древних языках, но и писать на них небольшие произведения. Показательно, что впоследствии все наиболее важные и эмоционально значимые вещи Тойнби будет выражать именно на древних языках: «Для меня лично одним из следствий этого мощного гуманитарного образования стало то, что, попав к нему навеки в плен, я оказался отчужденным от моего родного языка. На жизненном пути человека бывают случаи, когда его чувства оказываются затронутыми так глубоко, что для полной разрядки и самовыражения их необходимо облечь в особые, единственно верные слова. Когда такое случается со мной, слова эти оказываются не моими родными, английскими, а либо греческими, либо латинскими»²⁰.

¹⁸ Дядя Гарри // *Тойнби А.* Указ. соч. С. 291–292.

¹⁹ *Тойнби А.* Пережитое. С. 18–19.

²⁰ Там же. С. 21. См. также: *McNeill W.H.* Op. cit. P. 15.

Изучение древних языков и древней истории дополнялось небольшим курсом современной истории, а также английским языком и литературой. Самое большое влияние на Тойнби в школьные годы оказал преподаватель античной истории Монтегю Джон Рендалл (*Montague John Rendall*), который отличался чрезвычайной увлеченностью своим предметом. Он приносил студентам слайды с изображениями исторических пейзажей античной истории, и это визуальное сопровождение скупых исторических учебников будоражило сознание юного Тойнби. Кроме того, Рендалл увлекался живописью эпохи Ренессанса, благодаря чему Тойнби приобрел бесценный опыт наслаждения изобразительным искусством²¹.

А вот интерес к географии сформировался у него в эти годы под влиянием родственников – уже упомянутых выше ученых-биохимиков, в доме которых он гостил в 1903 г. во время ремиссии от перенесенной пневмонии, и которые подарили ему первый в его жизни исторический атлас. Карты настолько увлекли юного Тойнби, что он начал составление собственной *“Drawing Book”* – серии чертежей и картинок, родившихся в его сознании под влиянием увиденного. Чаще всего это были солдаты – египетские, ассирийские, персидские, византийские и даже солдаты армии Кромвеля. Все они вырисовывались со скрупулезным вниманием к элементам одежды и вооружения. Но подлинным шедевром книги стали карты, каждая из которых была посвящена одной из исторических тем. Здесь, например, были «Империя Александра Македонского», «Военные провинции Византийской империи», «Римская империя», «Африка в системе европейских колоний XIX века», наконец, «Британская империя»²². Для того чтобы создать многие из этих карт, Тойнби приходилось прочитывать тома сопутствующей литературы. А как иначе нарисовать карту «Мир в X веке» или «Мир в XII веке»? Эффект от этих занятий был колоссальный. Тойнби, например, понял, что Ближний Восток – это не только Ближний Восток периода завоеваний Александра Македонского. Это было занятие, которое помогло ему выйти далеко за пределы традиционной исторической любознательности, культивируемой в то время в британских школах.

Анализ школьных эссе Тойнби дает представление о кругозоре будущего историка, а также помогает понять роль школьного образования в формировании тойнбианского мировоззрения. Уже тогда в его сочинениях появляется цивилизационная проблематика. Конечно, обращение к ней не было в то время какой-то эвристикой. Под влиянием целого ряда разноплановых исторических обстоятельств (широкая ко-

²¹ Тойнби А. Мои встречи. С. 322–326. См. также: McNeill W.H. Op. cit. P. 14.

²² Ibid. P. 16–17.

лонияльная экспансия и начавшийся вслед за ней процесс вестернизации; потеснение в маргинальность просветительских идей, расцвет исторической науки и утверждение романтизма и позитивизма, которые, несмотря на разную трактовку, были едины в требовании внимания к локальным сообществам и т.д.) во второй половине XIX – начале XX в. идея переосмысления господствующих представлений об историческом процессе, что называется, витала в воздухе.

Занятия античной историей становились дополнительным стимулом к актуализации этой проблематики. В частности, в написанном в годы обучения в Винчестере эссе о Византийской империи под властью Македонских императоров Тойнби заявлял: «Две цивилизации, которые гений Рима на мгновение перемешал, снова разошлись в разные стороны, причем в более антагонистической форме, нежели ранее». Кроме того, его исследования Ближнего Востока позволили ему вслед за Геродотом говорить о противостоянии Востока и Запада. Но в отличие от других, также пользовавшихся этой дихотомией, Тойнби не был готов заявить, что Запад всегда прав или является реальным носителем цивилизации. Наоборот, говоря о Византии, он утверждал о неблагодарности, «продемонстрированной западными людьми в отношении нации»²³, которая столь многому их научила и которая столь много веков была их оплотом против всегда покушающегося Востока»²⁴. Таким образом, Византия в его понимании была цивилизацией, отличной как от Запада, так и от Востока. Это утверждение также не было собственно тойнбианским, но он не просто вычитывал фразы из древних текстов, а делал их центральными в своих последующих рассуждениях, в своем способе мышления. Все эти детские наития, первые работы – встреча знания с сознанием – несомненно, оказали влияние на формирование его мышления, если не актуально, то потенциально.

Параллельно с научным мировоззрением расширялись и горизонты политического сознания. Одно из школьных эссе Арнольда Тойнби было посвящено проблеме: «Может ли государство оставаться свободным, являясь империей для других государств?». Релевантность подобной тематики событиям в Британской империи начала XX века очевидна. Тойнби отвечает, подражая голосу римского сенатора эпохи Августина: «Нельзя свободному человеку навязать управление другими людьми без потери своей собственной свободы»²⁵. Этот вердикт шел вразрез с мнением правителей Британской империи, коими так гордились его родители. Таким образом, поступивший в 1907 г. в Оксфорд

²³ Sic! Тойнби в это время часто подменяет понятия «цивилизация» и «нация».

²⁴ *McNeill W.H.* Op. cit. P. 17–18.

²⁵ *Ibid.* P. 18.

молодой человек явно обладал самостоятельностью мышления и намеревался развивать свой собственный взгляд на мир, демонстрируя интеллектуальную независимость и корректируя представления своих родителей, родственников и учителей.

В Бейллиол-колледже основными дисциплинами по-прежнему оставались древние языки, однако новые теоретические веяния, преимущественно в философии, политике и экономике, начинали подрывать устоявшиеся доктрины и исследовательские традиции. Прежде всего, речь идет о той внутренней и внешней критике позитивизма (она стала особенно актуальной на рубеже веков), в рамках которой стали появляться сомнения в объективном и позитивном характере социально-исторического познания, а также предприниматься попытки утвердить идею отличия исторического познания от естественнонаучного и одновременно защитить его научный статус. В противоположность традиционным представлениям утверждалась активная роль познающего субъекта в процессе исторического познания. В результате, возник тот сложный конгломерат представлений, который принято называть «философией жизни», где жизнь понималась как первичная, целостная реальность, соединяющая рациональное и иррациональное, сознательное и бессознательное, как поток непрерывных и одновременно прерывистых переживаний, а философия – не как наука, а как способ познания этой жизни/реальности, составляющей основу человеческого существования и деятельности нашего разума (А. Бергсон, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель и др.)²⁶.

Большинство практикующих английских историков в те годы мало интересовались теоретическими проблемами исторического знания, поэтому теоретические новшества врывались в сознание Тойнби опосредованно, прежде всего благодаря отдельным лицам из его окружения. Одним из них был А. Линдсей – философ, интересующийся скорее современной, нежели древней философией²⁷, в том числе философией Анри Бергсона. Его версия бергсоновской философии оказала значительное воздействие на Тойнби в 1907–1911 гг., о чем свидетельствует, в частности, написанное им небольшое эссе «Механизация: проблема дуализма». В этой философской, по своей сути, работе Тойнби пишет о борьбе двух начал бытия, в которой любой успех Жизни оборачивается поражением Механизации и наоборот. В процессе осознания себя Жизнь лишает себя жизненной силы: язык становится машиной посредством грамматики, мораль окостенеет в законе и традиции в результате механической формализации, происходящей под влиянием

²⁶ См. подробнее: *Философы двадцатого века*. Кн. первая. М., 2004. С. 11–12.

²⁷ *Scott D. A.D. Lindsay: A Biography*. Oxford, 1971.

разнообразных обстоятельств. После тридцати страниц рассуждений в подобном духе следовал вывод, что этот «комплексный, трагический, дуалистический Мир и есть единственная Реальность»²⁸.

Думается, что влияние Бергсона на Тойнби было гораздо более глубоким, чем это заметно при чтении его юношеского произведения. Как известно, Бергсон утверждал, что специфический признак всего живого – самопроизвольность, не подчиняющаяся никаким причинно-следственным зависимостям, т.е. человеку как живому существу не задана никакая жизненная программа, более того, самой судьбой ему вменено в обязанность искать и творить новые формы жизни. Все, что мы фиксируем в качестве норм, принципов или законов, есть не что иное, как результат прохождения «жизненного порыва» (потребности творчества) через материю. Из такого понимания реальности следовал вывод о том, что для соприкосновения с ней недостаточно научных конструкций или понятий, поскольку все они – из «другого» опыта, а потому всегда относительны, так как зависят от выбранной системы координат, точки зрения, ракурса рассмотрения²⁹.

Воздействие этих идей на Тойнби заметно даже при поверхностном чтении. Исследователи отмечали, что он часто оперирует такими важными бергсоновскими понятиями как «жизненный порыв», «творческое меньшинство» и т.д., хотя смысловое наполнение этих понятий у Тойнби не всегда чисто бергсоновское³⁰. Очевидно, что и тойнбианское понимание свободы как осознанной возможности реализовать свое человеческое достоинство, а следовательно, представление о персоналистичности и человеческой одухотворенности истории тоже сформировались не без влияния Бергсона. К сожалению, остается незамеченным другое: под воздействием Бергсона в сознании Тойнби утверждается такое понимание процесса исторического познания, в ходе которого конструируется не объективная реальность, а познавательный ход, интеллектуальная конструкция, если выражаться словами самого Тойнби, «интеллектуальное поле» исследования, при помощи которого можно посмотреть на полноту жизни. Непонимание именно этой особенности тойнбианской методологии, выразившееся в онтологизации созданных им интеллектуальных конструкций, и стало источником трудностей в понимании его творчества большей частью мыслителей XX века.

Тойнби и в зрелые годы останется верен многим положениям бергсоновской философии, за исключением одного – того самого, ко-

²⁸ McNeill W.H. Op. cit. P. 28.

²⁹ См.: Кузьмина Т.А. Анри Бергсон // Философы двадцатого века. С. 11–23.

³⁰ См., например: Рашковский Е.Б. Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А. Дж. Тойнби. М., 1976. С. 78–80.

торое отражено в последней фразе приведенного выше отрывка юношеского эссе и которое наносит удар не только по усвоенной с молоком матери англиканской вере, но и по вере в самого Бога. Тойнби вдруг обнаружил, что отрицает христианство «как с позиций философии, так и с литературно-исторической точки зрения»³¹. Помимо философии Бергсона, в немалой степени этому способствовала появившаяся в 1890 г. посвященная магии и религии книга Д.Г. Фрезера *“The Golden Bough”*. Компаративный метод Фрезера, примененный в изучении возникновения и развития мифов и ритуалов, фактически приглашал к сравнению евангелистских чудес с историями, рассказанными греко-римскими авторами. При таком сопоставлении христианство представляло лишь как одна из обыкновенных религий-мистерий. В одной из своих работ университетского периода Тойнби утверждал, что христианство возникло из синтеза языческой и иудейской традиции в ответ на нужды конкретного времени и пространства, поэтому оно мало подходит для универсальной и вечной истины³². Впоследствии перипетии личной жизни А. Тойнби, а также постепенная утрата веса бергсонизма заставят его пересмотреть это утверждение.

Секуляризация сознания в свою очередь не могла не повлиять на изменение проблематики исследований. Дело в том, что гуманистическая традиция европейского образования, опиравшаяся на теологию, концентрировала свое внимание на достаточно узких периодах античной истории, когда язык и литература добивались особых успехов – Греция Перикла и Платона, например, или Рим Цицерона и Вергилия. К началу XX века эта традиция стала уходить в прошлое. Теология отодвигалась в маргинальность, библейские тексты теснились светскими, которые, благодаря немецкой школе анализа источников, исследовались средствами гуманистической филологии. В русле этих подвижек британская антропологическая традиция изучения первобытного общества приглашала классицистов гуманитарной традиции расширить рамки своей юрисдикции и обратить внимание на популярные и иррациональные аспекты мышления древних; другими словами, предлагалось обратить внимание на то, что было до и после «золотых веков».

Юный Тойнби еще в школьные годы предпринимал попытки выйти за пределы традиционных тем и периодов. Он не раз критиковал своих учителей за то, что они уделяют основное внимание так называемому Цицероновскому периоду римской истории, жертвуя при этом другими: «В конце концов, Диоклетиан оказал не меньшее влияние на современный мир, чем Вергилий», – писал Тойнби в 1907 г. в письме к

³¹ McNeill W.H. Op. cit. P. 25–26.

³² Ibidem.

родителям³³. Теперь он буквально нырнул в этот водоворот с головой. Его образование сконцентрировалось на классических, языческих, по сути, писаниях. Последовавший за потеснением традиционного христианства упадок духа в поздневикторианской Англии его не волновал.

Еще одно наитие школьных лет получит свое развитие в университетские годы. Речь идет о тойнбианской убежденности в наличии определенной корреляции между древней и современной истории, что специалисты того времени, как правило, отказывались признавать. Заявка на подобное видение истории впервые прозвучала в уже упомянутом школьном эссе, посвященном Византийской империи под властью Македонских императоров. В период обучения в университете это юношеское убеждение выльется сначала в поиск параллелей и сходных мест между событиями древности и современности, а затем – в первые намеки на циклический путь развития цивилизаций, который в 1920-е годы станет центральным в его исследованиях. Уже тогда он пытался сравнивать персидское вторжение в Грецию с завоеваниями наполеоновской армии или Оттоманской империи. Уже тогда, видя в древней истории взлеты и падения, он пытался рассматривать современность в рамках античного цикла. Например, древний Крит он сравнивал с современной ему Англией. Он отмечал, что завоеватели Минойской цивилизации влили северную кровь в Миной и Грецию, что аналогично циклу европейского развития в период перехода от Темных веков к Ренессансу. Таким образом, не веря, что история повторяется в точности, Тойнби был уверен в наличии параллелей³⁴.

Появлением и развитием подобных представлений Тойнби в незначительной степени обязан своим университетским преподавателям Гилберту Мюррею (*Gilbert Murray*) и Альфреду Циммерну (*Alfred Zimmern*). Мюррей был профессором греческого языка, известным своими переводами Еврипида, Софокла, Аристофана и других мыслителей Греции. Повидимому, ему удалось ухватить и аккумулировать в своих исследованиях и преподавательской деятельности очень важное новшество тех лет: «слова, мысли и чувства древних вполне релевантны современному человеку»³⁵. В 1913 г. Мюррей к тому же станет тестем Тойнби³⁶. Влияние Мюррея хорошо отражено в более поздней тойнбианской заметке «Как работает историк». В конце статьи он утверждает, что историк должен иметь нечто подобное второму зрению, своего рода интуицию, чтобы

³³ Ibid. P. 16.

³⁴ Ibid. P. 32.

³⁵ См.: *Murray G. An Unfinished Biography*. L., 1960. P. 15. О новаторстве Мюррея свидетельствует его книга: *Murray G. Five Stages in Greek Religion*. L., 1912.

³⁶ В 1913 году Тойнби женился на Розалинде Мюррей.

видеть прошлое так, как будто бы оно находится перед ним. И добавляет: «Искусства и историописание схожи друг с другом, поскольку оба представляют собой попытку воображения влиять на опыт»³⁷. «Я благодарен моему старомодному классическому образованию, что оно уберегло меня от понимания человеческих проблем в духе немецкого 19 века»³⁸. Эти взгляды Тойнби не только остались неизменными на протяжении его жизни – он культивировал их в своих изысканиях.

Альфред Циммерн был преподавателем древней истории, которая, благодаря ему, приобретала для его слушателей практическое значение: «...Циммерн умел добиться этого, перебрасывая какое угодно количество мостов через реку времени между современной историей и древней. Очевидно, что его интерес к греко-римскому миру, такой же глубокий, как и мой, не исключал одновременного интереса к миру современному. Пример Циммерна показал мне, что оба эти интереса могут уживаться в одной голове, лишь ярче высвечивая друг друга»³⁹.

Незадолго до окончания учебы в университете Тойнби начал возвращать намерение написать объемный труд, в котором можно было бы соединить древность и современность, а также Восток и Европу в едином конспекте. Он назвал это «философией истории», но замысел оставался неясным до тех пор, пока не были найдены принципы, на основе которых он намеревался предпринять столь детальное исследование: «Это должна быть блестящая попытка продолжить историю Геродота (историю войн между Европой и Востоком)... но это должно быть еще шире»⁴⁰. Следует заметить, что в то время в Оксфорде не очень поддерживали макроисторические исследования. Тьюторы концентрировали свое внимание на специальных исследованиях, тексты читались слово за словом, студентов учили, что истина может быть извлечена только путем скрупулезной работы с источниками. Тойнби оправдывал эти ожидания, блестяще проявляя умение анализировать детали, о чем свидетельствует, например, его статья “*On Herodotus III, 90 and VII, 75, 76*”, с рассуждениями по поводу этимологии географических названий в Малой Азии, Кипре и некоторых других регионах Восточного Средиземноморья⁴¹. Но Тойнби никогда не собирался посвящать себя только деталям. Даже размышляя об отдаленном Китае периода Монгольской империи, он писал о «Монголах на Западе и Востоке». Это был длинный и плохо связанный нарратив, посвящен-

³⁷ McNeill W.H. Op. cit. P. 28.

³⁸ Тойнби А. Пережитое. С. 104.

³⁹ Сэр Альфред Циммерн // Тойнби А. Мои встречи. С. 332.

⁴⁰ McNeill W.H. Op. cit. P. 30.

⁴¹ Ibidem.

ный политической и военной истории, но когда при защите работы на него обрушилась критика, он ответил, что ни в коем случае не ставил перед собой задачу составить скелет из фактов – хотелось нарисовать картину широких волн завоевания⁴².

Думается, что в значительной мере на него влияли и немецкие исторические исследования того времени, в частности работы Эдуарда Мейера, попытавшего создать массивный и магистральный синтез египетской, вавилонской, греческой и римской историй⁴³. Его пять томов впечатляли. Мейер сделал для древности то, что Тойнби намеревался сделать для древности и современности одновременно. Не было в Англии историка, равного Мейеру по знанию древних языков, причем как восточных, так и европейских, и его умению объединять времена и пространства. Фактически он дал юному Тойнби модель для его собственного опуса и сделал свою работу так хорошо, что Тойнби даже усомнился в своей способности дополнить его. Тем не менее, идея засела в сознании. Но как подступиться к ее реализации?

Прежде всего, вставал вопрос о методе – центральный для исторического и тем более для философско-исторического исследования. Как известно, путь историософского познания весьма сложен и наталкивается вплоть до наших дней на огромные трудности, создаваемые сторонниками узкой специализации, с одной стороны, и абстрактно-философской схоластики, с другой. Мы имеем дело либо с подгонкой фактов под некую теоретическую схему, либо с попытками вывести теорию непосредственно из фактов. В обоих случаях имеет место разорванность и эклектичность в понимании структур мира, типичным примером чего являются многочисленные всемирные истории, появившиеся в XX в. Кроме механического соединения огромного фактического материала, снабженного иногда весьма шаткими и банальными теоретическими скрепами, в подобных сочинениях мало полезного.

Молодой Тойнби чутьем угадывал, что критический метод Нибура, усвоенный им в процессе исторического образования, мало подходит для реализации намеченной цели. Тем более что одно из преимуществ занятий античной историей как раз и состоит в том, что сохранившиеся источники – литературные, документальные и археоло-

⁴² Ibid. P. 31.

⁴³ Имеется в виду работа Э. Мейера «История древнего мира», издание которой осуществлялось в 1884–1902 гг. Один из последних историков, пытавшихся самостоятельно написать универсальную историю древнего мира, преодолев практиковавшееся до этого изолированное рассмотрение греческой истории. Кроме того, Мейер был сторонником теории циклов, которую он на основе аналогий во внешних формах ставил над прогрессом человечества.

гические – относительно скудны. Историк античности «необходимо реконструировать из обрывочных следов и подсказок связную историю прошедших событий; ему нет нужды копаться в бесконечном количестве материалов»⁴⁴. Он не раз обсуждал эту проблему со своим младшим сокурсником по университету Льюисом Немиром, оказавшим на него воздействие в плане исследовательского метода. «Вы, – говорил он Тойнби, – стараетесь увидеть дерево в целом. Я стараюсь обследовать его лист за листом. Основная масса историков пытается рассматривать дерево ветка за веткой. И мы с вами сходимся в том... что этот последний подход, по меньшей мере, малообещающ»⁴⁵.

Рассуждения обоих в значительной мере были опосредованы дискуссией, развернувшейся в конце XIX – начале XX в. вокруг знаменитого тезиса Леопольда фон Ранке о том, что историк должен писать историю так, как это происходило на самом деле. И каждый из них старался, «следуя собственным курсом, найти некий способ выразить исторические события в терминах не мифов, но реальностей»⁴⁶. Немир принадлежал к той категории исследователей, которые, изучая человеческие деяния, задействовали «просопографический» (персонифицированный) метод исследования, заключающийся в детальном анализе действий, мыслей и чувств отдельных человеческих существ, вовлеченных в рассматриваемые транзакции. Метод Немира нашел воплощение в задуманной им истории парламента, которую исследователь пытался написать через реальные деяния конкретных личностей, их жизни и межличностные отношения. Но героические усилия Немира все время наталкивались на превосходящую силу в виде несметного количества материала, которым ему предстояло овладеть.

Тойнби уже тогда отвергал такой путь. Он был убежден, что если попробовать «написать кусочек исторического повествования в терминах только лишь человеческих индивидуальностей и их взаимоотношений», то этот «эксперимент окажется разочаровывающим», поскольку «количество всего в человеческом окружении... непрерывно, беспорядочно и неумеренно возрастает, тогда как силы и возможности самого человеческого существа остаются теми же, что и прежде»⁴⁷. Он считал, что интеллектуальные модели обязательно должны присутствовать (и присутствуют независимо от нашего желания) на горизонте любого исторического исследования, ибо эмпирические описания – не самоцель; цель – проблема, ценность, смысл: «Если невозможно мыслить

⁴⁴ Сэр Альфред Циммерн // *Тойнби А. Мои встречи.* С. 337.

⁴⁵ Сэр Льюис Немир // Там же. С. 356.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же. С. 357, 358.

без интеллектуальных моделей, – а, по-моему, это невозможно, – лучше знать, что они есть; ибо модель, которая не осознана, властвует в человеческом уме бесконтрольно»⁴⁸. Впоследствии Тойнби нащупает выход из этой гносеологической «вилки», заключающейся, с одной стороны, в стремлении к верифицируемости, с другой, – в невозможности обойтись без интеллектуальных построений. Поскольку он был не в состоянии освоить и самостоятельно проанализировать первичные источники по широчайшему кругу проблем, он стал обращаться к историческим трудам «узких специалистов», используя их труды как исторический источник. Позже, характеризуя особенности своего метода, он писал: «Частью исследовательского метода, который я тогда выработал, было ознакомление с моими черновыми набросками, посвященными полемическим вопросам, заметками авторитетных специалистов из противоборствующих лагерей, с тем, чтобы, рассмотрев и сравнив различные замечания, соответствующим образом переработать мои предварительно написанные главы, прежде чем отослать текст в набор»⁴⁹.

По окончании учебы Тойнби был приглашен остаться в университете в качестве преподавателя античной истории, и он принял приглашение. Правда, получилось так, что приступить к исполнению своих обязанностей он смог только через год, так как выиграл годичный грант на повышение квалификации и решил потратить его на путешествие по тем странам, которые он столь длительное время изучал. Итак, 1911–1912 гг. он провел, путешествуя по Италии и Греции, изучая древние области и ландшафт, на фоне которого разворачивались те или иные исторические события. Это позволило ему пережить новый опыт и дало толчок к развитию его представлений об историческом процессе в целом и о взаимодействии цивилизаций в частности.

Прежде всего, здесь он впервые остро пережил то, что сам идентифицировал как «мистический опыт столкновения с прошлым». Первый раз это произошло в январе 1912 года, когда он, созерцая место древней битвы при Киноскефалах, мысленным взором увидел как римляне поражают македонян в 197 г. до н.э. Три месяца спустя он пережил сходный опыт на Крите, когда бросил взгляд на заброшенную венецианскую виллу – безмолвное завещание турецкой победы 1669 года. В третий раз ощущение подобного рода инсайта возникло у него при посещении цитадели Мореот в Моменвасии⁵⁰. Эти три случая не были первыми, когда Тойнби так ярко и живо вообразил себе картины про-

⁴⁸ *Toynbee A.J. What am I Try to Do? // International Affairs. Vol. 31. 1955. P. 3.*

⁴⁹ *Тойнби А.Дж. Мои встречи. С. 350.*

⁵⁰ *Toynbee A. A Study of History. L., 1954. V. 10. P. 134–137.*

шлого. Его эссе периода обучения говорят о переживании его героями или им самим моментов «моментальной коммуникации с акторами частных исторических событий». Всего, по его подсчетам, это случалось с ним шесть раз. Вряд ли эти опыты можно полностью назвать мистическими, ведь они были результатом тщательного анализа построек, ландшафта и прочих вещей, оставшихся от разных эпох, что позволило его историческому воображению свободно преодолевать реку времени.

Изучение ландшафта также натолкнуло его на мысль о повторяемости прошлого. Рассматривая место в районе Микен, где раньше был форт и далее – открытая равнина Спарты, он обнаружил, что в средневековье на тех же холмах находилось укрепление, а на открытой равнине – деревня⁵¹. Позднее концепция цивилизационных циклов станет центральной в его видении истории.

Наконец, ясно, что во время своего «второго греческого образования» Тойнби на собственном опыте ощутил разницу цивилизаций. Сравнивая древнюю Грецию с современной, он постоянно задавался вопросом об их различии и подобии. Ему впервые пришла в голову мысль: древняя Греция была центром тогдашней Ойкумены; возможно в будущем, когда центр мира переместится, скажем, в Китай, европейцы станут такой же периферией мировой истории, какой теперь является Греция. Интересно, что в письмах того времени эти прозрения не отражены – только в его поздних воспоминаниях. В появившейся сразу после путешествия работе о Спарте еще и намек нет на будущего Тойнби⁵². Возможно, в период своего турне он не придавал этим интенциям большого значения или абстрагировался от них, но они продолжали резонировать в его сознании, со временем приобретая особую важность. По крайней мере, мечта о «философии истории» не оставляла Тойнби. Когда Г. Мюррей обратился к нему с предложением взяться за написание истории Греции, он ухватился за него с огромной радостью: его воображение сразу начало разворачивать масштабные картины разных периодов греческой истории, увиденные в их различии и одновременно в единстве. Но из-за мировой войны этому проекту суждено было состояться лишь много лет спустя⁵³.

Война опрокинула многие надежды Тойнби. Все это время он шел к себе по лестнице времени, где каждый этаж был годом или чередой лет. С началом мирового конфликта этот привычный ход времени был прерван, и этаж, на котором после его окончания оказался Тойнби, символизировал уже не просто смену лет – эпох.

⁵¹ Ibid. P. 107–111.

⁵² *Toynbee A. The Growth of Sparta // Journal of Hellenic Studies. 1913. № 33.*

⁵³ *Toynbee A.J. Some Problems of Greek History. L., 1969.*

«Постижение истории»

Первая мировой война стала первым и, вероятно, самым сильным водоразделом в судьбе Арнольда Тойнби. Из нее он вынес чувство глубокой трагичности и неустроенности человеческой природы, ставшее важнейшим компонентом его восприятия целостности всемирной истории. Избежав мобилизации и испытывая постоянное чувство вины перед воевавшими соотечественниками, он решил посвятить себя делу предотвращения и искоренения войны другими средствами – политическими. С этого момента любая неудача на этом поприще будет восприниматься Тойнби как личная несостоятельность и сопровождаться драматическими мировоззренческими коллизиями.

Вхождение Тойнби в мир политики повлияло не только не Тойнби-человека, но и на Тойнби-историка. Несомненно, своим замыслом «Постижение истории» обязан не только классическому образованию британского мыслителя, позволившему Тойнби выработать «всеобщий взгляд на историю», но и его деятельности в сфере международной политики. Если бы политический дискурс не стал такой же частью его творчества как дискурс исторический, возможно, Тойнби так и остался бы узким специалистом по греко-римской истории, а средние века и новое время мыслились как «неуместный и нелепый эпилог, добавленный к собственно истории североевропейскими варварами»⁵⁴.

По окончании университета Тойнби, по его словам, был столь несведущ в международной политике, что само слово «политика» ассоциировалось в его сознании исключительно с «внутренней политикой»⁵⁵. В год странствий по Греции он впервые узнал и об утрате Великобританией былых позиций на международной арене, и о той игре, в которую играли великие европейские державы накануне войны, и о неизбежности военного конфликта на Балканах: «Здесь-то я и получил мое непредвиденное греческое образование в том, что касается современного мира, – образование, которое привело меня на две Парижские мирные конференции и позволило мне в течение тридцати трех лет быть одним из соавторов издаваемого Четем-Хаусом ежегодника “Сервей оф интернэшнл афферс”»⁵⁶.

Разразившаяся война усилила впечатление от увиденного. Практически с первых ее дней Тойнби был привлечен к пропагандистской работе в Отделе политической разведки британского МИДа, созданном для воздействия на общественное мнение в США. В его задачу входили

⁵⁴ См.: Тойнби А.Д. Пережитое. М., 2003. С. 103.

⁵⁵ Там же. С. 37.

⁵⁶ Там же. С. 34.

сбор и размещение подходящих статей о войне в американской и другой зарубежной печати, а также ответы на письма, присланные в адрес британского правительства с вопросами о проводимой им политике в разных регионах мира. Чем дольше он занимался осмыслением причин этой войны, тем больше убеждался в ее националистической подоплеке. Эти мысли нашли отражение в книге «Национальность и война» (1915)⁵⁷. Многие в ней сегодня кажутся странными или банальными, но есть и то, что задавало определенную программу: принцип национальности необходимо радикально удалить из мировой политики, перейти от национального соревнования к национальному сотрудничеству, создать международную организацию для обеспечения мира. В этом смысле эта небольшая книга находится на линии его более поздних работ.

В конце 1915 года пропагандистская работа Тойнби получает новый поворот. Британскому правительству срочно потребовался отчет о событиях в Армении. Собирая материал о зверствах турок по отношению к армянскому населению, Тойнби, возможно, впервые начинает проводить параллели между современными и прошлыми событиями. Армянскую резню 1915 г. он сравнивает с убийствами в древней Ассирии. Аналогия так его захватила, что в короткое время он собрал исчерпывающий материал по данной проблеме⁵⁸. Вскоре Тойнби был уже экспертом по вопросам Османской империи в целом и по армянскому вопросу, в частности. Именно в этом качестве несколько лет спустя он будет присутствовать на Парижской мирной конференции⁵⁹, закончившейся для него глубокой депрессией: созданная на ней система договоров никак не отвечала его представлениям о честном и справедливом мире.

Предложенная в тот момент должность профессора греческой и византийской истории, языка и литературы в Королевском колледже в Оксфорде оказалась спасительным кругом: он потерпел поражение в Париже – он не хотел больше поражений. Его мысли вновь возвращаются к философии истории, в раздумьях о которой прошли предвоенные годы. С одной существенной поправкой: это был уже другой Тойнби – зрелище Первой мировой войны и последующих событий рождало ощущение абсурдности всего происходящего в мире и подталкивало к пессимистическим выводам. В своих автобиографических книгах Тойнби очень четко фиксирует момент влияния этого ощущения, неведомого успокоенному либеральному сознанию конца XIX – начала XX в., на замысел его будущей книги. Однако думается, что на

⁵⁷ *Toynbee A.J. Nationality and the War. L., 1915.*

⁵⁸ *Idem. Armenian Atrocities. The Murder of a Nation. L.; N.Y.; Toronto, 1915.*

⁵⁹ *McNeill W.H. Op. cit. P. 70–74.*

бросанный в них схематический рисунок не передает сложности и даже хаотичности действительного хода его духовного развития в те первые послевоенные годы. Ретроспективно это выглядит органическим, но в действительности оно скорее напоминало беспорядочную смену изображений в калейдоскопе. Вспоминая то время, он естественно упорядочивал их в свете зрелых, развитых идей, выкристаллизовавшихся на самом деле несколько позже. Если учесть эту неизбежную aberrацию, можно попытаться выявить тот временной отрезок, на протяжении которого произошла трансформация его сознания.

Самый ранний источник, проливающий свет на эту проблему, – лекции по древней истории, которые Тойнби читал в Лондонском университете в 1919–1920 гг. В начале курса он еще идентифицирует себя как последователя Геродота, оставаясь в выборе объекта учебного курса традиционным: «Я буду ограничивать себя нашей (выделено мной – *О.В.*) цивилизацией и тем, что я понимаю под цивилизацией Европы и Среднего Востока, которые... не могут быть рассмотрены как отдельные части. В этом поле жизненные элементы цивилизации являются общим целым»⁶⁰. Причем Тойнби в этой цивилизации три центра: острова Эгейского моря, Египет и Месопотамию. После арабского завоевания два последних, по его мнению, объединились, и современная средневосточная цивилизация объявлялась им живущей благодаря запасу энергии, накопленной Египтом и Месопотамией в доисторическую эпоху и освобожденной в середине IV тысячелетия до нашей эры. В противовес средневосточной цивилизации Запад, как полагал Тойнби, коллапсировал дважды: в XIV в. до н.э. с гибелью Крита и в V в. н.э. с гибелью Рима. Вписанная в это поле греческая история виделась им в свете унаследованной от «отца истории» и ученых XIX века гротескной дихотомии Запада и Востока: греки – самый восточный аванпост Европы, в этом качестве испытавший на себе все «приливы» и «отливы» восточного влияния. Первая мировая война, казалось ему, лишний раз подтверждала жизненность усвоенной дихотомии.

В лекциях этого периода Тойнби выражает уверенность, что человеческое развитие – это процесс, в котором люди формируются их природным окружением и приспосабливают это окружение в соответствии с собственной волей. Со временем человеческая воля занимает место механических законов человеческого окружения как ведущий фактор управления. Это точка начала человеческой истории и цивилизации⁶¹. Цивилизация и человеческая свобода оказываются, таким образом, в сознании Тойнби взаимосвязанными. Обе противостоят «механическим

⁶⁰ Ibid. P. 95.

⁶¹ Ibidem.

законам» окружающей среды, и Тойнби уточняет, что именно он понимает под окружением – не только природное окружение, но и механические законы человеческого общества, которые позволяют одному классу господствовать над другим. Бергсоновское наследие в этих рассуждениях очевидно, равно как и наследие английского либерализма.

Принципиально иное понимание истории Тойнби предлагает в лекции, прочитанной им несколько месяцев спустя, весной 1920 года в Оксфорде и опубликованной на следующий год в виде небольшой брошюры «Трагедия Греции»⁶². В этом тексте он впервые «изменяет Геродоту» и принимает сторону Тацита. Утверждая вслед за последним, что война доводит человеческие характеры до крайности, Тойнби решается сделать это чисто человеческое психологическое ожесточение центральным в своем рассуждении о причинах разрушения и гибели цивилизаций, заявив, что великой трагедией истории является тот факт, что великие цивилизации, созданные человеческим духом, имеют сходный сценарий развития: «...И тогда мое сознание неожиданно просветилось. То, что мы переживаем сегодня, уже было пережито в мире Тацита... Независимо от хронологии, тацитовский мир и мой мир стали философски сопоставимыми. А, если это было верным, разве отношения между всеми известными нам сегодня цивилизациями не могут быть подобны отношениям между Греко-Римской и Западной цивилизациями»⁶³. Так появился тезис, которому впоследствии суждено было стать одним из центральных в тойнбианской философии истории, и одновременно одним из самых оспариваемых.

При этом критики Тойнби, как правило, упускают из вида одну, но очень существенную деталь: говоря о философской эквивалентности, Тойнби, прежде всего, имел в виду некое общее для всех цивилизаций содержание, проистекающее из взаимосвязи хода истории с внутренней динамикой человеческой души – *чисто человеческую* способность навлекать на самих себя несчастья⁶⁴. Думается, что именно это наблюдение позволило впоследствии Е.Б. Рашковскому развить данный тезис следующим образом: «Вслед за Тойнби можно говорить о философской эквивалентности культур, ибо в каждой из них в той или иной мере явлена, пережита и обдумана безусловная человеческая проблематика поисков смысла жизни, проблематика любви, страдания, познания, смерти и бессмертия. Т.е. речь идет о бесспорном родовом достоинстве человека. Но в конкретном изучении истории мы имеем дело не с культурой вообще,

⁶² *Toynbee A.J. The Tragedy of Greece. A lecture delivered... at Oxford in May 1920. Oxford, 1921.*

⁶³ *Idem. My View of History // Toynbee A.J. Civilization on Trial. L., 1948. P. 7–8.*

⁶⁴ *McNeill W.H. Op cit. P. 93.*

а с культурой в ее локальной и стадийной определенности, в их определенности степенью развитости и динамизма их духовного содержания. И вот здесь следует говорить о несопоставимости культурного опыта людей, ибо все они в различной степени откликаются на вызов извне, являют разные формы свершений»⁶⁵.

В этих обусловленных войной переживаниях и рождалась идея цикличности. Очевидно, что вплоть до 1920 г. он, судя по всему, все же не думал серьезно о том, что все цивилизации проходят сходный путь развития и разрушения. Более того, практически все проводимые им аналогии относились к античной и европейской истории, в то время как другие цивилизации все еще находились на периферии его сознания. Поэтому будущая книга, которую он задумал еще в довоенное время, по-прежнему мыслилась им либо как история Греции вплоть до ее завоевания Римом, либо как римская история, «сконцентрированная вокруг проблемы завоевания и социальной революции и показывающая как первое влечет за собой второе, и как вместе они разрушили не только римскую, но и греческую цивилизацию», либо как история Европы, «связанная в европейскую цивилизацию и рассмотренная как целое...»⁶⁶.

Другим фактором, сильно повлиявшим на трансформацию тойнбианских представлений, стала появившаяся в 1918 г. книга О. Шпенглера «Закат Европы». Влияние немецкого ученого на Тойнби заметно невооруженным глазом, что дало повод некоторым представителям критической тойнбианы усматривать в нем чуть ли не эпигона Шпенглера. Да и сегодня находятся исследователи, заявляющие об отсутствии в тойнбианских построениях какой-либо эвристики. Между тем, в любом творчестве угол падения никогда не равен углу отражения. Человеческое творчество – это всегда ответ на то, что человека задевает или волнует, то есть всегда некий диалог, взаимодействие (не отражение, а преобразование). Тема может быть той же, но интонации другими.

Так было и с Тойнби. Сначала ему показалось, что Шпенглер уже сделал всю работу за него. Немецкий историк считал интеллигибельным полем исторического исследования целые сообщества, а не национальные государства или города-государства греко-римского мира; он также полагал, что эти сообщества, называемые цивилизациями, сравнимы и параллельны. Но потом Тойнби обнаружил, что Шпенглер не отвечает на главный вопрос – вопрос о генезисе цивилизаций, который, как известно, у Шпенглера прописан неявно, догматически и детерминистски. Согласно ему, цивилизации поднимаются, расцветают и гиб-

⁶⁵ Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока. М., 1990. С. 83.

⁶⁶ McNeill W.H. Op. cit. P. 94.

нут в соответствии с отведенным им временем, что мыслилось Шпенглером как своего рода закон природы, который он вывел, а его читатели должны были принять на веру.

Тойнби решил преодолеть этот изъян, противопоставив немецкому методу английский эмпиризм⁶⁷. Летом 1920 года он впервые попытался набросать план книги, которую условно назвал "*Mystery of Man*", но ей так и не суждено было увидеть свет. После многочисленных исправлений он собрал все свои записи и озаглавил как «Неудачную попытку начать Постижение истории, предпринятую в Ятскомбе, в коттедже летом 1920 года». Книга не состоялась по нескольким причинам. Во-первых, он понял, что плохо знаком с историей большинства сообществ, начиная с Китая, Индии, Японии и кончая Африкой и коренной Америкой. Во-вторых, он попытался привязать возникновение цивилизаций только к ближневосточному ареалу⁶⁸. После прочтения книги профессора Ф. Теггарта "*The Process of History*"⁶⁹ Тойнби понял свою ошибку, равно как и необходимость поиска критериев для сравнения частных историй локальных человеческих сообществ.

Однако с другими тезисами Теггарта Тойнби, к сожалению, не согласился. Теггарт, в частности, утверждал, что «человеческий успех есть результат смещения идей через контакт различных групп», потому что столкновение с другими народами при благоприятных обстоятельствах провоцирует «духовное освобождение членов группы или ее отдельных индивидов от авторитета установившейся системы идей»⁷⁰. Шпенглер же, как известно, утверждал, что цивилизации настолько различны, что эффективная коммуникация между ними практически невозможна. Он полагал, что смешение идей или нечто подобное, происходящее между разными цивилизациями, является знаком дегенерации, а не прогресса и предшествует окончательному развалу культуры.

Тойнби принял модификацию шпенглеровского видения, – первоначально, видимо, потому, что утверждение о сепаратности цивилизаций позволяло ему использовать параллели, которые он уже провел между греческой и западной цивилизациями в качестве модели и путеводителя для дальнейших сравнений, в том числе с теми частями планеты, которые он ранее игнорировал. Но, вероятно, окончательно убедила его в этом греко-анатолийская война, на сцене которой Тойнби побывал в качестве военного корреспондента «Манчестер Гардиен». Наблюдая за культурной и военной коллизией двух народов в 1921 г.,

⁶⁷ *Toynbee A.J. Civilization on Trial. P. 9–10.*

⁶⁸ *McNeill W.H. Op. cit. P. 99.*

⁶⁹ *Teggart F.J. The Processes of History. New Haven, 1917.*

⁷⁰ *Ibid. P. 111, 151.*

он впервые осознал, что, во-первых, греки и турки относятся к разным цивилизациям – одну он назвал ближневосточной (близкой к Византийской), а вторую средневосточной (близкой к мусульманскому миру)⁷¹, в результате чего пришло понимание плюралистичности не только Запада, но и Востока; во-вторых, что причиной, сделавшей борьбу греков и турок столь ожесточенной, стал процесс вестернизации, заставивший оба народа трансформироваться в национальное государство западного типа, в то время как ближневосточному миру свойственно смешение различных религий и культур: «Пока цивилизация реализует свой потенциал и развивается в соответствии со своей природой, это универсум в самом себе. Впечатления, полученные со стороны, отвлекают ее, не принося ей вдохновения, и это исключает эти влияния из ее сознания до тех пор, пока это возможно. Но нет цивилизации, которая бы нашла секрет своей вечной молодости, еще менее – бессмертия. Рано или поздно, каждая из них изменяется вследствие непоправимой катастрофы, которая не только подрывает ее рост, но поразительно изменяет ее сущность. Сталь, формально такая твердая и ясная, становится податливой и замутненной. Это трагическая трансформация...»⁷². Эта метафора показывает, каким образом Тойнби скомбинировал трагический взгляд на историю со шпенглеровским взглядом на невозможность цивилизационных контактов.

Чем глубже Тойнби будет погружаться в мир текущей политики, тем яснее будут вырисовываться лейтмотивы его будущей книги. Здесь и ощущение своей сопричастности потоку истории, и видение будущих столкновений Запада с исламским миром и другими цивилизациями и, конечно, война, изучение которой наложило глубокий отпечаток на содержание и структуру будущего двенадцатитомника. На всем своем протяжении «Постижение истории» будет связано с анализом места и роли войны в тех или иных локальных цивилизациях, с описанием различных военных институтов и практик. Война, рассматриваемая как проявление надлома и дезинтеграции цивилизаций. Война – как интегральная часть общества, формирующая не только политику, но также экономику, культуру и порой даже этос цивилизации.

Анализ тойнбианской публицистики этого периода свидетельствует о формировании у него совершенно иного подхода к изучению истории, чем тот, который превалировал в позитивистской историографии. Суть этого подхода заключалась в формировании интереса к некой многофакторной социокультурной реальности, обнимающей

⁷¹ *Toynbee A.J. The Western Question in Greece and Turkey: A Study of the Contact of Civilization. London, 1922. P. 233.*

⁷² *Ibid. P. 267, 362–363.*

жизнь народов, а, порой, и целых регионов, и определяющей их поведение на региональном и международном уровнях. Осознание нерасторжимой внутренней связи общественно-экономических, этнокультурных, геополитических, экологических, религиозных, социально-психологических аспектов в жизни народов разных стран и регионов, невозможность свести их политическое поведение к какому-либо одному фактору, сопровождалось постановкой целого ряда глубоких философско-мировоззренческих вопросов, определяющих проблематику и конфликтологию современного мира. Речь идет об уникальном переплетении различных уровней человеческой идентичности, являющихся как бы фило- и онтогенетическими аспектами единой человеческой реальности. Игнорирование или, наоборот, выпячивание одного из них могло, по его мнению, стать источником противоречий и конфликтов. Так, изучение общественно-политической эмпирики подсказало проблематику цивилизаций, которой суждено было занять одно из центральных мест в его концепции истории.

На пути из Стамбула в Лондон, возвращаясь по окончании командировки в Анатолию, Тойнби набросал на листке бумаги с десятков заголовков, ставших впоследствии разделами его будущей книги – 12 страниц текста, озаглавленного им как «Наброшенное в Восточном экспрессе в сентябре 1921 года». Конспект не стал последним вариантом плана книги – тексту суждено было подвергнуться неоднократной корректировке. Например, на входе предполагалось иметь дело с цивилизациями и цивилизационными институтами, рассматриваемыми как машины. Тойнбианское увлечение Бергсоном все еще доминировало в его сознании: «Цивилизация есть попытка при помощи еще большей механизации превратить человека в супермена... Трагедия цивилизации состоит в том, что не цивилизация стремится поднять человеческую природу до постоянно высокого уровня»⁷³. Только следы от этих воззрений мы обнаружим в томах, написанных между 1934 и 1954 годами. Но главная проблема была решена: он нашел способ написания книги. Самое важное заключалось в маленьком заголовке, который фактически определял содержание всех двенадцати томов: «Сравнение цивилизаций». Это сравнение включало в себя следующие стадии: рождение, дифференциацию, экспансию, брейкдаун, империю, универсальную религию и разрыв. Термины не совсем те, которыми он будет оперировать в «Постижении истории», но суть та же самая. Здесь еще нет философии – скорее компендиум исторических параллелей. И все-таки именно в этом наброске мы можем фиксировать рождение книги.

⁷³ Цит. по: McNeill W.H. Op. cit. P. 101.

В профессиональном смысле дела обстояли хуже. Профессиональная честность не позволила Тойнби давать своим слушателям одностороннюю и тенденциозную трактовку происходившего на Балканах: «В ненормальных условиях, как убедительно показывает история, даже в цивилизованных обществах, по единообразным канонам могут совершаться массовые убийства... Ранним летом 1921 года я провел несколько недель в тесных контактах с греческими солдатами и гражданскими лицами, принимавшими участие в избиении турецких крестьян, и с оставшимися в живых жертвами этих избиений... Моим сильнейшим впечатлением, вынесенным из всех этих переполненных кошмарами дней, было впечатление некоей обесчеловеченности; ею была проникнута не только кровожадность преследователей, но и ужас преследуемых»⁷⁴. Протурецкий тон, появившийся в его лекциях и статьях после греко-анатолийской войны, возмутил спонсоров и привел в конечном итоге к потере места профессора в Лондонском университете⁷⁵.

Честность Тойнби, однако, привлекла внимание в академической среде и за ее пределами, и на него посыпались предложения: преподавание в американских университетах, финансируемая турецким правительством работа в Константинополе, пост специалиста по международным отношениям в Лондонской школе экономики и политики, работа в Лиге Наций. Тойнби уже подумывал о Константинополе, как о месте, где он сможет из первых рук получать информацию о взаимодействии цивилизаций, когда его бывший шеф сэр Джеймс Хэдлэм-Морли (*J.W. Headlam-Morley*), в годы войны возглавлявший германский отдел Департамента политической разведки, а после войны ставший советником по вопросам истории при МИДе, предложил ему должность в Британском (а с 1926 г. – Королевском) институте международных отношений (КИМО)⁷⁶. Тойнби предлагалось писать там «Об-

⁷⁴ *Toynbee A.J. Op. cit. P. 261.*

⁷⁵ Об этом скандале в Лондонском университете см.: *Clog R. Politics and the Academy: Arnold Toynbee and the Korae Chair. L., 1986. P. 65–67, 74.*

⁷⁶ Решение о создании Британского института международных отношений было принято на Парижской конференции в мае 1919 года для информирования общественности о текущих событиях. Вначале он планировался как англо-американский институт, первой задачей которого было написание истории мирной конференции. Впоследствии американцы решили создать собственную организацию, присоединив ее к уже существующему Совету по зарубежным связям в Нью-Йорке. Британцы создали институт в июле 1920 года. К 1922 г. там состояло около 700 человек, и институт начал проводить еженедельные дискуссии британских и зарубежных экспертов по проблемам текущей мировой политики. Одновременно он должен был заняться написанием и изданием истории Парижской мирной конференции. Следом возник замысел ежегодных отчетов, вернее, два замысла: написать отчет по периоду, последовавшему сразу за конференцией (1920–1923) и второй –

зоры международных событий», начиная с Парижской мирной конференции. К этой работе он приступил в 1924 г., не подозревая о том, какое влияние она окажет на его «Постижение истории». Между тем, постепенно оба дискурса действительно оказались в одной упряжке. Между ними не было никакой дисгармонии – оба только выигрывали.

Вопрос о взаимовлиянии исторического и политического дискурсов в творчестве Тойнби практически не исследован в мировой историографии. Появившаяся в 1958 г. монография А. Мэйсона «Тойнбианский подход к мировой политике» была посвящена преимущественно анализу политических взглядов английского историка, нашедших отражение в VII–X тт. «Постижения истории». Материалы «Обзоров» преднамеренно не были включены в данное издание, так как представляли «совершенно иной тип историописания» и, следовательно, по мнению автора, не имели отношения к предмету исследования⁷⁷.

Другая попытка американской историографии обратиться к деятельности Тойнби в Королевском институте международных отношений связана с именем К. Томпсона. Само название его книги «Тойнбианская философия мировой истории и политики» выглядело многообещающим и, казалось, свидетельствовало о намерении автора связать, наконец, оба типа дискурса. Однако подобный анализ оказался представлен в монографии достаточно скудно. Что действительно занимало ее автора, так это полемика с внешнеполитическими воззрениями Тойнби и их ретроспективная оценка. Некоторые особенности предпринятого Томпсоном исследования по меньшей мере вызывают недоумение. Так, например, несмотря на то, что монография впервые была издана в 1985 г., в ней отсутствуют ссылки на работы Тойнби, вышедшие после 1948 г. А ведь Тойнби обращался к внешнеполитическим проблемам и в 1950-е, и в 1960-е, и даже в начале 1970-х. Помимо «Обзоров» (взятых только до 1937 г.) и первых шести томов «Постижения истории» (непонятно, почему отсутствуют, по меньшей мере, еще четыре) Томпсон опирается только на три работы Тойнби, причем одна из них представляет небольшой памфлет⁷⁸, другая отражает ранние взгляды мыслителя⁷⁹. Это особенно удивляет, если учесть, что только в первое послевоенное десятилетие многочисленные тойнбианские поездки и выступления перед общест-

по 1924 году. Д. Хэдлэм-Морли, входивший в Совет Четем-Хауса в качестве председателя Комитета по исследованиям, пригласил на эту работу А. Тойнби – *Тойнби А. Дж.* Мои встречи. М., 2003. С. 432–438.

⁷⁷ *Mason H.L.* Toynbee's Approach to World Politics. New Orleans, 1958. P. V.

⁷⁸ *Toynbee A.J.* The Prospects of Western civilization. N.Y., 1947.

⁷⁹ *Idem.* Nationality and War. L.; Toronto, 1915.

венностью, прочитанные лекции и данные интервью вылились в целый поток статей и памфлетов, опубликованных в газетах, журналах и иногда в качестве отдельных брошюр. Как показывают приведенные ниже цифры, масштаб его публицистической деятельности в эти годы был значителен: в 1946 г. опубликовано 2 работы, 1947 – 9, 1948 – 11, 1949 – 9, 1950 – 8, 1951 – 8, 1952 – 12, 1953 – 19, 1954 – 24, 1955 – 30⁸⁰. Большинство из этих публикаций было посвящено проблемам текущей политики.

Все это свидетельствует о том, что политический дискурс ни в коем случае не следует воспринимать как некий аппендикс к стремлению Тойнби выработать собственный системный подход к мировой истории. А. Мэйсон, например, считает, что наоборот «система» была задумана главным образом для того, чтобы подтвердить правильность тойнбианского понимания современности⁸¹. Детальный анализ этой сферы деятельности британского историка, ее влияния на «Постижение истории» и наоборот, еще ждет своего исследователя. Рамки данного текста позволяют ограничиться лишь некоторыми замечаниями.

Тойнби не раз говорил, что параллельная работа над «Обзорами» и над «Постижением истории» была большой удачей в его жизни, без чего «Постижение истории» просто не состоялось бы⁸². Не надо даже пристально всматриваться в «Постижение истории», чтобы увидеть, что размышления Тойнби о прошлом мировых цивилизаций пронизаны насущными проблемами современности: передел сфер влияния, смещение полюсов силы, разоружение, международное право, система коллективной безопасности и т.д. Как правило, методика его работы строилась следующим образом: Тойнби сталкивался с определенными явлениями и событиями в настоящем и по мере того, как он пытался найти ему объяснение, его воображение (в значительной мере детерминированное замыслом будущей книги) выстраивало серию широко-масштабных исторических сравнений и рождало яркие метафоры, украсившие впоследствии главный труд его жизни.

Так, рассуждая о проблемах суверенитета современных государств, он в то же время предостерегал от опасности чрезмерного увлечения данным политическим институтом. Подтверждения своим опасениям Тойнби находил в истории греко-римского мира, когда неумение греческих городов-государств переступить границы своего суверенитета привело их к захвату римскими завоевателями и фактически разрушило античную цивилизацию. Английский историк тут же приходит к выводу, что отсутствие координации между политическими единицами древних

⁸⁰ A Bibliography of Arnold J. Toynbee. Oxford, 1980.

⁸¹ Mason A.L. Op. cit. P. V.

⁸² Тойнби А.Д. Пережитое. С. 86.

обществ является показателем кризиса данной цивилизации. И наоборот, умение разделить свой суверенитет между национальными и наднациональными институтами способствует успешному развитию локальных сообществ. Так, якобы, было в древнекитайской цивилизации, государства которой объединились в Центральную Конфедерацию, или во времена Делийской Лиги; более современные примеры: в XIX в. – Священный Союз и Европейский концерт, в XX – Лига Наций⁸³.

Другой пример. Постоянное столкновение Тойнби с таким механизмом современной мировой политики как «баланс силы» и стремление найти ему аналогии в прошлом позволили английскому историку сформулировать ряд важных принципов мировой политики, которые впоследствии нашли свое отражение в «Постижении истории»:

- принцип «баланса силы» вступает в действие всякий раз, когда некое сообщество оформляется в независимое суверенное государство;
- все политические союзы создаются с учетом и на основе данного принципа;
- действие принципа «баланса силы» проявляется в стремлении крупных держав сохранить статус-кво и приниженное положение небольших и средних государств по всем показателям политического веса: размерам территории, численности населения и уровню благосостояния;
- в условиях отсутствия других средств урегулирования международных конфликтов «баланс силы» является универсальным механизмом для внешней политики любого государства, стремящегося сохранить свой суверенитет;
- если сообщество политически и культурно неоднородно и имеет тенденцию расширять пределы своего влияния до размеров и статуса новой цивилизации, центр тяжести «баланса силы» внутри данного сообщества постепенно переместится с центра на периферию так, что государства, ранее занимавшие исконно «родовые» земли этой цивилизации рано или поздно будут подавлены и попадут в тень новой «великой силы», возникшей на ее окраинах.

Тойнби приводит примеры действия этого закона в прошлом и настоящем: уже упомянутый захват греческих городов-государств возникшей на их окраинах Римской империей, завоевание итальянских государств Францией и Италией, возникновение крупных центров силы – США, СССР и Японии на окраинах Европейского мира⁸⁴.

⁸³ Survey of International Affairs. London, 1935. V. II. P. 79; 1937. V. I. P. 6. *Toynbee A.J. A Study of History*. V. IV. L., 1939. P. 208–209; V. VI. L., 1939. P. 292, 293.

⁸⁴ См.: Survey of International Affairs. London, 1930. P. 133; *Toynbee A.J. Op. cit.* V. I. L., 1934. P. 89, V. III. L., 1934. P. 302–303.

В свою очередь, работа над «Постижением истории» влияла на «Обзоры». Важным показателем корреляции между Тойнби-теоретиком и Тойнби-функционером является его стремление не просто описывать мировые события, но постоянно сопровождать их анализ формулировкой действующих в сфере международных отношений «законов» и «принципов». Он даже попытался создать собственную теорию дипломатии⁸⁵.

Его заинтересованность большими историческими идеями и навещающими на мысль сравнениями сделали анализ текущих событий чем-то большим, чем простое перечисление их в хронологическом порядке. «Обзоры» были менее энциклопедичными и более аналитичными, чем предполагалось. Тойнби предлагал читателю довольно субъективный портрет времени, оставляя за пределами внимания менее актуальную, с его точки зрения и с точки зрения будущей книги, информацию. Исключения составляют лишь первые два «Обзора» и то, видимо, потому, что писались они вдогонку: приступая к работе в феврале 1924 г., Тойнби предстояло написать сразу два отчета – один за период 1920–1923 гг., т.е. по тем событиям, которые накопились с последней даты, отмеченной в «Истории Парижской мирной конференции», другой – непосредственно за 1924 год.

Подготавливая «Обзор» за 1925 г., Тойнби сосредоточил внимание на «Исламском мире после мирного урегулирования»⁸⁶ – проблеме, волновавшей его еще со времен службы в Форин-оффис. Фактически Тойнби снова поднимал тему, на которую впервые обратил свое внимание в годы Первой мировой войны, когда доказывал, что будущее Британской империи зависит от достижения ее «согласия» с Востоком. Теперь он признавал: то, что он называл тогда «Востоком», было только частью того культурного разнообразия, с которым Западу предстояло иметь дело. Исламу в назревающем процессе столкновения цивилизаций отводилось особое место. Дело в том, что мусульманские страны имели более длительный опыт общения с Западом и, следовательно, раньше других и отчетливее столкнулись с исторической дилеммой: невозможно сбросить влияние европейцев, одновременно «адаптируя военную технику, политические институты, экономический уклад и духовную культуру Запада»⁸⁷. Впоследствии эти рассуждения Тойнби органично влились в VIII том «Постижения истории».

Половину «Обзора» за 1926 год Тойнби посвятил объяснению событий на Дальнем Востоке и Тихоокеанском регионе. В китайской рево-

⁸⁵ См.: *Tompson K.W.* Toynbee's Approach to World Politics. Ch. V.

⁸⁶ Труд Тойнби оказался таким объемным, что его даже пришлось издать отдельной книгой: *Toynbee A.J.* The Islamic World after the Peace Settlement. L., 1927.

⁸⁷ *Survey of International Affairs.* 1925. London, 1927. P. 1.

люции и индонезийском восстании против датчан он опять-таки усмотрел не самостоятельные события, а симптом столкновения Запада с этими цивилизациями⁸⁸. «Обзор» за 1926 год отличался от предшествующих тем, что фактически впервые тойнбианский политический нарратив был дополнен отдельными эссе по экономическим и правовым вопросам. Впоследствии это станет обычной практикой, поскольку в ходе раздумий над своей книгой Тойнби все больше будет утверждаться в мысли, что любая культурно-историческая конфигурация (регион, нация, этнос, цивилизация) порождена взаимоотношением целого ряда микро- и макропараметров существования человека: экономикой, социальной средой, культурой, менталитетом, религией, древнейшей предысторией (древние этносы, цивилизации, империи на территории данного региона), историей антиколониальной и других видов освободительной борьбы, фактами этнокультурной консолидации и духовной самоорганизации сообщества. Эти глубинно-исторические параметры, конституирующие структурную сложность каждого региона, не могут быть рассмотрены в отрыве друг от друга. Любые политические решения, игнорирующие этот факт, приводят к многочисленным конфликтам на всех уровнях идентичности, способствуя тому, что целостность общественной и культурной жизни становится жертвой неуправляемых инфантильно-архаичных стихий, разных форм жестокого поведения как внутри сообщества, так и вне его.

«Обзор» за 1927 год в основном был посвящен странам Северной и Южной Америки⁸⁹. Три последующих ежегодника были менее сконцентрированы на каком-либо регионе – к тому времени Тойнби набрал необходимую для книги информацию о современном состоянии локальных цивилизаций и сосредоточил свое внимание на их истории. За год до этого, совместив в 1929 г. поездку в Японию (он был приглашен принять участие в заседаниях Института тихоокеанских отношений в Кийоте) с путешествием по азиатским странам, Тойнби воочию убедился в правильности своих представлений. Повсюду, где он проезжал, он наблюдал печальную картину политической, экономической и культурной экспансии Запада и ее столкновений с национальными укладами. Это утвердило его в мысли, что происходящее в Китае, Индии и даже на Среднем Востоке может быть структурировано в серию трагических цивилизационных циклов подобно архитектурной эволюции эллинизма⁹⁰. Лишь Япония на тот момент выпадала из общей схемы⁹¹.

⁸⁸ Survey of International Affairs. 1926. London, 1927.

⁸⁹ Survey of International Affairs. 1927. London, 1928.

⁹⁰ *Toynbee A.J. A Journey to China, or the Things which Are Seen*. London, 1931. P. 116–119, 148, 256.

⁹¹ *Ibid.* P. 289.

Таким образом, характерный для некоторых «Обзоров» двадцатых годов крен в сторону того или иного региона меньше всего диктовался происходящими там событиями; в значительной мере он был обусловлен стремлением Тойнби осмыслить текущую политику в разных регионах земного шара сквозь призму повсеместной коллизии между Западной цивилизацией и остальным миром. Одновременно с этим он чувствовал: чтобы понять современные проявления этих столкновений, надо углубиться в историю каждой цивилизации. Работая над «Постижением истории», он получал необходимый ему исторический фон для «Обзоров», причем в нужных для такой работы глобальных масштабах. И наоборот, «Обзоры» помогли «Постижению истории»: «Когда изучаешь историю ушедших поколений, приходится мысленно воскрешать эти мертвые поколения в своем воображении. Представить себе, какими они были в жизни, можно только по аналогии с тем, что мы знаем о живых, то есть о наших современниках. По этой причине совершенно необходимо, чтобы всякий историк стоял одной ногой в современной истории, независимо от того, устремлен ли его научный взор в эпоху создателей пирамид или эпоху позднего палеолита... Если бы одновременно с «Обзорами» я не писал «Постижение истории», я был бы лишен самого эффективного инструмента, который был нужен мне для умственной реконструкции давно умерших обществ...»⁹².

По мере того как продвигалась работа над «Постижением истории», в сознании британского историка менялось само видение сути международных отношений. В 1920-е гг. он определял эту сферу узко – «отношения между национальными суверенными государствами»⁹³. И только одно уточнение, сделанное им в предисловии к первому «Обзору», можно считать индикатором и обещанием будущей эволюции взглядов: «Не государства, а отношения между ними выбраны нами в качестве единиц анализа, за исключением тех случаев, когда статус страны или ее внутренняя политика сами являются международным событием»⁹⁴ (курсив мой – О.В.).

В тридцатые годы Тойнби выдвинул альтернативное определение, отказавшись от жесткой дихотомии внутренних и внешних событий. Два важных происшествия подвигли его к формулировке нового определения: обвал ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1929 г. и приход фашистов к власти в Германии в 1933 г. Ни одно из них не подошло под его первое определение. Тойнби замечает, что взаимное пе-

⁹² Тойнби А.Д. Указ. соч. С. 86.

⁹³ Survey of International Affairs. L., 1929. P. 202.

⁹⁴ Survey of International Affairs. 1920–1923. L., 1926. Preface.

реплетение внутренних и внешних событий становится скорее правилом, чем исключением. Гражданская война в Испании, разразившаяся в 1936 г., еще больше утвердила его в этой мысли⁹⁵.

Появившаяся в 1940-е годы третья и последняя концепция международных отношений по своему характеру представляла двуединое образование. Согласно Тойнби, один тип международных отношений складывается среди сообществ внутри цивилизации, другой представляет собой межцивилизационные взаимодействия. Современный историк, по мнению Тойнби, должен особенно внимательно присматриваться именно ко второму, так как он менее очевиден и исследован⁹⁶.

Очевидно, что отмеченная трансформация взглядов Тойнби произошла не без влияния его работы над «Постижением истории». Он, как челнок, постоянно двигался между прошлым и настоящим, сплетая многоцветный ковер мировых событий, который никто ни до него, ни после не сумел создать.

Насколько феноменальной оказалась проделанная им работа показывает анализ «Обзоров» военного времени. В годы Второй мировой войны их выпуск был временно прекращен, а в 1946 г. Тойнби, сосредоточив свое внимание на написании VII–X тт. «Постижения истории», поручил эту работу целому коллективу авторов, оставив за собой лишь общее руководство проектом. Задача для них оказалась непосильной, и вместо намеченного 1952 г. последний том по событиям периода Второй мировой войны появился лишь в 1958-м. При этом все тома представляли собой смесь событий без тех вспышек интуиции и охватывающих все времена и пространства сравнений, которыми Тойнби украсил свои предвоенные «Обзоры». Не удивительно, что, когда он вышел на пенсию, Совет Четем-Хауса так и не смог найти ему достойную замену⁹⁷.

Нельзя пройти мимо еще одной важной проблемы, которую решал для себя Тойнби в ходе работы над «Обзорами» – проблемы объективности историка. Дело в том, что неизменное требование Совета Четем-Хауса состояло в том, что «Обзору» надлежит быть «научным», а под этим Совет подразумевал «объективность в преподнесении материала»,

⁹⁵ Survey of International Affairs. 1935. V. II. P. VII; 1937. V. I. P. V.

⁹⁶ Эта точка зрения впервые была высказана Тойнби в 1939 и с тех пор являлась лейтмотивом его последующих работ по этой проблематике.

⁹⁷ Известный историк Джеффри Барраклау, занявший пост Директора КИМО в 1956 г., не смог совмещать работу по составлению «Обзоров» с чтением лекций по теории и истории международных отношений в Лондонском университете (во времена Тойнби эти должности были совмещены). «Обзоры» все больше отставали от текущих событий (последний обзор за 1963 г. появился в 1977 г.), и, в конце концов, Барраклау подал в отставку. После того как его преемник также признал эту задачу невыполнимой, выпуск «Обзоров» был прекращен.

а также «точность формулировок». И Тойнби, с одной стороны, всегда старался следовать этой инструкции, ибо к этому его побуждал не только профессиональный долг, но и личные убеждения. Показательно, что в предисловии к первому тому «Обзоров» была оговорка: «Институт объединяет представителей различных школ мысли и устраняется от выражения определенного мнения по любому вопросу международных отношений. Тома ограничены фактами...»⁹⁸.

Но, с другой стороны, перед ученым всегда с неизбежностью встает проблема различения истин и Истины. Возможно ли определение Истины в терминах научного знания, ведь научная реальность не допускает толерантности к тому, что не верифицируется? Это ограничение рано или поздно заявит о себе, потому что ученый, предметом изучения которого являются человеческие деяния, подвержен профессиональному риску, от которого негуманитарий защищен в большей мере. Этот риск состоит в том, что в любой момент профессиональный долг ученого-гуманитария может столкнуть его с такими событиями, которые он не сможет зафиксировать без того, чтобы одновременно не дать им моральную оценку. В силу неотъемлемости своей человеческой природы историк обладает совестью, которая не может смолчать, когда возникающая моральная проблема серьезна, а вина очевидна: «Следует ли, ради соблюдения “объективности” излагать историю газовых камер тем же ровным и лишенным эмоции тоном, каким он стал бы излагать противоположные доводы голландских и бельгийских правоведов в их споре о судоходстве на Шельде?... Разве это не означало бы тогда, что он приносит реальность в жертву “объективности”? А когда утрачена реальность, какая еще останется субстанция для того, чтобы прицепить к ней “объективность” историка? Беспристрастный и бесстрастный отчет о нацистских зверствах означал бы утрату связи с реальностью, потому что суть реальности здесь состоит в том, что подобное деяние есть ни что иное, как преступление, а отнюдь не роковая случайность... В конечном счете, требование придерживаться “научности” в смысле “объективности” являет собой неписанное ограничение, которое может простирается лишь настолько, насколько это согласуется с понятиями о человечности»⁹⁹.

Вот та точка для Тойнби, где определяется мера «объективности». Но главная трудность состоит в том, чтобы понять, была ли эта мера достигнута в каждом конкретном случае. Единого правила для решения этого вопроса, по-видимому, не существует. Ученому, который изучает дела людей и сталкивается с этой проблемой, приходится решать ее в каждом случае *ad hoc* и на свой страх и риск. Его решение, каким бы

⁹⁸ Survey of International Affairs. 1920–1923. P. V–VI.

⁹⁹ Тойнби А. Дж. Мои встречи. С. 386–387.

оно ни было, вероятнее всего, подвергнется критике и будет оспариваться. И Тойнби приходит к выводу, что во всех этих случаях споры между ученым, изучающим человеческие деяния, и его критиками принципиально не имеют завершения. Дискуссионная интерпретация противоречивых человеческих деяний, по определению, лежит уже за теми пределами, внутри которых «объективность» достижима и желательна; поэтому каждая сторона имеет возможность отместить точку зрения другой стороны как «субъективную»¹⁰⁰.

Эти размышления в очередной раз возвращали его к раздумьям об объективности истории – раздумьям, начало которым было положено в студенческие годы в разговорах с Льюисом Немиром. Только теперь Тойнби проецировал эти раздумья на проблему объективности смысла цивилизационного целого. В чем он? В эмпирически объективных реалиях? Нет! Ибо при таком подходе забытым оказывается субъект и, стало быть, пропадает смысловое целое. По Тойнби, жизнь в цивилизационном ключе – это не жизнь объекта или субъекта, поскольку цивилизационный смысл не может быть выведен ни из объективности, ни из субъективности. Скорее, это некоторое смысловое целое субъект-объектной реальности, рождающееся из их соотношенности. Отсюда вытекает необходимость учета специфики гуманитарного знания, которое не может иметь дело с безличными объектами. В письме к Гилберту Мюррею он писал: «Я все больше убеждаюсь в правоте Платона, пытавшегося выражать самые важные идеи в мифах. Вся моя работа является мифом о значении истории, и я полагаю (насколько я могу видеть это через мои маленькие очки) – о значении жизни»¹⁰¹.

Летом 1927 г. он садится за составление расширенного плана книги, а в 1930 г. – за ее непосредственное написание. «Я закончил “Обзор” за 1927 г. на следующий день после твоего отъезда, – писал он в письме к Мюррею, – и пока мое тело отдыхает, я наслаждаюсь мысленными образами, связанными с философией истории...»¹⁰².

Первые три тома, появившиеся в 1934 г., полностью соответствовали задуманному им плану. Огромное место в нем занимала война, все еще доминировавшая в его сознании. И очевидный вопрос, который не мог не волновать его в связи с его замыслами: надломилась ли уже Западная цивилизация или вызов создания справедливого международного порядка может быть творчески разрешен, давая Западу еще один шанс для роста? Вопрос в то время был для него еще открыт. Таким образом, первая порция томов стала своего рода аргументом для созда-

¹⁰⁰ Там же. С. 388.

¹⁰¹ Цит. по: *McNeill W.H.* Op. cit. P. 161.

¹⁰² *Ibid.* P. 131.

ния системы коллективной безопасности – идеи, которую Тойнби настойчиво проводил в «Обзорах» после того, как фашистский и нацистский вызов европейскому миру интенсифицировался.

Однако начиная с 1929 г. ему предстояло пережить серию потрясений, повлекших за собой значительные изменения в его видении истории и сопровождающихся появлением в его творчестве нового типа дискурса. На этот раз это был религиозный дискурс.

Религиоведческая концепция Тойнби – пожалуй, одна из наиболее дискутируемых тем. В свое время она вызвала немало споров в среде зарубежных христианских теоретиков и богословов¹⁰³. В отечественной историографии непосредственным анализом этой концепции занимались Ю.А. Бондаренко, С.В. Кирхоглани и А.П. Дымова¹⁰⁴.

Препятствием к прояснению религиозной позиции А.Тойнби стала ее явная непоследовательность. Всем, кто занимался анализом «Постижения истории», не давал покоя ее существенный изъян, связанный с нестыковкой «мирского» и «сакрального» подходов к истории. Если в первых томах «Постижения истории» церкви рассматривались Тойнби как «куколки», передающие часть духовного наследия гнущейся цивилизации возникающей на ее окраинах «дочерней», то, начиная с седьмого тома, цивилизации и церкви меняются местами. Теперь уже не цивилизации, а церкви являлись истинными единицами и целью человеческой истории. Впору было задаться вопросом о наличии у автора единой и внутренне непротиворечивой концепции.

В советской историографии подобную непоследовательность объясняли самым «очевидным» фактором – «общим кризисом буржуазного сознания», прибавляя при этом, что именно к этому – превращению истории в теологию – и должен был привести «здравый английский эмпиризм»¹⁰⁵. Понятно, что очевидное не может быть предметом критического осмысления. Оно возможно только тогда, когда вещи, доселе несомненные, начинают обнаруживать свою проблематичность.

¹⁰³ См., напр.: *Casserley J.V.L. Toward a Theology of History*. L., 1965; *Niebuhr R. Faith and History: Comparison of Christian and Modern Views of History*. L., 1949; *Robb D. Brahmin from Abroad* // *American Studies*. 1985. V. 26. № 2. P. 45–69; *Nichols J.H. Religion in Toynbee's History* // *Journal of Religion*. 1948. April. P. 99–119.

¹⁰⁴ *Бондаренко Ю.А.* Критический анализ учения А.Тойнби о роли религии в жизни общества: Дис... канд. филос. наук. М., 1980; *Кирхоглани С.В.* Вопросы религии в философии истории Арнольда Тойнби (критический анализ): Дис... канд. ист. наук. Ленинград, 1977; *Дымова А.П.* Роль и место религий в цивилизационной концепции А.Дж. Тойнби: дисс... канд. ист. наук. М., 1996.

¹⁰⁵ *Косминский Е.А.* Историософия Арнольда Тойнби // *Вопросы истории*. 1957. № 1. С. 138.

Почему «кризис буржуазного сознания» проявился у Тойнби только в момент написания «Постижения истории», ведь до этого он не отличался особой религиозностью? Известно, что, будучи еще студентом, он отошел от традиционной христианской веры, в которой его воспитывали, и пришел к выводу, что «религия – это не имеющая значения иллюзия»¹⁰⁶. Этих взглядов он придерживался вплоть до написания «Постижения истории». Еще одна нестыковка обнаруживается при сопоставлении логик развития разных типов тойнбианского дискурса. По мере того как его политический дискурс становится все более реалистичным, исторический дискурс насыщается религиозной проблематикой, пафос которой достигает к концу книги мощного крещендо.

Поиски ответов на эти вопросы невозможны без понимания особого характера той реальности, с которой имеет дело историограф: с одной стороны, – это состоявшаяся человеческая мысль, с другой – документ, судьба, свидетельство конкретной жизни с невымышленным именем, фамилией, отчеством...

Все началось в 1929 г. с путешествия по Китаю, во время которого Тойнби испытал сильное эмоциональное потрясение, переживание которого, по его мнению, сопровождалось мистическим контактом с некой божественной сущностью. Именно с этого момента возникает его вера в существование некой сверхъестественной духовной реальности, определение которой Тойнби будет искать долгие годы¹⁰⁷. Каков бы ни был характер или источник пережитого им опыта, он в корне изменил тойнбианское мировоззрение и стал его первым шагом на пути к Богу.

За первым последовал второй, хотя в тот момент Тойнби не придал ему особого значения. Вернувшись из поездки по Востоку, он узнал, что его жена Розалинда стала баптисткой¹⁰⁸. Родители Розалинды, шокированные поступком дочери, сильно беспокоились, что Тойнби последует ее примеру и это как-то отразится на его исторических воззрениях¹⁰⁹. Но в тот момент Тойнби был еще слишком далек от католицизма и не собирался возвращаться к религии своего детства. «Что касается меня, я становлюсь все более недогматичным. Я просто не могу определить свою принадлежность к какому-либо религиозному институту», – писал он в письме к Г. Мюррею. И далее: «Это маловероятно, насколько я могу предвидеть, чтобы я стал католиком»¹¹⁰. Таковы были

¹⁰⁶ Тойнби А.Д. Указ соч. С. 121.

¹⁰⁷ Отголоски этих событий можно найти на страницах его автобиографической книги: «Пережитое» в главе «Религия: во что я верю и во что не верю».

¹⁰⁸ Чуть позже она перекрестится по католическому образцу.

¹⁰⁹ См.: McNeill W.H. Op. cit. P. 157.

¹¹⁰ Ibidem.

религиозные интенции Тойнби накануне и во время написания первых трех томов «Постижения истории». Проблематика трансцендентально-го в них уже присутствует, но еще не захватила Тойнби настолько, чтобы пересмотреть свои взгляды на историю.

1935 год принес новую волну потрясений. Война в Эфиопии (1935–1937) и затем в Испании (1936–1939) показали, что возможности мирного урегулирования международных споров становятся все более проблематичными. Тойнби, для которого служба в Четем-Хаусе была своего рода сублимацией его острого чувства вины перед воевавшими на фронтах Первой мировой войны соотечественниками, пережил крах системы коллективной безопасности как личную трагедию, сопровождающуюся острым мировоззренческим кризисом. Как считает МакНил, скрытая от посторонних глаз личная ненависть к войне сделала его реакцию на атаку Муссолини в Эфиопии почти апокалиптической¹¹¹. Даже начало Второй мировой войны не взволновало его так сильно, как события в Эфиопии. Впоследствии, когда начнется паника, связанная с Мюнхенской конференцией, он заявит: «Разочарования – в прошлом: самые мучительные моменты были пережиты в 1935–1936 годах; все, что случилось потом, является лишь закономерным эпилогом тех событий»¹¹².

С этого момента Тойнби окончательно потерял веру в действенность «мирских» средств избавления Западной цивилизации от паразитической ее болезни. Только изменения в мыслях и сердцах людей, подразумевающие переориентацию с мирского на сакральное, могли, по его мнению, приостановить гибель Запада.

Злоключения Тойнби на этом не закончились. В марте 1939 г., через несколько дней после смерти матери историка, покончил самоубийством его старший сын Тони. Потеря была настолько невыносима, что пережить ее помогло лишь очередное обращение к Богу: «Ощущение было такое как будто бы трансцендентальная духовная реальность, находящаяся вне меня и близкого мне человека, в тот ужасный момент сдернула завесу, которая обычно отделяет нас от Бога»¹¹³. Его стресс только усилился от сознания того, что на момент смерти сына Гитлер уже маршировал в Богемии (оставленной Чехии по Мюнхенскому соглашению), демонстрируя тем самым, что фашисты не собираются ограничиваться рамками «национального самоопределения».

Эти обстоятельства, в которых появляются IV–VI тома «Постижения истории», объясняют экзальтированность и пророческий тон, с которым Тойнби говорит о надломе и дезинтеграции цивилизаций. Библей-

¹¹¹ Ibid. P. 168–169.

¹¹² Ibid. P. 170.

¹¹³ Ibid. P. 176.

ские фразы, в которые он облачил анализ этой стадии цивилизационного цикла, перемежаются в этих томах с проповедью духовной реформации. В одном из этих пассажей он даже принял доктрину реинкарнации, в которую никогда ранее не верил¹¹⁴. Тем не менее, все старания его друга и католического священника Колумба обратить Тойнби в католичество, успехом не увенчались, ибо, флиртуя с католичеством, Тойнби никогда до конца не принимал его догматику. В одном из писем к отцу Колумбу он писал: «Мой первый подступ к церкви состоялся ради Розалинды и Лоуренса после их обращения. Если бы не Розалинда, я бы, наверное, не испытал по отношению к церкви ничего, кроме безразличия и небрежения. Ее обращение, как Вы знаете, пробудило во мне беспокойство и дурные предчувствия. Я был полон решимости преодолеть эти чувства... Затем этот дружеский шаг, сделанный мной навстречу церкви, привел к тому, что я начал восхищаться ею и полюбил ее, или, точнее, по крайней мере, одну из католических обителей (Эмплфорт) и отдельных представителей католической веры (прежде всего, Вас)... В Эмплфорте я понял, что нахожусь около одного из окон, через который божественный свет проникает в этот мир... Чем дольше меня связывали отношения с Эмплфортом, тем больше я чувствовал свое единение с Богом, происходившее через Эмплфорт и благодаря ему... Я все время продвигался вперед, но лишь в плане общения с одним из институтов, а не в доктринальном плане. Что касается характерной для католицизма веры в пресуществление и вытекающей из нее веры во власть священника, – никакого сближения не было, а, следовательно, не может быть и никакого разрыва... Если бы я убедил себя (а у меня изобретательный ум), что я все-таки верю в эту доктрину, мне удалось бы сохранить отношения с Вами, с Эмплфортом и, возможно, даже с Розалиндой – всем, что является подлинной ценностью в моей жизни, а вовсе не мой совершенный ум, которым я пользуюсь как инструментом, подаренным мне Богом, но в котором не нахожу личного счастья. Разве Вы не видите, что все мои личные интересы указывали на тот путь, который и Вы в своих молитвах просили Господа помочь мне выбрать? И что, отказываясь идти по нему, несмотря на то, что это приносит мне огромные личные потери, я борюсь с огромным соблазном и выполняю свой – как оказалось очень тяжелый – долг перед Богом, – такой, каким я его понимаю?»¹¹⁵.

В 1942 г. – новый удар: его покидает супруга. Тойнби был на грани безумия и подумывал о самоубийстве. Только мысль о великом гре-

¹¹⁴ *Toynbee A.J. A Study of History. V. VI. L., 1939. P. 263.*

¹¹⁵ *An Historian's Conscience: The Correspondence between Arnold J. Toynbee and Columba Carey-Elwes, Monk of Ampleforth / Ed. by C.B. Pepper. Boston, 1986. P. 171–173.*

хе и желание закончить книгу не позволили ему сделать это¹¹⁶. Лицевой тик, появившийся у него в годы войны, на всю жизнь остался знаком пережитой им тогда агонии.

Под влиянием этих обстоятельств взгляды Тойнби на характер взаимоотношений цивилизаций и религий были подвергнуты в военное время основательной ревизии. В 1940 г., когда брейкдаун Запада казался очевидным, Тойнби меняет цивилизации и церкви местами: если в 1920 году религии служили цивилизациям куколками, переносящими знания от одной цивилизации к другой, то отныне цивилизации оказались подчинены религиозным целям. Теперь брейкдауны стали мыслиться исключительно как провокаторы духовного прогресса. Эти идеи, спорадически возникавшие в IV–VI томах, опубликованных в 1939 г., стали доминирующими в последних четырех томах, увидевших свет в 1954 г. «Теперь, однако, наше изучение привело нас к тому, что цивилизации с их круговоротом не являются больше интеллигентным полем исследования и теряют свою историческую значимость за исключением тех моментов, когда они помогают становлению Религии», – писал он в VII томе «Постижения истории». Его столкновения с тем, что он называл «трансцендентальной духовной реальностью», и медленный дрейф в сторону католицизма сказались на его новом понимании смысла истории, который теперь мыслился как трансценденция. То, на что он с трудом решился в 1930–1931 гг., когда впервые использовал метафору Гете (вызов-и-ответ) для объяснения процесса роста цивилизаций, стало преобладающим типом дискурса с тех пор, как он поверил, что выражающие поэтическую истину метафора и миф ближе подвигают человека к Богу, чем скудный научный дискурс.

Проблема, однако, заключалась в том, что новое видение истории делало неуместным большинство положений его старого исторического дискурса. Разница с прежними представлениями Тойнби оказалась столь значительной, что впору было отказаться от первоначального замысла и написать новую книгу. Тойнби не был готов сделать это, равно как и полностью отречься от своих прежних представлений. Вместо этого он принимает решение продолжить написание следующей порции томов, попутно внося изменения в предшествующий текст. А, по сути, он просто сжимал его или вырезал из него огромные куски, особенно те из них, где подчеркивалось значение мирской истории¹¹⁷.

Однако после войны личная жизнь Тойнби круто изменилась в лучшую сторону, и работа над последними томами «Постижения истории» сопровождалась постепенным ослаблением религиозного напря-

¹¹⁶ McNeill W.H. Op. cit. P. 179.

¹¹⁷ Ibid. P. 227.

жения. Это позволило ему вернуться к записям и заметкам 1927–1929 гг. и восстановить свой интерес к локальным цивилизациям.

В результате получился странный гибрид. С одной стороны, Тойнби продолжил изыскания по проблемам «мирской» истории и дополнил предвоенные пассажи в этой области новыми. Так, например, специально для VII тома им была написана монография по империи Ахеменидов, главными факторами развития которой признавались географическая среда и военная техника. Большая часть VIII тома также оказалась посвящена столкновениям Запада с другими цивилизациями. Показательно, что, анализируя контакты цивилизаций во времени и пространстве, Тойнби частенько оставлял Бога за пределами собственных объяснений. С другой стороны, перечисленные пассажи перемежались с другими, где по-прежнему подчеркивалось значение религиозного дискурса в истории и науке. Так, в лекции, прочитанной им в Британском психоаналитическом обществе 30 ноября 1949 г., он провозгласил, что «поэтическая и научная истины являются аспектами единой и недоступной человеческому пониманию Предельной Истины, и... человечество нуждается в них обеих...»¹¹⁸. Тойнби так и не сумел достичь компромисса между рациональным и теологическим взглядами на мир, продолжая жить в двух мирах и не находя в себе сил привести их в соответствие друг с другом.

В значительной мере этому способствовало его стремление рассматривать конкретно-исторические явления и процессы в философском, метафизическом по своей сути контексте.

Метафизикой в философии называют ее раздел, который занимается «выявлением условий бытия человека в качестве человека – субъекта истории и судьбы»¹¹⁹. Известно, что, как правило, метафизическая проблематика актуализируется в моменты глубоких кризисов в судьбах различных историко-культурных конфигураций или в переломные эпохи. Другими словами, тогда, когда «распадается связь времен», метафизическая по своей природе связь, и что-то меняется в способах культурного воспроизводства социальной и духовной жизни.

Исследуя причины и процессы зарождения, роста и упадка локальных цивилизаций, Тойнби неизбежно должен был сделать следующий шаг и задать вопрос: а все ли в человеке связано с теми основаниями, которые определяют его принадлежность к тому или иному времени, к той или иной локальной цивилизации? Он приходит к вы-

¹¹⁸ *Toynbee A.J. Poetical Truth and Scientific Truth in the Light of History // International Journal of Psycho Analysis. XXX. 1949. P. 150.*

¹¹⁹ *Мамардашвили М.К. Введение в философию // Он же. Мой опыт нетипичен. Санкт-Петербург, 2000. С. 162.*

воду, что существуют такие основания (и в этом можно полностью с ним согласиться), которые находятся вне той или иной культуры или цивилизации, в другом пространственно-временном континууме. Это так называемые личностные основания, имеющие прямое отношение к понятию «человеческое достоинство». Метафизика и толкует об этих основаниях. От религии ее в данном случае отличает одна существенная деталь: она отказывается говорить об этих основаниях в терминах существования, не признавая наличия отдельного, вневременного и абсолютного мира. Отрицая существование трансцендентальных предметов, метафизика признает операцию трансцендирования, понимая под этим способность человека «выходить за рамки и границы любой культуры..., любого общества и находить основания своего бытия, которые не зависят от того, что случится с обществом или культурой»¹²⁰.

Но как свидетельствует опыт истории философии, грань между метафизикой и теологией очень зыбка, не случайно многие настроенные на метафизический лад мыслители-ученые пытались соединить научную картину эволюции человечества не только с философскими, но и с религиозными представлениями об имманентной духовной реальности. Перипетии личной жизни Тойнби вместе с окружавшей его культурной и религиозной средой к моменту написания «Постижения истории» окончательно сформировали Тойнби как религиозного мыслителя. Религия стала тем связующим звеном, которое соединило философский и теоретический уровни его мировоззрения и породило существенные противоречия в мыслительном облике этого историка.

Драматически-религиозное понимание наложило отпечаток и на его политический дискурс, нашедший наиболее полное воплощение в последних томах «Постижения истории» и сопутствующей им литературе. Так, например, неудачу Лиги Наций Тойнби интерпретировал исключительно как неудачу веры. «Принципиальной причиной войны в мире сегодня является идолократия, которую проявляют люди по отношению к нациям и сообществам или государствам. Этот племенной культ – старейшая религия человечества, и преодолеть его можно только обращением людей к христианству или к одной из других высших религий... Дух человека ненавидит духовный вакуум; и если он утрачивает вид Бога в том виде, как он представлен в Христианстве, он неизбежно впадает в культ Джаггернауа или Молоха...»¹²¹. Говоря о взаимосвязи религии и

¹²⁰ Там же. С. 165. Такое понимание трансцендентного свойственно всей критической метафизике после Канта, где говорится не о трансцендентальных предметах, а именно о трансцендировании.

¹²¹ Прочитировано из опубликованного письма Тойнби редактору газеты «Манчестер Гардиан». – Manchester Guardian. 9 April, 1935.

политики, Тойнби полагал, что и общественные проблемы человека и человечества являются ни чем иным как вызовом Бога: «Этот вызов может принимать формы вызова от других людей или от чего-то в физическом мире, но за всем этим стоит разработка и наличие своего рода столкновения между Богом и человеком. Это очень популярная религиозная идея. Она восходит к пророкам Израиля и Иудеи...»¹²².

К тому времени, когда Тойнби писал эти строки, мир вышел из многолетней войны, самой кровопролитной в истории человечества. Создавалась новая система миропорядка, в которой Соединенные Штаты Америки и Советский Союз представляли собой «альтернативное воплощение огромной материальной силы человечества. Граница между ними прошла через всю землю, и голос их достиг края света»¹²³. Было изобретено ядерное оружие. И в начале «холодной войны», в атмосфере противостояния буржуазного Запада и коммунистического Востока, английский историк полагал, что земное спасение человечества заключается в противоборстве сверхчеловеческим силам Зла, ведущим сражение с Добром в каждом человеческом сердце и в каждом уголке планеты. Так, в богословских терминах был поставлен центральный вопрос всего творчества Тойнби – вопрос о взаимосвязи драматического хода истории с духовными судьбами человечества – центральный не только для его философии истории, но и для его концепции современности.

Таким образом, взгляды Тойнби постоянно находились в процессе изменений. Вот почему с первых же страниц «Постижения истории» возникает ощущение неоднородности и в некоторых случаях даже гибридности текста. Если в первых шести томах единицами изучения истории провозглашаются цивилизации, то в последних – церкви. При этом VII–X тт. вообще больше посвящены анализу мировой политики, нежели изучению истории. О последовательности и цельности изложения можно говорить весьма условно. Разбросанные по всему тексту теоретико-философские рассуждения причудливо сменяются, а иногда и подменяются суждениями факта. И хотя в любом из писаний Тойнби «имманентно присутствует определенный философско-теолого-социологический костяк, благодаря которому тойнбианская историческая концепция обретает известную цельность и последовательность в своем идеализме»¹²⁴, логическая несовместимость некоторых частей книги очевидна.

Сказанное позволяет сделать вывод, что «Постижение истории» Тойнби – это не один монолитный дискурс, а, скорее, гигантская поле-

¹²² McNeill W.H. Op. cit. P. 219.

¹²³ Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1995. С. 34.

¹²⁴ Рашковский Е.Б. Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А.Дж. Тойнби. М., 1976. С. 14–15.

вая структура, стягиваемая пересечением и наложением разных типов дискурса, взаимно проникающих друг в друга, но не подлежащих полному смешению. Множество разных и порой несовместимых трактовок двенадцатитомника, помимо других причин, связано, видимо, с тем, что его интерпретаторы, за редким исключением, исходили из цельности и статичности текста, все элементы которого в любой момент были равно удалены от их создателя и потому могут быть беспрепятственно извлечены. На самом деле, как теперь видно, в разные периоды создания «Постижения истории» одни типы дискурса превалировали в сознании Тойнби, другие находились на периферии, одни были ближе, другие – дальше, но и те, что в данный момент оказывались второстепенными, оставались в памяти и продолжали борьбу за формирование смысла.

«Мне всегда хотелось увидеть другую сторону Луны...»

Иногда в литературе можно встретить точку зрения, согласно которой Тойнби после завершения работы над «Постижением истории» полностью исчерпал свой творческий потенциал, и все последующие работы мыслителя – всего лишь повторы идей, высказанных в этом фундаментальном труде. Однако повторы могут являться не только свидетельством оскудения мысли, но и следствием ощущения ее незавершенности, при этом творческой может быть даже интонация или смысловое соседство, в котором разворачивается мысль ученого. И вот с этой позиции последнее двадцатилетие его жизни выглядит несколько иначе, чем представляют себе некоторые критики.

Сразу после завершения «Постижения истории» Тойнби предпринял кругосветное путешествие (февраль 1956 – август 1957 г.), имевшее три цели: познакомиться с последними археологическими и научными данными для пересмотра отдельных моментов работы и второго издания книги; посмотреть на современный мир и особенно на те страны, которые он описывал в «Постижении» и «Обзорах»; наконец, спрятаться от нарастающей академической критики. Последнее обстоятельство отзывалось в его сознании особой болью.

Начало падения авторитета Тойнби в академической среде следует, вероятно, отнести к 1948 г., когда датский историк Питер Гейл выразил сомнение по поводу ценности его концепции «вызова-и-ответа», а также обвинил Тойнби в многочисленных фактических ошибках¹²⁵. За ошибки Тойнби извинился, а вот задачу познания смысла истории назвал наиважнейшей. Он объяснил, что существует множество путей

¹²⁵ Претензии П. Гейла, высказанные им А. Тойнби в радиодиспутах BBC, впоследствии были сформулированы в статье сборника, посвященного осмыслению тойнбианского взгляда на историю. – *Toynbee and History: Critical Essays and Reviews* / Ed. by Ashley Montague. Boston, 1956.

изучения истории, но каждый из них ограничен, как часть целого – «нельзя ничего понять об организме, изучая отдельно скелет или мускулы или нервы или циркуляцию крови»¹²⁶. Это заявление подняло волну других критических замечаний, большинство из которых касались все той же фактуры. Каждый старался ущипнуть Тойнби за то место, которое знал лучше его¹²⁷.

Ситуация несколько улучшилась после выхода в 1954 г. последних томов «Постижения истории», поражавших эрудицией и несколько отсрочивших наступление бури¹²⁸. Действительно, пик критических оценок десятилетия приходится на вторую половину 1950-х – 1960-е гг. и в значительной мере обуславливается возрастанием популярности автора «Постижения истории» после появления сокращенного варианта книги, вышедшего из-под пера доктора Д. Сомервелла и сделавшего «Постижение истории» доступным для массового читателя. Как писал один из обозревателей, «хорошо, если бы другим плодовитым авторам – и, прежде всего, Марксу – кто-нибудь сослужил такую же добрую службу, какую м-р Сомервелл сослужил м-ру Тойнби»¹²⁹. Мысль интересная... но не бесспорная. С одной стороны, двухтомник Сомервелла действительно обеспечил идеям Тойнби необычайно широкую популярность, но с другой стороны, эта популярность была достигнута ценой явного обеднения тойнбианской мысли. Из «Постижения истории» были удалены многочисленные детали, составляющие оригинальную фактологическую базу исследования, а также большинство иллюстраций и отступлений, причем иногда довольно объемных.

Показательно, что Тойнби с самого начала отнесся к сомервелловской идее довольно настроенно. Он полагал, что издание сокращенного варианта может иметь смысл только после появления всей книги и с учетом изменений первоначального авторского замысла. И хотя Тойнби поблагодарил Сомервелла за то, что он «отнесся к книге столь серьезно, потратив на нее много времени и усилий», и даже сам рекомендовал труд Сомервелла к печати, он до конца испытывал сомнения в продуктивности данного проекта, осознавая неизбежное «редуцирование его истории к простой схеме подъема и падения цивилизаций»¹³⁰. В начале 1970-х Тойнби даже решил на создание собственного сокращенного варианта

¹²⁶ McNeill W.H. Op. cit. P. 224.

¹²⁷ См.: Toynbee and History: Critical Essays and Reviews...

¹²⁸ «Перед нами одна из величайших книг нашего столетия», – так характеризовал «Постижение истории» один из ее обозревателей – Schuman F.L. The Paradoxes of Dr. Toynbee // The Nation. 6 November, 1954. P. 405.

¹²⁹ Цит. по: Работнов Н. Есть ли будущее у «двадцать второй цивилизации»? // Знамя. 1991. № 12. С. 177.

¹³⁰ Цит. по: McNeill W.H. Op. cit. P. 211, 212.

книги. Но и он оказался не способным сконденсировать широкий текст «Постижения», равно как и обновить его новыми данными. Это лишний раз доказывало, что цивилизационная схема (а именно она поддавалась и пересказу, и легкой критике по причине того, что любая схема – это уже в определенной мере догма) занимает второстепенное место в тойнбианской философии истории. Подлинного внимания заслуживает предшествующий ее созданию мыслительный процесс в совокупности с драматическим характером мировоззренческих заложенных А. Тойнби, которые и делали его столь оригинальным мыслителем.

Самая язвительная из критических статей принадлежала перу оксфордского профессора Тревор-Ропера, который назвал свою статью в *“Encounter”* «Миллениум Арнольда Тойнби». В ней он «окрестил» Тойнби новым пророком, а время его популярности «Веком Тойнбианы» (*Anno Toynbeeana*) – религиозной эрой Арнольда Тойнби¹³¹. Вместе с молодым антропологом Филиппом Бегби, опубликовавшим обзор последних четырех томов в *“Times Literary Supplement”*, Тревор-Ропер начал поворачивать академическое мнение, по крайней мере, в англоязычном мире, против глобального и пророческого тойнбианского видения истории. Сарказм и ирония были сильнее критики, так как отрицали интеллектуальную значимость созданного труда.

В 1958 г. у исследователей творчества Тойнби даже возникла идея обсудить основные идеи его книги, собрав в Нормандии ученых и журналистов. Для устранения всякого недопонимания или искаженного понимания «Постижения», которое могло возникнуть в ходе конференции, Тойнби также был в числе приглашенных. Этот симпозиум стал для него чем-то вроде предельной точки в отношении его репутации в профессиональной среде. С какими-то замечаниями он согласился, другие счел идеологически направленными (например, то, что говорили ученые из Франции и Польши, выступавшие с марксистских позиций). Только немецкие ученые обращались к различным аспектам его мысли, однако суть тойнбианского подхода к истории была непонятна и им. Профессор О.Ф. Андерле совершенно измучил его догматическими утверждениями по поводу того, каким должно быть сравнительное изучение цивилизаций, при этом идеи, которые он приписывал Тойнби, плохо узнавались последним как свои собственные¹³². Андерле был также направил свою энергию на организацию «Международного общества сравнительного изучения цивилизаций», пригласив Тойнби стать его президентом. Тойнби отказался, и приглашение при-

¹³¹ Trevor-Roper H. Arnold Toynbee's Millennium // *Encounter*. June, 1957. P. 14–28.

¹³² Печатная версия состоявшихся дебатов была опубликована как *“L'histoire et ses interpretations: Entretiens autour de Arnold Toynbee”*. Paris, 1961.

нял профессор социологии Гарвардского университета Питирим Сорокин, в то время как сам Андерле стал его генеральным секретарем. (Организация существует по сей день, издает журнал и ежегодные отчеты, правда ее деятельность ограничена преимущественно рамками США).

Пытаясь добиться понимания, Тойнби в 1961 г. предложил организовать новую встречу в Зальцбурге, но предложение было отклонено – все, кто видел в трудах Тойнби только фактические ошибки, громоздкую систематику и логические противоречия, ничего нового добавить не могли. Ведущаяся с таких позиций критика свидетельствовала о важном качестве интеллектуального сознания тех лет: позитивизм никуда не ушел и это, по-видимому, мешало гуманитариям прошлого века воспринимать созданную Тойнби концепцию истории в ее прямом назначении. Они никак не хотели понять, что любая интеллектуальная конструкция (будь то модели О. Шпенглера, Н. Элиаса, П. Сорокина или того же А. Тойнби) есть всего лишь один из познавательных ходов, при помощи которого можно осмыслить полноту жизни, и имеющего риторическую и метафорическую природу. Это – не реальность (ибо все слова деонтологизированы, лишены своего сущностного содержания), а лишь один из способов ее концептуализации. И вообще множественность интерпретаций есть естественное бытие, а не субъективное желание, не произвол интерпретаций.

Было, на наш взгляд, еще одно обстоятельство, способствующее негативному восприятию книги: философия истории все больше уступала место узкоспециальным исследованиям. Тойнби не раз сетовал на то, что гуманитарии в последнее время заняты преимущественно «раскладыванием по полочкам все возрастающего числа резко ограниченных друг от друга дисциплин. Это безнадежная попытка управиться с огромным количеством всего того, что должно быть познано... Вот почему нам нужно... снова найти путь изучения человеческой жизни в том единстве, которое она, по существу, и являет собой»¹³³. В эпоху, когда взаимодействие между различными частями человечества становилось все более важным фактором, упорное нежелание академических кругов рассматривать историю как глобальную казалось Тойнби абсурдным. Разве не надо будущим цивилизациям знать, как взаимодействовали люди в прошлом, двигаясь вместе в общее будущее?

Уязвленный поверхностной критикой, Тойнби даже задумал второе издание книги: перечитать ее, дополнить новыми записями, устра-

¹³³ *Toynbee A. (rec.) Kroeber A.L., Klukhon C. Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions. N.Y., 1963 – History and theory. 1964. Vol. 4. № 1. P. 129. См. также: Тойнби А.Дж. Пережитое. М., 2003. С. 104.*

нить неточности и т.п. Но вскоре понял неосуществимость замысла: во-первых, годы были уже не те (в 1957 г. Тойнби перенес сложную операцию, после которой так и не смог войти в прежний тонус), во-вторых, прогресс в области гуманитарных исследований привел к появлению такого количества неизвестных ранее фактов и новых ракурсов рассмотрения прошлого, что одними исправлениями было не обойтись – в пору было садиться за написание новой книги¹³⁴. Уяснив, сколь капитальным должен быть этот труд, Тойнби решает вместо этого написать книгу, в которой излагались бы ответы на критические замечания и объяснялись причины изменения первоначального замысла «Постижения». На работу ушло два года, и в 1959 г. он закончил рукопись, которая была опубликована в 1961 г. под названием «Переосмысления»¹³⁵.

На одну треть книга была посвящена обсуждению теоретических проблем, затем шло рассмотрение частных вопросов, наконец, последние 55 страниц были озаглавлены как *Ad Hominem*, где Тойнби пытался осмыслить свою работу как продукт времени, пространства и личного опыта. В одних случаях Тойнби соглашался с критиками, например, с недооценкой им ранее роли диффузии среди человеческих сообществ. В других спорил с ними, как, например, это было с обвинениями в фатализме его концепции. Но он категорически отказывался признать ненужность корректировки первоначального замысла книги. Более того, он считал для себя необходимым еще раз «пересмотреть этот вопрос в целом в свете нового знания и новых идей, которые появились по этой проблеме за последние тридцать лет»¹³⁶. В частности, Тойнби писал об ошибочности проведения им ранее резкой грани между элитой и нетворческим меньшинством, между цивилизацией и первобытным обществом, отказывался от концепции застывшей цивилизации, фиксировал недооценку им насилия в жизни общества¹³⁷.

По сути, книга стала еще одним доказательством того, что истоки тойнбианских представлений о глубинных и неповторимых сторонах истории следует искать вовсе не в цивилизационных схемах, но в основах и эволюции его религиозных и философско-антропологических воззрений: «Интеллектуальной задачей является увидеть Универсум, как он есть, в свете Бога, вместо рассмотрения его в искаженном свете как одно из божественных творений. Моральная цель человеческой природы привести свою волю в соответствие с божественной волей

¹³⁴ McNeill W.H. Op. cit. P. 254.

¹³⁵ Toynbee A.J. A Study of History. Vol. 12. Reconsiderations. L., 1961.

¹³⁶ Ibid. P. 344–345.

¹³⁷ Ibid. P. 305–306, 604–605.

вместо того, чтобы утверждать о намерениях как своих собственных»¹³⁸. Казалось, Тойнби вернулся к некоторым утверждениям своей юности, но была существенная разница: прогресс отныне не мыслился как материальный прогресс, а англиканское христианство как единственно верное. Но тогда было ли верным само «Постижение истории»? Интеллектуальный путь прошлого, который Тойнби так усердно пытался создать, распался в его руках как картонный домик, и он не мог собрать воедино эти противоположные друг другу способы осмысления истории. Это позволило П Гейлу еще раз «пройтись» по Тойнби: «Тойнби все делает, чтобы выглядеть историком, но, прежде всего и больше всего, он остается пророком»¹³⁹.

Замечание Гейла глубоко ранило Тойнби. Он задумывает написать книгу, при помощи которой смог бы, наконец, доказать ученому сообществу, что он профессиональный историк, а не пророк. Для этого он выбрал проблему, которая интересовала его со времен Первой мировой войны – войны Ганнибала. Тойнби садится за написание книги сразу после завершения работы над «Пересмотрами», и к 1963 г. книга была готова¹⁴⁰. Этот фундаментальный труд посвящен практически всей республиканской истории Рима. При его написании Тойнби учел все последние данные по этой проблеме и прочитал все вышедшие за это время труды. Профессиональное сообщество было впечатлено, в очередной раз повернувшись к Тойнби лицом¹⁴¹. Однако книга была интересна только узким специалистам, а Тойнби рассчитывал на более широкую аудиторию, рассматривая «Политику Ганнибала» не столько как академический труд, сколько как притчу, иносказание, имеющее значение для всех времен и народов. В ней было показано как чудовищная победа над средиземноморскими территориями, закончившаяся созданием римской державы, привела к социальным катастрофам, гражданским войнам и диктатуре и, в конце концов, к падению этой империи. Как стремление покорять и владеть сделало римлян зависимыми от того, кого они покорили и чем завладели. По мнению Тойнби, римский опыт имел существенное значение для второй половины XX века, когда война между СССР и США грозила обернуться всеобщим концом. Но обычные люди не хотели читать академический труд объемом более тысячи страниц.

¹³⁸ Ibid. P. 279, 563.

¹³⁹ Geyl P. Toynbee's Answer // Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen / Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks. 1961. Deel 24. № 5. P. 26.

¹⁴⁰ Toynbee A.J. Hannibal's Legacy. The Hannibal's War's Effect of Roman Life. Vol. 1–2. London; N.Y.; Toronto, 1965.

¹⁴¹ См. отзывы на книгу: “Times Literary Supplement” (2 December, 1965), “Classical Philosophy” (April, 1967), “The New Statesman and Nation” (24 December, 1965) etc.

Другой попыткой оправдаться перед научным сообществом стала появившаяся в 1969 г. книга «Некоторые проблемы греческой истории»¹⁴², возвращавшая к вопросам, которые волновали его с юности, когда он пытался размышлять о том, что случилось бы, если бы Филипп Македонский не был убит, а его сын Александр дожил до глубокой старости. Он полагал, что эти вопросы «на самом деле имеют дело с более крупной и серьезной проблемой», имеющей отношение к природе человеческих событий, а именно: детерминизма или индетерменизма. «Я был ошибочно обвинен в детерминизме», и эта работа «является доказательством моей непредикативности и, следовательно, оправдывает меня»¹⁴³.

Наконец, в 1973 г. вышла книга «Константин Багрянородный и его Мир»¹⁴⁴, самой примечательной чертой которой стал явный интерес Тойнби к конкретно-историческим проблемам византийской истории в ущерб цивилизационным ракурсам рассмотрения и, как следствие этого, в ущерб религиозной проблематике. Труд посвящен преимущественно спорным вопросам византийской истории периода правления императора Константина: областям расположения восточного римского корпуса, славянским поселениям, отношениям империи с зарубежными странами и т.п. Много из написанного Тойнби вызвало настоящий восторг экспертов. Единодушно отмечалась колоссальная фактологическая база исследования, строгость и доказательность суждений. И это было, несомненно, большим достижением в его годы.

Работы конца 1960-х – начала 1970-х гг. в значительной мере реабилитировали Тойнби в глазах ученого сообщества, но мысль о приведении в гармонию различных дискурсивных практик «Постижения истории» не оставляла его. Последней попыткой Тойнби переосмыслить предмет «Постижения» можно считать нарративную историю мира, изложенную им в книге «Человечество и Матерь Земля»¹⁴⁵, появившейся в 1976 г., т.е. уже после смерти Тойнби. Он был сильно болен, и многое приводил по памяти. Его задачей было собрать вместе все прошлое человечества в некоем интеллигибельном целом. Но попытка Тойнби придать широкому знанию жизнеспособный синтез опять потерпела неудачу. И дело было не столько в религиозных воззрениях историка (задачи философствования вовсе не исключают принадлежности мыслителя к какой-либо церковной институции, поскольку философское мышление никогда не останавливается перед теми границами, выдвигаемыми религиозным сознанием). Философская и теологическая проблематика постоянно

¹⁴² *Toynbee A.J. Some Problems of Greek History. L., 1969.*

¹⁴³ Цит. по: *McNeill W.H. Op. cit. P. 265.*

¹⁴⁴ *Toynbee A.J. Constantine Porphyrogenitus and His World. L., 1973.*

¹⁴⁵ *Idem. Mankind and Mother Earth. A Narrative History of the World. N.Y., 1976.*

вступала в конфликт с научностью и историчностью (нефилософичностью) самих методов ее разработки¹⁴⁶.

С другой стороны, возможно, что именно озабоченность философско-исторической проблематикой обеспечила историческому мышлению Тойнби такую открытость, такое стремление избежать замкнутой системы, если угодно, такой универсализм его мировосприятия. Это приводило Тойнби к постоянным метаниям и даже противоречиям в его видении истории, но одновременно обеспечивало удивительную открытость этого видения, в чем-то обусловленного и принципиальной открытостью самой истории. Сказанное объясняет, почему драматические мировоззренческие коллизии, связанные с отношением мирового сообщества к «Постижению истории», равно как и собственные неудачные попытки придать этому труду внутренне непротиворечивый вид, не мешали Тойнби постоянно увлекаться новыми идеями.

Вот лишь один из примеров. В 1959 г. он присутствовал на совещании «Население и продовольствие», проходившем в рамках ООН в Риме. С тех пор проблема баланса населения и продовольствия становится постоянной проблемой его сознания, расширяясь до вопроса цены урбанизации для человеческого сообщества. Размышления на эту тему приводят его к сотрудничеству с Институтом Экистики, созданным греческим архитектором Константином Доксиадисом. Последний прославился тем, что построил ряд новых городов в Азии в совершенно новом стиле, созданном для решения социальных проблем региона. Эти города строились по принципу совокупности небольших деревенских сообществ, расположенных внутри большого мегаполиса и позволявших людям тесно общаться друг с другом. Когда в 1960 г. Тойнби посетил Карачи, то был весьма удивлен и заинтересован этим обстоятельством. Знакомство с архитектором привело его на симпозиум в Делос, в заседаниях которого он отныне станет постоянным и активным участником, сохранив увлеченность этим проектом на протяжении всей жизни. Доксиадис мечтал о будущем Космополисе, где каждый человек будет чувствовать себя частью целого. Это оказалось настолько созвучным мыслям Тойнби, что он был приглашен стать экспертом института по проблеме природного окружения для людей¹⁴⁷. Увлечение экистикой вылилось в написание трех книг¹⁴⁸ – лучший пример откры-

¹⁴⁶ Впервые внимание на это обстоятельство обратил Ортега-и-Гассет: *Ortega y Gasset J. Una interpretación de la historia universal, en torno a Toynbee*. Madrid, 1960. См. также: *Рашковский Е.Б.* Востокведная проблематика... С. 15.

¹⁴⁷ *McNeill W.H.* Op. cit. P. 252–253.

¹⁴⁸ *Toynbee A.J. Cities of Destiny*. L., 1967; *Idem. Cities of the Move*. L., 1970; *Idem. An Ekistical Study of the Hellenic City State*. L., 1971.

тости тойнбианского сознания, и далеко не единственный. В последние годы он интересовался такими новыми для него вопросами, как ценность пикторального искусства как исторического источника, или идеями Тейяра де Шардена. Но, пожалуй, самой яркой иллюстрацией этой особой черты тойнбианского сознания можно считать его концепцию современности, являющуюся одновременно прояснением и в какой-то мере логическим завершением его исторической концепции.

Тойнбианское видение современного этапа человеческой истории в значительной мере было обусловлено не только наблюдением и переживанием современных ему событий, но и появлением новых ракурсов рассмотрения мировой истории, ставших возможными благодаря научному прогрессу. Как историк и тем более человек либеральных воззрений, он не мог оказаться в стороне от тех настроений европейской интеллигенции послевоенных лет, главным из которых было, пожалуй, чувство вины за то, что не удалось сдержать натиска иррациональных сил, закончившихся появлением тоталитарных режимов. Причем впервые речь шла не об абстрактной и коллективной вине, а о вине каждого, кто остался в живых и не уберег погибших. Эта критика самих себя привела европейскую интеллигенцию к существенной коррекции познавательного опыта первой половины XX века и формированию комплекса общественных теорий, призванных переустроить мир на новых основаниях. Осмысление трудов К. Ясперса, А. Швейцера, Г. Баттерфилда просто невозможно без проекции на эти переживания и переосмысления. В этом же ряду находятся и послевоенные работы А. Тойнби, в которых представление о рubeжности и особой значимости современного этапа истории достигает невиданной остроты и эсхатологической направленности.

Современный этап истории мыслится им как изначально заданный временной период, на протяжении которого должно решиться будущее человечества: победа соединяющих (Добро, Бог) или разъединяющих (Зло, Сатана) сил, ведущих сражение на каждом клочке земли и в каждом человеческом сердце¹⁴⁹. К разъединяющим тенденциям относятся этнонациональная, религиозная и межгосударственная вражда, к соединяющим, соответственно, – совершенствование орудий труда, миграционные процессы, развитие мировых религий и т.д. Победа Добра сулит вхождение в новый, постцивилизационный пласт человеческой истории, победа Зла грозит обернуться ее концом¹⁵⁰. Такой философско-исторический подход к рассмотрению феномена современности

¹⁴⁹ Полковник Лоуренс // *Тойнби А.Д. Мои встречи*. М., 2003. С. 448.

¹⁵⁰ *Toynbee A.J. A Study of History. Vol. 12. Reconsiderations*. P. 54–87.

позволил Тойнби несколько скорректировать и свое довоенное понимание цели истории, а именно: через моральное и духовное самосовершенствование вывести облагороженного и одухотворенного человека в преддверие метаистории, в преддверие божества.

Здесь важно отметить акцент Тойнби на причастность человека к противоборству материальных и духовных сфер¹⁵¹. Вопрос о месте и призвании личности характерен для западной интеллигенции послевоенного периода. Но, как справедливо заметил Е.Б. Рашковский, пожалуй, трудно назвать другого мыслителя, который поставил бы вопрос о связях духовных судеб человека со структурной сложностью истории с такой остротой¹⁵². За этой попыткой угадывалось стремление защитить представление о причастности человеческой личности абсолюту от релятивистских и сугубо прагматических трактовок человека, господствовавших в общественном сознании в 1920–30-е годы. Убеждение в высоком предназначении человека подсказало Тойнби поистине стоический взгляд на свободу человека в истории: «Каждое поколение, подобно карме, влечет на себе все то, что было содеяно предшественниками. Ни одно из поколений не начинает жизнь в условиях полной свободы, но начинает как узник прошлого. Но, к счастью, узник этот не беспомощен, он располагает силами сломить рутину унаследованных привычек, но это дается лишь могучим усилием, и привычек этих не переломить до конца. Свобода эта не иллюзорна, но и никогда не полна»¹⁵³. И далее: «Быть человеком – значит, быть способным переступить собственные пределы»¹⁵⁴.

Итак, два мира – два плана. Мирской план ознаменован внутренним борением и внешними антагонизмами, а сакральный является сферой постоянной реализации сущности человека, сферой духовного соприкосновения различных людей, народов и культур, сферой межкультурной коммуникации. Всякое преодоление человеком своей индивидуальной, племенной, цивилизационной ограниченности связано с поисками в себе и в мире того, что возвышает человека над призрачностью его замкнутого эмпирического существования. Способность человека обращаться к своим собратьям как к человеческим существам трактуется Тойнби отныне как нечто надвременное, преодолевающее культурно-исторические барьеры конкретных цивилизаций. Не удивительно, что в послевоенные годы основной исследовательской установкой Тойнби становятся

¹⁵¹ *Idem.* Change and Habits. The Challenge of Our Time. L., 1966. P. 11.

¹⁵² Рашковский Е.Б. Преодоление европоцентризма в трудах А. Тойнби // Народы Азии и Африки. 1973. № 2. С. 171.

¹⁵³ Тойнби А.Дж. Пережитое. С. 84.

¹⁵⁴ Там же. С. 102, 115.

именно цивилизационные контакты, которые ранее трактовались им скорее как признак упадка того или иного цивилизационного сообщества, чем эффективный способ реализации человечеством своего предназначения, и осмысливались они несколько иначе, чем в межвоенный период. Например, ранее проблема межцивилизационного общения представлялась ему как процесс передачи духовно-нравственного опыта одной культурно-исторической конфигурации другой. Согласно же сочинениям Тойнби 1940–1970 гг., взаимодействие культур рассматривается не только в уникальной системе духовно-исторических координат, но и в условиях технологического и социально-экономического взаимодействия.

Размышления над этой проблематикой вылились в целый ряд статей, появившихся в научной периодике в 1947 г. и опубликованных год спустя под названием «Цивилизация перед судом истории»¹⁵⁵. Логическим продолжением сборника стал курс лекций, прочитанный Тойнби в 1952 г. по Би-Би-Си и воплощенный в книге «Мир и Запад»¹⁵⁶. Лейтмотивом обеих книг является идущее повсеместно столкновение незападных стран с процессом вестернизации. В довоенные годы Тойнби немало потрудился над культурно-исторической компаративистикой Запада и Востока, в послевоенные его больше занимал другой вопрос, а именно: типологизация, или, если угодно, вариативность, путей развития современных афро-азиатских сообществ. Не случайно в книге «Мир и Запад» Тойнби акцентировал свое внимание на различиях переживания злополучного «западного вопроса» в сообществах Дальнего Востока, Индии, мусульманского и православного миров. Без этого невозможно понять, почему в одних случаях западные инновации более-менее органично входили в ткань национальных сообществ, а в других нет. Одним из таких отмеченных Тойнби парадоксов являлась, например, Япония. В отличие от других азиатских стран она не знала ни западного колониального ига, ни даже торговли, тем не менее, степень облучения этой страны европейскими культурными лучами оказалась особенно сильной.

В то же время Тойнби не считал, что устаревшая, на первый взгляд, антитеза «Запад–Восток» полностью потеряла свою эвристичность. В поздних работах он не раз подчеркивал, что одним из ключевых моментов межкультурного взаимодействия является интенсивный процесс внедрения западной научно-технической мысли в различные сферы жизни восточных обществ¹⁵⁷. Естественно, в разных этно- и со-

¹⁵⁵ *Toynbee A.J. Civilization on Trial. N.Y., 1948.* На русском языке книга опубликована в 1995 году.

¹⁵⁶ *Idem. The World and the West. N.Y., 1953.* Русский перевод можно найти в книге: *Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.*

¹⁵⁷ См.: Диалог Тойнби – Икеда. Человек должен выбрать сам. М., 1998. С. 6.

циокультурных средах протекание этого процесса имеет свои особенности. Но все это многообразие не снимает вопроса о различиях и путях синтеза двух интеллектуальных традиций, иными словами, о внимании к новому измерению антитезы «Восток–Запад».

Сказанное позволяло сделать вывод, что современные процессы межкультурного взаимодействия требуют отказа от упрощенных схем, в рамках которых рассматривается проблема диалога, и перехода к гибкому, пластическому собиранию образа мира. При таком подходе предпосылки идущего процесса вестернизации вряд ли стоило искать только в демонстрации Западом своей технологической мощи. В сфере культуры особое значение приобретал тот факт, что именно развитие западной интеллектуальной традиции позволило этой цивилизации поставить и успешно решать задачи построения гражданского общества, правового государства, реализации человеческого достоинства как важнейшего компонента духовной традиции Запада, не говоря уже о научной и технологической рациональности. Парадокс заключался в том, что, с одной стороны, европейские навыки мышления действительно подрывали традиционные формы культуры и познания восточных обществ, с другой стороны, помогали их рационализации, открывая тем самым дорогу процессу обретения этими народами своей культурно-исторической памяти, что способствовало приобщению этих обществ как к собственному прошлому, так и к современному миру.

Тойнби не раз задумывался об этом парадоксе. По сути, речь шла о нахождении «золотой середины» в соотношении своего и чужого. Можно ли заимствовать чужое без ущерба собственному культурному наследию и стоит ли оставаться на позициях традиционализма, рискуя тем самым оказаться в изоляции? По мнению Тойнби, истина состоит в том, что «каждое исторически сложившееся культурное пространство есть органичное целое, где все составные части взаимозависимы, так что при отделении одной из частей и сама эта часть, и оставшееся нарушенное целое ведут себя иначе, нежели в исконном состоянии»¹⁵⁸. Стало быть, «ни овладение чужой новейшей технологией, ни ревностное сохранение традиционного образа жизни не может быть полным и окончательным Ответом на Вызов чуждой цивилизации»¹⁵⁹. Тогда, каким должен быть окончательный ответ? По-видимому, усвоение инокультурных элементов не может быть процессом чисто механического приращения. Смысл диалога – в нахождении особого модуса соотношения собственного и чужого, в результате которого и в самом обществе, и в сознании отдельных его представителей, возникает установка на творческий синтез традициона-

¹⁵⁸ Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории. С. 184–185.

¹⁵⁹ Там же. С. 188.

лизма и современности, прошлого и настоящего – синтез, в котором будет преодолено искушение как полного отказа от своего прошлого, так и пребывания на позициях традиционализма¹⁶⁰. Следовательно, успешное протекание диалога культур предполагает перестройку не только социальной и институциональной сфер, но и личности.

В этих условиях на первый план выдвигается человеческий аспект межкультурного диалога, проблема взаимосвязи личного и коллективного. Тойнби не раз подчеркивал, что культура не есть нечто абстрактное, она складывается из жизни и творчества конкретных людей. И если консервативное начало чаще всего коренится в коллективном опыте культуры, то инновационное – в индивидуальной творческой деятельности человека, ибо личность только частично укоренена в окружающей ее культуре и может выходить за пределы господствующих в обществе социокультурных норм¹⁶¹. Получается, что без развитых форм мысли и творчества нет и не может быть подлинного межкультурного диалога.

А. Тойнби не был первым, кто предпринял попытку связать европейскую и неевропейскую историю в единое целое. Достаточно вспомнить такие имена, как Г. Уэллс или О. Шпенглер¹⁶², причем если первый все еще рассматривал эту связь в европоцентристском духе, то второй явно придерживался тезиса о равноправии, а в некоторых случаях и превосходстве незападных цивилизаций. И все же никто до Тойнби не поставил с такой силой вопрос о том, что в условиях многообразия культур, форм человеческого опыта взаимопонимание людей без утраты их идентичности и даже, напротив, через ее углубление и содержательное обогащение становится одним из важнейших императивов современности. Никто до него с такой ясностью не осознал, что беспрецедентный по своей интенсивности процесс культурного взаимодействия народов является одним из тех фундаментальных вызовов или, выражаясь словами Е. Рашковского, «шифrogramм бытия», на которые человечество вынуждено откликаться в каждом поколении, познавая в частных временных коллизиях свои вечные измерения.

Мечта о будущем, в котором в социальной практике и духовной жизни были бы воплощены все гуманные тенденции человеческой культуры, сказалась на очередной трансформации религиозных представлений ученого. После войны, когда личные и общественные катаклизмы ушли в прошлое, тойнбианский флирт с католической церковью пошел на спад. Он признался, что не может продолжать называть себя христиани-

¹⁶⁰ См. об этом: *Тойнби А.Д.* Постигание истории. М., 1991. С. 599.

¹⁶¹ См., напр.: Переписка Н.И. Конрада и А.Дж. Тойнби // *Н.И. Конрад*. Неоконченные работы. Письма. М., 1996. С. 398.

¹⁶² *Wells G.H.* Outline of History. L., 1920; *Шпенглер О.* Закат Европы. М., 1992.

нином, поскольку не прошел бы элементарной проверки на христианскую ортодоксальность¹⁶³. При этом дальнейшая дехристианизация его религиозного сознания сопровождалась секуляризацией тойнбианского мировоззрения вообще. В «Переосмыслениях» он уже называл себя экс-верующим, религиозным агностиком или даже транс-рационалистом¹⁶⁴. Это не означало полного отказа от религиозных представлений. Тойнби не раз подчеркивал, что, несмотря на свой агностицизм, убежден, что религия имеет отношение к реальности, и эта реальность имеет перво-степенное значение¹⁶⁵. Ключом к его религиозным представлениям можно считать установку на взаимосвязь конечной духовной реальности с духовным началом в человеческой природе. «Религия, – писал Тойнби, – это поиск конечного духовного принципа во Вселенной, и цель этого поиска не просто интеллектуальная игра, это духовная задача постижения истины, с тем, чтобы гармонично влиться в нее самому... Моя цель – иметь максимум религии при минимуме догм»¹⁶⁶. В этом контексте стремление послевоенного Тойнби к сочетанию религиозного и научного взглядов на мир перестает выглядеть неким парадоксом. Суть этой позиции, по его словам, заключается в попытке установления определенного компромисса между строго рационалистическим и теологическим взглядами на мир. Верующий уступает рационалисту, переставая вмешивать трансцендентное в вопросы познания, а рационалист верующему, признавая принципиальную неполноту любой системы рациональных законов применительно к человеческому бытию¹⁶⁷.

Неортодоксальный характер тойнбианского христианства не раз был подмечен исследователями его творчества. «В Тойнби мы находим парадокс историка, который настаивал на том, что придерживается религиозного взгляда на историю, на самом деле склоняясь к историческому взгляду на религию»¹⁶⁸, – писал епископ Дж.В.Л. Кассерли, критикуя Тойнби с позиций теологии. «Несмотря на то, что в этих последних томах религии отводится значительно бóльшая роль... характер его христианства определенно эллинский, и временами оно больше философия, чем религия в строгом смысле слова»¹⁶⁹, – вторил ему Р.П.М. МакГир. Сказанное позволяет согласиться с Ю.А. Бондаренко, который наиболее подробно исследовал тойнбианскую трактовку сущности религии и счи-

¹⁶³ Тойнби А.Дж. Пережитое. С. 128.

¹⁶⁴ *Toynbee A.J. A Study of History. Vol. 12. Reconsiderations. P. 73, 313–314.*

¹⁶⁵ Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 121.

¹⁶⁶ Там же. С. 137, 134.

¹⁶⁷ См.: *Toynbee A.J. Op. cit. P. 71–75, 313–314.*

¹⁶⁸ *Casserly J.V.L. Toward a Theology of History. L., 1965. P. 115.*

¹⁶⁹ *McGuire R.P.M. Toynbee's A Study of History: fruitful Failure on the grand scale // The Estolic Historical Review. 1956. Vol. 47. № 3. P. 326–327.*

тал, что Бог А. Тойнби – это то же самое, что Бог Тейяра де Шардена, Альберта Швейцера или Пауля Тиллиха, – ориентир, помогающий не сбиться с пути, идеал, проникающий в сердце. И тут же добавляет, что при таком расширительном толковании религии даже атеиста можно зачислить в число верующих¹⁷⁰. Важным потрясением для него было открытие, что азиатские духовные лидеры обладают более вселенским взглядом на мир, чем христианские или иудейские. По мере того, как гравитация Тойнби по отношению к католицизму убывала, оценка других, более толерантных, с его точки зрения, религий становилась все более позитивной: «Христианство представляет собой контраст религиям и философиям индийского происхождения: оно в целом интеллектуально замкнуто и эмоционально нетерпимо... Нетерпимость объединяет христианство, ислам, иудаизм и зороастризм с современными западными идеологиями, которые расцвели в постхристианской среде: я имею в виду фашизм, нацизм, коммунизм...»¹⁷¹.

Действительно, Тойнби был склонен рассматривать христианство как главного виновника всех драматических метаморфоз Западного мира, в том числе экологического кризиса, основной причиной которого считал утвердившееся в европейской религиозной традиции восприятие человека как господина природы. «Успехи человека в области достижения господства над природой были куплены ценой подчинения себя искусственной, созданной самим человеком среде. Эта новая среда более (!) неблагоприятна, тиранична, психологически беспокойна, чем старая, и эта замена – одна из причин современной неустроенности, конфликта, насилия, всеобщей фрустрации»¹⁷². И далее: «Для наших потомков было бы лучше, если бы человек... достигнув неолитического уровня технологии, более в этой области не прогрессировал»¹⁷³. Показательно, что до начала 1960-х гг. отношение Тойнби к техническому прогрессу в западном мире не было однозначно отрицательным. Техника мыслилась им как сила нейтральная, а технологическая унификация даже трактовалась как предпосылка объединения мира¹⁷⁴. Скепсис по отношению к техническому прогрессу впервые появился в томе «Пережитое», вышедшем в 1969 г.¹⁷⁵, и превратился в мощное крещендо в последней книге ученого – «Человечество и Матерь Земля»¹⁷⁶. На-

¹⁷⁰ Бондаренко Ю.А. Критический анализ учения А.Д.Тойнби... С. 70–71, 75.

¹⁷¹ *Toynbee A.J. One World and India. New Delhi, 1960. P. 57.*

¹⁷² *Idem. Surviving the Future. N.Y., 1971. P. 30.*

¹⁷³ *Idem. Mankind and Mother Earth. P. 44.*

¹⁷⁴ См., например: *Idem. A Study of History. Vol. 9. N.Y.–L., 1954. P. 467.*

¹⁷⁵ *Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 239–253.*

¹⁷⁶ *Toynbee A.J. Mankind and Mother Earth. P. 42–43.*

падая на материальный прогресс, в своих поздних работах Тойнби иногда даже доходил до отрицания такого вида прогресса вообще¹⁷⁷.

Признавая религии индийского происхождения более ориентированными на гармонизацию человека и природы, чем христианство, Тойнби, тем не менее, не видел возможности согласовать свои религиозные представления с догматами какой-либо из них: «Я не верю в некоторые основополагающие понятия высших религий... Пункт, по которому я расхожусь со всеми высшими религиями, – это пункт, касающийся их попыток дать точные и определенные ответы на загадку, заданную Человеку тем положением, в котором он находится¹⁷⁸. Поэтому во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. он начинает выступать за создание единой синкретической религии. Речь идет о религиозном синтезе, выработке некоего общего подхода к высшим религиям – подхода, который бы обнажил их общую сущность¹⁷⁹. «Наша цель, – писал он в 1954 г., – несомненно, должна состоять в объединении индийского католицизма с палестинским монотеизмом»¹⁸⁰. Тойнби полагал, что все высшие религии релевантны определенным аспектам единой истины, которая может быть выражена только в мифе, а уж он выбирает одежды и расцветки в соответствии с местом и временем. Характеризуя будущую мировую религию, он отмечал, что она должна быть толерантной (как иудаизм), недогматической (как греческая вера) и несуетерной (как индуизм)¹⁸¹.

Задумываясь о характере высшей духовной реальности, Тойнби склонялся к мысли о ее человекоподобии, но не в плане бытия личностью, а в смысле ограниченности возможностей творить мир по своему усмотрению: «Моя концепция непостижимой духовной реальности, бесспорно, является более индийской (т.е. менее представленной в терминах персонифицированного Бога), чем иудейской... Я верю, что каждое живущее создание есть временная щепка конечной реальности, и она воссоединится с ней после смерти. “Воссоединение” означает веру в некоторые внешне различные феномены: а именно личное бессмертие, личную аннигиляцию и нирвану»¹⁸². В 1966 г. издатели попросили его выразить свое отношение к смерти и идеи по поводу нее, что, безусловно, помогло ему кристаллизовать свои представления. Сначала он даже хотел написать книгу об этом, но потом согласился ограничиться небольшим эссе

¹⁷⁷ *Idem.* *Surviving the Future.* P. 64.

¹⁷⁸ *Тойнби А.Дж.* Указ. соч. С. 130, 131.

¹⁷⁹ *Toynbee A.J.* *An Historian's Approach to Religion.* N.Y.; L.; Toronto, 1956. С. 141–142.

¹⁸⁰ *McNeill W.H.* *Op. cit.* P. 219.

¹⁸¹ *Ibid.* P. 220.

¹⁸² *An Historian's Conscience...* P. 537.

“*Man’s Concern about Death*” (1968). Брошюра появилась уже после его кончины под названием «Жизнь после смерти»¹⁸³. В ней Тойнби предполагает наличие своего рода бессмертия в форме воссоединения каждого отдельно взятого человеческого духа с трансцендентальной реальностью, находящейся внутри или по ту сторону материального универсума.

Кажется, что в преклонные годы Тойнби вернулся к антитезе между Жизнью и Механизмом, унаследованной от философии Бергсона в юности. Многие из его ремарок в этих книгах соответствуют бергсоновской установке, но, судя по всему, Тойнби не подозревал об этом отголоске и предпочитал использовать буддистские термины – карма, нирвана, аннигиляция желаний. Бесспорно, что его борющаяся духовная реальность в поздних работах очень напоминает бергсоновскую Жизнь, борющуюся против мертвого Механизма и способную восстановить восходящую дугу творческой эволюции. И все же назвать эти взгляды Тойнби полностью бергсоновскими нельзя – в них весь тойнбианский опыт исканий по поводу духовного предназначения человека.

Взгляды Тойнби, как видим, находились в процессе изменения. Чем дальше, тем больше его вера, равно как и его представления о современности, принимали вселенский характер. В письме Р. Арону, вторя Марксу, он декларировал: «Я не “тойнбианский” в смысле ожидания установления некоторой обрезанной и высушенной ортодоксии»¹⁸⁴.

Драматическим для британского ученого фактором, приведшим к острому мировоззренческому кризису, стало явное нежелание большинства европейцев воспринять и разделить высказанные им идеи. Раздражающим для многих из них моментом стал отказ Тойнби от идеализации Западной цивилизации¹⁸⁵. Считая фашизм закономерным порождением этой цивилизации, а сакрализацию имперского принципа его главным истоком, Тойнби выступил с резкой критикой колониализма¹⁸⁶. Аналогичными были его рассуждения и о вызове, бросаемом Западу коммунизмом и исходившим, по мнению ученого, не столько из природы самого коммунизма, сколько из сущности исторического развития Запада¹⁸⁷. Однако в условиях пика «холодной войны» никто не верил в быструю гибель колониальных империй и тем более не рассматривал поведение России как ответ на Западную экспансию. Тойнби впервые обвинили в нелюбви к Западу – только в более резких выражениях¹⁸⁸. Особенно

¹⁸³ *Toynbee A.J. Life after Death. L., 1976.*

¹⁸⁴ *McNeill W.H. Op. cit. P. 221.*

¹⁸⁵ *Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. С. 156.*

¹⁸⁶ *Toynbee A.J. A Study of History. Vol. 9. P. 433.*

¹⁸⁷ *Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 160–161.*

¹⁸⁸ См.: *Hudson G. Toynbee’s versus Gibbon // The Twenties Century. November, 1954; De Beus J.G. The Future of the West. New York, 1953; Jerrold D. The Lie about*

усердствовали американцы, «обиженные» на разочарование Тойнби возможностями американской демократии.

Иллюзии по поводу США как возможного лидера послевоенного Запада впервые появились у Тойнби уже в самом начале Второй мировой войны, когда он получил назначение на пост главы квазиправительственного агентства – *The Foreign Research and Press Service*, одной из задач которого было обсуждение проблемы послевоенного устройства мира. С этой целью он даже создал Отдел Мира в своем агентстве. Эти усилия вскоре объединились с теми, что предпринимал в этом плане Всемирный Совет Церквей в лице их представителей в Женеве. В Бейллиол стали приезжать делегации от американского представительства этой организации, в том числе побывал там и будущий госсекретарь США Джон Даллес. Роль Тойнби на этих встречах была одновременно официальной и неофициальной, потому что, с одной стороны, он обсуждал с американцами правительственные проекты, с другой, высказывал собственное видение проблемы¹⁸⁹.

Неожиданный поворот произошел в 1942 г., когда Фонд Рокфеллера в Нью-Йорке пригласил его посетить США для консультаций по проблеме послевоенного устройства. В программу посещения входили поездки по городам США, выступления в крупнейших университетах страны и неофициальная (и конфиденциальная) встреча с лордом Галифаксом. Высказываемые тогда Тойнби идеи справедливого и прочного мира импонировали простым американцам, чего нельзя сказать о представителях американского истеблишмента. Подтверждением сказанному может служить впечатление от встречи с Тойнби, высказанное одним из деятелей Совета церквей: «Тойнби, к удивлению Даллеса и моему собственному, придерживается взгляда, что не может быть адекватных решений проблемы мирового порядка без мирового правительства. Его особое предложение состоит в реконструкции Мирового Содружества Наций, в которое войдут по желанию все представители Объединенных Наций и осевые державы так скоро, как только это станет возможным. И четыре ведущие державы будут назначены ответственными за проводимую политику»¹⁹⁰. Многие из присутствовавших на той встрече американцев были солидарны с Тойнби, – многие, но не Даллес, который весьма «неохотно был вынужден признать приемлемость подобного решения» (курсив мой – О.В.)¹⁹¹.

the West. A Response to Professor Toynbee's Challenge. New York, 1954 (очень резкий памфлет в стиле маккартизма) etc.

¹⁸⁹ McNeill W.H. Op. cit. P. 179–182.

¹⁹⁰ Ibid. P. 184.

¹⁹¹ Ibidem.

Сохранившиеся в архивах бумаги помогают дополнить тогдашнюю позицию Тойнби по этому вопросу: «...Новое правительство должно впредь быть независимым от любой нации или группы наций, и в число тех, кто время от времени будут определять политику и личный состав, должны быть включены те, кто сегодня нейтрален или является врагом». «Мир становится сообществом, и его члены не имеют больше морального права настаивать на “суверенности” и “независимости”, которая сегодня не более чем легальное право действовать без учета вреда, который их действия наносят другим»¹⁹². Кроме того, Тойнби предлагал «ликвидировать империализм», заменив колониальное управление международным. Кстати, это предложение он высказывал еще в 1936 г., так что его взгляды по этому вопросу существенно не изменились: он продолжал думать, что противостояние войне является одним из вызовов Западной цивилизации, и что выбор лежит между всемирно управляемой империей (по римской модели) и своего рода добровольным объединением государств, историческими предшественниками которого можно считать Лигу Наций или Ахейский Союз и Этолийскую Лигу древней Греции.

Активная международная деятельность Тойнби привела к следующему назначению: в июне 1943 года он возглавил новый Исследовательский отдела МИД и переехал в Лондон. Отдел должен был заниматься только вопросами послевоенного устройства мира. Будущее противостояние супердержав к тому времени стало уже очевидным, и Англии надо было выработать собственную позицию. Для Тойнби она заключалась в решении следующей дилеммы: «Мир будет объединен политически и война будет преодолена – на несколько столетий – в ближайшие двадцать пять лет. Вопрос только, как? Совместно, подобно Лиге Наций? Если да, то нам удастся сохранить для будущего достаточную степень свободы и вариативности нашего мира, и тогда цивилизации смогут достичь почти невероятного успеха»¹⁹³. После войны его представления не изменились. Он выступил против превращения Европы в федерацию, опасаясь, что в этом случае она может быть поднята Германией или превратиться в российского или англо-американского сателлита. Только объединенные нации – полагал Тойнби – смогут сохранить мир.

Послевоенное десятилетие стало для Тойнби временем его славы, особенно в США, учитывая, что его воззрения на послевоенное устройство мира великолепно работали на новую роль Соединенных Штатов, перехваченную у Британии. Борьба с коммунизмом, которую в первые послевоенные годы вели Штаты, вдохновляла Тойнби. Именно так он

¹⁹² Ibidem.

¹⁹³ McNeill W.H. Op. cit. P. 199.

воспринял план Маршалла, создание НАТО, Корейскую войну. «Я верю, писал он, что Западный мир собирается сгруппироваться вокруг США в нечто, подобное единому сообществу, которое позволит нам начать новую и многообещающую главу в нашей истории»¹⁹⁴.

Были, конечно, и моменты несогласия с американцами, которым, например, не нравилось, когда Тойнби говорил об Америке как части Европейской цивилизации, или о том, что главным врагом Западной цивилизации является не Россия, а западный империализм. Кроме того, Тойнби полагал, что политика с позиции силы, в конечном счете, подчинена религии, так как только определенные религиозные обязательства могут помочь Западу надеяться на победу над азиатско-африканским большинством¹⁹⁵. Тем не менее, раскручивание тойнбианских идей в то время приносило все же гораздо больше дивидендов, нежели потерь, и американцы тщательно подбирали все, что играло им на руку.

Не без содействия американской прессы Тойнби начал превращаться в фигуру мирового масштаба. В 1948–52 гг. он посетил Грецию, Турцию, Голландию, Германию, Данию, Францию, Ирландию, Испанию, Швейцарию и Канаду. В 1952 г. в составе «большой шестерки» Тойнби был приглашен в Рим для участия в круглом столе Совета Европы. Его спутниками были Р. Шуман и А. де Гаспери. Тогда же состоялась его историческая встреча с римским папой. В 1956–1957 гг. на грант Фонда Рокфеллера Тойнби предпринял кругосветное путешествие, попутно читая лекции, самыми значительными из которых были лекции в Австралии и Бейруте. Он выступал по радио и телевидению, встречался с президентами и премьер-министрами латиноамериканских стран¹⁹⁶.

Популярность Тойнби проникла даже за «железный занавес». Академик Е.А. Косминский, посетивший в 1952 г. Англию в составе советской делегации, стал невольным свидетелем массового ажиотажа вокруг его имени. Впечатление было настолько сильным, что в написанных сразу по возвращении в Москву заметках о поездке Косминский две из трех частей посвятил Тойнби. Заметки были опубликованы в нескольких номерах журнала *"News"*¹⁹⁷, издававшегося в Москве на английском языке и ориентированного на британскую общественность. А в феврале 1954 года упоминание о Тойнби появилась в более массовом издании – «Лите-

¹⁹⁴ Ibid. P. 218.

¹⁹⁵ An Historian's Conscience... P. 265.

¹⁹⁶ Впечатления об этом кругосветном путешествии Тойнби изложил в своей книге *"East to West: A Journey Round the World"*, изданной в Нью-Йорке в 1958 г.

¹⁹⁷ Kosminsky E.A. English Impressions. Part I–III // News. 1953. № 4. P. 6–8; № 7. P. 6–9; № 9. P. 9, 10. Части II–III посвящены историософии А. Тойнби (Professor Toynbee's Ideological Exertions).

ратурной газете». Автор заметки, академик Г. Александров, назвал Тойнби «раболепствующим подхалимом Соединенных Штатов», «ратующим за разрушение национального суверенитета всех стран и народов»¹⁹⁸.

Однако по мере осмысления истинного характера поведения американцев проамериканские иллюзии Тойнби начали рассеиваться. Истоки процесса переосмысления следует искать в событиях начала 1960-х гг. и их последствиях для мирового сообщества (Кубинская революция, вторжение в заливе Свиней, а затем и начало Вьетнамской войны). Кроме того, его стало раздражать, с каким упоением послевоенная Америка наслаждалась легким богатством и считала себя привилегированной нацией, с какой уверенностью она отстаивали свое право распространять американскую демократию на другие территории без согласия на то другой стороны¹⁹⁹.

Одним из поводов для выражения тойнбианского недовольства стали апологетические настроения в отношении Израиля, культивировавшиеся в американском общественном мнении в связи с событиями на Ближнем Востоке. Тойнби тут же сравнил политику Израиля по отношению к арабам с тем, что делалось нацистской Германией по отношению к «неполноценным» народам²⁰⁰. Британский историк был уверен, что если отныне евреи выступают за те же самые этнические резервации, что и антисемиты, то разница между ними исчезает. Победа Израиля над арабами рассматривалась им как еще одно доказательство губительности националистических идеалов. Однако длительная оппозиция Тойнби политике Израиля вызвала настоящую контратаку, вылившуюся в грандиозный скандал и обвинения ученого в антисемитизме, сторонником которого он никогда не был, и быть не мог,²⁰¹ что чем свидетельствует весь комплекс его мировоззренческих установок²⁰¹.

Но настоящим апогеем его критики США можно считать книгу «Америка и мировая революция»²⁰², в которой Тойнби констатировал постепенное вырождение США в реакционную и консервативную силу и признавал утрату ею лидерства в соревновании с Россией.

Чем больше возрастало неверие Тойнби в способность США играть роль мирового лидера в деле объединения человечества, тем терпимее

¹⁹⁸ Литературная газета. 10 февраля, 1954.

¹⁹⁹ См., например: *Toynbee A.J. The Present Day Experiment in Western Civilization*. L., 1962; *Idem. Economy of the Western Hemisphere*. L., 1962. См. также: Жуков Ю. Куда ведут Америку? Свидетельство английского историка Арнольда Тойнби // *Правда*. 31 декабря, 1968.

²⁰⁰ *McGill Daily*. 26 January, 1961. Впервые эта мысль была высказана в 8 томе «Постижения истории».

²⁰¹ Цит. по: *McNeill W.H.* Op. cit. P. 248–249.

²⁰² *Toynbee A.J. America and the World Revolution*. N.Y.–L., 1962.

становились его высказывания по отношению к социализму. Это объясняет значительное полевение общественно-политических воззрений британского историка в последние годы жизни. Сохраняя антипатию к коммунизму как идеологии человеконенавистничества, Тойнби со временем был вынужден констатировать наличие в нем гуманистического содержания и выступить за диалог и даже постепенную конвергенцию социальных систем: «Я не являюсь теоретиком социализма, но после всего того, что можно наблюдать в промышленных странах, я более чем когда-либо убежден в том, что западная форма общества сможет выжить только в том случае, если будет существенно ограничена частная собственность на средства производства... Моя надежда относительно XXI века состоит в том, что он увидит установление в глобальном масштабе общества, которое будет социалистическим на экономическом уровне и свободомыслящим на духовном»²⁰³. Показательно, что когда в 1965 г. Тойнби был утвержден в качестве преемника Черчилля на посту зарубежного представителя Французской академии моральных и политических наук, он обратился к своему предшественнику с призывом к объединению всей Европы – и западной и восточной – как единственному способу справиться с новым окружением в послевоенную эру²⁰⁴.

Постоянная и с каждым годом усиливающаяся, параллельно с ревизией христианских представлений, критика Западной цивилизации способствовала впадению Тойнби в другую крайность, а именно в некритичное востокофильство. Благодаря этому, в 1960 г. состоялись его беседы с лидерами Индии (Неру) и Пакистана (Кханом)²⁰⁵, в 1961 г. его встречали в Египте²⁰⁶, в 1962 г. – в Марокко, в 1964–1965 гг. – в Нигерии, Судане, Эфиопии, Египте, Ливии²⁰⁷. Его впечатления от посещения афроазиатских стран не были оптимистичными. Во-первых, он все больше убеждался в том, что британские или американские стили правления не работают в землях с недостаточной социальной поддержкой, в то время как военно-диктаторские методы позволяют решать проблемы местного населения гораздо более эффективно, чем политические системы с выборными механизмами. Во-вторых, он все время сталкивался с ролью религиозного фактора в жизни этого региона, понимая, что все старания установить на этой земле какое-нибудь содружество неизбежно вступят в конфликт с религиозными основаниями жизни местных сообществ²⁰⁸.

²⁰³ *Toynbee A.J. Fürs Gaswerk sterben // Spiegel. 1972. № 50. S. 156.*

²⁰⁴ *Installation de M. Arnold Toynbee comme Associé Étranger. Paris, 1968. P. 35.*

²⁰⁵ В результате путешествия по этим землям появилась книга “Between Oxus and Jumna: A Journey in India, Pakistan and Afganistan” (N.Y-L., 1961).

²⁰⁶ См.: *Toynbee A.J. The Importance of the Arab World. L., 1962.*

²⁰⁷ См.: *Idem. Between Niger and Nile. L., 1965.*

²⁰⁸ *Idem. Between Oxus and Jumna. P. 182–183.*

Особое место в списке стран-почитателей Тойнби занимала Япония. Появившиеся в 1968–72 гг. в переводе на японский язык тома «Постижения история» стали настоящим бестселлером и вступили в соревнование с лидером продаж того времени – «Капиталом» Маркса. Японцев, конечно, привлекала критика Тойнби шовинизма и западоцентризма²⁰⁹. Однако, думается, что самой важной причиной популярности Тойнби среди японцев стало то, что, не являясь ни националистом, ни марксистом, Тойнби сумел предложить альтернативное видение истории. В результате, Тойнби сыграл в Японии негативную роль антидота Марксу, но позитивную как религиозный и духовный учитель.

После его визита в страну в 1967 г. те, кто был заинтересован его историческими и антимарксистскими высказываниями и идеями, создали своего рода тойнбианское общество, которое сначала существовало на личные деньги одного из сторонников, а потом приняло статус государственного. Оно расцвело после смерти Тойнби, проводя конференции, семинары, выпуская книги «Современный век и Тойнби», «Постижение Тойнби», «Тойнби и Я». Тойнби, пока был жив, неизменно посылал им напутствия на эти встречи²¹⁰. Но если тойнбианское общество все же осталось элитной организацией, то религиозные и нравственные идеи британского историка сделали его популярным в японском обществе. В 1970 г. в течение 97 дней он публиковал в одной из японских газет ответы на вопросы о своем видении жизни, впоследствии объединенные в книгу «Во имя будущего»²¹¹. Вопросы были преимущественно морального характера, и при ответе на них Тойнби неизменно связывал мораль и религию²¹². Иногда в них появлялись политические темы, а также вопросы о значении истории, человеческой природе, будущем и о жизни в целом, но ответы на них лишь повторяли то, что было уже известно западным читателям историка.

Религиозные воззрения Тойнби привлекли внимание еще одной японской организации *Soka Gakkai*, тесно связанной с одной из буддистских сект. Длительное время секта находилась в подполье и была легализована только в XX в., но по-настоящему стала популярной после второй мировой войны, когда ее лидером стал Дайсаку Икеда. Ус-

²⁰⁹ «Когда западный эллинист пытается сделать эллинам сомнительный комплимент, включая их вместе с собой в круг детей света по контрасту с находящимися во тьме “азиатами”, я встаю против этой попытки превратить эллинов в партнеров Запада по дарованной ему самому уникальности. Я тогда идентифицирую себя с Дарием против ионян и с Ксерксом против Эллинского союза». – *Toynbee A.J. A Study of History. Vol. 12. Reconsiderations. P. 635.*

²¹⁰ *McNeill W.H. Op. cit. P. 269.*

²¹¹ *Toynbee A.J. Surviving the Future. L., 1971.*

²¹² *Ibid. P. 59.*

пех организации был настолько впечатляющим, что в 1964 г. она превратилась в третью по величине политическую партию страны. Партия проявляла усилия, чтобы привлечь состоятельных и образованных граждан, для чего даже основала в 1971 г. университет. Другим способом привлечения внимания общественности были встречи лидеров общества с мировыми фигурами – Джоу Энлаем, Генри Киссинджером и тем же Арнольдом Тойнби, диалог с которым состоялся в мае 1972 года и впоследствии вышел на многих языках мира в виде книги²¹³. Тойнби полагал, что *Soka* как раз воплощает в себе один из феноменов его философии истории – своего рода новую церковь, поднимающуюся на окраине «постхристианского мира»: «буддистский анализ динамики жизни, как Вы его объясняете, более детален и полон, чем некоторые известные мне западные анализы... Я верю, что японский путь приведет человека к счастью»²¹⁴.

Тойнби писал и отвечал на письма вплоть до 1974 г., когда с ним случился удар.

Анализируя тойнбианское наследие последнего десятилетия его жизни и творчества нельзя не почувствовать явное нарастание пессимистических оценок настоящего и перспектив человечества. Да и сам он за год до смерти отмечал, что в конце жизни был «определенно менее оптимистичен, чем тогда, когда работал над “Пересмотрами”»²¹⁵. Был ли относительный пессимизм Тойнби порожден его возрастом? Или же его воззрения объясняются тем, что был он человеком Запада, разделявшим в некоторой степени веру Освальда Шпенглера в закат Европы? Или же он был так настроен потому, что, будучи историком по призванию, особенно ощущал трагическую неудачу человечества в развитии политического и еще более духовного плана человеческой жизни – неудачу, которая еще более рельефно выступает по контрасту с блеском достижений человечества в области технологий? А, может быть, причина была во взрастившей Тойнби христианской духовной традиции? Думается, что эти вопросы, сформулированные самим Тойнби (правда, в третьем лице) в предисловии к книге диалогов с Икедой, являются в определенной степени риторическими и не нуждаются в пространных ответах и комментариях. Ибо сама по себе проблематика этих вопросов имеет не только гуманитарно-научные, но и духовные преломления.

Важнее другое: какое значение имели высказываемые им идеи, и какую ценность они имеют для нас сегодняшних или завтрашних?

²¹³ *Toynbee A., Ikeda D. Choose Life: A Dialogue. L., 1976.*

²¹⁴ *Ibid. P. 284, 238.*

²¹⁵ *Toynbee on Toynbee. A Conversation between A.J. Toynbee and G.R. Urban. N.Y.: Oxford University Press, 1974. P. 105.*

Его собственная оценка сделанного была чрезвычайно скромна. В 1965 г., когда Тойнби спросили о том, каким бы ему хотелось остаться в памяти потомков, он ответил: «Человеком, который пытался рассматривать все в целом и... не в западных терминах». Спустя некоторое время он добавил: «Мне хотелось бы верить, что сделанное мною будет полезно для убеждения западных людей рассматривать мир в целом». В более лапидарной форме: «Мне всегда хотелось увидеть другую сторону луны»²¹⁶.

Действительно, Тойнби существенно расширил перспективу рассмотрения человеческой истории, потому что традиционно история в западном образовании рассматривалась как история Запада, а все остальные народы появлялись на сцене только тогда, когда говорилось о том, как европейцы их открывали, оцивилизовывали или покоряли. Все знали, что Индия или Китай имеют не менее и даже более долгую историю, чем страны Запада, но занятия этими отраслями исторического знания не вызывали уважения профессиональных историков. Если что и изучалось, так это восточные языки и религии. Расширение перспективы выражалось у Тойнби в диалектике локального и универсального, коллективного и индивидуального, природного и социального, в его растущем интересе к исследованию нереализованных путей исторического развития, роли случая, который при определенных условиях может изменить вектор исторического развития. Думается, что этот список можно продолжить. Однако расширение границ исторического знания и понимания – отнюдь не единственный вклад Тойнби в мировую гуманитаристику.

Чтение произведений Тойнби, например, заставляет задуматься о том, что наряду с чисто академическим универсализмом существует и универсализм боли, скажем, за исчезнувшие цивилизации, за богатство, которое в какой-то своей части уже никогда не станет достоянием человечества. Оба эти универсализма составляют то, что можно условно назвать историческим чувством. Историческое чувство – это осознание, переживание истории человечества как собственной истории. Иногда ищут ключ к истории человечества, а о человеке забывают. Философия истории А. Тойнби тем и дорога, что она насквозь гуманистична и персоналистична, что, создавая свою систему, он никогда не забывал, что ключ ищут все-таки к истории человечества, а не к сейфу.

Наверное, в русле постмодернистских представлений концепцию Тойнби (впрочем, как и любую другую концепцию) можно считать вымышленной. Но Тойнби справедливо полагал, что сам вымысел при этом остается историчным²¹⁷. Идея истории Арнольда Тойнби возникла не

²¹⁶ Sunday Times. 15 October, 1972; Daily Telegraph Magazine. 17 April, 1970.

²¹⁷ Тойнби А. Дж. Постигание истории. С. 20–21.

вдруг, как фантом из воздуха, а как выражение особых умонастроений эпохи, став концептуальным ответом на вызов времени и обстоятельств. Она обнажила то, обо что спустя тридцать лет споткнулся постмодернизм: безусловную ответственность человека за судьбы истории, его способность к творческой инновации и духовному отклику на жизнь.

В этой связи поражает еще одно: о чем бы ни говорил и ни писал Тойнби, его суждения были и остаются удивительно современными. В политике он даже иногда заскакивал вперед и приходил к заключениям, которые обгоняли течение времени, ибо исторические аналогии убеждали его, что политическая система его настоящего не может быть вечной. Но и в этом случае его нельзя считать несовременным – скорее вне-временным. Несовременны те, кто остановился на своем творческом пути, ибо творчество – уже само по себе есть продвижение. Можно даже, как Тойнби, глядеть назад, а идти вперед (*sic!*). Ведь современность не есть только насущность того или иного ответа на вызов действительности. Современность – не обязательно в содержании (иногда даже вопреки содержанию) или в общепризнанности (массовая популярность не всегда свидетельствует о таланте автора или достоинствах произведения, она говорит лишь о свойствах и потребностях публики; Тойнби знал это и раньше, но знал узко – обратная связь высветила масштабы), потому что современным, порой, бывает не то, что перекрикивает, а то, что перемалчивает. Современность – в способности уловить точную пульсацию века – вплоть до его болезней. Современность мыслителя есть его обреченность на время, обреченность на водительство им. Из истории не выскочишь. Быть современным, – значит, творить свое время, а не просто отражать его, как зеркало.

В маленькой заметке «Посмертная повестка дня», вошедшей в книгу «Пережитое», Тойнби сказал об этом просто и понятно: «Мне уже перевалило за восемьдесят. Разве я не выполнил своих обязательств? Не могу ли я теперь откланяться, предоставив более молодым искать решение проблем и проводить их в жизнь? Мне осталось жить куда меньше, чем им. Но меньше ли я, чем они, заинтересован в будущем? Имею ли я право “свалить ответственность” на других? Нет, не имею; и если бы я почувствовал желание это сделать, то был бы пристыжен известным утверждением, приписываемым лорду Расселу: “Очень важно неустанно заботиться о том, что произойдет после твоей смерти”. ...Сейчас я здесь, и вовлечен в будущее человечества, каким бы это будущее ни оказалось»²¹⁸.

²¹⁸ Тойнби А.Дж. Пережитое. С. 276.

SUMMARY

INTELLECTUAL CULTURE OF MODERN EUROPE

The active usage of the notion of intellectual culture in historical studies is closely connected with the way the history of ideas and intellectual history were transformed during the late 20th century.

Intellectual culture is a complex notion as far as its contents is concerned. For a certain common ground intellectual culture of any period is multi-layered: it includes the so-called elite culture, professional cultures, and the ideas present within a society (in its numerous strata). Intellectual culture consists of accepted ways of thinking, languages and the means of communication, including elite and 'popular' types of discourse, the way of thinking, reading, writing and speaking. It is important to emphasize once more: intellectual culture is more than just texts, it is communicative by nature, and one promising trend is, in our opinion, to analyze the process of circulation of the elements of an intellectual culture, its 'social circulation'. Typical characteristics of an intellectual culture are defined by material and social circumstances and 'external' intellectual influences.

Historical reconstructions of intellectual culture present mixtures of 'general history', the history of mentalities and historical anthropology, cognitive studies, social history and the sociology of science, 'autonomous' disciplinary histories, and historical biography. Studies of the history of intellectual culture includes the analysis of texts, various instruments of thought, habits of thinking, ways to conceptualize the world of nature and society (i.e., the 'subjectivity' of intellectuals on different levels) and the look into all forms, means and institutes (formal and informal) of intellectual communication in their complex social and cultural context, in their complicated relationships with the 'external' world of culture.

An intellectual culture emerges and develops at a certain time and space. At every historical epoch, changing conditions reveal human nature and potential in different ways. The same applies to social interactions, values, priorities of cognition, dominant ideas and leading cultural trends. Systematic analysis of an intellectual culture is impossible without studying wider contexts of intellectual activity. Historians consider the Modern period to have begun at the Renaissance which is viewed as a period of intellectual and artistic flourish when culture was transformed intensely, and sometimes as a revival of free intellectual culture in Europe. The uniqueness of the historical period has remained closely linked to the specifics of its intellectual culture.

The authors of the present book analyse historical changes of conditions, forms and contents of the dissemination of ideas and innovations on the level of personal communications and on macro-social level, as well as the dynamics of interconnections within Modern communities of intellectuals, and the ways of their consolidation. The contributors focused their studies on specific social contexts and cultural landmarks for intellectual activities. They also analyse the mechanisms of the functioning of various communities of intellectuals: communities of the intellectuals of the 16–17th cc. and the 19th – early 20th century university corporations and academic schools. It has been shown how confessional and gender factors influenced the emerging early Modern communities of intellectuals; what were the principles of organizing and producing knowledge in natural history in the 17th–18th century Europe; how academic communities emerged and new lines of communication developed in the 18th century Russia; what the forms of academic schools and the means of disseminating knowledge in humanities; how social, political and scientific ideas were disseminated in the 18–20th cc.; and how the cultural heritage of Modernity was transformed by the challenges of the 20th c.

The 17th century Europe witnessed revolutionary processes: social transformation and scientific revolution – the transition to the rational explanation of the world and the man. The long 18th c., the century of the Enlightenment, is thought to have played a dramatic role in turning European culture towards rationalism and freethinking. It is the belief into the sovereignty of reason and the key characteristics of the intellectual culture of the Enlightenment that define the image of the epoch, its distinctive style. Although there is no doubting the existence of shared style and culture, shared language of the epoch, it is impossible, however, to identify all the ideas of the Renaissance with the ideas of the humanists, or that of the Enlightenment – with the ideas of the philosophers. It is important to understand the real interconnection of the elements of an intellectual culture (or subcultures) in a society that were complex both in its structure and levels of education, to reveal the models of cross-cultural communication and the dissemination of new ideas in a particular society.

Contemporary intellectual history describes various processes of the dissemination of ideas. An important branch of the studies of intellectual culture is the analysis of the types and means of intellectual communication, particular mechanisms of the dissemination of ideas (changing with space and time). Intellectual communication (through circulating texts, public speeches or private conversations) transfers information and supports an intellectual community by shaping its language, type of behavior, the system of values, and by organizing its network.

During every epoch, certain ways of thinking and certain sets of ideas dominate various spheres of intellectual life (philosophy, science, religion,

politics, literature, art etc.). It is impossible, however, to understand an intellectual culture in its totality without revealing the consequences of trans-temporal communication (including indirect ones – through translations and commentaries) – the actualization and reception of ‘old’ texts in new social and cultural contexts, the adoption of the ideas that are based on the past experience and their reflection (re-interpretation in a new context) in the present ideas and views. The problem of continuity and innovation touches upon the core of the history of intellectual culture – the studies of intellectual traditions and the ‘schools of thought’.

Tradition is generally defined as social and cultural heritage handed down from one generation to another and having been reproduced for a long time. Intellectual tradition is both a condition necessary for any intellectual activity and its derivative, and as a form and a mean to preserve intellectual heritage. Reception and adoption of an intellectual tradition in a new historical context is certainly connected to the selection of the elements of the heritage, the development and re-interpretations of the tradition itself, the dynamics of its ‘cultural drift’. Thus an intellectual tradition is not viewed only as the continuity of ideas and the ways of thinking, the unbroken historical heritage in intellectual sphere but rather as a process of recreation, active reception, selection and re-formation, creative transformation, overcoming or revival.

Anti-reductionist pathos of contemporary intellectual history does not exclude but rather implies a scholar’s interest both to the social conditions of the emergence, existence, preservation and translation of intellectual tradition and to those social institutes that accomplish these tasks. One refers here to intellectuals and intellectual communities that – regardless of their particular form or type – always function as creators, keepers, interpreters and translators of an intellectual tradition. There are various definitions of the notion of ‘intellectual community’ that emphasize one of its facets – communications, institution, or the contents of its activities. Nevertheless they are partly combined in some definitions. If one assumes that the notion has both normative and qualitative contents, an intellectual community could be defined as a community of people who use their intellect to produce new meanings. Its members ideally are creativity-oriented – able to create new socially-meaningful forms – and are open to the interactions with the outside world.

Reception of historical heritage (for instance, the reception of Classical civilization in the Middle Ages and its subsequent Renaissance) includes both copying/reproducing and the chain of re-creations that bear the impulse of revival. An important role is played by the changing conditions of intellectual life (especially during the period of radical social and cultural transformations) and by the emergence of new institutions and intellectual (academic) communities.

The studies of scientific communications as the most important mechanism in the development of science have been actualized in connection with the 20th century information revolution. The professional academic communities are subjects of reception, preservation and translation of scientific knowledge. The history of historical knowledge has certainly been involved in the described process as it was influenced by the 'linguistic turn' and focused its efforts on the studies of historians' discursive practices. The 'anthropological turn' shaped interest in a man of science, his everyday life, forms of private communications, in intellectual networks that had been formed around him. Since late 20th – early 21st c. the historians of historiography began to search for the 'reality outside the discourse' and focused their work on the processes of communication.

An important position within the anthropological model is occupied by an approach that implies studying academic communities and their communicative structure within the complex communicative field of academy and society as a whole. Anthropological historiography helps connect the 'academic world' with the 'ordinary world' and represent a more complex image of the development of the discipline. An academic school is defined as an open, informal and solid group of professional scholars; self-identification of scholars and a school's recognition by the academic community and the society in general are suggested as important criteria.

The aim of a school is not new information but rather knowledge and skills produced within it. As schools are open systems, variety of orientations and paradigms is possible within one as well as the interference of their frontiers, the presence of some scholars in two or three schools simultaneously, and their easy migration from one school to another.

Contemporary historians of historiography pay increasing attention to personal communications that help reveal the 'hidden face' of the discipline. The studies of both positive (collaboration, mentors and disciples) and negative communications (competition and conflicts) are quite promising. To look into personal relations means to demonstrate hidden mechanisms through which the community functions and knowledge is produced. The analysis of communication practices takes a scholar outside the boundaries of traditional research fields that are often reduced to the studies of institutions and concepts. Now the communicative networks become objects of study. In this context a historical school is analysed through its particular style of communication – the synthesis of formal and informal processes, oral and written elements, direct and indirect links etc.

Intense studying of schools in Russian intellectual space has already become a laboratory where material is being gathered to reveal the specific of academic communications and the circulation of intellectual culture.

ОБ АВТОРАХ

Апрыщенко Виктор Юрьевич, доктор исторических наук, профессор (Южный федеральный университет) – *раздел 2.2.*

Воробьева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент (Институт всеобщей истории РАН) – *раздел 5.3.*

Еремеева Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент (Российский государственный гуманитарный университет) – *раздел 5.1.*

Зверева Вера Владимировна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) – *раздел 1.1.*

Иванова Татьяна Николаевна – доктор исторических наук, профессор (Чувашский государственный университет) – *разделы 4.1. и 4.2.*

Ионов Игорь Николаевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) – *раздел 2.1.*

Кулакова Ирина Павловна – кандидат исторических наук, доцент (МГУ им. М.В. Ломоносова) – *раздел 3.1.*

Мяжков Герман Пантелеймонович – доктор исторических наук, профессор (Казанский / Приволжский федеральный университет) – *введение II, разделы 4.1. и 4.2.*

Репина Лорина Петровна – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Институт всеобщей истории РАН) – *введение I, общая редакция.*

Ростиславлева Наталья Васильевна – доктор исторических наук, профессор (Российский государственный гуманитарный университет) – *раздел 2.3.*

Сабурова Татьяна Анатольевна – доктор исторических наук, профессор (Омский государственный педагогический университет) – *раздел 3.2.*

Селунская Надежда Андреевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Центр интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН) – *раздел 5.2.*

Серегина Анна Юрьевна, доктор исторических наук, старший научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) – *раздел 1.2.*

Стогова Анна Вячеславовна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) – *раздел 1.3.*

Филимонов Владимир Альбертович – кандидат исторических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет) – *раздел 4.3.*

Чикалова Ирина Ромуальдовна – доктор исторических наук, профессор (Белорусский государственный педагогический университет) – *раздел 3.3.*

ИДЕИ И ЛЮДИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ



Под редакцией
Лорины Петровны Репиной

*Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории РАН*

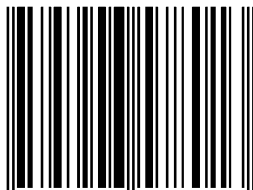
Директор издательства *М. С. Петрова*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Корректор *М. М. Горелов*

Подписано в печать 02. 12. 2013
Формат 60x90 / 16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 53. Тираж 400. Заказ № 43005

Издательство «Аквилон»
Тел.: +7 (968) 924 97 30
e-mail: aquilopress@gmail.com

Отпечатано в типографии Onebook.ru
ООО «Сам Полиграфист»
г. Москва, Протопоповский пер., д. 6.
Электронная почта: info@onebook.ru
Адрес в интернете: www.onebook.ru
Телефон: +7 495 545-37-10

ISBN 978-5-906578-01-3



9 785906 578013